



**В. М. Живов**

# **ИСТОРИЯ ЯЗЫКА РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ**

**I  
ТОМ**

У н и в е р с и т е т   Д м и т р и я   П о ж а р с к о г о

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В. В. ВИНОГРАДОВА

---

УНИВЕРСИТЕТ ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО

**В. М. ЖИВОВ**

# **ИСТОРИЯ ЯЗЫКА РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ**

**Том I**



Москва

Университет Дмитрия Пожарского

2017

УДК 16.01.07  
ББК 83.3(2)  
Ж67

Утверждено к печати Ученым советом  
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН

Подготовлено к печати и издано по решению Ученого совета  
Университета Дмитрия Пожарского

**Живов В. М.**

Ж67 История языка русской письменности: В 2 т. Том I. – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. – 816 с.

ISBN 978-5-91244-184-4 (т. 1)  
ISBN 978-5-91244-183-7

В. М. Живов (1945–2013) – выдающийся ученый-славист, автор фундаментальных трудов по истории русского языка, древнерусской письменности, русской литературе разных эпох, истории византийской и русской культуры, русской церковной истории.

Монография представляет результаты многолетнего изучения В. М. Живовым закономерностей исторического развития русского литературного языка. Центральной идеей исследования является мысль о том, что литературный язык развивается не спонтанно и «органически», а по сценариям, которые создаются культурными процессами.

Книга в основном строится по хронологическому принципу, при этом отдельные темы, связанные со структурными характеристиками письменного языка, рассматриваются сквозным образом.

Первый том содержит две части исследования, которые посвящены древнейшему периоду (XI–XIV вв.). В первой части рассматривается внешняя история этого периода, включающая такие аспекты, как возникновение письменности у восточных славян, культурно-исторический контекст ее появления, типы ее использования, формирование регистров, особенности членения коммуникативного пространства и др. Во второй части анализируются лингвистические параметры, которые обеспечивают дифференциацию регистров письменного языка, и исследуется динамика их взаимодействия.

Монография предназначена для специалистов (лингвистов, литературоведов, историков) и для всех интересующихся историей русского языка и историей русской культуры.

ISBN 978-5-91244-184-4 (т. 1)  
ISBN 978-5-91244-183-7

УДК 16.01.07  
ББК 83.3(2)

© Живов В. М., наследники, текст, 2017  
© Горева Е. А., дизайн и оформление обложки, 2017  
© Русский фонд содействия образованию и науке, 2017

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### Том I

Предисловие (А. М. Молдован).....	9
-----------------------------------	---

#### **Введение. Теоретические проблемы**

I. Просто язык и литературный (стандартный) язык: проблема единства языка .....	11
II. Письменный язык и разговорный язык.....	20
III. Языковые регистры и история языка .....	26
IV. Языковые регистры и проблема нормы .....	36
V. Языковые регистры и эволюция языка .....	43
VI. Языковая ситуация древней Руси.....	50
VII. Концепция диглоссии.....	53
VIII. Приложимость концепции диглоссии к языковой ситуации древней Руси .....	61
IX. Структура книги и периодизация истории русского письменного языка .....	72

#### **Часть I. Развитие письменного языка и формирование его регистров**

##### **Глава I. Культурно-исторический контекст формирования письменных традиций**

1. Крещение Руси и распространение письменности.....	76
<i>Терминологический экскурс .....</i>	77
<i>Экскурс о значении «учения книжного» .....</i>	87
2. Функции книжного языка на Руси и в Византии. Историко-культурный фон.....	97
3. Проблема прямых контактов с Византией. Восточнославянские переводы с греческого .....	110
4. <i>Slavia orthodoxa</i> и <i>Slavia romana</i> . Западные источники восточнославянской книжности .....	129

**Глава II. Обучение книжному языку, способы его освоения**

1. Чтение по складам .....	150
2. Заучивание текстов наизусть.....	158
3. Механизмы владения книжным языком .....	162
3.1. Механизм признаков книжности .....	166
3.2. Механизм ориентации на тексты.....	168
3.3. Реализация механизмов владения книжным языком в оригинальных текстах .....	171
4. Воспроизведение книжных текстов и характер их нормативности .....	174
5. Функциональное переосмысление генетически разнородных элементов.....	183
6. «Свое» и «чужое» в отношении к книжному языку .....	198

**Глава III. Членение пространства древней восточнославянской письменности**

1. Общие замечания .....	205
2. Структурирование области книжных текстов. Стандартный церковнославянский .....	213
3. Структурирование области книжных текстов. Гибридный церковнославянский .....	231
4. Характеристики гибридной письменной традиции .....	240
5. Летописи как основная составляющая гибридной письменной традиции .....	250
6. Структурирование области некижных текстов в древней восточнославянской письменности. Юридические и деловые тексты .....	271
<i>Экскурс о применимости византийско-церковнославянского права         в средневековой Руси .....</i>	286
7. Бытовые тексты.....	297
8. Общие соображения о формировании регистров письменного языка .....	314

**Часть II. История языковых явлений, характеризующих регистры  
письменного языка****Глава IV. Синтаксические стратегии и их закрепление за разными регистрами  
письменного языка. Синтаксис причастий**

1. Общие замечания .....	325
2. Книжные и некижные причастные конструкции.....	328
3. Дательный самостоятельный и другие специфически книжные конструкции.....	333
3.1. Эволюция функций дательного самостоятельного .....	340
3.2. Личная форма глагола быти с причастием настоящего времени .....	356
3.3. Причастия при глаголах восприятия .....	367
4. Прочие причастные конструкции .....	374
4.1. Причастия в некижных текстах: юридические кодексы.....	375

4.2. Причастия в некнижных текстах: грамоты.....	385
4.3. Причастия в книжных текстах: летописи .....	393
4.3.1. Позиция причастного оборота относительно личного глагола в летописях.....	398
4.3.2. Позиция причастного оборота относительно личного глагола как характеристика нарратива и особенности ненарративных текстов .....	406
4.3.3. Причастные обороты, субъект которых в главном предложении не стоит в именительном падеже.....	410
4.3.4. Именительный самостоятельный и автономные причастные обороты .....	417
4.3.5. Согласование причастий.....	426
4.3.6. Сочинительные союзы между причастным оборотом и главным предложением .....	435
4.4. Агиографическая традиция и регистр стандартного церковнославянского .....	450
5. Заключительные замечания о причастном синтаксисе .....	456

## **Глава V. Синтаксические стратегии и их закрепление за разными регистрами письменного языка. Порядок слов и прочие синтаксические явления**

1. Синтаксические стратегии книжных и некнижных регистров. Элементы разговорного синтаксиса в некнижном письменном языке.....	465
<i>Экскурс о синтаксических различиях письменного и устного языка</i> .....	466
2. Повторение предлогов и функционирование некнижных синтаксических средств в книжных регистрах.....	475
3. Режимы интерпретации и связанность текста; особенности делового регистра .....	488
3.1. Легальный режим интерпретации в архаическом праве .....	490
3.2. Эволюция легального режима интерпретации .....	496
4. Адаптация книжных синтаксических конструкций и характер интерференции регистров. Конструкции с инфинитивом .....	501
4.1. Конструкция «яко + инфинитив» со значением результата.....	502
4.2. Общие соображения об инфинитивных конструкциях и книжном синтаксисе .....	519
5. Жанровые характеристики текстов и порядок слов .....	520
5.1. Глаголы речи .....	535
5.1.1. Древнейший период .....	536
5.1.2. Данные XIII–XV веков .....	546
5.1.3. Данные XVI–XVII веков .....	557
5.1.4. Некоторые предварительные выводы.....	559
5.2. Глаголы движения .....	561
5.2.1. Древнейший период .....	562
5.2.2. Данные XIII–XVII веков.....	570
5.2.3. Некнижные тексты .....	584
5.2.4. Некоторые предварительные выводы.....	586
5.3. Переходные глаголы .....	588
5.3.1. Древнейший период .....	590
5.3.2. Данные XIII–XVII веков.....	594

5.3.3. Некоторые частные и общие выводы.....	600
6. Книжный нарратив и конфигурация временных форм.....	604
6.1. Проблема исчезновения простых претеритов из разговорного языка.....	608
6.2. Употребление имперфекта: трансформации книжной традиции в разных типах текстов .....	619
6.2.1. Летописная и агиографическая письменные традиции.....	621
6.2.2. Дальнейшее развитие летописной и агиографической письменной традиций .....	636
6.3. Основные линии эволюции употребления простых претеритов.....	651

#### **Глава VI. Норма и вариативность в правописании. Орфографические характеристики регистров**

1. Общие соображения.....	658
2. Нормативность и вариативность.....	662
3. Факторы, обуславливавшие вариативность правописания.....	670
4. Правописание и обучение чтению по складам.....	678
5. Правописные практики и регистры письменного языка.....	686
6. История отдельных орфографических явлений .....	690
6.1. Употребление юсов.....	690
6.2. Йотированные гласные .....	693
6.3. Палатальные сонорные .....	700
6.4. Процессы, связанные с редуцированными.....	707
6.4.1. Одноеровая орфография .....	710
6.4.2. Сочетания редуцированных с плавными.....	713
6.4.3. Формы 3 лица настоящего времени.....	719
6.4.4. Формы творительного падежа единственного числа.....	720
6.5. Различение яти и естя в правописании и книжном произношении.....	723
6.6. Рефлексы *er в межконсонантной позиции.....	725
7. Относительная хронология правописных систем и тип текста.....	730

#### **Глава VII. Норма и вариативность в морфологии. Регистры и конфигурации морфологических вариантов**

1. Общие соображения.....	737
2. Дифференциация регистров письменного языка как развивающийся процесс: формы двойственного числа.....	749
3. Дифференциация регистров письменного языка как развивающийся процесс: категория одушевленности.....	764
4. Дифференциация регистров и статистические конфигурации морфологических вариантов.....	783
5. А-экспансия и дифференциация регистровых конфигураций.....	788
6. Формы инфинитива и дифференциация регистровых конфигураций .....	801

## Том II

**Часть III. Динамика языковой ситуации в период до формирования языкового стандарта****Глава VIII. Второе южнославянское влияние и развитие грамматического подхода к книжному языку**

1. Историко-культурный контекст и культурные контакты..... 821
2. Деадаптация в орфографии..... 836
3. Отталкивание от разговорного языка в лексике..... 848
4. Отталкивание от разговорного языка в грамматике..... 857
5. Грамматика и книжная справа..... 865
6. Церковнославянский как ученый язык..... 874

**Глава IX. «Простота» языка и социокультурная дифференциация авторов и их читателей**

1. Регистры письменного языка и социальная стратификация..... 888
2. Генезис концепции «простоты» языка..... 898
3. «Простота» языка в Московской Руси XVII в..... 909
4. Секуляризация культуры, ее русская специфика и значимость для переосмысления языкового узуса..... 924

**Часть IV. Формирование стандартного литературного языка****Глава X. Изменение языковой ситуации в Петровскую эпоху. Возникновение «гражданского наречия» как начальный этап формирования литературного языка**

1. Историко-культурный контекст петровской реформы языка..... 933
2. Создание гражданского шрифта..... 936
3. Языковая политика Петра..... 945
4. «Гражданское наречие» и устранение признаков книжности..... 954
5. Отталкивание от старого книжного языка и возникновение «петровского пула». Синтаксический уровень..... 961
6. «Петровский пул» и морфологическая вариативность..... 971
7. Статус «гражданского наречия»..... 979
8. Понятность «гражданского наречия» и роль заимствований..... 984

**Глава XI. Нормализация языка и утверждение роли литературы**

1. Нормализация языка. Возникновение академической грамматической традиции..... 991
2. Синтетический характер академической нормализации (морфология)..... 1001



3. Лингвистические программы. Роль изящной словесности .....1012
4. Русский пуризм как реплика французского  
классицистического пуризма.....1017

## **Глава XII. Славянорусский язык и синтез культурно-языковых традиций**

1. Адаптация классицистического пуризма к русской литературно-языковой ситуации .....1026
2. Реинтерпретация пуристических рубрик в лексике и опыты ее стилистической дифференциации.....1036
3. Роль литературы и социолингвистические характеристики литературного языка.....1056
4. Ускоренное развитие и нестабильность стандарта – иллюстрация: нормализация окончаний прилагательных в именительном-винительном падеже множественного числа.....1061

## **Глава XIII. Утверждение основных характеристик литературного стандарта (полифункциональность, общеобязательность, стилистическая дифференцированность)**

1. Дворянская апроприация нового идиома и социолингвистические последствия этого процесса.....1079
2. Языковой стандарт и школьное образование .....1090
3. Синтаксическая реформа Карамзина и роль изящной словесности .....1095
4. Спор архаистов и новаторов и стабилизация русского литературного языка.....1106
5. Пушкинский синтез .....1118

## **Глава XIV. Эпилог. От Пушкина до наших дней**

1. XIX век: что происходит после Пушкина?.....1127
2. Русский литературный язык при советской власти и после ее падения.....1140

Литература .....1152  
Указатель.....1237

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор этой книги Виктор Маркович Живов (1945–2013) – выдающийся ученый-славист, блестящий знаток истории русского языка, литературы и культуры. Его исследования и выступления оставили яркий след в русской филологической науке. Ему принадлежит более трехсот трудов по различным вопросам русского языка, древнерусской письменности, русской литературе разных эпох, истории византийской и русской культуры, русской церковной истории, которые оказали существенное влияние на развитие этих научных направлений.

Над монографией об истории русского литературного языка и письменности В. М. Живов работал, по его собственному признанию, двадцать лет. Этот фундаментальный труд, который он считал делом своей жизни, складывался как обобщение оригинальных идей и концепций, разрабатывавшихся В. М. Живовым для университетского курса «История русского литературного языка», который он вел в 1980–2001 гг. в Московском университете, и курсов по истории русского языка и славянской письменности, русской религиозной культуры и истории древнерусской литературы и русской литературы XVIII века, которые он читал в Калифорнийском университете в Беркли в 1995–2013 гг. Наиболее важные фрагменты этой большой темы были ранее проработаны в многочисленных статьях и монографиях В. М. Живова: «Язык и культура в России XVIII века» (1996), «Разыскания в области истории и предыстории русской культуры» (2002), «Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков» (2004), «Из церковной истории времён Петра Великого: Исследования и материалы» (2004), «Восточнославянское правописание XI–XIII века» (2006) и др., неизменно становившихся событием в научной жизни.

Новая книга представляет эти и другие результаты изучения В. М. Живовым закономерностей исторического развития русского литературного языка в виде цельного и увлекательного историко-лингвистического повествования, центральной идеей которого является мысль о том, что литературный язык развивается не спонтанно и «органически», а по сценариям, которые создаются культурными процессами. Динамика этого развития, как показывает В. М. Живов, определялась взаимодействием разных регистров письменного языка, соотнесенных с разными коммуникативными ситуациями.

Рассуждения автора опираются на документальные свидетельства древнерусских книжников и лингвистические данные письменных источников русского языка от древнейшей эпохи до XX века. В книге рассматривается обширная научная литература, при этом известные положения и факты получают новое освещение на основе современных социолингвистических представлений и новых языковых материалов, значительная часть которых была собрана самим В. М. Живовым на протяжении всей его научной жизни из многочисленных славянских рукописей.

С уверенностью можно сказать, что В. М. Живов оставил нам замечательный памятник научной мысли, который на многие годы определит понимание предыстории и истории русского литературного языка.

Виктор Маркович трудился над этой книгой буквально до последнего дня своей жизни и успел завершить авторскую часть работы, завещав друзьям и коллегам позаботиться об издании рукописи.

При подготовке издания нами были сверены по источникам цитаты, устранены опечатки и стилистические погрешности текста, выверены ссылки на научную литературу\*. А. А. Пичхадзе составила, по просьбе В. М. Живова, предметный указатель к монографии.

Отсутствовавшее в рукописи название монографии восстановлено по устным сообщениям В. М. Живова.

А. М. Молдован

---

\* К сожалению, без учета мнения автора не могло быть проведено полноценное редактирование текста, которое позволило бы устранить возможные повторы и неточности.

## ВВЕДЕНИЕ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

### I. Просто язык и литературный (стандартный) язык: проблема единства языка

Литературный язык – это какая-то часть языка, поскольку в пресуппозиции этого понятия находится еще один язык – нелитературный, и они, литературный и нелитературный языки, рассматриваются обычно как составляющие одного языка. Что такое часть языка и как вообще язык делится на части, это проблема, которая теоретически недостаточно осмыслена. Однако без представления об этой проблеме (не говорю пока что о ее решении, поскольку никакого простого решения я предложить не могу) наши рассуждения о литературном языке и его истории относятся к объекту, статус которого остается мучительно неопределенным. В трудах по истории литературного языка нередко говорится, например, о влиянии разговорного языка на литературный язык или о «нелитературных» выражениях в составе «литературных» текстов, однако обычно не содержится ясного ответа на вопрос о том, в каком отношении находятся «разговорный» и «литературный» языки или откуда именно черпаются «нелитературные» выражения.

Между тем очевидно, что без существенных уточнений объяснительный аппарат, с помощью которого описываются изменения в литературном языке или конфигурация литературных текстов, оказывается неполным и неадекватным. Если разговорный язык влияет на литературный, означает ли это, что разговорный язык есть заведомо нелитературный язык, или допускается существование разговорного литературного языка? Подразумевается ли в последнем случае, что влияние оказывает именно нелитературный разговорный язык (так как в ином случае предполагается влияние литературного языка на литературный язык)? Или в разговорном языке – в отличие от письменного языка – имеет место синтез литературных и нелитературных элементов, и на «литературный» язык влияет именно этот конгломерат? Если «нелитературные» элементы могут включаться в литературные тексты, за счет чего эти тексты остаются «литературными»? Написаны ли они на литературном языке или на смеси литературного языка и нелитературного? Могут ли они в последнем случае считаться «двуязычными»?

Такого рода вопросы можно громоздить *ad infinitum*, хотя во всех этих случаях мы имеем дело по существу с одной и той же проблемой: что делать с гетерогенностью, представленной в реально наблюдаемых текстах (в речи, *la parole*)? Как именно должен быть устроен тот язык (языковой механизм, система языка), который порождает такие тексты (который ответствен за гетерогенность)? Обычный способ трактовки этого феномена при обсуждении проблем литературного языка состоит в определении одних элементов как нормативных (или центральных), а других – как ненормативных (или периферийных), однако при этом дело сводится лишь к характеристике элементов, к приклеиванию ярлыков, тогда как самый феномен разнородности остается не осмысленным. Он остается не осмысленным в двух аспектах.

С одной стороны, встает весьма общий вопрос о том, как соотносятся гетерогенные элементы с единой системой языка. Существует ли единая система, которая порождает однородный текст, и – в отдельности от этой системы – какие-то разрозненные элементы, к ней не принадлежащие, но при случае появляющиеся в узусе носителей? В таком случае мы должны выработать аппарат описания элементов, существующих «вне системы», – например, как принадлежащих другой системе, другому «языку», которым тем не менее носитель может не владеть. Подобную ситуацию вполне можно представить, когда, скажем, носитель русского языка вставляет в свою речь французские слова, однако это явно лишь один из маргинальных вариантов гетерогенности. Другая возможность – постулировать две системы или несколько систем, которыми владеет носитель языка и которые интерферируют в его реальном узусе. И у этой трактовки есть свои неустранимые недостатки, поскольку гетерогенность многообразна и число систем, с которыми придется при этом иметь дело, нелегко даже представить себе: одна или несколько систем, на счет которых могут быть отнесены «диалектизмы», одна или несколько систем, на счет которых могут быть отнесены «архаизмы», особая система или системы для «жаргонных» (принадлежащих социальным диалектам) элементов и т. д. Не видно никакого смысла в том, чтобы приписывать носителю владение всеми этими системами, например, носителю, употребляющему архаизмы (лексические или грамматические) – владение архаической системой, т. е. каким-то предшествующим хронологическим срезом языка. Эти соображения, кажется, должны подвести нас к выводу, что мы сами загоняем себя в тупик, рассуждая в терминах систем; проблематизированным оказывается само понятие системы языка.

С другой стороны, наряду с вопросом, что есть гетерогенность, не менее существен вопрос, зачем существует гетерогенность. Почему носитель, не довольствуясь возможностями единой системы, способной породить однородный текст, прибегает к инородным элементам? В самом общем виде ответ на этот вопрос состоит в том, что гетерогенные элементы нужны носителю не для прихоти, а для вполне содержательных целей: для указания на его социокультурные интенции, для обозначения своего социального статуса или социального статуса адресата сообщения, для фиксации историко-культурных коннотаций сообщаемой информации и т. д. Такие задачи встают перед носителем языка постоянно, практически в любом типе его

речевой деятельности, так что «чистая», не замутненная подобными интенциями спонтанная речь представляет собой абстрактный конструкт (созданный прежде всего младограмматиками – см. ниже) как своего рода речевая проекция единой языковой системы. Построение такого конструкта создает трудно разрешимые проблемы, поскольку оно предполагает операцию отграничения содержательной части сообщения от его социокультурных коннотаций, а эта задача не имеет однозначного решения. Гетерогенность присутствует именно в силу того, что социокультурные параметры неустранимы из речевой деятельности; у носителя языка всегда присутствуют те или иные социокультурные установки, и для выражения их он смешивает в своей речи элементы, обладающие разными социокультурными коннотациями, можно сказать, пускает в игру «разносистемные» элементы языка. И с этой точки зрения «разносистемность» имманентна языковой деятельности.

Чтобы конкретизировать, с какого рода разнородностью исследователю приходится иметь дело, разберу произвольный пример. Хорошей иллюстрацией может служить диалог из «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского из той сцены, когда подвижник аскезы Ферапонт приходит в келию, где лежит тело старца Зосимы:

Отец Паисий прервал чтение, выступил вперед и стал пред ним в ожидании.

– Почто пришел, честный отче? Почто благочиние нарушаешь? Почто стадо смиренное возмущаешь? – проговорил он наконец, строго смотря на него.

– Чесо ради пришел еси? Чесо просиши? Како веруеши? – прокричал отец Ферапонт, юродствуя...

(Достоевский, XIV, 302).

Языковая гетерогенность дана здесь эксплицитно, в прямом столкновении противопоставленных языковых средств: *пришел – пришел еси; -шь – -ши*. Она отчасти обусловлена тем, что слова Ферапонта – это цитата из церковнославянского чина поставления архиерея<sup>1</sup>. Дело, однако, к этому не сводится. Ферапонт издевается над Паисием, над тоном его речи, подставляя на ее место торжественные вопрошания, обращаемые патриархом (или митрополитом) к поставляемому архиерею. Он тем самым намеренно снижает ситуацию, и цитата нужна ему как юродская пародия. Он пародирует язык, переводя его в иной регистр: из книжного духовного языка (конечно, искусственного), которым говорит Паисий (ср., например, *честный отче* с нестандартной флексией прилагательного в им.-зват. ед. и также нестандартной звательной формой), – в старый книжный язык (церковнославянский как богослужебный), которым никто не говорит.

Гетерогенность этого текста обусловлена не только его литературной интертекстуальностью (цитатностью), но и, можно сказать, интертекстуальностью лингвистической, не замкнутой в системе «художественных»

---

<sup>1</sup> Публикацию чина избрания и поставления архиерея см.: Живов 2004б, 294–316. Цитируемые Ферапонтом слова см.: там же, 304.

текстов, а отсылающей к языковой деятельности в целом в ее исторических напластованиях. Элементы разного происхождения и разного статуса (в литературном языке времен Достоевского) отсылают к разным культурным традициям или, если угодно, к разным культурным кодам, которые и создают коннотационное поле данного фрагмента. Видимо, этот текст можно попытаться «очистить», сочтя его церковнославянские элементы «иноязычными» и устранив их на этом основании. Однако, во-первых, эта операция все равно не принесет гомогенного «спонтанного» текста, поскольку речь Паисия у Достоевского значимым образом отличается от авторской речи (и при этом авторская речь также не остается однородной и приобретает некоторые черты «церковной» речи, когда дело касается церковных предметов, ср. предлог *пред* – не *перед* – в приведенной цитате), а, во-вторых, «иноязычный» статус церковнославянских элементов остается сомнительным. В самом деле, эти элементы принадлежали обычному языковому опыту носителя русского языка и осмыслялись как варианты употребляемых им форм (в этом плане *чесо просиши* у Ферапонта явно отличается по «иноязычности» от, скажем, *que demandes-tu* в речи какого-нибудь из посетителей салона Анны Павловны Шерер); они входили в диапазон его русской языковой компетенции практически в той же степени, что и форма *честный* (наряду с *честной*). Таким образом, гомогенная спонтанная речь – это лингвистическая фикция, и такой же фикцией должен быть признан единый языковой механизм (единая языковая система), который эту спонтанную речь порождает.

К проблеме того, что может представлять собой «система» языка, мы еще вернемся ниже; сейчас же, прежде чем перейти к генеалогии представления о едином языке, упомянем два принципиальных момента, связанных с неустранимой гетерогенностью всякой языковой деятельности. Во-первых, как бы ни представлять себе порождение высказывания, оно никогда не порождается в вакууме, со времен Адама лингвистический ландшафт – не *tabula rasa*. У него всегда имеется лингвистический подтекст, интертекстуальная составляющая или, пользуясь терминологией М. М. Бахтина, «диалогичность». Порождаемые индивидом языковые единицы практически всегда представляют собой «чужие» языковые единицы («чужое слово» бахтинской теории), всякая речь в определенном смысле «цитатна». В каждодневной (бытовой) речи эта «цитатность» имеет в большинстве случаев чисто формальный характер: говорящий не порождает текст от элементарных единиц к более крупным, а пользуется готовыми блоками<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Некоторые исследователи вообще могут рассматривать языковую деятельность как комбинирование (складывание) общих мест – готовых словесных блоков, употребляемых в контексте всех присущих им ассоциативных связей; при таком подходе язык по существу остается без «системы» (без грамматики в ее традиционном понимании) (см.: Гаспаров 1996). Такой подход представляется мне неоправданно радикальным и заводящим в тупик. Даже если какое-то высказывание полностью состоит из готовых блоков, их конкатенация (например, при порождении морфологического оформления) требует установления их связей, т. е. построения дерева зависимостей для готовой цепочки. Можно думать, что реальный порождающий механизм работает и с готовыми блоками,

Однако даже при таком автоматическом порождении говорящий всегда говорит как кто-то – его родители, его сверстники, авторитетные для него лица, причем выбор речевого образца зависит от ситуации речи (коммуникативной ситуации), от того, к какому адресату и при каких условиях обращена эта речь, ср. формулировки М. М. Бахтина: «Подлинная среда высказывания, в которой оно живет и формируется, – диалогизированное разноречие, безымянное и социальное как язык, но конкретное, содержательно-наполненное и акцентуированное как индивидуальное высказывание» (Бахтин 1975, 86). Всякий элемент нового высказывания в более или менее эксплицитной форме всегда отсылает к предшествующим высказываниям, всегда захватывает свою предысторию.

Этим определяется второй момент, связанный с гетерогенностью языковой деятельности, – ее диахроничность. Диапазон разнородных возможностей выражения задан говорящему синхронно, однако все эти возможности «нагружены» их предысторией, и диахроническая ось присутствует в языковом сознании говорящего: ориентируясь на образцы чужой речи, он представляет себе (верно или неверно), что они различаются степенью новизны, принадлежат к разным «пластам» языка. *Отче* в сравнении с *отец* воспринимается не только как более книжная или как более приличная «духовному» языку форма, но и как форма более архаическая и именно в силу этого обладающая специальными стилистическими качествами. Гетерогенность связана с историчностью (с диахронией), так что конструкт единой языковой системы, основополагающий для всей соссюррианской лингвистики, закономерным образом основан одновременно и на элиминации гетерогенности, и на элиминации диахронии. Ясно, что этот конструкт ничего не дает для понимания истории языка в ее социокультурной динамике (а язык письменности – это социокультурный феномен *par excellence*). Интерпретация гетерогенности требует обращения к истории, к анализу становления различных разновидностей языка. Этот анализ дает возможность понять не только то, как появились те или иные гетерогенные элементы (например, откуда возникает оппозиция *-шь* – *-ши*) и как они распределялись по разным типам языковой деятельности, но и то, каким переосмыслениям они подвергались, как они получили ту «стилистическую» нагрузку (то соотнесение со своими образцами, со своим лингвистическим интертекстом), которой они обладают в современном языке.

Вернемся теперь к вопросу о единстве языка и о том, как возникает этот лингвистический конструкт. Когда анализируется язык писателя (например, того же Достоевского), вариативные элементы типа отмеченных выше трактуются как стилистические варианты. Я не буду сейчас останавливаться на запутанном вопросе о том, что такое стиль и как нужно его определять, нужно ли различать стили языка и стили речи и т.д. Чем с большим количеством исходных дефиниций мы будем иметь дело, тем в большей степени мы подчиним историческое описание тем априорным

---

определяя правила их комбинирования, и с более мелкими единицами (словами, морфемами); индивидуальное языковое «творчество» может присутствовать на всех языковых уровнях.



представлениям о том, что бывает или должно быть в языке, которые сложились у нас, во-первых, на основе нашего ограниченного языкового опыта, а во-вторых, в еще большей степени, на основе существующих научных традиций. Всякая попытка беспредпосылочного описания предполагает анализ предпосылок, т. е. подводит нас к вопросу о том, как образовалась та эпистемологическая система, те дискурсивные категории, с помощью которых мы эту историю трактуем.

Что такое стилистические варианты? Как бы мы ни определяли стиль, стиль – это всегда какая-то модификация языка, который рассматривается как внутренне организованное единство, как система. Мы можем сказать *я проигрался*, а можем – *я продулся*, и этот второй способ выражения определить как «экспрессивный» или «вульгарно-экспрессивный» стилистический вариант. Точно так же мы можем сказать *город, построенный Петром*, или, как Пушкин, *град Петров*, и назвать слово *град* возвышенно-поэтическим вариантом или – что еще бессмысленнее с точки зрения стилистического описания – славянизмом. В этих же категориях и *-ши* как вариант *-шь* определится как архаизм (и славянизм). Во всех этих случаях имеет место presupпозиция: существует однородное нейтральное ядро, основной ствол, и вокруг него располагаются на многообразных веточках различные подвески. Связи этих веточек и подвесок с основным стволом специфичны, в некотором роде неполноценны, «во всяком случае, – как писал В. В. Виноградов (1981, 16), – иного качества, чем связи элементов самой системы языка».

На разных уровнях языка масштабы гетерогенности, т. е. количество этих подвесок, различны. В фонетике их совсем мало, о них говорят как о «стилях произношения», и их маргинальность по отношению к основной фонетической системе всем очевидна. Скажем, шепелявые свистящие, которые в русском языке начала XX в. могли маркировать особое манерное «нежное» произношение (обычно у женщин – Селищев 1968, 331–332; Даль, I, с. XLIII, XLVII, LXV; Зеленин, III, 1191), не только воспринимались как аномалия, но и в системном описании могли фигурировать как атомарный факт внутри стабильной фонологической системы. В морфологии «стилистических вариантов» тоже немного, во всяком случае в современном литературном языке. Как пишет тот же Виноградов (1981, 14), «если не включать в морфологию область словообразования, из круга собственно морфологических явлений в стилистику могут войти лишь вопросы о функциях и сферах употребления вариантных – параллельных и синонимических – форм склонения и спряжения, а также степеней сравнения». Это как раз те *-шь* и *-ши*, о которых говорилось выше и которые в современном узусе также, конечно, маргинальны (о том, что обуславливает эту маргинальность, см. ниже). В синтаксисе подвесок больше, причем столь ясное для Виноградова различие между стволом и веточками перестает быть таким уж ясным. Скажем, порядок слов в одних случаях приходится описывать в терминах актуального членения или другого аппарата, фиксирующего коммуникативно-логическую структуру высказывания, и это, надо думать, нейтральное ядро языка, а то, что под эту систематику не подпадает, можно назвать «экспрессивным словорасположением» (и это, конечно, веточки);

ясно, что четкой границы здесь нет и что зависит она от выбора аппарата описания. В лексике сплошь одни подвески: даже при том, что со времен Виноградова лексическая семантика существенно продвинулась вперед, выбор между синонимами в большинстве случаев продолжает описываться как «стилистический», а понятие лексической системы остается структуралистской метафорой без отчетливого содержания. Тем не менее представление о нейтральном ядре и «стилистической» периферии пребывает непоколебленным, и за этим стоит определенная реальность.

Как ясно из предшествующих рассуждений, я не имею в виду реальность языка как идеальной структуры, *la langue* в сосюрвовском понимании. Я имею в виду социальную археологию этого представления, реальность того, как мы привыкли думать и говорить о языке. Эти привычки – результат обучения, поэтому то, что меня интересует, это как нас научили думать о языке, как преподается язык. Отвлекаясь сейчас от некоторых различий между обучением родному и иностранному языку, можно вспомнить основную схему этого процесса. Прежде всего преподается грамматика, т. е. фонетика, морфология и элементы синтаксиса. Эта схема сложилась в незапамятные времена, еще в античности (а еще ранее в индийской традиции, имею в виду грамматику Панини), и потом кочевала из одной культурной традиции в другую. В наши намерения не входит обсуждать практические достоинства или недостатки этой схемы; какова бы она ни была, относительно удовлетворительные практические результаты построенное на ней обучение приносило и продолжает приносить. Для нас важно, что такое обучение создает представление о едином языке – особенно едином на низших уровнях (в фонетике и морфологии) и немного менее едином (в пределах пренебрежимой неоднородности) на более высоких уровнях (синтаксисе и лексике)<sup>3</sup>. Как мы видим, представления о едином стволе и стилистических привесках – это не результат того, как язык устроен, а повторение в новых терминах того, как нас языку учат.

Замечу, чтобы не было недоразумений, что при обучении родному языку происходит то же внушение рассмотренной схемы, что и при обучении языку иностранному. Это важно, потому что неверно было бы думать, что метафизической обработке подвергаются только те сравнительно немногие лица, которым понадобился иностранный язык. Отличие обучения родному языку от обучения иностранному состоит лишь в том, что при первом широко эксплуатируются имеющиеся у носителя знания того, чему его обучают. Обучая, эти знания приводят в порядок, т. е. укла-

---

<sup>3</sup> Ср. в этой связи замечания М. М. Бахтина: «Служа великим централизующим тенденциям европейской словесно-идеологической жизни, философия языка, лингвистика и стилистика искали прежде всего единства в многообразии. Эта исключительная “установка на единство” в настоящем и прошлом жизни языков сосредоточивала внимание философско-лингвистической мысли на наиболее устойчивых, твердых, малоизменчивых и односмысленных моментах слова – фонетических прежде всего моментах, – наиболее далеких от изменчивых социально-смысловых сфер слова. Реальное, идеологически наполненное “языковое сознание”, причастное действительному разноречию и разноразличию, оставалось вне поля зрения» (Бахтин 1975, 87–88).

дывают в ту же известную нам схему. В процессе этого обучения ученика поправляют – так пишут, а так не пишут, это правильно, а это неправильно. Тем самым обучающие классифицируют элементы речи на основные, принадлежащие основному ядру, и привески, которые допустимо употреблять лишь при особых обстоятельствах. Прескриптивный (внушаемый) характер понятия основного ядра виден здесь еще отчетливее, чем при обучении иностранному языку, хотя присутствует он при любом обучении.

После того как обучаемый получил основные сведения по той схеме, о которой говорилось выше, ему могут сообщить разные дополнительные данные. Эти данные могут включать сведения о диалектологии, например, такая-то форма в ионическом диалекте выглядит так-то. Аналогичным образом, как о частном отклонении, говорится о формах разговорной речи: в разговоре иногда что-нибудь опускается (например, личное местоимение или связка), сокращается или переставляется. К этому может добавляться информация о языке отдельных текстов: например, у Плавта встречается еще и такой оборот. Во всех этих случаях нам внушается представление о некотором основном ядре и производных от него отклонениях. Американский студент, собирающийся в вологодскую деревню, не учит «вологодский» язык, а довольствуется изучением русского (т.е. современного русского литературного языка) и какими-нибудь работами, в которых рассказывается об «особенностях» вологодского диалекта. Такой порядок обучения полностью соответствует тому, как учат русскому языку вологодского школьника: сначала его отучают от оканья (в литературной речи), а затем учат проверять безударные гласные, обращаясь не к своему диалектному произношению, а к правилам, необходимым при литературном аканье. Мы выучиваем латынь по Цезарю и Вергилию, а потом, читая Плавта, заглядываем в примечания – так что, если следовать за нашими познавательными процедурами, окажется, что Плавт искажал безупречный язык его потомков. Обучающийся овладевает «основным ядром», а с остальным, с подвесками, справляется по ходу дела. Вот это основное ядро, тот ствол, от которого отломлены ненужные веточки, и есть тот единый язык, к которому обращается современное языкознание.

Насколько проблематично это понятие, видно из самого его генезиса. Как мы видели, единство связано с элиминацией гетерогенности, в частности, например, с устранением диалектных элементов, с пониманием их как дополнительных особенностей, присущих одной из разновидностей языка. Однако у единой системы никаких дополнительных особенностей теоретически быть не может. В сосюровской концепции языковая система – это, в лаконичной формулировке Мейе, «un système rigoureusement agencé, où tout se tient» (Мейе 1936, 158; ср.: Тимберлейк 2002). Каждый элемент в этой системе определяется исключительно своими отношениями со всеми другими элементами: «язык есть система, все элементы которой образуют целое, а значимость одного проистекает только от одновременного наличия прочих» (Соссюр 1933, 114). При таком подходе вологодское оканье, скажем, никак не может рассматриваться как «особенность» вологодского диалекта, дополнительная по отношению к литературному аканью. Различие двух систем даже в одном каком-либо элементе – при

всеобщей связанности элементов – делает их полностью отличными друг от друга и – теоретически – компрометирует всю затею изучать одну законченную (замкнутую в себе) систему с помощью другой столь же законченной системы. Если такое все же, как мы знаем, возможно, это означает, что всеобщая связь не так всеобща, а однородность не так однородна, как представлялось Соссюру<sup>4</sup>.

Надо сказать, однако же, что описанная выше схема обучения работает все же не идеально хорошо, а следовательно, и восходящее к ней понятие единого языка и стилистических вариантов имеет лишь ограниченную применимость, что, вероятно, всем известно из собственного языкового опыта. Выученный в классе язык оказывается недостаточным и неадекватным при столкновении с «не вполне обычными» носителями этого языка или с «не вполне обычной» коммуникативной ситуацией. Здесь, конечно, можно возразить, что «не вполне обычные» параметры обуславливают употребление по существу отдельного языка, однако в этом случае мы упираемся в тот вопрос, с которым будем еще много раз сталкиваться, – что такое отдельный язык. Ситуация, тем не менее, вполне обычна, а до того как

---

<sup>4</sup> В этой связи стоит вспомнить ту критику соссюровских постулатов, которую можно найти у Роя Херриса и его последователей (см.: Девис и Тейлор 1990; Херрис 1998; Херрис 2003). Поскольку соссюрианская лингвистика основана на представлении о «законченном языке» («fixed code» – Херрис 1990, 29), т. е. абстрактном механизме, обеспечивающем адекватность акта коммуникации, предполагается, что участники этого акта (говорящий и слушающий) пользуются одним и тем же кодом. С помощью этого кода говорящий А кодирует свое сообщение (ту информацию, которую он хочет передать), а слушающий В декодирует его, извлекая из него в точности ту же информацию, которую вложил в него А (Херрис называет такое представление коммуникации «telementational process» и связывает с этим представлением соссюровские постулаты произвольности языкового знака и линейности сообщения – там же, 26 сл.). Если между кодом говорящего А и кодом слушающего В имеются расхождения, адекватная коммуникация между ними невозможна, поскольку любое отличие в силу принципа «tout se tient» означает глобальное различие кодов. Это обуславливает необходимое для соссюровского структурализма абстрагирование от всякого реального говорящего. Как пишет Херрис, «In this sense, languages take priority over speakers, and over speech: linguistics is thus envisaged as a science primarily concerned, both in general and in particular cases, with analyzing languages, which in turn are assumed to be the fixed codes underlying all successful speech communication» (там же, 30). В конечном счете подход, основанный на презумпции гомогенности и законченности языка, приводит к невозможности говорить об идиоме, возвышающемся над пространственными или социальными границами. Херрис замечает: «If linguistics deals with synchronic speech-systems (or *états de langue* in Saussurean terminology), and these systems are fixed codes, then they do not correspond to 'languages' in the everyday sense in which English, French or German are reckoned to be the languages typically spoken by most people born and brought up in, say, the United Kingdom, France, and Germany. These are *not* fixed codes, whatever else they may be, because they are manifestly not uniform. Smith's English may not be the same as Brown's English <...> Thus it appears *prima facie* either that linguistics cannot deal with languages like English, French, and German; or if it does it cannot be dealing with fixed codes» (там же, 35). См. об идеализации у Соссюра, постулирующей идеального говорящего в идеальной коммуникативной ситуации и исключающей социокультурные параметры, у Т. Гивона (Гивон 1995, 5–9).

стали специально обучать разговорной речи, была даже стандартной. Иностранцы с трудом воспринимают русский бытовой диалог, европейцы, приезжавшие в арабские страны, свидетельствовали о трудностях в восприятии разговорного арабского. Если во всех подобных случаях мы будем говорить о разных языках (скажем, стандартном и разговорном), нам придется существенно ревизовать свои представления о том, что такое один язык и его основное ядро. И неясно, где следует искать критерии, которые позволили бы нам остановиться в этом членении одного языка на несколько, и не придется ли нам говорить особо о языке Плавта и особо о языке Цезаря, а латынь сохранить лишь в качестве обозначения некоего неясного по своей конструкции суперязыка. Неясно, иными словами, где предел той компартаментализации, которая позволила бы уложить язык в единую схему, и тот инструментарий, которым мы располагаем, явно недостаточен для решения подобных вопросов. Как бы то ни было, во всех этих случаях схема основного ствола и периферийных привесок оказывается неадекватной, и нам в эту неадекватность нужно вникнуть, чтобы понять, что такое та история письменного языка, которой посвящена данная книга и которая традиционно называлась историей литературного языка. Начать это вникание можно с проблемы соотношения письменного и разговорного языка.

## II. Письменный язык и разговорный язык

Можно сразу же выделить два принципиально разных (в определенном отношении полярно противоположных) предмета лингвистического изучения: язык бытового общения и язык книжности (литературный). Язык бытового общения имеет тенденцию выпадать из сферы культурной рефлексии и не соотноситься с усвоенной нами схемой основного ядра и периферии. У языка бытового общения и книжного языка разные коммуникативные (функциональные) задания и в силу этого разная структура и разные механизмы эволюции. Хотя язык бытового общения может выпадать из сферы рефлексии, в определенном смысле он является основным, первичным, поскольку легко можно привести примеры таких социумов, у которых есть язык бытового общения, но нет книжности: таковы, например, австралийские аборигены или славяне в докирилло-мефодиевскую эпоху и т. д. В конце XVIII – начале XIX века происходит смещение филологических интересов, связанное с (пред)романтизмом, и филологи начинают заниматься не культурными (культивированными) языками, а языками как природным явлением. На первый план выходят разговорные языки (или то, что под ними тогда понимали), но дальше утверждения первичности некоего природного органического употребления концептуальное развитие не пошло.

Нужно иметь в виду, что если мы под бытовым общением имеем в виду только элементарный коммуникативный акт, акт элементарного обмена бытовой информацией (*сколько стоит картошка? – сто рублей*), то мы рассматриваем лишь небольшую часть языковой деятельности – практически для любого социума, сколь бы «примитивен» он ни был. Всегда присутствуют иные формы речевой деятельности, обусловленные иными

коммуникативными заданиями: повествование (нарратив), ритуальная речь (молитвы, глоссолалия – см. о формальных особенностях «религиозного» языка и о его особом месте в языковом сознании: Киан 1997) и т. п. Только в элементарной бытовой коммуникации можно, и то с некоторой натяжкой, рассматривать язык как чисто коммуникативное средство, не подвергающееся рефлексии (т. е. культурному осмыслению, погружению в память). Однако к столь же элементарным, как и бытовое общение, формам речевой деятельности относится и нарратив (повествование).

Повествование в своем начале предполагает конец, т. е. законченное развертывание, и, следовательно, рефлексия, относящуюся к форме, в том числе и к языковой форме. Рефлексия присуща и ритуальному использованию языка: всегда встает вопрос, как нужно говорить с высшими силами. Поскольку присутствует рефлексия, присутствует и соотношение языка с культурной памятью, т. е. основной момент, который выделяется в качестве характеристики литературного языка. При определенном усложнении социальной структуры рефлексивные формы языковой деятельности оказываются для сознания социума основными, и это выделяет их в особую сферу его культурного внимания, регламентации. Рефлексия, обуславливающая регламентацию, предполагает, вообще говоря, письменность (хотя в традиционных обществах существенна устная традиция с особой мнемонической техникой). Письменность дает возможность соединить начало и конец, т. е. эксплицировать имманентное свойство нарратива. В этом плане любая артикулированность сознания, изначально присущая всякой культуре, предполагает определенную фиксацию, то, что Ж. Деррида называл прото-письмом. Поэтому можно сказать, что в любом языке в силу его отнесенности к культуре присутствует некая протописьменная форма (ср.: Деррида 2000, 134–143 о прото-письме и с. 144 сл. с критикой Соссюра и его тезиса о первичности фонетической формы)<sup>5</sup>. Возникновение особого книжного языка (культурного стандарта) как предмета социальной регламентации, совпадающее, как правило, с возникновением письменности (или, возможно, следующее за ним), представляется в этой перспективе лишь осуществлением потенции, изначально заложенной в языке (и изначально связанной с проблемой властвования).

---

<sup>5</sup> Утверждение о вторичности письменной формы, конечно, отнюдь не специфично для Соссюра. Как только сравнительно-историческое языкознание начало заниматься звуковыми законами, письмо оказалось маргинализировано. История языка, по убеждению младограмматиков, их предшественников и их последователей, – это всегда его развитие в его звуковой форме. «Письмо, – по словам Л. Блумфилда (Блумфилд 1968, 35–36), – это не язык, но всего лишь способ фиксации языка с помощью видимых знаков <...> мы всегда должны предпочитать слову написанному слово звучащее». У Соссюра существенна полная немотивированность этого тезиса, поскольку язык строится из отношений и различий и материальная форма означающего не имеет никакого значения. Этот подход очевидным образом связан с принципиальным игнорированием языковой гетерогенности, в частности структурных различий письменного и устного языка в способах организации высказывания (ср. критику этих положений соссюровской теории у Р. Херриса – Херрис 1990, 38–42).

Различия в структуре литературного языка и языка бытового общения обусловлены тем, что у них разные коммуникативные задания (функциональные сферы): первый обслуживает культуру, т. е. сознаваемую традицию, второй служит ситуативной коммуникации. Это отражается прежде всего в синтаксисе и семантике. Н. С. Трубецкой, создавший основы теории литературных языков, разрабатывавшиеся затем Пражским лингвистическим кружком и последователями данного направления, писал об этом следующим образом:

Назначение настоящего литературного языка совершенно от-  
лично от назначения народного говора. Настоящий литературный  
язык является орудием духовной культуры и предназначается для  
разработки, развития и углубления не только изящной литературы,  
в собственном смысле слова, но и научной, философской, религиоз-  
ной и политической мысли. Для этих целей ему приходится иметь  
совершенно иной словарь и иной синтаксис, чем те, которыми  
довольствуются народные говоры. Конечно, в самом начале своего  
возникновения всякий литературный язык исходит из основ какого-  
нибудь живого говора, обычно городского, и иногда даже простона-  
родного. Но для того, чтобы действительно осуществить свое назна-  
чение, литературному языку приходится сочинять массу новых слов  
и вырабатывать особые синтаксические обороты, зафиксированные  
гораздо строже и определеннее, чем в народном говоре (Трубецкой  
1927, 57/1995, 166)<sup>6</sup>.

И синтаксис, и лексика письменного (литературного) языка могут быть названы искусственными в том смысле, что они являются культурирующим

---

<sup>6</sup> Понятно, что такое противопоставление литературного языка и говора представ-  
ляет собой существенное упрощение куда более сложной функциональной картины.  
Коммуникативные задания и письменного языка, и языка устного достаточно многооб-  
разны. Современное устное употребление включает, наряду с бытовым диалогом, и пуб-  
личную речь (в разных ее вариантах: политического выступления, лекции, проповеди), и  
монологический нарратив, и телевизионный репортаж, и телевизионные новости. Пись-  
менная речь охватывает, наряду с интеллектуальной прозой (ученым трактатом или ста-  
тьей), чат в интернете, дружескую переписку, деловые письма и документы, драмы и  
сценарии, легкое чтение и т. д. У всех этих разновидностей речевой деятельности свои  
языковые особенности, и для того чтобы вычленить из этого функционального разно-  
образия оппозицию письменных и устных текстов, нужно рассматривать иерархию раз-  
ных узусов, более или менее характерных для письменного (или для устного) языка;  
скажем, чат, хотя и относится к письменному языку, имитирует стратегии устной речи  
(как правило, в большей степени, чем, например, комедия) и поэтому стоит на грани  
между письменным и устным языком. Вместе с тем выбор стратегии подачи информации  
не зависит непосредственно от письменной или устной формы ее представления, но обу-  
словлен рядом более сложных факторов, таких как диалог или нарратив, спонтанно поро-  
ждаемый или обработанный текст, конкретное или абстрактное содержание (см. выде-  
ление подобных факторов при исследовании противопоставления письменного и устного  
английского языка; эти факторы обозначаются как 'Interactive vs. Edited Text', 'Abstract  
vs. Situated Content', and 'Re-reported vs. Immediate Style'. – Байбер 1986, 410). Прототи-  
пически устные и прототипически письменные тексты группируют эти факторы противо-  
положным образом, и именно полярное противопоставление этого рода, видимо, имел в  
виду Трубецкой, схематизируя оппозицию литературного языка и народного говора.

преобразованием материала разговорного языка и усваиваются в процессе особого обучения. Когда сегодня в школе выучивается, как строится простое предложение, какими бывают сложносочиненные и сложноподчиненные предложения и т. д., обучаемые часто не вполне отдают себе отчет в том, что таким образом их учат правильно писать, тогда как говорят они обычно по-другому. Как показали исследования по русской разговорной речи (Земская 1973; Лаптева 1976; Земская, Китайгородская, Ширяев 1981), для нее вполне обычны (допускаются свойственной этому узусу нормой) такие высказывания, как *Книжка, я вчера на кухне оставила, принеси, пожалуйста*. В письменном языке такие построения невозможны (противоречат норме). Соответствующая информация будет передана высказыванием типа: *Принеси мне, пожалуйста, ту книжку, которую я вчера оставила на кухне*. В первом случае структура фразы ориентирована на ситуацию разговора, когда понятно, о каких предметах идет речь, и нужно их только назвать (синтаксис таких высказываний можно назвать ситуативным – см. ниже, § V-1). Во втором случае у фразы правильная логическая структура: сначала названо действие, которое нужно совершить, потом его объект, потом дается характеристика этого объекта. Конечно, носитель современного русского языка может легко понять и без труда построить и вторую фразу, и он вряд ли припишет ей какую-либо сложность. Однако носитель языка, с которым мы обычно имеем дело, не только разговаривает, но и читает, т. е. привык к письменному языку. Он прошел школьное обучение, которое помогает ему избавиться от не книжных оборотов, когда он пишет сочинение или должен выступать на каком-нибудь собрании. О сложности освоения «литературного» способа изложения свидетельствует «неграмотное» письмо: неграмотность сказывается прежде всего в нестандартности синтаксических построений.

Письменные и устные тексты порождаются в разных условиях и рассчитаны на разное поведение адресата. Письменный текст обычно имеет выраженное начало и выраженный конец, и это определенным образом организует все изложение информации (риторические и синтаксические стратегии пишущего); устный (диалогический) текст, напротив, часто оказывается открытым, и у этого также есть свои риторические последствия.

Примеры различий в риторических стратегиях в целом достаточно известны. Так, скажем, для устной и письменной речи характерен разный порядок слов. В диалогической устной речи актанты (субъект, объект) часто помещаются перед предикатом, тогда как письменное изложение благоприятствует более «логическому» расположению элементов предикации: субъект, предикат, объект. Вот пример из записей разговорной речи:

[1] Она год вроде с этим мальчиком встречается, он ее на три года старше <...> Мама его ее обожает (Тимберлейк 2004, 458).

Представим себе, как это будет выглядеть в письменной форме, например, в письме:

[2] Она встречается с этим мальчиком, кажется, уже год, он старше ее на три года. Его мама ее обожает.

Можно сказать, что для разговорной речи предпочтительна такая стратегия, когда сначала в качестве темы указываются основные предметы



сообщения, а потом говорится о том, что с ними произошло или в каких отношениях они находятся. Как пишет Тимберлейк, «in speech, speakers are more inclined to view the world as relations among entities, expressed as bases before the predicate». Комментируя приведенный выше пример, он продолжает: «This inventory of entities is tied together by the predicate at the end, which states how these entities are related to each other» (там же). Для письменного изложения более характерно иное представление информации: сначала называется субъект (*она*), а то, что он производит с другими предметами сообщения, описывается как его свойство (*встречается с этим мальчиком уже год; старше ее на три года*). (Тимберлейк 2004, 457–458).

Эти явления имеют прямое отношение к обсуждавшейся выше проблеме единства языка. Мы можем задаться вопросом – в рамках типологии Джозефа Гринберга (Гринберг 1966) – является ли русский языком с преимущественным порядком SVO или языком с преимущественным порядком SOV, и ответ будет зависеть от того, имеется ли в виду письменная или устная разновидность этого языка. Вопрос, конечно, не в том, стоит или не стоит говорить о письменном русском и об устном русском как о двух разных языках – это схоластическая проблема, а в том, каков статус единого описания (грамматики) русского (или любого другого) языка. Обычное решение состоит в том, что русскому приписывается преимущественный порядок SVO, а SOV трактуется как коллоквиализм (т. е. как некоторое «стилистическое» отклонение). Это решение не учитывает той искусственной упорядоченности, которая свойственна письменному языку.

Искусственная (риторическая) упорядоченность возникает в силу того, что язык живет в развивающейся и усложняющейся культуре, и поэтому его риторическая организация представляет собой элемент культурного наследия, по преимуществу переходящий от одного «культурного» языка к другому. Она была, между прочим, с самого начала присуща синтаксису старославянского, с которым синтаксис русского литературного языка находится в преемственной зависимости. При этом синтаксис кирилло-мелодиевских переводов существенно отличался от синтаксиса любого из живых славянских диалектов эпохи христианизации славянства. Прежде всего это относится как раз к логической организации предложения. Логическая реорганизация синтаксических структур в древнейших переводах выступает одновременно как необходимое условие формирования обработанного письменного языка и как естественное следствие воспроизведения логической упорядоченности в синтаксисе греческих оригиналов.

Просто перенести в славянский текст синтаксис греческого или латинского оригинала было, конечно, невозможно, хотя все эти языки были родственными, и в синтаксисе у них было много общего. Однако можно было сохранить порядок слов, поскольку в славянском он был таким же свободным, как в классических языках, можно было найти подходящие славянские эквиваленты для греческих союзов и частиц, связывающих простые предложения в сложные. В тех же случаях, когда в разговорном языке соответствия не находилось, оставалось скопировать греческую синтаксическую конструкцию. Поэтому в церковнославянских переводах употребляются многочисленные синтаксические кальки, такие, например,

как двойной винительный, калькирующий Accusativus duplex греческого, или оборот **также** + инфинитив, повторяющий греч. оборот **ὥστε** + инфинитив (см. § V-4.1). Обработанный (риторически упорядоченный) синтаксис – это своеобразное культурное достояние, которое передается от одного культурного языка другому. Для того чтобы создать славянский эквивалент правильно организованной греческой фразе, можно было поставить, например, на место греческого глагола в неопределенной форме славянский глагол в той же форме, на место существительного – существительное (в том же падеже) и т. д. Например, слова Христа апостолам Андрею и Петру (Мк. 1: 17) переданы в славянском Евангелии так: «**Прїидитѣ восплѣдѣ мене, и сотворю васъ быти ловца человеѣкъмъ**» («Идите за мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами людей»); и неопределенная форма **быти**, и падежи существительных соответствуют здесь греческому тексту, в живой же славянской речи таких конструкций не встречалось. В результате подобной переводческой работы и возник особый синтаксис книжного славянского языка, который стал употребляться не только в переводных, но и в оригинальных сочинениях, повсеместно отличаясь от синтаксиса живых славянских диалектов. Конструкции этого рода составляли неотъемлемую часть церковнославянской синтаксической системы, и их последовательная трансформация приводит нас через несколько этапов к синтаксису современного русского литературного языка.

Итак, книжный язык принципиально отличается от разговорного (бытового), они разнородны и, как правило, не могут быть описаны как единая система. Это обстоятельство долгое время оставалось без внимания и в русском языкознании сделалось предметом филологической рефлексии сравнительно недавно, когда появились работы по разговорной речи, в особенности по синтаксису разговорной речи (Земская 1973; Лаптева 1976). Эти работы показали, что мы имеем здесь дело не с каким-то искажением литературного языка, чем-то, что выводится из него с помощью особых правил (эллипсиса, перестановки и т. д.), а с относительно автономной системой, требующей столь же автономного изучения. Речь не идет о «просторечии» или каком-либо социальном диалекте (субстандарте), а об общепринятой форме речевой деятельности, к которой причастны носители современного литературного языка. Правда, они склонны отрицать, что употребляют специфически разговорные конструкции (такое отрицание наблюдается повсеместно, когда носителям языкового стандарта предъявляют употребляемые ими субстандартные формы – см.: Лабов 1975), но наблюдения показывают, что они встречаются в речи носителей самых разных возрастных и образовательных групп.

В разговорной речи могут быть обнаружены категории и конструкции, которые отсутствуют в литературном языке. Так, например, в ней выделяется категория определенности, выражаемая препозицией местоимения 3 лица, выполняющего сходные с артиклем функции, ср.: *Она почему навага? Она где тарелка? Закройте дверь. – А кто ее держит дверь? Он где лежит сахар? Она еще не подсохла синяя кофта* (Лаптева 1966, 47; Земская 1973, 245). В разговорной речи употребляется инфинитив в конструкциях, в которых он зависит от существительного и служит для него определением,

указывающим на цель (как инфинитив в германских языках или герундий в латыни), ср.: *Папе надо кресло сидеть; Дайте мне бумагу писать; У нее нет стола заниматься; Где у вас полотенце руки вытирать? Зеркало в ванную повесить никак не соберусь купить* (Земская 1973, 265). Понятно, что трактовать такую конструкцию в качестве производной от конструкции литературного языка с союзом *чтобы*, полученную с помощью эллипсиса, было бы натяжкой, хотя учитель в школе, встретив такого рода оборот в сочинении ученика, отметит его как стилистическую ошибку и исправит, вставив *чтобы*. Таким образом, современный русский литературный язык и современная русская разговорная речь представляют собой относительно автономные системы (узусы). Видимо, нецелесообразно называть их разными языками, но дело не в терминах: мы имеем дело с несколькими нечетко определенными и схожими друг с другом языковыми системами (подсистемами), которые находятся в употреблении у одного языкового коллектива (и в этом смысле являются одним языком), но не могут быть сведены к единой системе. Разные системы употребляются при разных обстоятельствах (в разных коммуникативных ситуациях), т. е. эти различия функционально мотивированы. Мы можем именовать их разными регистрами русского языка, помня, что речь идет об автономных узусах.

### III. Языковые регистры и история языка

Сколько регистров может быть в языке? На этот вопрос трудно ответить, поскольку мы не располагаем формальными процедурами расчленения языка на регистры и обычно рассматриваем язык как единую структуру. Это представление, о генезисе которого было сказано выше, в истории языка приводит к неадекватным концепциям языковых изменений. Действительно, соссюрианское представление о языке как о единой системе, в которой все элементы соотносятся друг с другом (Соссюр), предполагает, что любое изменение – это изменение всей системы. Если язык – это «fixed code», при котором только и возможна коммуникация (см. выше), любое изменение – это катастрофа, делающая коммуникацию неосуществимой. В подобной концепции отсутствует всякое место для динамики кода, код абсолютно статичен (и отсюда соссюрская синхрония), происходит не изменение кода, а смена кодов, замена одного синхронного состояния языка на другое. Эта замена должна в принципе происходить одномоментно во всем языковом коллективе, поскольку, если у говорящего и слушающего неодинаковые коды, коммуникативный акт невозможен (ср.: Херрис 1990, 34 – отсюда и та соссюрская абстракция абсолютно однородного языкового коллектива, о которой говорилось выше).

Соссюр, конечно, говорит об изменениях в языке, но не проясняет их механизма, поскольку это было бы губительно для тезиса о законченности языка («fixed code») и гомогенности системы. Действительно, изменения в языке происходят именно от того, что коды участников коммуникации полностью не совпадают: слушающий В декодирует по-другому, чем кодирует говорящий А. Если речь идет о поколениях, то именно таким образом поко-

ление В создает грамматику, отличную от грамматики поколения А. Но это не означает, что коммуникативный акт не может состояться, что носители языка разных поколений обречены на взаимную глухоту. Понимание имеет место и при несовпадении кодов, хотя такое понимание не будет стопроцентным. Однако стопроцентное понимание – это ненужная фикция, не только не соответствующая никакой реальности (так как совсем одинаковых людей не бывает, а кое-как понимают друг друга даже и люди совсем разные, например носители разных диалектов), но и закрывающая возможность понять динамический характер языка (ср.: Лав 1990, 53–54). В самом деле, стимулом для изменения является именно непонимание, которое порождает языковое творчество, восполняющее неадекватность перевода при несовпадении кодов (см.: Лотман, I, 90–101)<sup>7</sup>. Из этого обстоятельства следует среди прочего, что не все в языке связано, что два кода участников коммуникативного акта могут кое-чем отличаться, но не быть абсолютно различными, и это компрометирует всю идею фиксированного кода.

Соссюр, постулируя гомогенность языка, лишает языковые изменения всякого смысла. Его концепция приводит к противоречию, поскольку остается неясным, зачем под влиянием какого-то имманентного непостоянства одно равновесное состояние (эквilibриум) постоянно преобразуется в другое равновесное состояние. У этого противоречия есть лишь два равно неудовлетворительных решения: либо мы исповедуем вполне скомпрометированную идею прогресса в языке, либо приписываем языку лишенную всякого смысла телеологию, в соответствии с которой он все время куда-то стремится, но никакой умопостигаемой цели у этого стремления нет (см.: Живов и Тимберлейк 1997, 3).

Это противоречие обусловлено тем стремлением представить язык как абстрактную систему, противостоящую речи, которое Соссюр оставил в наследие структурализму. Язык трактуется в отвлечении от человека и в отвлечении от общества. Соссюр говорит о социальной природе языка, но социальность сводится к произвольному характеру языкового знака, которая понимается как социальная конвенция. Социум выступает как творец этой конвенции, но творец невольный, безынициативный, наследующий конвенции своих предков, цепь которых скрывается во мраке веков, на язык переносятся представления Э. Дюркгейма о *conscience collective*. Творчество этого творца имеет, таким образом, призрачный характер. Язык существует

<sup>7</sup> Ср. формулировки Ю. М. Лотмана: «Коммуникация между неидентичными отправителем и получателем информации означает, что “личности” участников коммуникативного акта могут быть истолкованы как наборы неадекватных, но обладающих определенными чертами общности кодов. Область пересечения кодов обеспечивает некоторый необходимый уровень низшего понимания. Сфера непересечения вызывает потребность установления эквивалентностей между различными элементами и создает базу для перевода. <...> Сфера непересечения кодов в каждом “личностном” наборе постоянно усложняется и обогащается, что одновременно делает сообщение, идущее от каждого субъекта, и более социально ценным, и труднее понимаемым» (Лотман, I, 100). Креативное непонимание связано с отмеченной Бахтиным диалогичностью словесных произведений: переводя текст на «свой» язык, участник коммуникации в силу неполного совпадения кодов сохраняет реликты своего оригинала, т. е. чужого голоса.

вне носителя, а носитель – только внешний по отношению к языку оператор, имеющий к языку приблизительно такое же отношение, как кино-механик к показываемому им фильму. Язык внеположен человеку, и Соссюр это неоднократно подчеркивает: «Язык не есть функция говорящего субъекта, он – продукт, пассивно регистрируемый индивидом; он никогда не предполагает предварительной рефлексии» (Соссюр 1933, 38). Язык – это «нечто имеющееся у каждого, вместе с тем общее всем и находящееся вне воли обладателей» (там же, 42). Лингвистика и должна заниматься *la langue*, т. е. идеальной сущностью, в то время как *la parole* выступает лишь как материал для этих штудий, а сама по себе предмета исследования не составляет: «[И]зучение языковой деятельности распадается на две части: одна из них, основная, имеет своим предметом язык, т. е. нечто социальное по существу и не зависимое от индивида <...> другая, – второстепенная, имеет своим предметом индивидуальную сторону речевой деятельности, т. е. речь, включая говорение» (там же).

Однако это «отвлечение» языка от употребляющего его индивида представляется весьма неоднозначной операцией, результат которой слишком сильно зависит от выбора предпосылок занимающегося этим абстрагированием исследователя: он выкраивает для себя подходящую часть языковой деятельности, но самый процесс выкраивания покоится на сомнительных теоретических основаниях. К реально наблюдаемым языковым процессам данная операция имеет лишь отдаленное отношение и для их описания практически ничего не дает. Реальная языковая деятельность существенно более активна по отношению к «языку», чем виделось Соссюру, а носитель не просто медиум, стоящий между языком и речью. От него зависит, что именно реализуется в его речи, как происходит выкраивание той части языка, которая представляется ему подходящей для данной коммуникативной ситуации. Социальная природа языка реализуется прежде всего в этих решениях, принимаемых носителем, и в возникающей в результате неоднородности.

Наиболее очевидный случай вмешательства носителя в отбор языковых средств – это поведение билингвы (см.: Живов и Тимберлейк 1997, 5). Он не только выбирает, какую из систем реализовать, но и комбинирует их в единую суперсистему (или – чтобы не перегружать понятие системности – в единый конгломерат), отождествляя подобные части, а неподобные подсоединяя (приспосабливая) к этому отождествленному ядру. Скажем, у русско-английского билингвы русский и английский существуют не как две полностью изолированных системы, а как их частичное слияние: одинаковые фонемы подвергаются естественному отождествлению, множественное число идентифицируется с множественным числом и т. д. При этом обычно имеет место какое-то распределение ситуаций, в которых такой билингва употребляет тот или иной язык. Застывший продукт такого поведения – креолизированные языки, равно как и другие явления, обусловленные интерференцией языков.

Изменения, происходящие при интерференции, не имеют «структурного» характера, т. е. не обусловлены исходной структурой переживающего изменения языка. Направление этих изменений определяется не какими-то

внутренними параметрами языковой системы, а социолингвистическими параметрами контакта языков (см. Томасон и Кауфман 1988, 4 и многочисленные примеры, рассматриваемые в данной книге). Соссюрианские утверждения, относящие социальные параметры к *la parole* и тем самым исключаящие их из истории *la langue*, – это догматические построения, не поддающиеся никакому обоснованию фактическим материалом, ср. утверждение Д. Бикертон: «At the level of *parole*, social forces do have effect on language; at the level of *langue*, they hardly ever do so» (Бикертон 1980, 125). Столь же безнадёжны попытки спасти структуралистскую догматику, апеллируя к системным тенденциям в языке; такие попытки предпринимались, например, Р. О. Якобсоном (ср.: «a language accepts foreign structural elements only when they correspond to its own tendencies of development» – Якобсон 1962, 241); см. убедительную критику этого положения у Томасон и Кауфмана (1988, 17–19), указывающих на циркулярность подобных утверждений (поскольку тенденции развития – весьма манипулятивная рубрика – как раз и устанавливаются из того, что язык принимает, а что он отвергает) и приводящих примеры разных диалектов одного языка, развивающихся в разных направлениях под воздействием воспринятых ими «иностранных» элементов. Именно от носителей языка в ситуации интерференции, от степени их овладения чужим языком, от приписываемого ему престижа, от их понимания национальной традиции зависит, как много будет воспринято и как много будет отвергнуто. Именно эти социолингвистические факторы играют здесь решающую роль, тогда как структура языка и приписываемые ему тенденции развития влияют лишь на способ рецепции чужеродных элементов. Столкновение разных языков представляет собой, однако, частность, тогда как интерференция (*sui generis* «креолизация») – это универсальная черта языковой деятельности, реализующаяся и «внутри» одного языка, при сосуществовании регистров в рамках языковой деятельности одного индивида (или социума)<sup>8</sup>.

Стратегия языкового поведения носителя состоит в смене регистров, сосуществующих в его сознании не только в случае билингвизма, но и в тех условиях, которые мы привыкли описывать как монолингвизм. Принципиальной границы между билингвизмом и монолингвизмом нет, поскольку гетерогенность (соотнесенность с разными регистрами) присутствует у любого индивида и в любом языковом коллективе. Как замечает Дж. Санкофф,

<sup>8</sup> Ср.: Поливанов 1931 о фонологическом взаимодействии языков, употребляемых одним носителем. Об отождествлении у билингв того, что поддается отождествлению, и о влиянии этого на распознавание языка в коммуникации билингв, смешивающих два языка, см.: Гросжан и Соарес 1986. Эти авторы полагают, что «Instead of being the sum of two monolinguals, bilinguals are competent “native speaker-hearers” of a different type; their knowledge of two languages makes up an integrated whole that cannot easily be decomposed into two separate parts» (там же, 179); при этом «one language is rarely totally deactivated when speaking or listening to the other (even in completely monolingual situations)» (там же; см. еще: Парадис 1980 о том, что два лексикона билингв объединяются единым «conceptual store»). О проблемах сосуществования языков в мозгу ребенка-билингвы см.: Томасон 2001, 50–51; о проблеме переключения кодов в двуязычном речепроизводстве см.: там же, 52–54).

переход с одного языкового кода на другой в многоязычных языковых коллективах «does not differ qualitatively from the behavior of monolinguals (shifting of style or level)» (Санкофф 1972, 33). Проводимое обычно различие между билингвизмом и монолингвизмом опирается на представление о языках как законченных идеальных системах, о неадекватности которого мы уже говорили. Если же мы будем рассматривать языковую деятельность как конкретный социальный опыт, то мы подойдем к решению того вопроса, который был поставлен выше: сколько регистров может быть в языке? Регистров столько, сколько социально значимых выборов существует для данного языкового коллектива, столько, сколько типов коммуникативных ситуаций выделяет для себя данный языковой коллектив<sup>9</sup>.

Социальная природа языка лишь весьма абстрактным образом связана с произвольностью языкового знака, поскольку его конвенциональность относится не к установлениям какого-либо конкретного социума, а к наследуемой природе социального бытия в целом. Куда более непосредственно социальная природа языка реализуется в стратегиях языкового поведения (или риторических стратегиях), которые соотносят выбор регистра с коммуникативной ситуацией (устной или письменной), определяемой в терми-

<sup>9</sup> Пример зависимости узуса от ситуации речи можно найти в исследовании У. Лабова, посвященном социалингвистическому описанию звуковых изменений на острове Мартас Вайньярд (Массачусетс). Лабов показывает, что дифтонгам американского английского [ai] и [au] в говоре данного острова могут соответствовать [эi] и [эu], варьирующие с последними. Среди постоянного населения острова соотношение дифтонгов [эi] и [эu] в пропорции к [ai] и [au] стабильно возрастает от старших возрастных групп к младшим. У. Лабов делает отсюда справедливый вывод, что мы наблюдаем здесь фонетическое изменение в его протекании и что мотивировано это изменение социальными факторами – стремлением местных жителей продемонстрировать, что именно они, а не приезжающие отдыхать богатые горожане составляют настоящее население острова и что им он и принадлежит. Лабов не сообщает фактов, которые указывали бы на зависимость данной вариации от ситуации речи (состава участников коммуникативного акта), однако среди его примеров есть рассказ местного рыбака о своей замечательной собаке, в котором подобная вариация представлена. Он рассказывает (и эта часть представляет собой, видимо, нейтральное общедоступное повествование), что бывало бросал нож ([naɪf]) или носовой платок и собака за четверть мили приносила их; затем он воспроизводит свое обращение к собаке (которая может рассматриваться как своеобразный местный житель): «Ну-ка принеси! Где я потерял этот нож ([nəɪf])?» (Лабов 1963, 290). Таким образом, хотя бы в каких-то случаях вариация зависит от ситуации речи, от того, какой вариант языкового поведения выбирает говорящий.

Понятно, что подобные данные могут интерпретироваться по-разному, и мы можем продолжать говорить о системе, существующей в коллективном сознании (например, системе с дифтонгами [ai] и [au]), и об отдельных отклонениях от нее в языковой практике отдельных носителей или в отдельных речевых ситуациях (например, когда употребляются дифтонги [эi] и [эu]). Эти отклонения в таком случае понимаются как своего рода помехи, искажающие идеальное функционирование системы. Проблема, однако, в том, что исследователь в подобном случае конструирует систему по своему усмотрению, приписывая системность одной части материала и игнорируя другую его часть (порой не меньшую по объему). Независимость языка от языковой деятельности носителя возникает, тем самым, за счет активности исследователя (см.: Живов и Тимберлейк 1997, 5–6).

нах конвенциональных для данного языкового (культурного) коллектива. Набор ситуаций соотнесен с набором языковых регистров (соотнесение может быть неоднозначным), так что характер «полилингвизма» данного языкового коллектива оказывается его важнейшей культурно-исторической характеристикой. У «примитивного» общества, не обладающего письменностью, набор значимых ситуационных выборов будет, видимо, существенно более ограничен, чем у общества с письменными традициями; по-видимому, набор возможностей тем шире, чем в большей степени диверсифицировано общество (в плане разделения труда, профессионализации, разнообразия форм культурного капитала и т. д.). Эта характеристика имеет непосредственное отношение и к социальному членению общества (его иерархической структуре), поскольку для разных социальных групп доступен разный набор регистров, равно как и разный набор ситуаций. Очевидно, например, что набор ситуаций, с которым сталкивался римский сенатор, существенно отличался от набора, доступного несчастному колону; вместе с тем и образование, которое получал сенатор, подготавливало его к употреблению языковых регистров, соотнесенных с теми ситуациями (например, с ситуацией публичной речи), с которыми не сталкивался колон (о регистрах языка и связанных с ними социолингвистических параметрах см.: Финнеган и Байбер 1994; диахронический аспект в данной книге не рассматривается)<sup>10</sup>.

Наличие многих регистров как способа существования языка ставит вопрос о том, что такое грамматика (или языковая система). Регистр фрагментирует язык, например – тривиальным образом, – в регистрах письменной речи может отсутствовать фонетический уровень (для тех типов текстов, которые не предназначены для чтения), так что, переходя от представления о единой языковой системе к представлению о регистрах, мы с необходимостью отказываемся от тезиса о взаимозависимости всех элементов в языке. Точно так же в регистре, соотнесенном с повседневным

---

<sup>10</sup> Историко-культурные параметры этого типа легко поддаются сопоставлению, которое может иметь достаточно непосредственное значение для истории языка. Так, рассматривая структуру регистров в английской и русской языковой ситуациях XVII в., можно отметить, что в Англии этого времени канцелярский (юридический) язык и язык быстро развивающейся журналистики представляют собой два разных регистра, отличающихся и своими синтаксическими характеристиками, и лексикой, и способами построения текста. В Московской Руси, между тем, как показывают прежде всего «Вести-Куранты», такого противопоставления нет и начинающаяся журналистика использует канцелярский (приказной) язык, т. е. ситуации создания документа и фиксации текущей информации для публичного потребления (в русском случае, надо заметить, весьма ограниченного) в лингвистическом отношении не различаются (ср.: Шлосберг 1911; Майер и Пилгер 2001). Историко-культурные выводы, которые можно сделать на этом основании, достаточно очевидны. Не менее значимы и выводы социальные: «Вести-Куранты» адресованы той же социальной группе, что и деловая документация, и только эта группа обладает необходимыми лингвистическими навыками для освоения подобных текстов. Таким образом, в Москве XVII в. секулярная информация образует единое целое и подчинена социальной стратификации общества, тогда как в Англии эта информация дифференцирована и в существенных своих частях обращена к нескольким стратам читающего социума.



диалогом, и в регистре, соотнесенном с нарративом, могут различаться и многие синтаксические структуры, и система времен, и реализация видовых оппозиций (см.: Бенвенист 1966, 237–257), тогда как на фонетическом уровне между ними может иметь место тождество. При этом в каждом из регистров (в частности, при разных «режимах интерпретации» – см.: Падучева 1996: 258–261) ряд синтаксических структур и система времен будут связаны, а фонетические элементы существовать сами по себе, вне этих зависимостей. Можно сказать, таким образом, что у разных регистров разная грамматика, и о грамматике языка в целом мы говорим лишь условно, как о совокупности общих характеристик грамматик отдельных регистров.

Во многих случаях описание грамматики языка как целостности удобно, и нет основания этот способ отвергать. Однако, делаясь принципиальной установкой, стремление утвердить единую грамматику (например, с помощью понятия «канонической речевой ситуации», как это делает Дж. Лайонз – Лайонз 1978) побуждает игнорировать относительную автономность регистров, возможность их разного устройства, маргинализировать все то, что не свойственно некоему идеализированному устному языку. В частности, Лайонз противопоставляет каноническую речевую ситуацию («communication in face-to-face interaction» – Лайонз 1978, 637) всем прочим речевым ситуациям, в которых нарушается одно из трех условий каноничности (присутствие говорящего и слушающего, единство времени и единство места). Он приписывает непосредственному диалогу некую ценностную первичность на том основании, что «[t]here is much in the structure of languages that can only be explained on the assumption that they have developed for communication in face-to-face interaction. This is clearly so as far as deixis is concerned. Many utterances which would be readily interpretable in a canonical situation-of-utterance are subject to various kinds of ambiguity or indeterminacy if they are written rather than spoken and dissociated from prosodic and paralinguistic features which would punctuate and modulate them; <...> if the participants in the language-event, or the moment of transmission and the moment of reception, are widely separated in space and time; if the participants cannot see one another, or cannot each see what the other can see; and so on» (Лайонз 1978, 637–638)<sup>11</sup>.

Эти утверждения справедливы в том отношении, что во всех известных нам языках существуют средства, приспособленные для обозначения отношений, возникающих в непосредственном диалоге (прежде всего шифтеры). Такие аргументы вряд ли, однако, должны пониматься в том смысле, что диалогическая коммуникация первична в происхождении языков, а приспособление языковых средств для других функций (для нека-

<sup>11</sup> «Неканоничность» обуславливает прежде всего нестандартные отношения дейкиса и временной референции. Скажем, в повешенной на двери записке «I may be in room 2114» настоящее время является временем адресата сообщения, отличающимся от времени адресанта. В записке «Ушла на базу, вернусь через час» временная референция носит еще более проблематичный характер (прошедшее время – это время адресата; будущее время – это время адресанта, как об этом свидетельствует указание временного промежутка). Ср. также эпистолярное прошедшее в латыни.

нонических речевых ситуаций) принадлежит к какому-то последующему этапу их эволюции и отражается в маргинальности (или производности) этих языковых средств. Нарратив столь же универсален, как и диалог, и во всех языках существуют как средства, обслуживающие диалог, так и средства, обслуживающие нарратив. «Первобытная» же картина едва ли поддается реконструкции и в любом случае несущественна для описания реально существующих языков.

Итак, установка на единство языка (единство грамматики) и связанное с этим различие основного узуса (реализующегося в «канонической» речевой ситуации) и разнообразных маргинальных узусов приводит, в частности, к представлению о письменном языке как своего рода паразитическом наросте на языке устном (реализующемся в «неканонической» речевой ситуации). Если все уровни языка соединены необходимой связью, «естественный» язык должен обладать фонетикой, а язык без фонетики (или с «вторичной» фонетикой, фонетикой чтения) существует лишь как вторичное образование (как его и трактуют Соссюр, Сепир или Блумфилд, см. выше, ср.: Чейф и Теннен 1987, 383); эта вторичность обнаруживается и в том, что существуют языки (целостные системы) без письменности, но не существует языков без фонетики (конечно, ничто не мешает считать такими языками мертвые языки, но они вторичны в том смысле, что когда-то они фонетикой обладали). Между тем навыки письменного употребления и навыки устного употребления различаются и по характеру усвоения, и по своим системным качествам.

Если навыки устного языка усваиваются в процессе устной коммуникации, то навыки письменного языка – в процессе чтения. В силу этого в основе письменных и устных регистров языка лежит принципиально разный лингвистический опыт, и это само по себе обуславливает их относительную независимость друг от друга. Опыт устного языка по большей части ситуативен и диалогичен, опыт письменного языка предполагает, как правило, завершенность сообщения и возможность повторного обращения к нему. В соответствии с этим различается и построение устных и письменных текстов (их риторические стратегии), что отражается, как уже говорилось, и на синтаксисе, и на семантике, и на морфологии. Можно полагать, таким образом, что развитие письменности создает особый набор языковых регистров, практически не имеющий аналогий в бесписьменных языках (если не считать таких сфер устного узуса, как ритуальный нарратив). Историческая вторичность письменных регистров никак не означает их производности и несамостоятельности в языковой деятельности социума, обладающего письменной культурой.

Как уже говорилось, языковой опыт носителя компартиментализован. Как отдельный носитель, так и различные социумы внутри языкового коллектива сталкиваются лишь с какой-то частью узуса данного языка. Если говорить об устном узусе, представляется очевидным, что, например, у крестьянина образуется иной языковой опыт, чем, скажем, у члена столичной бюрократии. Они пересекаются лишь частично, и из этого следует, что для разных социальных групп существуют разные наборы регистров. Точно так же обстоит дело и с письменным узусом. Разные группы носителей

читают разные тексты, и у них как у читателей образуется разный языковой опыт. Поэтому они усваивают разные навыки письменного языка, так что и здесь создаются разные линии преемственности, определяющие разные наборы регистров – по крайней мере вплоть до возникновения единого полифункционального стандарта письменного языка (см. подробнее ниже, § X-7). Отсюда следует, что и изменение узуса происходит прежде всего в рамках отдельных регистров (линий преемственности). Поскольку социальные составляющие разных регистров могут не совпадать, их пользователи не образуют тесно взаимодействующего языкового коллектива; соответственно нет оснований думать, что в них действуют одинаковые механизмы изменений. Для истории языка категория регистра имеет никак не меньшее значение, чем для его синхронного состояния.

Между тем построение истории языка основывается на тех же представлениях о единстве языковой системы, которые были рассмотрены выше. В области диахронии, однако, к ним добавляется еще одна парадигма – парадигма органического развития языка, в соответствии с которой язык наделяется собственной жизнью, как бы независимой от его носителей, и обладает собственной живой историей. Эта парадигма, возникнув в романтическую эпоху Гумбольдта, Гриммов, Добровского и Раска, при несущественных модификациях оставалась актуальной и для младограмматиков, и для структуралистов. Понятно, что органическая история принадлежит практически исключительно устному языку, соотносящемуся с «природой» и народным духом, а не с цивилизацией. Поскольку, как мы уже знаем, языку приписывается единство и гомогенность, только устный язык и оказывается этим единым языком, а письменный язык – всего лишь его несовершенным отражением. Можно сказать, что – парадоксальным образом, в прямом противоречии со здравым смыслом – в системе наших представлений единый язык, устный, обладающий историей и укорененный в древности, оказывается проекцией в прошлое литературного стандарта со всеми его специфическими свойствами и письменной формой как основной реализацией.

В силу этого комплекса представлений «настоящие» изменения мыслятся только в устном языке, тогда как изменения в письменном языке имеют вторичный, производный характер, они лишь «отражают» изменения в языке устном. Внимание исследователей и сосредоточивается на этих отражениях, на отдельных отклонениях пишущего от орфографических и морфологических норм (ошибках), находящих соответствие в реконструируемых процессах в разговорном языке. Именно эти примеры собираются и анализируются в историях языка (в исторических грамматиках), тогда как, скажем, системные изменения орфографии как феномен письменного языка по преимуществу (и потому «искусственный») остаются вне сферы исследовательских интересов. Такой подход вступает в прямое противоречие с тем, как осуществляется овладение письменным языком. Если мы пишем так, как мы читаем, тогда изменения в письменном языке отражают в первую очередь изменения в нашем читательском опыте, а отражение изменений в устном языке может быть лишь опосредованным, вторичным.

Вместе с тем сами изменения письменного языка оказываются не менее «органическими», чем изменения языка устного. При формировании письменных навыков происходит то же освоение узуса предшествующего поколения, что и при формировании навыков устного языка. Точно так же носитель конструирует свою грамматику (модели порождения текста) на основе того употребления, которое он наблюдает у своих предшественников, и изменения появляются как результат этого конструирования (переосмысления). Механизм переработки опыта чтения в навыки письма ничем принципиально не отличается от механизма переработки опыта воспринятой устной речи старшего поколения в собственные речевые навыки. Если органичность присуща одному, то она присуща и другому.

Единственное существенное отличие состоит в том, что опыт, вовлеченный в освоение устного языка, – это узус предшествующего поколения (отцов и матерей), а опыт, вовлеченный в освоение письменного языка, – это узус, представленный в том корпусе текстов, который доступен осваивающему письменный язык. Поэтому узус, реграмматиализируемый (переосмысляемый) носителем при освоении устного языка, хронологически однороден, а узус, реграмматиализируемый при освоении письменного языка, может содержать несколько хронологических пластов. Это, конечно, сказывается на параметрах изменений в устном и письменном языке. Изменения в письменном языке могут отличаться более низкими темпами, поскольку старые пласты читательского опыта сдерживают его динамику, и обратимость оказывается для них куда более реальной возможностью, чем в языке устном, поскольку может иметь место переориентация с более поздних слоев на более ранние (в устном языке, понятно, старые слои исчезают бесследно). Эти отличия, однако, являются частными, тогда как механизм остается одинаковым, и поэтому нет оснований игнорировать изменения в письменном языке как «ненатуральные» и вторичные.

Существенно лишь иметь в виду, что ситуация с письменным языком в эпоху до появления языкового стандарта (литературного языка) была принципиально иной, чем та, к которой мы привыкли. Мы привыкли жить в условиях единой нормы письменного языка, которую нам внушают в школе и за соблюдением которой следят профессиональные ревнители правильного языка (редакторы). Такая ситуация во всех европейских обществах возникла сравнительно недавно. До этого общество, вернее, его грамотная часть, распадалось на несколько секторов, в которых имели хождение разные тексты и, соответственно, вырабатывались разные навыки письменного языка. Огрубляя, можно сказать, что аскет читал аскетическую литературу, летописец читал исторические сочинения, а приказной служащий – юридические кодексы и деловые документы. Поскольку люди пишут так, как они читают, эти персонажи были носителями разных лингвистических традиций, у них был разный письменный язык, однако в каждом случае он осваивался одинаково естественным образом – от навыков чтения к навыкам письма.

Таким образом, разным секторам грамотного общества свойствен разный читательский опыт, и в силу этого они преемственно воспроизводят разные письменные навыки. Можно сказать, что письменный узус фрагмен-

тирован по регистрам, каждый из регистров соответствует относительно автономной письменной традиции и связан с определенным типом коммуникации. Преемственность в рамках регистров осуществляется за счет того, что каждое следующее поколение пишущих приобретает свои письменные навыки на основе того, что было создано предшествующими поколениями, и само вносит вклад в копилку соответствующей традиции, которая затем формирует письменные навыки новой смены. Наше игнорирование этих механизмов языковой преемственности связано с тем, что мы живем в условиях существования языкового стандарта, в условиях единой общеобязательной нормы, которая и внушает нам идею единого языка и единого языкового развития. Возникает вопрос, что такое норма, какие существуют нормы и какой именно тип нормативности реализуется в современных языковых стандартах (стандартных или литературных языках).

#### IV. Языковые регистры и проблема нормы

Языковые регистры различаются по степени нормативности. Норма присуща любой языковой деятельности. Она представляет собой следствие социальной упорядоченности языковой деятельности, следствие того, что младшее поколение усваивает узус, свойственный старшему поколению, а старшее поколение обучает младшее своим языковым навыкам. Языковая деятельность, содержа в себе момент социальной преемственности, всегда связана с представлением о правильности, о поведении допустимом или недопустимом в данном социуме.

Индикаторами нормы могут быть исправление и гиперкоррекция. Как пишет Б. А. Успенский, «исправления – это реакция на неправильную речь со стороны обучающего социума. Гиперкоррекция – это реакция на правильную речь со стороны обучающегося индивида (т. е. реакция, обусловленная стремлением говорящих усвоить ту или иную норму)» (Успенский 2002, 10–11). Внушение нормы и ее освоение начинаются с раннего детства и представляют собой важнейший момент лингвистической социализации ребенка, включающей и овладение регистровыми соотношениями (ср.: Гарретт и Бакедано-Лопез 2002). Одновременно с освоением нормы осваивается и рефлексивное отношение к языковой деятельности. Я наблюдал двух детей (трех и четырех лет), которые, сидя под столом, оживленно спорили о том, кто из них правильно произносит слово *морковка*: один произносил картавое /г/, другой выговаривал /г/ как глухой /ж/. Их споры, очевидно, были ответом на настойчивые попытки родителей научить их правильному произношению, при этом овладение категорией правильности начиналось с того, что замечалась неправильность в речи соседа. Элемент лингвистической рефлексии присутствовал в их поведении вполне отчетливо.

Ригористичность нормы и способы ее навязывания для разных видов языковой деятельности различны. В наиболее эксплицитном виде это внушение нормы имеет место при формальном (школьном) обучении. Лингвистическая индоктринация выступает как часть индоктринации социальной. Ученику внушается лингвистическая норма и одновременно,

что общество распадается на две группы: культурных и некультурных, т. е. овладевших нормой и не овладевших. В обществе Нового времени владение языковой нормой оказывается главным признаком принадлежности к социальной группе «культурных», а само противопоставление получивших и не получивших образование – важнейшей для буржуазного сознания социальной дихотомией, вытесняющей средневековые социальные категории. Средневековое общество распадалось на социумы, выделявшиеся на разных принципах: в отличие от епископа, например, светский феодал мог не обладать образованием, говорить на диалекте и тем не менее принадлежать к одной из элитарных групп. Социальный этос Нового времени, возникающий в ходе цивилизационного процесса, сводит значимость происхождения к минимуму, а на первый план выдвигает признаваемые обществом индивидуальные достижения, к числу которых относится и воспитание (см.: Элиас 2001). Распределение регистров, как уже говорилось, соотносится с социальной стратификацией, а сам способ лингвистического членения общества значим в социокультурном отношении. Меритократическому обществу Нового времени нужен эталон достижений, и языковой стандарт принадлежит к числу таких эталонов.

Социальное функционирование языка в Новое время обуславливает разделение его элементов (фонетических, морфологических, синтаксических и лексических) на стандартные и субстандартные. Языковой стандарт – это важнейшая социокультурная институция меритократического общества, наряду с другими культурными институциями позволяющая воспроизводить отношения социального доминирования. Степень владения языковым стандартом соотносится со статусом индивида в социальной иерархии, так что владение языковым стандартом оказывается одной из важнейших составляющих того, что Пьер Бурдьё называет символическим капиталом (Бурдьё 1991, 43–65 – в данном случае вслед за Бурдьё можно говорить о лингвистическом капитале). Француз, не умеющий правильно построить фразу или сохраняющий диалектные черты в своем произношении, практически лишен возможности подняться на верх социальной лестницы, какую бы сферу публичной деятельности он себе ни избрал – политику, бизнес, культуру.

Социальные механизмы современного общества (общества Нового времени) обеспечивают воспроизводство символического капитала, вернее, воспроизводство тех понятий, в которых конструируется символический капитал. Ценность стандартного (литературного) языка оказывается общепринятой, т. е. принятой всеми, кто «идет в счет», всеми игроками на рынке символических ценностей, вне зависимости от того, находятся ли они в доминирующей или в подчиненной позиции. Скажем, во французском нормативным (стандартным) является увулярное (картавое) [r]. Эта норма навязывается обществу через механизмы культурного доминирования (прежде всего через образование и связанное с ним понятие образованности как необходимого условия социального успеха), признается обществом и служит одним из критериев для оценки символического веса говорящего и для принуждения к подчинению тех, кто правильным произношением не владеет, но тем не менее признает его символическую ценность. Как отмечает

Бурдые, «[t]he recognition extorted by this invisible, silent violence is expressed in explicit statements, such as those which enable [William] Labov to establish that one finds the same *evaluation* of the phoneme 'r' among speakers who come from different classes and who therefore differ in their actual production of 'r'» (там же, 52).

Важнейшим механизмом утверждения ценности языкового стандарта является образование. Существенную часть и школьного, и высшего образования составляет обучение «правильному» языку в его устной и письменной форме. Чем длительнее и элитарнее образование, тем, как правило, в большей степени ученик овладевает навыками обработанной речи. Сама длительность образования соизмерима с его элитарностью: обычно оно тем элитарнее, чем длительнее (и поэтому дороже). Овладение языковым стандартом может быть при этом не только результатом образования, но и условием его продолжения. Те, кто недостаточно овладел стандартным языком, могут – через систему оценок, экзаменов, тестов и т. д. – не быть допущены к продолжению образования, т. е. лишиться возможности дальнейшего накопления символического (лингвистического) капитала и тем самым – дальнейшего социального продвижения. Языковой стандарт, таким образом, играет роль социального регулятора, поддерживающего сложившиеся в обществе структуры доминирования.

Языковой стандарт взаимообусловлен с другими артефактами меритократического общества, обеспечивающими все ту же структуру доминирования. Во-первых, языковой стандарт соотносится с корпусом классической литературы на данном языке, с сочинениями образцовых авторов. Из этих текстов берутся примеры для школьных упражнений, они служат эталоном стиля для школьных и студенческих сочинений, в соответствии с этим эталоном преподаватели исправляют писания своих учеников, прививая им нормативные представления и навыки обращения с литературным языком. Таким образом, языковой стандарт функционирует в связке с канонем национальной литературы. Этот канон также представляет собой важный инструмент социального доминирования, индоктринирующий читающее общество и внушающий ему определенную систему ценностей, образцов правильного и неправильного поведения, категорий оценки и т. д.

Во-вторых, языковой стандарт обусловлен нормализаторской деятельностью специалистов по языку (филологов). Они издают нормативные грамматики (в том числе школьные грамматики, по которым обучаются «правильному» языку в школе) и составляют нормативные словари (толковые, орфографические, орфоэпические). Их суждения, обычно достаточно консервативные, непосредственно сказываются на характере символического капитала, который приобретается при обучении стандартному языку (Бурдые 1991, 57–61). Они маркируют лингвистические элементы, определяя их отношение к стандарту (например, в качестве «неправильных», вульгарных, просторечных, диалектных, устаревших и т. д.). Тем самым они выступают в роли законодателей языка, и эта социальная функция легитимирует академический истеблишмент как необходимый элемент меритократического общества. Этот истеблишмент, нередко в противоре-

чий с его самопредставлением, оказывается одним из институтов власти и принуждения.

Относительно собственно лингвистических черт, которые вовлечены в процесс нормирования и дифференцируют стандартное и нестандартное употребление (и тем самым устанавливают социальную иерархию среди носителей языка), нужно заметить следующее. Эти черты появляются там, где на лингвистическом пространстве данного языка (во множестве его территориальных и социальных диалектов) имеется вариативность (гетерогенность). При наличии такой вариативности, как мы знаем, постоянно и в большом объеме присутствующей во всяком языковом употреблении, один из вариантов объявляется стандартным (нормативным, правильным), а другой (другие) – девиантным<sup>12</sup>.

Выбор того или иного варианта в качестве стандартного может быть обусловлен рядом разнородных факторов (принадлежностью этого варианта к диалекту определенной престижной территории, предпочтением этого варианта в речи элитных социальных групп, предполагаемой древностью этого варианта и т. д.). В отдельных случаях, впрочем, этот выбор оказывается полностью произвольным, демонстрирующим императивный характер выбора как механизма социального принуждения. Стоит, однако же, заметить, что стандартизация обычно не уничтожает вариативность в пределах самого стандартного (литературного) языка: одни варианты подвергаются нормализации, тогда как другие оставляются без внимания и продолжают существовать в языковом стандарте. Решение вопроса о том, что требует нормализации, а что нет, также зависит от разнородных факторов и нередко основывается на предубеждениях и лингвистическом кругозоре нормализаторов.

С точки зрения системы языка признаки, дифференцирующие стандартное и субстандартное употребление, имеют, вообще говоря, случайный характер. Для французской фонологической системы в целом неважно, как реализуется фонема /г/ – в увулярном (картавом) варианте или в варианте альвеолярного дрожжащего; это лишь фонетические детали. Поэтому традиционная структурная лингвистика, занятая изучением системы языка, по большей части игнорирует его реальное социальное функционирование. Ее инструменты приспособлены к анализу единого языка в отвлечении от его социально дифференцирующей роли, т. е. к анализу абстрактного конструкта, работающего и изменяющегося по своим абстрактным законам (ср. о связи сосюррианского тезиса о единстве языка и его независимости от носителя и игнорирования нормативного аспекта языковой деятельности: Тейлор 1990). При изучении истории языка этот подход создает существенные проблемы, поскольку язык меняется не в силу системных внутрилингвистических факторов (абстрактных и имманентных для каждого

---

<sup>12</sup> Понятно, что этот случайный отбор признаков, противопоставляющих литературный и нелитературный языки, не имеет никакого отношения к сосюрровской системности. Поэтому не видно особого смысла в том, чтобы определять литературный язык как *la langue* в отличие от языка литературы, который определяется как *la parole*, как это делается у Б. А. Успенского (Успенский 2002, 7).



языка «законов изменения», существование которых проблематично, а механизм реализации остается неверифицируемым конструктом), а в результате взаимодействия различных социокультурных параметров его употребления. Язык и в его функционировании, и в его исторических изменениях слишком непосредственно связан с социальной и культурной историей, чтобы от них можно было абстрагироваться.

Теперь мы можем вернуться к проблеме литературного языка, основного ядра и периферийных подвесок. В ситуации формального школьного обучения нас обучают единой «культурной» нормой. Эта норма и есть литературный язык в обычном его понимании. Ср. то определение литературного языка, которое дает Б. А. Успенский: «Литературный язык связан именно с искусственной (вторичной) нормой, усваиваемой в процессе формального (максимально кодифицированного) обучения и реализующейся в авторитетной для данного общества письменности – литературе» (Успенский 2002, 15). Создаваемая, кодифицируемая и внушаемая таким образом норма мыслится как полифункциональная, т. е. реализуемая в любой ситуации, как общезначимая, т. е. равно необходимая для всех социальных групп (неграмотные исключаются), и предусматривающая стилистическое разнообразие как реакцию на сферы употребления. Такая концепция литературного языка очевидным образом социально мотивирована и возникает тогда, когда появляется эта мотивация.

Социальный фактор, провоцирующий подобные представления, можно видеть в формировании абсолютистского государства и присвоении языку одной из культурных функций государственного. Как мы видели, концепция литературного языка связана с концепцией власти и выступает как одна из реализаций этой последней. После победы Людовика XIV над фрондой Ш. Перро писал: «Il n'y a en France, que le pur François, ou pour mieux dire, que le language de la Cour, qui puisse estre employé dans un ouvrage sérieux; parce qu'il en est dans un Royaume, du language, comme de la monnoye; il faut que tous les deux pour estre de mise soient marquez au coin du Prince» (Перро 1964, 312). Единство государственного языка в абсолютистской монархии приравнивается к монополии на эмиссию денежных знаков. Различия регистров, как, вообще говоря, и вариативность в целом, начинают восприниматься как неправильность, и сама мысль о возможности такого языкового устройства выталкивается из нашего культурного сознания. Именно в силу этого литературный язык представляет собой, согласно определению Пражских тезисов, «le monopole et la marque caractéristique de la classe dominante» (Вахек 1964, 45).

Сформировавшемуся таким образом литературному языку свойствен специфический характер эволюции. Основной фактор в его изменениях – это сознательное нормирование, реализующее определенную лингвистическую идеологию. Что бы мы ни понимали под «обычными» изменениями в языке (к этому мы вернемся непосредственно ниже), изменения в литературном языке обнаруживают особый механизм и особую телеологию. Их основная цель – устранение той гетерогенности, которая присуща языку, фрагментированному по регистрам, создание того единого ядра, о котором мы говорили выше. Критерии, по которым те или иные варианты отсе-

каются или определяются как стилистически маркированные, могут быть различны. Во Франции XVII в., например, нормализация, проводившаяся *pouveaux doctes* и Французской академией (устроенной кардиналом Ришелье и призванной осуществлять один из аспектов его централизаторской политики), в качестве нормативного ориентира выставляла речь двора; то, что отклонялось от этого стандарта, рассматривалось как примета дурного воспитания, что, конечно же, было лишь метафорой потенциальной неложности. В других странах в качестве нормативного ориентира могли выступать другие системы или другие регистры, скажем, речь столицы, языковые характеристики литературной традиции, оценивающейся как общенациональная и основная (тосканский диалект в Италии), речь ученых знатоков языка и т. д. В любом случае это был процесс искусственного отбора, никак не диктовавшегося самим сложившимся узусом.

Приведу пример. В русском языке первой половины XVIII в. сравнительная степень употреблялась в двух формах – на *-яе* и на *-ѣе*; оба эти показателя были чужды стандартному церковнославянскому и, видимо, не имели четкого распределения в других регистрах. В разговорном языке Москвы, насколько можно судить по свидетельствам современников, также употреблялся как тот, так и другой показатель. Ломоносов фиксирует эту вариативность, но ясного выбора не делает, склоняясь, впрочем, к варианту на *-ѣе*. В своей грамматике он пишет: «Рассудительный степень производится от женскаго именительнаго, чрез перемѣну А на ЪЕ: *страшенъ, страшна, страшнѣе; волнистъ, волниста, волнистѣе*. Нерѣдко ради двух или трех Е, первые склады составляющих, вместо ЪЕ употребляется ЯЕ: *блекляе, свѣтляе*. Однако и *блеклѣе, свѣтлѣе*, равное или и лутчее достоинство имѣют» (§§ 217–218 – Ломоносов IV, 95). Сумароков предпочитает вариант на *-яе* и оспаривает мнение Ломоносова. Он пишет: «По чему бы надлежало писать *болѣе, прелѣстнѣе* и пр. а не *болея* и не *прелѣстняе*, я не знаю; мы сокращаем иногда таковыя речения, да и много мы таких вольностей к украшению нашего языка имеем, хотя тем и мало пользуемся; так говорим мы *милая* а не *милѣй, складная* а не *складнѣй* и протчее» (Сумароков, X, 45). И с этих позиций он критикует Ломоносова, теперь уже, окрыленный духом полемики, квалифицируя форму на *-ѣе* как неправильность. Разбирая ломоносовскую оду, он замечает: «Но в девятом стихе сей Строфы ни к чему не привязано, и не знаю для чего вставлено: *И зракъ приятнѣе рая. Приятнѣе* кроме вольности и ошибки не употребляется, а здесь в вольности ни какой нет нужды, и надлежало написать *приятняе*» (там же, 88). В конце века вариативность еще сохраняется, хотя авторитет Ломоносова определяет направление выбора. Автор «Кратких правил Российской грамматики» следует за Ломоносовым: «Рассудительный степень происходит от именительнаго женскаго, переменяя -а на -яе, а лучше на -ѣе, на пр.: *смирна – смирнѣе, бодра – бодрѣе, весела – веселѣе*» (Краткие правила 1780, 30). Именно такое предписание включается в грамматики, предназначенные для устроенных Екатериной II народных училищ, создающих институты общеобязательности утверждаемого языкового стандарта. А. А. Барсов в своей пространной грамматике занимает менее решительную позицию; и здесь в качестве основной он дает форму на *-ѣе*, однако пытается упоря-

дочить варианты и на дистрибутивном основании, разделяя позицию под ударением и безударную: «В сем окончании разсудительнаго, еѣтли на предпоследний слог ударяет сила в произношении, то ѣ часто, да может быть и правильное переменяется на я, вместо котораго, после шипящих букв пишется уже а на пр. *страшная, свѣтлая, скорая, сильная, горячая, жесточая, горчая, вязчая, ловчая*, и проч.» К этому он добавляет: «Употребляющая сию перемену там, где нет ударения на [пред]последний слог, весьма погрешают, пишучи на пр. *искренняя, изобильная* и пр.» (Барсов 1981, 482–483). В начале XIX в. устанавливается современная норма (см. Академическую грамматику 1802 г. – Российская грамматика 1802, 85), и Греч в своей грамматике без всяких оговорок фиксирует только один вариант *-ѣ* (Греч 1828, 26).

В. В. Виноградов, интерпретируя эту полемику, полагал, что Сумароков отстаивал «литературные права просторечия», а затем «в светско-дворянских литературных стилях конца XVIII в. форма на *-яе* была окончательно запрещена как “простонародная”» (Виноградов 1938, 110–111). В этой интерпретации нет ни малейшего правдоподобия. Не стану уж говорить о лишенном смысла термине «светско-дворянские литературные стили»; можно ли представить себе, скажем, «светско-недворянские литературные стили» и вообще понять, о каких именно текстах идет речь? Если мы даже решим, что эти стили представлены какой-то светской литературой (хотя бы сентиментальной повестью), очевидно, что к кодификации формы на *-ѣ* эти тексты прямого отношения не имеют и Академическая грамматика 1802 г., в которой осуществляется эта кодификация, нисколько на эти тексты не ориентировалась. Непонятно и то, почему бы Сумароков, идеолог дворянской элитарности, мог оказаться апологетом «просторечия» в противовес государственнику Ломоносову. Все подобные рассуждения – это недопустимая проекция современного стилистического сознания на тот период, которому эти категории были чужды. Основанием выбора было не пристрастие к «просторечию» или «велеречию», а сама настоятельность выбора, представление о необходимости единой языковой нормы как атрибута господствующей культуры (и о властных полномочиях того лица, которое отбирает варианты; отсюда пререкания законодателей языка). После того как выбор состоялся, отброшенные варианты воспринимаются как стилистическая аномалия (например, просторечие), и это определяет их употребление. Стоит отметить, что из разговорного узуса сравнительная степень на *-яе* полностью исчезает, в частности, и из разговорного языка социальных низов Москвы (которые обычно имеют в виду, когда говорят о просторечии). Это прямой результат нормативного диктата. В письменных текстах форма на *-яе* в единичных случаях может появляться – как архаизм или диалектизм, но в любом случае основная нормализаторская задача оказывается решена: один вариант приписан основному ядру, другой отброшен на «стилистическую» периферию. Задача эта решается вполне сознательно, и мы можем даже указать на конкретных лиц, которые были ею заняты.

Такой характер эволюции не свойствен в целом языку, фрагментированному по регистрам, хотя в отдельных регистрах нечто подобное и может

иметь место (см. ниже). Однако в средневековом узусе отсутствует задача унификации узуса в целом, варианты распределяются (по крайней мере, частично) по регистрам, как это можно видеть на примере окончаний прилагательных в им.-вин. мн., о которых мы будем говорить ниже (см. § XII-4; ср. еще: Живов 2004а, 408–451). В литературном языке современного типа характер эволюции находится в непосредственной зависимости от типа нормативности. Литературный язык нормирован в максимальной степени, и изменения в нем в большой степени сознательны и целенаправленны; напротив, узус, находящийся вне рамок литературного языка (например, специфика разговорной речи), игнорируется культурным сознанием и потому эволюционирует иным образом. До начала процесса унификации (перехода от регистров к основному гомогенному ядру) такой бинарной оппозиции не существовало, разные регистры характеризовались разной степенью нормативности и, соответственно, изменения, которые в них происходили, в неодинаковой степени были предметом лингвистической рефлексии. Прежде, однако, чем разбирать эти различия, мы обратимся к вопросу о том, каким образом вообще происходят изменения в языке.

## V. Языковые регистры и эволюция языка

Как уже говорилось, соссюрдовская структурная концепция языка как системы, в которой все элементы взаимосвязаны и определяются своими отношениями к другим элементам, непригодна для объяснения изменений в языке. Оказывается, что язык по непонятной причине принужден изменяться, причем изменяться целиком, поскольку изменение одного элемента влечет за собой изменение всей системы. Разговорный язык меняется от поколения к поколению, и совершенно непонятно, какая потребность в инновациях заставляет новое поколение говорить иначе, чем предыдущее.

Обычные объяснения в явном или неявном виде исходят из того, что язык – это идеальная система и изменяется он прежде всего в силу факторов, имманентных этой системе. Бывают, впрочем, и изменения другого типа, происходящие в результате внешних обстоятельств, – контакта носителей разных языков или диалектов (субстрат, суперстрат, заимствования и т. д.). Эти внешние силы вторгаются в эквilibrium языка и как-то его разрушают, так что языку затем приходится эквilibrium восстанавливать. Однако и в тех случаях, когда никакие внешние силы не действуют, язык все равно изменяется, производя перегруппировку отношений между элементами. В самом общем виде метафизическая цель таких изменений состоит в достижении внутренней идеальной упорядоченности, хотя характер этой упорядоченности в целом наука постигнуть и описать пока не в состоянии, а поэтому не в состоянии указать, в чем именно состоит цель нескончаемых изменений.

Такого рода концепции природы языковых изменений стоят за рассуждениями о симметрии, заполнении «пустых клеток» и принципе экономии (см. классическую работу Андре Мартине: Мартине 1960; ср.: Панов, I, 439–454). Так, например, слияние *b* с *e* нередко объясняют тем, что в результате

перехода  $e > o$  в положении перед твердыми согласными на месте  $e$  образовалась пустая или почти пустая клетка и в эту опустевшую клетку попал  $\hat{b}$ , чтобы не занимать лишнего места в фонологической системе и укрепить оппозицию твердых и мягких согласных. Не могу сказать, что это объяснение совсем ничего не объясняет, но оно во всяком случае ставит не меньше вопросов, чем дает ответов. Если симметрия так важна и пустые клетки требуют заполнения, то почему в течение нескольких столетий она (система) мирилась с существованием оппозиции  $\hat{e} - e$  при отсутствии аналогичной оппозиции у фонем заднего ряда? Если система принялась экономить где-то в XIV–XV вв., то почему она позволяла себе быть расточительной до этого? Б. А. Успенский остроумно предположил, что говорящий и слушающий экономят по-разному: экономия для говорящего в минимуме различий, для слушающего – в максимуме; каждый тянет в свою сторону, а система уравнивает конфликт интересов (Успенский, III, 5–33; ср. еще: Бивер и Лангендойн 1972). Так ли это и существует ли конфликт, а не метафора конфликта, – принимая во внимание, что один и тот же носитель и говорит, и слушает? Делает ли система что-либо подобное? На эти вопросы, естественно, нет и не может быть ответа, поскольку непонятно даже, на чем бы такие ответы могли основываться. Во всяком случае тезис о том, что изменения приводят к упрощению и что маркированное должно уходить из языка, уступая место немаркированному, до крайности манипулятивен, а если от манипуляций воздерживаться, опровергается множеством примеров (см.: Томасон и Кауфман 1988, 22–34).

Для того чтобы объяснить изменения в языке, надо обратиться к языковой деятельности, как мы ее наблюдаем. И если мы можем приписать стремление к экономии безответной системе, то, попытавшись приписать его носителю языка, мы увидим всю бессмысленность этого аргумента. Понятно, как Акакий Акакиевич экономил, не зажигая свеч, чтобы потом сшить себе шинель. Но совершенно непонятно, на какую выгоду может рассчитывать носитель, экономя, скажем, на различении гласных средневерхнего и средне-нижнего подъема. Во многих сферах человеческой деятельности принцип экономии выглядит абсурдно (например, в музыке), и языковая деятельность несомненно относится к числу таких сфер.

Когда мы постулируем то или иное изменение в языке, мы не представляем себе его осуществление как одномоментное преобразование. Так, скажем, когда мы рассматриваем изменение  $e > o$ , мы не предполагаем, что оно совершилось в один день или даже в одно поколение. Наш опыт побуждает нас думать, что процесс был постепенным: сначала изменение происходило в одних позициях, затем в других, в каких-то лексемах новый вариант возникал раньше, в каких-то позже и т. д. Чтобы связать это с нашим актуальным языковым опытом, напомним, как, например, проходит в русском языке утверждение иканья. Это относительно новое изменение (о его развитии в литературном языке с середины XIX по середину XX в. см.: Панов 1990, 47–48, 134–140), еще в конце прошлого века нормой литературного произношения было еканье, и академик Ф. Е. Корш называл своих учеников (Д. Н. Ушакова и Н. Н. Дурново) *питухами*, воспринимая их иканье

как нечто экстраординарное или, во всяком случае, ненормативное, с которым, однако же, ему пришлось «примириться» (Ушаков 1915, 23).

В настоящее время носители русского литературного языка икают, т. е. в предударных слогах после мягкой согласной различают всего две гласных – /i/ и /u/. Однако они икают непоследовательно, во всяком случае – и здесь я обращаюсь к собственному языковому опыту – я икаю непоследовательно. Я произношу *питух*, но *ремарка* – с мягким [r'] и гласным среднего подъема типа [э<sup>и</sup>], таким же образом я произношу слова типа *резонный*, *ревизия*, *деструкция*, *лексема* и т. д. (ср. о сходных отклонениях: Панов 1990, 73). Можно выделить факторы, обуславливающие сохранение еканья: [э<sup>и</sup>] сохраняется в необходимых, по большей части заимствованных, словах (ср. показательное различие: *дайте две пачки пигаса*, когда речь шла о марке сигарет, но *пегас* с [э<sup>и</sup>] в названии известного мифологического существа), в особенности перед морфемным швом в морфемах *ре-*, *де-*<sup>13</sup>. Я могу себе представить у своих собеседников и, предположительно, поймать у себя самого произношение типа *димократы*, однако произношение типа *диклассированный* или *диструктивный*, по моим наблюдениям, встречается существенно реже. Мне приходилось обсуждать эти явления с моими студентами, и они икали более последовательно, чем я. Они с удивлением воспринимали мои *резонный* и *лексема*, но были менее уверены в собственном произношении в случае морфемного шва (*деструкция/ диструкция*). Возможно, еще более молодое поколение пойдет дальше и будет икать с полной последовательностью. Только тогда изменение еканья в иканье и завершится окончательно, но процесс может пойти и в другом направлении, результат его никак не может считаться предопределенным. Так же, надо думать, обстояло дело и с изменением *e > o*.

Здесь возникает определенная теоретическая проблема. С одной стороны, мы имеем здесь дело с изменением в языковой структуре, с изменением языкового устройства – одна фонологическая система сменилась другой; изменение выступает как направленное (и отсюда возникает побуждение трактовать его как упрощение или достижение симметрии). С другой стороны, изменение оказывается постепенным, растянувшимся на несколько поколений, и в этот переходный период узус находится в противоречии со структурным принципом. Мы не икаем и не екаем, а сидим между двух стульев. Такая ситуация может трактоваться двояко. Как формулирует эту дилемму Алан Тимберлейк, мы можем считать, что изменение совершилось, когда иканье стало реализоваться во всех случаях. Тогда возникает вопрос, как произошел первый шаг, зачем стали икать в первом десятке слов, реализовавших иканье (Тимберлейк, в печати). Если изменение еще не произошло, то система оставалась екающей и икающее произношение отдельных слов ей противоречило. Зачем было нужно это нарушение системы,

<sup>13</sup> Ср. в недавно изданном «Большом орфоэпическом словаре русского языка» нередкие варианты типа [p'u]дупликация и (допуст.) [p'e]дупликация, [p'ue]инкарнация ([и<sup>е</sup>] обозначает икающий вариант) и [p'e]инкарнация, [p'ue]конверсия и (допуст.) [p'e]конверсия, а также [p'ue]дколлегия и (допуст.) [p'e]дколлегия (Каленчук, Касаткин, Касаткина 2012, 690–692).

которое явно усложнило соотношение системы и узуса? Нельзя же предполагать, что инициаторы иканья целенаправленно стремились к новой системе, передавая задачу ее построения грядущим поколениям.

Возможно другое решение, оно наиболее ясно излагается в работах Хеннинга Андерсена. Андерсен различает абдуктивные и дедуктивные изменения. Абдуктивные изменения возникают, когда новое поколение строит свою грамматику, основываясь на узусе предшествующего поколения и реинтерпретируя его. Изменение имеет место тогда, когда эта интерпретация отличается от интерпретации предшествующего поколения, «[t]he source of abductive innovations is to be found in distributional ambiguities in the verbal output from which the new grammar is inferred» (Андерсен 1973, 789; ср. также: Андерсен 1989). Например, изменение  $e > o$  в качестве отправного момента имело реинтерпретацию фонетических последовательностей типа  $[C'\xi\alpha\zeta C^\circ V^\circ]$ . Предшествующее поколение интерпретировало эту последовательность как согласный, за которым следует /e/ с дифтонгическим завершением, обусловленным твердостью следующего согласного (или задним гласным последующего слога). Новое поколение после падения и прояснения редуцированных и обусловленного этим процессом становления корреляции твердых и мягких согласных проанализировало эту последовательность иначе, восприняв  $[\xi\alpha]$  как переходный сегмент от мягкой согласной к задней гласной /ɔ/. В этот момент и произошло настоящее абдуктивное изменение – изменилась система (Андерсен 1978). В дальнейшем происходили дедуктивные, поверхностные изменения, приспособивавшие узус к новой интерпретации (например, сокращение первого компонента гласной и удлинение второго и т.п.); этот процесс можно изобразить как  $[C'\xi\alpha\zeta C^\circ V^\circ] > [C'\xi\alpha\zeta C^\circ V^\circ]$  (например,  $*led\tilde{e} > [l'\xi\alpha\zeta t^\circ]$  или, в более привычном виде,  $[l'\alpha t^\circ]$  (см.: Живов и Тимберлейк 1997, 9–10). Постепенность осуществления этого произошедшего глубинного изменения Андерсен объясняет тем, что узус требует преемственности, новое поколение не может сразу заговорить радикально отличным образом от предшествующего поколения. Поэтому оно пользуется правилами адаптации, которые сохраняют старое произношение (или грамматическую конструкцию) в ограниченном наборе случаев (например, еканье в необходимой лексике). От поколения к поколению эти правила сокращают объем своего действия, и в конце концов поверхностная реализация приходит в полное соответствие с глубинным анализом.

Это построение представляет собой попытку спасти систему как метафизический предмет, но у нее есть существенные недостатки. Как замечают критики подобного подхода, Алан Тимберлейк и Тео Веннеманн (Тимберлейк, в печати; Веннеманн 1984), спасенная таким образом система работает из рук вон плохо. В течение всего переходного периода, от того времени, как произошло абдуктивное изменение, и вплоть до полного исчезновения адаптивных поправок, узус в существенной своей части не соответствует системе, т.е. сосюрровская картина идеальной системы и порождаемого ею узуса реальной языковой деятельности не описывает. Возникает вопрос, нужна ли такая бездействующая система и стоит ли так описывать языковые изменения?

Мне представляется, что ответ должен быть отрицательным; можно полагать, что изменения происходят не в системе, а в узусе, т. е. в языковой деятельности как таковой. В таком случае нет необходимости приписывать языку некое имманентное стремление к изменению, никакая целенаправленная динамика языку не присуща. Вместе с тем, как уже говорилось, для языкового узуса имманентна вариативность (гетерогенность). «Она, видимо, может возникать в силу разных причин, но присутствует в любых условиях и при любом типе языка. Элементарный случай вариативности возникает в силу того, что речь разных членов языкового коллектива полностью не совпадает, и эти несовпадения могут становиться предметом оценки и подражания, что переводит их из разряда индивидуальных отклонений в разряд социально значимых черт языкового поведения. Каков бы ни был источник вариативности, она всегда обладает функциональным потенциалом, т. е. всегда возможно наделение вариантов определенной значимостью: они могут дифференцироваться семантически или стилистически, могут закрепляться в разных речевых традициях и т. д. Стремление дифференцировать варианты создает телеологический момент в языковой деятельности, однако этот момент существует не на уровне глобальных преобразований системы, а на микроуровне: узуса, ограниченного определенной ситуацией и определенной традицией» (Живов и Тимберлейк 1997, 13). Глобальные изменения возникают как итог многочисленных (и отнюдь не однонаправленных) частных изменений в использовании вариантов. Такого рода частные изменения прекращаются не тогда, когда достигают некоторой предустановленной цели, а когда один из вариантов окончательно выходит из употребления или закрепляется как примета какой-либо периферийной языковой традиции, противопоставляющей ее всему остальному языковому узусу. Таким образом, вариативность может рассматриваться как способ существования языка, а изменения – как конвенционализация использования тех или иных вариантов.

Вернемся к нашему примеру. Я полагаю, что еканье не заменилось на иканье, а возникла вариативность еканья и иканья, в нашем случае – литературного языка или московского говора – в силу внешних причин: влияния икающих диалектов. Таким образом, в ряде слов в предударном слоге оказалось возможным произносить как [э<sup>и</sup>], так и [i]. Первоначально, видимо, эта возможность реализовалась только в бытовой непринужденной речи, т. е. была приметой одного из регистров языка. Затем имела место экспансия такого произношения: обиходные слова стали произноситься с [i] в любых ситуациях. Такая ситуация в настоящий момент осмысливается как стилистическое варьирование: в бытовой лексике [э<sup>и</sup>] в предударных слогах не появляется, однако сохраняется в словах, обладающих выраженными культурными коннотациями. Что будет дальше, неизвестно. Возможно, что объем подобной консервирующей лексики будет от поколения к поколению сокращаться, и тогда через какое-то время мы сможем говорить, что процесс перехода к иканью завершился. Однако никакой предопределенности в таком развитии нет. Вариативность может сохраниться или процесс даже может пойти в обратную сторону (ср., например, о подобной реверсии в динамике вариативности [ъ<sub>и</sub> ~ ы<sub>и</sub>] во флексиях прилагательных и причас-



тий им. ед. м. рода – Панов 1990, 11), так что круг лексики с возможностью предупредительного [э<sup>и</sup>] расширится. Нет никакой необходимости анализировать такого рода изменения как инновации в системе, куда более продуктивно говорить в этом случае о языковой деятельности (узусе).

Теперь мы можем вернуться к проблеме регистров. Единство приписывается системе, узус заведомо фрагментирован. Отсюда следует, что изменения происходят в рамках какого-либо регистра. Переосмысление языкового материала, доставшегося нам от предшествующих поколений, имеет место в диапазоне тех преемственных связей, которые фрагментируют этот материал. Например, им. мн. существительных м. рода на *-а* (типа *учителя, шофера*) по-разному развивается в разговорной речи (отдельно в бытовой разговорной речи и в профессиональной) и в письменном языке, причем процессы в письменной речи отнюдь не сводятся к тому, что в них с некоторой задержкой отражается динамика разговорного языка; в ней возможно свое переосмысление и свое развитие (ср.: Зализняк 2002а, 478–526; там же и литература вопроса). Таким образом, письменный язык в своей эволюции относительно автономен и не зависит непосредственно от разговорного. Это тот опыт, которым обладаем мы, в наше время. Представляется правдоподобным, что в предшествующие эпохи, когда язык был фрагментирован по регистрам, такая же относительная автономия была свойственна каждому из регистров.

Опыт, усвоенный из текстов (письменных или устных), созданных предшествующими поколениями, существует в привязке к типическим коммуникативным ситуациям. Его компартиментализация, однако, не означает, что части, на которые он распадается, существуют как законченные и замкнутые системы. Наряду с вектором, уходящим в прошлое и определяющим связь речевой деятельности носителя с традициями определенного регистра, имеется и другой вектор, синхронного порядка, идущий от более динамичных частей его языкового опыта к менее динамичным частям, и именно взаимодействие этих двух составляющих определяет эволюцию узуса в каждом из регистров.

Разные регистры располагают обычно разными совокупностями вариантов или – при тождественности этих совокупностей – наборами с разными статистическими параметрами вариантов (см. о морфологических вариантах, наиболее показательных в данном отношении: Живов 2004а, 15–21). Пропорции употребления вариантов в каждом из регистров отражают целый спектр факторов. Первый и важнейший из них – это преемственность. Пишущий воспроизводит тот узус, который он находит в усвоенных им текстах с аналогичным коммуникативным заданием; воспроизведение не буквально, оно сопровождается переосмыслением. Характер переосмысления зависит от коммуникативной установки регистра (иными словами, от его культурного статуса). Давление традиции (не только собственно языковой, но и социокультурной) может быть большим, как, например, в случае богослужебных текстов или канцелярских документов, и меньшим, как, например, в случае исторического нарратива или частного письма. Чем слабее давление традиции, тем больше свобода переосмысления. Эта свобода приводит, в принципе, к тому, что варианты, присутствующие в

разных сегментах языкового опыта пишущего (в частности, в его разговорном языке), будут расширять сферу своего употребления за счет вариантов, специфичных для отдельных регистров. Наличие многорегистровых вариантов в текстах, которые осваивает пишущий, служит прецедентом для дальнейшего употребления; при этом то, что в начале было окказиональным вариантом, может стать вариантом вполне употребительным, а через несколько поколений пишущих даже и господствующим. Такую эволюцию узуса можно называть естественной (самопроизвольной). Эта естественность никак, впрочем, не означает приписывание языку некоторой телеологии, имманентной для самой языковой системы.

Естественная эволюция – это не единственный фактор, определяющий изменения в параметрах вариативности. Если для определенного регистра поддержание традиции выступает как сознательное требование, пишущие стремятся естественной эволюции противодействовать. Это благоприятствует употреблению вариантов, специфичных для данного регистра. Для этого пишущему нужны нормализационные решения, регулирующие употребление вариантов. При отсутствии нормативных грамматик и институционализованного обучения языку эффективность подобных решений остается чаще всего ограниченной, но тем не менее влияющей на характер вариативности. На характер вариативности может воздействовать и степень «цитатности» порождаемого текста, стремление автора архаизовать свой узус, обозначить соотнесенность с определенными культурно значимыми текстами или традициями. Определенная часть употреблений может быть объяснена как проявление сознательной или бессознательной интенции автора, связанной с этими частными факторами, и микроанализ текста позволяет выявить значимые фрагменты этого типа<sup>14</sup>. Впрочем, наследуемая традиция выступает как наиболее важный фактор, и именно в силу этого внутри отдельных регистров употребление вариантов оказывается относительно однородным. Перемены в распределении вариантов определяют динамику узуса: отдельные инновации входят в моду и вызывают подражание, другие остаются допустимыми вариантами, третьи, наконец, исчезают. Отдельные элементы могут заимствоваться из одной традиции в другую, и это может быть обусловлено социальными характеристиками взаимодействующих традиций (традиция-донатор обладает большим престижем). Из одного регистра в другой могут переноситься принципы нормирования, когда вариативность, существовавшая в одном из регистров, на фоне упорядоченности другого начинает восприниматься как ущербное свойство этого

---

<sup>14</sup> Такие фрагменты могут быть описаны с помощью бахтинского понятия чужого слова. Структуралистская методика анализа текста (полевого материала) предусматривала устранение подобных фрагментов из основного исследуемого корпуса, поскольку они не порождены той системой, которая генерирует собственный текст данного носителя. С нашей точки зрения, никакого «собственного текста» вообще нет, носитель пользуется наследуемым языковым материалом, всегда сохраняющим определенный отпечаток (социокультурные ассоциации) предшествующих употреблений. Речь может идти только о большей или меньшей выраженности в каждом из фрагментов цитатных интенций носителя.

регистра, требующее пересмотра. Так, например, обстоит дело с нормированием в языке ряда исторических (летописных) сочинений в конце XVII в. Поскольку что-то из явлений этого рода постоянно происходит, язык находится в непрерывном движении, однако это движение разлагается на множество частных эпизодов и не обнаруживает никакого «предустановленного» замысла.

## VI. Языковая ситуация древней Руси

Как следует из того, что говорилось выше, понятие литературного языка в его современном понимании плохо подходит для описания языковой деятельности других обществ и других эпох. Литературный (стандартный) язык (языковой стандарт) – это явление Нового времени. Образование литературного языка в современном смысле – это позднейший процесс, связанный прежде всего с унификацией регистров, реликты которых сохраняются в стилистической вариативности. Литературные языки, будучи согласно уже цитировавшемуся определению Пражских тезисов «*le monopole et la marque caractéristique de la classe dominante*» (Вахек 1964, 45), характеризуются полифункциональностью, общезначимостью, кодифицированностью и дифференциацией стилистических средств. Забегая вперед, можно сказать, что именно эти черты и приобретает русский литературный язык нового типа в продолжении XVIII – начала XIX века (ср.: Кайперт 1999; Живов 2002а). Фрагментированность средневекового узуса, при которой каждый из регистров обладает специфическим набором языковых средств, сменяется полифункциональностью и общезначимостью, когда единая норма навязывается всем «культурным» членам языкового коллектива и текст (во всяком случае, письменный) производится в соответствии с этой нормой вне зависимости от коммуникативной ситуации (полифункциональность). Начиная с Петровской эпохи, старые регистры письменного языка вытесняются на периферию языковой деятельности, что знаменует их постепенное отмирание – для одних полное (приказной язык и гибридный церковнославянский), для других частичное (стандартный церковнославянский, остающийся в употреблении лишь как язык богослужения). С конца 1720-х годов начинается кодификация этого литературного языка, отбирающая языковой материал из уходящих в прошлое письменных традиций, систематизирующая его и формирующая единую норму нового литературного языка. Тот языковой материал, который остается за рамками этой нормы, во многих случаях не полностью выводится из употребления, а сохраняется в качестве дополнительных вариантов (гетерогенность); эти варианты получают стилистическую нагрузку, как правило, несущую на себе отпечаток той письменной традиции (и связанных с нею коммуникативных ситуаций), к которой они восходят. Так у нового литературного языка появляется стилистическая дифференцированность.

Таковы общие очертания процесса формирования русского литературного языка нового типа, который, впрочем, лучше было бы именовать просто русским литературным языком, поскольку в допетровскую эпоху

литературного языка в том понимании, которое было намечено выше, просто не существовало<sup>15</sup>. То, что языковая ситуация древней Руси отличается от современной, было ясно еще до того, как была сформулирована теория (современных) литературных языков. В чем именно заключается ее специфика, однако, не было ясно. Появлялись различные теории, конструировавшие эту специфику, и различные их положения становились предметом полемики. То, что языковая деятельность, запечатленная в древних восточнославянских памятниках, не была однородной (как это представляется, когда речь идет о письменности при функционировании единого литературного языка), было достаточно очевидным. Однако объяснить и описать ее можно было по-разному. Все эти описания стремятся тем или иным образом привести эту наблюдаемую гетерогенность в соответствие с представлениями о единой языковой системе и девиантных узусах, однако выбирают для этого разные способы.

Первое объяснение, которое лежало на поверхности, апеллировало к тому факту, что восточные славяне получили письменность от южных славян. Язык этой письменности, церковнославянский, отличался от того языка, на котором говорили в этот период восточные славяне. Понятно, что разговорный язык восточных славян для периода освоения ими письменности непосредственно нам неизвестен. Поэтому ученые, говоря о языке восточных славян, имели в виду свою реконструкцию этого языка, результат исследований по сравнительно-историческому языкознанию. Поскольку сравнительно-историческое языкознание занималось преимущественно фонетикой и морфологией, внимание было сконцентрировано в первую очередь на фонетических и морфологических различиях восточнославянского и церковнославянского, который понимался как южнославянский язык. Как ясно из того, что говорилось выше, отличия церковнославянского от восточнославянских говоров отнюдь к этому не сводились, поскольку церковнославянский был специфически книжным языком (в своей основе восходившим к кирилло-мефодиевским переводам), а восточнославянские говоры до появления письменности были представлены лишь разговорным узусом. Этот функциональный аспект, однако, для ученых XIX – начала XX в. оставался в тени, тогда как на первом плане был аспект генетический.

В генетическом аспекте церковнославянский и восточнославянский воспринимались как два разных языка. Поэтому языковая ситуация,

---

<sup>15</sup> Такой точки зрения придерживался А. В. Исаченко, полагавший, что «русский литературный язык в современном понимании этого <...> термина возникает лишь в течение XVIII в.» (Исаченко 1976, 297; ср.: Кайперт 1988в, 315–316; Живов 1996, 14–15). Этот взгляд пока что не стал общепринятым. В. В. Виноградов, например, прилагал понятие литературного языка и к средневековью (Виноградов 1938, 5), и аналогичный подход лежит в основе концепции церковнославянско-русской диглоссии, развиваемой Б. А. Успенским (Успенский 1994; Успенский 2002). Определение «нового типа» как раз и служит для того, чтобы противопоставить литературный язык, формирующийся в XVIII в., тем средневековым идиомам, которым продолжает приписываться эта роль. Когда такое противопоставление установлено, вопрос приобретает терминологический характер и выбор обозначения не имеет принципиального значения.

сложившаяся у восточных славян после усвоения письменности, рассматривалась как двуязычие. Именно так – как церковнославянско-русское двуязычие толковал ее А. А. Шахматов. Подчеркивая интересовавший его генетический аспект, Шахматов называл церковнославянский язык «древнеболгарским» и при этом полагал, что он был быстро освоен культурной элитой Киевской Руси и стал употребляться как разговорный язык этой элиты. По словам Шахматова, «уже Киевская Русь претворила древнеболгарский язык в свой национальный. Русские люди стали писать и говорить на нем, приближая его в своем произношении к родному языку» (Шахматов 1941, 256 – стоит отметить этот акцент на фонетике). В результате русификации церковнославянского (древнеболгарского) постепенно – за семь или восемь столетий – образовался современный русский литературный язык. Шахматов, таким образом, прилагает к восточнославянской языковой ситуации XI в. знакомую ему модель двуязычия, т. е. двух разных замкнутых языковых систем, вступающих друг с другом во взаимодействие. Отношения восточнославянского и церковнославянского в Киевской Руси строятся в его понимании по образцу французского и англо-саксонского в Англии после прихода к власти Вильгельма Завоевателя или – что может быть ближе – по образцу латыни и французского в средневековой Франции. Церковнославянский, все более русифицировавшийся, обслуживал сферу культуры и был, в понимании Шахматова, русским литературным языком средневековой Руси, легшим в основу современного русского литературного языка. Виноградов, следовавший Шахматову, так и писал: «Русским литературным языком средневековья был язык церковнославянский» (Виноградов 1938, 5).

У этой концепции много недостатков. Она базируется на положениях, которые невозможно доказать и которые не кажутся правдоподобными (например, о том, что в Киевской Руси культурная элита начала разговаривать на церковнославянском). Она не находит подтверждения в фактах, которые мы ожидали бы обнаружить при двуязычии (прежде всего существование переводов с одного языка на другой). И она плохо объясняет тот характер лингвистической разнородности, который мы наблюдаем в дошедших до нас письменных памятниках. На один из недостатков этой концепции обратил внимание С. П. Обнорский. Он справедливо заметил, что многие тексты, возникшие в Киевской Руси, никак не могут трактоваться как церковнославянские, пусть даже и существенно русифицированные. К таким текстам он относил прежде всего Русскую Правду. Если языком культурной элиты был русифицированный церковнославянский, такие тексты появляться не могли. Далее Обнорский полагал, что русский литературный язык пошел от этих текстов, а наличие в нем многочисленных «славянизмов» объяснял тем, что в течение столетий он постепенно славянизировался (Обнорский 1960, 142–144). Эта концепция была сформулирована в тот период, когда (с середины 1930-х годов) советская идеология сделала поворот в сторону имперского патриотизма (наш литературный язык был русским со времен Адама и никакие иностранцы к его образованию отношения не имели) и отличалась явной тенденциозностью. На этом, как и на ряде других недостатков этой концепции можно сейчас не останавливаться, но стоит

отметить тот образец, на который сознательно или бессознательно ориентировался Обнорский. И он выстраивал отношения церковнославянского и восточнославянского по модели двуязычия, но двуязычия с иным функциональным распределением языков, чем то, которое постулировал Шахматов. Моделью для него могла быть, например, ситуация латинско-немецкого средневекового двуязычия. Церковнославянские тексты (Св. Писания, богослужения и т. д.) были для него текстами на «иностранном» языке (как латинские тексты в средневековой Германии), а наряду с ними существовали русские тексты, постепенно расширявшие сферу своего функционирования и вместе с тем усваивавшие черты «иностранного» языка, употреблявшиеся в качестве основного языка культуры в том же языковом коллективе.

Не выдерживает критики и эта концепция. Достаточно указать, что церковнославянскому у восточных славян не был присущ тот характер учебного мертвого языка, который очевидно присутствовал у латыни в Германии (Ирландии, Польше и т. д.); он не изучался ученым образом и не был языком, на котором ученые и клирики общались между собой (о коротком периоде конца XVII – начала XVIII в., когда нечто подобное, возможно, имело место, мы скажем особо, но это дела не меняет). Понимание (видимо, отнюдь не всегда совершенное) церковнославянского языка у восточных славян основывалось в конечном счете на владении родным языком, который соотносился, пусть и непрямо, с языком книжным. Что еще существеннее, церковнославянский у восточных славян эволюционировал, в какой-то мере отражая в своей эволюции развитие живых языков восточных славян, что, вообще говоря, с мертвыми языками не случается (средневековая латынь могла, конечно, отступать от классических образцов, но это, во всяком случае, не имело никакого отношения к эволюции живых языков тех нероманских языковых коллективов, которые ею пользовались). Сверх того, насколько мы можем судить по дошедшим до нас свидетельствам, церковнославянский не воспринимался как «чужой» иностранный язык (и не изучался, как иностранный язык), так что латинско-немецкая модель оказывалась совсем непригодной.

## VII. Концепция диглоссии

Полемика по этим вопросам продолжалась десятилетиями и сейчас еще не до конца затихла. Выход из обнаружившихся противоречий давала, как казалось одно время, концепция диглоссии. Диглоссия как особый тип языковой ситуации, отличный от двуязычия, была первоначально приписана не восточным славянам эпохи средневековья, а арабам и затем еще нескольким языковым коллективам. И возникло это понятие не в историческом языкознании, а в социолингвистике. В славистику его перенес Б. А. Успенский (хотя еще раньше о диглоссии у восточных славян говорил А. В. Исаченко, однако не объясняя в деталях, что именно он имеет в виду – см.: Исаченко 1974; Исаченко 1975). Успенский, так же как Шахматов и Виноградов, полагает, что русским литературным языком вплоть до XVII в. был церковнославянский, т. е. в своих истоках язык кирилло-мефодиевских

переводов. Однако он по-новому рассматривает отношения между церковнославянским и русским (восточнославянским) языком. Он указывает на то, что отношения между русским и церковнославянским были принципиально иными, чем отношения, скажем, между польским и латынью. Латынь никак не может называться польским литературным языком эпохи средневековья (или раннего средневековья), такое употребление термина литературный язык ощущается как абсурдное. Успенский справедливо замечает, что «между литературным и живым языком непременно должно иметь место то или иное взаимодействие» (Успенский 2002, 23), будь то отталкивание литературного языка от разговорного или ориентация на него. Такое взаимодействие имело место между русским и церковнославянским, но не между латынью и, к примеру, польским. По словам Успенского, церковнославянский «с самого начала вступает в тесные отношения с разговорным языком восточных славян и достаточно скоро начинает восприниматься как кодифицированная разновидность этого языка» (там же). Такое восприятие характерно для сосуществования языков при диглоссии, и именно эту модель прилагает Успенский к сосуществованию церковнославянского и диалектов восточных славян. Что же такое диглоссия?

Впервые о диглоссии как особом типе языковой ситуации, распространенном в разных языковых ареалах, написал в 1959 г. Чарльз Фергусон (Фергусон 1959). Фергусон рассматривал языковую ситуацию в четырех языковых коллективах: в арабском мире, где функционируют разговорные арабские языки и классический арабский, в Греции, где употребляется димотики и кафаревуса, в Швейцарии, где представлены швейцарский немецкий и Hoch Deutsch, и на Гаити, где употребляются гаитянский креольский, основанный на французском языке, и стандартный французский язык. В этих парах Фергусон первый язык обозначает как низкую разновидность, а второй – как высокую. Во всех этих случаях Фергусон обнаруживает ряд общих черт в соотношении высокого и низкого языков, которые отличают диглоссию от двуязычия (в таких стандартных случаях, как, скажем, отношения английского и французского в Квебеке).

Наиболее явной спецификой этих отношений является функциональное дополнительное распределение языков: в одних ситуациях носитель должен употреблять один язык, в других – другой. В распределении функций между языками просматривается определенная закономерность. Можно сказать, что низкий язык употребляется в ситуациях бытового общения, а высокий – в ситуациях формальных. Фергусон приводит небольшой перечень таких ситуаций, отмечая, какой из языков должен в них употребляться:

<i><b>Ситуация</b></i>	<i><b>Тип языка</b></i>
Проповедь в церкви или мечети	выс.
Указания слугам, портье, клеркам	низ.
Личные письма	выс.
Речь в парламенте, политическое выступление	выс.
Лекция в университете	выс.

Разговор в семье, с друзьями, коллегами	низ.
Передача новостей по радио	выс.
Передовая статья в газете	выс.
Фельетон в газете	низ.
Надпись под политической карикатурой	низ.
Поэзия	выс.
Фольклор	низ.

Распределение языков в зависимости от ситуации носит обязательный характер (характер социальной нормы) и осваивается членами данного языкового коллектива вместе с освоением языка. Стоит заметить, что то распределение разновидностей по ситуациям, которое приводит Фергусон, является типичным, но не единственно возможным. Так, например, Дж. Гейр приводит для сингальского несколько другое распределение, отличающееся от фергусоновского тем, что в проповедях, лекциях в университете и речах в парламенте используется разновидность, которую автор называет формальной разговорной (*spoken formal*) и которая, видимо, должна трактоваться как модификация низкой, а не высокой разновидности (Гейр 1986). Существенны, однако, не детали этих наборов, а сам принцип ситуационного распределения, соотнесенности языка с коммуникативной ситуацией, а не, скажем, с социальным статусом говорящего (см. подробнее: Хадсон 1991, 1–4).

Когда мы говорили выше о том, что студенты, выучившие арабский в своих университетах, сталкивались с трудностями, приезжая в арабские страны и не узнавая в речи, которую они слышали, выученного ими языка, мы имели в виду именно то обстоятельство, что в течение долгого времени преподавался исключительно высокий арабский (как кодифицированная и культурно значимая форма языка), тогда как в разговорном узусе употреблялся иной язык (регистр, идиом) – низкий арабский. Интересно и то, что говорившие на высоком арабском иностранцы вызывали недоумение, а часто и недоброжелательство у местного населения: они нарушали те социальные конвенции, которые представлялись аборигенам само собой разумеющимися. Подобные ситуации возникали отнюдь не только в арабских странах; то же самое повторялось в Бирме или на Цейлоне, где высокий регистр не только не употребляется в бытовом общении, но такое употребление может восприниматься как профанация. Когда в XVII в. знаменитый филолог Иов Лудольф (дядя Генриха Лудольфа, написавшего одну из первых грамматик русского языка) изучал геэз, беседуя с эфиопским монахом аввой Григорием, устное употребление геэза казалось Григорию удивительным и непривычным, поскольку, как сказано в жизнеописании Лудольфа, «*apud Habessinios, praeualente per vniuersum regnum Amharica dialecto, Aethiopica in solo scribendi vsu residet*» (Юнкер 1710, 49). Удивление, надо думать, возникло не в силу того, что Григорий поражался знаниям Лудольфа, а из-за нарушения привычных для Григория социальных конвенций. Любопытно, что у Генриха Лудольфа аналогичное наблюдение делается в отношении церковнославянского и русского языков: «*Adeoque apud illos [Russos] dicitur, loquendum est Russice & scribendum est Slavonice*» (Лудольф 1696, A2). Нельзя



исключить, что эфиопский опыт старшего Лудольфа сказался на готовности младшего опознать и описать нестандартную с европейской точки зрения ситуацию, которую он нашел в России.

Другим признаком диглоссии, постулируемым Фергусоном, является престиж высокой разновидности. Постольку, поскольку эта разновидность отделяется культурным сознанием от языка в целом (поскольку осознается граница между высоким и низким языком<sup>16</sup>), именно она считается более красивой и более подходящей для выражения серьезных мыслей. По-арабски высокая разновидность называется 'al-fus'h'a, т. е. красноречивейший язык. Во многих случаях только эта разновидность и фиксируется культурным сознанием, тогда как низкая разновидность как бы для него не существует. В одной из своих позднейших работ Фергусон рассказывает о том, как его арабский коллега настойчиво отрицал, что он вообще когда-либо пользуется низким языком, и при этом он тут же говорил по телефону на этом самом низком языке (ср.: Кайе 1994, 58–60; ср. в этом отношении о тамильском: Бритто 1991, 77–79). С подобным культурным сознанием исследователи связывают и тот факт, что «низкие» языки впервые, как правило, оказываются описанными иностранцами, тогда как сами носители не видят в этом языке особого предмета описания, отличного от высокого языка. Б. А. Успенский указывает в этой связи на первые описания русского языка (прежде всего грамматику Лудольфа); русские не осознавали потребности в таком описании; грамматика ассоциировалась для них с церковнославянским языком.

С престижем высокой разновидности связан и следующий признак Фергусона – вся литература соотносится с высокой разновидностью, и, в частности, именно на высокой разновидности написаны сакральные тексты, являющиеся основными для данной культуры (Коран у арабов, Библия у греков или амхарцев). Когда дело обстоит таким образом, престиж высокого языка связывается с сакральным статусом написанной на нем литературы, и в некоторых случаях атрибут сакральности может переноситься со священных книг на высокий язык как таковой. Замечу, что, когда книги религиозного канона написаны на третьем языке (как, например, книги

---

<sup>16</sup> Фергусон не уделяет этому параметру достаточного внимания и не рассматривает его как отдельную позицию в конструируемой им социолингвистической типологии. Очевидно, между тем, что различные особенности узуса и в еще большей степени особенности трансмиссии языковых навыков (характер обучения и т. п.) в существенной мере зависят от степени осознанности бинарной оппозиции двух идиомов. Разные языковые коллективы, языковая деятельность которых может описываться понятием диглоссии, по этому параметру явно различаются. Так, скажем, ниссайа-бирманский явно не осознается как отдельный идиом, он скорее воспринимается как стилистическая разновидность (см. об этом языке: Окелл 1965; о его возникновении и возможной связи с сингалскими саннаи см.: Прюитт 1992). В арабском (в период до модернизации и европеизации) осознание оппозиции двух языковых разновидностей представляется более выраженным. Наконец, гаитянский креольский или швейцарский немецкий явно представляются носителям отдельными языками, а не разновидностями французского или немецкого; они соотносятся не столько с отсутствием образования, сколько с местной идентичностью и поэтому обладают определенной культурной ценностью.

буддистского канона у цейлонцев или бирманцев, написанные на пали) и именно в этом оригинальном виде считаются священными, обычно существует их перевод на высокую разновидность, причем такой перевод (как в случае с ниссайа-бирманским) лежит в основе высокой разновидности (ср.: Окелл 1965).

Высокий язык отличается от низкого и характером освоения. Если низкий усваивается естественным путем (что бы это ни значило), т. е. с молоком матери (как *Muttersprache*), то высокий – более формальным и искусственным образом, в процессе формального (школьного) обучения. При определении диглоссии и для типологизации изменений диглоссийных ситуаций существенно, что никакой сектор данного языкового коллектива, хотя бы и элитарный, не владеет высоким языком как родным, не употребляет его в повседневной языковой ситуации (в частности, в разговоре с детьми) и не передает его в качестве родного следующему поколению (Кульмас 1987, 117; Шиффман 1997, 207; Хадсон 2002, 4–9); высокий язык – всегда выученный. Освоение высокого языка как части высокой культуры сказывается на языковом сознании (как и в рассмотренном выше случае современных литературных языков). Только этот язык и осознается как подлинно существующий, тогда как низкий язык, поскольку о нем вообще заходит речь, может восприниматься как нечто несамостоятельное и производное. Цейлонцы говорят о низком языке, что это «испорченный» язык (*a corrupted language*). Ситуация диглоссии (если существует такая особая ситуация) остается стабильной, пока сохраняются различия в характере освоения высокого и низкого языка. Если начинается обучение низкому языку, он получает определенный престиж, начинает функциональную экспансию и постепенно вытесняет высокий язык из употребления (об историко-культурных аспектах этого процесса и его связи с модернизацией, урбанизацией, демократизацией образования и перехода от «*ascribed to achieved social status*» см.: Хадсон 1991, 12–13).

Наконец, Фергусон говорит о кодифицированности как признаке высокого языка, противопоставляющем его низкому. В диглоссийном социуме грамматические описания существуют только для высокого языка. Как уже говорилось, низкий язык описывают только иностранцы. Грамматика, как и в случае современных литературных языков, носит прескриптивный характер. Низкий язык в сознании носителей существует как бы без грамматики. Сингальцы, например, говорят, что низкий сингальский легко выучить, «потому что у него нет грамматики». В отличие от двуязычия, диглоссия представляет собой стабильную языковую ситуацию и может существовать веками.

Это основные социолингвистические признаки диглоссии, как ее понимает Фергусон. Фергусон, однако же, добавляет к этому еще и признаки структурные, а именно большую сложность и/или архаичность в фонологии, грамматике и словаре. Он указывает, например, что высокий арабский сохраняет эмфатические согласные, утраченные в большинстве арабских разговорных языков; аналогичным образом, в высоком сингальском сохраняется оппозиция аккузатива и номинатива, отсутствующая в низком сингальском (Гейр 1992, 180–182; Паолилло 1997, 281). Структурные при-

наки, однако, плохо поддаются обобщению, поскольку трудно сформулировать, что такое «сложность» в языке, и сравнивать языки по степени сложности. Даже если мы как-то определим это понятие (как больший инвентарь элементов, как синтаксическую сложность, выражающуюся в более пространный периоде или возможности большего числа вставных конструкций), связываемые с ним феномены оказываются производными от (а) большей консервативности высокого языка и (б) его преимущественно письменной формы<sup>17</sup>.

Суммируя эти признаки, Фергусон дает следующее определение: «Diglossia is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the language (which may include a standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed variety, the vehicle of a large and respected body of written literature,

<sup>17</sup> Вопрос о том, какую роль должны играть структурные признаки в определении диглоссии, остается дискуссионным. Вообще говоря, основные параметры, характеризующие диглоссию, имеют чисто функциональный характер. Диглоссия, как подчеркивали многие исследователи, – это социолингвистический, а не структурный феномен (см.: Хадсон 2002, 15). Хотя в работе 1959 г. Фергусон говорит о необходимости существенных структурных различий между высокой и низкой разновидностями, позднее он признает, что никакого инструмента для измерения степени расхождения не существует и данные разных языков в этом отношении несопоставимы (Фергусон 1991, 220), и с сожалением признается в «the failure to make clear how far apart (or how close together) the high and low varieties have to be for a language situation to be characterized as diglossia» (там же, 223). По-видимому, высокая и низкая разновидность должны обладать генетической общностью (которая и позволяет говорить о них как о разновидностях «одного языка», хотя, как мы видели, и понятие «одного языка» структурному определению не поддается). Существенно, что в подавляющем большинстве ситуаций, которые описываются как диглоссийные, высокая и низкая разновидность находятся в близком родстве. Во всяком случае Фергусон полагает, что у носителей должна быть возможность рассматривать две разновидности как разновидности одного языка (что, надо думать, невозможно при отсутствии генетического родства), и поэтому считает, что схема диглоссии не может быть распространена на те ситуации, в которых «superimposed on an ordinary conversational language is a totally unrelated language used for formal purposes, as in the often-cited case of Spanish and Guarani in Paraguay» (Фергусон 1991, 223). По-видимому, существенна здесь не столько возможность для носителя языка игнорировать противопоставленность двух разновидностей (как уже говорилось, диглоссийные ситуации в разных языковых коллективах неодинаковы в этом отношении), сколько возможность хотя бы частичного понимания высокой разновидности на основе знания родного языка (см. о таком понимании у сингалцев: Де Сильва 1974). Вполне очевидно, что установить какой-то уровень структурной дифференциации, при котором понимание полностью отсутствует и диглоссия не может существовать (подобную задачу ставит, например, Дональд Уинфорд: Уинфорд 1985), представляется невозможным; не помогает в решении этой задачи и такое понятие, как «optimal relatedness», предложенное Ф. Бритто (Бритто 1991, 61). Особый случай представляет собой сосуществование древнееврейского и идиша у восточноевропейских евреев, иногда также рассматриваемое как диглоссия (см. обсуждение этой проблемы: Векслер 1971). Вообще, при каких-то особых обстоятельствах генетически неродственные языки могут, видимо, становиться диглоссийными партнерами, однако, как справедливо замечает А. Хадсон, «where diglossia indeed exists, it is likely to exist between two related varieties» (Хадсон 1991, 15).

either of an earlier period or in another speech community, which is learnt largely by formal education and is used for most written and formal spoken purposes but is not used by any sector of the community for ordinary conversation» (Фергусон 1959, 336).

В дальнейшем делались многочисленные попытки более четко сформулировать понятие диглоссии или пересмотреть его, так чтобы оно оказалось приложимо к тем или иным языковым ситуациям, не рассмотренным Фергусоном и в то же время не укладывавшимся в обычную картину двуязычия. Диглоссии посвящена очень обширная социолингвистическая литература, обзор которой явно выходит за рамки наших задач. Укажу лишь на работу Джошуа Фишмана (Фишман 1972), который считает возможным говорить о диглоссии во всех тех случаях, когда имеет место компартиментализация, т. е. соотнесение разных языковых систем (регистров) с разными ситуациями (репертуаром социальных ролей); двуязычие же реализуется в тех случаях, когда две системы могут конкурировать в рамках одной роли (ср. еще: Фишман 1980; взвешенную оценку подхода Фишмана можно найти в: Хадсон 1991, 7–13). Для него поэтому диглоссия не исключает двуязычия, а совместима с ним. Например, у восточноевропейских евреев до Первой мировой войны была диглоссия с древнееврейским (ивритом) в качестве высокой разновидности и идишем в качестве низкой, но вместе с тем было и двуязычие, в рамках которого эти языки конкурировали с польским, немецким, венгерским и т. д. Эта точка зрения любопытна для нас, поскольку ситуация распределения языковых разновидностей по разным социальным ролям рассматривается как почти универсальная (что совпадает с нашей интерпретацией языковых регистров), но в то же время диглоссия как историко-культурный феномен, который пытался обозначить Фергусон, теряет всякую определенность. Фишман полагает, что «rather than becoming fewer in modern times, the number of speech communities characterized by diglossia and the wide-spread command of diversified linguistic repertoire has greatly increased, in consequence of modernization and growing social complexity» (Фишман 1972, 141). Такая точка зрения игнорирует процесс лингвистической унификации, сопровождающий модернизацию общества и являющийся следствием своего рода культурного эгалитаризма, меритократического устройства, которое и приводит к возникновению языкового стандарта. В силу этого невыявленной остается специфика фрагментированной по регистрам языковой деятельности, свойственная обществам, не пережившим модернизации. Концепция Фергусона, при всех недостатках, была шагом к осознанию этой специфики и именно в этом качестве представляет существенный интерес для социолингвистической типологии, а отсюда и для истории языковой ситуации у славян.

Многочисленные ревизии понятия диглоссии, сформулированного Фергусоном, появляются в результате нечеткости и произвольности в его формулировках. Действительно, в качестве одного из основных признаков диглоссии Фергусон указывает дополнительное распределение разновидностей по социально значимым ситуациям. Такое распределение, однако, хорошо известно и в случае двуязычия, например, при сосуществовании языка завоевателей и языка аборигенов. Примеры бесчисленны, ср. русский

и языки аборигенов Сибири, испанский и индейские языки в Центральной Америке, английский и языки местного населения в английских колониях (во время колониального правления, но часто и после его окончания). Обычно два языка при двуязычии не равноправны (французско-английское двуязычие в Канаде представляет собой в этом плане скорее исключение или, по крайней мере, относительно редкий феномен), один из языков пользуется существенно большим престижем, чем другой, ср. английский и языки африканского населения в английских колониях в Африке, французский и англо-саксонский в Англии второй половины XI в., польский и украинский или польский и литовский в Великом княжестве Литовском в XV–XVI вв. и т. д. При таком неравноправном двуязычии письменность, а тем более литературная традиция могут характеризовать только один из языков, только один из языков может осваиваться в процессе формального обучения и быть кодифицирован.

Если исходить из чисто формальных параметров и не вдаваться в сложные и плохо типологизируемые свойства языкового сознания, диглоссия отличается от неравноправного двуязычия только тем, что при двуязычии престижный язык обычно в каком-то другом языковом коллективе функционирует как основной и полифункциональный (например, английский в Англии, т. е. в метрополии). В таком случае, однако, и ситуации в Швейцарии и на Гаити, которые Фергусон описывает в качестве образцов диглоссии, диглоссийными не являются<sup>18</sup>. Имеются и другие отличия тех языковых ситуаций, которые обобщает Фергусон, отличия, которые он в работе 1959 г. игнорирует. Например, на димотике всегда (еще с поздневизантийской эпохи) существовала письменность и даже литература (*belles-lettres*) (о проблеме византийской диглоссии см. ниже, § I-2)<sup>19</sup>, тогда как на низком арабском до периода модернизации никакой письменности не имелось. Можно сказать, что во всех четырех случаях, описанных Фергусоном, имела место гетерогенность узуса, не укладывающаяся в схему обычного двуязычия, однако конфигурация этой гетерогенности ни в одном из рассмотренных случаев не была идентичной. Это признает и сам Фергусон в одной из своих поздних работ: «The four cases I described are not identical; each one is

<sup>18</sup> Стоит, видимо, заметить, что по мере развития теории креолизованных языков исследователи, занимающиеся социолингвистикой, перестали рассматривать сосуществование гаитянского креольского и французского языков как ситуацию диглоссии (см. Вальдман 1988).

<sup>19</sup> В настоящее время ряд исследователей полагает, что греческая диглоссия (оппозиция кафаревусы и димотики) возникла только в XIX в. и не имела прямого отношения к диглоссии византийской. Однако и та лингвистическая ситуация, которая наблюдается в Греции в течение XIX в. (и в целом до 1976 г., когда димотика получила признание как официальный язык), плохо подходит под дефиницию диглоссии, в частности, в силу существования литературы на димотике и повторяющихся опытов кодификации этого языка и использования его в качестве языка науки. Ситуация в Греции XIX–XX вв. скорее напоминает ситуацию со «славенороссийским» языком в России XVIII в. (см. об этом § XII-3), а ценностные характеристики архаического языка обусловлены ролью «древности» (античности) в конструировании греческой национальной идентичности (см.: Франгудаки 1992).

quite different in some respects from the other three, though they have many features in common» (Фергусон 1991, 219). Выделение диглоссии как особого класса языковых ситуаций требует, видимо, учета не только лингвистических, но и историко-культурных параметров, связанных не со структурными характеристиками языковых разновидностей, а с языковым сознанием диглоссийного социума (см. опыт такого построения: Хадсон 2002).

### **VIII. Приложимость концепции диглоссии к языковой ситуации древней Руси**

В 1970-е годы был сделан ряд попыток приложить концепцию диглоссии к языковой ситуации древней Руси и на этом пути определить характер соотношения церковнославянского и русского, заводевший в тупик предшествовавшие исследования. Сама идея была впервые четко сформулирована Б. А. Успенским (Успенский 1976а, 93–94; ср.: Живов и Успенский 1975), однако первая попытка продемонстрировать пригодность диглоссийной схемы для решения рассмотренных выше проблем была предпринята Г. Хютль-Фольтер (Хютль-Фольтер 1978а). Эта первая попытка была несколько слишком прямолинейной; автор утверждал, что языковые отношения в древней Руси непосредственно соответствуют выделенным Фергусоном признакам. Это утверждение было оспорено рядом славистов, в частности, Д. Вортом (Ворт 1978/2006, 148–175), который указывал, что у восточных славян до весьма позднего времени не было формального обучения церковнославянскому языку (Ворт 1978, 375), что до XVI в. отсутствовала кодификация церковнославянского языка, что первоначально между церковнославянским и восточнославянскими диалектами не было существенных грамматических различий и что, наконец, не выдерживалось дополнительное распределение между языками, поскольку ряд дошедших до нас текстов (например, летописи) является смешанным, т. е. соединяющим восточнославянские и церковнославянские элементы, – поскольку такие элементы встречаются в одних текстах, они связаны общей функцией (аналог ситуаций Фергусона), а это, с точки зрения Ворта, противоречит дополнительному распределению языков.

К смешению восточнославянских и церковнославянских элементов мы неоднократно будем обращаться ниже. Оно бывает разной природы (Ворт разные типы «смешения» не дифференцирует): оно может быть результатом адаптации церковнославянского на восточнославянской почве, определяя лишь генетические составляющие высоких регистров (см. § II-5), а может быть результатом интерференции регистров – гибридизации, характерной как для отдельных текстов, так и для устойчивых письменных традиций (см. о гибридном церковнославянском: § III-3). Ни в одном из этих двух случаев смешение не противоречит определению языковой ситуации как диглоссийной. В первом случае оно вообще нерелевантно для характеристики языковой ситуации, а во втором – находит аналоги в различных диглоссийных традициях (например, арабской, сингальской или тамильской – Талмоуди 1984; Паолилло 1997; Бритто 1991, 68–70), представляя

собой феномен вариативности, неизбежной при наличии в употреблении языкового коллектива нескольких идиомов (регистров).

Другие аргументы Ворта более существенны. Понятно, что церковнославянскому языку в древней Руси учились, но вряд ли это обучение можно назвать формальным; во всяком случае оно было непохоже на современное школьное обучение языку, и подводить его под фергусоновскую дефиницию было бы натяжкой. Не было и кодификации церковнославянского языка; полагать же, что кодификация осуществлялась в церковнославянском с помощью текстов, фиксирующих норму книжного языка, означает вряд ли оправданное расширение понятия кодификации. Кроме того, дистрибуция восточнославянского и церковнославянского, поскольку о ней можно судить по текстам (дистрибуция этих языков в письменной сфере), существенно расходится с фергусоновскими образцами (даже учитывая те поправки, которые вносит в жесткую фергусоновскую схему сингальский материал, – см. выше). Действительно, в древней Руси существовала обширная сфера некнижной письменности (т. е. письменности на низкой разновидности), в частности, письменности официальной (государственные акты, законодательные памятники), нарушавшая ту четкую дихотомию функциональных сфер, на которую у Фергусона накладывалась оппозиция высокого и низкого языка.

Более тонкое решение было предложено Б. А. Успенским. Он не стал повторять дефиниции Фергусона и сосредоточил внимание не столько на формальных признаках, сколько на языковом (культурно-языковом) сознании. Определяя диглоссию, он пишет: «[В] языковом сознании при диглоссии книжный и некнижный языки воспринимаются как один язык – книжный язык выступает в этих условиях как кодифицированная и нормированная разновидность языка. Между тем, для внешнего наблюдателя (включая сюда и исследователя-лингвиста) естественно в этой ситуации видеть два разных языка. Таким образом, если считать вообще известным, что такое разные языки, диглоссию можно определить как такую языковую ситуацию, когда два разных языка воспринимаются (в языковом коллективе) и функционируют как один язык» (Успенский 2002, 25).

Что же касается формальных примет, отличающих диглоссию от двуязычия, то Успенский сводит их к всего трем признакам негативного характера: «1) недопустимость применения книжного (литературного) языка как средства разговорного общения; 2) отсутствие кодификации разговорного языка, отсутствие специального обучения этому языку; 3) отсутствие параллельных текстов с одним и тем же содержанием (особенно характерны в этой связи запрет на перевод сакральных текстов и невозможность пародии на книжном языке)» (Успенский 2002, 28). Одновременно Успенский указывает и основное отличие, противопоставляющее ситуацию диглоссии той ситуации, в которой сосуществуют литературный язык и диалект. Это отличие состоит в том, что «при диглоссии ни один социум не пользуется книжным (литературным) языком как средством разговорного общения» (там же, 28). Как можно видеть, основным признаком книжного языка оказывается его противопоставленность языку разговорному, реализующаяся в его

кодифицированности, нормированности и существовании специального обучения этому языку<sup>20</sup>.

У этой концепции есть несколько слабых мест<sup>21</sup>. Я уже упоминал выше о том, что нет возможности говорить о кодификации церковнославянского языка вплоть (по крайней мере) до XVI в., а это означает, что отсутствует противопоставление церковнославянского и восточнославянских диалектов по наличию (resp. отсутствию) кодификации. Это частный момент. Куда важнее два других обстоятельства. Во-первых, это использование книжного (высокого) языка в качестве разговорного, которое, на взгляд Успенского, отличает ситуацию диглоссии от отношений между литературным языком и диалектом. Мы уже говорили о том, что и современная разговорная речь реализует иной регистр русского языка, нежели письменные литературные тексты. Это означает, что и в современной русской языковой ситуации, которая может быть определена как сочетание литературного языка и языка разговорного в его социальном и диалектном варьировании, литературный язык, как правило, не служит средством разговорного общения (что порой побуждает исследователей и эту ситуацию квалифицировать как диглоссию – Земская, Китайгородская, Шириев 1981, 21–22). Правда, в современной ситуации устное употребление литературного языка возможно, а в ряде формальных ситуаций оно является даже нормативным (там же, 58–70).

Однако правомерно ли апеллировать к этой частной (в определенной степени периферийной) сфере языковой деятельности, проводя различие между двумя языковыми ситуациями? Так ли велико различие? Не сводится ли оно к чисто социальному параметру – увеличению спектра культурно значимых ситуаций, требующих формальной речи? В конце концов и в древней Руси в определенных случаях устное употребление церковнославянского не исключалось – например, при произнесении проповеди. Современное употребление литературного языка в публичных выступлениях (политическая речь, лекция и т. п.) мы можем рассматривать как экспансию того социального узуса, который в средние века был представлен церковным ораторством. Отсюда следует, что отличие, согласно Успенскому, состоит лишь в том, что в современных условиях возможно употребление литературного языка в бытовом общении, тогда как в древней Руси церковнославянский в этой функции употребляться не мог. Однако употребление литературного языка в бытовом общении представляет собой скорее отступление от социальных конвенций, и трактовать подобное отступление как основу принципиального различия вряд ли оправданно. А если мы не

<sup>20</sup> Отсюда у Успенского и то его общее определение литературного языка, которое цитировалось выше.

<sup>21</sup> После появления доклада Б. А. Успенского на съезде славистов в 1983 г. (Успенский 1983) в Советском Союзе развернулась довольно активная полемика о церковнославянско-русской диглоссии (см.: Колесов 1986; Жуковская 1987а). Полемика была в существенной мере тенденциозной, идеологизированной, можно было бы сказать «антицерковнославянской» (поскольку церковнославянский ассоциировался с православием), и в целом совершенно неплодотворной. Поэтому я не вижу необходимости давать здесь какой-либо ее обзор (о терминологических аспектах см. ниже, § 1-1).



можем установить различия между современной языковой ситуацией и древней восточнославянской диглоссией, то не действуют и те признаки, которые отличают диглоссию от двуязычия.

В самом деле, те признаки, которые приписываются высокой и низкой разновидностям при диглоссии, в равной степени приложимы и к литературному языку и диалекту в современной ситуации. Об использовании литературного языка в качестве средства разговорного общения уже было сказано. Кодифицированность и нормированность диалектам также не присуща. И наконец, проблематично существование параллельных текстов: мы не переводим с литературного языка на вологодский диалект или с вологодского диалекта на литературный язык.

В таком случае различие сводится к тому, как воспринимаются соответствующие языковые разновидности, как они представлены в языковом сознании. Это важный момент, но он часто с трудом поддается анализу. Рассматривали ли восточные славяне в Киевской Руси церковнославянский и свои диалекты как один язык? Свидетельств практически нет, поскольку они вряд ли задавались подобным вопросом. Видимо, какой-то нечеткий аналог такого сознания все же присутствовал, поскольку *славенский* и *русский* в применении к книжности (алфавиту, переводу Св. Писания и т. д.) выступают как взаимозаменяемые наименования. Хотя этнический и лингвистический смысл этих наименований представляет собой достаточно сложный (как можно видеть, например, из употребления этих слов в Повести временных лет – Живов 2002б, 180–181) и не вполне изученный феномен, языковое сознание Киевской Руси явно отлично в этом плане от того, которое мы находим в России или Украине в более позднее время. На Украине различающиеся наименования появляются уже в конце XVI в., в России, кажется, только во второй половине XVII в. (о языковом сознании в России в XV–XVI вв., отражающемся в наименованиях языка, см.: Дель’Агата 1986, 186–187; см. также: Успенский 1983, 69–70).

В какой степени номенклатура наименований реагирует на изменения в языковом сознании, остается неясным. Успенский (Успенский 1984) полагает, что в противовес книжному языку, воспринимавшемуся как сакральный, некнижный язык мог восприниматься как профанный, «нечестивый». Хотя Успенский приписывает такое восприятие всему русскому средневековью, наиболее ранние свидетельства принадлежат лишь XVI в. (а свидетельства несомненные появляются еще позже – см.: Успенский, II, 48–49). Появление такого восприятия означает, что два языка (церковнославянский и русский) или две разновидности противопоставляются в языковом сознании, хотя на номенклатуре наименований это сразу же не сказывается. Означает ли такая перемена языкового сознания переход от диглоссии к иной языковой ситуации, или не слишком для нас ясные средневековые представления о «едином» языке могут покрывать и такого рода отношения идиомов, сказать трудно, и не видно возможности получить об этом более четкие данные; как говорилось выше, языковые коллективы, считающиеся диглоссийными, могут существенно различаться по данному параметру. Впрочем, как бы ни обстояло дело, отношения между литературным языком и диалектом также воспринимаются как отношения внутри одного

языка, и, следовательно, подобное восприятие не может быть признаком, отличающим диглоссию от этой последней ситуации.

Итак, у нас остаются лишь минимальные основания для интерпретации языковой ситуации древней Руси как диглоссии в соответствии с определением Успенского: с внешней точки зрения, в том числе и с точки зрения исследователя-лингвиста, два языка, воспринимаемые как один внутри языкового коллектива, представляют собой два различных языка, причем эти два языка различны по происхождению (генетически противопоставлены): один является восточнославянским, тогда как другой сформировался на южнославянской основе. И диглоссия, точно так же как двуязычие, является инструментом описания гетерогенности, направленным на сохранение концепции единого языка; гетерогенность и в этом случае описывается как сосуществование (хотя и с особыми параметрами) двух замкнутых в себе систем. Надо сказать, исследователи часто говорят о церковнославянском и древнем восточнославянском (древнерусском) как о двух разных языках, нередко совсем не задумываясь над теоретической значимостью такой трактовки, а склоняясь к словесному удобству. Насколько, однако, обоснован этот способ описания – учитывая ту проблематичность привычных для нас представлений о едином языке, о которой говорилось выше?

Как известно, Н. С. Трубецкой и Н. Н. Дурново (Дурново 1931; Дурново 2000, 624–637) считали, что последним общеславянским изменением было падение редуцированных и до завершения этого процесса сохранялось общеславянское языковое единство. Не буду сейчас останавливаться на том, какие проблемы решает и какие, напротив, создает эта концепция. Трубецкой и Дурново исходили из того, что падение редуцированных – это языковое переживание, общее для всего славянского мира, и что большинство изменений, которые происходят до этого момента, захватывают диалекты, относящиеся к более чем одной ветви славянских языков (скажем, изменение /g/ > /γ/ затрагивает и восточнославянские, и западнославянские диалекты). Очевидный недостаток этой концепции состоит в том, что распад общеславянского языкового единства для разных славянских областей приходится датировать разным временем – от X в. на юге до XII в. на северо-востоке славянской территории. При этом не видно никакого параллелизма между темпами дивергентных процессов на разных территориях и происходящими на этих же пространствах историческими событиями; понятие языкового единства приобретает в этой ситуации характер формально-описательного средства.

Как бы то ни было, если следовать этой концепции, до XII в. включительно восточнославянские говоры являются диалектами общеславянского языка, все еще сохраняющего свое единство. В таком случае и с внешней точки зрения, к которой апеллирует Успенский, церковнославянский и восточнославянские говоры до XII в. не представляют собой разных языков, а могут рассматриваться как книжный язык, основанный на одном из южнославянских диалектов, и диалекты другого ареала внутри единого общеславянского языка. Ситуация в этом случае не отличается принципиально от того, что мы наблюдаем, например, в современном русском языке: литера-

турный язык, основанный на московском говоре, и разнообразные другие говоры (велико)русского ареала.

Именно такого взгляда придерживается Г. Лант. Он утверждает, что «the dialects of Bulgaria and Rus' were obviously different but linguistically very close. The southern dialect features were no hindrance to easy communication, and some of the most striking ones were quite acceptable to the East Slavs for purposes of writing. Samenesses at every structural level – phonological, morphological, syntactic, lexical – overwhelmingly outnumber differences. *OSC and early Russian were variant forms of a single language*. To assume that they were two languages is anachronistic, for it projects later differences back into the eleventh century» (Лант 1988–89, 285–286 – курсив Ланта). Вопрос, таким образом, сводится к тому, что мы, исследователи, должны считать двумя разными языками и как мы должны оценивать те отличия, которые существовали между церковнославянским и восточнославянскими диалектами в начальный период. Лант оценивает эти отличия как минимальные (и даже приводит короткий список фонетических и морфологических признаков, противопоставляющих эти «диалекты» – Лант 1988–89, 302–304; ср.: Лант 1987) и отсюда делает вывод об отсутствии диглоссии. Исаченко полагает, что отличия затрагивали всю в целом систему глагольных категорий (Исаченко, II, 354–407; ср. сходную точку зрения: Хабургаев 1991), и на этом основании заключает, что диглоссия имела место. Мы имеем здесь дело даже не с языковым сознанием носителей, малодоступным для реконструкции, а с учеными концепциями, на неясных основаниях манипулирующими понятием одного языка.

Определение церковнославянского и восточнославянского как двух диалектов одного языка принципиально мало что меняет. С точки зрения ортодоксального структурализма два диалекта ничем по существу не отличаются от двух языков: это две разных языковых системы, все элементы каждой из которых взаимозависимы и поэтому с элементами другой системы не соотносятся. Представление о едином языке, объединяющем диалекты, попадает в структуралистскую парадигму воровским образом, через не предусмотренный планировщиками черный ход. Диалектные различия понимаются при этом как своего рода сменные части, приспособленные к единому механизму. На место южнославянского *млѣко* привешивается восточнославянское *молоко*, но это как бы не влияет на движение поршней и шестеренок языкового механизма. Лант как раз и имеет в виду весьма ограниченный набор сменных частей, которые нужно переставить при переходе от церковнославянского (южнославянского) к восточнославянскому; их число, согласно Ланту, намного меньше тех элементов, которые можно не переставлять.

Проблема, однако, отнюдь не в сходствах, которые перевешивают различия на любом из структурных уровней (at every structural level). Такое утверждение имеет смысл только для фонетики и морфологии. Здесь, действительно, можно дать перечень различий, или, если угодно, диалектных (фонетических и морфологических) вариантов. Именно это Лант и делает (Лант 1988–89, 302–304), и в этой части оригинальность точки зрения Ланта состоит лишь в оценке этих различий как минимальных, упаковыва-

ющихся в короб единого языкового механизма. Практически тот же самый список приводит Шахматов, говоря о признаках церковнославянизмов в современном русском литературном языке (Шахматов и Шевелов 1960), и Успенский, рассматривая отличия русского церковнославянского от старославянского, с одной стороны, и церковнославянского от «русского», – с другой (Успенский 2002, 127–268). Такая трактовка в принципе позволяет рассматривать «смешанные» тексты не как результат интерференции двух систем (не как тексты с вторгшимися в них «русизмами» или «славянизмами»), а как тексты, обнаруживающие вариативность, и это, конечно же, существенный шаг вперед.

Препятствуют ли эти различия коммуникации или они настолько минимальны, что носители языка, как думает Лант, легко могут их игнорировать? На этот счет вряд ли возможно высказать однозначное суждение, поскольку совершенно неясным остается, о какой коммуникации идет речь. Южные славяне точно так же не говорили на церковнославянском (старославянском), как и славяне восточные, поэтому под коммуникацией, в которой использовались рассматриваемые идиомы, никак нельзя понимать устное общение (тем более устное бытовое общение). Речь может идти лишь о коммуникации письменной, о распространении письменных текстов, созданных в одном славянском регионе (например, у южных славян), за пределами этого ареала (например, у славян восточных). Эффективность (возможности понимания) такого рода коммуникации лишь в малой степени зависит от тех или иных особенностей фонетики и морфологии.

В самом деле, сосредоточивая внимание на формальных (фонетических и морфологических) различиях, исследователи по существу продолжают младограмматическую традицию и работают с теми самыми сравнительно-историческими соответствиями, которые устанавливались для реконструкции праязыка. Понятно, что со сменой задач меняется и интерпретация этих соответствий, они в той или иной степени (разной в разных построениях) приобретают функциональный характер (ср.: Живов 1988а), однако самый состав признаков в значительной мере сохраняется и получает никак не оправданную доминирующую роль в определении языковой ситуации. Стоит отметить, что признаки фонетического и морфологического уровня легко могут быть представлены как бинарные, и эта бинарность описательного инструмента переносится затем на наблюдаемые разновидности письменного языка восточнославянского средневековья.

Вместе с тем совершенно очевидно, что отнюдь не менее важные синтаксический и лексический уровни обнаруживают иной тип функциональных отношений. Например, такие синтаксические конструкции, как дательный самостоятельный, *accusativus cum infinitivo*, **яко** с инфинитивом в значении результата, аналитические обороты с причастиями типа **Бѣ Иванъ крѣстѣ** или **Градъ кѣтъ ѿстоѣ** и т. п. отсутствуют в разговорном языке как южных, так и восточных славян, что, конечно, не противоречит сходству южнославянского и восточнославянского на синтаксическом уровне, отмечаемому Лантом, однако сдвигает проблему в иную плоскость. Такие конструкции являются специфичными для книжного языка вне зависимости от того, в каком славянском ареале он функционирует, и возможно-

сти понимания этого языка определяются восприятием подобных конструкций никак не в меньшей степени, чем, скажем, полногласием или неполногласием отдельной основы.

Точно так же обстоит дело и с лексикой. Понятность слов типа **единосѣиѣ** или **бытиѣ** лишь в малой мере определяется тем, произносятся ли в них /e/ или /je/, /q/ или /u/, /št/ или /šč/. Абстрактная и религиозная лексика, чрезвычайно важная для лексического облика книжных текстов, ни к какому диалекту специально не привязана, однако имеет самое непосредственное отношение к восприятию книжного языка в любой из его разновидностей<sup>22</sup>. Условия и параметры функционирования книжного языка не могут быть поняты без учета этих его фундаментальных характеристик. Усвоение, восприятие и воспроизведение соответствующих элементов являются важнейшими показателями его функционирования в языковом коллективе. Социальные параметры владения этими языковыми средствами, тематический (историко-культурный) диапазон их применения, членение пространства письменности по параметрам данного типа представляют едва ли не наиболее значимые аспекты языковой ситуации. Существующие же ее модели, кратко рассмотренные выше, эти аспекты в значительной степени игнорируют, и можно думать, что такое положение вещей связано в конечном счете с представлением о письменном языке как о явлении неорганическом и вторичном<sup>23</sup>.

Мы еще вернемся к этим вопросам, но сейчас отметим главное: рассматривая языковую гетерогенность как универсальное явление и принимая концепцию регистров, мы лишаем эти проблемы их принципиальной значимости. Церковнославянский и восточнославянские говоры относятся к разным регистрам, реализовавшимся в языковой деятельности одного

<sup>22</sup> На этот момент справедливо обращает внимание Б. Комри. В статье о диглоссии в древней Руси, в целом некритически воспроизводящей аргументацию Г. Хютль-Фольтер и содержащей ряд упрощенных и ошибочных интерпретаций явлений церковнославянского языка и восточнославянских говоров, он упоминает о близости восточнославянских и южнославянских диалектов и утверждает (впрочем, без всяких доказательств), что эти диалекты были «almost certainly mutually intelligible». Это утверждение, однако, сопровождается оговоркой: «This should not be taken to mean that any Old Church Slavic text would have been readily comprehensible to the native speaker of tenth-century Russian; much of Old Church Slavic abstract vocabulary and syntax, both modeled heavily on Greek, would have been opaque <...> However, such a text would not have been much more comprehensible to an uneducated native speaker of Constantine and Methodius' original Bulgaro-Macedonian dialect» (Комри 1991, 160–161). Кажется очевидным, что для обсуждения лингвистической ситуации у восточных славян (отношений церковнославянского и восточнославянских говоров) этот момент делает полностью нерелевантным вопрос о степени близости восточнославянских и болгаро-македонских говоров.

<sup>23</sup> Эта связь просматривается прежде всего в выборе фонетических и морфологических признаков и невнимании к синтаксическим и лексическим параметрам. Из сферы исследовательских интересов выпадают книжный синтаксис и абстрактная лексика, т. е. те явления, которые были заведомо нерелевантны для сравнительно-исторического изучения в силу своего «неорганического» происхождения (калькирования, искусственного словопроизводства и т. д.).

языкового коллектива; вернее сказать, из церковнославянского и восточнославянского материала формировались разные регистры, функционировавшие в восточнославянском средневековье. Были ли эти регистры разными языками или одним языком – схоластический вопрос, столь же схоластический для языковой деятельности восточных славян XI в., как и для современного русского или чешского (с его двумя противопоставленными разновидностями) и, в принципе, всякого другого языка. В конце концов, диглоссия представляет собой частный случай регистровой гетерогенности; по замечанию Фергюсона, «the H and L varieties of diglossias are register variants» (Фергюсон 1991, 222; ср. также Хадсон 1994). Вопрос не в том, каким термином определить наблюдаемую в восточнославянских текстах регистровую гетерогенность, а в том, чтобы установить состав регистров и иерархию тех языковых признаков, которые их дифференцировали. Следует понять, когда и как формировались отдельные регистры, как они дифференцировались, какую коммуникативную нагрузку несли, какой репертуар регистров был доступен разным социальным группам восточнославянского населения и т. д. В рамках концепции диглоссии и полемики вокруг нее все внимание по большей части сосредоточивалось на одной проблеме – соотношении разговорного языка и языка письменного, который рассматривался как отражающий или не отражающий разговорный язык. Это, однако, лишь одна из проблем и притом не самая важная, поскольку, как мы уже говорили, письменный и разговорный языки всегда в большей или меньшей степени автономны.

Вопросы соотношения регистров имеют более широкое значение, и история языка русской (восточнославянской) письменности должна, по нашему убеждению, строиться именно на решении этих вопросов. Вначале мы рассмотрим, как с христианизацией Руси и усвоением письменной традиции образовалась первоначальная гетерогенность восточнославянского языкового узуса. Исходную конструкцию можно, огрубляя, трактовать как весьма примитивную: книжный церковнославянский язык в письменности и литургическом употреблении и различные восточнославянские диалекты в употреблении устном. Однако период, для которого возможно постулировать это примитивное распределение, был очень кратким (и он при этом остается практически недокументированным). Очень рано письменность начинает употребляться не только для богослужебных нужд: уже в середине XI в. создаются оригинальные религиозные сочинения, составляются летописи, ведется частная переписка. Во всех этих случаях имеет место интерференция (в разных типах текстов разная) между изначальными составляющими («церковнославянской» и «восточнославянской») гетерогенного узуса. Каждый из этих опытов порождает свою традицию. Скажем, летописец не заново изобретает, как ему скомбинировать церковнославянские и восточнославянские элементы, а следует узусу своего предшественника-летописца (см. подробнее ниже, § III-5). Нашей целью и будет анализ того, какие традиции и за счет каких языковых элементов образовались в этом развитии, как они изменялись на протяжении столетий. Рассмотрим эти процессы, мы перейдем к тому, как в начале XVIII в. начинает формироваться русский языковой стандарт, элиминирующий эту гетерогенность ав-

тономных регистров и переосмысляющий – в новую конфигурацию гетерогенности – доставшийся ему в наследие от автономных регистров языковой материал.

Прежде чем перейти к этому систематическому рассмотрению, отмечу один важный момент, который был высвечен концепцией диглоссии и не утрачивает своего значения, когда приложение этой концепции к русскому материалу становится проблематичным. Язык никогда не выступает только как средство коммуникации. Он всегда сообщает что-то о статусе говорящего и в силу этого служит средством воплощения данного статуса. Речь вельможи отличается от речи смерда, и вельможа (или проходимец, который хочет показаться вельможей) пользуется этими отличиями, чтобы обозначить и утвердить отношения власти и подчинения. Мы уже упоминали, что в меритократическом обществе Нового времени язык оказывается включенным в отношения социального доминирования, передающиеся введенным П. Бурдьё понятием символического капитала. Языковые умения отражают затраты человека (или его семьи) на образование и социальное продвижение; язык образованного человека (литературный язык) представляет собой лингвистический капитал, который и пускается в оборот в условиях конкуренции социальных статусов. В этих обстоятельствах символическая функция языка рационализируется и соотносится с теми характеристиками языка, которые приобретаются в ходе образования.

В условиях диглоссии символические функции языка реализовались иным образом. Фергусон в качестве одного из типологических признаков диглоссии указывает престиж высокой разновидности (Фергусон 1959). Успенский пишет о том, что низкая и высокая разновидности в языковых коллективах, которым приписывается диглоссия, обладают разными культурными ценностями (Успенский 2002, 29–31). Существенно, что эти ценности могут связываться в языковом сознании носителей с теми формальными чертами, которые дифференцируют высокую и низкую разновидности. Скажем, если в сингальском высокая и низкая разновидность противопоставляются среди прочих черт тем, что в высокой личные глаголы согласуются с субъектом, а в низкой согласование отсутствует (Паолилло 1997, 277–278), согласование с субъектом наделяется символической значимостью и отсылает к той культурной (религиозной) традиции, в которой формируется высокая разновидность. Символизм лингвистических элементов в данных обстоятельствах существенно менее рационален, чем в случае современных литературных языков, для которых релевантно понятие лингвистического капитала: умение производить хорошую французскую или английскую прозу свидетельствует о годах учения в престижных учебных заведениях; умение употреблять согласованные личные глаголы говорит лишь о знании определенного корпуса религиозных текстов, доступных отнюдь не только социальной элите. Вообще, как неоднократно отмечалось (Уолтерс 1996, 175; Хадсон 2002, 3), стратификация диглоссийных вариантов соотносится не с социальной дифференциацией, а с различиями в ситуационном контексте, связанными с коммуникативными заданиями и обуславливающими их культурными традициями. Классовые различия, если они и находят отражение, могут проявляться в диглоссий-

ной дифференциации только опосредованно, в силу разной доступности религиозного воспитания (и разных коммуникативных ситуаций) для разных секторов общества.

В ситуации фрагментированного по регистрам языка стратификация вариантов устроена, видимо, так же, как и при диглоссии, т. е. они соотносятся с культурными ценностями, и в силу этого соотношения отдельные языковые элементы получают символическую значимость. При унификации регистров в Новое время эта сложная соотношенность упрощалась, сводясь к дуальному противопоставлению «образованного» и «необразованного» языка. В предшествующий период формальные черты могли семантизироваться в существенно большей степени и выступать как символы определенных систем ценностей (прежде всего религиозных).

Так, например, в русских епитимийниках находим следующее дисциплинарное установление: «**Аи преложиаъ кси книжнаа словеса на хуанок слово, или на кощюнно. шпитем[ьи] .Ѣ. аѣт**» (Смирнов 1912, прилож., 142). Следует отметить, что речь здесь идет о словах книжного языка как таковых, т. е. об отличительных чертах стандартного книжного регистра письменного языка, и игровое обращение с этими чертами объявляется грехом. Тем самым носителями религиозной значимости оказываются элементы книжного регистра вне зависимости от семантики, и такое языковое сознание надолго закрепляется в русской культуре и занимает в ней важное место. Элементы подобного культурного сознания можно в большом числе наблюдать, например, в полемике старообрядцев и никониан в XVII в., и в дальнейшем мы постараемся решить вопрос о том, когда происходит эта сакрализация книжного языка (см. § VIII-2). Эти символические элементы становятся устойчивой составляющей традиционной культуры, ср., например, свидетельство этого процесса в «Мужиках» Чехова в сцене, в которой Саша читает Евангелие: «Отошедшим же им, се ангел Господень... во сне явился Иосифу, глаголя: “Востав поими отроча и мать его” – Отроча и мать его, повторила Ольга в волнении. – “И бежи во Египет... и буди тамо, дондеже реку ти...”. При слове “дондеже” Ольга не удержалась и заплакала» (Чехов IX, 289); особой выразительностью оказывается наделен союз *дондеже* вне всякого отношения к его семантике, но в силу его прямых ассоциаций с книжным регистром (ср.: Винокур 1983, 257). А. В. Исаченко писал мне в 1975 г. о своей племяннице: «Моя племянница в детстве была страшно набожна, у нее в комнате был алтарь и она в каком-то фантастическом одеянии “служила”. Надо же было ее послушать: “Господи, аще! Господи, иже еси! Убо, Господи!”. Шли “святые” слова, действующие (и нагруженные семантикой) исключительно в силу того, что они были совершенно непонятны». Такого рода осмысление, разумеется, не могло не сказываться на различных параметрах употребления книжных регистров.



## IX. Структура книги и периодизация истории русского письменного языка

Книга в основном строится по хронологическому принципу, и поэтому ее структура соответствует тем периодам, которые выделяются нами в истории языка русской письменности. Конечно, строго выдержать хронологический принцип не удастся, и отдельные темы, связанные со структурными характеристиками письменного языка, рассматриваются сквозным образом, так что границы периодов не соблюдаются. Тем не менее основные рамки монографии заданы предлагаемой в ней периодизацией. Схематически эту периодизацию можно представить в следующем виде:

**1 период.** Формирование основных регистров письменного языка у восточных славян. Функционирование книжного языка (регистров) в условиях взаимодействия с некнижным языком (регистрами). Развитие механизмов этого взаимодействия (XI–XIV вв.).

**1 подпериод.** Начальное формирование основных регистров (XI–XII вв.).

**2 подпериод.** Изменение отношений между регистрами в результате распада общеславянского языкового единства (XIII–XIV вв.).

**2 период.** Перестройка отношений между регистрами в результате отталкивания книжного языка от разговорного. Развитие грамматического подхода к книжному языку (XIV–XVI вв.).

**3 период.** Перераспределение функций отдельных регистров, функциональная экспансия книжного языка (XVII в.).

**4 период.** Возникновение русского литературного языка нового типа (языкового стандарта). Разработка путей нормализации литературного языка и построение его стилистической системы (XVIII – начало XIX вв.).

**5 период.** Стабилизация норм современного русского литературного языка. Оформление системы нормированной устной речи и вытеснение диалектов и просторечия из сферы устного общения (с начала XIX в.).

В соответствии с этой периодизацией первые две части книги в основном посвящены древнейшему периоду (XI–XIV вв.). В первой части рассматривается внешняя история этого периода, включающая такие аспекты, как возникновение письменности у восточных славян, культурно-исторический контекст ее появления (включая внешние влияния), типы ее использования, характер овладения ею и, одновременно, характер овладения книжным языком, формирование регистров и особенности членения коммуникативного пространства. Во второй части анализируются те лингвистические параметры, которые обеспечивают дифференциацию регистров. Этот анализ включает как реализацию соответствующих языковых свойств в разных регистрах письменного языка (и, если это поддается реконструкции, в разговорном языке древнейшей эпохи), так и изменения, которые претерпевает эта реализация в отдельных регистрах. Речь идет, таким образом, не только о том, что, скажем, аорист широко употребляется в книжных регистрах и лишь в очень ограниченном объеме в регистрах некнижных (в деловом языке), но и о том, как изменяется употребление аориста от более ранних

памятников к более поздним. Именно в этой части изложение часто пере скакивает через границы периодов, поскольку во многих случаях эти границы прямо на динамике изменений не отражаются.

В отличие от обычных трактовок расхождений между церковнославянским и восточнославянским («древнерусским») предлагаемый здесь анализ фокусируется в первую очередь на синтаксических признаках. Мы исходим из представления, что именно синтаксические стратегии или, если угодно, способы организации информации различают тексты, выполняющие разные коммуникативные функции (тексты разных регистров). Параметры морфологии и правописания оказываются сопутствующими признаками, находящимися в нестрогой зависимости от признаков синтаксических. Мы не в состоянии, к сожалению, дать столь же систематическое описание синтаксических различий, как различий орфографических и морфологических, поскольку исторический синтаксис остается малоизученной областью, не готовой по многим параметрам к обобщающей трактовке; тем не менее общие контуры развития просматриваются достаточно четко, и именно они требуют отдать приоритет синтаксическому устройству регистров. Даже и при этой поверхностной и фрагментарной трактовке синтаксические главы оказываются несопоставимыми по объему с морфологическими и орфографическими.

Располагая описанием всего разнообразия письменных традиций и сформировавшихся на их основе линий преемственности (от опыта чтения к навыкам письма), мы оказываемся в состоянии рассмотреть, как эволюционирует эта сложная совокупность преемственных узусов, и выделить основные факторы, которые влияют на эту эволюцию. Третья часть книги посвящена тому, как изменяются регистры письменного языка в тот период, когда этот язык сохраняет регистровую организацию (вплоть до конца XVII в.). Она покрывает, таким образом, второй и третий период в предлагаемой нами периодизации. Два основных процесса, обуславливающих в эти периоды изменение отношений между регистрами и саму конструкцию регистров, – это развитие грамматического подхода, появляющегося в результате так называемого второго южнославянского влияния, и формирование представлений о «простом» языке, о простоте и понятности книжного языка как необходимых чертах по крайней мере некоторых его разновидностей. Эти процессы обуславливают формирование новых оппозиций между регистрами письменного языка (например, стандартный церковнославянский и гибридный книжный язык могут противопоставляться как «ученый» и «простой») и вместе с тем изменения в самой структуре регистров – и в синтаксической организации, и в морфологическом оформлении: в одних случаях имеют место процессы размежевания, а в других процессы взаимовлияния регистров.

Языковая ситуация радикально меняется в эпоху Петра Великого: культурная революция, устроенная царем-преобразователем, сопровождается и лингвистической революцией. Она состоит прежде всего в отказе от старой регистровой организации языковой деятельности. На смену языку, фрагментированному по регистрам, приходит – по крайней мере, в идее, в идеале – единый полифункциональный письменный язык, парадоксальным образом

являющийся в то же самое время «гражданским наречием». Из этого «гражданского наречия» на протяжении XVIII – начала XIX в. формируется русский языковой стандарт (русский литературный язык), обладающий необходимыми атрибутами литературного языка: полифункциональностью, общезначимостью, кодифицированностью и стилистической дифференцированностью. Процессам его формирования посвящена четвертая и последняя часть книги.

И для этого периода мы стремились совместить внутреннюю и внешнюю истории данного развития. Внутренняя история может рассматриваться как описание рождения петровского хаоса и последующего возникновения из этого хаоса единой и общеобязательной нормы. При Петре происходит прежде всего разрушение старой системы. «Гражданское наречие», с одной стороны, отталкивается от старого книжного языка, а с другой – находится в отношениях преемственности со всеми регистрами письменного языка допетровского времени. Черты, воспринимавшиеся как приметы старого книжного языка (представлявшегося реформаторам «клерикальным»), изгонялись из нового языка, однако те элементы, которые не связывались с этими оппозициями, продолжали употребляться. Они могли восходить к разным регистрам, и в силу этого в языке Петровской эпохи находятся в недифференцированном употреблении варианты, которые ранее были распределены по разным регистрам. Этот хаос и подвергается затем упорядочению: одни элементы закрепляются в языковом стандарте, другие исключаются из него, третьи оказываются дифференцированными по формальным или стилистическим параметрам. Результаты данного отбора кодифицируются в нормативных грамматиках и закрепляются в языковой практике образцовых писателей.

Утверждение и распространение формирующегося таким образом языкового стандарта образует его внешнюю историю. Этапами этой истории являются заведение гражданского книгопечатания (введение гражданского шрифта), учреждение Академии наук и появление там группы переводчиков, занимавшихся нормализацией русского языка (для изданий Академической типографии, монополизовавшей в 1730–1740-х годах светское книгопечатание), начало преподавания русского языка (первоначально при Академии наук) и создание учебных грамматик русского языка, возникновение новой «европейской» литературы и освоение концепции литературных образцов правильного языкового употребления, развитие системы литературных жанров, заведение начальных школ и преподавания в них русского языка, слияние учебных образцов и литературных образцов. Именно в результате этих процессов языковой стандарт, образующийся в литературной практике 1820–1830-х годов, прежде всего в литературном творчестве А. С. Пушкина (этот идиом можно назвать пушкинским синтезом) и закрепляющийся в ряде лингвистических пособий этого времени, получает статус общеобязательного и полифункционального языка. Его учат в школах, он служит средством выражения в изящной словесности, он постепенно начинает функционировать как символический капитал. Книга завершается рассмотрением этих процессов стабилизации языковой нормы.

Можно спорить о том, правомерно ли такое завершение, поскольку языковой стандарт продолжает развиваться и литературный язык начала XXI столетия не тождествен литературному языку пушкинской эпохи. Вопрос о том, насколько существенны были изменения, случившиеся почти за два столетия функционирования литературного языка, остается дискуссионным. Его конструкция осталась в целом прежней, о чем свидетельствует тот факт, что в школьных упражнениях по русскому языку до сих пор фигурируют предложения из «Дубровского» и «Капитанской дочки». Ряд дискурсивных стратегий, однако, изменился, и это, в принципе, должно было повлечь за собой изменение синтаксических построений, по крайней мере в нюансах. Явления этого рода остаются практически не исследованными, и не видно, кто и когда сможет проделать огромную работу, необходимую для получения в этой области сколько-то достоверных результатов (новые перспективы появляются, конечно, с созданием Национального корпуса русского языка, но реализация этих перспектив займет немало лет). Не исследовано и то, как в этот процесс вписываются и в какой зависимости от него находятся отдельные (достаточно мелкие) изменения морфологической нормы. Многочисленные инновации в лексике также достаточно плохо описаны, так что в ряде случаев остается неясным, как они стратифицируются и к каким более общим процессам привязаны: не описано и не объяснено, например, чем словарь русской журналистики 1850-х годов отличается от словаря журналистики начала XX в.

Мы располагаем лишь очень ограниченной информацией, касающейся языка отдельных писателей (предмет исторической стилистики, а не истории языкового стандарта), описанием выборочных моментов языковой полемики и анализом (часто не вполне адекватным) больших и наглядных событий в определенных жанрах письменности (имею в виду, например, описание послереволюционной политической публицистики в работе А. М. Селищева «Язык революционной эпохи» – Селищев 1928/2003, 47–279). Эта информация практически не поддается обобщению, так что картина имевшего места развития остается нечеткой, а для ее прояснения нужны фундаментальные работы, требующие анализа огромного текстового материала и явно превышающие возможности работающего в одиночку автора. Вне зависимости от того, нужна ли в принципе или не нужна отдельная часть в предлагаемой читателю книге, посвященная развитию языкового стандарта от Пушкина до наших дней, написать ее не представлялось нам реальным. Эта та задача, которая еще ждет своего исследователя. Мы же вынуждены были ограничиться кратким эпилогом, никак не претендующим на описание разнообразных – внутренних и внешних – аспектов истории литературного языка в последние два столетия, но пытающимся лишь расставить некоторые вехи в этом развитии и наметить проблемы, встающие перед будущим исследователем.

# ЧАСТЬ I. РАЗВИТИЕ ПИСЬМЕННОГО ЯЗЫКА И ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО РЕГИСТРОВ

## ГЛАВА I. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТРАДИЦИЙ

### 1. Крещение Руси и распространение письменности

Возникновение системы регистров, включающих не только устную языковую деятельность, но и писание, радикально меняет культурную и языковую ситуацию. Появляются новые коммуникативные ситуации и новые средства осуществления коммуникативных заданий. Письменность может появляться из разных источников и создаваться для разных первоначальных целей. История возникновения письменности определяет тот исходный комплекс ассоциаций, которые связаны с письменным словом, равно как и те социокультурные параметры, которые характеризуют владение письменным языком. Когда письменность развивается из потребностей административного учета и торгового оборота (как, видимо, в случае ряда ранних ближневосточных письменностей), складывается одна культурная ситуация и появляется один корпус исходных письменных текстов. Когда письменность появляется в ответ на религиозные нужды, и первоначальная культурно-языковая ситуация и первоначальный корпус письменных текстов оказываются существенно иными. Поскольку история письменного языка связана с историей текстов, т. е. их чтением, порождением и распространением, то существенно понять те первоначальные условия, в которых возникла их трансмиссия, равно как и последующий характер их функционирования. В случае восточных славян для этого нужно реконструировать те социальные и культурные параметры, которые определяли рецепцию христианской культуры в Киевской Руси.

Действительно, письменность появляется у восточных славян вместе с христианством. Это не абсолютно точное утверждение, оно требует ряда оговорок (см. ниже), но, отвлекаясь от них, связь между возникновением письменного языка и принятием христианства устанавливается вполне однозначно. Данный момент, заметим сразу же, обуславливает радикальные отличия культурно-языковой ситуации у восточных славян, с одной

стороны, и, с другой, – в Византии или на латинском Западе, где письменные греческий и латинский языки являются наследием античной цивилизации и с христианством непосредственно не связаны. У восточных славян в начале письменного языка лежал книжный язык, пришедший с христианством, т. е. церковнославянский (или старославянский) язык, основу которого составлял язык «кирилло-мефодиевских» переводов. Конечно, эта связь языка и обретения новой религии отнюдь не уникальна для славянского мира: так же обстояло дело в Эфиопии, а вне христианской ойкумены – во многих странах Южной Азии, принявших буддизм.

▲ **Терминологический экскурс.** Здесь и далее я буду обозначать книжный язык восточных славян прилагательным *церковнославянский*. Книжный язык восточных славян является одной из разновидностей книжного языка православного славянства, *церковнославянского*. Когда речь идет о разновидностях книжного языка, принято говорить об *изводах* или *редакциях* церковнославянского языка (болгарской, македонской, сербской, хорватской, чешской, восточнославянской, позднее русской и украинской); и я следую этому употреблению. Термин *церковнославянский* представляется мне предпочтительным в сравнении с термином *древнерусский*, который с тем же успехом может прилагаться к некнижному языку восточных славян и в силу этого не дает нужной для изложения многих сюжетов функциональной дифференциации.

Ряд исследователей для дифференциации употреблявшихся у восточных славян языков (регистров) пользовался обозначениями *древнерусский литературный язык* и *древнерусский разговорный язык*. Этот способ, широко представленный в работах советских ученых в 1970–1980-е годы, отвечал определенным идеологическим установкам: антицерковным (церковнославянский отторгался как – по внешней форме термина – церковный язык) и националистическим (церковнославянский был неприемлем как чужой, нерусский язык)<sup>24</sup>. Такое решение не подходит для нас в ряде отношений. Во-первых, как уже говорилось, придерживаясь пражской теории литературных языков (т. е. придавая понятию литературного языка сколько-нибудь четкий смысл), нет оснований рассматривать какой-либо из регистров употреблявшегося восточными славянами языка как литературный язык. Во-вторых, *древнерусский* задает слишком однозначную этническую (или государственно-этническую) перспективу, поскольку легко понимается как русский язык в древности и становится в один ряд с совсем не подходящим для наших задач *древнеукраинским* языком (поскольку мы не готовы говорить, например, о *древнеукраинском* языке в Великом Новгороде). Последнее возражение распространяется и на термин *древнерусский* книжный язык. Напротив, *книжный язык древней Руси* или *книжный язык Киевской Руси* представляются вполне допустимыми, хотя и не всегда удобными (слишком длинными) обозначениями.

<sup>24</sup> Ср., например, критику теорий Б. О. Унбегауна, в которой в упрек ему ставится то, что он акцентирует «внимание только на мысли о церковнославянском характере литературного языка восточных славян» (Клименко 1986, 12; ср.: Филин 1981).

В англоязычной литературе для языка восточных славян (в частности и для их книжного языка) получило некоторое распространение обозначение *Rusian* или даже *Rus'ian* как прилагательного от *Rus'*, противопоставленного прилагательному *Russian* как обозначению русского языка. Это снимающее этническую проблематику, но малопривлекательное – в силу своей условной орфографической природы – решение на русский язык никак перенесено быть не может: *русский* не может быть понято как прилагательное от *Русь*. Если появляется необходимость в наименовании языка идентифицировать тот языковой коллектив, который им пользовался, мы можем говорить о *книжном языке восточных славян* – никакой этнической некорректности в этом случае не возникает, хотя название оказывается слишком длинным и в этом отношении *церковнославянский* предпочтительнее.

Очевидный недостаток термина *церковнославянский* состоит в том, что он приписывает книжному языку средневековья исключительно религиозный (церковный) характер. Хотя средневековая книжность была, понятно, по преимуществу религиозной, однако книжный язык мог порою использоваться и в других функциях. Добавление *церковно-* появляется только в XVIII в. и как раз и свидетельствует об изменении функций и осмысления традиционного книжного языка, который начинает противопоставляться заведенному Петром I гражданскому наречию как идиому подчеркнуто секулярному (см. ниже, § X-7) и в этом контексте получает атрибут клерикальности. Для средневекового периода употребление термина *церковнославянский* может порой давать нежелательные эффекты, которые, однако же, снимаются, если оговаривается условный характер термина. Действительно, если присмотреться, утверждение о том, что договоры с греками (в ПВЛ) были переведены на церковнославянский язык, вступает в определенное противоречие с никак не церковным содержанием данных текстов, а тезис, согласно которому Слово о полку Игореве написано на церковнославянском языке, может озадачить читателя, забывшего об условности термина (в таком контексте лучше, конечно, говорить о книжном языке восточных славян).

Видимо, именно соображения подобного типа побуждали ряд исследователей вместо термина *церковнославянский* употреблять *древнеславянский* (или *древлеславянский*) (см., например: Толстой 1988, 34–127). Этот термин снимает неудобства описанного выше типа, но создает другие, пожалуй, еще менее приемлемые. Термин *древнеславянский* устроен по той же модели, что и, например, *древнеанглийский* – язык определенной эпохи, вне этой древней эпохи в нормальном случае не употребляющийся и не претерпевающий изменений. Церковнославянский употребляется по сей день и меняется от одной эпохи к другой, так что можно говорить о *новом церковнославянском* (что нередко и делается; теоретические соображения см.: Мареш 1988). *Новый древнеславянский* представляет собой очевидный и нежелательный оксюморон. До утверждения термина *церковнославянский* в литературе для обозначения книжного языка могло употребляться наименование *славенский* (или *славянский*), унаследованное из традиционной славянской письменности; оно не обладало ни одним из отмеченных выше недостатков, но, как известно, эти наименования в настоящее время принадлежат другим

денотатам, и о придании им иного терминологического значения речь идти не может.

Я пользуюсь также термином *старославянский*, обозначая им язык древнейших славянских книжных памятников, так называемого старославянского канона. В определенном смысле этот термин излишен, так как никакого теоретического водораздела между *старославянским* и *церковнославянским* не существует: оба термина служат для наименования языка славянских книжных памятников, и все различие состоит в том, что *старославянский* обозначает язык закрытого множества древнейших текстов преимущественно южнославянского происхождения, а *церковнославянский* обозначает язык книжных текстов без подобных ограничений. Различие никак не является принципиальным, что в особенности ясно из того факта, что совокупность памятников, к которым относится наименование *старославянский*, может разными авторами трактоваться по-разному: одни включают в эту совокупность Киевские листки (западославянский по происхождению памятник), а другие – нет; отдельные ученые приобщают к данному множеству Остромирово евангелие (ср., например: Вайан 1952, 21), однако большинство предпочитает этого не делать.

Ясно, что в этих условиях можно было бы обойтись без термина *старославянский*, и это даже способствовало бы терминологической четкости. Вместо *старославянского* можно было бы говорить о *церковнославянском древнеболгарской редакции* (это и будет язык южнославянских памятников старославянского канона), относить Киевские листки к древнейшей *чешско-моравской редакции церковнославянского языка*, а Остромирово евангелие – к древнейшей *восточнославянской редакции церковнославянского языка*. По существу именно так поступает Н. Н. Дурново, который различает старославянский и церковнославянский лишь хронологически: старославянский уступает место церковнославянскому, когда в нем происходит утрата «двух наиболее характерных фонетических архаизмов: 1) наличия самостоятельных, отличных от других гласных и различающихся между собой, звуков ѣ и ѣ как в сильном, так и в слабом положении и 2) присутствия так называемых носовых гласных». Однако и старославянский, и церковнославянский у Дурново – эти «литературные» языки со своими «литературными диалектами», так что он пишет о «вариантах или редакциях старославянского языка», равно как и о «церковнославянском языке болгарской, сербской, русской и чешско-моравской редакции» (Дурново 2000, 567–569).

Г. А. Хабургаев, отмечая непринципиальный характер различия языка текстов «старославянского канона» (древнеболгарских) и церковнославянских текстов различных редакций, предлагал называть *старославянским* язык кирилло-мефодиевских переводов, тогда как язык дошедших до нас письменных памятников, всегда накладывающих на гипотетическую кирилло-мефодиевскую основу те или иные черты локального диалекта, именовать *церковнославянским* того или иного извода (Хабургаев 1984; ср. еще: Хабургаев 1987). У такого подхода имеется ряд несомненных теоретических достоинств, и он неудобен, пожалуй, лишь тем, что дает отдельное имя лингвистическому конструкту, за которым стоит трудно поддающаяся уяснению реальность: мы не знаем ни объема кирилло-мефодиевских перево-



дов, ни их хронологии, ни лингвистических (диалектных) характеристик отдельных текстов, возникших в разное время (во всех ли были так называемые моравизмы или не во всех, во всех ли была одна и та же южнославянская диалектная «основа» и т. д.). Этот конструкт исследователи строят прежде всего на основе памятников «старославянского канона», он представляет собой, можно сказать, производное от языка этого канона, и поэтому лишить последний (язык канона) его традиционного названия, отдав его производному от этого канона конструкту, не кажется оптимальным решением. Именно в силу этого я продолжаю называть *старославянским* язык так называемых старославянских памятников. Для моих целей я могу не определять точный состав этих памятников (скажем, входит или не входит в него Киевский миссал); при необходимости такие детали оговариваются особо. ▲

В силу связи славянской и, в частности, восточнославянской письменности с религиозным обращением основным событием, с которого начинается история языка письменности у восточных славян, является крещение Руси в 988 г. В результате крещения христианство стало господствующей религией Киевской Руси, а книжный язык, пришедший вместе с новой религией, – языком формировавшейся христианской культуры восточных славян. Нельзя сказать тем не менее, что у славян связь между христианизацией и церковнославянским языком является необходимой и неизбежной, что всякий раз, как мы встречаемся с христианством у славян, мы встречаемся и с церковнославянским языком, и наоборот. Скажем, христианизация болгар до реформ царя Бориса зашла очень далеко, однако церковнославянский язык усваивается ими в качестве языка богослужения и церковной письменности лишь в конце IX в.; до этого, как показывают выполненные греческими буквами славянские надписи, христиане в Болгарии довольствовались греческим языком. Очевидно, греческий был языком церкви и в Крыму (в частности, и в X–XI вв.), где согласно Корсунской легенде принял христианство св. Владимир; при этом христианское население Крыма было полиэтническим, среди него были, видимо, и славяне. Поэтому принимаемое обычно как само собой разумеющееся утверждение, что вместе с христианством в Киевской Руси появляется и церковнославянский язык, нуждается в доказательствах и коррективах.

Когда же Киевская Русь приобщается к кирилло-мефодиевской традиции? Как известно, христианство существовало на Руси до официального крещения в 988 г. Существует ряд упоминаний восточных славян в византийских источниках, говорящих о существовании у них христианских общин еще в IX в. В 860 г. Русь (т. е., следует полагать, варяги, уже обосновавшиеся на территории будущей Киевской Руси – безусловно на севере, но, возможно, хотя бы непостоянным образом, и на юге) совершает нападение на Константинополь, а в послании патриарха Фотия восточным патриархам, направленном весной или летом 867 г., Фотий сообщает, что Русь крестилась и к ним отправлен епископ (PG, CII, col. 736–737; Грюмель 1972, 88–90). О крещении руссов сообщает и Константин Багрянородный (Константин Багрянородный, I, 579). К кому именно относятся эти сообщения и как их

следует интерпретировать, остается не вполне ясным (см.: Франклин и Шепард 2000, 82–88; ср.: Мельникова 2011, 398–403; об отношении Фотия к миссии см.: Иванов 2003, 143–146). Если это и имело какое-нибудь отношение к восточным славянам (а не только к скандинавам), то никаких следов ни от этих ранних общин, ни от посланного к ним епископа не сохранилось<sup>25</sup>. Во всяком случае, если какие-то христианские общины и появлялись (а они могли появляться и исчезать, поскольку подвижность населения была достаточно высокой), они безусловно не пользовались церковнославянским языком, который в это время лишь начинает входить в употребление в Моравии.

Более достоверны сведения о христианстве в Киевской Руси в X в., причем и о Киевской Руси можно говорить для этого времени как о реальном, а не мифологическом предмете – в отличие от IX в. Христианкой была великая княгиня Ольга, принявшая крещение в Константинополе или в Киеве по разным гипотезам в 946, 954/955, 957 или даже 959 г. (см., например: Аризон 1980; Литаврин 1981; Притцак 1985; Поппе 1992; Назаренко 2001, 219–310). Она держала при себе, как сообщает Константин Багрянородный, священника Григория (Константин Багрянородный, I, 594–598). Естественно думать, что она была не первой в своем окружении, т. е. что в киевской элите середины X в. число христиан было достаточно значительным (о том, было ли христианство распространено в других социальных стратах, у нас нет никаких сведений, но из общих соображений кажется правдоподобным, что процесс христианизации начался именно с элиты).

Сведения о христианской общине в Киеве содержатся прежде всего в договорах Руси с греками, которые приводятся в ПВЛ. В статье ПВЛ о заключении договора Игоря с греками 945 г. описывается процедура его утверждения в Киеве:

зауотра призва Игорь слы. и приде на холмъ. кде стояше Перунъ. [и] покладоша оружье свое и щить и золото. и ходи Игорь ротъ и люди его. елико поганыхъ Рус<sup>си</sup>. а хѣяную Русь водиша ротъ. в цркви сѣго Ильи. ѡже есть надъ ручаемъ. конецъ Пасынъчъ бесѣды. и Козарѣ. се бо бѣ сборнаѧ цркви. мнози бо бѣша Варази хѣѧни (л. 14–14об.; ПСРЛ, I, стб. 54).

<sup>25</sup> Не вхожу в вопрос о том, был ли этот епископ послан патриархом Фотием или Игнатием (как утверждал Константин Багрянородный), ограничилось ли дело одной миссией или было две миссии (вторая гипотеза кажется маловероятной), и т. д. Нет оснований утверждать, как это делает Д. Оболенский, что посланный из Константинополя «архиепископ жил в Киеве, где в тот момент, если верить русской летописи, совместно правил Аскольд и Дир» (Оболенский 1998, 196). Возможно, конечно, что принятое днепровскими скандинавами в 860-х годах христианство было «swept away by a new wave of the Vikings who seized Kiev at the last quarter of the ninth century» (Мельникова 2011, 404; речь идет о захвате Киева Олегом). Предположение Оболенского, согласно которому «этот форпост византийского христианства на Среднем Днепре никогда не был полностью разрушен, поскольку христианская община выжила и даже разрослась, по крайней мере в Киеве, в течение пятидесяти лет, предшествовавших окончательному обращению Руси в конце X в.» (Оболенский 1998, 197), представляется ничем не обоснованной фантазией.

Из описания процедуры принесения клятвы явствует, что часть Игоревой дружины состояла из христиан, что у них была своя (соборная) церковь св. Ильи, стоявшая на Подоле, и что их принадлежность к христианству признавалась государством (князем)<sup>26</sup>. Среди христиан, целовавших крест, названы варяги и хазары, которые, видимо, составляли в это время элитарную часть киевского населения. В середине X в. среди элиты были и славяне; неясно, были ли среди них христиане или они в это время оставались особенно невосприимчивы к новой религии (ср.: Мельникова 2011, 406–409)<sup>27</sup>. Процедура принесения присяги – язычниками перед идолом Перуна, а христианами в церкви св. Ильи – оговаривается и в самом тексте договора:

мы же елико насъ хр<sup>с</sup>тлѣса есмъ. клахомъса цр<sup>к</sup>вѣю сѣго Ильѣ въ сборнѣи цр<sup>к</sup>вѣи. и предлежащемъ ч<sup>с</sup>тнмъ кр<sup>с</sup>томъ и харатьею сею. хранити все. еже естъ написано на неи. не преступити ѿ него ничтоже. а иже преступитъ се ѿ страны нашея. ли князь ли инъ кто. ли кр<sup>с</sup>тнъ или некр<sup>с</sup>тнъ. да не имуть помощи ѿ Бѣ. и да будетъ рабъ въ весь вѣкъ в будущи. и да заколенъ будетъ своимъ оружьемъ. а на кр<sup>с</sup>тнѣ Русь полагають щиты своя. и мечъ своѣ наги. шбручѣ своѣ и [прочаа] шружы. да кл<sup>с</sup>нутса ѿ всемъ яже суть написана на харатьи сеи. хранити ѿ И<sup>г</sup>о<sup>ра</sup> и ѿ всѣхъ боларъ. и ѿ всѣхъ людий. ѿ страны

<sup>26</sup> Само посвящение церкви св. Ильи объясняется скорее всего не тем, что, как иногда предполагается, Илия был своего рода христианским эквивалентом Перуна, а тем, что, как указывает В. Водофф, в Константинополе в середине X в. при императоре Василии I культ Ильи получил определенное распространение, так что Ильи было посвящено две новоустроенных церкви (Водофф 1992, 214–215).

<sup>27</sup> О христианстве среди варягов и об их возможной роли в распространении новой религии в Киевской Руси могут свидетельствовать скандинавские источники, хотя сведения, содержащиеся в них, не поддаются прямой исторической интерпретации. Истории, рассказываемые в них, носят на себе отпечаток длительного бытования в устном предании, так что достаточно сложно и реконструировать исходный сюжет, и опознать в нем известные исторические реалии. В саге об Олафе Трюгвассоне рассказывается о пребывании Олафа в Киеве (Гарде) в гостях у Владимира (Вальдемара). Олаф не хочет ходить в языческий храм с Владимиром и говорит: «Я никогда не боюсь богов, у которых нет ни слуха, ни зрения, ни разума; я понимаю, что они не смыслят» (Рыдзевская 1978, 34). Это, конечно, общее место в христианских обличениях язычества, но тем не менее любопытно, что параллель находим в речи варяга-мученика (стоит обратить внимание, что и здесь ПВЛ подчеркивает варяжское происхождение одного из первых известных киевских христиан) в ПВЛ: «и ре<sup>ч</sup> Варягъ не суть бо бѣи на [в др. сп.: но] древо. днѣ естъ. а оутро изыгнѣсть не ѣдаты бо ни пью<sup>т</sup>. ни молва<sup>т</sup> но суть дѣлани руками в деревѣ» (л. 26об.; ПСРЛ, I, стб. 82). Олаф видит сон, в котором ему указано ехать в Грецию и там принять крещение. Туда Олаф и отправляется со своей дружиной, принимает там крещение, уговаривает там же епископа ехать с ним вместе на Русь. Прибыв на Русь, он с помощью княгини Адлаги уговаривает конунга Вальдемара также принять крещение. Никакими другими источниками участие Олафа в крещении Руси не подтверждается, так что здесь можно подозревать либо варягоцентрический вымысел (подвиги варягов в их путешествиях), либо сложную контаминацию. Стоит напомнить, что Олаф действительно был просветителем Норвегии, в 997 г. он основал город Нидарос (Трондхейм) и построил там христианскую церковь.

Руския. въ прочая лѣта и и [так в изд.] воину (л. 13об.–14; ПСРЛ, I, стб. 52–53).

Судя по содержанию, эта завершительная часть договора, содержащая санкцию, была написана уже в Киеве, и это ставит вопрос о том, было ли связано усвоение христианства в это раннее время с усвоением славянской письменности – ведь если текст был написан в Киеве, кто-то его там написал, возможно, написал по-церковнославянски, а в таком случае это указание договора может интерпретироваться как свидетельство знакомства киевских христиан с славянской письменностью. Именно к такой интерпретации склоняется, в частности, Б. А. Успенский (Успенский 2002, 39–40), полагающий в результате как нечто само собой разумеющееся, что и богослужение в церкви св. Илии велось на славянском и что, соответственно, в этой церкви были церковнославянские книги (там же, 38). Если же знакомство с церковнославянским имело место, то грамотным киевлянам приписывается и церковнославянский перевод договоров, а отсюда делается и вывод о существовании княжеской канцелярии. Этот вывод, казалось бы, находит некоторое подтверждение в той статье договора 945 г., где упоминаются верительные грамоты, которые должны приносить с собой киевляне, приезжающие в Византию. В договоре говорится:

а великий князь Руский и боларе его. да посылають въ Греки. къ великимъ црѣмъ Гречскимъ корабли. елико хотать со слы и с гостыми. якоже имъ оуставлено есть. ношаху сли печати злати. а госте сребрени. ныне же увѣдѣлъ есть князь нашъ. посылати грамоту ко црѣву нашему. иже посылаеми бывають ѿ нихъ [посли] и госте да приносѣть грамоту пишюче сице. яко послахъ корабль село. и ѿ тѣхъ да оувѣмы и и мы. шже съ миромъ приходитъ (л. 11об.–12; ПСРЛ, I, стб. 48).

Отсюда, по видимости, следует, что подобные грамоты должны были писаться в Киеве и кто-то их умел писать. Вряд ли, однако, из приведенных свидетельств могут быть сделаны столь решительные выводы.

Сами договоры были несомненно составлены в Константинополе на греческом языке в соответствии с византийским протоколом. По своим дипломатическим характеристикам договоры русских с греками близки византийско-итальянским договорам XI–XII вв. (Малингуди 1994; Малингуди 1996), так что нет сомнения, что текст их был первоначально составлен по-гречески в константинопольской канцелярии, а уже затем переведен на славянский (там же в Константинополе или в ином месте и, возможно, в иное время). Языком перевода является церковнославянский, и это отличает данные юридические тексты от тех текстов, которые получают распространение в Киевской Руси в XI–XII вв. (Русская Правда и др. – см. ниже, § III-6); последние написаны на некнижном (восточнославянском) языке. В договорах употребляется церковнославянская юридическая терминология, калькирующая греческую, во множестве встречаются семантические и синтаксические кальки, так что в отдельных случаях текст трудно адекватно понять, не реконструировав вероятный греческий оригинал (ср.: Лавровский 1853; Мейчик 1915; Обнорский 1960, 99–120). Перевод выполнен не слишком квалифицированно, на это указывают, в частности, непоследи-

тельности в передаче местоимений: *нашъ* в одних случаях относится к греческой стороне, в других – к русской (см., например, в приведенном выше примере *кнѣзь нашъ, ко цѣтѣу нашему*)<sup>28</sup>. Неясно, кто был переводчиком. С. П. Обнорский предполагал, что перевод договора 911 (912) г. «был сделан болгаринном на болгарский язык», а «переводчиком договора 945 г. должен был быть русский книжник» (Обнорский 1960, 119–120), хотя его аргументы в целом не убедительны<sup>29</sup>.

Таким образом, славянский перевод на знакомство с церковнославянской письменностью в Киеве середины X в. никак не указывает. Не указывают на это и статьи, написанные в Киеве, их мог написать человек, приехавший с греками из Константинополя; скорее всего они были написаны по-гречески, как и весь договор, а их славянский перевод появился тогда же, когда и перевод остальной части текста. В данной ситуации вовсе не очевидно, что посылаемые из Киева в Константинополь грамоты должны были писаться по-славянски; они могли с тем же успехом писаться и по-гречески – какое-то количество греков в Киеве, видимо, было. При такой интерпретации кажется поспешным и заключение о существовании княжеской канцелярии: в конце концов, речь идет только о возможности составления грамот, и мы не знаем, составлялись ли они регулярно и нужна ли для этого была особая канцелярия.

Неясно, и как дошли договоры до составителя летописи. Шахматов указывал, что договоры были включены в состав ПВЛ, тогда как в Начальном своде они отсутствовали. Нестор, включая договоры в летопись, вставил в текст слова о том, как осуществлялось заключение договоров, взяв нужную информацию из текста самих договоров (Шахматов 1940, 111–115). Шахматов полагал, что текст договоров был извлечен из «княжеского архива», причем «[в] княжеский архив попали греческие вторые хартии, переделан-

<sup>28</sup> В. М. Истрин полагает, что подобное смешение, делающее текст невнятным, указывает на то, что «договор переводился тогда, когда практического значения он не имел». Он отмечает, что «[у]помянутое смешение местоимений довольно обычно в славянских переводных памятниках и основывается, как известно, на том, что такие слова, как ѣмѣѣс и ѣмѣѣс, ѣмѣѣ и ѣмѣѣ и т. п., произносились одинаково, а потому, с одной стороны, и сами греческие писцы, если они были или малосведущи или невнимательны, смешивали такие слова при переписке, а с другой – переводчики неоднократно ошибались даже при известной внимательности. При отсутствии же внимания или при недостаточном знании греческого языка ошибки итацизма встречаются постоянно» (Истрин 1925, 388). Возможно, однако, и другое объяснение, при котором такие ошибки появляются вне зависимости от итацизма, а в силу непоследовательной трансформации текста договора от одной обязующейся стороны к другой. Именно так трактует их А. А. Шахматов, полагающий, впрочем, хотя и без достаточных оснований, что ошибки возникают при переписке первоначально правильного перевода (Шахматов 1940, 115–117).

<sup>29</sup> Вообще славянская колония в Константинополе была достаточно большой и состояла из славян, принадлежавших разным племенам, это могли быть и собственные, византийские, славяне. И. И. Срезневский (1882, стб. 7) указывал, что договор 972 г. первоначально был написан глаголицей (на основании путаницы в числительных, которая, однако же, поддается и иной интерпретации), что могло бы указывать на южнославянское происхождение переводчиков.

ные в Константинополе из первых хартий, и приготовленные в Константинополе же или в Киеве переводы с этих хартий» (там же, 117). О княжеском архиве нам ничего неизвестно, но в принципе можно вообразить, что договоры хранились в каком-нибудь ларе в княжеских апартаментах и через полтора века были извлечены оттуда кем-то из приближенных князя и отданы им летописцу.

С тем же успехом, однако, договоры могли быть привезены из Константинополя; там должны были хранить греческий текст и в любой момент до отправки в Киев с него могли сделать славянский перевод. В. М. Истрин полагал, что тексты договоров были включены в хронограф, составлявшийся в Киеве в конце первой половины XI в.; непосредственно перед этим они – «наряду с другими многочисленными памятниками» – были переведены с оригиналов, привезенных «теми греками, которые в составе греческого клира прибыли, по вызову Ярослава, в Киев при учреждении русской митрополии в 1037 году. Разумеется, остается неизвестным, откуда появились греческие оригиналы договоров у русских переводчиков: были ли и они привезены греками, или были найдены в княжеском архиве или у кого-либо другого» (Истрин 1925, 391-392). И такая гипотеза не кажется невозможной, она лишь без необходимости замысловата, будучи основана на множестве произвольных предположений: о составлении в Киеве хронографа после 1037 г., о многочисленных переводах, сделанных там в это время (см. ниже), об учреждении митрополии в 1037 г. Если предполагать, что перевод был сделан не одновременно с составлением договоров, то проще думать, что он был осуществлен при включении текстов в ПВЛ в начале XII в.

Именно последнюю точку зрения аргументирует С. М. Каштанов, считающий, что тексты были привезены из Константинополя в 1104 г. митрополитом Никифором I (Каштанов 1996). Существенно, что в описании договора Олега с греками 911 г. упоминается о том, как император (Лев VI) принимал русских послов и показывал им богатства константинопольских церквей. Среди этих богатств названы реликвии Страстей Христовых – терновый венец, гвозди и багряница. Как показали Дж. Уортли и К. Цукерман, упоминание гвоздей указывает на начало XII в.: до этого они не были в доступности, а позднее в Фаросской церкви, в которую водили послов, остался только один гвоздь (Уортли и Цукерман 2004). В этой связи, между прочим, нет оснований думать, что здесь как-либо отразились «the proselytizing efforts of the Byzantine church» в начале X в. (Мельникова 2011, 405).

Таким образом, статьи договора 945 г. ясно показывают, что в Киеве была христианская община, однако не свидетельствуют о том, что эта община пользовалась славянским богослужением и употребляла в каком бы то ни было виде славянскую письменность. Богослужение скорее всего было греческим и оставалось греческим до начала XI в. (время, когда совершился переход к славянскому богослужению, является отдельной дискуссионной проблемой – см.: Водофф 1992). Статья, предписывающая давать грамоты послам и купцам, выезжающим из Киева в Константинополь, говорит вроде бы о том, что какая-то письменность в Киеве могла существовать, но и здесь не содержится никаких данных о том, какой была эта письменность или кто и в каких объемах ее практиковал.

То, что восточные славяне в X в. и, возможно, даже несколько ранее даты официального крещения были знакомы с кириллической письменностью, представляется возможным, хотя и не слишком правдоподобным, однако из факта такого знакомства нельзя сделать вывод о существовании уже в это время собственной письменности, т. е. считать, что уже в это время возникла восточнославянская письменная традиция. Существует ряд кириллических надписей предположительно восточнославянского происхождения, относящихся ко второй половине X – первым годам XI в. Наиболее известна среди них надпись на корчаге (амфоре), обнаруженной при археологических раскопках в кургане у деревни Гнездово вблизи Смоленска. Первоначально корчага (и, соответственно, надпись) была датирована началом X в., затем передатирована временем около 950 г., затем вновь отнесена к более раннему времени (ср. Медынцева 1984, 50; ср.: Медынцева 1998, 186–189; Медынцева 2000, 21–31; Рождественская 1992, 11); вопрос перестает быть столь принципиальным, если полагать, что корчагу завезли в Гнездово из Причерноморья и надпись могла быть сделана в Болгарии (Нефедов 2001; Гиппиус 2004б, 185); эта гипотеза представляется более приемлемой и с историко-культурной точки зрения.

Предлагалось множество различных чтений этой надписи: как обозначения содержимого этой амфоры – *гороушьно* ‘горчица’ или причастие от глагола *горѣти*, хотя ни в одном случае чтение не соответствовало тем буквам, которые можно было прочесть. Наиболее убедительное чтение было предложено Р. О. Якобсоном (Якобсон 1974; Трубачев 1992, 165–175; ср.: Еленский 1975), связанное, правда, с тем, что предпоследняя буква читалась как *н* с обозначением палатальности, что очень трудно представить себе в надписи на сосуде (такие обозначения известны нам лишь в книжных текстах, да и то не во всех, а лишь в претендующих на искусное письмо), однако правдоподобное, по крайней мере, с исторической точки зрения. Якобсон прочел эту надпись как *гороуѣна*, т. е. как притяжательное прилагательное от имени *Гороуѣ*, владельческую запись, которые только и засвидетельствованы на бытовых предметах этой эпохи (встречаются еще надписи с обозначением мастера на мечях, но вряд ли можно предполагать такую надпись на глиняном горшке). Кто был этот Горун (или Горюн), нам неизвестно; мимо Смоленска проходили торговые пути, и амфора могла быть, в принципе, занесена извне, т. е. появиться не на восточнославянской территории. В любом случае это единичное свидетельство, датировка которого остается спорной, никак не указывает на распространение письменности у восточных славян (ср. Лант 1988–89, 280).

К концу X в. свидетельства надписей становятся более многочисленными. Для этого времени найдено несколько полых деревянных цилиндров, которые употреблялись, по заключению В. Л. Янина, в качестве владельческих бирок (типа современных пломб) (Янин 1998, 338–341; 2001, 93–150; НГБ, XI, 137–145; ср. также: Янин 1982; Медынцева 1984; Рождественская 1987; Франклин 2002, 80–81). Существование этих надписей, наиболее ранние из которых могли датироваться 970-ми годами (хотя сейчас надежней кажется более поздняя датировка – Янин 2001, 61), безусловно говорит об определенном знакомстве с кириллицей, но никак не свидетельствует о су-

ществовании соответствующей книжности. В принципе, такие надписи могли функционировать как комплексные знаки, не требующие от получателя сообщения побуквенного чтения и, следовательно, не предполагающие для него обучения грамоте и включения в определенную письменную традицию. В этом отношении представляется сомнительным предположение Т. В. Рождественской о том, что одноеровые написания на цилиндрах позволяют «отнести появление этой школы в Северной Руси к дохристианскому времени» (Рождественская 1987, 42). В любом случае такие тексты не свидетельствуют о существовании кириллических книг, а тем более об их переписывании; ничего не говорят они и о начале систематического обучения грамоте (ср. о недостоверности свидетельств дохристианских кириллических надписей: Гиппиус 2004б, 185–186).

Первые свидетельства о возникновении книжной традиции и обучении грамоте появляются в связи с принятием крещения в 988 г., т. е. установления христианства в качестве государственной религии. В летописи в рассказе о крещении Руси говорится, что Владимир, крестив Киев, «и нача ставити по градомъ цркви. и попы. и люди на крщнье приводити по всѣмъ градо<sup>мъ</sup> и селомъ. пославъ нача поимати оу нарочитое чади. дѣти и давати нача на оученье книжное» (ПСРЛ, I, стб. 118–119; Шахматов 1916, 151). Трудно предположить, что «книжное учение» состояло в обучении греческому языку и грамоте, поэтому данное сообщение интерпретируется обычно как указание на начало обучения (катехизации) по славянским книгам (ср.: Якубинский 1953, 93; Успенский 2002, 35). И в этом случае, однако, остается неясным, откуда могли появиться на Руси славянские книги в количестве, достаточном для того, чтобы по ним учили «по всѣмъ градо<sup>мъ</sup> и селомъ», равно как неясно, откуда могли взяться многочисленные миссионеры-учители. Думаю, что реалистичнее всего полагать, что конкретные детали в этом сообщении исторической верификации не поддаются, а книжное учение выступает как синоним катехизации. Понятно, что летописец, сказав о крещении, должен был сказать и о катехизации, а во второй половине XI в. началом и основой катехизации уже было обучение грамоте, так что для летописца, создававшего исторический нарратив в привычных для него категориях, учение книжное могло выступать как нормальный способ обозначения элементарного христианского просвещения.

▲ **Экскурс о значении «учения книжного».** Что касается самого выражения *учение книжное*, то наиболее правдоподобным кажется связывать прилагательное *книжный* с *книга* в значении ‘буква, γράμμα, littera’; в этом случае данное выражение означает обучение грамоте, чтению по складам. В подобном значении данное выражение встречается и в других памятниках, ср. в Чудесах св. Николая Чудотворца: «Идоушоѹ же ємѹ на оученькѣ книжьнок. и срѣтѣ и жена изъ веси. именемъ нона» (СДРЯ XI–XIV вв., IV, 359). То же значение находим и в Легенде Никольского (Гумпольдовой легенде) «к’ попиноу... наоучити к’нигамъ оучити данъ быст» в соответствии с «litteras addiscendis» латинского оригинала (Рогов 1970, 73; ССЯ, II, 92). Аналогично и в Римском патерике (Диалоги Григория Великого) в раннем переводе с греческого, ср. здесь: «свободнымъ же книга<sup>мъ</sup> оученіе (τῶν ἐλευθερικῶν γραμμάτων διδασκῆ)



преданъ бѣ: тѣмъ\* възненавидѣвъ книжное оученіе (Βδελυξάμενος τοῖνον τῶν γραμμάτων τὴν διδασχὴν); Ѡстѣпѣти же оубо книжнаго казаніа (τῶν γραμμάτων παιδεύσεως)» (Дидди 2001, 99).

*Кънига* в значении 'littera' можно, видимо, отнести к архаическому слою славянской христианской терминологии. Исходным для этого значения текстом следует считать Лк. 23: 38: «Бѣ же и написаник написано надъ нимъ кънигами єллинскими и римскими и євренскими» (Остр. ев., л. 191об.; Востоков 2007, 191об.; то же и во всех старославянских памятниках, см.: Ягич 1913, 357; Львов 1960, 65; 1966, 158). В этом слое значение 'liber' выражалось, скорее всего, словом *боуки*, которое, в частности, употребляется в архетипе Пространного жития Константина-Кирилла. Соответственно, выражения Пространного жития «*нмоутъ боукви въ аззыкъ свои*» (XIV, Лавров 1930, с. 27. 1), «*гавль боукви въ вашъ аззыкъ*» (XIV, 27. 15), «*възлюбн вельми словєньскы боукви*» (XV, 29. 16–17) следует понимать как относящиеся не к знакам глаголицы, а к книгам Св. Писания (см.: Никольский 1928, 7–13; Дзиффер 1992, 170–171); отголоски такого употребления встречаются и в других памятниках кирилло-мефодиевского цикла (Никольский 1928, 13), в частности, в Сказании о преложении книг в ПВЛ («не достоить некоторо-муже языку имѣти буквѣвъ своихъ» – Шахматов 1916, 27). Как предполагает Н. К. Никольский, «в значении 'книги' слово 'букви' относится, очевидно, к отголоскам готского или немецкого влияния на славянский язык в докирилло-мефодиевскую эпоху, так как 'буки' имеет свой корень в немецком Buch или Buoh, готском boka<sup>30</sup>. С появлением славянской письменности первичное значение 'букв' перешло к слову 'книгы' и было вскоре забыто, удержавшись только в тех памятниках с остатками архаического провинциализма, к числу которых принадлежал и источник рассказа о моравской миссии» (Никольский 1928, 13). Нет оснований полагать, как это делает А. С. Львов (Львов 1960, 69), что «*боукѣви* [в значении 'libri'], вероятнее всего, было только южнославянским»; следы этой архаической черты славянской христианской терминологии сохраняются и у западных славян (см. о полабском: Олеш 1976, 13–14; некоторые соображения об этимологии слов *буква* и *книга*, не всегда, впрочем, здравые, см.: Леминг 1971).

Переход значения 'libri' к слову *къниги*, имевший место, видимо, уже в древнейшую эпоху славянской письменности, создает такую полисемию этого последнего, при котором однозначная интерпретация многих текстов оказывается чрезвычайно сложной. Эта затрудняющая понимание полисемия имеет место уже в старославянских памятниках (см.: Ягич 1913, 357; Львов 1966, 158–159). Показательно, что составители Словаря древнерусского языка XI–XIV вв. пытаются избежать этой проблемы с помощью уловок самого школьного характера, выделяя у слова *книги* значение 'буквы, письма, а также сочинения, написанные этими письмами' (СДРЯ XI–XIV вв., IV, 355), т. е. принципиально смешивая два значения, которые нуждаются в разграничении, хотя в качестве особых, других значений у этого же слова даются 'рукопись', 'сочинение значительного объема', 'Библия, священное писание'. Не менее характерно, что составители Словаря русского

<sup>30</sup> Ср.: ЭССЯ, 3, 92.

языка XI–XVII вв. соответствующего значения у прилагательного *книжный* вообще не выделяют (СРЯ XI–XVII вв., VII, 200–201). Средневековые переписчики и редакторы, естественно, испытывали не меньшие затруднения, чем современные интерпретаторы, что и отразилось в многочисленных вариантных чтениях, в отдельных случаях свидетельствующих о разных понимании текста. Интересно отметить, что в значении ‘litterae’ слово *книги* сохраняется в церковнославянской юридической традиции («*книги вѣды, книги вѣдуще*» в смысле ‘грамотный, владеющий грамотой’ в статьях о завещательных распоряжениях – Мерило Праведное, л. 74об.–75, 176об., ср.: СДРЯ XI–XIV вв., IV, 356); это употребление также может восходить к архаическому слою. Говоря об этом употреблении в Эклоге, Я. Н. Щапов замечает: «Слово “кѣнигы” применялось для обозначения букв первыми славянскими переводчиками (в Моравии и Болгарии)» и приводит пример из Толковой палеи (в переводе из византийской Пасхальной хроники) «*иже видать о нихъ книги*», в котором *книги* соответствует греч. *υρῳματα* (Щапов и Бургманн 2011, 127). Все эти соображения позволяют предположить, что в словах об учении книжном в ПВЛ не содержится прямого указания на существование славянских книг во времена св. Владимира или на возникновение обучения церковнославянской грамоте. ▲

Итак, при интерпретации учения *книжного* как обучения грамоте следует заключить, что никаких ясных сведений о приобщении к кирилло-мефодиевской традиции в рассматриваемом сообщении не содержится; рассказ летописца о начале книжного учения является лишь экспликацией само собой разумеющегося факта, что после 988 г. св. Владимир требовал, чтобы дети правящей элиты получали христианское воспитание. Вопрос же о существовании какой-либо книжной письменности на Руси для конца X в. это летописное свидетельство никак не решает.

Высказывалось мнение (см.: Лант 1988–89, 277–279), что церковнославянская книжность (т. е. восточнославянские списки церковнославянских книжных текстов) появляется в Киевской Руси лишь в середине XI в., в княжение Ярослава Мудрого. Дискуссиям на данную тему был положен конец открытием при новгородских раскопках 2000 г. так называемого Новгородского кодекса. Новгородский кодекс – это три восковые дощечки (церы) с текстами псалмов. Три найденные дощечки образовали книжку, состоящую из шести поверхностей размером 15 на 19 см., две поверхности служили «обложкой», а четыре содержали текст. На сохранившемся восковом покрытии читаются 75-й и 76-й псалмы, относящиеся к десятой кафизме, и несколько стихов 67-го псалма, принадлежащего к предшествующей девятой кафизме (описание кодекса и публикацию текстов см.: Зализняк и Янин 2001). Исследование показало, что новгородские церы использовались много раз, т. е. много раз на них писался текст, а потом стирался и писался новый. Стихи Пс. 67 являются остатками предшествующего слоя, в своей основной части стертого – поверх этого слоя и были написаны псалмы десятой кафизмы. Не буду сейчас останавливаться на многослойности Новгородского кодекса и на возможности восстановления затертых текстов по отпечаткам на деревянной подложке (см.: Зализняк 2002б; Зализняк 2003а;

Зализняк 2003б; возражения К. Станчева – Станчев 2004 – представляются мне не вполне убедительными). Для обсуждаемого сейчас вопроса достаточно свидетельства текста, сохранившегося на воске.

Исключительно важно, что Новгородский кодекс может быть достаточно точно датирован методом дендрохронологии. Прямо над найденными церами располагался сруб, бревна которого датируются 1036 г. Это значит, что церы были написаны раньше этого времени. При этом дощечки лежали глубже сруба на тридцать сантиметров. Культурный слой в Новгороде этого времени нарастал приблизительно на сантиметр за год. Таким образом, церы, вероятно, попали в землю в первое десятилетие XI в. (Зализняк и Янин 2001, 4). Значит, они были в употреблении раньше этого времени. Конечно, это не дает абсолютно точной даты, но позволяет с уверенностью сказать, что церы написаны не позднее первой четверти XI в. В силу этого можно утверждать, что Новгородский кодекс является древнейшей датированной славянской рукописью (более ранним временем датируется лишь несколько болгарских надписей; что же касается книжных текстов, то первой датированной рукописью остается Остромирово евангелие 1056–1057 г.; ни одна из старославянских рукописей не датирована; хотя не исключено, что некоторые из них, например, Киевский миссал, были созданы в X в., их точная датировка остается безнадежно дискуссионным вопросом).

Особенности письма Новгородского кодекса позволяют сделать ряд существенных выводов о его писце и о реализуемой им письменной традиции. Прежде всего можно утверждать, что писец Новгородского кодекса был восточным славянином (что, учитывая раннюю дату памятника, является весьма нетривиальным фактом). Об этом свидетельствует смешение юсов с буквами, обозначающими неносовые гласные (смещение **ж** и **л** с **оу** и **ла/а**); такое смешение характерно исключительно для восточнославянских рукописей (см. ниже, § VI-6.1). В Новгородском кодексе случаи такого смешения немногочисленны (менее 10%), что указывает на высокую квалификацию писца (об этом же говорит и устойчивый, отработанный почерк), но при всей их немногочисленности они не оставляют сомнений в происхождении писца. Второй момент, существенный для контекстуализации Новгородского кодекса, состоит в его одноеровой орфографии (из двух еров употребляется только **ѣ**). Это связывает новгородские церы с рядом древних одноеровых восточнославянских книжных памятников (см.: Тот 1985; см. ниже, § VI-6.4.1), следующих восточноболгарским орфографическим традициям (без их приспособления к восточнославянским нормам книжного письма). Никаких намеков на восточнославянскую адаптацию нет и в морфологии. Как подчеркивает А. А. Зализняк: «В отличие от Остромирова евангелия и других памятников 2-й половины XI века, здесь еще нет ничего, что можно было бы интерпретировать как проявление формирующихся новых, русифицированных норм в сфере орфографии или морфологии» (Зализняк 2003б, 192). Отсюда можно заключить, что, во-первых, книжная традиция появляется в Киевской Руси практически непосредственно после ее крещения (в ближайшие две декады; писец Новгородского кодекса принадлежал к первым поколениям русских христиан) и, во-вторых, одним из источников этой традиции была Восточная Болгария.

Насколько быстро укореняется и распространяется эта традиция, судить достаточно сложно, хотя было бы странно думать, что писец новгородского кодекса был книжником-одиночкой<sup>31</sup>. Несомненное, хотя и не поддающееся однозначной интерпретации указание на развитие славянской книжности находим в известной статье ПВЛ под 1037 г. Здесь говорится о Ярославе (цитирую по Лаврентьевскому списку): «и собра писцѣ многы. и прекладаше ѿ Грекъ н<sup>а</sup> Словѣньское писмо. и списаша книги многы. и сниска имиже поучашеся вѣрнии людье наслаждаются. оученыя бж<sup>ѣ</sup>твенаго» (л. 51об.; ПСРЛ, I, стб. 152). Как справедливо отметил Г. Лант (1988, 258), текст в данном месте является безнадежно испорченным уже в протографе всех сохранившихся списков; сопоставление списков (см. в цит. статье Ланта, 255–256; ср. также в гарвардском издании ПВЛ: Островский, II, 1202–1203) не позволяет предложить убедительных эмendaций, но лишь показывает те нестыковки, которыми были обеспокоены копировавшие текст книжники. Так, из Радзивилловского и Академического списков исчезает *и сниска*, исконность которого засвидетельствована Лаврентьевским и Ипатьевским списками; можно полагать, что книжники хотели избавиться от аномальной формы переходного глагола без прямого объекта<sup>32</sup>. Равным образом в Ипатьевском (и Хлебниковском) списке вместо н<sup>а</sup> Словѣньское писмо появляется н<sup>а</sup> Словѣньскыи языкѣ. и писма (ПСРЛ, II, стб. 139); вставка обусловлена, видимо, непонятностью исходного текста, поскольку невозможно истолковать, какое именно действие может быть обозначено словами *прекладати на писмо*; и здесь, не вдаваясь в хитроумные построения (ср.: Гиппиус 2002, 100), естественно видеть результат

<sup>31</sup> О том, с какой целью этот книжник сотни раз писал на церах свои тексты, затем стирал их и писал заново, можно только догадываться. Хотя не исключено, что такое переписывание было аскетическим упражнением (ср.: Зализняк 2003б, 194), трудно отделаться от мысли, что этот процесс был как-то связан с обучением книжному письму (грамоте), в котором, как известно (см. § II-2), использовалась Псалтырь и с древнейших времен употреблялись церы. Если такая связь имела место, у писца новгородского кодекса должны были быть ученики и, возможно, продолжатели.

<sup>32</sup> Утверждение А. А. Гиппиуса, что «ничто не мешает считать, что объект у *сниска* – тот же, что и у *списаши*, то есть *книги многы*» (Гиппиус 2002, 100–101), вряд ли правомерно. В принципе, конечно, эллипсис объекта, анафорически отсылающий к объекту предшествующего предиката, вполне возможен, но лишь в том случае, если действие, обозначаемое предикатом с эллиптированным объектом, является продолжением действия, обозначаемого предикатом с объектом, к которому отсылает эллипсис. Можно написать *он поймал лошадей и привел*, но нельзя *он привел лошадей и поймал*. Фраза последнего типа нарушает требование иконичности нарратива в последовательности аористов. *Сниска* без дополнения свидетельствует об испорченности текста, и именно с этой порчей пытались справиться писцы Радзивилловского и Академического списков. А. А. Шахматов предполагал, что *сниска* возникло механически из *съ ними*, стоявшего после *прекладаше* и объясняющего переход от ед. числа *прекладаше* ко мн. числу *списаши*, и *ска*, оторвавшегося от *Гречьска*, в результате чего и получилось неудобоваримое *отъ Грекъ* (Шахматов 1916, 192); при всей занимательности этой эмendaции принять ее невозможно, поскольку невозможно вообразить такое членение рассматриваемого отрывка на строки, при котором имел бы место подобный отрыв.

порчи<sup>33</sup>. Порчей текста естественнее всего объяснить и неясность в отнесении к лицу глагольных форм (формы *собра*, *прекладаше* и *сниска* ед. ч. и, видимо, относятся к Ярославу, форма *списаша*, мн. ч. – к писцам, что, однако же, ясного смысла не создает), а возможно также и немотивированный переход от имперфекта *прекладаше* к аористу *списаша*.

Итак, текст испорчен и его содержание непонятно. Как мне представляется, нет оснований видеть в нем сообщение о начале массовых переводов с греческого, вчитывать этот смысл во фразу *прекладаше ѿ Грекъ н<sup>а</sup> Словѣньское писмо* кажется натяжкой, и не столько потому, что глагол *прекладати* в древнерусской письменности не имел значения 'переводить' (Лант 1988, 256–257; ср. возражения Гиппиуса: Гиппиус 2002, 122), сколько потому, что никак нельзя переводить *на писмо*, да и *ѿ грекъ* вряд ли означает «из греческих авторов», как этого хотел бы Гиппиус (там же, 100)<sup>34</sup>. Очевидно, однако, что речь идет о систематической книжной деятельности многих писцов, в результате которой появляются многочисленные написанные по-славянски книги. Оригиналы при этом берутся «от грек», т. е. из Византии, что можно рассматривать как вполне правдоподобное указание, учитывая то очевидное обстоятельство, что во времена Ярослава болгарская территория была частью Византии. Во всяком случае, основываясь на рассмотренной летописной статье и приобщая исторические и археологические свидетельства о распространении христианства в Киевской Руси, можно заключить, что в правление Ярослава (1015–1054) на Руси утверждается славянская (кирилло-мефодиевская) письменность и, скорее всего, славянское богослужение (возможно, наряду с греческим и в неясном с ним соотношении); 1037 г. выступает, естественно, как чисто условная дата:

<sup>33</sup> Д. С. Лихачев, ничтоже сумняся, переводил, исправляя летописный текст: «И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. И написали они книг множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным» (ПВЛ 1996, 204). Филологическая совесть не допустила О. В. Творогова до подобных вольностей, и он предпочел сохранить бессмысленное *писмо*, вставив, впрочем, *языкъ* из Ипатьевского списка в текст летописи (без текстологического обоснования); отсюда перевод: «И собрал писцов многих, и перелагали они с греческого на славянский язык и на писмо. Переписали они и собрали множество книг, которые наставляют верующих людей, и наслаждаются они учением Божественного слова» (БЛДР, I, 194–195).

<sup>34</sup> Лант предполагает, что «прекладати на Словѣньское писмо» могло означать транслитерацию из глаголицы в кириллицу (см.: Лант 1988, 263, примеч. 28); для такого предположения не видно достаточных оснований (ср.: Алексеев 1996, 284). Утверждение А. А. Алексеева о том, что разбираемое место является «совершенно ясным пассажем» (там же), в свете всего сказанного выше кажется абсурдным (ср.: Лант 1999, 437–439). Не исключено, что в протографе ПВЛ в данном пассаже были утеряны какие-то слова. Все это, однако, относится к области непроверяемых гипотез. Можно было бы думать, например, что в исходном тексте слова шли в другом порядке, скажем: «и собра писецѣ многы. и сниска книги многы ѿ Грекъ и прекладаше ѿ [далее могло быть опущено указание на то, откуда прекладаше] на Словѣньское писмо и списаша книги многы»; в протографе же сохранившихся списков были переставлены какие-то строки и утеряны какие-то слова. Как бы то ни было, возможности восстановить полный смысл этого фрагмента у нас нет.

похвала Ярославу приурочивается к сообщению о закладке Св. Софии Киевской.

Откуда приходили книги в Киевскую Русь? Одним из очевидных источников была Восточная Болгария. Об этом свидетельствует рассмотренный выше Новгородский кодекс. Равным образом, не возникает сомнения, что именно восточноболгарские рукописи послужили оригиналами для Остромирова евангелия, Новгородских листков, Изборников 1073 и 1076 гг. На это указывают как их лингвистические характеристики (например, набор и характер употребления йотированных гласных и юсов – ср.: Марти 1984), побуждающие реконструировать именно восточноболгарский оригинал, так и – в случае Изборников – соображения текстологического характера (ср.: Куев 1974; Динеков 1977; Федер 1995). Каким именно образом оригиналы упомянутых рукописей оказались в Киеве, остается неясным, однако это не является принципиальным. Существенно, что на Русь перешла, видимо, большая часть корпуса книжности, созданного в Первом Болгарском царстве (преславского книжного фонда); именно через это посредство достигла Руси святоотеческая литература в славянских переводах (см.: Томсон 1978; Томсон 1993а).

В отсутствие положительных исторических данных о перемещении болгарских книжников и болгарских книг из Болгарии в Киевскую Русь возникают разнообразные гипотезы, в большей или меньшей степени правдоподобные (см. их разбор в работе: Томсон 1988–89, 239–241; некоторые тенденциозные суждения можно найти в: Сперанский 1928; Мошин 1963, 58–60). Ряд исследователей полагает, что на Русь была перенесена из Болгарии царская библиотека, содержавшая роскошные кодексы, списки с которых сохранились в древней восточнославянской книжности (Изборник 1073 г., Учительное Евангелие Константина Преславского с миниатюрой, изображающей князя Бориса-Михаила, Слово Ипполита Римского об Антихристе с изображением царя Симеона). Высказываются разные гипотезы о том, как эта библиотека попала на Русь (Власто 1970, 252; Жуковская 1977, 12; Водофф 1988, 105; Водофф 1992, 217). Некоторые считают, что она была привезена сюда Святославом в качестве трофея после победы над болгарями (ср.: Мошин 1963, 52–61 – хотя неясно, зачем неграмотному Святославу мог понадобиться такой трофей). Другие – что эта библиотека была захвачена византийцами (А. И. Соболевский прямо называет Цимисхия – Соболевский 1921, 242) и затем была дана в качестве приданного принцессе Анне при ее бракосочетании со св. Владимиром, что, пожалуй, предполагает какие-то просветительские планы у византийских правителей, рассматривавших, надо думать, брак Анны как катастрофу (Турилов 1995, 33; Турилов 2005, 25). Третье – что книги были привезены восточнославянскими воинами, помогавшими Византии в окончательном разгроме Болгарии (Поппе 1985, 334 – даже если эти воины и были христианами, их должны были привлекать иные, не книжные, трофеи). Возможны, понятно, и другие гипотезы, например, привоз этой библиотеки, совсем не нужной грекам, одним из греческих митрополитов, поставленных в Киев. Следует иметь в виду при этом, что привоз библиотеки, даже и в конце X в., отнюдь не означает одновременного начала книжной деятельности: книги могли лежать несколько

десятилетий, дожидаясь своего часа<sup>35</sup>. Усвоение болгарской традиции в любом случае не вызывает сомнения.

Вместе с тем следует отметить, что усвоение на Руси кириллицы, а не глаголицы не является принципиальным свидетельством ориентации именно на Восточную Болгарию или вообще восточноболгарского происхождения восточнославянской книжности. В какой именно форме могла осуществляться конкуренция между кириллицей и глаголицей у восточных славян и насколько намеренным был произведенный выбор, остается полностью неясным. Самые ранние письменные свидетельства (такие, как Новгородский кодекс или первые берестяные грамоты) показывают, что кириллица доминировала с самого начала. Для того чтобы предпочесть кириллицу, достаточным основанием могло быть ее сходство с греческим письмом; привлекательность же этого образца могла определяться ориентацией на Византию, а не на Болгарию. Можно представить себе, что в конце X в. глаголица могла казаться амбициозным варварам, мечтающим о собственном месте в цивилизованном мире, провинциальным курьезом, никак не подходящим для их культурно-политической программы.

Нужно отметить, что если лингвистические свидетельства указывают на преимущество восточнославянской письменности по отношению к восточноболгарской, то каких-либо исторических свидетельств, демонстрирующих подобную связь, нет. Этот исторический вакуум побудил в свое время М. Д. Приселкова (1913) предположить, что первоначально русская церковь находилась не в юрисдикции константинопольских патриархов, а в юрисдикции патриархов охридских. Эта гипотеза, однако, не имеет никаких достоверных оснований (Шахматов 1914а) и противоречит той общей картине политического развития, которая восстанавливается для конца X – начала XI в. Болгария теряла свою независимость под ударами Византии, которой правят в это время императоры македонской династии, ведущие успешную военную политику, и вряд ли была способна к какой-либо экспансии, в частности, и к церковной (ср. о «постумном» характере усвоения болгарской традиции в Киевской Руси: Турилов 2012, 193). Церковное подчинение Болгарии означало бы, что Владимир находился в состоянии конфликта с Византией; после брачного союза Владимира с Анной такой конфликт не кажется вероятным, и ничто в наших источниках на него не указывает (см.: Томсон 1988–89, 233; ср. здесь же критику других еще более фантастических теорий о церковных связях Болгарии и Руси – там же, 218–237). В этом контексте надо предполагать, что в церковно-политическом отношении Киевская Русь ориентировалась на Византию, а славянскую кириллическую письменность усваивала как часть византийской патримонии.

---

<sup>35</sup> Ср. в этой связи любопытную гипотезу У. Федерера, согласно которой похвала Ярославу в ПВЛ под 1037 г. (см. выше) относится именно к тому обстоятельству, что под патронатом Ярослава и в соответствии с его политической программой Преславская библиотека, попавшая на Русь едва ли не со Святославом и состоявшая из глаголических рукописей, стала доступной, и Ярослав «organized its concerted dissemination in Cyrillic» (Федер 2003, 392–393). Понятно, что для доказательства этой гипотезы необходимые данные отсутствуют.

Именно так трактует этот материал Б. А. Успенский (2002, 41–45), и с ним, видимо, можно согласиться. В частности, политические ориентиры св. Владимира ясно видны в том, что он в качестве крестного имени принимает имя правившего в тот момент византийского императора Василия II, точно так же как в свое время бабка Владимира взяла себе имя современной ей византийской императрицы Елены. Хотя Владимир отнюдь не равнял себя с византийскими императорами, на монетах он изображается в царском венце, и это также говорит о привлекательности византийского образца.

Б. А. Успенский интерпретирует эту ситуацию как такое усвоение церковнославянского, при котором он выступает как средство византизации русской (восточнославянской) культуры, а южные славяне – как посредники в этом процессе. Существенных доказательств для этого нет, так что можно полагать, что кириллическое письмо первоначально усваивается просто как наиболее удобная форма письменной фиксации, не имеющая прямого отношения к восприятию церковнославянского языка или византийской культуры. Успенский приводит в качестве аргумента существование монет Владимира и его сына Святополка, на которых их имена даются в южнославянской форме: **Владимиръ на столѣ; Владимиръ а се его сребро; Сѣтополькъ** (там же, 42–43). И неполногласие, и порядок написания букв в рефlekсах редуцированного с плавным значимы, поскольку в летописях неизменно употребляется полногласная форма *Володимиръ*, а написание еров перед плавными доминирует уже в древнейших восточнославянских рукописях. Поскольку, однако, речь идет о первых десятилетиях после крещения Руси, для которых у нас другие письменные свидетельства единичны, любая интерпретация остается гипотетической: чеканкой монет мог заниматься южнославянский ремесленник или южнославянские написание могли в эти ранние годы воспроизводиться без адаптации и т. д. Непосредственная связь кириллицы и церковнославянского языка с византийским культурным господством не просматривается. Можно указать, например, что кириллические надписи встречаются и на монетах польского короля Болеслава (наиболее вероятно, Болеслава Храброго – 992–1025, см.: Толстой и Кондаков, IV, 170), который вряд ли стремился воспроизвести в Польше византийскую культуру, бесспорно не воспринимал церковнославянский как средство выражения этой культуры, а кириллическую надпись рассматривал, надо думать, как более подходящую для его восточнославянских подданных.

Как уже говорилось, до открытия Новгородского кодекса можно было в принципе даже предположить, что все эти случаи употребления кириллицы до Ярослава не указывают ни на какую рецепцию кирилло-мефодиевской письменной традиции, а представляют собой лишь случайные опыты применения кириллицы для разных не книжных нужд (как это по существу и делает Г. Лант – 1988–89, 280–281). Новгородский кодекс однозначно свидетельствует о том, что церковнославянская традиция была усвоена непосредственно после крещения Руси. Как, однако, она осмыслялась в первые десятилетия восточнославянского христианства, остается неясным, и в отсутствие каких-либо данных нет смысла строить гипотезы. Каково бы ни было функционирование кириллической письменности до Ярослава, оче-



видно, что при Ярославе уже имеет место достаточно разнообразная книжная деятельность, указывающая и на церковнославянский язык в богослужении, и на обучение церковнославянской грамоте, и на появление профессиональных (в неясной степени) писцов.

Несомненно, что в Киевской Руси была известна и глаголица, и глаголические рукописи здесь переписывались (см.: Карский 1928, 211–219; Сперанский 1929, 58–70; Вайс 1938; Медынцева 1978, 25–32; ср. еще недоказуемую гипотезу У. Федерера о массовом копировании преславских глаголических рукописей в Киеве XI в. – Федерер 2003, 388–393). Сколько было таких рукописей и в каком процентном отношении находились они к рукописям кириллическим, мы не знаем и не можем судить. Инославянские рукописи, имевшие хождение на Руси XI в., до нас практически не дошли (возможно, за исключением Саввиной книги, в которой имеются восточнославянские дополнения XI–XII в. – Саввина книга 1999, 12–13, и Супрасльской рукописи, поскольку эта рукопись скорее всего попала в Супрасльский монастырь из Киево-Печерской лавры, откуда вышли первые супрасльские монахи), а глаголические рукописи должны были сохраняться еще хуже, чем кириллические (поскольку большинство книжников, во всяком случае, в позднейшее время глаголицы не знало и никакого употребления из глаголических текстов сделать не могло). Глаголические рукописи, достигавшие Руси, могли происходить из разных регионов. Ясно, что на Руси были глаголические рукописи южнославянского (македонского) происхождения; к их числу, например, относится оригинал древнейшего списка Пандектов Антиоха (XI в. – ГИМ, Воскр. 30; см.: Поповски 1989а, 68, 112). Не вызывает сомнения, что на Русь приходили и чешские глаголические тексты, поскольку было бы трудно иным образом объяснить сохранение в корпусе русской книжности памятников чешского происхождения (Жития Вячеслава, Жития Людмилы, Сказания о предложении книг – см.: Мареш 1979)<sup>36</sup>.

В силу исторических обстоятельств Русь на протяжении XI в. становится основным центром славянской письменности, который, как мы видели, впитывает в себя книжные традиции всех прочих славянских земель. Здесь, таким образом, сталкиваются разные изводы церковнославянского языка, поэтому неправомерно было бы говорить о восточнославянском церковно-

<sup>36</sup> В то же время известный колофон 1047 г. попа Упия Лихого на рукописи Пророков с толкованиями, в котором говорится, что Господь сподобил его **написати книги си. ис коуриловицѣ**, не может служить однозначным свидетельством того, что, как полагает ряд ученых, «глаголическое письмо <...> было известно в Новгороде в XI–XII вв.» (Щепкин 1967, 25; ср. еще: Селищев, I, 62; Черепнин 1956, 100). Наличие отдельных глаголических букв в списках XV в. с данной рукописи никак не доказывает, что оригинал был глаголическим и что именно глаголица имела в виду в выражении «**ис коуриловицѣ**» (ср. Карский 1928, 363–364). Надо, впрочем, заметить, что мнение Соболевского, полагавшего, что «писец 1047 г. разумел под куриловицею не глаголицу, а письмо южнославянского типа, отличное от известного писцу русского устава XI в.» (Соболевский 1921, 242), и основывавшего свое мнение на одной форме повелит. наклонения *бъате*, встретившейся в списках XV–XVI вв., представляется совершенно неосновательным. Смысл указанного выражения остается дискуссионным (см.: Поппе 1985), так что делать на этом основании далекоидущие выводы явно не стоит.

славянском как трансформации одного какого-нибудь извода (в частности, восточноболгарского). Очевидно, что это разнообразие выступает как существенный стимул для выработки своей особой нормы, преодолевающей противоречивость норм, представленных в распространявшихся на Руси рукописях (ср.: Шевелов 1987, 164–165). Можно полагать, что разные изводы церковнославянского воспринимались восточнославянскими книжниками как варианты единого книжного языка, и при этом вариативность норм, с которыми сталкивались книжники на Руси, была стимулом для их переработки: создание восточнославянской нормы выступает тем самым как обобщение и приспособление имевшихся вариантов к задачам создания новой книжной нормы.

## **2. Функции книжного языка на Руси и в Византии. Историко-культурный фон**

Вопрос о функциях (коммуникативных заданиях) книжного языка – это вопрос об объеме и характере культурной деятельности. Поскольку христианство приходит на Русь из Византии (в качестве господствующей религии), распространен взгляд, согласно которому объем и характер культурной деятельности в древней Руси воспроизводил соответствующие параметры византийской культурно-языковой ситуации. Отсюда как тождественные рассматривались и сами языковые ситуации. Церковнославянский понимался как «классический» язык, функционировавший в Киевской Руси на тех же основаниях, на которых в Византии функционировал книжный греческий. Одним из возможных проявлений этого подхода было и определение языковой ситуации в Византии и древней Руси как диглоссии. Сходство функций предполагает и сходство в наборе регистров (или разновидностей) письменного языка, что определяет не только реконструкцию первоначальной ситуации, но и построение всей исторической картины.

Между тем языковые ситуации были различны с самого начала и не стали более сходными в дальнейшем. Что касается книжного языка, то очевидно, что книжный греческий и книжный славянский функционировали по-разному. В Византии книжный язык (в разных стилистических вариантах) служил средством выражения не только для литературы, но и для всей официальной деятельности – юриспруденции, делопроизводства и т. д. Вместе с тем некнижный язык мог использоваться в литературе (уже в XII в.) при определенных эстетических установках, т. е. определенным образом эстетизироваться (у Михаила Глики и в стихах Птохопродрома – ср.: Бек 1971, 101–109; Браунинг 1978, 123)<sup>37</sup>. В любом случае характер употребляемых

<sup>37</sup> Если приписывать стихи Феодору Продрому, или Птохопродрому (ср. аргументы в пользу их отождествления у А. П. Каждана – Каждан 1964), мы имеем дело с сознательным выбором языкового кода как моментом эстетической деятельности. Однако и в том случае, когда птохопродромика рассматривается как пародия, употребление в ней «народного» языка, несомненно, имеет сознательный характер и обусловлено эстетической установкой. По-разному может интерпретироваться и язык Михаила Глики (см.: Ейденаер 1968); если полагать, как делает Х. Ейденаер, что мы имеем здесь дело не с «народ-

языковых средств осознавался и обнаруживал эстетические установки пишущего (ср. о лингвистических оценках Евстафия Фессалоникийского: Криарас 1967, 285). К противопоставлению религиозной и нерелигиозной сферы выбор языка отношения не имел; византийский пуризм, представленный и в духовной, и в светской литературе, опирался прежде всего на классические модели, и со времени великих отцов Церкви IV–V столетий аттицизированный греческий становится такой же нормой для религиозной литературы, какой он был для аттицистов-язычников, обучавших их риторическому искусству (Вирт 1976; Браунинг 1978, 105–108)<sup>38</sup>. В Киевской Руси никакой эстетизации некнижного языка не было, напротив, он употреблялся в правовых и деловых документах, поскольку они не связывались с христианской культурой (см. ниже, § III-6). Здесь выбор языка в большой степени определялся противопоставлением христианской традиции и дохристианского культурного наследия. Никакого аналога подобной некнижной письменности в Византии нет: юридическая и деловая деятельность ведется на разновидности книжного языка, а язык частной переписки зависит от социокультурного статуса участников и никакого особого регистра (подобного традиции бытовых берестяных грамот) не образует. Исследователи говорят о диглоссии и применительно к Византии, и применительно к Киевской Руси. Очевидно, что одновременно оба эти утверждения верны быть не могут; они лишь показывают, насколько разнородные ситуации языковой гетерогенности могут покрываться понятием диглоссии<sup>39</sup>.

ным» языком в прямом смысле, а лишь с более или менее многочисленными отклонениями от традиционного книжного языка, функциональная значимость этого факта не меняется. В таком случае используется своего рода гибридный язык (ср. об этом понятии применительно к византийской ситуации: Бек 1971, 7), причем и здесь употребление наречия, отличного от «аттического» языка основной литературной традиции, соотносено с эстетической установкой. В восточнославянской ситуации отсутствует, по крайней мере в первые столетия христианства, эстетизация языковых средств, относящихся к разным регистрам.

<sup>38</sup> Хорошей иллюстрацией может служить трактат ученика патриарха Фотия Льва VI Мудрого «Οἰακιστικὴ ψυχὼν ὑποτύπωσις». Издавший этот трактат А. Пападопуло-Керамевс замечает: «С точки зрения языка достойно внимания <...> что в каждой главе, состоящей из двух частей, первая часть отличается очень старательным аттическим стилем, а вторая часть является толкованием первой <...> Здесь Лев показывает себя глубоким знатоком древнего языка, превосходившим в этом отношении всех прочих современных ему знатоков древне-эллинской речи. Сам Лев признает, что он намеренно написал каждую главу двояко: часть, писанная на древнегреческом, предназначалась для διὰ τοὺς φιλοπονωτέρους, т. е. для более образованных монахов, а другая часть – для менее образованных, для неспособных найти в древнем тексте скрывающийся в нем смысл» (Пападопуло-Керамевс 1909, с. XXIX). Понятно, что ни намерения этого рода, ни соответствующие им риторические стратегии, ни тексты, в которых они воплощаются, в языковом пространстве Киевской Руси совершенно непредставимы.

<sup>39</sup> О византийской диглоссии и об изменениях в византийской культурно-языковой ситуации, затрагивающих те параметры, на основе которых утверждается существование диглоссии в Византии, см.: Браунинг 1982, 49–52. Византийская культурно-языковая ситуация достаточно специфична; та картина, которую мы наблюдаем здесь в поздний период, сложилась в результате длительного развития, совершенно не похожего на про-

Историко-культурные причины этого факта заслуживают специального внимания, поскольку без их анализа остается неясным восприятие книжного языка, развитие его регистров и его соотнесение с иерархией текстов. Распространено представление, согласно которому культура Киевской Руси продолжает и развивает византийскую культуру. Это представление отразилось, в частности, в понятии трансплантации, предложенном Д. С. Лихачевым (Лихачев 1973), равно как и в многочисленных историко-культурных и литературоведческих построениях, описывающих явления древнерусской культуры по «классическим» моделям (ср., например, рассуждения Н. С. Трубецкого в его «Лекциях по древнерусской литературе» – Трубецкой 1973, 19–28 – или культурологические построения Д. Оболенского – Оболенский 1998, 343–367)<sup>40</sup>.

цессы, имевшие место у восточных славян или характерные для тех социумов, которые служат моделью при описании диглоссии. Первоначально (в IV–VI вв.) культурно-языковая ситуация в Византии, т. е. в Восточно-Римской империи, определяется сосуществованием латыни как языка государства и администрации и греческого как языка эллинистической культуры, а затем и христианского богословия, осваивавшего категориальный аппарат эллинистической философии (см.: Дагрон 1969). Это своеобразное двуязычие с функциональным распределением греческого и латыни. Греческий постепенно вытесняет латынь из сферы администрации и права, становясь полифункциональным языком всей образованности. Первоначально греческий язык в тех сферах, где он наследовал латыни, отличался от греческого языка традиционной риторической культуры (меньшей изощренностью, отсутствием пуристической установки). Как пишет Ж. Дагрон, «le grec de Libanios ou de Procope n'est pas celui des nouvelles de Justinien. On ne peut pas parler de deux langues, mais à coup sûr de deux formes de culture, donc de deux principes différents d'évolution linguistique. Le grec s'habitue à être double: grec "romanisé" et grec "national", plus tard grec vulgaire et grec savant» (там же, 55). Тем не менее к интересующему нас периоду такое распределение разновидностей греческого не выдерживается: ученый греческий появляется в сочинениях, посвященных управлению империей, а греческий, лишенный риторической изощренности, в религиозной литературе (особенно в XIII–XIV вв., когда появляются «paraphrases of works written in the classicizing Hochsprache, designed to make them more intelligible to circles which were literate but did not participate in the classicizing movement» – Браунинг 1978, с. 125). В силу этого для позднего периода есть все основания говорить о полифункциональности греческого книжного языка; ничего похожего на такую полифункциональность церковнославянскому языку в Киевской Руси присуще не было.

<sup>40</sup> Так, Трубецкой пишет о Византии: «В Византии философия и религия были неразрывно связаны. Теперь мы различаем философию и богословие; для византийцев же подобного различия не существовало. <...> Правовые понятия также развивались в духе религии, так что было трудно провести разграничительную линию между церковным правом и правом государственным или гражданским. <...> Естествознание, география и астрономия были вкраплениями религиозной системы, добросовестно приведенными в гармонию с духом и догмой веры. История также объединялась с системой религии; она рассматривалась с точки зрения религии и наитеснейшим образом была связана с историей Церкви. Все области знания, как естественного, так и гуманитарного, рассматривались как средство не только расширения духовного кругозора, но и моралистического поучения в духе веры и связанной с ней философии; в соответствии с этим ими и занимались. Таким образом, все ответвления знания и мышления и создали равноправное единство, гармоническую систему» (Трубецкой 1995, 545–546). Можно

Соответственно, описание древней восточнославянской культуры осуществляется в тех же категориях, в которых описывается культура византийская (равно как и другие «классические» культуры); в классическом пространстве ищутся образцы и параллели, и – самое главное – на этот основной источник ориентированы представления о внутренней организации восточнославянской культуры. Те факты, на которых основываются эти представления, достаточно очевидны и не нуждаются в комментариях. Древняя Русь принимает христианство из Византии, входит в сферу византийского политического влияния, связана с Византией экономически; основной состав письменности, имевшей хождение в древней Руси, представлен византийскими по происхождению произведениями. Эти обстоятельства, однако, не доказывают ни единства древней восточнославянской и византийской культур, ни даже их структурного и содержательного сходства. Понятие *влияния* никак не покрывает того сложного процесса отбора и трансформации, который происходит при рецепции элементов византийской цивилизации и их освоении варварским обществом. При этом сопоставление культур древней Руси и Византии требует сочетания двух ракурсов: взгляда из Византии и взгляда из Киева. Взгляд из Византии определяет, что именно из византийской культуры усваивалось на Руси; взгляд из Киева решает проблему того, в какую новую систему преобразовались элементы византийского происхождения и каковы были принципы функционирования этой системы.

Прежде всего следует иметь в виду, что византийская культура гетерогенна. В пестрой мозаике составляющих ее элементов выделяются две больших и не всегда четко разграниченных традиции, противостояние которых и определяет динамику византийской культуры. Это противостояние имеет принципиальное значение для самой Византии, а в сфере византийско-славянских отношений ставит проблему генезиса усваиваемых славянами элементов в одной из этих традиций: уяснению подлежит не только византийское происхождение отдельных явлений, но и то, к какой именно византийской культурной традиции они восходят. Противостояние культур в Византии не подходит под привычные для нас категории – светской и духовной или христианской и языческой культур. Скорее речь может идти о различии «аскетической» и «гуманистической» традиции, хотя и эти обозначения неадекватны. Как бы то ни было, в истории византийской культуры мы наблюдаем многовековую последовательность религиозно-культурных конфликтов, которые обнаруживают несомненную преемственность. Это предполагает существование достаточно устойчивых традиций, и проблема состоит не столько в том, чтобы они получили подходящее

---

спорить, приложимо ли такое построение к культуре древней Руси, однако к культуре византийской оно определенно неприменимо. Трубецкой просто переносит на Византию свое представление о древнерусской культуре, будучи убежден в их тождестве. В Византии тем не менее прекрасно умели различать философию и богословие, а географию, скажем, соотносили не столько со Св. Писанием, сколько с античными географическими трактатами. Что же касается Киевской Руси, то здесь о естественнонаучных занятиях вообще говорить не приходится.

наименование, сколько в том, чтобы определить его содержательные константы.

Такая задача лучше может быть решена обращением к конкретному примеру, чем теоретическим построением. Можно рассмотреть, например, конфликт патриархов Игнатия и Фотия в IX в., конфликт, непосредственно совпадающий по времени с началом кирилло-мефодиевской миссии, обозначившей исходный момент славянской рецепции византийской культуры. Конкретные подробности этого конфликта, связанные с политической борьбой, могут нас сейчас не интересовать (см. о них: Дворник 1948; Бек 1980, с. D96–D118). В плане же историко-культурном это столкновение целых комплексов противопоставленных идей и представлений и вместе с тем социальных позиций. Игнатий ставится в патриархи из монахов-подвижников, он не слишком образован, и античная традиция – во всяком случае за пределами тех начальных элементов, которые входили в элементарное образование – ему чужда. Игнатий ригористичен в отношении к церковной дисциплине, придерживается акривистского подхода к каноническим установлениям и не склонен к политическим компромиссам в сфере церковного управления (в частности, он изгоняет приверженцев противостоящей партии из Синода и отлучает их от Церкви). Не имеет для него особой ценности и идея вселенской империи, которую представляет Византия и в которой симфонически объединяется верховная духовная и верховная светская власть; отсюда его относительная открытость для контактов с Римом. Фотий во всех этих моментах противоположен Игнатию. До своего поставления в патриархи Фотий был главой императорских канцелярий, которые «réunissaient à ce moment... l'élite intellectuelle de la capitale» (Арвайлер 1965, 361), мирянином, а не монахом. Он рафинированный и ученый человек, как это и пристало представителю традиционной столичной бюрократии (Фотий – племянник патриарха Тарасия, который также переместился на патриарший престол с должности протоаскрита), икономист в своих воззрениях на каноническую дисциплину (как и его дядя), ценитель античной образованности и богословской изощренности, соединяющей христианскую традицию с интеллектуальным наследием античности. У этого отношения к античности есть и политический аспект – в идее вселенской империи, которая может приводить к противостоянию с Римом (с претензиями Рима на главенство).

Этот конфликт преемственно соединяется с чередой предшествующих и последующих противостояний. От него тянутся нити к столкновению в XI в. Михаила Пселла и Иоанна Итала, с одной стороны, и сторонников традиционной духовности – с другой (Михель 1954; Любарский 1978, 97–101; Гуйар 1976). Отсюда, *mutatis mutandis*, можно перейти к паламитским спорам XIV в. Гуманистическая традиция представлена в них (несколько поразному) Варлаамом Калабрийским и Никифором Григорой, аскетическая – Григорием Паламой и другими исихастами (см. о них ниже, § VIII-1). И здесь мы находим тот же комплекс сталкивающихся идей. Для одной позиции характерна ориентация на аскетический и экклезиологический опыт, определенное равнодушие к античному интеллектуальному наследию и имперской идее, акривистское восприятие церковных установлений. Для другой –

пристрастие к античному наследию, попытки синтезировать христианский опыт и ученую традицию, универалистское имперское сознание, при котором империя и всеобщность Церкви оказываются двумя взаимосвязанными аспектами вселенской роли христианства, икономия как принцип отношений с властью и обществом. Именно рамки этого же противостояния обуславливают изменения в отношении к Риму: теперь, в XIV в., имперская идея предполагает сближение с Римом, поскольку именно в союзе с католическими государствами видится надежда на спасение империи; Палама, напротив, готов примириться с падением империи, поскольку для него важнее сохранение православной духовной традиции и духовная подготовка к жизни под иноверным владычеством (Мейендорф 1959, 157–166; Мейендорф 1997, 147–152).

Это противостояние традиций определенным образом (хотя и неоднозначно) соотносится со «стилистическими уровнями» (в понимании И. Шевченко – Шевченко 1981) тех текстов, в которых эти традиции передавались. Противостояние высокого и низкого стилей в значительной степени сводится к тому, насколько автор произведения ориентирован на античные образцы – вне зависимости от того, принадлежит ли его творение к духовной или светской литературе. Как отмечает И. Шевченко (там же, 291), в сочинениях высокого стиля ссылки на античных авторов занимают большее место, чем реминисценции Св. Писания, тогда как в сочинениях низкого стиля Св. Писание и патристическая литература служит постоянным подтекстом, а античные аллюзии появляются лишь в редких случаях. Тексты разных стилистических уровней рассчитаны, в принципе, на разную аудиторию, что непосредственно сказывается на их лингвистических характеристиках (редкие слова, взятые из классических авторов, сложный период, гипербат в текстах высокого уровня, отсутствие этих элементов в текстах низкого уровня). Признаки высокого уровня, представляющие собой форму символического капитала, обращены к ценителям гуманистической образованности, интеллектуальной (и социальной) элите, тогда как для основной массы читателей они делают текст малопонятным (там же, 302–303). В силу этого две противопоставленных культурных традиции передаются как бы независимо друг от друга, обеспечивая не только преемственность идеологии и культурных установок в каждой из традиций, но и преемственность отчуждения одной традиции от другой.

П. Лемерль в своей книге о византийском гуманизме отмечает его развитие в IX в. (Лемерль 1971). Формирование византийского гуманизма, как его понимает П. Лемерль, безусловно может рассматриваться как один из этапов развития «гуманистической» традиции и переосмысления культурной предыстории через призму наново понятого противостояния традиций. Однако конфликт традиций возникает не в этом столетии. Его более ранние этапы можно наблюдать в спорах акривистов и икономистов в конце VIII – начале IX в. (споры Платона и Феодра Студитов с патриархом Никифором – Доброклонский 1913), в иконоборческих спорах (Живов 2002б, 40–69), в монофелитской контроверсе и т. д. В конце концов это культурное противостояние восходит к самому формированию Византии как христианской империи. Империя приняла христианство, и христианство в ней входит в

структуру имперской власти, общества и культуры, соединяясь при этом с античной имперской традицией. Те, кто этого приспособления вполне принять не мог, создают монашество и особую монашескую традицию, сохранившую ряд моментов раннехристианского противостояния языческой империи (ср.: Хойси 1936; Данн 2003, 1–2, 209). Здесь и лежат корни двух культур: в них обеих сочетаются элементы христианского и античного наследия, но сочетаются по-разному и в разной пропорции. В своих истоках это конфликт (соединение и противостояние) христианства и империи, священства и царства<sup>41</sup>.

Какая же из этих культурных традиций переносилась на Русь в результате ее христианизации? Несомненно, что в первую очередь сюда переходила традиция аскетическая. Такое развитие было естественным в ряде отношений. Прежде всего речь должна идти о духовности тех греческих миссионеров, которые приходили на Русь из Византии.

Прямых сведений о том, каких взглядов придерживалось греческое духовенство, оказавшееся в Киевской Руси, и какова была его религиозно-культурная ориентация, у нас нет<sup>42</sup>. Косвенным свидетельством могут, видимо, служить антикатолические сочинения киевских греков. Они указывают на достаточно жесткую и ограниченную в своем интеллектуальном

<sup>41</sup> Видимо, у разных культур были и разные основные носители, передававшие из поколения в поколение соответствующие традиции. Конечно, любые социальные характеристики существенно огрубляют ситуацию, но в качестве таких основных носителей можно назвать неинституализованное монашество для традиции аскетической и столичную бюрократию для традиции гуманистической (о начальных этапах их конфликта см.: Дагрон 1970). Игнатий и Фотий могут служить характерными примерами, хотя в других случаях этот социальный аспект не так очевиден: артикулируют аскетическую традицию выходцы из лучших домов Константинополя (Феодор Студит, Григорий Палама), однако именно те из них, кто избрал монастырь как противовес поврежденной духовности столичного общества. Эти различия в социальной основе также, видимо, преемственно воспроизводятся и связаны с тем, что тексты, воплощающие каждую из этих традиций, обращены и циркулируют в разных социальных группах. Как отмечает И. Шевченко относительно текстов высокого стилистического уровня, «[i]t was a branch of literature produced by members or associates of the upper class, for the members of the upper class, and, more often than appears to meet the eye, about members of the upper class. It was also a literature that made use of special skills to serve as a distinctive badge either of membership in the upper class or at least of association with it» (Шевченко 1981, 302).

<sup>42</sup> Ряд соображений на этот счет высказывает А. Тахиаос, отмечающий, впрочем, скудность информации, которой мы располагаем (что Иоанн II был дядей Феодора Продрома, а Иоанн III евнухом). Выводы, которые он делает на этом основании, кажутся поспешными: «Scanty though it is, however, this information allows us to conclude that the imperial and patriarchal circles of Byzantium promoted to the metropolitan throne of Rus' individuals who had undergone a strict process of selection and chose them from among a number of likewise hand-picked candidates. By extension, it also indicates the importance Byzantium attached to this throne» (Тахиаос 1988–89, 433). Автор явно выдает желаемое за действительное; к подобным заключениям имеющаяся информация никак прийти не позволяет. Содержание созданных киевскими греками текстов Тахиаос в деталях не анализирует, ограничиваясь малоинформативным замечанием о том, что оно «might be described as conventional» (там же, 442).



кругозоре позицию, скорее напоминающую аскетическое направление. Сопоставление антикатолических трактатов русских клириков греческого происхождения (трактат митрополита Леонтия об опресноках, Стязание митрополита Георгия с Латиною, Послания митрополита Никифора к Владимиру Мономаху и Ярославу Святославичу, Послание Феодосия Изяславу – Попов 1875; Павлов 1878; Подскальски 1982, 170–182; Подскальски 1996, 280–301) с аналогичной продукцией, появлявшейся в то же время в Константинополе и служившей источником для этих трактатов, указывает на больший ригоризм, снижение значимости богословской и канонической проблематики (вопрос об исхождении Св. Духа, о преимуществах поместных церквей) и превалирование обрядовой и бытовой регламентации (вопрос об опресноках, характер почитания икон, определение чистой и нечистой пищи, совместные трапезы, смешанные браки и т. д.). Противопоставление, естественно, не является четким, но определенный сдвиг акцентов все же имеет место<sup>43</sup>.

<sup>43</sup> Понятно, что византийские антикатолические сочинения неоднородны и обрядово-бытовая регламентация занимает в них достаточно заметное место (см.: Конгурдо 1970; Бармин 1996). Аргументы киевских греков вообще не самостоятельны, они взяты у современных им византийских авторов (Льва Охридского, Никиты Стифата, Петра Антиохийского), однако в византийской полемической литературе обвинения католиков в повреждении обрядов поставлены в другой контекст. Они основываются на достаточно искусной экзегезе Св. Писания и сочетаются с анализом собственно богословских расхождений. В киевских сочинениях этот интеллектуальный пласт существенно более скромен и сводится на практике к декларативным инвективам. В них не обнаруживается не только сложной богословской аргументации, которую мы находим у патриарха Фотия или позднее у Николая Мефонского (ср.: Димитракопулос 1866; Арсений 1882–1883; Арсений 1897), но и пространной и ориентированной на догматические проблемы экзегезы, как в Послании Петра Антиохийского к Доминику (PG, CXX, col. 756A–781B; ср.: Чельцов 1879, 325–336).

Исключительное место в киевской антикатолической литературе занимает лишь Послание митрополита Иоанна II к антипапе Клименту III (Павлов 1878, 169–186; Подскальски 1982, 174–177; Подскальски 1996, 285–290). Хотя оно и не содержит пространной аргументации и повторяет ряд обвинений в искажении обрядов, однако догматические расхождения и расхождения обрядовые не смешиваются в одно и обладают разным весом. Существенно отличается от других киевских полемических сочинений и тон послания, свидетельствующий об относительной терпимости и понимании сложной предыстории дискутируемых проблем (Павлов 1878, 60–61). Этот же подход свойствен и каноническим правилам Иоанна II, также отличающимся относительной толерантностью. В качестве характеристики достаточно привести следующий пассаж (четвертое правило): «И си нже опрѣснокомъ служать и в сырънїю недѣлю мѣса падать в крови и давлениїу, сообщатисѣ с ними или служити не подобакъ; іасти же с ними, ноужею соуже, Христовы любве ради, не отинудъ възбранно. Аще кто хоцетъ сего ѹбѣгати, извѣтъ имѣ чистоты ради или немощи, ѡбѣгнетъ; блюдѣте же сѣ, дане соблазнь ѡ сего, или вражда велѣка и злопомянѣе родить[сѣ]: подобакъ ѡ бошаго зла изволити менше» (РИБ, VI, стб. 3). Таким образом, общение с латинянами допускается по крайней мере при необходимости.

Эти особенности сочинения Иоанна II можно связать с тем, что он был, видимо, до некоторой степени причастен «гуманистической» традиции; косвенно об этом говорит

Подобный формальный ригоризм вряд ли можно объяснить спецификой церковно-политической ситуации в Киевской Руси; более вероятным представляется, что в этих сочинениях отражается характерная духовность их авторов. О том, как подобный редуцированный вариант культуры-донатора отражался на культуре-реципиенте, красноречиво свидетельствуют обличения латинской ереси собственно русского происхождения, вставленные в Повесть временных лет (ПСРЛ, I, стб. 86-87, 114-116). Приведу эти пассажи:

и се ꙗко приходиша ѿ Рима пооучитъ васъ к вѣрѣ свѣи. ихъже вѣра маломъ с нами развѣращена. служить бо шпрѣсноки рекше шплатки. ихъже Бѣ не преда. но пове[лѣ] хлѣбомъ служити. и преда ап<sup>л</sup>мъ приемъ хлѣбъ. [ре<sup>ч</sup>]. се есть тѣло мое ломимое за вы (ПСРЛ, I, стб. 86-87).

Не преимаи же оученья ѿ Латынь. ихъже оученье развѣращено. влѣзъше бо въ цр<sup>к</sup>ь. не поклонатся иконамъ. но стоа поклонитс<sup>я</sup>. и поклонивса и напишеть крѣъ на земли и цѣлуе<sup>т</sup>. вѣставъ простъ ст<sup>а</sup>нетъ на немъ нагами [в др. сп.: ногама]. да легъ цѣлуе<sup>т</sup> а вѣставъ попирае<sup>т</sup>. сего бо ап<sup>л</sup>и не предаша. предали бо су<sup>т</sup> ап<sup>л</sup>и. крѣъ поставленъ цѣлова<sup>т</sup> и иконы предаш<sup>а</sup>. Лука бо еуѣлистъ первое напсавъ посла в Римъ. ꙗкоже глѣтъ Василии. икона [на] первыи шбразъ приходи<sup>т</sup>. паки же и землю глѣтъ мѣри [в др. сп.: матеръ, материю]. да аще имъ есть земля мѣи. то шцѣ имъ есть нбо. искони бо створи Бѣ нбо таже землю <...> аще ли по си<sup>а</sup> разуму земля есть мѣи. то почто плюете на мѣрь свою. да сѣмо ю лобѣзаете. и паки шсквернаете (там же, стб. 114-115).

Петръ Гугнивый со инѣми шедъ в Римъ. и прѣтлѣ вѣсхвативъ. и развѣр<sup>а</sup>ти вѣру. швергъса ѿ прѣтла Юрлм<sup>а</sup>ка. и Шлексаньдрьскаго [и] Цѣраграда. и Шнтиахйискаго вѣзмутиша Италию всю. сѣюще оученье свое разн<sup>о</sup>. шви бо попове шдиною женою. шженѣвѣса служить. а друзии до сѣмѣе женѣи поймаючи служить ихъже блюстиса оученья.

его предполагаемое родство с Феодором Продромом (см.: Пападимитриу 1902; Спитерис 1979, 38-44; ср., впрочем, аргументы против родства Продрома с Иоанном II: Каждан 1964, 66-67), об отце которого, брате Иоанна, С. Пападимитриу сообщает с характерным терминологическим анахронизмом, что тот «принадлежал к интеллигенции, много путешествовал и много читал» (Пападимитриу 1902, 27). Понятно, что, обращаясь к варвару (антипапе Клименту), Иоанн приноврливает стиль своего сочинения к восприятию своего адресата, и в силу этого стилистически его послание не отличается резко от других сочинений киевских греков; совсем иные, элитарные, стилистические характеристики обнаруживаются в его письме к брату (Пападимитриу 1902, 32-33).

В качестве подобного же исключения может рассматриваться и трактат митрополита Леонтия Переяславского об опресноках, также отличающийся умеренностью антикатолических позиций. Существенно, однако, что этот трактат не был, видимо, переведен на славянский (менее вероятно, что перевод был сделан и до нас не дошел). Правдоподобно, что греческое духовенство в Киевской Руси не считало, что их пастве нужны подобные недостаточно радикальные в богословском отношении сочинения (см.: Поппе 1965).

пращають же грѣхи на дару. еже есть злѣе всего Бѣ да сохранить та ѿ сего (там же, стб. 115–116).

Как можно видеть, богословские темы отсутствуют здесь полностью, говорится лишь об опресноках, поклонении кресту и иконам, браках духовенства и тарифицированном покаянии. Обрядовые инвективы носят несколько фантастический характер, как это имеет место в случае посприания изображения креста. В этом контексте появляется и местная инновация, которая сводится к упреку в том, что латиняне «землю глаголють материю» (Шахматов 1916, 145) и считают небо отцом; тем самым латинству как бы приписывается отвергнутое славянами язычество (ср.: Попов 1875, 17).

Очевидно, что с византийской точки зрения служение в Киеве среди темных людей, питавшихся подобными фантастическими рассказами, было миссионерством, а миссия у «варваров» для столичной элиты была чаще всего непривлекательна. Следовательно, в миссию, как правило, отправлялись люди, для которых гуманистическая культура столицы не имела особой ценности, а распространение христианства среди варваров представлялось важнейшей задачей, что опять же скорее указывает на аскетическую традицию (возможным исключением является киевский митрополит Иоанн II и смоленский епископ Мануил; некоторые соображения о Мануиле см.: Франклин 1984; о характере византийского миссионерства см.: Иванов 2003). Об этом можно судить по греческому духовенству в Болгарии XI в.: Болгария также в это время была провинцией, хотя и более близкой и потому, казалось бы, более привлекательной. Тем не менее просвещенный византиец смотрит на жизнь там, как парижанин XIX в. на службу в Алжире. Феофилакт Болгарский, архиепископ Охрида, уже после завоевания Болгарии Византией, был послан туда в своего рода ссылку; сам он принадлежал константинопольской бюрократии, был воспитателем императорского сына и ценителем гуманистической образованности. В своих письмах из Охрида он постоянно жалуется на болгар, называя их «нечистыми варварами», и на своих сослуживцев-греков, невежество которых он не устает подчеркивать (ср. отповедь епископу Триадицы, делающему ошибки, которые возбудили бы «смех у посещающих школу мальчишек» – PG, CXXVI, col. 352A). Если доверять оценкам Феофилакta, греческое духовенство в Болгарии XI в. с гуманистической традицией явно связано не было (ср.: Литаврин 1960, 368–373).

В какой-то степени это может дать представление и о культурном кругозоре греческого духовенства, приезжавшего в Киев. Отсюда уясняется один из факторов, определявших особенности той культуры, которая переносилась из Византии на Русь: ее гуманистический компонент практически не имел на Руси своих представителей. С этим, очевидно, связан и состав той византийской литературы, которая распространялась в Киевской Руси в славянском переводе. Как бы ни обстояло дело с переводческой деятельностью в Киевской Руси вообще, литературу, относящуюся к гуманистической традиции, пропагандировать в Киеве было некому. Те греки, которые попадали на Русь, как правило, и сами были с этой традицией мало знакомы, не ценили и, возможно, плохо понимали представляющие эту традицию тексты. Не приходила такая литература и через болгарское посредство,

поскольку отбор литературы для перевода в Болгарии был связан с аналогичными ограничениями: для миссионерской деятельности гуманистические тексты были излишни, а их риторическая организация (высокий «стилистический уровень») делала их малодоступными для самих миссионеров и вовсе не приспособленными для перевода. Это не значит, что в Болгарии была полностью аналогичная культурная ситуация: болгарская культурная элита куда теснее, чем киевская, была связана с константинопольским двором, в большей степени эллинизирована, и для нее гуманистическая традиция могла быть привлекательной (как не слишком, возможно, доступный, но значимый социально-культурный капитал). Ей, однако, не нужны были славянские переводы. Таким образом, и здесь переводы были результатом просветительской деятельности, и соответственно был ограничен репертуар тех литературных памятников, которые могли быть получены из этого источника.

Определяющим для типа культуры, формировавшегося в Киеве, был характер образования. На Руси (как и в других новохристианизированных странах) сложилась принципиально иная, нежели в Византии, система образования. В Византии сохранялось светское образование, оно было общим достоянием, общим нейтральным фоном и для аскетической, и для гуманистической традиции. Как пишет П. Лемерль, «le christianisme triomphant n'ait pas été conduit, dans l'Orient grec, à créer et à imposer, contre l'école païenne, une école chrétienne par son inspiration et ses programmes. L'enseignement scolaire et universitaire reste ce qu'il était, et le christianisme, en prenant ses précautions, s'en accomode» (Лемерль 1971, 46–47). Никакого специально духовного образования не было вообще (Бек 1966). Чтение античных авторов оставалось частью элементарной программы, так что преемственность по отношению к античной культуре все же сохранялась, несмотря на религиозное противостояние и новый культурный контекст. Знание классических текстов было (с точки зрения современного филолога) ущербным и неполным, тексты часто читались не в оригинале, а в извлечениях, но античный компонент в любом случае существовал и воспринимался как норма. Можно вспомнить, что в перечислении тех знаний, которые приобрел св. Константин-Кирилл, прибыв в Константинополь, Пространное житие на первое (начальное) место ставит Гомера: «**Παροῦνι γὰρ σὲ Ὀμηροῦ, καὶ ἑκατομῆτρι... καὶ τῶν ἄλλων ἑλληνικῶν ποιητῶν ἡρώδης**» (Климент Охридский, III, 91). Такое положение сложилось в Восточной империи с самого начала (Скабалланович 1884, 745–754; Сперанский 1904, 59–67; Брейер 1941; Лемерль 1971, 43–57; Манго 1980, 125–148; Буланин 1991, 266–269), и те изменения, которые происходили позднее (в частности, упадок интереса к классическому наследию в VIII в. и актуализация этого интереса в IX–XI вв., вытеснение классических авторов Псалтырью в начальном образовании низших социальных слоев), принципиального влияния на тип культуры (отличающей Византию от древней Руси или Западной Европы в раннее Средневековье) не оказывали.

На Руси образование носило исключительно катехитический характер: образованность не вырастает здесь, как в Византии, из античной традиции, а поначалу целиком связана с миссией. Это отражалось и на составе книж-

ности: подавляющая ее часть состоит из произведений духовной литературы; по своему объему этот корпус соответствует средней византийской монастырской библиотеке, типа библиотеки монастыря св. Иоанна Предтечи на Патмосе, каталог которой, составленный в 1201 г., до нас дошел (см. наблюдения Ф. Томсона: Томсон 1978, Томсон 1993а). Образованность (что бы мы ни понимали под нею в применении к древней Руси) за пределы этого ограниченного корпуса не выходила, а элементарное образование сводилось лишь к овладению чтением, ориентированным на тот же корпус религиозных текстов. Чтение по складам и выучивание наизусть основных молитв и Псалтыри исчерпывали, видимо, содержание формального образования, в котором не было места ни грамматике, ни, естественно, разбору классических текстов, ненужных и неизвестных в славянском переводе (см. ниже, § II-2).

В силу этого классические авторы превращаются для славянского книжника в неведомых идолов чужой культуры. В этом контексте античное наследие отождествляется с нечестивым язычеством и какая-либо его ценность отрицается (Живов и Успенский 1984). Едва ли не наиболее характерный пример подобного восприятия разобран С. Франклином. Франклин рассматривает, как Аполлоний Тианский, известный русским книжникам по славянскому переводу Хроники Георгия Амартола, преображается в ПВЛ из неопифагорейского мудреца в одержимого бесом волхва: речь не идет о сознательном искажении источников, а о непреднамеренной трансформации, обусловленной менталитетом составителя летописи (Франклин 1986, 386–388)<sup>44</sup>.

<sup>44</sup> В ПВЛ об Аполлонии упоминается в связи с известным рассказом о вещем Олеге, которому кудесник предсказал смерть от его коня. Предсказание сбылось, и для благочестивого летописца это была трудная проблема – каким образом нечестивый язычник может предсказывать будущее, ведомое единому Богу, и творить чудеса. В этой связи русский хронист и обращается к истории об Аполлонии Тианском, как она изложена в Хронике Георгия Амартола. Амартол, в свой черед, заимствует этот рассказ из Малалы. У Малалы говорится о том, что и языческие мудрецы могли получать свою мудрость от Бога, и это согласуется с целым направлением в патристической рецепции античной мифологии, когда она толкуется как прообразовательная, предвещающая пришествие Христа и историю спасения (например, у Климента Александрийского). Амартол более ригористичен, у него монашеский кругозор, и он говорит, что языческие пророчества могут сбываться, однако при этом видит здесь дело демонов (бесов), которым Господь попускает, чтобы испытать веру христиан, дабы они не прельщались чудесами, но испытывали их истиную.

В славянском переводе Амартола, довольно запутанном, в данном случае греческий оригинал передан не в слишком искаженном виде, однако некоторые существенные нюансы оказываются смещены. Так, например, у Амартола чудеса (амулеты) Аполлония действительно приносят пользу, тогда как в славянском переводе они охарактеризованы как «мечетьнаа чюдеса» (Истрин, I, 306<sup>11-12</sup>), т.е. чудеса онтологически мнимые (ср. состязание Моисея с египетскими волхвами – Исх. 4: 4; Исх. 7: 11, – когда и Моисей, и волхвы превращают жезлы в змеев; волхвы делают это «чарованиями своими», что, видимо, указывает на призрачность их действий, см.: Успенский 1994, 192). Таким образом, оказывается, что это ложные чудеса, которые христиане должны распознавать в их мнимости.

Такое восприятие античности объясняет, почему Климент Смолятич в своей переписке со священником Фомой находит нужным специально оправдываться в том, что ссылался на языческих авторов и писал «от Омира, и от Аристо[те]ля, и от Платона, иж[е] во елиньских нырѣхъ славнѣ бѣша» (Никольский 1892, 104; БЛДР, IV, 118). Очевидно, что при этих условиях ни о каком сходстве византийской и русской культуры говорить не приходится; тем более невозможно говорить о тождестве. Культура Киевской Руси не повторяет и не трансплантирует современную ей византийскую культуру, а усваивает один ее изолированный фрагмент и даже в этом фрагменте существенным образом переставляет смысловые акценты.

Итак, в Византии книжный язык – это язык всей культурной деятельности, включающей в себя и античное литературное наследие, и право, и делопроизводство, в Киевской Руси книжный язык – это язык христианской культуры, язык, связанный с христианским просвещением (катехизацией), распространяющийся вместе с христианством и не обслуживающий те сферы деятельности, которые с христианством не соотносятся (например, обычное право). Это различие можно рассматривать как производное от разных представлений об объеме культурной деятельности на Руси и в Византии, однако при любом понимании оно остается определяющим для истории и функционирования книжного языка. Византийская культура не переносится (в своей полноте) на восточнославянскую почву. Византийская литературная традиция приходит на Русь в основном через южнославянское (болгарское) посредство, и уже на этом пути имеет место отбор и ограничение. В соответствии с этим различием в средневековой Руси и в Византии различаются и конфигурации регистров письменного языка.

---

Летописец, включивший извлечения из Амартола в ПВЛ, начинает этот пассаж словами «Се же не дивно ꙗко ѿ волхвованѣя собывасѣ чародѣство<sup>м</sup>» (ПСРЛ, I, стб. 39), указывая тем самым, что речь идет о вполне понятных происках сатаны: сначала бесы наколдуют и предскажут, а потом свое же предсказание и осуществят. Ничего хорошего от этого не бывает, бесы действуют во зло, и именно так поступал и волхв Аполлоний. В частности, подобное зло замыслил Аполлоний на Антиохию (которую только что избавил от скорпионов и комаров), предсказав ей землетрясение, пожар и нашествие вражеского племени. У Амартола читаем: «оувы тобѣ, вканъны граде, ꙗко потрасеши<sup>сѣ</sup> много и ѿгнѣмъ ѿдержимъ боудеши. ѿплачѣть же тѣ при бѣгѣ сы Врентини» (Истрин, I, 305<sup>21-22</sup>); в ПВЛ это превращается в «оувы тобѣ вканъны граде. ꙗко потрасеши<sup>сѣ</sup> много и ѿгнѣ<sup>м</sup> ѿдержимъ боуши. ѿполчатъ же тѣ. и пре березѣ. и Вренты» (ПСРЛ, I, стб. 40). Превращение известного античного тропа плачущей реки во враждебное племя очевидно соответствует метаморфозе Аполлония из предсказателя в злокозненного чародея.

Трансформация эта явно не производится сознательно. Она автоматически следует за восприятием восточнославянского книжника, для которого античное наследие выступает как несущее исключительно отрицательные черты. Поскольку античность – это язычество, античные свидетельства – это бесовские свидетельства. Нехристианское является как однозначно враждебное и именно в силу этого поясняющее, каков на самом деле был волхв, предсказавший смерть Олегу.

### 3. Проблема прямых контактов с Византией. Восточнославянские переводы с греческого

Эти общие утверждения не означают, конечно, что в культуре и литературном наследии Киевской Руси не может быть обнаружено никаких следов прямых византийско-русских контактов и, в частности, никаких следов византийской гуманистической традиции. Поскольку русско-византийские отношения не сводились лишь к церковно-политическим, но распространялись на торговлю и ремесло, поддерживались хотя и редкими, но все же случавшимися браками русских князей с представительницами византийской знати<sup>45</sup>; поскольку киевская элита обладала какими-то сведениями о жизни константинопольского двора, отдельные заимствования из обихода византийского двора и знати могли проникать в Киев. В Киеве, как уже говорилось, сидели греческие митрополиты, приезжавшие в свою отдаленную епархию в сопровождении греческого духовенства. Каков бы ни был культурный уровень этого духовенства, оно, несомненно, обеспечивало определенное знакомство с греческим языком и доступ (хотя бы и весьма ограниченный) к патристической литературе в оригинале. Разные исследователи расценивают знание греческого языка и осведомленность в византийской культуре, присущие Киевской Руси, диаметрально противоположным образом. С этим связан и вопрос о том, выполнялись ли в Киевской Руси переводы с греческого и если выполнялись, то каков был их объем и какие памятники могут быть отнесены к числу переведенных в Киеве.

Как мы уже видели, основное свидетельство о широкой переводческой деятельности в Киеве, а именно летописная статья 1037 г. с похвалой Ярославу, ничего о переводческой деятельности не говорит, и как раз ее неоправданная интерпретация побуждала исследователей с уверенностью говорить о массе сделанных в Киеве переводов с греческого. На самом деле обширные списки памятников, якобы переведенных в Киевской Руси, которые приводятся в различных историях русской литературы и русского литературного языка, например, у А. И. Соболевского (Соболевский 1897; Соболевский 1910, 162–178; Соболевский 1980), В. М. Истрина (Истрин 1922, 76–78), Н. Н. Дурново (Дурново 1969, 105–111), ср. также Д. С. Лихачев (1999), составлены на основании неудовлетворительных критериев, прежде всего употребления отдельных «восточнославянских» лексем, не верифицированного текстологическим анализом (см. ниже).

Между тем завышенные оценки одних ученых вызывают ответную реакцию других. Далее всего в отстаивании противоположной точки зрения продвинулись Г. Лант (Лант 1988–89, 293–295) и Ф. Томсон (Томсон 1993б), утверждавшие, что в Киеве книжного греческого языка практически не

<sup>45</sup> Ср., например, предполагаемый брак Олега Святославича с Феофаной в конце XI в., см.: Каждан 1988–89. Работа А. П. Каждана, содержащая критическую оценку свидетельств о русско-византийских династических связях, необходима как основанный на источниках противовес часто цитирующейся, но полной фантазий работе Н. Баумгартена (Баумгартен 1927).

знали и практически ничего с него не переводили, так что все переводы с греческого, входящие в корпус древней восточнославянской письменности, были сделаны у южных славян и уже от них попали на Русь. Один из важных аргументов Ф. Томсона состоит в том, что в оригинальных русских произведениях (в Житии Феодосия, ПВЛ, Словах Кирилла Туровского и т. д.) отсутствуют цитаты из сочинений византийских авторов, не известных в славянском переводе (Томсон 1983). Единственное исключение – Слово о законе и благодати митрополита Илариона<sup>46</sup>. Если бы восточнославянские авторы были знатоками византийской патристики, как это изображают некоторые исследователи, они бы не могли скрыть свое знание византийских текстов и аллюзии или цитаты появлялись бы достаточно часто. Поскольку это не так, знатоков в Киеве, видимо, не было. Отсюда, однако, не стоит делать слишком радикальных выводов. Кругозор киевских книжников определялся прежде всего переводными, а не оригинальными греческими текстами, но это не означает, что никто не знал греческого или что какие-то тексты не

---

<sup>46</sup> К этому можно было бы добавить возможную цитату из Кекавмена, византийского автора XI в., в Поучении Владимира Мономаха (см. данную гипотезу в: Чижевска 1952), но в данном случае цитирование выглядит сомнительным.

В данном контексте следует упомянуть и проблему грецизмов в Сказании о Борисе и Глебе, поставленную в свое время Л. Мюллером (Мюллер 1956; Мюллер 1959–1962). Мюллер полагал, что одним из источников была так называемая первоначальная легенда (Urlegende), написанная митрополитом Иоанном I (при котором были открыты мощи святых) по-гречески; легенда была затем переведена на славянский и включена в Сказание, что и объясняет, по мнению Мюллера, имеющиеся в нем грецизмы (ср. подтверждение этой точки зрения в: Мюллер 2001, 31–32). Эта гипотеза встретила скептическое отношение исследователей прежде всего потому, что она постулирует существование никак не засвидетельствованного текста (чистого текстологического конструкта), без которого вполне можно обойтись в построении истории текста. Иное объяснение можно дать и выделенным Мюллером грецизмам (см.: Ленхофф 1989, 80–81; Поппе 1995). Однако в недавней работе С. А. Иванов показал, что фраза из Сказания «*Сѣлѣнии прозирають. Хромии быстрѣе сѣрны ризнють. Сѣлоуци простьреник прикмлють*» (Ревелли 1993, 389; Бугославский, II, 544) находит точное соответствие в греческом Житии Феодана Исповедника, написанном патриархом Мефодием в середине IX в., где исцелившиеся хромы также сопоставляются с сернами (Иванов 2008, 38–39). Случайное совпадение кажется в этом случае маловероятным; житие Феодана в славянском переводе件 известно; отсюда следует, что в Сказание данное сравнение вставлено писателем, знавшим греческое житие Феодана, возможно, греком, написавшим по-гречески какой-то текст, включенный в Сказание и затем переведенный на славянский. Это не означает, конечно, возвращения к гипотезе Мюллера. Славянский фрагмент с серной был, по-видимому, написан существенно позднее (А. Тимберлейк датирует написание этой части 1115 г. – Тимберлейк 2006а, 168–172); возможно, при создании этого фрагмента был использован перевод какого-то греческого текста. Что именно (возможно, например, краткий энкомиум или молитва) и когда именно было переведено, неясно и требует дальнейших разысканий. Однако это, надо думать, еще одно указание на то, что местные киевские греки что-то сочиняли и эти их сочинения могли тут же переводиться на славянский. В качестве безответственной догадки можно даже предположить, что похвалу чудесам святых страстотерпцев перевел тот же клирик, что и Послание митрополита Никифора (см. ниже), – по крайней мере, хронология таким спекуляциям не противоречит.



могли быть переведены с греческого. Представления о бурной переводческой деятельности преувеличены, но это не дает оснований полностью отрицать ее. Ряд разумных аргументов против этой радикальной точки зрения был высказан А. А. Алексеевым (Алексеев 1996), хотя и в этом случае полемический азарт не всегда способствовал нахождению взвешенной точки зрения.

Вполне рациональные контраргументы приводит А. А. Пичхадзе. То, что все (или почти все) цитаты в оригинальных восточнославянских текстах взяты из славянских переводов, а не из греческих оригиналов, не означает, что никто в Киевской Руси не знал письменного греческого. «Во-первых, – пишет Пичхадзе, – он [аргумент Томсона] основан на предположении, что выполнять переводы должны были только авторы оригинальных сочинений. Однако у нас нет никаких сведений в пользу такого предположения. Вполне возможно, что авторы оригинальных произведений не владели греческим, а переводчики с греческого не писали собственных сочинений. Во-вторых, из того, что восточнославянские книжники не читали в оригинале отцов Церкви, вовсе не следует, что они не переводили другие, не богословские произведения» (Пичхадзе 2011а, 13).

Отдельные переводы делались несомненно, и на один такой перевод можно легко указать. Это канонические ответы митрополита Иоанна II, управлявшего киевской кафедрой в 1080–1089 гг. (РИБ, VI, стб. 1–20). Сохранился славянский текст этого произведения и отрывки греческого оригинала. Не вызывает особых сомнений, что текст переводился в Киеве, где у митрополита должна была быть канцелярия, в которой работали переводчики (или переводчик), скорее всего восточнославянского происхождения (о лексических русизмах в этом памятнике см.: Пичхадзе 2011а, 25–26)<sup>47</sup>. Вероятно, к тому же источнику восходят славянские переводы антилатинских трактатов, написанных греческими архиереями, занимавшими кафедры в Киевской Руси. Достоверное свидетельство находим у киевского митрополита Никифора (правил в 1104–1121 гг.) в его Поучении в неделю сыропустную. Он говорит о том, что его паства накануне Великого поста заслуживает «великѣ поучениѣ», представляя собой «зѣлю плодовицю. глѣю бо вѣша дѣша; но при этом он жалуется: не даѣ ми бысть даѣ язычнии по бжѣтвенѣмꙋ пав'аѣ ко тѣмъ языкомъ творити ꙗко порꙋче"на. и того ра"и вѣзглѣсе" посре"ѣ вѣсь стога и мо"чно много. Потре"нѣжъ сѣщѣ поучению нѣтъ приходящихъ ради днѣ". свѣтго вѣ"каго поста, того ради писаниемъ поучению лѣпо быти ра"мысли"» (Баранкова 2005, 189; Макарий, II, 569, приложение 11). Таким образом, Никифор, для того чтобы общаться со своей паствой, писал свои проповеди; это означает, что кто-то их немедленно переводил, и это свиде-

<sup>47</sup> Никак нельзя исключить, конечно, что, снаряжая нового митрополита в Киев, в Константинополе приискивали ему в сопровождение какого-нибудь человека, равно владевшего славянским и греческим и способного переводить хотя бы несложные тексты с греческого на славянский. Даже если такой человек был бы из южных славян, ничего специфически южнославянского в дошедших до нас текстах его гипотетических переводов не должно было бы сохраниться. Поскольку у нас нет данных для каких-либо позитивных утверждений, построение гипотез остается вполне уместным занятием.

тельствует о существовании переводчиков с греческого в окружении митрополита (С. Франклин указывает на возможности иной интерпретации данного текста; они, однако, кажутся слишком искусственными, чтобы их стоило принимать во внимание – Франклин 1992, 71–72).

Надо помнить, что для переводов византийской духовной литературы нужно было не просто знание греческого, но знание книжного (аттического) греческого, которое, как уже говорилось выше, давалось особым образованием. Нет сомнения в том, что при наличии множества политических, торговых, династических, церковных и монастырских связей какое-то количество восточных славян должно было владеть разговорным греческим языком (ср.: Хёш 1971), однако, как справедливо замечает С. Франклин, «none of the listed types of interaction either requires or implies any direct contact with the atticizing Greek of Byzantine higher learning» (Франклин 1992, 70). О знании книжного греческого у нас нет (или почти нет, см. ниже) никаких свидетельств.

Так, скажем, в Константинополь приезжало довольно большое количество восточных славян; видимо, кто-то там живал подолгу. Речь идет не только о купеческой колонии (небольшая колония скорее всего существовала), но и о культурно-религиозных связях. Можно указать, например, что преп. Феодосий Печерский, желая ввести в своей обители Студийский устав, обратился, согласно его Житию, к жившему в Константинополе в монастыре скопцу Ефрему, «**да вьсь оуставъ стоудискааго манастира испьсавъ присълетъ кмоу**» (Усп. сб, л. 37б). Шла ли речь о греческом тексте или о славянском переводе, из текста неясно; когда устав прибыл, Феодосий велел «**почисти**» его перед братией (там же, л. 37в) – явно не по-гречески. Следует ли отсюда, что Ефрем достаточно знал греческий, чтобы перевести устав в Константинополе, или он заказал этот перевод какому-то знатоку греческого, или перевод был сделан уже в Киеве, мы не знаем (ср.: Пентковский 2001, 39–41). Возможно, переводчики были из восточных славян (не исключено, что таких людей можно было найти и в Константинополе), поскольку в дошедшем до нас переводе встречается довольно много специфических восточнославянских лексем (**безмѣнь, волога, вѣдѣже, вызирати** и т. д.), хотя имеются и несколько лексем специфически южнославянских (т. е. не встречающихся в дошедших до нас оригинальных восточнославянских текстах) (см.: Пичхадзе 2011а, 24–25, 79–81, 351–352). Как и многие другие данные, историческое свидетельство Жития Феодосия может сочетаться с разными филологическими интерпретациями.

В Киеве было какое-то количество греков, рутинно употреблявших греческий язык, – торговцев, строителей и художников (возведших, например, киевскую Софию и украсивших ее мозаиками), духовенства (греческих архиереев и их окружения). В киевской Софии имеются греческие граффити, некоторые из них воспроизведены в публикации С. А. Высоцкого (Высоцкий 1976, 25 et passim). Существенное число новых греческих граффити недавно открыла А. А. Евдокимова (Евдокимова 2008а; Евдокимова 2008б). Характерно, что они все находятся в одном месте. Можно предположить (С. А. Иванов, устное сообщение), что греки стояли в церкви компактно, своей общиной. Не исключено в этой связи, что в богослужении присутство-

вал греческий компонент – гипотеза вполне правдоподобная, если думать о греческих архиереях, которые вряд ли умели и вряд ли хотели служить по-славянски, и о том, что какая-то традиция греческого богослужения в Киеве могла поддерживаться еще с X в. У нас есть даже свидетельство о службе в Ростове, при которой один клирос пел по-гречески, а другой по-славянски, в Житии Петра царевича Ордынского (Харлампович 1902, 7–9; Успенский 2002, 53). Насколько можно доверять этому свидетельству, весьма позднему (Житие составлено в XV в.), зависит, как и всегда, от интерпретации<sup>48</sup>.

Очень интересное, хотя и трудно интерпретируемое свидетельство дает уже цитировавшееся Послание Климента Смолятича (время правления 1147–1155 гг.) к священнику Фоме. Климент, о котором в Ипатьевской летописи говорится, что он «бы<sup>с</sup> книжникъ. и философъ. такъ ѿкоже в Роуской земли не башеть» (ПСРЛ, II, стб. 340), защищает образованность от нападок Фомы, который упрекал Климента в гордыне<sup>49</sup>. Попутно Климент вспоминает учителя Фомы Григория, которого Фома приводил в качестве образца, показывая что и сам он, Фома, не лишен образования. Климент пишет:

Поминаю же паки реченаго тобою учителя Григория, егоже и свята рекъ, не стыжюся. Но не судя его хошу рещи, но истиньствуа: Григорей зналъ алфу, ѿкоже и ты, и виту, подобно, и всю 20 и 4 словесь грамоту. А слышиш ты, ю у мене мужи, имже есмь самовидецъ, иже может единъ рещи алфу, не реку, на сто, или двѣстѣ, или триста, или 4-ста, а виту – тако ж. Расматрай, любимиче, расматрати велит и разумѣти, ѿко вся состоатся, и съдержатся, и поспѣваются силою Божию (БЛДР, IV, 134).

Климент, таким образом, указывает, что знания происходят от Бога, а не от гордыни, но само содержание упоминаемых им знаний требует комментария. Климент пишет здесь о схедографии, том курсе грамотности, который был принят в Византии и состоял в выучивании и запоминании грамматических характеристик (σχήδος – грамматический разбор слова) слов, расположенных по буквам. Это прежде всего были омофоничные слова, но

<sup>48</sup> В Благовещенском кондакаре, рукописи конца XII – начала XIII в., происходящей из нижегородского Благовещенского монастыря, сохранились записи греческого текста нескольких стихир славянскими буквами (Достал и Роте, II, л. 84b–85b, 109a, 114b–121a; Франклин 1992, 79–80). Они свидетельствуют о том, что в богослужении реликтовым образом сохранялись некоторые греческие песнопения (ср.: Водофф 1992, 217), хотя, конечно, они не указывают, как полагают некоторые исследователи, на то, что певчие знали греческий; записи явно предназначались для певчих, которые по-гречески читать не умели. Исполнение этих текстов, однако (или, возможно, аналогичных текстов одного из протографов Благовещенского кондакаря), должно было адресоваться какому-то любителю греческого богослужения (например, греческому архиерею).

<sup>49</sup> Из наименования Климента философом иногда делается вывод, что Климент должен был получить образование в Константинополе (см.: Гранстрем 1970). Вряд ли такое значение может быть приписано наименованию *философ* в восточнославянских памятниках, и в любом случае Климент от этого звания отказывается. Исключить византийское образование едва ли возможно, в особенности для такой необычной фигуры, как Климент, но никаких оснований для такой гипотезы нет, так что скорее ее можно отнести к области фантазий (ср.: Франклин 1991, LX).

также и вообще трудные в том или ином отношении лексемы. В каждой из схед они были организованы в антистихи, вводившие противопоставление изучаемых слов: «ο составляет антистих к ω; ε к α; ι к η и ει; υ к ο» (Голубинский 1904, 55). Невозможно думать, как это делал Е. Е. Голубинский (там же, 57–58), позволявший себе разнообразные домыслы, что речь идет об изучении церковнославянского языка. И алфавит из 24 букв, и их наименование, и процедура заучивания, и наличие множества омофонов (результаты итацизма и иных фонетических процессов в истории греческого языка; ничего похожего на греческую омофонию у восточных славян в XII в. быть не могло) указывают на то, что речь идет об изучении греческого языка. Отсюда можно сделать вывод, что кто-то греческий в Киевской Руси все же учил и мог даже похвалиться своими греческими познаниями.

Уровень тех познаний, которыми гордятся, тоже весьма показателен, ведь изучение схед – это, в византийской перспективе, довольно элементарные образовательные упражнения, предназначенные для школьников подросткового возраста. Климент спорит с Фомой о знании греческой грамматики, которая для них и олицетворяет образованность, – не об интерпретации классических текстов или риторике (ср.: Франклин 1991, LXII–LXIII; Гранстрем 1970, 23–24). Анна Комнина, старшая современница Климента Смолитича, в своей знаменитой «Алексиаде» говорит о занятиях схедеографией с пренебрежением и насмешкой, впрочем, как ворчливая представительница старшего поколения<sup>50</sup>. Она осуждает схедеографию и связанную с ней зубрежку с несколько снобистским пафосом культурного превосходства и учебной традиции. Этой цитаты, однако, достаточно для того, чтобы понять культурную значимость схедеографии, которую так превозносил священник Фома. Если книжный греческий язык и знали, то знали его на уровне грамматической школы. Однако и такое знание не стоит сбрасывать со счетов. Оно, видимо, достаточно для переводческой деятельности, хотя бы не слишком квалифицированной.

Заслуживает внимания и то обстоятельство, что само содержание Послания Климента в русском контексте достаточно необычно и наводит на мысль о византийских источниках его риторических установок. Климент выставляет себя как ученого человека, в определенном смысле хвалится

---

<sup>50</sup> Анна, описывая свершения своего отца, императора Алексея Комнина, рассказывает о восстановленных им городах. Вот в одном из них «стоит грамматическая школа для сирот, собранных из разных стран, в ней восседает учитель, а вокруг него стоят дети – одни из них ревностно занимаются грамматическими вопросами, другие пишут так называемые схеды. Там можно увидеть обучающегося латинянина, говорящего по-гречески скифа, ромея, изучающего греческие книги, и неграмотного грека, правильно говорящего по-гречески. Такую заботу проявлял Алексей о гуманитарном образовании. Схедеография же – изобретение более нового времени: нашего поколения. <...> Ныне же изучение возвышенных предметов – сочинений поэтов, историков и той мудрости, которую из этих сочинений можно извлечь, – люди не считают даже второстепенным занятием. Главным занятием стали теперь шашки и другие нечестивые игры. Я говорю об этом, ибо огорчена полным пренебрежением к общему образованию. Это терзает мою душу, потому что я сама провела много времени в подобного рода занятиях» (Анна Комнина 1996, 418).

своими знаниями, индивидуализирует себя. Для восточнославянских авторов такая установка вовсе не характерна; ее, возможно, в ограниченной степени разделяет лишь Даниил Заточник, о котором речь пойдет ниже, однако для византийских гуманистов, таких, как Михаил Пселл или позднее Никифор Григора или, наконец, как современник Климента Феодор Продром, подобное отношение к себе и к своим знаниям стандартно. Эта необычность Климента настолько выделяет его из числа известных нам деятелей XII в., что побуждает С. Франклина предположить (хотя, как он сам признает, такая гипотеза приближается к историческому вымыслу), что Климент мог быть учеником смоленского епископа Мануила, который, возможно, был дядей и учителем Феодора Продрома в Константинополе (см. выше). По такому неординарному пути струйка византийской элитарной культуры могла, конечно, дойти до Киевской Руси, трансформироваться там и оставить там следы хотя и незначительные, но выделяющиеся своею странностью на общем фоне восточнославянской образованности.

Какие-то отзвуки византийской придворной культуры и знания греческого языка и византийских реалий мы находим не только среди духовенства, но и в княжеской среде. До нас дошло существенное число княжеских печатей с греческими надписями, которые начинают вытесняться славянскими лишь на рубеже XI–XII веков (Янин 1970, I, 14–33, 168–173; Франклин 1992, 78; Франклин 2002, 103–104). Восточнославянские князья рутинно обозначают себя как ἄρχων Ῥωσίας (Янин 1970, I, 14–33; Соловьев 1961; Успенский 2002, 52–53), что, можно полагать, как-то соответствует осознавшейся ими включенности в орбиту византийской власти.

Любопытный пассаж имеется в Молении Даниила Заточника, где говорится о подвигах жонглеров, показывающих монарху свою храбрость (Зарубин 1932, 70–71; Колуччи и Данти 1977, 190–191). В Молении говорится:

Княже мои, господине! Королязи бо и ковари, офорозѣ, рытиры, мोगистрове, дуксовѣ, бокшородѣ и форози – тѣм имѣют честь и милость у поганных салтанов и у королев. Инѣ, вспад на фар, бѣгает чрез подрумие, отчаявся живота; а иныи летает с церкви, ли с высоки полаты павалочиты крылы; а ин наг мечется во огонь, показаше крѣпость сердцец своих царем своим; а ин, прорѣзав лыста, обнажив кости голенеи своих, кажет цареви своему, являет ему храбрство свое; а иныи, скочив, метается в море съ брега высока конем своим, очи накрыв фаревы, ударяя по бедрам, глаголетъ: сѣни ту фенардусь! За честь и милость царя нашего отчаяхомся живота! А ин, привязав вервь к уху церковному, а другии конецъ к земли, отнесъ далече церкви и по тому бѣгает долов, емся одною рукою за конецъ на верви тои, а в другои руке держа мечъ наг; а ин, обвився мокрымъ полотном, борется рукопаш с лютым звѣрем.

Скопление непонятных слов в начале этого пассажа провоцирует на разнообразные смелые интерпретации. И. А. Шляпкин (1889, 79–80) считал, что в данном тексте описываются византийские зрелища, и объяснял большинство заимствований как искажение греческих слов: *коболязи* – *κόβαλος* (шут, шутник), *ковари* – как искаженное *χοравли*, *χοράυλος* (флейтист, ак-

компанирующий хору) и т. д. А. И. Лященко (1924), напротив, полагал, что обозначенные в этом списке лица – это искаженные наименования западных народов или профессий, например, *бокишородѣ*, которых Шляпкин не слишком убедительно возводил к греч. *μασκῆρας*, Лященко идентифицирует с *badshgart*, *bashkird*, представляющим собой арабское обозначение венгров. Колуччи и Данти полагают, что *форози* – это греч. *φάριον*, *φάρας* (лошадь, из арабского), но зачем в этом списке лошади (возможно, впрочем, что это всадники), не объясняют, равно как и в силу чего появилась форма *форози* при известном в русских текстах заимствовании *фарь*; с тем же успехом можно предположить и искажение *фрази*. Очевидно, что при подобной степени искажения, возникшей за несколько столетий переписывания писцами, которые не понимали, о чем идет речь, восстановить исходный текст с уверенностью невозможно, однако кажется ясным, что в перечне этих экзотических лиц фигурируют и византийские, и западноевропейские реалии (например, достаточно прозрачные *рытиры*, *могистрове*, *дуксовѣ*).

Интереснее, пожалуй, другое. Речь явно идет не об играх при русских княжеских дворах, а о византийских зрелищах, на что и указывает упоминание ипподрома (*подрумие*), очень значимого места в жизни Константинополя (места деятельности ипподромных партий), не имевшего, видимо, эквивалента в Киевской Руси. Автор явно знаком с какими-то константинопольскими реалиями, и в этом контексте естественными кажутся и его лингвистические грецизмы. Сюда относится уже упоминавшиеся заимствования *фарь* и *подрумие*, которые, однако же, встречаются, хотя и нечасто, и в других памятниках. Заслуживает внимание и *ухо церковное*; очевидно, что имеется в виду ручка или рукоятка, к которой можно привязать веревку. Это, скорее всего, гапакс, хотя в том же Молении говорится об ушах котла («аще бы котлу золоты колца во ушию...») и в русском языке имеется слово *ушат*, обозначающее таз с ручками; похоже, что мы имеем здесь дело с семантической калькой с греч. *οὖς* (ср. *ὠτῶεις* ‘с ушками, с ручками’), обладающего соответствующим значением. На искажение какого-то греческого словосочетания похоже и не поддающееся расшифровке восклицание *сѣни ту фенардусѣ!*

Моление – уникальный памятник в древнерусской письменности, не находящий себе аналогов и вызывающий массу вопросов, касающихся и времени, и условий написания данного текста, и возможного статуса его автора (или авторов). Если в рамках русской письменности аналог отсутствует, то аналог византийский указать можно; это уже упоминавшаяся Птохопродромика, «игровые» тексты на простом языке, приписываемые Феодору Продрому. Как замечает С. Франклин, «Daniel the Exile is reminiscent of Prodromic literature in theme, in manner, in many of his topoi and devices, and, perhaps most important of all, in his literary persona. <...> The theme of the impoverished intellectual at the mercy of the ruler or rich patron is familiar and Prodromic. <...> The method of display, both for Daniel and in much of the Prodromic literature, is a mixture of humour and verbal dexterity: word-play, banter, clever contrasts, mockery and self-mockery, the hopefully infectious pleasure of sheer virtuosity. It is a virtuosity which spans the levels of language. Prodromic styles vary. Daniel does not write in a consistent vernacular compara-

ble to parts of the Ptochoprodromica, but he is quite prepared to be flexible, and the rhythms and devices of his performance are thought to owe much to native traditions of oral entertainment. <...> Finally, Daniel the Exile is linked to Prodromic literature through his literary persona, through the characteristic combination of an intrusive fictional narrator and an elusive 'real' author, who may or may not be identified with one another» (Франклин 1987, 178–180). Из этого, конечно, не следует, что Даниил (или какой-то из Даниилов) был знаком с птохопродромикой, однако представляется вполне вероятной определенная включенность в византийскую парадигму, усвоение стимулов, шедших из византийской секулярной традиции, которые, вообще говоря, плохо воспринимались на восточнославянской почве. Поскольку такого рода рецепция византийской культуры могла в качестве исключения иметь место, ее могло сопровождать и знание греческого языка.

Не исключено и определенное знание греческого в епископских и княжеских канцеляриях; на это, кажется, указывают грецизмы в некоторых документах рассматриваемого периода. Так, например, в Уставе Ярослава, памятнике, определявшем компетенцию церковного суда, прототекст которого возводится к XII в., хотя отдельные его элементы могут быть и более древними, говорится:

Се ꙗзѣ, кнѣзь великын ꙗрославъ, снѣ Воло<sup>а</sup>мѣрь, по даннѣю ѿца своѣ сѣгадалъ есмь с митрополитом<sup>а</sup> с Ларишном<sup>а</sup>, сложилъ есмь грѣскын номоканон<sup>а</sup>; аже не подбае<sup>т</sup> си<sup>х</sup> тажъ со<sup>а</sup>ти кнѣзю и воар<sup>а</sup> далъ есмь митрополитѣ и епѣмъ тѣ сѣды, что писаны в<sup>а</sup> правилѣх, в номаканонѣ, по всѣм<sup>а</sup> городом<sup>а</sup> и по все<sup>а</sup> вбласти, гдѣ хрѣстиа<sup>а</sup>ственное (Щапов 1976, 110 et passim).

Интерпретация этого текста вызывала затруднения у филологов и историков, связанные с переводом глагола *сложити*. Что именно сделал Ярослав с номоканоном? Я. Н. Щапов (Щапов 1971; Щапов 1972, 305–306; Щапов 1978, 298–300) предположил, что в данной фразе *сложил* употреблено в значении 'отверг'. Такое прочтение неплохо, может быть, согласуется с юридическим содержанием Устава Ярослава, который, как мы увидим далее (см. § III-6), вовсе не следует византийским образцам, но оно представляет собой чистую несообразность с точки зрения этикета восточнославянской письменности. В этом случае церковно-юридический памятник без всякой надобности эксплицитно указывает на отличия восточнославянского церковного устройства от канонического, на то, что православный князь сознательно порвал с православной традицией. Не следовать византийскому образцу было, конечно, возможно, но заявлять об этом во всеуслышание противоречило бы самым основам православной культуры. Показательно, что древнерусские книжники понимали данную ссылку именно в смысле положительной рецепции византийского порядка. Об этом свидетельствует представленный в ряде списков вариант *разложил*, т. е. раскрыл для консультации (вариант *отложил*, который подтверждал бы трактовку Щапова, нигде, естественно, не встречается), равно как и интерпретация действий Ярослава (и Владимира – если иметь в виду и Устав Владимира) в поздней-

ших подтвердительных грамотах XV в. («списали номоканон по греческому номоканону» – Шапов 1976, 183, 185, 187 et passim).

Объяснение Шапова неубедительно и с лингвистической точки зрения. *Сложил* означает 'отверг' лишь в сочетаниях типа *сложить крестное целование, сложить дань*, т. е. когда речь идет о том, что человек снимает с себя прежде принятое (наложенное) обязательство. В этом случае имеет место естественный перенос значения от *сложить* 'снять' в буквальном значении, когда снимается нечто прежде надетое, ср. *сложить ризы, венец*. В словосочетании *сложить номоканон* такое значение реализоваться не может, поскольку ни при каких натяжках номоканон не может быть истолкован как прежде взятое обязательство. Сложности в переводе данного текста устраняются, если предположить, что *сложил* является здесь калькой с греч. συντίθημι, буквально воспроизводящей его внутреннюю форму. Греч. συντίθημι, наряду с прямым значением 'складывать', соответствующим его внутренней форме, имеет и значение 'принимать во внимание, держать в мыслях'. Надо думать, что именно это последнее значение и передается рус. *сложил* в Уставе Ярослава. При такой трактовке получаем понятный и правдоподобный перевод разбираемого пассажа: «... посоветовался с митрополитом Ларионом, принял во внимание греческий номоканон, а именно то, что данные дела не должны разбираться князем и боярами, и отдал эти дела в юрисдикцию митрополита и епископов». Данное употребление представляет собой семантический гапакс и свидетельствует о знакомстве писавшего или кого-то из его предшественников (принадлежал ли он окружению митрополита или князя) с греческими формами и оборотами. Грецизмы в Мстиславовой грамоте находил А. В. Исаченко (1970), хотя его интерпретация оспаривалась другими исследователями (ср.: Ворт 1985а, 360; Шевелов 1987, 166). Если составлявшие подобные документы клирики пользовались грецизмами (в качестве неологизмов), то они, видимо, владели какой-то из разновидностей греческого и, возможно, были способны переводить с него.

Итак, никаких доказательств невозможности переводов с греческого в Киевской Руси нет, хотя нет оснований говорить и о том, что в интересующий нас период «с греческого языка переводится большой и весьма богатый по своему содержанию и жанровой характеристике корпус текстов» (Успенский 2002, 49; ср. еще невзвешенные оценки у А. Н. Робинсона – Робинсон 1980, 58–60; Робинсон 1988, 11–12). Необходимы не общие рассуждения, а лингвистическое и текстологическое исследование отдельных памятников, ставящее перед собой задачу определения места их возникновения.

Проблема локализации церковнославянских переводов и специально обнаружения признаков переводческой деятельности восточных славян была поставлена в славянской филологии уже в конце XIX в. Как можно локализовать перевод? Если отсутствуют прямые исторические указания (а для подавляющего большинства предполагаемых восточнославянских переводов такие указания отсутствуют), остается внутренний анализ текста. В силу того что орфография и морфология подвергаются при трансмиссии существенной, чаще всего радикальной переработке, они никаких указаний дать не могут. Остается лексика и отчасти синтаксис. На лексике и сосредото-



точивали свое внимание исследователи, занимавшиеся проблемой атрибуции, прежде всего А. И. Соболевский и В. М. Истрин (Соболевский 1897; Соболевский 1910, 162–178; Соболевский 1980; Истрин, II, 248–249, 268–308; Истрин, III, v-l).

Соболевский выделял три разряда слов, которые свидетельствуют о восточнославянском происхождении перевода: 1) общеславянские по происхождению слова, получившие у восточных славян специфические значения, связанные с особенностями быта и социального устройства, в частности названия должностных лиц, денежных единиц, мер и весов, например: *посадник*, *староста*, *гривна*, *куна*, *рѣзана*; 2) заимствования, известные только в восточнославянской письменности, например: *тиун*, *шелк* (у южных славян *свила*), *плуг* (у южных славян *рало*), *женчуг* (у южных славян *бисер*), *уксус* (у южных славян *оцѣт*); 3) топонимы и этнонимы, известные восточным славянам и чуждые для южных, например: *Кѣрчевъ* (Керчь), *Соурожъ* (Судак). Не все в этих списках достаточно достоверно. Скажем, в книжных южнославянских текстах действительно употребляется *рало*, а не *плуг*, но слово *плуг* имеется в южнославянских (и западнославянских) языках, так что нет никакой гарантии, что его не мог употребить южнославянский переводчик (см.: Молдован 1994, 70); и в сербских церковнославянских текстах оно и в самом деле встречается. Таким образом, списки Соболевского требуют критического пересмотра.

Это, однако, лишь частная проблема. Куда более существенная сложность состоит в том, что и лексика и синтаксис подвергаются все же при трансмиссии определенной редактуре, так что нет уверенности в том, что лексическая единица, на которой основывается атрибуция, была в первоначальном тексте. Можно привести в пример такие тексты, где критерии Соболевского в прямолинейном приложении дают противоречивый результат. Так, в переводе-компиляции из византийских юридических памятников, известном под названием «Книги законные» (см. публикацию: Павлов 1885), встречается и русское название денежной единицы (*грошѣ*) или позднее русское *казна*, и южнославянские формы *ѡтоуѣдати*, *тоуѣди*; если следовать Соболевскому, текст был переведен одновременно и у южных славян, и у восточных. А. С. Павлов, полагавший без особых оснований, что «Книги законные» были переведены на Руси в конце XII – начале XIII в. (там же, 16), вынужден был предположить, что «“Книги законные” с эпохи появления их в русском переводе до XV века [время наиболее раннего списка – В. Ж.] успели уже побывать в Сербии или в самой России под руками сербского писца, который естественно оставил на них следы своего говора, не вдруг потом исчезнувшие под пером русских переписчиков; а примесь к первоначальному языку памятника новых русских речений, свойственных уже московскому периоду, свидетельствует только о продолжающемся практическом значении “Книг законных”, что побуждало писцов делать в них такие же перемены и подновления, каким подверглись, при переходе из киевской Руси в московскую, и другие подобные памятники» (там же, 19). Это сложное построение истории текста не подтверждается ничем, кроме нескольких лексических примеров, и поэтому не обладает никакой доказательной силой и не может служить аргументом в пользу восточнославян-

ского происхождения перевода (ср.: Бенеманский 1917, 36–49). Поэтому без текстологической реконструкции первоначального текста (поскольку он вообще может быть восстановлен) такого рода рассуждения могут иметь лишь ограниченную значимость (см. о преимущественном значении текстологического анализа при установлении происхождения перевода: Алексеев 1996, 287–290).

Работы, содержащие текстологический анализ интересующего нас типа, существуют, и они однозначно свидетельствуют о наличии восточнославянских переводов с греческого, появившихся в домонгольский период<sup>51</sup>. Пионерским исследованием такого рода является работа А. М. Молдована, посвященная славянскому переводу Жития Андрея Юродивого (Молдован 2000). Это очень важный текст для восточнославянской письменности и, что не менее существенно, чрезвычайно распространенный. До нас дошло больше 200 списков древнейшего перевода. В XII в. большие извлечения из Жития Андрея Юродивого были включены в Пролог; проложная редакция и прочие редакции Жития существовали в дальнейшем независимо, и это дает замечательную возможность для текстологической реконструкции. Если одно и то же слово представлено и в проложной редакции, и в пространной, это означает, что оно было в протографе XII в. Сопоставление проложной и пространной редакций позволяет, таким образом, выделить древнейший лексический слой памятника. То, что специфически восточнославянская лексика присутствует в этом древнейшем слое, доказывает, что перевод является восточнославянским. Мы можем достоверным образом утверждать, что по крайней мере один пространный текст был переведен восточными славянами, и это существенно влияет на общую оценку возможности подобных переводов.

Есть и еще один важный результат этого исследования. Оно позволило построить типологию лексических замен. Поскольку древнейший лексический слой установлен, лексические элементы, отличающиеся от этого древнейшего слоя, определяются как инновации, т. е. выясняется направление замены. Молдован отмечает, что замены имеют место в следующих случаях:

(1) «Приобретая с развитием языка не книжный или даже просторечный характер, слово заменяется в списке на соответствующий “литературный” эквивалент (обратное невозможно)» (Молдован 1994, 73). Скажем, слав. *говѣно* в соответствии с греч. *κόπος* заменялось нейтральными эквивалентами *калъ*, *мотыло*, *лаино*.

(2) «Архаические старославянские слова, вышедшие в ходе развития церковнославянского языка из активного книжного обихода или изменившие свое значение, заменяются более употребительными в языке писца

---

<sup>51</sup> Вопрос о том, где они появились, были ли они сделаны восточными славянами на территории Киевской Руси или вне ее границ, на Афоне или в Константинополе, лингвистическим и текстологическим анализом, как правило, не решается, так что все высказываемые на этот счет мнения остаются гипотезами, обладающими разной степенью убедительности (ср., например, соображения А. А. Пичхадзе об афонском происхождении Пандектов Никона Черногорца (Пичхадзе 2011а, 35–36, 353–354)).

данной рукописи» (там же, 74). Примерами могут служить замены *зобь* – *пища*, *похабь* – *юродивый*, *владь* – *власы*, *тепуть* – *биуть* и т. д.

(3) Тексты переходят из одной славянской области в другую, и при этом «региональные слова <...> заменяются общеупотребительными на всей территории функционирования древнеславянского языка» (там же, 74). В частности, в восточнославянских рукописях можно наблюдать не только замену южнославянских регионализмов на общеславянские лексемы, но и постепенное устранение регионализмов собственно восточнославянских, ср.: *грить* – *песъ*, *видокъ* – *свѣдѣтель*, *дъну* – *внутрь*.

(4) «Слово, приобретающее в языке писца экспрессивную окраску, может быть заменено на слово с нейтральной окраской» (там же, 74). Скажем, *женка*, *винце* может заменяться на *жена*, *вино*, но не наоборот.

(5) «Транслитерированное греческое слово может быть заменено на соответствующее славянское, но не наоборот. Если, например, писец видел в антиграфе слово *стема* (ср. стѣмца), он мог заменить его на *вънець*. Но если в антиграфе было *вънець*, оно в обычной ситуации не заменялось на *стема*» (там же, 74).

(6) «Слово, обозначающее конкретный предмет, видовое понятие, может быть заменено на слово, обозначающее класс предметов, родовое понятие, но не наоборот» (там же, 74). Так, например, *козичина* может заменяться на *одежда*, но не *одежда* на *козичина*.

Подобные замены очевидно не могут быть последовательными и обладать нормативным статусом. Они осуществляются от случая к случаю, и их типология отражает не сознательную стратегию книжников, а обобщение индивидуальных казусов. Интенции писцов достаточно расплывчаты и основаны не на системе однозначных запретов, а на представлении об уместности, вынесенном из их читательского опыта. Как замечает Г. Лант, «[s]cribal changes tell us only that the copyist felt something was inappropriate – unknown, obscure, archaic, regional, stylistically unsuitable» (Лант 1994, 19)<sup>52</sup>.

<sup>52</sup> В цитируемой работе Г. Лант подвергает критике типологию А. М. Молдована (Лант 1994, 22). Какие принципиальные моменты затрагивает эта критика, остается мне неясным. Кажется, Лант возражает против того, чтобы рассматривать выделенные типы как «laws», однако Молдован таких претензий не заявляет, говоря только о «типах замен». Далее Лант утверждает, что для построения данной классификации необходимо знать, «when a word is colloquial, regional, or archaic», а такими знаниями мы не располагаем. И правда, полное знание у нас нет, однако для отдельных лексем установить и доказать их региональный, архаический или маркированный в стилистическом отношении характер вполне возможно, и этих известных случаев достаточно для построения типологии; Лант и сам пользуется теми же категориями, как можно видеть из приведенной цитаты. Содержательнее другое замечание Ланта. Он полагает, что убеждение Молдована, будто его замены «can go only in one direction», основано на иллюзии, однако ни одного опровергающего примера Лант не приводит, ограничиваясь утверждением, что «scribal vagaries are not governed by such neat precepts». Соответственно и общий вывод Ланта сводится к тому, что «each case must be weighed separately» (там же, 20). Внимание к индивидуальным случаям безусловно полезно, но оно никак не отменяет потребности в типологии, и эта типология показывает, что, как правило, замена региональной лексики

Тем не менее, хотя замены остаются окказиональными, они выстраиваются в определенную хронологическую последовательность и позволяют говорить о более древнем и менее древнем лексическом слое. Для того чтобы установить, что отдельные восточнославянские элементы относятся к древнейшему лексическому слою, никакого более системного инструмента не требуется, так что предложенная А. М. Молдованом типология вполне удовлетворительно решает поставленную задачу.

Основываясь на такого рода критериях, можно попытаться очертить круг памятников, переведенных восточными славянами или при их участии. Восточнославянское происхождение может быть приписано переводу «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия (см.: Мещерский 1958а; Пичхадзе и др. 2004); на это указывает обширный пласт лексики, характерной для восточнославянских текстов<sup>53</sup>. Можно предполагать, что восточнославянскими были переводы Пчелы, «Девгениева деяния», «Мучения великомученика Артемия», Александрии, Жития Василия Нового (см.: Пентковская 2003; Пентковская 2004), Восточнославянское происхождение имеет, надо думать, и перевод Студийского устава в редакции патриарха Алексея Студита; локализация перевода, о которой уже говорилось выше, может быть произведена прежде всего за счет исторических соображений (позднее время появления греческого оригинала, введение Студийского устава в Киево-Печерской лавре); лингвистические и текстологические данные согласуются с историческими (см. издание памятника и обсуждение текстологических проблем: Пентковский 2001). Предполагается, что восточнославянские книжники имели отношение к переводу Пандектов Никона Черногорца (хотя перевод был сделан скорее всего в Константинополе или на Афоне).

А. А. Пичхадзе, специально занимавшаяся языком переводных памятников, выделяет из числа переводов, в которых представлена восточнославянская лексика (надо заметить, что состав этой регионально характерной лексики со времени Соболевского существенно изменился: ряд слов из него выпал, но другие слова его заметным образом дополнили), группу, в которой наряду со специфически восточнославянской лексикой содержатся южнославянизмы, и группу, в которой южнославянизмы отсутствуют. К первой принадлежит Хроника Георгия Амартола, Повесть о Варлааме и Иоасафе,

---

на общекнижную осуществляется постоянно, а русификация в лексике имеет исключительный характер (Пичхадзе 2011а, 12–13).

<sup>53</sup> А. А. Пичхадзе отмечает, например, такие слова, как **выкрити(сѧ)** ‘выкупить(ся)’, **колоколъ**, **лосъ**, **обърстати** ‘обвязать’ и т. д. Она обращает специальное внимание на заимствования из скандинавских и финно-угорских языков, которым нечего делать в текстах южнославянского происхождения (**ларьць**, **окъши** ‘топор’, **шыгла** ‘мачта’; **кърстица** ‘коробочка, шкатулка’, **пърл** ‘парус’). Ряд слов встречается в значениях, не представленных в южнославянских памятниках, например, **върста** в значении ‘мера длины’, **доумати** в значении ‘совещаться’ и т. д. Существенны также словообразовательные восточнославянизмы, такие как глагольные образования с приставкой **вы-** в пространственном значении. В теоретическом плане любопытно дополнение состава локализирующих особенностей статистическими параметрами – частотой «слов, характерных для древнерусских текстов и лишь изредка встречающихся в древнеболгарских памятниках» (Пичхадзе и др. 2004, I, 26–39; см. также: Пичхадзе 1998; Пичхадзе 2002; Пичхадзе 2011а, 41–42).

Христианская топография Козьмы Индикоплова, Пандекты Никона Черногорца, Толковое Евангелие Феофилакта Болгарского. Ко второй – Александрия, Житие Андрея Юродивого, Повесть об Акире Премудром, Студийский устав, Пчела, «История Иудейской войны», Житие Василия Нового (Пичхадзе 2011а, 77–84). Для второй группы можно определенно говорить о восточнославянском происхождении переводов. Интересно, что и эта группа неоднородна как по характеру перевода, так и по собственно лингвистическим параметрам<sup>54</sup>. А. А. Пичхадзе ставит в этой связи вопрос «о наличии в Древней Руси переводческих школ» (там же, 161), что, как мне представляется, не совсем целесообразно при столь небольшом объеме переводов; важно, однако, отметить, что исследование Пичхадзе показало, что все изученные переводы сделаны разными переводчиками, но при этом существовало два «направления, которые вырабатывали свои переводческие навыки и устойчивые языковые представления» (там же, 351). Эти выводы переводят вопрос о восточнославянских переводах с греческого из области дискуссий в область исследования частных особенностей и источников их возникновения.

Как справедливо отмечает Пичхадзе, «[п]ереводческая деятельность Древней Руси имела несопоставимо более скромные размеры, и говорить о переводческих школах, подобных южнославянским, здесь не приходится. Переводческие решения древнерусских книжников в гораздо большей степени носят характер индивидуального выбора» (там же, 199). Речь идет всего о десятке памятников, причем памятников в той или иной степени периферийных для византийской религиозной культуры. Их отбор (хотя вряд ли можно говорить о целенаправленном отборе) согласовывался, видимо, со специальными интересами восточнославянских книжников – иногда практическими (как в случае монашеского устава), а иногда более умозрительного характера (как в случае Жития Андрея Юродивого, привлекавшего особый интерес, возможно, не столько в силу его занимательности, сколько в силу желания проникнуть в тайны пакибытия). Ничего похожего на достаточно систематическую переводческую деятельность болгарских книжников мы в Киевской Руси не наблюдаем; нельзя также сказать, что восточнославянские книжники заполняют лакуны, оставленные их болгарскими предшественниками. Ряд областей, например, догматическое богословие оставлял восточнославянских книжников равнодушными, ничего

<sup>54</sup> А. А. Пичхадзе пишет: «Перевод Александрии и ЖАЮ [Жития Андрея Юродивого] пословный, отклонения от порядка слов оригинала допускаются гораздо реже, чем в Пчеле и Истории Иудейской войны, в которых грань между переводом и пересказом часто стирается. Переводчики Пчелы и ИИВ [Истории Иудейской войны] систематически выбирают другие эквиваленты для передачи определенных греческих слов и выражений, нежели переводчики Александрии и ЖАЮ. Словоупотребление Пчелы и ИИВ отражает церковнославянский лексический стандарт, в то время как для Александрии, ЖАЮ и Повести об Акире характерно употребление менее частотной, а иногда и редкой церковнославянской лексики. <...> Набор русизмов, употребляющихся в двух подгруппах, также неодинаков. Наконец, каждая из двух подгрупп имеет свои грамматические особенности» (Пичхадзе 2011а, 350–351).

нового в этой сфере они не переводили. Такие особые предпочтения могли существовать и в известной мере удовлетворяться именно потому, что основы христианской жизни обеспечивались тем несравненно большим корпусом переводной религиозной литературы, который был унаследован от южных славян, включая сюда Св. Писание и основные богослужебные тексты. В этом корпусе было и вероучение, и нравственное назидание, и агиография, и аскетика, и история (хронографы); получив все это, можно было украшать свою жизнь отдельными дополнительными переводами.

Можно сказать, что византийская составляющая в культуре древней Руси была образована перешедшей на Русь южнославянской традицией. Это же относится и к книжному языку, который в основных своих чертах окончательно сформировался не только в результате трудов свв. Кирилла и Мефодия, переведших ряд основных христианских текстов, создавших славянское богослужение и положивших начало церковнославянскому как языку славянской культуры, но и в результате трудов болгарских книжников, которые в период расцвета Первого Болгарского царства сформировали болгарский вариант византийской религиозной культуры, несколько, надо полагать, упрощенный и однобокий, но тем не менее освоивший многочисленные патристические тексты и превративший миссионерский вклад просветителей славян в обширную славянскую письменность, обладавшую способностью саморазвития. Если культурный аспект этого так называемого «первого южнославянского влияния» освещен вполне детально (ср.: Томсон 1993а), то аспект лингвистический исследован неравномерно.

Формально-нормативные моменты переноса южнославянской традиции на Русь, относящиеся прежде всего к орфографии и морфологии, изучены довольно хорошо, и о них пойдет речь в дальнейшем (см. §§ VI-1; VII-1); эти моменты, однако, не обусловлены специфическими коммуникативными заданиями книжного языка, его содержательной прагматикой, и при этом с греческим компонентом не связаны. Коммуникативные задания, присущие книжному языку, возникают у славян вместе с формированием славянской письменности, они соответствуют коммуникативным заданиям, характерным для византийской христианской культуры, и они выполняются за счет лингвистических элементов, калькирующих аналогичные элементы греческого книжного языка. В силу этого греческий компонент просматривается прежде всего в синтаксисе (система эквивалентных греческим конструкций, синтаксическое построение по принципу логического развертывания), лексике (многочисленные заимствования и кальки), фразеологии (кальки, речевые формулы) и семантике (сдвиг значения в результате установления соответствия с греческими эквивалентами, в особенности в религиозной терминологии). Здесь исходное ядро книжного языка восходит к кирилло-мефодиевским переводам, к тому, как просветители славян приладили славянские языковые средства к передаче греческих религиозных текстов.

О синтаксисе в этой связи уже упоминалось (Введение-II) и подробно будет говориться ниже. Что касается лексики, то здесь разнообразные кальки входят в основной состав книжного словаря, так что ни один книжный текст без них не обходится; они формируют существенную часть абстрактной религиозно значимой лексики, которая соответствует функциям

книжного языка, ср. хотя бы несколько примеров из многочисленных сложных слов (с *благо-* и *бogo-* в качестве первого компонента), столь характерных для церковнославянского языка и представляющих собой кальки с греческого (ср.: Цейтлин 1986, 207–285; Успенский 2002, 58–59):

<b>благодарити</b>	εὐχαριστεῖν
<b>благодѣѣник</b>	εὐεργεσία
<b>благодарѣчник</b>	εὐοδία, εὐτυχία
<b>благоразѣмник</b>	εὐνοία
<b>благословеник</b>	εὐλογία
<b>богомѣдрѣство</b>	θεοσοφία
<b>богородица</b>	θεοτόκος
<b>богословник</b>	θεολογία

Такие примеры можно умножать до бесконечности, воспользовавшись, например, пространными списками сложных слов, приводимых В. М. Истриным в его исследовании о славянском переводе Хроники Георгия Амартола (Истрин, II, 184–194; Истрин, III, 84–86, 91–92). Такое же калькирование характерно и для многих приставочных образований. Например, множество слов с приставкой *без-* соответствует греческим образованиям с приставкой α-, ср.:

<b>беззаконник</b>	ἀνομία
<b>безблагодѣѣнын</b>	ἄχαρις
<b>безболѣзньнын</b>	ἀνάλητος
<b>безвременник</b>	ἀκαίρια
<b>безгласьнын</b>	ἄφωνος
<b>бездѣѣник</b>	ἀπραξία
<b>безначальнын</b>	ἄναρχος
<b>безѣмник</b>	ἄνοια

И здесь многочисленные дополнительные примеры можно получить, обратившись к спискам Истрина (Истрин, II, 230–231; Истрин, III, 3–38).

Совершенно так же во взаимодействии с греческим сформировалась книжная фразеология. Например, многочисленные сочетания глаголов *испълнити*, *навести*, *нанести*, *поставити*, *побѣдити*, *привести*, *разрушити*, *(сѣ)блюсти*, *(сѣ)хранити*, *удѣржати*, *установити* с абстрактными существительными имеют прямые соответствия в греческом, ср. такие сочетания, как *испълнити волю* (πληροῦν θέλημα), *исполнити обещания* (πληροῦν ὑποσχέσεις), *испълнити жѣртву* и т. п. (Копыленко 1973, 148; Успенский 2002, 61). Очевидны и те разнообразные преобразования, которым подвергается семантика лексических единиц, приспособляемых для выражения новых христианских понятий. Так, скажем, *свойство*, изначально означавшее ‘близость’, под влиянием греч. ἰδιος получает дополнительное значение ‘особое качество’; *тѣржѣство*, которому можно приписать исходное значение ‘торговля’

(ср. *търже*), получает значение ‘праздник’ и т. д. (Копыленко 1973, 145–147; Успенский 2002, 59–60).

Показательным в этом плане является семантическое развитие в группе слов с корнем *праз(дь)н-* (см.: Живов 2009б, 71–92; ср.: Копыленко 1973, 147). Исходным для слов этой группы является значение ‘пустой, порожний’. Его естественным семантическим дериватом в отношении времени является ‘пустой, свободный от дел’. Отсюда возникает возможность употреблять слова с этим корнем как соответствие, с одной стороны, греч. *σχήλη*, *σχήλαζειν* и *ἀργός*, *ἀργία*, *ἀργέω*, а с другой – греч. *ἐορτή*. При этом в церковнославянском действует тенденция к размежеванию слов, связанных с концептом свободного (пустого) времени и с концептом праздника. Сверх этого под воздействием греческого, т. е. изначально как семантическая калька греч. *σχήλη*, *σχήλαζειν*, появляется группа слов с корнем *праз(дь)н-* и значением ‘заниматься чем-либо, систематически трудиться’ (*упражнение*, *упражнятися*). И в отношении этой группы слов действует тенденция к размежеванию, к тому, чтобы в рамках одного слова значения трех отмеченных типов не совмещались.

В переводных текстах эта тенденция просматривается лишь статистически<sup>55</sup>, однако в оригинальных церковнославянских текстах она выражена вполне явно. Так, скажем, в оригинальных текстах *праздъныйи* имеет лишь значения ‘пустой, незанятый, свободный, бездельный’, но не встречается в значении ‘праздничный’, изредка появляющемся у него в переводных текстах (Срезневский, II, 1367–1368; СРЯ XI–XVII вв., XVIII, 132–133). Напротив, *праздъновати* в текстах восточнославянского происхождения показывает такие значения, как ‘праздновать, торжествовать, отмечать праздник’, но не употребляется в значении ‘быть свободным от дел, не работать’ (Срезневский, II, 1365–1369; СРЯ XI–XVII вв., XVIII, 130; СРЯ XI–XIV вв., VII, 466–467, 473). Глагол *упражнятися* в оригинальных текстах выступает в значении ‘заниматься чем-либо, предаваться чему-либо’ и, как правило, не появляется в значениях ‘освободиться от работы, быть незанятым, удосуживаться’ (Срезневский, III, 1247–1248)<sup>56</sup>. Таким образом, благодаря семан-

<sup>55</sup> В них можно обнаружить такие употребления, как, например, в переводах Первого послания ап. Павла к Коринфянам (I Кор. 7: 5) в соответствии с греч. «ἵνα σχηλάσητε τῇ [νηστείᾳ καὶ τῇ] προσευχῇ», например, в Чудовском Новом Завете: «**да оупражнижтесѧ постѡ<sup>а</sup> и мѡлтѡю**» (Воскресенский 1906, 63; Лефельдт 1989, л. 110об.), или в Геннадиевской Библии 1499 г.: «**да празднѣте въ постѣ и мѡлтѣ**» (Русская Библия, VIII, 212); в последнем случае глагол *праздновати* употреблен в редком (неизвестном рядовому читателю) значении ‘бездействовать’. Характерно, что в Елизаветинской Библии попытки справиться со смыслом «праздности» вообще оставлены (поскольку, надо думать, в употребительном церковнославянском ни одно из слов с корнем *праз(дь)н-* нужного смысла не имело) и фраза переведена как «**да пребываете въ постѣ и молитвѣ**».

<sup>56</sup> В оригинальных восточнославянских текстах употребления *упражнятися* в значении ‘заниматься чем-либо’ многочисленны и не нуждаются в особых комментариях, ср. в качестве произвольно выбранного примера: «Кипріанъ митрополитъ <...> въ молитвѣ чистѣ тамо упражняшесѧ» (ПСРЛ, XI, 195 под 1407 г.). В редких случаях, однако, появляется и значение ‘быть незанятым’. В таких употреблениях, видимо, актуализируется внутренняя форма слова, отсылающая к *праздный* ‘пустой’. Не очевидно во всяком случае



тическому калькированию греч. *σχολή* и *σχολάζειν* в церковнославянском возникает новая система значений, зависящая от греческой, но не совпадающая с нею.

Если эти принципиальные линии формирования книжного языка в общих чертах достаточно ясны, то процессы, происходившие в данных сферах при пересадке книжного языка на восточнославянскую почву, недостаточно осмыслены и мало исследованы. Поскольку имелись диалектные лексические различия, в частности, между восточнославянскими и южнославянскими диалектами, созданная на южнославянской (или на западнославянской) диалектной основе книжная христианская лексика могла накладываться в восточнославянском контексте на иной исходный словарь. В этом случае должно было происходить столкновение образовавшегося на южнославянской почве значения со значением, имевшимся у восточных славян (если у них вообще была данная лексема). Так, скажем, в послании Феодосия Изяславу Ярославичу говорится о значении слова *недѣля*: «[Н]едѣля не наричется недѣля, яко же вы глаголете, нъ първый день всея недѣль наричется. Понеже Христось Богъ нашъ в тотъ день въскресе из мертвыхъ и наричется въскресный день. А понедѣльникъ наричется вторыи день, а вторникъ – третий...» (Еремин 1947, 168). Ясно, что те, к кому обращается Феодосий, испытывали трудности в употреблении данного слова, употребляли его, с точки зрения Феодосия, неправильно. Неясно, однако, в результате чего возникло это *qui pro quo* – в результате ли различия в значении *недѣли* у южных и восточных славян (как одно время думал Б. А. Успенский – Успенский 1987, 177)<sup>57</sup> или в результате разного счета дней в христианском и языческом календаре (как полагает М. Флайер – Флайер 1984; Флайер 1985), или в силу того, что само представление о календаре (о недельном членении времени) приходит к восточным славянам вместе с христианством и вызывает затруднения, связанные с разным счетом дней недели – от воскресения или от понедельника (как видит этот процесс Г. Кайперт 1993, 151–154; ср. еще: Толстая 1987). Такого рода наложение книжной традиции на исходные языковые навыки, которые могли обнаруживать различия по славянским диалектам, требует существенно более подробного анализа, и

---

(сужу по материалам Картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв.), что подобные примеры образуют собственную традицию употребления, ср. в грамоте митрополита Ростовского и Ярославского апреля 1647 г.: «чтобы въ воскресной день отнюдь никакой челоуѣкъ мужеска полу и женска, господа и рабы, ничего не дѣлали, но упражнялися и приходили ко церкви Божіи на молитву» (ААЭ, IV, 32). Грамота повторяет указ Алексея Михайловича марта 1647 г. о соблюдении воскресного дня, в котором предписывалось «упражнятися и приходити къ церквѣ Божіи на молитву» (АИ, IV, 28). Более раннее употребление глагола *упразднитися* в данном значении находим в Житии Никиты Столпника Переяславского XV в.; после слов о том, как Никита вел неправедную жизнь с мытарями, говорится: «Единою же упразднивъ себе, вниде въ црьковь и слыша почитаема Исаию пророка» (Федотова 2005, 323).

<sup>57</sup> Позднее Успенский предпочитает думать, что в старославянском *недѣля* употребляется безразлично в обоих значениях, тогда как Феодосий четко разграничивает эти значения и «противопоставляет в данном случае правильное употребление – неправильному» (Успенский 2002, 263).

лишь в этом общем контексте должны будут проявиться различные детали, относящиеся к семантическому развитию отдельных слов.

Как бы ни обстояло дело с подобными дискуссионными моментами, можно еще раз повторить, что греческий компонент восточнославянской книжной культуры и книжного языка усваивается в значительной степени в сформировавшемся виде, приходя на Русь через посредство южных славян. Это не исключает, конечно, других источников и почти ничего не говорит нам о характере трансформации этого компонента на восточнославянской почве. Прежде чем говорить о лингвистических аспектах этой трансформации, целесообразно остановиться на том, в каком виде приходит на Русь кирилло-мефодиевская традиция.

#### **4. Slavia Orthodoxa и Slavia Romana.**

##### **Западные источники восточнославянской книжности**

Киевская Русь располагалась на далекой периферии европейского мира, ее земли никогда не принадлежали Римской империи и даже не примыкали непосредственно к ее границам, реально в X–XI вв., конечно, не существовавшим, но сохранявшим символическое политическое значение для Византии, а отчасти и для западных наследников универсальной империи. Церковная юрисдикция Киевской митрополии – в отличие, скажем, от болгарских или далматских кафедр, – не была приоритетной заботой ни для Константинополя, ни для Рима. Принятие восточного христианства и церковного подчинения Константинополю были скорее выбором русских князей, нежели достижением византийской дипломатии. Вне зависимости от того, существовало ли что-либо подобное *Byzantine Commonwealth*, придуманному Д. Оболенским (Оболенский 1998), очевидно, что Киевская Русь в первые века своего существования ни в какую подобную структуру не входила и не рассматривалась в этом качестве византийскими политиками, не придававшими, конечно, первостепенного значения христианскому просвещению живущих в отдалении варваров. Если какие-либо организованные миссии и достигали Киевской Руси, это были миссии с Запада, куда более вовлеченного в миссионерскую деятельность, чем Византия, а в X–XI вв. особенно обеспокоенного христианизацией Восточной Европы и, в частности, населяющих ее славянских племен (см.: Назаренко 2001, 291 сл.). В этих условиях, не находясь под сосредоточенным давлением ни одного из церковно-политических центров цивилизованного мира, Киевская Русь могла выбирать, к какому именно стану ей примкнуть. Св. Владимир сделал этот выбор в пользу Византии, видимо, в силу достаточно прагматических политических соображений. Именно этот выбор повлек за собой утверждение церковнославянского языка в качестве литургического языка русской и украинской церкви, а вместе с тем и в качестве языка культуры (образованности, книжности) восточнославянского средневековья.

Выбор литургического языка – это кардинальное историко-культурное решение, определившее развитие культуры восточных славян на много столетий вперед. Церковнославянский, сакральный язык православного

славянства (*Slavia Orthodoxa*), был относительно близок к разговорному языку соответствующих славянских народов. В этом отношении культурная ситуация у православных славян (включая Киевскую Русь) радикально отличалась от той, которая имела место в странах латинского Запада, включая сюда и такие славянские страны, как Польша и Чехия (*Slavia Romana seu Latina*) (см. об этих понятиях: Пиккио 1972; Пиккио 2003; см. также ниже). Часто высказывается мнение, что славянское богослужение было понятно населению Киева или Новгорода, тогда как менее удачливые жители Лондона или Кельна латинское богослужение понять не могли, если только они не изучали латынь формальным образом (т. е. в школе). В результате основные христианские тексты были доступны различным секторам восточнославянского общества, тогда как в Западной Европе доступ к пониманию этих текстов был привилегией ученых людей, по преимуществу духовенства и монашества. Такая точка зрения не может быть принята совсем без оговорок, потому что понимание риторически организованных и лингвистически изощренных текстов не зависит полностью от понятности отдельных корней, суффиксов и окончаний. Нужно понимать смысл, т. е. устройство (поэтику) текста и понятия, которые в нем используются<sup>58</sup>.

Тем не менее различие имело место, хотя и не было столь контрастным, как об этом часто говорят. Латынь была доступна только ученым людям, которые инвестировали много времени и труда в то, чтобы овладеть этим языком. Однако же, когда латынь была наконец выучена, это открывало путь к обширному корпусу латинской литературы, ко всему, что было создано и продолжало создаваться на латинском языке. Таким образом, класс людей, обладавших знанием латыни, был сравнительно малочислен, однако богатства, которые становились доступны при наличии подобного знания, были чрезвычайно велики. Церковнославянский, напротив, был более доступен, он не требовал формального изучения, в средневековой Руси им овладевали из опыта чтения и заучивания текстов наизусть. Каждый, кто достаточно усердно читал церковнославянские тексты, получал достаточные навыки для того, чтобы понимать все, что было на этом языке написано. Это знание не было привилегией ученых людей (духовенства), но было сравнительно широко распространено (грамотность во всяком случае была достаточно обычной в городском обществе – см. ниже, §§ III-7; III-8). Однако корпус церковнославянской литературы был относительно невелик и однороден; он, как мы знаем, состоял в основном из переводов с греческого (и отчасти латыни), сделанных со специальной целью религиозного назидания. Законченность этого корпуса автоматически создавала своего рода

<sup>58</sup> Скажем, слово *единосушный* состоит из известных формальных элементов, здесь нет того барьера, который чувствуется даже в англ. эквиваленте этого слова – *consubstantial* (разлагающемся на латинский префикс и латинский корень, вряд ли понятные необразованному жителю средневековой Англии), но отсюда не следует, что восточные славяне легко понимали данное слово. Его не было в их разговорном языке, а понятие сущности, как и множество других философских понятий, ничего не говорило необразованному славянину. Так что понятность славянского в противоположность непонятности латыни не следует преувеличивать (ср. выше, Введение-VIII).

барьер, отделявший православных славян от остального культурного мира: это не было целью, но было неизбежным результатом. Таким образом, какой-нибудь польский бенедиктинец был способен узнать любой латинский текст от Аристотеля и Горация вплоть до той многообразной литературной продукции, которая ежегодно появлялась в разных странах Европы. Его восточнославянский коллега, монах какого-нибудь даже самого большого монастыря, должен был питаться куда более ограниченным запасом исключительно религиозной литературы, отбор которой – нередко вполне случайный – зависел от поколений живших до него переводчиков. Нельзя сказать, чтобы этот корпус не пополнялся, иногда даже довольно динамично, однако и его стабильность, и его однородность, и его сравнительная ограниченность были константными характеристиками, определявшими и интеллектуальный кругозор славянского книжника, и его ощущение книжной культуры как неизменного предания. Именно в этом отношении выбор церковнославянского языка в качестве богослужебного имел эпохальное значение<sup>59</sup>.

Между тем, как уже было сказано, вхождение Киевской Руси в *Slavia Orthodoxa* было отнюдь не предопределенным историческими условиями событием. Самой такой культурно-религиозной общности в X–XI вв. еще не существовало (см. ниже), и взаимодействие с христианским Западом было столь же естественным, как и взаимодействие с христианским Востоком. Как известно, кирилло-мефодиевская традиция была не только у южных славян, но и у западных. Изгнание учеников Мефодия из Моравии и их переселение в Болгарию не положило, видимо, конец *Slavia Christiana* у западных славян, поскольку, в частности, не вся область, где действовал Мефодий, подчинялась моравскому князю (ср.: Дворник 1964, 209–210). Ясные данные о судьбах славянской письменности у западных славян в X в. и о сохранении славянского богослужения отсутствуют. Есть легендарные сведения о чешском князе Боривое, принявшем христианство, и о его потомках, Людмиле и

---

<sup>59</sup> Ср. полемически заостренные формулировки, в которых описывает это противопоставление Г. Г. Шпет: «Варварский Запад принял христианство на языке античном, и сохранил его надолго. С самого начала его истории, благодаря знанию латинского языка, по крайней мере, в более образованных слоях духовенства и знати, античная культура была открытою книгою для западного человека. Каждый для себя в минуты утомления новою христианскою культурою мог отдохнуть на творчестве античных предков, и в минуты сомнения в ценности новой культуры мог спасти себя от отчаяния в ценности всей культуры, обратившись непосредственно к несомненному первоисточнику. И когда настала пора всеобщего утомления, сомнения и разочарованности, всеобщее обращение к языческим предкам возродило Европу. Совсем не то было у нас. Нас крестили по-гречески, но язык нам дали болгарский. Что мог принести с собой язык народа, лишённого культурных традиций, литературы, истории? Солунские братья сыграли для России фатальную роль... И что могло бы быть, если бы, как Запад на латинском, мы усвоили христианство на греческом языке? <...> [К]акое у нас могло бы быть Возрождение, если бы наша интеллигенция московского периода так же знала греческий, как Запад – латинский язык, если бы наши московские и киевские предки читали хотя бы то, что христианство не успело спрятать и уничтожить из наследия Платона, Фукидида и Софокла...» (Шпет 1922, 12).

Вячеславе, об их христианской жизни и мученической кончине. Ничего не известно о том, как эти полулегендарные фигуры относились к славянскому богослужению, существовало ли оно в Чехии в это время и т. д. О том, что где-то у западных славян в X в. славянское богослужение все же существовало, а, следовательно, кто-то им пользовался, т. е. были священники, служившие по-славянски, и паства, а может быть, и епископ, санкционировавший такую практику, говорят дошедшие до нас Киевские листки. Они датируются X в., содержат отрывок из мессы и обнаруживают несомненные следы западнославянского происхождения. Как и где возникла эта рукопись, можно только догадываться. Достоверные исторические данные о славянской книжной и литургической традиции относятся к XI в. В 1030 г. св. Прокоп основывает Сазавский монастырь, в котором имеет место славянское богослужение и переписываются славянские книги. Можно предположить, что он не ввел славянское богослужение у западных славян, а продолжил традицию, уже существовавшую какое-то время, пусть и в почти латентной форме (ср.: Вечерка 1963; Вечерка 1967; Мареш 1974).

От датировки развития славянской письменности и богослужения у западных славян зависит и то, к какому времени мы относим и какое значение придаем западнославянскому компоненту в древней восточнославянской книжности. Ключевой фигурой при решении этого вопроса является св. Войтех, епископ пражский, просветитель Польши и Чехии, и его отношение к славянской книжности. Если славянская традиция при Войтехе существовала, это означает, что западнославянский компонент мог появиться у восточных славян с самого начала их книжной традиции; если она возникла лишь при Прокопе, такие контакты могли возникнуть лишь позже, были кратковременны и существенного значения не имели. Об отношении Войтехе к славянской традиции существует лишь одно прямое свидетельство, и поэтому вся реконструкция западнославянского компонента зависит от интерпретации этого свидетельства. Данное свидетельство содержится в небольшом сочинении, распространенном в русской книжности (наиболее ранние рукописи относятся к XV в.) и известном под названием Сказание о русской грамоте. В большинстве списков Сказание начинается со слов об успении св. Константина-Кирилла, «учителя словенску языку». Заглавная фраза сообщает о преставлении святого 14 февраля 869 г. и о том, что тело его было положено в церкви св. Климента в Риме.

Затем речь идет о происхождении «русской» грамоты. Говорится, что «роу́скимъ ѿзѣкъ нѣоткоудоу же приѧ въѣры сеѧ стѣѧ. и грамота роу́скаѧ никымъ же ꙗвлена. нѣ токмо самѣмъ вѣгомъ вседержителемъ оцѣмъ и сѣмъ и стѣмъ дѣмъ. Володимероу дѣхъ стѣѧ вдохноуѧ въроу приѧти. а крѣщение ѿ грекъ и прочнии наредѣ црквиѧ. А грамота роу́скаѧ ꙗвиласѧ вѣмъ дана въ корсоуни роу́синоу ѿ неѧже наоучисѧ филосоѡтъ константиѧ. и ѿтоудоу сложивъ и написавъ книги роу́скимъ ѿзѣкомъ». Сообщается, что «русин», который был учителем св. Кирилла, был первым христианином из русского народа, жил «постомъ и доброю дѣтелью», в уединении, и никто не знал, откуда он.

Далее речь идет о моравской миссии св. Константина-Кирилла, о том, что его послал царь Михаил, что в этой миссии он «наоучи моравоу и лахы и

чехы и прочия языки» и утвердил среди них «вѣроу правовѣроую». Затем сообщается, что просветитель славян отправился в Рим, там разболелся, принял монашество и скончался. Далее как раз и следует пассаж о Войтехе и позднейших судьбах славянской книжности у западных славян. Сообщение таково: «Потомъ же многомъ лѣтомъ минуѹвшемъ пришедъ вѣнтѣхъ въ моравоу и въ чехы и въ лахы раздоуши вѣроу правоу и роускоу грамотоу ѿверже а латинскоу вѣроу и грамотоу постави и правыа вѣры иконы пож'же а еппы и попы изъсѣче а другѹна разгна. И иде въ проускоу землю хотѹ и тѣхъ въ вѣроу привести. и тамо оубиенъ бысть вѣнтѣхъ латинскимъ пискоупъ»<sup>60</sup>.

Сообщения о западных славянах в X–XI вв. в русских источниках немногочислены и потому особенно значимы. Автор явно располагал определенными реальными сведениями о св. Войтехе, поскольку в сообщении упоминается гибель Войтеха у прусов, куда он отправился с миссией. Эта часть сообщения соответствует историческим фактам. Достоверность данного указания побуждала исследователей и все сообщение рассматривать как заслуживающее доверия. Проблема состояла лишь в том, в какой контекст (и конвой) поместить это сообщение.

А. А. Шахматов считал, что Сказание являлось частью не дошедшего до нас западнославянского исторического сочинения, другие части этого же сочинения отразились в Повести временных лет в начальном фрагменте о расселении славянских племен и в Сказании о предложении книг под 898 г. (Шахматов 1908б, 179–180, 187–188; Шахматов 1940, 86–87). Поскольку Шахматов полагал, что все сочинение в целом было западнославянского происхождения, он, во-первых, считал вполне достоверными сообщаемые в нем сведения о западных славянах, а во-вторых – датировал его возникновение периодом после 1030 г. (после основания Сазавского монастыря, когда, согласно этой концепции, только и могли появиться у западных славян славянские памятники) и до 1096–97 г. (времени, когда славянская традиция в Сазавском монастыре была разгромлена)<sup>61</sup>. В этом построении

<sup>60</sup> Исследование этого памятника и реконструкцию текста см.: Живов 2002б, 116–169. Ряд исследователей рассматривает этот текст как часть более обширного сочинения, включающего сверх данного Сказания еще и рассказ о крещении Руси св. Владимиром, сопоставление Владимира с Моисеем и Константином Великим и молитву «царям» Владимиру и Константину (Голдблатт 1986, 321–322). У. Федер (не знакомый, по видимости, ни с моей работой, ни с работой Х. Голдблатта) полагает, что в эту же «компиляцию» входила статья об изобретении Константином-Кириллом «лѣтѣицы» и вариант азбучной молитвы (Федер 2003; ср. еще: Федер 1999). Мне представляется, что это более обширное сочинение является результатом позднейшей компиляции. Об этом свидетельствует то, что в одной части речь идет о св. Константине-Кирилле, другая же часть завершается молитвенным обращением к императору Константину Великому – такая смена адресата не могла входить в первоначальный замысел. Различаются эти части и стилистически: повествовательной простоте первой противостоит риторическая украшенность второй.

<sup>61</sup> При таком построении к указанному периоду (1030–1090-е годы) оказывается отнесенной и та «славянофильская» идеология, которая выразилась в Сказании о предложении книг и вводных словах Повести временных лет. Какие именно моменты могли вызвать к жизни данную идеологию в этот период, А. А. Шахматов не объясняет. Во фрагментах,

принципиальное значение имеет сообщение о св. Войтехе. Именно доверие к этому сообщению является ключевым моментом в реконструкции межславянских связей, в установлении исторического контекста выразившейся в ПВЛ и Легенде Кристиана (близком по характеру, но созданном независимо западнославянском памятнике конца X в., дошедшем до нас на латыни и повествующем об истории христианства в Чехии – включая свв. Кирилла и Мефодия и свв. Вячеслава и Людмилу – см.: Людвиковский 1978; Кралик 1963; Флоря 1985) «славянофильской» идеологии. Эта реконструкция предопределяет, в свою очередь, и интерпретацию Сказания о русской грамоте, и его датировку. Так обстоит дело у Шахматова. Та же взаимосвязь, хотя и с другими выводами, имеет место и в построении Н. К. Никольского.

Н. К. Никольский также рассматривает обсуждавшиеся выше фрагменты ПВЛ как остатки исторического сочинения западнославянского происхождения. Поскольку он, основываясь на сообщении о Войтехе, считает период конца X – начала XI в. временем гибели славянской книжности у западных славян, он относит источник вставок в ПВЛ ко времени до Войтеха. Отсюда и возникает его гипотеза о поляно-русском летописании, которое взаимодействовало с западнославянским и позднее отразилось в ПВЛ. Интенсивное восточнославянско-западнославянское взаимодействие приходится согласно такой концепции на X в., тогда как «после Адальберта-Войтеха (ум. в 997 г.) западное славянство перестало быть с нею [с полянорусью] единоверным и вскоре заменило славянскую грамоту латинской» (Никольский 1930, 48). Сказание о русской грамоте отрывается при таком построении от источника ПВЛ, и Никольский относит его к концу XI–XII в. (там же, 79–82)<sup>62</sup>.

вошедших в ПВЛ, рассказывается о расселении славян, а затем о миссии Кирилла и Мефодия, которая в этом контексте подается как общеславянская. Во фрагментах, тем самым, высказано три основных тезиса: (1) о единстве славян как этнической и культурной общности, (2) о кирилло-мефодиевской миссии как основании культурной общности, (3) о том, что эта миссия началась в Моравии, у западных славян. Подобную идеологию было бы естественным связывать с самим процессом распространения славянского просвещения, т. е. ее корни видеть в самой миссии Кирилла и Мефодия, а экспансию рассматривать как результат усвоения славянской книжности новыми славянскими областями. На этом пути, однако, стоит «разорение» при Войтехе, и остается совершенно неясным, что могло способствовать появлению или восстановлению данной идеологии у западных славян в XI в. (на фоне, в частности, достаточно сложных отношений между Чехией и Польшей). В результате восточнославянско-западнославянские религиозные и литературные связи оказываются кратковременным эпизодом второй половины XI в., имеющим лишь второстепенное значение как для истории западнославянского, так и для истории восточнославянского христианства.

<sup>62</sup> В рамках данной концепции славянофильская идеология фрагментов ПВЛ получает естественную связь с кирилло-мефодиевской традицией (Никольский 1930, 12–18); вместе с тем не менее естественные связи этой идеологии с позднейшим религиозно-литературным взаимодействием западных славян и Руси в XI в. оказываются разорванными, хотя, казалось бы, именно на этой основе следовало бы объяснить переход культа свв. Вячеслава и Людмилы на Русь, а свв. Бориса и Глеба к западным славянам. Я не говорю уж о совершенно фантастических допущениях о существовании летописания в Киевской

Как можно видеть, и построение Шахматова, и построение Никольского страдают тем недостатком, что они расчленяют историю западнославянско-восточнославянских религиозных и литературных контактов на две части, естественная связь между которыми оказывается утерянной. Единственным основанием для такого разрыва является сообщение Сказания о русской грамоте о св. Войтехе. Уже одно это заставляет усомниться в достоверности данного сообщения. Исследования последних десятилетий показывают, что св. Войтех вряд ли был разорителем славянской книжности и что маловероятен какой-либо длительный разрыв в славянской традиции у западных славян. Правдоподобно, что эта традиция в конце X в. приобрела новый центр в основанном Войтехом Бжевновском монастыре (ср. о толерантности бенедиктинцев, в частности и лингвистической: Авенариус 1994). С именем Войтеха легендарное предание связывает авторство древнейших западнославянских духовных песнопений, носящих отпечаток кирилло-мефодиевской традиции, – чешского *Hospodine pomiluj ny* и польского *Bogurodzica*.

Неадекватное понимание судеб кирилло-мефодиевской традиции у западных славян было в значительной степени обусловлено предвзятыми представлениями о характере византийской, латинской и славянской духовности в IX–XI вв. Эти представления, согласно которым в Византии безоговорочно принимали литургическое разноязычие, а Рим настаивал на универсальности латыни, допуская славянский лишь для временного использования в миссионерских целях (как «*lingua d’apostolato*», по формулировке Р. Пиккио – Пиккио 1983), согласно которым обряд (греческий или латинский) был непосредственно связан с юрисдикцией, а литургический язык существенно зависел от обряда, – эти представления в определенной мере анахронистичны. Восприятие этих отношений как не допускающей отклонения схемы отражает то положение, которое сложилось много позднее – после разделения церквей в 1054 г., после грегорианской литургической реформы, после утверждения православия в славянских землях как равноправного партнера православия византийского, после Тридентского собора и т. д. Для конца IX – начала XI в. эти представления требуют весьма существенных оговорок, поскольку, например, они никак не могут быть согласованы с политикой *Renovatio Romani Imperii*, проводившейся Оттоном III и папой Сильвестром II и испытавшей значительное влияние византийских культурно-политических моделей, равно как и со многими традициями, на которые эта политика опиралась (развитие славянской литургии именно в рамках римской юрисдикции, взаимодействие римской духовности X в. с духовностью греческих монастырей южной Италии и т. д.). В этих условиях церковная политика Рима могла достаточно сильно расходиться с устремлениями немецких кафедр, рассчитывавших на восточную экспансию.

На фоне этого сложного сплетения идей и традиций и должны реконструироваться церковно-политические взгляды св. Войтеха. Для такой реконструкции существен ряд моментов его биографии, а определяющее значе-

---

Руси X в. и у западных славян (у последних имею в виду славянское летописание, а не латинские хроники).



ние имеют не годы его учения в Германии, которые часто упоминают в этой связи (ср.: Флоровский 1935, 148; позднее А. В. Флоровский придерживался иного взгляда: Флоровский 1958, 226–227), а его связи с Римом и вообще Италией: будучи епископом пражским, он был вместе с тем монахом монастыря св. Алексея и св. Бонифация в Риме<sup>63</sup>. Монастырь свв. Алексея и Бонифация на Авентине был особенным монастырем. В нем жили и греческие и латинские монахи; на двух языках (и в соответствии с двумя ритуалами) совершалось богослужение. Он находился под специальным покровительством Оттона III, и идеология христианской общности, формировавшаяся в этом монастыре, отразилась, видимо, в религиозно-политических взглядах этого византийствующего императора (см.: Гамильтон 1965, 272–282; Боси 1970). Нужно думать, что эту идеологию и приносит с собой Войтех в Восточную Европу, что, конечно, исключает какое-либо гонение на славянскую книжность. Напротив, эта идеология естественно связывается с кирилло-мефодиевским наследием, так что понятным становится, почему Кристиан посвящает свою легенду именно Войтеху. Та же идеология распространяется и последователями Войтеха – его братом Радимом-Гауденцием, первым епископом Гнезно, и первым настоятелем Бжевовского монастыря Анастасием, который позже становится первым епископом принявшей христианство Венгрии. Можно думать, что при Войтехе находит дальнейшее развитие литургический билингвизм – славянско-латинский, в соответствии с греко-латинским в монастыре св. Алексея, а возможно, и биритуализм. Понятно, как в таких условиях могли появиться Киевские листки.

Итак, связь св. Войтеха с монастырем св. Алексея и характер деятельности его учеников дают достаточно четкие свидетельства о мировоззрении пражского епископа. Его целью, равно как и целью его учеников, была не религиозно-культурная экспансия, насаждавшая единую немецко-латинскую модель, а создание под римским началом религиозно-культурной общности христианского славянства (*Slavia Christiana*). В этой общности должны были соединиться разные духовные традиции: римско-латинской

<sup>63</sup> Свое первое путешествие в Италию Войтех совершает в 983 г., когда получает в Вероне епископское поставление. В 989 г. он оставляет Прагу и вместе со своим братом Радимом (Гауденцием) бежит в Италию, собираясь совершить паломничество в Святую Землю. Однако, встретившись в Кассино со св. Нилом, игуменом греческого монастыря в Валлелуче, он решает обратиться к монашеской жизни и просит св. Нила принять его в свой монастырь (Иоанн Канапарийс – MGH, SS, IX, 586–587); это желание вступить в греческий монастырь весьма показательно для характеристики духовной ориентации св. Войтеха, равно как и для понимания той неоднозначности в отношениях юрисдикции, обряда и языка в Х в., о которых только что говорилось. Св. Нил отсылает его в монастырь св. Алексея и св. Бонифация в Риме, где Войтех со своим братом и принимает монашество в 990 г. Все последующие годы св. Войтеха связаны с этим монастырем. Отсюда он вновь отправляется в Прагу в 992 г. по требованию майнцского архиепископа. Сюда он вновь возвращается в 995 г. после разрыва с Болеславом, и отсюда же летом 996 г. он едет с миссией к пруссам в качестве епископа *in partibus infidelium*; проповедуя пруссам, он и принимает мученическую кончину 23 апреля 997 г., и после этого практически сразу же следует его канонизация.

духовности предстояло здесь мирно сочетаться с кирилло-мефодиевской традицией. *Slavia Christiana* выступает при этом как особый самостоятельный мир, существующий наряду с греческим и латинским<sup>64</sup>. Надо думать, что эта идеология лежала в основе западнославянско-восточнославянских религиозных контактов (ср.: Дворник 1954) и была в известной мере воспринята на Руси. О том, что описанная система взглядов могла сохраняться в Чехии (в Сазавском монастыре) вплоть до конца XI в., свидетельствует реконструируемый чешский источник Сказания о преложении книг, создание которого следует относить, как показал Б. Н. Флоря, «к последним десятилетиям существования Сазавского монастыря как центра славянской письменности – к 80-м – нач. 90-х гг. XI в.» (Флоря 1985, 127). Включение этого Сказания в ПВЛ отчетливо показывает, что представление о *Slavia Christiana* как религиозно-культурной общности было вполне усвоено и восточнославянскими партнерами в церковно-литературном обмене.

В этом контексте становится понятным происхождение и роль Сказания о русской грамоте и содержащихся в нем сведений о св. Войтехе. Прежде всего можно отметить идеологическую разнонаправленность Сказания о русской грамоте и Сказания о преложении книг в ПВЛ: в последнем проводится идея славянской религиозной общности, тогда как в первом Русь выступает как единственная хранительница «славянской грамоты» и «правой веры», а западные славяне оказываются отпадшими от истинной христианской традиции. Соответственно, как указывал еще Н. К. Никольский (1930, 35), не может быть прав А. А. Шахматов, рассматривавший оба сказания как части одного сочинения. Со всей уверенностью можно сказать далее, что Сказание о русской грамоте является русским сочинением, а не памятником западнославянского происхождения; оно дает искаженные сведения о св. Войтехе, приспособленные к позиции православного полемиста. Это позволяет датировать Сказание тем периодом, когда полемика с католиками и опорочивание прежней близости с ними были особенно актуальны, т. е. концом XI – XII в.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> В этом контексте естественно прочитываются и идеи Кристиана. Легенда Кристиана как раз и может служить одним из наиболее ярких свидетельств актуальности подобной системы взглядов в конце X в. и соотносительности этой системы с кирилло-мефодиевской традицией. Вполне понятным в данной перспективе становится и посвящение этой легенды св. Войтеху (ср.: Дворник 1970, 215). Мне представляется, что этим и создается основа для будущей деятельности св. Прокопа, так что нет необходимости искать вне Чехии то место, где он мог бы вступить в контакт с кирилло-мефодиевским наследием (ср.: Атанасова 2001).

<sup>65</sup> Такую датировку предлагают и Н. К. Никольский и А. В. Флоровский (см.: Никольский 1930, 81–82; Флоровский 1958, 228–229). Другие исследователи относят Сказание к существенно более позднему периоду (XIV–XV вв. – ср., например: Кралик 1963, 188; Голдблатт 1986, 325). Датировка зависит как от определения использованных в Сказании источников, так и от установления идеологического задания памятника и его жанровой характеристики. Источники Сказания сколько-нибудь ясных указаний на время его составления не дают. Единственное, что как-то это время определяет, это само упоминание Войтехы и отдельные достоверные моменты в сообщаемых о нем сведениях (его смерть во время миссии к пруссам). Представляется, что на Руси об этом могли помнить

В 1054 г. Восточная и Западная церкви прерывают общение. Можно думать, что поначалу это событие не производит на христианское общество слишком большого впечатления – перерывы в общении между Римом и Константинополем случались и раньше, и никто не мог предугадать, что этот затынется на многие столетия. В этих условиях христиане, находившиеся в римской и константинопольской юрисдикции, продолжали общение, причем особенно интенсивным оно, естественно, оставалось на периферии западного и восточного мира, там, где они соприкасались. Раздоры метрополий теряли свою остроту и актуальность в далекой провинции. Тот конфликт, который нарастал в XI в. между столицами христианского мира – Римом и Константинополем, – на периферии утрачивал свою значимость. В этой связи можно вспомнить, например, что в Венгрии XI в. плоды деятельности византийской миссии не вытеснялись римским влиянием (хотя Венгерская церковь и находилась в юрисдикции Рима), а синтезировались (Моравчик 1970). Для XI в. нет оснований говорить о разделении славянства на *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Romana* – это результат позднейших процессов (ср.: Бирнбаум 1986; Марти 1989б, 197–198)<sup>66</sup>.

Общение поддерживалось и между Русью и Западом – женились и выдавали замуж, союзничали и находили друг у друга убежище. Не прерывались и связи в религиозной области. Достаточно напомнить установление празднования перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бар (Никола Вешний). Это празднование было установлено на Западе в 1088 г., и в 1091 г. оно же вводится на Руси – возможно, не без участия Евпраксии-Адельхайды, дочери великого князя Всеволода Ярославича и на тот момент жены императора Генриха IV (ср.: Макарий, II, 555–557; Мошин 1963, 45), или в результате прямых контактов Всеволода с папой Урбаном II (Назаренко 2001, 557–558). Все это хорошо соотносится с идеологией славянского христианского единства. В рамках этой идеологии естественны были и политико-династические связи, и связи культурно-религиозные. Во второй половине XI в. все эти явления еще сохраняли свою жизненность (ср.: Подскальски 1985, 132–135).

Такая ситуация может рассматриваться как развитие кирилло-мефодиевского наследия. По весьма убедительному предположению Ф. Мареша и В. Вавржинека (Мареш 1970; Вавржинек 1978; Вавржинек 1982, 29–30), в замысел свв. Кирилла и Мефодия входило не просто просвещение славян, но формирование самостоятельной славянской христианской культуры, славянской христианской общности. Какой бы нелепой утопией ни выглядел

---

в XI–XII вв., но не позже, когда о Войтехе, видимо, забыли. Во всяком случае, в одной из редакций Сказания вместо *Въитеха* фигурирует *вои латынскыи*, что указывает на полное забвение западного святого (Живов 2002б, 157).

<sup>66</sup> Р. Пиккио предполагает, что разделение возникло существенно ранее, уже в X в. (Пиккио 1988–89). Основным аргументом для него служит грамота папы Иоанна XIII чешскому князю Болеславу, запрещающая поставлять в епископы болгар или русских (там же, 204–205). Эта грамота, однако, как давно известно, является подложной (см. ниже) и дает возможность судить об отношениях между славянами-православными и славянами-католиками в XII в., но отнюдь не в более ранний период.

этот план для Европы середины IX в., именно данный маловероятный сюжет реализовался в истории. Подобная цель делала актуальной задачу создания особой славянской книжности и славянского богослужения, чтобы – как сказано в XIV главе Жития Константина – славяне оказались в числе великих народов, *иже славеѣ бѣаху своимъ языкомъ* (Климент Охридский, III, 104). В контексте этой задачи не было нужды выбирать между Константинополем и Римом, и неудивительно в этом плане (и не нуждается в хитроумных и неосновательных гипотезах об изменении планов Кирилла и Мефодия по пути из Моравии – ср.: Дворник 1964), что апостолы славян в своей деятельности соединяют оба эти начала – восточное и западное. О том, что этот утопический замысел, после многих неудач и сложностей, все же осуществился, свидетельствует Легенда Кристиана и написанное через век после нее Сказание о преложении книг, вошедшее в Повесть временных лет (Флорья 1985). Возникла та общность, которую я предлагаю называть *Slavia Christiana* (Живов 2002б, 116–169; ср. предлагаемый Р. Марти термин *Slavia cyrillo-methodiana* – Марти 1989б, 197; ср. еще Турилов 2010). После 1054 г. такое положение долго сохраняться не могло.

В этих условиях перед духовенством – как православным, так и католическим – стояла задача довести до сознания своей паствы, что разрыв совершился и прежнее общение невозможно, задача развести христианское стадо в разные стороны. Памятники такой пастырской деятельности, относящиеся ко второй половине XI – XII вв., достаточно многочисленны и хорошо известны. В Чехии эта борьба выразилась в запрете славянского богослужения в Сазавском монастыре (Послание папы Григория VII Вратиславу в январе 1080 г. – Фридрих, I/1 <п. 81>, 88) и в окончательном разгроме этого монастыря как славянского центра в 1096 г. Ряд полемических антикатолических сочинений появляется в это время и на Руси. Стремление разделить паству запечатлевается в них с полной ясностью. Укажу, например, на канонические ответы киевского митрополита Иоанна II, написанные в 80-х годах XI в. и на фоне тогдашней полемической литературы выделяющиеся, как уже говорилось, своей умеренностью и терпимостью. Здесь, в частности, говорится:

*Иже дщерь благовѣрнаго князя давати за мужъ во ину страну, идеже служити опрѣсноки и съкверноѣдению не ѿмѣтаются, недостойно зѣло и неподобно правовѣрнымъ се творити своимъ дѣтемъ сочтан[е]: божественный оуставъ и мирьскыи законъ тогаже вѣры благовѣрство повелѣваеъ помати (РИБ, VI, стб. 7).*

Естественно, что в этой полемике важно было не только указать на недостатки и заблуждения противной стороны, но и дискредитировать ту ситуацию взаимного общения, ту идеологию славянского христианского единства, которая была характерна для предшествующего периода и во второй половине XI в. продолжала оказывать достаточно сильное влияние на христианское общество. Для того чтобы утвердить разделение церквей в славянских странах, необходимо было набросить тень на прошлое и, очернив его, предать забвению. Сказание о русской грамоте как раз и представляет собой восточнославянскую реализацию этого идеологического зада-

ния<sup>67</sup>. Как отмечает Ф. Дворник в своей интерпретации Сказания, «this tradition is biased, and originated in the atmosphere of enmity of the Russian Orthodox against the Latins which increased after the rupture between Rome and Byzantium in 1054» (Дворник 1970, 215). Автор Сказания убеждает читателя, что никакого славянского христианского единства давным давно нет, а то, что было когда-то создано свв. Кириллом и Мефодием, было загублено ревностным латинизатором Войтехом, который убивал епископов и священников и жег иконы. Эта клевета обрушивается именно на Войтеха, поскольку он, видимо, был одним из апологетов славянского христианского единства и память об этом могла сохраняться у восточных славян (его имя упоминается в одной из молитв западного происхождения, сохранившихся в русских рукописях – см. ниже). Это и делает его негативную характеристику актуальной для православного полемиста<sup>68</sup>.

<sup>67</sup> Для католиков это была столь же насущная задача, как и для православных. Ее осуществлению в Чехии служила подложная булла папы Иоанна XIII, дошедшая до нас в Хронике Козьмы Пражского, чешском памятнике XII в. В первой книге Козьма помещает подложную грамоту папы Иоанна XIII чешскому князю Болеславу, где ему рекомендуется выбрать в качестве епископа «не человека, принадлежащего к обряду или секте болгарского или русского народа, или славянского языка, но <...> священника, особенно сведущего в латинском языке» (I, 22 – Бретхольц 1923, 44). Таким образом, папское указание о вредности славянского богослужения и о неблагочестии болгар и русских приписывается середине X в., что как бы опорочивает всю историю славянской книжности и межславянского религиозного единства в последующий период (в конце X – XI в. – см. литературу о подложности этой буллы: Флоровский 1935, 103–104). Как отмечает А. В. Флоровский, «существенно то, что текстом буллы можно воспользоваться для утверждения о живой славянской традиции в Чехии в X и XI вв., о традиции славянской письменности и в этой области (если не шире – в области религиозной жизни вообще) общения с славянскими странами греко-восточного христианства, с Русью, в частности. Если бы этого общения не было, то для составителей “буллы” не было никакой надобности делать прямые указания на те страны, “секта” которых буллою осуждается, – если имело смысл “выдумать” эту буллу, то именно с таким определенным, а не только с общим осуждением славянского обряда в блюдущих его странах» (Флоровский 1935, 104–105).

<sup>68</sup> Отсюда определяется и жанр Сказания – в своем первоначальном качестве это антилатинское полемическое сочинение, – а вместе с тем и время его составления. Борьба за разделение паствы, за то, чтобы православные отвернулись от католиков, была актуальна во второй половине XI – XII в., в то время как, по наблюдению А. Попова, «с XIII в. в истории русской полемической литературы против Латинян наступает перерыв» (Попов 1875, 122). В силу этого Сказание можно датировать XII веком. Правомочность включения Сказания в ряд антилатинских полемических сочинений подтверждается и одной характерной деталью. Св. Войтех обвиняется в Сказании в том, что он «*латинскоу вѣроу и грамотоу постави и правыа вѣры иконы пожъже*». Обвинение св. Войтеха в уничтожении икон соответствует обличению западных христиан в иконоборчестве, встречающемуся в киевской полемической литературе, ср. в Стязании митрополита Георгия с Латиною (до 1079 г.): «Иже не хотятъ мощемъ святыхъ кланятися, друзии же отъ нихъ ни святыхъ иконъ, иже есть Гноетьзоименитаго [т. е. Константина V Копронима] ересь и проклятыхъ онѣхъ, иже иконы пожьгоша» (Макарий, II, 559; Бенешевич 1987, 279; ср.: Попов 1875, 88; ср. повторение этих же слов в Послании митрополита Никифора к Владимиру Мономаху – Калайдович 1821, 162; Баранкова 2005, 164–165; ср. еще: Павлов 1878, 57). Рассматриваемое обвинение не может быть понято вне данного контекста и по всей видимости

Позднейшая перспектива, которая помещает Киевскую Русь в тени Московской, заслоняет и связи с Западом. То противостояние с католиками и утверждение исключительности своей веры, которые свойственны более позднему времени, переносятся на самый период формирования киевской культуры. Между тем, как мы видели, для раннего периода религиозно-культурная ситуация была совершенно иной. Киевская Русь в конце X – XI в. находится в тесном контакте с новыми христианскими государствами Средней Европы – с Чехией, Венгрией, Польшей, скандинавскими странами, и эти контакты не были лишь политическими. Как сказано в летописи под 996 г., «и бѣ [Володимеръ] жива съ князи школьными миромъ. съ Болеславомъ Ладьскымъ. и съ Стефаномъ Оугрьскымъ. и съ Андрихомъ Чешьскымъ. и бѣ миръ межю ими и любы» (ПСРЛ, I, стб. 126). Результатом и был, в частности, довольно широкий литературный обмен, переход почитания отдельных святых от западных славян на Русь и из Руси к западным славянам и т. д., свидетельствующие о существовании единой *Slavia Christiana*. Именно эта общность и была той естественной средой, в которой новые христианские государства решали в X–XI вв. одинаковые в принципе проблемы христианского церковно-политического, социального и культурного устройства.

Понятно, что разделение Церквей в 1054 г. подорвало основы этой общности, хотя ее распад отнюдь не наступил сразу же после этого события. Понадобились, как уже говорилось, сосредоточенные усилия как католического, так и православного духовенства, чтобы к середине XII в. утвердить у славян принцип конфессионального противостояния. В этой новой ситуации следы прошлой общности изглаживались. В частности, например, на Руси вряд ли могли переписываться памятники, в которых восточнославянский книжник замечал слишком явные «западные» явления. Аналогичная ситуация имела место и у западных славян. В силу этого немногочисленные сохранившиеся свидетельства явным образом неадекватны, это лишь обрывки не дошедшей до нас картины. Это не значит, конечно, что можно строить фантастические предположения о широком взаимодействии культур и литератур, но тем не менее это создает определенный контекст, в котором следует оценивать оставшийся в составе восточнославянской книжности ряд памятников западного происхождения, равно как, скажем, и реликты культа свв. Бориса и Глеба у западных славян. Освобождаясь от стереотипного представления о русской культуре как прямом продолжении (или трансплантации) византийской, мы получаем возможность увидеть и иную парадигму, обусловленную вхождением Руси в *Slavia Christiana*.

Существенно отдавать себе отчет в том, в какой сфере должно было прежде всего осуществляться взаимодействие новых христианских государств. Естественнo думать, что такой сферой должно было быть устройство государства и общества как христианских институтов и в первую очередь

---

непосредственно к нему восходит. После того как полемика с латинами перестает быть актуальной, Сказание выпадает из своего жанрового ряда и может приобретать новые функции (чтения на память св. Константина-Кирилла или хронографической статьи), обрстая при этом дополнениями и искажениями.

отношения государства и церкви. Именно здесь ни имперский Константинополь, ни папский Рим не давали ясной модели. Их устоявшееся церковно-государственное устройство никак не могло служить образцом для государств (обществ), вводивших христианство как *новую* господствующую религию и вынужденных в силу этого наново устанавливать и место церковной организации в государственных институтах, и способы обеспечения этой организации, и авторитетность христианских ценностей как регулятивного начала в жизни общества. Замечу сразу же, что русские князья XI–XII вв. не мыслили себя по образу византийского василевса (ср.: Шевченко 1991, 112; ср.: Шевченко 1987), так что у нас нет никаких следов даже частичного и трансформированного переноса особых отношений василевса и церкви в Византии на восточнославянскую почву.

В плане нового устройства показательно, что Владимир устанавливает княжескую десятину (т. е. отчисление десятой части от княжеских доходов) как форму финансового обеспечения церковной организации. Этот порядок восходит к западным институтам и не имеет прямого аналога в Византии. Не менее значимо, что в точности тот же порядок устанавливается и у западных славян, так что соответствующие процессы у восточных и западных славян естественно рассматривать как единое явление<sup>69</sup>. Такие же выводы

---

<sup>69</sup> Характер финансирования церкви в Польше в XI–XII вв. был в свое время подробно исследован В. Абрахамом (Абрахам 1962). Этот же порядок устанавливается и для Чехии того же периода. В монографии Б. Н. Флори (Флоря 1992) убедительно показано, что идентичная модель реализуется в Киевской Руси. На ранних этапах развития землевладение как источник содержания церкви никакой роли не играло. При этом церковная организация возникала вместе с принудительной христианизацией населения в результате прямых действий княжеской власти (ср. в Повести временных лет – ПСРЛ, I, стб. 153; Шахматов 1916, 194). Отсюда и единообразный характер финансирования: фиксированная доля («урок»), а именно десятая часть от княжеских доходов. Аналогичный порядок обнаруживается и в скандинавских странах – при тождестве исходных условий и существовании постоянных контактов. Выводить восточнославянскую десятину из библейских установлений (ср.: Петрухин 2000, 279–287) не представляется оправданным; речь может идти лишь о ветхозаветном дискурсивном оформлении общего для христианизированных стран института (гипотеза о языческом происхождении десятины, которая когда-то шла на содержание волхвов, относится к области фривольных фантазий – см. эту гипотезу: Шапов 1965, 315–325; сомнительной вообще представляется и гипотеза об автохтонном происхождении десятины: Шапов 1989, 85–87). Интересно, что сходства имеют место и в дальнейшем развитии в XII – начале XIII вв. Распространение христианства на сельскую местность и развитие землевладения как преимущественного источника доходов приводит к тому, что княжеская десятина постепенно заменяется обязательными фиксированными отчислениями из доходов населения. Общность развития у восточных и западных славян подтверждается здесь наличием общих частных деталей (например, десятина зерном из собственного хозяйства феодала как регулярное отчисление в пользу храма или монастыря, находящихся под его патронатом). В дальнейшем рассматриваемые процессы у западных и восточных славян идут по-разному: у западных славян устанавливается обычная католическая десятина с населения, у восточных – произвольные платежи, обусловленные договором. В этой перспективе сходство организации в XI–XII вв. можно рассматривать как отражение единства *Slavia Christiana* в данный

можно сделать и рассматривая отношения патроната у западных и восточных славян. Прежде всего здесь следует указать на то, что в XI–XII вв. «правитель оставался верховным собственником переданных епископу (и его кафедре) земель и доходов» (Флоря 1992, 53)<sup>70</sup>.

Сходство задач и исходных условий было естественным объединяющим фактором, действовавшим вне зависимости от юрисдикции. Как полагает Б. Н. Флоря (1992, 152), об этом свидетельствует и «наличие подобных отношений между светским обществом и духовенством в целом ряде других “варварских” обществ (Скандинавия, Германия)». «По сравнению с действием этих факторов принадлежность к тому или иному идейно-культурному кругу (латинскому, византийскому) не имела на этом этапе развития определяющего значения». Существенно, что греческое духовенство на Руси этот порядок принимало. Каким бы значимым ни было представление об универсальности византийской модели, оно не распространялось на варварские земли, никогда в империю не входившие. Греческое духовенство не требовало единообразного устройства и не искореняло инородные установления, обусловленные вхождением Руси в иную общность. Поэтому для раннего периода не следует преувеличивать (как это делают Д. Оболенский или И. Мейендорф – Оболенский 1998; Мейендорф 1989; Мейендорф 1990, 10-38) объяснительную силу понятия *Byzantine Commonwealth* («Византийское содружество наций»). Оно дает возможность вскрыть истоки ряда процессов в XIV–XV вв., но для XI–XII вв. во многом является анахронистическим и во всяком случае мало приложимом к Киевской Руси.

Не менее важно в данной перспективе определение компетенции церковного суда. Речь идет о выделении, с одной стороны, круга церковных дел, которые входят в юрисдикцию церковного суда вне зависимости от статуса участников процесса (например, дел о разводе или преступлениях против веры), а с другой – круга церковных людей, которые подведомственны церковному суду по любым делам (священников и их семей, церковного причта, монахов, вдов и сирот, опекаемых церковью, и т. д.). В реализации этого порядка интересы церкви, стремившейся и к расширению подведомственного церковному суду круга дел, и к включению в его юрисдикцию

---

период, а различия в последующем развитии – как один из результатов распада этого единства.

<sup>70</sup> Это выражалось, в частности, в *jus regaliū* (распоряжение доходами кафедры, когда она пустовала) и в *jus spoliū* (отчуждение в пользу князя имущества, оставшегося по смерти епископа). При развитии церковных институтов патрональные отношения устанавливались не только между князем и церковью, но и между различными церковными институтами (монастырями, храмами) и иными владельцами. Права патрона – как у западных, так и у восточных славян – реализовались при этом в «кормах» и «постоях» как формах эксплуатации церковных владений. Эти архаические порядки удерживаются у восточных славян еще в XV–XVI вв. (о патрональных отношениях при устройстве приходских церквей в XVI–XVII вв. и о борьбе церковных властей с «владельческими» церквями см.: Стефанович 2002), тогда как у западных уже в XIII в. формирование единой корпоративной церковной организации приводит к ограничению либо уничтожению таких прав (Флоря 1992, 91). И здесь, таким образом, как и в случае с десятиной, можно видеть свидетельство существования и последующего распада *Slavia Christiana*.



более широкого круга лиц (из числа тех, кто реально находился в административной зависимости от церкви), постоянно сталкивались с интересами светской власти. Поэтому нормы, фиксируемые княжескими уставами, могли реализоваться лишь в урезанном виде (ср.: Пресняков 1993, 489–492). Тем не менее, это было то нормативное устройство, к которому стремилось духовенство. Аналоги этому устройству, в разных вариантах зафиксированному, в частности, в различных редакциях Устава св. Владимира, находятся скорее на Западе, а не в Византии. Это было установлено уже К. А. Неволлиным (Неволин 1847) и Н. С. Суворовым (Суворов 1888; Суворов 1893) в позапрошлом веке. После исследований Я. Н. Шапова (Шапов 1972), доказавшего подлинность древнейших княжеских уставов (в их проторедакции), становится очевидным, что это сходство обусловлено не позднейшим влиянием (как думал Суворов), а общим характером устройства новых христианских государств и общностью образцов, на которые они ориентировались. И здесь, следовательно, можно говорить о чертах общности в рамках *Slavia Christiana*.

В сферу христианского обустройства входит, естественно, не только юридическая регламентация. Сюда относится и выработка представлений о христианском государстве, его месте в христианском историческом времени, о правильном христианском управлении и праведном правителе. Красноречивое свидетельство того, как могли распространяться подобные представления, находим в Житии Феодосия и Киево-Печерском патерике. Здесь рассказывается, как после пострижения двух знатных киевлян, Варлаама и скопца Ефрема, князь Изяслав Ярославич настолько разгневался на киево-печерских монахов, что преподобный Антоний Печерский с частью братии принужден был бежать из монастыря. Тогда жена Изяслава (Гертруда, дочь польского короля Мешко II) вступилась за монахов. Как рассказано в Житии Феодосия:

тѣгда гла кмоу жена кго послоушанъ ги и не гнѣванъ сѧ. яко тако же выстъ и въ странѣ нашен. отъбѣжавъшемъ нѣкогда бѣды ради чрьньцемъ много зѣла створи сѧ въ земли тои нхъ ради. нѣ блуди ги да не тако въ области твои боудеть то же слышавъ князь и оубоивъ сѧ гнѣва бѣа. ѿпусти великааго никона повелѣвъ кмоу ити въ пещероу свою. по онѣхъ же посла рекыи да съ мольбою възвратѧтъ сѧ вспасть (Усп. сб., л. 34а; БЛДР, I, 372).

Гертруда, по версии Киево-Печерского патерика, вспоминает здесь о гонении на монахов, воздвигнутых польским королем Болеславом, после того как Моисей Угрин, будучи в плену в Польше, принял монашество и отказался сожительствоать с вельможной польской дамой, тем самым нанеся ей бесчестие. Гертруда говорит, что это повлекло за собой несчастья для Польши (по рассказу Патерика смерть Болеслава и «мятежь великъ въ всей Лятельской земли» – БЛДР, IV, 424), а Изяслав учится на польском примере.

Западные образцы оказываются актуальными и в других случаях. Как будет говориться далее, киевское летописание не строилось по доминирующей византийской модели (см.: Манго 1988–89), но напоминало харак-

терную для христианского Запада анналистику. Соответственно, из этого источника развивались, по крайней мере отчасти, и исторические представления киевских книжников. Для выработки представлений о праведном правителе особенно значимой была канонизация свв. Бориса и Глеба. Г. П. Федотов полагал, что мученичество этих святых не имеет аналогии и отражает особую духовность русского православия. Он писал: «Как ни очевидно евангельское происхождение этой идеи – вольной жертвы за Христа (хотя и не за веру Христову), но для нее оказывается невозможным найти агиографические образцы <...> Святые Борис и Глеб создали на Руси особый, не вполне литургически выявленный чин “страстотерпцев” – самый парадоксальный чин русских святых. В большинстве случаев представляется невозможным говорить о вольной смерти: можно говорить лишь о непротивлении смерти. Непротивление это, по-видимому, сообщает характер вольного заклания насильственной кончине и очищает закланную жертву...» (Федотов 1990, 49–50; ср.: Федотов 1975, 103–105).

Очевидно, однако, что культ свв. Бориса и Глеба ни с какими уникальными чертами русской духовности (ее «кенотичностью», по мнению Федотова), по крайней мере в своем первоначальном виде, не связан, поскольку имеет многочисленные аналоги в скандинавской и (шире) западноевропейской агиографии (Ингем 1965; Ингем 1973; Ингем 1984; ср.: Живов 2005). Непосредственный агиографический прецедент также хорошо известен и эксплицитно зафиксирован в Сказании о свв. Борисе и Глебе, в котором о мученичестве св. Бориса прямо говорится: «**Помышлашеть же мѣнникъ и страсть стѣго мѣника Никита и стѣго Вячеслава подобно же семуу бывъшу оубиикнию**» (Усп. сб., л. 11а; ср.: Ревелли 1993, 206). Нет оснований предполагать культ св. Вячеслава культу свв. Бориса и Глеба, поскольку якобы аскетическая праведность Вячеслава не находит соответствия в памятниках, посвященных русским страстотерпцам (как полагает Федотов – 1975, 103–104; ср.: Флоря 1978); по верному замечанию Н. Ингема, в Первом славянском житии св. Вячеслава его аскетическая праведность не подчеркивается и в любом случае имеет лишь второстепенное значение для почитания мучеников (Ингем 1984, 35).

Парадоксальность святости Бориса и Глеба, о которой говорит Федотов, заключается в том, что они, как и св. Вячеслав, были не мучениками за веру, а жертвами политического убийства. В принципе, это не создает оснований для канонизации. Основание полагается в праведности князя, который предпочел непротивление убийству, подражая Христу и руководствуясь братской любовью, предпочел вольную страсть воинским доблестям. Как справедливо отмечает Н. Ингем (1984, 47–48), речь идет здесь об идеале филадельфии, братской любви. При этом братолюбие оказывается здесь не столько политической концепцией (как полагал Д. С. Лихачев – Лихачев 1954а), но концепцией нравственной. Культ Бориса и Глеба задавал образец святости для мирян и специально княжеской святости. Он вводил христианскую норму в публичную жизнь варварского общества и устанавливал добровольное подчинение как нравственно-политический принцип для христианской династии. Вместе с тем он легитимировал династию Рюрико-

ичей как род христианских князей (ср.: Пиккио 1977, 15–16)<sup>71</sup>. Очевидно, что в условиях постоянных княжеских междоусобиц (на Руси, так же как в Чехии, Польше, скандинавских странах) эта концепция была призвана утвердить идею правильного христианского государственного (нравственно-политического) устройства. Ее утверждение также оказывается элементом христианизации варварских обществ, общим для восточных славян и их северных и западных соседей.

В восточнославянской рукописной традиции (начиная с XIII в.) сохранилась молитва Св. Троице, в которой упоминаются западнославянские (св. Вячеслав, св. Войтех) и скандинавские святые. В частности, здесь говорится: «**никито, мино, христофоре, вачеславе. магнүше. конүте. венедикте. албане. олове. ботүлве. созоне... борисе и глѣбе... вси стїи мученици молите бога за ма грѣшнаго...**» (Архангельский 1884, 13; Шляпкин 1884, 268; Соболевский 1910, 45–47). Для нас сейчас не имеет принципиального значения, как в деталях идентифицируются перечисленные мученики. Вряд ли можно согласиться со всеми гипотезами, высказанными в работе Дж. Линда (1990), однако его критика предположений Ф. Дворника (Дворник 1947, 38–39; Дворник 1954, 326–327) во многом справедлива<sup>72</sup>. В любом случае очевидно, что упоминаются многочисленные скандинавские князья-страстотерпцы, пострадавшие сходным со свв. Борисом и Глебом образом. В частности, речь, видимо, идет о св. Кануте Датском, который перенес в Данию из Англии мощи св. Альбана, а затем в 1086 г. был убит политическими противниками прямо у алтаря св. Альбана в Оденсе. В Житии св. Канута обнаруживаются те

<sup>71</sup> Осуждение Святополка Окаянного имело в этом отношении не меньшее значение, чем прославление его невинно убиенных братьев. В конце XII в. автор «Слова о князьях» писал: «Слышите князи противящися старѣишей братѣи и рать въздвижуше и поганяя на свою братию возводяще, не обличилъ ти есть Богъ на Страшнѣмъ Судищи. Како святыи Борисъ и Глѣбъ претерпѣста брату своему не токмо отъятие власти но отъятие живота» (БЛДР, IV, 226). Этот моральный дискурс, этот этос родственных обязательств был обязан своим возникновением культу Бориса и Глеба и, возможно, делал излишним почитание их отца Владимира (ср.: Водофф 2003, 119–133).

<sup>72</sup> Дж. Линд безусловно прав, когда в основу идентификации названных в молитве святых кладет не только имена, но и те разряды (лики) святых, в которых эти имена упомянуты (Линд 1990, 8–9); с этой точки зрения невозможно принять предлагаемое Ф. Дворником отождествление Магнуса со св. Магнусом, аббатом фюсским, который не был мучеником; наиболее вероятным оказывается, напротив, св. Магнус Эрлендсон, принявший мученичество в 1115 г. В отличие от Дж. Линда, я бы не стал столь решительно отвергать чешское происхождение самой молитвы и считать ее оригинальным русским сочинением XII в. (Линд 1990, 15). На связь с Чехией указывает упоминание ряда имен чешских святых: св. Вячеслава, св. Людмилы и, особенно, св. Войтеха. Как отмечает Дж. Линд, имена святых могли добавляться в уже готовый текст молитвы, равно как и устраниваться из него. Поэтому нельзя исключить, что текст молитвы возникает в чешской церковнославянской традиции в XI в., а затем на Руси пополняется рядом имен, среди которых и имена скандинавских мучеников. Не исключено, конечно, что молитва составлена русским клириком (в XI – начале XII в. – позднее трудно ожидать упоминания св. Войтеха), связанным с Сазавским монастырем. В любом случае связь с Чехией, на которую указывали Соболевский и Дворник, в том или ином виде имеет место.

же мотивы подражания вольной страсти Христа, что и в борисоглебском цикле. Это сходство в конечном счете обусловлено тем, что решается нравственно-политическая проблема, равно актуальная для всех только что христианизированных государств. И в этом случае мы видим вхождение Руси в иную общность, нежели византийская ойкумена, и построение иной, нежели византийская, культурной парадигмы<sup>73</sup>.

Одним из элементов этой невизантийской культурной парадигмы является, видимо, и характер образования. Как уже говорилось, образование в древней Руси – в отличие от Византии – носило исключительно катехитический характер и никак не было связано с античной традицией. Эти же черты свойственны, можно думать, и образованию в других недавно христианизированных странах (например, у западных славян), причем и здесь есть определенное несходство между новыми христианскими государствами и Римом (позднее исчезающее). В Риме светская, восходящая к античности основа образования не была столь выражена, как в Византии: образованием занималась церковь. Однако, хотя и в очень фрагментированном виде, античная традиция сохранялась и здесь, античных авторов продолжали читать как образцовых в отношении языка, несмотря на то что в отдельные моменты мог актуализироваться ригористический протест против языческого содержания этих текстов (см.: Живов и Успенский 1984, 463–464; Буланин 1991, 25–29). Первоначально в новые варварские государства данная традиция не переносилась, так что катехитический характер образования был общим для *Slavia Christiana* и определяющим в формировании понятий новой христианской культуры.

Влияние западной литературно-языковой традиции (латинской и западнославянской) на развитие книжного языка восточных славян имело несомненно куда более ограниченный характер, чем влияние традиции восточной (греческой и южнославянской). В этом, надо думать, отразился тот факт, что в составе церковнославянской литературы, имевшей хождение в средневековой Руси с начальных этапов формирования восточнославянской письменности, южнославянские переводы с греческого занимали несравненно большее место, чем западнославянские переводы с латыни (которые могли проникать на Русь и через южнославянское посредство). Именно с греческого были переведены основополагающие для всей восточнославянской книжной культуры тексты Св. Писания и богослужения. Переводы с латыни и собственно западнославянские сочинения занимают в этом литературном пространстве маргинальное положение. Собственно, в их число входят Житие Вячеслава и Людмилы, перевод Бесед папы Григория Вели-

---

<sup>73</sup> Следует учесть, впрочем, наблюдения С. А. Иванова (Иванов 2009), указавшего на общие черты в культе свв. Бориса и Глеба и в развивающемся на полвека раньше в Византии почитании Никифора II Фоки, который также был жертвой политического убийства, а не мучеником за веру; в прославляющей его как святого литературе встречаются те же мотивы, что и в литературе борисоглебского цикла (например, сопоставление с Каином и Авелем). Тем не менее в византийской духовности данный феномен остается скорее маргинальным, тогда как на варварском Западе он многократно воспроизводится.

кого (Двоеслова), апокрифическое Никодимово Евангелие, возможно, Житие св. Вита, уже упоминавшаяся молитва Св. Троице и, видимо, еще несколько молитв, пенитенциал Заповеди Святых Отец и, возможно, еще какие-то мелкие сочинения (см.: Соболевский 1900; Соболевский 1903б; Соболевский 1905; Вашица 1971; Мареш 1979; Кёльн 2003; Максимович 2006; Максимович 2008). Можно предполагать, что какие-то тексты западнославянского происхождения, циркулировавшие в Киевской Руси, по разным причинам до нас не дошли (например, нельзя вовсе исключить, что существовало славянское житие св. Войтеха и что оно было известно киевским книжникам), однако при всех допущениях совокупность подобных текстов несоизмерима (и по объему, и по статусу) с корпусом переводов с греческого.

Неудивительно поэтому, что характерные орфографические и морфологические черты западнославянского извода церковнославянского языка не сказались сколько-нибудь заметным образом на процессе адаптации церковнославянского языка на восточнославянской почве (см. ниже, § II–4). Синтаксис книжного языка восточных славян восходит, как уже говорилось, к синтаксису переводов с греческого; калькирование латинских синтаксических построений на этот процесс никак не повлияло или, во всяком случае, его влияние в качестве отдельного компонента никак не вскрывается в дошедших до нас текстах<sup>74</sup>. Единственный уровень языка, в котором запечатлелось западное влияние, – это лексика, т. е. та сфера, которая остается не затронутой системными процессами.

В лексике, однако же, и прежде всего в области религиозной терминологии религиозно-культурные контакты со славянским Западом отразились вполне ощутимым образом. Действительно, существенные элементы восточнославянской христианской терминологии имеют западное происхождение, и это можно объяснять не только тем, что моравизмы были в старославянском, а оттуда были усвоены и книжным языком восточных славян, но и прямыми контактами восточных славян с западными. Надо думать, что в восточнославянском словарном фонде слились оба эти источника (ср. о распространении лексем *поганъ* и *рака* в южнославянском: Тасева и Йовчева 2006, 177–179). К таким западным элементам могут быть отнесены, например: заимствование *оплатѣкъ* (*oblatum* ‘причастие’, ‘Св. Дары’) и калька *принось* с тем же значением; *олтарь* – *altarium* (ср. греч. θυσιαστήριον); *поганыи* – *paganus* ‘язычник’; *комкати* – *communicare* ‘причащаться’; *апостолик* – *apostolicus* ‘папа’; *рака* – *arca* ‘гроб, ковчег’ (Винценц 1988; Винценц 1988–89; Успенский 2002, 73). К такого же рода заимствова-

<sup>74</sup> Имею в виду сейчас тексты, появившиеся в период формирования книжного языка. В отдельных более поздних текстах, переведенных с латыни (например, в переведенных из Вульгаты частях Геннадиевской Библии 1499 г.), калькирование латинских синтаксических конструкций имеет место (ср. Томеллери 2002а), однако оно выступает не как конститутивная черта книжного языка в целом и даже не как конститутивная черта языка данных переводов, а как частная особенность отдельных текстов, обуславливающая отклонения от традиционных синтаксических построений книжного языка (в рамках тех синтаксических стратегий, которые к тому времени утвердились как необходимые черты книжного изложения).

ниям принадлежит, видимо, и *кума* – *commater* (Фасмер, II, 404), хотя здесь возникает вопрос, где именно произошло искажение формы и из каких именно текстов (возможно, устных) это слово было усвоено (ср. еще о слове *паломникъ* как заимствовании среднелат. *palmarius*, осуществившемся, видимо, в устном языке: Назаренко 2001, 620–627; Успенский 2002, 74).

Отдельные элементы западного происхождения содержат указание на западославянский источник, т. е. на то, что латинские заимствования пришли в церковнославянский через западославянское посредство, например: *папежь* – польск. *papież*; *мнихъ* – польск., чеш. *mnich*; *мыша* – *missa*, ст.-чеш. *mša*. И здесь нельзя исключить непосредственно перехода лексических единиц от западных славян к восточным.

Наличие столь существенных элементов западного происхождения в корпусе религиозной терминологии свидетельствует, несомненно, о значительности контактов в этой сфере между восточными и западными славянами, о том, что западное влияние имело место в самый период формирования восточнославянской христианской традиции. В механизм книжного языка как таковой эта горстка заимствований (пусть и весьма важных в содержательном отношении) принципиальных особенностей не внесла. Однако западное влияние и контакты с западными соседями (в том числе и с западными славянами) не могли не сказаться на членении культурного пространства. Это был, видимо, один из факторов, обусловивших отличия восточнославянского членения от византийского, а отчасти и южнославянского. Такие значимые моменты, как соотношение княжеской культуры и культуры духовенства, имперского наследия и местной традиции, концептуализации исторического процесса (ср. развитие летописания) и т. д. напоминают скорее западные (варварские) образцы, чем византийские или эллинизированные южнославянские модели. Эти черты историко-культурной конфигурации повлияли и на характер функционирования книжного языка, не повторяющего ни византийскую, ни южнославянскую модель.

## ГЛАВА II. ОБУЧЕНИЕ КНИЖНОМУ ЯЗЫКУ. СПОСОБЫ ЕГО ОСВОЕНИЯ

### 1. Чтение по складам

Письменный язык всегда предполагает обучение. От характера обучения, от его объема, типа практикуемых упражнений, культурной значимости процедур и социальных параметров зависит и характер владения письменным языком, и место письменного языка в культурных практиках языкового коллектива. Вопрос о том, как функционировал книжный язык в средневековой Руси и в каком отношении он находился с естественными языковыми навыками, не может быть решен без рассмотрения тех процедур, с помощью которых восточные славяне овладевали письменностью и книжным языком. Именно в результате этих процедур создаются определенные отношения между книжным и некнижным языком, так что утверждая какую-либо их специфику, истоки ее следует искать в данных процедурах.

Функционирование церковнославянского в рамках *Slavia Orthodoxa* нередко сопоставляется с функционированием латыни в католических странах (см. об истории и параметрах этого сопоставления: Кайперт 1987). Характер языковой нормы, однако, в этих двух языковых ситуациях совершенно различен. Это различие объясняется в конечном счете разным способом усвоения данных языков: латынь усваивается с грамматикой и словарем, церковнославянский – с Псалтырью и Часословом, которые заучиваются наизусть. Обучение латыни в средневековой Германии или Ирландии типологически сходно с обучением иностранному языку в современной школе. Обучение церковнославянскому в славянских странах строится принципиально по-иному (по крайней мере вплоть до XVII века): ученик выучивается чтению по складам, читает и заучивает церковнославянские тексты и понимает их с помощью ресурсов своего родного языка. Этот характер обучения отчасти, видимо, обусловлен тем, что процесс овладения грамотой является вместе с тем процессом катехизации (см. выше, § I-2) и наизусть заучиваются религиозно значимые тексты, однако в лингвистической перспективе важна прежде всего сама специфика овладения книжным языком.

Принципиальное значение имеет проблема того, как в этих условиях осваивались книжные синтаксические построения. Если при обучении ла-

тыни навыки книжного построения периода приобретались прежде всего при чтении и грамматическом разборе классических текстов, то в обучении церковнославянскому какие-либо специальные обучающие процедуры, относящихся к этому уровню, отсутствовали. Это ставит перед исследователем вопрос о том, как вообще, в общелингвистическом плане, происходит освоение риторических стратегий разного типа, отличных от стратегий диалогической речи. Данный вопрос явно недостаточно исследован, но материалы истории русского письменного языка позволяют предположить, что определенные типы подражания (приобретения компетенции на основе унаследованных образцов) имеют здесь большее значение, чем непосредственное обучение.

Дошедшие до нас сведения о процедурах обучения письменному языку в древней Руси фрагментарны и недостаточны, для XI–XII вв. прямые данные вообще отсутствуют. Тем не менее в данном случае можно с определенной уверенностью реконструировать соответствующие явления, опираясь на сравнительный материал и более поздние свидетельства. Методологически такие экстраполяции в данном случае оправданы, поскольку, во-первых, интересующие нас процедуры являются общими для большого культурного ареала, в который входит и древняя Русь; во-вторых, при отсутствии каких-либо признаков, указывающих на изменение процедур обучения, естественно предполагать, что здесь имела место преемственность (что соответствует общей картине преемственной – от поколения к поколению – передачи навыков в церковно-богослужебной практике), в-третьих, традиционный для восточнохристианского ареала порядок обучения грамоте позволяет интерпретировать ряд лингвистических особенностей древних памятников письменности (например, написание *о* и *е* на месте слабых редуцированных), объяснение которых в ином случае связано с натяжками и не поддающимися проверке гипотезами (см. ниже, §§ II-4; VI-6.4).

Основой овладения грамотой было обучение чтению по складам. Процедура этого обучения была строго регламентированной и сакрализованной. Хорошее описание ее русского варианта находим в позднем, но вполне достоверном источнике, именно в трактате Епифания Славинецкого. Здесь говорится:

**Внѣтнѡ трѣбѡветъ ѡчитѣ: сѣце. пѣрвое сложи двѣ писмена гласное с' согласныѡ и рцы, вѣки ѡзъ: тѣже сотвори препѣтѣ гласомъ, илѣ ѡдохновѣнѣ. и рцы слогъ, вѣ. пакѣ йна двѣ писмена совокѡпѣ, сѣце, вѣди ѡзъ. и пакѣ содѣлай препинанѣ гласа: тѣже рцы слогъ, вѣ. сѣце и триписменныѡ слагѣй, словолюднѡзъ, и стѣни: тѣже рцы слогъ, слѣ. пакѣ слагѣй, вѣдилюди ю. и ѡдохнѣ, рцы слогъ, влю. посѣмъ глѣ всѣ речѣнѣ кѡпнѡ, славлю, тѣкѡ и прочѡм посѣмъ ѡчи (РНБ, Соф. 1208, л. 52–52об.; цит. по: Успенский 1970, 82; Успенский, III, 248).**

Процедура обучения явно выступает здесь как ритуализованная и строго регламентированная. Показательно, что она начиналась и завершалась молитвой и рассматривалась как своего рода вступление в христианскую жизнь. Константин Костенечский сообщает, что знакомство с буквами



начиналось с написания креста и молитвы кресту и так было установлено святыми отцами:

нѣ да не мнѣтъ кто, ꙗко тако просто и се єѣ, ꙗко\* кто хочеѣ и каа оучити • нѣ да оучѣѣ, ꙗко ни єдино ѿ мнѣшихъсе малыхъ безъ повелѣнїа ѿцѣ и чина соутъ • Ѹбо прѣвѣе въсѣхъ писменъ повелѣше писати въ начелѣ • и не мни семѸ тако быти • нѣ поне\* крѣпѣнемъ съраспехомъсе Хѣи въ начелѣ и съпогревохомъ, сице и начинающе бжѣтвнаа писмена, прѣвѣе въсѣхъ крѣтъ мѣнѣти поѣбаеѣ. рещи • «крѣте помаган», ꙗко\* би рещи по апѣлоу • «о крѣтѣ єдино» хвалитисе гни» (Ягич 1896, 144–145; ср.: Голдблатт 1987, 148).

Конечно, Константин описывает современную ему южнославянскую практику (сербскую и болгарскую), однако сочинения Константина получают распространение и у восточных славян, и излагаемая в трактате «О писменех» процедура обучения никаких замечаний у восточнославянских авторов не вызывает. Поэтому можно полагать, что такая же или подобная же практика была и у восточных славян.

Точно так же завершается обучение азбуке чтением крестообразной молитвы, и такой порядок Константин также связывает со святоотеческим преданием. Можно думать, что сама азбука рассматривается при этом как символ жизни, ее исполнения и завершения; подобная интерпретация азбуки (и процедуры обучения ей) восходит, видимо, к весьма архаичному культурному пласту (дохристианскому для средиземноморской культуры), но у славянских книжников ассоциируется прежде всего со словами Иисуса Христа в Апокалипсисе: «Азъ єсмь Ѧлфа и Ѡмега, начатокъ и конецъ, глаголетъ Гдѣ, сый, и иже бѣ, и грядый, Вседержитель» (Ап. 1: 8). Молитва при завершении учения приводится Константином в следующем виде:

ги  
 нсѸ  
 хѣ  
 за мѣтвь стѣи хъ бѣ ѿцѣ ншїи хъ.  
 ншѣ.  
 помѣи  
 наѣ.

(Ягич 1896, 146).

Молитвенное обращение к кресту в начале и в конце обучения выступает в данном случае как экспликация этого онтологического символизма азбуки (он, понятным образом, с большой отчетливостью выражается в глаголице, в которой первая буква, аз, имеет форму креста). Подобное понимание придает прямой религиозный смысл и соблюдению правильной процедуры обучения, и правильному произношению складов. Именно поэтому Константин Костенечский связывает с правильным обучением исправление веры и искоренение ереси (см.: Ягич 1896, 144)<sup>75</sup>.

<sup>75</sup> Нет оснований думать, что Константин радикально отступал от традиционной процедуры. И. В. Ягич высказывал предположение, что Константин «придавал <...> больше значения звуковому методу произношения отдельных букв вместо тяжелого склады-

Установленная таким образом процедура обучения грамоте держалась вплоть до 1720-х годов (а у старообрядцев и существенно позже). Д. Кантемир, возражая против той реформы начального образования, которую под началом Петра I проводил Феофан Прокопович, издавший в 1723 г. «Первое учение отроком» (оно должно было заменить традиционные буквари), писал: «Православная Церковь сама расположила, когда чему учить из писания. Когда отрок 4-5 или больше лет, Христовым Евангелием уже отрожденный, прилагается к учению письмен, долженствует от учителя своего во первых слышати имя и призывание святого и животворящаго креста: кресте помози ми, зане знамение креста есть яко Символ веры православной. Второе: во имя Отца и Сына и Святаго Духа; третье: алфавиту или азбуке учимы бывают; четвертое – изучают молитву, яже глаголется св. отец, т. е. за молитвы св. Отец и проч.» (Чистович 1868, 51). Как можно видеть, Кантемир излагает ту же в своей основе схему обучения, что и Константин Костенечский.

Попытки миновать уровень элементарного обучения грамоте и овладеть знанием Св. Писания вне этих процедур могут восприниматься как незаконные. Именно так могут интерпретироваться высказывания, встречающиеся в предисловии к грамматическому трактату «Простословие», приписываемому старцу Евдокиму (рукопись конца XVI в.). Автор пишет здесь: «**Аще кто простоты не оуразумѣтъ, тои не може<sup>т</sup> быти м<sup>а</sup>р<sup>т</sup>ь. аще кто внимаетъ простотѣ, тои може<sup>т</sup> обрѣсти и вѣщи м<sup>а</sup>р<sup>т</sup>стѣи**» (Ягич 1896, 629; см. ниже). Можно полагать, что под «простотой» как раз и имеются в виду традиционные процедуры начального образования<sup>76</sup>. Впрочем, вопреки

---

вания слогов по названиям букв» (Ягич 1896, 215). Д. С. Ворт интерпретирует этот вывод так, будто «Konstantin taught his pupils to read by pronouncing syllables, not the names of letters» (Ворт 1983а, 24; ср. еще: Трифонов 1943, 246). Константин явно не имел в виду столь радикального преобразования; его критика старого метода относится, видимо, не к складам, а к порядку следования букв в алфавите (см.: Голдблатт 1987, 275). В частности, чтение крестообразной молитвы, приведенной выше, предполагает, что сначала текст записывается без титл по складам (за. мо. ли. твѣ. свѣ. ты. н. хъ. ѡ. цѣ. на. шѣ. н. хъ. го. спо. ди. і. н. соу. хрї. стѣ. бо. же. на. шѣ. по. ми. лоу. н. на. съ. – Ягич 1896, 147) и ученик «Глѣтъ ѿмена писмене» (там же), а затем текст пишется с титлами и ученик начинает читать его связно. Константин, действительно, ограничивает тот период, когда ученик читает только по складам (там же, 148), однако дальше этого его преобразования не идут (в другом месте и сам Ягич предлагает именно эту интерпретацию – там же, 91). Показательно в этом плане и то обстоятельство, что сочинение Константина было усвоено славянской книжностью как руководство при обучении грамоте, т. е. при обучении чтению по складам. К «Сказанию о писменех» восходит ряд устойчивых элементов восточнославянских букварей и элементарных грамматических руководств, например, прямой и обратный азбучные ряды, корпус выучиваемых наизусть молитв и т. д. (см. о львовском букваре Ивана Федорова 1574 г.: Лукьяненко 1960, 210–211, 222, 225; ср.: Якобсон 1955; Быкова 1955, 471; Лукьяненко 1958, 253–254). Можно предполагать, что все эти тексты отражают вполне устойчивую традицию, сложившуюся у православных славян.

<sup>76</sup> Религиозная значимость правильной процедуры обучения чтению рельефно выступает в сирийском житии несторианского патриарха Ишояба III (конец VI в.). Рассказанная здесь история связана с той же регламентацией процедуры обучения, которую мы

этим предписаниям в каких-то случаях Св. Писание (отдельные его части) могло, кажется, выучиваться со слуха. Так, например, в Волоколамском патерике (XVI в.) рассказывается об одном благочестивом христианине, пострадавшем за веру от татар и потом постригшемся в Иосифовом монастыре: «Бѣ же благоразумень: аще и не навиче писаниа, но отъ слуха вся въ памяти имяше» (Древнерусские патерики 1999, 88; *въ памяти имяше* может, конечно, толковаться различным образом)<sup>77</sup>.

О том, сколь существенное значение придавалось правильному чтению, а в силу этого и правильному обучению этому мастерству, свидетельствует «Наказаніе ко Ѹчителемъ, какъ имъ оучити дѣтей грамотѣ, и какъ дѣтемъ оучитися вѣстевномѹ писанію и разѹмѣнію» (Предисловие к Псалтири. М., 1645 – Буслаев 1861, стб. 1083–1088). Здесь, в частности, говорится:

Господіе и братіе, простите насъ хѹдыхъ, еже оубо здѣ написахъ<sup>м</sup> в'кратцѣ оучителе<sup>м</sup>, иже оучатъ молодыхъ втрочатъ грамотѣ, какъ имъ подобаетъ искоуство имѣти в словесѣхъ и в рѣчехъ и в пословицахъ, что бы оученикомъ ихъ было в'набѣненіе, и во извѣщеніе разѹма, а не в срамъ и понось, паче же да не в грѣхъ. Подобаетъ оубо вамъ ѡ оучителѣ вѣдѣти, какъ вамъ молодыхъ дѣтей оучити вѣстевнымъ писменемъ. первое оубо в началѣ боука<sup>м</sup>, сирѣчь азбѹцѣ. потомъ же часовники и ѷсалтыри, и прочіа вѣстевныа книги; и паче же оубо всегъ, еже бы вамъ наказати и из'оучити оученикомъ азбѹка чиста и прамъ по сѹществоу, какъ которое слово рѣчю зовется, и неспѣшно. А и самимъ бы вамъ знати же естество

находим в славянских источниках, и это позволяет предположить, что мы имеем здесь дело с единой восточнохристианской (восточносредиземноморской) традицией, основанной на общем понимании символизма азбуки и важности внятного чтения. В житии рассказывается об обращении в христианство перса Ишосабрана. Священник, к которому пришел Ишосабран, дал ему в наставники юношу. Ишосабран спросил юношу, как следует начинать учебу: «Что именно положено правильно человеку учить прежде всего?» Юноша ответил: «Буквы, конечно, учит человек прежде, затем слоги и после того читает псалмы и постепенно читает все писание. И когда выучится чтению писания, после этого приступает к толкованию». На это Ишосабран возразил: «Бесполезно мне учить буквы, прочти мне десять псалмов». Юноша пытался отговорить его, объясняя, что напрасно он хочет выучить писание путем «бормотания», «подобно магам», как магический текст; первым шагом должно быть изучение букв (т. е. чтение по складам). Ишосабран, однако, упросил юношу и начал заучивать тексты наизусть, произнося каждое слово «с силой» и повторяя их, «качая шеей наподобие магов». Юноша запретил ему это, сказав: «Не делай, как поступают маги, но спокойно говори, только своими устами, и так в короткое время запомнишь много слов». Тем самым подчеркивается необходимость правильного и внятного произнесения, навык которого и дается чтением по складам. Спор Ишосабрана и юноши разрешил священник, который уговорил новообращенного начать с изучения букв (Пигулевская 1966, 135; Пигулевская 1979, 40–41).

<sup>77</sup> Можно привести еще любопытное сообщение В. Н. Татищева в его «Разговоре двух приятелей о пользе науки и училищах»: «Мы все знали кузнеца, а потом дворянина Никиту Демидова, которой грамоте не учен, но другие ему Библию читали, он все, в памяти достойные, в которой главе стих не токмо сказать, но пальцем место указать мог» (Татищев 1979, 56).

словесѣ, и силѣ нхъ раздѣлѣти и гдѣ говорити девето и тоносно, и гдѣ с' пригивеніемъ оустѣ и гдѣ с' раздвиженіемъ, и гдѣ простѣ. Паче же ятъ съ естемъ разнѣти. еже бы не реци в'мѣстѣ пѣніа, пѣніе, и в'мѣстѣ пѣти, пѣти. и в'мѣстѣ сѣсти, сѣсти. и в'мѣстѣ нѣсть, нѣсть. и в'мѣстѣ лѣто, лето. и в'мѣстѣ рѣчи, речѣ. и прочаа таковаа. сѣ бо вельми зазорно и оукорно, еже ятъ в'мѣстѣ ести глаголати. такоже и есть в'мѣстѣ яти. Ѫ сегѣ бываетъ веліе несмыслѣство ѹченію.

Как можно видеть, в «Наказании» описывается правильная последовательность этапов в обучении грамоте, затем утверждается важность правильного произношения, причем говорится о том, как артикуляторно должно достигаться необходимое различие звуков. Специальное внимание обращено на оппозицию яти и естя, скорее всего в силу того, что противопоставление соответствующих фонем реализовалось в живой речи москвичей XVII в. иным образом, нежели в книжном произношении (в живой речи, еще сохранявшей эту оппозицию, по крайней мере под ударением, она реализовалась за счет качества гласного, в книжном произношении перед естем произносился твердый согласный, а перед ятем – мягкий, см. ниже, § VI-6.5). Особая важность правильного и внятного чтения обусловлена тем, что несоблюдение правил чтения может приводить к еретическому заблуждению. Далее в цитируемом трактате об этом говорится следующее:

А ѡ семъ на<sup>м</sup> подоваетъ сѣлѣ прилѣжати, что бы оученикѣмъ спѣшиѣ не говорити, но говорити бы противѣ силы верхнаго раздѣла. А ѡ спѣха раздѣла оученію не боудетъ, и азѣкъ оученикѣмъ великаа спона, паче же и бѣдѣ досада, и дѣшамъ нашимъ великіи грѣхѣ. А избирати бы намъ лоучшее. зане проклѣтъ всако рече писаніе, творѣн дѣло бжїе с' невреженіемъ. а грамотное оученіе, вѣмѣ якоу дѣло бжїе есть. Аще ли вамъ самѣмъ нѣсть во искоуѣ снцевое ѹченіе, и вы зрите в' самѣю грамматикѣ, и в' ней подробнѣ вса оузрите; не сѣ же точію, но и навѣкните вѣдѣнію раздѣла. А ѡ семъ наипаче молитъ васъ наше хѣдоушіе господію нашѣ и братію, еже бы вамъ всакиѣмъ сѣлѣнымъ потщаніемъ наказати оученикѣмъ и въ началѣ часовника, перваго стиха. црю нѣныи оутѣшителю доуше истинныи, и прочаа. а не говорити и не оучити в'мѣстѣ доуше дѣше, якоу же неискоуѣсній словѣ оучатъ и говорятъ, сѣлѣ сѣ и вельми бѣдѣ въ трѣцѣ славимомѣ бранно, якоу в' мѣстѣ дѣха сѣагоу, глаголютъ доушоу и невѣмѣ какоу. штрашно бо есть братіе не точію сѣ реци, но и помыслити, еже в' мѣстѣ дѣха сѣагоу, доушоу глаголати и невѣмѣ какоу. Такѣ оубѣ и въ мѣтѣ, вѣко бжѣ оѣе вседержителю, и гѣди сѣе едиnorodныи Ісе хрѣте и сѣын доуше, а не дѣше. и въ слава в'вышнихъ на оутрени, тоже, и в' прочихъ бжѣтвѣнагоу писаніа идѣже бжѣтвѣнаа сѣа тѣгла прилѣжитсѣ глаголати. А ѡ дѣши снѣ, блгослови дѣше моа гѣда. или хвали дѣше моа гѣда. и прочаа таковаа (там же).

Под «силой верхнаго раздѣла» подразумевается, как видно из текста, акцентуация. Ошибки в постановке ударения, происходящие от быстрого небрежного чтения, при котором на акцентные знаки не обращается должного внимания, приводят к искажению смысла читаемого, нередко

кошунственному. Особый интерес представляет тот факт, что учителям грамоты рекомендуют смотреть «в' самю грамматику», которая дает возможность получить навыки понимания текста («навыкните въдѣнїю разума»). Замечательно, что никакой печатной грамматики, изданной в Москве, в это время еще нет; московское издание грамматики Смотрицкого появится лишь через три года (Смотрицкий 1648). Можно предполагать, что авторы «Наказанія» имеют в виду именно это долженствующее появиться издание. В любом случае в самом тексте «Наказанія» авторы апеллируют не к грамматическим характеристикам (например, роду существительных *дух* и *душа*), а к правописанию изучаемого текста, которое при достаточном обучении обеспечивает правильное чтение. Регламентация правильного чтения относится здесь, следует думать, к традиционным моментам, обращение к грамматике представляет собой инновацию (см. ниже, § VIII-4).

Насколько глубок тот культурный слой, к которому восходит подобная ригористическая регламентация обучения грамоте в сочетании с религиозным обоснованием ее необходимости, не вполне ясно. Похоже, что соотношение правильного чтения с правильной верой (Orthodoxy and Orthography, по выражению Х. Голдблатта – Голдблатт 1987; ср. еще: Голдблатт 1984; Лукин 2001, 114–132) представляет собой позднейшую рационализацию, появляющуюся вместе с развитием грамматического подхода к языку (см. ниже, § VIII-2). Вряд ли подобные рассуждения могли появиться у славян в XI или XII в., хотя в качестве исторического подтекста подобного соотношения может рассматриваться то мифологическое восприятие алфавита, о котором мы говорили выше и которое безусловно принадлежит к архаическому пласту культуры. Во всяком случае, мы обнаруживаем это соотношение еще у Константина Костенечского, который в уже цитированном сочинении «О писменех», говоря о необходимости различать *и* и *ы*, что для южных славян в XV в. представляло понятную трудность, замечает, что речь не идет только о языковой погрешности, но и о погрешности в вере: «И се ли тѣѣю мниши; тако въ прѣпростѣиши<sup>х</sup> глѣхъ блѣдословиши тѣѣю; ни. нь зри, тако и даже до въсѣхъ ересен въносиши единѣ<sup>мъ</sup> симъ писмене<sup>мъ</sup>, кол'ми па<sup>чѣ</sup> въсѣми. сице единоро<sup>мъ</sup>ныи сы снѣ. ты же прѣложивъ писме се и въпишешѣ ї единоро<sup>мъ</sup>нїи си. еда не тавлаешѣ несторїевоу ересь въ двѣ лица га сѣкоуца» (Ягич 1896, 113; ср.: Голдблатт 1987, 246). В этих условиях, очевидно, поддержание традиции нормативного обучения соотносилось с поддержанием чистоты веры, и это делало обучение грамоте важнейшей религиозной практикой.

К славянам система обучения по складам приходит, видимо, от греков: хотя прямые свидетельства у нас отсутствуют (вероятно, в силу того естественного момента, что элементарное образование воспринимается как нечто само собой разумеющееся и не требующее специального описания), наличие данной системы у греков делает греческую традицию наиболее вероятным источником. У греков эта традиция образуется еще в античности (см.: Марру 1960, 212) и удерживается вплоть до позднего средневековья. Можно предполагать, что именно так преподавал греческий своим русским ученикам Максим Грек (ср. упоминание о складах с дифтонгами и о счете складов в приписываемых ему сочинениях – Ягич 1896, 310, 327; ср.: Живов 1986а, 81–82). Порядок обучения грамоте у греков также был доста-

точно жестко регламентирован, хотя и отличался от известного у славян или сирийцев (надо думать, в силу того, что образование у греков было светским, основывалось на античной традиции и непосредственно с катехизацией не соотносилось, см., впрочем, ниже). О том, что начальным этапом обучения было выучивание букв и что в этом обучении использовался определенный метод (вполне вероятно, нечто похожее на чтение по складам), можно судить по ряду византийских житий (например, житиям Антония Кавлея IX в. и Христодула Патмосского XI в.) и по письму Михаила Акомината, в котором он жалуется, что в некоторых монастырях чтению учат без метода (ἀμεθοδεύτως) (Соколов 1897, 275–276). В комментариях Иоанна Дзидзиса (XII в.) говорится, что сначала ученик овладевает основными буквами, затем слогами и прочим учением, а потом учится по книге Дионисия [Фракийца] и по Канонам Феодосия [Александрийского], затем осваивает поэтов, и только после этого начинать сочинять (τοῖς στοιχειώδεσι γράμμασιν, εἶτα ταῖς συλλαβαῖς καὶ τῇ λοιπῇ παιδείᾳ, ἔπειτα τῇ Διονυσίου βίβλῳ προσέχων καὶ τοῖς Θεοδοσίου κανόσι καὶ ποιηταῖς, εἶτα σχεδογραφίας ἀπάρχεται – Лемерль 1981, 424, примеч. 28). Понятно, что для славян в древнейший период речь не идет ни об изучении грамматиков, ни об изучении поэтов, однако сама последовательность овладения буквами, затем слогами (складами), а затем текстами наблюдается и у греков. Понятно вместе с тем, сколь глубокоую трансформацию претерпевает изучение текстов при соединении обучения грамоте с катехизацией, когда первые выучиваемые книжные тексты оказывались одновременно и начальным религиозным руководством. Формировавшаяся при этом система культуры, хотя и черпала из византийских источников, существенно отличалась от византийской; это отличие, как можно видеть, возникало уже в процессе элементарного обучения.

Связывать обучение по складам с византийской миссией позволяет, видимо, и тот факт, что оно засвидетельствовано не только в рамках Slavia Orthodoxa, но и у католиков глаголящей (см.: Успенский 1970, 81; Успенский, III, 247–248). Подобная общность традиций указывает скорее всего на период до распада славянского христианского единства, на то время, когда был возможен синтез византийской и латинской миссионерской деятельности. Поскольку нет оснований возводить чтение по складам к латинскому наследию, наиболее правдоподобным источником оказывается традиция византийская (непосредственно связывать эту традицию со свв. Кириллом и Мефодием было бы, видимо, слишком сильным допущением). Какими именно конкретными путями и из какой именно славянской области приходит на Русь чтение по складам, кем могли быть первые учителя, заведшие у восточных славян обучение церковнославянскому, остается неясным. Произношение складов с ерами как, скажем, (для складов бѣ и бѣ) [bo] и [be], а также произношение фиты (ѣ) как [f] могло бы указывать на связь с Македонией (Западной Болгарией) (ср.: Успенский 2002, 148), однако вряд ли этих свидетельств достаточно для однозначной локализации источника. Как бы то ни было, к началу XIII в. рассматриваемую традицию обучения грамоте можно считать общепринятой, о чем свидетельствуют грамоты мальчика Онфима (НБГ, V, № 199–210, с. 17–32). Берестяные

грамоты №№ 199, 201, 204 и 206, относящиеся к указанному времени, содержат запись складов (соответствующую тому, что мы находим в позднейших букварях) и могут рассматриваться как указания на установившуюся систему начального образования, предполагавшего чтение и заучивание этих складов.

## 2. Заучивание текстов наизусть

За обучением чтению по складам следовало заучивание текстов наизусть, заучивались основные молитвы, а затем Псалтырь. На этом, насколько можно судить, элементарное образование завершалось. Действительно, у нас нет никаких свидетельств о том, что при обучении использовались какие-либо грамматики, словари или пособия по риторике: в восточнославянской письменности древнейшего периода такие тексты полностью отсутствуют. Правда, у нас есть приводившееся выше свидетельство Климентия Смолятича в его письме священнику Фоме об изучении схеодографии, однако, как уже говорилось, это сообщение нельзя интерпретировать как относящееся к изучению церковнославянского, изучение же греческого к настоящей теме не относится.

Процедуры обучения, включавшие обращение к грамматике, появляются в Московской Руси не ранее XVII в. и еще в начале XVIII в. воспринимаются как новшество. Ф. Поликарпов в своем издании грамматики Смотрицкого 1721 г. говорит о том, что

... издревле Руссїйскимъ дѣтководцемъ и оучителемъ обычай бѣ и есть, оучити дѣти малыя, в началѣ азбѹцѣ, по томъ часословцѹ и ѡсалтири, таже писати, по сихже нѣцыи преподаю<sup>т</sup> и чтенїе апѣла. Возрастающихъ же препровождаютъ ко чтенїю и сѣеннымъ библїи, и вестѣдъ еѣлскихъ и апѣлскихъ, и к разсѣжденїю високаго во оныхъ книгахъ лежащаго разѹмѣнїа. А истаго на таковое разсѣжденїе орѣдїа [еже есть граммати́ка] онымъ на предѣ не показѹють, по чѣмъ бы всякое реченїе и періодъ, и все слово разбирати, и в' подобающїй чинъ разполагати, и крыемъю в' немъ силъ разѹма раѣсѣждати (Смотрицкий 1721, Предисл., л. 2об.).

Традиционный тип образования явно не устраивает Поликарпова, поскольку он не содержит механизма понимания («разумения») выучиваемых текстов. Такой механизм создает грамматика, и именно стремление внедрить его в образование побуждает Поликарпова предпринять цитируемое издание; в том же предисловии говорится: «По из'ѹченїи же часослова и ѡсалтири [нѹже ѡставити не могѹтъ] онаа граммати́ка с толкованїемъ, сирѣчь съ показанїемъ и оупотребленїемъ еа пожитковъ да настрѣпитъ» (там же, Предисл., л. 5).

Впрочем, новая система образования и в XVII–XVIII вв. имеет лишь ограниченное распространение и опирается как на первичную основу, формирующую языковое сознание, на традиционные процедуры. Вплоть до реформы школьного образования при Екатерине II в 1786 г. начальное образование включало обучение церковнославянской грамоте, осуществ-

лявшееся, естественно, по старинке (см. ниже); церковнославянская грамматика преподавалась в духовных семинариях, т. е. в рамках среднего образования, предназначавшегося для духовного сословия. В своих воспоминаниях, относящихся ко второй трети XVIII в., московский митрополит Платон Левшин рассказывает о своем первоначальном обучении: «На шестом году от рождения начали Петра обучать грамоте: азбуке, часослову и псалтири; а потом писать; каковой общий тогда был обучения порядок для всех, всякаго состояния отроков» (Платон Левшин 1891, 204). Надо иметь в виду при этом, что Платон родился и обучался в Москве, а его отцом был относительно образованный и преуспевающий священник. Очевидно, что традиционный порядок образования оставался практически единственным и для других социальных групп.

Когда именно сложилась рассматриваемая традиция, не совсем ясно, поскольку, как и в случае с чтением по складам, прямые свидетельства относятся лишь к довольно позднему времени. Правда, если полагать, что многократное переписывание Псалтыри, засвидетельствованное Новгородским кодексом начала XI в. (Зализняк и Янин 2001), связано с обучением грамоте, это дает очень раннее указание на использование Псалтыри в «учении книжном»<sup>78</sup>. Ясно, что ни в этот ранний период, ни в дальнейшем ничто не побуждало средневековых книжников описывать само собой разумеющиеся вещи, а именно к их числу принадлежал порядок обучения грамоте. Поэтому свидетельства могут иметь лишь непрямо характер и появляются относительно редко. Первое ясное свидетельство дают те же грамоты мальчика Онфима начала XIII в. Так, несколько фрагментов из Следованной Псалтыри читаются, как установил Н. А. Мещерский (1962, 108; ср.: Зализняк 1995, 387; Зализняк 2004а, 476–477), в НБГ № 207. Как недавно показал А. А. Зализняк (Зализняк 2004а, 477), Онфиму же принадлежит и НБГ № 331, которая также содержит фразы из Псалтыри. Естественно связать эти записи мальчика, учащегося грамоте, с самим процессом обучения, что и указывает на использование Псалтыри в качестве учебной книги.

Прямо об этом говорится в уже цитировавшемся «Наказании ко учителем» 1645 г. Последовательность обучения книжному языку обозначена здесь вполне ясно: «в началѣ воуква<sup>м</sup>, сирѣчь азбѣѣ. потомъ же часовники и псалтыри, и прочіа бжественныя книги». Более раннее свидетельство находим в Послании новгородского архиепископа Геннадия к митрополиту Симону. Геннадий, озабоченный низким образовательным уровнем современного ему духовенства, пишет о необходимости заведения училищ для ставленников. Образование в них должно было, видимо, быть вполне традиционным. Геннадий замечает:

**А ты бы господинъ Отець нашъ, Государемъ нашимъ, а своимъ дѣтемъ Великимъ Княземъ, печаловался, чтобы вельми училищи**

<sup>78</sup> Даже в том случае, если это многократное переписывание интерпретируется как аскетическое упражнение (см.: Зализняк 2003б, 194), оно, видимо, предполагает, что писавший знал Псалтырь наизусть, что также, хотя и менее однозначным образом, говорит о выучивании Псалтыри наизусть как принятой у славян практике, возможно, входившей в процедуры обучения книжному языку.



учинити; а мой совѣтъ о томъ, что учити въ училищахъ, первое азбука граница истолкована совѣмъ, да и подтителные слова, да псалтыря съ слѣдованіемъ накрѣпко; и коли то изучать, можетъ послѣ того проучивая и конархати и чести всякыя книги (АИ, I, № 104, с. 148; ср. Употребление книги Псалтырь 1857, 816–817).

Таким образом, Геннадий полагает, что основу обучения составляет азбука-граница, т. е. азбука с числовыми значениями букв под титлом и, надо полагать, складами и толкованиями (можно думать, относящимися к наименованию и произношению отдельных букв), или, если принимать интерпретацию В. И. Лукьяненко, «стихотворная азбука», т. е. азбука в виде азбучного акростиха (азбучной молитвы) (Лукьяненко 1958, 243), а также список подтительных написаний. Затем выучивается Следованная Псалтырь; после того как ученик выучит Псалтырь, он, опираясь на этот опыт, сможет конархать, т. е. читать в церкви каноны и провозглашать стихиры, равно как читать всякие другие книги.

Неизвестный автор только что процитированной статьи из «Православного собеседника» приводит и еще несколько свидетельств. Он пишет: «В рукописном требнике Митрополита Макария, начала XVI в., встречается молитва “на учение грамоте детям”, в которой испрашивается от Бога помощь уразуметь учение книжное и псалмы Давидовы [Рукопись Соловецкой библ., № 1085]» (Употребление книги Псалтырь 1857, 816–817 – курсив мой. – В. Ж.). Стоит отметить, что выражение *учение книжное* употреблено в соловецкой рукописи в точности в том смысле, который мы находим в цитированном выше сообщении ПВЛ о просветительской деятельности св. Владимира (см. выше, § I-1). Каковы источники данной молитвы, требует дальнейшего выяснения, однако стоит отметить сразу же, что в Византии «в молитве, которая читалась пред отправлением детей в школу, у Господа испрашивалась учащимся помощь для изучения прежде всего книги псалмов» (Соколов 1897, 276; ср.: Соколов 2003, 49–50). В третьем послании к сибирской пастве, обличающем старообрядцев, тобольский митрополит Игнатий Римский-Корсаков (правил в 1692–1701 гг.) говорит о проникновении «арменской ереси» (двоеперстия) в книги, напечатанные при патриархе Иосифе и при этом называет Псалтырь, в частности ту самую Псалтырь 1645 г., которую предваряет цитированное выше «Наказание ко учителем», «учебной» книгой: «издавахуся псалтири в’ по^дѣсть, нарицаемыя учебнымъ [счачуся бо дѣти по таковыѣ] книгаѣ Бжественныхъ писаній чтенію» (Игнатий Римский-Корсаков 1855, 95); ср. еще «псалтирь гл҃ю учебнѣю издаша» (там же, 96).

Кажется важным и другой приводимый неизвестным автором аргумент в пользу древности рассматриваемой практики. «По крайней мере там, где говорится об учении и чтении книг, большею частью упоминается Псалтырь» (Употребление книги Псалтырь 1857, 818). Так, в Киево-Печерском патерике в слове 34 «О преподобном Спиридоне проскурнице и о Алимпии иконнице» говорится, что

Сей убо преподобный Спиридонъ бѣше невѣжа словом, но не разумомъ, не от града бо приде в чернечество, но от нѣкоего села. И възспріать страх божій въ сердци си, и нача учитися книгам, и извыче

весь Псалтырь изоусть (Абрамович 1930, 171; ср.: Абрамович 1911, 120; БЛДР, IV, 456).

Отметим еще, что в уже цитировавшемся Послании Геннадия новгородского малограмотные ставленники описываются следующим образом:

**А се приведутъ ко мнѣ мужика, и язъ велю ему апостолъ дати чести и онъ не умѣетъ ни ступити, и язъ ему велю псалтырю дати и онъ и по тому одва бредетъ, и язъ его оторку, и они извѣтъ творятъ: «земля, господине, такова, не можемъ добыти кто бы гораздъ грамотѣ» (АИ, I, № 104, 147).**

Малограмотность, таким образом, существенно сильнее сказывается на чтении Апостола, нежели на чтении Псалтыри, и это объясняется, видимо, именно тем, что знание Псалтыри входило в элементарное образование, что, читая Псалтырь, ставленник припоминал выученное наизусть, а при чтении Апостола он подобным подспорьем не располагал<sup>79</sup>.

Приведенные свидетельства согласуются с тем, что мы знаем о характере обучения книжному языку в традициях Православного Востока в целом. Выше уже говорилось о том, как определяется порядок обучения в сирийском житии Ишояба: «Буквы, конечно, учит человек прежде, затем слоги и после того читает псалмы и постепенно читает все писание». Аналогичные сведения мы находим и в ряде греческих житий, например, Антония Кавлея (IX в.), Иоанникия Вифинского (IX в.), Никиты Мидийского (IX в.), Феодора Эдесского (IX в.) и др. (Соколов 1897, 276). Эти данные показывают, что, хотя византийское образование оставалось светским и чтение античных авторов продолжало занимать в нем определенное место, Псалтырь постепенно становится основной учебной книгой. «Если в ранней Византии в основу преподавания были положены произведения Гомера и других античных писателей и лишь со временем учителя стали обращаться к христианским текстам, то теперь [в IX–XII вв.] на первый план выдвигаются книги Священного писания и прежде всего Псалтырь, из которой заучивали наизусть псалмы» (Самодурова 1989, 386). Можно думать, что это изменение прежде всего характеризует «аскетическую» культуру и менее характерно для культуры гуманистической (Михаил Пселл, например, изучал Гомера уже в начальной школе). Именно в эту христианизованную византийскую традицию вписывается книжное обучение у православных славян (это, между прочим, еще раз указывает на ту избирательную связь культуры древней Руси с византийской культурой, о которой было сказано выше, § I-2). Соответствие восточнославянских традиций образовательным процедурам

<sup>79</sup> Об этой практике сообщают и иностранные описания России, составленные во второй половине XVI – XVII вв. Хотя эти описания часто не слишком достоверны, они с теми или иными искажениями отражают реальные обстоятельства. Так, в Послании к Хитрею и у Петрея рассказывается о школах при церквях, в которых ученики, не имея катехизисов, учат молитвы, Символ Веры и псалмы, которые читают день и ночь. Себастьян Главинич, сопровождавший посольство Мейербергера в 1661 г., отмечает, «что многие так выучивали Псалтырь и Св. Писание, что могли из них приводить на память» (Рушинский 1871, 176).

Православного Востока позволяет предположить, что они были усвоены на Руси вместе с усвоением христианства.

При данной системе обучения образованность отдельных книжников зависит не от того, где и у кого они учились (как это было характерно для Византии, а затем и для западноевропейских культур), а от того, сколько текстов и какой сложности были ими освоены, каким читательским опытом они обладают. Образованность превращается в этом случае в искусство, степень которого определяется индивидуальными усилиями (начитанностью) и индивидуальными «герменевтическими» талантами книжника. Новые тексты понимаются при этом на основе опыта, полученного при чтении предшествующих текстов, т. е. в конечном счете – когда этот опыт возводится к первым освоенным книжным текстам – на основе ресурсов живого языка. На базе этих же выработанных в процессе чтения навыков создаются и оригинальные тексты.

### **3. Механизмы владения книжным языком**

Если попытаться проанализировать навыки, получаемые в результате тех процедур обучения, которые были описаны выше, и представить их как действующие механизмы, обеспечивающие понимание и порождение новых текстов, то следует, видимо, выделить по крайней мере два относительно автономных механизма: (а) механизм признаков книжности, или механизм пересчета и (б) механизм ориентации на тексты (образцы). Последний механизм, как представляется, более значим и определяет основные параметры книжного текста, тогда как механизм признаков книжности носит в некотором роде технический и вспомогательный характер. Он позволяет пишущему придать порождаемому тексту атрибут книжности, справившись (с большим или меньшим успехом) с формальными характеристиками книжного текста в тех случаях, когда механизм ориентации на образцы оказывается недостаточен или, если угодно, не имеет прямого действия.

Начну с того, о чем уже говорилось выше (Введение-II): коммуникативное задание книжных текстов принципиально отличается от коммуникативного задания текстов некнижных. Они рассчитаны на разный тип использования. Некнижные тексты имеют дело, как правило, с сиюминутными ситуациями, они сообщают информацию, непосредственно проецируемую на то, что уже известно участникам коммуникативного акта. Автор письма, скажем, сообщает адресату о том, что дела у него наладились, не излагая, в чем именно состояли его проблемы: адресат это и так знает. Коммуникативная ситуация близка здесь той, которую мы наблюдаем в диалогическом устном бытовом общении. У книжных, преимущественно религиозных, текстов совсем иные цели, а потому и совершенно другие риторические стратегии. Они содержат информацию, которая нуждается в подробном изложении и предназначена для неоднократного использования. Житие святого пишется не как детектив, который прочитывают и выбрасывают, а как повествование, которое читают много раз, в котором, зная, чем рассказ завершается (прославлением святого и его чудесами),

ищут источников этой развязки во всем предшествующем повествовании, перечитывая его, вглядываясь в детали как в образец для подражания. Такой текст содержит обычно внутренние ссылки, разъясняющие пассажи, скрытый диалог с недоумевающим или изумляющимся читателем, которому разъясняются его возможные сомнения, и т. п. С теми или иными отличиями то же может быть сказано и о любом книжном тексте, независимо от его жанра. По своим риторическим стратегиям книжные тексты несопоставимы с текстами некнижными. Они по-разному устроены, и эта разность устройства не может самым решительным образом не сказываться на их языке.

В какой степени то образование, которое получали книжники средневековой Руси, готовило их в выполнении описанных выше коммуникативных задач? На этот вопрос не так легко ответить, поскольку ответ на него зависит от того, как мы понимаем подготовку. Специальной подготовки восточнославянские книжники явно не получали, в этом плане лингвистическое образование в средневековой Руси отличалось от тех процедур овладения классическими языками, которые практиковались в Византии и латинской Европе и предполагали изучение грамматики и риторики, равно как и анализ текстов образцовых авторов. Образование на Руси сводилось к овладению чтением, чтение открывало путь к книжным текстам, освоение книжных текстов, не сопровождавшееся никаким формальным руководством, создавало возможности для подражания им – в меру способностей книжника к деятельности этого рода. Тем в большей степени заслуживает внимания тот факт, что восточнославянские книжники владели книжным языком, т. е. могли создавать новые тексты, не отличавшиеся радикально ни по своим синтаксическим построениям, ни по своему словарю от южнославянских образцов (имею в виду, например, Слово о законе и благодати митрополита Илариона или гомилетические произведения Кирилла Туровского). Это означает, что, как уже говорилось, навыками книжного изложения восточнославянские авторы овладевали не в процессе «формального обучения», но исключительно в процессе чтения, выучивания текстов наизусть и подражания освоенным образцам. По крайней мере в отдельных случаях эти несовершенные процедуры давали, тем не менее, весьма достойные результаты.

Нет никаких оснований считать этот процесс искусственным, радикально отличающимся по своим лингвистическим механизмам от процесса овладения разговорным языком. При овладении разговорным языком младшее поколение подражает старшему, воспроизводит услышанные фрагменты текста и научается комбинировать их заново, для выполнения собственных коммуникативных задач. Младшее поколение конструирует свою грамматику на основе того узуса, который оно находит у поколения предшествующего. То же самое происходит и с книжниками, только они подражают не старшему поколению, а освоенному ими корпусу текстов. Это по существу и есть механизм ориентации на образцы. О том, как работает этот механизм, будет сказано ниже.

Вместе с тем следует отдавать себе отчет, до какой степени те навыки, которые осваивались в процессе чтения и выучивания текстов наизусть, отличались от навыков разговорного языка. Порождение книжной речи с ее

специфическими риторическими стратегиями представляется иным типом языкового поведения (иным способом организации сообщаемой информации) сравнительно с порождением речи разговорной. Вряд ли кто-то станет говорить здесь о двух разных языках, однако разные регистры одного языка, соотнесенные с разными коммуникативными заданиями, выделяются здесь с полной отчетливостью. Именно синтаксические характеристики и прежде всего способы упаковки информации лежат, как уже говорилось, в основе дифференциации узуса по регистрам.

Понятно, что все рассуждения об отличиях письменного языка древней Руси от разговорного имеют гипотетический характер, поскольку никакими прямыми сведениями о разговорном языке мы не располагаем и можем лишь реконструировать его характеристики исходя из все тех же письменных текстов. Тем не менее можно полагать, что синтаксическая организация книжных регистров принципиально отличалась от синтаксического построения разговорной речи. В древних некнижных текстах обнаруживается ряд конструкций, не находящих соответствия в книжном синтаксисе, но зато хорошо известных из синтаксиса современной разговорной речи. Само собой разумеется, что древние некнижные тексты представляют собой образцы письменного, а не устного языка, и не могут не обладать особенностями письменного текста, однако схождения с современной разговорной речью побуждают думать, что отдельные синтаксические конструкции этих текстов представляют собой элементы устного синтаксиса (см. ниже, § V-1).

К таким конструкциям относится, например, именительный темы, когда тема (предмет) высказывания обозначается существительным в номинативе, ставящимся в начале предложения. Такие конструкции отсутствуют в древнерусских книжных текстах, но могут быть найдены в берестяных грамотах, ср. № 600, рубежа XII/XIII вв.: «а вытоле (N.) того изловили» («а бродяга, того поймали» – Зализняк 1995, 385; Зализняк 2004а, 471). Можно полагать, что синтаксические построения разговорного языка, иногда рассматривающиеся как инновации<sup>80</sup>, могут быть достаточно архаичными, так что специфические особенности разговорного синтаксиса устойчиво в течение многих столетий определяют отличия сначала книжного языка, а затем наследующего ему языкового стандарта (при всех его изменениях) от разговорного регистра русского языка, равно как и от некнижных регистров письменного языка средневековья.

<sup>80</sup> Такую точку зрения высказывал М. В. Панов, полагавший, что разговорный язык «как целостная система <...> скорее всего, дитя XX в.» (Панов 1990, 21). Что такое целостная система, можно понимать по-разному, но, как справедливо замечает Е. А. Земская, главные особенности разговорного языка «лежат в области синтаксиса» (Земская 2004, 347). Синтаксические параметры разговорного языка отличаются «исторической стабильностью» (Лаптева 1965, 16) и могут быть прослежены до глубокой древности (см. некоторые исторические данные: Земская 2004, 347–350; см. также: Земская 2003). Именительный темы вообще, возможно, является наиболее «естественным» способом упаковки информации в устной коммуникации, ср. замечание М. Холлидея о характерности для английской устной речи «marked thematic elements with reprise pronoun, as in *that poor child I couldn't get him out of my mind*» (Холлидей 1987, 58).

Описанные явления характеристичны и указывают на фундаментальные несходства разговорного синтаксиса, ориентированного на ситуационное упорядочение информации, ставящего линейную дистрибуцию аргументов в зависимость от той важности, которую придает им говорящий (пишущий) в структуре своего сообщения, и синтаксиса книжного, ориентированного на логическое развертывание. Синтаксическая (риторическая, информационная) стратегия книжного текста, соответствующая принципу логического развертывания, радикально отличается от стратегии разговорной речи, равно как в определенной степени и от стратегии некнижных текстов, в ряде случаев воспроизводящих синтаксические построения разговорной речи. То, как именно и за счет каких конструкций синтаксические стратегии дифференцируют регистры письменного языка, будет разбираться ниже (см. § V-1). Сейчас же нам существенно указать, что ситуационный синтаксис, идущий в конечном счете из диалогической устной речи, никак не является производным от синтаксиса логического развертывания. Скорее напротив: вторичность или искусственность могут быть приписаны логическому синтаксису. Этот синтаксис представляет собой своего рода культурное наследие. У славян, как уже говорилось (Введение-II), он появляется из кирилло-мефодиевской письменной традиции, основанной на переводах с греческого. В процессе перевода воспроизводился (с теми или иными отклонениями) синтаксис греческих оригиналов, синтаксис логического развертывания, сформировавшийся в рамках античной риторической традиции. Из кирилло-мефодиевского источника эту традицию усваивает и восточнославянская книжная письменность.

Неверно было бы думать, однако, что эта традиция, освоенная как культурное наследие, существует как искусственный феномен, внешний для восточнославянской языковой деятельности и поддерживаемый лишь благодаря специальному обучению и нормированию. Именно в отношении этой стратегии действует механизм подражания (ориентации на образцы). Как уже говорилось, стратегиям книжного изложения никто и никогда восточнославянских книжников не учил; ни наставников, ни письменных руководств у них не было, так что соответствующие навыки, принципиально отличные от «естественных» навыков разговорной речи, они приобретали путем простого подражания, подражания тому книжному языковому узусу, который был им известен из прочитанных и освоенных ими текстов.

Таким образом, способ изложения усваивался из прочитанных и выученных книжником текстов. Подражая им, книжник выучивался располагать предикативные единицы в «логической» последовательности, строить свои мысли в соответствии с книжными риторическими стратегиями. Не всем и не всегда это удавалось достаточно хорошо, и в большинстве дошедших до нас текстов, по крайней мере нарративных, те или иные коммуникативные неудачи имели место; эти «сбои» будут разбираться далее. Тем самым, книжник обычно умел ставить слова на нужные места, но он сталкивался и с еще одной трудностью – он должен был поставить слова в нужной форме. Если форма совпадала с той, которую он употреблял в разговорном языке, это было просто. Но когда в разговорном языке соответствия не было, средневековый автор мог испытывать определенные затруднения. Он

ведь, как мы знаем, не изучал грамматики, не знал и не заучивал парадигм, как это делал, скажем, французский книжник в латинской школе. Вот здесь ему на помощь и приходил механизм пересчета.

**3. 1. Механизм признаков книжности.** Механизм признаков книжности (механизм пересчета) основан на том, что отдельные элементы книжного текста понимаются посредством соотнесения их с элементами живого языка. Естественнее думать, что для понимания книжного текста обучающемуся нет необходимости устанавливать сплошные соответствия между элементами, отсутствующими в его разговорном узусе, и более или менее синонимичными им элементами, взятыми из этого узуса, – тем более что для множества элементов (например, абстрактной лексики) такого рода соответствия и не могут быть установлены. Соотнесение нужно лишь для многократно повторяющихся элементов, которые образуют структурную основу высказывания. Устанавливаемые соответствия могут не быть однозначными – в тех случаях, когда набор категорий живого языка отличается от набора категорий книжного языка (ср. хотя бы набор прошедших времен в книжном и не книжном языке XV–XVII вв.). В этих случаях возможно наложение грамматической семантики живого языка на формальные оппозиции, присутствующие в книжном тексте. Иллюстрацией такого рода механизма понимания текста отчасти может служить чтение церковнославянских текстов современными старообрядцами; в ходе этого чтения текст не переводится слово за словом с книжного языка на не книжный, а комментируется. При этом комментировании отдельные элементы книжного текста никогда не повторяются в комментарии, но с относительной последовательностью подменяются сходными по грамматическому значению элементами не книжного языка. Запись такого рода чтения была опубликована С. Е. Никитиной; в левой колонке приведен читаемый текст, в правой – комментарий. Приведу фрагмент:

Мучитель же рече ему: От кого научен ты еси?

И когда научен ты еси от отца или матери или от иных человек?

Младенец же рече ему: О безумный царю! Трех лет отроча вопрошаешь.

Аз бо научился от Святаго Духа.

Мучитель же рече: Како имя твое нарецется?

Младенец же рече ему: Первое имя христианин есмь, а во святом крещении Кирик нарекохся.

Мучитель же рече ему: От кою научихся сия словеси, яже ты глаголеши?...

Да кто, говорит, тебя так научил, такова маленьково....

Кто тебя научил все-таки, отец или мать-та или кто-нибудь другие люди?

Ой, говорит, ты безумный царь! Три лета ты, говорит, отроча спрашиваешь...

Я, говорит, учился от Святаго Духа, научил меня Святой Дух...

Как, говорит, тебя звать?

Перво имя, говорит, меня христианин было звать, а когда, говорит, покрестился, назвали Кириком, Кириком меня зовут.

Дак все-таки от кою ты научился, добывается вот так, от кою все-таки научился?...

Тогда царь-мучитель начаша  
отрока мучити немилостиво...

Вот, стал муцить это робенка,  
ага, трехлетнево.

(Никитина 1993, 168).

Показательно, например, что в комментарии отсутствуют простые претериты, заменяемые либо *л*-формой, либо презенсом в значении *praesens historicum* (*рече* > *говорит*, *начаша* > *стал*), пассивные обороты с выраженным субъектом преобразуются в активные обороты (*от кого научен ты еси* > *кто тебя научил*; *научился от Святаго Духа* > *научил меня Святый Дух*). В пересказе появляются элементы разговорного синтаксиса (*Три лета ты, говорит, отроця росспрашиваешь*). Можно предполагать, что в таком соотношении отражаются устоявшиеся отношения между книжным и некнижным языком. В частности, видимо, после того как простые претериты исчезают в живом языке, они начинают ставиться в соответствие *л*-форме как единственному претериту живого языка и при этом, возможно, происходит наложение семантики видов (или способов глагольного действия) на семантику книжных глагольных форм (см. ниже).

При активном владении, т. е. при порождении текста, этот механизм будет обуславливать обратную замену некнижных форм на книжные, например, *л*-форм на формы простых претеритов. Понятно, что этот механизм будет работать прежде всего там и тогда, когда автору нужно сказать что-то новое, т. е. такое, что он еще не читал (в том или ином виде) много раз и, следовательно, не может воспроизвести в готовом виде вместе со всеми заученными формами. И в этом случае, конечно, механизм пересчета будет касаться лишь отдельных элементов, тех, с которыми возникают трудности и которые вместе с тем поддаются пересчету, т. е. находят себе формальное соответствие в некнижном языке. Такое соответствие может быть установлено между претеритными формами книжного и некнижного языка, между книжными причастиями в функции присоединенного предиката и некнижными деепричастиями и т. д.

Оговорюсь сразу же: порождение книжного текста не может быть представлено как формальная трансформация некоего исходного «разговорного» текста. Порождение книжного текста опирается, как уже говорилось, на навыки книжного изложения, не находящие соответствия в разговорном языке и непосредственно восходящие, следовательно, к опыту книжного чтения; это относится прежде всего к синтаксическому построению текста, находящемуся в зависимости от риторической стратегии пишущего. Механизм пересчета выступает, тем самым, лишь как один из компонентов генерирующего книжные тексты устройства. Приведу схематический пример, иллюстрирующий соотношение различных компонентов этого устройства. Представим себе начало некнижного нарратива типа следующего:

(1) Старикъ тамъ, въ домѣ былъ, крѣпкий еще, пѣчку соорѣжалъ,  
мнѣ сказать...

Такая цепочка присоединенных одна к другой без всякой формальной связи предикативных единиц, лишенная вставных предикаций, вполне обычна в устном повествовании (Холлидей 1987, 73–74), но не годится для



книжной письменности. Здесь ей может быть поставлено в соответствие книжное высказывание типа:

(2) **Старець крѣпокъ еще бѣ въ домѣ томъ, иже сооружаа пѣць глагола ми...**

Невозможность предикатов-приложений (**въ домѣ былъ, пѣчку сооружаа**) и необходимость логически определить их как основной предикат (матричное предложение) и атрибутивный предикат (придаточное определительное) вытекает из выбора книжного регистра в случае (2) и не устанавливает формальной корреляции между (1) и (2). При этом, однако, выбор книжного регистра требует от пишущего употребления причастия (как вставной предикации); создавая форму причастия, автор будет исходить из своего деепричастия (**сооружаючи**), и именно здесь начинает работать механизм пересчета; равным образом, **бѣ** в (2) будет соотноситься с **былъ** в (1) и «пересчитываться» из последнего. Именно сбой в данном механизме, когда при пересчете не учитываются дополнительные грамматические характеристики книжных форм, приводят к появлению «аграмматичных» (морфологически неправильных) образований в гибридном регистре книжного языка (см. ниже, § III-4), ср. в цитированном выше Житии Кирика форму *научихся* в значении 2 л. ед. числа или форму *начаша* в значении 3 л. ед. числа; такое же происхождение можно приписать несогласованным по роду и числу кратким причастиям (как книжным эквивалентам неизменяемых по роду и числу деепричастий).

**3. 2. Механизм ориентации на тексты.** Механизм ориентации на тексты имеет, несомненно, еще большее значение, чем механизм пересчета. Он обуславливает воспроизведение готовых фрагментов текста, форм и конструкций, известных пишущему из того корпуса книжных текстов, который он освоил (в идеальном случае, помнит наизусть). Сам по себе механизм воспроизведения, находящийся во взаимодополнительном отношении с механизмом порождения, свойствен, как уже говорилось в теоретическом введении (Введение-I), всякой речевой деятельности; существование этого механизма выражается в функционировании трафаретов (*templates*), характеризующих разные языковые уровни. Нужно думать, что, когда носителем выучен наизусть большой корпус текстов (такой, например, как Псалтырь), это многократно увеличивает пропорцию воспроизводимых в готовом виде элементов и существенно сказывается на культурном и языковом сознании носителя; оно отличается от того, которое присуще нам в силу нашей принадлежности культуре Нового времени (последовательно сокращающегося объем выучиваемых наизусть текстов), и непосредственно влияет на характер его (носителя) языковой деятельности. У носителя появляются готовые блоки описания ситуаций, действий и переживаний, которые автоматически воспроизводятся, когда он следует установке на книжное изложение и вместе с тем пишет о том, что в том или ином виде уже трактовалось в выученных им текстах. В этом случае в наиболее эксплицитном виде реализуется власть образовательных институций, формирующих стоящий над индивидом дискурс, который служит ему потом всю жизнь. Индивидуальное сознание поглощается в этом процессе доминирующей

ментальной традицией, и одновременно престижный дискурс делается приобретенным индивидом символическим капиталом.

Данный процесс может восприниматься как религиозно (культурно) значимый, превращающий обучение грамоте в полноценную индоктринацию. Этот формирующий сознание характер обучения книжному языку, связанный с заучиванием наизусть корпуса религиозных текстов, мог, видимо, быть достаточно ясным для современников – во всяком случае в тот период, когда начали возникать альтернативы данной системе обучения. Так, в проекте устройства училищ, предложенном в Екатерининской Комиссии по составлению уложения в конце 1760-х годов, предполагалось изменить систему начального образования и учить грамоте «то по церковным книгам, то по гражданским законам». Это предполагало изучение гражданской азбуки наряду с изучением церковной. В течение всего XVIII в. (по крайней мере, вплоть до организации народных училищ в 1780-х годах) в основном учились церковной азбуке, тогда как обучение гражданской было дополнительным и распространялось лишь на небольшие социальные группы. Не учившиеся гражданской азбуке, как правило, видимо, не умели читать напечатанные гражданским шрифтом тексты, и это существенно ограничивало сферу внедрения государственного дискурса (см.: Маркер 1994)<sup>81</sup>.

Упомянутый проект (не осуществившийся) был попыткой изменить это положение. Обосновывая целесообразность обучения «по гражданским законам», авторы проекта напоминали, что из заучивания наизусть Псалтыри «происходит, что мы в обыкновенных разговорах иное одобряем, иное хулим целыми стихами из псаломника; откуда же произойдет, что мы при всяком деянии тотчас следствия онаго видеть будем» (Сухомлинов, I, 78). Таким образом, индоктринацию религиозную предполагалось соединить с индоктринацией правовой: прошедший обучение должен был бы, по мысли авторов проекта, так же автоматически вспоминать карающие преступления законы, как он вспоминает при оценке жизненных ситуаций формули-

---

<sup>81</sup> Умение читать гражданский шрифт было связано со средним, а не с элементарным образованием или с переходом от элементарного образования к среднему (Маркер 1994, 14) и оказывалось поэтому доступным лишь для социальной элиты. В последней трети XVIII в. делались попытки переориентировать начальное обучение грамоте на гражданскую азбуку. Так, в генеральном плане Воспитательного дома (1763 и 1767 гг.) И. И. Бецкий предлагает начинать с изучения печатных букварей «на употребительном ныне языке», «которым пользуемся от природы» (Житецкий 1903, 44). Равным образом, в «Руководстве учителям первого и второго класса» Янковича де Мириево, изданном в 1783 г. при подготовке заведения народных училищ, говорится: «В российских книгах употребительны две печати, а именно церковная и гражданская. Знание как той, так и другой, равно всякому необходимо, а потому обучать должно обоим вместе. Но как в учении начинать должно всегда с самого легкого, а печать гражданская имеет то преимущество, что она, как в чтении и складах легче, так и в азбуке проще и короче, то и должно начинать всегда с печати гражданской» (Толстой 1886, 54; ср.: Житецкий 1903, 45). Ощутимые результаты эти попытки приносят, видимо, лишь к началу XIX в., хотя в низших социальных слоях (в особенности у крестьянства) традиционная церковнославянская грамотность продолжала существовать в сочетании с неумением читать гражданские книги (Кравецкий и Плетнева 2001, 25–41).

ровки Псалтыри. Государственные законы делались таким же спутником жизни и гидом культурного сознания, как тексты Св. Писания. Секуляризованная власть рядом с религиозным дискурсом пыталась создать – используя известные ей и вполне, как видим, осознанные ею механизмы – дискурс государственный. Связь заученных наизусть текстов с характером культурной памяти и навязываемыми этой памятью моделями поведения выступает здесь с полной очевидностью<sup>82</sup>.

При таком обучении память носителя может, видимо, генерировать не только фрагменты текста, описывающие какую-либо ситуацию, но и более мелкие текстовые элементы – вплоть до отдельных форм и конструкций. Выученные наизусть тексты создают запас трафаретов, которые могут воспроизводиться, когда эти трафареты оказываются как-либо активированными (в обычном случае – мотивикой создаваемого текста). О возможностях такой активации свидетельствует, например, грамматический трактат XVI или начала XVII в. «Надписание буквам» (РГБ, ф. 299, № 336, 1622 г., см. публикацию: Кузьмина 2002; ср. еще: Живов 1986а, 85–88). Этот трактат (расширенный вариант сочинения «Книга глаголемая буквы», опубликованного И. В. Ягичем: Ягич 1896, 442–456) представляет собой своего рода справочник трудностей книжного языка, в котором вызывающие трудности формы даются в алфавитном порядке. В ряде случаев трудным для воспроизведения формам непосредственно приписано грамматическое значение, например, для глагола **сотворити** дается парадигма по числам: «**Числа. сотвори (є). сотвори́та (дв). те (мн). сотворил, сотвори́ста, ша. сотвори́хъ, сотвори́ховѣ, хом. сотворю, сотвори́вѣ, твори́м**» (л. 48об. – Кузьмина 2002, 97).

Однако в других случаях (более частых) грамматическая дефиниция отсутствует и значение формы определяется отсылкой к стандартным текстам, в которых эти формы встречаются. Искомое значение экземплифицируется, причем примеры даются из таких текстов, которые грамотный книжник мог знать наизусть. Так, например, среди примеров на букву **оу** приводятся **оубѣжитѣ, оумѣдритѣся** (л. 52 об.; Кузьмина 2002, 103) – двой-

<sup>82</sup> Любопытную аналогию находим в истории бирманской культуры. Англичане в XIX в. вводили там модернизированную систему образования, которая постепенно вытесняла традиционное буддистское образование, предполагавшее заучивание наизусть текстов буддистского канона. У приверженцев традиционной культуры это вытеснение могло вызывать протест, основанный именно на том, что выученные наизусть тексты оказывались нравственным руководством, служившим ученику всю его жизнь. У Каунг пишет, что Запад воспринимал традиционное образование как такое, «which did not develop the faculties of the mind, and which relied too much on the memory. But such arguments spring from an untrue separation of the mind from the rest of the body. Moreover, it has not been proved that a literary education does not develop the mind... Even if the curriculum and the methods of the Monastery School prevented the proper development of «the mind» of the pupils, the development of their character as a result of the Monastic education was a clear gain. But the true value of Monastic education cannot be assessed unless we realize fully the simple nature of the Old civilization in which it thrived. In this agricultural civilization the function of education proper was the training of character according to the religious ideals of the community» (У Каунг 1963, 32).

ные ударения указывают на смешивающиеся формы императива и презенса (2 мн.). На полях написано «Ма-ѡ, чѣс» и «Плом, чѣг». Действительно, обратившись к этим текстам, находим: «Какѡ оубѣжитѣ ѿ сѣда огна геенскаго» (Мф. 23: 33) и «Разумѣйте же безумїи въ людехъ; и бѣи нѣкогда оумдрїтєся» (Пс. 93: 8). Очевидно, что этих примеров достаточно, чтобы уяснить разницу в ударении форм императива и презенса или – с другой стороны – характер употребления разноударяемых форм в книжных текстах.

Можно предположить, что и в тех случаях, когда не дается ни грамматических указаний, ни отсылок к текстам, а лишь приводятся контрастирующие формы (таких случаев в данном трактате достаточно много), средневековый читатель, в отличие от нас счастливо снабженный знанием текстов, легко подыскивал нужные примеры и определял значение через заданный ими контекст. Подбор контрастирующих пар сам по себе выполнял необходимую исходную задачу – парадигматическое объединение форм; на употребление указывали тексты. «Надписание буквам» ясно показывает, насколько радикально может отличаться лингвистическое мышление, рассчитанное на выученный наизусть корпус текстов (он выступает как общепонятный источник неограниченного количества *exempla*, которые демонстрируют употребление соответствующих форм), от лингвистического мышления, для которого примеры не исходный общеизвестный материал, а лишь более или менее удачно подобранные иллюстрации правил. Весь этот справочник, таким образом, рассчитан на активацию форм из выученного наизусть корпуса текстов. Использование этого механизма для грамматической нормализации представляет собой, нужно думать, новое явление, связанное с развитием грамматического подхода (см. ниже, § VIII-5), однако само существование такого механизма предполагается здесь само собой разумеющимся. Его формирование естественно связывать с развитием обучения грамоте в той традиционной форме, которая требовала заучивания текстов наизусть.

**3. 3. Реализация механизмов владения книжным языком в оригинальных текстах.** Два описанных механизма – механизм пересчета и механизм ориентации на тексты – сосуществуют и действуют одновременно при создании новых текстов. Механизм пересчета может рассматриваться даже как своего рода частный случай более общего механизма ориентации на тексты. В конце концов, целью его применения является воссоздание того лингвистического облика, который присущ образцовым (выученным наизусть) текстам. Особенность в том, что это воссоздание осуществляется не за счет прямого воспроизведения элементов заученных текстов, а за счет переделки форм и конструкций живого языка. Естественно, в нашей перспективе созданные таким способом тексты не слишком похожи на свои образцы, но средневековые книжники могли существенно иначе, чем мы, оценивать желательный уровень сходства. Понятно, что механизм пересчета будет работать в тех случаях, когда по каким-либо причинам выученные образцы не активируются. Наиболее простой причиной для этого может служить такая ситуация, когда автор не находит в образцах готового лингвистического материала для того сообщения, которое он хочет породить, –

например, в силу нестандартности коммуникативной ситуации или в силу содержания сообщения, выходящего за рамки тех смысловых блоков, которые представлены в образцах и могут быть описаны с их помощью. Примером такого распределения в действии механизма пересчета и механизма ориентации на тексты может служить Поучение Владимира Мономаха.

Основная часть Поучения представляет собой мозаику цитат, воспроизведенных словосочетаний и предложений. Целые абзацы этого сочинения расчленяются на взятые из разных известных Мономаху памятников фрагменты. Приведу в качестве примера небольшой отрывок, указывая источники заимствования:

«ѡ Вл<sup>а</sup>цѣ Бѣе. ѡими ѡ оубогаго ср<sup>д</sup>ца моѣго. гордость. и буесть. да не възношюся суж<sup>д</sup>тоу мира сего.» [Молитва Богородице] «в пустошнѣмъ семь жити. наоучиса вѣрнѣи чл<sup>в</sup>че быти. бл<sup>г</sup>оч<sup>т</sup>но [вместо: бл<sup>г</sup>оч<sup>т</sup>ию] дѣлатель. наоучиса по евангльскому словеси. ш<sup>ч</sup>има оуправленье. яз<sup>ы</sup>ку оудержанье. оуму смѣренье. тѣлу поработенье. гнѣву погубленье. помысль ч<sup>т</sup>ь имѣти. понужаюся на добраа дѣла Г<sup>д</sup>а ради. лишаюся не мсти. ненавижимъ. любо [вместо: любю] гонимъ терпи. хулимъ моли. оумертви грѣхъ» [из Поучения Василия Великого]. «Избавите ш<sup>б</sup>идима. судите сиротѣ. ш<sup>п</sup>равдаите вдовицю. придѣте да сождемъся [вместо: стажимъся] гл<sup>т</sup>ь Г<sup>д</sup>. аще буду<sup>т</sup> грѣси ваши. яко ш<sup>б</sup>рошени. яко снѣгъ ш<sup>б</sup>ѣлю я». и прочее [Ис. 1: 17–18]. «Воси<sup>я</sup>еть весна постная. и цвѣтъ пока<sup>я</sup>ныа. ш<sup>ч</sup>истимъ себе братья. ѡ всакоа крови [вместо: скверны]. плотьскыа и дш<sup>в</sup>ныа. свѣтодавцю вопыюще. рцѣмъ слава тобѣ чл<sup>в</sup>колюбче» [Постная триодъ, в среду сырную самогласен]. Поистинѣ дѣти моа разумѣите. како ти юсть чл<sup>в</sup>колюбчеъ «Бѣ. милостивъ и премл<sup>ч</sup>твѣ» [оба эпитета из Псалтыри, ср.: Пс. 85: 15; 102: 8]. (ПСРЛ, I, стб. 243 [л. 79]; указание цитат согласно: Орлов 1946, 132–134).

Можно видеть, что границы цитат могут проходить даже внутри одного предложения; автор стремится, следовательно, использовать готовый текст как можно в большем числе случаев, сводя новые элементы к небольшим связующим вставкам.

В конце Поучения, однако, речь заходит об охотничьих подвигах Мономаха (о многослойной структуре Поучения и о характере его текстового единства см.: Гиппиус 2003; Гиппиус 2004а; Гиппиус 2006а). Здесь, понятно, образцовые тексты не давали материала для изложения, поскольку ни в Евангелии, ни в Псалтыри ничего об охоте не рассказывалось. Мономах оставался без трафаретов, или во всяком случае его трафареты оставались неактивированными. Соответственно, в этой части Мономах пользуется механизмом пересчета, что сказывается, например, на характере употребления форм прошедших времен. Обратимся к анализу этого отрывка:

А се тружахъса. ловы дѣа. понеже сѣдо<sup>х</sup> в Черниговѣ. а ш<sup>ч</sup>ернигова выше<sup>а</sup> и д[о. сег]о лѣта по сту оуганива[лѣ] и имѣ даро<sup>м</sup>. всею силою кромѣ иного лова. кромѣ Турова. иже [вместо: идеже] со ш<sup>ч</sup>ѣмъ ловилъ юсмъ всакъ звѣрь. а се в Черниговѣ дѣалъ юсмъ. конь дики<sup>а</sup> своима рукама свазалъ юсмъ. въ пуша<sup>х</sup> .і. и .к. живы<sup>х</sup> конь. а

кромѣ того иже [вместо: же] по Ров[н]и ѣзда ималѣ ѥсмѣ своима рукама тѣ же кони дикиѣ. тура ма .ѣ. метала на розѣ<sup>х</sup> и с конемѣ. шлень ма шдинѣ боль. а .ѣ. лоси шдинѣ ногами топталѣ. а другиѣ рогома боль. вепрь ми на бедрѣ мечѣ ѿталѣ. медвѣдь ми у колѣна подѣклада оукусилѣ. лютиѣ звѣрь скочилѣ ко мнѣ на бедры. и конь со мноу поверже. и Бѣ неврежена ма съблюде. и с кона много пада<sup>х</sup>. голову си розби<sup>х</sup> дважды. и руцѣ и нозѣ свои вереди<sup>х</sup>. въ оуности своѣи вереди<sup>х</sup> не блюда живота своѣго. ни щада головы своѣя (ПСРЛ, I, стб. 251 [л. 82об.–83]; конъектуры согласно: Орлов 1946, 148).

Употребление прошедших времен в этом отрывке немотивированно, аорист и перфект чередуются без всякого определенного семантического задания. Даже если считать, что перфект (л-форма) употребляется здесь в суммирующем значении (Кленин 1993, 334), это явно не дает достаточной семантической дифференциации для всех употреблений. Очевидно, например, что глаголы *скочилѣ... и ... поверже...* выступают как однородные сказуемые и употреблены в одном значении. В одном и том же суммирующем значении выступают аорист и перфект во фразах: *тура ма .ѣ. метала и голову си розби<sup>х</sup> дважды*. Такое недифференцированное употребление естественно объясняется механизмом пересчета, когда замене подвергается лишь некоторое количество некнижных элементов, т. е. в текст вводится ограниченное количество признаков книжности. Действительно, даже и ограниченное количество книжных элементов достаточно для обозначения книжного характера текста. Этот характер обозначен, конечно, и книжным в своей основе синтаксисом, хотя связанность текста во многом обеспечивается за счет лексического повтора, что для книжного изложения не характерно (ср.: *в Черниговѣ, а и-Щернигова, а се в Черниговѣ; конь дики<sup>х</sup> .ї. и .к. живы<sup>х</sup> конь, тѣ же кони дикиѣ; вереди<sup>х</sup>, въ оуности своѣи вереди<sup>х</sup>*, см. ниже, § V-3).

В более поздних памятниках такого рода узус встречается постоянно, так что в данном отрывке можно видеть один из наиболее ранних примеров гибридного регистра, т. е. языка, в котором книжный характер текста определяется отдельными его элементами, тогда как в остальном допускается вариативность элементов разного характера (и происхождения). Таким образом, различия в соотношении механизма ориентации на образцы и механизма пересчета позволяют объяснить генезис разных регистров книжного языка. Если употребляется лишь механизм ориентации на образцы, результатом будет стандартный церковнославянский текст, не отличающийся по своим существенным характеристикам от воспроизводимых (переписываемых) текстов Св. Писания и богослужения, т. е. основного корпуса книжных текстов. Такого рода язык находим, например, в Слове о законе и благодати митрополита Илариона, в русских дополнениях в служебных минеях или даже в проповедях Кирилла Туровского. Тексты этого рода создают свою традицию, в рамках которой появляются затем новые тексты, обладающие сходной функцией в системе книжной письменности.

Если доминирующее значение получает механизм пересчета, результатом оказывается гибридный церковнославянский текст (см. Живов 1988б,

54–63), также ориентированный на основной корпус книжных текстов, но отличающийся от него по ряду лингвистических характеристик. И этого рода тексты создают свою традицию, к которой позднее примыкают новые и новые тексты. Поскольку необходимость в интенсивном применении механизма пересчета возникает прежде всего в силу нестандартности содержания или коммуникативного задания (под нестандартностью имею в виду отклонение от эталона церковной литературы), возникновение этой традиции связано, видимо, с развитием летописания. Этот генезис, однако, не предопределяет диапазона употребления гибридного языка, поскольку тексты, созданные в рамках этой традиции, могут переосмысливаться как нарративные в общем смысле, что приводит, в частности, к экстраполяции принципов их порождения на агиографию, хождения и т. д. Выбор регистра определяется не «жанром», а установкой пишущего, поэтому жития, например, могут создаваться как в соответствии со стандартным регистром, так и в соответствии с гибридным (см. ниже, § III-8).

#### **4. Воспроизведение книжных текстов и характер их нормативности**

В перспективе описанных выше механизмов владения книжным языком по-новому встает вопрос о различиях (в традиционной терминологии) русского и церковнославянского, т. е. регистров книжного и регистров некнижного языка. Помимо синтаксического устройства, эти регистры отличается то, на чем сосредоточивается внимание носителей, т. е. то, с чем у них возникают трудности, обусловленные неоднозначным соотношением с разговорным языком. Этот ограниченный набор элементов, требующих специального внимания, и является признаками книжности, т. е. выступает в языковом сознании как примета книжного языка, тогда как другие формальные языковые элементы в этом плане нерелевантны. Они употребляются без труда (без внимания), когда текст воспроизводится (переписывается), и входят в навыки книжного изложения, когда создается текст оригинальный. Следовательно, для противопоставления языков (книжных и некнижных регистров) значимы функциональные различия, а не генетические оппозиции. Например, с согласованием действительных причастий возникают трудности: и при переписке, потому что писцу неясно, правильная ли употреблена форма, и при порождении нового текста, потому что автору неясно, какую форму надо употребить. Вместе с тем другие моменты для него незначимы, например, неполногласные или полногласные формы: они не требуют проверки (см. ниже, § II-5), а при порождении выбор формы зависит от многочисленных частных факторов, не имеющих отношения к оппозиции книжного и некнижного языка. Незначим для него в этом отношении и, например, порядок слов: поскольку имеется установка на книжное изложение, автоматически вступают в действие навыки логически организованной речи, и в данном случае нет нужды и нет возможности ни в проверке, ни в соотношении. Синтаксическая стратегия, раз усвоенная, выпадает из-под сознательного контроля, следовательно, воспринимается как

данность и ускользает из области рефлексии. Средневековые русские книжники, судя по тому, что синтаксис они никогда систематически не правили, относились к книжной организации речи как к чему-то самопроизвольному, подобно тому, как мы это делаем сейчас, оставляя семиотическую пустоту на месте разговорной речи и ее синтаксической организации.

Книжная деятельность основана на чтении, на усвоении уже созданных текстов. От того, как усваиваются тексты, зависят и навыки, реализующиеся при создании новых текстов. Поэтому принципиально важно понять, как восточнославянские книжники обращались с уже имевшимися текстами. Мы, понятно, не знаем, как их читали, но мы можем проследить, как их воспроизводили, понять, в частности, историко-культурные особенности подхода к ним. При этом надо иметь в виду, что основная часть книжной деятельности в древней Руси – это не создание оригинальных произведений, а воспроизведение основного корпуса (сакральных) текстов. Это существенно и для понимания историко-литературных процессов, а не только лингвистических. В силу религиозной важности основного корпуса текстов кардинальная задача для древнерусского книжника – их правильное воспроизведение. Ошибка может вести к ереси (ср. цитировавшиеся выше замечания у Константина Костенечского и в «Наказании учителем»). Рассматривая, какими способами этой правильности добиваются, мы можем понять, каков подход (лингвистический) к этим текстам, что в них стремятся сохранить, на какие элементы обращают особое внимание, и именно исходя из этого уяснить функциональные параметры оппозиции книжного и некнижного языка, уяснить, как строился тот нормативный образец, на который в той или иной степени ориентировалась вся книжная деятельность, и как изменялось его восприятие. Это восприятие непосредственно сказывается на стандартном книжном регистре, а опосредованно влияет и на регистр гибридного церковнославянского.

Понимание и восприятие церковнославянских воспроизводимых текстов, в частности, их формальных характеристик, зависит от языкового опыта носителя. В силу этого с изменением некнижного языка меняется и восприятие книжных текстов, хотя сами эти тексты могут не меняться или меняться лишь незначительно. Скажем, приводя стандартный пример, восприятие форм дв. числа в книжном языке меняется, когда дв. число в XIII в. исчезает из языка разговорного; эти формы начинают восприниматься как специфически книжные и это сказывается на их употреблении в оригинальных текстах (см. ниже, § VII-2). Подобные преобразования в рецепции книжных текстов также входят в историю письменного языка, поскольку они сказываются на всей книжной языковой деятельности. Если механизмы порождения книжных текстов вскрываются при анализе оригинальных сочинений, то механизмы переосмысления воспроизводимых текстов, функциональная оценка их элементов уясняются при обращении к воспроизводимым текстам, к тому, как их переписывали и переделывали. Здесь вновь нельзя обойтись без реконструкции процесса обучения.

Обучение по складам, которое мы разбирали выше, создавало умение читать и лишь опосредованно умение писать: буквы и принципы их соединения были известны, и этих знаний, вообще говоря, было достаточно для



письменной фиксации речи. Это умение писать, производное от умения читать, не было, однако, тем, которым пользовались переписчики книжных рукописей. Умение писать, производное от умения читать, реализовалось в бытовой (некнижной) системе письма, известной нам прежде всего из берестяных грамот и описанной в качестве особой системы А. А. Зализняком (см. ниже, § III-7). В этой системе, в частности, имело место последовательное смешение букв **ъ** и **о**, **ь** и **е**, **ѣ** и **е**, **ч** и **ц** (смешение в последних двух парах характеризует новгородскую бытовую письменность или – шире – письменность восточнославянского северо-запада). Неразличение этих букв можно рассматривать как естественное следствие чтения по складам. Действительно, при обучении чтению по складам склады **бъ** и **бо**, **въ** и **во** и т. д. произносились, видимо, одинаково как [bo], [vo] и т. д. (см. ниже, § VI-6.4); таким образом, буквы **ъ** и **о** выступали для обучающегося как омофоничные, соответствующие гласной как в сочетании [bo], так и в сочетании [bъ] его разговорного языка. Следствием этого восприятия на письме и было безразличное употребление соответствующих графем. Подчеркну, что к падению и прояснению редуцированных такое употребление отношения не имеет. Это ясно продемонстрировала находка 1999 года. На найденном деревянном цилиндре № 36 первой трети XI в. (т. е. до падения редуцированных) написано: **Мѣчницѣ лазоревѣ мѣхѣ** («Мешок мечника Лазоря»), **о** здесь явно стоит на месте **ъ**, как в **лазоревѣ**, так и в **мѣхѣ**, а последнее **ѣ** в **Мѣчницѣ** – на месте **ь** (Зализняк 2004а, 277). Аналогичным образом, в цокающем Новгороде одинаково произносились склады **ца** и **ча**, **це** и **че**, что закономерно приводило к неразличению на письме букв **ц** и **ч**. Так, во всяком случае, можно представлять себе возникновение бытовой системы письма; в дальнейшем она, естественно, формировала свою собственную письменную традицию.

В книжной письменности такое смешение отсутствовало; если оно и было представлено отдельными случаями, то они появлялись в ней как отступления от нормы, как ошибки. Отсюда следует, что книжные писцы должны были овладевать некоторым дополнительным умением. Хотя мы не располагаем конкретными описаниями того, как работали писцы, можно предположить, что они получали своего рода профессиональное образование в скрипториях. Некоторые рукописи, например, Мерило праведное XIV в., свидетельствуют, как кажется, о том, что среди изготавлявших их писцов одни были старшими, а другие их учениками, переписывавшими по несколько листов в качестве учебного задания. Разбирая палеографические и орфографические особенности Мерила праведного, А. А. Зализняк указывает, что в написании рукописи участвовали три старших писца-каллиграфа и не менее шести учеников, «работавших под наблюдением каллиграфов и обучаемых ими в самом процессе работы. Ученикам, особенно в начале их работы, доверяли лишь небольшие частицы текста; соответственно, на протяжении рукописи [349 листов] перемена почерка происходит множество раз, причем нередко внутри строки и даже внутри слова» (см.: Зализняк 1990, 6; ср. 151; ср. еще: Милов 1963). Таким образом, можно, видимо, говорить о двух уровнях обучения грамоте; оба они определяются как элементарное образование, различаясь тем, что одно является общим, а другое

профессиональным. Можно вспомнить, например, что в Послании Сильвестра своему сыну Анфиму, входящем в Домострой, Сильвестр говорит, что он обучал детей «многих грамотѣ и писати и пѣти иныхъ иконного писма, инѣхъ книжного рукодѣланя овѣхъ серебренова мастерства и иныхъ всякихъ многихъ рукодѣлен а иныхъ всякими многими торговли изүчихъ торговать» (Домострой 1994, 131). «Писати» явно появляется здесь как один из видов профессионального мастерства («рукоделия»).

Профессиональные навыки книжного писца состояли не только и не столько в каллиграфии, сколько в умении воспроизводить книжные тексты. Это умение отнюдь не сводилось к точному копированию оригинала, наоборот, оно предполагало критическое отношение к нему. В отличие от периода книгопечатания, когда отдельные издания считаются авторитетными, в период рукописного распространения книжности авторитетных рукописей может вообще не существовать. Даже если в данном социуме имеются представления об авторитетных рукописях (основанные, например, на их видимой древности или на том, что они были написаны в каком-то авторитетном книжном центре или приписываются какому-нибудь святому), таких рукописей в распоряжении писца может не быть, так что и в этом случае работа с сомнительными оригиналами оказывается обычным явлением. Писец может сознавать, что он сам делает ошибки или быть неуверенным в себе; такого рода сомнения могут естественно распространяться и на его предшественника, написавшего копируемый оригинал. В нем могут быть ошибки, и хороший писец в принципе должен уметь их обнаружить и исправить.

Именно такое сознание объясняет нередкие в древних восточнославянских рукописях приписки, в которых писец приносит покаяние за то, что он «писал, а не исправлял»<sup>83</sup>. В обычном случае, следовательно, писец исправляет свой оригинал. Это относится прежде всего к орфографии, поскольку именно орфографические ошибки являются наиболее частыми и вместе с тем поддающимися исправлению без критики текста (без сопоставления с греческим оригиналом, другими списками и т. д., что в большинстве случаев выходило за пределы профессиональных возможностей восточнославянского книжника). Ошибкой при этом считается всякое отступление от той орфографической нормы, которой следует писец (в частности, и в том случае, когда писец копируемого оригинала следовал другой норме, неизвестной его преемнику). Для того чтобы исправлять орфографические ошибки, писец должен пользоваться орфографическими правилами, которые позво-

<sup>83</sup> См. весьма красноречивую запись писца Тимофея на Лобковском прологе 1282 г.: «а ци кто хытрѣ попъ или дьякъ почнетъ цисти книг[ы] сиа аче кде оци и браѣ въ свои гроуѣсти воу криво написать не исправил[ъ] а сами исправаче цитге примете ѿ ба мьздоу бл҃гословите а не кланит[е]» (ГИМ, Хлуд. 187, л. 148об.; см. публикацию с несколькими погрешностями: Столярова 2000, 132). Ср. еще в записи писца Феофана на Галичском евангелии 1357 г.: «ѡже воудоу не їсправиѣ в коемъ мѣстѣ. исправа ба дѣа. читте. а не кленѣте» (Жуковская 1957, 41). О призыве к читателю исправить ошибки писца и не осуждать его как элементе формуляра писцовых записей см.: Столярова 1998, 83–84, 89, 100–101, 125–128.

ляют определить правильное правописание. Таким образом, профессиональное образование писца, отличающее его от человека, пользовавшегося бытовой системой письма, состояло прежде всего в усвоении орфографических правил.

Еще Н. Н. Дурново в этой связи писал: «Нередко в работах, посвященных анализу правописания старинных памятников языка, все написания памятника сводятся к двум источникам: написаниям оригинала и передаче живого произношения писца. Несомненно, такой подход ошибочен. Как правило, писцы вообще не стремятся к передаче своего *личного* произношения <...> Не менее ошибочно думать, что сколько-нибудь грамотные писцы стремились к точной передаче написаний своих непосредственных оригиналов» (Дурново 1933, 45; Дурново 2000, 644–645). Принципы работы средневековых восточнославянских писцов были иными. «[Б]ольшая часть русских писцов в своем правописании руководилась не столько написаниями своих непосредственных оригиналов и своим живым произношением, сколько усвоенной ими традиционной орфографией и особым книжным или церковным произношением» (Дурново, IV, 73; Дурново 2000, 392). Эти установки книжных писцов могут быть хорошо проиллюстрированы правописанием уже упоминавшегося Мерила праведного в Троицком списке XIV в. Как отмечает А. А. Зализняк:

[В]олею случая Мерило оказывается идеальным пробным камнем для старого спора о том, чем преимущественно определяется орфография древних писцов – копированием оригинала или собственной орфографической выучкой. Как показывает анализ, почерк каждого из писцов Мерила, в том числе и учеников, обладает высокой степенью графической и орфографической последовательности <...> При этом у разных писцов графико-орфографические системы несколько различны <...> Никаких общих графико-орфографических особенностей, которые объединяли бы, например, двух писцов, списавших вместе ту или иную статью, и отсутствовали бы у них при их работе над другими статьями, нам обнаружить не удалось. Все эти факты недвусмысленно свидетельствуют о том, что в своих графико-орфографических принципах писцы Мерила были независимы от оригинала (Зализняк 1990, 151–152).

Таким образом, переписываемые образцы не копировались буква в букву, а задавали норму орфографической правильности, те черты книжной правописной системы, которые должен был соблюдать писец, получивший соответствующую выучку. Именно для выполнения этих норм и нужны были орфографические правила. Поскольку такие правила были сформулированы, оригинал терял практически всякое значение (ср.: Живов 2006а, 147–148). Как уже говорилось, отношение к оригиналу было критическим. Следуя ему, писец мог лишь повторить те ошибки, которые совершил предшествовавший переписчик, и чем опытнее был писец, тем более он ощущал себя в праве исправлять списываемый текст. Постоянная правка правописания является лишь одним из частных аспектов более общего явления. Проблема недоверия к оригиналу хорошо известна и в текстологии, прежде всего в текстологии евангельских рукописей. История новозаветных тек-

стов является контролируемой – в том смысле, что имеет место постоянное стремление улучшить и стабилизировать текст, удалив из него ошибки предшествующих переписчиков; недоверие к оригиналам приводит здесь к частой сверке с другими рукописями, что исключает тот характер преемственности, который позволяет построить текстологическую стемму (см.: Колвелл 1969; о славянской рукописной традиции см.: Алексеев 1985; Алексеев 1999). Точно такое же недоверие наблюдается и в отношении к правописанию оригиналов; в этом случае, однако, можно было обойтись без сверки с другими рукописями (и поэтому чисто орфографические разночтения игнорируются при построении текстологической истории текста).

Итак, оригиналы задают лишь исходные представления о нормативном. Новгородские писцы, например, стремятся «правильно» употреблять буквы *ц* и *ч*, хотя ни в их разговорном, ни в их книжном произношении аффрикаты противопоставлены не были (см.: Живов 2006а, 137–138)<sup>84</sup>. Нормативность такого написания задавалась, понятно, образцом иных, нежели новгородская, традиций. Выполнение этой нормы, однако, обеспечивалось не побуквенным копированием рукописей, а применением системы правил, которые позволяли «вычислить» правильную форму. Анализ встречающихся в текстах ошибок позволяет реконструировать эту систему следующим образом:

(А) Если в разговорном языке слышится [k'], то в книжном языке пишется *ц*.

(В) Если в разговорном языке слышится аффриката, а предшествующая буква не *ь* или *и*, в книжном письме пишется *ч*.

(С) Если в разговорном языке слышится аффриката и предшествующей буквой является *ь* или *и*, то в книжном письме *ч* пишется (а) в формах Voc. Sg. существительных муж. рода, (б) перед суффиксами, начинающимися с *ь* или *и*, (в) в глагольных формах и отглагольных образованиях, (г) в притяжательных прилагательных; *ц* пишется в падежных формах существительных, кроме Voc. Sg. существительных муж. рода (Живов 1984, 267–268; Живов 2006а, 105–106).

---

<sup>84</sup> Предположение о том, что в книжном произношении аффрикаты различались, а в разговорном произношении эта оппозиция отсутствовала, кажется маловероятным, хотя неопровержимых доказательств его невозможности нет. Гипотеза о неразличении аффрикат в книжном произношении кажется более привлекательной, поскольку она согласуется с тем общим положением, что в книжном произношении «сохраняются те звуки и звуковые сочетания, которые имеются в данном местном живом говоре, и заменяются звуками, имеющимися в этом говоре, те звуки и звуковые сочетания, которые в нём отсутствуют» (Дурново 1933, 55/2000, 654). Поддержание различения аффрикат в книжном произношении должно было бы опираться на их орфографическое противопоставление в книжных текстах; книжные тексты с многочисленными случаями смешения аффрикат выглядели бы в данной ситуации подозрительными. В принципе книжное произношение должно отражать характер обучения чтению (по складам); различение складов с *ч* и *ц* плохо согласуется с тем фактом, что в берестяных грамотах (отражающих умение читать, а не профессиональное умение писать) эти буквы употребляются как варианты.

Это правило выводится из того, как распределяются ошибочные написания в новгородских рукописях. Так, например, в Стихираре XII в. ГИМ, Син. 279 написание **ч** на месте **ц** имеет место в следующих 17 случаях: **соупроужьничею**, **нищелюбьча**, **мъножицею**, **страстотърпьемъ**, **швъча**, **възбрача**, **чървьчъ**, **штьчемъ**, **моучениче**, **варграницею**, **творьча** Acc. Sg., **творьча** Gen. Sg., **страстотърпьча**, **страдальчемъ**, **въньченосьче**, **лича**, **штроковиче**. В 17 случаях имеет место замена **ч** на **ц**: **сващенницама** Adj. Poss. Instr. Du., **моученице** Voc. Sg. Masc., **въньцъница**, **първомоученице** Voc. Sg. Masc., **сващеномоученице** Voc. Sg. Masc., **оученице** Voc. Sg. Masc., **моученице** Voc. Sg. Masc., **въньцавъшаго**, **въньцакть**, **въньца** Aor. 3 Sg., **въньцакмъ**, **штьць** Adj. Poss. Nom. Sg. Masc., **штьцьмъ** Adj. Poss. Instr. Sg. Masc., **моученице** Voc. Sg. Masc., **съконьцавааше**, **штьцихъ** Adj. Poss. Loc. Pl., **чловѣколюбьце** Voc. Sg. Masc. Бросается в глаза, что во всех случаях замены **ц** на **ч** ошибки возникают на месте III палатализации. Во всех же 17 случаях замены **ч** на **ц** аффриката находится, так сказать, в условиях третьей палатализации, т. е. стоит после **ь** или **и**. Аффриката, являющаяся рефлексом II палатализации, ошибочной замене не подверглась ни разу (ни в корнях, ни в окончаниях). Ни разу не подверглась ошибочной замене и аффриката, являющаяся рефлексом I палатализации и находящаяся вне «условий III палатализации». Таким образом, писец без труда справляется с правильным написанием в случае рефлексов II палатализации и в случае рефлексов I палатализации вне «условий III палатализации», в то время как III палатализация (и ее условия) оказываются для него камнем преткновения. Аналогичные явления наблюдаются и в других рукописях: если в них и нет столь однозначного распределения ошибок, то во всяком случае имеет место значимая статистическая диспропорция между весьма ограниченным числом ошибок на месте II палатализации и на месте I палатализации вне «условий III палатализации» и внушительным числом ошибок на месте III палатализации и на месте I палатализации в «условиях III палатализации» (см. материал по ряду других новгородских рукописей конца XI – XII в., включая Синодальные минеи первой половины XII в. в: Живов 2006а, 109–126). Соответственно, при реконструкции правил, которыми руководствовался писец, они составляются таким образом, чтобы они наиболее простым способом обеспечивали правильное написание в случае II палатализации и в случае I палатализации вне «условий III палатализации» и отличались бы большей сложностью в случае III палатализации и на месте I палатализации в «условиях III палатализации»<sup>85</sup>.

<sup>85</sup> Позволю себе аналогию из современной русской орфографии. Допустим, что перед исследователем стоит задача описания фонетики современного русского языка, а материалом для этого исследования являются современные русские письменные тексты. Ориентируясь на одни только грамотные тексты, такой исследователь придет, видимо, к заключению, что русскому литературному произношению свойственно оканье (ср. Дурново 1933, 73/2000, 673). Тексты, написанные недостаточно грамотно, дадут принципиально иной результат, однако и в них случаи спорадического смешения *а* и *о* в безударных слогах не сообщают однозначного указания на аканье – сохранится возможность интерпретации этих смешений как результата морфологической аналогии, колебания фонемного состава отдельных лексем или случайных описок. Если, однако, наш исследователь обратится к статистике подобных ошибок и обнаружит принципиальную дис-

Именно данная система, а отнюдь не правописание оригинала обеспечивали соблюдение орфографических норм. Это ясно видно на примере правописания тех глаголов на *-ati* и образований от них, в которых имела место третья (Бодуэновская) палатализация. В ряде рукописей эти формы последовательно пишутся с *ч*, а не с *ц*. Так обстоит дело, например, во втором почерке новгородской октябрьской минеи ГИМ, Син. 160, равно как и в новгородской декабрьской минеи ГИМ, Син. 162. Здесь находим, например, *проричага* (Син. 160, л. 134об., 143об.), *проричати* (Син. л. 160, 150об.), *наричаю* (Син. 160, л. 137); *проричають* (Син. л. 162, 1об., 126), *проричага* (Син. л. 162, л. 3), *проричакомк* (Син. л. 162, л. 72об.), *проричання* (Син. л. 162, л. 150об., 217, 293об.), *наричають* (Син. л. 162, л. 5, 166), *наричають сѧ* (Син. л. 162, л. 170об.), *отъричати сѧ* (Син. л. 162, л. 204), *въскличаникъмъ* (Син. л. 162, л. 239) и т. д. С *ч*, а не *ц* пишутся здесь все появляющиеся в рукописи формы этого типа без единого исключения (6 случаев в Син. 160<sup>2</sup>, 16 случаев в Син. 162). Источник таких написаний очевиден: это аналогия с многочисленными образованиями от глаголов на *-ěti*, в которых прошла I палатализация, а /ѣ/ перешло в /а/ (*вѣличати*, *облѣчати*, *разѣличати*, *кричати*, *вѣнѣчати*, *конѣчати*, *мѣлчати*, *наоучати* и т. д.), и вместе с тем указание правила о написании *ч* в глагольных формах. Понятно, что у писцов не было возможности различить глаголы на *-ati* и на *-ěti* и, исходя из этого, получить правильное написание. У них, однако, оставалась возможность руководствоваться написаниями оригинала, с которого они списывали. Судя по времени написания рассматриваемых миней (первая половина XII в.), следует думать, что число промежуточных копий между южнорусским или инославянским оригиналом (появившимся, видимо, лишь в последней четверти XI в. – см.: Момина 1992, 207–210; Пентковский 2001, 158–159) и новгородскими списками могло быть лишь очень ограничено (если они вообще были). Полная последовательность написания *ч* в рассматриваемых формах показывает, следовательно, что для грамотного писца орфографические правила выступают как несравненно более авторитетное руководство при выборе написания, чем орфография оригинала, в которой в указанных глаголах на *-ati* несомненно писалось *ц*. В рассматриваемом случае писцы полностью полагаются на правила и полностью пренебрегают указаниями оригинала. Надо думать, что выводы относительно новгородских рукописей могут быть экстраполированы и на всю восточнославянскую рукописную традицию вплоть до конца XIV в. (до второго южнославянского влияния, см. § VIII-2).

---

пропорцию ошибок в проверяемых и непроверяемых безударных слогах, он получит возможность реконструировать правило проверки безударных гласных. Факт наличия такого правила, т. е. существования искусственного приема, позволяющего установить, *а* или *о* следует писать в безударном слоге, и укажет однозначно, что автор данного текста не мог в своем правописании основываться на простом пересчете фонетических единиц в графические, т. е. что в его произношении в безударном слоге /а/ и /о/ не противопоставлялись, а диспропорция ошибок позволит реконструировать те правила, которыми руководствуется грамотный носитель языка.

Именно правила определяют для восточнославянского писца формальные различия книжной и некнижной речи, во всяком случае постольку, поскольку эти различия отражаются в правописании. Для новгородского писца неразличение **ц** и **ч** является признаком некнижного письма, а их различение – показателем книжной грамотности. Это различие опирается тем самым на функциональные, а не на генетические соотношения элементов. Поясню этот момент на простом примере.

Мы принимаем как данное известное соответствие: *\*tj* – старослав. **шт** (**ц**) – восточнослав. **щ**. Отсюда делается заключение, что на месте *\*tj* церковнослав. **щ** соответствует русское (некнижное) **ч**. Однако для восточнославянского писца не было никакого «на месте *\*tj*». Для него было разговорное /**щ**/ (или в ряде говоров /**с**/), которое в одних случаях соотносилось с книжным **ц**, а в других – с книжным **ч**. Для того чтобы перейти от своего /**щ**/ к книжному **ц**, он должен был применить ряд правил, которые нам и следует реконструировать. «Ошибки» (выходящие за рамки нормы русизмы) нужно выделять, обращаясь именно к этим правилам, а не к сравнительно-историческому соответствию.

Различные результаты этих подходов могут быть проиллюстрированы следующим примером. Н. Н. Дурново в своем обзоре русских рукописей XI–XII вв. особо отмечает «те несомненные русизмы, которые не вошли ни в одну из русских орфографических систем XI и XII в. и встречаются в рукописях лишь как отступления от системы» (Дурново, IV, 76; Дурново 2000, 396). Говоря о первом почерке Изборника 1073 г., он указывает: «**ч** вместо *шт* довольно часто, но только в основе *чоужд-* или *чоуж-*» (там же, 78). Было ли, однако, написание *чоужд-* или *чоуж-* отступлением от нормы? С точки зрения историко-фонетического соответствия ответ ясен: это **ч** на месте *\*tj*, т. е. (генетически) русизм, обнаруживающий восточнославянское происхождение писца. При взгляде с другой стороны стрелки, когда мы реконструируем не генетические соответствия, а восприятие тех или иных вариантов писцом, перспектива меняется. Для начала слова писец мог руководствоваться очень простым и удобным правилом: пиши **ч** там, где в разговорном языке слышится [щ], пиши **ц** там, где в разговорном языке слышится [щ̣] (или [щ̌]), или другая фонетическая реализация в зависимости от диалекта). Это правило давало осечку только в одном случае, в единственном корне с начальным *\*tj* – *чоужд-/чоуж-*. Здесь и только здесь эффект действия правила расходился с историко-фонетическим соответствием. Но орфографическая система определялась правилами, и – вопреки мнению Дурново – написание *чоужд-/чоуж-* на законном основании входит в норму русского извода. Понятно, что в ранних памятниках такие написания встречаются наряду с *штоужд*<sup>86</sup>. В XII в. появляются уже и рукописи, в которых *чоуж-* (или *чюж-*) выдержано последовательно. С генетической точки зрения *чоужд-/чоуж-* может быть охарактеризован как русизм, с функциональ-

<sup>86</sup> Показательно, что в Успенском сборнике (XII в.) **чюж-** представлено во всех частях сборника, тогда как **цюж-/цюжд-** только в частях, восходящих к южнославянским протограммам, **цюж-/цюжд-** явно выступают здесь как примета уходящей рукописной традиции, а **чюж-** – как черта формирующейся нормы.

ной точки зрения – это обычный элемент восточнославянского книжного языка, никакого отношения к противопоставлению книжного языка и не-книжного не имеющий.

Тем самым, можно видеть, что в соотношении книжного и некнижного языка (регистров) генетические оппозиции играют лишь подсобную роль. Они образуют тот материал, который затем подвергается переосмыслению и в переосмысленном виде образует оппозиции функциональные. Этот процесс имеет свои исторические параметры, показывающие, что общее развитие было здесь вполне естественным и закономерным.

## **5. Функциональное переосмысление генетически разнородных элементов**

Как уже говорилось, различные изводы церковнославянского развиваются на основе общего кирилло-мефодиевского наследия. При желании они могут рассматриваться как единый «литературный» язык православного славянства, существующий в нескольких постоянно взаимодействующих вариантах – порою влияющих друг на друга, порою друг от друга отталкивающихся (Толстой 1961; Толстой 1988, 34–52). Старославянский язык был создан свв. Кириллом и Мефодием на основе солунского диалекта и из Солуни начинает свое шествие по славянским землям – первоначально в Моравию и Паннонию, затем в Болгарию и Македонию, Сербию и Хорватию и, с разных сторон, в Киевскую Русь. При каждом новом передвижении он переживает новую адаптацию, принимая в свою систему ряд элементов местного наречия и образуя – в терминологии Н. Н. Дурново (Дурново 1933, 82; Дурново 2000, 681–682) – новые «литературные диалекты» старославянского языка или – в более принятой терминологии – отдельные изводы церковнославянского (ср.: Живов 1987, 54). Ни в каком случае этот общеславянский книжный язык не становится при этом тождествен местным славянским диалектам (в том числе и древнеболгарским). Напротив, всякий раз возникает противопоставление книжного языка (т. е. данного извода церковнославянского) и местного диалекта.

Подобное развитие имеет место и в древней Руси. На протяжении XI в. Русь становится основным центром славянской письменности, впитывающим в себя книжные традиции всех прочих славянских земель. Здесь становятся разные изводы церковнославянского языка, и это разнообразие выступает как дополнительный стимул для выработки своей особой нормы, преодолевающей противоречивость норм, представленных в распространившихся на Руси рукописях (см. выше, § I-1). Можно полагать, что разные изводы церковнославянского воспринимались восточнославянскими книжниками как варианты единого книжного языка, и при этом вариативность его норм подвергалась переосмыслению: создание восточнославянской нормы выступает одновременно и как процесс адаптации церковнославянского на восточнославянской диалектной основе, и как обобщение и приспособление имевшихся вариантов к задачам создания новой книжной нормы. В этом процессе генетические характеристики (отмечающие при-



надлежность к тому или иному славянскому диалекту) подвергались кардинальному переосмыслению, преобразуясь в характеристики функциональные (нормативного или ненормативного, признака книжности текста, допустимого варианта и т. д.).

Судьба различных элементов, генетически противопоставленных как инославянские – восточнославянские, могла быть при этом различной (говоря о генетически противопоставленных элементах, я отнюдь не решаю вопроса о том, в какое время распалось общеславянское диалектное единство [см. выше, Введение-VIII]: как генетически противопоставленные могут описываться не только элементы разных языков, но и элементы разных диалектов одного языка). В одних случаях имела место адаптация, т. е. усвоение восточнославянского элемента (элемента одного из восточнославянских диалектов) нормой восточнославянского извода церковнославянского с одновременным вытеснением соответствующего ему элемента инославянского происхождения. В других случаях результатом было становление признака книжности, инославянский элемент сохранялся нормой восточнославянского извода и переосмыслился как специфический признак книжного характера текста. В третьих случаях, наконец, оппозиция инославянского и восточнославянского оказывалась источником вариативности: регистровая оппозиция нейтрализовалась, и оба элемента, образовавшие ее, становились в восточнославянском церковнославянском допустимыми вариантами.

Адаптация имеет место прежде всего на уровне орфографии (resp. орфоэпии) и словоизменения. Именно орфографические и морфологические нормы наиболее четким образом противопоставляют различные локальные изводы церковнославянского, тогда как в области лексики и синтаксиса сами границы нормативного являются куда более размытыми, а противопоставление не поддается формализации с той же естественностью, какая наблюдается на орфографическом и морфологическом уровнях. В синтаксисе и лексике, как уже говорилось, действуют навыки книжного изложения, в значительной степени общие для всех изводов и вместе с тем не относящиеся к разговорному узусом. Данным обстоятельством обусловлен, в частности, и тот факт, что в памятниках одного извода (начиная с самых ранних) достаточно свободно сохраняется лексика, восходящая к другому изводу, например, моравизмы в памятниках болгарского происхождения, специфические преславские инновации в памятниках восточнославянского происхождения и т. д. (ср.: Пичхадзе 2002). Не подвергается систематическим исправлениям и синтаксис. То, что адаптация имела дело в основном с орфографическими и морфологическими признаками, было обусловлено несколькими причинами.

Орфографическая и морфологическая адаптация и идущее отсюда формирование локальных норм именно на данных уровнях мотивировалось самим процессом распространения славянской книжности. Рукописи переходили из одной славянской области в другую и здесь переписывались и редактировались. Сосуществование рукописей разных изводов и недоверие к оригиналам (в которых Urtext мог быть передан с разнообразными ошибками) создавали для каждой локальной традиции стимул к унификации ор-

фографических и морфологических характеристик. Основой для унификации были правила, позволявшие получить «правильную» форму, используя доступную переписчику лингвистическую информацию. Такую информацию давало книжное произношение, установившееся в результате обучения чтению по складам и богослужебного употребления усвоенных текстов и исключавшее, как правило, звуки и звукосочетания, чуждые произношению разговорному, и факты живого языка, которые могли служить для проверки книжных форм (ср.: Дурново 1933; Дурново 2000, 644–682; Лант 1949; Живов 1984; Живов 2006а). Понятно, что при разобранный нами процедуре обучения книжному языку для лексики и синтаксиса никаких правил не было.

Само использование правил данного типа обуславливало адаптацию церковнославянского языка. Так, у восточных славян при обучении книжной грамоте буква *ж* соотносилась со звуком [ž], и отсюда возникало правило типа «там, где слышится [ž], пишется *ж*». Поскольку в большинстве восточнославянских диалектов на месте *\*dj* звучало [ž], данное правило побуждало писать *ж* на месте соответствующих рефлексов, и это написание постепенно вытесняло *жд*, идущее из южнославянских протографов. Сохранение южнославянского написания требовало бы установления правила, позволявшего на основе синхронной информации различать рефлексy с одной стороны *\*dj* (например, *рожа, сажа*), а с другой – *\*zj* и *\*g* перед передней гласной (например, *кожа, сажень*), что явно было слишком сложно для восточнославянских писцов. Результатом и была замена *жд* на *ж* в рефлексах *\*dj*, представлявшая один из моментов адаптации церковнославянского на восточнославянской почве (см. ниже, § VI-2; см. также: Живов 2008а).

Традиционные формы, идущие из инославянской письменности, закрепляются лишь в тех случаях, когда они совпадают с местными или могут быть соотнесены с ними с помощью простых правил. Например, при всем разнообразии рефлексов *\*zgj*, *\*zdj*, *\*zg* перед передней гласной в восточнославянских диалектах они легко соотносились с написанием *жд*, т. е. устанавливались правила типа «там, где слышится [žž], пишется *жд*». Отсюда, между прочим, в восточнославянской письменности появлялось различие *ж* на месте *\*dj* и *жд* на месте *\*zgj*, *\*zdj*, *\*zg* перед передней гласной, не свойственное письменности южнославянской (см. ниже, § VI-4). Простые правила типа приведенного выше естественно формулировались для орфографических и морфологических явлений, но были малодоступны в лексике и синтаксисе: в лексике это предполагало бы заучивание наборов лексических пар, а книжный синтаксис, резко отличаясь от синтаксиса любых славянских диалектов, вообще не создавал условий для процессов адаптации.

Вместе с тем и потребности в подобных правилах для разных уровней были различны. Задача орфографической и морфологической унификации возникала при переписке стандартных текстов, имевшей массовый характер. Любой книжник, переписывавший любую рукопись, сталкивался с проблемой того, правильно ли написано то или иное слово или та или иная форма. Задачи же синтаксической и лексической нормализации при переписке практически не возникало. Как уже упоминалось выше (§ I-1.3), лексическая и синтаксическая правка была окказиональной; по большей части она не закрепляла какую-либо норму, а устраняла такие слова и конструкции, ко-

торые с точки зрения переписчика делали текст непонятным или неясным. Задача синтаксической и лексической нормализации становилась актуальной лишь при создании новых книжных текстов, а это было делом отдельных книжников, выполнявшимися ими в меру их индивидуального мастерства. Никакой школы здесь не существовало, тогда как, как мы видели, определенное обучение орфографическим навыкам в восточнославянских скрипториях несомненно имело место. Нормы, возникавшие на лексическом и синтаксическом уровнях, имели расплывчатый характер, а процесс переосмысления генетически разнородных элементов, если он вообще эти уровни затрагивал, осуществлялся здесь не в результате адаптации (при которой генетически восточнославянские элементы вводились в норму локального извода церковнославянского), а в результате иных преобразований.

Функциональное переосмысление генетически разнородных элементов осуществлялось и благодаря механизму пересчета: оппозиция инославянских и восточнославянских элементов преобразуется в противопоставление элементов книжных и некнижных, причем элементы книжные уже не воспринимаются как чужеродные. Такое восприятие отражало характер употребления книжных элементов, образуемых механизмом пересчета: они не только противопоставляли книжный и некнижный языки, но и соотносили их. Действительно, грамматическая семантика книжного языка, запечатленного в корпусе переписываемых и перечитываемых основных текстов, ни для одной из славянских областей не находилась в однозначном соответствии с грамматической семантикой живого языка; и по мере развития живых языков несоответствие здесь лишь увеличивалось. Поэтому порождение книжных текстов на основе механизма пересчета не приводило к созданию текстов, полностью аналогичных в своей грамматической системе текстам основного корпуса (кирилло-мефодиевского лингвистического наследия). Степень приближения зависела от индивидуального мастерства отдельных книжников (в частности, от их владения основным корпусом текстов), но она никогда не была абсолютной. В результате оригинальные книжные тексты в большей или меньшей степени отражали особенности грамматической семантики живого языка. Поясню сказанное одним примером.

В достаточно ранний период истории восточнославянских диалектов в них исчезает категория имперфекта (точная датировка этого процесса остается дискуссионной, см. ниже, § V-6.1). Однако в оригинальных книжных текстах восточнославянского происхождения формы имперфекта продолжают употребляться в течение многих столетий после его утраты в живом языке (см. об употреблении имперфекта ниже, § V-6.2). В ряде текстов наблюдается достаточно последовательное противопоставление форм имперфекта формам других прошедших времен, причем его семантические характеристики в ряде моментов отличаются от классических старославянских образцов. В частности, имперфект в русских памятниках употребляется в так называемом «кратно-перфективном» значении. Такое употребление имеет место уже в самых ранних восточнославянских памятниках (Повесть временных лет, Житие Феодосия – см.: Маслов 1954), во время создания которых имперфект, возможно, еще не был утрачен. Оно сохраняется и в позднейших памятниках, в которых имперфект является безусловно книжным

элементом, не имеющим прямого соответствия в живом языке. Здесь дифференцированное употребление имперфекта можно отчасти объяснять соотношением с итеративом, т. е. таким переосмыслением более раннего узуса, при котором частичное сходство в грамматической семантике обуславливает установление корреляции между книжным и некнижным элементом. Употребляя имперфект как книжный эквивалент итератива, русские книжники образовали соответствующие формы и от глаголов совершенного вида (отношение *преста* – *престаше* строится по образцу *перестал* – *переставал*, ср. еще характерное для русских памятников образование имперфекта от основ с суффиксом *-(ы)ва/- (и)ва* типа *преставаше* или *оумыкиваху*, в котором книжное словоизменение выступает как избыточный дублет к некнижному словообразованию, см.: Горшкова и Хабургаев 1981, 332). Грамматическая семантика итератива проецировалась при этом на грамматическую семантику имперфекта, и это было закономерным следствием того механизма пересчета, который возникал в результате усвоения книжного языка по текстам, а не по грамматике (ср.: Живов 1986а, 102–111). Как видно на данном примере, книжный и некнижный язык оказываются соотносенными – благодаря механизму пересчета – в плане содержания. Вместе с тем в плане выражения формы имперфекта выступают как специфически книжное средство выражения, функционирующее как признак книжности текста.

Исходя из того, что в русских летописях имперфект употребляется в таком значении, которое было чуждо старославянским образцам, Ю. С. Маслов говорит о необходимости «пересмотреть традиционную точку зрения, согласно которой в древнерусских памятниках эпического жанра имперфект употреблялся будто бы исключительно под влиянием церковнославянского языка, а живой разговорный язык древнерусской поры будто бы вовсе не знал форм имперфекта, как не знает их официально-канцелярский язык древнерусских грамот» (Маслов 1954, 138; ср. повторение этой точки зрения через тридцать лет: Маслов 1984, 138–139). Таким образом, новое – сравнительно со старославянским – значение служит для Ю. С. Маслова бесспорным свидетельством живого функционирования имперфекта в восточнославянских диалектах.

Такой вывод, однако, плохо согласуется с другими известными нам фактами древнейшего периода – они требуют в этом случае особого объяснения. На доводах за и против существования имперфекта в разговорном языке мы остановимся позже (см. § V-6.1); сейчас же я бы хотел подчеркнуть то фундаментальное обстоятельство, что – вопреки представлениям Маслова – новые значения форм (новые типы их использования) могут возникать и постоянно возникают отнюдь не только в разговорном языке, но и в языке письменном, который, как уже отмечалось, обладает для этого достаточной автономностью. Выделенное Масловым употребление сохраняется и в позднейших памятниках, в которых имперфект является безусловно книжным элементом, не имеющим прямого соответствия в живом языке. Это означает, что книжники более позднего времени были в состоянии осмыслить и воспроизвести эту черту старого узуса, т. е. овладеть соответствующим употреблением имперфекта. Но если книжники могли овладеть этим употреблением без помощи разговорного языка, то они могли и «вы-

думать» его, не опираясь на разговорный язык, т. е. использовать формы имперфекта для обозначения многократности действия вне зависимости от того, как выражалось данное значение в разговорном языке. Если та или иная семантическая категория существует в языковом опыте носителей, она спокойно может быть приписана определенным грамматическим формам письменного языка вне какой-либо зависимости от языка устного. Так, скажем, противопоставление складывающихся в нарративную последовательность действий действию, исключенному из этой последовательности (например, выступающему как фон для прочих действий), может в восточнославянских письменных текстах выражаться оппозицией аориста и имперфекта; нет никаких свидетельств того, что подобное противопоставление реализовалось и в устном языке, в котором нарратив занимает куда более скромное место, чем в языке письменном (см. ниже). Повторяемость или множественность действия безусловно относится к числу семантических категорий, известных восточнославянскому языковому опыту – прежде всего в силу наличия итеративов. Ничто не мешало, таким образом, восточнославянским авторам связать эту семантику с формой имперфекта.

При такой связи имперфект в одной из своих функций может выступать как семантический эквивалент итератива и соответствующим образом использоваться в механизме пересчета. На это и могут указывать приводимые Ю. С. Масловым примеры. Например, фраза из ПВЛ, описывающая подвиги киево-печерского юродствующего подвижника Исаакия, звучит так:

ѹгда же приспѣѣше зима. и мрази лютии. станаше в прабощна<sup>а</sup> в черевьѣ<sup>а</sup> в протоптанъ<sup>а</sup>. ѹко примерзнашета нозѣ ѹго г камени. и не движаше ногама. дондеже ѿпояху заоутреню. и по заоутрени идаше в поварьницю. и приговаша ѿгнь. воду. дрова. и придаху прочии повари ѿ братьѣ (ПСРЛ, I, стб. 195, л. 65об.; ср.: Шахматов 1916, 248; Маслов 1954, 89).

Этот пассаж мог бы быть переведен так: «Когда же наступала зима и лютые морозы, он становился (становливался) босым в истоптанных башмаках, так что его ноги примерзали к камню, и не двигал (не двигивал) ногами, пока не отпоют заутреню, и после заутрени ходил (хаживал) на кухню и приготавливал огонь, воду, дрова, а затем приходили (прихаживали) дружки повара из братии» – речь идет о постоянно повторяемых действиях (к интерпретации текста см.: Лант 1994, 11–14). И на этом примере можно уяснить, как развивается подобное значение. За приведенным пассажем следует рассказ о том, что другой повар, решив посмеяться над Исаакием, предложил ему принести ворона, сидевшего снаружи, что Исаакий чудесным образом и исполнил. Таким образом, в повествовании процитированный пассаж описывает фон, на котором происходит чудо, фон же образуется тем, что случается постоянно или часто; можно думать, что функция имперфекта, обозначающего фоновые действия, обобщается на новый контекст – часто совершаемых (узуальных) действий, которые потенциально являются фоном для других событий.

Для более поздних памятников (для которых вопрос о «живом» имперфекте вообще не стоит) механизм соотношения имперфекта и итератива устанавливается достаточно четко, и в принципе это дает ответ на вопрос,

как может утвердиться новое значение у форм, отсутствующих в живом языке. При установлении соответствий между живой и книжной формами, предполагаемых механизмом пересчета, употребление книжной формы распространяется на всю область значений, охватываемую поставленной ей в соответствие не книжной формой, – новые значения появляются там, где грамматическая семантика традиционно воспроизводимых текстов не накладывается однозначно на грамматическую семантику живого языка. Такого рода механизм должен, видимо, работать и при языковых контактах (когда пишут на неродном языке), и исследование происходящих в подобных случаях семантических сдвигов могло бы дать важный материал для проверки предлагаемой гипотезы.

Проиллюстрирую сказанное сопоставлением одного фрагмента первоначальной редакции Жития Михаила Клопского, написанного в Новгороде в 1478–1479 годах, с тождественным по содержанию отрывком из переработки этого жития, осуществленной в 1537 г. В. М. Тучковым по поручению новгородского архиепископа (позднее московского митрополита) Макария; это переработанная редакция вошла затем в Великие Минеи Четьи (Дмитриев 1958, 6, 73).

#### **Первая редакция (вариант А)**

И игумен Феодосие взяв крест и кадило да прииде в келию и с чернцы, аже сенцы заперты. И он посмотрел в окно в келию, аже старец сидя пишет. И игумен сотвори молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй нас грешных!» И он против створил молитву тако же. И игумен 3-жды створил молитву и он противу тако же сотворил 3-жды молитву против игумена Феодосия. И Феодосий молвит ему: «Кто еси ты, человек ли еси или бес? Что тебе имя?». И он ему отвеща те же речи: «Человек ли еси или бес? Что ти имя?» И Феодосей молвит ему в другие и в третее те же речи: «Человек ли еси или бес, что ти имя?» И Михаила противу того те же речи в другие и в третье: «Человек ли еси или бес?» И повеле игумен Феодосей у кельи и у сенець верх содрати да у кельи дверь выломити. Да влещи игумен в келию, да почал келию кадит темьяном да старца того почал кадити. И он от темьяна закрывается, а крестом знаменается.

(Дмитриев 1958, 89–90).

#### **Тучковская редакция**

Игумен же, сиа слышав, и по скончании утреняа службы, взял крест и кадило, и братия с ним идоша к кельи и обретоша келию изъутрьуду заключену, и преддверие тако же затвержено со всяцем утверждением. И много толцаху, и не отверзе им, ниже отвеща. Игумен же повеле въскрести покров пред келиею, и тако вшедше в преддверие, и обретоша келию тако же заключену, яко же выше рехом. И повеле игумен двери разбити. И егда сокрушиша двери, и вшед игумен в келию, обрете старца пишуща. И начат вопрошати его, глаголя: «Повежь ми, кто еси: человек ли, или дух?» Он же тая же вещаше, яже слыша игумена глаголюща. Игумен же начат молитву творити, и старец тако же молитву деяше. И начат игумен крестом ограждати и фимианом кадити и, он же крестом ограждашеся кадила же укланяшеся.

(Дмитриев 1958, 145).

Как видно из сопоставления, в тучковской редакции события излагаются в несколько ином порядке и существенно сокращены повторы первоначального варианта. Окнижняющему изменению подверглись синтаксис и лексика. Например, вместо простой, присоединенной паратаксом фразы «аже сенци заперты» появляется книжный оборот с *accusativus duplex*: «обретоша келию изъутрьуду заключену»; ср. точно такое же преобразование: «посмотрил в окно в келию, аже старец сидя пишет» → «обрете старца пишуща»; в других случаях однородные сказуемые заменяются конструкцией с причастным оборотом. На лексическом уровне характерны такие замены, как *сенци* → *преддверие*, *верх содрати* → *въскрыти покров*, *темьян* → *фимиан* и т. д. (ср.: Виноградов 1978, 128–129).

Для нас, однако, наибольший интерес представляет изменение в характере употребления претеритных форм. В первоначальном варианте употребление разных форм прошедших времен не дифференцировано, причем аористные формы (формы имперфекта в данном фрагменте вообще отсутствуют) выступают как факультативная замена *л*-форм, сигнализирующая о книжном характере текста (ср. «сотвори молитву» и «он против створил молитву»). В тучковской редакции в рассматриваемом фрагменте *л*-формы вообще отсутствуют, основным способом обозначения действия в прошлом является аорист, употребляемые наряду с аористом формы имперфекта несут специальную семантическую нагрузку. Так, формы имперфекта употребляются при описании действий старца («он... вещаше», «молитву деяше», «крестом огражашеся кадила же укланяшеся»). Сопоставление с первоначальной редакцией показывает, что во всех случаях имеются в виду многократно повторяемые действия («сотворил 3-жды молитву», «в другие и в третье», многократность каждения и наложения крестного знамения явствует из самого характера действия). Существенно, что в данных примерах многократность действия выражена именно глагольной формой (ср. в том же отрывке «много толцаху» с тем же значением). Вместе с тем в инхоативном значении последовательно употребляется аорист («начат вопрошати», «начат творити», «начат ограждати», ср. «почал» в первой редакции, ср. об инхоативном значении у форм аориста: Живов и Успенский 1986, 262; заслуживает также внимания подчеркнуто книжная форма аориста на *-m*).

Соотнесение имперфекта и итератива в рамках механизма пересчета, связывающего книжный и некнижный язык, для позднейшего времени может быть подтверждено рядом свидетельств. Так, например, в «Донатусе» Дмитрия Герасимова 1522 г. формы имперфекта и итеративные образования оказываются включены в одну парадигму («плюсквамперфекта»), что и указывает на их семантическую соотнесенность. В этой парадигме оказываются, с одной стороны, такие итеративы, как *любливахъ*, *хачнивахъ*, *бывахъ*, а с другой – такие формы имперфекта, как *читаше*, *бѣаше*, ср. еще контаминированные формы типа *люблнвахъ*, *бывахъ* и т. д. (Ягич 1896, 566, 575, 582, 583; Ворт 1983а, 101; ср.: Живов 1986а, 104–105). Для более позднего периода о соотнесенности имперфекта и итератива может говорить такая, например, замена в сделанной в конце XVIII в. редакции перевода Полидора Виргилия «De inventoribus rerum» (исходный перевод петровского времени): «<Бяху> *бывали* (extabant) такожде во время Плинія» (РГАДА, ф. 381,

№ 1185, л. 143об. – в скобки поставлена вычеркнутая форма, курсивом отмечена правка). Устойчивость данного соотношения указывает, можно думать, на существенную преемственность в использовании форм имперфекта.

Те процессы переосмысления генетически разнородных элементов, о которых шла речь выше, связаны с прямым соотношением характеристик двух исходных языковых систем. Различие состоит в том, что в случае адаптации генетически восточнославянские элементы вытесняют генетически инославянские из нормы восточнославянского извода, а в случае установления механизма пересчета генетически инославянские элементы сохраняются, выступая как книжный эквивалент определенных форм или конструкций некнижного языка. Подобное прямое соотношение оказывается возможным (или доступным), однако, отнюдь не во всех случаях. При отсутствии прямого соотношения генетически разнородные элементы функционируют в книжном языке как допустимые варианты; и в этом случае генетические характеристики теряют свое значение, будучи переосмыслены в функциональном плане как явление вариативности (допустимой гетерогенности).

Выше уже говорилось о том, что установление нормы локального извода связано с формулировкой общих правил. Там, где общие правила не формулировались, не возникало и оснований для устранения одного из элементов (генетически восточнославянского или генетически инославянского). Именно так обстояло дело в лексике, поэlementное соотношение было здесь в большинстве случаев недоступно, поскольку оно должно было бы охватывать неограниченный список лексем, требующих индивидуального запоминания. Речь идет здесь не только о таких единичных парах, как *ланига* – *цѣка*, *висеръ* – *женьчѣгъ* и т. п., но и о парах, возникших в результате регулярных историко-фонетических процессов, имею в виду пары с начальным *ра-* или *ро-* и *ла-* или *ло-* на месте праслав. *\*or*, *\*ol*, оппозиции типа *агна* – *ѡгна* и типа *ѣдинъ* – *ѡдинъ*, равно как и пары неполногласных и полногласных лексем. Как писал Н. Н. Дурново по поводу форм типа *ѡдинъ* в Синайском патерике или *ѡктѣниа* в Типографском уставе, подобные факты относятся «не к правописанию этих текстов, а к их словарю» (Дурново 1933, 80/Дурново 2000, 679).

Действительно, регулярное историко-фонетическое соответствие не могло служить основанием для формулировки общего правила. Сами по себе историко-фонетические соответствия для древнерусского книжника отнюдь реальностью не были, никакого «на месте праслав. *\*or*» и т. п. для него не существовало. Он имел дело с языковым материалом своего родного языка, где имела последовательность /го/ или /ло/ в начале слова. В одних случаях эти последовательности соотносились с начальным *ра-* или *ла-* в известных ему книжных текстах, тогда как в других случаях те же последовательности живого языка оказывались соотносены с книжными *ро-*, *ло-* (ср. *родити*, *роса*, *лобѣзати*, *ловити*). Поэтому в арсенале восточнославянского писца не могло быть правила типа «там, где в разговорном языке в начале слова слышится /го/, /ло/, в книжном языке пишется *ра-*, *ла-*». Отсутствие правила обуславливало отсутствие четкой нормы, и поэтому *работа* и *робота*, *лакѣть* и *локѣть* оказывались сосуществующими допустимыми вариантами.



Точно так же не могло быть правила типа «там, где в разговорном языке в начале слова слышится /jæ/, в книжном языке пишется а» (ср. многочисленные формы с начальным /jæ/, «не переводимым» в а: **павлѣти, пѣти, пѣзыкѣ**), и поэтому допустимыми вариантами оказывались **агна** и **пагна**. Аналогичным образом невозможность правила типа «там, где в разговорном языке в начале слова слышится /o/, пишется е» (ср. «непереводимые» формы: **ово, овоць, овьнѣ**) приводила к вариативности **ѣдинѣ – одинѣ, ѣсень – осень** и т. д. (об историко-лингвистической подоплеке этой вариации см.: Андерсен 1996). Ничем по существу не отличается от этих случаев ситуация с полногласными и неполногласными лексемами. Писец имел дело со своей разговорной последовательностью типа /ого/, которая в одних случаях соответствовала книжному **ра-** (например, **порогѣ – прагѣ**), а в других случаях не соответствовала (например, **порокѣ** 'vitium', но не \***пракѣ**). И в этом случае закономерным следствием отсутствия общего правила является вариативность полногласных и неполногласных форм.

В переписываемых памятниках вариативность подобных элементов могла проявляться лишь окказионально. В исходном тексте (оригинале) писец читал **прагѣ** или **ѣсень** и повторял это написание, если только не отвлекался от переписываемого текста (как рассеянная машинистка, путающая при перепечатке слова). Во всяком случае для появления восточнославянской по происхождению формы нужны были какие-то специальные причины. Так, например, Т. Н. Кандаурова отмечала, что полногласные формы могут появляться в переписываемых памятниках при переходе со строки на строку, поскольку орфография требовала гласного в конце строки, а полногласный вариант создавал дополнительные возможности переноса: написав в конце строки **ст** и обнаружив, что осталось место только для одной буквы, писец спокойно писал **о** (**сто**) вместо **ра**, а на следующей строке **рона** (Кандаурова 1968а). Хотя такого рода примеры относительно редки (впрочем, в отдельных памятниках они составляют более четверти всех употреблений полногласных слов – там же, 8), однако они ясно показывают, что полногласная и неполногласная формы выступают как допустимые соотносительные варианты; эта соотносительность имеет место и в тех случаях, когда слово употреблено в отвлеченном значении (иными словами, писец использовал при переносе полногласную форму, не обращая внимания на абстрактное значение слова, обычно не появлявшееся у полногласного варианта – там же, 14–15).

При создании оригинальных текстов отсутствие общего правила, соотносящего книжные и не книжные элементы, оказывается куда более существенным, и вариативность становится значительно более выраженной, чем в памятниках переписываемых. И здесь, конечно (я имею в виду оригинальные книжные тексты), церковнославянские по происхождению формы занимают доминирующее положение. Это естественно, поскольку переписываемые тексты служили общеизвестными и общепринятыми образцами, и для квалифицированного древнерусского книжника заученные и постоянно повторяемые книжные формы были наиболее привычным книжным средством выражения. Их появление обусловлено действием механизма ориентации на образцы. Тем не менее восточнославянские по происхождению

элементы встречаются здесь в существенно большей пропорции, так что вариативность данного типа может рассматриваться как конститутивный признак «гибридного» регистра. Это в особенности относится к летописям, в которых употребление восточнославянских форм могло быть связано с рассказом о местных реалиях.

Определению характера вариативности церковнославянских и русских по происхождению элементов в летописях, т. е. определению того, какие принципы обуславливают выбор того или иного варианта, посвящена обширная литература, содержащая разнообразные частные наблюдения, нередко весьма проницательные (ср.: Улуханов 1964; Улуханов 1969; Улуханов 2004; Кандаурова 1968а; Кандаурова 1974; Шевелов 1968; Хютль-Фольтер 1983; Устюгова 1987). Не входя в детальное обсуждение возникающих здесь частных проблем, отмечу лишь два принципиальных момента. Во-первых, принципы выбора варианта не имеют никакого отношения к выбору языка или регистра («русского» или «церковнославянского», т. е. некнижного или книжного). Во-вторых, этот выбор не был стилистическим, во всяком случае в том смысле, в котором мы называем стилистическим выбор между формами *брег* и *берег*, *град* и *город* в поэзии XVIII–XIX вв.

Неоднократно предпринимались попытки тем или иным способом расчленить текст летописи, приписать разным фрагментам разные языковые характеристики (например, определить их как «церковнославянские» и «русские») и связать с этим выбором языка употребление полногласных или неполногласных лексем, равно как и других соотносительных лексических вариантов. Так, например, В. В. Виноградов, используя классификацию летописных статей на погодные записи и повести, предложенную И. П. Ереминым (Еремин 1949; Еремин 1966, 98–131), полагал, что погодные записи делались на языке, близком «народно-литературному», а в повестях «явственно проступают <...> основные черты книжно-славянского типа языка» (Виноградов 1978, 103; ср. еще: Улуханов 1964, 130–131; критическую оценку см.: Успенский 1983, 45; ревизию этого подхода, сохраняющую, однако, идею расчленения летописи на гетерогенные в языковом отношении фрагменты см.: Улуханов 2004, 122–134).

Несостоятельность этой концепции была ясно продемонстрирована Г. Хютль-Фольтер. Она указала, что множество погодных записей написаны на церковнославянском языке, «что в этих случаях язык характеризуется “документальностью”, но эти тексты совсем не написаны в “народно-литературном типе языка”. Несмотря на то, что они написаны сухо и лаконично, они повествуют о религиозных событиях (или о таких, причина которых – “высшие силы”, как например знамение на небе, солнечное затмение), и поэтому записаны “книжнославянским ключом”» (Хютль-Фольтер 1973, 32–33; ср.: Хютль-Фольтер 1983, 38–39).

Отталкиваясь от этого построения, сама Г. Хютль-Фольтер предложила членить текст летописи (в ее исследовании ПВЛ) на лингвистически разнородные фрагменты, определяемые пропорцией употребляемых в них «русизмов». Членение получается дробным и не слишком содержательным. Выделяются чисто церковнославянские фрагменты (*rein ksl.*, до 10% «русизмов»), преимущественно целиком церковнославянские фрагменты (*ganz*

überwiegend ksl., до 20% «русизмов»), преимущественно церковнославянские (überwiegend ksl., до 33% «русизмов»), лингвистически смешанные (sprachlich gemischt, от 34% до 55% «русизмов»), преимущественно древнерусские (überwiegend altrussisch, от 56% «русизмов») (Хютль-Фольтер 1983, 40). Предсказуемым образом преимущественно древнерусские фрагменты оказываются немногочисленными, их всего четыре: рассказ о Святославе у Днепровских порогов (971 г.), начало правления Ярослава (1016 г.), рассказ о Якуне (1024 г.) и автобиографическая часть Поучения Владимира Мономаха (1096 г. – ПСРЛ, I, стб. 247–252) (там же, 84–85). Эту классификацию автор пытается связать с тематическими параметрами, различая фрагменты «религиозные» и «светские», хотя ясно (и автор это осознает), что такая классификация часто весьма условна; скажем, автобиографическая часть Поучения Мономаха в известной мере дается как иллюстрация религиозно-назидательной части и развивает введенные в первой части мотивы. Подводя итоги кропотливому труду подсчета и классификации, Г. Хютль-Фольтер приходит к выводу, что «русизмы» и, в частности, полногласная лексика являются в ПВЛ маркированным элементом (там же, 93–100); это несомненно справедливо, поскольку летопись является книжным памятником, опирающимся на традиции книжного изложения. Основной мотивацией их употребления автор считает стремление летописца «подчеркнуть соотношение между изложенным в летописи и Русью, то есть, русизмы служат для актуализации передачи исторической действительности. Известные до сих пор мотивации – прямая речь или реалистическое описание событий с помощью русизмов – лишь частные аспекты этой тенденции <...> полногласные слова относятся почти исключительно к Руси, т. е. к восточным славянам, варягам и русской территории, а не к другим народам или странам» (там же, 16–17).

Насколько имеет смысл говорить о столь общей основной мотивации, остается неясным. Вопрос, в сущности, сводится к тому, насколько летописцу (вернее, нескольким поколениям летописцев) можно приписать сознательную интенцию подчеркивания локального характера сообщения. На этот вопрос невозможно ответить, поскольку мы не в состоянии проникнуть в языковое сознание исследуемых авторов. Сами же статистические соотношения, на основании которых Г. Хютль-Фольтер устанавливает свою «Grundmotivation», вряд ли требуют столь специфического объяснения. Вполне естественно, что летописец, когда он пишет о местных реалиях, чаще вспоминает местные обозначения этих реалий, чем когда он повествует о вечном или рассказывает об иных странах и народах. Это объясняется общими закономерностями языкового поведения и вряд ли позволяет говорить о какой-либо сознательной стратегии летописца. Конечно, в каждом отдельном случае можно предположить ту или иную конкретную мотивацию, однако не просматривается никакой инвариантной мотивации, которая указывала бы на связь выбора лексического варианта с выбором языка.

Представляется неправомерной сама идея расчленения летописного текста на фрагменты, принадлежащие разным языкам или регистрам<sup>87</sup>. Лингвистическая гетерогенность, как уже говорилось (см. Введение-I), при- суща языковой деятельности в целом, равно как и порождаемым в ре- зультате этой деятельности текстам. В одних текстах она представлена в большей степени, в других – в меньшей. Она не определяет регистр сама по себе, хотя разные ее типы свойственны разным регистрам. В летописных текстах гетерогенность представлена широко и в разных своих ипостасях (см. о языке летописей ниже, § III-5), однако в целом это гетерогенность того языка, на котором написана летопись (гибридного церковнославян- ского), а не следствие соединения фрагментов, написанных на разных язы- ках или принадлежащих разным регистрам<sup>88</sup>. Сколь бы мало или много ни было в данном фрагменте полногласных слов или слов с начальным *о-* и т. д., язык остается книжным (церковнославянским) и определяется иными параметрами: действием механизма пересчета и механизма ориентации на тексты, книжным синтаксисом и т. п. Выбор варианта совершается внутри

<sup>87</sup> В работе 1983 г. Б. А. Успенский отчасти принимает концепцию Г. Хютль-Фольтер – во всяком случае в той ее части, которая относится к расчленению текста ПВЛ на «разно- языкие» фрагменты. При этом, однако, он вносит коррективы в определение того, от чего зависит выбор языка: «[П]равильнее было бы сказать, что употребление церковно- славянского или русского языка определяется отношением к излагаемым событиям» (Успенский 1983, 46). Приведя еще ряд примеров текстов, распадающихся на русские и церковнославянские фрагменты (Послания Ивана Грозного, Житие протопопа Аввакума, Записки Котошихина), Б. А. Успенский указывает принцип, на котором, с его точки зре- ния, основывается это чередование языков, а именно, «если текст пишется лично от себя (положим, деловой документ, письмо), но не претендует на высшую объективную зна- чимость, следует ожидать применения русского, а не церковнославянского языка; если же описываемое событие как-то соотносится с высшей реальностью, если раскрывается или подразумевается духовный смысл этих событий, язык будет церковнославянским» (там же, 50). Впоследствии Б. А. Успенский отказывается – во всяком случае в примене- нии к летописям – от трактовки их гетерогенности как чередования языков.

<sup>88</sup> Конечно, в некоторых случаях мы сталкиваемся в летописи с вкраплением текста, принадлежащего другому регистру или, иными словами, с регистровым сдвигом. Напри- мер, в Мазуринской летописи XVII в., написанной на обычном для XVII в. гибридном языке и в целом весьма гетерогенной в языковом отношении (см.: Живов 1995а), под 7156 г. приводится разрядная запись о свадьбе царя Алексея Михайловича и Марии Ми- лославской (ПСРЛ, XXXI, 164–168). При включении этого документа в летопись состави- тель не подвергал его какой-либо радикальной редактуре: он приводится в том виде, в котором он был написан, а написан он был, естественно, на деловом некнижном языке. Таким образом, в тексте на гибридном языке появляется написанный в другом регистре фрагмент. Такое вкрапление целесообразно трактовать как цитату, не имеющую пря- мого отношения к той вариативности, которая свойственна гибриднему языку основ- ного текста. Более частый, но менее выразительный случай такого вкрапления – это библейские цитаты, использующие, понятным образом, стандартный церковнославян- ский язык; конечно, в этом случае лингвистическое противостояние цитаты (чужого слова) и основного текста не так сильно бросается в глаза, поскольку граница между стандартным и гибридным церковнославянским прочерчивается с меньшей четкостью, чем граница между гибридным церковнославянским и деловым языком.

книжного языка, он не имеет характера безусловного выполнения требований нормы, и именно в силу этого факторы, обуславливающие появление того или иного варианта, могут быть достаточно многообразны и не сводиться ни к какой основной мотивации.

Для ряда слов выбор полногласного варианта определяется тем простым обстоятельством, что в неполногласном варианте данное слово было книжнику неизвестно, поскольку полностью отсутствовало в переписываемых и заучиваемых текстах (то, что у корней есть южнославянские соответствия, никакого отношения к языковому опыту восточнославянского книжника не имело). Таковы, например, слова **боронение**, **волокъ**, **ворожитъ**, **колодникъ**, **королевичъ**, **сорочка** (Хютль-Фольтер 1983, 58). Та же ситуация имеет место и в тех случаях, когда неполногласный вариант неизвестен книжникам в определенном значении (например, **паволока** 'драгоценный покров' при **повлака** 'переплет книги' – Хютль-Фольтер 1983, 58). В качестве крайнего выражения этой тенденции может рассматриваться последовательное употребление в полногласной форме местных собственных имен (**Володимеръ**, **Новъгородъ**, **Всеволодъ** и т. д.). Хотя неполногласные формы этих имен могли быть известны восточнославянскому книжнику (см. выше, § I-1 о монетах Владимира), в летописных текстах домонгольской эпохи эти формы не употреблялись<sup>89</sup>.

Действуют и иные факторы (Хютль-Фольтер 1983, 97–98), которые в отдельных случаях просматриваются вполне ясно, а в других оказываются лишь отчасти понятными. Очевидно, что, располагая двумя вариантами, книжник будет их время от времени как-то дифференцировать – по семантическим или по стилистическим параметрам. Так, скажем, в ПВЛ в сказании о призвании варягов говорится «да поидѣте княжити и володѣти н<sup>а</sup>ми» (ПСРЛ, I, стб. 20), тогда как, напротив, в Поучении Владимира Мономаха в той же Лаврентьевской летописи встречаем «а Г<sup>а</sup>ѣ нашъ владѣа. и животомъ и смрѣтью» (ПСРЛ, I, стб. 243); употребление полногласной и соответствующей неполногласной формы может быть объяснено здесь теми же механизмами, действие которых мы наблюдали в двух фрагментах Поучения Владимира Мономаха: когда у пишущего имеется образец, он старается от него не отступать, когда такого образца нет, появляются формы, отсутствующие в образцовых книжных текстах. Современный исследователь может, понятно, интерпретировать такую дистрибуцию как обусловленную религиозным или светским содержанием, стилистическими параметрами, подчиненными мотивике и т. д. Тем не менее эта вариативность имеет место в пределах единого книжного текста, и нет никаких оснований говорить о том, что отдельные элементы являются в нем *sui generis* инородным телом. Аналогичные выводы напрашиваются и в случае оппозиции **чрево** – **черево**,

<sup>89</sup> В каких-то случаях пишущий мог идиосинкратически рассматривать полногласную форму как нормативную, не соотнося ее, видимо, с неполногласным эквивалентом; так, например, писец Изборника 1076 г. последовательно пишет **норовъ** вместо **нравъ** (Изб. 1076, 947), что, видимо, никак не может рассматриваться в качестве внесения (сознательного или бессознательного) в книжный текст не книжного элемента – типа окказионального **переже** вместо **прѣже** (там же, 115).

представленной в ПВЛ такими, например, употреблениями, как «первое нача пррч<sup>а</sup>товати ѿ воплощєни Бжѣѣ. рекъ. и-щрева преже де<sup>нб</sup>ница родих та» в библейской цитате (ПСРЛ, I, стб. 97) и «нача оукарати Болеслава глѧ. да то ти прободемъ трѣскою черево. твое толъстоє» в рассказе о богатыре, издаваемомся над польским королем Болеславом (ПСРЛ, I, стб. 143). Употребление полногласного варианта во втором примере никак не может считаться предопределенным мотивикой или стилистическим заданием соответствующего фрагмента или тем, что мы имеем дело с прямой речью (см. об этом факторе: Кандаурова 1968б; рассматриваемый пример см. с. 80); об этом, в частности, ясно свидетельствует неполногласный вариант **чрево**, появляющийся во всех прочих, кроме Лаврентьевского, основных списках ПВЛ (Островский, II, 1139).

Сколько бы тщательно ни прослеживались интенции пишущего, остается достаточное число случаев немотивированного выбора варианта. Как пишет Г. О. Винокур, «очень часто выбор того или иного из возможных вариантов кажется делом случая, словно составителю текста было совершенно все равно, как написать – *злато* или *золото*, *страна* или *сторона* и т. д.» (Винокур 1959, 53). И далее: «Нет сомнений, что очень часто мы действительно находимся перед результатом чистейшей случайности, в котором обращает на себя внимание лишь то, что составители древних литературных текстов не считали такую пестроту лексики предосудительной и во всяком случае не избегали ее» (там же)<sup>90</sup>. Примеры такого немотивированного употребления находятся во множестве, ср., например, в Лаврентьевской летописи: «и заповѣда Шле<sup>а</sup> да<sup>т</sup> воє<sup>м</sup>. на .бѣ. корабль по бѣ. гриве<sup>а</sup> на клю<sup>а</sup>. и пото<sup>м</sup> даяти угла<sup>ы</sup> на Роу<sup>а</sup>кыа гра<sup>а</sup>. первое на Києвъ. та<sup>ж</sup> на Черниго<sup>а</sup>. [і] на Переаславль. [і] на Полтѣскъ. [і] на Рост<sup>а</sup>. [і] на Любе<sup>а</sup>. и на прочаа горо<sup>а</sup> по тѣ<sup>м</sup> бо горо<sup>а</sup>мъ седахъ велиции кн<sup>зи</sup>. по<sup>а</sup> о<sup>л</sup>го<sup>м</sup> сѣще» (ПСРЛ, I, стб. 31); «и се Печенѣзи придоша. по внои сторонѣ ѿ Сулы. Володимеръ же поиде противу имъ и срете и на Трубеши ни бродѣ. кде нѣынѣ Переаславль. и ста Володимеръ на сеи сторонѣ. а Печенѣзи на внои. и не смаху си на вну страну. ни вни на сю страну» (ПСРЛ, I, стб. 122); «и ре<sup>а</sup> посмихаша Ісакию. вно ти сѣдитъ вранѣ чернѣи. иди ими и. вн же поклонивъса юму до землѣ. шедъ ѧ ворона и принесе юму предо всѣми повары. и оужасошаса» (ПСРЛ, I, стб. 195)<sup>91</sup>. Эта немотивированная вариативность особенно ясно выступает

<sup>90</sup> Ср. аналогичную трактовку у А. В. Исаченко, который, приведя ряд примеров вариативности, пишет о проблеме стилистического разграничения полногласных и неполногласных вариантов: «Das ganze Problem erweist sich also als ein Pseudoproblem» (Исаченко, I, 124).

<sup>91</sup> Такого рода вариативность обнаруживается и в позднем летописании, так что в данном отношении летописная традиция оказывается вполне устойчивой, ср., например, в Новгородской Второй летописи XVII в. в рамках одной погодной статьи: «Да и крестом воздвизалъ, благославлял крестообразно народ на всѣ четыре стороны», «крестом воздвизалнымъ благословлял крестообразно народ на всѣ четыре страны», «да и крестом воздвизалнымъ благословлял крестообразно народ на всѣ четыре стороны» и «да и крестом въздвизалнымъ благословлял народ на всѣ четыре страны» (ПСРЛ, XXX, 153–154, s. a. 1500).

в тех случаях, когда в разных списках летописи даются разные варианты (ср.: Устюгова 1987, 93–94; Лант 1994). И случаи мотивированного употребления вариантов, и случаи их немотивированного употребления показывают, что мы имеем здесь дело с вариативностью, присущей книжному языку как таковому<sup>92</sup>.

Результатом мотивированного употребления вариантов могла быть постепенная дифференциация значений полногласных и неполногласных форм. Подобное употребление создавало преемственность внутри определенных письменных традиций (например, летописной), в рамках которой одни значения (более конкретные или связанные с местными реалиями) требовали полногласного варианта, тогда как другие значения (более абстрактные или лишенные локальной значимости) требовали варианта неполногласного. Позднее такое распределение могло переосмысляться как лексический факт, и тогда полногласный и неполногласный варианты оказывались противопоставлены по значению. Понятно, что в этом случае данные лексемы переставали восприниматься как вариантные. Особенно отчетливо подобная семантическая дифференциация отразилась в диалектах, которые усваивали неполногласные варианты с большой избирательностью, сужавшей диапазон их значений (см.: Порохова 1988). Переосмысливаемая преемственность, идущая из ранних письменных традиций, нашла прямое отражение и в русском литературном языке Нового времени, зафиксировавшем и сделавшем нормативным уже сложившееся распределение. Это закрепление стало возможным в силу того, что формировавшийся в XVIII в. стандартный язык претендовал на полифункциональность и в силу этого игнорировал те письменные традиции, в которых это распределение отсутствовало (например, стандартные церковнославянские тексты, в которых неполногласные варианты продолжали сохранять весь набор значений).

## 6. «Свое» и «чужое» в отношении к книжному языку

Итак, по мере развития книжной традиции на Руси происходит переосмысление генетически разнородных элементов. В составе восточнославянского извода церковнославянского языка эти элементы образуют своеобразный сплав, составляющие которого не противопоставляются как «свое» и «чужое»

<sup>92</sup> Л. М. Устюгова справедливо отмечает: «Сопоставительное изучение языка шести анализируемых списков ПВЛ дает основание предположить, что сосуществование в пределах тесно связанного контекста книжных и разговорных элементов было исконной особенностью этого памятника» (Устюгова 1987, 95). Нет смысла, однако, видеть в этом, как делает Устюгова, принцип «отбора языковых средств» или тем более один «из приемов литературной отделки текста», «которым руководствовались древнерусские книжники»; автор имеет в виду принцип «соединения в пределах тесно связанного контекста элементов, имеющих в своей структуре явно выраженные черты их различной языковой принадлежности: книжных, связанных с церковнославянской письменной традицией, и разговорных, отражающих особенности живой восточнославянской речи» (там же, 96).

а создают гетерогенность языкового употребления, из которой затем формируются различные письменные традиции. В одних случаях восточнославянские элементы вытесняют инославянские из нормы книжного языка, в других – они оказываются соотнесены с ними и формируют оппозицию книжного и некнижного, в третьих – восточнославянские и инославянские элементы становятся допустимыми вариантами. Во всех этих случаях генетические категории сменяются функциональными, что и лежит в основе восприятия книжного языка как «своего». Это переосмысление имеет кардинальное значение и для дальнейшей судьбы церковнославянского на восточнославянской почве.

В самом деле, процессы переосмысления были основаны на взаимодействии языка книжной традиции и языка живого. Это взаимодействие преобразовало книжный язык, придавая ему специфические черты восточнославянского извода. Наряду с этим процессом шел и другой – естественное развитие живого (разговорного) языка. Это развитие создавало новые противопоставления между языком книжным и языком живым. Воздействие живого языка на книжный (на различные закрепившиеся в нем письменные традиции) не было, как правило, прямым, однако новые противопоставления стимулировали новое восприятие элементов книжного языка, а это восприятие в свой черед постепенно меняло книжный узус. Элементы, образовавшие новые противопоставления, были генетически однородны, однако их взаимодействие реализовало те же функциональные модели, которые сформировались при столкновении инославянского и восточнославянского языкового материала. Выработавшиеся при этом столкновении категории были функциональными, и ничто не препятствовало распространению их на другой по своим генетическим характеристикам языковой материал. Это и было одним из результатов функционального переосмысления генетически разнородных элементов.

Особенно интенсивно новые противопоставления формируются в конце XII века после падения и проявления редуцированных, когда, по мнению Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкого, происходит окончательный распад общеславянского языкового единства (см.: Дурново 1931; Дурново 2000, 624–637; ср. Введение-VIII). Активное изменение живого языка в этот период привело к существенному распадению книжного и живого языка и вызвало новую серию процессов функционального переосмысления, отмечающих новый этап в истории книжного языка. Вместе с тем новые оппозиции расширяли диапазон выбора языковых форм, доступного для восточнославянского книжника; в соответствии с этим возрастали возможности вычленения отдельных относительно независимых письменных традиций: одни из них (например, гимнологическая) могли в большей степени сопротивляться изменениям в узусе, нежели другие (например, агиографическая).

В XIII–XIV вв. формируется так называемая «позднедревнерусская» орфографическая норма, учитывающая результаты падения и проявления редуцированных (ср.: Зализняк 1986, 100; Зализняк 2004а, 22–23; Живов 1984, 262–263). Этот процесс можно рассматривать как адаптацию книжного языка с теми его нормами, которые действовали в XII–XIII вв., к новому состоянию языка разговорного (см. подробнее об этом процессе: Успенский



2002, 150–155; Успенский, III, 161–162; см. также ниже, §§ VI-1, VI-7); в функциональном отношении это развитие ничем не отличается от того, которое имело место при вытеснении *жд* посредством *ж* в рефлексах *\*dj*.

В XIII в. в восточнославянских говорах разрушается категория дв. числа (см.: Зализняк 2004а, 94–95; см. ниже, § VII-2). В результате употребление дв. числа начинает противопоставлять книжный и некнижный языки. И здесь происходит переосмысление, и употребление дв. числа получает статус признака книжности, который может в отдельных письменных традициях входить в механизм пересчета. Данный процесс ближайшим образом напоминает формирование признаков книжности в предшествующий период, например, при соотнесении кратких действительных причастий книжного языка с деепричастными (не согласующимися по роду и числу) образованиями языка некнижного или с предикативными единицами-приложениями. Возможно, в этот же период аорист начинает употребляться как специально книжная форма, т. е. таким же образом, как ранее (по всей видимости) исчезнувший из живого употребления имперфект (см. ниже, § V-6.1).

Видимо, уже после распада общеславянского языкового единства в восточнославянских говорах в склонении членных прилагательных в род. ед. муж. и ср. рода (и вин.=род.) флексия *-ого* окончательно вытесняет флексию *-аго* (Гиппиус 1993, 74; Зализняк 2004а, 120; Кузнецов, Иорданиди, Крысько 2006, 244–249). Возникающая в результате оппозиция *-аго* – *-ого* не включается, однако, в механизм пересчета. Возможная причина этого в том, что правило типа «там, где слышится *-ого*, пишется *-аго*» не могло действовать без лексических ограничений, ср. правильные местоименные формы типа *всякого, иного, единого*, особый статус которых уже не был актуален именно потому, что происходило взаимодействие адъективного и местоименного склонения. Как и в других случаях, когда невозможно сформулировать правило пересчета, окончания *-аго* и *-ого* вступают в отношение вариативности, т. е. переосмысляются как допустимые в рамках книжной нормы варианты; наблюдается, следовательно, такое же переосмысление, как с полногласными и неполногласными лексемами, имеющее следствием в одних случаях немотивированную вариативность, а в других – попытки приписать имеющимся вариантам различное функциональное задание (см.: Гиппиус 1993, 74–76).

Такого же типа процесс создает вариативность, приводящую в дальнейшем к формированию так называемого второго родительного и второго местного падежей. Исходным моментом была вариативность флексий *-а/-у*, *-ѣ/-у*, возникавшая в силу того, что не могло быть сформулировано простое правило, дававшее книжнику возможность установить «правильное» окончание: различие *о-* и *и-*основ перестало быть актуальным фактом, т. е. перестало осознаваться, и поэтому не могло служить критерием для выбора. Выбор окончания мог основываться лишь на лексических параметрах (своего рода «adaptive rules» в понимании Х. Андерсена – Андерсен 1973), а в этом случае, как мы видели, закономерным результатом была вариативность. Отмеченные моменты представляют собой лишь частные явления в разрастании морфологической вариативности (в особенности в рамках именного словоизменения). Во всех этих случаях старые и новые формы пе-

перерабатываются по тем же моделям, по которым ранее преобразовались отношения инославянских и восточнославянских форм.

Переосмысление генетически разнородных элементов в функциональных категориях радикальным образом сказывается и на характере языкового сознания. Оппозиция «родной – неродной» перестает играть какую-либо роль в восприятии книжного языка (мы, впрочем, не знаем, существовало ли такое восприятие на ранних этапах освоения южнославянского наследия). Книжный язык ни в коей мере не воспринимается как чужое наречие, существующее вне зависимости от родного языка (в отличие, скажем, от латыни в славяноязычных странах); он воспринимается как нормированная разновидность родного языка, его обработанная (*cultivata*) форма. Владение книжным языком накладывается на естественные речевые навыки, соединяется с ними, образуя сложный конгломерат речевых навыков письменного языка, конкретный состав которых зависит от социокультурного статуса пишущего.

Элементарные навыки владения книжным языком доступны для всякого, прошедшего обучение грамотности. Эти элементарные навыки связаны с ориентацией на ограниченный корпус образцовых текстов (Часослов и Псалтырь) и механизмом пересчета. Менее элементарные навыки, использовавшиеся книжниками, переписывавшими, редактировавшими и создававшими заново тексты, входящие в древнюю восточнославянскую письменность, были значительно менее распространены; владевшие ими были в основном церковнослужителями или монахами. Группируясь в отдельные комплексы, эти навыки лежали в основе различных письменных традиций, представленных в древней восточнославянской книжности. Языковой опыт (а следовательно, и языковые навыки) монаха, занимавшегося перепиской образцовых текстов и сочинявшего каноны русским святым, отличался, видимо, от языкового опыта клирика, работавшего для князя или епископа и писавшего летопись, официальные акты и т. п. (такого, например, как пономарь Тимофей, который вел новгородскую летопись, писал договорные грамоты и переписывал некоторые богослужебные книги – см. о нем: Гиппиус 1992). Вопрос о том, насколько четкими были подобные разграничения и, соответственно, насколько автономными были различные письменные традиции, требует дополнительного изучения; очевидно, что постепенно происходила консолидация письменных традиций и, скажем, в XVI в. писец приказных документов и писец, копировавший богослужебные книги, осваивали разный круг текстов, ориентировались на разные образцы и формировали разные письменные навыки; насколько четким было такое разграничение, скажем, в XIII в., остается неясным (см. ниже, § III-1). В любом случае во всех традициях работал механизм ориентации на тексты, а в традициях, входивших в круг книжных, также и механизм пересчета.

Механизм пересчета, с которым было связано понимание и порождение книжных текстов, усваивался в ходе (элементарного) образования и поэтому был соотнесен с культурой. Вместе с тем он делал книжный язык доступным. В силу этого книжный язык оказывался естественным средством выражения оригинального творчества, поскольку такое творчество так или иначе было ориентировано на культурную традицию, т. е. тем или иным

образом соотносилось с существующими образцами (ср.: Пиккио 1973; Успенский 2002, 86–89). Установка на «литературность» (книжность), обусловленная соотношением создаваемого текста с образцовыми, автоматически активирует то преобразование родного языка, которое связано с механизмом пересчета.

В условиях средневековой культуры установка на литературность, связанная с ориентацией на образцовые тексты, реализуется прежде всего в сочинениях религиозного характера (в гомилетических, агиографических, литургических текстах и т. д.). Здесь ориентация на образцовые тексты имеет непосредственный характер: новые произведения воспринимаются как своего рода копии с изначально заданных оригиналов (см. ниже, § III-2). Ориентация на культурную традицию свойственна, однако, и произведениям иного рода – летописанию, описательным трактатам, так называемой светской повести. Они также воспринимаются как часть христианской культуры и в этой культуре находят для себя узаконивающий прецедент (такова, видимо, роль византийских хроник для русского летописания; модель, как уже упоминалось [см. § I-4], была иной, но место в христианской культуре соотносилось с византийским прецедентом). Как уже указывалось, ориентация на образцовые тексты имеет здесь не столь непосредственный характер, поскольку знакомство с теми текстами, которые могли бы быть такими образцами (например, славянские переводы византийских хроник), не является обязательным, а заученные наизусть тексты основного корпуса не могут служить достаточным (дающим полный набор нарративно-языковых моделей) образцом. Культурный прецедент обуславливает тем не менее употребление книжного языка, и опосредованная ориентация на образцы имеет место и в данном случае.

Сложнее обстоит дело с юридическими текстами. Если у южных славян государственное юридическое творчество воспринималось, видимо, как часть культурной деятельности и поэтому испытывало достаточно существенное влияние книжного языка (ср. Законник Стефана Душана), то у восточных славян кодификация действующих юридических норм лежит, как кажется, вне культурной сферы (см. ниже, § III-6). Поэтому на Руси в юридических текстах преемственно употребляется некнижный (деловой) язык (ср. язык судебных актов 1497 и 1550 гг. – ср.: Живов 1988а), и существующие образцовые тексты (византийские юридические тексты в славянском переводе) в плане языка не оказывают на местную традицию существенного влияния.

Понятно, что преобразованный таким образом родной язык продолжает восприниматься в качестве «своего». Вместе с тем в качестве «своего» воспринимается и язык образцовых текстов, которые переписывались, заучивались наизусть и служили моделью для оригинального творчества. Эти тексты обуславливают престиж книжного языка и придают особую значимость всей сфере его применения. Таким образом, в русском языковом сознании книжный и некнижный языки выступают первоначально как взаимодополняющие регистры единой коммуникативной системы, причем применение книжного регистра («ввод в действие» механизма пересчета)

определяется принадлежностью текста к сфере культуры, к сфере широко понимаемой христианской традиции.

Итак, процесс формирования нормы книжного языка – это, по существу, процесс функционального переосмысления того гетерогенного лингвистического материала, который находился в распоряжении восточнославянского книжника в силу того, что в его языковой опыт входили элементы южнославянского, западнославянского и восточнославянского происхождения, равно как и элементы, отражающие несходства восточнославянских диалектов в пространстве и их изменения во времени. Процесс этого функционального переосмысления запечатлен в обширном корпусе дошедших до нас письменных источников. Само по себе переосмысление и есть изменение в узусе, обуславливающее его гетерогенность. Эти изменения постепенны и отражаются в текстах с определенной непоследовательностью. Письменные источники не дают ясной картины, если рассматриваются как единый корпус, без разграничения их по типу, характеру отношения к предшествующей письменности и времени написания. Те три способа переосмысления, которые были разобраны выше, условно могут быть представлены следующим образом:

	инославянское	восточнославянское	книжные регистры
<b>Адаптация</b>	А	В	В
<b>Признак книжности</b>	А	В	А
<b>Вариативность</b>	А	В	А/В

Под *А* мы понимаем здесь элемент инославянского происхождения (например, те элементы, которые мы можем наблюдать в старославянских памятниках), под *В* – соответствующий элемент в восточнославянских диалектах. Если при наличии такого соответствия в норму книжного языка попадает *В*, мы имеем дело с адаптацией, если *А* – с признаком книжности, а если, наконец, оба эти элемента *А/В* – то с вариативностью.

Это четкое распределение, однако, запечатлевается в памятниках лишь опосредованным образом. В процессе адаптации, т. е. замены  $A \rightarrow B$ , памятники с *А* не сменяются в одночасье памятниками с *В*, но постепенно эволюционируют в эту сторону. Практически мы обнаружим слой древнейших источников с *А* (возможно, лишь с окказиональными вкраплениями *В*), следующий слой источников, в которых *А* и *В* будут в разной пропорции смешаны, и, наконец, еще более поздний слой, где почти исключительно будет встречаться *В*, тогда как *А* появляется лишь в виде окказионального вкрапления. При этом пропорции употребления *А* и *В* будут зависеть не только от датировки рукописи, но и от типа памятника (например, нормативные соотношения раньше обнаруживаются в образцовых богослужебных текстах и позже в сложных воспроизводимых текстах, предназначен-

ных для келейного употребления). Именно так обстоит, например, дело с процессом вытеснения *жд* → *ж* в рефлексах *\*dj* (Живов 2008а).

Равным образом и при становлении признака книжности *В* не исключается из книжных текстов с абсолютной последовательностью; *В* появляется в рукописях окказионально, так что отдельные примеры с *В* можно рассматривать как отступления от нормы. В древнейшем слое картина может быть почти такой же, как и с элементами, переживающими адаптацию. Например, в рефлексах *\*tj* наряду с доминирующим *щ* (*шт*) будет появляться окказиональное *ч*. Таким образом, одна рукопись сама по себе не позволяет увидеть, имеем ли мы дело с адаптацией, признаком книжности или вариативностью. Только анализ достаточно большого корпуса рукописей дает возможность заключить, какой именно процесс затрагивает данные элементы. Например, анализируя соотношение *щ* и *ч* в рефлексах *\*tj*, мы обнаружим, что, в отличие от *ж* в рефлексах *\*dj*, пропорция *ч* не возрастает, употребление *ч* остается окказиональным и колебания в пропорции зависят не от хронологического слоя, а от типа текста (скажем, в оригинальных менее нормированных текстах, таких как летописи, *ч* будет появляться чаще, в воспроизводимых образцовых текстах – лишь в единичных случаях, и т. д.). Следовательно, только определенным образом структурировав пространство древней восточнославянской письменности и расчленив его на тексты разных типов, мы можем получить данные, позволяющие реконструировать картину функционального переосмысления генетически разнородных элементов, т. е. восстановить процесс формирования регистров книжного языка. Обзору пространства средневековой восточнославянской письменности и его членения на различные письменные традиции и будет посвящена следующая глава книги.

## ГЛАВА III. ЧЛЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДРЕВНЕЙ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

### 1. Общие замечания

Как уже говорилось выше, в письменном языке действуют механизмы преемственности, весьма сходные с теми, которые действуют в языке устном. Функциональные отношения в письменном языке определяются преемственностью традиций – от читателя к писателю. Письменный язык усваивается не «вообще», в своей нарастленной совокупности, но в сочетании с социокультурными параметрами отдельных разновидностей письменного узуса (регистров). Очевидно, все множество читаемого материала для человека древней Руси распадалось каким-то образом на определенные классы (как и у нас сейчас: мы ждем разного языка от газеты, от комедии и от философского трактата). Не учитывая порядка этого разнообразия, мы не можем определить статус отдельных языковых элементов: употребляются ли они как специфически книжные или как специфически некнижные, как допустимые варианты или как варианты, главенствующие для определенной письменной традиции. Соответственно, оказывается невозможным и систематическое описание этих элементов, поскольку системность – в той мере, в которой она присутствует в узусе, представляет собой не «всеобщую» системность, а взаимодействие различных элементов в рамках одного из регистров (в рамках компартиментализованного узуса). В силу этого интерпретация языковых элементов зависит от интерпретации памятников. Можно вспомнить в этой связи полемику С. П. Обнорского с А. А. Шахматовым (ср. выше, Введение-VI); главным аргументом Обнорского был пересмотр сравнительной значимости памятников: если Шахматов в качестве основных рассматривал важнейшие религиозные тексты в славянском переводе, то Обнорский вполне анахронистическим образом к числу основных текстов отнес оригинальные восточнославянские сочинения – Русскую Правду, Слово о полку Игореве, Поучение Владимира Мономаха и Моление Даниила Заточника (Обнорский 1946; ср. об этом: Успенский 2002, 76–80).

От того, как членится пространство письменности, зависят наши представления о наборе регистров, имеющих в письменности данного периода, о характере нормы и способах ее поддержания. Скажем, если считать, как Н. А. Мещерский, бытовые берестяные грамоты памятниками литера-

турного языка древней Руси, написанными «на том же языке», что и канонические памятники (см.: Мещерский 19586/Мещерский 1995, 88–107), то разнообразие видов литературных текстов (Остромирово евангелие наряду с бытовым письмом) окажется столь большим, что о единой норме языка или о единой традиции говорить невозможно. Отсюда может быть сделан лишь вывод, что письменному языку в древней Руси нормативность вообще не была присуща (как и полагает, например, Д. С. Ворт – Ворт 1978; Ворт 2006, 165–166) и в употреблении разнородных языковых элементов царил полный хаос. Следовательно, перед нами стоит вопрос: какие тексты соответствуют каким нормам, какие тексты образуют собственные традиции (регистры), одна ли существует норма или несколько (ср. подобное утверждение в другой работе Д. С. Ворты – Ворта 1975; Ворт 2006, 143–144), какова степень соблюдения нормы в разных текстах, существуют ли ненормированные тексты. Эти вопросы упираются в проблемы более глубокого уровня: каковы механизмы воспроизведения и порождения, действующие в разных текстах, как структурирован письменный узус в разные периоды истории языка, каково культурно-языковое сознание, проявляющееся в членении пространства письменности.

В самом деле, характер узуса очевидным образом зависит от той коммуникативной ситуации, в которой он реализуется. Люди говорят одним образом, когда они обсуждают бытовые проблемы в семейном кругу, и другим образом, когда их речь носит публичный характер или, скажем, когда они общаются с высшими силами (молятся, читают заговоры и т. д.). Совершенно аналогично, они по-разному пишут, когда речь идет о частном письме, официальной бумаге, газетной статье, научном трактате, романе, надписи на заборе и т. п. Носители языка в этих разнообразных ситуациях не приспособливают к ним некий единый узус, а воспроизводят те коммуникативные навыки, которые ассоциируются с данной ситуацией. Это означает, что наследуемый языковой опыт содержит не только совокупность собственно лингвистических элементов, но и соотносительность этих элементов с набором коммуникативных ситуаций. Социально адаптированный взрослый носитель языка знает (и знает в силу социального обучения, т. е. по наследству, в качестве элемента коллективной памяти), что публичному выступлению присущ иной узус, нежели, скажем, любовному письму, и действует в соответствии с этим знанием. Усвоение языкового опыта происходит применительно к ситуации; в силу этого узус не представляет собою единства, но расчленен на отдельные связанные с определенными коммуникативными ситуациями традиции, в рамках которых он и воспроизводится.

Насколько оформлены эти традиции, до какой степени они поддаются систематическому описанию – это один из основных вопросов, возникающих в рамках развиваемого нами подхода к языковой деятельности. Этот вопрос явно недостаточно изучен, и априорного ответа на него очевидно не существует. Отдельным исследователям множество подобных традиций представляется размытым, плохо упорядоченным, образующим совершенно несхожие конфигурации у разных индивидов и потому не допускающим «полной объективации» их описания (см.: Гаспаров 1996, 99). Б. М. Гаспаров пишет: «“Знание” каких бы то ни было компонентов языка неотделимо от

житейского, интеллектуального, эмоционального опыта субъекта, в процессе которого <следует, видимо, понимать «в процессе усвоения которого» – В. Ж.> это знание им приобреталось и пускалось в ход. Оно укоренено в переплетениях ассоциативных ходов – словесных, интонационно-жестовых, образных, сюжетных, – конфигурации которых неотделимы от личности субъекта» (там же). При таком понимании невозможно говорить о скольконибудь определенных традициях, но лишь о бесконечном множестве индивидуальных случаев, не подчиняющихся никакому «централизованному подходу». «Неопределенность условий, при которых протекает эта ассоциативная работа, – утверждает Гаспаров, – возможность бесконечного расширения и перестраивания мобилизуемого поля ассоциаций как нельзя лучше соответствует открытой, бесконечной множественности задач, возникающих перед говорящими в их пользовании языком» (там же, 98).

Человеку, однако, свойственно типизировать и классифицировать свой опыт, в том числе и опыт языковой. Из этого не следует, конечно, что он создает для своих повседневных нужд абстрактные модели языка, которыми была так увлечена структурная и генеративная лингвистика. Правдоподобно, однако, что коммуникативные ситуации распадаются для него на ряд дискретных типов, причем набор этих типов оказывается одним из важнейших признаков культуры данного общества в данный исторический период. Каждый из этих типов соотносится с определенной языковой традицией, с определенной разновидностью языка (регистром); множество регистров, которыми располагает языковая коллектив, обнаруживает важнейший аспект социальной природы языка, предполагающей структурирование языкового опыта его носителей (Живов и Тимберлейк 1997, 6). В публичной сфере в эпоху средневековья и раннего Нового времени, т. е. в период, который сейчас рассматривается, типизация коммуникативных ситуаций носит особенно выраженный характер, поскольку формы культурной жизни воспринимаются как бесконечно повторяющиеся (циклические воспроизводимые), а неповторимые черты индивидуальных культурных ситуаций, равно как и возникающих в них текстов, культурным сознанием по большей части игнорируются. Коммуникативный опыт носителей складывается в определенные традиции. Понятно, что подобные традиции возникают в силу того, что – как и вообще в письменном языке – опыт чтения формирует навыки письма. Относительная обособленность традиции предполагает расчлененность круга чтения – расчлененность историко-культурную и расчлененность социальную.

Под историко-культурной расчлененностью я подразумеваю самый факт осознания отдельной линии преемственности как относительно автономной традиции. Для современных стандартных языков такая расчлененность представляется сама собою разумеющейся: имею в виду то, что в русской языковедческой традиции описывается понятием функциональных стилей. Автор газетной статьи ориентируется на языковые традиции газетной публицистики, а не, скажем, на традиции научных трудов или беллетристики. Он явным образом осознает лингвистическую автономность данного типа текстов, и эта автономность до определенной степени институализована: существуют школы журналистики, в которых соответствующему узусу



обучают, редакторы, которые устраняют наиболее явные отступления от сложившейся традиции, и т. д. В средние века ситуация явно была иной. Вопрос лишь в том, насколько иной – не имеющей никакого сходства или все же реализующей подобные же принципы, но лишь с иными составляющими – *mutatis mutandis*.

Под социальной расчлененностью я подразумеваю расчлененность круга пишущих и читающих, когда ряд текстов создается внутри определенной социальной группы и удовлетворяет потребности определенной социальной группы. Если вновь обратиться к современной культурно-языковой ситуации, такая расчлененность представляется естественной. Скажем, канцелярская продукция создается чиновниками, читается чиновниками и может быть не вполне понятна (в том числе и на лингвистическом уровне) для постороннего человека. Аналогичным образом обстоит дело и с продукцией научной: для внешнего потребления она нуждается в переводе, что и осуществляется так называемой научно-популярной литературой. И в этом случае сопоставимость современной ситуации со средневековой заслуживает специального внимания. Оба эти фактора – динамика историко-культурной расчлененности и динамика социальной расчлененности – имеют кардинальное значение для формирования письменных традиций, того фрагментированного узуса, который мы предлагаем описывать с помощью понятия регистров письменного языка<sup>93</sup>.

Об одном членении пространства письменности уже говорилось выше: речь шла об оппозиции воспроизводимых текстов и оригинальных текстов. Это членение не абсолютно, поскольку текст мог быть создан на Руси, а затем воспроизводиться; поэтому для носителей оно не принципиально и может играть роль лишь в том случае, когда локальное происхождение очевидно для переписывающего текст книжника из внутренних характеристик текста и связывается с его культурным статусом. Этот фактор, возможно, имеет значение для летописной письменной традиции, но никак не сказывается, например, на гомилетике, в рамках которой тексты восточнославянского происхождения не отличаются от южнославянских оригинальных и переводных произведений; именно в силу этого состав восточнославянской продукции остается лишь отчасти известным: у средневекового книжника было еще меньше материала для определения авторства, чем у современ-

<sup>93</sup> Выше уже приводились слова И. Шевченко о поздневизантийской агиографической литературе «высокого стилистического уровня» (см. § I-2). Относительно этих текстов Шевченко замечает, что они производятся представителями высшего класса, адресуются представителям высшего класса и обычно повествуют о сделавшихся святыми представителях высшего класса. Для понимания этих текстов нужна была специфическая гуманитарная образованность, которая служила символическим капиталом для представителей высшего класса; вместе с тем для представителей низших классов, лишенных этой образованности, данные агиографические тексты могли быть плохо понятны. В восточнославянском средневековье такого рода литературной традиции явно не было; и социальная, и историко-культурная расчлененность письменности у славян несомненно была менее выраженной, чем в Византии. Однако динамическое развитие имело место и здесь, и в XVII в., в начале Нового времени, Московская Русь обладает достаточно расчлененным пространством письменности.

ного исследователя. Для описания, тем не менее, воспроизводимость представляется важным моментом, так как в воспроизводимых текстах не отражаются специфически восточнославянские черты механизма порождения книжных текстов. Все образцовые тексты (прежде всего тексты, которые выучивались наизусть, – Часослов, Псалтырь, а также Евангелие и Апостол) относятся к числу воспроизводимых; в силу этого они лишены каких-либо черт гибридности, связанных с интерференцией инородного языкового опыта носителя.

Образцовые тексты задают те коммуникативные (риторические) стратегии, которым следуют пишущие, когда они работают в аналогичной коммуникативной ситуации – когда они создают тексты, предназначенные для публичного чтения (в первую очередь литургического) и для всеобщего наизидания, тексты, обладающие религиозной значимостью. Эти коммуникативные стратегии определяют прежде всего синтаксическое построение текстов, тот синтаксис логического развертывания, который характеризует образцовые тексты и становится основной приметой всех книжных текстов (текстов, ориентированных на образцовые). Характер синтаксического построения является важнейшим результатом механизма ориентации на образцы. Вместе с тем установка на следование образцам (на «книжность») при порождении оригинальных текстов включает механизм пересчета: как уже указывалось (§ II-3), пересчитывают для того, чтобы было похоже на образцы.

Отсюда вытекает следующее важное членение: тексты, порождаемые с помощью указанных механизмов, vs. тексты, порождаемые без их помощи (под образцами имею сейчас в виду исключительно образцовые тексты, т. е. тексты «основного корпуса»). Отсюда может быть определена сфера книжного (церковнославянского) языка. К ней относятся образцовые тексты (тексты основного корпуса), прочие воспроизводимые тексты и те оригинальные, порождение которых обеспечивалось механизмами ориентации на образцы и пересчета. Иначе говоря, книжные тексты – это образцовые тексты и вместе с тем все те тексты, которые на них так или иначе ориентированы; напомним, что, как уже говорилось выше, механизм пересчета также осуществляет своего рода ориентацию на образцовые тексты, уподобляя им создаваемые вновь тексты по ограниченному набору формальных характеристик. Переформулируя это определение, можно также сказать, что книжные тексты – это образцовые тексты и все те тексты, которые совпадают с ними по наличию признаков книжности.

Внутри этого множества можно выделять, как уже было сказано, разновидности, определяемые тем, в каком отношении находились в них механизм ориентации на образцы и механизм пересчета. Если их создание обеспечивалось преимущественно механизмом ориентации на тексты, мы имеем дело со стандартным регистром книжного языка. Если, напротив, главную роль в порождении текста играл механизм пересчета, созданный таким образом текст принадлежал к гибриднему регистру. Понятно, что граница между двумя этими регистрами остается нечеткой, однако постепенно эти две традиции консолидируются, и в XV–XVII вв. тексты могут быть достаточно однозначно отнесены к одной из них. Эту консолидацию,

видимо, следует соотносить с расчленением круга чтения московских книжников. Два указанных регистра выделяются среди оригинальных, а не воспроизводимых текстов. Нужно отметить при этом, что в результате их консолидации они могут выступать как относительно автономные системы, так что становится возможной переделка текста из одного регистра в другой (ср. приводившийся выше, § II-5, пример Жития Михаила Клопского). Становится возможным и использование гибридного регистра в переводных текстах, когда они по своим функциональным характеристикам соотносятся не с основным корпусом образцовых текстов, а с текстами гибридной традиции (имею в виду, например, переводы историографических сочинений, таких как Хроника Стрыйковского, ср.: Ватсон 2012).

Сфере книжного языка противостоит сфера некнижного языка. Она включает оригинальные тексты, при создании которых не действовал механизм пересчета и отсутствовала ориентация на тексты основного корпуса. Конечно, ориентация на образцы была свойственна и этим текстам, поскольку это вообще свойственно законченному письменному тексту. Новые договоры писались так же, как были написаны предшествующие; завещания и купчие обладали формуляром, лишь очень незначительно менявшимся со временем; младшее поколение писало частные письма, научившись этому у отцов и матерей. У некнижных текстов, однако, не было единого образца (основного корпуса), задававшего представление о языковой правильности. Некнижные тексты должны были быть правильно составлены, но эта правильность относилась к области юридических формул или эпистолярного этикета, но не к орфографии или морфологии. Разные списки договора Смоленска с Готландом демонстрируют разную орфографию, но на их правильности, т. е. на их юридической достоверности, это никак не отражалось. Для некнижных текстов вообще не стояла проблема правильного воспроизведения, т. е. та проблема, которая, как говорилось выше, была центральной для книжных текстов. В том смысле, в котором мы говорили о воспроизводимых книжных текстах, воспроизводимых некнижных вообще нет, т. е. нет некнижных инославянских текстов, осваивавшихся восточнославянской письменностью. Созданные у восточных славян некнижные тексты, конечно, могли воспроизводиться, например, могло быть несколько копий одного договора или более поздний договор мог в значительной своей части повторять текст предшествующего соглашения. Эти тексты, однако, не были предназначены для общественного потребления, не создавали охраняемой традиции, отступление от которой грозит повреждением веры, и потому языковая неупорядоченность не была для них значимой, а изменения при переписке не становились предметом культурной рефлексии<sup>94</sup>. Это не означает, однако, что в некнижных текстах отсутствует какая-либо нормированность.

<sup>94</sup> Показателен в этом отношении указ Алексея Михайловича 1675 г., запрещающий рассматривать как оскорбление колебания в написании личных имен в деловых текстах. В указе говорилось: «Великий Государь <...> указал и бояре приговорили: будетъ кто въ человитьѣ своємъ напишетъ въ чьемъ имени или въ прозвищѣ не зная правописания вмѣсто *о* а или вмѣсто *а* о, или вмѣсто *ъ* ъ, или вмѣсто *ь* е, или вмѣсто *и* і, или вмѣсто *о* у и

Книжные писцы, как мы видели, получали профессиональное образование, создававшее прежде всего умение пользоваться стандартной (книжной) орфографией, и это можно рассматривать как элемент социальной расчлененности пространства письменности. Это умение, однако, они могли применять и в том случае, когда писали некнижные тексты. Использование данного умения в некнижных текстах не было императивным, так что можно было выбирать между книжным и некнижным правописанием. Выбор, видимо, зависел от нескольких факторов. Важнейшим, надо думать, был статус создаваемого текста. Если текст был официальным, он, как правило, писался в стандартной орфографии. Так, в частности, написано большинство сохранившихся договорных грамот, равно как и все существующие списки Русской Правды, дошедшей до нас исключительно в рукописях книжного содержания (Кормчих, Мерилах праведных, летописных сводах). Однако такие тексты могли быть написаны и в бытовой системе письма (как показывает ряд списков Смоленской грамоты), что, скорее всего, было обусловлено неуверенностью писца в своих способностях написать нестандартный текст книжным письмом. Нужно думать, однако, что хорошие писцы, такие, например, как пономарь Тимофей, ведший в середине XIII в. Новгородскую летопись, переписывавший книжные тексты и вместе с тем написавший три договора Новгорода с тверским великим князем Ярославом Ярославичем 1264 г. (см.: Гиппиус 1992), пользовались книжной орфографией во всех тех случаях, когда создаваемый текст обладал атрибутом публичности. Вместе с тем бытовые тексты могли писаться некнижным письмом не только из-за неумения автора писать по-книжному, но и из соображений этикета. На значимость таких соображений указывает, как кажется, берестяная грамота № 724, одна сторона которой содержит официальное донесение и написана книжным письмом, а другая – частное сообщение, написанное в бытовой системе (обе стороны грамоты написаны одним лицом и, видимо, одновременно – см. об этом далее). Таким образом, некнижные тексты могли быть нормализованными и ненормализованными, и именно это определяет их основное членение. Книжные тексты, как правило, были нормализованными.

Предложенную классификацию можно было бы обобщить в следующей ниже таблице. Эта таблица дает схематическое представление о членении пространства древней восточнославянской письменности, хотя, видимо, для фиксации всех мыслимых возможностей она должна была бы быть не двухмерной, а трехмерной. Так, скажем, в ней не предусмотрены тексты, являющиеся одновременно книжными, оригинальными и ненормализованными, хотя вполне можно представить себе подобный текст, например, ле-

---

вмѣсто у о и инья въ письмахъ нарѣчѣния подобныя тѣмъ, по природѣ тѣхъ городовъ, гдѣ кто родился и по обыкноствамъ своимъ говорить и писать извыкъ, того въ безчестье не ставить и судовъ въ томъ не давать и не розыскивать» (ПСЗ, I, № 597, с. 1000 от 15 марта 1675 г.). Конечно, это позднее свидетельство – от того времени, когда рефлексия стала распространяться на все новые и новые сферы жизни, однако оно все равно существенно: деловая традиция оказывается явно противопоставленной традициям духовной письменности, которая в это же самое время подвергается усиленному нормированию.

топись, переписанную лицом, не владеющим книжной системой письма. Практически такие тексты нам неизвестны, и поэтому данным случаем можно пренебречь.

	Нормализованные				Ненормализованные
	Воспроизводимые		Оригинальные		
	Основной корпус	Неосновной корпус	Стандартные	Гибридные	
Книжные (содержат признаки книжности)	Часослов. Псалтырь. Евангелия. Апостол. Богослужебные тексты.	Южнославянские переводы византийской литературы типа хроник, житий, апокрифов, Александрии.	Русские богослужебные тексты, проповеди, отдельные жития.	Летописи, отдельные жития.	Новгородская берестяная грамота № 419 (богослужебный текст).
Некнижные	Юридические тексты. Договорные грамоты. Частные акты.				Бытовые берестяные грамоты.

Таблица создает впечатление бинарности членящих пространство письменности признаков; в некоторых случаях это впечатление вряд ли оправданно: мы имеем дело не с бинарными, а со скалярными противопоставлениями. Так, однозначной границы между образцовыми и необразцовыми текстами (текстами основного и неосновного корпуса) явно не существует, речь может идти лишь о степени образцовости. Наверху этой шкалы располагаются тексты, выучиваемые наизусть (Часослов и Псалтырь), нижнюю часть занимают произведения, редко переписываемые и с трудом воспринимаемые книжниками (например, Слова Григория Богослова или Ареопagitики в переводе инока Исая), тогда как между этими полюсами располагается существенная часть книжного фонда: от Евангелий, Апостола и основных богослужбных текстов, хорошо известных любому книжнику, а порой и выученных им наизусть, к текстам столь же хорошо известным, но менее важным (например, Пролог, Златоуст, Златоструй) и так вплоть до текстов, известных лишь ограниченному числу книжников, не слишком распространенных и в силу этого не выполняющих нормоустанавливающей функции (например, Пандекты Антиоха) (ср. о подобной иерархии: Толстой 1988, 164–173). Точно так же не представляется бинарной характеристикой и нормализованность, причем степень нормализованности находится в зависимости не только от профессиональной выучки писца, но и – возможно, опосредованно – от характера текста. Скажем, княжеские договоры написаны обычно более тщательно, чем частные акты, и это может быть резуль-

татом не только того, что договоры писали более профессиональные писцы, но и может зависеть от статуса документа. Как бы то ни было, общее представление о членении пространства древней восточнославянской письменности приведенная таблица все же дает, позволяя нам перейти к более подробному анализу отдельных ее составляющих.

## **2. Структурирование области книжных текстов. Стандартный церковнославянский**

Членение пространства письменности на книжные и некнижные тексты можно рассматривать как исходное, присутствующее едва ли не с самого момента появления письменности у восточных славян. Оно предстает в качестве момента изначальной историко-культурной расчлененности, хотя на первых порах не соотносится с расчлененностью социологической. Действительно, на первых порах грамотность была достоянием элиты и немногочисленного до определенного момента духовенства, так что первоначально, видимо, один и тот же круг вовлечен и в производство и в потребление как книжных, так и некнижных текстов. Можно сказать, что членение на книжные и некнижные тексты непосредственно определялось историко-культурной установкой пишущего, и эта установка обуславливала выбор лингвистической стратегии: логического развертывания или ситуационного построения текста. Установка задавалась прежде всего коммуникативными параметрами текста. Если текст был обращен к социуму в целом и имел целью его назидание или вообще религиозное совершенствование любого рода, императивным оказывалось следование книжной (церковнославянской) традиции, что и определяло лингвистическую стратегию; если, напротив, текст был обращен к конкретному адресату и содержал частную информацию или информацию, касающуюся юридических обязательств или юридического статуса тех или иных лиц, преемственности по отношению к книжной традиции не требовалось, и изложение оказывалось некнижным<sup>95</sup>.

Выше говорилось об ориентации на образцы как механизме порождения оригинальных текстов. Этот принцип, однако, можно рассматривать как более широкий – как принцип организации книжной (литературной) деятельности и вместе с тем как принцип организации литературного восприя-

---

<sup>95</sup> Любые попытки однозначно описать прагматические параметры данного типа требуют определенных, хотя и достаточно очевидных оговорок. Например, книжные тексты могут быть формально обращены к конкретному лицу (как, скажем, Поучение Владимира Мономаха своим детям или Послание Климента Смолятича Фоме), но имплицитно адресоваться более широкой аудитории (писаться для всеобщего сведения). Социум-адресат книжного текста может быть лишь ограниченной частью общества в целом (так, скажем, монашеские уставы предназначены прежде всего для монахов), однако в этом случае вычленение адресата основано на религиозном критерии, и это отличает подобные тексты от Русской Правды или договорных грамот; последние имеют публичный характер, обращены при этом к части общества (административному аппарату), но часть эта выделяется по критериям, не имеющим отношения к культурным ценностям общества. Можно представить себе и иные казусы этого рода.

тия. В риторической традиции, начиная с античности, утверждается принцип подражания (*imitatio*), предполагающий подражание лучшим (образцовым) авторам (см.: Гмелин 1932; Пигман 1980; ср. также: Курциус 1984, 358). Если совместить этот принцип с литературной анонимностью, т. е. изъять категорию автора, мы и получим принцип ориентации на образцы. Конкретным выражением этого принципа в древнерусской литературе может служить построение отдельных текстов по образцу текстов византийского происхождения, своего рода нанизывание текстов на эталон. Так, скажем, Корсунская легенда в составе ПВЛ имеет ряд сходств с рассказом об обращении Константина Великого в Хронике Георгия Амартола: «И Константин, и Владимир поражены болезнью пред крещением, и исцеляются от нее при совершении таинства» (Сухомлинов 1908, 105); эта привязка к образцу, указывающая на преемственность данных текстов, не исключает, конечно, различий в развертывании сюжета, приспособленных к разным задачам повествователей (там же, 105–107).

Наиболее явный отпечаток принципа воспроизведения образцов можно видеть в оригинальных сочинениях, которые получают в рукописной традиции наименование известных переводных сочинений. Например, «в древнерусской литературе известно оригинальное произведение под заглавием “Премудрость Иисуса, сына Сирахова” или собрание загадок под названием “Премудрость царя Соломона”. Это оригинальные русские тексты, авторами которых явно не могли быть Иисус, сын Сираха, или царь Соломон» (Успенский 2002, 87).

У восточных славян чрезвычайное распространение (существенно большее, кажется, чем в Византии, хотя и там это явление хорошо известно) получает приписывание отдельных текстов назидательного содержания (проповедей, кратких поучений) наиболее почитаемым отцам церкви, пролавившимся своим учительством. Так, Е. Э. Гранстрем, исследовавшая восточнославянские календарные и некалендарные сборники до XV в. (Златоустуй, Торжественник, Златоуст и т. д.), отмечает, что 287 бесед в них приписывается св. Иоанну Златоусту (Гранстрем 1974). Происхождение 65 из этих бесед не выяснено; 222 беседы, происхождение которых известно, распределяются следующим образом:

Подлинные сочинения Иоанна Златоуста	6
Слова, приписанные Иоанну Златоусту по сходству имен или на основании иных подобных недоразумений	8
Подложные сочинения Иоанна Златоуста, известные в греческой письменности	87
Выборки из сочинений Иоанна Златоуста и их пересказы	73
Сочинения русских и болгарских авторов, приписываемых в рукописях Иоанну Златоусту	48

Среди восточнославянских и болгарских авторов, произведения которых приписаны Златоусту, – Иоанн экзарх болгарский, Кирилл I Ростовский

(епископ ростовский с 1231 г.), Кирилл Туровский, Климент Охридский, Серапион Владимирский. Этим авторам принадлежит 13 из указанных выше 48 слов; славянские авторы остальных 35 слов остаются неизвестными (ср. еще некоторые дополнения и поправки: Гранстрем 1980; Гранстрем и др. 1998). Приписывание слов Иоанну Златоусту происходит не только в силу того, что он почитается как наиболее красноречивый христианский писатель, но и в силу того, что его слова представляют собой образец, на который ориентированы другие произведения этого рода. Авторы приписываемых Златоусту проповедей не выдают себя за Златоуста, а как бы отдают ему свои творения, рассматривая их как своего рода копии с совершенного подлинника.

Такого рода отождествление с образцом было свойственно, конечно, и византийской духовной литературе, но в ней оно играло лишь второстепенную роль – большая часть корпуса духовной литературы была авторской (включая сюда и те случаи, когда авторство было мнимым, как это имеет место с Псевдо-Дионисием Ареопагитом или Псевдо-Макарием Великим). В большинстве случаев авторы (в том числе и мнимые) выступали как вполне индивидуальные создатели произведений, а не как условное наименование образца. Для восточных славян характерно именно такое условное восприятие авторства. Показательно, что один и тот же текст может быть надписан именами разных авторов, что отчасти зависит от помещения текста в тот или иной сборник, а отчасти от актуализации той или иной стороны содержания текста (например, для проповеди праздничной основным образцом является Иоанн Златоуст, для проповеди, напоминающей о загробных муках, – Ефрем Сирин). Так, например, гомилия «О умилении души» (Нач.: *Ох, душе, увы, ужико, о горе супружница моя, о чем первии ответ воздаси*) читается в четверг третьей недели Великого Поста и здесь надписана именем Иоанна Златоуста, в понедельник Светлой седмицы и здесь надписана именем Евагрия мниха, в воскресенье 32-й недели после недели всех святых и здесь дается как слово «святых отец» и, наконец, без календарной приуроченности и с надписанием имени св. Ефрема (Черторицкая 1994, 178, 346, 501, 514–515).

Когда титульный автор оказывается условным обозначением типа литературного произведения, это означает, что словесность структурирована не по (гуманистическому) принципу авторства, а по принципу моделей. Такое структурирование предполагает и определенный тип функционирования текстов. Эти особенности были в свое время отмечены и концептуализированы Р. Пиккио. Пиккио писал:

The Holy Writ was the supreme model. One should not confuse, however, “biblical themes” with the *literary patterns* which developed through the imitation of the *biblical model*. Most of the works of medieval Orthodox Slavic literature would be incomprehensible to any reader unfamiliar with the “lexicalization” of biblical examples... This use of biblical words, images, and stories, allegories... refers to the “vocabulary” of the language of literature. Literary patterns, instead, apply to its “syntactical” structure...

Imitation of the Bible resulted in a structural conception of each literary work as a component of a larger whole. Following the biblical



model, literature was conceived as an *open book*. The idea of adding new pages to the pre-existing body of “true texts”, i. e., to the general book of truth in which only inspired words could be included, required a moral justification. From an intransigent Christian point of view, this justification could be only the defense and the preservation of justice-truth (*pravda*)... The Orthodox Slavic writer was an “author” only in the primeval, etymological sense of our Latin word (*auctor* from *augeo* ‘to augment, to increase’). He was supposed to record factual or spiritual truths as they were revealed to him by any aspect of the phenomenological experience of human life. This “recording” might refer to either events or ideas, and required critical evaluation in both the selection of the material and its description... Given this conception of the art of writing, the function of authorship was much less relevant than that of the work itself. Literature as an “open book” to which new pages could be added by any inspired (= qualified) witness of the providential story of mankind became in this way an ideological source of patterns affecting the whole system of literary typology (Пиккио 1973, 446–448).

Такой взгляд на литературу православного славянства является до определенной степени упрощением и нуждается в оговорках, поскольку в нем преувеличивается значение так называемой «открытой текстологической традиции». Однако он несомненно выделяет важные элементы культурного сознания, отличающие функционирование литературы у православных славян от аналогичных феноменов Западного мира или Византии. Реконструированная Пиккио концепция литературного произведения могла осознаться восточнославянскими книжниками и даже довольно отчетливо вербализоваться. Как говорится в одном из списков Моления Даниила Заточника (Толстовском – РНБ, собр. Ф. А. Толстого, Отд. III, № 73), «Азъ бо, княже господине, ни за море ходилъ, ни от философов научился, но быхъ яко падая пчела по различнымъ цветомъ и совокупляя яко медвеныи сотъ; тако и азъ, по многимъ книгамъ собирая сладость словесную и разумъ, и совокупихъ яко мѣхъ воды морьския. А не от своего разума, но от Божіа промысла сін сѣть словеса» (Зарубин 1932, 32)<sup>96</sup>. Автор в этом сознании занимает явно подчиненное положение, поскольку основное содержание текста, та «правда», которая главенствует в нем, принадлежит не сочинителю данной словесной цепочки, а «Божиему промыслу», стоящему над сочинителем. В силу этого членение литературного пространства осуществляется по принципу моделей,

<sup>96</sup> Само по себе сравнение компилятивного литературного труда (подражания) с собиранием меда имеет античные корни, появляясь еще у Сенеки. Этот топос, однако, может получать весьма разные интерпретации. В ренессансной литературе нередко подчеркивается, что собирание должно сопровождаться перевариванием и именно в этом случае результатом будет мед нового литературного произведения (например, так использует это сравнение Петрарка) (см.: Штакельберг 1956; Пигман 1980, 4–11). В процитированном пассаже пчела ничего переваривать и производить не должна, она лишь собирает, а не преобразует. Именно это отсутствие авторских функций подчеркивается словами о том, что собранные слова принадлежат не сборщику, а Богу.

которые выступают как изначально заданные типы раскрытия Божественного промысла<sup>97</sup>.

Важнейшим следствием отсутствия категории автора является характер трансмиссии текстов – никакого стремления сохранить текст в его «авторском» виде у восточнославянских книжников, как правило, не обнаруживается. Поскольку тексты группируются по образцам, а не по авторам, каждый книжник, работающий с тем или иным текстом, чувствует себя в праве изменять в нем то, что на его взгляд образцу не соответствует. В силу этого для восточнославянской книжности характерен тот тип трансмиссии, который Р. Пиккио называет «открытой текстологической традицией». При подобной трансмиссии становится относительным понятие аутентичного текста, поскольку любая его последующая переработка (редакция) представляет собой не порчу «авторского» текста, а самостоятельный этап в его истории. С этим связан и тот подход к текстологии древнерусской литературы, который проводится в работах Д. С. Лихачева и его сотрудников. В них основным объектом реконструкции оказывается не первоначальный текст, а история текста, раскрываемая в его последовательных редакциях (ср. еще Федер 1990).

Из работ Лихачева и Пиккио создается впечатление, что принцип открытого текста действовал на всем пространстве восточнославянской книжности. Такая точка зрения вряд ли оправдана. Во-первых, она явно не приложима к основному корпусу текстов, т. е. к текстам Св. Писания и основных частей богослужения. Во-вторых, данный принцип не действует в отношении многих объемных переводных текстов, например, Пандектов и Тактикона Никона Черногорца, Жития Андрея Юродивого, Хроники Георгия Амартола и т. д. Никаких существенных переработок в традиции этих текстов не наблюдается (если не считать включения в Пролог ряда глав из Жития Андрея Юродивого), и это трудно не соотносить с сознательной установкой книжников, работавших с этими текстами – они, видимо, все же ставили

---

<sup>97</sup> Я не вполне уверен, что можно утверждать, как, например, это делает Б. А. Успенский (2002, 89), что «представление об индивидуальном авторском творчестве появляется в России <...> не ранее XVI в.». Элементы авторского честолюбия были, видимо, у преп. Нестора, который несколько раз и вполне сознательно указывает на свое авторство (в Житии Феодосия, в словах из Киево-Печерского патерики) и создает узнаваемый (индивидуализованный) портрет повествователя в созданных им текстах (см. ниже). Вполне индивидуальные черты заметны и у Симона Владимирского в том же Киево-Печерском патерике. Мы уже упоминали о Послании Климентя Смолятича священнику Фоме, в котором автор выставляет напоказ свою ученость и отнюдь не намерен растворяться в безымянном или освященном чужим именем авторстве (см.: Франклин 1987, 186–187). В позднейшее время авторское сознание вряд ли отсутствовало, скажем, у Епифания Премудрого. Для такого сознания у восточнославянских авторов были достаточно ясные византийские (а потом и болгарские) модели, так что потенциально категория авторства в восточнославянской средневековой письменности все же присутствовала. Тем более показательно, что в существенной части книжных текстов она не находила себе места; конструирование авторства не было необходимым не только для литературы широкого потребления, но и для литературы элитарной (хотя в последней конструкт авторства может окказионально появляться).

перед собой цель воспроизвести эти тексты в их первоначальном виде. Действие принципа открытого текста в наиболее ясном виде представлено в сборниках смешанного содержания и в летописях (о последних см. ниже). Сборники составляют, конечно, очень важную часть восточнославянской книжности, однако было бы неправомерно экстраполировать принципы их организации на всю эту книжность в целом.

При всех оговорках принцип открытого текста отражает, тем не менее, специфику восточнославянского литературного развития. Эта специфика связана с тем, что восточнославянскому литературному пространству чужда риторическая расчлененность, идущая из античности, равно как и противопоставление духовной и светской литературы. Именно в силу этого для восточнославянской средневековой книжности может быть постулирован единый центр, на который непосредственно или опосредованно ориентированы все книжные тексты. Этот центр образуют тексты основного корпуса, т. е. Св. Писания и богослужения. Значимость этого момента и его специфичность отчетливо видны при сопоставлении восточнославянской книжности с византийской<sup>98</sup>.

Как мы уже видели, в историко-культурном отношении Киевская Русь не воспроизводит и, видимо, не стремится воспроизвести византийскую

<sup>98</sup> Открытая текстологическая традиция характерна и для определенных типов текстов в византийской литературе, таких, например, как апокрифические повествования или душеполезные истории, и в последнее время эта литература все в большей степени привлекает внимание специалистов. Эти тексты, однако же, обычно рассматриваются как маргинальные для византийской словесности. Как замечает Ф. Уоллис относительно литературы флорилегиев и апокрифов, «a text which is deliberately reorganized, interpolated, abbreviated or otherwise altered is often regarded as either unimportant (not a "classic"), or as evidence of intellectual dishonesty or carelessness on the part of those who transmitted it» (Уоллис 1995, 103). Занимаясь душеполезными историями, Дж. Уортли отмечал: «It appears that scribes, even scribes who are known to have been perfectly capable of making reasonably accurate copies of other works, granted themselves an extraordinary degree of license when dealing with apophthegmatic material <...> they seem to have treated the manuscripts, not so much as books in the usual sense of the word, but as dossiers that could be re-arranged, abridged, expanded and otherwise amended as they saw fit» (Уортли 2010, 80). Дж. Баун проводит в данном отношении различие между текстами литературного канона и «functional literature». Она замечает: «The goal of the copyist or editor of a received text by a named author, such as Plato, the Apostle Paul, or a church father, was to produce a faithful duplicate of the original. The goal of apocryphal text-workers was very different: to produce a true and useful revelation for their own time. Medieval copyists of apocrypha – and of other genres of functional literature, such as compendia of medical lore, edifying tales, and legendary hagiography – were much freer to adapt, update, and refashion their raw material» (Баун 2007, 35); в этой связи автор говорит о «creative freedom characteristic of non-official medieval authors» (там же, 36). У восточных славян эта область «творческой свободы» оказывается существенно более пространной, чем у византийцев, так что от нее не защищены и отцы Церкви, от которых нередко остается лишь имя и нечетко намеченные контуры соотносимой с этим именем традиции. Поэтому для истории восточнославянской словесности проблема трансмиссии текстов превращается из частной (пусть и существенной) в кардинальную, без которой непонятна динамика литературно-языкового процесса.

культуру как законченную систему. Поэтому нецелесообразно и неправильно описывать древнерусскую культуру с помощью моделей и категорий культуры византийской, в частности, приписывать ей те оппозиции и ту риторическую расчлененность, которые свойственны византийской книжности (см. § I-2). Византийская книжность была основным источником книжности восточнославянской, но эта последняя формировалась на иных основаниях и из Византии усваивала лишь отдельные тексты, а не понимание литературной деятельности.

В Византии светская и духовная культура, переплетаясь и взаимодействуя, остаются тем не менее противостоящими традициями. В древней Руси подобная дихотомия (в рамках книжной культуры) отсутствует, элементы византийской светской культуры, попадая на Русь, осмысливаются как часть единой христианской духовной традиции. Так обстоит дело с рецепцией византийского права, когда, скажем, уголовное законодательство Прохирона рассматривается как часть священного предания, а его XXXIX титул, посвященный уголовным наказаниям, описывается как «**Заповѣди по преданію свѣтыхъ правилъ избраннаа, о казнѣхъ, по повелѣнію свѣтыхъ отецъ и по уставу св. царей**» (ГИМ, Увар. 578 – Леонид, I, 649; ср.: Бенеманский 1917, 111; Живов 1988а, 101–102). Это восприятие византийских юридических кодексов однозначно проявляется в обличениях, направленных против тех, кто отделяет «градские законы» (т. е. Прохирон) от «апостольских и отеческих писаний» (т. е. священного предания). Такие обличения находим, в частности, в «Просветителе» Иосифа Волоцкого (Иосиф Волоцкий 1855, 537–538) и в «Прении» Даниила, митрополита Московского, с Вассианом Патрикеевым (Казакова 1960, 285–286). Как бы тенденциозны ни были подобные высказывания, сама возможность объединения на русской почве разнородных византийских традиций в единый корпус христианского предания реализуется здесь совершенно отчетливо (ср.: Живов 1988а, 63–64, 101–102; см. ниже, § III-6).

Эта специфика русской рецепции может быть с большей или меньшей ясностью прослежена и в отношении любых других текстов, идущих из Византии; она должна непременно учитываться при анализе бытования этих текстов в древней Руси. Так, «История Иудейской войны» Иосифа Флавия в византийском контексте воспринималась, видимо, как историографическое сочинение, сходное по типу с творениями античных историков; хотя рецепция Флавия в Византии вряд ли была однозначной, слова св. Иеронима, назвавшего Иосифа Флавия «Graecus Livius» (PL, XXII, col. 421), могли встретить здесь понимание. В восточнославянской рецепции ничего похожего мы не обнаружим. Ни Ливия, ни Геродота у восточных славян не было, и это ассоциативное поле было для них закрыто. В их случае «История Иудейской войны» воспринималась как повествование, содержащее часть священной истории. Древнейшая (по мнению большинства исследователей) редакция славянского перевода Иосифа Флавия дошла до нас в составе так называемого «Иудейского хронографа» (составленного в XIII в.), который, наряду с Флавием, содержит Шестоднев, книгу Бытия с толкованиями св. Иоанна Златоуста, исторические книги Библии, извлечение из хроник Иоанна Малалы и Георгия Амартола (Истрин 1893, 317–361; см. также: Истрин 1926;

Пичхадзе и др. 2004, I, 7–8). Истрин полагает, что целью составителя было «дать подробное изложение еврейской истории с творения мира до разрушения Иерусалима» (Истрин 1893, 353); полагаю, что эта цель могла бы быть сформулирована и как изложение священной истории от сотворения мира до исполнения пророчества Христа о разрушении Иерусалима, т. е. как цель религиозная, а не историографическая. В составе «Иудейского хронографа» в текст Флавия вкраплены отрывки из Евангелия (там же, 341–342); для средневекового славянского книжника такие вставки определяют понимание текста в целом (ср.: Пиккио 1977) и однозначно указывают на религиозную установку компилятора. Как отмечает Ф. Томсон, «The reviser was obviously interested in the work as providing background information about the life of Jesus <...> to view it in the context of a reception of classical antiquity is clearly unacceptable» (Томсон 1995, 309–310)<sup>99</sup>.

Таким образом, при переносе на восточнославянскую почву византийские тексты изменяют свою функцию и вне зависимости от своих исходных параметров оказываются частью христианской религиозной традиции. «История Иудейской войны» – лишь один из очевидных примеров. Точно так же Христианская топография Козьмы Индикоплова входила в культурное сознание не как модификация античных географических трактатов (хотя бы и нелепая, с точки зрения образованного византийца), а как описание христианского мироустройства, культурного пространства христианской цивилизации, в которое теперь попадает и Русская земля. Такая рецепция подтверждается составом рукописи, в которой содержится древнейший

<sup>99</sup> Частные указания на религиозную рецепцию «Истории Иудейской войны» могут быть умножены. Так, например, в некоторых списках «отдельной» редакции Флавия текст может заканчиваться словом «аминь» (Мещерский 1958а, 32), свидетельствующим, что он ставится в ряд с иными церковными текстами. По предположению Н. А. Мещерского, «отдельная» редакция возникла в результате переработки редакции «архивской», представленной в хронографах; она отличается от «архивской» прежде всего отсутствием «откровенно христианских» интерполяций. Мещерский полагает, что «будучи... выделенным в особую книгу, текст Иосифа, включивший и все “добавления”, стал ощущаться как нехристианское произведение, поэтому слишком откровенно христианские места и были выброшены редактором» (Мещерский 1958а, 33). Я не уверен в точности такого объяснения и не думаю, что «нехристианское» сочинение могло заканчиваться аминем. Если составитель действительно склеил текст Флавия, извлекая его из хронографа, то скорее, можно думать, он опустил добавления, когда устранял и другие инородные части текста: отрывки из Амартала, апокрифов, Евангелия; точная идентификация инородных частей явно выходила за рамки его филологических возможностей и вряд ли вообще была для него актуальной задачей.

Возможно, «История Иудейской войны» ассоциировалась с ветхозаветными книгами не только у восточных славян, но и у сирийцев: сирийский перевод Флавия дошел до нас в одном кодексе с Пешиттой. В принципе, сирийская рецепция могла отличаться от византийской и сходствовать со славянской. Можно вспомнить в этой связи, что и система общего образования у сирийцев отличалась от византийской, имела клерикальный характер и тем самым отчасти сближалась со славянской (Пигулевская 1960). Типологические сходства между сирийской и славянской религиозными культурами вообще заслуживают отдельного исследования.

список Топографии (ГИМ, Увар. 566 1495 г.); в ней мы находим Толковую палею, статью о чувственном рае (Анастасия Синаита), Слово Мефодия Патарского и т. д. (Голышенко и Дубровина 1997, 7–8; Леонид, III, 303), т. е. описание разных координат (пространственных и временных) христианской вселенной<sup>100</sup>.

Оригинальные восточнославянские сочинения также не создают оппозиции духовной и светской литературы. О религиозной значимости летописей достаточно полно было в свое время сказано И. П. Ереминым: они могли рассматриваться как своеобразная часть духовной литературы, описывающая осуществление Божественного промысла в человеческой истории (ср.: Еремин 1966, 64–71; ср. о летописях ниже, § III-5). Что касается оригинальных юридических текстов, фиксировавших, в принципе, обычное право (Русской Правды, в первую очередь), то, как будет показано ниже, эти памятники остаются вне сферы культуры и тем самым к вопросу о противо-

---

<sup>100</sup> Несколько по-другому, но не менее показательным образом обстоит дело с восточнославянской рецепцией флорилегиев. В Византии первоначально были распространены в качестве особых сборников извлечения из языческих авторов (прежде всего Эклоги Иоанна Стоевейского), к которым затем добавились в качестве особых сборников извлечения из христианских сочинений. На их основе позднее, в IX–XII вв., появляются сакропрофаные флорилегии. Развитие флорилегиев было связано с характером византийского образования (см. выше, § I-2), одним из пособий для которого они и были. Смешанный, объединяющий две разных традиции характер этих сборников в Византии несомненно осознавался, поскольку сакропрофаные флорилегии существовали на фоне исходных противопоставленных традиций, известных читателю (Сперанский 1904, 59–67). На Руси первоначально распространяются переводы сакропрофаных флорилегиев (Марти 1987, 134–135), и поскольку фоновая для Византии оппозиция светской и духовной литературы отсутствует, наличие в сборниках типа Пчелы извлечений из Св. Писания и св. отцов соотносит их с основной духовной традицией, так что их смешанный характер не воспринимается. Отнюдь не очевидно, что имена античных мудрецов что-либо для славянских книжников значили. История текста показывает, что они могли при передаче искажаться, переставляться, попадать не на свое место (в сакропрофаных флорилегиях была определенная иерархия христианских и античных источников), наконец, вообще опускаться. Биполярность византийской Пчелы в восточнославянской традиции не воспринималась и для истории сборника значения не имела (ср.: Буланин 1991, 61–69). Античный компонент этих текстов мог актуализоваться, но лишь когда менялся литературный контекст и изречения классических авторов попадали в новое окружение. И в этом случае, однако, они воспринимались не как элементы светской образованности, а как отголоски нечестивого язычества, т. е. в религиозной перспективе. Так, после того как Вассиан Патрикеев внес извлечения из Пчелы в сделанную им редакцию Кормчей, митрополит Даниил во время суда над Вассианом обвинил его в нечестии: «От святых отец от седми соборов и доньше во священных правилах еллинская учение не бывала, а ты ныне во своих правилах еллинских мудрецов учение написал, Ористотеля, Омира, Филипа, Александра, Платона» (Казакова 1960, 292). Это обвинение несомненно имеет тенденциозный характер (напомним, что извлечения из Пчелы, впрочем, без указания «еллинских» авторов, были включены и в Мерило праведное, так что Вассиан мог опираться на прецедент – см.: Сперанский 1904, 316–328) и вряд ли отражает обычную рецепцию интересующих нас текстов. Однако и такое тенденциозное восприятие на существование особой светской традиции никоим образом не указывает.

поставленности духовной и светской литературы вообще отношения не имеют.

Единственным «культурным» текстом, не поддающимся однозначной интерпретации в отношении дихотомии светской и духовной литературы, оказывается Слово о полку Игореве. Однако сложность интерпретации обусловлена в данном случае тем, что мы практически ничего не знаем о рецепции этого памятника. При отсутствии таких сведений вряд ли оправдано говорить о культурной значимости данного текста и выделять его как центральное произведение древнерусской словесности, как это постоянно делается. Отсутствие данных, указывающих на восприятие Слова (списков, позволяющих реконструировать литературный контекст, обработок и заимствований из него, демонстрирующих отношение последующих поколений книжников и т. д.), не может быть случайным; оно свидетельствует о том, что это периферия средневековой восточнославянской книжной культуры, возможно, некий анклав княжеской придворной культуры, в своей основной части устной. Каков был объем этой светской культурной традиции, мы реконструировать не способны; во всяком случае перевод текстов этой культуры в письменную форму (как это имело место в случае Слова о полку Игореве) был редким исключением (ср.: Живов 2009а)<sup>101</sup>.

<sup>101</sup> Понятно, что все аргументы *ex silentio* не обладают полной доказательной силой. Из того, что Слово – это единственный дошедший до нас памятник домонгольской эпической поэзии, сохранившийся (а вернее, не сохранившийся) в единственной рукописи, могут делаться разные выводы. Мы в праве предполагать, что в Киевской Руси при княжеских дворах были какие-то формы музыкально-поэтических развлечений, поскольку в Житии Феодосия рассказывается, как князь Святослав приказал прекращать подобные представления во время приходов святого; здесь говорится о том, что приближенные князя играли и веселились «*такъ же обычан ксть прѣдъ князьмъ*» (Усп. сб., л. 59г). Насколько подобные игры были распространены при княжеских дворах и что именно делали играцы, мы не знаем, но естественно предположить, что устное предварение Слова могло появиться в контексте подобной деятельности. Из чего состояло это устное предварение, нам опять же неизвестно. Мы можем лишь гадать, существовало ли Слово как единое произведение уже в устном исполнении или (что кажется более правдоподобным) первоначально имелось несколько поэтических произведений про поход Игоря, которые были скомпонованы в одно тем лицом (возможно, автором), который перевел Слово в письменную форму (ср.: Грушевский 1923, 191–193). Не знаем мы и то, насколько уникальным был этот эксперимент транскрибирования устной поэзии; представляется невероятным, что таких экспериментов было множество, а до нас дошел только один – должна существовать какая-то пропорциональность между тем, что было, и тем, что осталось. В то же время не кажется столь удивительным, что Слово имело очень ограниченное распространение и никакой рукописи (кроме той, что была в руках у А. И. Мусина-Пушкина) обнаружить не удастся. Кем бы ни было записано Слово, единственным депозитарием, в котором могла сохраняться (и переписываться) рукопись с этим текстом, была монастырская библиотека. Нет ничего странного в том, что благочестивые монахи не торопились переписывать странный текст с выразительными следами язычества; когда они это делали, они делали это по недосмотру. Если, однако, помнить, что литература – это не столько то, что пишется, сколько то, что читается, данное обстоятельство как раз и означает, что Слово было маргинальным текстом и в культурном, и в литературном отношении.

В последующей рецепции Слово, видимо, могло интерпретироваться как развернутая иллюстрация историографического сообщения, существующего в рамках той общей картины христианской истории, которая задана летописями (ср. трактовку Слова как *exemplum* у Р. Пиккио: Пиккио 1977, 31); увлеченные архаикой исследователи неадекватно подчеркивают значимость языческих подтекстов, которые могли бы препятствовать такой интерпретации. Единственный связанный со Словом текст, Задонщина, с большой вероятностью указывает именно на такое восприятие: усвоенные из Слова нарративные элементы и поэтические формулы сочетаются здесь с такими типичными для христианизированной историографии моментами, как молитва, вложенная в уста идущего на сражение князя, постоянные упоминания «христианской веры», защита которой рассматривается как цель описываемых воинских подвигов и т. д. Очевидно, что автор Задонщины воспринимал Слово в этой же христианизированной перспективе, игнорируя тот слой используемого им текста, акцентирование которого побуждает современных исследователей относить Слово к особой светской литературной традиции и обосновывать тем самым ее существование. Если в маргинальной форме отдельная княжеская культура в Киевской Руси могла в том или ином виде существовать, то в московский период никаких ее следов не просматривается, и можно полагать, что именно этим определяется рецепция Слова<sup>102</sup>.

Таким образом, в Киевской Руси нет оппозиции светской и духовной культуры, поэтому отнесение к тем или иным произведениям атрибута «светское» по существу анахронично. Это важно само по себе, но одновременно это показательно в плане организации книжной деятельности в целом. Подчеркивая принципиальное отличие средневековой восточнославянской литературы от византийской, эта черта ставит вместе с тем вопрос о приложимости классических историко-литературных дескриптивных схем к совокупности древних восточнославянских текстов. Поскольку мы имеем здесь дело с предметом, специфичным в историко-культурном отношении, естественно предположить, что он столь же специфичен и в отношении историко-литературном. Отсутствие светской литературной традиции связано с тем, что в средневековой восточнославянской культуре никак не представлен античный компонент (см. § I-2); в силу этого, можно полагать, для

<sup>102</sup> О зависимости Задонщины от Слова см.: Зализняк 2008б, 171–205; Страхова 2006. О том, что Задонщина должна была быть подражанием Слову, поскольку невозможно представить себе возникновение первого в русской литературе поэтического текста в нерасположенной к поэтическим экспериментам культуре московского двора в XIV–XV вв. см.: Живов 2009а. О характере образованности при московском дворе XIV в. можно судить по тому, как описывается благочестие Дмитрия Донского: «Да се слышаще, князи Русии, научитеся такожде творити, яко же и сеи великии князь Дмитреи, от уны бо версты Христа възлюбѣ и духовных прилежахъ дѣлахъ, аще бо и книгам не наученъ сѣи добръ, но духовныя книги въ сердци сѣи имяше. Тѣло же свое чисто до женитвы сохрани, церковь собе нескверну святому духу съблюде, очима же зряше часто къ земли, от нея же взять бѣ, душу же и умъ простираше къ небеси, идѣ же лѣпо есть пребывати ему» (ПСРЛ, XXV, 215). Книги, помещаемые в сердце, представляют собой, конечно, знак необразованности, не располагающей к восприятию каких-либо поэтических текстов, даже устных.



авторов и читателей древней Руси совершенно не актуальны и те категории классификации текстов, которые восходят к античной риторике. Нерелевантность противопоставления духовной и светской традиции лишает литературное пространство первоначальной расчлененности, в частности, структурирования литературных произведений по жанровому принципу.

В свое время Дм. Чижевский утверждал, что в древнерусской литературе в большей степени, чем в литературе последующих эпох, «композиция, стилистические особенности и до какой-то степени даже содержание зависят от принадлежности произведения к определенному жанру» (Чижевский 1954, 105). В соответствии с этим взглядом совокупность «древнерусских литературных» текстов стала рассматриваться как жанровая система (ср.: Ягодич 1957–1958; Лихачев 1979, 55 сл.). Эта точка зрения подверглась затем основательной критике, поскольку само понятие жанра как сочетания набора признаков, объединяющих характеристики, относящиеся к содержанию, композиции, поэтике и языку, оказалось плохо приложимым к древнерусской словесности (ср.: Пиккио 1973, 443–457; Живов 2005). Те внутрилитературные классифицирующие принципы, с помощью которых автор определяет жанровые особенности порождаемого им текста, реализуются как элемент эстетической установки автора; ни эта установка, ни соответствующие принципы для средневековых восточнославянских книжников не актуальны. Поскольку на корпус разнородных древних текстов накладывается анахронистическая схема, не находящая соответствия в интенциях их авторов и переписчиков, исследователь сталкивается со множеством случаев, когда он не в состоянии указать, к какому жанру относится произведение. Именно поэтому исследователи предпочитают говорить о «протожанрах» (Ленхофф 1984; Ленхофф 1987) или группировать произведения по их функциональным характеристикам (Шмидт и Зеemann 1987; Зеemann 1987а; Зеemann 1987б). Представляется, что сама категория жанра переносится в историю древнерусской литературы отчасти в силу того, что подразумевается ее сходство с византийской; молчаливо предполагается, что систематика, приложимая к литературе Византии, должна подходить и для родственной восточнославянской словесности.

Именно подобный перенос представляется нам неправомерным в силу фундаментальных отличий в культурах древней Руси и Византии (ср. о непродуктивности подобного переноса с формально-описательной точки зрения: Марти 1989а, 34–43). В Византии литература обладала риторической организацией, унаследованной от античности. Это наследие было закреплено в риториках и оставалось актуальным для византийских авторов любого периода. Оно задавало не только жанровую классификацию, но и представление о репертуаре социальных функций культивированной словесности, так что любой автор определенным образом соотносил структурные характеристики своего произведения с тем местом, которое оно должно было занять в литературном пространстве. Конечно, эти представления не оставались неизменными, но их развитие накладывалось на риторически расчлененное пространство и приводило к его дальнейшему членению. В древней Руси это античное наследие освоено не было, риторики отсутствовали, равно как отсутствовала риторическая организация литера-

туры. Переводная литература византийского происхождения содержала лишь один фрагмент системы византийской литературы, на основе которого систему в целом реконструировать было для средневекового книжника невозможно. Византийская система жанров средневековой восточнославянской словесностью усвоена не была, поэтому нет смысла говорить и об усвоении отдельных византийских жанров (как это делает, например, Н. С. Трубецкой и следующий за ним Р. Ягодич, необоснованно сближающие параметры византийской и древнерусской литературы – Трубецкой 1973; Ягодич 1957–1958); усваивались отдельные тексты (в каких-то случаях, возможно, типы текстов, например, гомилетические сборники), которые на восточнославянской почве вступали в новые, часто отличные от исходных (византийских) отношения. Поскольку византийские упорядочивающие принципы на Руси не действовали, структурные признаки отдельных литературных текстов оказываются размытыми (см. в этой связи о ранних восточнославянских агиографических текстах: Живов 2005), а сами тексты – полифункциональными.

Действительно, можно привести многочисленные примеры того, как один и тот же текст используется в абсолютно разных целях и переходит из компиляций одного типа в компиляции другого: различия в конвое в этом случае указывают на разный характер его восприятия и употребления. Например, Сказание о русской грамоте возникает как антикатолический памфлет, а затем может функционировать в качестве хронографической статьи или чтения на память св. Константина-Кирилла (см.: Живов 2002б, 132–145; ср. об этом памятнике: § I-4). Наиболее яркий и древний пример такой смены функций – это использование историографической заметки о свв. Борисе и Глебе в качестве паремии (Соболева 1975; Ленхофф 1989, 75–77; Кравецкий 1991; Успенский 2000)<sup>103</sup>.

---

<sup>103</sup> Не обсуждая конкретно вопроса о том, как могла быть внесена в паремийник историографическая статья и каким трансформациям подвергался при этом исторический нарратив, отмечу все же, что мне представляется неправдоподобной гипотеза Г. Ленхофф, которая пишет: «The composer of the service evidently misunderstood the nature of a paremia reading. It may be that he regarded the Old Testament not as Scripture, but as a profane annalistic document, one that could be augmented, edited or replaced at will in the interests of providing the fullest possible information» (Ленхофф 1989, 76). Думаю, что само понятие «светского анналистического документа», как бы его ни интерпретировать, было абсолютно чуждым для восточнославянского книжника XI в. Первая часть паремийного чтения составлена из цитат (неточных), взятых из других, традиционных чтений паремийника, что привязывает рассматриваемую паремию к Св. Писанию (Кравецкий 1991, 46–49; Успенский 2000, 22–39). Эта привязка означает, что, как пишет А. Г. Кравецкий, «события истории Руси соотносились... с событиями священной истории» (Кравецкий 1991, 49). Б. А. Успенский формулирует эту идеологию паремийных чтений еще четче: «История Руси мыслится как история христианской страны, и Борис и Глеб как первые русские святые знаменуют начало этой истории: они освящают эту страну, являются ее заступниками и в известном смысле оправдывают ее существование; поэтому, собственно, они и воспринимаются как апостолы» (Успенский 2000, 42). Это то же самое восприятие, которое побуждает восточнославянских книжников инкорпорировать летописное повествование о местных событиях в рамки универсальной ис-

Подобные процессы не свойственны византийской литературе и не могут быть адекватно описаны с помощью тех категорий, которые выработаны для риторически организованных литератур. Из сказанного не следует, что какое бы то ни было членение литературы отсутствовало; оно, однако, явно строилось на иных принципах, и именно эти принципы следует реконструировать, опираясь на те косвенные свидетельства авторских интенций (равно как интенций переписчика или компилятора), указывающих на место произведения в литературном пространстве, которые могут быть извлечены из внутреннего состава текста и его истории.

Этот подход был в определенной степени намечен в уже цитировавшейся работе Р. Пиккио о стереотипах и образцах (Пиккио 1973). Пиккио говорит в ней об образцах, на которые ориентированы тексты, как о принципе организации литературы, а также о тематических ключах, содержащихся в тексте, как об основе его интерпретации средневековым читателем. Данный подход апеллирует в конечном счете к тому факту, что вся древнерусская литература концентрически сосредоточивается вокруг одного основного текста, текста Св. Писания (вернее, определенных книг библейского канона). Св. Писание выступает как абсолютный образец, обладающий полнотой смысла, тогда как любой текст раскрывает и дополняет отдельные частные смыслы, извлеченные из этой полноты. Наличие единого сверхобраза для всей литературы релятивизирует значение обособленных образцов, образующих ядро отдельных групп текстов. Как пишет Р. Пиккио, «Imitation of the Bible resulted in a structural conception of each literary work as a component of a larger whole» (Пиккио 1973, 447). В Византии между тем такой единый сверхобразец отсутствует; Св. Писание не может выступать в этом качестве хотя бы в силу своего лингвистического несовершенства. Как замечает И. Шевченко, «In Christian Byzantium the Scripture never became a predominant model of style at any level, except, and there rarely, for the lowest forms of hagiography» (Шевченко 1981, 209).

Те признаки текста, которые предлагает учитывать Р. Пиккио, не создают однозначной классификации (в отличие от жанровых признаков), поскольку, оставаясь ориентированным на единый общий образец Св. Писания, текст может при этом соотноситься с несколькими частными образцами и в его истории актуальными могут становиться разные соотношения. Равным образом и тематические ключи могут допускать разную интерпретацию, так что изменение функции может сопровождаться изменением интерпретации. История литературы образуется при этом не историей отдельных жанров, а в качестве своей основы историей рецепций отдельных текстов и, далее, обобщенной характеристикой рецептивных изменений, характеризующих разные периоды. Изменения рецепции предусматривают, естественно, смену классификационных характеристик текста.

---

тории (рассматриваемой, соответственно, как промыслительная в целом), а из византийских хроник рецепировать именно универсальные. При любом объяснении, однако, остается факт смены функций текста, при котором нарушаются «generic conventions inherited from the Greeks» (Ленхофф 1989, 75).

Так, Моление Даниила Заточника можно рассматривать как – исходно – игровой текст, возникший в среде княжеских приближенных, возможно, скоморохов (как полагал Д. С. Лихачев – Лихачев 1954б) или во всяком случае какого-то окружения, занимавшегося устройством придворных развлечений. Это, однако, никак не предопределяет последующего статуса этого текста. С какого-то времени он явно начинает восприниматься не как памятник игровой книжной культуры, которая, видимо, уже в XIV-XV вв. выходит за рамки культурного канона, а в контексте сборников притч и изречений, выполняющих дидактическую функцию. На это указывают те случаи, когда Моление входит в один сборник с Пчелой (Семенов 1893, с. XIX), озаглавлено как Пчела (Колуччи и Данти 1977, 14, 129), является источником для флорилегиев типа расширенной Пчелы (Марти 1987, 130, 132; ср.: Сперанский 1904, 306–314). В последнем случае извлечения из Моления соседствуют с извлечениями из библейских книг. Ясно, что Моление соотносится в своей позднейшей рецепции с другими (гномическими) образцами (книгами библейских притч), нежели исходный текст, а тематические ключи этого памятника подвергаются переинтерпретации<sup>104</sup>.

Хотя соотнесение с образцами выступает как важный инструмент описания древней восточнославянской словесности, оно вряд ли может быть

---

<sup>104</sup> Д. С. Лихачев весьма проникательно указывает на те элементы поэтики Моления, которые могут быть связаны с игровой скоморошеской культурой. Вряд ли, однако, можно согласиться с его утверждением, что «в своем “Молении” Даниил отразил стиль представителей народного юмора – скоморохов. Вот почему “Моление” вызывало к себе такой активный интерес у русских читателей, все время дополнявших и переделывавших это произведение, но неизменно делавших это “в стиле” самого “Моления”, безошибочно угадывавших его стиль, тип его юмора, бывшего у всех на виду, – юмора скоморошеского» (Лихачев 1954б, 118). Для XII–XIII вв. нет никаких оснований противопоставлять скоморохов, «которые развлекали народ и были подлинными представителями народного искусства» (там же, 119), и княжеских скоморохов: наших скудных сведений о скоморошестве для этого явно недостаточно, и возникает опасение, что мы лишь играем термином «скоморошество», никак не определив его содержания; о «народном искусстве» XII–XIII вв. мы вообще никакими конкретными данными не располагаем. Стоит отметить в этой связи, что сам термин *скоморох* или *скомрах* «в течение столетий употреблялся исключительно в переводах с греческого» (Иванов 1992, 129), что может свидетельствовать и о генезисе данной культурной институции. Поэтому, в частности, вряд ли имеет смысл говорить о «стилистической» или культурной преемственности дополнений и редакций Моления по отношению к первоначальному тексту. История текста Моления как книжного памятника определенно указывает на его переосмысление. Именно эта реинтерпретация делает Моление текстом, к которому монашествующие книжники относятся с некоторым интересом и который они копируют, – что отличает Моление от Слова о полку Игореве (см.: Живов 2009а). Подобное же благочестивое непонимание подало Х. Бирнбауму и Р. Романчуку идею (на мой взгляд, совершенно ложную), что Моление возникло в монашеской среде и характеризуется специфической техникой монашеского компилирования (Бирнбаум и Романчук 1997). Трудно представить себе того благочестивого или неблагочестивого монаха, который выдумывает анекдоты об уродливой жене перед зеркалом или рассказывает о «цирковых» играх княжеских слуг (см.: Зарубин 1932, 70–71; Колуччи и Данти 1977, 190–191; см. цитату выше, § I-3).

положено в основу классификации текстов, поскольку во многих случаях образцов может быть несколько и остается неясным, какие из них были для пишущего сознательным ориентиром, а какие – лишь формировали автоматические навыки книжного письма. Ставя перед собой задачу реконструировать внутреннюю систематику, присущую текстам определенной эпохи, нужно исходить из тех параметров, которые характеризовали интенцию авторов этих текстов. Можно предполагать, что, создавая текст, автор (переводчик, компилятор, редактор) вполне отчетливо представлял себе, какое место он должен занять в литературном пространстве. Реконструкция этих представлений не всегда возможна из-за отсутствия необходимых данных, однако только такая реконструкция (а не извне наложенные схемы) адекватно описывает синхронное состояние литературы, особенности ее устройства и специфику развития.

Материалом для реконструкции этого рода может служить рукописная традиция текстов, рассмотренная на всей совокупности дошедшего до нас рукописного материала. Опыт подобной реконструкции представляет собой монография Р. Марти (1989а); она охватывает лишь восточнославянский материал XI–XIV вв., однако на этом материале отрабатываются методы, значимые для всей истории текстов, не имеющих риторической организации. В основу классификации текстов (реконструкции имманентного членения литературы) кладется здесь характер их рукописной традиции, сочетаемость в рамках одной рукописи, источники, из которых почерпнуты тексты и т. д. (Марти 1989а, 28–57). Такой подход не дает полностью адекватной картины, однако позволяет сделать ряд важных выводов об имманентных характеристиках литературной системы и особенностях ее функционирования. Существенно, что при таком подходе утрачивает свою роль противопоставление оригинальных и переводных произведений: и для тех и для других место в литературном пространстве определяется характером их рецепции. Литературное развитие предстает при этом как история изменений в восприятии и функционировании текстов (а не как цепь из единичных актов создания оригинальных сочинений, занимающих периферийное место в литературной системе), а текстологическое изучение памятников получает преимущественную теоретическую значимость<sup>105</sup>.

<sup>105</sup> Анализ внутреннего членения литературы, основанный лишь на сохранившихся рукописях рассматриваемого периода, адекватен в той степени, в которой сохранившиеся рукописи являются репрезентативной выборкой рукописей, обращавшихся в этот период. Строго говоря, эта выборка безусловно не репрезентативна, и речь может идти лишь о том, насколько мы в состоянии представить себе существующие в ней лакуны и сделать соответствующие оговорки. Проводимое Р. Марти различие между «необходимыми» и «не необходимыми» рукописями (Марти 1989а, 76 сл.) при всей своей важности полной коррекции не дает. Лакуны могут возникать в силу технических обстоятельств, и в этом случае их нетрудно предусмотреть. Так, например, от древнейшего периода до нас не дошли буквари, хотя нет оснований сомневаться в том, что чтению обучались по складам и нужные для этого пособия существовали; косвенным свидетельством такого существования могут служить учебные берестяные грамоты (№№ 199, 201 – начало XIII в.) с записью складов (НБГ, V, 17–23). Отсутствие букварей среди сохранившихся рукописей легко объяснить тем, что такие рукописи не могли не быть недолговечными из-

Сопоставление с риторически организованной византийской литературой позволяет увидеть специфические особенности восточнославянского литературного пространства. Там, где его членение не задается эксплицитно определенными литургическими функциями (типиконом), его внутренние границы оказываются размытыми и нетвердыми. Так, например, появление второй (пространной) редакции Пролога, составленной из синаксарных чтений и кратких поучений, совмещает в одно целое тексты разных типов (Бубнов 1973; Фет 1980; Прокопенко 2009). На русской почве разные по жанру византийские источники (менологий и сборники поучений) объединяются в составе одного памятника; происходит совмещение

за частого и интенсивного употребления (даже печатные буквари XVI–XVII вв. сохранились по большей части вне восточнославянской территории, вывезенные оттуда как диковинка; остававшиеся в употреблении зачитывались до полного исчезновения). Подобными же внешними обстоятельствами объясняется, например, тот факт, что богослужебные минеи, употреблявшиеся в течение месяца, сохранились значительно лучше (в большем количестве и от более раннего времени), нежели служебники, употреблявшиеся каждый день. Подобные технические факторы могут быть учтены, однако нет уверенности, что нерепрезентативность этим исчерпывается. Ряд текстов раннего времени (например, Слово о законе и благодати митрополита Илариона или Моление Даниила Заточника) известен лишь в относительно поздних рукописях, и это может указывать на ограниченный характер их рецепции. Если предположить, что для каких-то памятников рецепция была еще более ограниченной (например, для памятников западнославянского происхождения), их исчезновение из рукописной традиции представляется естественным. В этом случае, однако, мы имеем дело не со случайными утратами, которые не влияют на репрезентативность, а с устранением определенных пластов литературы, которая делает сомнительной адекватность выборки.

Формальный подход может быть, видимо, дополнен функциональным. Р. Марти справедливо замечает, что трудно установить «inwieweit die Funktion für den Textbenutzer eine Rolle spielte und inwieweit er die verschiedenen Funktionen ebenso unterschied, wie wir das heute tun» (Марти 1989а, 44). Однако именно анализ рукописной традиции может показать, какой набор функций мыслился и использовался авторами и переписчиками текстов, и тем самым превратить функциональное членение из внешнего во внутреннее. Различная значимость функций, отражающаяся на числе и характере рукописей, содержащих связанные с ними тексты (один текст может, видимо, выполнять несколько функций), характеризует устройство литературы, а историческая динамика значимости отдельных функций является важным параметром литературной истории. При этом систематика функций способна отчасти возместить ту неполноту материала, которая ограничивает возможности имманентного анализа рукописной традиции, поскольку прежде всего функция текста определяет, насколько широко он представлен в рукописной традиции и насколько устойчиво он в ней сохраняется (ср., например, явные отличия в этом отношении богослужебных текстов суточного круга, устойчивых в своем составе и бытовании, и, скажем, полемических трактатов, воспроизводимых лишь тогда, когда актуален конфликт, вызвавший полемику). Не представляется перспективным подход Г. Роте (Роте 1997), который на основании калькуляции рукописей считает, что ранняя восточнославянская книжность была на 83,7% богослужебной, а в качестве субститута функционального подхода различает как жанры стихиры, ирмосы, кондаки и т. д.; ни жанровых, ни функциональных различий между восточнославянскими богослужебными текстами этих типов нет, а простой арифметический подсчет никак не определяет важность текста в литературной системе.

агиографического цикла с дидактическим материалом и вместе с тем переход текста, предназначенного для богослужебного употребления, в четый сборник; в Византии такое развитие было бы невозможным. Разнородные тексты оказываются совместимыми; исследование компиляций показывает, что тексты могут менять свои функции в зависимости от контекста, в который они поставлены; это означает, что жесткая связь между структурными параметрами текста и его функцией, которую в принципе задает жанровая система, отсутствует. Текст может менять свою функцию, не претерпевая никаких формальных изменений или подвергаясь лишь минимальным преобразованиям.

Эта картина указывает на принципиальное отличие средневековой восточнославянской словесности от византийской в самом типе литературной организации. Совместимости разнородных текстов в древней Руси противостоит их несовместимость в Византии. В византийской литературе легко указать на эталон несовместимости – скажем, любовного романа и церковного поучения: они не могут совместиться в рамках одной компиляции, формальные характеристики двух этих жанров не совпадают и не оказывают влияния друг на друга. Можно думать, что оппозиция светской и духовной литературы выступает как своего рода генерирующее ядро расчлененности литературного пространства, отсутствие этой оппозиции – как предпосылка нерасчлененности. Фундаментальные различия в устройстве литературных систем обуславливают и несходства в статусе каждого отдельного элемента, даже если с какой-то точки зрения они могут рассматриваться как тождественные (например, византийский текст и его славянский перевод). Одно лишь перечисление того, что было перенесено из Византии в восточнославянскую область (идет ли речь о текстах, или о содержащихся в них сведениях, или об иных явлениях культуры), ничего не говорит о том, как усваивались эти культурные заимствования и какую роль играли они в восточнославянской культурной деятельности. Определяющим является не факт заимствования, а характер рецепции, реконструкция которой и должна быть принципиальной задачей культурной истории древней Руси.

Итак, в византийской книжности единый центр отсутствует, разные авторы ориентируются на разные образцы, а выбор образца зависит как от установки автора и его социальных позиций (аттицизм элитарной литературы противостоит риторической «простоте» текстов, обращенных к широкой аудитории), так и от жанра. При этом Новый Завет определенно не входит в число образцовых текстов, по крайней мере для элитарной литературы. Если полагать, что для элитарной литературы языковой образец задается античными текстами, изучавшимися в школе, то этот образец во всяком случае не имеет религиозного значения. В восточнославянской книжности, напротив, все книжные тексты ориентированы на единый абсолютный образец – Св. Писание, вернее, на совокупность тех книг Св. Писания, которые были хорошо известны, в особенности на те книги, которые использовались при обучении: Псалтырь, Евангелие, Апостол. Эти тексты, обладающие абсолютной религиозной значимостью, задают образец литературы и одновременно образец книжного языка. Можно сказать, что все книжные тексты в той или иной степени примыкают к основному корпусу.

Степень примыкания может быть различной, но вне зависимости от этого единый центр доминирует во всех разновидностях книжной языковой деятельности.

Поскольку имеется единый центр литературного пространства, для всего этого пространства заданы единые нормы – прежде всего языковые. Ясно, что в разных памятниках (памятниках разного типа) они могут соблюдаться в неравной степени, однако норма остается единой. Она остается единой даже при том, что создаются определенные частные линии преемственности, в рамках которых воспроизводятся лингвистические характеристики определенного типа памятников. Например, русские дополнения в служебных минеях (прежде всего службы русским святым) тождественны и по поэтике, и по языку воспроизводимым минейным текстам, что опирается, видимо, на жесткую топику литургического поэтического творчества: вместе с повторением топосов повторяются и характерные конструкции с присущими им формами. Летописи ориентированы на летописи, всякий новый летописный фрагмент продолжает предшествующие и примыкает к ним в лингвистическом отношении (естественно, переживая ту частичную реинтерпретацию, которую привносит каждое новое поколение летописцев); однако летописание не отделяется от всего корпуса книжности, но взаимодействует с ним; в нем появляются цитаты из Св. Писания и других религиозных текстов, задающие то «духовное» чтение летописей (поэтика тематических ключей), которое свойственно и другим назидательным текстам; понятно в этой связи постоянное взаимное влияние летописей и агиографической литературы.

Эта единая система начинает разрушаться, видимо, лишь в XVI в., когда дифференцируются разновидности книжного языка и начинается их соотношение с разными типами литературных памятников (см. ниже, § IX-1). И при этом, однако, Св. Писание остается основным образцом, хотя он начинает интерпретироваться по-разному в зависимости от того, какой разновидностью книжного языка пользуется книжник. Окончательное разрушение этой системы происходит в XVII в., когда появляется противопоставление светской и духовной литературы и элементы жанрового членения литературного пространства. Эти процессы ведут к умножению независимых друг от друга образцов и вместе с тем к размыванию самого механизма ориентации на образцы как основного принципа книжной деятельности.

### **3. Структурирование области книжных текстов.**

#### **Гибридный церковнославянский**

Хотя книжная письменность и обладала единым центром, задававшим общую норму, это не исключало существование частных письменных традиций. Общую норму устанавливали тексты Св. Писания и богослужения, однако книжник мог использовать в качестве ориентира не только основной корпус, но и те тексты, созданные его предшественниками, которые соответствовали по функциональным характеристикам создаваемому им тексту. Упрощая, можно сказать, что агиограф не только помнил Часослов, Псал-



тырь и Евангелие, которые задавали его представления о книжном языке и из которых он извлекал цитаты (они могли играть роль тематических ключей) и аллюзии, но образцом для него служили и известные ему жития, как переводные, так и восточнославянские. Эта двойная ориентация ясно отражается в том факте, что цитаты из Св. Писания в житиях часто повторяются, т. е. цитирование Св. Писания осуществляется через призму существующей агиографической традиции. Понятно, что книжник воспроизводит с теми или иными модификациями и композиционное построение известных ему житий, их мотивику и топику. Точно так же летописец, помимо ориентации на основной корпус текстов, ориентировался на существующую летописную традицию, воспроизводя сложившиеся в ней формулы, нарративные модели, приемы привязки летописного текста к основному корпусу текстов. Летописец не только писал летопись, но и продолжал летопись, воспроизводя в своей оригинальной части и содержательные параметры работы своих предшественников, и лингвистические характеристики созданных ими текстов.

Как уже говорилось, оригинальные тексты с самого начала несколько отличались по языку от текстов воспроизводимых, поскольку механизм ориентации на тексты не содавал, вообще говоря, полного тождества с текстами основного корпуса – видимо, во всех тех случаях, когда оригинальный текст не состоял исключительно из цитат. Отличия были тем большими, чем более нестандартным оказывалось коммуникативное задание оригинального текста. В той мере, в которой подобные нестандартные тексты могли приобретать значение автономных ориентиров, их отличия от стандартной разновидности (от текстов основного корпуса) оказывались закрепленными в особой письменной традиции. Когда и как происходит этот процесс, остается неисследованным; проблема требует куда более разработанной методики описания дошедших до нас источников, чем та, которой мы располагаем теперь. Очевидно, однако, что этот процесс связан с изменениями языкового опыта пишущих, прежде всего с изменениями, обусловленными эволюцией живого языка. В самом деле, стандартные воспроизводимые тексты по мере развития живого языка оказывались все более удаленными от естественных языковых навыков восточнославянских книжников. В силу этого им становилось все труднее адекватно воспринимать стандартные воспроизводимые тексты, а потому и ориентироваться на них при создании текстов оригинальных.

Когда, например, мы читаем в Мазуринском летописце XVII в. в рассказе о низвержении Перуна «И *привлекше* его на брег и *винувшие* в Непр» (ПСРЛ, XXXI, 46), мы опознаем здесь модификацию того текста, который в Лаврентьевском списке XIV в. звучит как «и *привлекше винуша* и въ Днѣпръ» (ПСРЛ, I, стб. 117); замена аориста на причастие, приводящая к тому, что в предложении оба предиката оказываются выражены причастиями, т. е. отсутствует личная глагольная форма, указывает на то, что составитель Мазуринской летописи плохо осознает различия между соответствующими формами. В силу этого он будет не в состоянии, ориентируясь на свои источники, воспроизвести данное различие и будет употреблять книжные причастные формы и формы простых претеритов недифференцированно

как чистые признаки книжности, махнув, так сказать, рукой на неясные для него нормы, заданные текстами основного корпуса. Те тексты его предшественников, в которых имело место такого рода смешение – пусть лишь как окказиональное отступление, – могут восприниматься им как прецедент, делающий подобное употребление закономерным. Если рассматривать этот процесс схематично, то переход к такому восприятию означает, что книжник непосредственно ориентируется не на тексты основного корпуса (в этом случае он должен был бы воспроизводить выдерживаемую в них норму, в частности, дифференциацию причастий и личных глагольных форм), а на оригинальные тексты, содержащие значимые отступления от норм основного корпуса. Нужно, впрочем, иметь в виду, что нормы основного корпуса не становятся полностью иррелевантными, поскольку они продолжают задавать представление об облике книжного языка и вместе с тем (исторически) выступают как ориентир для тех оригинальных текстов, на которые теперь непосредственно ориентируется книжник, однако в этих условиях единый центр книжной письменности делается уже не непосредственным, а опосредованным ориентиром (хотя следует помнить, что читать этот книжник учился все же по Часослову и Псалтыри).

Понятно, что мы имеем здесь дело не с одномоментным, а с постепенным процессом, с процессом постепенного переключения непосредственной ориентации с корпуса основных текстов на частные образцы оригинальных текстов, соотносимых по тем или иным параметрам, относящимся к типу текста, с текстом вновь создаваемым. Постепенность этого процесса исключает точную датировку и делает вообще всякую датировку достаточно условной. Определенно можно сказать, что в XV–XVII вв. складывается особая разновидность (регистр) книжного языка, обнаруживающая специфическую языковую установку пишущих и образующая собственную традицию. Относительная автономность этой разновидности проявляется в том, что постоянно расширяется сфера ее функционирования, т. е. она выступает как принятое средство выражения для текстов с нетрадиционным содержанием. К концу XVII в. эта автономность осознается настолько ясно, что данная разновидность может переосмысливаться как особый «простой» язык, на который переводятся тексты, существовавшие прежде лишь на стандартном церковнославянском (имею в виду Псалтырь в переводе Фирсова 1683 г. – см. ниже, § IX-4). Начальные этапы формирования этой разновидности, однако, относятся к существенно более раннему времени, поскольку ее характерные черты в зачаточном виде уже заметны, скажем, в том фрагменте Поучения Владимира Мономаха, где речь идет о его охотничьих подвигах (см. разбор выше, § II-3; см. также § III-1).

Книжный и некнижный узус, как уже говорилось, не располагаются в сознании носителя языка как две взаимонепроницаемые системы, два этих типа употребления существуют как составляющие единого языкового опыта средневекового автора. Нормативная установка препятствует обращению к разнообразию языкового опыта только в ограниченном числе текстов богослужебного назначения. За пределами этих текстов автор при случае может использовать любые элементы своего языкового опыта. Очевидно, что нестандартные коммуникативные задачи провоцируют ин-

терференцию книжных и некнижных языковых средств, в одних случаях более, в других – менее сильную. Эта интерференция может затрагивать даже наиболее очевидные признаки, противопоставляющие книжный и некнижный узус (ср. формы имперфекта в берестяных грамотах или им. ед. о-склонения на *-e* в Вопросании Кирика, см. примеры § VI-1); в случае менее выраженных признаков интерференция этого рода может быть и более обычным и менее заметным явлением.

Исследователи, привязанные к идее бинарного противопоставления языков, склонны рассматривать случаи подобной интерференции как периферийные, оставляя без достаточного внимания соответствующие тексты или части текстов. Проблема, однако, в том, насколько подобные тексты были периферийными не для исследователей, а для современного им социума. Как справедливо отмечает Э. Кленин, «we can begin with the assumption that texts are mixed because they ought to be, and we can attempt to describe what we find in its own terms, rather than in terms of idealized “native East Slavic” and “Slavonic” systems that for the most part cannot have existed independent of each other, either in texts or in speakers’ minds» (Кленин 1997, 315)<sup>106</sup>.

Нестандартность коммуникативных задач и связанные с нею лингвистические особенности текстов относятся лишь к происхождению подобных произведений, а не к их статусу в корпусе восточнославянской книжности. Будучи созданы, они получают в этом корпусе свое место и входят в круг чтения последующих поколений книжников. Статус таких сочинений может

<sup>106</sup> Как должен быть описан каждый из случаев интерференции в социолингвистических терминах, остается неясным. И в этом случае представляются совершенно правильными заключения Э. Кленин. Она пишет, имея в виду как ситуации билингвизма, так и ситуации подобные той, которую мы можем реконструировать для средневековой Руси: «Although speakers sometimes mix systems or subsystems for simple referential purposes, they can also be motivated by subtleties involving attitudes and social context. <...> [W]hen speakers combine elements from prestige and non-prestige systems in an effort to adjust to a contact situation, they do not necessarily integrate them successfully. When they do integrate heterogeneous elements, the criteria for integration may be determined societally, or may derive from language structure, for example, the hierarchical relationships obtaining between elements. The status of linguistic mixing – whether, for example, we are dealing with borrowings and integration of donor elements, or with accommodation between socially diverse speakers of similar dialects, or with imitation of isolated prestige forms – may be impossible to decide, or it may be determinable only with access to extensive records of spontaneously produced speech and/or with a knowledge of the full history of the speech communities in which mixing occurs. Speech communities are not uniform, and linguistic diversity and contact across different language systems is the norm, not an exception» (Кленин 1997, 314–315). Это разнообразие типов смешения может быть в принципе спроецировано и на письменную языковую деятельность, что, конечно, осложняет типологию, поскольку письменная коммуникация может иметь место через любой промежуток времени и ее актуальный адресат (тот, кто читает и переписывает текст) может отличаться от предполагаемого адресата (тех, кому предназначал данный текст его автор). Перед социолингвистическим исследованием истории русского языка такая типология ставит множество интересных вопросов, на которые пока мы не знаем ответа. Сейчас мы можем оставить их без рассмотрения, отметив лишь, что интерференция – это естественное и ожидаемое явление на всех языковых уровнях.

быть различен. Ясно, что они никогда не приобретают той нормоустанавливающей роли, которая в книжной письменности принадлежит текстам основного корпуса (Св. Писания и богослужения). Существование отдельных текстов носит как бы виртуальный характер: списки немногочисленны или практически отсутствуют (например, в случае Слова о полку Игореве), так что параметры их рецепции остаются неясными. В других случаях, однако, такие тексты создают собственную традицию, т. е. они читаются, переписываются и, соответственно, могут служить образцом для носителей, реализующих сходное коммуникативное задание. Они тем самым фрагментируют узус, и образующиеся фрагменты получают собственную преемственность.

Исходный характер книжного узуса, допускающего интерференцию не-книжных средств выражения, связан с механизмами владения книжным языком, разобранными выше, – механизмом ориентации на тексты и механизмом пересчета. Механизм пересчета создает возможность для особой языковой установки пишущих, когда их целью оказывается не максимальное сближение языка новых сочинений с языком корпуса основных текстов, а условное тождество этих языков по ряду формальных показателей, – интерференция в этом случае легализуется. Понятно, что при подобной установке самый набор релевантных формальных признаков имеет лишь относительную значимость и может быть сведен к минимуму: в него входят прежде всего те характеристики, которые с наибольшей наглядностью отличают книжный язык от некнижного, тогда как параметры более тонкого свойства игнорируются. Таким образом, набор признаков, по которым ведется пересчет, оказывается ограниченным и избирательным. Вместе с тем избирательным оказывается и употребление тех формальных признаков, которые входят в данный набор: поскольку эти признаки выступают прежде всего как индикаторы книжного характера текста, они могут употребляться непоследовательно и даже окказионально – индикатором служит само их наличие, так что строгая норма в их употреблении может отсутствовать.

Поскольку употребление признаков книжности приобретает в подобной разновидности чисто сигнальный характер, открывается широкая возможность воздействия некнижного узуса на книжный. Понятие языковой правильности связывается при этом не с прямой ориентацией на корпус образцовых текстов, а с употреблением отдельных специально книжных элементов. Выделение этих элементов в языковом сознании носит целиком функциональный характер; процесс функционального переосмысления генетической разнородности доведен здесь до своего логического предела. При отсутствии непосредственной ориентации на тексты основного корпуса (и грамматической нормализации) широко развивается вариативность и в создаваемые тексты свободно проникают некнижные по происхождению элементы. Таким образом, самый вопрос (обсуждавшийся многократно и без сколько-нибудь заметного успеха – ср.: Виноградов 1958; Виноградов 1978, 65–151) о языковой «основе» обсуждаемых текстов – традиционно книжной или народно-разговорной – оказывается лишен всякого содержания. И та, и другая основа может быть выделена в качестве частного момента, но лишь их совокупность и интерференция обеспечивают функцио-

нирование данной разновидности. В этой связи представляется целесообразным именовать книжный язык данного типа *г и б р и д н ы м*.

Книжный язык гибридного типа неоднократно привлекал внимание исследователей, хотя и оказывался всегда на периферии научных интересов и трактовался как явление маргинальное. А. И. Соболевский писал об этом языке как об «очень плохом» славянском и относил его широкое распространение к XVII в.: «Если мы обратимся к отдельным повестям, романам и драматическим произведениям, переведенным во второй половине XVII в. по большей части с польского или немецкого, то и в них встретимся с тем же славянским языком, с аористами, имперфектами, причастиями на *-ший* и т. п. <...> Нельзя сказать, чтобы язык их был правилен, переводчики их иногда обращались со славянскими формами и оборотами довольно бесцеремонно. Но неправильности вместе с русскими простонародными словами и выражениями придают им особый колорит и не лишают язык их известной живости» (Соболевский 1980, 106–107).

Н. Н. Дурново также рассматривает этот тип литературного языка как второстепенное производное явление, связанное с недостаточной грамотностью пишущих (и их аудитории), однако формирование этого типа относится к существенно более раннему времени: «... в Московской Руси (как, впрочем, и в Южной Руси) вырабатывается постепенно, начиная с XV в., особый вульгарно-литературный язык, которым писались популярные литературные произведения, распространенные среди низов читающей публики. <...> В этом вульгарно-литературном языке из цсл. остались только известные штампы в виде отдельных наиболее употребительных в цсл. книгах слов в роде: *бысть, рече, аще* и т. п., цсл. дублетов с *ра, ре, ла, ле* и с *щ* к русским словам с полногласием и *ч*, некоторых излюбленных форм в роде аористов и имперфектов (особенно часты формы на *-ше* и *-ша* в значении всех лиц и чисел) и причастий на *-щий* и *-ший* (часты бесчисленные формы на *-ще, -ше* в значении деепричастий) и некоторых синтаксических оборотов; эти штампы накладывались на чисто русский язык произведения для придачи ему литературности» (Дурново 1969, 34–35; почему Дурново считает, что данные тексты были в употреблении у «низов читающей публики», остается неясным, как, впрочем, – для XV–XVII вв. – и сама эта категория).

Об этом же типе литературного языка пишет Н. С. Трубецкой, рассматривая его как «упрощенный церковнославянский» и выводя из него – как результат постепенного обрусения – русский литературный язык нового типа («славяно-российский»). Об этом последнем он пишет: «Этот язык светской литературы («славяно-российской») по своему словарному составу был чисто церковнославянским, отличаясь в этом отношении от богослужебного языка только сначала избеганием, а потом и отсутствием некоторых специфически церковных слов (вроде *абие, еда, етеръ, иногда* в значении «некогда» и т. д.), но в своем грамматическом строе приближался к русскому разговорному, как по отсутствию некоторых специфически-церковнославянских форм (напр. форм прошедшего времени вроде *несохъ, носяше*, форм двойственного числа, дательного на *-ови*, множественного на *-ове* и т. д.), так и присутствием специфически-русских окончаний и синтаксических оборотов» (Трубецкой 1927, 67; Трубецкой 1995, 177).

Во всех этих случаях гибридный язык рассматривается не как самостоятельный узус, обладающий собственной преемственностью, а как более или менее произвольное отступление от стандартного церковнославянского, связанное с недостаточной грамотностью авторов. В связи с таким пониманием стоит и представление об этом языке как «упрощенном», что предполагает в принципе сознательный отказ от «сложных» элементов церковнославянского в пользу неких «простых» элементов (Трубецкой без достаточных оснований приписывает упомянутым «сложным» элементам специфическую «церковность»). Между тем понятие «простоты» языка становится значимым для языкового сознания русских книжников лишь в относительно позднюю эпоху (см. ниже, §§ IX-2, IX-3) и не имеет отношения к формированию данного типа книжного языка. Осмысление его специфических черт требует реконструкции того механизма, с помощью которого порождаются тексты, реализующие данный тип языка. На мой взгляд, основным для этого механизма (механизма пересчета) является осмысление отдельных элементов книжного языка как «признаков книжности», употребление которых манифестирует книжность текста и создает возможность широкой вариативности тех конструкций и форм, которые с признаками книжности не связываются. Этим и обусловлен синтез книжной и разговорной языковой основы в языке данного типа. При таком понимании его естественно обозначить как «гибридный» – термин, предложенный в свое время Н. И. Толстым (1963, 234) по аналогии с буддийским гибридным санскритом. В самом деле, механизм формирования последнего сходен с только что описанным, он является «результатом переработки среднеиндийского текста на основании существовавших в то время представлений о соответствиях между санскритом и среднеиндийским. Эти представления служили базой для воссоздания санскритских форм на основе среднеиндийских» (Иванов и Топоров 1960, 27; ср.: Барроу 1976, 61).

Только установив механизм гибридного языка, можно говорить о времени возникновения данной традиции и путях ее эволюции. В самом деле, механизм порождения тех текстов, о которых пишут Соболевский и Дурново, ничем принципиально не отличается от механизма порождения, который можно реконструировать, скажем, для псковских летописей. Язык псковских летописей, в свою очередь, в своих основных структурных характеристиках совпадает с языком Новгородской первой летописи. Таким образом, начала гибридного языка оказывается возможным отнести к древнейшему периоду русской письменности, к тому моменту, когда восточнославянские диалекты оказались в существенной степени противопоставлены книжному языку, что и обусловило особый характер освоения последнего. Следует вообще отметить, что значимость гибридного языка в развитии русского письменного языка разных эпох может быть оценена только в том случае, если соответствующие тексты будут изучены именно как манифестации определенной системы. В большинстве случаев, однако, они изучаются в другой перспективе. Основное внимание обращается либо на элементы разговорного языка, которые получают при этом неверную интерпретацию показателей особого (нецерковнославянского) статуса языка соответствующих текстов (ср.: Ковалевская 1971), либо на специфически

книжные характеристики грамматической структуры, которые и в самом деле манифестируют книжный статус исследуемого языка, но не определяют его специфики (ср.: Хабургаев и Рюмина 1971). Исследование гибридных текстов как представителей особого языкового типа, обладающего собственными отличительными характеристиками, на настоящий момент представлено лишь отдельными работами (см.: Тарковский 1975, 41–88; Кутина 1981; Кутина 1982; Целунова 1985; Живов 1985а; Петрухин 2003), и поэтому его структурные особенности и его история могут быть описаны пока что лишь в общих чертах.

Существование гибридной разновидности церковнославянского не является специфичным для восточнославянского языкового развития. Гибридные языки возникают и в других славянских книжных традициях как закономерное следствие избирательности в функционировании механизма пересчета, когда признаками книжности оказываются лишь некоторые структурные характеристики книжного языка, отчетливо противопоставляющие его языку некнижному. В этот редуцированный состав признаков книжности входят те черты книжного языка, которые откладываются в языковом сознании его носителей при освоении основного корпуса текстов как постоянные, многократно повторяющиеся моменты, отличающие этот язык от языка разговорного и требующие соотнесения с ним. При том что язык основного корпуса текстов задан в главных своих грамматических характеристиках книжной традицией, восходящей к кирилло-мефодиевским временам, состав признаков книжности очевидным образом зависит от языка некнижного. Эта зависимость ярко проявляется в тех различиях, которые наблюдаются в наборах признаков книжности, определяющих характер гибридных языков в разных славянских областях.

Так, например, в русской традиции в этот состав входят простые претериты, действительные причастия и вообще согласованные причастия в атрибутивной функции, формы дв. числа (после того как оно утрачивается в живом языке), дательный самостоятельный оборот и т. д. Понятно, что, усваивая церковнославянские тексты, восточные славяне постоянно наталкивались на формы аориста и имперфекта, чуждые с определенного времени их живому языку (см. ниже, § V-6.1), и так или иначе научались отождествлять их как специфические книжные средства обозначения прошедшего времени; этим и обусловлено включение данных форм в число признаков книжности. Болгары, естественно, те же самые формы как специфику книжного языка не воспринимали, и поэтому в рамках болгарской традиции они в состав признаков книжности не попадали. Для болгарской традиции в набор признаков книжности входили падежные формы существительных и прилагательных, отсутствие члена, инфинитив на *-ти*, простое будущее, синтетические формы степеней сравнения и т. д. Формирование этого набора осуществлялось по мере того, как данные признаки становились чуждыми живым болгарским говорам. Как можно видеть, сходные механизмы порождения книжных текстов дают в разных славянских традициях существенно разные результаты, что в конечном счете обусловлено различиями живых языков.

Складывающийся в рамках гибридного регистра узус зависит фундаментальным образом от соотношения книжного и некнижного языков, поскольку признаки книжности – это то, что отличает два данных языка в языковом сознании носителей. В силу того что стандарт книжного языка задан образцовыми церковнославянскими текстами и по большинству параметров остается неизменным на протяжении веков, состав признаков книжности и изменения в этом составе обусловлены особенностями некнижного языка. Изменения в некнижном языке влияют на конституцию гибридного регистра. Дв. число, например, приобретает статус признака книжности лишь после того, естественно, как оно исчезает из языка некнижного. Указанная фундаментальная зависимость определяет, однако, лишь основные контуры, а не детали. Детали вырабатываются в силу преемственности узуса, в силу того что книжник, создающий гибридный текст, непосредственно обращается не к своему разговорному языку, а к общей совокупности своего языкового опыта, в формировании которого чтение (т. е. освоение прежде созданных письменных текстов) играет никак не меньшую роль, чем спонтанная речь.

Славянская филология длительное время игнорировала гибридные языки именно потому, что все внимание исследователей сосредоточивалось на соотношении книжного и разговорного языка, причем органическая системность приписывалась исключительно последнему. Абсолютизировавшаяся при этом дихотомия природы и культуры, превращенная в основной миф еще младограмматиками и дожившая в этом священном качестве чуть ли не до наших дней благодаря усилиям структурализма и структуралистской семиотики, приводила к отрицанию «природных» явлений в письменном языке, воспринимавшемся как феномен культуры *par excellence* (см. выше, Введение-III). В соответствии с данной дихотомией строилась, с одной стороны, история книжного (церковнославянского) языка как языка целиком искусственного (при этом рассматривался преимущественно стандартный регистр), а с другой – история живого языка как языка целиком естественного. Между этими двумя полюсами оставался хаос, вызывавший лишь желание от него отвернуться; гибридные тексты воспринимались как нагромождение разнородных элементов. Однако же, если мы приписываем письменному узусу ту же естественную преемственность, реализуемую как превращение навыков чтения в навыки письма, что и узусу устному, гибридный регистр предстает, по словам Р. Матиесена, не как «a mere conglomerate of heterogeneous elements, but a secondary linguistic system in its own right» (Матиесен 1984, 47)<sup>107</sup>.

Таким образом, отбор релевантных для книжного языка признаков (признаков книжности) и восприятие отдельных различий как нерелевантных является не индивидуальным решением того или иного автора, но об-

<sup>107</sup> Впрочем, эпитет «secondary», на мой взгляд, здесь совершенно излишен и является данью той господствующей линии лингвистической мысли, идущей от младограмматиков к структуралистам, для которой письмо всегда является вторичным, искусственным, а потому требующим устранения связанных с ним феноменов из собственно лингвистического исследования.



наруживает преемственность: одни гибридные тексты ориентированы, как мы уже говорили, на другие (более ранние) и именно в силу этого в разных текстах повторяется сходное распределение релевантных и нерелевантных признаков, что и позволяет говорить об особом регистре или особой письменной традиции. Поскольку речь идет о письменной традиции, существенную роль начинает играть здесь содержательная (литературная) преемственность текстов: летописи оказываются в преемственной зависимости от летописей, жития – от житий и т. д. (ср. выше об историко-культурной расчлененности пространства письменности, ср. также о «жанровом» факторе в истории славянских литературных языков: Толстой 1978; Толстой 1988, 164–173; ср. еще: Алексеев 1987а, 44–45). Вместе с тем язык летописей мог, видимо, служить образцом и для литературных произведений другого рода, например, для светских повествовательных текстов. Разветвленная преемственность была обусловлена здесь развитием литературного процесса, так что история книжного языка оказывается в данном аспекте теснейшим образом связана с историей словесности.

#### 4. Характеристики гибридной письменной традиции

Для изучения истории гибридного языка кардинальное значение имеет выработка критериев, которые позволяли бы отличить признаки книжности, т. е. специфически книжные элементы, употребляемые как индикаторы книжного характера текста, от нерелевантных для противопоставления книжного и некнижного языков вариаций, не связывающихся в языковом сознании с оппозицией разных языковых регистров. Как уже говорилось (см. § II-5), в истории русского книжного языка имеет место переосмысление разнородных генетических характеристик в функциональных категориях. Из этого, в частности, следует, что искомые критерии не могут строиться на генетических параметрах и опираться на сравнительно-исторические данные. Обычные описания памятников русской письменности в терминах «русизмов» и «славянизмов» мало что дают для выяснения той языковой системы, которая реализуется в этих текстах. Описание должно выделять не генетические славянизмы, а то, что Р. И. Аванесов называл в свое время «функциональными славянизмами» (Аванесов 1973 – мне этот термин не представляется достаточно удачным, поскольку он так или иначе поддерживает генетические ассоциации). Речь идет о тех элементах, которые осознаются восточнославянскими книжниками в качестве маркированно книжных, и, как и во всех тех случаях, когда мы имеем дело с языковым сознанием, простые формальные показатели оказываются недостаточны.

Так, например, в плане генетическом согласуемые формы дв. числа никак не могут быть охарактеризованы как славянизмы, хотя в текстах XIV–XVII вв. они несомненно являются отличительными приметами книжного языка (см. § VII-2). Понятно, что генетическая характеристика этих элементов ничего не дает нам для решения вопроса о том, когда именно указанные формы приобретают данную функцию. Точно так же в генетическом плане неполногласная форма *время* является славянизмом, хотя она явно не фун-

кционирует как специфически книжный элемент в текстах XVI–XVII вв., поскольку противопоставленный ей русизм *веремья* полностью выходит из употребления (ср. последовательное употребление лексемы *время* в некнижных текстах этого периода, ср.: Ворт 1974, 230; Ворт 2006, 331–332; ср.: Порохова 1988, 254). Проблема, однако, не сводится к наличию противопоставленного варианта. В самом деле, было бы странно думать, что *время* было специфически книжным элементом вплоть до того момента (не поддающегося, впрочем, точному определению), когда *веремья* в последний раз появилось в некнижном языке. Очевидно, что само наличие в некнижном языке неполногласного варианта достаточно для того, чтобы он не воспринимался как маркированно книжный. Более того, естественно думать, что восприятие лексемы *время* как нейтральной должно было предшествовать ее проникновению в некнижный язык, поскольку такое восприятие было необходимой предпосылкой данного процесса. Именно возникновение такого восприятия и является интересующим нас моментом, так как оно само по себе переводит соотношение лексем *время* и *веремья* в разряд нерелевантных для противопоставления книжного и некнижного языка вариаций. И здесь опять же генетическая характеристика не несет никакой содержательной информации.

Очевидно, что сами критерии различения признаков книжности и нерелевантных вариаций должны иметь чисто функциональный характер. Они, естественно, не могут исчерпывающим образом охарактеризовать поведение пишущего: когда возможен выбор из нескольких средств выражения, он всегда делается лишь с относительной последовательностью и зависит от многих факторов, накладывающихся друг на друга. Регистровые отношения могут быть одним из важнейших факторов, но все же не единственным. В условиях такого многофакторного выбора остается место и для индивидуальных пристрастий пишущего. Поэтому предлагаемые ниже критерии находят лишь ограниченное применение и во многих случаях не дают ответа на интересующие нас вопросы. В каких-то случаях, тем не менее, их свидетельство вполне однозначно, так что не остается сомнения, что мы имеем дело с нерелевантной для оппозиции регистров вариативностью или с признаком книжности. Именно эти ясные случаи должны служить основой для построения схемы развития гибридного регистра и разработки различных методов установления функциональной значимости языковых элементов. Остановлюсь прежде всего на том, что отличает признаки книжности.

а) *Аграмматичность признаков книжности*. Основная функция признаков книжности – быть индикатором книжного характера соответствующего текста. Конкретное грамматическое значение отдельных морфологических показателей, употребляющихся как признаки книжности, оказывается для авторов гибридных текстов несущественным: становясь индикаторами книжности, они лишаются частного грамматического содержания. Наглядным результатом этого переосмысления является аграмматизм признаков книжности (ср.: Запольская 1986, 4–5). Он выражается в смешении морфологических показателей, которое в отдельных случаях может приобретать систематический характер. Так, в русских гибридных текстах широко пред-

ставлено смешение различных окончаний в формах вышедших из разговорного употребления претеритов, которые оставались основными временами книжного нарратива. Так, например, обстоит дело с 1 ед. аориста и имперфекта и 3 мн. имперфекта, ср. в псковской Палее 1494 г. «а<sup>п</sup>сли изда<sup>л</sup>еча з<sup>р</sup>ахъ и ко гробоу н<sup>д</sup>ахъ», «се азъ сто<sup>а</sup>хоу», «еси тако ба ч<sup>т</sup>ахъ з<sup>л</sup>атица» и т. п. (Каринский 1909, 6), 1 ед. и 2/3 ед. аориста, ср. «Старецъ сотвори<sup>х</sup>ь молитв<sup>ѣ</sup>» в Житии Геннадия Костромского XVI в., «Аз... би челом» в Повести о Карпе Сутулове, «Аз слышах... наполнихся и... бысть», «восхотех... и возва» в Беседе отца с сыном о женской злобе (Соболевский 1907; Адрианова-Перетц 1977, 90; Титова 1987, 246–247), 3 ед. и 3 мн. аориста (ср. «Жены царей пороуди и одеяние им сотвори» в Беседе отца с сыном о женской злобе (Титова 1987, 238); примеры можно умножать до бесконечности (ср. о Мазуринской летописи: Живов 1995а, 53–55; ср. еще § V-6.1). Систематический характер имеет смешение окончаний 3 мн. аориста *-ша* и 3 ед. имперфекта *-ше*, которые, видимо, для ряда русских книжников выступают как свободные варианты одного показателя (ср.: Соболевский 1907, 236; Каринский 1909, 14; Живов и Успенский 1983, 173), ср. весьма красноречивый пример в Беседе отца с сыном о женской злобе: «От жен бо много крови пролияшеся, и царства разоришася и царие от живота гонзнушася, села и дома раскопашеся» (Титова 1987, 238). Эти факты однозначно указывают на то, что формы аориста и имперфекта употребляются русскими авторами как признаки книжности, – данную функцию окончания простых претеритов с равным успехом выполняют и тогда, когда они употребляются «правильно», и тогда, когда они отнесены к иному лицу и числу<sup>108</sup>.

б) *Дистрибуция признаков книжности*. Поскольку признаки книжности могут употребляться в тексте непоследовательно, то в случае такого непоследовательного употребления естественно ожидать, что частота их употребления будет находиться в определенной зависимости от того, насколько в данном отрезке текста его принадлежность к книжному регистру подчеркивается композиционным или тематическим заданием или непосредственной связью с образцовыми церковнославянскими текстами. Так, например, в «Римских деяниях» в русском переводе XVII в. формы аориста,

<sup>108</sup> Такой же аграмматизм признаков книжности можно наблюдать и в болгарских церковнославянских памятниках, аграмматизм характеризует здесь падежные формы. Ясные примеры использования падежных форм как признаков книжности встречаются уже в болгарских дополнениях к Манассиевой хронике и в Троянской повести, ср. в дополнениях: «Скопие прѣдано бысть ему Романом, сына Петра царѣ» и случаи аналогичного смешения в Повести (Буассен 1946, 85–86, ср. 39–40). Таково же употребление этих форм и в церковнославянских дамаскинах, ср., например, в Кринском дамаскине: «оусече мѣника Θεодора дньс праздноуемому», «дѣвна съмрътъ глетсе вѣчноу моукоу», «да сподобимсе вѣчноу пасхоу» и т. д. (Илиевски 1972, 129). Тот же характер, наконец, имеет функционирование падежных форм в «Истории славеноболгарской» Паисия Хиландарского (ср.: Георгиева 1962, с. 368–369). Примеры аграмматического употребления падежных форм ясно свидетельствуют о том, что эти формы во всех случаях употребляются именно как признаки книжности. Очевидно вместе с тем, что тексты, в которых наблюдается подобное употребление, носят гибридный характер.

имперфекта, перфекта со связкой употребляются преимущественно в начале входящих в книгу рассказов в тех местах, где речь идет о специфически религиозных предметах (явление креста, молитва отшельника и т. п. – см.: Римские деяния 1877–1878, 203–204; ср.: Живов 1985а, 74–75). В Географии Помпония Мелы (русский перевод и список XVII в. – ГИМ, Чуд. 347) формы простых претеритов встречаются в основном в тех фрагментах, где говорится об античной или библейской истории (тогда как в других случаях при упоминании событий прошлого употребляется обычная л-форма); аорист последовательно употребляется и в завершающем книгу наставительном «Словѣ свершителном книги козмограѣи» (л. 80 и сл.).

Приведу в качестве иллюстрации несколько фрагментов из основной части Географии, в которых концентрируется употребление простых претеритов. «Гра<sup>а</sup> троия великъ и <sup>с</sup>лавен и властию и паки потребениемъ своимъ славнейшии всѣ<sup>м</sup> люде<sup>м</sup>, тѣ бѣ гра<sup>а</sup> <...> но бое<sup>в</sup> ра<sup>и</sup> веліки<sup>х</sup> иже тѣ быша...» (л. 14); «Земля еллинская в не<sup>и</sup> гра<sup>а</sup> мѣдрѣ аѣины и е<sup>л</sup>адское црѣство и македонское в не<sup>м</sup> же бысть Алеѣандръ македонскѣи» (л. 74); «Земля египетская ѿ чермнаго моря и по <sup>р</sup>е<sup>а</sup>немѣ морю стои<sup>т</sup> издавна црѣство славное и го<sup>р</sup>дое иже и ѿараоны нарицахѣ иже поработиша сѣны израилевы бжѣимъ сѣдомъ в чермно<sup>м</sup> мори потопоша» (л. 76об.). Для сопоставления можно привести следующий пассаж: «И егда женя<sup>т</sup>ся котора дѣва не<sup>а</sup>рѣга ѣбила тое чѣтно по<sup>а</sup>маю<sup>т</sup> а которые жонки сѣпо<sup>а</sup>тата ѣбили тѣ дѣвы пребываю<sup>т</sup>» (л. 16)<sup>109</sup>.

в) *Сознательное устранение признаков книжности.* В истории всех литературных языков Slavia Orthodoxa имел место момент, когда в противопоставление старому книжному языку (церковнославянскому языку соответствующего извода) возникал новый литературный стандарт, осмыслявшийся как «простой» или «общедоступный» (см. ниже, § IX-5). Поскольку в языковом сознании старый книжный язык символизировали именно признаки книжности, переход к новому литературному языку мог осуществляться прежде всего как отказ от употребления этих признаков. В ряде случаев данный переход отразился в конкретных текстах, которые были переработаны (переведены, исправлены) именно с целью замены старого языка на новый. Эта переработка как раз и осуществлялась как устранение

<sup>109</sup> Дистрибуция специфически книжных элементов в болгарских церковнославянских памятниках остается неизученной. Можно полагать, однако, что неравномерность в распределении подобных элементов имела место и здесь. Как реликты этой неравномерности могут, на мой взгляд, рассматриваться случаи лексикализованного или контекстно связанного употребления падежных форм в новоболгарских дамаскинах. Е. Кочева, исследовавшая в новоболгарских дамаскинах языковые формулы, включающие падежные формы, пришла к выводу, что они встречаются в ряде «религиозных наименований», в заголовках статей и в ограниченном числе фраз, непосредственно связанных с церковнославянской литературной традицией (Кочева 1983). Представляется вероятным, что подобные элементы появляются в новоболгарских дамаскинах как своего рода редукция дистрибутивно ограниченного употребления аналогичных элементов в дамаскинах церковнославянских, редукция, лишаящая эти элементы их значимости как индикаторов языкового кода, но сохраняющая особенности их дистрибуции.

признаков книжности и замена их на некнижные или нейтральные элементы. Так, в русских текстах простые претериты заменялись *л*-формами, в болгарских – падежные формы – аналитическими средствами выражения и т. д. (см. подробнее ниже, § X-4). Подобные тексты наглядно демонстрируют характер языкового сознания и поэтому представляют особую ценность для истории литературного языка. В русской словесности к таким текстам относятся «География генеральная» Б. Варения, переработанная Софронием Лихудом (Живов 1986б), и «История Петра Великого» Феофана Прокоповича, переработанная самим автором (Живов 1988в). В болгарской словесности к таким текстам относятся дамаскины первого новоболгарского типа, являющиеся переработкой церковнославянских дамаскинов среднегорского перевода (Демина, III, 60 сл.). По составу устранимых в этих текстах форм можно выделить набор признаков книжности, актуальный для языкового сознания данного периода.

Возможны, понятно, и другие методы анализа языкового сознания и выявления признаков книжности. Так, в частности, исходя из функционирования простых претеритов как признаков книжности, можно рассмотреть, как коррелирует с их употреблением в отдельных памятниках употребление других элементов (мы имеем здесь дело со своего рода рекуррентной процедурой). Если обнаруживается, что функциональные характеристики определенных грамматических показателей или служебных слов совпадают в текстах данного периода (или данного автора) с функциональными характеристиками простых претеритов, эти показатели или служебные слова можно отнести к признакам книжности. Так, например, при анализе исторических (летописных) сочинений конца XVII в. можно выделить три группы текстов в зависимости от характера употребления в них простых претеритов: группу с окказиональным мотивированным употреблением аориста и имперфекта, группу, в которой простые претериты являются основным средством выражения действия в прошлом, и группу промежуточную. Анализируя затем другие элементы, обнаруживаем, что формы инфинитива на *-ти* или формы на *-ѣ* им. мн. существительных м. рода *i*-склонения и мягкой разновидности *о*-склонения (типа *людѣ*, *звѣрѣ*, *царѣ*) обладают статистически теми же параметрами, что и простые претериты, а в случае мотивированного употребления (в текстах первой группы) появляются в тех же контекстах, заданных композиционно или тематически, что и формы аориста и имперфекта (см.: Солуянова 1989). Это позволяет отнести соответствующие элементы в данных текстах к числу признаков книжности.

Элементы, не релевантные для противопоставления регистров, реализуются в текстах по-другому. Пишущий может употреблять их без разбора по крайней мере постольку, поскольку речь идет о противопоставлении разных языковых регистров. В отличие от признаков книжности эти элементы обнаруживают немотивированную вариативность; фактор регистровых оппозиций на их выбор не действует (хотя, понятно, на их вариативности могут сказываться другие факторы: полностью свободная вариация – редкий феномен). Во всяком случае вариативность этих элементов не связывается в языковом сознании с оппозицией книжного и некнижного языка.

Иррелевантна, конечно же, и их генетическая характеристика. Эти параметры языкового сознания должны так или иначе проявляться в употреблении соответствующих элементов в текстах разного рода. К особенностям этого употребления и должны апеллировать критерии выделения нерелевантных признаков.

а) *Вариативность в книжных текстах.* Поскольку вариативность не связывается в данном случае с противопоставлением книжного и некнижного языка, варианты, восходящие (генетически) к живому языку, проникают в книжные тексты, употребляясь здесь наряду с традиционными книжными вариантами. Некнижные варианты могут при этом иметь разное диалектное происхождение; допустимо, как правило, и совмещение в одном тексте разных диалектных вариантов (отражающих историю распространения текстов). Эта черта является закономерным следствием того, что в гибридном языке нормативность текста связывается исключительно с признаками книжности и никаких нормативных критериев для выбора не соотнесенных с признаками книжности вариантов не действует. Не подверженная регистровым ограничениям вариация в книжных текстах свидетельствует, таким образом, о нерелевантности соответствующего признака для оппозиции книжного и некнижного языка.

Так, в русских книжных (гибридных) текстах обнаруживается свободная вариация окончаний *-омъ*, *-ы*, *-ѣхъ* и *-амъ*, *-ами*, *-ахъ* в дат., тв., местн. мн. ч., окончаний *-аго*, *-ого* и *-ова* в род. ед. м. и ср. рода, *-ой* и *-ья* в род. ед. ж. рода, *-ый* и *-ой* в им.-вин. ед. м. рода, немотивированное употребление полногласных и неполногласных лексем, слов с приставками *раз-* и *роз-* и т. д. В качестве иллюстрации можно привести материал из уже цитировавшейся Географии Помпония Мелы (ГИМ, Чуд. 347). Здесь находим в дат. мн.: *мѣстомъ* 1об., 7, 11, *берегомъ* 2, *богомъ* 7об., *языкомъ* 12об., 23об., *мужикомъ* 16, *козмографомъ* 17, *рубежомъ* 20, *королемъ* 32, однако: *мѣстамъ* 3об., *полямъ* 9. В тв. мн.: *народы* 3, *береги* 8об., 9, *имяны* 10, *персы* 14, *овощи* 31, *товары* 32об., *прародители* 33об., однако: *доходами* 26, *городами* 32об. Местн. мн.: *мѣсте*<sup>x</sup> 1об., 21, *бранѣ*<sup>x</sup> 11, *островѣ*<sup>x</sup> 17, *временѣ*<sup>x</sup> 17, *лѣте*<sup>x</sup> 22об., *судѣ*<sup>x</sup> 32об., *роздѣле*<sup>x</sup> 34, однако: *лѣтописца*<sup>x</sup> 10, *корабля*<sup>x</sup> 11, *жителя*<sup>x</sup> 19, *озера*<sup>x</sup> 25об., *городахъ* 36. Род. ед. м. и ср. рода: *вшедшаго* 5об., *наченшаго* 5об., *нѣшняго* 6об., 26, 33, 39об., *стѣаго* 18об., *средняго* 21, *средняго* 21, *слѣчнаго* 21об., *богшаго* 22об., *другаго* 23об., 28об., вместе с тем: *недоброго* 4, *слонового* 5об., *перского* 3об., 11, *вретаниского* 4, *члѣчского* 8, 11, *египетского* 9, *скопцского* 10, *бжественного* 10, *еонского* 12, *огненного* 14, *земляного* 17, *телесного* 18, *единосущного* 18об. и т. д.; отметим еще: *Галицково* 24, *аглинсково* 26, *другова* 34об. Род. ед. ж. рода: *первыя* 5об., *верхня* 10, *слѣчныя* 21, 21об., *прѣтыя* 37, вместе с тем: *египетскои* 11, *всякои* 28, *прускои* 35, ср. еще: *своеи* 43. Им.-вин. ед. м. рода: *первый* 4, *члѣвскій* 8об., *второй* 8об., *великій* 10об., 38об., *превеликій* 11, *македонскій* 11, *величаишій* 11, *славный* 11об., 14, 36, *старый* 25, *другой* 38об. и т. д.; *которои* 10, 11, *порубежнои* 10об., *слѣчнои* 10об., *новои* 22, *лживои* 23, *Лиманскои* 28, *началнои* 37об., *каменный* 38, *великои* 42. Варьирующиеся (при одинаковом значении) полногласные и неполногласные лексемы: *берега* 2, 3, 5об., *берегомъ* 2, *березе* 6, *берегу* 4, *береги* 10об., 14, *берегов* 10об., *берегъ* 15об.,

26об., берега 3об., 12, бреже 7об., брежѣ 10об.; голова<sup>x</sup> 10, головная 10, глава 5об., главѣ 8, 16; городѣ 27 (bis), 28, грады 6об., 11об., града 8об., 11, гра<sup>d</sup> 10об. (bis), 11 (ter) и т. д. (многократно); городок 6об., 27об., город<sup>o</sup>ки 12об., градок 6; сторонѣ 16об., 26об., 37об., стра<sup>n</sup> 7, 14об., странѣ 13об., страна 42; чере<sup>z</sup> 20, 26, 38, чере<sup>z</sup> 8об., 14об.; воро<sup>m</sup> 10об., врата 12об., сере<sup>d</sup> 21, середняго 21, посреди 15, средняго 21; здорова 33, здраво 19, здоровыи 31. Приставка раз-/роз-: раз<sup>o</sup>деливѣ 6, раз<sup>o</sup>просте<sup>o</sup>ть 3, раз<sup>o</sup>деляе<sup>o</sup>тся 8об., раз<sup>o</sup>стояни<sup>i</sup> 16об., раз<sup>o</sup>мѣрив 19, раз<sup>o</sup>умѣетъ 23об., раз<sup>o</sup>боемѣ 24, раз<sup>o</sup>личные 24, раз<sup>o</sup>деляю<sup>o</sup>тся 25, раз<sup>o</sup>ширилося 26, раз<sup>o</sup>делена 34, раз<sup>o</sup>суждали 43; вместе с тем: ро<sup>z</sup>мѣтили 19, ро<sup>z</sup>делено 19об., ро<sup>z</sup>мѣрению 21, ро<sup>z</sup>верстали 21, ро<sup>z</sup>ходит<sup>o</sup>ся 24об., ро<sup>z</sup>тягивае<sup>o</sup>тся 26, ро<sup>z</sup>деляются 33об., ро<sup>z</sup>дѣле<sup>x</sup> 34, ро<sup>z</sup>давалъ 39об., ро<sup>z</sup>личные 42, ро<sup>z</sup>говор<sup>o</sup>и 43. Из приведенных примеров становится совершенно очевидным, что для переводчика (переписчика) Географии Помпония Мелы перечисленные выше признаки никак не связываются с противопоставлением книжного и некнижного языков. Состав варьирующихся признаков не исчерпывается при этом теми, которые были приведены выше. Вместе с тем ту же вариативность можно было бы проиллюстрировать и на примере многих других гибридных текстов (о преемственности в рамках одного регистра как о факторе, определяющем конфигурацию варьирующихся вариантов см. ниже, § VII-4). Подобная же вариативность (хотя с несколько другим набором признаков) может быть обнаружена и в русских памятниках древнейшего периода (XI–XIV вв.) (см. о характере этой вариативности: Гиппиус 1989)<sup>110</sup>.

б) *Вариативность в некнижных текстах*. Поскольку в случае нерелевантных признаков элементы книжного происхождения не являются для языкового сознания индикаторами книжного языка, они могут проникать и в некнижные тексты (не будучи признаками книжности, они не превращают их в тексты на книжном языке). Поэтому вариативность соответствующих элементов можно наблюдать и в некнижных текстах, хотя, естественно, статистические параметры будут, как правило, отличаться здесь от показателей книжных текстов, (как и в случае книжных регистров, сама статистическая конфигурация указывает на разные линии преемственности в текстах разных регистров – см. § VII-4).

Так, в русских некнижных текстах можно обнаружить те же вариации окончаний и форм, которые были отмечены выше для книжных текстов. Ср., например, в письмах В. Семенова и И. Ляпунова к А. И. Безобразову конца XVII в.: «с хоромы и з заводы и с прудами и с садами», «дѣлех» и «венцах»,

<sup>110</sup> В болгарских гибридных текстах свободная вариативность характеризует, понятно, другую совокупность признаков. Существенно, однако, что и здесь можно наблюдать это явление, прежде всего в глагольном словоизменении. Так, например, здесь имеет место вариация окончаний -хом и -хмѣ в 1 мн. аориста, -ше и -ха в 3 мн. аориста, ср., например, в Троянской повести (Буассен 1946, 98), в Крининском дамаскине (Илиевски 1972, 173), а затем и у Паисия Хилендарского (Георгиева 1962, 364–365). Столь же показательны вариации окончаний в презенсе: -оу/-ю и -м в 1 ед. тематических глаголов, -ши и -шь во 2 ед., формы с -т и без -т в 3 ед., формы с -мь, -мы и -ме (а также -мо) в 1 мн. и т. д. (Буассен 1946, 96–97; Илиевски 1972, 171–172).

«мѣстехъ» и «лесахъ», «мѣстивыи», «великий» и «астраханскои», «которои», «здравие» и «здоровье», «впередъ») и «переднему», «разсмотренью» и «розбивают» и т. п. (Котков и Тарабасова 1965, 89–95). Приведу для примера и слова с приставками *роз-* и *раз-* из Вестей-Курантов 1648 г.: *розмененъ, разѣмѣти, разжигаными, расорити, разорилѣ, розделены, розделилися, розбоиники, розбоиниками, рассѣждение, розмененье, розсѣждение* и т. д. (Вести-Куранты 1983, 68–79). В Вестях-Курантах обнаруживается также и широкая вариативность флексий в словоизменении существительных и прилагательных, в частности, окончаний *-омъ, -ы, -ѣхъ (-ехъ)* и *-амъ, -ами, -ахъ* в дат., тв., местн. мн. ч., окончаний *-ый* и *-ой* в им.-вин. ед. м. рода (Тарабасова 1986, 97–145). Подробный анализ ряда морфологических показателей и конфигураций их вариантов см. в моей работе: Живов 2004а.

в) *Вариативность в текстах на новом литературном языке.* Как уже говорилось, переход к новому литературному языку мог осуществляться как устранение признаков книжности. Те вариации, которые не ассоциировались с противопоставлением книжного и некнижного языка, не подлежали устранению и при формировании нового литературного языка, оттапливающегося от традиционного книжного идиома. Поэтому они могут быть обнаружены и в первых текстах на новом литературном языке («простом»), не испытавших еще воздействия нормализационных процессов. Так, перечисленные выше вариации могут быть найдены в таких текстах, относящихся к первым десятилетиям XVIII в., как «История Петра Великого» Феофана Прокоповича (после произведенной Феофаном правки), в «Юности честном зерцале», в «Езде в остров любви» В. К. Тредиаковского, в «Разговорах о множестве миров» в переводе А. Кантемира и т. д. (см. § X-6 о характере так называемого «петровского пула»). Сохранение вариативности в этих текстах показывает, что соответствующие признаки выступали как нерелевантные для противопоставления книжного и некнижного языка, а позднейшее устранение разнобоя в их употреблении связано с формированием языкового стандарта и к регистровым оппозициям отношения не имеет<sup>111</sup>.

г) *Варианты некнижного происхождения в грамматиках книжного языка.* Наиболее отчетливым свидетельством проникновения элементов некнижного происхождения в книжный язык является их фиксация в грамматиках книжного языка в качестве допустимых вариантов. Как правило, грамматики в данном случае отражают практику, сложившуюся в книжных текстах (ср.: Мечковская 1984, 79–81). Значимость грамматической фиксации прежде всего в том, что она подчеркивает допустимость некнижного по происхождению варианта в рамках книжной нормы. Если вариативность допускается нормой книжного языка, очевидно, что она не связывается с оппозицией книжного и некнижного начал. Так, например, в

<sup>111</sup> Аналогичным образом в новоболгарских дамаскинах, бывших результатом переработки церковнославянских дамаскинов среднегорской редакции, наблюдается вариативность окончаний 3 мн. аориста *-ше* и *-ха* (Демина, III, 70–71). Такая вариативность показывает, что для болгарских книжников данного периода различие в этих окончаниях не связывалось с противопоставлением книжного и некнижного языка.



грамматиках Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого отмечается вариативность окончаний тв. мн. существительных м. и ср. рода *-ы* и *-ами* (*снѣгами* и *снѣги*, *клевертами* и *клевереты*, *ярмами* и *ярмы* и т. д. – Зизаний 1596, л. 27 и сл.; Смотрицкий 1619, л. Д/8 и сл.; ср.: Нимчук 1979, 46), причем в московском переиздании 1721 г. и в грамматических трудах Ф. Поликарпова, следующего за Смотрицким, эта вариативность распространяется на ряд новых примеров (Горбач 1964, 20; Бабаева 2000, 120–122; Живов 2004а, 355–361). Идущая из живого языка флексия *-ами* вводится грамматистами в парадигму для того, чтобы снять омонимию тв. мн. и вин. мн. (а для ряда имен – и им. мн.). Однако очевидно, что это могло быть сделано только при том, что данная флексия не осознавалась как примета некнижного языка; для книжного языка это допустимый вариант, а не окказиональная ошибка.

д) *Варианты книжного происхождения в грамматиках литературного языка нового типа.* При кодификации литературного языка нового типа, противопоставленного старому книжному языку, выстраивается новая норма, исключая маркированные церковнославянские элементы. Как пишет В. Е. Адодуров в грамматике русского языка 1731 г., «nunmehr aller Slavonismus... aus der Russischen Sprache exuliret» (Адодуров 1731, 26). Если при подобной установке в грамматике фиксируются какие-либо элементы книжного происхождения, понятно, что в языковом сознании они никак специально с книжным языком не связаны. В той же грамматике Адодурова, например, в парадигме прилагательных находим окончания им. ед. м. рода *-ый/-ий*, род. ед. м. и ср. рода *-аго/-яго*, род. ед. ж. рода *-ья/-ия* (там же, 29). Это, очевидно, должно означать, что данные варианты не осознаются как примета книжного языка<sup>112</sup>.

<sup>112</sup> Нормативных грамматик некнижного языка не может быть именно потому, что язык является некнижным и представления о языковой правильности, необходимые для кодификации, к нему не относятся. Существуют, однако, грамматики некнижного языка, написанные иностранцами, и в определенных случаях они также могут отражать языковое сознание информантов иностранного грамматиста и служить свидетельством нерелевантности тех или иных признаков для оппозиции книжного и некнижного языка. Так, например, в грамматике Лудольфа неполногласные и полногласные формы противопоставлены в принципе как «славянские» и «русские» (Лудольф 1696, 4); в склонении, однако, мы находим парадигму слова *древо*, которое Лудольф избирает в качестве образца, не смущаясь установленным ранее различием (там же, 17). Можно, правда, думать, что эту парадигму Лудольф заимствует у Смотрицкого (1619, л. Е/2–2об.), и это лишило бы данный пример значимости, если бы парадигма заимствовалась без изменений. Лудольф, однако, устраняет вариант тв. мн. *древы* и, как и в других случаях, не приводит форм дв. числа. Неполногласие, тем не менее, остается без корректировки, и это может указывать на то, что была возможность воспринимать неполногласные формы как нейтральные. Аналогичным образом в грамматике пастора Глюка в склонении прилагательных в качестве вариантов им. ед. м. рода даются *блѣи* и *блѣиѣ*, *доброй* и *добрый* (Кайперт, Успенский, Живов 1994, 229–230), и здесь также может отражаться языковое сознание тех носителей языка, которые служили Глюку информантами. Поскольку, однако, языковое сознание отражается в источниках этого рода лишь опосре-

е) *Дистрибуция нерелевантных признаков*. Как уже говорилось, дистрибуция признаков книжности может находиться в зависимости от композиционного или тематического задания. Для нерелевантных признаков подобная зависимость исключена, для их распределения в книжном тексте характерна относительная равномерность. Показательным примером может служить распределение окончаний род. ед. м. и ср. рода *-аго* и *-ого* в разного рода гибридных текстах. Так, окончания *-аго* и *-ого* безразлично и приблизительно в равных пропорциях употребляются в Библии Франциска Скорины (Булахов 1964, 62; Журавский 1968, 302; Журавский 1979, 90), при этом вариативность наблюдается даже в пределах одного предложения, ср.: «Лета тринадцатого Царства Навходоносорова, двад'цеть втораго дня месеца пер'ваго...» (Иудифь. Прага 1519, л. 4). Ср. еще в Физиогномике, переведенной с польского на церковнославянский в России конца XVII в. (ГИМ, Увар. 613): «Зѣбы малы <...> являють члѣвка двбраго разѣма и опасности блѣгочестиваго тихаго вѣрнаго и таиногѡ ѡбаче некрѣпкаго недолгожителя боязливаго и поспешногѡ на все» (л. 90об.); «Зѣбы жел'тыя... являють члѣвка бол'ше глупаго нежели мѣдраго <...> подозрѣнногѡ, едва чемѣ вѣрющаго» (л. 91об.). Такие примеры могут быть приведены и из многих других текстов. Ср., например, в Повести о Петре Златых Ключей по рукописи 1702 г. «простова, но добраго роду», «небольшаго убогова роду» (Кузьмина 1964, с. 280, 286) и т. п. Аналогичные факты могут быть приведены и из текстов более раннего времени. Ср. хотя бы в Московском летописном своде XV в. постоянную вариативность окончаний *-аго* (*-ааго*) и *-ого*, наблюдаемую, в частности, и в пределах одной фразы: «Увѣдѣв же князь великий лесть лукавааго Олга кровопиица христьянскаго, новаго Июду...» (Булахов 1961, 50–51). В этом же памятнике можно отметить и равномерное распределение других морфологических вариантов, например, флексий *-и* и *-ѣ/-е* в местн. ед. мягкого варианта склонения существительных м. рода (старое *ѣо*-склонение и *і*-склонение) (Казаков 1976, 79–81)<sup>113</sup>.

дованным образом, они могут служить лишь дополнительным свидетельством интересующих нас отношений.

<sup>113</sup> В некнижных текстах дистрибуция нерелевантных признаков также обычно отличается равномерностью, хотя существуют очень показательные отступления. Так, например, в сочинении Котошихина первая глава, посвященная истории России и дворцовым церемониям, характеризуется рядом примет книжной морфологии, которые в других главах, посвященных описанию административных процедур, практически не встречаются. Так, только в первой главе обнаруживается дат. мн. на *-омѣ*, род. ед. *племене*, дат. ед. *дщери*, *церкви* (при обычном *дочере*, *церкве/церквѣ*), им.-вин. мн. *і*-склонения *людие*, местоименные формы род. и вин. ед. *ея* и вин. ед. *ю* и т. п. (Пеннингтон 1980, 210, 228, 229, 232, 245; ср.: Живов и Успенский 1983, 168–169). Речь при этом не идет о церковнославянских вкраплениях в котошихинском тексте. Можно думать, что такая дистрибуция обусловлена тем, что Котошихин отступает от норм приказного языка в тех фрагментах, которые по своему содержанию не могут ассоциироваться с деловой письменностью; здесь появляются варианты, идущие в результате интерференции из другой письменной традиции (предположительно, летописной). Вряд ли следует считать, что эти варианты получают стилистическое значение. Данные соображения можно применить и к другим подобного рода гетерогенным фрагментам в некнижной письменности.

## 5. Летописи как основная составляющая гибридной письменной традиции

Описанные выше критерии позволяют очертить, хотя бы предварительным образом, круг чаще всего появляющихся признаков книжности и состав варьирующих элементов, не соотносящихся с противопоставлением книжных и некнижных регистров. Рассмотренные примеры в своем большинстве относятся к достаточно позднему времени, к XVI–XVII вв., когда гибридная письменная традиция вполне сформировалась. Мы можем теперь ретроспективно проследить истоки этой традиции, т. е. обратиться к тем текстам более раннего времени, в которых наблюдается аналогичное функционирование признаков книжности и варьирующих элементов. Центральное место в этой традиции занимают летописи, и именно летописи позволяют проследить, как эта традиция эволюционировала. Эволюция, как уже говорилось, осуществляется прежде всего в результате переосмысления одним поколением книжников того узуса, который они находят в текстах, созданных предшествующими поколениями. В этом процессе разговорный язык играет лишь побочную роль, как один из факторов, способствующих переосмыслению письменной традиции и реализующихся в том, что письменные навыки одного поколения отличаются от письменных навыков следующего. Этот фактор действует наряду с другими – изменением отношения к тексту, изменением литературного канона и т. д.

Исключительное внимание к соотношению книжного и разговорного языка, характерное для историков русского языка и воплотившееся в разных теоретических построениях (включая теорию диглоссии), восходит в конечном счете, как мы уже говорили, к младограмматическому представлению о первичности устной речи перед письменной, о вторичности письменной фиксации, которая в истории языка может служить лишь как источник для реконструкции устного узуса. Как только мы приписываем письменной традиции собственную динамику, перспектива радикально меняется и мифологическая первичность устной речи (опирающаяся на представление о спонтанности как предпосылке реализации «естественного» языка) уступает место изучению механизмов преемственности. Очевидно, что именно изменения в этих механизмах приводят к изменениям в письменном узусе (узусах), так что, изучая различные параметры эволюционирующего узуса, мы получаем материал для реконструкции механизмов преемственности (см. о механизмах преемственности и выборе морфологических вариантов: Живов 2004а, 18–21).

Реконструировать механизмы преемственности позволяет прежде всего лингвистическая гетерогенность летописей. Анализ гетерогенных по языку гибридных текстов (прежде всего летописей) показывает, что те части, которые книжник воспроизводит, основываясь на удаленных от него по времени источниках, и те части, которые он пишет самостоятельно, связаны непрерывной цепью связующих звеньев, указывающих на постепенность эволюции узуса (ср.: Живов 1995а; Петрухин 1996). Эта эволюция со-

вершается благодаря постоянно происходящей семантической реинтерпретации. Поскольку освоение предшествующей книжной традиции осуществлялось без грамматик и словарей, чтение предполагало интерпретацию лингвистического материала в тех семантических категориях, которые были автору доступны (прежде всего из его языкового опыта, связанного с разговорным языком). Стремясь сохранить формальные элементы, характерные для корпуса существующей книжности, автор делал это в меру своих возможностей, употребляя эти элементы в том значении, которое он выводил из усвоенных им примеров. Понятно, что такое употребление могло существенно отличаться от исходного, имевшего место в усвоенных текстах. Степень отличия определялась, видимо, двумя моментами: во-первых, степенью несходства (по тому или иному конкретному параметру) языка этих текстов с разговорным языком автора, во-вторых, индивидуальными возможностями автора, т. е. его начитанностью, языковым чутьем и стремлением воспроизвести узус своих предшественников лишь в общих чертах или относительно детально. Способ трансмиссии языковых навыков от поколения к поколению не отличается здесь по своему устройству от того, который наблюдается в устном (живом) языке и выступает как эталон «естественности» для ориентированного на «природу» языкознания.

Большинство летописей, содержащих описание событий от «начала» истории до времени жизни летописца, в своих лингвистических характеристиках гетерогенны, т. е. языковые параметры меняются в зависимости от того, о каком времени идет речь в анализируемом фрагменте. Такая ситуация понятна, поскольку летописец, излагая события, не известные ему как современнику (или не дошедшие до него в рассказах очевидцев), пользовался источниками, написанными до него, чаще всего просто их воспроизводя или компилируя. Части летописи, компилированные из более ранних источников, сохраняют языковые особенности своего времени, но вместе с тем обнаруживают их восприятие позднейшим автором, интерпретировавшим их лингвистические характеристики в соответствии со своим языковым опытом. В этих частях как раз и действует механизм семантического переосмысления, состоящий в том, что формы и конструкции переписываемого текста интерпретируются в семантических категориях, присущих языковому опыту компилятора.

Как можно представить себе эталонный (реализующий простейшую чистую схему) летописный текст? Над текстом летописи работает несколько поколений летописцев, каждый из которых прибавляет к первоначальному повествованию свою часть, описывающую события того периода, на протяжении которого, говоря словами пушкинского Пимена, «свидетелем Господь меня поставил». Если бы мы имели дело с оригиналом такой летописи, он бы представлял собой конволют, и мы могли бы наблюдать смену лингвистических навыков пишущих от поколения к поколению, смену, отражающую изменения в языке, т. е. дающую хронологические срезы. Летопись в этом случае представляла бы собой составной текст, распадающийся на несколько отрезков – по числу сменявших друг друга летописцев. Изменения языка от поколения к поколению реализовались бы как швы, отделяющие эти отрезки и выражающиеся в модификации тех или

иных лингвистических параметров. Ни одного такого оригинала до нас не дошло, мы имеем дело со списками и списками списков, т. е. с текстами, претерпевшими те или иные дополнительные трансформации. Для того чтобы уяснить природу имеющихся у нас текстов, мы должны представлять себе характер подобных трансформаций, равно как и те особенности гипотетического исходного текста, которые могут не укладываться в описанную выше эталонную схему. Летописи продолжают летописи и в конечном счете имеют в качестве изначального образца те хронографические кодексы, которые сложились у восточных славян в XI – начале XII в., т. е. первые русские летописи – Повесть временных лет и древнейшую часть Новгородской первой летописи.

В принципе лингвистическую гетерогенность летописей можно было бы рассматривать как принадлежность соответствующих фрагментов, т. е. считать, что летопись представляет собой соположение текстов разного времени, имеющих разные лингвистические характеристики. Если компилятор лишь переписывает чужой текст, добавляя к нему свою часть, то языковые особенности этого чужого текста к его узусу никакого отношения не имеют. В этом случае значимо лишь членение на скомпилированную и оригинальную часть летописи. Реальная картина, однако, сложнее и интереснее. Начнем с того, что летописец может компилировать не из одного, а из нескольких источников, и в этом случае он, как правило, будет в большей или меньшей степени нивелировать те различия, которые обнаруживаются в этих источниках – во всяком случае, при их непосредственном соположении. Далее, в самом процессе компиляции источники подвергаются определенной обработке: сокращаются, пересказываются, дополняются комментариями, и в ходе этой работы летописец ориентируется одновременно и на язык обрабатываемых текстов, и на собственные языковые представления. Даже при воспроизведении одного текста летописец, переписывая, может изменять формы и конструкции, приспособляя их к своему лингвистическому восприятию. Вместе с тем и оригинальная часть обычно оригинальна в разной степени. Одни сообщения практически повторяют предшествующие (например, сообщения о рождении или смерти князя, обретении мощей, пожарах, закладке церквей, небесных знамениях и т. д.), и автор часто пользуется в этом случае теми же выражениями, которые он только что воспроизводил, компилируя из чужих текстов, и может повторять их синтаксические и морфологические особенности (употреблять трафареты). Другие сообщения труднее соотносятся с готовыми образцами, и в них поэтому инновации, связанные с механизмом семантического переосмысления, будут более заметными.

Гетерогенность языка летописей привлекала внимание исследователей. На материале летописей, например, исследовалось становление категории одушевленности. В. Б. Крысько пишет в этой связи: «В ЛЛ [Лаврентьевской летописи] из 41 контекста с В=И от имен нарицательных 28 приходится на “Повесть временных лет” и пять – на “Поучение Владимира Мономаха”, а в “Суздальской летописи” [т. е. в поздней части Лаврентьевской летописи] три примера содержат неличное существительное *конь*, в четырех фигурирует сочетание *снѣ свои* и лишь один раз отмечен аккузатив *князь*. В ЛИ

[Ипатьевской летописи] после 1175 г. (т. е. в конце “Киевской летописи” и в “Галицко-Волынской летописи”) из личных существительных в форме В=И используется только *сынъ* (2 примера), *мужъ* (8) и особенно *посолъ* (20), причем последняя форма – только при глаголах *послати* и *прислати*» (Крысько 1994а, 33). Мы, по-видимому, имеем здесь дело с переосмыслением вариативности В=И и В=Р, которая характеризовала более ранние слои летописи. В=И начинает использоваться только в тех случаях, когда объект действия идентифицируется исключительно по своей функции (не описывается и не подается как отдельная личность – ср.: Никольс и Тимберлейк 1991, 130; Тимберлейк 1996; Тимберлейк 1997б). Это переосмысление, по наблюдениям В. Б. Крысько, получает «распространение только в книжной практике позднерусского и среднерусского периодов, склонной к нормализации и, в частности, к четкому разграничению сфер использования тех форм, первоначальное свободное варьирование которых в живом языке сменилось господством одной формы (в нашем случае – В=Р) при пережиточном сохранении другой (В=И)» (Крысько 1994а, 34). Вряд ли дело здесь в склонности «к нормализации»: сталкиваясь с вариативностью в тексте своего предшественника, летописец-продолжатель переосмысливает ее по-новому, изменяя объем и функции сложившихся трафаретов, так что гетерогенность узуса в разных частях летописи указывает на постепенное расширение функций В=Р у одушевленных существительных, которое в конце концов (этот итог в анализируемых летописях еще не представлен) приводит к полному исчезновению В=И (см.: Тимберлейк 1996).

Существует и ряд работ, посвященных тому, как в разных частях летописи употребляются глагольные формы. Так, в работе Ф. Оттена (1973), анализирующей Степенную книгу, указывается, как распределены по тексту этой летописи различные исследуемые параметры. Например, непоследовательности в образовании имперфекта от глаголов четвертого класса (с *l-epentheticum* или без него) характеризуют прежде всего последнюю часть текста (две последних степени); Ф. Оттен интерпретирует этот факт как свидетельство функционирования имперфекта «als buchsprachliches Tempus» (Оттен 1973, 218). В первой части летописи существенно чаще, чем во второй, употребляется аорист 2 ед., что автор соотносит с влиянием более ранних источников (там же, 244–245). В последней части летописи возрастает число примеров немотивированной вариативности аориста и *л*-форм при описании последовательности действий (там же, 256, 324), и т. д.

Надо думать, что во всех этих случаях действует механизм семантической реинтерпретации. Гетерогенность этого рода вряд ли могла быть мотивирована изменениями, происходившими в разговорном русском языке XVI в.; те процессы (утрата простых претеритов), которые могли повлиять на указанные параметры, в живом языке явно имели место в существенно более ранний период (см. ниже, § V-6.1). Следовательно, речь не может идти о непосредственном влиянии живого языка, но только об эволюции письменных навыков. Летописец мог ориентироваться на отдельные примеры из своих источников (скажем, примеры вариативности аориста и *л*-форм в летописных сводах XIV и XV вв.) и находить в них прецедент для своего употребления. При этом даже в тех случаях, когда в источниках употребле-

ние разных форм было мотивировано, летописец эту мотивацию игнорировал (что и говорит о семантической реинтерпретации); он мог видеть в подобных примерах указание на допустимость недифференцированного употребления данных форм или связывать их со своими дискурсивными стратегиями; такой прецедент был для него важен, поскольку облегчал ему требования к соблюдению книжной нормы.

Отчетливее всего это видно в росте непоследовательностей в образовании имперфекта, приобретающего, по мнению Ф. Оттена, функцию «книжного времени». Вряд ли можно думать, что имперфект получает эту функцию только в XVI в., события которого описываются в двух последних степенях Степенной книги. Вариативность форм имперфекта у глаголов четвертого класса окказионально встречается и в более ранних летописях (см.: Хабургаев 1991, 50). Вне зависимости от того, как ее интерпретировать в этих ранних случаях, для летописца XVI в. она создавала прецедент, который позволял ему производить формы имперфекта от знакомых ему *л*-форм (например, *любил* → *любяше*, вместо *любляше*). Тем самым он в одних случаях мог повторять знакомые ему формы с *l*-epentheticum и чередованием согласных, в других пользоваться собственными новообразованиями. В результате этого и возникала вариативность, которую автор, очевидно, считал допустимой.

Выразительный пример того, как летописец мог использовать прецедент вариативности, для того чтобы избежать трудностей в образовании тех или иных форм, находим в Царственной книге конца XVI в. (ПСРЛ, XIII, 506) в описании осады Казани (новейший слой летописи). Здесь читаем:

И много розни въ городѣ сотвориша: овѣи хотяху за неизможеніе бити челомъ государю нашему; инѣи измѣнники воду начаша копати и не обрѣтоша, но токмо малъ потокъ докопашася смраденъ, и до взятїя взимаху воду с нужною, от тое же воды болѣзнь бяше въ нихъ, пухли и умираху съ нее.

Летописец, видимо, испытывал трудности при образовании формы имперфекта от глагола *пухнути*, которую он явно не мог почерпнуть из письменной традиции, и поэтому предпочел употребить сочетание *л*-формы и имперфекта в качестве однородных членов (*пухли и умираху*). Такая свобода была результатом переинтерпретации письменной традиции. Именно такая реинтерпретация и использование полученных в результате ее возможностей была одним из основных факторов в эволюции письменной традиции.

При этом следует иметь в виду, что с самого начала летописная традиция приспособляла имеющийся в распоряжении книжника лингвистический материал к задачам развернутого и открытого нарратива, которые были в целом чуждыми для устного узуса. Специфика коммуникативных задач летописца обуславливала и специфику использования в летописи конструирующих нарратив грамматических элементов, прежде всего глагольных времен, обеспечивающих временную референцию в рамках развернутого повествования. Летописный нарратив отличается в этом отношении от тех образцов нарратива, которые восточнославянский книжник мог обнаружить в переводных церковнославянских текстах (прежде всего в евангельском повествовании). Эти отличия свидетельствуют о том, что наличный

грамматический материал переосмыслился летописцем и употребление временных форм приводилось в соответствие с теми риторическими задачами, которые он перед собой ставил. Это особенно заметно в употреблении форм перфекта и плюсквамперфекта в ранней летописной традиции, исследованной в этом отношении П. В. Петрухиным на материале Новгородской первой летописи (Петрухин 2004).

В летописях аорист и имперфект употребляются, грубо говоря, в тех же функциях, которые характерны для старославянских текстов (хотя и здесь имеются отличия в деталях, о которых отчасти было сказано выше, см. § II-5), а именно: аорист служит основным временем для обозначения последовательности событий, т. е. нарративного движения, а имперфект – основным временем для приостановки этого движения, когда повествователю нужно описать обстоятельства, в которых произошло то или иное событие (фон этого события) или охарактеризовать с помощью некоторых постоянных свойств или активностей одного из действующих персонажей. Перфект и плюсквамперфект, однако, употребляются в существенно иных функциях, нежели обычно приписываются им на основании общих грамматических соображений и анализа переводных текстов. Обычно считается, что перфект «обозначал отнесенное к настоящему времени состояние, являющееся результатом совершенного в прошлом действия» (Борковский и Кузнецов 1965, 275), а плюсквамперфект – «действие, совершенное ранее другого действия, также в прошлом, а также отнесенный к прошлому результат еще ранее совершенного действия» (там же, 276). Эти значения, правда, приписываются некоторой идеальной спонтанной устной речи, которая к нарративу непосредственного отношения не имеет<sup>114</sup>. Поскольку наблюдаемый узус с этими определениями не согласуется, исследователи пытаются рассматривать его как искажение или несистемный дериват постулируемого ими идеального употребления<sup>115</sup>.

<sup>114</sup> Понятно, что это по существу абстрактный младограмматический конструкт, плохо согласующийся с характером используемых письменных источников и особенно плохо приспособленный к исследованию грамматической семантики, которая прямо связана с коммуникативным заданием текста и в нарративе никак не совпадает с той, которая присуща диалогу (см.: Бенвенист 1966, 237–250; Бенвенист 1974, 270–284; Падучева 1996, см. еще ниже, § V-3). Стараясь обойти это противоречие, традиционные исследования обращают преимущественное внимание на употребление временных форм в прямой речи персонажей повествования, хотя, понятно, такой подход сводит рассматриваемый материал к малой части зафиксированных употреблений и вместе с тем некритически игнорирует потенциальные отличия реального диалога от его передачи в виде прямой речи, вставленной в нарратив.

<sup>115</sup> Так, например, П. С. Кузнецов полагал, что «перфект в придаточных предложениях (особенно дополнительных) может иметь значение результата, отнесенного не к моменту речи, а ко времени действия главного предложения» (Кузнецов 1959, 220). Придаточные предложения, которые он имел в виду, выделялись в нарративе, так что само понятие момента речи лишалось четкости. Возникали и другие осложнения. Например, при рассмотрении ряда примеров из ПВЛ Кузнецову приходится признать, что «в значительной части из рассмотренных случаев возможно было бы и давнопрошедшее время, поскольку речь идет о действии, по крайней мере начало которого относится к моменту,



Между тем, П. В. Петрухин обнаружил, что по крайней мере в Новгородской первой летописи дело обстоит существенно более сложным и интересным образом. Перфект и плюсквамперфект вполне последовательно различаются по своим функциям, однако это различие не укладывается в рамки «канонического» противопоставления их значений. Несколько упрощая его выводы, можно сказать, что «перфект передает известную информацию, плюсквамперфект – новую; соответственно, первый обозначает события “заднего плана” повествования, выполняя в том числе “анафорическую” функцию, а второй используется для событий “переднего плана”» (Петрухин 2004, 93); вместе с тем «плюсквамперфект почти всегда имеет результативное значение, перфект же не маркирован по признаку “результативность”, хотя в большинстве примеров он имеет нерезультативное значение; кроме того, событие, обозначенное перфектом, как правило, характеризуется большей временной дистанцией относительно “точки отсчета” в повествовании, чем событие, обозначенное плюсквамперфектом» (там же).

Хорошим примером может служить следующий пассаж, в котором употреблен и перфект, и плюсквамперфект (хотя случаев такого контраста немного, и в основном указанные Петрухиным функции реализуются вне условий контраста):

и сѣдѣша новгородци бес кнѣзѣ .ѡ. мѣць и призваша нѣмѣждѣмъ сѣдѣмъ, нежатѣ, страшка, оже бѣху бѣжали из новгорода стосла дѣла и акѣна, и даша посадницѣство сѣдѣмъ новѣгородѣ и послаша по гюргѣ по кнѣзѣ сѣдѣмъ, и не иде, нѣ посла снѣ свон ростислав, оже то и пре<sup>\*</sup> былѣ (НПЛ, 26 [л. 22; s. a. 6649]).

В этом пассаже «перфект отсылает к событиям двухлетней давности, довольно подробно изложенным в летописи <...> а следовательно, известным читателю; напротив, о Судиле, Нежате и Страшке ничего не говорилось в предыдущем тексте, равно как и об их побеге из Новгорода <...> Кроме того, форма *былѣ* обозначает ситуацию, завершившуюся задолго до тех событий, о которых идет речь в текущий момент повествования; напротив, ситуация, обозначенная плюсквамперфектом, вполне сохраняет актуальность: в момент “призвания” Судила, Нежата и Страшко, естественно, еще находились вне Новгорода» (Петрухин 2004, 92).

Противопоставление функций перфекта и плюсквамперфекта в данном тексте не имеет прямого отношения к их «каноническим» значениям, хотя можно представить себе зигзаги семантической деривации, которые могли бы соединить эти канонические значения с наблюдаемыми. Это, однако, вряд ли стоящий предмет для реконструкции. Можно предположить, что один из составителей Новгородской летописи приспособил таким образом известные ему из его читательского опыта временные формы, переосмыслив трафареты, в которых они употреблялись, и приложив их к решению своих дискурсивных задач. На чем основывалось это переосмысление, с трудом поддается реконструкции, поскольку мы не знаем всего объема языко-

---

предшествующему действию главного предложения» (там же, 121). Отсюда делается вывод о разрушении старой (идеальной) временной системы.

вого опыта этого книжника (в частности того, какие из этих форм имелись в его живой речи и в какой функции они в ней употреблялись). Последующие новгородские летописцы воспроизводили эту черту письменного узуса своего предшественника, что и указывает на преемственность навыков летописного изложения. Впоследствии, впрочем, в летописании более позднего времени такой узус, насколько можно судить, не фиксируется (хотя данная проблема нуждается в дополнительном исследовании), и это означает, что он вновь был существенно переосмыслен (пути этого переосмысления требуют отдельного анализа). В тех летописных сводах, в которые инкорпорируется новгородское летописание, это обуславливает лингвистическую гетерогенность.

Характер летописной традиции, выражающийся в ее лингвистической подвижности и в лингвистической гетерогенности отдельных летописных сводов, связан с теми чертами литературы как открытой, не требующей концептуализирования автора словесности, о которых говорилось выше (см. § III-2). Действительно, абсолютное большинство летописных текстов является анонимным, и это обстоятельство находится в очевидном контрасте с чертами византийской и западноевропейской историографии. Конечно, и там были анонимные хронисты, но они представляют собой скорее исключение, чем правило. Исторические памятники часто носят авторские имена даже в тех случаях, когда не весь текст принадлежит данному автору. Скажем, Хроника Георгия Амартола была доведена самим Георгием до 842 г., а затем продолжена до 948 г. другим автором, которого обычно обозначают как «продолжатель Амартола» (возможно, Симеон Логофет); в Византии, однако, эта продолженная хроника распространяется с именем Георгия Амартола и в разряд анонимных не переходит. Так же обстоит дело с немецкой Хроникой Регинона: и его труд, доведенный до 906 г., и дополнения, доходящие до 967 г., воспринимаются как принадлежащий Регинону авторский текст.

У восточных славян летопись безымянна. В Киево-Печерском патерике, в словах, принадлежащих перу Киево-Печерского монаха Поликарпа, работавшего более чем через столетие после предполагаемой смерти Нестора-летописца, говорится об этом легендарном книжнике, также монахе Киево-Печерского монастыря, жившем там в конце XI – начале XII в. (в Слове о Никите затворнике упоминается «Несторъ, иже написа Лѣтописецъ», а в Слове об Агапите читаем: «блаженный Нестеръ въ Лѣтописци написа о блаженныхъ отцехъ» – БЛДР, IV, 394, 404). На основании (преимущественно) этого свидетельства авторству Нестора приписывается основная редакция ПВЛ. Однако почти во всех списках ПВЛ (кроме Хлебниковского и поздних Раскольниковского и Голицынского) упоминание Нестора отсутствует. Как пишет А. А. Шахматов (Шахматов 1916, xviii), «Нестор, как мы знаем, заботился о своей литературной славе: и в Чтении о погублении св. Бориса и Глеба и в Житии Феодосия он, отчасти вопреки господствовавшим в древности приемам, нарочито заявлял о своем авторстве. Несомненно он поставил свое имя и в заглавие к Повести вр. лет: “Нестера чьрноризьца Феодосиева монастыря Печерьскаго” – это так согласуется с авторским честолюбием Нестора. Но на последнем славном труде Нестора постигла неудача. Составленная им лето-

пись была подвергнута переработке в другом, князем монастыре; Печерскому монастырю удалось восстановить, хотя и в измененном виде, ушедший из него летописный свод, но имя Нестора осталось заказанным» (ср. еще: Шахматов 19146). Хотя шахматовская реконструкция трех редакций ПВЛ остается дискуссионной, устранение указания на авторство Нестора кажется правдоподобным, и дело здесь может быть не только в том, что позиция Нестора была просвятополковской, а последующих редакторов – промонаховской, а в том, прежде всего, что хронографическое повествование воспринималось как безличное, а упоминание автора – как нарушение литературных приличий.

Это восприятие сказывается на характере развития летописания. И в Византии, и в латинском мире хроники представляют собой по большей части закрытый текст. И в этих культурных ареалах, естественно, одни исторические сочинения служат источником для других, однако они при этом не теряют собственной идентичности. Сколь бы часто ни использовалась «История франков» Григория Турского, сам этот исторический труд сохранялся в своей целостности, т. е. продолжал переписываться и распространяться как законченное сочинение с именем автора. То же самое можно сказать, например, о «Церковной истории» Евсевия. Скилица в предисловии к своей Хронике перечисляет источники, на которых он основывался, и называет авторов соответствующих текстов; при этом и собственный свой труд он подает не как простой пересказ, а как ученое сочинение, основанное на его – авторском – преобразовании материала и критике предшественников (Манго 1988–89, 363; Маркопулос 1985, 171–173).

В русском летописании нет ни одного законченного исторического повествования, передаваемого в своей целостности; используемый летописцами материал предшественников не идентифицируется по авторам и не рассматривается как отдельные сочинения. Мы говорим о ПВЛ как труде Нестора-летописца, однако не существует ни одного списка ПВЛ в качестве самостоятельного произведения. Это всегда часть какой-то летописи большего объема, из которой ПВЛ вычленяется современным исследователем, но отнюдь не читателем соответствующей эпохи. Само это вычленение связано с определенными трудностями, поскольку требует устранения тех добавок и восполнения тех пропусков, которые были сделаны переписчиком. Отсюда многолетние дискуссии о том, входил или не входил определенный фрагмент в первоначальный состав памятника. Для эпохи составления летописных сводов летописный текст источников воспринимался как безымянный и не очерченный какими-либо ясными рамками. Это был текст, подлежащий продолжению и дополнению, проблема же целостности памятника оказывалась совершенно не актуальной<sup>116</sup>.

<sup>116</sup> Это утверждение не имеет прямого отношения к тому, как интерпретируется целостность ПВЛ. До какой степени ПВЛ может быть приписан «интегративный план», как предполагает, например, С. Я. Сендерович (Сендерович 2000, 482) и ряд других исследователей, остается дискуссионным вопросом. Вполне очевидно, однако, что последующими поколениями летописцев такого рода планы не воспринимались; они видели

Данная специфика в восприятии анналистических текстов у восточных славян обусловлена тем фактом, что здесь не было прямой ориентации на переводные византийские хроники: русское летописание не следовало византийскому образцу, равно как не строились по этому образцу и многие другие сферы культурной деятельности (см. выше, § I-4). В исторической литературе в течение долгого времени дискутировалась проблема того, как возникло русское летописание. Первоначально появление летописи интерпретировалось как литературный факт, сходный по своим характеристикам с соответствующими фактами византийского и западноевропейского мира, как они виделись ученым XIX в. Как византийская или западноевропейская хроника была работой определенного хрониста, так и для русской летописи предполагались авторский замысел и авторская работа. Автором первоначальной летописи (ПВЛ) считался преп. Нестор, и проблема возникновения летописной традиции сводилась к тому, кто «повлиял» на Нестора или кому Нестор «подражал» – хронистам византийским или хронистам западноевропейским. Август Шлецер в своей книге о русском летописании, которая характерным образом называется «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные А. Л. Шлецером», ставил вопрос именно в этой плоскости: «Как Нестору пришла мысль написать временник?» (см.: Сухомлинов 1908, 30). Отвечая на поставленный таким образом вопрос, Шлецер и писал: «Четыре Византийских историка, Кедрин, Скилиций, Ксифилин и Зонара, жили в Несторово столетие. Нет сомнения, чтобы он не знал их, или некоторых из них. Весь временник его сделан на покрое Византийский; целые места из последних, переведенные слово в слово, внес он в свое творение; также очевидно подражал и в хронологическом расположении... Таким образом этот Русс вздумал быть историком своего народа» (Шлецер 1809–1819, I, 17–18).

Основываясь на подобной же модели, М. И. Сухомлинов пишет целое исследование об идеологических установках, стиле и языке Нестора; при этом он полагает, что «уже в начале XII века» летопись появилась «в виде стройного, литературного целого» (Сухомлинов 1908, 29). Сухомлинов сопоставляет труд Нестора с сочинениями Козьмы Пращского, Ламберта Гершфельдского и Григория Турского, и это ясно обнаруживает ту модель, с помощью которой он интерпретирует летописный текст: он рассматривает его как произведение индивидуального историка, пользовавшегося различными источниками, но тем не менее руководствовавшегося собственным политическим и литературным замыслом.

Между тем, после работ А. А. Шахматова о русском летописании стал очевиден составной характер не только позднейшей летописи, но и Повести временных лет. Шахматов постоянно и, кажется, не без злоупотреблений пользуется понятием летописного свода, предполагающего компилятивную и редакторскую деятельность летописца, имеющего дело с готовыми источниками. В частности и в составе ПВЛ Шахматов, сопоставляя ПВЛ с новгородским летописанием (Новгородской первой летописью младшего из-

---

перед собой не законченный текст, а начальный фрагмент, который требует продолжения до той поры, пока продолжается история.

вода), восстановил так называемый Начальный киевский летописный свод (Шахматов 1908а; Творогов 1976; Гиппиус 2006б), в котором впоследствии выделил в свой черед несколько пластов. Существенно отметить, что и анналистический принцип (изложение событий по годам), и отступления от него в виде вставных фрагментов присутствовали и в Начальном своде, датируемом Шахматовым 1093–1095 г.<sup>117</sup> Новый редактор (условно говоря, Нестор), пересматривая и продолжая этот свод в середине 1110-х годов (датировки варьируются), дополнил его вставками из переводной Хроники Георгия Амартола и из Летописца вскоре патриарха Никифора (Константинопольского) (Шахматов 1940, 41–69; ср. еще: Франклин 1982), т. е. включил туда те самые элементы, которые Шлецер в свое время определил (недостаточно точно) как заимствования из современных Нестору византийских историков, что и позволило ему говорить о византийском образце киевского летописания. Для Начального свода византийский материал не обладает такой значимостью; он попадает в Начальный свод опосредованно, например, через Хронограф по великому изложению, восточнославянскую компиляцию конца XI в., основанную на ряде византийских источников (Шахматов 1940, 72–80; Творогов 1974; ЛЕР, II, 152–160); тем самым в раннем русском летописании конкретного указания на византийский образец не находится, и поэтому нет оснований связывать с непосредственным византийским образцом анналистический принцип изложения или иные характеристики летописного повествования (ср.: Насонов 1969, 33).

Неоднородным является и Начальный свод. И он несомненно основывается на унаследованном восточнославянском хронографическом материале, отдельные хронологические указания, содержащиеся в нем, свидетельствуют об использовании уже существовавшего летописного же источника. Сомнительно, однако, что эти источники существовали не как делящаяся анналистическая деятельность, а как завершенные «своды», в частности, не кажется оправданной реконструкция так называемого «свода Никона» 1073 г. (см.: Шахматов 1908а, 420–424, 435–437; возражения см.: Тимберлейк 2005; Тимберлейк 2006б). Еще более проблематична реконструкция более древних источников («свода 1039 года»). Прямых текстологических оснований для нее не находится, что побуждает некоторых исследователей прибегать к в принципе мало доказуемым гипотезам.

Например, развивая мысли А. А. Шахматова, его ученик М. Д. Приселков говорит о Древнейшем киевском летописном своде, который Шахматов относил ко времени после 1037 г. (он считал, что этот свод завершался похвалой Ярославу Мудрому как распространителю христианского просвещения, помещенной под 1037 г.). Относительно этого Древнейшего свода М. Д. Приселков пишет: «А. А. Шахматов выставил положение, что составление Древ-

---

<sup>117</sup> До какого именно года был доведен Начальный свод и каков именно был механизм, обеспечивший отражение этого свода или его части в новгородском летописании, для нас сейчас не принципиально (см. ревизию взглядов Шахматова хотя бы в таких работах, как: Алешковский 1971; Гиппиус 1997а; Тимберлейк 2001). Важно, что этот текст уже был результатом редакторской работы летописца над текстом, доставшимся ему в наследство от предшественников.

нейшего свода было предпринято при митрополичьей кафедре, основанной в 1037 г. в Киеве [отмечу, что это утверждение является гипотетическим – кафедра могла быть в Киеве и раньше – В. Ж.]. Это совершенно верное положение нужно подкрепить тем указанием, что обычай византийской церковной администрации требовал при открытии новой кафедры, епископской или митрополичьей, составлять по этому поводу записку исторического характера о причинах, месте и лицах этого события для делопроизводства патриаршего синода в Константинополе. Несомненно, новому “русскому” митрополиту, прибывшему в Киев из Византии, и пришлось озаботиться составлением такого рода записки, которая, поскольку дело шло о новой митрополии Империи у народа, имевшего свой политический уклад и только вступившего в военный союз и “игемонию” Империи, – должна была превратиться в краткий исторический очерк исторических судеб этого молодого политического образования. Конечно, то лицо, которое составляло эту историческую записку, хорошо знало язык, народ и страну, но отражало в своем изложении точку зрения митрополии, т. е. греческого учреждения, претендующего на руководство новою страной» (Приселков 1940, 26–27). Начало русской летописи оказывается, таким образом, византийским служебным документом, написанном, естественно, по образцу других аналогичных византийских документов.

Никаких оснований для такой гипотезы нет. Нет оснований думать, что написанная для константинопольской бюрократии записка была составлена по-славянски (или затем переведена на славянский), что она включала легендарные сообщения о языческом прошлом страны (например, о том, как Ольга мстила древлянам), что, наконец, она вообще существовала и отражала нигде не документированные претензии греческих митрополитов «на руководство новою страной». Как бы ни реконструировать Древнейший свод, никакого сходства с византийской официальной бумагой он не имеет. Не менее фантастична и гипотеза Н. К. Никольского о поляно-русском летописании X в., использованном киевскими книжниками в XI столетии (Никольский 1930).

Нет доказательств и для предположения Д. С. Лихачева, что анналистический способ изложения возник не сразу, а первоначально существовало «Сказание о распространении христианства на Руси», созданное в начале 1040-х годов. Хотя существование некоего доанналистического историографического текста, на который впоследствии была наложена анналистическая сетка, представляется правдоподобным (ср.: Гиппиус 2006б, 73–74), его можно по-разному датировать и о нем невозможно сказать что-либо конкретное, например, что его автором был «Иларион, или тесный круг ярославовых книжников, проводивших политические идеи Ярослава» (Лихачев 1947, 70). Появление этого гипотетического памятника Лихачев связывает с ростом русского национального самосознания и противостоянием византийским претензиям на гегемонию, характерными якобы для Ярослава и Илариона. Замечу, что, хотя определенное противостояние с Византией имело место, нет причин преувеличивать его идеологическое значение и видеть в нем новый этап социально-культурного развития, потребовавший осознания своих «исторических корней». Конечно, и древняя (исходно до-

анналистическая) часть летописи создавалась не в один прием, и ее лингвистическая гетерогенность наиболее естественным образом объясняется отнесением разных фрагментов к авторству разных летописцев (см. о формах аориста глагола *реши* и нескольких других лингвистических чертах, характеризующих «древнее нарративное ядро» киевского летописания: Гиппиус 2001; Страхова 2008; Гиппиус 2009); здесь, однако, выделяются прежде всего разновременные интерполяции, а не налагающиеся друг на друга пласты повествования.

Начальный импульс к возникновению летописания был положен тем, что Русь приобрела статус христианского государства. Летописание безусловно не может быть связано с ранними формами фиксации временного цикла – «первобытными» календарями, постепенно усложняющимися под влиянием более сложных форм социальной жизни (как это предполагал ряд ученых XIX в., например, Сухомлинов – 1908, 2). Календарь фиксировал временной цикл и был связан с представлением о циклическом времени, требующим циклического и фиксированного ритуала. Летопись по самому своему существу основана на линейном представлении о времени, которое к славянам приходит, надо думать, вместе с христианской культурой. Историческое прошлое выступает как необходимый атрибут христианского народа (государства), и поэтому вполне понятно, что восточные славяне, приняв христианство, стремятся обзавестись своей историей. Об «органической» историографии, постепенно вырастающей из фольклора, в данном случае, применительно к летописи, не может быть и речи, можно говорить о фольклорных источниках отдельных фрагментов или отдельных выражений летописи (не преувеличивая, впрочем, их значения), но не более того. Не может быть речи и о «догосударственном» (не связанном с христианизацией Киевской Руси) «поляно-русском» летописании.

Став христианским народом при усвоении христианства как господствующей религии, восточные славяне (естественно, культурная элита) должны были задаться вопросом, «откуда есть пошла руская земля, кто въ Киевъ нача первѣе княжи[ти] и откуда руская земля стала есть» (ПСРЛ, I, 1–2), и именно ответом на этот вопрос явилась Повесть временных лет, равно как более ранний Начальный свод или предшествующие им хронографические опыты. Это естественное развитие, и нет никакого резона предполагать, что наряду с этим импульсом должен был быть какой-то другой, более конкретный, например, как думал Д. С. Лихачев, утверждение независимой истории Руси в ее противостоянии Византии (Лихачев 1947, 58 сл.). Христианизация предполагала усвоение целого круга общих понятий, которые были посторонними для дохристианского общества – государства, власти как социальной институции (а не патримонии или родовой собственности) и т. д. В этот круг входило и понятие истории.

Очевидно, что, создавая свою историю, русские книжники руководствовались примерами других христианских государств, на их образцы ориентирован и анналистический принцип изложения. Восточнославянским книжникам не было никакой необходимости изобретать этот принцип, поскольку к XI в. он был достаточно хорошо известен и киевские книжники могли ориентироваться на существующие образцы. Были ли эти образцы

византийскими или западноевропейскими, установить трудно, поскольку, с одной стороны, анналистическое изложение представлено в обеих традициях (хотя в Византии на нем основаны лишь немногие памятники), а с другой – русское летописание в том виде, который мы знаем, не походит ни на один из возможных образцов, т. е. представляет собой достаточно сложное преобразование первоначально усвоенного принципа<sup>118</sup>.

Ориентация на западноевропейскую хронографию представляется более правдоподобной (см.: Гиппиус 1997б), несмотря на то что никаких ранних славянских переводов западных хроник мы не знаем и никаких свидетельств знакомства с ними у восточнославянских книжников не имеем. На Западе, как и в Киевской Руси, летописание сосредоточено в монастырях и обычно тем или иным образом отражает интересы той или иной монастырской общины или епархии, тогда как «the writing of annals or chronicles was not maintained on a regular basis in any Byzantine monastery» (Манго 1988-89, 362). Западным хроникам в большей степени, чем хронографии византийской, свойствен анналистический принцип. В Византии на анналистическом принципе построены уже упоминавшаяся Пасхальная хроника и Хроника Феофана, которые не были известны на Руси и никакого сходства с русской летописью не имеют (см.: там же, 363). В византийских хрониках, в том числе известных на Руси в XI – начале XII в., события располагаются по цар-

<sup>118</sup> Маловероятной представляется гипотеза Сухомлинова (1908, 38–49), воспринятая затем Лихачевым (1947, 86), что анналистический принцип идет из пасхалий с внесенными в их годовую сетку заметками о наиболее примечательных событиях. Сухомлинов указывает, что в XII в. хронологическими исчислениями занимался Кирик Новгородец, а в качестве примера пасхалии с внесенными заметками об исторических событиях приводит рукопись ГИМ, Син. 325, XIV в.; на нее ссылается и Лихачев. Однако оба эти указания не могут служить не только для доказательства, но даже и для частичного подтверждения высказанной гипотезы, поскольку существование пасхальных таблиц с заметками пришлось бы в этом случае экстраполировать на первую половину XI в. Нужно было бы думать, что за два или три десятилетия первоначального распространения славянской книжной письменности у восточных славян появились и пасхальные таблицы (это еще вполне можно допустить), и затем пасхальные таблицы с историческими заметками (ничто не указывает на такую возможность, кроме рукописи XIV в.), и, наконец, трансформация этих пасхальных таблиц с заметками в летописное изложение. Можно сколь угодно много говорить об «ускоренном литературном развитии», но нельзя в два или три десятилетия уместить постепенную трансформацию одной традиции в другую. Правда, в Византии на основе пасхальных исчислений сложилась в VII в. Пасхальная хроника, однако она не получила распространения и на Руси явно известна не была и потому не могла послужить моделью для хронографического повествования этого типа. Пасхальные таблицы могли быть основой анналистической историографии в иных традициях – в Византии или на Западе, – но на Русь, надо думать, анналистический принцип приходит в готовом виде. Отсюда не следует, впрочем, что никаких окказиональных записей с указанием годов не существовало; похоже, что именно такие записи, сделанные, можно предполагать, в Десятинной церкви, лежат в основе статей 6508, 6509, 6511, 6319, сообщающих о смерти Мальфриды и Рогнеды, Изяслава, Всеслава и княгини Анны (ПСРЛ, I, стб. 129). Эти краткие записи похожи на заметки для церковного поминания. Такие заметки могли быть использованы летописцем, но трудно представить себе, что из подобных заметок мог вырасти летописный нарратив.



ствам. В западноевропейских (латинских) хрониках, напротив, годовая хронологическая сетка служит, как правило, основой повествования, так что один рассказ может разноситься по нескольким соседствующим годам (см. пример из Хроники Козьмы Пражского за 952–957 гг. у Сухомлинова 1908, 36–37), а отдельные годы могут оставаться пустыми, т. е. только перечисляться без внесенных под эти рубрики записей, как, например, в характерных статьях Вейнгартенской хроники, приведенных Сухомлиновым: «792. Karolus rex fossatum jussit facere. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. Kerolt occiditur. 800. 801. 802. Egino Veronensis episcopus obiit. 803. 804. 805. 806. Haito Waldoni successit. 807. 808. 809» (Сухомлинов 1908, 35–36)<sup>119</sup>.

Сходные пассажи с пустыми годами мы находим и в русских летописях, прежде всего в ПВЛ (см.: ПСРЛ, I, 60, 64). Усвоение западноевропейского образа хорошо вписывается в общий культурный контекст формирования киевской христианской государственности, которая в принципе больше связана с западноевропейскими моделями, нежели с моделями византийскими (см. выше, § I-4). Из этих соображений имеет, видимо, смысл связывать начало русской летописной традиции не с киевской митрополичьей кафедрой, а с князем и монастырями, которым он покровительствовал. Это, в частности, делает еще более неправдоподобными и без того неубедительные гипотезы Приселкова и Лихачева, связывавших начало русского летописания с деятельностью киевских митрополитов.

Таковы гипотетические начала русского летописания. Эти начала в значительной степени предопределяют дальнейшее развитие. С самого начала концепция истории в летописи – это христианская концепция истории человечества как истории спасения, поэтому летописи и могли рассматриваться как своеобразная часть духовной литературы, описывающая осуществление Божественного промысла в человеческой истории (ср.: Еремин 1966, 64–71; ср. не всегда вполне убедительные попытки эксплицировать эту духовную составляющую летописей как интертекстуальную связь в кн.: Швайер 1995), а не как историографический труд на манер Геродота или Фукидида. Летопись по своему основному замыслу определяет место человечества – или отдельной его частицы, отдельного социума – в истории спасения, в эсхатологической перспективе. Эта перспектива остается открытой до Второго пришествия, и поэтому открытым остается и текст летописи. Точно так же святой продолжает творить чудеса, пока есть прибегающие к его помощи, поэтому рассказ о его чудесах может дополняться сколь угодно долго. Возможность пополнения обусловлена в данном случае тем, что повествование рассматривается как принципиально незаконченное. В этом отношении восприятие летописи отличается от восприятия, скажем, трактата Цезаря о галльской войне. История не фрагментируется и не циклизуется, а видится как продолжающееся осуществление божественного замысла о человечестве.

<sup>119</sup> Пустые годы имеются и в византийской Пасхальной хронике, занимающей, как уже говорилось, исключительное место в византийской хронографии, см.: «[L]a Chronique Pascale énumère des années vides (ainsi l'an 1, 2, 3 d'Abraham et ainsi de suite jusqu'à 59), sans événements: il existe un temps sans histoire» (Бокам и др. 1984, 453).

Основной смысл летописей оставался религиозным – показать свершения и страдания человечества (или малой его части) на его пути к спасению и извлечь из этой картины странствования народов через волны моря житейского духовные уроки. Для такого взгляда на историю главные вероучительные тексты оставались основным и важнейшим источником, даже вне зависимости от того, как часто цитирует Св. Писание тот или иной летописец и в каком именно модусе подает он эти цитаты. Столь же естественна при этом и связь летописей друг с другом. Они не столько продолжают фиксацию событий, начатую их предшественниками, сколько отмечают новые шаги в раскрытии Божественного замысла о человечестве, как бы переходя от задания к заданию в духовном уроке истории. Такое понимание летописания не только реконструируется из характера представления исторических событий в летописных памятниках, но и достаточно эксплицитно высказывается восточнославянскими анналистами. Так, в конце Рогожского летописца говорится:

Видите же Человѣколюбца и разумѣте высокую и страшную Его силу, аще и дасть врагомъ нашимъ время прѣйти на ны, ранами смиряя неправды наша, милости же своя не отведе до конца <...> И сѣя вся написанная, аще и не лѣпа кому зрится <...> мы бо не досажаяще, ни завидяще чести вашей и таковая вчинихомъ, тако бо обрѣтаемъ начального лѣтописца Кіевскаго, иже вся врѣменнобытства земьскаа необинуяся показываетъ, но и первѣи наши властодержъци безъ гнѣва повелѣвающе вся добрая и не добрая прилучившаяся написовати, да и прочимъ по нихъ образы явлени будутъ <...> Мы же симъ учащеся, таковая вся приключышася въ дни наша не преминухомъ, властодержецъ нашихъ дозрящихъ сихъ, таковымъ вещемъ да внимають, юнѣи старцевъ да почитаютъ и сами едины безъ искуснѣишихъ старцевъ всякого земьскаго правленія да не самочиннують, ибо красота граду есть старчество, понеже и Богомъ почтено есть старчество, рече бо писанѣ: въпроси отца твоего возвѣститъ тѣ, и старца твоя рекуть ти (ПСРЛ, XV, стб. 185).

Цель летописания формулируется здесь как нравственное наставление, обращенное прежде всего к правителям, которые должны смотреть («дозировать») на эти явленные образы и властвовать не самочинно, но учась у «искуснейших старцев», усвоивших уроки истории, духовный смысл которой определяет ее роль как *magistrae vitae*.

Продолжение текста органически связано с его дополнением. Продолжатель летописи, как правило, в той или иной степени редактировал предшествующую часть. Целью его было не создание нарративного единства и даже не создание единства идеологического (хотя политическая тенденция свойственна практически всем летописным памятникам), но восприятие исходных текстов как открытого материала, который подлежит модификациям и дополнению. Если мы взглянем на описания дошедших до нас летописей, то обнаружим, что в большинстве случаев это летописные своды, т. е. контаминированные с текстологической точки зрения памятники. Скажем, Шахматов так описывает состав Академической летописи, написанной во второй половине XV в.: «По содержанию своему распадается на

следующие части: 1) Повесть вр. лет, оканчивающаяся записью игумена Сильвестра. 2) Суздальская летопись от 1111 до 1206 года. 3) Часть от 1205 до 1238 включительно, заимствованная из старшего извода Софийской 1-й летописи. 4) Часть от последних трех известий 1238 до 1419, восходящая к Ростовскому лет. своду. Первые две части списаны со смоленского оригинала, общего и для Радзивилловской летописи» (Шахматов 1916, LIII). Некоторые из этих положений остаются дискуссионными, но самый принцип организации хронографических компиляций они иллюстрируют вполне красноречиво.

Контаминированными текстами являются уже те составные части, которые выделяет Шахматов. Например, Ростовский летописный свод представляет собой, по предположению Приселкова (Приселков 1940, 97), сплетение двух источников, ростовского епископского Летописца и Летописца митрополита, начинающегося с 1250 г. (существуют и другие гипотезы). Контаминация особенно характерна для так называемых общерусских летописных сводов, т. е. сводов, стремившихся объединить известия различных местных летописных традиций. Такого рода синтезирующие опыты характерны для всего летописания, начиная с XV в., в связи с политикой объединения русских земель и обусловленным ею новым политическим сознанием. Поскольку большинство списков летописей старше XIV в., эти синтезирующие опыты отразились практически во всей дошедшей до нас анналистической литературе. Поэтому ни одной летописи, в чистом виде реализующей летописный эталон (последовательность фрагментов, принадлежащих следующим друг за другом поколениям летописцев), до нас не дошло.

Сохранившиеся летописи образовались, как правило, в результате многократного воспроизведения исходных текстов. Переписывавшие их книжники обычно имели дело с лингвистически гетерогенным текстом; его гетерогенность была обусловлена включением в него фрагментов, принадлежащих разным по времени летописям и/или летописцам. В силу этого у составляющего новую летопись книжника могла быть одна из двух установок: нивелирующая или консервирующая. При консервирующей установке книжник сохранял те черты гетерогенности, которые он находил в своем оригинале (оригиналах), и следовал собственным языковым навыкам в той части, которую сочинял заново (если такая была). При нивелирующей установке книжник приводил в соответствие с собственными нормами использованные им источники, так что в принципе они не должны были отличаться от написанной им самим части. Естественно, эти две установки обозначают полюсы возможных подходов, в чистом виде не осуществлявшихся ни один из них<sup>120</sup>. Одна из главных причин этой нечеткости в том, что книж-

---

<sup>120</sup> Хорошей иллюстрацией этих двух установок может служить Синодальный список Новгородской первой летописи. Часть, написанная первым писцом и доходящая до 1234 г., основывается на консервирующей установке и сохраняет многочисленные элементы гетерогенности, присутствовавшие в ее протографе. Именно эта сохраненная гетерогенность позволила А. А. Гippiусу показать, что лингвистические швы, определяемые расхождением текста по совокупности лингвистических признаков, совпадают со сменой новгородских архиереев и, как можно из этого заключить, со сменой приводимых

ник, исходящий из консервирующей установки, не все консервирует, а книжник, исходящий из нивелирующей установки, не все нивелирует. Отношение к тем или иным языковым элементам определяется отчасти их уровнем, отчасти характером воспроизводимого текста. Стратегия книжников, занятых летописями, должна быть поставлена здесь в контекст общих принципов работы средневековых восточнославянских книжников.

Тщательность исправления зависит от типа воспроизводимого текста. Наиболее тщательным образом воспроизводятся образцовые тексты – тексты Св. Писания и богослужения, правильность передачи которых непосредственно связана с религиозными ценностями, поскольку ошибка угрожает искажением религиозной истины. Тексты, предназначенные для частного (например, келейного) чтения воспроизводятся менее тщательно, поэтому, например, в аскетических или церковно-канонических памятниках находим большую лингвистическую вариативность (в частности, более частое сохранение архаизмов), чем, скажем, в текстах Евангелия, Псалтыри или служебных миней (см. ниже, § VI-3). В этой иерархии книжных текстов летописи несомненно стоят на самой нижней ступени. С одной стороны, они могут почти не подвергаться правке, с другой – замены в них не подчинены столь жесткому контролю, как замены в текстах, использовавшихся при богослужении. Именно поэтому в летописании книжники могут работать и как бесхитростные копиисты (консервирующая установка), и прямо противоположным образом – перенося на воспроизведение летописей те навыки книжного письма, которые они выработали при работе с иерархически более значимыми текстами (нивелирующая установка). При этом при нивелирующей установке наибольшим исправлениям будет подвергаться орфографический и морфологический уровень, тогда как синтаксические структуры и лексические элементы будут модифицироваться лишь окказионально.

Это отношение к летописям как к текстам, находящимся на низкой ступени функционально обусловленной иерархии, обуславливает и еще один важный момент в их истории. Отношение к тексту у восточных славян не

---

ими с собой летописцев. Следующая часть Новгородской летописи, написанная вторым писцом и охватывающая период с 1234 по 1330 годы, подчиняется нивелирующей установке и относительно гомогенна (Гиппиус 1996а; Гиппиус 1997а). Стоит отметить, что первая часть Синодального списка представляет собою скорее исключение; столь выраженная гетерогенность, распространяющаяся даже на орфографический уровень, встречается редко. Объясняется это может как радикально консервирующей установкой данного писца (пономаря Тимофея), так и тем, что список отстоял лишь на один шаг от антиграфа, представлявшего собой последовательность фрагментов, принадлежавших разным летописцам. В рукописях летописей, имеющих более сложную и многослойную предысторию, гетерогенность, которая может объясняться сменой летописцев, носит менее выраженный характер. Она может состоять в разном способе обозначения дат, реконструируемом по основным спискам ПВЛ (Тимберлейк 2005), или в разном способе обозначения князя в Лаврентьевской летописи с 1177 по 1203 г., разном способе обозначения наречения крестного имени в том же тексте и т. д. (Тимберлейк 2000). Немногочисленность этих расхождений, уцелевших от нивелирования, может объясняться тем, что устранением индивидуальных особенностей протографа занималось несколько поколений переписчиков.

остается неизменным на протяжении средневековья. В XV в. появляется новая установка, требующая не исправления текста, а его точного копирования. Этот новый подход к тексту возникает в ходе так называемого второго южнославянского влияния (см. § VIII-2). Она, однако, распространяется лишь на иерархически высшие тексты и не затрагивает нижние уровни иерархии. По-новому начинают переписывать Евангелие или Триодь, тогда как в отношении к летописям сохраняются прежние установки. В силу этого принципиальных изменений в передаче летописного текста не происходит: та традиция, которая устанавливается в XI–XIV вв. и засвидетельствована древнейшими летописными кодексами (Синодальным списком Новгородской первой летописи и Лаврентьевской летописью), продолжается в течение всего средневековья, практически так долго, как существует летописание (до конца XVII – начала XVIII в.).

Проблемы, которые ставит гетерогенность летописей, достаточно очевидны, однако материал этот недостаточно исследован. Данная проблема была осознана еще Н. Н. Дурново, который писал: «[П]озднейшие переписчики [равно как и компиляторы – В. Ж.], хотя и вносили в текст изменения согласно современным им орфографическим и грамматическим нормам, не могли стереть всех следов своих протографов. Данные для истории р. языка за XI–XIII вв., извлекаемые из летописных сводов XIV в. и позднее, касаются главным образом синтаксиса, в меньшей степени морфологии и в еще меньшей – фонетики» (Дурново 1969, 112–113). Разная оценка явлений разных уровней связана с теми различиями в работе книжника с орфографическими, морфологическими, синтаксическими и лексическими элементами, о которых мы говорили выше (см. § II-5)<sup>121</sup>.

Вычленение в летописи различных лингвистических пластов, характерных для разных периодов истории языка, позволяет увидеть эволюцию гибридной письменной традиции, увидеть работу механизма семантической реинтерпретации. Как уже было сказано, использование гибридного регистра было присуще русскому летописанию во все время его существования, вплоть до середины XVIII в., когда одновременно исчезает и летописная традиция, сменяясь историографией, свойственной Новому времени, и гибридный регистр, вытесняемый стандартным литературным языком. Эти

---

<sup>121</sup> Отсюда, в частности, следует, что методологическая установка, согласно которой нельзя использовать поздние списки и редакции для анализа языка более раннего периода, вряд ли оправдана в своем ригоризме. Б. А. Успенский пишет: «Поскольку древнерусские произведения свободно переписывались и переделывались, мы не можем использовать их для исследования языка того времени, когда они были созданы. Если мы знаем, например, что произведение написано в XI в., но располагаем лишь списками XIV в., то мы можем делать выводы только о языке XIV в., но отнюдь не о языке XI в.» (Успенский 2002, 89). Ясно, что встречающиеся порой в различных работах ссылки на то или иное языковое явление, фиксируемое в летописи, как относящееся к той дате, под которой оно появляется, без критического комментария недопустимы. Однако и противоположная установка накладывает слишком сильные ограничения и не позволяет привлечь к анализу уникальный языковой материал и выделить существенные моменты историко-лингвистического развития.

события явно взаимосвязаны, они представляют два аспекта модернизации культуры, расстающейся с наследием средних веков.

В истории гибридного регистра надо учитывать, однако, не только летописные памятники, но и многочисленные тексты других типов, также использовавшие эту разновидность книжного языка. К таким текстам относятся прежде всего жития. Е. Е. Голубинский полагал, что первые восточнославянские агиографы подражали византийским образцам, стараясь как можно ближе следовать этим моделям (Голубинский, I, ч. 1, 749). Исследования последних лет ясно показали, что это не так (ср. Зифкес 1970; Ленхофф 1997; Живов 2005). Византийская агиография не была, конечно, однородной и включала как относительно простое перечисление трудов и дней святого вместе с совершенными им чудесами, так и риторически построенные биографические повествования (Крумбахер 1897, 181). Последние представлены прежде всего Менологием Симеона Метафраста, византийского писателя X в., т. е. времени, непосредственно предшествовавшего развитию восточнославянской книжности, агиографические труды которого образуют с момента их создания доминирующую традицию в византийской литературе. Вплоть до конца XIV в. (до второго южнославянского влияния) эта основная византийская модель никаких подражателей на Руси не находит, так что по крайней мере в этом отношении утверждение Голубинского требует корректировки. Ранние восточнославянские тексты не выдержаны в отношении формы, и именно в этом их радикальное отличие от Метафрастовых житий, литературная форма которых была едва ли не основной заботой их автора (о литературных устремлениях Метафраста см.: Циллиакус 1938; Пейр 1992). Однако и сопоставление с более простыми, чем Метафрастовы, византийскими житиями создает впечатление, что усваивалась скорее сама идея прославления святого, отдельные сюжеты и мотивы, разнообразные общие места, тогда как жанровый канон не воспроизводился и, видимо, не представлялся восточнославянским книжникам необходимым.

Поскольку житие не требовало однозначной жанровой организации, легко осуществлялось взаимодействие между житиями и другими нарративными текстами, прежде всего летописями. Я предполагаю, что основой сближения было то формальное обстоятельство, что и летопись, и житие представляли собой повествовательные тексты, хотя играли, видимо, роль и соображения содержательного порядка: из летописи можно было почерпнуть материал для жития, а из жития – для летописи. Случаи такого взаимодействия достаточно хорошо известны (ср.: Ключевский 1871, 369 сл.). Можно указать, например, на Житие Феодора Черного и летописные сообщения о нем в Львовской и Софийской II летописях (Ленхофф 1997); не вдаваясь сейчас в текстологические проблемы зависимости летописи от жития или жития от летописи, отмечу, что обе версии используют гибридный регистр, так что ни в какой лингвистической трансформации это взаимодействие не нуждается.

Отнюдь не все жития написаны на гибридном языке, повествовательность никак не требовала гибридного регистра. Можно напомнить, что и Евангелия (относящиеся к основному корпусу), и исторические книги Библии, и византийские хронографы в славянском переводе также являются

повествовательными текстами и написаны при этом на стандартной разновидности; они безусловно также создавали прецедент для оригинальных повествовательных текстов. Для древнейшего периода однозначную оценку языку житий дать трудно, поскольку само противопоставление стандартного и гибридного регистров еще не полностью сформировалось. Так, скажем, в несторовом Житии Феодосия содержится ряд отступлений от языка стандартных воспроизводимых текстов (например, в том же употреблении имперфекта), однако меньшие, чем в Новгородской первой летописи. В дальнейшем этот текст может восприниматься как образец стандартного языка, хотя гипертрофия тех отступлений, которые в нем намечаются, ведет нас к языку гибридного типа. Для житий XV в. противопоставленность разных разновидностей книжного языка в агиографической литературе достаточно очевидна. Например, жития, созданные Епифанием Премудрым или Пахомием Логофетом, определенно написаны на иной разновидности, нежели житие Михаила Клопского или Феодора Ярославского. Как уже говорилось выше, в XVI в. могут даже иметь место переработки житий из одного регистра в другой (ср. выше, § II-5, о двух редакциях Жития Михаила Клопского). Жития продолжают писаться на гибридной разновидности и в XVII в. (а если брать старообрядческую литературу, то и позднее), и именно в эту традицию вписывается, например, Житие протопопа Аввакума. Поскольку, однако, жития в большей степени, чем летописи, ассоциируются с основным корпусом текстов, более сильный импульс получает и традиция употребления в агиографии стандартной разновидности.

Формальное тождество риторической стратегии обуславливает и распространение гибридной разновидности в прочих повествовательных текстах, например, в так называемых воинских повестях или исторических сочинениях о Смутном времени. Эта мотивировка относится, видимо, и к литературе хождений, хотя в языковом отношении она неоднородна. Возможно, именно наличие нарративных фрагментов обуславливает выбор гибридного регистра в Посланиях Ивана Грозного, которые в целом, конечно, представляют собой не повествовательные, а назидательно-обличительные тексты; Послания Грозного, впрочем, и в культурном, и в литературном отношении остаются исключительным феноменом, не вписывающимся в систематику средневековой русской литературы; часть из них в своей нарушающей все литературные каноны поэтике представляет собой своеобразный текстовой эквивалент провокации юродивого (об амбивалентности в поведении и сочинениях Грозного см.: Панченко и Успенский 1983). Переводы повествовательной литературы в XVI–XVII вв. используют чаще всего ту же гибридную разновидность. Особенно широкое применение она получает в XVII в., когда возникает оппозиция светской и духовной литературы. Большая часть светской литературы (прежде всего повести и романы) пишется и переводится на гибридный язык (например, Повести о Бове королевиче или о Петре Златых Ключей). Исключением являются сочинения, написанные учеными книжниками (например, стихи Симеона Полоцкого или Сильвестра Медведева или трактаты Николая Спафария). Гибридный язык вообще, видимо, укореняется в переводческой практике, если речь не идет об ученой духовной литературе, так что он используется и в переводах

неповествовательных текстов, таких как физиогномики, географические трактаты и т. д. Именно с этим широким функционированием гибридного языка в ранний период новой русской истории (XVII в.) связано его существенное влияние на формирование русского литературного языка нового типа (см. ниже, § X-4).

## **6. Структурирование области некнижных текстов в древней восточнославянской письменности. Юридические и деловые тексты**

Область некнижных текстов также определенным образом структурирована, но здесь нет единого центра, а лишь разные типы текстов, соответствующие разным выполняемым ими прагматическим функциям. Как уже говорилось, такая ситуация может быть соотнесена с тем, что книжные и некнижные тексты функционируют разным образом. Книжные тексты предназначены для постоянного религиозного употребления, они создаются на века и основаны на риторике истины (т. е. единой истины религиозного учения), соотносящей их с центральным для всей этой области текстом Св. Писания. Это определяет и их языковую ориентацию.

Некнижные тексты на вечные истины не претендуют и обращены не к универсальному, а к частному адресату. Это могут быть судебские чиновники, как в случае юридических кодексов, или бюрократический аппарат, как в случае княжеских договоров (впрочем, в средневековой Руси не было разделения административной и судебной власти); это могли быть еще более ограниченные группы лиц, как в случае различных актов документов (вкладных грамот, завещаний, купчих, челобитных и т. д.); наконец, это могли быть отдельные лица, как в случае частной переписки. Во всех этих случаях информация, сообщаемая текстом, не имеет общезначимого характера, не основана на риторике истины и, соответственно, не соотносится ни с какой единой основной моделью (риторической и лингвистической). Можно сказать, что эти тексты не имеют религиозной значимости (хотя и могут содержать религиозные формулы, как, например, призывание Св. Троицы в начале завещаний или религиозная санкция в завершении вкладных грамот).

Поскольку средневековая культура восточных славян была, как говорилось выше, *ex professo* религиозной культурой (см. § III-2), позволительно утверждать, что некнижные тексты лежат вне сферы культуры или что, иными словами, противопоставление книжных и некнижных текстов совпадает с членением «культура – не-культура». Однако ситуация здесь не так проста, как может показаться из этого отождествления бинарных оппозиций. Она не так проста, поскольку само содержание противопоставления «культура – не-культура» нуждается в разъяснении. Общая картина древней восточнославянской письменности не укладывается в ту относительно простую схему, которую исследователи рисуют, например, для арабского языка, определяя языковую ситуацию арабского мира как диглоссию. В арабском мире реконструируется такое состояние, когда практически вся письмен-



ность создается на книжном (высоком) языке (не вхожу в обсуждение того, насколько правомерна такая реконструкция); отдельные тексты, нарушающие эту норму, легко определяются как периферийные, «подражающие» разговорному узусу (например, фельетон в газете) (см. выше, Введение-VII). В древней Руси существовала богатая «некнижная» письменность, которая никак не может рассматриваться как имитация разговорного узуса. Поэтому, когда мы говорим, что эта письменность лежит вне сферы культуры, это сложный семиотический факт, а не тривиальная констатация. Речь идет не о противопоставлении рефлектируемой и нерефлектируемой деятельности (как в арабской ситуации), не о противопоставлении явлений, принадлежащих наследуемой памяти данного общества, явлениям сиюминутным и в культурной памяти не фиксируемым, а об иерархическом упорядочении этой коллективной памяти. При этом упорядочении явления религиозного характера (относящиеся к новой христианской культуре) получают иной статус, нежели социальные навыки, несомненно принадлежащие коллективной памяти, но обладающие иным существенно более низким статусом<sup>122</sup>. Именно это различие в статусе выражается в противопоставленности языковых навыков.

С этим связан и вопрос о нормализованных некнижных текстах. Если бы у восточных славян была диглоссия в том понимании, которое устанавливается для описаний арабской языковой ситуации, таких текстов не должно было бы быть: в этом случае некнижные тексты находятся в сфере нерефлексивного языкового употребления и потому остаются без регламентации (сейчас можно не обсуждать, насколько адекватно такое представление арабской языковой ситуации, ср.: Введение-VII); говорить об их регламентации было бы так же абсурдно, как рассуждать об орфографической правильности принципиально нерегламентируемых сфер коммуникации (как, например, надписи на заборе или чат в современном интернете). Нормализованные некнижные тексты указывают на существование особой области наследуемой коллективной памяти с маркированным отсутствием религи-

<sup>122</sup> И здесь, конечно, требуются оговорки. Когда мы говорим о культурном статусе, мы склонны забывать о том социуме, который этот статус сообщает. Такое абстрагирование хотя бы отчасти оправданно, когда речь идет о современном обществе, распадающемся несомненно на отдельные культурные группы, но объединенном отношениями культурного доминирования, когда культурная элита навязывает обществу свои ценности и задает параметры символического капитала. Для средневекового общества, в особенности для общества едва христианизированного (как это и было у восточных славян в XI-XIII вв.), подобный подход представляется анахронистическим: общество было куда более фрагментированным в том числе и в культурном отношении. Нет никаких оснований думать, что те или иные тексты обладали одним и тем же культурным статусом у, например, киевских клириков, княжеской дружины и сельской общины. Мы, однако, имеем дело с историей письменного языка, т. е. с историей письменных текстов, к которой неграмотное большинство населения не имело прямого отношения. Наша социальная перспектива ограничена «текстовыми сообществами» (которые в условиях Киевской Руси достаточно разнородны, отнюдь не ограничиваясь духовной средой), и для них статус христианских религиозных практик был явно отличен от статуса иных видов социальной деятельности.

озного статуса. Ключевыми памятниками не книжной письменности являются в этом контексте древние восточнославянские юридические тексты, начиная с Русской Правды.

Русская Правда представляет собой, если отвлечься от деталей, исходный и наиболее важный свод древнего восточнославянского обычного права. В своей основе этот текст сложился уже в XI в. В самом тексте памятника говорится: «Правда оуставлена роуьскои земли, егда сѧ съвокоупилъ Изяславъ, Всеволодъ, Святославъ, Косначко, Перенѣтъ, Микыфоръ Кынинъ, Чюдинъ Микѣла» (РП, I, 71). Речь здесь идет о сыновьях Ярослава и их боярах, собравшихся после смерти Ярослава. Это указание содержится в середине текста, так что обычно предполагается, что сыновья Ярослава внесли поправки и дополнения в уже зафиксированный при Ярославе текст. Эта исправленная и дополненная версия идентифицируется с теми или иными оговорками с Краткой редакцией Русской Правды, сохранившейся в двух рукописях XV в. – Академическом и Археографическом I списках Новгородской первой летописи. Поскольку это право оставалось действующим, оно и далее обрастало дополнениями и поправками. Таким образом в XII в. сложилась Пространная редакция Русской Правды. Эта редакция дошла до нас в большом числе списков (поскольку она оставалась актуальной по крайней мере до конца XV в.), древнейшим из которых является рукопись Новгородской кормчей 1282 г.<sup>123</sup>

В обеих редакциях Русская Правда написана на не книжном языке (т. е. на языке, в котором отсутствуют признаки книжности), и во всех списках вне зависимости от их происхождения язык этот является нормализованным в орфографическом и морфологическом отношении. Это не удивительно, поскольку во всех случаях Русская Правда дошла до нас в составе книжных кодексов, и нормализованность письма означает лишь то, что писец не расставался со своими навыками воспроизведения книжного текста, переходя от церковнославянских памятников к Русской Правде. Это, однако, свидетельствует о том, что он не находил нужным (сознательно) отступать от этих навыков (а случаи такого сознательного отступления нам известны, ср. ниже, § III-7 о новгородской берестяной грамоте № 724); такое поведение должно было быть обусловлено определенным официальным статусом текста.

Принципиальная важность Русской Правды для всей сферы не книжной письменности определяется тем, что на ней основываются (как в собст-

---

<sup>123</sup> Текстология Русской Правды достаточно сложна, ее подробное изложение было бы для настоящей работы совершенно излишним. С различными пониманиями истории текста Русской Правды связаны и различные датировки Краткой и Пространной редакций. Мы принимаем господствующую точку зрения, согласно которой Краткая Правда сложилась в XI, а Пространная Правда – в XII в. (детали для нас не существенны). Выделяется также Сокращенная редакция, появление которой, вопреки мнению М. Н. Тихомирова, целесообразно относить к концу XVI – началу XVII в. (см. Зимин 1999, 335–354), что позволяет нам игнорировать этот памятник. Обсуждение текстологии списков и хронологии редакций можно найти, например, в следующих работах: Гётц, I–IV; РП, I–III; Тихомиров 1941; Тихомиров 1953; Юшков 1950; Свердлов 1988; Зимин 1999 (ср. еще: Кайзер 1980, 29–37).

венно юридическом, так и в языковом отношении) все последующие русские юридические памятники – Правосудие митрополичье, Новгородская и Псковская судные грамоты, московские судебники и т. д. вплоть до Уложения 1649 г. Поэтому установление характера языка Русской Правды является центральным вопросом для всего комплекса проблем, связанных с книжной письменностью. Здесь уместно вспомнить, что споры о происхождении русского литературного языка или о его «основе» («русской» или «церковнославянской») первоначально велись именно вокруг языка Русской Правды (см.: Обнорский 1960, 120–144; Селищев 1968, 129–140; ср. Введение-VI)<sup>124</sup>.

Б. А. Успенский ограничивается указанием на то, что язык Русской Правды не является литературным. Он пишет: «Язык Русской Правды должен быть определен как нелитературный постольку, поскольку этому языку не учили. Обучение грамоте распространялось исключительно на церковнославянский язык. Заучивание юридических текстов к этому образованию отношения не имело. Предметом обучения является здесь не язык, а текст» (Успенский 2002, 103). Этот аргумент не слишком убедителен, поскольку, как мы видели, и обучение книжному языку состоит прежде всего в выучивании текстов, а полагать, что книжные тексты выучиваются для овладения книжным языком, тогда как юридические тексты зазубриваются только как тексты, было бы слишком большой натяжкой: столь тонкие различия нельзя продемонстрировать и реальность их существования призрачна. Еще существеннее, что само отрицание «литературного» статуса языка Русской Правды мало что дает, поскольку, как уже говорилось, не слишком содержательным является и приписывание этого статуса книжному языку славянского средневековья. Очевидно вместе с тем, что в юридических текстах действует четко выраженная преемственность, что позволяет рассматривать их как отдельный языковой регистр. Проблема в этом случае не в том, чтобы давать или не давать этому регистру атрибут «литературного», а в том, чтобы установить его отношение к другим регистрам.

Лингвистические особенности Русской Правды обычно связываются с тем, что в устной форме этот свод юридических предписаний существовал еще до того, как был зафиксирован на письме. По словам Б. Унбегауна (Ун-

<sup>124</sup> Некоторые историки в силу смутных представлений о лингвистической проблематике могут продолжать линию С. П. Обнорского, не осознавая, видимо, ее безнадежной тенденциозности. Так, например, М. Б. Свердлов может утверждать: «ПП [Пространная редакция Русской Правды] написана прекрасным литературным древнерусским языком без диалектизмов. Вместе с тем она является замечательным и еще не оцененным литературным произведением. Со свойственным средневековому реализму лаконизмом излагает ПП самые различные жизненные ситуации в связи с правонарушениями, в связи с отношениями господства и подчинения, в связи с долгом и наследованием, судебной процедурой и так далее. Литературно формулировки юридических норм изложены по-разному, от лапидарных клише до обстоятельного изложения. В текст включена прямая речь, что также придает ПП стилистическое разнообразие» (БЛДР, IV, 675). Нет никакого смысла трактовать Русскую Правду как «литературное произведение», тем более неосмысленно приписывать ей «реализм» и «стилистическое разнообразие», которые не могут быть уместны в юридическом кодексе.

бегаун 1969а, 313), «право это как бы только и ждало введения письма, чтобы быть закрепленным на бумаге»<sup>125</sup>. Такое положение вещей характерно не только для восточных славян, но и для многих других индоевропейских народов (да и не только индоевропейских) и отражает статус правовой регламентации в древнем обществе. Право не вычленяется здесь как особая сфера социальных отношений, запреты и наказания, связанные с нарушением юридических норм, не отличаются от запретов и наказаний за нарушение норм религиозных (в частности, ритуальных). Таким образом, право представляет собой часть общей религиозной регламентации социальной жизни, получающую определенную автономию лишь в ретроспективе. Религиозная регламентация запечатлевается в мифопоэтическом комплексе текстов, которые передаются изустно из поколения в поколение. Подобные комплексы хорошо просматриваются у индоарийцев (ведические гимны), иранцев (Авеста), в хеттской традиции (см.: Бенвенист 1995; Воткинс 1970). Не вызывает особых сомнений, что аналогичная традиция была и у славян (см.: Иванов и Топоров 1978; Иванов и Топоров 1981).

Оговорюсь сразу же, что я не имею в виду, что Русская Правда представляет собой подобного рода древний ритуальный текст. С одной стороны, Русская Правда свидетельствует о том, что юридическая сфера сделалась уже достаточно автономной, т. е. представляет собой продукт распада древнего единства. С другой стороны, я отнюдь не утверждаю, что Русская Правда представляет собой славянскую часть индоевропейского наследия, в чистом виде вынесенную из доисторической древности. Юридическая система, отразившаяся в Русской Правде, несет на себе следы и иранского влияния, и влияния германского (скандинавского), связанного с ролью варягов в формировании восточнославянских социальных институтов. Правдоподобно тем не менее, что это право функционировало как обычное у значительной части восточнославянского населения (прежде всего городского) и передавалось традиционным способом, тем способом, который сложился у славян еще в период синтетического существования религии и права.

О таком способе трансмиссии говорит риторическая структура памятника. Как и в других текстах, предназначенных для длительного существования в устной традиции, в Русской Правде отражаются элементы мнемонической техники, общей для разных индоевропейских народов и известной нам прежде всего из фольклора, для которого устная трансмиссия и до сих пор остается обычной формой бытования. Именно с этим связано наличие в Русской Правде структурных повторов, широкое употребление параллелизма, ряд стандартных формул. Важнейшим моментом является унифицированная синтаксическая структура фиксируемых юридических норм, реализующая двучастную схему. В первой части размещается предикат «со значением 'совершать нечто'» (в юридическом смысле как нарушение некоторого равновесия, которое должно быть впоследствии восстановлено в результате исполнения законодательной процедуры, предусматриваемой

<sup>125</sup> Ср. еще аналогичную точку зрения А. А. Шахматова, высказанную им в письме к Л. Гётцу (Гётц, IV, 63) и поддержанную затем Е. Ф. Карским (Карский 1930, 20), В. В. Виноградовым (Виноградов 1958, 81), А. М. Селищевым (Селищев 1969, 129).

этой формулой)», во второй части – предикат «со значением ‘возмещать’ (в юридическом смысле совершать нечто, что восстанавливает нарушенное равновесие» (Иванов и Топоров 1981, 11).

Как указывают Вяч. В. Иванов и В. Н. Топоров, «формула зависимости между двумя частями схемы носит характер условной связи (если..., то...), которая при единстве содержательной стороны может иметь разнообразные языковые выражения, всегда, однако, остающиеся двучленной конструкцией, где в первом члене часто выступают слова союзного или местоименного типа, соотносящиеся обычно с каким-либо соответствующим словом во втором члене <...> В качестве характерных примеров союзных конструкций можно привести следующие: “Аще оутнетъ мечемъ,... то 12 гривнѣ за обиду” (Кратк. Русск. Правда); “Аще который товар възметъ Русин у Немчина..., тый товар не ворочается” (Договор Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 г., 21, ПРП); “Аже кто холопа ударить, то гривна кун” (Там же, 1) <...> “А которого татя поймают с какою татбою..., ино его казнити...” (Судебник 1497 г., 10, Суд.)» (там же, 12). Набор таких однотипных синтаксических структур может интерпретироваться как рефлекс древней мнемонической техники: синтаксическая однотипность функционирует в этом случае сходно с более привычным нам стихотворным размером, помогающим памяти удержать большие объемы текста. Это, конечно, определяет отличия языка подобных памятников от языка разговорного; устное в данном случае явно не синонимично разговорному.

Таким образом, Русская Правда относится к архаическому культурному слою в социальной жизни Киевской Руси; она представляет традицию, четко оформившуюся еще до принятия христианства и рецепированную в христианскую культуру восточных славян как инородное с точки зрения этой культуры тело. Христианская культура, в том виде, в котором она приходит на Русь, – это культура, связанная со структурой власти, предполагающая иерархически упорядоченное общество, в котором функционирование права определяется его «вертикальной» структурой, иерархией власти, которая рассматривает преступление как посягательство на порядок общества в целом; именно так, в частности, трактуются в римском праве и преступления религиозные. Структура восточнославянского общества была в существенной степени горизонтальной; вертикальные структуры, хотя и существовали, но лишь в зачаточном состоянии, они не соединяли общество сплошной связью, общество оставалось фрагментированным. В X в. варяжская дружина собирала дань, а не устанавливала законы.

Юридическая система, отразившаяся в Русской Правде, соответствует горизонтальной социальной системе. В вертикальной системе закон безличен и всеобщ, он воспринимается и функционирует как наложенная свыше норма. Судебные тяжбы осуществляются под контролем власти, а преступление рассматривается как нарушение общего порядка (king's peace в английском законодательстве с XIII в.). Цель наказания – оградить общество от повторения аналогичных преступных действий, поэтому наказания носят устрашающий (преимущественно членовредительный) характер. При горизонтальной социальной структуре тяжба имеет характер состязания сторон и имеет целью разрешение конфликта между ними. Этот процесс может

проходить под наблюдением старейшины, какого-то религиозного авторитета или племенного вождя, наблюдающих за соблюдением обычая, но он имеет по существу частный характер (см. эту типологию в кн.: Кайзер 1980, 3–17). Поэтому и наказания имеют характер возмещения ущерба, прежде всего в форме штрафа. Та юридическая традиция, которая шла из Византии вместе с христианством, была государственной, на Руси она сталкивалась с местным правом, основанном, по крайней мере в своих истоках, на противоположном принципе.

Инородность восточнославянского местного права в христианской культуре ясно вырисовывается из того контекста, в котором существует русская юридическая письменность. Важным моментом является то, что наряду с местными юридическими памятниками в восточнославянской письменности фигурируют и памятники, написанные на стандартном книжном языке. Эти тексты представлены памятниками византийского права в славянском переводе. К ним относится прежде всего Прохирон («Закон градский») и Эклога («Леона цесаря премудраго и Константина вѣрноу цесарю главизны»). Они появляются в восточнославянской книжности по крайней мере с XIII в. Однако отдельные извлечения из византийских юридических кодексов находят уже в древнейшей редакции Кормчей, так что само сосуществование двух типов юридических кодексов (восточнославянских и церковнославянских) можно отнести (как принцип) к начальному периоду формирования христианской культуры восточных славян. Эта юридическая литература распространяется в составе Кормчих и Мерил праведных, хотя ряд текстов (например, «Книги законные») встречаются и в сборниках разного содержания.

Таким образом, церковнославянское (книжное) право существует наряду с восточнославянским некнижным. Взаимоотношение этих двух юридических систем в юридическом плане и двух наборов текстов в плане лингвистическом и определяет культурный статус Русской Правды и наследующих ей текстов. Для уяснения данного взаимоотношения принципиальное значение имеет оппозиция терминологических систем книжного и некнижного права. Лингвистические параметры указывают на четкое противостояние двух систем и относительно малое их взаимовлияние. Приведу некоторые примеры (подробнее см.: Живов 2002б, 187–305).

В свое время Б. Г. Унбегаун привлек внимание к противопоставлению нескольких церковнославянских и восточнославянских юридических терминов. К числу таких противостоящих терминов относится обозначение свода законов, а вместе с тем и самого понятия права, юридической нормы. В русских текстах в этом значении первоначально употребляется термин *правда*, позднее *уставная грамота*, *судная грамота*, *судебник*, *уложение*. В церковнославянских текстах эти же понятия выражаются терминами *законъ*, *законоположение*, *заповѣдь* в соответствии с греч. νόμος, νομοθεσία, διάταξις (Унбегаун 1969а, 176–184; Унбегаун 1957). Термин *устав* встречается в данном значении как в русских, так и в церковнославянских текстах, однако можно думать, что в русских текстах он представляет собой рано освоенный славянизм.

Б. Унбегаун (1959) приводит противопоставленные термины и для другого фундаментального понятия – преступления. Обобщающий русский термин (поскольку он вообще появляется, а не заменяется в нужных местах перечнем конкретных преступлений) – *обида*, позднее – *лихое дѣло*, *дурно*, *воровство*, в юридических текстах Литовской Руси – *кривда* (ср.: Унбегаун 1969а, 203–217, 312–313). Церковнославянский термин – *проказа* в соответствии с греч. ἀμαρτία, ἀμαρτήμα, πανουργία, ср. в Договоре с греками 944 г.: «ци аще ключитсѧ проказа никака ѿ Грекъ...» (ПСРЛ, I, стб. 51), в Мериле Праведном (МП, л. 322 = Прохирон XXXIX, 13): «Проказу (ἀμαρτήμα) творѧщему в животѣ помогающимъ кмѣ рѣки да оустѣкнѣтсѧ» (ср. Брандилеоне и Пунтони 1895, 225).

Этот перечень может быть расширен. Древнейший восточнославянский термин для понятия свидетель – *видокъ* (ср. РП, 31: «а видока два выведоутъ» – РП, I, 125; ср. еще Русская Правда, ст. 29, 39, 67; Русская Правда (краткая), ст. 2, 10, 16). Этот термин в церковнославянских юридических текстах не встречается, ему соответствует здесь термин *свѣдѣтель*, передающий греч. μαρτύρος, ср. Ефремовская кормчая, Василия Великого из 29-й главы о Св. Духе «при оустѣхъ во дѣвоу или тринъ съвѣдѣтелю станеть вьсѧкъ глѣ – Ἐπὶ στόματος ὑάρ δύο καὶ τριῶν μαρτύρων σταθίσεται πᾶν ρήμα» (Бенешевич 1906–1907, 531). Термин *послух* выступает как нейтральный, находясь в свободной вариации с термином *видок* в русских текстах (ср. варианты в формулировке Русской Правды, ст. 67 – РП, I, 270, 288) и с термином *свѣдѣтель* – в церковнославянских, ср., например, перевод заглавия XXVII титула Прохирона «Περὶ μαρτύρων» в редакции Мерила праведного «ѿ свѣдѣтелехъ» (л. 284); в редакции «Книг законныхъ»: «ѿ послоустѣхъ» (Павлов 1885, 85).

Точно так же восточнославянскому обозначению имущества (*домъ* или *животъ*) соответствует цсл. *имѣние*, *стажание*, *притажание*; восточнославянскому обозначению наследства (*задѣница*, позднее *статокъ*, *остатокъ* и т. д.) соответствует цсл. *наслѣдие* (< греч. κληρονομία), реже *причастие*; термины *рукописание*, *душевная* или *духовная грамота* восточнославянских юридических текстов соотносятся с цсл. *завѣтъ*, *завѣщание*, *свѣщание* (< греч. διαθήκη) и т. д.; восточнославянское наименование кредитора *дѣлзьбитъ* находит соответствие в цсл. *заимодавецъ*; восточнославянские наименования ростовщического процента *рѣзъ*, *накладъ*, позднее *ростъ* противопоставлены цсл. *лихва*; восточнославянским терминам *головщина* и *головникъ* – цсл. термины *убиство* и *убица*. В этот ряд могут быть поставлены и всл. *холопъ* – цсл. *рабъ*, равно как и общее обозначение субъекта права: всл. *человѣкъ* – цсл. *лице* (< греч. πρόσωπον) (Живов 2002б, 196–201). Думается, что ряд таких противопоставлений может быть продолжен; его особая значимость подчеркивается тем фактом, что такие словарные оппозиции являются скорее исключением в соотношении русского и церковнославянского языков (во всяком случае для древнего периода).

Данный набор оппозиций показывает, что мы имеем дело с двумя противопоставленными системами юридической терминологии, которые функционируют независимо друг от друга. На эту независимость особенно отчетливо указывает то обстоятельство, что термины, заимствуемые из одной системы в другую (что само по себе случается редко и каждый раз обу-

словлено специальными факторами), могут приобретать в рамках другой системы принципиально иное значение, нежели они имели в исходной. Так, например, в новгородских памятниках завещание, как уже говорилось, обозначается термином *рукописание*. Этот термин несомненно заимствован из церковнославянского и является калькой с греч. χειρόγραφον. Однако как в греческом, так и в церковнославянском он имеет значение не завещания, а долговой записи, ср. в переводе Эклоги, XIV, 15 (XV, 4): «**ниже своего роукописання долги списати ѿмѣтати...**» (МП, л. 187об.). Это значение хорошо представлено и в неюридических церковнославянских текстах, обозначая прежде всего ту кабалу греху, в которую привел человечество Адам и из которой искупил его Христос, ср.: Кол. 2.14 «**истребивъ еже на насъ рѣкописаніе**», а отсюда и в многочисленных других богослужебных и назидательных текстах (ср., например: «**растрѣгни грѣха моего роукописаникѣ**» – Миней 1095 г., л. 99 – Срезневский, III, стб. 194). Можно полагать, что именно с этим значением данный термин и был освоен первоначально славянской письменностью, см. новгородскую берестяную грамоту № 138 второй половины XIII в., представляющую собой запись ростовщика: «**Се азъ раво бѣи селнвѣстро. напсахъ роукописаникѣ**» (НГБ, IV, 11–14; ср. еще грамоту № 307 первой половины XV в.: НГБ, V, 137–140). Этим словом и выполняется недостаток специального обозначения для завещательного распоряжения (ср., в частности, надпись на духовной Климента до 1270 г. – Валк 1949, 162; а также в берестяных грамотах № 42, XIV в. и № 519, рубежа XIV–XV вв. – НГБ, II, 42; НГБ, VII, 112–114). Семантическое развитие русского термина легко объяснимо, поскольку можно думать, что в условиях торгового города завещание в большой степени сводилось к передаче наследнику долговых обязательств, т. е. того, что должны завещателю, и того, что должен завещатель<sup>126</sup>. В церковнославянских текстах *рукописание* в значении завещания не употребляется. Таким образом, заимствованный из церковнославянского русский термин получает иное значение, чем исходный церковнославянский, и это подчеркивает оппозицию систем.

Сходные процессы имеют место и при противоположном направлении заимствования. Так, в церковнославянских юридических текстах может использоваться термин *задъница*, однако не в значении 'наследство вообще', а в специальном значении легата, ср. пример из Ефремовской кормчей, Collectio 93 capp., 77 («**причастъкѣ и задъницу** – κληρονομίαν ἢ λεγάτον»). Само заимствование русского термина было вызвано, видимо, необходимостью найти эквивалент для греческого термина. Поскольку русское право не знало различия между обычным наследством и легатом (см. об этом: Цито-

<sup>126</sup> Ср. в уже упомянутом рукописании Климента (Валк 1949, 163); ср. противоположное мнение М. Бенеманского (Бенеманский 1917, 139) о том, что в наследство по РП «не входили долги и требования наследователя»; Бенеманский ссылается на Н. Дювернуа, который, однако, пишет не о том, что долговые обязательства не переходили по наследству, а о том, что они не подразумеваются терминами *задница* и *остаток* (Дювернуа 1869, 145–147). П. Цитович (Цитович 1876, 146–148) предполагал, что «описание долговых требований и долгов» было одной из специальных задач завещательного распоряжения.



вич 1870, 69–75, 133–136), термины *зadъница* и *наследие* не противопоставлялись вполне последовательно; в частности, термин *зadъница* мог употребляться и для обозначения обычного наследства (и в этом можно видеть влияние русского юридического субстрата). Например, в переводе Эклоги, вошедшем в состав МП, *зadъница* в большинстве случаев соответствует греч. λεγάτον, ср. Экл. VI, 11 (4): «и да ѿпадeтъ наслѣдникъ ѿ причастья ї задничникъ ѿ задница – ἐκπιπέτω ὁ μὲν κληρονόμος τῆς κληρονομίας, ὁ δὲ λεγατάριος τοῦ λεγάτου» (МП, л. 181; Цахарие 1852, с. 28). Наряду с этим имеются случаи, в которых *зadъница* стоит на месте греч. ὑπόστασις, ср. Экл. V, 7: «какo до чtвера дѣтти .ї.-юю часть задница – ἕως δὲ παίδων τὸ τρίτον μέρος τῆς ὑποστάσεως» (МП, л. 177 об., Цахарие 1852, 26) – хотя в подобных случаях речь идет об обычном наследуемом имуществе, в самом греческом оригинале тип наследования не обозначен, и переводчик, которому греческие юридические нормы были незнакомы, а текст не давал прямого указания, пользовался термином *зadъница* недифференцировано, употребляя его не в его церковнославянском, а в его русском значении. Однако каковы бы ни были непоследовательности (обусловленные, очевидно, неуверенностью или незнанием переводчиков и переписчиков), *зadъница* в церковнославянском получает иное значение, чем в русском, и образующая здесь омонимия укрепляет системное противостояние.

Омонимия в принципе является одним из самых четких показателей «взаимонепонятности» языков, и этот признак особенно релевантен, когда речь идет о терминологических системах. При такой взаимонепонятности системы права могут существовать только раздельно и неслиянно. Действительно, трудно представить себе единую юридическую систему, в которой, скажем, *testamentum* в одних текстах означает ‘завещание’, а в других ‘долговую расписку’. Конечно, необходимо лишь, чтобы каждое слово было «functionally comprehensible in a given context», как пишет С. Франклин, отвергая приведенный выше аргумент о неслиянном характере двух юридических систем (Франклин 2007, 69). Однако при подобной омонимии высока вероятность возникновения коммуникативных конфликтов, которые особенно недопустимы в судебной деятельности. Обычно терминологические системы устроены так, чтобы обезопасить пользователей от подобных недоразумений, с тем чтобы была исключена даже отдаленная возможность появления «функционально непостижимых» терминов. Независимое существование двух систем права ставит вопрос о том, как возникло и какой цели служило это излишество, для которого довольно трудно подыскать аналог в истории других европейских культур.

Специфическая русская юридическая ситуация складывается, видимо, уже в XI в. Во всяком случае такой вывод можно сделать из рассказа Повести временных лет под 6504 (996) г. В летописи рассказывается:

живаше же Володимерь в страсъ Бжѣи. и оумножишася [зело] разбоеве. и рѣша епѣпи Володимеру. се оумножишася разбоиници. почто не казниши ихъ. ѡн же рече имъ боюся грѣха. ѡни же рѣша юмѣ ты поставленъ єси ѿ Бѣ. на казнъ злымъ. а добрымъ на милованье. достоить ти казнити разбоиника. но со испытѡмъ. Володимеръ же отвергъ вирѣы нача казнити разбоиникѣы. и рѣша епѣпи и старци. рать

много вже вира то на шружьи. и на кони<sup>х</sup> буди. и ре<sup>ѣ</sup> Володимеръ [та<sup>а</sup> боу<sup>а</sup>. и жива<sup>а</sup> Во<sup>а</sup>димеръ] по ѱстроенью штъню и дѣдню (ПСРЛ, I, стб. 126–127; Шахматов 1916, 161).

Итак, епископы явились к Владимиру и предложили ему судить по византийским законам. Именно византийское уголовное законодательство, надо думать, родное для епископов (хотя мы и не знаем, кем бы могли быть эти епископы в большинстве своем в 996 г.), предусматривало физические (членовредительные) наказания («казни»); византийские епископы воспринимали его как часть христианской имперской цивилизации (ср.: Гётц, I, 200–204). Славянское право, напротив, предусматривало штрафы («виры»), которые платились как в пользу потерпевшего, так и в пользу князя (см. обычное выражение *а князю продажу* – например, Русская Правда, ст. 37, 38: РП, I, 126; ср.: Владимирский-Буданов 1909, 326–327; Сергеевич 1910, 397; Гётц, I, 109). Владимир последовал совету епископов и стал судить по греческим законам. Далее летописец рассказывает, будто снова пришли епископы, на этот раз вместе со старцами, т. е. хранителями языческого обычая, старины, и сказали, что приходится много воевать, а средств на военные расходы не хватает, поскольку казна лишилась такого дохода, как виры. Я думаю, что упоминанием епископов во второй раз мы обязаны благочестию составителя или редактора летописи – совместные действия епископов и старцев представляются малоправдоподобными; А. А. Шахматов (Шахматов 1908а, 570) высказывал предположение, что в протографе упоминались одни старцы (ср.: Гётц, I, 199). Если в этой истории есть хоть немного реальности, то пришли именно старцы, т. е. представители старой культуры, и с помощью каких-то аргументов убедили Владимира вернуться к прежним порядкам (см. подробнее: Гётц, I, 193–211). Этот момент надо считать символическим началом своеобразного юридического дуализма у восточных славян. В этом первом столкновении двух юридических норм ясно проявилась их религиозная противопоставленность: византийское право воспринимается как часть христианской культуры, славянское – как элемент языческой старины. Существенно, что летописец воспринимает существующую ситуацию как требующую объяснения, а действующее право – как наследие язычества. С этого времени и начинается «борение между Руссом-язычником и Руссом-христианином, борение, замечаемое во всех почти явлениях юридической его жизни» (Крылов 1838, 54; ср.: Ключевский, I, 219–222).

Конечно, процитированный рассказ носит легендарный характер и может рассматриваться как обработка какого-то предания, сделанная летописцем в конце XI в. С. Франклин и Д. Шепард полагают, что эта история была «придумана позднее [т. е. позднее 996 г.], в оправдание широкого применения штрафов на рубеже XI–XII вв.» (Франклин и Шепард 2000, 321). Мнение о позднем характере этого рассказа является вообще общепринятым, хотя мотивы его включения в летопись могут реконструироваться по-разному. Так, признавая вместе с Франклиным и Шепардом тенденциозность летописца, я не могу, однако же, представить себе, чтобы благочестивый автор выдумывал из головы исторические анекдоты для оправдания конкретной административной практики. Я бы предполагал, что какая-то

легенда существовала до ее письменной фиксации, а сама эта фиксация (включение легенды в летопись), при которой ее существенные моменты могли подвергнуться трансформации, нужна была для пояснения восточнославянского правового своеобразия<sup>127</sup>.

О чем свидетельствует такая юридическая ситуация? Она указывает на сосуществование двух юридических традиций, противостоящих друг другу и обладающих разным культурным статусом. Церковнославянское право принадлежит книжной культуре и пользуется тем престижем, который присущ этой культуре в силу ее религиозной ценности. Восточнославянское право в дохристианские времена обладало, видимо, определенным культурным статусом и воспринималось как ценностный параметр социальной жизни. В этой связи стоит отметить упоминание «закона русского» рядом с «законом греческим» в договорах с греками, ср. в договоре 944 г.: «аще оукраденное шбращеться предаемо. да вдасть и цѣну его сугубо. и то по<sup>ка</sup>зненъ будетъ по закону Гречьскому. [и] по уста[v]оу и по закону Рускому» (ПСРЛ, I, стб. 50); при этом и тому, и другому закону приписывается религиозная значимость (ср. в том же договоре: «да на роту идуть наши хѣяне Руси. по вѣрѣ ихъ а не хѣянии по закону своему» – там же, стб. 49), так что по крайней мере в этом контексте они выступают как

<sup>127</sup> В этой связи можно упомянуть гипотезу Л. В. Милова, согласно которой перевод Эклоги был сделан у восточных славян сразу же после крещения Руси при св. Владимире и рассказ летописи под 996 г. отражает эту первоначальную рецепцию данного византийского юридического памятника (Милов 1996; Милов 2000). Для историка восточнославянской книжности такая датировка перевода выглядит абсурдно даже вне зависимости от того, о каком тексте идет речь (см. § 1-3; подробнее о гипотезе Милова см.: Живов 2002б, 300–303). Л. В. Милов полагал, что в рассказе летописи речь идет о проведенной Владимиром «важнейшей реформе в области судебных наказаний» (Милов 1996, 203). По мнению Милова, «юридической основой этой весьма кардинальной реформы стал византийский свод законов Эклога. Для этой цели и был предпринят, вероятнее всего, в Киеве, перевод его на древнерусский язык» (там же, 203, ср. еще с. 209). Реформа Владимира продолжалась, по мнению Милова, пять или десять лет и затем потерпела крах по тем самым фискальным причинам, о которых рассказывает летописец. Милов полагает, однако, что она оставила след в кодификации автохтонного права. Русская Правда в древнейшей редакции была создана, согласно данной концепции, сразу после провала реформы, который и был стимулом для этой кодификации, причем «тематика установлений Эклоги была в существенной мере использована древнерусскими юристами при создании Древнейшей Правды. Отвергнутый византийский свод послужил основой для разработки местными юристами своих законов с применением уже местных, традиционных наказаний» (там же, 215). Приводимые Миловым доказательства этого тезиса не выдерживают никакой критики, поскольку состоят в весьма относительном сходстве порядка рассмотрения отдельных случаев убийства и нанесения телесных повреждений в двух памятниках (в нескольких фрагментах Русской Правды в сопоставлении с XVII титулом Эклоги – там же, 214–216). В обоих случаях порядок рассмотрения определяется довольно простой логикой, так что сходство оказывается здесь типологическим, никак не требующим гипотезы о зависимости двух текстов. Сходство выглядит совсем призрачным, если учесть, что в Русской Правде мы имеем дело с казуистическим способом изложения, а в Эклоге – с обобщающим. Столь же фантомна и связь, которую в другой статье Милов устанавливает между Эклогой и Уставом Владимира (Милов 2000).

сходные по своей ценностной природе явления<sup>128</sup>. «Закон русский» входил, надо думать, в комплекс религиозной, ритуальной и правовой регламентации, которая присутствовала в языческой традиции. Именно в связи с этой комплексностью нужно трактовать немногочисленные упоминания «старцев градских» в ранних частях летописи (см.: Пресняков 1993, 399–400). Они, видимо, выполняют как судебные, так и административные функции и вместе с тем следят за религиозным порядком (например, предлагают в 983 г. принести жертву Перуну – ПСРЛ, I, стб. 82). Этим и объясняется их приход к Владимиру с предложением восстановить «устроение отьне и дедне». С начала Ярославова княжения «старцы» в летописи больше не упоминаются, и это можно трактовать как знак изменения культурного статуса того самого «устроения», которое старцам удалось вернуть в жизнь в 996 г. С принятием христианства прежний статус старых юридических институций утрачивается, право оказывается вне связи с религиозной жизнью и поэтому встает рядом с десемантизированным ритуалом и продолжает существовать не как поддерживаемая культурная традиция, а как обычай или навык, лишенный ценностного оправдания.

Противопоставление традиции и обычая, которое я здесь предлагаю, вероятно, не слишком отчетливо и не всегда может быть легко проведено (ср. возражения: Франклин 2007, 69), но тем не менее вряд ли может игнорироваться при построении истории культуры. Речь идет о том, насколько сознательно поддерживается то или иное установление и насколько прямо оно соотносится с основными культурными ценностями социума. Так, скажем, крещение детей есть несомненно традиция, поддерживаемая сознательно, регламентированная в авторитетных текстах и необходимо связанная с самосознанием социума как христианского. Употребление ритуалов-оберегов в современном обществе может быть, напротив, охарактеризовано как обычай. Например, поверье, согласно которому надетая наизнанку одежда предвещает неприятности, восходит к архаическим представлениям об одежде наизнанку как атрибуте потустороннего мира, однако для современного сознания эта религиозная мотивировка не актуальна, о ней никто не помнит, и предохраняющие от дурных последствий действия совершают не как сознательный ритуал, а «просто так», только в силу того, что таким же образом поступали старшие (ср. еще поверье, что не нужно возвращаться с пути, а если это оказалось необходимым, нужно сесть в доме или поглядеть в зеркало)<sup>129</sup>. В силу этого обычаи постепенно эволюционируют.

---

<sup>128</sup> Конечно, договор представляет собой перевод с греческого, и данное употребление слова *законъ* может объясняться просто тем, что в греческом стоял νόμος. Если полагать, что перевод был сделан в начале XII в. (см. § I-1), данное словоупотребление отражает ретроспективную оценку летописца этого времени («Нестора»). Тем не менее оно указывает на возможность трактовки языческого порядка Киевской Руси как цивилизационной институции.

<sup>129</sup> Субъективное стремление к сохранению старины чаще всего не препятствует изменчивости обычая, так как при отсутствии традиции (т. е. коллективной памяти, сознательно охраняемой социумом) всякий прецедент в прошлом воспринимается как обычай – см. об изменчивости устного права при установке на сохранение старины у М. Бло-

Традиции, напротив, подвержены не эволюционным, а революционным процессам – они сознательно отвергаются. Традиции сопротивляются внешним влияниям, обычай пассивно их усваивает. Весь этот комплекс признаков и определяет характер изменений, которые претерпело восточнославянское право в связи с разрушением языческой культуры и потерей своего культурного статуса, обусловленной этим процессом. Этот же комплекс признаков противопоставляет затем восточнославянское и церковнославянско-византийское право, создавая оппозицию традиции и обычая, культуры и быта (терминология здесь не принципиальна).

Когда происходит изменение статуса русского права от традиции к обычаю? Вряд ли на это можно дать точный ответ. Язычество у восточных славян держалось довольно долго и после принятия христианства, христианство вытесняло язычество постепенно, сначала в городах, затем в сельской местности, в одних областях быстрее, чем в других; сказывалась, видимо, и этническая неоднородность Киевской Руси: похоже, например, что голядь (балтийское племя) дольше держалось язычества, чем окружающие их славяне. Между изменением реальной ситуации и изменением самосознания социальной элиты, которое и сказывается на новом статусе права, связь также не была, надо думать, прямой и непосредственной.

Изменение статуса восточнославянского права должно было сделать его открытым для внешнего влияния, в частности, для влияния византийского, поскольку не оставалось религиозного (в рамках язычества) стимула поддерживать его неизменность. У нас нет памятников, которые бы не отражали такого влияния как в плане собственно юридическом, так и в плане языковом, поэтому датировать изменения статуса появлением памятников, отражающих такое влияние, невозможно. Древнейший дошедший до нас список русского юридического текста относится к концу XIII в. (это уже упоминавшаяся Пространная редакция Русской Правды в Новгородской кормчей 1282 г.), и в этом памятнике внешнее влияние уже вполне заметно: некоторые юридические нормы отражают византийское влияние, а в языке имеются славянизмы (ср.: Селищев 1968, 129–140). Исходя из этого, изменение культурного статуса восточнославянского права можно приблизительно датировать XII–XIII вв.

Переход восточнославянского права в сферу обычая непосредственно сказывается на характере его эволюции как в содержании, так и в языке. В составе Русской Правды влияние византийских юридических норм отразилось лишь на наследственном и семейном праве (впрочем, при сохранении и здесь местной основы – ср.: Гётц, III, 387–406; Гётц, IV, 84–85; Голенищев-Кутузов 1913, 37–39; Фелдбругге 2009, 59–69, 94–128). Эти разделы составляют особую категорию, поскольку они могли относиться к компетенции церковных судов, для которых в этих случаях византийское законодательство служило если не прямым источником права, то по крайней мере авторитетным образцом. Вместе с христианизацией изменились представления

---

ка (1965, 113–114). Проводимое здесь противопоставление традиции и обычая может быть сопоставлено с противопоставлением «рутинного» и «знакового» поведения у Ю. М. Лотмана (1975, 56).

о семье, законном браке и т. д., так что самый дискурс, в котором описывались семейные отношения, не мог не подвергнуться воздействию христианских норм (ср. оценку умыкания и других восточнославянских брачных обычаев во введении к ПВЛ – ПСРЛ, I, стб. 13–14); это должно было сказаться и на правовой регламентации в указанных выше областях права. Все прочие сближения статей Русской Правды с византийскими законами носят проблематичный характер. В дальнейшем византийское влияние затрагивает разнообразные области права, вытесняя ряд восточнославянских юридических норм (ср. прежде всего введение в восточнославянскую систему санкций смертной казни и вообще членовредительных наказаний) и восполняя местное законодательство в тех областях, где местная юридическая норма отсутствовала.

Принципиальное значение имела эволюция языка восточнославянского права, непосредственно связанная с изменением его культурного статуса. В отличие от языка церковнославянского права, языку местного права свойственна изменчивость, причем эта изменчивость имеет самопроизвольный характер. Можно наблюдать, как от столетия к столетию одни термины сменяют другие (ср.: Исаченко, I, 240–242). Так, термин *задъница* вытесняется терминами (*съ*)*статокъ*, *остатокъ*, *останокъ*, *надѣлокъ* (самая вариативность терминов также показательна). В законодательных памятниках исчезает термин *обида* и появляется *лихое дѣло*, *дурно*, *воровство* (Унбегаун 1959). Термин *видокъ* заменяется на *послухъ*, *должебитъ* – на *должникъ* и т. д. (см. подробнее: Живов 2002б, 210–214).

Имеет место и постепенная славянизация юридической терминологии. Б. О. Унбегаун был неправ, полагая, что славянизация началась лишь в Петровскую эпоху (Унбегаун 1969а, 181, 314–315). В это время она лишь приобретает эпидемический характер, тогда как самый процесс начался существенно раньше, можно думать, еще до того времени, от которого дошли до нас древнейшие списки русских юридических текстов. Этот процесс можно проследить по сохранившимся памятникам. Так, в ст. 3, 4 Пространной редакции Русской Правды находим термин *головникъ*, а в Краткой редакции, ст. 19, 20, дошедшей до нас в более поздних списках, стоит уже церковнославянское *убишца* (РП, I, 71, 80, 104, 123, 148 и т. д.). Термин *головникъ* употребляется и в Псковской судной грамоте, ст. 96 (РП, II, 320), и это, вероятно, архаизм. В Новгородской судной грамоте, ст. 36 (РП, II, 217) находим уже нейтральный термин *душегубецъ* (хотя убийство еще названо *головщиной*). В Правосудии митрополичьем, в Двинской и Белозерской уставных грамотах – *душегубецъ* (Самоковасов 1907, № XXVII, 182; РП, III, 172, 427). В судебниках 1497, 1550 и 1589 гг. *душегубецъ* выступает наряду с *убойца*. В Уложении 1649 г. регулярно *убойца*, но один раз *душегубецъ* (Уложение XXI, 104 – Уложение 1987, 129). В Новоуказных статьях 1669 г. – *убойца* и *убийца* (ПСЗ, I, 790, 793, 796).

Примеры ранней славянизации юридического языка можно было бы умножить. Процесс славянизации восточнославянского права ясно показывает различие статуса восточнославянских и церковнославянских юридических текстов. Церковнославянские тексты образуют традицию и в силу этого устойчивы и изолированы от внешних влияний, в том числе и от

влияния местных юридических текстов. Восточнославянские тексты существуют как обычай и относительно податливо воспринимают церковнославянское влияние.

Существующее в качестве традиции церковнославянское право в рассматриваемый сейчас период до царствования Алексея Михайловича является вполне стабильным – как в своем юридическом содержании, так и в языке. Вариации в терминологии могут быть связаны здесь с разными переводами (ср., например, о таких вариациях в памятниках канонического права: Павлов 1869, 55; Ягич 1913, 303–304; Щапов 1978, 90, 97; Максимович 1995). Дальнейшая судьба подобных терминологических различий связывается с ориентацией древнерусских книжников на тот или иной текст, причем здесь могли сказываться представления об авторитетности отдельных версий, сборников и т. д. Терминологические замены, делавшиеся при переписке отдельных церковнославянских юридических памятников, имели вполне сознательный характер, хотя не были, видимо, мотивированы какими-либо собственно юридическими соображениями. Замены могли быть обусловлены стремлением очистить язык этих памятников, удалить из них элементы не книжной терминологии (или того, что воспринималось как таковая). Так, при издании славянского перевода Эклоги в составе печатной Кормчей 1653 г. *зadъница* последовательно заменяется на *наслѣдие*, а *зadъничникъ* – на *наслѣдникъ*; эти замены проведены и в тех случаях, когда *зadъница* и *зadъничникъ* передают греч. λεγάτων и λεγατάριος, результатом может быть полное обесмысливание текста (см.: Милов 1976, 153), что, впрочем, не останавливало редактора.

Различия в характере развития восточнославянского и церковнославянского права объясняются в значительной степени тем, что местное право было действующим и изменялось в ходе применения, адаптируясь к новым социальным условиям и государственным институтам, тогда как византийское право (в церковнославянском переводе) в правоприменительной практике никакой роли не играло. Если бы оно применялось, следовало бы ожидать постепенного приспособления византийской юридической традиции к условиям русского юридического быта (как это имело место, например, при рецепции римского права в Западной Европе). Следы такой деятельности, однако, отсутствуют. Мы не находим ни глосс, объясняющих и приспособляющих чуждые нормы, ни сборников извлечений, сохраняющих нужное и отбрасывающих ненужное, ни кратких пособий типа болонских *Brogardica* (о западной ситуации см.: Виноградов 1909, 32–58). Нигде в русской письменности мы не встречаем заявлений, подобных сделанному, по-видимому, в южной Франции XII в. автором *Exceptionis Petri* – о том, что в законах должно быть отброшено («растоптано нашими ногами») все, являющееся «*inutile, ruptum, aequitativum contrarium*» (Савиньи, II, 321; см. о данном памятнике: Гурон 1978, 42–78). Отсутствует, соответственно, и столь характерное для Запада применение терминологии римского права к местным юридическим реалиям, определяющее ее переосмысление.

▲ **Экскурс о применимости византийско-церковнославянского права в средневековой Руси.** Бросается в глаза, что при достаточно богатой руко-

писной традиции церковнославянских юридических текстов мы не располагаем никакими сведениями об их реальном функционировании, демонстрирующими, какое применение находили византийские юридические нормы. На этот счет в литературе высказывались разные точки зрения, в частности, что византийские кодексы употреблялись в деятельности церковных судов в рамках церковной юрисдикции по нецерковным делам (А. С. Павлов, В. В. Сокольский, М. А. Дьяконов, М. Бенеманский, Д. Кайзер и др. – Павлов 1869, 6–16; Павлов 1885, 33–34, 38–39; Сокольский 1898, 129; Дьяконов 1912, 53; Бенеманский 1917, 102, 220; Кайзер 1980, 171 сл.) или играли роль права вспомогательного (*jus subsidiarium*, по мнению М. Бенеманского и Я. Н. Щапова – Бенеманский 1917, 3; Щапов 1978, 249–250). Обосновать эти гипотезы не удастся; те немногие сведения, которые собраны для их доказательства, получают при этом очень натянутую интерпретацию (В. Сергеевич, например, упоминает в этой связи даже ослепление Василько, которое, конечно, никак не было правовым действием – Сергеевич 1910, 406–407). Первой и на долгие годы единственной реальной ссылкой на византийские кодексы, зафиксированной в документах, является пересказ статей из XX и XXV титулов Прохирона в грамоте митрополита Киприана от 14 июня 1404 г. (АИ, I, № 255), в которой решается дело об оставлении наследства вдовой своему приемному сыну (*прѣимачкѣ*); ценность этого свидетельства невелика – и в силу его позднего характера, и в силу особой сложности казуса, и в силу того, что действия митрополита Киприана вообще могут носить исключительный характер.

Параллельное существование разных систем права хорошо известно средневековой Европе, оно находит наиболее яркое выражение в так называемом *Personalrecht*, при котором применяемое в процессе право определяется прирожденным правом сторон (*Geburtsrecht*). Очевидно, однако, что сосуществование русского и церковнославянского права строится по совершенно иной модели, поскольку у нас не только нет соответствующих свидетельств, но отсутствуют и те характерные признаки взаимодействия, которые свойственны параллельно функционирующим юридическим системам. Филологические данные и здесь могут служить отправной точкой для анализа, вполне однозначно указывая на характер функционирования права, именно, на его полное игнорирование в правоприменительной практике.

Так, среди стандартных византийских наказаний за прелюбодеяние было урезание носа. Именно этими словами (*урѣзаниѣ носа, урѣзати носа*) и обозначается соответствующая санкция в большинстве церковнославянских юридических памятников (в соответствии с греч. *ῥινοκόπτω*)<sup>130</sup>. Однако в переводе Эклоги в составе Мерила праведного вместо *урѣзаниѣ носа* может стоять просто *обрѣзаниѣ* (ср., например, Экл. XXI, 23 (24) = МП, л. 192:

<sup>130</sup> Ср., например, перевод Прох. XXXIX, 45: «Οἱ μοῖχοι τυπτόμενοι καὶ κορευόμενοι ῥινοκοπέισθωσαν» (Цахарие 1837, 245) – в составе МП, л. 325 об.: «*прелюводѣи вѣкии и стружеми и носа оурѣзаниѣ да приметь*»; в составе КЗ: «*Прелюводѣеи вѣеми и острижени, и носы ихъ оурѣзють*». Ср. еще в Законе Судном людем, ст. 8: «*Иже коупетроу свою понметъ женѣ себе. по закону людьскомуу носъ нма шѣма оурѣзють...*» (Тихомиров 1941, 37; пересказ Экл. XVII, 25 – см. Цахарие 1852, 47). Примеры можно было бы умножить.



«Бл҃удѣи сѣ монастырѣнищю. ꙗко цр҃кѣвь бѣю оукарѣжѣ. да обрѣзѣнѣ б҃҃детъ – ‘Ο πορνείων εἰς μοναστήριον, ὡς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἐνυβρίζων, ῥινοκοπεῖσθω» – Цахарие 1852, 47), т. е. упоминание носа опущено. Л. Милов (Милов 1976, 148) полагает, что именно это опущение «повлекло за собой вариант *окорнати* в значении изувечить, оскопить» (ср., например, Экл. XXI, 27 (9) = МП, л. 190: «Иже кѣ женѣ мужатицѣ прелюбы творѣ да окорнѣнѣ б҃҃детъ самѣ и прелюбодѣница – ‘Ο εἰς γυναῖκα ὑπανδρὸν μοιχεύων, ῥινοκοπεῖσθω καὶ αὐτὸς καὶ ἡ μοιχαλὶς...» – Цахарие 1852, 47). Таким образом, опущение слова имело результатом смешение санкций – вместо урезания носа в переводе Эклоги редакции Мерила праведного предписывается оскотление<sup>131</sup>. Совершенно очевидно, что, если бы это законодательство имело какое-то практическое значение, переписчик бы твердо знал различие в санкциях и не мог допустить такой ошибки. Более того, если бы он представлял себе хоть отдаленную возможность реального применения этих законов, он не мог бы позволить себе столь безответственной путаницы: ошибка в языке оборачивалась бы тогда существенным изменением наказания. Когда же право не действует, место юридических реалий занимают лингвистические ассоциации, и переписчик ошибается со спокойной совестью. Примеры таких ошибок легко умножить<sup>132</sup>.

Как можно видеть, византийские юридические кодексы в славянском переводе существуют как памятники книжной письменности и в своем бытовании разделяют характерные черты других переводных текстов. Так же, как и в других переводных текстах, существенные фрагменты в них оказываются непонятными в силу буквальности перевода. Так, например, в переводе Эклоги (XIV, 14) читаем:

Послѣси канцѣм же числомъ сѣть. до .ѣ. точью. вѣ инѣда привѣдѣтъ ꙗ. кѣкѣждо привѣдѣнѣа. кѣднѣ д(е)нѣ прикѣлюще. ли прежде .ѣ.-го привѣдѣнѣа ѿреч(е)тъсѣа привѣдѣи. и послѣшествованѣа ѿдаѣана вѣд(е)тъ. посѣмъ не привѣдѣтъ кѣмѣ иногѣ послѣха. но пребывати сѣдѣаныхъ гласѣхъ (МП, л. 187об.).

Обращаясь к греческому тексту, обнаруживаем, что это должно означать: «Свидетели, в каком бы количестве они ни были, пусть будут организованы в группы числом не более четырех, притом что каждое их заслушивание будет занимать один день. Если же перед четвертым заслушиванием судебный пристав отступит (от своих обязанностей) и выдаст (следующей группе свидетелей) то, о чем уже свидетельствовали предыдущие, то пусть он не выводит ни одного нового свидетеля, но следует ограничиться голосами заслушанных свидетелей» (Бургманн 1983, 216; ср.: Липшиц 1965, 64). Очевидно, что из славянского текста данный смысл никак не извлекается, и само синтаксическое построение делает невозможным понимание излагае-

<sup>131</sup> Оскотление в качестве наказания также известно византийскому праву. Оно, однако, применяется только за скотоложество, см. эту санкцию: Прох. XXXIX, 74 (МП, л. 329 об.; Цахарие 1837, 254; Брандилеоне и Пунтони 1895, 253).

<sup>132</sup> Ср. еще в том же переводе Эклоги реконструируемую Миловым замену *поточити* ‘изгнать’ на *заточити* ‘подвергнуть заключению’, также, видимо, обусловленную ошибкой переписчика (Милов 1976, 148).

мой процессуальной нормы (ср. не привидитъ кмѣ много послѣха с неясным антецедентом местоимения). Такого рода запутанные пассажи обычны в переводной литературе, но для нее, как правило, и не стояла проблема практической интерпретации. Надо думать, что в этом плане юридические тексты не отличаются от остальных: такая норма действовать не могла, и ни о каком ее применении речь не шла.

Об этом же говорят и те ошибки, которые возникают не при переводе, а при переписке текста. Например, в переводе Прохирона (XXXIX, 63) в составе МП, л. 328 находим: «Иже свою кмѣ именемъ брат(а) своего поиметь... кѣпно и ѡбѣма носа оуѣжють»; в греч. этому соответствует: «Ὁ τῇ ἰδίᾳ συντέκνωσ ἡ ὀνόματι γάμου ἀγαγόμενος... ἅμα αὐτῇ ῥινοκοπέισθω» (Цахарие 1837, 250; Брандилеоне и Пунтони 1895, 246, 251). *Брата* явно появляется как искажение *брака*, и при переписывании переводных текстов такая ошибка типична: ясно, что речь идет о каком-то инцесте, а детали значения не имеют. То, что юридические тексты разделяют эти свойства с переводными текстами богословского или нравоучительного содержания, показывает, что излагаемые в них нормы не действовали – ни в светском, ни в церковном суде, ни в качестве основного, ни в качестве дополнительного источника права. Они переписывались и читались как памятники христианской культуры, приобщавшие славянские народы к наследию византийской духовности.

Таким образом, византийское право – по крайней мере в тех сферах, где оно пересекалось с местным восточнославянским правом (т. е. трактовало те же предметы, которые регулировались местными юридическими установлениями), – было юридической фикцией: ему принадлежало все культурное значение, но никакого значения практического. В такой форме данное утверждение вряд ли может быть оспорено: у нас нет никаких свидетельств, что при каких-то судебных разбирательствах выносилось решение или налагалось наказание в соответствии с византийскими нормами при том, что Русская Правда предписывала трактовать тот же казус иным образом. Вместе с тем некоторые новгородские документы (берестяные грамоты) указывают на то, что нормы Русской Правды соответствовали реальным действиям.

Вопрос о сравнительной действенности местного восточнославянского и заимствованного византийского права не может обсуждаться без учета того факта, что они изначально различались своим объемом, т. е. что определенные сферы деятельности, нормированные византийским правом, на Руси оставались вне юридической регламентации. Полемизируя с моей концепцией юридического дуализма у восточных славян, С. Франклин предлагает пересмотреть само понятие закона (law), как оно воспринималось разными социумами средневековой Руси. На его взгляд, в качестве закона могла пониматься любая система правил, регулирующая поведение определенного социума и располагающая наказаниями за нарушение этой регламентации (Франклин 2007, 70). По мнению Франклина, с которым я в целом согласен, население Киевской Руси было фрагментировано на ряд относительно независимых социумов, в которых действовали разные системы правил; все эти системы могут рассматриваться как разные «законы», регулирующие жизнь разных групп населения. Франклин полагает, что нет

принципиальной разницы между, скажем, Русской Правдой, которая первоначально, по его представлениям, регулировала в основном жизнь князя, его дружины и их приближенных, и монашеским уставом, регулировавшим жизнь монашеской общины<sup>133</sup>.

Я, естественно, никогда не утверждал, что устав, введенный в Киево-Печерском монастыре преп. Феодосием, не действовал или что Кирик, составивший свое Вопрошание, игнорировал рекомендации епископа Нифонта (ср.: Франклин 2002, 143–152). Можно согласиться и с тем, что разные социумы подчинялись разным системам правил. На мой взгляд, однако, отнюдь не все такие системы целесообразно считать законами. Следует ли, скажем, считать «законами» епитимийники? Они описывают различные неподобающие (грешные) действия и предписывают разные наказания за эти действия (грехи). Они призваны регулировать жизнь определенного социума, а именно христианской общины – одного из секторов населения Киевской Руси. Франклин называет их паралегалными текстами (*para-legal*) (Франклин 2007, 67), но, любя неопределенности, он не определяет, в чем состоит разность между «legal» и «para-legal». Я предпочитаю не рассматривать епитимийники как юридические кодексы, хотя можно, в принципе, дать такое определение закона, под которое они будут подпадать. Мне представляется, что законы должны быть соотнесены с определенными легальными процедурами, с расследованием, устанавливающим, имело ли место то действие, которое описывается законом. Расследование может быть весьма грубым и нерациональным (например, в случае судебного поединка), но оно создает

<sup>133</sup> Франклин пишет: «If law is a “system of rules which a particular country or community recognizes”, then we should ask “which particular communities” in Rus’ recognized which rules. Lists of rules figure prominently among the surviving specimens of writing. Some are commonly and conventionally labeled as “laws”, others tend to be assigned to different categories, but for the moment we can treat them as generically linked: *Russkaia Pravda*, the translated codes (mostly via *nomocanons*), the “statutes” associated with Vladimir and Iaroslav, the responses of various bishops and metropolitans to practical pastoral questions put to them by members of the clergy, the rules for merchants as listed in the tenth-century treaties with Byzantium and the later Baltic trade agreements of Smolensk and Novgorod, the rules for monastic life imported to the Monastery of the Caves and then more widely disseminated <...> These sometimes coincide with each other, sometimes contradict each other, but mostly they are simply distinct from each other. Taken together, these do not constitute “a [in the singular] system of rules” for the “country”, but rather several “systems of rules”, each for its own implied or explicit “community”, or for overlapping communities» (Франклин 2007, 73). Я не уверен, что столь радикальная ревизия понятия «закона» окажется плодотворной; мне не ясно, в силу чего Русская Правда и, допустим, Написание митрополита Георгия русского с ответами митрополита Георгия, идентификация которого остается спорной (см. об этом памятник: Смирнов 1912, 1–27, 39–41, 309–319), соединены родовой связью (*generically linked*). Я опасаясь, что при столь расплывчатом понимании закона даже аскетические сочинения типа Пандектов Антиоха, в которых говорится о том, как должен жить монах, и порою упоминается о том, как Господь карает за нарушение этих норм, могут попасть в один разряд с юридическими кодексами. Такой подход полностью релятивирует вопрос о применимости столь широко определенного «закона», поскольку расплывчатым и лишенным юридического содержания оказывается само понятие применимости (например, если Бог наказывает).

легальный процедурный элемент. Епитимийники требуют совсем иной процедуры, а именно исповеди; принимающий исповедь не нуждается в том, чтобы устанавливать, имел ли место тот грех, в котором кается пришедший на исповедь. И в силу этого покаянные правила не являются законами и не должны рассматриваться как таковые<sup>134</sup>.

То же самое может быть сказано и о монашеских уставах. Франклин пишет, что «the Stoudite monastic Rule is a system of rules for a 'particular community', as is *Russkaia pravda*. Both communities are at first restricted, both expand, though in different ways. The earliest (hypothetical) version of *Russkaia pravda* is little more than a set of penalties for a small number of specified transgressions which barely extend beyond the warrior-elite surrounding the princes <...> In relation to its own community a monastic Rule can be treated as 'law' no less than a princely code. In both of its main components – its prescriptions for monastic services, and its prescriptions for monastic administration and discipline – it presents a system of rules which are recognized by its target community as applicable in everyday practice, and which may be reinforced by penalties (in this case, imposed by the abbot)» (там же, 73–74). Я сомневаюсь в том, что Русская Правда и Студийский устав находятся в одинаковом отношении к регулируемым ими социумам. Монашеская община состоит из людей, которые добровольно приняли монашеские обеты, предписывающие – в общежительном монастыре – послушание игумену. Чернец обязан следовать приказаниям игумена, к чему бы они ни относились: к искуплению греха, к монашеским трудам или богослужебным указаниям; ни в каком расследовании эти приказания не нуждались. Социум, жизнь которого регулировала Русская Правда, был совсем иным. Он формировался не на основе добровольности и определенно «extended beyond the warrior-elite surrounding the princes». Например, в Краткой редакции (ст. 20) мы читаем: «А иже убьют огнищанина в разбои, или убица не ищутъ, то вирное платити, в неже вири [верви] голова начнет лежати» (РП, I, 398); «не ищут» и должны платить виру та несчастная община, на территории которой был найден труп, а отнюдь не члены «warrior-elite». Вместе с тем процедура наложения виры радикально отличалась от назначения покаяния провинившемуся монаху. В этой ситуации я бы предпочитал не называть монашеские уставы законами.

Отвлекаясь от вопроса о том, что стоит, а что не стоит считать «законом», следует отметить, что в тех сферах, которые не регламентировались обычным правом, имело место взаимодействие византийских правовых категорий с русским юридическим бытом (о чем я в свое время и писал, см.:

---

<sup>134</sup> Здесь было бы неуместно рассуждать о том, насколько различные покаянные правила находили применение в русской пастырской практике. В ряде случаев они несомненно оставались в отношении к практике столь же фиктивными, как и византийские законы в их восточнославянской рецепции (см. об этом: Живов 2012б). Франклин справедливо замечает, что священник «had no economic or coercive power of enforcement, and could only impose such penalties as his flock were willing to accept. The frustration is almost tangible in the sources» (Франклин 2007, 75). Священник не мог принуждать именно потому, что епитимийники не были «законами». Никакой фрустрации, на мой взгляд, священники от этого не испытывали, их волновали совсем иные проблемы.

Живов 2002б, 218–221). Наиболее существенно влияние византийского законодательства в области религиозно-нравственных преступлений, которая с принятием христианства создавалась на новых основаниях, без прямой связи с институтами дохристианской Руси. Религиозно-нравственные преступления оказываются преступлениями против новых христианских институтов, и отсюда самые категории, в которых мыслились и описывались эти преступления, были заимствованными, византийскими<sup>135</sup>.

В области брачного права с византийским влиянием связывается, естественно, само установление церковного брака и, соответственно, бракоразводной дисциплины. Византийские тексты могли здесь использоваться непосредственно – например, при определении степеней родства, в которых недопустим брак. Постоянные и многочисленные отступления от византийских правил оставались нарушением канонического порядка, который по крайней мере высшее духовенство рассматривало как норму (см. Павлов 1887, 121–140; Бенеманский 1917, 113–114). Здесь имел место определенный компромисс между строгой византийской системой и укоренившимися обычаями местного населения. В бракоразводных делах компромисс шел дальше и некоторые византийские правила вообще не имели применения (например, Прох. XI, 8: «*Аще мужевн кѣ не хотѣшю. со внѣшними мѹжи пиетъ. и мыетъся с ними в баннѣ*» – МП, л. 255 об.; существование в России общих бань очевидным образом исключало применение данной статьи, ср. Сергеевич 1910, 497; Бенеманский 1917, 117), в то время как ряд причин (например, обоюдное согласие), не оговоренных византийским правом, считался нормальным основанием для развода (подборку примеров см.: Способин 1881, 25–30, 36–42; Загоровский 1884, 27–281; ср.: Бенеманский 1917, 117–119). Такие данные позволяют говорить о трансформации самих византийских норм при перенесении их в контекст восточнославянских обычаев и восточнославянского культурного сознания<sup>136</sup>.

<sup>135</sup> Как пишет А. Попов, значение византийского права в этой юридической области состояло «в том, что оно определило общий состав религиозных преступлений, указало те отдельные виды преступных деяний, какие входят в эту группу; оно же указало специфические признаки каждого преступления» (Попов 1904, 107). Самые византийские нормы, однако, не применялись. Предписываемая этими нормами смертная казнь и членовредительные наказания были чужды русской судебной практике по крайней мере до конца XV в.; они были заменены денежными штрафами. Что же касается преступлений против нравственности (прелюбодеяние, блуд, кровосмешение, растление, сводничество и т. д.), то они либо вообще не наказывались (кроме как епитимьей), либо наказывались денежными штрафами (Попов 1904, 166–196). Здесь опять же русский обычай берет верх над византийской нормой.

<sup>136</sup> Что касается наследственного права, то здесь взаимоотношения византийского и восточнославянского права осложнялись конкуренцией между светскими и церковными судами (ср.: Щапов 1974). Несмотря на то, что церковные уставы относят наследство к делам церковным, Русская Правда предусматривает казус, когда «братъѹ растажютьсѹ передъ княземъ ѡ задници» (ст. 108 – РП, I, 129). Княжеский суд применял, видимо, в этих случаях местное право (ср.: Сергеевич 1910, 74, 585–586), хотя, надо думать, с определенными модификациями. Так, например, именно с принятием христианства появляется различие между законнорожденными и незаконнорожденными детьми, которое и отра-

Несовпадение объема права и юридической деятельности в восточнославянском и византийском праве является, на мой взгляд, одним из существеннейших свойств их оппозиции. Осознание и заполнение лакун восточнославянской нормы относится к числу наиболее важных видов влияния византийского права на восточнославянское. Там, где социальные практики не регулировались местным правом, заимствованные установления могли находить определенное практическое применение, хотя обычно не прямое, так что и здесь действенность византийских норм можно постулировать лишь с весьма существенными оговорками. Если считать монастырские уставы частью византийского «закона», они представляют собой именно такой случай. Там, однако, где местное право, действие которого уже в XI в. вряд ли было ограничено ближайшим окружением князя (как вне всякого сомнения и в более позднее время), создавало регулятивный механизм, никакой нужды в заимствовании не было и византийско-церковнославянское право не применялось. Такова была ситуация с убийством и членовредительством, с кражей и грабежом; так обстоит дело в договорных отношениях, в имущественных спорах, в делах о холопах и, наконец, в самом судопроизводстве. Именно в этой обширной сфере византийское право было юридической фикцией. Это, на наш взгляд, имело кардинальное значение для формирования русского юридического сознания (тогда как действенность монастырских уставов к данному процессу прямого отношения не имела). ▲

Итак, византийские юридические кодексы практического применения в целом не находили. Вместе с тем их религиозно-культурная значимость в источниках хорошо засвидетельствована. Имею в виду не только ссылки на

---

жается в наследственном праве (см.: Неволин 1847, 104; Неволин, V, 342; Сергеевич 1910, 509–510).

Я. Н. Шапов полагал, что в XIV–XV вв. в Северо-Восточной Руси в завещаниях стали фигурировать три, пять или семь свидетелей и что это было результатом рецепции норм Эклоги. Он оговаривал, впрочем, что во многих случаях реальное число свидетелей могло быть иным и его «можно обозначить как и +1, то есть 4 или 6 человек» (Шапов и Бургманн 2011, 45). Шапов ссылается на статью Г. Семенченко, анализировавшего данные завещания и предположившего, что четное число свидетелей должно трактоваться как нечетное число свидетелей плюс духовный отец завещателя; включение духовного отца рассматривается как дань «древнерусской традиции» (Семенченко 1986, 166). Однако и среди завещаний с нечетным числом свидетелей имеются такие, в которых один из свидетелей – духовный отец завещателя, и их, следуя предложенной процедуре, надо трактовать как два или четыре плюс один, т. е. как противоречащие византийской модели. Таково, например, завещание Насона Захарьина второй пол. XV в., которое засвидетельствовано духовным отцом Насона игуменом Алексеем и еще четырьмя свидетелями (АСЭИ, II, № 168, с. 103–105). Такие примеры находятся в прямом противоречии с аргументацией Семенченко и рассуждениями Шапова. Византийское влияние в этой сфере призрачно, число свидетелей может быть как четным, так и нечетным, а увеличение их числа сравнительно с более древним периодом легко объясняется ростом значения письменной документации и верификации письменных документов (ср. § V-3.2). Еще менее основательны рассуждения о византийских образцах в работах Дж. Вейкхардта (ср.: Вейкхардт 2005).

них в религиозной полемике, но и прямые декларации. Так, одно из обвинений, выдвинутых против Вассиана Патрикеева во время суда над ним в 1531 г., состояло в том, что в составленной им редакции Кормчей отсутствовал Градский закон (Прохирон), причем митрополит Даниил прямо указывал, что градские законы неотделимы от священного предания: в Кормчую входят

священныя правила апостольскыя и отеческыя, и седми Вселенскихъ Соборъ и помѣстныхъ и прочихъ святыхъ отецъ, и отъ градскихъ законовъ къ нимъ же приложенна и сочетанна, понеже градскія закони священнымъ правиломъ послѣдуютъ и кому достоинъ чего възыскати, яко вязати и рѣшати, иная к симъ по гранемъ обрящать и по главамъ, яко же святїи отци устави и утвердили и запечатлѣли. И тое книги не смѣе никто же разрѣшати или чѣмъ поколебати от седмаго собора до рускаго крещенїя; а въ нашей русской земли та книга болши петисотъ лѣтъ соборную же церковь содержитъ и все православное христїанство просвѣщаетъ и спасаетъ, отъ святаго и равно апостоломъ великаго князя Владимїра и до нынѣ царя великаго князя Василїя неразрушима и непоколебима была ни отъ кого; въ тѣхъ лѣтѣхъ святыхъ великихъ чудотворецъ святителей, изыщныхъ и нарочитыхъ, преподобныхъ отецъ, премудрыхъ и многоученныхъ, искусныхъ божественному писанїю; тѣ всѣ святїи по тѣмъ правиламъ сами жили и спасалися, и людей учили и спасали (Казакова 1960, 285–286).

Еще более выразительны высказывания Иосифа Волоцкого:

Аще оубо святїи отцы... і оучиниша Божественнаа правила и законы и словеса святыхъ отецъ, і іаже ѿ оустъ самаго Исуса святыхъ Его заповѣди, со всѣми же сими и градстїи закони сочеташа святїи отцы древнїи, и кто оубо дерзнетъ сихъ ѿложити или похѣлѣти, іаже ѿ святаго Дѣха и святыхъ отецъ прїата быша, и сочетана всѣмъ божественнымъ писанїемъ (Иосиф Волоцкий 1855, 537–538).

Наиболее четкой фиксацией этого восприятия является уже приводившееся заглавие XXXIX титула Прохирона в одном каноническом сборнике XVI в. (ГИМ, Увар. 578): «Заповѣди по преданїю святыхъ правилъ избранная, о казнѣхъ, по повелѣнїю святыхъ отецъ и по уставу св. царей» (Леонид, I, 649).

Таким образом, византийское право воспринимается как неотъемлемая часть христианской культуры и используется не для юридического, а для религиозного образования. Это восприятие находит свое соответствие в языке, в частности, в том факте, что многие цсл. юридические термины совпадают с терминами религиозными, ср. законъ, заповѣдь – νόμος, διάταξις, заветъ – διαθήκη, лице – πρόσωπον и т. д. Показательно, что при переводе греческих юридических текстов греч. ῥωμαῖοι 'граждане империи, римляне' могло передаваться как христиане, ср. Прохирон XXXIX, 1 в «Книгах законных» (КЗ, ЗК, 1 = Прох. XXXIX, 1): «... предаа соупротивнымъ христїанъ – ῥωμαῖοι – главною казною казненъ боудеть» (ср. еще ст. 3 – Павлов 1885, 63; Цахарие 1837, 233), т. е. византийское юридическое наследие полностью отождествляется с христианским. Такое восприятие кардинально отлича-

лось от западноевропейского, где римское право могло ассоциироваться с античной культурой и подвергаться нападкам со стороны ригористически настроенных религиозных деятелей.

В плане такого восприятия должны интерпретироваться и ссылки на Номоканон, встречающиеся в русских юридических памятниках: они не отражают реального использования византийских юридических текстов при кодификации русских норм, а воплощают религиозную санкцию, предпосланную юридическому документу. Именно таково значение подобной ссылки в ст. 1 Новгородской судной грамоты: «Нареченному на архиепископство Великого Новгорода и Пскова священному иноку Феофилу судити суд свои, суд святительски по святых отецъ правилу, по манакануну» (ПРП, II, 212). Аналогичный смысл имеет и упоминание Номоканона в похвале Ивану Калите в записи на Евангелии 1339 г.: «**Сни бо князь великой Іван. имѣвшє правый судъ пачє мѣры. поминаа божественѣ писаниа исправлєниа свѣтѣхъ и преподобны(хъ) ѡтецъ. по правиломъ моноканѣнымъ, ревнѣа правовѣрномуцъ цесарю Ѡустиѣанѣ**» (Срезневский 1879, № LXXXVI, с. 146; ср.: Павлов 1885, 35). Понятно, что в реальности судебная деятельность Калиты столь же мало походила на юридическую практику, предписываемую номоканонам (т. е. Эклогой или Прохироном), сколь мало походил на Юстиниана сам Калита. В подобных случаях Кормчая выступает как онтологический эталон праведного законодательства – точно так же как Константин Великий или император Юстиниан выступают как онтологический эталон праведного христианского монарха (откуда и постоянные сопоставления с ними русских князей). Именно этим и объясняется то, что Н. С. Суворов называл «замечательными примерами бесцеремонности в ссылках на греческий номоканон» (Суворов 1888, 215).

В этом контексте обретают свой смысл и ссылки на греческий номоканон в Уставах Владимира и Ярослава. Поскольку реально разделение компетенции церковного и светского суда никакой аналогии в византийском законодательстве не имело, эти ссылки указывают не на прецедент, а на религиозную правомерность соответствующего акта. Вместе с тем представляется необоснованной интерпретация слов **сложиа есмь греч(е)скыи номоканонѣ** в Уставе Ярослава как «отверг греческий номоканон», предложенная Я. Н. Шаповым (Шапов 1972, 305–306): эксплицитное указание на то, что православный князь порвал с православной традицией, кажется невероятным. Как уже говорилось (см. § I-3), *сложити* является здесь калькой с греч. συντίθημι в значении ‘принимать во внимание, держать в мыслях’. Фраза «...с’гадааь есмь с митрополитом с Ларионом, сложиа естъ греч(е)скыи номоканонѣ, аже не подобаетъ(ь) сиѣ тѣмъ(ь) соудити кн(ѣ)зю и бояромъ, дааь есмь митрополитѣ и еп(и)с(ко)пѣмъ тѣмъ суды, что писаны в’ правилѣхъ, в номоканонѣ...» означает «посоветовался с митрополитом Ларионом, принял во внимание греческий номоканон, а именно то, что данные дела не должны разбираться князем и боярами, и отдал в юрисдикцию митрополита и епископов те дела, которые предписаны правилами, номоканонам»; она представляет собой декларацию того, что князь действует в рамках православной традиции, и имеет исключительно религиозное, а не реально юридическое значение.



Из сказанного выше следует, что византийское право играло культурно-религиозную роль, но в судебной практике никак не использовалось. Действовавшее же право – русское – лишь в отдельных разделах и лишь в очень небольшой степени подверглось греческому влиянию (см. обзор гипотетических случаев византийского влияния у Фердинанда Фелдбругге: Фелдбругге 2009, 59–128). Существовая независимо от того права, которое обладало религиозно-культурным престижем, действовавшее право подобным престижем не пользовалось. В силу этого в древней Руси реальные юридические знания лежат вне сферы книжной образованности, они не являются предметом изучения и ученой обработки, а передаются как профессиональный навык, ближайшим образом напоминающий навыки ремесленников или, если искать более точных аналогий, искусство знатных охотников. Таким образом создается ситуация, при которой право, лежащее в сфере книжной культуры, не действует, а действующее право лежит вне сферы культуры.

Этим определяется специфика русской рецепции византийского (восточно-римского) права. На Западе римское право ассоциируется с наследием языческого Рима и поэтому может порою вызывать такие же протесты, как и античная мифология. И изучение права, и изучение античных авторов были предметом ученых трудов, которые одновременно создавали их культурный престиж и их культурную двойственность – как знаний, посторонних для христианской веры. Поэтому в Германии, например, могут говорить, что «die Juristen sind böse Christen» (Моддерман 1875, 96–101; ср. еще: Блок 1965, 111). На этом фоне местное право никак специально с язычеством не ассоциируется. У восточных славян все наоборот. Именно местное право в период непосредственно после принятия христианства может восприниматься как языческий институт, тогда как византийская традиция рассматривается как исключительно христианская. Поскольку, однако, византийское (римское) право не применяется, на его основе не создаются реальные юридические институты, равно как и не возникает юридического образования, столь важного для западноевропейской средневековой науки, развития западных университетов и т. д. Ценность византийской юридической традиции осознается как исключительно религиозная.

Ситуация эта начинает меняться лишь в царствование Алексея Михайловича, когда русский монарх стремится усвоить себе статус и атрибуты византийского василевса, включая сюда и законотворческую деятельность. В этот период наблюдается экспансия византийских юридических норм, и в филологическом плане этому соответствует радикальное вытеснение русской юридической терминологии за счет церковнославянской, так что элиминируется противостояние двух терминологических систем. Право становится компонентом ученой культуры и усваивает те признаки, которые были закреплены русским культурным сознанием за византийским правом. Во многих случаях оно теряет прагматическое значение и приобретает значение дидактическое: законы могут не действовать, но выражать идеологические установки верховной власти. Это, однако, относится уже к культурному развитию Нового времени (см. подробнее: Живов 2002б, 238–279).

Таким образом, обращение к юридическим текстам позволяет понять специфику древней восточнославянской языковой и культурной ситуации. Сфера письменности не совпадает со сферой культуры, иными словами, оппозиция культура – не-культура не тождественна оппозиции письменного и устного, как это свойственно (при всех необходимых оговорках) ситуациям диглоссии (например, в арабском мире или у сингалцев). Выделяется целая сфера деятельности, в которой имеет место преемственность, но в которой эта преемственность не осмысливается как культурная ценность. В этой сфере могут действовать и профессиональные навыки; эти навыки, однако, не обладают культурным престижем и поэтому не придают преемственности статуса культурной памяти. Эта сфера и представлена некнижными текстами. Ядром этой сферы являются юридические кодексы, не потому, однако, что на них ориентированы другие некнижные тексты (такой ориентации нет, и в этом плане некнижная сфера устроена принципиально иначе, чем книжная), но потому что они создают прецедент памятников, которые обнаруживают преемственность, но не обладают культурным престижем.

Поскольку ни преемственность, ни профессиональные навыки не чужды для некнижной письменности, в ней может присутствовать и регламентация. В силу этого существуют нормализованные некнижные тексты, прежде всего тексты, написанные профессиональными писцами. Появление нормализации в данных текстах связывается, видимо, и с тем обстоятельством, что язык юридических кодексов изначально отличается от языка разговорного, до определенной степени противостоит ему (в силу своей связи с мнемоникой) и по синтаксису, и по риторической установке. Можно думать, что еще в устном бытовании язык права и бытовой разговорный язык принадлежали к разным разновидностям (регистрам), и это делало возможным особое восприятие юридического языка. В дальнейшем по мере появления письменной документации (см. об этом процессе ниже, § V-3.2) регламентационная установка, присущая юридическим текстам и выражающаяся прежде всего в устранении диалектных форм, распространяется и на деловые тексты, причем выраженность этой установки зависит от социального статуса отдельных текстов. У обособленного существования языка правовых отношений были и другие последствия, которые мы разберем в дальнейшем, после того как проанализируем язык и характер функционирования бытовых текстов, в сопоставлении с которыми рельефно выделяются особенности деловой письменности.

## 7. Бытовые тексты

Характер и уровень нормализации в деловых текстах видны из их сопоставления с текстами бытовыми. Для древнейшего периода бытовые тексты дошли до нас в виде берестяных грамот. Когда говорят о берестяных грамотах, имеется в виду материал письма, что нас, естественно, не интересует. Материал письма, конечно, связан с функционированием некнижной письменности: на пергамене писались тексты, предназначенные для многократного чтения и/или длительного хранения, на бересте прежде всего –

тексты одноразовые. До появления бумаги это противопоставление было вполне отчетливым и выражавшемся в кардинальном различии в цене. Понятно, что береста могла использоваться для записей разного типа. Выше уже упоминалось, что среди берестяных грамот есть записанные бытовым письмом молитвы, написанные, естественно, на книжном языке; в корпусе новгородских берестяных грамот имеется и некоторое количество других книжных текстов (письмо одного монаха к другому и т. п.). Для анализа сферы некнижной письменности существенны не эти исключительные случаи, а основной массив бытовых берестяных грамот, служивших для передачи сиюминутной информации.

Открытие берестяных грамот принципиально изменило состав источников по истории русского языка. Это не было осознано сразу же после того, как археологи их нашли. Первые раскопки, во время которых были обнаружены берестяные грамоты, имели место в Новгороде в 1951 г.; находка вызвала сенсацию, но в большей степени у историков, чем у филологов. Вообще говоря, об использовании бересты для письма было известно и раньше. А. И. Соболевский в своей «Славяно-русской палеографии» отмечает:

Кроме пергамена и бумаги, в России пользовались как писчим материалом – *берестю*, верхним тонким слоем березовой коры, выглаженным, высушенным и обрезанным на подобие бумажных листов. Преп. Иосиф Волоцкий сообщает, что преп. Сергей с первыми своими учениками писал на бересте. Может быть, это те «свертки на деревце чудотворца Сергия», которые упоминаются в описи Троицкой Лавры 1642 года и которые до нас не дошли (но под свертками можно разуместь также и навитые на деревянные палки свитки). Вероятно, при недостатке или дороговизне бумаги, береста употреблялась в московской Руси для черновиков и писем и в XV–XVI веках; но никаких следов ее употребления за это время у нас нет (может быть, по причине ее крайней непрочности). Дошедшие до нас книжки и грамоты на бересте относятся или к концу XVII, или к первой половине XVIII века; они написаны чаще всего в Сибири, реже на крайнем севере европейской России. Академия наук владеет «книгою ясачного сбора Камчатского народа» 1715 года на бересте (Соболевский 1908а, 43).

Упомянутое Соболевским сообщение в описи Троице-Сергиевой лавры можно сопоставить с пассажем из «Духовной грамоты преподобного игумена Иосифа о монастырском и иноческом устроении» (ВМЧ, Сент. 1–13, стб. 499–615), в котором говорится: *«въ обители блаженнаго Сергіа и самыя книги не на хар’тіахъ писаху, но на берестехъ»* (там же, стб. 550)<sup>137</sup>.

<sup>137</sup> Есть и другие свидетельства о позднем использовании бересты в качестве писчего материала. Так, в 1729 г. в Вятской епархии у бывшего попа Филиппа Яковкина были отобраны церковные книги с его показавшимися подозрительными пометками (позднее Яковкин был признан сумасшедшим); вместе с книгами были отобраны «на бересте полууставом писанныя тетрадки (19 номеров) и письма (8 номеров)» (ОДДС, IX, № 525/445, стб. 724).

Для Соболевского, как мы видим, береста – это поздняя замена бумаги. Новгородские раскопки выявили, что береста употреблялась задолго до появления бумаги, и это рисует иную культурную картину употребления письменности, чем та, которая представлялась раньше, когда для древнего периода предполагалось только употребление дорогого пергамена. В совершенно новом свете представляется распространение грамотности, социологические параметры этого распространения (ранее предполагалось, что грамотность была почти исключительной принадлежностью духовенства), юридический быт древнего восточнославянского города (совсем иной, когда существует, даже и в ограниченных размерах, письменная документация), функционирование административной системы и т. д. Понятно, что историки испытали своего рода шок, поскольку им предстояло во многом пересмотреть привычную картину социальных отношений в древней Руси.

Важным обстоятельством было при этом и то, что берестяные грамоты оказывались отнюдь не специфической особенностью древнего Новгорода. В Новгороде имелись лишь особо благоприятные условия для их консервации в культурных слоях. Влага в слоях до середины XV в. не пропускала к лежащим в земле предметам воздух (слои выше середины XV в. были сухими, и там все истлело). За 50 с лишним лет корпус неизмеримо вырос, теперь новгородских грамот найдено более 1000, найдены грамоты в других городах – Пскове, Старой Русе, Торжке, Смоленске, Полоцке, Твери, Москве, Рязани, Звенигороде Галицком. Корпус текстов сравним с большой рукописью, но, конечно, не объемом определяется его важность. Для историка эти свидетельства вполне однозначны. Они указывают, что берестяная письменность была распространена по всей Руси, использовалась достаточно интенсивно и, следовательно, должна рассматриваться как важное социальное явление.

Филологи, парадоксальным образом, такого шока, как историки, поначалу совсем не испытали. Для филологов извлеченные археологами первые берестяные грамоты представлялись мелкими отрывочными текстами, которые они считали неграмотно написанными, бессистемно употребляющими разные буквы, путающими формы и т. д. С этих позиций и были написаны первые лингвистические исследования о берестяных грамотах, и на этих основаниях формировался подход к их интерпретации. Поскольку грамоты воспринимались как тексты второго сорта, к их интерпретации не прилагалось требования филологического и исторического правдоподобия. Исследователи совершенно спокойно относились к тому, что содержание грамоты может быть нелепым, и эта предпосылка приводила к полной свободе конъектур, делавших берестяные грамоты ничтожными в качестве лингвистического свидетельства. Поясню на примерах. Грамота № 169 конца XIV – самого начала XV в. читается так (Зализняк 2004а, 656):

василевѣ • софонтѣква •  
 онтане • послале • овдо-  
 кимѣ • два клеца • да • шѣ-  
 ка • с василевѣ рѣвѣ •  
 клець послале • клець  
 стопане • четвортѣ •

А. В. Арциховский перевел этот текст следующим образом: «Во дворе Василия Софонтеева. Антон послал Евдокиму двое клещей. Да Щука из Васильевой Рыбы послал клещи. Степан послал четвертые клещи». Речь при таком переводе идет о кузнецах, которые заняты промышленным производством клещей, которые они и посылают некому Евдокиму. Арциховский сообщает при этом, что «в Новгороде уже девять раз найдены большие железные клещи, служившие для охвата железных криц. Длина их доходит до 0,82 метра. Такие клещи должны были стоить сравнительно дорого. Встречены в Новгороде и клещи других типов, помельче» (НБГ, IV, 56). Отсюда делаются различные исторические выводы; например, Арциховский вспоминает «гипотезу Б. А. Рыбакова, что на Кузьмодемьянской улице жили кузнецы» (там же). Конечно, появляющийся здесь персонаж «Щука из Васильевой Рыбы» приводит в некоторое замешательство, но Арциховский поясняет, что «подобные имена в древней Руси были», и ссылается на помещицье семейство XV в., в котором были Окунь Линева, Сом Линева, Ерш Линева и Судак Линева. По мнению археолога «такая семья вся могла называться Рыбой, особенно в разговорной речи» (там же) – на каком основании сделано последнее утверждение, никто не знает. Вероятно, кузнец мог носить имя «Щука»; возможно, какое-то семейство и могло называться «Рыбы», но в совокупности действующие лица оказываются чересчур рыбными, чтобы это было правдоподобно. Не лучший перевод предлагает и Л. П. Жуковская: «Василию Софонтеева (или: с Софонтеева) Онтан послал Овдокиму двое клещей, да Щука с Васильевы Рыбе клещи послал. Четвертые клещи Степан» (Жуковская 1959, 73). Здесь кузнец Щука посылает клещи некому агенту Рыбе, что выглядит не менее подозрительно. Понятно, что подобное неправдоподобие берedit совесть исследователей, и Л. В. Черепнин пытается придумать нечто более разумное: «Антон <...> сообщает Василию Софонтееву о том, что Антон послал Овдокиму двое клещей и щуку, из деревни Васильевой ему же отправили клещи и рыбу, наконец, четвертые клещи направили (очевидно, все тому же лицу) Степан» (Черепнин 1969, 235). Но и здесь остается непонятным, зачем с таким упорством из разных мест отправляли странный комплект из клещей и рыбы.

Нелепости смысловой соответствует и нелепость филологическая. Если рыбы могут отправлять посылки с клещами, то и клещи, натуральный, обусловленный характером предмета *pluralia tantum*, могут употребляться в ед. числе (*клещь*). Написание может не соответствовать этимологии – в корне должен быть *ѣ*, а не *е* (ср. укр. *кліщі*), хотя в грамоте смешение *ѣ* и *е* отсутствует. Раз написано может быть все, что угодно, нет резона доискиваться до осмысленного и филологически убедительного чтения, а в этом случае вместо нового материала, требующего новой лингвистической интерпретации и ревизии историко-лингвистических построений, мы остаемся со старыми представлениями, под которые подгоняется новый материал. В разбираемом примере остается неопознанной форма *клещь* 'лещ' с начальным *kl-*, соответствующим правслав. *\*tl* (Зализняк 1986, 119–120). При таком прочтении грамота имеет вполне понятный смысл, ср. перевод А. А. Зализняка: «[Люди] Василя Софонтьева [послали] Овдокиму: Онтан послал два леща да щуку; из Василевой рыбы леща послал; леща Степан – четвертого» (Зализ-

няк 2004а, 656). Мы имеем перед собой запись о сборе рыбного оброка и в то же время обнаруживаем важный лингвистический факт, который меняет наши представления о генезисе древненовгородского диалекта, поскольку рефлекс *\*tl* в нем оказывается сходен с западнославянским<sup>138</sup>.

Принципиальным поворотом в изучении берестяных грамот были исследования А. А. Зализняка. Он показал, что никакой бессистемности в письме берестяных грамот нет, просто система письма в них отличается от книжной. Он исходил при этом из двух постулатов, диктуемых здравым смыслом. Один состоял в том, что о грамотности или неграмотности надо судить исходя не из системы, которая представляется правильной исследователю (например, из соответствия написаний этимологии), а исходя из систематичности (последовательности) самих текстов (из тех «правил», которым следует пишущий). Как сейчас ясно, «[с]выше 90% берестяных грамот написаны <...> безупречно, т. е. не содержат на графическом уровне ни единой ошибки или опiski» (НГБ, XI, 236). Другой постулат был еще проще и сводился к тому, «что наши предки писали связные и осмысленные тексты» (там же, 251). В совокупности это означало, что исследователь должен не угадывать отдельные формы, дав безудержную свободу своей фантазии, а анализировать тексты систематически, так чтобы принимаемые им решения были релевантны для всего анализируемого корпуса, а появляющиеся при реконструкции тексты выглядели правдоподобными документами.

Когда стало понятно, что грамоты писали не неизвестно как, ошибаясь, пропуская, путая, изменилось отношение к качеству чтения грамот (конечно, на это повлиял возросший объем корпуса, позволивший продемонстрировать систематичность многих явлений). Стало необходимым объяснить каждую форму – вместо того чтобы приискивать что-нибудь похожее и объявлять, что автор грамоты плохо написал. При этом отношении стали выясняться специфические лингвистические характеристики отразившегося в грамотах языка. В настоящее время принято говорить об особом древненовгородском диалекте, в котором выделяются разнообразные специфические черты. Материал оказался настолько существенным, что он потребовал пересмотра ряда общих положений истории русского языка – как в истории восточнославянских диалектов, так и в истории письменного языка.

<sup>138</sup> Такие примеры можно умножить. Скажем, одна из наиболее древних грамот, № 247 (возможно, первой половины XI в.), читалась, начиная со слов «а замѣке кѣлеа двѣри кѣлѣа», которые переводились «а замок кельи, двери кельи» (НБГ, V, 69–71). Последовательность лишена и смысла, и всякой синтаксической структуры, если только не предполагать, что автор записывает свои эмоциональные восклицания перед дверями какой-то келии. Таких документов не бывает. Чтение невероятно и с лингвистической точки зрения. *Кѣлеа* не может быть формой род. ед. ни при каких обстоятельствах, и только представление о писавшем как идиоте может объяснить, почему он один раз написал *кѣлеа*, а другой раз, рядом, *кѣлѣа*. Если отказаться от подобного произвола, текст надо прочитать разумным образом, и такое чтение было предложено А. А. Зализняком – «а замѣке кѣле а двѣри кѣлѣ а...», т. е. «а замок цел, а двери целы, а...» (Зализняк 1986, 110; ср.: Зализняк 2004а, 238). И в этом случае обнаруживается лингвистически исключительно важный факт отсутствия второй палатализации и специфически новгородские формы именного склонения (см. ниже).

Можно вообще сказать, что если раньше для истории русского языка выделяли две группы источников – памятники письменности и диалектологические данные, дающие возможность с помощью лингвистической географии реконструировать языковые процессы прошлого, то теперь, видимо, следует говорить о трех группах источников: памятниках нормализованной письменности, памятниках ненормализованной письменности (это и есть берестяные грамоты вместе с небольшим эпиграфическим материалом) и диалектологических данных. Осмысление ненормализованной письменности как источника особого рода существенно меняет и наше представление о двух других источниках: они позволяют понять, сколь непрямо отражаются факты разговорного языка в памятниках книжного письма и вместе с тем сколь неполны данные современных диалектов в случаях, когда те или иные локальные черты подверглись конвергентному выравниванию. Отсюда возникает необходимость пересмотра многих сложившихся концепций и методологических принципов; эта работа продолжается по сей день.

Ненормализованный характер берестяной письменности проявляется прежде всего в бытовой системе письма. А. А. Зализняк определяет бытовую графическую систему как отклонение от стандартной системы, представленной в образцовой книжной письменности соответствующего периода. Сделав ряд формальных оговорок, Зализняк дает следующую дефиницию:

Бытовая графическая система отличается от книжной наличием хотя бы одного из следующих явлений: 1) смешение *ѣ* с *о*; 2) смешение *ь* с *е*; 3) смешение *ѣ* с *е* (и его эквивалентами) и/или с *и*. Кроме того, новгородская бытовая графическая система характеризуется наличием систематического смешения *ѣ* с *ч*, тогда как в новгородской книжной письменности это смешение присутствует лишь в качестве погрешности (хотя и довольно распространенной) против общей установки писца на этимологически правильное распределение *ѣ* и *ч* (Зализняк 2004а, 23).

В качестве примера можно разобрать, например, грамоту № 644, которая стратиграфически датируется 10–20-ми годами XII в. Вот текст этой грамоты (Зализняк 2004а, 267):

† Ѡ нѣжеке ко зѡвидѣ чемоу не восолеши чето ти есемо водала  
ковати • а дала товѣ а нѣжатѣ не дала • али чимо есемо виновата  
а восоли отроко • а водале ми еси хамече • а чи за то не даси • а  
восоли ми вѣсть • а не сестра а вамо, оже тако дѣлаете не исправитѣ  
ми ничето же • а во три колотокѣ вокѣ то ти • дѣ золотыникѣ во  
кольцо • тию.

Письмо написано женщиной по имени Нежка, у нее два брата, Завид и Нежата. Первому из них она и пишет. Она пишет: «Почему ты не присылаешь то, что я дала тебе выковать? Я тебе дала, а не Нежате [т. е. именно тебе поручила, а не другому брату]. Если я тебе что-нибудь должна [виновата в значении 'быть должным'], то посылай отрока [судебного исполнителя]. А дал ты мне полотна кусок [хамъ, хамо – полотно, хамъць – уменьшительно-уничижительное], и если поэтому не отдаешь [не присылаешь заказ], то

пришли известие [сообщи]. А если вы так делаете [поступаете], что ничего для меня не исполняете, то я вам [больше] не сестра. А в три колтка [колт или колток – височная подвеска] вкуй его [отданный металл], вот тут четыре золотника [4,25 гр. золота] в тех двух кольцах» (см.: Зализняк 2004а, 267–268).

Каковы особенности представленного в этой грамоте письма? Вместо еров могут писаться **о** и **е** (вместо ера во всех случаях, а ерь и **е** смешиваются); вместо **ѣ** может писаться **е**, **ц** и **ч** смешиваются. Это и есть основные черты бытового письма (в одном из его вариантов). Система, которую мы наблюдаем в данной грамоте, может быть условно представлена как **ѣ** → **о**, **ь** = **е**, **ѣ** → **ѣ/е**, **ц** = **ч**. Если устранить эти особенности, получается совершенно безупречный текст, без всяких ошибок и непоследовательностей.

Сразу же отмечу, что, доверяя написаниям грамот, исследователь обнаруживает в этом тексте специфические особенности древненовгородской морфологии. Самая существенная из них – это *-е* как окончание им. ед. *о*-склонения (в других диалектах *-ѣ*), отличающееся от окончания вин. ед. *-ѣ*, ср.: **въдале**, но **отрокѣ**. У существительных ж. рода *а*-склонения род. ед. совпадает с дат. ед. *-ѣ*: **Нѣжыѣ**. И еще одна особенность – отсутствие второй палатализации: **Нѣжыѣ**, а не **Нѣжыѣѣ** (в других грамотах, как мы видели, вторая палатализация не отражается и в корневых морфемах).

К этим особенностям мы обратимся ниже, рассмотрев сначала, как возникает бытовая система письма (см. об этом выше, § II-4). При обучении чтению по складам склады типа **бѣ** и **бо**, **бѣ** и **бе**, **ца** и **ча** заучиваются как фонетически тождественные последовательности: [bo], [be], [cä]. Поэтому буквы **ѣ** и **о**, **ь** и **е**, **ц** и **ч** воспринимаются как омофоничные и могут употребляться без различия. Стоит отметить, что анализируемая грамота показывает, что разбираемое чтение еров не связано, как уже говорилось, с падением и прояснением редуцированных. В данной грамоте все редуцированные на месте, да и время ее написания говорит о том, что падения их еще не произошло, тем более не произошло прояснения; между тем эффект смещения **ѣ** и **о**, **ь** и **е** присутствует. Сходным образом объясняется и неразличение **ѣ** и **е/ь**, о котором будет сказано ниже (см. § VI-6.5). Это позволяет сделать вывод о том, что книжные писцы обучались особым правилам, которые позволяли им избегать тех смещений, которые были характерны для бытового письма. Сопоставляя два типа письма, можно реконструировать эти правила (см. ниже, §§ VI-4, VI-5).

Как уже говорилось, бытовая система письма отражает умение читать, которое опосредованно дает и умение писать (отличающееся от умения профессиональных писцов). Когда говорится о связи бытовой системы с чтением по складам (с обучением чтению, а не письму), имеется в виду возникновение этой системы, а не ее дальнейшее функционирование. Бытовое письмо не было, видимо, в древнейший период предметом особого обучения. Для более позднего времени можно думать, что деловое письмо, принимающее особую форму скорописи, делается предметом особого обучения, но это уже связано с самим появлением скорописи (см.: Успенский 2002, 299–301) и оформлением особой сферы бюрократической деятельности. В древнейший период, однако, некнижное письмо могло быть предметом



привычки, навыка, поскольку пишущий выступал и как читающий – читающий другие грамоты, что и создает механизм естественной преемственности. В частности, можно выделять, как это одно время делал Зализняк (Зализняк 1995, 20–21), несколько подсистем бытового письма (по типу смешения **ѣ** и **о**, **ѣ** и **ѥ**, **ѣ** и **ѥ/ѣ**), хотя трудно думать, что эти подсистемы четко разграничивались, воспроизводились дифференцированно и шли от разных учителей; характерно, что Зализняк предпочитает «теперь говорить о бытовой графической системе (в ед. числе), а не о бытовых системах (во множ. числе)» (Зализняк 2004, 21). Возможно, тем не менее, что различные способы обращения с омофоничными буквами в качестве своего рода пристрастий передавались от поколения к поколению в рамках отдельных линий отмеченной выше естественной преемственности (от чтения к письму)<sup>139</sup>. Как бы то ни было, обучение грамоте предполагало, видимо, и умение писать бытовые тексты. В 1992 г. в Новгороде была найдена надпись на cere (восковой дощечке) 20-х – 50-х годов XII в. следующего содержания:

а азъ тиунѣ  
данѣ жѣ оуалѣ

Текст переводится: «А я, тиун, дань(-то) взял» (Зализняк 2004а, 342). Текст написан в бытовой системе, на что указывает замена **ѣ** → **ѣ**, **ѥ** → **ѣ**, равно как и новгородское диалектное окончание им. ед. **о**-склонения –**ѣ**. Надо думать, на cere писал не тиун (важный чиновник), а ученик, который учился писать, причем не как профессиональный писец, т. е. учился письму без специального книжного дополнительного обучения. Как отмечает и Зализняк, «возможно, мы имеем дело просто с упражнением в письме» (там же). В такое обучение могли входить, видимо, и эпистолярные формулы, ср., например, переход в истории берестяной письменности от начальной формулы с «**ПОКЛАНЯНИЕ**» к формуле со словом «**ПОКЛОНЪ**» (Ворт 1984), свидетельствующий, как кажется, о том, что эта замена имела контролируемый характер. Здесь также можно видеть определенный нормативный элемент, относящийся, впрочем, не к орфографической системе, а к тексту как таковому. Интенция нормативности оказывается присуща не только книжным текстам. Поэтому не удивительно, что приобретение навыков нормированного письма не замыкается в области книжного языка, т. е. не связано исключительно с созданием книжных текстов. Нормативность, как мы увидим ниже, соотносится с социальными параметрами создаваемого текста. Прежде, однако, чем перейти к обсуждению этих вопросов статуса, целесообразно уяснить, в чем выражается ненормативность бытовых текстов.

<sup>139</sup> Зализняк полагает, что «не следует приписывать выбор между эффектами **ѣ** = **о** и **ѣ** → **ѣ/о** самой системе (т. е. усматривать здесь разные подсистемы), и, соответственно, связывать это различие непосредственно с тем, чему именно учил в этом пункте учитель. Различие такого рода могло развиваться и в индивидуальном порядке <...> существенной характеристикой системы является сам факт эквивалентности букв **ѣ** и **о**, а варианты его реализации (**ѣ** = **о**, **ѣ** → **ѣ/о** и даже **ѣ** → **о**) могут определяться просто индивидуальным узусом» (Зализняк 2002а, 603). Однако индивидуальность узуса обычно не бывает вполне индивидуальной, без всякой предыстории и, тем самым, естественной преемственности.

Выше уже говорилось о том, что новгородские берестяные грамоты позволяют восстановить многие черты древненовгородского диалекта, которые невозможно реконструировать по памятникам нормализованным. Можно вообще сказать, что бытовые берестяные грамоты в несравненно большей степени отражают живую речь, чем нормализованные тексты. Это не означает, конечно, что бытовые грамоты могут рассматриваться как прямая фиксация разговорной речи; у них есть своя риторическая организация, присущая именно письменным текстам (см. ниже, § V-1), и на письменную же традицию могут указывать отдельные черты книжности, спорадически в них появляющиеся. Тем не менее и в фонетике, и в морфологии, и даже в синтаксисе соотнесенность с разговорной речью в них куда более непосредственна, чем в договорах или летописях, не говоря уж о стандартных церковнославянских памятниках. Это дает уникальную возможность реконструировать явления и процессы разговорного языка древнего Новгорода и вместе с тем, как уже говорилось, понять, насколько радикально эти явления устранились из нормализованных текстов.

Берестяные грамоты как лингвистический источник уникальны и еще в одном отношении: они дают последовательную хронологическую картину языковых изменений. Если поначалу стратиграфические датировки рассматривались лингвистами с недоверием и они предпочитали оперировать палеографическими критериями (забывая о том, что прямой корреляции в палеографии книжных рукописей и берестяных грамот может не существовать, см. о палеографии берестяных грамот: НГБ, X, 134–429), то исследования А. А. Зализняка отчетливо показали, что изменения в языковых параметрах непосредственно коррелируют со стратиграфическими датировками. Эта корреляция не может иметь случайного характера и поэтому с несомненностью свидетельствует как о достоверности стратиграфии, так и о достоверности вырисовывающейся хронологии языковых процессов. Это позволяет увидеть динамику разговорного языка древнего Новгорода и избавиться от ряда мифических представлений, утвердившихся в лингвистическом изучении восточнославянских диалектов.

Так, в частности, показания берестяных грамот позволяют однозначно решить вопрос о хронологии падения и прояснения редуцированных и о параметрах протекания этого процесса. Свидетельства новгородских книжных текстов, относящиеся к этому явлению, поддаются разной интерпретации. Отдельные случаи пропусков слабых редуцированных наблюдаются уже в памятниках конца XI в., и вместе с тем вплоть до XIV в. находятся памятники, в которых существенная часть еров написана правильно (в соответствии с этимологией). Датировка падения слабых редуцированных зависит от того, как понимать эти данные: первые примеры пропуска еров можно рассматривать как раннее свидетельство фонетических процессов, а можно – как след южнославянского протографа или орфографической конвенции. Относительно частое «правильное» написание еров в поздних рукописях можно связывать с устойчивостью книжной традиции, а можно – с незавершенностью самого изменения (см. еще ниже, § VI-6.4).

Данные берестяных грамот с несомненностью указывают, «что падение редуцированных в древненовгородском диалекте наметилось уже в XI в

(если не раньше), но в основном протекало в XII в. и в начале XIII в. практически завершилось» (Зализняк 1986, 124; ср.: Зализняк 2004а, 58–67). Важно при этом не только то, что к концу XI и началу XII в. относятся отдельные грамоты с отдельными, сравнительно малочисленными пропусками еров, а с первой половины XIII в. нет ни одной грамоты, где число пропущенных еров не превосходило бы число сохраненных. Важно, что распределенные по стратиграфическим датировкам грамоты наглядно показывают плавное нарастание процесса. Конечно, и в случае берестяных грамот можно полагать, что письменная фиксация несколько запаздывает по сравнению с реальными изменениями, однако постепенность в росте статистических параметров исключает возможность слишком большого разрыва (больше, скажем, 15–20 лет). Таким образом, можно считать, что хронология падения редуцированных для северо-запада восточнославянского ареала устанавливается однозначно, и интерпретация данных книжной письменности должна согласоваться с этими временными рамками. Более того, грамоты первой половины XII в., обнаруженные в Звенигороде Галицком (см.: Зализняк 2004а, 346–347), не отличаются по характеру написания еров от современных им новгородских грамот; это свидетельствует о том, что, по всей видимости, не имеет оснований и распространенное мнение, согласно которому на юге восточнославянской территории падение редуцированных проходило ранее, чем на севере.

С той же отчетливостью бытовые грамоты обнаруживают и параметры протекания процесса падения редуцированных, радикально отличные от тех, которые восстанавливаются при прямолинейной интерпретации данных книжных текстов. Я имею в виду зависимость поведения редуцированных от позиции в слове. А. А. Шахматов полагал, что «памятники XI–XII века дают основание утверждать, что в процессе падения полукратких гласных замечалась следующая последовательность: сначала исчезли полукраткие в начальном слоге слова; потом они исчезли в другом положении, т. е. в срединных и конечных слогах», причем «возможно, что прежде всего исчезли глухие в начальном слоге перед следующим ударяемым слогом» (Шахматов 1915, 217–218). В результате дальнейших наблюдений над книжными памятниками этот вывод осложнился предположением, что ранняя утрата редуцированных не имела места в тех случаях, когда «редуцированные в слабом положении соотносятся с редуцированными в сильном положении в составе той же морфемы» (Борковский и Кузнецов 1965, 100; ср.: Фалев 1927), т. е. фонетический процесс нарушался под воздействием морфологического фактора (такой ход мысли связан, видимо, с морфонологическим подходом к фонологии в московской фонологической школе).

Построенная таким образом картина в общем соответствует показаниям памятников книжного письма, но та иерархия позиций, которая таким образом выстраивается, с фонетической точки зрения кажется весьма подозрительной. Те авторы, которых я цитировал, игнорировали обсуждавшееся выше (см. § II-4) обстоятельство, что между разговорным языком и его отражением в книжной письменности стояли правила, которыми руководствовался книжный писец в своей профессиональной деятельности. Если предположить, что книжный писец писал еры не по слуху, а по правилам, то

иерархия позиций оказывается вполне естественной и соотносящейся с той уже разбиравшейся нами закономерностью, что более трудные правила сопровождаются большим числом ошибок. Как отмечал Г. А. Хабургаев, «частотность написаний без букв ъ и ь в старейших текстах убывает в последовательности, обратной возможности запоминания (усвоения) “правила”» (Хабургаев 1976, 402). Действительно, писцу «легче всего было усвоить “правило” написания букв ъ и ь в конце словоформ, оканчивавшихся (после падения редуцированных) согласными; далее – в конце предлогов, а также приставок; сложнее – в правописании суффиксов, особенно – менее регулярных; наконец, наиболее сложным должно было быть усвоение написаний корней, ибо здесь приходилось запоминать правописный облик каждого корня в отдельности, особенно в тех случаях, когда [ъ] или [ь] в корне при словоизменении не соответствовали [о] или [е] живого произношения (исторически – всегда находились в слабом положении). Совершенно очевидно, что последовательность осуществления фонетического процесса не может соответствовать указанной градации, так как должна зависеть от фонетических условий, как правило, не связанных с тем, в корневой или аффиксальной морфеме находится гласный» (Хабургаев 1976, 402).

Берестяные грамоты дают иную картину, нежели книжные тексты. В ранних грамотах редуцированный в начале тактовой группы (в начале фонетического слова) употребляется почти без отступлений от этимологии; два исключения – **стороби** (№ 424, 1 четв. XII в.) и **съмърѣда** (№ 907, рубеж XI–XII вв., неэтимологический ъ после с) – приводятся Зализняком (Зализняк 2004а, 63–64). В неначальной позиции пропуски редуцированных встречаются реже (см. некоторые подсчеты: Живов 1988г, 151), хотя, как справедливо замечает Зализняк, «для серьезной статистики материал здесь всё еще недостаточен и возможны лишь приблизительные оценки» (Зализняк 2004а, 63). В грамотах второй половины XII – начале XIII в. пропуски еров одинаково характеризуют начальную и неначальную позицию и наблюдаются более чем в 30% случаев. Таким образом, материал берестяных грамот позволяет предположить, что процесс падения редуцированных сначала развивается в неначальных слогах, а затем распространяется и на начальный слог<sup>140</sup>. Этот вывод прямо противоположен тому, который делается на основании анализа книжных текстов, не учитывающего их специфики. Вме-

<sup>140</sup> О ситуации в конечном слоге можно судить лишь по случаям отвердения [m'] в словоформах на -мь, возможного лишь после падения конечного редуцированного (поскольку, как говорилось выше, написание ъ в конце слова диктуется простым орфографическим правилом). Зализняк по этому поводу пишет: «Победа написаний типа *чимь*, *чимо* над типом *чимь*, *чиме* (т. е. победа отвердевшего [м] над [м']) наступает уже в середине XII в., тогда как победа написаний типа *посли* над типом *посъли*, *посоли* – только в 20-е гг. XIII в. Это значит, что процесс падения конечных редуцированных завершился существенно раньше, чем у неконечных. Естественно предполагать, что он раньше и начался. Поскольку имеющийся ныне материал указывает на 2-ю половину XI в. как на время появления первых пропусков срединных редуцированных, начало падения конечных редуцированных можно теперь более уверенно, чем прежде, относить к XI в.» (Зализняк 2004а, 65).

сте с тем он хорошо согласуется с типологически вероятным развитием подобных процессов, ср. хотя бы историю *e tuet* в развитии французского языка. И в этом случае некнижное письмо, т. е. письмо, не использующее специальные орфографические правила, показывает, как обстояло дело в живом языке, тогда как книжные тексты создают для не вполне искушенного наблюдателя обманчивую картину.

Анализ новгородской бытовой письменности позволил выделить существенный набор диалектных характеристик, противопоставляющих говор новгородских жителей (или их основной группы) другим восточнославянским говорам. Отмечу лишь некоторые из них (исчерпывающий обзор см.: Зализняк 2004а). Так, в древненовгородском диалекте не имела места вторая палатализация, поэтому в корнях мы находим такие формы, как *кѣле* 'цел', *хѣрь* 'серь, серое (некрашенное) сукно', *кѣркы* 'церковь'. Отсутствуют рефлексy второй палатализации и в словоизменении. Особо ясную картину дают грамоты, написанные до середины XIII в., затем она становится несколько более расплывчатой, что, видимо, свидетельствует о восточнославянских конвергентных процессах. Для ранних, да и для поздних грамот отсутствие рефлексов второй палатализации является обычным, отступления появляются, если речь идет о позиции в корне, в книжных словах (*цѣрковь*, *цѣлование*), а если речь идет о словоизменении, то прежде всего в церковных формулах типа *ѣи помози* (№ 203, XIII в.), *в бозѣ* (№ 304, XV в.) и т. п. (Зализняк 2004а, 41–45). Третья палатализация имеет место, однако не распространяется на *х*, откуда формы типа *въхо*, *въхѣмъ* (стоит заметить, что и для других славянских диалектов положение с *х* неясно, поскольку единственный релевантный пример – это указанное местоимение, а в нем любые формы можно объяснить аналогией – ср.: Лант 1981, 35–37). Стоит отметить еще, что древненовгородским рефлексом праслав. *\*tj*, *\*dj*, *\*sj*, *\*zj* были, видимо, [k'], [g'], [x'], [ɣ'], впоследствии отвердевшие. Соответственно, *\*stj*, *\*zdj* давали [s'k'], [z'g'] (Зализняк 2004а, 47–49).

Значимые диалектные черты выделяются и в морфологии. В именном склонении следует прежде всего сказать об уже упоминавшемся окончании им. ед. *о*-склонения *-е* при общевосточнославянском *-ѣ* (Зализняк 2004а, 99–104). О генезисе этого окончания идут дискуссии (наиболее обоснованной представляется сейчас теория, апеллирующая к морфологической аналогии – см.: Вермеер 1991; Вермеер 1994; Вермеер 1997б; ср. также: Крысько 1993; Зализняк 2004а, 147–149), однако с появлением берестяных грамот отпали те интерпретации этой флексии как позднего образования, которые предлагались ранее для немногочисленных случаев, окказионально встречающихся в нормализованных памятниках. Показательно, что наблюдается определенная корреляция между бытовой системой письма и употреблением флексии *-е*: в грамотах со смешением *ѣ – о* и/или *ѣ – е* окончание *-е* встречается более последовательно, чем в грамотах без смешения. Вместе с тем «в ранних грамотах перевес *-е* над *-ѣ* намного сильнее, чем в поздних. Окончание *-ѣ* встречается главным образом в грамотах, имеющих официальную или книжную окраску, тогда как в собственно бытовых грамотах господствует *-е*» (Зализняк 2004а, 100). Если в древнейших (XI – 10-е годы XIII в.) грамотах со смешением *ѣ – о* и/или *ѣ – е* окончание *-е* употребляется

в 90% релевантных случаев, то затем пропорция постепенно снижается до 63%; и в данном случае можно видеть результат конвергентных процессов.

Нужно также сказать об окончании р. ед. *а*-склонения *-ѣ* (типа *отъ Нѣжатѣ*), общем для твердой и мягкой разновидностей и идущем из дат. ед. (Зализняк 2004а, 97, 146). Это же окончание (*-ѣ*) господствует и в им. вин. мн. числа (там же, 98, 147). В глагольном словоизменении обращает на себя внимание отсутствие *-ть* в 3 лице презенса (там же, 136–138), свойственное, впрочем, не только древненовгородскому диалекту, но известное и в южных восточнославянских говорах, хотя в основном лишь в формах ед. числа первого спряжения (там же, 152–153). Перечисленные выше особенности древненовгородского диалекта (к которым может быть добавлен еще ряд фонетических и морфологических черт) определяют особое положение данного идиома не только в восточнославянском, но и в общеславянском контексте. Они настолько существенны, что несомненно должны были осознаваться носителями новгородского диалекта (постоянно сталкивавшимися с иными характеристиками северо-восточных и южных восточнославянских говоров) и в силу этого создавали условия для развития регистровых корреляций как в устном, так и в письменном языке древнего Новгорода.

В самом деле, вся эта совокупность диалектных черт широко представлена в бытовых грамотах, так что может рассматриваться как образующая специфику новгородского бытового письма (бытового регистра). Из этих данных становится понятным, что такое нормализация. Нормализация – это прежде всего устранение подобных диалектных элементов. В случае новгородской письменности нормализационная составляющая бытовых не книжных текстов чрезвычайно заметна (в силу выраженной диалектной специфики), однако эта составляющая должна была присутствовать и в не книжных текстах других регионов. Нормализованное письмо также образует систематическое целое, то, что Зализняк может называть стандартной древнерусской системой (о концептуальной проблеме, встающей в связи с этим термином, см. ниже). Эти две системы находятся в противостоянии, результатом которого может быть функциональная дополнительная дистрибуция. Когда ситуация требует бытового изложения, пользуются бытовой системой – даже те, кто может писать по-книжному. Мотивом подобного языкового поведения оказывается не неумение, а распределение разных традиций письма по разным сферам функционирования письменного языка, т. е. регистровая корреляция.

Данное заключение относится и к характеру нормирования вообще, т. е. важно для понимания функционирования книжного и не книжного языка в средневековой Руси. Как правило, официальные документы (равно как, конечно, и церковные книги) пишутся на языке, по возможности избавленном от диалектных форм. Обычно в них нельзя встретить форм типа *въдалѣ*, *замѣке* и т. д. (они могут появиться там лишь как отступление от нормы). Частная бытовая переписка этого нормирования не требует, поэтому в ней свободно появляются диалектные формы. Этот вывод можно сделать, анализируя общую картину древней письменности, но можно найти яркие примеры совмещения двух типов письма в рамках одного памятника. Заме-

чательный пример такого перехода от одного регистра к другому обнаруживается в грамоте № 724. Когда эта грамота была найдена, поначалу исследователи прочли одну ее сторону. Вторую сторону не удавалось прочесть целый год. Когда это удалось сделать, оказалось, что на оборотной стороне текст написан на несколько другом языке, чем на лицевой. Замечу еще, что эта грамота не имеет археологической датировки, ее нашли в яме. По палеографическим соображениям ее можно было бы датировать второй половиной XII в., и к этому же побуждает ее содержание. Однако ряд лингвистических соображений, на первый взгляд, препятствовали такой датировке. Приведу текст этой грамоты полностью:

п савѣ покланѧнее кѣ братѣи и дрѹжинѣ оста-  
вили ма бѣли людѣ да остатѣ дани испра-  
вити бѣло имѣ досени а по первомѹ пѣти  
послати и отѣбѣти проче• и заславѣ заха-  
рьѧ въ в[ѣ]рѣ ѹрокѣ не данте савѣ ни одно-  
го песца хотѧ на нихѣ емати самѣ въ томѣ  
а въ [т]омѣ ми сѧ не исправилѣ въ борзѣ ни  
кѣ вамѣ ни [т]ѹ ти бѣлѣ а въ томѣ есмѣ осталѣ  
по томѣ пришли смерди ѿ андрѣѧ мѹжь при-  
шли и дане ѿшли людѣ • и осьмѣ высѧгла  
что о тѹдоре порозѹмѣите братѣе емѹ да-  
че что въ с[е] (-)емѹ състане тягота тамѣ  
и съ дрѹжиною егѣ •

[оборот]

а се[л]чаномѣ своемѣ кѣ[н]ѧз[ь] самѣ отѣ [в]олокѹ [и]  
отѣ [м]ѹс[т]ѣ ѹчастокѣ водале а[ч]ѣ ли ти брат[ь]ѣ  
винѣ а[ю]дѣ на ма не ищѹ[т]ѣ а до[вѣд]ок[а] бѹд[е]  
то же нынѣца радѣ бѹхѣ послалѣ [грам]о[т]ѣ

Перевод: От Саввы поклон братьям и дружине [редкая формула, встречающаяся в Ипатьевской летописи и Слове о полку Игореве]. Покинули меня [мои] люди; а надлежало им остаток дани собрать до осени, по первопутку послать [когда ляжет снег] и отбыть прочь. А Захарья, прислав [человека, через него] клятвенно заявил: «Не давайте Савве ни единого песца с них собрать. [Я] сам за это отвечаю» (или: [Он] сам за это взялся, т. е. он самозванец). А со мною по этому поводу сразу вслед за тем не рассчитался и не побывал ни у вас, ни здесь. Поэтому я остался. Затем пришли смерды, от Андрея мужа [начальника] приняли, и [его] люди отняли дань. А восемь [человек], что под началом Тудора, вырвалась (или: вышли из повиновения). Отнеситесь же с пониманием, братья, к нему, если там из-за этого приключится тягота ему и дружине его [т. е. будут выдвинуты обвинения против него – у вас, т. е. в Новгороде].

А сельчанам своим князь сам от Волока и от Мсты (т. е. примыкающие к ним [?]) участки дал. Если же, братья, вины люди на мне не ищут и будет дознание, то я сейчас с радостью послал бы грамоту (Зализняк 2004а, 350–351).

В первой части идет речь о сборе дани, видимо, в Югорской земле, там, где платили дань мехом песцов. Савва, человек новгородского князя, вступил в конфликт с другим агентом Новгорода, Захарией (видимо, присланным от посадника), который требовал, чтобы дань платили ему. В это время появился муж от Андрея, князя, потому что мужами назывались люди из княжеской дружины. Нужно думать, что от другого, не новгородского князя; в этом контексте естественно думать о конфликтах между Новгородом и Владимиро-Суздальским княжеством из-за контроля над Северо-Востоком. Тогда единственный известный князь Андрей – это Андрей Боголюбский (ум. 1174 г.). Вооруженный отряд под началом Тудора, который был с Саввой, разбежался. Эти трагические обстоятельства Савва и сообщает в Новгород дружинникам князя.

На обороте он пишет о своих личных делах, о правах на владение какими-то участками (видимо, для собирания дани) и о возможных обвинениях против него (в этой связи), в которых он готов сейчас же оправдаться.

В первой части нет диалектных форм (единственная **сѣстане** 3 л. презенса, не специфически новгородская форма). Им. ед. о-склонения: **урокаѣ**, **исправилаѣ**, **остаѣ**. Род. ед. а-склонения: **Савы** вместо новгородского **Савѣ**. Сложности с датировкой лицевой части обусловлены полным падением редуцированных: **послати**, **отъбыти**, **заслаѣ**, **песца**, **пришли**, **что**. Даже в сочетаниях редуцированных с плавным редуцированные прояснились: **первоу**, **борзѣ**, **смерди**. Такого в новгородских грамотах XII в. нет, в это время подобная картина наблюдается только в южных книжных памятниках (Добрилово евангелие 1164 г.). Это и заставляло сомневаться в датировке. Когда через год прочли оборот грамоты, возникла совершенно иная картина. В тексте на обороте почти все еры на месте: **кѣнаѣ**, **мѣстѣ**, **ѣчастокѣ**, **довѣдока**. Им. ед.: **водале**, **послале**. Род. ед.: **мѣстѣ**. Савва в официальной части пишет по-книжному, что включает опущение еров. В неофициальной же части находим привычное бытовое письмо с диалектными формами и сохранением редуцированных, что иллюстрирует тезис «о том, что при книжной графической системе процесс падения редуцированных отражается на письме в целом быстрее, чем при бытовой» (Зализняк 2004а, 352–353). Пример грамоты № 724 показывает, что даже в тех случаях, где мы, вообще говоря, предполагаем, что письмо «просто» отражало процессы живого языка, механизмы не так просты и однозначны, как кажется на первый взгляд.

Это относится и к отражению падения и прояснения редуцированных. В грамотах, использующих бытовую систему письма (со смешением **ѣ**, **о** и **ѣ**, **ѣ**), и в грамотах, не использующих эту систему (без такого смешения), падение редуцированных отражается по-разному. В грамотах без смешения падение редуцированных фиксируется на четверть века раньше, чем в грамотах со смешением, т. е. грамоты со смешением в своих написаниях более консервативны, чем грамоты без смешения. Это можно объяснить тем, что, как пишет А. А. Зализняк, «сами бытовые системы письма, по-видимому, формировались под значительным влиянием приемов чтения и записи по складам, принятых при обучении грамоте, а в этих ситуациях использовались, ко-



нечно, lento-варианты произнесения словоформ. Неслучайно, в частности, что в рамках именно бытовых систем письма может развиваться скандирующий принцип записи (типа *солово*, *доругое* и т. п.), соответствующий тому предельному варианту чтения по складам, при котором консонантные сочетания разбиваются на отдельные склады» (Зализняк 1993, 253; ср. еще: Зализняк 2004а, 60). Таким образом, книжное письмо обладало существенно большим автоматизмом, чем письмо бытовое, и этот автоматизм, допуская пропуск еров, входил, можно предположить, в культурную установку пишущего.

Сходное чередование регистров обнаруживается и в таком известном памятнике новгородской письменности, как Варламова грамота рубежа XII/XIII в. Эта грамота, являющаяся вторым по древности восточнославянским юридическим документом (после грамоты великого князя Мстислава Владимировича Юрьеву монастырю около 1130 г.), сохранившимся в подлиннике (грамота на пергамене хранится в Новгородском объединенном музее-заповеднике), представляет собой вкладную грамоту Варлаама Хутынского в Юрьев монастырь в Новгороде. Согласно летописи, этот монастырь был основан преподобным Варлаамом в 1192 г., промежутком между 1192 и 1210 гг. датируется и вкладная грамота Варлаама, закрепляющая за монастырем различное имущество. Традиция составления документов к этому времени еще не сложилась (см. ниже), и текст обладает рядом особенностей, не характерных для позднейшей деловой письменности. Он распадается на две части – основную и заключительную (публикацию текста см.: Зализняк и Янин 1992–1993; см. также: Зализняк 2004а, 458–459). Основная часть, перечисляющая дарения, написана бытовым письмом; мы находим в ней специфически новгородские диалектные формы: *-е* во флексии им. ед. *о*-склонения: **варламе**, **коле**, **въдале** (3 раза), форму **вхоу** вместо **всю**; заключительная часть грамоты, содержащая торжественное подтверждение дарения и закланательную формулу (санкцию), написана на нормализованном языке без диалектных черт (**далъ варламъ** вместо **въдале варламе**, **все** вместо **вхоу**)<sup>141</sup>.

Употребление того нормализованного идиома, который мы находим на лицевой стороне грамоты № 724 и в заключительной части вкладной Варлаама Хутынского, может рассматриваться как вполне сознательное и значимое в историко-культурном отношении. Эти тексты, по словам А. А. Зализняка, «оказыва[ю]тся уникальным свидетельством того, что в древней Руси грамотные люди (или, по крайней мере, некоторые из них) умели писать в разных манерах, т. е. были способны при надобности менять свою орфогра-

<sup>141</sup> А. А. Зализняк замечает: «Особенно показательна начальная фраза части Варл.2 [второй части грамоты]: се же все далъ Варламъ... В ней произведен прямой “перевод” слов и выражений, употребленных в Варл.1, с диалекта на наддиалектный древнерусский: вместо *въдале Варламе* – *далъ Варламъ*, вместо *вхоу* (с *х*) – *все* (с *с*). Даже замена глагола *въдати* на *дати* здесь не случайна: в значении, связанном с передачей денег или имущества, в др.-новг. диалекте XI–XIII вв. почти всегда употреблялось *въдати*, тогда как в книжном языке преобладало *дати*» (Зализняк 2004а, 460).

фическую и грамматическую установку» (Зализняк 2004а, 352). У. Вермеер добавляет к таким текстам еще и грамоту № 142 (Вермеер 1997а, 31–32).

Понятно, что официальные документы (например, договорные грамоты) писались, как правило (есть и исключения – список А Смоленской грамоты), не менее тщательно, чем пишет Савва, т. е. с устранением бытового письма и диалектных форм. Такое письмо мы и находим в новгородских договорах. В качестве примера можно привести договор Новгорода с тверским великим князем Ярославом Ярославичем 1266 г. (Валк 1949, 10–11):

† Благословение ѿ владѣикы, поклананіе ѿ посадника Мѣхѣила, и ѿ тысацьскаго Кондрата, и ѿ всѣхъ Новагорода, и ѿ всѣхъ старѣишихъ, и ѿ всѣхъ меньшихъ къ князю Іарославоу. На семь, княже, цѣлоуи хрьстѣ къ всѣмоу Новоугородоу, на цѣмъ то цѣловали дѣди, и отци, и отецъ твои Іарославъ. Новъгородъ ти дѣржати въ старинѣ, по пошаниѣ. Что волостни всѣхъ новгородскыхъ, того ти, княже, не держати своими моужи, нѣ дѣржати мѣжи новгородскыми; а даръ имати тобѣ ѿ тѣхъ волостни. А бес посадника тобѣ волостни не раздавати. А комоу раздаахъ волостни братъ твои Александръ и ѿ Дмитрии съ новгородци, тобѣ тѣхъ волостни безъ винты не лишати. А что ти, княже, пошло на Торожкоу и на Волоцѣ тивоунъ свои дѣржати: на свои части дѣржати, а новъгородьцѣ на свои части дѣржати.

Как можно видеть, текст нормализован и новгородских диалектных особенностей в нем почти не обнаруживается. В им. ед. *о*-склонения регулярным окончанием оказывается *-ъ*, а не *-е* (Іарославъ, раздаахъ, братъ, Александръ), в род. ед. *а*-склонения стоит *-ы*, а не *-ѣ* (владѣикы, винты), на месте оказываются результаты второй палатализации (на Волоцѣ). Писец старательно избавляется от эффектов цоканья (цѣлоуи, цѣловали, отци, отецъ, что [2 раза], новгородци, части [2 раза], новъгородьцѣ) допуская в приведенном фрагменте по существу лишь одну ошибку (на цѣмъ), поскольку форма тысацьскаго ошибкой сочтена быть не может: это локальное название, известное писцу именно в той форме, которую он воспроизводит.

Аналогичные характеристики обнаруживаются и в целом ряде других новгородских официальных не книжных текстов вплоть до середины XIV в. (см. обзор этих текстов в интересующей нас перспективе: Зализняк 1987, 124–125); о более позднем времени А. А. Зализняк пишет: «Начиная со второй половины XIV в. в большинстве документов этого рода количество новгородских диалектных элементов несколько возрастает; например, неоднократно встречается Р. ед. жен. на *-ѣ*, перфект мн. числа на *-лѣ* (существенно реже И. ед. муж. на *-е* и перфект на *-ле*). Но все же и в этих документах как правило основу продолжает составлять стандартный древнерусский язык» (там же, 125–126). В чем причина этой перемены, требует дальнейшего осмысления; возможно, она была результатом растущего объема и растущей эмансипации не книжной письменности, для которых навыки книжного правописания становились все более и более иррелевантными.

## 8. Общие соображения о формировании регистров письменного языка

Рассмотренные выше тексты показывают, что избавление от диалектных форм было одной из черт нормативного письма, и это ставит вопрос о том, в чем именно состоял нормативный принцип и какое членение регистров письменного языка он предполагал. Очевидно, что диалектные формы противопоставлялись не только книжным (церковнославянским), но и формам, которые можно было бы назвать общевосточнославянскими (общерусскими). А. А. Зализняк предполагал, что стандартный вариант, который поначалу назывался «стандартным древнерусским языком» (Зализняк 1995, 3), а затем был переименован в «наддиалектную форму древнерусского языка» (Зализняк 2004а, 5), был ориентирован в первую очередь на новгородское койне, образовавшееся в результате взаимодействия двух новгородских говоров – кривичей и ильменских славен (позднее А. А. Зализняк опускает племенные наименования и говорит о гетерогенности говоров к западу и к востоку от Новгорода – там же, 5–6). Это койне было более престижным в культурном отношении, и значимая в культурном отношении письменность ориентировалась на данный идиом<sup>142</sup>. Койне, скорее всего, действительно существовало (на это указывает эволюция новгородского диалекта, в ходе которой специфические черты древнего диалекта постепенно стираются), однако совсем не очевидно, что нормализованный идиом, представленный в небытовых некнижных текстах, ориентирован именно на это койне. Можно полагать, что формировалась отдельная письменная традиция, которая складывалась отчасти под влиянием книжного языка и письма, отчасти (что, однако же, менее вероятно) под влиянием киевской традиции, которая могла рассматриваться как престижная. Это означает, между прочим, что ценностная характеристика была связана не только с книжным языком, но и с нормализованностью, никак прямо с религиозными ценностями не соотносящейся.

Следует иметь в виду, что возникновение деловой традиции имеет место, скорее всего, не ранее середины XII в., возможно даже второй половины этого столетия. Документация, к которой мы так привыкли, вовсе не является необходимым и всегда присутствующим атрибутом социальной жизни политического образования (государства). Документация предпола-

---

<sup>142</sup> В работе Зализняка 1995 г. «стандартный древнерусский» определяется как «некоторая образцовая форма древнерусского языка, применявшаяся (хотя бы в некоторых ситуациях) на всей территории древней Руси» (Зализняк 1995, 3). О «наддиалектной форме древнерусского языка» говорится: «Эта форма древнерусского языка применялась (хотя бы в некоторых ситуациях) в качестве социально престижной на всей территории древней Руси» (Зализняк 2004а, 5). «Социально престижный» представляется лучшим определением, чем «образцовый», поскольку не содержит коннотаций с сознательной ориентацией на какой-то фиксированный образец, хотя все данные о социальном престиже нормализованного некнижного языка выводятся из распределения нормализованного и ненормализованного идиомов по текстам разных типов (см. ниже).

гает письменную фиксацию соглашений или иных юридических актов, которые могут функционировать как свидетельство того, что данный акт имел место и его результаты законны (например, что данная земля действительно была продана, и в доказательство этого собственник может предъявить купчую). В Новгороде XII в., по всей видимости, деловые бумаги, как показывают разрезанные берестяные грамоты, найденные на усадьбе Е Троицкого раскопа и связанные с деятельностью располагавшегося там «сместного» суда, уничтожали (см.: Янин и Зализняк 1999, 26–27; НБГ, XI, 18, 29). Чтобы документация функционировала как юридическое доказательство, нужна бюрократическая организация, которая фиксирует такие акты и хранит их. В Московской Руси такая организация существовала, в каком-то ограниченном виде ее, предположительно, можно найти и в Новгороде XIII в. Ясное свидетельство об изменении документационной практики и о возникновении депозитарного института находим в Псковской судной грамоте XV в.

В этом памятнике во многих статьях говорится о письменных документах (грамотах, досках, рядницах), фиксирующих право собственности, заключенный контракт или завещательное распоряжение; в этом отношении Псковская судная грамота радикально отличается от Русской Правды. Письменная документация становится здесь в существенной мере вовлеченной в судебный процесс, и в этих условиях с письменной фиксацией оказывается связанной и авторитетность самого законодательства. Таким образом, весь комплекс легальных действий – от отдельного юридического акта до судебного процесса – начинает опираться на процедуры, предполагающие письменную фиксацию, ср., например, в Псковской судной грамоте (ст. 10):

Ш лѣшей семли будетъ судъ, а положить грамоты и двои на шдну землю, а зайдуть грамоты за грамоты... (ст. 10 – ПСГ, 3)

А кто положить доску на мрътваго ш блюденъ[e], а иметъ искати на приказникохъ того соблюденіа, сребра или платіа, или круты, или иного чего животного, а тотъ оумръшей с подраднею и рукописаніе оу него написано и в ларь положено... (ст. 14 – ПСГ, 4)

А кто иметъ на комъ сочить торговыхъ денегъ по доскамъ, тотъ челоувѣкъ противу положить радницу, а в радницы будетъ написано ш торговли же, а противу тои радницы не будетъ во святѣи церкви [на полях: Троицы] в лари в тѣжъ рѣчи другой, ино таа радница повинити (ст. 38 – ПСГ, 10).

Особенно существенно, что в последней статье говорится не только о письменной документации, но и о централизованном депозитарии (ларь в псковском Троицком соборе) для хранения документов и о сверке предъявляемых документов (расписок) с депонированными.

Для более раннего времени, однако, ни о каких подобных институтах сохранившиеся источники не свидетельствуют. Когда исследователи говорят о княжеских канцеляриях в X–XII в. – это не более чем неудачная метафора. Число документов, дошедших до нас от XII в., очень ограничено (от XI в. никаких документов вообще не дошло), причем эти документы неравномерно распределены во времени, связаны с определенными центрами и

лицами и имеют специфический характер (княжеские крестные грамоты, дарственные князей епископским кафедрам и монастырям и одна купчая – жены или вдовы князя Всеволода на «Боянову землю», т. е. землю, на которой когда-то жил какой-то Боян). Как предположил С. Франклин (1985), дело здесь не в том, что документация до нас не дошла (скажем, от Англии XII в. дошли тысячи документов), а в том, что она имела очень ограниченное распространение и в XII в. была еще инновацией, вторгавшейся в традиционный порядок устных соглашений и устного дело- и судопроизводства. В условиях общества, фрагментированного на не слишком большие социумы, связанные внутренней связью и собственным сводом правил, традиционные устные процедуры регулирования социальных практик вполне удовлетворяют возникающим нуждам; письменная регламентация необходима прежде всего тогда, когда в «своем» социуме появляются «чужие».

Можно полагать, что и в XII, а, возможно, и в XIII в. даже текст Русской Правды продолжал выучиваться наизусть и передаваться от одного поколения судей к другому устным путем, тогда как его письменное бытование оставалось маргинальным и, возможно, с юридической практикой прямо не связанным. Равным образом и большинство правовых действий (контрактов, поручительств, завещаний и т. д.) совершается в устной форме (Франклин 2002, 34–35, 160–186; ср. еще: Гиппиус 2004б, 175, 179–184). Инновации возникают на границах области устойчивых социальных навыков. Первые документы могут быть связаны с церковью, которая утверждает свои права собственности на вечные времена, оберегая их от возможных поползновений светских лиц (и во всех случаях мы находим здесь духовную санкцию, *sanctio spiritualis*, а не *sanctio temporalis*, как это обычно, например, в документах византийской имперской канцелярии), с церковной же практикой крестного целования, с достаточно необычной покупкой земли, осуществленной княгиней в Киеве (обычно княгиня владела тем, что ей оставлял князь на прокормление). Документация была новой практикой, возникшей в XII в. на фоне иных традиционных навыков сохранения информации, когда важные сведения сберегались в памяти общины, а не в архиве бюрократической институции.

Типологически примечательно, что в Англии XI–XIII вв. светская грамотность резко возрастает как, предположительно, реакция на возрастание роли документации: люди оказывались прагматически заинтересованы в том, чтобы уметь прочесть документ. На Руси в тот же период грамотность также растет, но с ролью документации это никак не связано (Кленчи 1979; Франклин 1985, 1–5). В XI–XII вв. городская элита, как показывают берестяные грамоты, грамотна едва ли не в своем большинстве. Представители элиты пишут друг другу или делают записи для себя по самым различным поводам, указывающим на широкий спектр социальной активности. Однако документов они не производят. Если с XIII в. берестяные документы (завещания, долговые расписки, купчие) представляют достаточно обычное явление, то в XI–XII вв. таких документов нет; нет, надо думать, потому, что их не было. Светская грамотность, таким образом, развивается вне связи с документацией, но в связи с образованностью – как побочный результат религиозного образования, при котором научались читать, а отсюда и писать.

Что из этого следует? Это означает, что некнижная нормализованная письменность возникала как относительно поздняя инновативная практика, появлявшаяся на фоне уже существовавшей книжной письменности и некнижной ненормализованной письменности. В своих истоках эта письменность была связана с церковью, т. е. с писцами, которые могли писать и по-книжному. Видимо, они сознавали, что статус создаваемых секулярных документов (таких, скажем, как Мстиславова грамота) должен отличаться от статуса текстов религиозного характера, и поэтому не писали их на книжном языке. Но эти документы, будучи социальной инновацией, должны были пользоваться определенным престижем, не должны были обнаруживать своего локального характера, и поэтому на них распространялись навыки книжного письма. Именно с этим и связана их нормализация.

В этой перспективе следует посмотреть и на предлагавшееся А. А. Зализняком понятие «стандартного древнерусского языка» (см. выше). Зализняк полагал (хотя и не утверждал этого эксплицитно), что эталоном, в сопоставлении с которым новгородцы ловили у себя черты провинциальной речи, был язык Киева или похожее на этот язык новгородское койне (ср. подробнее: Зализняк 1987). Природа новгородского койне, равно как и его возможность служить точкой отсчета для нормализации вызывает серьезные сомнения (ср.: Вермеер 1997а, 24–26). Не кажется правдоподобной и ориентация на разговорный язык Киева: такие языковые переживания известны из современной диалектологии, однако характер контакта диалектов в этом случае слишком не похож на то, что мы можем предполагать для древней Руси, так что подобная ориентация выглядит анахронистически. В этой ситуации наиболее реальным эталоном кажется книжная (церковная) письменная традиция, сформировавшаяся вне Новгорода и затем усвоенная новгородскими писцами как особенность официальной и юридической письменности. Такой ориентир кажется правдоподобным и в силу того, что переход к письменной документации совершается, видимо, под влиянием и с прямым участием церкви (Франклин 1985, 33–36), – равно как и иные изменения юридической системы, так или иначе связанные с христианизацией раннесредневекового общества (Кайзер 1980, 164–188).

Те скудные фактические сведения, которыми мы располагаем, по крайней мере не противоречат такому предположению. Поскольку право оставалось обычным, язык юридических и деловых текстов был некнижным; соответствовавшим традиционному коммуникативному заданию; поскольку же орфографические навыки были книжными, при письменной фиксации договорных отношений не использовалась бытовая система письма (хотя имеются исключения: имею в виду список А Смоленской грамоты 1229 г. – СГ, 20–25), а диалектные формы по мере возможности исключались. Нормализация, очевидно, не была вполне последовательной, так что отдельные диалектные формы в договорах и юридических текстах все же встречаются, однако она создавала самостоятельный узус, который мог затем воспроизводиться и подвергаться различным преобразованиям (в том числе и на

новгородской территории)<sup>143</sup>. Существенно, что с коммуникативным заданием делового или юридического текста оказалась связанной нормализационная установка; в динамике развивающегося узуса она могла обуславливать не только исключение диалектных форм, но и определенную регламентацию морфологических вариантов, не имевших выраженной диалектной окраски.

Постепенно создаются и социальные условия для закрепления и поддержания этой преемственности. Как отмечает С. Франклин, ранние берестяные грамоты (XI–XII вв.) «contain no evidence for the use of scribes» (Франклин 1985, 9)<sup>144</sup>, позднее положение явно меняется. Например, духовные грамоты во многих случаях составлялись, видимо, не завещателями, а свидетельствующим их священником или третьим лицом. Очевидно, в XIII–XIV вв. писцовая деятельность может становиться профессиональным занятием. Вместе с тем обрастает документацией и деятельность бюрократическая, приобретающая институциональный характер и свидетельствующая о профессионализации бюрократической активности и возрастании класса профессиональных канцелярских служащих. В рамках подобных социальных групп преемственность навыков письма осуществляется как передача профессионального умения.

<sup>143</sup> У. Вермеер, ставя под сомнение само понятие стандартного древнерусского, пишет, что оно «suggests all kinds of phenomena that are unlikely to have existed in medieval Russia, such as conscious standardization of the vernacular, or formal teaching in supra-dialectal varieties of Russian. The term is obviously anachronistic: what medieval vernacular language of Europe was standardized to such a degree that the modern concept of standard language was applicable?» (Вермеер 1997а, 24–25). Термин, возможно, действительно выглядит анахронистически, однако тот путь формирования письменной традиции делового языка, который был предложен выше, не предусматривает ни формального обучения наддиалектной разновидности, ни сознательной нормализации разговорного языка, поскольку нормализация осуществляется как экстраполяция уже сложившихся письменных навыков на сферу не книжного языка. Складывающаяся норма не похожа на нормы современных стандартных (литературных) языков, во-первых, поскольку она не имеет универсального характера, а реализуется лишь в текстах определенного типа, а во-вторых, поскольку нормализация в ней охватывает лишь ограниченный набор языковых элементов. Ситуация западноевропейского средневековья не может служить в данном случае хорошим аналогом, поскольку навыки письма, выработанные при пользовании латынью, нельзя перенести на немецкий или даже французский, тогда как навыки письма, выработанные при употреблении церковнославянского, достаточно легко трансплантируются на восточнославянский языковой материал.

<sup>144</sup> Эта точка зрения С. Франклина нуждается, видимо, в определенной корректировке. Раскопки 1997–1998 гг. принесли ряд грамот XII в., написанных от имени Петра, занимавшего, как можно догадаться, достаточно высокое положение в новгородской иерархии (Янин и Зализняк 1999, 3). Эти грамоты (№ 550, 604, 794, 849, 891) написаны разными почерками, и из этого факта можно сделать вывод, что Петр «имел обыкновение диктовать свои письма» (НБГ, XI, 4), т. е. пользовался услугами писцов (насколько этот труд оформился как профессиональный, существовало ли при Петре нечто вроде канцелярии, судить пока что трудно). Эта корректировка не лишает, однако, наблюдения Франклина всякого значения, но лишь сдвигает на середину XII в. предлагаемые им хронологические границы.

Таким образом, изначально нормализация в некнижном языке идет из книжного языка, из навыков книжного письма, возникавших при овладении религиозной грамотностью (при обучении чтению, имевшем религиозный характер, – см. § II-1). Это относится к тому, как данная традиция складывалась. После же того как она сложилась, она превратилась из инновации в традицию (или обычай), требовала определенных навыков, причем навыков, относящихся не только к делопроизводству, но и к языку. Так именно и формируется особый регистр нормализованной некнижной письменности, после ряда достаточно сложных трансформаций превращающийся в приказной язык Московской Руси (или в канцелярский язык Великого княжества Литовского).

Мы не располагаем сведениями о том, как профессиональные писцы деловых текстов работали в Новгороде или других княжествах в древний период, однако для Московской Руси можно реконструировать достаточно отчетливую картину. В московских приказах сложились весьма жесткие нормы ведения документации, в частности, нормы языковые (о приказном языке см.: Черных 1953; Котков 1974; Пеннингтон 1980; Кортава 1998). При постоянно возрастающей в XVI–XVII вв. централизации эти нормы постепенно утверждались и в провинциальных центрах. О действительности таких норм свидетельствует своего рода правка деловых текстов, осуществлявшаяся в московских приказах. Эту правку находим в московских документах, воспроизводящих документы провинциальные. При ответе на челобитную в отсылаемом из Москвы документе, наряду с решением дела, воспроизводилась сама челобитная, в результате которой дело возникло. Воспроизводя челобитную, приказные чиновники исправляли ее как в дипломатическом отношении, так и в отношении лингвистическом. Языковые исправления включали устранения диалектизмов, отразившихся в орфографии и морфологии, а также некоторые лексические замены (Коткова 1987, 133–136). Воспользуюсь приводимым в работе Н. С. Котковой материалом – одной из елецких челобитных 1625 г. и ответной грамотой, составленной в московском приказе (курсивом обозначены выносные буквы):

#### Челобитная

Црю гсдрю и великому кнзю  
Михаилу Ѳедоровичю всеа Рѣси  
бьет челом бгомалец твои гсдрвѣ  
Елецкаго уѣзду Засосенскаг стану  
пятницкаи поп Исаище жалаба  
гсдрѣ мнѣ на елч[ан] дтеи боярских  
на Михаила Старыгина да на Ивана  
Л[а]пыгина и на их братю не-  
служивых на Ждана Старыгина да  
на Кузмѣ Лапыгина дѣелос гсдрѣ  
в прошламъ въ РКС м году после  
литовскаг розореня ш Покровѣ  
ндлю спуте

#### Ответная грамота по челобитной («заготовка»)

Шт цря и великогш кнзя Михаила  
Ѳедоровича всеа Рѣсиі на Елецъ  
столникѣ ншмѣ и воеводе кнсю  
Ѳедорѣ Ондрѣевичю Елецкому бил  
намѣ челомѣ Елецкаг уѣзду  
Засосенского стану пятницкои поп  
Исаи на елчан дтеи боярских на  
Михаила Старыгина да на Ивана  
Лопыгина и на их братю на Кузкѣ  
Лопыгина  
а сказал  
в прошлом де в РКС м году после  
Покрова ндлю спѣстя



отнел ѹ меня бгомолца твоег тот  
Иван Лапыгин кабылу гнеду  
аргамачю семи лѣтъ а к[о]быле  
гсдрь цена двенацѣм рѣблевъ  
да тот жа гсдрь Иван Лапыгин в  
ннешнем въ РЛГ м году по Рожествѣ  
Хрстве во вторник меня бгомолца  
твоег лаел всякую неподобнаю лаею  
и попадишкѣ маю лаел и бесчестил  
и бабылка моег Кирюшку Игнатова  
и снял с него пят рублевъ денег  
а тот гсдрь Кузма Лапыгин взял в  
меня восьмь рублев денег на рож и с  
тѣх мѣсть и по ся места ржи ни  
денег не аддасть.

отнел де ѹ нег тот Иван Лопыгин  
кобылѣ гнедѣ аргамачю семи лѣт  
цена двенацѣм рублев

да в ннешнем де во РЛГ м году  
после Рожества Хрства ево попа  
тот же Иван лаел всякою не-  
подобною лаею

и бобыля ево Кирюшку Игнатова  
бил и грабил и снял с него пят  
рѣблев денег  
а тот де Куземка Лопыгин взял ѹ  
нег денег восьмь рѣблев и с тѣх  
мѣсть тѣх емѣ денег не отдасть.

Наиболее явным образом в московской переработке устраняются отражения южнорусского аканья: *пятницкаи* → *пятницкои*, *прошамъ* → *прошлом*, *кабылу* → *кобылѣ*, *всякаю* → *всякою*, *бабылка* → *бобыля*, *аддасть* → *отдасть*. Устраняются, впрочем, и другие черты нестандартной орфографии, ср.: *взял в меня* → *взял ѹ нег* (смещение предлогов *у* и *в*, связанное с билабиальным произношением *в* как [w]), *аддасть* → *отдасть* (написание приставки с *т*, а не *д*). Нормализации подвергаются и некоторые синтаксические конструкции, ср.: *после литовскаг розореня ѡ Покровѣ ндлю спусте* → *после Покрова ндлю спѣстя*, *по Рожествѣ Хрстве* → *после Рожества Хрства*.

Устранение диалектизмов как нормативное требование напоминает нормирование, наблюдаемое в новгородских официальных документах. Можно предположить, что нормализация некнижного делового языка имела на протяжении веков достаточно устойчивый характер. Это можно объяснить как устойчивостью культурно-языковой ситуации, обусловившей этот феномен, так и, возможно, преемственностью в профессиональных навыках писцов официальных документов. Прямой преемственности между, скажем, новгородской деловой письменностью XIII–XIV вв. и московскими приказными документами XVI–XVII вв. не просматривается, прежде всего в силу того, что, как будет показано ниже (см. § V-3.2), существенно меняется синтаксическая стратегия юридических и деловых текстов. Тем не менее нормализационные принципы (устранение диалектизмов, стандартизация синтаксических конструкций) свойственны и древней восточнославянской традиции, и традиции Московской Руси. Это и обуславливает формирование отдельного делового регистра письменного языка как такого узуса, для которого характерна нормализация, но чужды маркированно книжные элементы.

Изложенные выше наблюдения над текстами разных типов позволяют построить, хотя бы в предварительном виде, общую систематику регистров письменного языка средневековой Руси. Основное противопоставление проходит по линии книжные – некнижные регистры и выражается в несхождении синтаксической организации и в наличии или отсутствии признаков книжности. Ни одна из этих основных групп не является, однако, доста-

точно однородной, чтобы можно было говорить о единой и общезначимой норме книжного или некнижного языка или даже о едином узусе. В каждой из этих групп устанавливается определенная иерархия текстов, опирающаяся на степень их нормализованности, соотносящуюся с их культурным престижем. Эти иерархии являются той основой, из которой постепенно вычленяются стандартный и гибридный регистры в книжном языке и нормированный деловой и ненормированный бытовой регистры в некнижном языке.

Как уже говорилось, в группе книжных текстов верхнюю ступень иерархии занимают образцовые книжные тексты, образующие основной корпус и состоящие из Св. Писания и богослужебных книг, прежде всего тех, которые выучивались наизусть. Это тексты воспроизводимые и в наибольшей степени нормализованные. Поскольку данные тексты являются воспроизводимыми, признаки книжности употребляются в них регулярно и последовательно. Эволюция этих текстов данной черты не затрагивает, поскольку воспроизведение связано со строгой регламентацией, а ошибки осмысляются как потенциальный источник ереси. Можно напомнить в этой связи, что старообрядцы исправляют неправильное чтение непосредственно во время богослужения, поскольку ошибка искажает онтологический образ текста и делает его негодным для вознесения к Богу. Те оригинальные восточнославянские фрагменты, которые прирастают к этим текстам, порождаются практически целиком с помощью механизма ориентации на образцы и не отличаются от этих образцов по своим лингвистическим характеристикам.

Ниже в той же иерархии располагаются тексты, которые обладают меньшей нормативностью, меньшей последовательностью в реализации отдельных лингвистических признаков. В силу этого лингвистическое разнобразие здесь возрастает. Например, в воспроизводимых текстах, не принадлежащих основному корпусу и отличающихся лингвистической сложностью, могут сохраняться архаизмы, обычно устранимые в текстах образцовых (к примеру, причастия типа *хваль*); здесь обнаруживаются элементы прямого копирования, обусловленные сложностью понимания и боязнью повредить не полностью понятный текст (ср. такие случаи в Словах Григория Богослова, Хронике Амартола или в некоторых частях Кормчей). Стоит заметить по этому поводу, что данное обстоятельство указывает на связь исправлений, вносимых переписчиком, с пониманием (см. еще ниже, §§ VI-2, VI-3).

Нормативность книжных текстов обычно проявляется в двух взаимосвязанных моментах. С одной стороны, это большая или меньшая последовательность в употреблении признаков книжности, с другой – орфографическая и морфологическая нормализация, отсекающая ненормативные (прежде всего диалектные) варианты. Обычно эти задачи взаимосвязаны, и книжник в каждом создаваемом им фрагменте решает обе. Условно говоря, он должен употребить аорист и вместе с тем употребить правильное окончание аориста. Эти задачи, впрочем, могут расчленяться, когда единственной заботой книжника оказываются признаки книжности (например, употребить аорист), тогда как нормализация играет второстепенную роль (ему не слишком важно, какое у аориста будет окончание). Обычно в этих случаях в подобных текстах признаки книжности употребляются достаточно

непоследовательно, и эта непоследовательность соседствует со слабой нормализацией. Именно это можно наблюдать в ряде гибридных текстов, и подобная небрежность безусловно связана с невысоким положением таких текстов в общей иерархии.

Н. И. Толстой, рассматривая иерархическое устройство восточнославянской письменности, предполагал, что иерархия задается жанрами (Толстой 1978; Толстой 1988, 164–173). Хотя сама идея иерархического устройства, высказанная Толстым, безусловно правомерна, жанровый принцип вряд ли лежит в основе этой систематики. Как мы уже говорили, понятие жанра вообще плохо описывает древнюю восточнославянскую книжность (см. § III-2). Поэтому жанры (будучи неадекватной категорией) не дают значимого в лингвистическом отношении членения. Например, лингвистические характеристики Хроники Георгия Амартола мало походят на аналогичные параметры в Новгородской первой летописи, хотя они, по видимости, принадлежат одному жанру. То же самое можно сказать и о текстах канонического права: хотя канонические определения и указания греческих отцов и Вопросания Кирика, имеющие дело с местными реалиями, должны быть отнесены к одному жанру и хотя и то и другое входит в Кормчую, в языковом единстве этих текстов можно лишь сомневаться. Не так просто ответить на вопрос о том, какой принцип упорядочивает эту иерархию. Можно думать, что в основе лежит прагматика (т. е. функциональное предназначение) текстов: наиболее важными являются тексты богослужебные, затем тексты, связанные с монастырским внебогослужебным чтением, затем все прочие. Детали, однако же, требуют более тщательного анализа.

Некнижные тексты также обнаруживают определенную иерархическую упорядоченность, на сей раз явно не связанную с жанром (поскольку понятие жанра вовсе к этим текстам не приложимо). Прагматика и здесь, видимо, играет основную роль, определяя социальный статус этих текстов. На верхней ступени располагаются юридические кодексы, фиксирующие социальные нормы, обращенные к достаточно широкой аудитории и создающиеся на длительное время. Далее идут договоры, также обладающие не одной лишь сиюминутной значимостью и предназначенные хотя и не для слишком широкого, но в то же время и не для слишком ограниченного круга лиц. Еще ниже располагаются частные акты, часто сохранявшиеся весьма длительное время, но по остальным параметрам явно получавшие более низкий статус. И наконец, на нижнем уровне стоят тексты бытовые, не содержащие общезначимой информации, обращенные к узкому кругу лиц и не требующие длительного хранения. В соответствии с этой иерархией статуса находится и степень их нормализованности, т. е. элиминации нестандартных (прежде всего диалектных) форм.

Сколь бы четко ни были противопоставлены две группы текстов – книжные и некнижные, – нормализация может рассматриваться как единый феномен, а варианты, вовлеченные в этот процесс, – трактоваться в качестве градуального параметра. Именно такую трактовку предложил А. А. Гиппиус. Он говорит об «оппозициях “левых” (восточнославянских, диалектных, “новых”) и “правых” (южнославянских, общерусских, “старых”) форм, или, иначе, об LR-оппозициях, имея в виду естественное графическое представ-

ление “шкалы книжности” [я бы сказал нормализованности] в виде оси, направленной (по нарастающей) слева направо. Преимущество данной пары определений состоит, помимо их принципиальной нейтральности, также и в возможности их применения как к бинарным, так и к многочленным оппозициям. Говоря о той или иной форме как о “левой” (L-форме) или “правой” (R-форме), мы не закрепляем за нею никакого определенного статуса, но лишь обозначаем таким образом ее ориентированность на “шкале книжности” относительно ее одного или нескольких коррелятов. Понятно, что в многочленной оппозиции одна и та же форма может выступать как “левая” по отношению к одним формам и как “правая” по отношению к другим. Так, форма *нового* в ряду *новово/нового/новаго/новааго* является R-формой для формы *новово* и L-формой для форм *новаго* и *новааго*» (Гиппиус 1989, 90).

Таким путем образуются ряды, в рамках которых можно видеть весь спектр нормализации по данному признаку – от книжных архаизмов до диалектных форм. Кроме приведенного выше примера, можно указать еще хотя бы на ряд:

G. sg.; N.-A. pl.: *земли* / *земль* / *земля*

N. sg. masc. *жива* / *жива* / *живы*

Именно в рамках таких рядов и определяются функциональные отношения элементов; как бы они ни характеризовались в генетических терминах, функционально речь идет о степени нормализации; как уже говорилось (см. § II-6), функциональное переосмысление равным образом распространяется и на элементы южнославянского происхождения, и на элементы восточнославянские, появляющиеся в ходе эволюции письменного языка. Из этих функционально переосмысленных элементов и складывается общая цепочка, и мы можем наблюдать, как элементы данной цепочки реагируют на иерархию и хронологию текстов.

Возьмем для примера рассмотренную выше цепочку

G. sg.; N.-A. pl.: *земли* / *земль* / *земля*

В древнейших образцовых текстах (например, в Остр. ев. и Арх. ев.) встречается только *земля*; в текстах столь же древних, но лежащих вне основного корпуса и в силу этого расположенных на ступень ниже в иерархии (например, Изб. 1076, Выг. сб.) наблюдается вариация *земля* и *земль* (Гиппиус 1989, 104). Вариант *земли* впервые появляется в бытовых берестяных грамотах в XIII в. и в XIII–XIV вв. встречается в этих текстах приблизительно в равной пропорции с вариантом *земль* (там же, 107; Зализняк 2004а, 97). С XIII в. вариант *земли* появляется в качестве окказионального и в книжных текстах, например, в Вопросании Кирика по списку 1282 г. (Гиппиус 1996б, 50); проникнув на нижнюю ступень книжной иерархии, он затем постепенно поднимается вверх. Аналогичные процессы, впрочем, отнюдь не с одинаковой скоростью для разных признаков, наблюдаются и в других цепочках.

Существенно, однако, отметить, что иерархия книжных и иерархия не-книжных текстов не складываются в единую иерархию, в то время как внутри каждого из разрядов можно говорить об относительной внутренней упорядоченности. Действительно, как показал А. А. Гиппиус, книжные тексты, находящиеся на нижних ступенях книжной иерархии, могут быть менее

нормированы, чем некнижные тексты, находящиеся на верхних ступенях некнижной иерархии. «В частности, – пишет Гиппиус, – в “Вопрошании Кирикове” находим последовательное употребление новой флексии Р. ед. *ja*-основ *-и* (*опитемы...* и т. д.), притом что в пергаменных грамотах того же периода безраздельно господствует старая флексия *-ѣ*. В том же памятнике отмечаем также двукратное <...> употребление столь яркого морфологического новгородизма, как флексия *-е* в И. ед. муж., также полностью изгнанная из деловой письменности Новгорода: *прашахъ кго: гдѣ ксть крѣтъ чѣныи? – тако поведають, реѣ, намъ: ꙗко не дошле цѣраграѣ, кгда обрѣтене възнесълъ на небѣа* (ГИМ, Син. № 132, л. 523)» (Гиппиус 1989, 102). Такое несхождение двух иерархий вполне можно понять, поскольку книжника, создающего книжный текст, волнуют признаки книжности, придающие тексту книжный статус; при наличии признаков книжности данная задача выполнена и отступления от нормы терпимы; для некнижных текстов нормализация является единственным проявлением их статуса и потому особенно важна.

Эта общая картина пространства средневековой восточнославянской письменности должна служить основанием для исследования частных лингвистических характеристик отдельных текстов и, далее, истории отдельных явлений (синтаксических, фонетико-орфографических, морфологических) в письменном языке средневековой Руси. Лингвистические изменения происходят прежде всего в рамках отдельных регистров и могут быть обусловлены разными причинами – как присущими внутреннему устройству данного регистра, так и определяющимися взаимодействием с узусами другого типа (в частности, и с узусом разговорного языка). Систематика такого исследования должна строиться на том, какого рода параметры положены в основу формирования отдельных регистров, а какие черты могут рассматриваться как эпифеномены основных противопоставлений. Как уже говорилось, основные различия задаются характером синтаксического построения; различия фонетико-орфографические и морфологические играют подчиненную роль. Определив исходные принципы, мы можем теперь перейти ко второй части данной книги, посвященной рассмотрению исторических изменений отдельных языковых элементов в рамках развивающихся и взаимодействующих регистров письменного языка.

## ЧАСТЬ II. ИСТОРИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕГИСТРЫ ПИСЬМЕННОГО ЯЗЫКА

### ГЛАВА IV. СИНТАКСИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА РАЗНЫМИ РЕГИСТРАМИ ПИСЬМЕННОГО ЯЗЫКА. СИНТАКСИС ПРИЧАСТИЙ

#### 1. Общие замечания

Как уже неоднократно говорилось, основное различие между книжными и некнижными регистрами имеет место на синтаксическом уровне, и это обстоятельство связано с тем, что синтаксис письменного языка всегда существенно отличается от синтаксиса языка разговорного. Письменный текст обычно организован в отвлечении от диалогической коммуникативной ситуации, тогда как диалогический устный текст включен в коммуникацию и апеллирует к обстоятельствам и предметам, известным ее участникам. Различные коммуникативные установки отличают и разные виды письменных текстов. Очевидно, например, что историческое повествование, излагающее последовательность событий, которые во всей своей совокупности рассматриваются как неизвестные читателю, отличается как вид текста от частного письма, которое выделяет ту часть информации, которую адресат сообщает адресанту в качестве нового, оставляя вместе с тем за скобками известную обоим последовательность событий, в которую вписывается данный коммуникативный акт. Эти обстоятельства не могут не отражаться в синтаксических построениях и определяют – типологически универсальным образом – репертуар синтаксического разнообразия письменных текстов. Из этого репертуара могут выкристаллизоваться отдельные письменные традиции – разные для разных языковых коллективов и связанные с разным историко-культурным статусом отдельных видов коммуникации. Катализатором этой кристаллизации в истории многих из известных нам языков с обширной письменной историей является античная риторическая традиция, в кото-

рой синтаксическое расположение было подчинено логическому развертыванию и риторическому требованию оформления периода как сложного синтаксического единства. Через многие посредствующие звенья и прежде всего через синтаксис греческих христианских текстов, переведенных свв. Кириллом и Мефодием, а затем их болгарскими последователями эта традиция доходит и до восточных славян.

В традиционных исследованиях по историческому синтаксису часто указывалось, что развитие языка определяется переходом от паратаксиса к гипотаксису, чему сопутствует и обогащение набора союзных средств связи (ср.: Якубинский 1953, 266–268; ср. еще: Ломтев 1956, 485–495; Борковский и Кузнецов 1965, 516–517). Такое общее утверждение – в применении во всяком случае к эволюции письменного языка восточных славян – вряд ли осмысленно, а что касается языка устного, то тут мы практически никакими сведениями об эволюции не располагаем, хотя можно предположить, что бытовая диалогическая речь ни в древности, ни в более позднее время никакой нужды в сложных гипотаксических построениях не испытывает (см. ниже, § V-1; экскурс). Книжная традиция, пришедшая на Русь от южных (и западных) славян, обладала большим репертуаром гипотаксических построений, включающих как разнообразные сложноподчиненные предложения с присущими им союзными средствами связи, так и многообразные причастные и инфинитивные конструкции. Эта система досталась восточнославянским книжникам в готовом виде; им оставалось только выбирать, где этими построениями пользоваться, а где нет, так что пропорция гипотаксиса с самого начала оказывается проблемой характера изложения (стиля), а не эволюционным параметром. Скажем, ранние пласты Новгородской первой летописи лишь ограниченно пользуются гипотаксисом, тогда как в тексте XIII–XIV вв. и в так называемых вставных повестях гипотаксические построения представлены достаточно обильно (ср.: Истрина 1923, 198–202; Тернер 2006, 86–87). Казалось бы, это может указывать на эволюцию. Если, однако, сопоставить Новгородскую первую летопись с ПВЛ, то мы увидим, что та «степень гипотаксичности», которой Новгородская летопись достигает к XIII в., в ПВЛ присутствует с самого начала. Есть основания думать (см. Гиппиус 1996а), что изменения в синтаксическом устое НПЛ обусловлены влиянием ПВЛ, а не развитием письменного языка как такового.

Никакой прямой эволюционной линии не обнаруживается и в некнижных текстах. Как мы видели, юридическим текстам гипотаксис (в виде двучленной структуры типа «если..., то...») свойствен с самого начала (см. § III-6). Эволюция в организации структуры юридических текстов не имеет прямого отношения к противопоставлению паратаксиса и гипотаксиса. Она основана на иных параметрах, не учитываемых традиционным синтаксисом (см. ниже). На поздних этапах развития (в XVII–XIX вв.) юридический и деловой язык приближаются в своей организации к синтаксическому устройству книжных текстов, но и здесь речь не идет о «внутренней» эволюции языка: сначала имело место влияние книжных регистров на некнижные, а позднее утверждение полифункциональности языкового стандарта, в котором противопоставления, обусловленные сферой употребления, сглаживаются и деловой язык как особый регистр исчезает. Речь, следовательно,

должна идти о распределении и перераспределении репертуара синтаксических построений по регистрам письменного языка и кристаллизации синтаксических стратегий, характерных для каждого из регистров.

Без понимания того, что происходит на синтаксическом уровне, невозможно понять, как устроены регистры письменного языка на других уровнях. Дело здесь не только в том, что именно характер синтаксического построения определяет тип языка. А. В. Исаченко в свое время спрашивал своих студентов, на каком языке написана следующая фраза: «Автомобилю же в гараже сущу, разнервничахъ ся вельми и отидохъ остановцѣ трамвая. Ни единому же приходящу, призвахъ таксомоторъ и влѣзше отвезенъ быхъ, аможе нужду имѣяхъ» (Хютль-Фольтер 1978б, 188). Именно характер подобных синтаксических построений, а не лексика (ср. данный пример), но также и не фонетика и морфология однозначно указывают на противопоставление книжных и некнижных регистров. Языковой опыт книжника, создающего книжные тексты, в первую очередь основан на усвоении книжного синтаксиса, предполагающего не столько употребление отдельных книжных синтаксических конструкций, сколько общее книжное построение изложения, книжные способы упаковки информации, то, что выше (см. § II-3) было названо синтаксисом логического развертывания. Синтаксис некнижных текстов основан на иных стратегиях изложения, предполагающих, в частности, и употребление иных (некнижных) синтаксических конструкций.

Противопоставленные стратегии изложения отличаются друг от друга не одними формальными элементами (конструкциями), но более общими установками, касающимися подачи информации. Именно к этим установкам и приспособлены репертуары формальных средств, характеризующих разные регистры. Для этих репертуаров принципиальное значение имеют такие параметры, как порядок слов, средства фокусирования (противопоставление известного и нового, ассерции и пресуппозиции, основного агента и второстепенных агентов) и иерархизации предикативных единиц (основного предиката и второстепенных предикатов и т. д.), референтная структура и иные характеристики, нередко относящиеся к прагматике. Эти аспекты исторического синтаксиса практически не описаны или описаны лишь в малой степени, так что не представляется возможным как-либо суммировать те процессы, которые происходят в этой сфере. Большинство существующих описаний сделано с помощью традиционного синтаксического (логического) разбора. Как известно, этот аппарат, сам по себе воспроизводящий античные риторические схемы и тем самым рассчитанный именно на синтаксис логического развертывания, т. е. на одну из существующих традиций, плохо подходит для описания синтаксиса разговорного языка и вместе с тем не приспособлен для анализа специфических стратегий архаического книжного изложения. В подобных обстоятельствах приходится ограничиться лишь разбором отдельных явлений, демонстрирующих противопоставление регистров, не рассчитывая получить общую картину динамики, и обратить особое внимание на то, какой характер имеет интерференция между регистрами на синтаксическом уровне, поскольку именно случаи интерференции дают возможность понять принципиальные несходства сосуществующих систем. Построение более полного описания потребовало бы



работы целого поколения лингвистов, для которых данная работа, как я надеюсь, могла бы послужить стимулом.

Стоит указать, что, как уже отмечалось, интерференция языкового материала разных регистров более всего ограничена на синтаксическом уровне. Это означает, что другие уровни могут, так сказать, жить свободно. Основное членение языкового (коммуникативного, текстового) пространства задано различием синтаксических стратегий, и элементы других уровней в него вписываются. Именно в силу этого на других уровнях мы наблюдаем ту вариативность, о которой отчасти уже говорилось (см. подробнее ниже, §§ VI-1; VII-1). Эта вариативность может распространяться на разные признаки в разной степени, носить более или менее выраженный характер, но она всегда присутствует, поскольку коммуникативный статус текста определяется синтаксическими параметрами. К синтаксическому камертону подстраиваются орфографические, морфологические и лексические элементы, но эта подстройка не создает жесткой зависимости (см. ниже, § VI-1). Это соотношение и определяет приоритет синтаксиса. Мы вернемся к правописанию и морфологии, однако сначала разберемся, каковы характерные черты синтаксической организации регистров. Этот разбор целесообразно начать с анализа формальных синтаксических средств, по-разному используемых разными регистрами письменного языка и тем самым обеспечивающих дифференциацию регистров на синтаксическом уровне. Едва ли не самым показательным в этом отношении является синтаксис причастий.

## 2. Книжные и некнижные причастные конструкции

Хотя элементы ситуационного синтаксиса могут проникать в книжные тексты, находящиеся на нижних ступенях иерархии книжных текстов, основу книжного синтаксиса составляет тот порядок расположения слов и набор конструкций, который выработался в церковнославянских переводах с греческого и был представлен в основном корпусе книжных текстов (Исаченко, I, 84). Это не значит, конечно, что в церковнославянский был полностью перенесен греческий синтаксис. Скажем, если глагол *владѣти* управлял в славянских языках творительным падежом, то и в переводах с греческого он употреблялся с тем же падежом, а не калькировал управление своего греческого соответствия и тем самым не воспроизводил греческого образца (хотя в конкретных текстах отдельные кальки в управлении отнюдь не были исключены). Тем не менее, усваивая из переводимых греческих текстов общий характер синтаксического построения, церковнославянский на этом фоне воспринял и множество оборотов и конструкций книжного греческого синтаксиса, сформировавших специфический облик книжных регистров письменного языка.

Процесс формирования книжного синтаксиса в ходе переводов с греческого особенно сказался на причастных конструкциях, поскольку именно для книжного синтаксиса принципиально значима формальная иерархизация предикативных единиц, а причастные конструкции являются одним из основных средств подобной иерархизации; без них трудно представить себе

построение риторически организованного периода (ср. выше, § II-3). Вместе с тем употребление причастия в качестве ядра развернутых предикативных комплексов вообще мало свойственно устной речи (как греческой, так и славянской), так что в процессе воспроизведения греческого периода славянские причастия приобретали новые функции (синтаксические и дискурсивные). Важно отметить, что выработавшиеся в этом процессе обороты были не просто кальками переводного текста, но входили как неотъемлемая часть в синтаксис книжного языка и широко употреблялись в текстах оригинальных. Впрочем, это проникновение в оригинальные тексты в разной степени характеризовало разные причастные конструкции (как, впрочем, и книжные конструкции других типов), так что употребление отдельных калькированных конструкций в разной степени свойственно текстам разных типов: одни лишь изредка употребляются вне сложных книжных текстов, другие обычны как в текстах стандартных, так и в текстах гибридных.

Следует в принципе иметь в виду, что уже для древнейшего периода функционирование причастий в разговорном языке восточных славян было предположительно весьма ограничено, во всяком случае если иметь в виду краткие действительные причастия настоящего времени на *-щи* (*-чи*) и на *-а* (типа *неса*), действительные причастия прошедшего времени на *-вши*-, страдательные причастия настоящего времени на *-м-*; в дальнейшем развитии, вплоть до XVIII в., их употребление еще более сокращается, если судить по памятникам некнижной письменности. Краткие действительные причастия в некнижном языке очень рано начинают терять согласование по роду и числу, отсутствие согласования, хотя бы и окказиональное, встречается в достаточно древних текстах (см.: Зализняк 2004а, 184–185; Потехина, I–II, 186–187; Борковский и Кузнецов 1965, 318; см. еще ниже, § IV-4.3.5); этот формальный процесс соотносится с изменением синтаксического статуса причастных форм. Едва ли не с самого начала они являются по существу согласуемыми деепричастиями (см.: Зализняк 2004а, 134, 181). Если неабсолютный причастный оборот представляет собой формально предикативное распространение именной группы, то деепричастие относится к главному предложению в целом, т. е. при трансформации причастий в деепричастия, по словам Д. Ворта, «the syntactic domain of secondary predication was expanding from the noun phrase to whole clauses or sentences» (Ворт 1994, 32), ср. в современном русском языке противопоставление по функции причастного и деепричастного оборота: *вошел музыкант, сыгравший сонату* vs. *вошел музыкант, сыграв сонату*. Как пишет А. А. Зализняк, действительные причастия «функционируют в др.-р. языке как сказуемые отдельных первичных предложений, представляющих собой, с синхронической точки зрения др.-р. периода, частный случай придаточных предложений. Сам факт использования в качестве сказуемого не личной формы, а причастия является грамматическим средством для выражения подчиненного статуса соответствующего предложения» (Зализняк 2004а, 181–182; ср.: Лопатина 1978, 103–104).

В книжных текстах причастия употребляются несравненно чаще, чем в текстах некнижных, и это понятно, потому что в своем основном употреблении причастные обороты – это средство иерархизации предикативных

единиц. Такая иерархизация важна для нарративных текстов, а в текстах иного рода (как, видимо, и в разговорном языке) имеет лишь ограниченное применение. Поэтому наибольшее разнообразие в употреблении причастий, в развернутости причастных конструкций и их семантике мы находим в агиографических и хронографических книжных текстах, тогда как в текстах, относящихся к некнижным регистрам (юридических, деловых и бытовых), диапазон употребления причастных конструкций редуцирован, а их частота относительно невелика; она как минимум на порядок меньше, чем в текстах книжных. В. И. Борковский пишет по этому поводу: «Крайне ограниченное количество случаев употребления второстепенного сказуемого в грамотах, по сравнению с другими древнерусскими памятниками, в частности с летописями, объясняется тем, что в грамотах повествовательный элемент почти совершенно отсутствует, между тем именно в повествовании было необходимо разграничить главное и второстепенное действие. Характерно, что в грамотах мы встречаем второстепенное сказуемое почти исключительно там, где имеет место повествование» (Борковский 1949, 206). Замечу, впрочем, что последнее утверждение неточно и, как мы увидим ниже, требует более адекватной формулировки даже в отношении грамот, не говоря уже о других некнижных текстах.

Из ограниченности употребления причастий в некнижных текстах неправильно было бы делать вывод, что они некнижному языку вообще чужды (см. данную точку зрения в работе: Алексеев 1987б, 197)<sup>145</sup>. Они встречаются в различных некнижных памятниках и обладают в них определенной функциональной нагрузкой, не во всем сходной с их функциональной нагрузкой в книжных текстах. Можно сказать, что употребление причастных конструкций соотносится с противопоставлениями регистров не только по количественным параметрам. В некнижных регистрах набор функций, выполняемых причастными конструкциями, уже, чем в регистрах книжных, а связи между главным предложением и причастной конструкцией могут структурироваться иначе, чем в стандартном церковнославянском (о гибридном церковнославянском в данном отношении будет сказано особо). Связь регистров с функциями причастий можно видеть при анализе тех текстов, в которых смешиваются элементы разных регистров и возможно появление как формально «книжных», так и формально «некнижных» причастных форм. Такое исследование было предпринято К. Ларсен для Вопрошания Кирика и Поучения Владимира Мономаха – оба текста могут считаться гибридными (Ларсен 2001; о Поучении Мономаха см. выше, § II-3.3; о Вопрошании Кирика см.: Гиппиус 1996б).

К. Ларсен анализировала употребление в этих двух текстах действительных причастий настоящего времени в формах с *щ* (напр., *спаше*) и *ч* (напр., *спаче*) в рефлексах *\*tj*; эти рефлексy могут рассматриваться как индикаторы соответственно книжных и некнижных регистров. Данные

<sup>145</sup> А. А. Алексеев пишет о причастии «как категории церковнославянского языка, чуждой грамматической системе восточнославянской речи» (Алексеев 1987б, 197). Как увязать подобное утверждение с появлением причастий, например, в Русской Правде, Алексеев не объясняет.

формы, как оказалось, употребляются в разных синтаксических конструкциях. Существенно огрубляя, можно сказать, что формы с *щ* употребляются в «книжных» синтаксических конструкциях, а формы с *ч* – в «некнижных» синтаксических конструкциях. Данная корреляция означает, что сами эти конструкции являются элементами разных синтаксических стратегий, которые дифференцируют регистры.

Реальная картина более нюансирована; она позволяет увидеть, как работают механизмы межрегистровой интерференции и как интерференция на синтаксическом уровне влечет за собой – хотя и факультативным, а не обязательным образом – интерференцию на других уровнях (см. § IV-1, § III-3). Особенно показательно в данном отношении Вопросание Кирика, в котором интерференции способствует устный диалогический источник текста, обуславливающий появление черт оральности – источник реальный, предполагающий какие-то записи, сделанные Кириком во время беседы с Нифонтом, или скорее источник жанровый, требующий использования конвенциональных индикаторов диалогической речи (ср.: Гиппиус 1996б, 55–56)<sup>146</sup>. Между тем сама тематика Вопросания – каноническое право – обуславливает выбор книжного (гибридного) регистра как основного, и в этом плане Вопросание примыкает к образцам канонических определений, содержащихся в Кормчей.

К книжным синтаксическим конструкциям с действительными причастиями в Вопросании Кирика К. Ларсен относит причастия в атрибутивной функции (типа **а по закону ꙗвляющася малжена** – РИБ, VI, стб. 43) и номинализованные причастия, дательный самостоятельный, двойной винительный (как в следующем примере: **аже поа оувѣдаеть недостоинѣ слоужаща** – РИБ, VI, стб. 40), сочетание «*иже* + причастие» (как в следующем примере: **иже ѿтричающася сотоны, роуцѣ въздѣвати горѣ** – РИБ, VI, стб. 35). Одна конструкция определяется как нейтральная, т. е. употребляемая и в книжных и в некнижных регистрах и их не дифференцирующая; в качестве такой конструкции К. Ларсен рассматривает деепричастный оборот (традиционно обозначаемый как причастный оборот или второстепенное сказуемое), субъект которого совпадает с субъектом главного предложения, стоящим в номинативе или дативе; субъект при этом может присутствовать эксплицитно или имплицитно (ср., например: **Попови достоинѣ, хотѣе погроужати въ водѣ, роуцѣ собѣ завити** – РИБ, VI, стб. 38). К некнижным конструкциям принадлежат те деепричастные обороты, субъект которых, находящийся в главном предложении, стоит не в номинативе или дативе; субъект может вовсе отсутствовать или стоять в другом падеже; такие конструкции (см. о

<sup>146</sup> Как уже было показано (см. § II-3), интерференция в Поучении Мономаха имеет другую природу; в своей основной части это книжный текст, воспроизводящий образцы книжных сочинений и не предполагающий использования каких-либо показателей устной речи; если в основной части (до автобиографического рассказа) и встречаются какие-то следы интерференции с некнижными регистрами, эти элементы окказиональны и специфику текста никак не характеризуют. Поэтому данные Вопросания Кирика более показательны, и мы сосредоточимся именно на них; что же касается Поучения Мономаха, в нем просматриваются те же тенденции, но в менее выразительном виде.

них ниже) для книжного языка ненормативны, но в некнижных текстах вполне допустимы (ср.: **лѣѣ ли, владыко, любо си одиною дати имъ причащенькѣ, съблюдше добръ ѿ дни** – РИБ, VI, стб. 41; сорокодневный пост соблюдают те люди, которые в главном предложении выступают как косвенное дополнение **имъ**). К некнижным конструкциям К. Ларсен относит и причастия, выступающие как независимый предикат (ср.: **Ѧ пѣрѣтъ дѣла, въ чемъ хотаче ходити нѣтоуѣ бѣды, хота и въ медвѣдинѣ** – РИБ, VI, стб. 48); поскольку такие конструкции встречаются не слишком часто, в частности, и в некнижных текстах, их вряд ли можно толковать как характерный элемент некнижных синтаксических стратегий; однако они явно нарушают книжные нормы, и в этом смысле могут рассматриваться как некнижные<sup>147</sup>. Те же самые соображения могут быть высказаны и касательно «дефектного дательного самостоятельного»; к этому разряду автор относит причастные обороты, субъект которых стоит в дат. падеже, тогда как причастие в им. падеже (или в несклоняемой форме) (ср.: **Ѧ попови ндоуѣ въ олтарь на выходъ, то въ козмитъ цѣловати** – РИБ, VI, стб. 55); стоит заметить, что в таких дефектных дательных самостоятельных в Вопросании Кирика субъект причастного оборота всегда совпадает с эллиптированным субъектом главного предложения с опативным инфинитивом в качестве сказуемого; поскольку такое сказуемое требует дативного субъекта, дефектный дательный самостоятельный может рассматриваться как способ введения субъекта (см. ниже, § IV-3.1).

По данным К. Ларсен, в Вопросании Кирика в перечисленных выше книжных причастных конструкциях употребляются исключительно причастия с *щ* (всего 15 примеров), в нейтральном деепричастном обороте встречаются только причастия с *ч* (всего 15 примеров), в некнижных (или ненормативных) причастных конструкциях в основном находим причастия с *ч* (всего 16 примеров), хотя в двух случаях и в этих конструкциях появляются причастия с *щ* (Ларсен 2001, 199). Как пишет Ларсен, «[t]his means that *щ* can be seen as the “marked” reflex, which is triggered only by an Old Church Slavic syntactic construction» (там же, 201). Важнее, чем характер маркированности, оказывается, на мой взгляд, проявляющаяся здесь формальная связь синтаксических построений с регистром и обнаруживающийся при этом механизм интерференции регистров в рамках одного текста. Можно сказать, что те причастные конструкции, которые рассматривались выше как книжные и некнижные, служат дифференциаторами регистров пись-

<sup>147</sup> К. Ларсен характеризует как независимое предикативное употребление те причастные обороты, которые, хотя и соотнесены с номинативным или дативным субъектом главного предложения, вводятся подчинительными союзами и таким образом сближаются по статусу с придаточными предложениями, ср.: **Ѧ съсоушимъ, коли хотаче причащатисѣ, съсавше, нѣтоу бѣды** (РИБ, VI, стб. 38). Хотя это решение теоретически отнюдь не бесспорно, оно практически оправданно: такие конструкции редко появляются в стандартных церковнославянских текстах, их наличие в гибридных текстах может трактоваться как результат воздействия некнижного узуса, лишь ограниченно использовавшего правильные причастные обороты, и, соответственно, как нарушение книжных синтаксических норм, провоцирующее, в частности, употребление причастий на -чи.

менного языка. Особенного внимания заслуживают при этом «некнижные» причастные конструкции; это не столько причастные конструкции, свойственные некнижным регистрам, сколько конструкции, нарушающие норму книжных регистров. Каким образом они развивались и какую роль играли в некнижных и гибридных текстах, заслуживает особого внимания<sup>148</sup>.

### 3. Дательный самостоятельный и другие специфически книжные конструкции

К числу несомненно книжных причастных конструкций относится дательный самостоятельный (*Dativus absolutus*, ДС), не встречающийся в некнижных текстах. Целесообразно начать обзор причастного синтаксиса именно с этой конструкции, показывающей, как причастия используются в книжном изложении и какие трансформации может претерпевать унаследованный из переводов с греческого набор средств выражения, взаимодействуя с локальными синтаксическими стратегиями. Как можно полагать (см. ниже), ДС представляет собой прочно усвоенную синтаксическую кальку, соответствующую греческому *Genetivus absolutus*; соответствие между греческим родительным и славянским дательным обусловлено, видимо, тем, что эти падежи имеют ряд других общих синтаксических функций (например, обозначения принадлежности), равно как, возможно, и тем, что дательный выступал как падеж основного (субъектного) актанта в безличных предложениях типа *мне страшно* (см. о функциях дательного падежа в русском языке: Правдин 1956; Тимберлейк 2002, 59–62; Тимберлейк 2004, 363–364). Нередко, впрочем, утверждается, что дательный самостоятельный был исконной славянской конструкцией (см.: Потебня, I–II, 334–335; Борковский и Кузнецов 1965, 487–488; Андерсен 1970; Геберт 1987 и др.; полезный обзор существующих точек зрения см.: Корин 1995, 255–257), а не калькой греческого оборота. Доказать подобный тезис невозможно, так как данная конструкция не встречается ни в славянских диалектах (приводимые порой диалектные примеры не похожи на дательный самостоятельный книжных памятников и допускают иную трактовку – ср.: Кедайтене 1968, 277–278; Кузьмина и Немченко 1956, 120<sup>149</sup>), ни в некнижных текстах, хотя, конечно,

<sup>148</sup> Если в Вопросании Кирика причастие с *ч* употребляется в 64,6% случаев, в Поучении Мономаха пропорция этих причастий существенно ниже, 27,7% (Ларсен 2001, 200). Причастия с *щ* явно не являются маркированным элементом в этом тексте. Характерно, что они встречаются приблизительно в равной пропорции с причастиями с *ч* в «нейтральных» деепричастных оборотах, равно как и в трети случаев в конструкциях, нарушающих книжную норму (там же, 201). Можно сказать, что Поучение является куда более выдержанным книжным текстом, чем Вопросание Кирика, интерференция в нем куда более ограничена и в силу этого менее интересна.

<sup>149</sup> Собственно, речь идет об употреблении дательного падежа в агентивном значении, представленном отнюдь не только в обороте дательного самостоятельного, но и в таких предложениях современного литературного языка, как *мне не спится* и т. п. Приводимые диалектологами примеры типа *д'он п'ам' прашло йаму рад'ивши* (Кузьмина и Немченко 1956, 120) специфичны только тем, что в качестве предиката при таком агентивном да-

невозможно исключить такой маловероятный вариант, при котором автохтонный дательный самостоятельный ассоциировался у переводчиков греческих текстов с род. самостоятельным греческих оригиналов и в силу этого сделался специфической принадлежностью книжного языка. Для истории письменного языка восточных славян это маргинальная проблема; существеннее определить восточнославянские особенности употребления дательного самостоятельного в сопоставлении с дательным самостоятельным старославянских текстов и родительным самостоятельным их греческих оригиналов (ср.: Ружичка 1961; Ворт 1994; Ворт 2008). Стандартный пример из переводного текста:

καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ (Мк. 6: 2)	и бывъши соудѣтъ нача въ соборѣ оучити (Мстислав. ев. 62а)
--	---

В оригинальных книжных текстах дательный самостоятельный представлен практически повсеместно, хотя интенсивность его употребления варьирует весьма широко в зависимости от жанра текста и от установок автора. Это относится как к оригинальным текстам стандартного регистра (ср., например, в Житии Феодосия: **И тако многашьды молацию спа кмоу. и се приидоша странници въ градъ тъ** – Усп. сб., 28в), так и к текстам гибридным (или их предшественникам), ср. в Лаврентьевской летописи: Хоташю Володимеру ити на Юрослава. Юрославъ же пославъ за море. приведе Варагы (ПСРЛ, I, стб. 130 – s. a. 1015).

Поскольку дательный самостоятельный является прежде всего средством иерархизации предикативных единиц, т. е. он нужен для того, чтобы приписать какой-либо предикативной единице неполноценный (подчиненный) статус сравнительно с предикативной единицей главного предложения, указать на дискурсивную второстепенность описанного с помощью ДС события (его фоновый характер, или его выпадение из нарративной цепочки, или его функцию как отсылки к уже известной информации – Корин 1995, 259–260), он преимущественно употребляется в нарративных текстах. В текстах другого типа, например, назидательных, нужда в нем может возникать существенно реже, так что и появляется он в них лишь от случая к случаю (так обстоит дело, например, в Изборнике 1076 г.).

Так, например, в Изборнике 1076 г. – весьма обширном тексте, в несколько раз превосходящем по объему Житие Феодосия Печерского (о котором будет говориться ниже) – встречается всего около 50 ДС; более точные цифры зависят от того, как толковать несколько темных мест и несколько цепочек, составленных из однородных ДС при одном главном предложении. Частота употребления ДС оказывается на порядок ниже той, что наблюдается в Житии Феодосия. Стоит заметить при этом, что ДС в данном тексте встречается преимущественно в кратких нарративных фрагментах – анекдотах, вкрапленных в по преимуществу назидательный текст, ср., например:

---

тельным выступает деепричастие (но отнюдь не причастие в дат. падеже). Отмечу, что через пятнадцать лет те же авторы, цитируя те же примеры, о дательном самостоятельном больше не упоминают (Кузьмина и Немченко 1971, 239–240).

«Отърекъ бо са нѣкто мира. женоу имыи и дъщерь нехръщеноу обаче хръстьянъ бѣ: раздѣли же имѣние свое на .ѣ. части. оумърши же дъщери єго нехръщенѣ. за дщю єа вѣда оцѣ єа нищимъ часть єа. єще же женѣю часть и свою. Не прѣста же бѣ мола за ню. приде же къ немоу гласъ. молащю са ємоу. ѡко крѣсти са дъщи твоѡ и не тоужи. ѡко и сѣи кюриль тако рече. дъщери нѣкои оумърши нехръщенѣ. вѣпрошенъ бысть сѣи кюриль александрьскыи. отъ матере єа» (Изб. 1076, л. 247об.–248). В ненарративном тексте употребление ДС обычно ограничено и в количественном, и в функциональном отношении. Чаще всего ДС появляется тогда, когда нужно обозначить условие, в котором действует изложенное в главном (императивном) предложении предписание, ср.: «Лежащю ти въ твърдо покрѣвенѣ храминѣ. слышащю же оушима дѣждевнѡе множество. помысли о оубогыхъ како лежать нына дѣждевными каплами ѡко стрѣлами пронажаєми» (там же, л. 42). Нарративным текстам эта функция ДС в целом не свойственна. Как будет показано ниже (см. § IV-4.3.2), аналогичная функциональная специфика присуща в ненарративных текстах и неабсолютным причастным оборотам<sup>150</sup>.

Поскольку дательный самостоятельный является лишь одним из средств иерархизации предикативных единиц (наряду с неабсолютными причастными оборотами, или придаточными предложениями с подчинительными союзами, или обстоятельственными именными группами с временным или причинным значением), существенно различными могут быть и пристрастия авторов к этому средству: одни употребляют его постоянно, другие лишь изредка. Более того, разные авторы в разной степени стремятся маркировать субординацию предикативных единиц. Один напишет *солнцу взошедшу, поиде князь на касогы*, другой – *с восходом солнца поиде князь на касогы*, третий – *взиде солнце, и поиде князь на касогы*. Выбор зависит от нарративных стратегий и нарративных пристрастий автора; весьма возможно, что эти пристрастия формируют определенные литературные традиции, однако нужно проанализировать в данном аспекте значительное число текстов, чтобы получить сколько-нибудь содержательную картину.

Предварительно можно сказать, что древние церковнославянские тексты в этом отношении разнообразны, и это разнообразие лишь отчасти зависит от жанра, а отчасти от навыков и вкусов писателя. Типологией текстов по данному параметру мы не располагаем, однако в качестве ориенти-

<sup>150</sup> Впрочем, в отдельных ненарративных текстах, особенно гномического характера, ДС в данной функции может использоваться достаточно интенсивно. Так обстоит дело, например, в славянском переводе Пчелы. В этом тексте, устроенном в плане синтаксических функций сходным с Изборником 1076 г. образом, ДС встречается весьма часто; при этом, однако же, функциональные параметры остаются по преимуществу теми же, что и в Изборнике. Он время от времени появляется в мелких нарративных фрагментах и весьма часто используется для формулировки условия, ср.: «въспать доброу ѿстоупившю злова прѣдѣлци входиѣ» (Пичхадзе и Макеева 2008, 117); «ѡкоже съдравноу приелѣжающюса, болѣсть нищазаєтъ, и свѣтоу павльшюса, тѣма погыбєтъ такоже и мироу ставшю, вса лоукаваа разроушатыса» (там же, 524). Широкое использование ДС в данной функции может рассматриваться как жанрово специфическая черта.



ра можно указать, например, что в Житии Александра Невского, достаточно пространным тексте, по объему равном приблизительно четверти Жития Феодосия, употреблено всего два ДС. Один – дефектный, так называемый «негреческий» или тавтосубъектный ДС, субъект которого совпадает с субъектом главного предложения (**Стоащѣ емѣ при краи моря, стрежаше обою пѣтїю, и превыѣ всю ночь во вѣдѣнїи** – Серебрянский 1915, тексты, 113; ср.: Бугославский 1914, 281); другой – стандартный обстоятельственный (**Бѣѣ сѣбота тогда, восходящѣ сѣнцѣ, и състѣпишася оком воиска и выѣ сѣча велика и зла** – Серебрянский 1915, тексты, 115; ср.: Бугославский 1914, 284). Больше дательных самостоятельных автору не понадобилось. На этой шкале прямо противоположное место занимает Житие Феодосия. В Житии Феодосия ДС употреблен 196 раз. Можно сказать, что Нестор испытывает почти патологическое влечение к этому обороту. Характерно, что он употребляет его даже в тех случаях, когда это ничем не оправдано, т. е. когда никакого субординирования одной предикативной единицы по отношению к другой по смыслу не нужно. Ряд таких случаев анализирует в своей работе А. Корин, рассматривающий различные отклонения от «канонического» употребления ДС как свидетельства его постепенного разрушения (Корин 1995, 272–280)<sup>151</sup>. Приведу только один пример из того эпизода, в котором рассказывается о разбойниках, хотевших ограбить церковь, но не смогших этого сделать, поскольку из церкви до них все время доносилось церковное пение:

**анѣли бо вѣша поюще въ нѣи. ѡнѣмъ мноащѣмъ ѡко братїи полоунощїюкѣ пѣнїи съвьршающѣмъ. и тако пакы ѡндоша. чающе донѣдеже сїи съкончають пѣнїи. и тѣгда въшѣдѣше въ цркъвь поклѣють всѣ соущїа въ нѣи. и тако многашѣды приходящѣмъ имъ. и тѣ глаѣ анѣгельскїи слышащѣмъ** (л. 46г)<sup>152</sup>.

Авторы ПВЛ несколько более умеренны в данном отношении, хотя употребления ДС в этом памятнике многочисленны и разнообразны и, можно думать, закладывают традицию летописного нарратива<sup>153</sup>.

<sup>151</sup> Мы предпочитаем о «разрушении» не говорить, поскольку это слово отсылает к некоему органическому языковому процессу, в ходе которого постепенно исчезало первоначальное «правильное» состояние; для ДС эта органицистская метафора не подходит, а правильное состояние остается домыслом исследователей, не находящим соответствия в текстах (см. также примеч. 163; см. еще ниже).

<sup>152</sup> Можно было бы написать: «и тако многашѣды приходящѣмъ. и тѣ глаѣ анѣгельскїи слышащѣмъ». Возможно, конечно, что Нестор употребил ДС вместо личных форм, чтобы подчеркнуть, что это были повторы однажды уже описанного действия, и их синтаксическая второстепенность должна была маркировать эту ситуативную (нарративную) производность. Но эта функция, вообще говоря, у ДС отсутствует (см.: Ворт 1994, 33–41), так что автор здесь трактует функции ДС расширительно, что и свидетельствует о его неординарном пристрастии к этому синтаксическому средству.

<sup>153</sup> Ср. в этой связи статистические данные для Ипатьевской летописи (227 оборотов ДС) и Лаврентьевской летописи (415 оборотов ДС) в: Кедайтене 1968, 280 (классификация примеров отсутствует). Специально о Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку см.: Дёрфи 2005. Автор насчитывает в данном тексте 212 ДС, причем ряд употреблений определяются как нестандартные и, в частности, как функционально нестандартные обороты (например, ДС, «образующий простое самостоятельное предложение» – там

В принципе назначение дательного самостоятельного (как и других абсолютных оборотов) состоит в том, чтобы subordinировать предикат, субъект которого отличается от субъекта основной предикации. Когда субъекты основной и subordinированной предикаций совпадают, для той же цели служит согласованный причастный оборот. Однако в восточнославянских книжных текстах довольно часто встречается оборот дательного самостоятельного с субъектом, совпадающим с субъектом основного предложения, что лишает употребление этого оборота его функционального смысла и не имеет основания в греческом синтаксисе (во всяком случае нормативном; окказиональные употребления *Genetivus absolutus* с идентичным субъектом встречаются и в греческом – см.: Риманн и Гельцер 1897, 693–694). Отдельные случаи такого употребления имеются и в старославянском (в основном в Супрасльской рукописи или, по словам Р. Вечерки, в младших памятниках старославянского канона, см. подсчеты с несколько завышенными оценками: Станислав 1934, 13, 103, ср.: Вечерка 1961, 49–50; Вечерка, III, 190, Корин 1995, 265–266), равно как и в позднейших переводных памятниках, и этот прецедент широко используется в восточнославянской письменности. Многочисленные примеры могут быть найдены в ПВЛ, ср. в доанналистической части: «Киеви же пришедшу въ свои градъ Киевѣ. ту животъ свои сконча» (ПСРЛ, I, стб. 10; ПСРЛ, II, стб. 8; ср.: Ворт 1994, 29), в истории о смерти Олега: «и прише<sup>ѣ</sup>шъ емѣ [к] Києвѣ и пребывшю. дѣ<sup>лѣ</sup>т. на патое лѣ<sup>тѣ</sup> поманѣ конь. ѿ него<sup>же</sup> бахѣть рекли во<sup>лѣ</sup>сви оумрѣти» (ПСРЛ, I, стб. 38; ПСРЛ, II, стб. 29 – s. a. 911). Этот «негреческий» (по определению Д. Ворта – Ворт 1994, 29) тип обнаруживается практически во всех оригинальных книжных текстах (кроме тех, которые почти не пользуются данным оборотом вообще). Он находит довольно существенное распространение в дальнейшем. Приведу несколько примеров из Московского летописного свода конца XV в.: «А единому отроку княже Федорову сыну Пестрого еще ходящу по сводом тѣмъ, и яко услыша трещание и падение камение, уstraшивсѣ беже на стѣну южную» (ПСРЛ, XXV, л. 424, s. a. 1474); «Архиепископу же благословившу крестом великого князя, по семъ же паки входитъ съ кресты и съ иконами и со всѣм освященным соборомъ въ церковь» (там же, л. 428, s. a. 1476). Пропорция таких «незаконных» дательных самостоятельных в гибридных текстах, кажется, со временем возрастает, хотя статистические данные отсутствуют и вопрос нуждается в дополнительном исследовании. Распространение этих конструкций связано, видимо, с восприятием причастий как автономных предикатов, что приводит к появлению целого набора причастных конструкций, не предусмотренных образцовыми книжными текстами (например, абсолютных конструкций с субъектом в номинативе).

же, 358–359). Автор склонен трактовать «нестандартные» обороты как поздние, т. е. как позднее искажение традиции, ранее подобных конструкций не допускавшей; однако, если даже предполагать существование некоей идеальной традиции, отклонения от нее начинаются, как видно из Жития Феодосия, весьма рано. Некоторые данные о развитии этой традиции в позднейшем летописании можно найти в: Грее 1970; Сабельфельд 2002 (см. также ниже).

В функциональном отношении, как уже сказано, дательный самостоятельный нужен для иерархизации предикативных единиц, для того чтобы указать, что одна из них обозначает не основное действие (которому отводится место в главном предложении), а фоновое или прежде упомянутое действие или состояние, т. е. такие, на фоне которых происходит событие, излагаемое в главном предложении. Этот фон может быть временным (см. приведенный выше пример из Евангелия), локальным или причинным. Приведу примеры для последних двух случаев: «Приде Юрославъ къ Берестию. въ си же времена Мъстиславу сущю. Тмутороканю. поиде на Касогы» (ПСРЛ, I, стб. 146); «Хотащю Володимеру ити на Юрослава. Юрославъ же пославъ за море. приведе Варагы боюса шѣа своего» (ПСРЛ, I, стб. 130). Как показал Д. Ворт (Ворт 1994), временное или каузальное значение возникает не автоматически как имманентное свойство самой конструкции, а благодаря лексическим или прагматическим параметрам конкретного оборота. В большинстве случаев имеет смысл говорить просто о фоновом значении, т. е. о том, что дательный самостоятельный употребляется для того, чтобы в нарративном контексте выделить тот или иной предикат, как стоящий вне развертывающихся событий (предшествующий им, обуславливающий их, имеющий силу в то время, как они совершаются и т. д.), ср.:

Изаславу же стоящю въ пѣщихъ. и внезапу приѣхавъ єдинъ. оудари и копьемъ за плече. тако збыенъ бы<sup>а</sup> Изаславъ снѣ Юрославль. продолжьже [Ипат.: *предолженъ* – ПСРЛ, II, 193] бывъши сѣчи. побѣже Шлегъ в малѣ дружинѣ (ПСРЛ, I, стб. 201).

Неясно, имеет ли летописец в виду, что внезапность наезда была обусловлена именно тем, что Изяслав был пеш, или говорится только о том, что наезд случился в то время, когда Изяслав стоял спешившись, т. е. имеется ли в виду временное или причинное отношение, или устанавливается лишь фон, на котором произошло событие. Аналогичная ситуация и со вторым абсолютным оборотом. Нет возможности выяснить, бежал ли Олег, поскольку сражение продолжалось, или он бежал на фоне того, что сражение продолжалось. Очень возможно, что специфическая интерпретация просто не была интересна летописцу. Как замечает Ворт, «even when such a meaning [причинное или временное] can be attributed to a given DA, such attribution is not an absolute necessity, but is more in the nature of a neutral or default interpretation, with other, less expected interpretations remaining a possibility» (Ворт 1994, 33); такой же была и ситуация в старославянском (Вечерка 1961, 48–49; Вечерка, III, 187).

Условия для употребления дательного самостоятельного создаются не обстоятельственными значениями предикации, а ее местом в нарративной структуре; место же определяется в принципе прагматическими параметрами, такими, как относительная важность и новизна информации, заключенной в предикации с дательным самостоятельным (об отступлениях от этого принципа см. ниже). Так, например, в Новгородской первой летописи, по наблюдениям А. В. Сахаровой (Сахарова 2007а, 113), предикация с глаголом *быти*, как правило, трансформируется в дательный самостоятельный, если она «является фоновой <...> но не имеет общего подлежащего с предик-

кацией, обозначающей одновременную ситуацию, а также если подлежащее глагола *быти* – в единственном числе и имеет статус Данного, т. е. уже фигурировало в изложении раньше», ср.:

В Новѣгородѣ же тогда Ярославъ кормяше Варягъ много, бояся рати <...> новгородцы <...> собрашася в ночь, исѣкоша Варягы в Поромонѣ дворѣ; а князю Ярославу тогда в ту ночь сушу на Ракомѣ. И се слышавъ, князь Ярославъ разгнѣвася на гражаны (НПЛ, 174 – с. а. 1016);

Того же лѣта князь великыи Василии, собравъ вои, и поиде на того же Махмета и приде въ Суздаль; и бывшу ему въ Еуфимьева монастыря, и без вѣсти наидоша Тотарове, и бысть сѣча велика князю великому с Тотары (там же, 426 – с. а. 1445).

Выражая фоновое значение, дательный самостоятельный чаще всего стоит в препозиции к главному предложению, и такой порядок может рассматриваться как иконически мотивированный. При постпозиции дательный самостоятельный выступает как своего рода пояснение, указывающее, при каких обстоятельствах случилось только что названное событие (пояснение, естественно, может иметь причинное, результативное или временное значение). Ср.: «Изаславъ же възгна торгъ на гору. и прогна Всеслава ис Полотьска. посади сѣа своего Мьстислава Полотьскѣ. он же вскорѣ оумре ту. и посади в него мѣсто брата своего Сѣополка. Всеславу же бѣжавшую» (ПСРЛ, I, стб. 174); «Свиѣна бы<sup>с</sup> црѣкы сѣго Михаѣла. монастыря Всеволожа. митрополитомъ Иваномъ. а игуменьство тогда держащу того монастыря Лазареви» (там же, стб. 207). Поскольку нейтральный порядок предполагает препозицию, постпозиция фиксируется прежде всего в тех случаях, когда далее ясно обозначается начало нового периода (например, в цитированных выше примерах вслед за ДС обозначено начало новой погодной статьи)<sup>154</sup>.

Когда такое обозначение отсутствует, дательный самостоятельный может быть в равной мере соотнесен и с предшествующим, и с последующим предикатом, он прерывает изложение последовательности событий, вводя фоновую информацию (Ворт 1994, 43), ср.: «си же придоша на княжъ дворѣ.

<sup>154</sup> Это условие, понятно, не является обязательным. Связь с предшествующей предикацией может быть эксплицирована иным образом, например, подчинительным союзом, который однозначно указывает на поясняющий характер ДС в отношении к сказанному ранее, ср., например: «Сѣополкъ же и Володимеръ идоста на вежѣ. и възста вежѣ. [и] полониша скоты и конѣ. вельблуды и челадь. и приведоста и в землю свою. и начаста гнѣвъ имѣти на Шлга. яко не шедшу юму с нима на поганѣна. и посла Сѣополкъ и Володимеръ къ Шлгови глѣще сице» (ПСРЛ, I, стб. 228). Она может быть и не эксплицированной, но несомненно выводимой из смысла следующих друг за другом предикаций, ср.: «и не вѣчютиша ихъ Половци Бѣу схраню ихъ. и исполчившеса поидоста к граду» (там же, стб. 231); ясно, что Бог сохранил Святополка и Владимира от того, чтобы их обнаружили половцы, и ДС примыкает к предшествующей ему предикации. Ср. еще: «и не всхотѣ сего Шлегъ створити. но пришедъ Смолинску и пои<sup>м</sup> вои поиде к Мурому. в Муромѣ тогда сущю Изаславу Володимеричю» (там же, стб. 236); далее речь идет о делах Изяслава, так что ДС явным образом поясняет, зачем Олег отправился в Муром.

Изаславу же сѣдащо на сѣнехъ с дружиною своєю. начаша прѣтиса со княземъ стояще долѣ» (ПСРЛ, I, стб. 171). Подобные цепочки, конечно, могут быть реинтерпретированы. Как пишет Ворт, «[b]idirectional orientation favors narrative advancement, since the DA is less clearly subordinated (backgrounded) to a specific finite verb clause than with either left or right orientation and can more easily be perceived as an independent narrative development, i. e. the association of the DA with backgrounding is lost» (Ворт 1994, 44–45). Подобная реинтерпретация дает основание для появления в книжных текстах (преимущественно гибридных) дательного самостоятельного, обозначающего не фоновое действие, а одно из событий в нарративной цепочке, что, понятно, уничтожает прагматическую специфику данного оборота.

**3. 1. Эволюция функций дательного самостоятельного.** Вообще данное переосмысление, один выразительный пример которого отмечен Вортом, начинается, можно предположить, весьма рано и приводит к ряду изменений в функционировании ДС сравнительно с образцовыми текстами. В условиях, когда теряется противопоставленность дательного самостоятельного предикатам другого типа, дательные самостоятельные могут выступать как автономные предикаты, не подчиняющиеся никакому главному предложению с личным глаголом; окказионально возникает даже смешение падежных форм причастия: оно может не стоять в дательном падеже. Укажу хотя бы на пример, приводимый Д. Вортом из Галицко-Волынской части Ипатьевской летописи (Ворт 1994, 41; я несколько меняю границы цитируемого пассажа). В повествовании о битве при Калке после описания силы князя Мстислава Ярославича Немого и его отношений с галицким князем Романом Мстиславичем, отцом Даниила Романовича, идет рассказ о сражении:

Татаром же бѣгающимъ. Данилови же избиваючи ихъ своимъ полкомъ. и Шлгови Коурьскомуу крѣпко бившимся. инѣмъ полкомъ. сразившимся с ними грѣхъ ради нашихъ. Роускимъ полкомъ побѣженнымъ бывшимъ. Данилъ видивъ яко крѣпцѣиши брань належитъ. в ратны<sup>х</sup>. стрѣльцѣмъ ихъ стрѣляющимъ крѣпцѣ шбрати конь свои на бѣгъ (ПСРЛ, II, стб. 744 – s. a. 1224).

Как можно видеть, в этом фрагменте первые личные формы глагола появляются, лишь когда дело доходит до бегства Даниила – сначала в придаточном изъяснительном, зависящем от причастной формы, а потом и в главном предложении (*шбрати конь свои на бѣгъ*). До этого личные формы вообще отсутствуют, и вся последовательность событий излагается с помощью абсолютных причастных оборотов, в одном из которых причастие стоит не в дат. падеже (*избиваючи* может интерпретироваться как им. падеж, но им. падеж ж. рода ед. числа). Понятно, что всякое субординирование здесь отсутствует; выраженные причастными оборотами предикации образуют нарративную цепочку<sup>155</sup>.

<sup>155</sup> Характерно, что в русском переводе этого фрагмента, сделанном Д. М. Буланиным, все причастия за одним исключением переданы личными глагольными формами и одной из предикаций (*Татаром же бѣгающимъ*) приписано временное фоновое значение, не очевидное в оригинальном тексте, ср.: «Когда татары обратились в бегство,

Впрочем, дательные самостоятельные, обладающие независимой предикативностью, появляются отнюдь не только в результате амбивалентности в позиционировании этого оборота (амбивалентного отнесения к препозиции или постпозиции). В ПВЛ можно указать на ряд не зависящих ни от какого личного глагола ДС, стоящих в начале пассажа, ср., например:

И се да скажемъ что ради прозваса Печерьскыи монастырь. бблюбивому бо князю Юрославу. любящу Берестовое. и цркъвь ту сущюю. Сѣтыхъ Апѣлъ. и попы многы набдащю. в ниже бѣ презвутерь. именемъ Ларишнъ мужъ блгъ. книженъ и постникъ. [и] хожаше с Берестоваго на Днѣпръ на холмъ. кдѣ нынѣ ветхыи монастырь Печерьскыи. [и] ту мѣтву твораше (ПСРЛ, I, стб. 155–156 – s. a. 1051).

Повествование об основании Киево-Печерского монастыря начинается с ДС, субъектом которого является князь Ярослав; здесь говорится о том, что Ярослав любил священников, среди которых был и Иларион. Рассказ об Иларионе содержится в цепочке предикаций, представляющих собой придаточные предложения, зависящие от ДС. Таким образом, сам ДС ни от чего не зависит и представляет собой полностью автономный предикат, выполняющий функцию личного глагола<sup>156</sup>. Сходное по существу синтаксическое построение находим и в статье 997 г.: «В лѣтѣ .ѡ.ѣ.ѣ. Володимеру же шедшу Новугороду. по верховниѣ воѣ на Печенѣгы. бѣ бо рать велика бесперестани» (там же, стб. 127). Главное сообщение дается в обороте ДС, личный глагол (бѣ) стоит в предложении, зависимом от ДС<sup>157</sup>.

Даниил избивал их со своим полком, и Олег Курский крепко бился с ними, но новые полки сразились с ними. За грехи наши побеждены были русские полки. Даниил, увидев, что разгорается сражение и татарские лучники усиленно стреляют, повернул своего коня» (БЛДР, V, 207).

Данный пример не уникален, ср. в рассказе о судьбе Киево-Печерского монастыря после кончины преп. Феодосия: «Стеѡану же предержажю монастырь. и блжное стадо. еже бѣ совокупилъ Феѡдосии. такы черныцѣ яко свѣтила в Руси сьмають. шви бо баху постнѣи крѣпци. шви же на бдѣнье. шви на клананье колѣньное. шви на пощенье чресь днѣ. и чресь два днѣ». Ряд исследователей полагал, что перед «такы черныцѣ» «явный пропуск» (Шахматов 1916, 239; ср.: БЛДР, I, 514). Вряд ли для этой гипотезы есть достаточные основания: «такы черныцѣ» и следующее далее перечисление монахов, совершающих различные подвиги, могут быть пояснением (синтаксически не согласованным) к словам «блжное стадо». В этом случае рассказ начинается с полностью автономного ДС, к дополнению которого и примыкает перечисление.

<sup>156</sup> И здесь можно указать на перевод этого пассажа (перевод О. В. Творогова), в котором причастия дательных самостоятельных переданы финитными глаголами, ср.: «А теперь скажем, почему назван так Печерский монастырь. Боголюбивый князь Ярослав любил село Берестовое и находившуюся там церковь Святых апостолов и помогал попом многим, среди которых был пресвитер, именем Иларион, муж благочестивый, книжный и постник, и ходил он из Берестоваго на Днепр, на холм, где ныне находится старый монастырь Печерский, и там молитву творил» (БЛДР, I, 197–199).

<sup>157</sup> Насколько мне известно, старославянскому такое употребление ДС не свойственно. А. М. Сабенина описывает такие синтаксические казусы как синтаксические построения, в которых «дательный самостоятельный выполнял роль главного в составе сложнопод-

Как мне представляется, именно в подобных случаях стоит говорить об автономной предикативности ДС (или, в традиционных терминах, о том, что ДС выступает «в роли независимого предложения» – см.: Граве 1970, 207; Сабенина 1978, 423). К столь же явным случаям независимого употребления ДС принадлежат и те примеры, в которых данный оборот представляет собой отдельное простое предложение. Они, однако же, появляются, насколько можно судить, лишь в относительно поздних памятниках<sup>158</sup>, например,

чиненного предложения» (Сабенина 1978, 423), и в качестве первого примера приводит предложение из Синайского патерика. Поскольку перевод является южнославянским, это должно было бы указывать на возможность старославянских прецедентов (пусть и не зафиксированных в дошедших до нас памятниках, т. е. чуждых канону). Пример, однако, разобран неверно. В Синайском патерике в истории о детях, игравших в крещение, читаем: «**симъ же оужастшемъ сѧ. тако же отроци съперьва ѿметахоу сѧ. по семь же въсе сътворенъ по чинъ издрекша. и исповѣдаша тако крѣстиша нѣкыа. катихисаниа. афанасиѣмъ**» (Син. Пат., 329–330). Это один из тех довольно редких в переводных текстах примеров, в которых субъект препозитивного ДС и главного предложения совпадает, причем в главном предложении субъект эллиптирован. Субъектом являются *сии*, а главным предложением – **съперьва ѿметахоу сѧ**. ДС находится в правильной зависимости от главного предложения, **также отроци** представляет собой обстоятельственный оборот, указывающий причину, по которой они ужаснулись («как дети, будучи детьми»). В греческом оригинале абсолютный причастный оборот отсутствует, но структура зависимостей, воспроизведенная в переводе, видна совершенно четко: «Ἐκεῖνοι δὲ πτοηθέντες, ὡς ἄτε διὴ παῖδες ἐξ ἀρχῆς μὲν ἤρνουντο, μετὰ δὲ ταῦτα ἅπαν τὸ πρᾶγμα κατὰ τὰξιν διηγοῦντο, καὶ ὁμολογοῦσιν ὅτι ἐβάπτισάν τινας κατηχομένους διὰ Ἀθανασίου» (Зашев 2005, 330; этот текст ближе к славянскому переводу, нежели более распространенный: PG, 87c, col. 3084 – caput CXCVII).

<sup>158</sup> Замечу, что для последнего случая А. М. Сабенина (Сабенина 1978, 424) приводит один пример из Жития Феодосия: «**Братни же врата затворившемъ. и никого же поустажшемъ по повелѣнню блаженааго**» (Усп. сб., л. 64в), однако такая его интерпретация сомнительна, поскольку за приведенными словами следует «**и вѣша присѣдаше надъ нимъ. и ожидающе дондѣже разидоуть сѧ люди**» (там же). Предпочтительной кажется трактовка ДС как зависимого от главного предложения «**и вѣша присѣдаше надъ нимъ**», которое, как это нередко бывает в восточнославянских памятниках (см. ниже), соединяется с ДС с помощью сочинительного союза *и*; поскольку субъект ДС и главного предложения один и тот же, он вполне обычным образом обозначен в препозитивном ДС и эллиптирован в главном предложении.

Еще более сомнительна предлагаемая Сабениной интерпретация как независимого предложения фразы из Устюжского летописного свода (из описания крещения Владимира) «И минувшу лѣту» (Устюжский свод, 34). Контекст выглядит так: «И рече Владимир: “то гдѣ возму крещение?”. Они же рѣша: “гдѣ ти любо”. И минувшу лѣту. В лѣто 6496. Иде Владимир на Корсунь, глаголя...» (там же). Если убрать расставленные издателем знаки препинания и красные строки, мы получаем совершенно нормальный зависимый ДС в почти совершенно нормальной фразе: «И минувшу лѣту в лѣто 6496 иде Владимир на Корсунь» («Через год в год 6496 Владимир пошел на Корсунь»); главное предложение – «иде Владимир на Корсунь» (*в лѣто 6496* скорее всего представляет собой позднейшую вставку, когда в начальную часть летописи были вставлены годы). Доверие к знакам препинания, как расставленным летописцами, так и тем более внесенным издателями, ведет к губительным ошибкам.

в Московском летописном своде XV в. в рассказе о Флорентийском соборе 1439 г. После перечисления главных участников собора описание его деятельности вводится фразой: «Начинанию же збора того их сице бывшу» (после этого в синтаксически явно независимом предложении говорится: «Егда вшед папа, мало поклечит на колѣну свою по обычаю Латынскому и шед сядет на мѣсте своемъ, и тогда бискупъ единъ начнет...») (ПСРЛ, XXV, 254).

Эти яркие примеры переосмысления ДС в качестве автономного предиката представляют лишь крайние результаты разветвленного процесса реинтерпретации. В отличие от подобных достаточно редких, хотя и весьма показательных примеров, случаи употребления ДС, вводимого союзом или соединяемого с главным предложением с помощью сочинительного союза, весьма многочисленны. Нет оснований рассматривать их как независимые предложения (как это делает ряд исследователей), однако они также отступают от стандартного употребления ДС и придают этому обороту более автономный статус, чем он имеет в стандартном случае. В подобных нестандартных употреблениях можно видеть начальные стадии процесса переосмысления, который позднее приводит к полной автономной предикативности ДС. Как уже говорилось выше, мне не представляется целесообразным интерпретировать этот процесс в органицистских терминах как деградацию или исчезновение дательного самостоятельного (об иной возможной трактовке см. ниже). Тем не менее, переходя от более ранних книжных памятников к более поздним, можно наблюдать его эволюцию.

Начнем с ранних этапов. В старославянском имеются и примеры с подчинительными союзами, вводящими ДС, и с сочинительными союзами, соединяющими ДС и главное предложение, однако они крайне редки (Станислав 1934, 23; Вечерка 1961, 50–51; Вечерка, III, 188–189; Корин 1995, 262–264): менее дюжины примеров для первого случая и единичные примеры для второго. В восточнославянских текстах такие конструкции употребляются существенно чаще. А. Корин, анализирувавший конструкции ДС с подчинительными союзами в трех текстах восточнославянского происхождения в Успенском сборнике («Сказание святою мученику Бориса и Глеба», «Сказание чюдес Романа и Давида», Житие Феодосия), указывает, что они встречаются приблизительно в 10% случаев от всех употреблений ДС; в ка-

По той же причине несостоятелен и пример из Летописца 1619–1691 гг. Приведу контекст полностью: «[Т]ого же лета ианнуариа в 17 день в 4 час дни явился знамение на небеси над градом Кремлем; мно, о всей быти Москве великий круг светел, видом бел, на том же великом кругу круглых знамений 4 сто[я]ху по кругу, противу себе разделшися в 4 места с лучами, подобны солнцу. В середине же болшаго круга в самом верху над солнцем стоя дуга верху солнца, солнце же сияше вельми светло, и облаков тогда не бысть на небе, и стояло 3 часа. Людем же сия зрящим и дивящимся чюдодеянию божию» (ПСРЛ, XXXI, 203). Точка перед *людем* поставлена по лингвистическому невежеству: мы имеем здесь дело с обычным постпозитивным ДС, содержащим комментарий к описываемому в главном предложении событию, а отнюдь не с независимым простым предложением, как полагает Сабенина. Так же обстоит дело и с примером из Казанской истории: «ему же младу сушу, 15 лет, кротку и тиху» не независимое предложение, а постпозитивный ДС, поясняющий предшествующую предикацию; нелепая пунктуация принадлежит издателю (см.: Моисеева 1954, 71).



честве союзов при ДС могут выступать *яко, якоже, егда, аще* и некоторые другие, уточняющие семантические характеристики вводимого ими оборота (Корин 1995, 274). Ср. в числе примеров:

таче *яко* ншьдѣшемъ днѣмъ мѣномъ. и бывѣшю днѣи праздничноу. мати *кѣ*о начатъ велѣти *кѣ*моу облеци са въ одежу свѣтлоу (Усп. сб., л. 30в);

егда *бо* *кѣ*моу легѣшю на ложн своихъ. и се множество бѣсовъ пришѣдѣше и за власы имѣше и. и тако пѣхѣюще влачаахути и (там же, л. 44б).

Аналогичные примеры могут быть извлечены и из древнейших летописей, хотя для летописного нарратива – в отличие от агиографии – они в целом не характерны, ср.:

Сѣполкъ же и Володимеръ идоста на вежѣ. и вѣста вежѣ. [и] полониша скоты и конѣ. вельблуды и челады. и приведоста и [*нет в других списках*] в землю свою. и начаста гнѣвъ имѣти на Шлга. *яко* не шедшю *кѣ*му с нима на поганыа (ПСРЛ, I, стб. 228 – с. а. 1095).

В лѣтѣ <sup>а</sup> „ѡ.х.лв. Бѣ<sup>с</sup> пожаръ великъ Кѣевѣ городѣ. *яко* погорѣвшю *кѣ*му мало не всему (там же, стб. 293 – с. а. 1124).

Некоторые примеры из более позднего летописания приводит А. М. Сабенина (Сабенина 1978, 421), ср. хотя бы в Псковской первой летописи: «Егда же завистию дьяволею побѣженъ бысть царь Борис властолюбимъ, изведе и погуби царьскіи корень благочестивыхъ цареи руских, и бысть смятение велие в людехъ царьского ради имени, поне же тако богу изволившу, грѣхъ ради нашихъ» (Псковские летописи, I, 118). А. М. Сабенина утверждает также, что «[п]одавляющее большинство случаев использования дательного самостоятельного с союзами, особенно с подчинительными, приходится на памятники позднего периода» (Сабенина 1978, 421); статистических данных она, впрочем, не приводит, анализ отдельных поздних памятников этого тезиса не подтверждает, так что динамика данного параметра нуждается в дальнейшем исследовании<sup>159</sup>.

Что касается сочинительных союзов, соединяющих ДС с главным предложением, то и здесь наблюдается существенный рост «нестандартных» употреблений. Как справедливо отмечает А. Корин, для этой категории трудно получить однозначные статистические параметры, поскольку в ряде примеров синтаксическое членение (расстановка скобок) остается амбивалентным. Тем не менее уже в древнейших памятниках встречается некоторое (хотя и не слишком большое) количество примеров с ДС, стоящим в постпозиции к главному предложению и соединенным с ним сочинительным союзом; в старославянских памятниках такое употребление не представлено (Корин 1995, 275), тогда как в анализируемых Кориным

<sup>159</sup> Ср. еще замечание Л. А. Булаховского: «Встречаются, но относительно нечасто примеры, когда дательный самостоятельный вводится союзом (союзным словом) с тем значением, которое должно выражаться данным оборотом и самим по себе: И *егда сему бываему*, тогда оба абие пребываства алчуща (Житие Сергия Радонежск.), и под.» (Булаховский 1958, 438–439).

текстах из Успенского сборника он насчитывает около дюжины таких примеров, ср.:

вси же съвръстънии отроци кго роугающе са кмоу оукарахоути и о таковѣмъ дѣлѣ и тоже врагоу наоучающую га (Усп. сб., л. 29б).

си же съповѣда самъ братни повозьникъ тѣ. а блжєноуоумоу о скмь никомоу же гавивъшу (там же, л. 43вг).

въ мало лѣтъ създана вистъ цр̑кы. и манастирь съграженъ. и тоу же вьсѣмъ прѣшдѣшемъ. въ оноу же мѣстѣ ꙗко же рече сѧ. малоу ихъ оставъшу (там же, л. 66б).

Такие примеры встречаются, хотя и не часто, и в Лаврентьевской летописи, см., например:

В се же лѣто шснвана бы<sup>а</sup> цр̑кы Печерская ∴ Игуменомъ Ѳеодосѣемъ. и еп̑пмъ Михаиломъ. и митрополиту Георгію. тогда сущю въ Грьцѣхъ. Стославу Къіевѣ сѣдащю (ПСРЛ, I, стб. 183 – s. a. 1073).

Несравненно большее распространение получают синтаксические построения, в которых препозитивный ДС соединен с главным предложением сочинительным союзом (ДС + союз + главное предложение). А. Корин отмечает для исследуемых им текстов: «[I]f we consider only those examples in which the DA clearly precedes its main clause and is immediately dependent upon it (i. e., it is not dependent upon some intervening subordinate or participial clause), and exclude from consideration all those in which the coordinating conjunction does not clearly link the two (e. g., those with the structure “conjunction + DA + main clause”), we find that the main clause is linked to a preceding DA by a coordinating conjunction in between one third and one half of examples. Some sections of connected text have an overwhelming preponderance of examples without a conjunction or with a conjunction, but for the Skazaniya and the “Life of Theodosius” in their entirety this was the approximate proportion obtained» (Корин 1995, 275–276). Корин противопоставляет эту ситуацию старославянской; в обследованных И. Станиславом старославянских текстах набирается лишь двенадцать соответствующих примеров (Станислав 1934, 23; Корин 1995, 276). Ср. произвольные примеры из Жития Феодосия:

и тако многашды молациюса кмоу. и се приидоша страньници въ градъ тѣ (Усп. сб., л. 28в).

вьсѣмъ бо града того вельможамъ въ тѣ днѣ възлежащемъ на обѣдѣ оу властелина. и повелѣно бѣ оубо блжєноуоумоу Ѳеодосію. предѣстоꙗти (там же, л. 30в).

ономоу же сѣдъшу и ничьсо же въкоуси отъ вращьна (там же, л. 34в).

В несколько меньшей пропорции (менее четверти) подобные построения (ДС + союз + главное предложение) встречаются в Повести временных лет, см. здесь:

Игореви же възрастъшу. и хожаше по Шлзѣ и слоушаша е<sup>а</sup> (ПСРЛ, I, стб. 29 – s. a. 903).

Авраму же жившю. лѣ<sup>т</sup>. р̑. и .б. и .ѣ. и оумре. и погребенъ бы<sup>а</sup>. Исаку же бывшю. лѣ<sup>т</sup>. ж̑. и роди .б̑. сѧ. Исава. и Юкова (там же, стб. 93 – s. a. 986).

Изаславу же со Всеволодомъ Къѣву побѣгшу. а Сѣославу Чернигову. и людѣ Къѣвстии прибѣгоша Къѣву. и створиша вѣче на торговищи (там же, стб. 170 – s. a. 1068).

Володимеру же пришедшу Лучьску. и вдашаса Лучане (там же, стб. 205 – s. a. 1085)<sup>160</sup>.

Ряд исследователей полагает, что в поздних памятниках (XV–XVII вв.) ДС все в меньшей степени выполняет истинные для него синтаксические функции (функции подчиненной предикации или, в терминологии Л. В. Граве и А. М. Сабениной, «придаточного предложения») и все в большей степени приобретает «функцию предложения независимого» (Граве 1970, 205); данные исследователи связывают этот процесс с распространением гипотаксиса, т. е. с распространением придаточных предложений. По словам А. М. Сабениной, «[п]ридаточное предложение, к XVI–XVII вв. хорошо оформленное грамматически, оказывалось способным более точно передавать мысль, по сравнению с дательным самостоятельным. Семантическая многоплановость последнего нередко затрудняла правильное его понимание» (Сабенина 1978, 426). Стремясь к совершенствованию языка, поздние авторы сокращали употребление ДС в тех случаях, когда он мог быть успешно заменен придаточным предложением; соответственно, увеличивалась пропорция «независимых» ДС, выполнявших своего рода «стилистическую функцию».

Такая схема развития представляется слишком целенаправленной и жесткой. Она в целом не подтверждается данными текстов в их совокупности: никакого последовательного вытеснения абсолютных причастных оборотов придаточными предложениями не фиксируется. Разные тексты в разной степени используют придаточные предложения (с семантически однозначными подчинительными союзами), равно как в разных текстах в разной степени употребляется ДС, однако никакой явной корреляции между этими двумя параметрами не наблюдается. В принципе, конечно, можно говорить о дополнительности (комплементарности) причастных оборотов и придаточных предложений (как субординирующих синтаксических средств) в истории славянских языков (см.: Корин 1995, 261–262), однако к реальным историческим процессам эта комплементарность прямого отношения не имеет. ДС был у восточных славян специфически книжной конструкцией; он продолжал активно употребляться, пока активно употреблялся традиционный книжный язык (церковнославянский); он

<sup>160</sup> По данным Граве, ДС «в роли независимого предложения» появляется в Лаврентьевской летописи более чем в четверти случаев (86 из 282), а в Ипатьевской летописи – в трети случаев (100 из 316) (Граве 1970, 205). Поскольку (без достаточных оснований) Граве рассматривает в качестве ДС «в роли независимого предложения» все конструкции, где отношения между ДС и главным предложением отличаются от стандартных (ДС не зависит ни от какого личного глагола, ДС представляет собой самостоятельное простое предложение, ДС связан с главным предложением сочинительным или подчинительным союзом), основную массу таких ДС представляют собой именно ДС, к которым главное предложение присоединяется с помощью сочинительного союза; таким образом, приводимые ею цифры дают некоторое представление о статистических параметрах этого синтаксического построения.

перестал употребляться не от того, что ему стали предпочитать придаточные предложения, а оттого, что в XVIII в. церковнославянский был вытеснен русским литературным языком; в этом языке для ДС не было места – и опять же не потому, что в нем было много придаточных предложений, а потому, что ДС воспринимался как маркированный признак старого книжного языка, недопустимый в новом языковом стандарте. Таким образом, исчезновение ДС из письменного русского языка не есть органический результат развития грамматической системы.

«Неорганический» характер ДС отнюдь не означает, что в истории языка русской письменности у него не было никакой динамики. Процессы, происходящие в письменном языке, обладают, как говорилось выше (Введение-II), собственной системностью, обусловленной преемственностью между читательским опытом и письменными навыками; эта преемственность определяет постоянно происходящую реинтерпретацию наличного языкового материала, приспособляющую его к языковому восприятию носителя языка. Именно так, как мне представляется, объясняется расширенное употребление различных нестандартных видов ДС в ранних восточнославянских текстах сравнительно с текстами старославянскими. Те редкие случаи ДС с субъектом, идентичным субъекту главного предложения, или ДС, соединенного с главным предложением сочинительным союзом, или ДС, вводимого подчинительным союзом, которые имелись в старославянских текстах, восточнославянскими книжниками были восприняты как прецедент, обуславливающий допустимость такого употребления. Можно напомнить, что старославянские тексты были образцовыми и именно из овладения ими восточнославянские книжники черпали навыки синтаксической организации информации. Рассматривая указанные конструкции как прецедент, новые (восточнославянские) владельцы этого материала могли – в соответствии со своим восприятием и в силу своих надобностей – воспроизводить такие конструкции, в частности, пользуясь ими более широко, чем их предшественники. По мере развития литературного процесса и циклического повторения реинтерпретационной процедуры, употребление ряда нестандартных конструкций могло стабилизироваться или расширяться; хотя в силу существования образцовых переписываемых текстов они никогда не становились вполне стандартными, они, однако, получали статус несомненно допустимых построений, особенно в рамках отдельных языковых традиций (например, в языке летописания или, шире, в гибридном регистре). Это изменение статуса и характеризовало продвинутый этап процесса переосмысления ДС.

Так, скажем, ДС с субъектом, идентичным субъекту главного предложения, был удобным способом введения в нарратив главного агента, нового сравнительно с предшествующей предикативной единицей: агент появлялся в качестве субъекта препозитивного ДС, т.е. в первой предикации повествовательного фрагмента, а в главном предложении обозначался анафорически (ср.: Ферран 1999, 25–26). Единичные примеры имелись в переводных образцовых церковнославянских текстах, и этот прецедент использовался восточнославянскими книжниками. Ср., например, в Житии Феодосия: «въ то же время оиъ кго житию коньць приятъ. Соуцю же тѣгда

**бѣжѣственому ꙗѳеодосію .г҃и. ѿѣтъ ѿтолѣ же начатъ на троуды паче подвижнѣи бывати»** (Усп. сб., л. 28аб). В последнем предложении Феодосий сменяет в качестве главного агента своего отца, о смерти которого сообщается в предшествующей предикативной единице; он появляется в качестве субъекта ДС, обозначающего обстоятельства основного события (Феодосий начал больше трудиться); об этом событии говорится в главном предложении, в котором субъект эллиптирован, а эллипсис анафорически отсылает к субъекту ДС<sup>161</sup>. В этой связи стоит отметить, что ДС с субъектом, идентичным субъекту главного предложения, появляется в восточнославянских памятниках почти всегда в препозиции к главному предложению. Так, например, в Житии Феодосия встречается 34 примера препозитивных ДС с «идентичным» субъектом, в то время как в постпозиции такой ДС находится только в одном случае («и тако паки ѿидоша. чающе донѣдеже сии съкончашуть пѣнник. и тѣгда въшѣдѣше въ цр҃квь поклѣють вса соущаа въ и [так в изд.]. и тако многашѣды приходящемъ имъ. и тѣ глас ангельскыи слышашемъ» – там же, л. 46г), об аномальном характере которого уже говорилось выше<sup>162</sup>. В этих условиях, понятно, ДС с «идентичным» субъектом продолжает употребляться наследниками Нестора, пока употребляется ДС вообще. По некоторым подсчетам, сводящим, впрочем, в одно разнородные и разновременные памятники, «[к]онструкции, содержащие тот же самый субъект, что и часть предложения с глагольным сказуемым, составляли в русском языке <...> 25% общего количества дательных самостоятельных» (Сабенина 1978, 420). Можно отметить, что в последних трех степенях Степенной книги (см. об этом памятнике XVI в. ниже) ДС с «идентичным» субъектом составляет несколько менее четверти всех ДС, что позволяет говорить об устойчивом (в количественном отношении) употреблении подобного ДС. И

<sup>161</sup> Конечно, здесь можно было обойтись без ДС, используя, например, согласованный причастный оборот, ср. хотя бы: «бѣжѣствыи ѳеодосіи сын же тѣгда .г҃и. ѿѣтъ ѿтолѣ начатъ на троуды паче подвижнѣи бывати». Это предложение кажется более корявым, чем то, которое написал Нестор. Трудно судить, насколько подобные стилистические предпочтения, относящиеся к тексту, созданному много столетий назад, имеют реальные основания, однако не исключено, что препозиция предиката (соущю же тѣгда) лучше соответствует здесь информационной структуре предложения, в котором и вновь появившийся Феодосий, и его возраст могут трактоваться как новое (как части нерасчлененной ремы) (см. о порядке слов: Тернер 2006; см. также ниже, § V-5).

<sup>162</sup> Имеются также три аномальных случая, в которых неясно, находится ли ДС с «идентичным» субъектом в препозиции или постпозиции к главному предложению и сам статус главного предложения оказывается неочевиден, см., например: «по вечернимъ оубо пѣнии. сѣдѣшю кмоу и хотѣшю опочиоути. не во николи же на ребрѣхъ своихъ лажашеть. нѣ аще коли хотѣшю кмоу опочиоути то сѣдѣ на столѣ. и тако мало постѣпавъ въстанаше паки на нощное пѣние» (Усп. сб., л. 38аб). Неясно, как нужно рассматривать предложение «не во николи же на ребрѣхъ своихъ лажашеть» (как главное или как придаточное, зависимое от предшествующего ему ДС) и находится ли ДС «нѣ аще коли хотѣшю кмоу опочиоути» в постпозиции к этому предложению или в препозиции к предложению «и тако мало постѣпавъ въстанаше паки на нощное пѣние». Подобные синтаксические неудачи автора плохо поддаются разбору и нередко нарушают все существующие закономерности.

в этом памятнике такой ДС в подавляющем большинстве случаев (24 из 27) стоит в препозиции к главному предикату, а постпозитивные ДС с «идентичным» субъектом в том или ином отношении аномальны. Приведу пример обычного препозитивного ДС с «идентичным» субъектом: «Паки же иногда бывшу самодержцу Василию у вечерняго ꙗ́внїа въ монастыри томъ, и тогда повелѣ преподобному самому преселитися изъ Горицькаго монастыря во свою ему обитель» (ПСРЛ, XXI, 620); и здесь препозитивный ДС использован для введения агенса<sup>163</sup>.

Сходные по фактуре процессы характерны и для других нестандартных построений с ДС, хотя конкретные детали зависят от особенностей каждого из построений. Так, скажем, дательные самостоятельные с вводящими их подчинительными союзами известны уже старославянским памятникам, хотя в этих памятниках они крайне редки. В ранних восточнославянских текстах они попадаются чаще, хотя, как можно полагать, разные тексты характеризуются существенно разными параметрами. Как справедливо замечает А. Корин, «use of a conjunction allows for a more precise definition of the nature of the subordinating relationship, whereas the meaning of a participial clause is more general, indicating the mere fact of subordination» (Корин 1995, 261). Поэтому введение ДС с помощью подчинительного союза представляет собой прием своего рода уточнения, эксплицирования тех деталей в семантико-синтаксических отношениях, которые при стандартном употреблении ДС для пишущего нерелевантны. Можно сказать, что это своего рода синтаксическое педантизм, что, как кажется, объясняет, почему это отклонение от стандарта шире представлено в Житии Феодосия (около 10% всех употреблений ДС, см. выше), чем, например, в Повести временных лет, да и вообще, видимо, в летописной традиции: летописцы, даже заботившиеся о книжных нормах, к педантизму склонны не были. Понятно, что подобные построения, продолжая употребляться в позднейшей книжной письменности, особой экспансии не обнаруживают.

И здесь можно обратиться к данным последних степеней Степенной книги. Степенная книга – весьма показательный памятник, поскольку она представляет собой особую трансформацию летописной традиции, которая может быть охарактеризована как сакрализирующая и окнижняющая. Степенная книга (составленная в 1560-е годы), наряду с Великими Минеями

<sup>163</sup> Постпозитивный ДС с «идентичным» субъектом находим, например, в следующем случае: «онъ же недоумѣваше и отъ нестерпимаго того огня сѣмо и освамо [так в изд.] укланяшеся, яко послѣднюю коньчину зря и внѣ града стоящу ему и всюду со ужасомъ глядающу» (ПСРЛ, XXI, 637). Как можно видеть, ДС следует здесь за деепричастным оборотом, с которым он соединен сочинительным союзом; сам же деепричастный оборот, стоящий в постпозиции к главному предикату, вводится подчинительным союзом *яко*; ДС, видимо, употреблен потому, что обстоятельства, обозначенные деепричастным оборотом и ДС, различаются по своему характеру: в одном случае описывается восприятие субъекта (*яко послѣднюю коньчину зря*), а в другом – его реальное местоположение (*внѣ града стоящу ему*); хотя интенции автора можно понять, способ их реализации противоречит сложившемуся узусу (или норме), в котором две подобные конструкции не должны стоять рядом и соединяться сочинительным союзом; все построение, таким образом, аномально.

Четьими митрополита Макария, принадлежит к числу больших книжных предприятий XVI в., воплощавших новое самоощущение верхов московского общества и сакрализацию династической истории и истории русской митрополии (см.: Ленхофф 2007; Ленхофф 2011): теократическое величие требовало монументальных трудов, а монументальность книжных трудов диктовала возвышенность изложения и пристрастие к специфически книжным построениям и книжному лексическому материалу. Именно в подобном направлении правятся тексты, заимствованные в Степенную книгу из Никоновской летописи: «специфически не книжная лексика заменяется на нейтральную <...> а нейтральная на специфически книжную» (Успенский 2002, 372; ср.: Живов 2011a). Эта установка, наиболее ясно заметная в новосозданных частях летописи, сказывается и на синтаксической организации.

Показательно, что дательные самостоятельные, вводимые подчинительными союзами, присутствуют здесь в пропорции, лишь слегка превышающей ту, которая отмечается для раннего летописания, и не достигают того распространения, которое наблюдается в ранних агиографических текстах. В последних трех степенях встречается лишь 5 таких оборотов, что составляет 4% от общего числа ДС. Наряду с достаточно традиционными (хотя и нестандартными) построениями здесь присутствуют примеры, характеризующиеся более или менее выраженной аномальностью. К числу первых относится: «И яко послѣднее дышущу ему, приде же ему во умъ духовная любовь преподобнаго Данила, и призва его въ молитвъ» (ПСРЛ, XXI, 623). К числу последних (в Послании Вассиана на Угру): «Молю же убо и величество твое, о боголюбивый государь, да не прогнѣваеши на мое смиреніе, еже первіе дерзнувшу ми усты ко устомъ глаголати ко твоему величеству» (там же, 557); в данном примере ДС выполняет функции придаточного изъяснительного (чего, в принципе, не бывает) и вводится соответствующим союзом. Поскольку, как можно думать, подчинительные связи не воспринимаются как отношения, требующие экспликации, никакого роста ДС, вводящихся подчинительными союзами, не происходит; эти конструкции остаются маргинальным отступлением от стандарта, более характерным для агиографической, нежели для хронографической письменности.

Совсем иным образом обстоит дело с дательными самостоятельными, соединяющимися с главным предложением с помощью сочинительных союзов (по модели «ДС + союз + главное предложение»). Как уже говорилось выше, эта модель была слабо представлена в старославянском, но получила значительное распространение в древнейших восточнославянских текстах, обследованных А. Кориным, – от трети до половины всех ДС. Хорошо представлена эта модель и в Повести временных лет, хотя пропорция не достигает здесь четверти всех ДС. В дальнейшем использование этой модели только расширяется, так что для позднего периода (XVI–XVII вв.) ее можно рассматривать как основной способ соединения ДС с главным предложением. Для иллюстрации данной ситуации можно обратиться к уже рассматривавшимся последним трем степеням Степенной книги. Немаркированный характер анализируемой модели заметен особенно отчетливо, если принять во внимание ряд дополнительных обстоятельств. Во-первых, соединение с помощью союза имеет место в основном при препозиции ДС, поэтому вес

данной модели следует определять в отношении не ко всем ДС, а лишь ко всем препозитивным ДС<sup>164</sup>.

Во-вторых, есть ряд устойчивых предикаций, оформляемых дателным самостоятельным, которые по своему существу не могут быть семантически однородны с другими предикациями и в силу этого практически никогда не соединяются с ними с помощью сочинительных союзов. К таким устойчивым предикациям относятся *Богу попустившу*, *Богу помагающе* и т. д., в которых субъектом является Бог (или другие сверхъестественные силы) и которые в силу этого выпадают из нарратива, оказываясь скорее комментарием к описываемым событиям, чем их реальным фоном<sup>165</sup>, ср.: «Воевода же и намѣстникъ Опочьскій Василей Михайловичъ Салтыковъ со всѣми людьми, иже во градѣ, Богу помагающе имъ, боряхуся крѣпко противу кралева воинства» (ПСРЛ, XXI, 593); таких примеров в анализируемом тексте восемь. Такие же особенности характерны и для ДС, содержащих лишь указание на время излагаемого события и эквивалентных тем самым обстоятельству времени; такое указание не может трактоваться как полноценная предикация и поэтому не связывается с полноценными предикациями сочинительными союзами, ср.: «Лѣту тому еще не дошедшу, придоша послы великаго князя из Рима» (там же, 554); таких примеров в анализируемом тексте пять.

Если исключить из подсчетов данные примеры и сопоставить число препозитивных ДС, соединяющихся с главным предложением с помощью сочинительных союзов, с числом препозитивных ДС, обошедшихся без союзной связи, отношение получится 43 к 22, т. е. союзное соединение имеет место в 66% релевантных случаев. Семантические отношения между ДС и главным предложением, соединенным с ДС сочинительным союзом, могут быть при этом различными, ср. хотя бы: «И таковому благому начинанию мирному еще не успѣвшу въ дѣло произыти, и тогда краль Александръ въ борзѣ житія лишися» (там же, 585 – последовательность событий); «И во единъ отъ днѣй зрящу ему оконьцемъ изъ ложницы своея, и видѣ утичища» (там же, 626 – фоновое состояние и действие); «Пламени же

<sup>164</sup> Что касается постпозитивных ДС, то здесь соединение с помощью союза (по модели «главное предложение + союз + ДС») хотя изредка и наблюдается, однако нехарактерно; немаркированной несомненно остается модель без союза («главное предложение + ДС»). В рассматриваемом памятнике есть всего лишь два примера постпозитивного ДС, присоединенного с помощью союза. Один из них, в котором ДС присоединяется с помощью *и* к деепричастному обороту, уже цитировался выше (примеч. 163). Другой пример имеет следующий вид: «самъ благочестивый царь <...> и градъ благочестіемъ обнови и въ немъ истинное православіе утверди, и во всемъ поспѣшествующу ему всемогущему Богу» (ПСРЛ, XXI, 662). Показательно, что в других списках это *и* отсутствует.

<sup>165</sup> Единственное исключение из этой закономерности является кажущимся: «Суровѣйшимъ же напрасньствомъ и рѣку Оку преидоша, Богу сице попустившу имъ грѣхъ ради нашихъ, и множество христіанства побѣдиша и поплениша» (ПСРЛ, XXI, 599). ДС естественно рассматривать как постпозитивный, зависимый от «рѣку Оку преидоша»; *и* в «и множество христіанства побѣдиша» связывает однородные сказуемые *преидоша* и *побѣдиша*. При такой расстановке скобок противоречий с постулированной закономерностью нет.



велику всюду палящу, и самая тоя великія церкви кровля горяше и паперть каменная у церкви тоя отъ зельнаго огня распадется» (там же, 637 – причина и следствие). В этих условиях естественно считать соединение главного предложения с препозитивным ДС с помощью сочинительного союза немаркированной конструкцией.

Это специфическое для книжного языка восточных славян развитие следует, видимо, связывать с тем, как вообще воспринимались восточно-славянскими книжниками причастные конструкции. Можно полагать, что действительные причастия в разговорном языке употреблялись весьма ограниченно сравнительно с языком письменным (как книжным, так и некнижным), а использовавшие их конструкции могли иметь иные функции, чем причастные обороты письменного языка (см. ниже). Поэтому употребление причастий в письменных текстах не определялось соотносительностью с разговорным узусом, а отражало процесс переосмысления тех трафаретов, которыми располагал пишущий благодаря своему читательскому опыту. В числе этих трафаретов было и употребление ДС, к которому главное предложение присоединялось с помощью сочинительных союзов. Прецеденты извлекались из образцовых текстов, переосмыслялись, создавали устойчивый узус (набор трафаретов), который подвергался дальнейшему переосмыслению и экспансии (как в количественном отношении, так и в плане контекстов, допускающих соответствующие конструкции). Подобное употребление могло способствовать автономизации причастной предикации, поскольку сочинительный союз проблематизировал отношения подчиненности<sup>166</sup>. Функции ДС сближались с функциями предикации с личным глаголом; как уже говорилось, ДС мог, в частности, обозначать одно из действий в нарративной цепочке.

При последовательном переосмыслении это сближение могло возрастать и давать в результате такое употребление, при котором какая-либо семантическая или прагматическая субординированность отсутствовала, ср. выше пример с сочетанием ДС и главного предложения, описывающих последовательность событий, ср. еще, например: «И сентября 1 брани бывши весь день у Казани съ царемъ Обреимомъ, и помощію Божию победиша Татаръ и воду у нихъ отъяша» (ПСРЛ, XXI, 529–530). Эта обусловленная переосмыслением функциональная экспансия приводила, в свой черед, к отмеченному выше распространению союзного соединения, становящегося немаркированным во всех тех случаях, где отсутствует четко выраженная субординированность (как в ДС типа «Богу помогающе» или в ДС с указани-

<sup>166</sup> Сделанная М. Ферраном (Ферран 1999, 18–21) попытка поставить под сомнение эту роль сочинительного союза не кажется мне убедительной. Сочинительные союзы (*и* и *а*), действительно, употребляются в древних восточнославянских текстах в ряде контекстов, которые в современном русском языке для них невозможны (например, при соединении препозитивного придаточного предложения с главным). Однако основным употреблением этих союзов, определяющим восприятие их семантико-синтаксических функций носителями языка, остается сочетание однородных членов или паратактически связанных предикаций. Это основное употребление не могло не отбрасывать тень и на другие контексты, в которых не было полного равноправия сочетаемых элементов.

ем на время основного события). Такое употребление ДС, как и других причастных оборотов, соответствовало нарративной стратегии средневековых восточнославянских текстов (см. о ней ниже), при которой нарративная цепочка, имеющая дело с одним микросюжетом, плохо членится на отдельные предложения, а выступает как развернутое синтаксическое целое; в обеспечении формальной связанности такого целого причастные конструкции играют весьма важную роль вне зависимости от того, находятся ли соответствующие предикации в отношениях содержательной субординации с какими-либо другими предикациями той же нарративной цепочки.

Как мне представляется, именно описанный выше процесс переосмысления, при котором ДС начинает выполнять новые функциональные задачи, и лежит в основе наблюдаемой в восточнославянских памятниках динамики данной конструкции. Эта картина кажется мне существенно более реалистичной, чем представление о многовековом распаде («*decadence of the construction*», по выражению А. Корина – Корин 1995, 273) некоего органического синтаксического построения, постепенно исчезавшего из разговорного языка. В предлагаемой здесь картине наличие или отсутствие в определенном периоде ДС в разговорном языке восточных славян (или славян вообще) оказывается второстепенным по значимости обстоятельством<sup>167</sup>.

Заканчивая этот обзор эволюции ДС, можно еще раз вернуться к тому крайнему результату процесса переосмысления, функционально сближающего ДС и предикации с личным глаголом, когда появляются автономные (т. е. не зависящие ни от какого главного предложения) дательные самостоятельные (равно как и другие автономные причастные конструкции – см. ниже); в них данный процесс как бы доведен до конца, до уничтожения всякого функционального различия между причастием и личной формой. Выше приводились примеры такого автономного употребления из Повести временных лет и Галицко-Волынской летописи, равно как – из более поздних памятников (Московского летописного свода) – примеры ДС, образующего отдельное простое предложение. Автономные ДС – это всегда по-

---

<sup>167</sup> Никак не помогающим понять динамику ДС, с которым главное предложение соединяется сочинительным союзом, представляется мне и приписывание ДС сочинительности на уровне глубинной структуры. Такое предположение высказывает А. Корин; он пишет «If we agree with Berent [имеются в виду работы: Берент 1974; Берент 1975. – В. Ж.] to the extent that absolute constructions can be interpreted (by a speaker) as derived syntactically from clauses coordinated with (rather than subordinated to) the main clause, it is possible that a conflict or incongruity may be perceived by a speaker. Specifically, the speaker may sense an implicit incongruity between the equality of two clauses at some underlying level of syntactic structure, and the subordinating relationship which holds in surface syntax and which expresses the backgrounding of one clause in relation to the other. Use of a coordinating conjunction to introduce a DA following a main clause, a main clause following a DA, or both DA and main clause <...> would have the effect of overtly expressing this conflict between deep and surface syntax» (Корин 1995, 267). Я сомневаюсь в том, что говорящий может чувствовать конфликт между глубинным и поверхностным синтаксисом и что стремление обозначить его или устранить позволяет как-либо объяснить историческое развитие тех или иных синтаксических элементов.

бочный и в силу этого аномальный продукт переосмысления причастной предикации как полноценной. Массового употребления таких синтаксических построений нет ни в одном из средневековых восточнославянских памятников (за исключением, возможно, фантастического по языку «Временника» Ивана Тимофеева); поскольку в образцовых текстах такие построения отсутствуют, они навсегда остаются на грани нормативного. Тем не менее в поздних памятниках их употребление несколько расширяется. Здесь можно вновь обратиться к трем последним степеням Степенной книги.

В этом тексте автономный ДС встречается более десяти раз (точные цифры зависят от того, как считать однородные дательные самостоятельные; вопрос не принципиальный, поскольку определенная экспансия таких построений фиксируется в любом случае). Так, скажем, в похвале Василию III находим следующий пассаж:

Сему христолюбивому государю, великому князю Василию Ивановичю всеа Русіи, благочестно царствующу и добръ правящу хоругви Россійскія земи скипетродержаніе корнеплоднаго ихъ отечества извъчънаго Богомъ утверженнаго ихъ наслѣдія, всячески вездѣ Богу поспѣшествующу ему и отъ всѣхъ врагъ видимыхъ и невидимыхъ избавляя его и на супротивныя помагая ему и крепляя его и окружныя страны покаяря ему: овы миромъ, непокарявыя же мечемъ. И всюду Богомъ прославляемъ, яко же отъ Бога прослави и велій подвигъ полагая, еже бы утвердити правду въ людехъ (ПСРЛ, XXI, 610).

Первый личный глагол, стоящий в главном, не придаточном предложении, находится лишь через несколько предикаций после процитированного пассажа. И *благочестно царствующу*, и *добръ правящу*, и *Богу поспѣшествующу* не зависят ни от какого главного предложения и выступают как автономные предикаты. В собрании выписок о молитве в начале семнадцатой ступени одно из изречений вводится после заголовка ДС: «Іаковъ рече о молитвѣ. И апостолу Іакову глаголющу: “Много бо можетъ молитва праведнаго и поспѣствуема”» (там же, 628–629; о подобном употреблении ДС см.: Сабенина 1978, 424–425); и здесь ДС ничему не подчинен.

Особенно много автономных дательных самостоятельных в Послании на Угру архиепископа Вассиана Рыло, включенном в Степенную книгу (как и в ряд других летописей конца XV – XVI вв.). Пассажи, сплошь состоящие из причастных оборотов, в том числе и из дательных самостоятельных, не подчиненных никакому главному предложению с финитным глаголом, составляют заметную часть этого не слишком пространного текста (более одной десятой). Ограничусь лишь одним примером:

И тобѣ убо, государю нашему, приѣхавшу въ царствующій ти градъ Москву ко Всемиловѣйѣй Господѣ Богородицы и святымъ чудотворцемъ <...> тебѣ же государю нашему, повинувшуся ихъ моленію <...> и обѣщавшуся крѣпко стояти за благочестивую нашу православную вѣру <...>, духовъ же лъстивыхъ <...> ни како же послуша [вар.: послушати] обѣщавшу ти ся. И митрополиту убо со

всѣмъ боголюбивымъ соборомъ тебе, государя нашего, благословившу и крестомъ честнымъ знаменавшу, вкупѣ же сіе прирекшу <...> Ты же убо, государю, духовный сыну, не яко наемникъ, но яко истинный пастырь подшися избавити врученное тебѣ от Бога словесное стадо Христовыхъ овецъ <...> Намъ же всѣмъ вкупѣ рекшимъ: «Аминь», еже есть: «Буди тако», Господу помагающу. Тебѣ же, государю нашему, вся сія на сердцы своемъ положышу и яко истинный добрый пастырь, возьмъ Бога на помощь <...> крѣпко вооружився силою честнаго креста, исходиши противу оному окаянному мысленному полку [*вар.*: волку] (ПСРЛ, XXI, 557–558; ср.: БЛДР, VII, 386–388).

Первым личным глаголом в этом длинном отрывке оказывается *исходиши*, однако многочисленные причастные обороты, предшествующие ему, никак не могут рассматриваться как находящиеся от него в зависимости. Тем самым, перед нами набор из полудюжины автономных дательных самостоятельных, перемежаемых другими причастными оборотами и составляющих нарративную цепочку. Нельзя исключить, что такое нагромождение дательных самостоятельных имеет стилистическую функцию указания на возвышенный характер речи (как в этом пассаже, так и в цитировавшейся выше похвале Василию III), и в этом находит отражение специфически книжный характер дательного самостоятельного<sup>168</sup>. С этим книжным характером связано, как уже говорилось, и исчезновение дательного самостоятельного из языка русской письменности. Оно обусловлено тем отталкиванием русского языкового стандарта от церковнославянского, которое характеризовало становление русского литературного языка в XVIII в. (об устранении дательного самостоятельного в ходе языковой реформы см. ниже, § X-4).

<sup>168</sup> Стилистическая функция автономных дательных самостоятельных соотносится с общим риторическим заданием рассматриваемых текстов. Послание Вассиана Рыло на Угру основано на не совсем тривиальном риторическом построении: сначала Вассиан, громоздя похвалу на похвалу, превозносит великого князя Ивана III, а потом, эксплицировав величие этого государя, указывает ему на то, что столь славному и возвеличенному от Бога владыке не подобает быть трусом и колебаться перед лицом татар. Грамматика лаудации оказывается в этом случае весьма специфической; она характеризует Послание в его разных редакциях (как автономной, так и летописной), различения между которыми практически не затрагивают синтаксический уровень. Похвальное слово великому князю Василию III в данном отношении куда более традиционно, однако в своем оригинальном виде оно к таким синтаксическим аномалиям, как нагромождение автономных ДС, не прибегает. При включении в Степенную книгу текст Слова подвергается существенной переработке и в нем появляется процитированный выше пассаж (см.: Розов 1965, 278) с характерным для него аномальным синтаксисом. Можно полагать, что риторические установки составителей Степенной книги в одних случаях вели к тому, что они воспроизводили грамматические аномальные построения Послания на Угру, а в других – вносили те же аномальные построения в редактируемые ими похвальные тексты. Во всех этих случаях автономный дательный самостоятельный оказывается маркированным стилистическим средством, употребляемым при реализации риторики имперского грандёра.

### 3.2. Личная форма глагола *быти* с причастием настоящего времени.

Синтаксической калькой с греческого является и перифрастическая конструкция с личной формой глагола *быти* и причастием, обозначающая состояние или действие субъекта. В греческом, по наблюдению А. В. Исаченко, «ihre Bedeutung lässt sich am besten mit jener der engl. 'progressive forms' vergleichen» (хотя набор значений этого оборота в греческом отнюдь не сводится к прогрессиву, как полагал Исаченко, см.: Бьорк 1940), в церковнославянском спектр значений требует отдельного анализа; возможно, расширение значений этой конструкции происходит уже на славянской почве (ср.: Исаченко, I, 87; Успенский 2002, 256). Приведу, вслед за А. В. Исаченко, примеры из евангельских переводов (анализ данной конструкции в новозаветном греческом, классификация значений этой конструкции и рассмотрение ее эквивалентов в старославянском см.: Плунгян, в печати):

Ἰὺν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων (Ин. 1: 28)      **ѢѢ Иѡанѣ кръѣѣ** (Мстислав. ев. 3а)

Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ' αὐτῶν ἀγέλη χοίρων  
πολλῶν βοσκομένη (Мф. 8: 30)      **ѢѢ же далече отъ нихъ стадо свинни  
много пасомо** (Мстислав. ев. 38г)

Такие конструкции постоянно встречаются и в оригинальных восточнославянских книжных текстах, хотя их употребление не столь универсально, как употребление дательного самостоятельного. Можно сказать, что оборот «*быти* + причастие» является существенно более книжной конструкцией, чем дательный самостоятельный; он употребляется реже, в более узком диапазоне книжных текстов, и обнаруживает зависимость от жанровой и хронологической приуроченности текстов, не свойственную дательному самостоятельному. Это, в частности, выражается в том, что интенсивность употребления данного оборота зависит от того, до какой степени текст ориентирован на тексты основного корпуса, так что, пренебрегая деталями, можно утверждать, что в житиях исследуемый оборот встречается чаще, чем в летописях, а в ранних летописях чаще, чем в поздних.

Так, в Житии Феодосия встречается 35 оборотов с личной формой глагола *быти* и действительным причастием настоящего времени<sup>169</sup>. Имеется также 6 оборотов с личной формой глагола *быти* и страдательным причастием настоящего времени. В основном используются формы имперфективного аориста **ѢѢ**, **ѢѢша** и т. д. (29 примеров), ср.: «**ѢѢ томъ ѢѢста родителя сѣго. ѢѢ ѢѢрѢ крѣтианьстѣи живоуѣа**» (Усп. сб., л. 27а) «**И се по приключаю божию ѢѢша идоуѣе поутѣмъ тѣѣ коупѣци**» (там же, л. 31а); «**И ѢѢ**

<sup>169</sup> Здесь и далее в этом разделе приводимые статистические данные могут содержать погрешности, поскольку они были получены не с помощью сплошного просмотра текста, а с помощью поиска в электронных версиях, осуществляемого по формам глагола *быти*. Если форма была употреблена в нестандартном написании, она могла выпасть из нашей выборки. Сверх того, мы не просматривали употребления формы *бысть*, которая почти никогда не употребляется с причастиями наст. времени. Пропущенными могли оказаться, впрочем, лишь единичные примеры, так что для рассмотрения общих тенденций собранный материал представляется вполне показательным, в силу этого мы сочли возможным пожертвовать исчерпывающей достоверностью ради простоты анализа.

самъ съ братникоу дѣлаа и города дворъ монастырьскыи» (там же, л. 46в). Другие формы встречаются существенно реже. В трех случаях находим форму презенса ксть, ср.: «Градъ ксть Ѡстоа отъ кыкѡ града стольнааго .н. попрыишь» (там же, л. 27а); в одном случае форму соутъ, ср.: «многашьды же и викми соутъ Ѡ пристаѡникъ» (там же, л. 48г); в двух случаях формы имперфекта, ср.: «и се видѣша мѣножьство чьрьноризьць исходаць отъ ветъхыа црѣкѡе. и блхѹтъ градоуще на нареченоу мѣсто» (там же, л. 56вг).

Если обороты с пассивным причастием семантически однообразны, обозначая по преимуществу состояние субъекта (ср.: «бѣ бо оуже болѣзнию лютою одьржимъ» – там же, л. 63б) и лишь в редких случаях – действие, совершаемое над субъектом (см. выше пример с формой *суть*)<sup>170</sup>, то обороты с действительными причастиями употребляются в нескольких разных функциях. Рассматриваемая конструкция часто употребляется для выражения актуально-длительного значения (прогрессив); в Житии встречается 11 примеров такого употребления, ср.: «и отроци бѣша окрестъ его едуще и другыа коня въ утвари вѣдуще пред ним, и тако въ славѣ велицѣ приеха къ печерѣ отецъ тѣх» (БЛДР, I, 370)<sup>171</sup>; «и тако въниде въ храмъ иде же бѣ князь сѣдѡ. и се видѣ многыа играюща прѣдъ нимъ» (Усп. сб., л. 59г). Не менее интенсивно (13 примеров) используется разбираемый оборот и для выражения узуального значения, причем нередко узуальность подчеркивается и лексическими средствами, ср.: «и бѣ по всѡ дѣи бѣжьствуююу слоужьбоюу съвѣршаа съ всѡкымъ съмѣреннѡмъ» (там же, л. 35в); «Оцѣ же нашѣ Феодоси бѣ по всѡ дѣи и ноци мола ба о хѡлюбци изиславѣ» (там же, л. 60б). Как разновидность этого последнего случая можно трактовать и итеративные значения, ср.: «И се же тако же бѣ отъхода въ постыныа дѣи въ

<sup>170</sup> Мы в дальнейшем не будем подробно анализировать конструкции со страдательными причастиями и ограничимся лишь отдельными наблюдениями. Их калькированная природа не столь очевидна, как в случае оборотов с действительными причастиями, во всяком случае тогда, когда страдательное причастие не является пассивной трансформацией предиката со значением актуально-длительного действия. Динамика этих оборотов не столь показательна, как динамика оборотов с действительными причастиями, а их анализ наталкивается на специфические трудности, поскольку не всегда ясно, имеем ли мы дело с предикативным элементом или с атрибутом, выраженным причастием, ср., например, в Житии Сергия Радонежского: «И тако бѣ рука его простерта къ требующим, яко река многоводна и тиха струями» (БЛДР, VI, 356. – курсив издателя). В данном примере форму *простерта* кажется предпочтительным интерпретировать как атрибут, а конструкцию в целом – как составное именное сказуемое. В других случаях мы сталкиваемся с более выраженной амбивалентностью (ср. в том же Житии: «Слава Богу о всемъ и всячьскых ради, о нихже всегда прославляется великое и трисвятое имя, еже и присно прославляемо есть» – там же, 254), устранение которой требует отдельных теоретических разработок, которые позволили бы отличать узуальное от статального, плохо совместимых с обзорным характером настоящей книги.

<sup>171</sup> Данный пример из Жития Феодосия в списке Успенского сборника отсутствует, лист с этим текстом в данном списке утрачен. Пример воспроизводится по спискам Киево-Печерского патерика, использованным в цитирующемся издании. Нет сомнений, однако, в том, что пример не является позднейшей добавкой и что в интересующем нас отношении он не подвергся искажению в позднейших списках.

прѣжѣ реченою пещероу. и ѿтоуду паки многашьды тако же того не вѣдоущю никому же. въ ноши вѣставъ» (там же, л. 57а); «Се бо аще и многашьды ѿхода ксть ѿ насъ, нѣ съ имать въ монастыри семь коньць житию прияти» (там же, л. 49г). С глаголами состояния анализируемая конструкция обозначает состояние агенса (11 примеров), ср.: «Онъ же и о томъ не поскърьвѣ нѣ бѣ радоуа сѧ о пороугании своимъ. и о оукоризнѣ» (там же, л. 61бв); «ихъ же посъла жена нѣкаѧ. иже бѣ прѣдъръжаци въсѧ въ домъ блговѣрнааго князя всеволода» (там же, л. 51в); понятно, что в отдельных случаях семантика глагола может определяться по-разному, в силу чего классификация примера оказывается неоднозначной (состояние или узואльное действие), ср.: «и блгодатню бжню бѣ оутѣшаа сѧ» (там же, л. 50г). Статальное значение может реализоваться и с неодушевленными субъектами в случае прежде всего географических указаний, ср. цитировавшийся выше пример («Градъ ксть ѿстоа...» – там же, л. 27а).

В ПВЛ обороты «*быти* + причастие» встречаются не слишком редко, хотя сравнительно с Житием Феодосия их употребление оказывается ограниченным, и это различие, как кажется, обусловлено жанром. В ПВЛ конструкция с действительным причастием появляется 31 раз; если иметь в виду, что ПВЛ более чем в три раза пространнее Жития Феодосия<sup>172</sup>, это означает, что рассматриваемая конструкция встречается в 3,5 раза реже. В использовании форм вспомогательного глагола заметны некоторые отличия, однако для них трудно найти содержательную интерпретацию. Доминирующими, впрочем, и в ПВЛ оказываются формы имперфективного аориста, встречающиеся в 18 примерах, ср.: «а половину вдасть князю пити. дотиснувьса палчемъ в чашю. бѣ бо имѣа подъ ногътемъ. растворение смрътное» (л. 62; ПСРЛ, II, стб. 155). Несколько чаще, чем в Житии Феодосия, встречаются формы презенса *естъ* (3 раза) и *суть* (4 раза), ср.: «а бѣ естъ сѣда на нбсѣхъ и на престолѣ славимъ ѿ аяглъ» (л. 65об.; там же, стб. 166); «люди. иже суть дань дающе Новугороду» (л. 86; там же, стб. 225). В 4 случаях появляются формы имперфекта, ср.: «и прѣха на мѣсто идеже баху лежаще кости его голы. и лобъ голъ» (л. 15об.; там же, стб. 29). Имеются также два раритета. В одном вспомогательным глаголом является перфективный аорист *бысть*, ср.: «звѣзда вьсиѧ на западѣ. испущающи луча юже прозываху блисталницу. и бы<sup>с</sup> сияющи за .ѿ. дѣии» (л. 61об.; там же, стб. 154; неясно, связано ли употребление перфективного аориста с указанием на временные рамки процесса); в другом – форма будущего времени *будете*, ср.: «аще ли по моему животѣ wskудѣвати начнетъ монастырь. а черноризьци потребами монастырьскими. то вѣдуще будете. ѧко не оугодилъ буду Бу» (л. 69–69об.; там же, стб. 178)<sup>173</sup>.

<sup>172</sup> Если измерять объем числом слов, в Житии Феодосия около 18700 слов, а в ПВЛ – 58300, т. е. Житие Феодосия короче ПВЛ в 3,1 раза. Измерение по числу печатных знаков дает приблизительно те же результаты.

<sup>173</sup> Автор явно имеет в виду состояние, в котором будут находиться монахи, а не только событие разочарования, которое могло бы быть выражено формой *увѣдете*; мы сталкиваемся здесь, таким образом, с весьма изящным использованием рассматриваемого нами синтаксического инструментария.

В ПВЛ рассматриваемая конструкция употребляется в тех же функциях, что и в Житии Феодосия, однако параметры ее использования существенно отличны от тех, которые были описаны выше. Прежде всего, анализируемый оборот весьма редко встречается с актуально-длительным значением; примеров всего два, и оба не слишком выразительны: «оузрѣ и Шлегъ. и ре<sup>ѣ</sup> кто се естъ. и ркоша єму Свѣнгелдиць. и заѣхавъ оуби и. бѣ бо ловы дѣа Шлегъ» (л. 29об.; там же, стб. 62; поскольку предикация *бѣ бо ловы дѣа* употреблена как пояснение с частицей *бо*, подчеркивается не длительность, а фоновость, что характерно не столько для прогрессива, сколько для узуального значения); «и совькупи Юрославъ воа многи. Болеслав же бѣ въ Києвъ сѣда. безумныи же Сѣполкъ рече. елико же Лаховъ по городомъ избиваите а» (л. 54; там же, стб. 131; и здесь пребывание Болеслава в Киеве является фоном для двух событий – действий Ярослава и речей Святополка, так что фокусировка на длительности отсутствует). В данном отношении отличие от Жития Феодосия разительно.

На первый план в ПВЛ выходит обозначение состояния; это употребление интересующей нас конструкции представлено 19 примерами, что составляет более половины всего множества; и здесь бросается в глаза отличие от Жития Феодосия, где данная функция отнюдь не была доминирующей. Разбираемый оборот в статальном значении употребляется для описания разнообразных ситуаций, ср.: «и бѣ шладаа Шлегъ Деревланы. Полами. Радимичи» (л. 10; там же, стб. 17); «и хожаше сквѣзѣ [так!] Печенѣгы глѣ. не видѣ ли кона никто же. бѣ бо оумѣа Печенѣскы [так!]» (л. 26; там же, стб. 54); «и бѣ Юрославъ любѣа црквѣныа оустаы. и попы любаше по велику излиха же бѣ любѣа черноризьци» (л. 57; там же, стб. 139); «Федоисии [так!] бо бѣ любѣа а. занеже живѣста по заповидѣ Г<sup>а</sup>нѣ» (л. 78об.; там же, стб. 203). В двух случаях анализируемая конструкция употреблена при неодушевленном субъекте для описания географических явлений: «бѣ бо тогда вода текущи возлѣ горы Къ<sup>а</sup>евьскыа. и на Подолѣ не сѣдахуть лю<sup>а</sup>е» (л. 21об.–22; там же, стб. 43–44); «суть горы заидуче в луку мора. имѣже высота акы до нѣси. и в горахъ тыхъ кличъ великъ» (л. 86; там же, стб. 225). Вместе с тем употребление рассматриваемой конструкции для выражения узуального значения, представленное 10 примерами, никаких существенных отличий от Жития Феодосия не обнаруживает; приведу пример: «мужа твоего оубихомъ. башеть бо мужъ твои аю волкъ. въсхыщаа и граба» (л. 22; там же, стб. 44). Так же, как в Житии Феодосия, границы между обозначением состояния и узуального действия оказываются размытыми и, можно полагать, не релевантными для пишущего, ср. употребление причастий, обозначающих состояния и узуальные действия в качестве однородных членов: «сии блговѣрныи кнѣзъ Всеволодъ. бѣ измлада любѣа правду. и набѣа оубогиа. ѿ въздаа ч<sup>а</sup>ть еп<sup>а</sup>пмъ и прозвутеромъ» (л. 79об.; там же, стб. 207).

Позднейшая летописная традиция все в большей степени ограничивает употребление конструкции «*быти* + причастие». В Киевской летописи, в полтора раза превышающей по объему ПВЛ (в публикации по Ипатьевскому списку ПВЛ занимает 285 столбцов, Киевская летопись – 430 столбцов), встречается всего 19 исследуемых оборотов, т. е., в грубом приближении, интересующий нас оборот употребляется в два раза реже. В 15 примерах



действительное причастие употреблено с имперфективным аористом, в 4 – с имперфектом, ср.: «Шлегъ же бѣ в то верема несдравуа велми. ѧко не мощи ему ни на конь всѣсти» (л. 188; там же, стб. 526); «Чернии же Клобоуци не восхотѣша. ехати за Днѣпръ. бахоуть бо свато (X, П: сватове) имъ сѣдаше за Днепромъ. близъ и роспрѣвшеса и возвратишаса во своѧси» (л. 233–233об.; там же, стб. 674).

Репертуар функций остается тем же, что и в ПВЛ, однако те тенденции, которые были заметны в ПВЛ, в Киевской летописи проявляются в более утрированной форме. В 14 случаях, т. е. более чем в двух третях всех примеров, оборот обозначает состояние субъекта, причем отчетливо намечаются два состояния, для обозначения которых употребляется данный оборот, – любовь и нездоровье. Для первого используются два взаимозаменяемых трафарета (с *любити* и с *имѣти любовь*), охватывающие 5 примеров, ср.: «и положенъ бы<sup>а</sup> оу Печерьскомъ монастыри. оу Федосьевѣ печерьѣ. бѣ бо имѣа велику любовь къ сѣѣи Бѣи и къ ѡцѣю Федосью» (л. 173об.; там же, стб. 483); «и положенъ бы<sup>а</sup> во цркви сѣго Михаила. и плакашаса по немъ вси Переяславци. бѣ бо люба дружиноу. и злата не сбирашеть» (л. 227об.; там же, стб. 653). Второй трафарет находим в 4 случаях, см. в дополнение к приведенному выше примеру: «и ѡтудѣ посла сѣу Сѣославу Новгороду. вела ему възвѣхати противу <...> бѣ бо оуже Ростиславъ нѣздравуа велми» (л. 188об.–189; там же, стб. 529); «Мьстиславъ же Изаславичъ. съ братомъ Юрославомъ съ Галичанъ. поиде къ Дорогобужю. на Володимира на Андрѣевича. и стаа школо града. бьочеса. Володимиръ же бѣ велми немога» (л. 195; там же, стб. 546). Возможно, в качестве отдельного трафарета стоит трактовать и известное из других текстов употребление рассматриваемой конструкции в статальном значении для географических сведений; впрочем, в Киевской летописи находим лишь один такой пример: «и стаа шба полъи рѣкы Вленъи .б. недѣли бьахоуть<sup>а</sup>. шбои шб рѣкоу тоу. бѣ бо рѣка та твердо текоущи» (л. 217об.; там же, стб. 618)<sup>174</sup>. Прогрессив представлен 4 примерами, один из которых приводился выше (о черных клобуках), и в нем, как и в ряде разобранных выше примеров, подчеркивается не длительность, а новизна (пояснительный характер фразы эксплицирован частицей *бо*); так же устроен и еще один пример: «Томъ же лѣтѣ престависа князь Сѣославъ Ростиславичъ. на Волоцѣ бѣ бо тогда воюа Новгородскую волость» (л. 196об.; там же, стб. 550)<sup>175</sup>. Имеется также один пример рассматриваемой

<sup>174</sup> Можно отметить, что еще в двух случаях мы имеем дело с известной нам неопределенностью между обозначением состояния и узуального действия, и в обоих случаях речь идет о княжении (как отправлении должности), что, возможно, также представляет собой отдельный трафарет: «В то же верема бѣ Андрѣи. Гюргевичъ в Суждали кѣжа и тѣ бѣ не имѣа любви къ Мьстиславу» (л. 194; там же, стб. 543); «Сѣослав же [в др. сп. доб.: идыи] и снаса на поути [в др. сп. доб.: съ] сѣмъ Володимеромъ. и со всимъ полкомъ Новгородьски<sup>м</sup>. бѣ бо. сѣъ его Володимѣръ княжа. в Новѣгородѣ Велицемъ» (л. 217об.; там же, стб. 618).

<sup>175</sup> Еще два примера прогрессива кажутся аномальными и, возможно, свидетельствуют о том, что летописец не вполне владеет навыками книжного языка, связанными с рассматриваемой конструкцией: «и начаша сѣчи и разлоучиша<sup>а</sup> другъ ѡ друга и съ

конструкции в узуальном значении: «бахоуть бо Полотьский кнѣз помагающе Ълговичемъ» (л. 238–238об.; там же, стб. 691). В сравнении с ПВЛ узус Киевской летописи выглядит как редукция исходного потенциала и в количественном, и отчасти в семантическом отношении (использование почти исключительно в сложившихся ранее трафаретах).

Галицко-Волынская летопись реализует ту же модель, что и Киевская. В ней встречается 16 конструкций «*быти* + причастие», что – ввиду существенно меньшего объема Галицко-Волынской летописи (223 столбца) – может интерпретироваться как более интенсивное использование исследуемого оборота, хотя прирост и не является статистически значимым. Как и в Киевской летописи, в качестве вспомогательного глагола употребляются формы имперфективного аориста (10 примеров) и имперфекта (6 примеров): «Глѣбъ же Зеремѣвичь оубѣженъ бы<sup>а</sup> завистью не поусташе его. ѡному же хоташю пороучити домъ свои. и дѣти в роуцѣ его. бѣ бо имѣа до него любовь великоу. во срѣцѣ своемъ» (л. 255об.; там же, стб. 752); «Володимеръ же баше печалоуѡ по великоу. зане не башеть вѣсти ѡ полкоу его» (л. 294; там же, стб. 886). Основной функцией является обозначение состояний (11 примеров), см. оба приведенные выше примера. В 4 случаях рассматриваемый оборот употребляется в узуальном значении, ср.: «и посла Володимеръ моужа хитра. именемъ Алексоу. иже баше при ѡцѣ его многы городы роуба» (л. 291; там же, стб. 876). В одном случае фиксируется актуально-длительное значение: «Шварно же башеть впередѣ ида своимъ полкомъ. а Володимеръ идаше назадѣ своимъ полкомъ<sup>м</sup>» (л. 288–288об.; там же, стб. 866).

Этот вариант функционирования конструкции «*быти* + действит. причастие» отнюдь не является единственным в летописной традиции. Его можно назвать умеренным и условно охарактеризовать как «южный» (имея в виду, что он представлен в Киевской и Галицко-Волынской летописях). Если мы переместимся на север, мы увидим совсем иную картину. Суздальская летопись может трактоваться как столь же показательное развитие традиций ПВЛ, как и Киевская летопись. В интересующем нас аспекте, однако, разрыв с этим общим наследием оказывается в ней куда более радикальным, чем в Киевской летописи. В этом тексте, сравнимом по объему с Галицко-Волынской летописью (199 столбцов издания ПСРЛ, I, стб. 289–488), встречается всего 4 интересующих нас оборота<sup>176</sup>.

Игоремъ же не бѣ кто ѡлоучаса. и вбѣже Игорь в болото. Дорогожичьское» (л. 120об.; там же, стб. 326); «и ѡтолѣ иде за валъ и ста оу Бззаницѣ. ту бо надѣяшеться. Галичкого кнѣз Володимира. к собѣ башеть бо ѡступа ѡ Киева. послалъ по нь. сѡвца Андрѣевича Володимира» (л. 156об.; там же, стб. 433). В обоих случаях глаголы действия употреблены для обозначения результирующего состояния. Во втором примере *ѡступа* выступает в функции причастия прош. времени (что обусловлено его видовой характеристикой), в первом возможна трактовка оборота как конструкции «с причастием-сказуемым в придаточном с вопросительным словом» (Пичхадзе 2011б).

<sup>176</sup> Еще один, пятый, пример может быть добавлен из Академического списка (статья 1223 г.): «понеже оужика сы Романѣ. ѡ племана Володимера прирокомъ Манамаха. бѣ бо великѣ любовь имѣа къ ѡцѣ его. емѣ же порѣчивши по смерѣи свою волость» (л. 233; ПСРЛ, I, стб. 507–508). Характерно, однако, что здесь мы имеем дело с замствованием из Галицко-Волынской летописи, см. в ней этот пассаж под 1224 г. (ПСРЛ, II, стб. 744).

Замечательным образом, они по преимуществу появляются в стилистически отмеченных контекстах, которые можно было бы обозначить как «агиографические». В одном случае данная конструкция встречается в Повести об убиении князя Андрея Боголюбского, написанной как мартирологическое повествование и имеющей параллели в текстах борисо-глебского цикла: «постигши бо ночи суботѣи. взявше оружье ѡко звѣрьє дивии. придоша идеже бѣ блжѣи кнзъ. лежа в ложници. и силою ѡломиша двери оу сѣнии» (л. 124об.; там же, стб. 369). В другом случае мы находим интересующий нас оборот в похвале усопшему ростовскому епископу Пахомию под 1216 г.; энкомиастический контекст отсылает к агиографической традиции: «сѣ бѣ блжѣи еп<sup>а</sup>пъ избраникъ Бжїи. и истинныи бѣ пастырь. а не наемникъ. сѣ бѣ агна а не волкъ. не бѣ бо хитаѡ ѡ чюжи<sup>а</sup> домовъ баѣѣства. ни збираѡ юго ни тѣмъ хваласа» (л. 149об.–150; там же, стб. 439). Еще один пример извлекается из входящего в Суздальскую летопись Жития Александра Невского: «также и сии кнз<sup>а</sup> ѡлександръ бѣ побѣжаѡ а не побѣди<sup>а</sup>. и сего ради нѣкто силенъ ѡ западныѡ страны. иже нарицаются Бжѣи. ѡ тѣх приде хотя видѣти дивныи то возрастъ юго» (л. 168об.; там же, стб. 477). Наконец, в одном случае данный оборот появляется в описании военных хитростей князя Изяслава под 1151 г.: «бѣ бо изъхити<sup>а</sup> [в других списках правильное: исхитрилъ] Изаславъ лодѣ. дивно бѣш<sup>а</sup> бо в ни<sup>а</sup> гребьци гребуть невидимо. токмо весла видѣти. а члѣвкъ баше не видѣти. бахуть бо лодѣ покрыты доск<sup>а</sup>ми. бахуть бо борци стояще горѣ во бронѣ<sup>а</sup> и стрѣлающе. а кормника .б. бѣста. единъ на кормѣ. а другыи на носѣ» (л. 110об.; там же, стб. 331); возможно, способ описания связан с тем, что результат Изяславова хитроумия представлен как пример чудесного. Формальные и семантические характеристики этих четырех оборотов никак не неожиданны: в трех из них использована форма имперфективного аориста (бѣ лежа, бахуть стояще), два – для обозначения узуального действия (бѣ хитаѡ, бѣ побѣжаѡ). Таким образом, диапазон употребления анализируемой конструкции сужен<sup>177</sup>.

<sup>177</sup> В Суздальской летописи встречается также несколько (а именно 4) конструкций с *быти* и страдательным причастием наст. времени. Такие конструкции, обозначающие преимущественно состояние субъекта, окказионально попадают и в других, «южных», летописях и несомненно воспроизводят узус ПВЛ. Красноречивым свидетельством этой преемственности является использование данной конструкции как трафарета для обозначения любви, объектом которой является основной персонаж повествования, см. в Суздальской летописи: «башеть бо в ты дѣи Григорей игуменъ ста<sup>а</sup> Андрѣи. иже бѣ любил<sup>а</sup> Володимеру» (л. 98об.; ПСРЛ, I, стб. 297); «и посадиша и в Ростовѣ на шти столѣ. и Суждали. занеже бѣ любимъ всѣми. за премногую юго добродѣтель» (л. 116об.; там же, стб. 348). В ПВЛ этот трафарет употребляется неоднократно, ср.: «и плакаса по шѣи велми. любимъ бо бѣ шѣмъ своимъ паче всѣхъ. и ста на Лѣтѣ пришедъ» (л. 45об.; там же, стб. 132); «и слугу юго. падша на не<sup>а</sup> прободоша с нимъ. бѣ бо се любимъ Борисомъ» (л. 46; там же, стб. 134); «Все[во]лоду же тогда сущю у шѣи. бѣ бо любимъ шѣмъ паче всеѣ братьи. є [в др. сп.: его] же имаше присно ѡ собе» (л. 54об.; там же, стб. 161); см. еще: там же, стб. 216, 264 (лл. 72, 89). Ср. также в Киевской летописи: «и посадиша и на шти столѣ. Ростовѣ и Суждали и Володимири зане бѣ прилюбимъ вси<sup>а</sup> за премногую его

Это сужение не является специфической чертой Суздальской летописи, скорее можно полагать, что летописцы, создававшие Суздальскую летопись, работали в рамках складывавшейся в XII–XIII вв. «северной» летописной традиции. Во всяком случае данные раннего новгородского летописания еще более красноречивы. В Новгородской первой летописи старшего извода (Синодальный список) встречается только один пример конструкции «*быти* + действит. причастие», причем причастие в нем стоит в форме на *-че* (*держаче*), чего не бывает в других памятниках, которые могут рассматриваться как более книжные, ср.: «И стояша подъ городомъ недѣлю, но города не взяша; но дѣти поимаша у добрыхъ мужъ в тали, и отъидоша проче; и тако быша безъ мира: бяху бо перевѣтъ держаче с Нѣмци плъсковичи, и подъвели ихъ Твердило Иванковичъ съ инѣми» (л. 127об.–128; НПЛ, 77). Таким образом, на севере оппозиция между агиографическими текстами (такими, как Житие Феодосия) и анналистическими памятниками оказывается в ранний период существенно более выраженной, чем на юге.

Кажется, это различие сохраняется и в более поздний период. В качестве примера можно сопоставить Московский летописный свод и Житие Сергия Радонежского – оба текста были созданы в XV в. В последней части Московского летописного свода, описывающей события с 1380 по 1492 гг. (ПСРЛ, XXV, лл. 276–472об.), имеется всего три интересующих нас конструкций, при том что эта часть по объему (более 80000 слов) почти в полтора раза превышает ПВЛ. Все три конструкции употреблены в актуально-длительном значении, что, впрочем, мало о чем говорит, так как на основании трех примеров невозможно делать какие-либо содержательные обобщения. Приведу эти три примера: «Слышавъ же то князь Дмитрей Костянтинович Суздальскыи и посла два сына своя къ царю Тахтамышу, князя Василья да князя Семена. Они же пришедше и не обрѣтоша его, бѣ бо вборзѣ идый на Русь» (там же, л. 286); «В то же лѣто слышав князь Семень Дмитреевич Суздальскыи, что княгини его и з детми изымана и казна его взята, сам бо бѣше тогда бѣгая по Татарьскимъ мѣстом, и посла к великому князю с челобитьемъ и с покорениемъ» (там же, л. 324–324об.); «день бо тои весь каменосѣчци вси дѣлающе бяху на церкви тои, овии своды ведяху, а инии замыкаху своды, носящии же камень и известъ, и дровие носяху, мнозии же восходяще смотряху дѣла оного» (там же, л. 424)<sup>178</sup>.

Совсем иную картину наблюдаем в Житии Сергия Радонежского (данные по не во всем достоверному тексту БЛДР, VI, 254–411). И здесь в сопоставлении с текстами XI–XII вв. (Житием Феодосия, ПВЛ) употребление интересующей нас конструкции сокращается, однако ей не может быть приписан тот уровень маргинальности, который мы видели в Московском

---

добродѣтель» (л. 176; ПСРЛ, II, стб. 490–491); «и пожалова Рюрикъ шюрина своего. бѣ бо любимъ емоу» (л. 239; там же, стб. 694).

<sup>178</sup> В рассматриваемой части встречается также три примера конструкции «*быти* + страдательное причастие наст. времени». В двух случаях они, как и обычно, употреблены для обозначения состояния; в одном случае, однако, появляется более редкое узусальное значение: «А ко князю Дмитрею Шемякѣ и Ивану Можайскому вѣсти по вся дни посылаеми бяху с Москвы от измѣнниковъ» (там же, л. 369).

летописном своде. Текст Жития Сергия (несколько менее 34000 слов) почти в два раза превышает по объему текст Жития Феодосия, при этом в нем встречается 15 конструкций «*быти* + действительное причастие наст. времени». Можно сказать, что исследуемый оборот употребляется в Житии Сергия в четыре раза менее интенсивно, чем в Житии Феодосия, но и при этом он остается важной составляющей синтаксического инструментария автора Жития. Любопытным образом, вспомогательный глагол чаще всего выступает в форме имперфекта (10 примеров) и лишь во вторую очередь в форме имперфективного аориста (4 примера), в одном сомнительном случае вспомогательный глагол стоит в презенсе, ср.: «бяху же звѣрие – стада влъковъ, выюще и ревуще, иногда же и медвѣди» (там же, 300); «Млѣчати убо не можаше, проповѣдати же не смѣаше; но тако бѣ в себѣ дивяся, хвалу въздаа Богу, творящему дивная и преславънаа» (там же, 350); «Убо приходецъ ли еси сѣмо? Нѣси ли слышалъ преподобнаго отца Сергия? Глаголюй съ княземъ той естъ» (там же, 346)<sup>179</sup>.

Семантический диапазон анализируемого оборота в Житии Сергия в целом тот же самый, что и в более ранних памятниках. Как и в ПВЛ и в отличие от Жития Феодосия, наиболее часто рассматриваемая конструкция употребляется со статальным значением (для описания состояния субъекта), ср.: «Митрополиту же послание повелѣвшу прочести; бѣ же написание имуще» (там же, 354); «Бяше бо и та добродѣтелна сущи и зѣло боящися Бога, яко и прежде рождения его увѣдавши и разумѣвши яже о нем таковое знамение, и проявление, и удивление» (там же, 264); таких примеров 7 (т. е. 47%). В трех или четырех случаях (в зависимости от трактовки цитированного выше примера с вспомогательным глаголом *есть*) конструкция применена в актуально-длительном значении, ср.: «И съ другими женами, съ прочими кормилницами, расматривающе бѣаше, мняше, яко от нѣких болѣзни младенцу приключашеся сие бывати» (там же, 266). В трех случаях рассматриваемому обороту может быть приписано узусальное значение, ср.: «И аще ли когда единъ от них или умрѣт, или изыдет от обители, то пакы другый на его мѣсто брат прибудет, да не число истощимо обрящется. Но единаче въ единомъ числѣ двои на десятнем бяху пребывающе, яко нѣкоторомъ от сего глаголати» (там же, 324)<sup>180</sup>. В некоторых случаях

<sup>179</sup> Последний пример может, конечно, трактоваться как именное сказуемое с субстантивированным причастием *глаголюй*. При такой трактовке его следует исключить из корпуса примеров.

<sup>180</sup> К странностям наблюдаемого в Житии Сергия узуса может быть отнесено следующее предложение: «И понеже младу ему сущу и крѣпку плотию, – бяше бо силенъ быв тѣлом, могый за два человека, – диаволь же похотными стрѣлами хотя уязвити его. Преподобный же, очютивъ брань вражию, удрѣжа си тѣло и поработи е» (там же, 312). Оно не соответствует синтаксическим нормам книжного языка по многим параметрам, ср. именит. самостоятельный с дьяволом в качестве субъекта, тавтосубъектный дат. самостоятельный *младу ему сущу*, вводимый подчинительным союзом и в главном предложении соединяемый с субъектом, вводимым частицей *же* (дилетантская пунктуация публикатора не согласуется ни с какой возможной структурой предложения), так что невозможная конструкция *бяше быв* оказывается лишь одной из аномалий. Нормального синтаксического построения не получается и в том случае, если мы *силенъ быв тѣлом*

трактовка неоднозначна: как уже говорилось, предложение может интерпретироваться как содержащее именное сказуемое с причастием в именной части, а не как оборот «*быти* + действительное причастие», ср.: «Тогда же бѣ въ преславнѣмъ и пресловущемъ въ велицѣмъ градѣ Москвѣ, украшааи престолю пресвятыи и преславныи владычица наша Богородица, преосвященный Киприянъ митрополитъ» (там же, 404; редакторскую пунктуацию можно игнорировать); «егда немнози бяху приходящеи и приносящеи, тогда начастѣ скудости бываху потребныхъ, яко многажды на утриа и хлѣбу не обрѣстися» (там же, 332)<sup>181</sup>.

Дальнейшая судьба данной конструкции в русской книжной письменности требует отдельного исследования, однако и из рассмотренных выше данных очевидно, что оборот «*быти* + действит. причастие» выступает как одно из средств стилистической маркировки, которое может служить для дифференциации жанров книжной письменности и регистров письменного языка. Упомяну в этой связи, что данная конструкция довольно широко представлена в Степенной книге, которая связана не только с анналистической, но и с агиографической традицией. Первая степень начинается в этом сочинении Житием княгини Ольги, и в нем вполне ожидаемым образом встречаются две интересующие нас конструкции: «И тако блаженная, видѣ себѣ всячески обогашену и бѣ радуяся душевне, вкупѣ и телеснѣ о величии Божии» (Степенная книга, I, л. 19); «И егда [Владимир] възмужа и самодержествуя бяше, и тогда много о вѣре размышляше, яко же древнии Авраамъ, отеческии богомерзъскии законъ, его же держаше, отнюдъ возненавидѣ» (там же, л. 34об.). Этот узус находит продолжение и в исторической части первой степени; здесь в рамках рассматриваемой выборки из 80 листов (там же, лл. 70–150) встречается шесть употреблений анализируемой конструкции, в основном в статальном значении; такая частота употреблений напоминает скорее Галицко-Волынскую, нежели Суздальскую летопись или современные Степенной книге агиографические тексты. Ср. несколько приме-

---

рассматриваем как деепричастный оборот, вставленный в главное предложение *бяше бо могый за два человека: могый за два человека* больше напоминает пояснение к *силенъ быв тѣлом*, чем основное утверждение, по отношению к которому субординирован деепричастный оборот *силенъ быв тѣлом*. Автор Жития (Епифаний) не справляется в полной мере с книжным синтаксисом, в частности и с разбираемой нами конструкцией.

<sup>181</sup> Стоит отметить, что в Житии Сергия нередко (13 примеров) употребляется и оборот с *быти* и страдательным причастием наст. времени. Стандартной функцией этого оборота является обозначение состояния субъекта; его мы и находим в 12 примерах из 13, см. хотя бы: «И се рекшу святому и мѣсто назнаменовавшу, вѣнезаапу источникъ велии явися, иже и донынѣ всѣми видимъ есть» (там же, 348). В одном случае, однако, фиксируется узуальное значение: «И якоже древле израильтяномъ нѣкогда в пустыни манна от Бога посылаема бяше» (там же, 338). Инновативным расширением в функционировании данной конструкции представляется употребление ее с глаголом *бывати*; в Житии Сергия встречается 6 таких примеров; во всех этих примерах присутствует узуальное значение, несомненно обусловленное характером вспомогательного глагола, ср.: «И уже оттолѣ пища материя въздрѣжание и постъ бяше, и оттолѣ младенецъ повсегда по обычаю питаемъ бываше» (там же, 266); «и яко пищу тѣло, тако и словомъ укрѣпляема бываетъ душа» (там же, 392).

ров: «Адам же и Евва плачущася бѣста, а диаволь радовашеся, глаголя» (там же, л. 95об.); «И тако бяху ликоствующе и красовахуса Божии людие вси» (там же, л. 129об.); «Святой же самодръжець Владимиръ велми оскръбися о разлучении отца, бяху бо въ духовной любви и въ благыхъ свѣтѣхъ всегда пребывающе, о исправлении благочестия подвижающеся» (там же, л. 138). Такое употребление в Степенной книге кажется достаточно постоянным, во всяком случае в последней, 17-ой, степени исследуемый оборот встречается приблизительно с той же частотой, что и в начале памятника; в этой относительно небольшой степени фиксируются три оборота «*быти* + действит. причастие», ср.: «И тако самодръжавный царь и царица его сугубо скорбяще бяху» (Степенная книга, II, л. 761); «И тамо владуще бяху рустии государи и до великаго князя Всеволода Юрьевича Долгорукаго» (там же, л. 763). Такое постоянство употребления может свидетельствовать о том, что рассматриваемый оборот не воспроизводит компилируемые в Степенной книге источники, а является стилистическим инструментом, сознательно используемым составителями памятника (видимо, в силу подчеркнуто сакрализованного характера исторического изложения; ср. о лингвистической гетерогенности в Степенной книге § V-6.3).

Эта черта отличает Степенную книгу от большинства анналистических текстов XVI–XVII вв., которые могут интерпретироваться как развивающие упоминавшуюся выше «новгородскую традицию». Во всяком случае в обследованных нами Новгородской второй летописи и Летописце 1619–1691 гг. интересующая нас конструкция вообще не встречается<sup>182</sup>. Таким образом, можно сказать, что стилистически немаркированное употребление конструкции «*быти* + причастие» характерно для стандартного церковнославянского регистра, тогда как в гибридном регистре эта же конструкция приобретает жанрово-стилистическую значимость.

<sup>182</sup> Показательно, что данная конструкция практически не входит в репертуар синтаксических средств такого аномально искусственного книжного памятника (искусственного прежде всего на синтаксическом уровне), как «Временник» Ивана Тимофеева. Это обстоятельство может указывать на чуждость данной конструкции большинству тех письменных традиций, на которые мог ориентироваться Тимофеев. Лишь в одном случае в этом немаленьком тексте пример выглядит бесспорным: «Въ наставшее же сопротивъ невѣрныхъ ополченія первореченное время. бяху, собравшеся во оградѣ той, вся державы купно благородіемъ великія достойноправителя вся» (Тимофеев, л. 68–68об.; проставленная издателем пунктуация вводит в заблуждение). Еще в одном случае конструкцию, кажется, целесообразно интерпретировать как именное сказуемое с причастной именной частью: «яко той естъ вами царствуя» (там же, л. 224об.). Наконец, в еще одном случае мы находим аномальное синтаксическое построение, из которого рассматриваемый оборот не может быть вычленен без натяжек: «егда по случаю нѣкако песь восхитить нѣгдѣ не по естеству, но снѣдъ царску, бѣжитъ въ мѣсто тайно тоя снѣсти, прочіи же пси, таковое узрѣвше восхищенное, у единого отъемлютъ и наслажаются вси купно чрезуестественнаго, несвойственного пожирають же растерзательно и небрежно обаче и растрашають многа, прерывающе, у другаго овъ отъемъ, овъ много и инъ же мало, яко вѣдяще баше не свое всѣмъ бываетъ бо имъ, за се имъ же отъ прочихъ въ тѣхъ обидѣннымъ изгрызатися» (там же, л. 169об.–170; неясно, с каким субъектом согласовано *баше* и какова связь между *баше* и *бываетъ*).

**3. 3. Причастия при глаголах восприятия.** К числу причастных конструкций, калькированных с греческого и вошедших в употребление книжного языка, относится и употребление причастий в вин. падеже после глаголов восприятия (Исаченко, I, 86; Успенский 2002, 256). Причастие представляет собой свернутую предикативную конструкцию, в которой субъект действия (объект, если причастие является страдательным) стоит в винительном падеже, а само действие выражается причастием, согласованным с субъектом. Ср.:

Εἶδεν δύο ἀδελφούς... βάλλοντας  
ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν  
(Мф. 4: 18)

**Видѣ два брата... вѣмещюща**  
**мрѣжю въ море** (Мстислав. ев. 31г)

В оригинальных стандартных церковнославянских текстах такие конструкции вполне обычны, ср. в Житии Феодосия: «**Видѣвъши кго пекоуща проскоуры**» (Усп. сб., 29г). В гибридных текстах данная конструкция представлена не столь широко. Интенсивность употребления этого оборота определенным (хотя и не жестким) образом коррелирует со степенью книжности текста. Как и в случае с конструкцией «*быти* + причастие», хотя и менее выраженным образом, частота рассматриваемой конструкции зависит от того, насколько текст ориентирован на тексты основного корпуса; огрубляя, можно сказать, что жития чаще используют данную конструкцию, чем летописи, но и в летописях, и в житиях частота употребления зависит от книжных установок составителей.

Хорошей иллюстрацией могут служить различные редакции Жития Михаила Клопского. Как уже упоминалось (§ II-5), разные редакции этого произведения различаются степенью книжности. Первоначальная редакция, составленная в Новгороде в конце 1470-х годов (Дмитриев 1958, 47), отличается краткостью изложения и простотой языка (в летописи говорится, что житие «написано бысть <...> вельми просто» – Ключевский 1871, 210), некоторые текстологические различия между вариантами А и Б этой редакции сейчас не имеют для нас значения. На основе этой редакции, скорее всего в последнее десятилетие XV в., была составлена вторая редакция жития, главное отличие которой от первой состоит в целенаправленном «сакрализующем» многословии автора; язык становится более книжным, хотя многочисленные коллоквиализмы первоначального текста устраняются весьма непоследовательно, особенно в прямой речи; составитель второй редакции не в полной мере владеет синтаксисом книжного языка, и этим неполным владением, отражающимся в ряде ошибок, объясняется, возможно, его сдержанность в переработке текста его предшественника<sup>183</sup>.

<sup>183</sup> Основания для датировки второй редакции 1485–1504 гг., предложенной Л. А. Дмитриевым (Дмитриев 1958, 62–64), не кажутся вполне убедительными, она могла появиться и в начале 1480-х годов, и после 1504 г. Существенно, что она возникает позже первой редакции и предшествует Тучковской редакции 1537 г. Мнение В. О. Ключевского о том, что первая редакция была сокращенной переделкой второй (Ключевский 1871,



В 1537 г. по поручению новгородского архиепископа Макария новую редакцию жития составил В. М. Тучков; в этой редакции добавлено риторически украшенное предисловие и несколько посмертных чудес и, главное, радикально переработан язык. В. М. Тучков, работавший со второй редакцией, но, возможно, знавший и первую, решительно устраняет коллоквиализмы и существенно окнижняет как синтаксис, так и лексику; он пишет на выдержанном книжном языке, так что в данной редакции языковая фактура текста оказывается радикально измененной. Эти изменения фактуры касаются и интересующего нас оборота с причастием при глаголах восприятия. Соотношение трех редакций можно видеть из следующей таблицы (цифры в конце примеров означают страницы издания Л. А. Дмитриева – Дмитриев 1958):

<i>Тучковская редакция</i>	<i>Первая редакция</i>	<i>Вторая редакция</i>
и вшед, обрете некоего, во иноческа обочлена сядяща, пред ним свещу горящу (145)	И он войде в келию, аже старец сedit на стуле, а пред ним свеща горит (89)	и виде в келии старца инока на стуле сядяща, а пред ним свеща горит (112)
обрете старца пишуца (145)	И он посмотрил в окно в келию, аже старец сядя пишет (89)	И игумен посмотри в окно в келию. Он же, предъреченный старец, сядя пишет <i>вар.</i> : Виде преж реченнаго старца сядяща и пишуца (113)
Он же тая же вещаше, яже слыша игумена глаголюща (145)	Нет	и отвеща те же речи, еже глагола игумен (114)
Слышав же князь чтуща святаго, пришед близ, и възре на нь (147)	И князь слышав голос его да посмотрив в очи, и познал его (91)	и абие князь, услышав глас его, и приблизися к нему скоро да посмотри в очи его. И позна и (118)
Он же, видя себе почитаема, сугубо уродство прилагаше себе (147)	Нет	Нет
и зрит святаго, пишуца словеса книжная на песце (147)	и поиде понамарь по водицу к церкви, аже Михайла пишет на песку (91)	поиде пономарь по водицу к святой церкви на брег реки и узре преподобнаго Михайла пишуца на песку словы книжными (119)

210–217), не выдерживает текстологической критики (Дмитриев 1958, 66–72) и кажется абсурдным в контексте того, что мы знаем о работе средневековых русских книжников.

<i>Тучковская редакция</i>	<i>Первая редакция</i>	<i>Вторая редакция</i>
и виде три мужа стояща (148)	аже явились 3 мужи у церкви <i>вар.:</i> на монастыре стоят три мужи (90, 101)	Абие явишася три мужи, на монастыре стояще у церкви (116)
Нет	Нет	И узрев церковь совершену, рад бысть вельми (122)
зрю бо тя в велице беде суща (151)	Нет	Нет
Слышах, княже, землю трикраты вопиющую и тебе прияти хотящу (156)	и Михайла князя за голову погладить да молвит: «Княже, земля вопиет!» (96)	И паки старец блаженный принял князя за голову да погладил своею рукою и рече трижды: «Княже, земля вопиет ти!», второе и третицею: «Княже, земля вопиет ти!» (133)
и виде вельможу некоего, Ивана именем, нарицаемаго Немира, во обитель пришедша (157)	Нет	В та же времена приехал во обитель живоначальная Троицы... посадник Иван Васильев Немир (134)
Нет	Нет	И тако въшедше в монастырь и узреша старца блаженного по монастырю ходяща, и благословившася у него (134)
Братиа же, видевше святого конечно изнемогающа, многи слезы изливаху (158)	Нет	Нет
Сему же пришедшу, видит святого зелне изнемогающа, святых тайн хощеть причастника его сотворити (158)	Нет	Нет
братиям же дивящимся, видевше святого толика изнемогша, и паки толику крепость приемша (158)	Нет	Нет

<i>Тучковская редакция</i>	<i>Первая редакция</i>	<i>Вторая редакция</i>
и видевше того к господу отшедъша, и руце креста-образно согбене имуща, и образом, яко спяща и благоухания многа испущающа (158–159)	И приидоша х келии, и влезоша в келью, блаженному лежащу, аки спящу, а темьяну курьшуся во зглавьи, преставльшуся ему от земля на небо (109)	И приидоша к келии и тако влезоша в келию и видеша абие блаженному лежащу, акы спящу, а темьяну курящуся в зглавии его, а душа его к богу отошла (138)
И шедше, възвестиша игумену святого к господу отшедъша (159)	Нет	Нет
и обретоша землю, яко посреде лета ни мало от студени померзъшу (159)	Ино того места досмотриша, аже земля тала (97)	И скоро досмотреша того места и учаша копати, аже земля тала, яко же и среде лета (139)
Святый же виде того в толице беде суща (162)	Бьюшуся караблю о дно моря и бысть беда велия (97)	буюшуся кораблю в волнах, яко о дно моря, и бысть беда велия (139)
Сущии же в дому его рыдаху, видяще его ни едином от уд движуща (163)	Нет	Нет
и виде святого к нему пришедша и глаголюща (164)	Нет	Нет
и видит себе здрава, яко никогда же болезновавше (164)	Нет	Нет
Святый же виде их в толице беде сущих и ни откуда надежи спасения имеющих, ускоряет на помощь (165)	Нет	Нет

Как можно видеть из таблицы, в Тучковской редакции конструкция с причастием после глаголов восприятия употреблена 21 раз, и такое употребление надо считать частотным. Это те параметры, которые можно наблюдать в хороших церковнославянских текстах, прямо ориентированных на образцы основного корпуса, таких как, например, Житие Феодосия, в котором рассматриваемый оборот появляется приблизительно в два раза большим объемом, но которое и само почти в два раза больше Тучковского текста. Из сопоставления видно, как Тучков внедряет анализируемую конструкцию в переделываемый им текст, заменяя ею придаточные предложения или независимые предикативные единицы, ср.: «и отвеща те же речи,

еже глагола игумен» > «Он же тая же вещаше, яже слыша игумена глаголюща». Это позволяет ему достичь большего разнообразия и лаконичности синтаксических построений, придать языку более книжный характер, согласующийся с риторической разработанностью повествования.

Во второй редакции рассматриваемый оборот употребляется спорадически. Хотя она в силу своей многословности даже превышает по объему Тучковскую, анализируемая конструкция встречается в ней всего несколько раз: шесть, если учитывать вариант, встречающийся в одном из списков, и пример с неправильной падежной формой объекта (дательный вместо винительного: *видеша абие блаженному лежащу*)<sup>184</sup>, свидетельствующий, как кажется, о том, что составитель не вполне владел данным синтаксическим построением, и четыре, если не делать этих допущений. Такая пропорция напоминает памятники, ограниченно ориентирующиеся на основной корпус, такие, как, например, Галицко-Волынская летопись.

Наконец, в первой редакции Жития интересующая нас конструкция полностью отсутствует, что, конечно, не делает язык этой редакции не-книжным (в нем достаточно много книжных синтаксических построений, регулярно употребляются формы аориста и т. д.), но помещает его в той части спектра книжных текстов, в которой располагаются памятники, в наименьшей степени ориентированные на основной корпус, такие, например, как Новгородская первая летопись или Новгородская вторая летопись. Кажется правдоподобным, что составитель первой редакции именно в данной языковой традиции и работал, несмотря на агиографический характер создававшегося им произведения.

Разобранный пример дает своего рода систему координат, в которой могут быть расположены различные памятники восточнославянской письменности. Мы ограничились лишь данными, полученными при обработке электронных версий текстов и относящимися только к двум глаголам: *видети* и *слышати*. Построения с этими глаголами составляют обычно от трех четвертей до пяти шестых всех конструкций рассматриваемого типа, так что для предварительных суждений полученные выборки достаточно показательны. Получающаяся в результате картина не содержит ничего неожиданного, принципиально отличающегося от того распределения памятников, которое мы наблюдали в случае конструкций «*быти* + причастие».

Действительно, в наибольшем количестве исследуемый оборот встречается в Житии Феодосия. В этом сочинении 8 рассматриваемых конструкций с глаголом *слышати* и 29 с глаголом *видети*, ср.: «*аще бо кто и не видѣвъ ꙗкѣ ти слышааше ю бесѣдоующу. то начынаше мнѣти моужа ю соудца*» (Усп. сб., л. 286); «*и ѿтолѣ аще коли приставаше тыа играти. ти слышааше блаженаго*

<sup>184</sup> Можно полагать, конечно, что предложение из второй редакции «И приидоша к келии и тако влезоша в келию и видеша абие блаженному лежащу, аки спящу, а темьяну курящуся в зглавии его» восходит к предложению из первой «И приидоша х келии, и влезоша в келью, блаженному лежащу, аки спящу, а темьяну курящуся во зглавьи» и что составитель, вставив *видеша*, просто не исправил дат. падеж, однако такой недосмотр как раз и говорит о недостатке книжного мастерства. Данный пример, среди прочего, отчетливо указывает на ошибочность текстологических построений Ключевского.

пришѣдѣша. то повелѣвааше тѣмъ прѣстати ѿ таковыа игры» (там же, л. 60а); «ако же и властелинъ града того видѣвъ штрока въ такомъ съмерении и покорении соуща. възлюбѣ зѣло» (там же, л. 30б); «и се видѣмышь въпадѣшу въ нѣ мърѣтвоеу плавающюу. въ нѣмъ» (там же, л. 53б). Интересно отметить аномальные употребления данного оборота, когда причастие оказывается связано однородной связью с объектом-существительным, а субъект причастия (в аккумулятиве) является одновременно определением к объекту-существительному: «наипаче же вывѣшенъ съ тѣмъ въ келни ти видѣвъше кротость кго и несѣпаникъ по всѣа нощи. и почитающа съ прилежанникомъ сѣбѣа книги. и оучаща паки на мѣтвоеу» (там же, 45г).

Ни один другой из немногочисленных обследованных мною восточно-славянских памятников не употребляет оборот причастия при глаголах восприятия с той же интенсивностью, что Житие Феодосия. Хотя Житие Сергия существенно больше по объему Жития Феодосия, в нем всего 8 оборотов с глаголом *слышати* и 8 оборотов с глаголом *видети*, ср.: «Егда же ли кого слышаше бесѣдующа, два или трие съшедшеся вкупѣ, или смѣхы тѣкуща, о сем убо негодоваше» (БЛДР, VI, 330); «и видѣли тебѣ по всѣа дни съвършающа святую литургию» (там же, 316). Такие параметры скорее напоминают вторую редакцию Жития Михаила Клопского, нежели Житие Феодосия, хотя отсюда не стоит делать существенных выводов о степени книжности Жития Сергия. Ясно, что этот текст в меньшей мере следует классическим образцам, чем Житие Феодосия, и в большей степени ориентируется на локальные языковые традиции, но этот общий момент в разной степени сказывается на разных чертах книжного синтаксиса; частные особенности требуют отдельного обширного исследования.

Летописная традиция также довольно разнообразна, хотя общие контуры вариативности узуса до известной степени знакомы нам по конструкциям с «*быти* + причастие». В ПВЛ встречается три оборота с глаголом *слышати* и 14 оборотов с глаголом *видети*, и это – если учесть соответствующие объемы – почти на порядок меньше, чем в Житии Феодосия. Различие здесь существенно более выражено, чем в случае конструкций «*быти* + причастие». Тематически имеющиеся примеры никак специально не охарактеризованы, ср.: «и видѣ всла стояща на игумени мѣстѣ» (л. 70об.; ПСРЛ, II, стб. 182); «и подѣступиша ближе. и слышаша. блѣжнаго Бориса поюща заоутреню» (л. 50; там же, стб. 119). Аналогичные статистические параметры характеризуют и Киевскую летопись, приблизительно в полтора раза превышающую по объему ПВЛ; здесь три оборота с глаголом *слышати* и 24 оборота с глаголом *видети*, ср.: «и види Юрослава сѣдаща на шти мѣстѣ. в черни матли и въ клобуцѣ» (л. 167; там же, стб. 464); «Сѣослава же шба Шлговичъ и Всеволодичъ. и Рюрикъ и. инии кѣзи слышавше идуча Изаслава. Андрѣевича съ силою мноюу. Ростовскою. оубоавшеса» (л. 182; там же, стб. 509). Сходные параметры и у продолжения ПВЛ по Лаврентьевскому списку; здесь обнаруживается 8 оборотов с глаголом *слышати* и 16 оборотов с глаголом *видети*, ср.: «Глѣбъ постоѣвъ мало видѣвъ Мстислава бѣжавша. побѣже гони<sup>м</sup> Бжѣимъ гнѣво<sup>м</sup>» (л. 130; ПСРЛ, I, стб. 384); «Сѣослав же слышавъ ихъ бѣжавши<sup>х</sup>. възвратиса г Кыяеву со всею князѣюу» (л. 135; там же,

стб. 399)<sup>185</sup>. В Галицко-Волынской летописи интенсивность употребления разбираемой конструкции несколько снижается; в ней нет оборотов с глаголом *слышати*, а с глаголом *видети* имеется всего 9 примеров, ср.: «видѣвъ же шкрѣтнаѧ села бѣжащаѧ во гра<sup>ѧ</sup>. много же множество. и нѣ бѣ емоу кого послати» (л. 275об.; там же, стб. 823)<sup>186</sup>.

Ожидаемым образом раннее новгородское летописание образует отдельную лингвистическую традицию, в которой специфически книжные синтаксические средства используются более ограниченным образом, чем в других древнейших летописях. В Новгородской первой летописи по Синодальному списку исследуемые обороты с глаголом *слышати* вообще отсутствуют, а с глаголом *видети* встречаются в количестве трех, причем один из примеров относится к специфической по языку Повести о взятии Царьграда, ср.: «и видеше воду текущую, идоша прочь, и не обрѣтоша его» (л. 65об.; НПЛ, 46); «и потом тѣгда же змѣи видѣша лѣтящѣ» (л. 78; там же, 52); «И кто не прослзѣться о семъ, видяще мѣртваца по уличамъ лежаща, и младѣнца от пѣсь изедаемы» (л. 111об.; там же, 69). Такие параметры характерны и для позднейшего летописания, хотя было бы поспешным утверждать, что это сходство обусловлено преемственностью. Скорее можно говорить о том, что в конце XVI–XVII вв. появляется ряд анналистических текстов, авторы которых плохо владеют книжным языком, поэтому избегают специфически книжных синтаксических конструкций. Так обстоит дело, например, в Новгородской второй летописи, в которой употребление рассматриваемой конструкции ограничено тремя примерами с глаголом *видети*, ср.: «и видѣхъ до 6 час по вся дни дѣявола имуща лукъ напряжен» (л. 28–28об.; ПСРЛ, XXX, 155); «овогда видяху его въ Еуфиевской [так в ркп.] паперти сѣдяща в одной ряскы, иногда же видяху его в полдни у Святѣи сѣдяща в одной ряскы и без манатии» (л. 166; там же, 200); «во утри видѣ арихиепископъ Лука спасовъ образ написан не со благословеною рукою, но сы сжатою» (л. 171; там же, 202). В Летописце 1619–1691 гг. ситуация аналогична, встречается лишь четыре примера с глаголом *видети*, ср.: «видяще телеса их мертвыя лежаще неустроены» (л. 695; ПСРЛ, XXXI, 182); «святѣйший Иоаким, патриарх московский и всея Росии; видя их смущающихся, нача учити» (л. 713–713об.; там же, 193), и т. д.

<sup>185</sup> Можно отметить, что интересующий нас оборот встречается и в приписке Лаврентия 1377 г.: «Слышите Павла ап<sup>ѧ</sup>ла. глѣща не клените. но блг<sup>ѧ</sup>вите» (л. 173; ПСРЛ, I, стб. 488). Интересующая нас конструкция использована здесь в одном из трафаретов, служащих для введения цитат из Св. Писания, ср., например, в тексте Лаврентьевской летописи: «Соломона же слыша глѣща. вда<sup>ѧ</sup>и нищему Бѣ взаимъ дае<sup>ѧ</sup>» (л. 43об.; там же, стб. 125); «слыша бо Г<sup>ѧ</sup>а глѣща. аще створисте братѣѣ мои меншеи. то мнѣ створисте» (л. 124; там же, стб. 368); «слыша Г<sup>ѧ</sup>а глѣща. аще створисте бра<sup>ѧ</sup>и мои сеи меншеи то мнѣ створисте» (л. 142об.; там же, стб. 423).

<sup>186</sup> В одном случае в Галицко-Волынской летописи конструкция явно испорчена: «видѣвъ же Данилъ. Лахы крѣпко идоущимъ на Василка. керълѣшь поющимъ. сильнѣнь [так в изд.] гласъ ревоуще в полкоу ихъ» (л. 270; ПСРЛ, II, стб. 803). Трудно судить, насколько этот пример может свидетельствовать о том, что автор не в полной мере умеет употреблять рассматриваемую конструкцию.

Не все поздние летописи, конечно, устроены таким же образом. Некоторые из них ориентированы на образцы древнего летописания и – до какой-то степени – на тексты основного корпуса. Как говорилось выше (§ III-5), степень ориентации на эти модели может быть разной в разных фрагментах текста и отчасти зависеть от их тематики. В целом, однако, такая ориентация предполагает использование анализируемых нами конструкций по крайней мере в той пропорции, которую мы наблюдали во второй редакции Жития Михаила Клопского. Именно такое употребление мы находим в последней части Московского летописного свода (ПСРЛ, XXV, 200–333, л. 276–472об.), охватывающей годы с 1380 по 1492. В этом обширном фрагменте встречается два оборота с глаголом *слышати* и 16 оборотов с глаголом *видети*, ср.: «Князь же велики внутрь церкви услыша князя Ивана глаголюща и възопи велми» (л. 370); «И окрыша гробъ, видѣша его лежаща всего цѣла в тѣле, яко же и пресвященныи митрополит Иона, и ризы его ни мало не истлѣша» (л. 458об.). Интенсивность употребления рассматриваемой конструкции в Московском летописном своде невелика, но она все же значимо выше, чем в Новгородской второй летописи и вполне сравнима с характеристиками второй редакции Жития Михаила Клопского. Я не производил подсчеты по тексту Степенной книги, но неформальные наблюдения позволяют предположить, что исследуемый оборот употребляется в ней ненамного чаще, чем в Московском летописном своде, причем, как и в этом последнем тексте, без определенной тематической или стилистической привязки, ср. «Видя тогда <...> огненныя пламы до облакъ распалющихся» (Степенная книга, II, 356); «Видѣ его состарѣвшися и вопроси его» (там же, 372).

Сделанные наблюдения позволяют считать, что рассматриваемый оборот является специфически книжной конструкцией, входящей в обычный репертуар книжного языка, хотя и не непременно применяющейся во всяком книжном тексте (ср. выше о первой редакции Жития Михаила Клопского). В силу этой своей природы данная конструкция может рассматриваться как синтаксический инструмент, служащий для дифференциации книжных и некнижных регистров. Вместе с тем интенсивность употребления этой конструкции различна в разных вариантах книжного языка, владение ею отличает искусных книжников от неискусных и, видимо, вполне осознается восточнославянскими книжниками в этом качестве.

#### 4. Прочие причастные конструкции

Ряд описанных выше процессов характерен – с теми или иными модификациями – не только для дательного самостоятельного, но и для других причастных конструкций. В частности, как автономное употребление (не зависимое ни от какого главного предложения), так и связь с главным предложением с помощью подчинительных и сочинительных союзов наблюдаются не только у дательного самостоятельного, но и у неабсолютных причастных конструкций и у так называемого именительного самостоятельного (см.: Корин 1995, 262). И в этом случае мы, надо полагать, имеем дело с процессом переосмысления причастий как автономных или полуавтономных

предикатов. История дательного самостоятельного показывает, как могут происходить процессы данного типа в книжном языке, и в этом отношении прослеженное нами развитие может служить весьма полезным введением в изучение исторического синтаксиса причастий в целом.

Эти процессы, однако, более гетерогенны и вовлекают больше различных формальных и функциональных моментов, чем история одного лишь дательного самостоятельного. Одним из важных отличий обычных (согласованных) причастных оборотов от дательного самостоятельного является их наличие в некнижном языке, в частности, видимо, и в языке разговорном (об этом могут свидетельствовать, как уже говорилось, берестяные грамоты). Понятно, что характер функционирования причастий в разговорной речи и некнижных текстах отличался от того, который свойствен текстам книжным, в частности переводным. Одни различия могут быть обусловлены несходствами коммуникативного задания (скажем, делового документа и церковной гомилии), другие – различиями реализуемой языковой традиции (например, церковных канонов и предписаний местного светского законодательства). Столкновение этих разнородных и порою разнонаправленных факторов, образующих многомерное силовое поле, определяет сложность возникающих здесь проблем, необходимость анализа памятников разных типов и разных периодов, делающую практически невозможным сколько-нибудь исчерпывающее описание происходивших в этой области процессов. Рассматривая ниже эти проблемы, мы с печальной неизбежностью констатируем, что наше изложение останется предварительным и фрагментарным. Его целесообразно начать с материала некнижных текстов, который, как это ни странно, остался до сих пор практически не описанным.

**4. 1. Причастия в некнижных текстах: юридические кодексы.** Как уже говорилось, в некнижных текстах причастия встречаются относительно редко и в ограниченном наборе функций. Обращусь сначала к Русской Правде (в Пространной редакции), которая, как это ни странно, в данном аспекте подробно не анализировалась (ни слова, например, не сказано о причастиях в синтаксических наблюдениях С. П. Обнорского – Обнорский 1946, 22–27). Всего в Русской Правде (Синодальный вид – РП, I, 123–133) встречается 30 действительных причастий настоящего и прошедшего времени, 8 из них несогласованные (26,7%); стоит отметить, что, за исключением одного спорного случая, все несогласованные причастия встречаются при субъекте в дат. падеже (т. е. субъектом причастия является имя, в главном предложении стоящее в дат. падеже и являющееся агенсом основного действия), ср.: **«нѣ тако же вывести кмоу послухы любо мытника, передъ кымъ же купивъше, то истыцю личе взати»** (ст. 39 – РП, I, 126; **купивъше** относится к **кмоу**); очевидно, что такого рода неполноценный субъект может мешать работе механизма согласования<sup>187</sup>. Все действительные причас-

<sup>187</sup> Спорным является следующий пример: **«Аже кто своего холопа самъ досочитъся въ чикъмъ любо [го]родѣ, а воудеть посадникъ не вѣдалъ кго, то повѣдавшѣ кмоу, поати оу него штрокъ, и шедъше оувѣзати и, и дати кмоу вѣзевнокъ 10 коунъ»** (ст. 114 – РП, I, 133). Субъект **повѣдавшѣ кмоу** – это хозяин холопа, который выступает как номинативный



тия наст. времени, в которых возможен выбор между *ч* и *щ* на месте *\*tj*, в соответствии с некнижным характером памятника употреблены в форме с *ч* (**дадоу<sup>че</sup>, закладаю<sup>че</sup>** [bis] – РП, I, 130, 132).

Важно указать, что, за исключением одного особого случая, никаких аномальных («некнижных») причастных конструкций (причастие в функции независимого предиката, причастие с субъектом не в им. или дат. падежах) в Русской Правде не встречается. Особым случаем является заголовок ст. 96: **«А се закладаю<sup>че</sup> городъ»** (РП, I, 132), в котором независимость причастия явным образом обусловлена закономерной синтаксической неполнотой заголовка. Еще в одном случае причастие не имеет видимого субъекта, однако отсутствие субъекта стоит в этом случае связывать не с независимостью предиката, а с чисто адвербиальной функцией причастия, ср.: **«нѣ сынове кѣго оуставиша по ѡтци на коуны, любо бити и [холопа, ударившего свободного мужа] розважавше, или взати гривна кунѣ за соромъ»** (ст. 65 – РП, I, 131).

В остальных 28 случаях причастные обороты обладают однозначно устанавливаемым субъектом, эксплицитно или имплицитно присутствующим в главном предложении. В 18 случаях субъект является «номинативным», в 10 случаях – «дативным» (о дативном субъекте в старославянских памятниках см.: Вечерка 1961, 111–115). В большинстве случаев и номинативный, и дативный субъект имеют в главном предложении эксплицитное выражение, однако это не является правилом, ср.: **«Искавши ли послуха, и не налѣзю<sup>тъ</sup>»** (ст. 21 – РП, I, 124); пример с имплицитным дативным субъектом см. в примеч. 43. В 18 случаях причастие находится в препозиции к личному глаголу, в 11 случаях – в постпозиции.

Во всех случаях предикат, обозначенный причастием, явным образом субординирован по отношению к главному предложению. Характер субординации коррелирует с типом субъекта и позицией причастного оборота (препозицией или постпозицией по отношению к главному предложению), хотя эта корреляция не реализуется как жесткая зависимость. В случае номинативного субъекта стоящий в препозиции причастный предикат, как правило, обозначает некоторый дополнительный компонент действия, трактуемого в главном предложении, или действие, подаваемое как уточняющий аспект главного действия, порою определяющий характер рассматриваемого казуса (ср.: **«Оже ли вынезъ мьчъ, а не оутнетъ, то гривноу коунѣ»** – ст. 24, РП, I, 124). В одном случае причастный оборот с препозитивным причастием прош. времени указывает на нарративное предшествование, ср.: **«[П]о Гѣрославѣ же пакы съвѣкоупивъшесѧ сынове кѣго <...> и ѡтложиша оубиикѣ за голову»** (ст. 2 – РП, I, 123); понятно, что такие нар-

---

субъект (**кто**) в начальном предложении. Если, не боясь существенных натяжек, отнести этот причастный оборот к данному субъекту, перед нами будет несогласованное причастие при номинативном субъекте. Если же относить этот причастный оборот к имплицитному «дативному» субъекту инфинитива **поати**, что более приемлемо и по формальным (предложение начинается с **то**), и по семантическим (действие является условием наема отрока) соображениям, мы и здесь имеем несогласованное причастие при субъекте в дат. падеже, употребленное точно таким же образом, как следующее в тексте (**шедъше оувазати и**).

ративные фрагменты в составе юридического кодекса имеют исключительный характер, хотя отношение предшествования в данном классе причастных конструкций может иметь место и в ненарративном контексте, ср.: «Искавшє ли послоуѣха, и не налѣзюуть» (ст. 23 – РП, I, 124).

Постпозитивный причастный оборот при номинативном субъекте может также обозначать дополнительный компонент действия, ср.: «Аже кто оударитъ мечемъ, не вынесѣтъ кѣго, или роукоятю, то 12 гривне продаже за обидоу» (ст. 23 – РП, I, 124<sup>188</sup>), хотя чаще постпозитивное причастие играет роль обстоятельства образа действия (ср.: «Аже господинъ бытъ закоупа про дѣло, то безъ вины кѣтъ; бытъ ли не смысла, пытанъ безъ вины, то тако же въ свободнемъ платежъ, такоже и въ закупѣ» – ст. 62, РП, I, 130) В двух случаях причастный оборот функционирует как придаточное изъяснительное, ср.: «а шномоу желѣти своихъ коуны, зане не знаеть оу кого купивъ; познать ли на долзѣ оу кого то купивъ, то свои коуны възметь» (ст. 37 – РП, I, 125); такое употребление причастия представляется архаическим; во многих списках Русской Правды купивъ заменяется на купилъ.

Постпозиция благоприятствует адвербиальной функции причастия и при дативном субъекте, ср., например: «любо бити и розважавше» (ст. 65 – РП, I, 131). В одном случае постпозитивный причастный оборот с дативным субъектом имеет значение относительного придаточного: «А и своего города въ чюжую землю свода нѣтоутъ, нѣ тако же вывести кмоу послоуѣхы любо мѣтника, передъ кѣмъ же коупивъше, то истѣцю личе възати» (ст. 39 – РП, I, 126); и это употребление можно считать архаическим<sup>189</sup>.

При препозиции причастного оборота с субъектом в дат. падеже субординация носит обычно иной характер. Поскольку субъект стоит при инфинитиве, а инфинитивное предложение имеет значение распоряжения (повеления, санкции), причастный оборот в большинстве случаев обозначает действие (условие), в результате совершения которого вступает в силу трактуемое в статье распоряжение, ср.: «нѣ кѣже далъ кмоу господинъ плочѣти и бороноу, шт него же ковоу кмелѣтъ, тѣ то погоубивъши кмоу платити» (ст. 57 – РП, I, 130); «А се оурачи городникоу: закладающе городьна, кѣна възати, а кончавше ногата» (ст. 96 – РП, I, 132); граница между причастным оборотом и главным предложением совпадает при этом с противопоставлением описания казуса и постановляющей частью.

<sup>188</sup> О том, что удар необнаженным мечом или рукоятю как тяжелейшее оскорбление наказывается большим штрафом, чем нанесение раны обнаженным мечом, см.: Сергеевич 1910, 426; здесь же параллели из германского права.

<sup>189</sup> Особо следует отметить причастный оборот в ст. 118: «Аже кто крнеть чюжь холопъ не вѣдаа, то първомоу господину холопъ поати, а шномоу коуны имати, ротѣ ходивше, тако не вѣдаа ксмъ коупилъ» (ст. 118 – РП, I, 133); стоящий в постпозиции причастный оборот (ротѣ ходивше) обозначает действие, предшествующее действию главного предложения (шномоу коуны имати). Надо полагать, что эта не свойственная Русской Правде временная инверсия обусловлена идущей вслед за причастным оборотом зависящей от него прямой речью; помещенный в препозицию, данный причастный оборот создавал бы неприемлемо громоздкую структуру (а шномоу, ротѣ ходивше, тако не вѣдаа ксмъ коупилъ, коуны имати).

В основном причастный оборот и главное предложение соединяются непосредственно, без помощи сочинительных союзов, однако несколько случаев союзного соединения (а именно 6, или 20%) имеется. При таком соединении в Русской Правде используются союзы *и* и *а* (как и в старославянском, см.: Вечерка 1961, 128–131). См., например, для союза *и*: «**Аже холопъ бѣжитъ, а заповѣсть господинъ, оже слышавъ кто или знаа и вѣдаа, оже ксть холопъ, и дасть кмоу хлѣба или оукажетъ кмоу поутъ, то платити кмоу за холопъ 5 гривенъ, а за робоу 6 гривенъ**» (ст. 112 – РП, I, 133; отмечу, что в ряде других списков вместо *и дасть* стоит *а дасть*); см. также статьи 2 и 21, цитировавшиеся выше. Для союза *а*: «**Аже кто бѣжа, а покмлетъ что соусѣдне или товаръ, то господиноу платити за нь оурокъ, что боудеть възалъ**» (ст. 120 – РП, I, 133); ср. еще ст. 24: «**Оже ли вѣнезъ мьчъ, а не оутнетъ, то гривноу коунъ**» (РП, I, 124). Возможность союзного соединения подчеркивает предикативный характер причастного оборота (чисто обстоятельственные употребления, как правило, с союзным соединением не сочетаются) и соответствует, надо думать, основным функциям восточнославянского причастия (деепричастия). Существенно, что эта возможность реализуется уже в древнейших не книжных памятниках, поэтому она отнюдь не возникает в результате трансформации книжного узуса (как иногда полагают), а, напротив, представляет собой черту узуса не книжного (или одновременно книжного и не книжного узусов), оказывающую, видимо, влияние на книжный узус (ср. § IV-4.3.6).

В Псковской судной грамоте употребление действительных причастий столь же ограничено, как и в Русской Правде. В этом тексте, приблизительно равно по объему Русской Правде, встречается 27 причастных оборотов. Хотя в основных моментах узус Псковской судной грамоты (в том, что касается причастий) повторяет Русскую Правду, заслуживает внимания ряд новых деталей. Во-первых, в Судной грамоте возрастает пропорция несогласованных причастий, или причастий (деепричастий) в неизменяемой форме. Их в тексте 12 из 27, что составляет 44,4% (рост почти на 20%). При этом несогласованные причастия появляются не только при субъекте в дат. падеже, как это было в Русской Правде, ср.: «А сусѣди ставъ, на кои хъ шлютса, да скажутъ какъ правъ предъ Богомъ, что чистъ» (ст. 9 – ПСГ, 3; ПРП, II, 287); «А которой менші братъ или братанъ, жиючи в одномъ хлѣбе с ватшимъ братомъ или з братомъ, а искористуются серебромъ оу брата своего или оу брата, и оучнетъ запитатиса» (ст. 95 – ПСГ, 21; ПРП, II, 298).

В тексте имеется ряд аномальных причастных оборотов, как таких, в которых причастие является независимым предикатом, так и таких, в которых у причастного оборота отсутствует субъект. К числу первых относится: «а тотъ бой многы люди видели в торгу или на оулицы, или в пиру, а ставши передъ нами человекѣ 4 или 5, а ркучи слово: того бихъ, ино кто билса того человекѣ ихъ душа выдати [в рубли] битому человекѣ» (ст. 27 – ПСГ, 7; ПРП, II, 289); у причастий *ставши* и *ркучи* субъектом являются *человекѣ 4 или 5*, ни с какими другими глагольными формами этот субъект не связан, так что мы имеем здесь абсолютный причастный оборот с субъектом в им. падеже, соединенный со следующей предикацией союзом *ино*. Еще аномальнее синтаксическое построение в следующем примере: «и оу иныхъ истьцовъ не

будеть записи, толко закладъ грамотъ, ино имъ правда давши да дела[т] подедом [конъектура А. А. Зимина: *по долям*], i по серебру, колко серебра ино и дола ему по тому числу» (ст. 104 – ПСГ, 23; ПРП, II, 299); *дают правду* (т. е. совершают крестное целование) те истцы, которые не имеют записей; к ним отсылает анафорическое *им*, которое и оказывается дативным субъектом причастного оборота, однако никакого предиката, управляющего дат. падежом, далее не следует, так что *им* остается аномальным субъектом причастного оборота. Субъект отсутствует у двух причастных оборотов в статье 8: «Что бы и на поса<sup>а</sup> покрадетса, ино дво<sup>ж</sup>ды е пожаловати, а исличи<sup>а</sup> казнити по его винѣ, и в третїи ра<sup>а</sup> и<sup>з</sup>ли[чи]въ живота емѣ не дати, кра<sup>м</sup> кромьскомѣ татю» (ПСГ, 2–3; ПРП, II, 287); хотя текст испорчен, ясно, что речь идет о наказании вора, которого князь смертию, изблотив его в краже в третий раз; однако ни эксплицитно, ни имплицитно в тексте не появляется никакого субъекта у обоих причастий *изличив*. В сравнении с Русской Правдой подобные аномалии являются инновацией.

В Псковской судной грамоте, как и в Русской Правде, субъект причастного оборота может быть как номинативным (18 примеров), так и дативным (6 примеров); причастный оборот может стоять как в препозиции (19 примеров), так и в постпозиции (8 примеров). Того распределения типа субординации, который мы наблюдали в Русской Правде, в Судной грамоте в целом не заметно. При номинативном субъекте препозитивный причастный предикат часто указывает на предшествование (при том что нарративный контекст для последовательности действий отсутствует) или отсылает к условиям, в которых осуществляется излагаемое в главном предложении распоряжение, ср.: «i ѡнѣ поцѣловавъ да свой закладъ возметъ» (ст. 28 – ПСГ, 7; ПРП, II, 290). Нередко причастие обозначает дополнительный момент основного действия, причем в ряде случаев эта функция неотличима от обстоятельственной, ср.: «а на кого сошлютса, а тотъ ставъ скажетъ какъ право предъ Богомъ, што битый являлъ бой свой, и грабежъ, а послухъ на судѣ ставъ а послухуетъ в тые же рѣчи, ино тотъ судъ судитъ на того волю, на комъ сочатъ» (ст. 20 – ПСГ, 5; ПРП, II, 288). Постпозитивные причастные обороты при номинативном субъекте (их всего 5) неизменно обозначают дополнительный момент основного действия, ср.: «А которой наймитъ дворной поидеть прочь штъ государя не достоавъ своего оурока, ино ему найму взати по счету» (ст. 40 – ПСГ, 10; ПРП, II, 291). Чаще всего такое построение используется, когда от основного действия отделяется речевой компонент, ср.: «а поидеть прочь, а ркучи такъ государю, оу тебя есми штдѣлалъ дѣло свое все» (ст. 41 – ПСГ, 10–11; ПРП, II, 291–292; см. об этом трафарете ниже, §§ IV-4.2; IV-4.3.1).

Постпозитивные причастные обороты с дативным субъектом редки (всего два примера, из которых один аномальный), так что нет возможности судить о функции таких предикативных единиц, ср.: «А князь и посадник на вѣчи суду не судять, судити имъ оу князя на сѣнехъ, взираа въ правду по крестному цѣлованью» (ст. 4 – ПСГ, 2; ПРП, II, 286). Препозитивные причастные обороты с дативным субъектом встречаются чаще (6 примеров) и, в отличие от Русской Правды, обозначают не условие, при котором вступает в силу распоряжение, сформулированное в инфинитивном глав-

ном предложении, а действие, предшествующее главному (конечно, отличить чистое предшествование от предпосылки часто бывает затруднительно), ср.: «ино государю правда давши взять свое» (ст. 51 – ПСГ, 13; ПРП, II, 293); «А которой посадникъ слѣзетъ степени своей, шрудіа и судове самому оуправливати, а иному насьдъ его судове не пересужати» (ст. 6 – ПСГ, 2; ПРП, II, 287). И в этом аспекте, таким образом, системные закономерности Русской Правды оказываются расшатанными.

Вместе с тем возрастает пропорция примеров, в которых причастный оборот связан с главным предложением с помощью сочинительных союзов. Таких примеров в анализируемом тексте 11, что составляет 40,7% (рост приблизительно в два раза по сравнению с Русской Правдой). Используются союзы *а* и *да*, а также *и*. См. с союзом *а*: «а послухъ на судѣ ставъ а послухуетъ в тые же рѣчи» (ст. 20 – ПСГ, 5; ПРП, II, 288); с союзом *да*: «и шни мене не шбыскиваючи, да сами з двора збѣжали» (ст. 57 – ПСГ, 14; ПРП, II, 294)<sup>190</sup>; с союзом *и*: «а сочить ему найма своего за годъ, чтобы 5 годовъ, или 10 годъ стоавши, и всѣхъ тыхъ ему годъ [стоявши – механический повтор формы; А. А. Зимин его устраняет] найма сочить» (ст. 40 – ПСГ, 10; ПРП, II, 290). Сверх того, сочинительный союз *и* может присоединять главное предложение к причастному обороту, выполняющему функции относительного придаточного и вводимого относительным местоимением: «[А кто с] чужой земли приѣхавъ или подъ пожаръ за недѣлю или по грабежу, и тотъ иметъ записатса [записатса – конъектура А. А. Зими́на], ино тотъ судъ судить на того волю [на ком сочат – конъектура А. А. Зими́на]» (ст. 17 – ПСГ, 5; ПРП, II, 288); такого рода аномальных синтаксических построений в Русской Правде нет. Стоит еще отметить появление причастных оборотов в позиции к главному предложению, присоединяемых к нему с помощью сочинительного союза, ср.: «а поидетъ прочъ, а ркучи такъ государю, оу тебя есми штдѣлалъ дѣло свое все» (ст. 41 – ПСГ, 10–11; ПРП, II, 291–292); возможно, такое употребление (известное в летописях) ограничено построениями с глаголами говорения, вводящими прямую речь; и здесь, следует заметить, употребление Псковской судной грамоты инновативно в сравнении с Русской Правдой.

Московский судебник 1497 г. (Суд., 19–29) несколько короче, чем Русская Правда и Псковская судная грамота. Хотя в нем встречается всего 19 действительных причастий, их вес в тексте почти такой же, как и в двух анализируемых выше кодексах; употребление причастий в количественном отношении сокращается лишь незначительно. Можно сказать, что согласование причастий в этом памятнике полностью отсутствует: несогласованная, или неизменяемая форма появляется в 10 случаях (52,6%), ср.: «и они доложа судии, помирятса» (ст. 53 – Суд., 27); «А которой купецъ, идучи в торговлю, возмет у кого денги или товар» (ст. 55 – Суд., 27); «а послухом не

<sup>190</sup> Иногда непросто сказать, употреблено ли *да* как сочинительный союз или как оптативная частица (которая окказионально может появляться и в не книжных текстах), ср.: «и поцеловав да свои заклад возмет» (ст. 29 – ПРП, II, 290). Возможно, эта амбивалентность обуславливает саму возможность употребления таких конструкций в потенциальном оптативном значении.

видев не послушествовати, а видевши сказати правду» (ст. 67 – Суд., 28). Впрочем, и в остальных 9 примерах причастие может считаться согласованным лишь формально, поскольку субъект стоит в ед. числе м. рода, а наиболее употребительной (немаркированной) формой причастия (деепричастия) является форма, восходящая к форме ед. числа м. рода, ср.: «и истец, поцеловав крест, да возмет» (ст. 58 – Суд., 27). Понятно, что в этих условиях согласование никак от типа субъекта (дативного или номинативного) не зависит.

Аномальные причастные конструкции в Судебнике практически отсутствуют; можно сказать, что синтаксис причастий в этом памятнике элементарен. Субъект причастного оборота может быть либо номинативным (12 примеров), либо дативным (7 примеров); в обоих случаях допустим как эксплицитный, так и имплицитный субъект. Номинативный эксплицитный субъект: «А послушествуе послух лживо не виде» (ст. 67 – Суд., 29); номинативный имплицитный субъект: «А досудятся до поля, а у поля не стояв, помирятся» (ст. 4 – Суд., 19). Дативный эксплицитный субъект: «а послухом не виде» (ст. 67 – Суд., 28)<sup>191</sup>; дативный имплицитный субъект: «да исцево на нем доправя, да судие его продати» (ст. 10 – Суд., 20). Имплицитный субъект может восстанавливаться только из внеязыкового контекста; в таких случаях можно было бы говорить о «безличных» причастных оборотах, ср.: «ино его бив кнутием, да исцу его выдать» (ст. 10 – Суд., 20); кто именно бьет кнутом, из текста не выясняется; само собой разумеется, что этим занимается специализирующийся на исполнении наказаний человек, но для формулировки статьи это неважно.

За двумя исключениями, причастные обороты стоят в препозиции к личному глаголу главного предложения. В этом случае они обозначают либо действие, предшествующее главному («А кто у кого взявши что в торговлю, да шед пропиет» – ст. 55; Суд., 27; «и они доложат судии, помирятся» – ст. 53; Суд., 27), либо представляющее собой компонент основного действия («и боярин обыскав, да велит дати тому дьяку великого князя полетную грамоту с великого князя печатю» ст. 55; Суд., 27; «А которой купец, идучи в торговлю, возмет у кого денги или товар» – ст. 55; Суд., 27), либо определяет условие, в котором осуществляется основное действие («а послухом не виде» (ст. 67 – Суд., 28) – ст. 67; Суд., 29). В двух случаях постпозиции причастного оборота он имеет значение пояснения или уточнения, представляя собой нечто среднее между обстоятельством и компонентом основного действия: «и за рану присудят, посматрива по

<sup>191</sup> В одном случае субъект вводится в самом причастном обороте (что вполне обычно, см. ниже), в то время как в главном предложении, соединенном с причастным оборотом союзом *да* (с опативными коннотациями), дативным субъектом оказывается анафорическое местоимение, отсылающее к данному субъекту. Таким образом, у причастного оборота как бы имеется собственный субъект, совпадающий тем не менее с субъектом главного предложения: «да розобрав срочные самим дьяком, да велети им подьячим бессудные давати и сроки отписывати» (ст. 27 – Суд., 22). Такое построение может рассматриваться как аномальное, уравнивающее предикативность причастного оборота и главного предложения.

человеку и по ране и по рассуждению» (ст. 62 – Суд., 28); «А послушествует послух лживо не виде» (ст. 67 – Суд., 29). В 6 случаях (32%) главное предложение соединяется с причастным оборотом с помощью сочинительного союза *да* (другие союзы не употребляются): «и истец, поцеловав крест, да возмет» (ст. 58 – Суд., 27); в большинстве случаев *да* амбивалентно, и ему может быть приписано оптативное значение: «ино его бив кнугиємь, да исцу его выдать» (ст. 10 – Суд., 20).

Наметившиеся в Судебнике 1497 г. тенденции находят более полное развитие в Судебнике 1550 г. (Суд., 141–177). По сравнению с предшествующим судебником употребление причастий в нем сокращается: хотя текст Судебника 1550 г. в три с лишним раза больше текста Судебника 1497 г., в нем употреблено всего 41 действительное причастие (всего в два раза больше, чем в Судебнике 1497 г.). Многие статьи Судебника 1550 г. повторяют положения предшествующего кодекса, воспроизводя, понятно, и причастные формы, например:

#### Судебник 1497 г.

ст. 27: да розобрав срочные самим дьяком, да велети им подьячим бессудные давати и сроки отписывати – Суд., 22

ст. 67: а послухом не виде» не послушествовати, а видевши сказати правду. А послушествует послух лживо не виде»... – Суд., 28

#### Судебник 1550 г.

ст. 41: да, розобрав срочные самим дьяком по сроком, да велети им подьячим безсудные давати и сроки отписывати – Суд., 152

ст. 99: а послуши бы, не виде» не послушествовали, а виде» сказали б правду. А послух опослушествует, не виде», лживо... – Суд., 176

Такие примеры можно умножить. На их фоне весьма показательными выглядят случаи, когда причастная форма устраняется, ср.:

#### Судебник 1497 г.

ст. 53: А кто кого поимает приставом в бою, или в лае, или в займех и на суд ити не восхотят, и они доложат судии, помирятся, а судьи продажи на них нет... – Суд., 27

#### Судебник 1550 г.

ст. 31: А кто кого поимает приставом в бою, или в лае или в займе, а на суд итти не похотят, и оне доложат судьи да помирятся, а судье пошлин и продаж на них нет... – Суд., 152

Как и в Судебнике 1497 г., в разбираемом тексте согласование причастий отсутствует: в 19 случаях употребляется либо несогласованная форма (форма им. ед. м. рода при субъекте во мн. числе), либо неизменяемая форма (форма на *-чи*); в остальных 22 случаях мы также находим форму им. ед. м. рода при субъекте в им. ед. м. рода, что формально может рассматриваться как согласование.

Как и в Судебнике 1497 г., в разбираемом тексте отсутствуют аномальные причастные конструкции, если не считать причастных оборотов, не имеющих определенного субъекта («безличных»), ср.: «А за увечие указывати крестьянину, посматривати по увечию и по бесчестию; и всем указывати за

увечие, посмотри по человеку и по увечью» (ст. 26 – Суд., 148); *посмотри* в данном случае превращается в обстоятельство, значащее ‘в соответствии’ и не отсылающее ни к какому определенному действию. Если исключить из подсчетов подобные примеры, в Судебнике насчитывается 23 причастных оборота с номинативным субъектом и 13 причастных оборотов с дативным субъектом. В 28 случаях причастная предикация находится в препозиции к главной, в 13 случаях – в постпозиции. В 9 случаях (22%) препозитивный причастный оборот соединяется с главным предложением с помощью сочинительного союза; в 8 случаях таким союзом, как и в предшествующем кодексе, является *да*: «А не будет у котораго татя столкe статков, чем исцово заплатити, ино его, бив кнутъем, да исцу в его гибели выдати головою на правеж до искупа» (ст. 55 – Суд., 158); в одном случае встречаем союз *и*: «а не явя тех людей, по ком поруки не будет, и наместничим и волостелиным людем к собе не сводити и у собя их не ковати» (ст. 70 – Суд., 164–165).

Однозначное распределение функций причастных оборотов в зависимости от позиции и типа субъекта в Судебнике отсутствует. Постпозитивные причастные обороты вне зависимости от типа субъекта в основном обозначают компонент основного действия, выступая как уточнение или пояснение к нему, ср.: «А послух опослушествует, не виде, лжыво, а обыщется то опосле, ино на виноватом послуе гибель исцова» (ст. 99 – Суд., 176); «и тем волостелем посылати о том, выбираючи тех же волостей лутчих людей да целовалника одного или двух, посмотри по делу, а велети про то обыскати накрепко» (ст. 72 – Суд., 166). Эта поясняющая функция, которую А. А. Потебня определяет как значение «а при этом» (Потебня, I–II, 196; ср.: Борковский 1949, 209–210), при нераспространенном причастном обороте нередко обуславливает его обстоятельственный характер, когда никакого отдельного действия он не обозначает, ср.: «а чей тот холоп был, а скажет тот, что от него тот збежал, пократчи» (ст. 78 – Суд., 169). Препозитивные причастные обороты более разнообразны. Чаще всего они обозначают действие, предшествующее главному, ср.: «А как истец, взяв на нем свое, отдаст его бояром, и боярин велит его дати на крепкую поруку» (55 – Суд., 158). В других случаях это может быть компонент основного действия, порою выполняющий чисто обстоятельственную функцию (как и при постпозиции), ср.: «по тому их, обыскивая, судити и управа чинити» (ст. 72 – Суд., 165); «и что после сроку тому учинитца убытка, что даст пошлин и что живучи проест, и правому те все убытки и проести взяти на виноватом» (ст. 50 – Суд., 156). В некоторых случаях при дативном субъекте причастный оборот обозначает условие, при котором вступает в силу санкция: «а не явя тех людей, по ком поруки не будет, и наместничим и волостелиным людем к собе не сводити и у собя их не ковати» (ст. 70 – Суд., 164–165): для Судебника такое употребление, видимо, можно считать реликтовым.

Изменения в употреблении причастий, которые можно наблюдать в юридических текстах от Русской Правды до Судебника 1550 г., свидетельствуют о том, что синтаксическое разнообразие причастных конструкций постепенно сокращается. В ряде случаев причастный оборот превращается в застывшее адвербиальное образование (как *посмотри по*). В большинстве случаев препозитивные причастные обороты служат для обозначения пред-



шествующего или сопутствующего действия, а постпозитивные обороты выступают как пояснение к главной предикации. Причастные обороты в функции придаточного изъяснительного или относительного, встречающиеся в Русской Правде, позднее выходят из употребления. Во всех случаях в юридических кодексах (в отличие от нарративных текстов, о которых будет сказано ниже) причастный оборот находится в однозначных отношениях семантической субординации по отношению к главному предложению.

Как мы видели, соединение причастного оборота с главным предложением при помощи сочинительных союзов устойчиво представлено в юридических кодексах (от 20% до 40% всех примеров) (о подобном соединении в старославянском, достаточно редком, см.: Вечерка 1961, 128–131; Вечерка, III, 204–208). Принимая во внимание данные примеры, эту синтаксическую особенность нельзя интерпретировать как результат автономизации причастных конструкций, нарушения отношений семантической субординации (хотя распространение союзного соединения могло быть фактором, способствовавшим переосмыслению причастных конструкций как семантически автономных в нарративных текстах – см. ниже). Скорее следует полагать, что письменный язык восточных славян вообще (в большинстве памятников разных жанров) избегает бессоюзной связи (ряд важных наблюдений об этом аспекте восточнославянского синтаксиса см.: Зализняк 2007, 138–148), и эта тенденция распространяется не только на равноправные предикации, но и на сочетания с причастными (деепричастными) оборотами.

Субъектом причастных оборотов, как правило, оказывается номинативный или дативный субъект главного предложения; отнесение причастного оборота к другим членам главного предложения (например, к прямому или косвенному дополнению), встречающееся время от времени в восточнославянских текстах разного типа, для юридических кодексов нехарактерно. Из происходящих в этой сфере процессов следует отметить возрастание причастных оборотов, не относящихся ни к какому (даже имплицитному) члену главного предложения; выше такие причастные обороты были названы «безличными». В ходе этого процесса причастные обороты превращаются в застывшие адвербиальные группы (типа *посмотря по*). Формальной предпосылкой этого процесса является исчезновение согласования причастия с субъектом главного предложения, вполне отчетливо прослеживающееся на материале юридических кодексов.

Вопрос о том, насколько изменения, наблюдаемые в причастном синтаксисе в юридических кодексах, отражают изменения в разговорном языке, не имеет, на наш взгляд, однозначного ответа. Отдельные изменения – прежде всего, исчезновение согласования – несомненно имеют подобную «разговорную» мотивацию. Однако тот процесс, который мы условно называли «примитивизацией» причастного синтаксиса, вряд ли обусловлен тем, что происходило в разговорном языке восточных славян. Во всяком случае, аномальные конструкции с нетривиальным субъектом (именительный самостоятельный или причастные обороты, относящиеся к дополнению главного предложения), выходящие из употребления в юридических кодексах, встречаются и в берестяных грамотах, и в современной разговорной речи. Видимо, определяющую роль в данном процессе сыграла перестройка языка

юридических кодексов, при которой лаконичность (использующая эллипсис) заменялась эксплицитностью (использующей лексический повтор – см. об этой перестройке ниже, § V-3.2): сложные причастные обороты, способные обеспечивать лаконичность изложения, уступали при этом место предикативным единицам с личными формами, связь между которыми могла обеспечиваться лексическим повтором. При таком развитии в употреблении оставались прежде всего простые препозитивные причастные обороты со значением предшествования или сопутствования, столь же простые постпозитивные причастные обороты со значениям пояснения и застывшие причастные конструкции с обстоятельственной функцией.

**4. 2. Причастия в некнижных текстах: грамоты.** Специфику языка юридических кодексов помогает понять анализ языка грамот. Как и в других некнижных текстах, употребление причастий в грамотах ограничено, хотя определенное количество причастных оборотов имеется и в бытовых грамотах, представленных документами на бересте, и в грамотах деловых, как берестяных, так и пергаменных. Употребление причастий в данных текстах свидетельствует, что они не были вполне чужды и разговорному языку. Берестяные грамоты сообщают данные для хронологии ряда процессов, отражение которых мы наблюдали в юридических кодексах.

Как отмечает А. А. Зализняк, действительные причастия утрачивают согласование уже в «раннедревнерусский период», причем первоначально это наблюдается «во фразах, где их агенс входил в состав главного предложения, но не в качестве подлежащего, а в качестве второстепенного члена», в то время как во фразах, «где агенс причастия является подлежащим главного предложения (или подлежащим самого оборота с причастием, ср. пример из грамоты № 235), согласование в роде и числе удерживается значительно дольше»; это сохранение согласования хорошо иллюстрируется грамотами «раннедревнерусского периода» (Зализняк 2004а, 184). Зализняк приводит 9 примеров из ранних грамот с правильным согласованием, ср.: «цѣсть енюци, пеюци едоуци со Давыжею» (№ 227, вторая пол. XII в. – там же, 376; о лице ж. рода). Такая ситуация в точности соответствует тому, что мы наблюдали в Русской Правде: согласование сохраняется при номинативном субъекте и нарушается при дативном субъекте. Лингвистические характеристики Русской Правды отражают, видимо, в данном аспекте состояние устного языка древнейшего периода восточнославянской письменности<sup>192</sup>.

---

<sup>192</sup> Собственно в берестяных грамотах нарушения согласования при неноминативном субъекте причастного оборота не фиксируются в силу, можно полагать, относительной редкости таких конструкций и ограниченного объема корпуса. Зализняк восполняет этот недостаток, приводя примеры из летописей, Вопросания Кирика, Смоленского договора 1220-х годов и т. д., ср. запись к Мстиславову евангелию: «данъ бѣ юго мѣтвѣю въсѣмъ хръстианомъ. и мѣнѣ хѣдомѣ наславѣ. правѣци юго ороудѣи въ правѣдоу» (Жуковская 1983, 290). Восемь примеров несогласования из Русской Правды хорошо иллюстрируют эту ситуацию. Единичные примеры несогласования при номинативном субъекте появляются уже в текстах XII в. (например, в Житии Феодосия по списку Успенского сборника – Зализняк 2004а, 185). Обследованный мною корпус Грамот Великого Новгорода и Пскова (Валк 1949) для XI–XIII вв. значимых примеров не дает.

По наблюдениям Зализняка, в «грамотах XIV–XV вв. несогласованные причастия встречаются столь часто, что сам принцип согласования следует считать уже по существу разрушенным» (там же, 185). Этот же вывод можно сделать и из данных корпуса пергаменных грамот, входящих в Грамоты Великого Новгорода и Пскова (ГВНП – Валк 1949; ср.: Борковский 1949, 212–213). По всему корпусу распределены формы ед. числа м. рода при субъекте в ед. числе м. рода; эта форма, будучи немаркированной, для суждения о согласовании нерелевантна. В текстах XIV–XV вв. эта форма употребляется и при субъекте во мн. числе, ср.: «И вы, то услышавъ, аже у нашей братьи товаръ отъималъ Игнатъ силно, и вы тои товаръ отъималъ» (Валк 1949, № 44, с. 79 – 1373 г.). При субъекте во мн. числе встречаются и причастия на -чи: «Се биша челомъ игумень Ивоня и всѣ старцѣ святаго Спаса и святаго Николы с Соловчевъ с моря акіаня, а ркуци такъ» (там же, № 96, с. 152 – 1459–1469 гг.). Собственно, во всем корпусе согласование однозначно реализуется лишь в одном примере с дативным субъектом: «А нѣмцѣмъ, и гтѣмъ, и всему латиньскому языку платити по двѣ кунѣ от капи и от всякого вѣснаго товара, что кладуть на скалви, и продаваше и купивше» (там же, № 29, с. 57 – 1263–64). В целом грамоты демонстрируют тот же процесс утраты согласования причастий, что и юридические кодексы, и указывают на XII–XIII вв. как на основное время протекания этого процесса, что не противоречит данным юридических кодексов.

В сравнении с юридическими кодексами грамоты существенно реже используют причастные обороты с дативным субъектом. В корпусе ГВНП на 7 примеров с дативным субъектом приходится 48 причастных оборотов с номинативным субъектом, т. е. конструкции с дативным субъектом составляют всего 13% от всех конструкций с выраженным субъектом. Причина этой сравнительно небольшой пропорции очевидна: в письменном языке наиболее частым типом предложения с дативным субъектом является инфинитивная конструкция со значением долженствования; именно в таких предложениях, широко представленных в юридических кодексах, и появляются причастные обороты с дативным субъектом (см. выше). В грамотах потребность в таких предложениях случается значительно реже, что и обуславливает занимающее нас явление, хотя, понятно, построения данного типа не являются редкостью, ср.: «цѣловавъ ему кръсть, куны ему взяти у Новогорода, колько будетъ далъ, а земля поидеть к Новугороду» (Валк 1949, № 14, с. 27 – 1326–1327 гг.); «А игумену и цернцѣмъ, живущи в монастыре святаго Іоана Богослова, собинъ имъ не держати» (там же, № 280, с. 281 – 1451–52 г.; ср. еще пример из грамоты № 29, процитированный выше). В бытовых берестяных грамотах таких построений не отмечено, что, возможно, объясняется ограниченностью корпуса, а возможно, нехарактерностью рассматриваемой конструкции для неофициальной речи (в том числе и письменной).

В берестяных грамотах встречаются, хотя и весьма редко, причастные обороты с субъектом, отличным от (номинативного или дативного) субъекта главного предложения, которые уже известны нам по Вопросанию Кирика, при этом субъект причастного оборота может совпадать с второстепенным членом главного предложения. Зализняк приводит ряд примеров из летописей (к которым мы обратимся ниже) и один пример из бере-

стяных грамот (№ 131, второй пол. XIV в.): «а цто про самозерци хедыле есемо не платѣце а платѣце в томо цто про межи радѹ нѣтъ» (Зализняк 2004а, 620; Зализняк полагает, что не платѣце относится к сямозерцам, появляющимся в предшествующем предложении в предложной конструкции с предлогом про; ср. иную интерпретацию: Страхов 1995, 239). Характерно, что такие построения не обнаруживаются в пергаменных грамотах (имею в виду корпус ГВНП); это может означать, что та тенденция к нормативности и формульности, которая присуща деловым текстам, обладающим официальным статусом (см. § III-8), исключала подобные синтаксические построения как чрезмерно ненормативные; впрочем, для достоверных выводов материал явно недостаточен.

В числе конструкций, в которых субъект причастного оборота не совпадает с субъектом главного предложения, выделяется именительный самостоятельный. Он изредка появляется в грамотах, ср. в грамоте № 235 второй пол. XII в.: «се жадѣке послать абетника дова и пограбѣла ма въ братни долгъ» (Зализняк 2004а, 374, ср. с. 182). Своеобразные примеры такого причастного оборота имеются и в корпусе ГВНП, ср.: «Князь великий Андрѣи и всь Новгородъ дали Федору Михаиловичю городъ стольный Пльсковъ, и онъ едѣ хлѣбъ» (Валк 1949, № 8, с. 18 – 1304–1305 гг.); едѣ функционирует здесь как личный оборот и вместе с тем оказывается единственным элементом, указывающим на подчиненный статус данной предикативной единицы (со значением следствия или результата главного действия, обозначенного в главном предложении). Несомненно аномальный характер носит пример, в котором личный глагол вообще отсутствует, а действие обозначено двумя причастиями, у каждого из которых свой собственный субъект (частично совпадающий): «Передъ господиномъ псковскимъ Ярославомъ Васильевичемъ <...> стоя на судѣ, игумень Тарасеи Богородицкои Снетные горы і всѣ старцы Снетогорские съ Юрьемъ соцкимъ, с старостою съ Егорьевскимъ, да с Ортемомъ и с Ыльею, со всѣми ихъ сябры, и с ыгуменомъ с Лаврентиемъ Кузюдемьянскимъ з Гремячие горы <...>, а ркучи тако игумень Тарасеи и всѣ старцы Снетогорские» (там же, № 340, с. 326 – 1483 г.). В еще одном примере субъект причастного оборота по существу совпадает с субъектом главного предложения, но его повторение (уточняющее) в составе причастного оборота превращает этот последний в именительный самостоятельный, ср.: «Се позва Левонтии Зачепинъ Савка и всихъ княжоостровъчовъ на судѣ дворяниномъ Матуто и Тартынкомъ. А ркя тако Левонтии: взяти у васъ сорокъ куней да тысяча бѣлкѣ» (там же, № 132, с. 188 – первая четверть XV в.). Стоит отметить, что в юридических кодексах именительные самостоятельные, окказионально появляющиеся в летописях (см. ниже), почти не представлены; если это не случайность (примеры единичны), здесь также может сказываться официальный статус документа<sup>193</sup>.

<sup>193</sup> Из аномальных причастных оборотов в корпусе ГВНП следует указать на три случая употребления действительного причастия прош. времени с глаголом-связкой; во всех этих случаях связка стоит в первом лице. Самый старый пример находится в грамоте вел. князя Изяслава Мстиславича Пантелеймонову монастырю 1146–1155 гг.: «Се ѣзъ князь

Как и в юридических кодексах, в грамотах встречаются «безличные» причастные обороты, т. е. обороты, не имеющие идентифицируемого субъекта. В корпусе ГВНП нашлось 5 примеров таких безличных предикаций: «А после сего крестного целованія, аже dospѣется воина с обѣ половины, а не въдая сего докончанія, иманое назадъ отдати с обѣ половины» (там же, № 23, с. 42 – договор 1456 г.; то же предложение повторяется в договоре 1471 г., № 27, с. 49); субъектом *не въдая* являются неосведомленные нарушители заключенного договора, но формально они никак не обозначены. В другом случае: «Оже учинится нелюбовь мнѣ, великому князю Казимиру, королевичю, до Великого Новагорода или Новугороду до мене, великого князя Казимира, или будетъ миръ нелюбъ, сослався и грамота отославъ, а послѣ грамоты мѣсячъ не воеватися» (там же, № 70, с. 116 – договор 1440–1447 гг.; то же предложение повторяется в договоре 1431 г., № 63, с. 106); из общих соображений ясно, что ссылаться и отсылать грамоту должны вступившие в соглашение стороны, если они окажутся недовольны заключенным миром, однако и здесь ни при одном из главных предикатов не фигурирует актант, который мог бы быть субъектом причастного оборота. Не исключено, что эта «безличность» определенным образом связана с общим (неиндивидуализированным) характером договорных обязательств. Еще в одном примере имплицитный субъект также безличен, однако безличность обусловлена здесь тем, что причастие употреблено в функции наречия: «съ верховей ручья налѣво въ мохъ, мхомъ, недошедъ Пасной горки, черезъ лющикъ прямо въ мохъ» (там же, № 91, с. 148 – не позднее 1417 г.)<sup>194</sup>.

великий Изяславъ Мъстиславичъ по благословению епискоупа Нифонта испрошавъ юсми у Новагорода святому Пантелеимоноу землю село Витославицъ и Смердъ и поля Ушьково и до прости» (Срезневский 1860, 26–27; Валк 1949, № 82, с. 141). Два других примера в текстах XV в.: «Се азъ преосвященный архиепископъ Великаго Новаграда и Пскова владыка Иона, высмотрѣвъ есмь въ грамоту жалованную брата своего владыки Еуфимия, пожаловалъ есмь игумена Мисаилу у святаго Спаса на Верендѣ» (там же, № 97, с. 153 – 1459–1470 гг.); «Се азъ преосвященный архиепископъ Великаго Новаграда и Пскова владыка Феофилъ, взрѣвъ есмь въ грамоты жалованныя прежнихъ архіепископовъ <...> пожаловалъ есмь игумена Никиту» (там же, № 100, с. 155 – 1471–1482 гг.). Кажется правдоподобным, что эта аномалия может быть обусловлена гиперкорректным употреблением связки: после того как в разговорной речи связка в перфекте была утрачена не только в 3, но и в 1 лице, в письменных текстах она могла вставляться, видимо, не только при *л*-формах, но и при причастиях на *-въ*; хотя середина XII в. кажется слишком ранним временем для утраты связки, такая датировка не исключена. Любопытно также, что все три примера приходятся на вкладные грамоты, начинающиеся «се азом». Возможно, особый «необыденный» формуляр этих грамот побуждал писцов вводить в него элементы, которые они рассматривали как черты «правильного» языка. Нет, думается, оснований связывать рассматриваемый феномен с образованием так называемого нового перфекта (типа *он пришедши*), характерного для северозападных говоров (ср. о данной проблеме: Потебня, I–II, 139–140; Борковский 1949, 213–214).

<sup>194</sup> *Недошедъ* употреблено здесь в точно той же функции, как современное *недоходя* во фразах типа «*недоходя* пожарной части будет улица направо» (<http://www.webtourist.ru/q/yamaika/5913-gde-mozhno-nedorogo-pokushat-v-negrile/>).

Как указывает А. А. Зализняк, основываясь на анализе берестяных грамот, «[д]ревнейший тип оформления препозитивной причастной конструкции состоит в том, что следующее за этой конструкцией главное предложение содержит частицу *же*, которая играет роль “скрепы”, связывающей эти два компонента» (Зализняк 2004а, 192), ср. приводимые Зализняком примеры: «**продавъше дворъ идите же сѣмо**» (№ 424, 1-я четв. XII в. – там же, 272); «**добръ же створи нни в ошевъ правн же лоньскою гривною**» (№ 788, посл. четв. XII в. – там же, 413) и т. д. Такое употребление частицы *же* не представлено ни в юридических кодексах<sup>195</sup>, ни в пергаменных грамотах из корпуса ГВНП. Это расхождение могло быть обусловлено рядом факторов. Во-первых, *же*, как правило, появляется при императиве (в приводимых Зализняком примерах лишь одно исключение: «**избивъ роуки поустилъ же мѧ**», № 9, сер. XII в. – там же, 300), тогда как и в юридических кодексах, и в пергаменных грамотах императив употребляется довольно редко<sup>196</sup>. Во-вторых, *же* в данной функции могло быть выраженным коллоквиализмом, которого писцы, составлявшие официальные документы, избегали<sup>197</sup>.

В берестяных грамотах отмечается также «другой способ соединения препозитивной причастной конструкции с главным предложением – с помощью союза» (Зализняк 2004а, 193). В XI–XIII вв. в качестве соединительных союзов используются *а* и *и*, ср.: «**а нынѣ вода новою женоу а мѣнѣ не въдасть ничѣто же**» (№ 9, сер. XII в. – там же, 300); «**а ненеца ѡеѡ прѣхаво оуслышаво то слово и выгнало сетроу мою**» (№ 531, кон. XII – 1 пол. XIII в. – там же, 416). Такое употребление причастных оборотов находит соответствие и в юридических кодексах (см. выше), и в пергаменных грамотах из корпуса ГВНП (ср. еще ряд примеров: Борковский 1949, 206–207). При этом следует отметить, что, если в берестяных грамотах союзное соединение препозитивных причастных конструкций доминирует, а бессоюзное соединение «встречается не очень часто» (Зализняк 2004а, 193), в пергаменных

<sup>195</sup> Единственное возможное исключение из Русской Правды встречаем в статье 102 Пространной редакции: «**но что ки далъ мужъ, съ тѣм же ки сѣдѣти или, свою часть вземше, сѣдѣти же**» (ПР, I, 115 – цитирую по Троицкому виду, поскольку в Новгородской кормчей 1280-х годов текст испорчен). Исключение представляется мнимым, поскольку *же* отсылает здесь не к причастному обороту, а к предшествовавшему вхождению инфинитива *сѣдѣти* и употреблено в значении ‘тоже, также’.

<sup>196</sup> Ср., однако же, в Договорной грамоте Новгорода с тверским князем 1270 г.: «А про послы, княже, и про купче новгородьские, что въ Костромѣ и по инымъ городомъ, то, исправивъ, пусти въ Новгородъ съ товаромъ» (Валк 1949, № 3, с. 13); хотя контекст представляется подходящим, *же* не употребляется. Надо, однако, заметить, что грамота относится ко второй пол. XIII в., когда *же* в интересующей нас позиции исчезает и в берестяных грамотах.

<sup>197</sup> Вряд ли существен фактор хронологический. Действительно, в берестяных грамотах *же* в рассматриваемой функции перестает употребляться с середины XIII в. Между тем документы, входящие в корпус ГВНП, за редкими исключениями относятся к более позднему времени, а наиболее ранний список Русской Правды представлен в Кормчей 1280-х годов. Тем не менее по многим параметрам текст Русской Правды достаточно архаичен и отражает узус более ранний, чем тексты XIII в., так что более вероятно действие содержательных, а не хронологических факторов.

грамотах соотношение обратное; это, надо думать, связано с более высоким статусом пергаменных грамот и соотношенной с этим статусом большей ориентацией на книжные тексты. В обследованном корпусе препозитивный причастный оборот соединяется с главным предложением с помощью союзов в 9 случаях (20%), без помощи союзов – в 35 случаях. В качестве союзов фигурируют *а* и *и*, ср.: «А кто, поверга свои дворъ, а вбѣжитъ в боярьский дворъ, или кто иметь соху таити, а избличать, на томъ взяти вины вѣдвое за соху» (Валк 1949, № 21, с. 39 – 1448–1461 гг.); «И послѣ того пришедъ посадникъ Дмитръ Кижъ и Олфромѣ Кузнечкои, и говорили тыи рѣчи» (там же, № 71, с. 117 – 1441 г.).

Как отмечает Зализняк, в «грамотах XIV–XV вв. перечисленные выше модели более не встречаются. Но на их месте появляется новая модель – с союзом *да*: *и посадничѣ люди землю пошрав, да росокладеную межю содрал[е]* (XIV); *по тому опознавъ, да отадбѣли* 135 (XIV/XV)». Эта смена моделей (не имеющая хорошего объяснения и вряд ли прямо связанная с какими-либо изменениями в разговорном языке) находит полное соответствие в юридических кодексах: в Русской Правде употребляются союзы *а* и *и*, в Псковской Судной грамоте – *а*, *и* и *да*, в московских Судебниках 1497 и 1550 гг. – *да* (и в одном случае *и*) (см. выше). Замечательным образом, в пергаменных грамотах из корпуса ГВНП эта смена моделей никак не отражается, в них и в XIV–XV вв. продолжают употребляться исключительно союзы *а* и *и*, а *да* не появляется. Из этого как будто следует, что язык пергаменных грамот, основанный на сложившихся в традицию формулах, в интересующем нас аспекте консервативен. Язык же московских юридических кодексов, которые до определенной степени были инновативными опытами законодательства, отражал более позднюю языковую практику (возможно, сложившуюся к тому времени автономную письменную традицию).

С помощью союзов могут присоединяться и постпозитивные причастные конструкции. В берестяных грамотах, по наблюдению А. А. Зализняка, «они во все периоды присоединяются к главному предложению чаще всего бессоюзно» (Зализняк 2004а, 193). Возможно, однако, и союзное присоединение с помощью союза *а*, ср.: «оже оно поехало проце а река тако» (№ 531, кон. XII – 1 пол. XIII в. – там же, 416); «а еше мене зазва(лъ) ---родъ а рка такъ» (№ 697, 2 пол. XIV в. – там же, 576). Постпозитивные причастные предикаты, как правило, присоединяются бессоюзно и в юридических кодексах, хотя в Псковской судной грамоте обнаруживается пример, ближайшим образом напоминающий приведенные выше («а поидетъ прочь, а ркучи такъ государю» – ст. 41; ПСГ, 10–11; см. выше); такое построение образует трафарет, когда для ввода прямой речи употребляется причастие от глаголов говорения (см. ниже, § IV-4.3.1). Сходные примеры есть и в корпусе ГВНП, ср.: «Се биша челомъ игумень Ивоня и всѣ старцѣ святого Спаса и святого Николы с Соловчевъ с моря акіаня, а ркучи такъ: обитель, господо, святого Спаса и святого Николы, наша пустынка, от миру удалѣла» (Валк 1949, № 96, с. 152 – 1459–1469 гг.; ср. еще цитировавшийся выше пример из грамоты № 340,

1483 г.)<sup>198</sup>. Всего в корпусе ГВНП 4 постпозитивные причастные конструкции, присоединенные с помощью союзов *а* и *и* (при 10 постпозитивных конструкциях, присоединенных бессоюзно), ср. еще: «И паша по чюжеи землѣ ни вдвое ни воедино, ни себѣ покоя не дахъ, и братьи и сиротамъ и здѣ крестьяномъ досажая» (там же, № 103, с. 160 – не позднее 1147 г.; ср. еще выше цитату из грамоты № 29, 1263–64 г.).

Причастные конструкции чаще стоят в препозиции к главному предложению, нежели в постпозиции. Это верно и для юридических кодексов (см. выше), и для берестяных грамот, и для грамот пергаменных, хотя конкретные пропорции варьируют от памятника к памятнику, от жанра к жанру и от эпохи к эпохе. В корпусе ГВНП на 11 примеров постпозиции приходится 44 примера препозиции (80%). Это распределение определенным (непрямым) образом соотносится с характером субординирования (функциями причастных оборотов), присущим препозитивным и постпозитивным конструкциям. Препозитивные конструкции (особенно с причастиями прош. времени) часто указывают на предшествование события, обозначенного причастной формой, событию главного предложения; препозиция в этом случае имеет иконический характер, что и обуславливает ее предпочтительность, ср.: «приехавъ въ село, Новгородскую волость пусту положилъ» (Валк 1949, № 8, с. 18 – 1304–1305 гг.); «І посадники, обыскавъ судомъ, Вячеслава і всихъ княжьостровиче[въ] оправиша» (там же, № 92, с. 149 – 1 четв. XV в.). Постпозитивные причастные конструкции, выражающие отношение предшествования, инвертированы и в силу этого редки, ср.: «Се би чоломъ староста Азика, и Харагинецъ, и Ровда, и Игнатецъ, приехавъ от своей братьи, князю Офонасю на Василья на Матфеева» (там же, № 279, с. 279 – 1315–1322 гг.). Конструкции с действительными причастиями наст. времени часто означают фон (фоновое состояние), в рамках которого происходит событие, описываемое личным глаголом главного предложения; и в этом случае обычная для грамот стратегия состоит в том, чтобы сначала определить фон, а потом говорить о событии, что ставит причастную предикацию в препозицию, ср.: «Се азъ Мьстиславъ Володимиръ сынъ, държа Русьску землю, въ свое княжение повелѣлъ есмь сыну своему Всеволоду отдати...» (там же, № 81, с. 140 – 1130 г.).

---

<sup>198</sup> Этот же трафарет может быть отмечен в Слове о полку Игореве: «Жены Рускія въсплакашася», а ркучи» (Зализняк 2007, 400); ср. также в плаче Ярославны: «Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на забралѣ, а ркучи» (там же, 406; далее еще два повтора этой фразы); ср. об этих постпозитивных причастиях: Потехня, I–II, 195–196). В силу существования этого трафарета не кажется убедительным мнение Б. В. Кунавина, полагавшего, что обороты с постпозитивным причастием *глаголя* и *рекъ*, вводящими прямую речь, появляются лишь «в сугубо книжных текстах» и представляют собой «заимствования из старославянского языка» (Кунавин 1985, 12). Такие обороты многократно появляются в летописях (см. § IV-4.3.1) и могут рассматриваться как книжное переоформление трафарета, имеющегося в не книжном языке, что, впрочем, не исключает преемственности такого рода конструкций по отношению к их аналогам в церковнославянских текстах южнославянского происхождения: две традиции могут накладываться друг на друга.



Во многих случаях причастная предикация обозначает не отдельное действие, предшествующее или сопутствующее главному, а один из аспектов (компонентов) той ситуации, о которой идет речь в главном предложении (Сахарова 2010). При таком значении причастный оборот может располагаться как в препозиции, так и в постпозиции. И в этом случае, однако, препозиция оказывается в положении наибольшего благоприятствования, поскольку в препозиции причастный оборот подчеркивает те стороны ситуации, на которых должно фокусироваться внимание читателя, тогда как постпозиция предназначена для уточнения или комментария, лишь в редких случаях требующегося в деловом документе. Ср. примеры с препозицией: «А которыхи гость, с которое стороны, зъ дороги звернетъ, не зная пути заблудить, ино в томъ диву нетъ на обе стороне» (Валк 1949, № 78, с. 134 – 1474 г.; незнание подчеркивается как оправдывающее купца обстоятельство); «Се азъ рабъ божии попъ Федосеи Федотовъ пиша рукописание при нашемъ животѣ, далъ есмь село на Княжеостровѣ Шагаиловское двумъ церквамъ по половинамъ» (там же, № 259, с. 267 – XV в.; причастие раскрывает завещательный характер пожалования). Ср. пример с постпозицией: «А кто живеть въ Тържъку на Новотързъской земли, а къ святому Спасу не тягнетъ къ Торъжку, княземъ отъемъся, а ти поидуть ис Торъжку, куда имъ годно» (там же, № 7, с. 18 – 1304–1305 гг.; основной факт состоит в том, что некоторые жители, живя на землях Торжка, не находятся от него в зависимости; этот факт поясняется тем, что они зависят от князя)<sup>199</sup>.

Обращение к причастным оборотам в грамотах в целом подтверждает те выводы, которые были сделаны при анализе юридических кодексов. Причастные обороты являются органической, хотя и маргинальной частью некнижного языка. Их употребление в функциональном отношении ограничено, поскольку ненарративные контексты, характерные для некнижной письменности, не располагают к подчеркиванию предшествования одного события по отношению к другому, выделению фоновых действий и состояний и т. п. В грамотах препозитивные причастные конструкции употребляются для обозначения предшествовавшего или одновременного события или для выделения одного из аспектов главного действия; постпозитивные причастные конструкции выполняют функцию уточнения или коммента-

<sup>199</sup> В принципе можно было бы выделить несколько примеров, в которых нераспространенное причастие близко по функции наречию, ср.: «Иволь, стоя, говорилъ так: мои братья не винова[тъ] былъ никому жъ» (там же, № 336, с. 323 – 1463–1465 гг.; ср. еще цитировавшийся выше пример из грамоты № 91). Границы этого класса остаются нечеткими (ср. непродуктивные попытки противопоставить «предикативное обстоятельство» «второстепенному сказуемому» у В. И. Борковского – Борковский 1949, 208). В единичном случае при дативном субъекте препозитивная причастная конструкция может обозначать условие (как в юридических кодексах), ср.: «а кто купилъ будетъ в Новгородской волости, знати имъ своего истъца; или не будетъ истъца, како не вѣдаетъ истъца своего, цѣловавъ ему крѣсть, куны ему взяти у Новгорода, колько будетъ далъ, а земля поидеть к Новугороду» (там же, № 14, с. 27 – 1326–1327 гг.); характерно, что несколько позднее эта же статья может формулироваться без причастного оборота, ср.: «истца ли не будетъ, ни дѣтъи его, цѣ[ло]вати е[му] крѣсть, како то истца не вѣдаетъ, взяти ему куны, колко будетъ далъ, по исправѣ» (там же, № 15, с. 29 – 1371 г.).

рия. Те особые случаи архаического употребления причастий, которые фиксируются в Русской Правде, в грамотах не встречаются, так же как они не встречаются в позднейших юридических кодексах. Как и в юридических кодексах, причастия в грамотах в XII–XIII вв. утрачивают согласование.

В грамотах, так же как и в юридических кодексах, встречаются причастные обороты с номинативным или дативным субъектом; пропорция оборотов с дативным субъектом в грамотах ниже, чем в кодексах. Аналогичным образом в двух типах исследованных памятников распространяются аномальные причастные конструкции без формально выраженного агенса («безличные»), в отдельных случаях употребляясь сходно с наречиями. В грамотах, в отличие от юридических кодексов, встречаются причастные обороты с собственным субъектом (именительные самостоятельные); хотя они встречаются нечасто и представляют собой аномалию, они могут рассматриваться как черта, отличающая традицию грамот от традиции кодексов.

В грамотах широко представлено присоединение препозитивной причастной конструкции к главному предложению с помощью союза. В берестяных грамотах это явление наблюдается чаще, чем в грамотах пергаменных, и это позволяет думать, что распространенность данного явления находится в обратной связи с функциональным (социальным) статусом текста. Выбор сочинительных союзов для такого соединения показывает, что деловая письменность, представленная пергаменными грамотами, образует собственную традицию, отличную от традиции юридических кодексов и берестяных грамот. В такого рода явлениях отчетливо проявляется автономность письменного узуса, образующего отдельные линии преемственности.

**4. 3. Причастия в книжных текстах: летописи.** Летописи дают наиболее обширный и наиболее выразительный материал для суждения о том, как в причастном синтаксисе осуществлялось взаимодействие книжной и некнижной традиции, как развивались письменные навыки авторов, использовавших причастные обороты для построения нарратива. Обращаясь к языку летописей, мы переходим к узусу, радикально отличающемуся от того, который мы наблюдали в некнижных текстах, хотя, естественно, некоторые явления оказываются сходными и параметры их функционирования в некнижных текстах служат важным подспорьем при интерпретации аналогичных феноменов в текстах книжных и особенно в летописях как текстах, допускающих интерференцию с некнижным узусом. Книжные тексты, в особенности нарративные (на которых мы и сосредоточимся в нашем изложении), пользуются причастными оборотами в несравненно больших масштабах, нежели тексты некнижные. Для самой приблизительной оценки имеющихся здесь различий можно указать, например, что во всем корпусе ГВНП встречается менее 70 причастных оборотов, тогда как в Повести временных лет (по Ипатьевскому списку, которым в основном мы и будем пользоваться в дальнейшем в разделе о причастиях<sup>200</sup>), немного меньшей

<sup>200</sup> Я признателен П. В. Петрухину, предоставившему мне материалы для базы данных по ПВЛ в редакции Ипатьевской летописи, которые существенно облегчили мне работу над данным памятником.

по объему, фиксируется более 1100 причастных оборотов: частота употребления причастных конструкций отличается в летописях при сравнении их с книжными текстами более, чем на порядок.

Это статистическое различие отражает несходство в качественных параметрах. Стратегии организации текста в летописях существенным образом отличаются от стратегий, характерных для юридических или деловых текстов. Несмотря на многообразные моменты интерференции книжных регистров в летописном языке (о них мы скажем дальше), и коммуникативные задачи, и техника их реализации в нормоустанавливающих или распорядительных текстах делового регистра не находят прямого соответствия в летописном повествовании. Хотя летописный текст не отличается однородностью и краткие погодные записи не тождественны по технике изложения пространным повестям, в целом в летописях мы имеем дело с развернутым нарративом. Для этого нарратива характерно выстраивание предикативных конструкций в повествовательные цепочки, при обычных обстоятельствах иконически повторяющие конструируемую последовательность сообщаемых событий. Эти цепочки, как уже говорилось, носят развернутый характер и отличаются сложной организацией. Субординирование, осуществляемое причастными конструкциями, бывает нужно и для фоновых событий и обстоятельств, и для пояснения и комментирования событий, подающихся как основные, и для возвращения назад (временной инверсии), и для прагматических презумпций (отождествления с прежде дававшейся информацией – см.: Падучева 1996, 235), и просто для расстановки формальных скреп, обеспечивающих связанность текста, в серии предикаций, относящихся к одному «эпизоду». Такие задачи по большей части чужды юридическим и деловым текстам, хотя элементарные отношения предшествования или одновременности могут устанавливаться и в них.

Формальные характеристики текстов находятся в прямой связи с общими принципами их организации. Хотя рамки настоящего очерка не позволяют установить в полном объеме, что именно идет от жанровых параметров текста, например, нарратива в отличие от гномических катен, а что от регистровых противопоставлений, например, гибридного регистра в отличие от делового (это требует отдельного обширного исследования), некоторые формальные оппозиции выявляются достаточно четко.

Так, прежде всего для нарративных текстов существенное значение приобретает противопоставление причастий настоящего времени и причастий прошедшего времени. Первые могут указывать на одновременность, последние – на последовательность событий. Хотя эти отношения отнюдь не всегда устанавливаются однозначно, в обычном случае между личным глаголом и причастным оборотом образуются вполне стандартные смысловые отношения. Как пишет (несколько слишком прямолинейно) Р. Вечерка относительно причастного синтаксиса старославянских памятников, «Zusammenfassend kann man sagen, daß die *nt*- und *us*- Partizipien in Transgressivfunktion/-bedeutung im Aksl. als “zweitrangige Prädikate” verwendet werden, in dem Sinne, daß diese Konstruktionen eine begleitende, weniger wichtige Handlung/ einen weniger wichtigen Zustand zu dem durch das Prädikat ihres Nachbarsatzes zum Ausdruck gebrachten Sachverhalt bzw. seine “Kulissen”

aussagen. Die *nt*-Partizipien, die die Gleichzeitigkeit mit der Handlung/ dem Zustand des finites Verbs ausdrücken, haben dabei die Bedeutung nicht näher spezifizierter “begleitender Umstände” (im Sinne von “so/ auf diese Weise, daß [dabei]”), während die Bedeutung der *us*-Partizipien, durch die die Vorzeitigkeit gegenüber der zeitlichen Einordnung des Hauptprädikats zum Ausdruck kommt, überwiegend der Bedeutung der adverbialen Nebensätze der Zeitbestimmung nahe steht (im Sinne von “als, wenn”)» (Вечерка, III, 213). Это верно и для древних восточнославянских книжных текстов или, по крайней мере, тех из них, которые имеют повествовательный характер<sup>201</sup>.

Летописный нарратив (и не отличающийся от него в этом плане нарратив агиографический) в отношении к временной последовательности по большей части иконичен. Это означает, что причастия прош. времени, в большинстве случаев указывающие на предшествование, употребляются преимущественно в препозиции к личному глаголу (к главному предложению). Типичный пример такого употребления: «слышавше же Половцѣ. смерть Сѣополчю. и съвокупившеса и придоша къ Выры [в др. сл. Выроу]. Володимеръ же совокупивъ сѣи свои и сыновцѣ. иде къ Выру» (ПСРЛ, II, стб. 276); последовательность событий ясна: половцы узнали о смерти Святополка, собрались в поход и пришли к Выру; в ответ Владимир собрал свои силы и также отправился к Выру, после этого половцы бежали. Излагая эту последовательность событий, летописец одни из них передает с помощью причастий, другие – с помощью личных форм; критерии выбора не поддаются простому и однозначному определению (см.: Сахарова 2010), хотя несомненно, что в обычном случае личные формы обеспечивают фокусирование, а причастные обороты – субординирование или, иными словами, одни события размещаются на авансцене, а другие в кулисах (например, в разбираемом пассаже летописец направляет внимание на то, что обе стороны отправились к Выру, после чего половцы бежали; другие события рассматриваются как подготовительные, что и обуславливает субординацию соответствующих предикатов). Как бы то ни было, вся цепочка оказывается связанной в один период, и причастная трансформация является одним из инструментов обеспечения этой связи. На саму последовательность событий причастная трансформация в данном случае не влияет.

Причастия наст. времени, напротив, по большей части употребляются в контексте одновременности. Вообще говоря, из этого следует, что в плане иконичности причастия наст. времени с равным успехом могут быть употреблены и до, и после личного глагола (и в ряде ненарративных текстов никакой привязки причастий наст. времени к позиции не наблюдается – см. ниже, § IV-4.3.2). Здесь, однако, существен другой момент: цель причастной трансформации обычно состоит в субординировании обозначенного причастием события; субординирование указывает на его второстепенность, или фоновость, или подчиненность (как поясняющего или каузирующего обстоятельства). Нарративная стратегия летописи состоит, по-видимому, в

<sup>201</sup> Тексты старославянского канона, на которых основывается исследование Вечерки, по большей части представляют собой нарратив – за исключением Синайского евхология и Синайской псалтыри.

том, чтобы сначала обеспечить повествовательное движение, обозначить следующий событийный шаг, а затем сопроводить этот шаг сопутствующими подробностями или пояснениями. В силу этого причастия наст. времени преимущественно помещаются в постпозиции к личному глаголу (главному предложению). Так, например, в рассказе о поражении Святополка в сражении с Васильком под 1097 г.: «и преступи Сѣополкъ. надѣаса на множество вои. и състъпишася [так!] на поли» (ПСРЛ, II, стб. 244); причастный оборот поясняет причину действий Святополка после того, как действие уже обозначено, и это пояснение прерывает цепочку событий, что и служит основанием для субординирования соответствующего предиката.

Эти соотношения формы причастия и его позиции, хотя они и могут рассматриваться как реализация естественных дискурсивных свойств предикативных единиц, являются, надо думать, преемственной особенностью книжного языка, которую восточнославянские книжники получают в наследство от переводных церковнославянских текстов южнославянского происхождения. Анализируя старославянские памятники, Р. Ружичка отмечал: «In präpositiver Stellung wird das präteritale Partizip viel häufiger gebraucht als das präsentische; bei Postposition ist das Verhältnis nahezu umgekehrt» (Ружичка 1963, 84). Ружичка указывает, что в старославянском этот порядок, во всяком случае преимущественное употребление в препозиции причастий прош. времени, соответствует греческому, и объясняет эту связь позиции и формы тем, что в случае причастий прош. времени «[d]er natürlichen Abfolge der Handlungen entspricht die Reihenfolge Partizip – Hauptverb» (там же, 85).

Все обозначенные выше соотношения имеют не характер жестких правил (которые вообще мало пригодны для описания того, как говорящий или пишущий упаковывает информацию), а общих тенденций, вступающих во взаимодействие с другими факторами, иногда усиливающими эти тенденции, а иногда противоречащими им. В частности, причастия наст. времени не всегда указывают на одновременность, а причастия прош. времени – на предшествование (в этом плане утверждения Вечерки как раз и оказываются упрощением). В летописях можно обнаружить не слишком редкие примеры, когда причастия наст. времени обозначают события, находящиеся в отношении предшествования с событием, обозначенным личным глаголом. Ср., например, в Повести временных лет (далее: ПВЛ) по Ипатьевскому списку: «и прихода с Берестового. ѿпеваше часы. и молашеса ту Бѹ в таинѣ» (л. 58об.; об Иларионе; ясно, что Иларион сперва приходил, а потом отпевал часы – ПСРЛ, II, стб. 144); «Русь же видаще пламень вѣтахуса въ воду морскую» (л. 17об.; сначала видели, потом бросались в воду – там же, стб. 34); «Ѡлга же поемши мало дружинѣ. и легъко идущи. приде къ гробу его. и плакаса по мужи своемъ» (л. 22об.; сначала Ольга шла, а потом пришла – там же, стб. 45–46); «Ѧнь же вборота топоромъ и оудари тыльемъ» (л. 65; Ян сначала повернул топор, а потом ударил им – там же, стб. 165)<sup>202</sup>. В

<sup>202</sup> Если полагать, что в предложении из Московского летописного свода из рассказа о том, как Иван III запретил папскому легату, сопровождавшему Софию Палеолог, нести перед собою крест: «Онѣ же постоя мало о том и по том сотвори волю великого князя» (л. 419; ПСРЛ, XXV, 299), *постоя* является не аористом, а причастной формой, оказыва-

ПВЛ приблизительно два десятка подобных примеров. Реже встречаются случаи, когда причастие прош. времени употреблено в контексте одновременности, однако и они не исключены, см., например, в ПВЛ в рассказе о последней воле Ярослава: «и тако раздѣли городы. заповѣдавъ имъ. не преступати предѣла братна» (л. 60об.; ПСРЛ, II, стб. 150); вряд ли имеется в виду, что Ярослав сначала прочел своим сыновьям моральное наставление, а потом поделил между ними города; вместе с тем два описываемых акта трудно толковать как компоненты одного действия; похоже, что мы имеем дело с двумя одновременными действиями, одно из которых обозначено причастием прош. времени. Приведу еще пример из Киевской летописи: «Сѣосла<sup>в</sup> бо и Рюрикъ много стояша оу Василева. стерегше землѣ своею. и ѣха Сѣославъ за Днѣпръ в Карачевъ. а Рюрикъ ѣха во свою волость» (л. 234об.–235; там же, стб. 679); ясно, что Святослав и Рюрик стояли и стерегли свои земли, а не сначала стерегли, а затем стояли<sup>203</sup>.

Можно также отметить, что, реализуя свою основную темпоральность предшествования, причастия прош. времени, когда они употребляются в постпозиции к основному глаголу, представляют собой ретроспективный ход – указание на то, что случилось до основного события. Ретроспекция может быть обусловлена разными причинами, например тем, что личный глагол обозначает основное событие, без которого упоминание предваряющих его актов не имеет смысла, ср. ниже о трафарете для описания кончины персонажа типа: «В се же лѣто престависа игуменьа Лазорева. монастыра. сѣа житьемъ. мѣца сентябра. въ .дѣ. на десѣтъ днѣ. живши лѣтъ шестдесѣтъ. в чернечествѣ. а ѿ роженъа девѣносто лѣтъ и два» (л. 103; ПСРЛ, II, стб. 276); ср. еще в описании того, как Святослав изгнал из Киева Изяслава (сначала говорится об основном факте восшествия на престол, затем о предшествовавшем этому изгнании Изяслава, а затем дается оценка этому действию): «а Сѣославъ сѣде в Києвѣ. прогнавъ. брата своего. преступивъ заповѣдъ штъню. паче же и Бжію» (л. 67об.; там же, стб. 173). Ретроспекция оказывается уместна в тех случаях, когда действие, предваряющее основное событие, представляет собой его причину и поэтому может трактоваться как разновидность комментария, ср.: «Шлегъ же оусприемъ смыслъ буи. и словеса величава. ре<sup>ч</sup> сице. нѣ<sup>с</sup> лѣпо судити еп<sup>с</sup>помъ и черньцемъ или смердомъ. и не восхотѣ ити къ братома своима послушавъ злыхъ свѣтникъ» (л. 84об.; ПСРЛ, II, стб. 220); Олег не захотел соединиться с братьями несомненно после того, как он выслушал рекомендации своих советников, но для летописца важнее не последовательность событий, а их причинная связь, которая и оправдывает ретроспективный ход. Ретроспективный ход оказывается полезным в тех случаях, когда причастный оборот отсылает к предшествующему эпизоду, а главное предложение начинает новый повествовательный фрагмент, ср. в описании победы над половцами в 1103 г.: «и великое сіснѣе створи Бъ въ тѣ днѣ. блговѣрнымъ княземъ Русьскимъ. и всимъ хрестыаномъ. а на врагы нашѣ дасть побѣду велику. и

ется, что причастный оборот с причастием наст. времени может сочетаться с эксплицитным указанием на предшествование.

<sup>203</sup> Ср. еще ряд примеров в работе: Кунавин 1985, 7–8.

въбиша ту в полку князии .ѣ. Оурусобу. Кочия. Юросланопу. Китанопу. Кунама. Асупа Курътыка Ченегрена. Сурьбарь и прочая княза ихъ. а Вельдуза ыша. по семь же сѣдоша братья. побѣдивше враги своя» (л. 96; ПСРЛ, II, стб. 254–255).

Однако иногда причастный оборот с причастием прош. времени, стоящий в постпозиции к главному предикату, обозначает не действие, предшествующее основному действию, а действие, следующее за ним; и в этом случае также, конечно, у причастия прош. времени значение предшествования отсутствует. Единичные примеры встречаются уже в ПВЛ, см., например, погодную запись под 1059 г: «В лѣтѣ .5.ѣ.3. Изаславъ и Сѣославъ. и Всеволодъ. высадиша. стрѣя своего ис поруба. сѣдѣвша .ѣ. и .д. лѣтѣ. и водивше и ко крѣту. и бы<sup>а</sup> черньцемъ» (л. 60об.; ПСРЛ, II, стб. 151); очевидно, что сыновья Ярослава сначала освободили своего стрѣя, а затем привели его к крестному целованию. Ср. в Киевской летописи: «Оулѣбъ же вниде в Черниговъ. и оувѣдавъ вже цѣловаль хрѣтъ Володимиръ Изаславъ Дѣдвича и Сѣославъ Всеволоди<sup>а</sup> къ Сѣославоу Шлговичю хотаче оубити лѣстью Изаслава» (л. 126об.; ПСРЛ, II, стб. 344–345); Улеб сначала прибыл в Чернигов, а потом узнал о заговоре против Изяслава. Приведу еще пример из Степенной книги: «И вниде во градъ, въ немъ же обрѣте мѣсто вельми красно. И ту молебная отпѣвше, обложивше Соборную церковь во имя Пречистыя Богородица» (ПСРЛ, XXI, 2, 647); богослужение и закладка церкви совершались после того, как было обретено «мѣсто вельми красно». Хотя подобные примеры немногочисленны, они отчетливо демонстрируют, что связь между формой причастия и темпоральностью не является жесткой.

**4. 3. 1. Позиция причастного оборота относительно личного глагола в летописях.** Необязательный характер имеет и соотношение типа причастия с позицией относительно личного глагола. Избирательная взаимосвязь, однако же, просматривается вполне отчетливо. Закономерность, согласно которой причастные обороты с причастиями настоящего времени тяготеют к постпозиции, а причастные обороты с причастиями прошедшего времени тяготеют к препозиции, можно продемонстрировать на материале ПВЛ по Ипатьевскому списку, ср. здесь:

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	70 // 6%	406 // 36%	476 // 42%
прош.	502 // 45%	148 // 13%	650 // 58%
всего	572 // 51%	553 // 49%	1126

Если взять отдельно причастия наст. времени, то оказывается, что 85% из них употребляются в постпозиции, 15% – в препозиции. Причастия прош. времени, напротив, в 77% случаев стоят в препозиции, в 23% – в постпозиции. Для идущей в Ипатьевском списке вслед за ПВЛ Киевской летописи мы рассматривали две выборки. Для начальной части Киевской летописи (ПСРЛ, II, стб. 286–370, 1120–1148 гг.) данные имеют следующий вид:

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	42 // 10%	102 // 25%	144 // 35%
прош.	206 // 51%	53 // 14%	259 // 65%
всего	248 // 61%	155 // 39%	403

Конечная часть Киевской летописи (ПСРЛ, II, стб. 650–714, 1185–1199 гг.) характеризуется следующими статистическими параметрами:

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	45 // 11%	135 // 32%	180 // 43%
прош.	200 // 48%	36 // 9%	236 // 57%
всего	245 // 59%	171 // 41%	416

Как можно видеть, общие пропорции остаются в Киевской летописи теми же самыми, что и наблюдавшиеся нами в ПВЛ. Это несомненно связано с преемственностью в реализуемых нарративных стратегиях, с тем, что идентичными остаются принципы организации информации, а вместе с тем и отдельные трафареты, предполагающие употребление причастного оборота при определенных конкретных коммуникативных заданиях (см. о трафаретах ниже). Стабильность рассматриваемых свойств летописного узуса на протяжении столетий может быть проиллюстрирована данными Московского летописного свода конца XV в. В его последней, относящейся к XV в. части мы находим практически те же статистические соотношения, что и в летописях XI–XII вв. В ряде отношений употребление причастий в этом памятнике отличается от, скажем, ПВЛ. Например, причастия встречаются в нем неравномерно, в отдельных пассажах причастия почти не появляются, а в других с причастными оборотами сталкиваешься едва ли не в каждом втором предложении. Эта неравномерность соотносится с тематикой, хотя и непрямым и не поддающимся простым обобщениям образом, и эту соотношение можно рассматривать как инновацию<sup>204</sup>. Однако эти особенности узуса никак не влияют на рассматриваемые сейчас параметры: связь причастий наст. времени с постпозицией, а причастий прош. времени с препозицией просматривается и здесь, и при этом процентные соотношения очень

<sup>204</sup> Так, например, в рассказе о свадьбе Ивана III с Софией (нач.: «Свадьба великого князя Ивана Васильевича»; конец: «И тако поидоша с Москвы на Литовъскую землю и на Лятскою и по иным многим землям ко граду своему Великому Риму» – ПСРЛ, XXV, л. 418об.–420об.), состоящем из приблизительно 850 слов, встречается 16 причастных оборотов, т. е., округляя, один причастный оборот на каждые 53 слова. В рассказе о челобитье новгородцев во время разорения Новгорода (нач.: «Того же мѣсяца 5 в пяток прииде из Новгорода владыка Феофил»; конец: «И владыка и посадники и житии отвечали: “скажем то, господине, Новугороду”» – там же, л. 444об.–448об.), представляющем собой своего рода протокол переговоров архиепископа и бояр с великим князем и состоящем из приблизительно 1475 слов, встречается 8 причастных оборотов, т. е., округляя, один причастный оборот на каждые 184 слова.



напоминают те, которые мы наблюдали в Киевской летописи. В анализированном фрагменте, охватывающем 1465–1492 гг. (ПСРЛ, XXV, л. 390–472об.), статистические характеристики выглядят следующим образом:

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	37 // 10%	109 // 29%	146 // 39%
прош.	205 // 54%	26 // 7%	231 // 61%
всего	242 // 64%	135 // 36%	377

Конечно, конкретные параметры варьируют от летописи к летописи и от периода к периоду и могут быть связаны с различными особенностями риторических установок конкретного памятника. Так, например, редакторы и составители Степенной книги обнаруживают пристрастие к истолкованию упоминаемых событий, указанию на их «духовный контекст» и т. п. Отсюда у них широкое использование причастий наст. времени, нередко появляющихся и в препозиции (поскольку комментирование оказывается не менее важным, чем повествовательное движение). Тем не менее общие пропорции, судя по двум выборкам из двух последних степеней (ПСРЛ, XXI, 2, 582–607, 628–653), сохраняются, ср.:

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	87 // 28%	125 // 40%	212 // 68%
прош.	76 // 25%	21 // 7%	97 // 32%
всего	163 // 53%	146 // 47%	309

И здесь, как видно, причастия прош. времени преимущественно употребляются в препозиции, а причастия наст. времени – в постпозиции<sup>205</sup>.

<sup>205</sup> Рассматривая данные текстов XVI в., можно также привести материал Сказания о Мамаевом побоище, исследованный А. А. Алексеевым. Этот сравнительно небольшой текст возник в XV в., однако дошел до нас в рукописях XVI в. Алексеев, отмечая, что для причастий наст. времени характерна постпозиция, а для причастий прош. времени – препозиция, приводит следующие данные (в пересчете, делающем их сходными с приведенными выше материалами):

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	8 // 5%	69 // 47%	77 // 52%
прош.	63 // 43%	8 // 5%	71 // 48%
всего	71 // 48%	77 // 52%	148

Для объяснения этого явления Алексеев апеллирует к грамматическому значению причастных форм: «Такая закономерность связана, видимо, с грамматическим значением этих форм: причастие настоящего времени характеризует действие в его процессе, причастие прошедшего времени характеризует действие по его результату» (Алексеев 1987б, 192). Как мне кажется, такое объяснение ничего не объясняет (логически совсем не ясно, отчего обозначение процесса тяготеет к постпозиции, а обозначение результата

Схожие данные характеризуют Летописец 1619–1691 годов, памятник, написанный на довольно убогом книжном языке со множеством неудачных синтаксических построений, многочисленными нарушениями согласования в формах аориста, имперфекта и причастий. Причастному синтаксису этого текста свойственно употребление причастий как автономных предикатов (более 10% всех причастных оборотов), немотивированное субординирование предикаций, усиление роли видовой корреляции, когда причастия наст. времени сов. вида (типа *увидя*) начинают все шире употребляться для обозначения предшествующего действия (т. е. в функции *увидев*) и, соответственно, начинают тяготеть к препозиции. Казалось бы, совокупность этих факторов должна была существенно повлиять на статистические параметры, однако основная нарративная стратегия, описанная выше, оказывается определяющей силой, так что знакомые нам пропорции доминируют и в этом тексте, ср.:

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	73 // 23%	126 // 39%	199 // 62%
прош.	94 // 29%	28 // 9%	122 // 38%
всего	167 // 52%	154 // 48%	321

Из подсчета исключены те случаи, когда неясно, стоит ли причастный оборот в препозиции или постпозиции к личной форме, поскольку оборот помещается между двух личных форм, а принципы субординирования неясны, т. е. неясно, от какой из окружающих предикативных единиц причастный оборот зависит (в более ранних летописях такие случаи появляются лишь в качестве редчайших исключений). Шесть таких случаев отмечается с причастиями наст. времени, ср.: «начаша строити гробы, составя в четырех досках, железным, иныя же и деревяным гвоздием укрепляше» (ПСРЛ, XXXI, л. 695); неясно, уточняет ли автор с помощью причастного оборота, как делались гробы, или говорит о том, что, сделав гроб из четырех досок, эти доски скрепляли гвоздями; неясно даже, думал ли автор о таком выборе. Ср. еще: «Стрелцы же всех полков приидоша болшим собранием, бегущи ко Кремлю граду... и внидоша во град царский всеми враты» (там же, л. 712об.–713); хотя в этом примере употреблено причастие наст. времени, описывается, можно думать, последовательность действий: сначала стрельцы собрались, потом побежали к Кремлю, затем вошли во все ворота; причастный оборот с *бегущи* можно с равным успехом отнести и к предшествующей, и к последующей личной форме. В девятнадцати примерах неопределенность позиции характеризует причастия прош. времени, ср.: «яко дивии зверие стаха во всех полках стрелцы и салдаты вооружеша, аки противу неприятеля, врага и супостата единомысленно в своих слобода[х] круг царства в Земляном граде и стражи укрепивше крепкие, яко на рать изготовившеша,

к препозиции), представляет собой лишь иную формулировку самого факта связи позиции с формой причастия и не дает возможности понять, почему в разных текстах данные параметры реализуются по-разному.

на битву с пушечным и с мелким огненным боем, с самопалы, с копии, з бердыши и со всем воинским оружием, окружившеся у съезжих изб деревянными походными служилыми городки, яко во осаде седши, и всякое оружие к бою наготове держажу, и пребыша тако многия дни» (ПСРЛ, XXXI, л. 709об.–710); естественнее всего рассматривать выстроенные в цепочку причастные обороты как зависящие от предшествующего предиката (*сташа*) и означающие различные действия, составившие это устройство обороны; однако нельзя полностью исключить и иную интерпретацию, при которой набор причастных оборотов относится к *держажу* (описывая те действия, которые предвляли состояние боевой готовности); последняя интерпретация кажется натянутой, поскольку никакой семантической субординации причастных предикатов в отношении к *держажу* не просматривается, однако такое лишенное смысла субординирование встречается в тексте и в других случаях. Ср. еще: «Они же, окаянии <...> дияволу волю творяше, не послушавше царскаго прошения, хождаше по царским чертогам с копиями» (там же, л. 717). Та или иная трактовка этих примеров принципиальным образом статистические соотношения не меняет.

Такая неопределенность структуры зависимостей не свойственна обычной для более ранних летописей нарративной стратегии, хотя ее можно рассматривать как предсказуемое следствие организации периода в средневековых восточнославянских текстах. Как уже говорилось, причастное оформление предикации не всегда отражает ее смысловую подчиненность предикации с личным глаголом. Важным для средневекового автора может быть не столько смысловое субординирование, сколько создание формального единства цепочки предикативных единиц (формальной связанности текста). Для средневековых анналистических и агиографических повествований характерна такая стратегия, когда в единое целое соединяется вся последовательность предикативных единиц, имеющих дело с одним микросюжетом и одним набором действующих лиц (ср. выше). Единство появляющегося в результате «макропредложения» обеспечивается различными анафорическими связями, включая эллипсис, и формальными скрепами, включая причастную трансформацию.

Когда мы говорим о нарративной стратегии и ее свойствах, мы имеем дело с обобщением различных частных факторов, влияющих на выбор синтаксических средств. Реально языковое поведение летописца определяется не столько этой общей стратегией, сколько более конкретными трафаретами. Трафареты создают инфраструктуру языковой приемственности, а нарративная стратегия есть не что иное, как их общая сумма. Синтаксис летописей может быть, видимо, описан в терминах трафаретов, однако это будет чрезвычайно дробное описание, лишенное какой-либо системности. Между тем, как показывают системные описания, трафареты складываются в регулярности более высокого уровня, и мы не можем обойтись без этих общих регулярностей, если хотим сделать наше описание содержательным. Хотя, можно полагать, трафареты первичны для языкового поведения, в описании они скорее должны выступать как дополнение, демонстрирующее реальные механизмы языкового изменения и языковой приемственности.

Примером таких трафаретов в области причастного синтаксиса может служить введение прямой речи с помощью причастного оборота (с причастиями наст. времени от *verba dicendi*), поставленного в постпозицию к главному предложению. Обычно в рамках данного трафарета появляются причастия настоящего времени от глаголов *глаголати* или *рещи* (*речи*), ср. в ПВЛ: «си же шьбъступиша градъ. и послаша к Володимерцеи глѣща. вѣ не приидоховѣ на городъ вашъ. ни на васъ. но на вороги своя»; «и кликоша людѣ на Дѣда. рекуще. выдаи кого ти хотать. аще ли то предамыся» (ПСРЛ, II, стб. 242); причастия в этих случаях, как правило, обозначают не самостоятельное действие, а компонент действия, обозначенного основным глаголом (в действие посылки включены те слова, с которыми посылали по слов), и работают как прием, вставляющий прямую речь.

Такие трафареты безусловно влияют на статистические параметры, хотя и не определяют их полностью. Так, например, в ПВЛ по Ипатьевскому списку рассматриваемый трафарет реализуется в 180 примерах, что составляет 16% всех причастных оборотов. Сверх приведенного выше примера ср. еще: «Посла Шлегъ к Радимиче<sup>м</sup> рка. кому данъ дасте» (ПСРЛ, II, стб. 17); «послаша къ цѣрю Михаилу глѣще. земля наша крѣщена. и нѣ<sup>а</sup> в на<sup>а</sup>оучитель» (там же, стб. 18); «Се слышавъ цѣрь посла по на. в Селунъ къ Лвови глѣ. пошли к намъ сѣа своя» (там же, стб. 19); «съ слезами ѿвѣщеваху другъ другу глѣще» (там же, стб. 216); «и въпросиша колодникъ глѣще. како васъ толка сила» (там же, стб. 268); в этих случаях акт говорения предполагается ситуацией, обозначенной глаголом *послати*, так что глаголы речи выделяют компонент из значения главного глагола для того, чтобы ввести прямую речь. Встречаются и причастные обороты, вводящие прямую речь и при этом семантически независимые от главного глагола, ср.: «но шбаче любаше Шлга сѣа свое<sup>е</sup> Сѣослава ркущи. вола Бжїи да буде<sup>т</sup>» (там же, стб. 52); любить, конечно, можно, ничего не изрекая.

Этот же трафарет реализуется и в Киевской летописи, хотя, возможно, несколько менее интенсивно (это, однако же, может быть связано не с отношением к самому этому трафарету, а с частотой введения прямой речи персонажей). В первом из обследованных фрагментов Киевской летописи встретилось 40 реализаций разбираемого трафарета, что составляет чуть менее 10% всех причастных оборотов, во втором фрагменте – 36 реализаций (несколько более 8%). Приведу несколько примеров: «и посла по нихъ Всеволодъ брата своего Сѣошу. река имъ братья моя. возьмите оу мене с любовию что вы даю» (там же, стб. 312); «посла къ Двдвчема рка има. ѿстоупита вы ѿ братоу моею» (там же); «с тою же доумою. и ко Сѣославоу посла река емоу. се мы своя шроуды дѣвѣ. а Роускыи земля не шставивѣ тщеѣ» (там же, стб. 669); «послаша ко Сѣославоу моужи своя. рекоуши емоу. ты брате к намъ крѣтъ целовалъ. на Романовѣ радоу» (там же, стб. 670). Появляются и причастные обороты с глаголами говорения, не являющимися семантическим компонентом главного глагола, ср.: «видивше. же то Галичане. съчноуша рекоуче. мы сде стоимы» (там же, стб. 315); «се же вставъ оужасенъ и трепетенъ. и поклониса. шбразоу Бжїю и крѣтоу чѣтномоу. глѣ Гѣи срѣцевидче. аще сѣсеши ма влѣко ты недостойнаго» (там же, стб. 651). Усвоение подобных трафаретов может рассматриваться как

один из важных моментов преемственности письменных навыков. Конечно, наличие такого трафарета не означает, что ситуация, для описания которой он предназначен, не может быть описана иным способом: трафареты производят обычное, а не обязательное. Так, например, в Киевской летописи мы находим: «Сѣславъ же прослезивъся ре<sup>ч</sup>ѣ пославъ къ Юргѣви. оу Соуждалъ. братама [так!]. Всеволода Бѣ поѣлъ. а Игоря Изаславъ ѡлъ. а поиди в Роускою землю. Киевою» (там же, стб. 329); как можно видеть, знакомый нам трафарет здесь перевернут: глагол говорения стоит в личной форме, а *послати* выражено причастием (о данном трафарете в Новгородской первой летописи см.: Сахарова 2010)<sup>206</sup>.

Встречаются и такие относительно редкие случаи, когда употреблено причастие не настоящего, а прошедшего времени, ср., например, в ПВЛ: «и пѣрвое начаша прѣрчѣствова<sup>т</sup>и ѡ воплощении Бѣи рекъ. изъ щрева преже дѣбница рѣдихъ та» (л. 38б; там же, стб. 84); «Иродъ же се слышавъ. посла рекъ избѣите младенца сущаа до дву лѣту» (л. 40а; там же, стб. 89); «Володимеръ <...> прослави Бѣ рекъ. то первое оувидѣхъ Бѣ истиннаго» (л. 42; там же, стб. 97); в Киевской летописи: «и посла с нима сѣа своего Мѣстислава. съ Переяславчи. и съ Берендѣи. рекъ имъ идите. на нь» (там же, стб. 330); «посла к нему послъ свои рекъ ему гнѣва ти ѡдаваю» (там же, стб. 688). Поскольку причастие обозначает не самостоятельное действие, а компонент действия, обозначенного личным глаголом, отношения предшествования или одновременности оказываются здесь полностью нерелевантными, так что выбор причастия прош. времени никак не влияет на смысл, однако в этом производном виде разбираемый трафарет оказывается в противоречии с установленной нами тенденцией размещения причастных оборотов<sup>207</sup>.

Рассматриваемый трафарет продолжает реализовываться и в позднейших летописях, хотя и менее интенсивно. Это обусловлено, видимо, не столько размыванием данного письменного навыка, сколько существенно более ограниченным использованием прямой речи: там, где прямая речь появляется, появляется и рассматриваемый трафарет. В анализировавшемся отрывке из Московского летописного свода (см. ниже) встречается

<sup>206</sup> См. о вариантных чтениях в старославянских евангельских кодексах типа: (Мф. 13: 36) «и пристѣпиша къ нему оученици его глѣшѣ» (Зогр., Мар.) – «пристѣплѣше же оученици его. рѣша ему» (Ассем.); (Мф. 19: 16) «юноша етеръ пристѣпи къ їсѣи мола и и глѣ» (Ассем., Сав.) – «и се етеръ пристѣпѣ рече ему» (Мар.) у Р. Вечерки: Вечерка, III, 203.

<sup>207</sup> В принципе можно было бы думать, что исходным трафаретом была конструкция, в которой выраженный причастием наст. времени глагол говорения является компонентом ситуации, обозначенной главным глаголом (типа *посла, глаголя*), а конструкции, где два предиката не находятся в столь тесной семантической связи, равно как и конструкции, где глагол говорения выражен причастием прош. времени, представляют собой экстраполирующие реинтерпретации данного трафарета. Такое развитие кажется правдоподобным (поскольку производные модели реализуются существенно реже, чем основная), однако для проверки данной гипотезы мы не располагаем достаточным материалом (возможно, исследование древнейших невосточнославянских памятников могло бы быть здесь полезным).

15 его реализаций (около 4% причастных оборотов)<sup>208</sup>, в Летописце 1619–1691 гг. (см. ниже) – 19 реализаций (около 5% причастных оборотов). Из того, что говорилось выше о языке юридических кодексов, грамот, равно как и такого особого памятника, как Слово о полку Игореве, очевидно, что мы имеем здесь дело с межрегистровым трафаретом, работающим в разных коммуникативных ситуациях, но в разных регистрах реализующимся с помощью разных лексических средств<sup>209</sup>.

Следует, впрочем, отметить, что летописец располагал и трафаретами, нарушающими то оптимальное соотношение позиции и типа причастия, которое мы сейчас разбираем. Так, когда говорится о том, что нечто перестало существовать и сообщаются какие-то сведения об этом исчезнувшем объекте, то сведения эти обычно оформляются причастным оборотом с причастием прош. времени, стоящим в постпозиции к глаголу, обозначающему конец существования. Чаще всего этот трафарет применяется при сообщении о кончине какого-либо лица, ср. в ПВЛ по Ипатьевскому списку: «а самъ иде в гору. ископа пещеру. ꙗже есть по<sup>а</sup> ... монастыремъ. в немже и сконча животь свои живъ въ добродѣтели. и не выхода ис пещеры. лѣ<sup>т</sup>. м. николи же никамо же» (ПСРЛ, II, стб. 146); «с праведными вѣе почилъ еси. оусприемъ противу трудомъ свои<sup>м</sup> измѣздѣ. шѣемъ наслѣдникъ бывъ. послѣдовавъ оученью и<sup>х</sup>» (там же, стб. 205); «и пришедшу же часу прѣстависа тихо ї кротко. и приложиса ко шѣемъ своимъ. княживъ лѣ<sup>т</sup>. оу Киевѣ . ёи. а в Переяславлѣ лѣ<sup>т</sup>. а Черниговѣ лѣто» (там же, стб. 208); «В се же лѣто прѣстависа игуменьа Лазорева. монастыра. сѣа житьемъ. мѣца сентябра. въ .дѣ. на десатъ днѣ. живши лѣтъ шестѣдесатъ. в чернечествѣ. а ѿ роженъа деваносто лѣтъ и два» (там же, стб. 276). Этот же трафарет находим и в Киевской летописи: «Прѣстависа. блговѣрныи кнзь Мьстиславъ Володимерь снѣ оставивъ кнжение брату своему Юрополку ему же и дѣти

<sup>208</sup> Отмечу в Московском летописном своде курьезный пример с двумя синонимическими причастиями, как бы удваивающий рассматриваемый трафарет (или совмещающий его книжную и некнижную реализации): «И князь великы посла за ними въ Ржеву архиепископа Ростовского Васиана. Да с нимъ боярь своих, Василя Федоровича Образца да Василя Борисовича Тучка, да дьяка Василя Момырева, глаголя ркучи имъ: “възвратитесь на свои отчины, и яз вас хочю жаловати, а даю тебѣ князю Андрѣю къ твоеи отчине и к матери нашей данью Колугу да Олексин”» (ПСРЛ, XXV, л. 460об.).

<sup>209</sup> Можно полагать, что в восточнославянской языковой традиции с этим трафаретом ассоциируется и конструкция, в которой и личная форма, и причастие представляют собой *verba dicendi*, обозначающие одно и то же событие. Такие конструкции возникают как кальки с греческого, в котором они в свой черед являются гебраизмом. По поводу этих конструкций А. В. Исаченко замечает: «Dort, wo andere Sprachen zwei beigeordnete finite Verbformen verwenden, verwandelt das Griechische eine dieser finiten Formen in ein Partizip. Hier folgt das Griechische übrigens einem im Semitischen verbreiteten Konstruktions-typus» (Исаченко, I, 85). В качестве примера Исаченко приводит следующий стих из Евангелия от Матфея (Мф. 15: 13): «Онъ же отъвѣщаваъ рече» (Мстислав. ев. 42в), чему в греч. соответствует «Ο δ' ἀποκριθεὶς εἶπεν». В русских книжных текстах конструкции этого типа представлены как в памятниках стандартного, так и в памятниках гибридного регистра. Ср., например, в Житии Феодосия: «бжѣствьныи оуноша отъвѣщаваше мѣтери свои глагола» (Усп. сб., 29а16–18).

свои съ Бмѣ на руцѣхъ предасть» (ПСРЛ, II, стб. 294); «того же лѣта престависа. съдѣ Пльсковѣ. мѣца февраля въ .ѡи» (там же, стб. 300); «Того же лѣтѣ престависа кнѣзь Всеволодѣ. снѣ Мьстиславль приемъ мнискѣи шбразѣ» (там же, л. 683); «Престависа блговѣрнѣи кнѣзь Смоленский Двдѣ снѣ Ростиславль. вноукѣ же великаго кнѣза. Мьстислава. примѣ мнискѣи чинѣ» (там же, стб. 702). Та упаковка информации, которая задается этим трафаретом, не является, конечно, единственно возможной, однако она вполне естественна и объяснима: сначала говорится об основном событии, которое и ставится в фокус, а затем о той ретроспективе, которая этим событием создается.

Этот трафарет постоянно используется и в позднейшем летописании, ср., например, в Летописце 1619–1691 гг.: «По неизреченным судьбам всех творца и зиждителя и бога нашего преселися в вечныя его царствия небеснаго обители божий церковный рачитель, благочестивый православный христианский монарх, великий государь царь и великий князь Феодор Алексеевич всея Великия и Малыя и Бѣлыя Росии самодержец, оставль отечества своего по себе скипетродержавство в наследие царскаго своего роду братьям своим государевым великим государем царем и великим князем» (ПСРЛ, XXXI, л. 702). В Новгородской второй летописи: «В лѣто 6601. Престависа Веселод [так в ркп.] апрѣль 13, княживъ в Києви 15 в [так в изд.] лѣтѣ» (ПСРЛ, XXX, л. 128); «В лѣто 6633. Мѣсяца маѣя в 19 день престависа Володимѣр Монамахъ, княживъ в Києви лѣт 13 а живъ всѣхъ лѣто 73» (там же, л. 128–128об.); «Престависъ Михаило Изяславичъ, завоymi Святополкъ, апрѣль 16, княживъ в Києви лѣт 21» (там же, л. 139об.; см. еще о его широком употреблении в Новгородской первой летописи: Сахарова 2007б, 106)<sup>210</sup>.

**4. 3. 2. Позиция причастного оборота относительно личного глагола как характеристика нарратива и особенности ненарративных текстов.** Установленное выше соотношение между формой причастия (наст. или прош. время) и его позицией относительно личного глагола является элементом нарративной стратегии средневековых восточнославянских текстов. Можно утверждать, что это именно стратегия нарратива; именно ей присуще иконическое построение предикативных цепочек, соответствующих движению событий и обуславливающих преимущественное расположение причастий прош. времени в препозиции к личному глаголу. Для этой же стратегии характерно фокусирование на событиях, составляющих цепочку, и отодвигание на второй план (в кулисы) различных дополнительных к событию обстоятельств и соображений, выпадающих из цепочки, что приводит к преимущественному расположению причастий наст. времени в

<sup>210</sup> Любопытную модификацию этого трафарета мы находим в Московском летописном своде в сообщениях о закладке церквей, когда эта закладка предполагала разбор старой церкви, стоявшей на месте будущей новой, ср.: «Того же лѣта июля мѣсяца 11 заложи церкви камену Иоанна Златаустаго благовѣрнѣи и христоролюбивѣи великий князь Иванъ, а прежебывшую деревяную разбравъ» (ПСРЛ, XXV, л. 455об.); «а ту разобраную церковь деревяную повелѣ поставити во своемъ монастырѣ Покрова в садѣхъ, еже и бысть, первую малую разбравъ» (там же, л. 456); «Тое же весны маѣя в 6 князь великий Иван Васильевич всея Руси заложилъ церковь камену Благовещеніе пресвятыя богородица на своемъ дворѣ, разрушивъ прѣвое основаніе» (там же, л. 467об.).

постпозиции. Эти соотношения характеризуют средневековый восточнославянский нарратив в целом, а не только летописи (см. ниже о традиции агеографических текстов), и в то же время они не свойственны ненарративным текстам – как книжным, так и некнижным. Можно было бы даже предположить, что мы имеем здесь дело с еще одной чертой, противопоставляющей *le plan de l'histoire* и *le plan du discours* в терминологии Э. Бенвениста (Бенвенист 1966) или *erzählte Welt* и *besprochene Welt* в терминологии Г. Вайнриха (Вайнрих 1964)<sup>211</sup>.

О связи описанных статистических параметров с нарративом позволяет говорить тот факт, что они вполне выразительно противостоят характеристикам ненарративных текстов. Понятно, что ненарративные тексты многообразны и каждая их разновидность требует отдельного обследования; такая задача явно выходит за рамки настоящего очерка. Поэтому я ограничусь лишь одним примером ненарративного книжного текста, а также обращусь к рассмотренным выше ненарративным некнижным текстам (юридическим кодексам и грамотам). В качестве книжного ненарративного текста я рассмотрел Пчелу по списку XV в., опубликованному В. А. Семеновым (Семенов 1893; я пользуюсь комментированным переизданием – Пич-

<sup>211</sup> Было бы поспешным пытаться определить, насколько универсальны данные отношения. Какие-то аналогии существуют и в современном русском языке, однако без специального исследования трудно сказать, насколько далеко они идут. Так, скажем, предложение «Петя сидел на стульчике, болтая ножками» кажется куда более естественным, чем «Болтая ножками, Петя сидел на стульчике». Вместе с тем «Поднявшись, он произнес блестящую речь» звучит существенно лучше, чем «Он произнес блестящую речь, поднявшись». То, как соотносится здесь лексическая семантика и причастный синтаксис, требует отдельного изучения. Возможно, некоторые весьма несовершенные данные можно извлечь из Национального корпуса русского языка ([www.ruscorpora.ru](http://www.ruscorpora.ru)), в котором, однако же, непросто разделить материал на нарративные и ненарративные тексты. Если считать, что традиционная художественная литература по большей части нарративна, то для нее (в корпусе текстов, написанных между 1750 и 1917 гг.) устанавливаются следующие статистические соотношения. Сочетания деепричастия и личного глагола в индикативе, между которыми стоит от нуля до трех слов, характеризуются следующими параметрами:

	перед личным глаголом	после личного глагола	всего
деепр. наст.	30113 // 28%	57298 // 52%	87411 // 80%
деепр. прош.	19378 // 18%	2110 // 2%	21488 // 20%
всего	49491 // 46%	59408 // 54%	108899

Конечно, эти данные дают лишь очень приблизительное представление о статистике употребления деепричастий наст. и прош. времени в препозиции и в постпозиции к личному глаголу, поскольку в подсчеты включается масса «ненужных» примеров, однако и эти цифры не совсем не показательны. Хотя они не слишком похожи на те, которые мы приводили для средневековых текстов, они все же говорят о предпочтительной связи деепричастий прош. времени с препозицией, а деепричастий настоящего времени – с постпозицией (во всем корпусе в целом, без вычленения художественной литературы, эти привязки не действуют).



хадзе и Макеева 2008). В этом тексте употребление действительных причастий характеризуется следующими параметрами:

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	194 // 28%	195 // 28%	389 // 56%
прош.	255 // 37%	50 // 7%	305 // 44%
всего	449 // 65%	245 // 35%	694

Основное отличие этих параметров от тех, которые мы наблюдали в нарративных текстах, состоит в поведении причастий наст. времени: они с одинаковой частотой появляются и в постпозиции, и в препозиции к личному глаголу. Эта особенность вполне объяснима: поскольку нарративное движение отсутствует, никакой потребности в фокусировании на предикате, означающем основное действие, нет, как нет и различия между основным действием и пояснением к нему. У причастных оборотов с причастиями наст. времени в Пчеле иные функции, нежели у тех же оборотов в летописях и житиях; они нередко означают не столько дополнительное (сопровождающее) действие, сколько условие, при котором имеет место действие или состояние, обозначенное главным глаголом, ср., например: «**аще можетъ члвкъ, шбида инѣхъ, бѣ оугантиса**» (Пичхадзе и Макеева 2008, 164–165); «**Мога даръ дати, не медли, но скоро даи**» (там же, 203). Есть и другие синтаксические черты, противопоставляющие Пчелу рассматривавшимся выше нарративным текстам и показывающие, что мы имеем здесь дело с иной стратегией изложения (см. ниже).

Иная стратегия изложения характеризует и рассматривавшиеся выше юридические и бытовые не книжные тексты. Приведу данные, относящиеся к Русской Правде и корпусу ГВНП. Русская Правда:

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	9 // 31%	3 // 10%	12 // 41%
прош.	10 // 35%	7 // 24%	17 // 59%
всего	19 // 66%	10 // 34%	29

Корпус ГВНП:

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	18 // 32%	5 // 9%	23 // 41%
прош.	26 // 46%	7 // 13%	33 // 59%
всего	44 // 78%	12 // 22%	56

Причастия в этих текстах встречаются относительно редко, так что выборки невелики, однако и на этих немногочисленных примерах видно, насколько отлична ненарративная организация информации. Если причастия

прош. времени тяготеют к препозиции, то причастия наст. времени отнюдь не обнаруживают противоположной тенденции, препозиция оказывается предпочтительной и для них. Надо полагать, это соответствует тому факту, что причастия в подобных текстах не вставлены ни в какую повествовательную цепочку, а обозначают в большинстве случаев обстоятельства или условия, в которых должно совершиться основное действие (обозначенное личным глаголом или инфинитивом). Чаще всего составитель таких документов стремится сначала указать на условия или обстоятельства, а потом сказать о том, что требуется сделать (см. выше), ср.: «**Оже ли вынезъ мьчь, а не оутнеть, то гривноу коунъ**» (ст. 24 – РП, I, 124), «**А се оурочи городникоу: закладаюче городьна, кѣна взати, а кончавше ногата**» (ст. 96 – РП, I, 132). Для этого в равной степени годятся причастия наст. и прош. времени (ср. формулировку условия в ст. 112 Пространной редакции Русской Правды «**оже слышавъ кто или зная и вѣдая**» [РП, I, 133], в которой причастия прош. и наст. времени выступают как однородные члены), причем и для тех, и для других оказывается предпочтительной препозиция<sup>212</sup>.

Таким образом, для летописных текстов устанавливается закономерность, согласно которой причастные обороты с причастиями прош. времени тяготеют к препозиции относительно главного предложения, а причастные обороты с причастиями наст. времени тяготеют к постпозиции. Эту законо-

<sup>212</sup> В целом эти выводы подтверждаются и другими обследованными нами юридическими кодексами. Так, Судебник 1497 г. характеризуется следующими статистическими данными:

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	4	1	5
прош.	13	1	14
всего	17	2	19

В Судебнике 1550 г. наблюдаем следующую картину:

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	9	7	16
прош.	19	4	23
всего	28	11	39

Несколько отклоняется от этой модели Псковская судная грамота, в которой соответствующее распределение имеет вид:

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	3	5	8
прош.	16	2	18
всего	19	7	26

Здесь причастия наст. времени чаще стоят в постпозиции, нежели в препозиции (как в летописях), однако эти специфические цифры объясняются тем, что в 3 случаях из 5 мы имеем дело с устойчивым оборотом *а ркучи*, вводящим речь персонажа и всегда стоящим в постпозиции (см. об этом трафарете выше).

мерность можно рассматривать как вполне объяснимый элемент нарративной стратегии летописцев. Сопоставление с другими книжными нарративными текстами показывает, что мы имеем здесь дело с общей стратегией средневекового восточнославянского нарратива. Об этом свидетельствует и тот факт, что ненарративные тексты (как книжные, так и некнижные) характеризуются иными статистическими параметрами.

**4. 3. 3. Причастные обороты, субъект которых в главном предложении не стоит в именительном падеже.** Другое бросающееся в глаза отличие нарративных текстов от текстов некнижных состоит в почти полном отсутствии «безличных» причастных конструкций, т. е. конструкций, у которых субъект в главном предложении отсутствует, и причастных конструкций «с дативным субъектом», т. е. относящихся к субъекту главного предложения, стоящему в дативе. Как мы видели, такие конструкции устойчиво представлены в юридических кодексах, встречаются они и в грамотах, ср.: «нѣ же далъ кмоу господинъ плоугъ и бороноу, ѡт него же ковоу кмлетъ, тѣ то погоубивъши кмоу платити» (ст. 57 – РП, I, 130); «А игумену и чернцемъ, живущи в манастире святаго Іоана Богослова, собинъ имъ не держати» (Валк 1949, № 280, с. 281); «Искавшє ли послонѣхъ, и не налѣзюгѣ» (ст. 21 – РП, I, 124). Дативный субъект в юридических и деловых текстах появляется в конструкциях со значением долженствования (типа *ему платити*), которые находят широкое применение в предписывающем и нормоустанавливающем контексте, но, как правило, не встречаются в нарративе, в том числе и в нарративе летописном; они представляют собой, по всей видимости, элементы ненарративной стратегии изложения. Можно напомнить в этой связи, что причастные конструкции с дативным субъектом встречаются и в Вопросании Кирика (см. выше). Безличные причастные обороты и причастные обороты с дативным субъектом довольно многочисленны в Пчеле, для которой характерны способствующие их появлению общие сентенции и моральные рекомендации, ср., например: «Оуне ксть, по правоу сѣдивше, ѿ осужденаго поношеноу [так!] быти вес правды, нежели, неправо соудивше, кстьствомъ по правдѣ поношеноу быти» (Пичхадзе и Макеева 2008, 163); «Не просто ксть славна житѣя при(и)скывати к собѣ, принскавшє же вельми люто да коньца держати» (там же, 288); «Достоинно намъ конецъ вещи преже смотривше тако начатък ихъ творитѣ» (там же, 137); «Оуне ти ксть что добро исправивше завидимоу бытѣ, нежели съгрѣшивъше и ѿ инѣхъ помилованѣя изискати» (там же, 445; ср. также о данных конструкциях в старославянском: Вечерка 1961, 111–115).

Если во флорилегиях, равно как в юридических кодексах и деловых документах безличные конструкции и конструкции с «дативным субъектом» составляют значимую пропорцию, в летописях их присутствие (даже если они появляются) статистически ничтожно, измеряясь долями процента. Так, в ПВЛ по Ипатьевскому списку имеется всего два примера причастных оборотов с дативным субъектом (их пропорция, тем самым, менее 0,2%). В одном речь идет о перенесении мощей Феодосия и главным предложением для причастной конструкции является предшествующий оборот дательного самостоятельного, в силу чего субъект и стоит в дат. падеже: «Изславъ и

Сѣославъ и Всеволодъ. вземше на плещи своя. и понесоша и. предъидущимъ черноризьцемъ. свѣща держаще в рукахъ. и по нихъ дьякони с кандилы. и по семь прозвутери. и по нихъ еп<sup>с</sup>пи с митрополитомъ. и по нихъ с ракою идахуть» (л. 67; ПСРЛ, II, стб. 171; Островски, III, 1466–1468). В другом примере главное для причастной конструкции предложение является безличным с агенсом (*братия*) в дативе: «Федосии же ре<sup>ч</sup> имъ. да аще ѿ мене хочете игумена прияти. то азъ створю вамъ. но не по своему. изволению но по Бжию строенью. и нарече имъ Юкова прозвутера. брати же не любо бы<sup>с</sup>. глѹще яко не здѣ есть. постригълъса» (л. 69; ПСРЛ, II, стб. 177; Островский, III, 1514–1516)<sup>213</sup>.

Несколько чаще, хотя и статистически незначимым образом, встречаются причастные обороты с дативным субъектом в Киевской летописи. В первой из обследованных нами выборок имеется три бесспорных примера и один пример, синтаксическая структура которого поддается разной интерпретации; общая пропорция, таким образом, не превышает 1%<sup>214</sup>. Характерным образом все четыре примера встречаются в прямой речи. Первые два находим в статье 1140 г. в словах князя Андрея, обращенных к Всеволоду, пытавшемуся согнать Андрея с Переяславского княжества: «ѡже ти бра<sup>ч</sup> не досити волости всю землю Роускоюу. държачи. а хочещи сея волости. а

<sup>213</sup> Еще один пример сомнителен и должен быть отнесен на счет писцовой погрешности. И здесь главное предложение является безличным с агенсом (*рищющи*) в дативе: «древле при Антишѣ. въ Ер<sup>м</sup>лѣ. ключиса внезапу. по всему граду. за .м. дѣии ѡвлатиса на въздусъ. на конихъ рищющимъ. въ оружьи. златыа ѡдежа имущи. и полки ѡбоѡвляюще<sup>м</sup> и оружью движающа» (л. 61об; ПСРЛ, II, стб. 153–154; Островский, II, 1307–1308). Причастная конструкция «златыа ѡдежа имущи» с нарушением согласования стоит перед причастным атрибутом («полки ѡбоѡвляюще<sup>м</sup>») в дат. падеже. И нарушение согласования, и синтаксическая аномалия, при которой причастный (деепричастный) оборот разрывает последовательность с атрибутивной связью, побуждает подозревать ошибку. Большинство списков ПВЛ содержит не менее сомнительное чтение *имуща*, тогда как в Хлебниковском находим *имущим*, что согласуется с чтениями новгородских летописей (Островский, II, 1308). Шахматов на этом основании реконструирует «златы имущемъ одежѣ» (Шахматов 1916, 208). Насколько достоверна эта реконструкция, судить трудно. Данное место заимствовано из Хронографа по великому изложению (Творогов 1975, 46–73), в котором, возможно (если судить по Хронике Амартола), стояли причастные формы *рищюще* и *имуще* (Шахматов 1940, 58; Истрин, I, 200). Перевод с греческого был в данном месте темен и синтаксически невнятен, так что у летописца были поводы экспериментировать с исправлением текста. Трудно представить себе, однако, чтобы в результате подобного эксперимента могло появиться то аномальное построение, которое мы находим в Ипатьевской летописи.

<sup>214</sup> В одном случае мы, вероятнее всего, имеем дело с испорченным текстом, так что пример не включается в подсчет. Под 1145 г. находим: «и много замъшлавъ Изаславоу Мъстиславичю ноужа бы<sup>с</sup> цѣловати кр<sup>с</sup>тъ и сѣдшимъ всеи брати въ Всеволода. на сѣнехъ. и ре<sup>ч</sup> имъ Всеволодъ» (л. 117об.; ПСРЛ, II, стб. 318). Субъектом для *замъшлавъ* является Изяслав Мстиславич, который должен был целовать крест другим князьям, поскольку ранее у него были различные агрессивные планы; синтаксическая конструкция представляется аномальной. В Хлебниковском и Погодинском списках находим вариант *замышлявшоу*, что дает безупречное построение фразы, которое и следует, на наш взгляд, считать исходным.

оубивъ мене а тобѣ волость. а живъ не идоу изъ своеи волости» (л. 113; ПСРЛ, II, стб. 305); субъектом *държачи* несомненно является *ти*, так что в этом примере причастием управляет имя в дативе; субъект причастия *оубивъ* может устанавливаться по-разному: можно считать, что это местоимение *тобѣ* в следующей за причастным оборотом предикации, но можно считать, что субъектом является имплицитный субъект 2 лица глагола *хощеши* в предшествующей причастному обороту предикации; последнее решение кажется предпочтительным, и в этом случае мы имеем дело с имплицитным субъектом, стоящим в номинативе. Второй пример появляется в речи Коснятко к его князю Святославу Всеволодовичу о дурных замыслах Владимира и Изяслава Давидовичей под 1146 г.: «и вложи има мѣсль. не взискати брата Игоря. ни поманути шѣства и ш хѣ оутвержениа. ни бжественъа. любве. ѡкоже бѣ лѣпо жити браѣи единомыслено. оукоупѣ. блюдоучи шѣства своего» (л. 121–121об.; там же, стб. 329); субъектом *блюдоучи* является *братия*, стоящая в дат. падеже при предикативе *лѣпо* в функции бенефицианта. Еще один пример содержится в рассказе под 1147 г. об избрании Климента Смолятича митрополитом: «ре<sup>а</sup> бо Черниговский еп<sup>а</sup>пъ (азъ свѣдѣ. ѡко достоитъ съшедшеса. еп<sup>а</sup>помъ. митрополита поставити. и снидоша<sup>а</sup> Черниговски еп<sup>а</sup>пы) Шнофрии. Бѣлогородский еп<sup>а</sup>пъ Фешѣрь. Переяславский еп<sup>а</sup>пъ Еоуфимии. Гюргииский еп<sup>а</sup>пъ Демьянъ. Володимирьский Федоръ. Новгородский Нифонтъ. Смоленский Маноуиль. рекоста не естъ того в законѣ ѡко ставити еп<sup>а</sup>помъ митрополита. безъ патриарха» (л. 125об.; ПСРЛ, II, стб. 340–341); субъектом причастия *съшедшеса* являются епископы, стоящие в дат. падеже при глаголе *достоитъ*<sup>215</sup>.

Во втором из анализировавшихся фрагментов причастные обороты с дативным субъектом тоже могут быть охарактеризованы как раритеты, их всего два, т. е. менее 0,5%. Под 1196 г. находим следующее предложение: «Романъ же восла люди своа в Полонъ и штолѣ повѣлѣ имъ ездачи воевати» (л. 239об.; ПСРЛ, II, стб. 697); субъектом *ездачи* являются *они* (*имѣ*), выступающие в качестве адресата глагола *повѣлѣ*; таким образом, причастный оборот с дативным субъектом употреблен в контексте распоряжения, известном нам из не книжных текстов, но представленном также в текстах старославянских (см. разбор примеров: Вечерка, III, 193). Второй пример содержится в прямой речи Давида под тем же 1196 г.: «а оумолви с нимъ.

<sup>215</sup> Еще один сомнительный пример встречается в речи Ростислава Мстиславича к его брату Изяславу под 1148 г. (как и в приведенных выше примерах, в прямой речи). Ростислав отвечает на предложение Изяслава помириться с враждовавшими с ними князьями и ставит определенные условия. При соблюдении этих условий он советует мириться, в противном же случае оставаться в состоянии войны. Последний совет звучит следующим образом: «пакы ли имъ про Игоря ворождоу имѣти. то лѣпле с ними в рати боудѣчи. а како ны с ними бѣ дастъ» (л. 133об.; там же, стб. 365). Субъектом *боудѣчи* являются Мстиславичи со своими сторонниками, к которым могло бы относиться эллиптированное *ны/нам*, управляемое *лѣпле* (*лѣпле ны/нам*); этот субъект *боудѣчи* появляется и в следующей предикативной единице в качестве адресата (бенефицианта) глагола *дати*, хотя эта предикативная единица не может выступать в качестве главного для причастного оборота предложения. Мы, видимо, имеем здесь дело с аномалиями разговорного синтаксиса.

моужемъ своемъ. а переже весны дспѣвъ сѣдѣти и воеватиса (с нимъ) со Шлгови<sup>216</sup>. а вѣсти ѿ тебе ждати правоѣ» (л. 240–240об.; ПСРЛ, II, стб. 699). И здесь Давид отдает распоряжение, выраженное инфинитивом, имплицитный адресат которого должен быть в дативе; именно он оказывается субъектом причастия *дспѣвъ*.

В исследованной части Московского летописного свода пропорция причастных оборотов с дативным субъектом слегка превышает 1%, хотя и остается незначительной (пять примеров из 387); возможно, этот прирост соотносится с отступлениями от книжного синтаксиса, характерными для данного текста. В трех случаях такие причастные обороты появляются, когда причастие относится к адресату распоряжения, выраженного в главном предложении инфинитивом при глаголе совета или приказания, ср. под 1469 г.: «И то слышавши воеводы великого князя и всѣ вои его и начаша отсылати от себя молодых людей з большими суды, а сами оставаша назади на брезе боронити тѣх, а повелѣша им шед стати на Ирыховѣ островѣ на Волзѣ» (ПСРЛ, XXV, л. 395; *шед* относится к *им*); в рассказе о конфликте Ивана III с новгородцами: «Они же слышавше сие совѣтуют ему упование положив на бозѣ исполнити мысль свою над Новгородци за их неисправление и отступление» (там же, л. 400; *положив* относится к *ему*); в продолжении этого рассказа под 1478 г.: «а велѣл имъ стоати на Бронничи, а ждати вѣсти от себя, а иным своим воеводамъ у озера у Ильмеря на Возвадѣ и на Ужинѣ, тако же вѣсти ожидаа» (там же, л. 439об.; *ожидаа* относится к *воеводамъ*)<sup>216</sup>.

В обследованных нами фрагментах Степенной книги причастные обороты с дативным субъектом отсутствуют. Отсутствуют они и в Летописце 1619–1691 гг. Трудно сказать, стоит ли за этим какой-либо содержательный процесс (например, вытеснения подобных конструкций из книжного языка) или (что более вероятно) простая случайность, поскольку и в летописях, где такие конструкции имеются, они представлены единичными примерами. Замечу еще, что, перечисляя причастные конструкции, «не относящиеся к подлежащему главного сказуемого» в Новгородской первой летописи по Синодальному списку, Е. С. Истрина не упоминает конструкций, относящихся к члену главного предложения в дат. падеже (Истрина 1923, 88–92). Как бы ни обстояло дело в различных частных случаях, оппозиция делового регистра и летописного языка по характеру употребления причастных оборотов, субъект которых выражен именем в дат. падеже, очевидна. Стоит отметить при этом, что нередко причастные обороты с дативным субъектом

<sup>216</sup> Два других случая стоят особняком. В них субъектом причастного оборота оказывается агенс в безличной конструкции с глаголом *быти*: «Бысть же бои имъ вышед ис суд обо [так в изд.] пѣши, и начаша ся бити о третьемъ часѣ дне того» (ПСРЛ, XXV, л. 406; *вышед* относится к *имъ*, хотя в принципе возможно прикрепить это причастие к имплицитному номинативному субъекту глагола *начаша*). В описании новопостроенного Успенского собора под 1479 г. читаем: «Бысть же та церковь чюдна велми величеством и высоту, свѣтлостью и зъвоностью и пространством, такова же преже того не бывала в Руси, опрочѣ Владимирскыа церкви, видѣти бо бяше ея мало оступив кому, яко един камень» (там же, л. 456; *мало оступив* с явно наречным значением относится к *кому*).

встречаются в «ненарративных» фрагментах летописного текста – в прямой речи или в пересказе повелений или распоряжений персонажей повествования (в которых обычны и другие отступления от языка основного повествования).

Безличные причастные обороты встречаются в летописях едва ли не реже, чем обороты с дативным субъектом, и также преимущественно вне стандартного нарратива. В ПВЛ можно указать на два подобных примера (менее 0,2%). В обоих случаях речь идет о повелениях (Владимира Святого и Владимира Мономаха), и употребление безличных конструкций связано с распорядительным контекстом, знакомым нам по некнижной письменности: «повеле оустроити кола. и въскладываше хлѣбы маса рыбы. и швоощь разноличныи. и медъ въ вѣчкахъ. а въ другихъ квасы возити. по градомъ. въпрашающе кде болнии. нищии не могы ходити и тѣмъ раздаваху на потребу» (ПСРЛ, II, стб. 110); «и повелѣ Володимеръ рѣжючи паволокы. орници бѣль. розметати народу. овъ же сребреникы. метати людемъ силно налегшимъ» (там же, стб. 281). В первом случае «возити въпрашающе» должны были те, кому Владимир адресовал свой приказ; во втором «рѣзати паволокы» было приказано тем неназванным лицам, от которых требовалось разбросать их в народе.

В обследованных нами частях Киевской летописи безличные причастные обороты отсутствуют. Небольшое их количество имеется в Московском летописном своде, причем любопытно, что контексты их употребления меняются: никакой связи с ненарративными моделями изложения в них больше не просматривается. В двух случаях мы имеем дело с обычным нарративным контекстом, и создается впечатление, что пишущий просто употребил именительный самостоятельный (см. об этой конструкции ниже), не озаботившись снабдить его эксплицитным субъектом, ср.: «И отпѣвши еже подобаше о преставльшихся, и тогда повелѣ митрополит принести рацѣ на уготованнаа им мѣста» (ПСРЛ, XXV, л. 411об.–412); «По сем же пришед ко гробу преосвященнаго митрополита Ионы, и егда сняша с него дѣску, и в тои часъ изыде благоухание много по всему храму» (там же, л. 412). В первом случае речь идет о перенесении мощей и указывается, что перед переносом был отслужен молебен; совершившие это богослужение церковники не именуются (*отпѣвши*, надо думать, представляет собой неправильную форму мн. числа), и это и придает обороту безличность. Во втором случае в том же описании перенесения мощей субъект отсутствует у причастия *пришед*, нехарактерная для безличных конструкций форма ед. числа может объясняться тем, что в этом памятнике краткие причастия часто употребляются несогласованно (см. ниже). Не исключено, что и в этом примере отражается процесс адвербиализации кратких причастий (*пришед* в значении 'рядом, будучи рядом'), чаще, однако же, реализующийся в причастиях наст. времени. Два оставшихся примера из Московского свода иллюстрируют именно этот процесс, для более архаичных памятников не характерный, ср.: «а гробъ его бѣ близ вратъ церковныхъ сѣверныхъ, идѣ же бѣ гробъ пресвященнаго митрополита Ионы, входя в сѣверные двери церковные на правои странѣ» (там же, л. 422; *входя* означает 'при входе'); «громъ же тои в манастирѣ на Симановѣ срази верхъ с каменеы церкви по шейныы вокна, и

по церкви ходя много мосту рвало, и стѣну у передних двереи проразило насквозь» (там же, л. 433об.; *ходя* означает 'поочередно, в разных местах' и не предполагает никакого субъекта, что подчеркивается безличностью главного предложения «много мосту рвало»).

В анализировавшихся фрагментах Степенной книги безличных причастных оборотов не обнаружилось. В Летописце 1619–1691 гг. находим три таких конструкции. Они никак не связаны с ненарративными моделями изложения, не обусловлены процессом адвербиализации и вообще не имеют никакой содержательной мотивации. Они появляются в ряду многочисленных абсолютных причастных конструкций, характерных для этого позднего памятника, и свидетельствуют об утрате навыков различения причастных и личных форм. Примеры следующие: «Того же году иулия з 10-го числа грех ради наших посла бог праведный свой гнев на люди царствующаго града Москвы и окрестных градов и всей Росийския земли, бысть моровое поветрие, пострелными раны помирающе» (ПСРЛ, XXXI, л. 694об.); никакого субъекта у *помирающе* нет, он и не нужен, поскольку причастный оборот поясняет характер эпидемии; эта поясняющая функция, видимо, и мотивирует причастную трансформацию (более обычной была бы личная форма: «пострелными раны помирали»). В описании того, как один из сторонников Нарышкиных неприлично вел себя после кончины царя Федора Алексеевича, говорится: «мнози ти зазирают о сем и рекут, яко несть страха божия, творящи сие» (там же, л. 706об.–707); *творящи* употреблено в смысле 'если (когда) творят'. О тех слухах о подготовке к подавлению стрелецкого мятежа, которые доходили до князя Хованского, говорится: «Сей же боярин Хованской к мятежником советен бысть; ему же плевелныя глаголы доносяще, яко...» (там же, л. 728об.); причастие употреблено как предикат в относительном придаточном предложении (возможно, причастная трансформация дублирует этот субординированный статус, возможно, однако же, что *доносяще* заменяет у не слишком грамотного автора *доносяша*; безличность обусловлена смыслом предложения). В последнем примере рассказывается о пожаре на царском дворе: «внезапу сопреди царевы храмины лествица падеся, а позади храмин лествицы огнем велиим воспалишася; и изыти некако, едва высокими окны с нуждею излезши и тако спасшеся» (там же, л. 733); у причастий *излезши* и *спасшеся* (оба в им. мн.) нет никакого эксплицитного субъекта; речь идет о людях, застигнутых пожаром, и причастия имеют значение перфекта (нет надобности предполагать, что здесь сказывается влияние севернорусского диалектного перфекта, достаточно характерной для автора тенденции к неразличению причастий и личных форм).

Обзор рассматривавшихся выше конструкций показывает, что на начальных этапах они появлялись, указывая по большей части на вкрапления ненарративных моделей изложения в летописный нарратив. Постепенно, однако, эта их функциональная привязанность размывалась, так что в позднейших летописях эти конструкции появляются без какого-либо определенного функционального задания. В ряде случаев авторы предпочитают их, видимо, личным формам, поскольку причастная трансформация субординирует предикативную единицу; получают распространение, однако, и



никак не мотивированные безличные причастные обороты и обороты с дативным субъектом. Они, надо думать, появляются, поскольку авторы утрачивают ясное представление о различиях между причастными и личными формами.

Для полноты картины остановлюсь еще на причастных оборотах, субъект которых в главном предложении стоит в аккумулятиве. Такие конструкции появляются лишь окказионально и во всех случаях могут быть охарактеризованы как аномальные. В ПВЛ обнаруживаются два таких примера: «цѣрь же Лешнѣ слы Рускыя почѣтивъ. дарми золото<sup>мъ</sup>. и паволоками и фодудьями. и пристави къ нимъ мужи свои. показати имъ цѣрквѣную красоту. и полаты златыя. и в нихъ сущаѣ бѣства. злато много и паволоки. и камѣные драгоѣ. и стрѣсти Гѣни вѣнѣць и гвоздѣ. и хламиду баграную. и мощи сѣхъ. оучаще ѣ к вѣрѣ свои. и показающе имъ истинную вѣру» (л. 15; ПСРЛ, II, стб. 28); субъектом *оучаще* и *показающе* являются мужи, приставленные к русским послам императором и в главном предложении стоящие в вин. падеже; аномалия, возможно, связана с тем, что между личным глаголом и причастными оборотами помещается длительное перечисление. Второй пример содержится в несколько испорченном при переписке тексте (искажение появилось уже в протографе Ипатьевского списка, поскольку оно присутствует и в Хлебниковском списке): «и князь Володимиръ пристави полкъ своя. ѣдучи предъ полкомъ пѣти тропари. и конѣдаки. хреста чѣтнаго и канунъ сѣои Бѣи» (л. 99об.; там же, стб. 266). А. А. Шахматов, основываясь на параллельном тексте из Воскресенской летописи<sup>217</sup>, реконструирует этот текст следующим образом: «И князь Володимиръ пристави попы своя, ѣдучи предъ пѣлкѣмъ, пѣти тропаря и конѣдаки крѣста чѣстнаго и канунъ святѣи Богородици» (Шахматов 1916, 338). В сходном контексте появляется рассматриваемая конструкция и в Киевской летописи: «и ѣхаста къ сѣои Софѣи на вѣѣдную. Изаславъ же. сѣмъ Юрославо<sup>мъ</sup> и посласта подвойскѣи и биричѣ по оулицамъ кликати зовучи къ кнѣзю на вѣѣдѣ. ѿ мала и до велика» (л. 134об.–135; ПСРЛ, II, стб. 369); субъектом *зовучи* являются подвойские и биричи. Возможно, мы имеем здесь дело с мини-трафаретом для описания ситуации, когда какие-то лица посылаются для совершения каких-то речевых действий<sup>218</sup>.

<sup>217</sup> В Воскресенской летописи читаем: «Князь же Володимиръ повелѣ попомъ своимъ, предъ полкъ идущи, пѣти тропари и кондаки и канонъ кресту и Богородици» (ПСРЛ, VII, 22). Здесь субъектом причастного оборота являются *попы*, стоящие в главном предложении в дат. падеже; мы, таким образом, имеем дело с дативным субъектом в контексте распоряжения или повеления, характерном для этой конструкции.

<sup>218</sup> В обследованной нами части Московского летописного свода и в Летописце 1619–1691 гг. причастные обороты с аккумулятивным субъектом отсутствуют. В анализировавшихся фрагментах Степенной книги находим два релевантных примера, не похожих на разобранные выше пассажи и несомненно выглядящих как синтаксическая аномалия. Первый фиксируется в 22 главе XVI степени о рождении сына у Василия III: «Да яко же самъ бысть къ Богу вѣроу и любовию влекомъ, сицеву ему и помощьницю дарова Богъ, премудростию и разумомъ во всемъ послѣдую самодержавному богомудрому си супругу» (Степенная книга, II, 316); *послѣдую* относится к *помощьнице*, в главном предложении являющейся прямым дополнением. Второй пример появляется в 9 главе XVII степени в

**4. 3. 4. Именительный самостоятельный и автономные причастные обороты.** Безличные причастные обороты, о которых говорилось выше, в ряде случаев могут трактоваться как дериваты оборотов с дативным субъектом, а в ряде случаев – как дериваты именительного самостоятельного. В рассматривавшемся выше предложении из ПВЛ «повеле <...> квасы возити <...> выпрашающе кде болнии» (ПСРЛ, II, стб. 110) достаточно после *повеле* вставить *слугам своим*, и причастный оборот обретет дативный субъект, остающийся невыраженным в существующем тексте. В приложении из Московского летописного свода «И отпѣвши еже подобаше о преставльшихся, и тогда повелѣ митрополит принести рацѣ на уготованнаа им мѣста» (ПСРЛ, XXV, л. 411об.–412) такая операция невозможна, зато, если после *отпѣвши* вставить, например, *братия*, появится достаточно обычный в летописях именительный самостоятельный, т. е. причастный оборот со своим собственным субъектом (не совпадающим с субъектом главного предложения), стоящим в им. падеже. Такие конструкции можно было бы рассматривать как аномальные, однако, даже если им будет приписан этот статус, нельзя исключить, что их употребление образует традицию, т. е. что, употребляя их, пишущий не совершает ляпсус, а воспроизводит предшествующее употребление, которое он рассматривает как приемлемое (или образцовое).

Им. самостоятельный представлен в церковнославянских памятниках и известен уже старославянскому. Р. Вечерка, посвятивший этой конструкции отдельный параграф (Вечерка, III, 184–186), отмечает, однако, что из всех памятников старославянского канона им. самостоятельный появляется только в Супрасльской рукописи, тогда как в евангельских текстах те стихи, в которых фиксируются единичные случаи им. самостоятельного, обладают вариантами без этой конструкции (там же, 186)<sup>219</sup>. Вечерка объясняет это тем, что Супр. – наиболее поздний из старославянских памятников, однако дело может быть не в хронологии, а в типе текста: грамматическая норма может жестче выдерживаться в евангельском тексте, нежели в минейном сборнике. Как бы то ни было, восточнославянский летописец мог найти в известных ему книжных текстах прецеденты использования им. самостоятельного, легализовавшие для него эту конструкцию и позволявшие употреблять ее в порядке преемственности.

В ПВЛ несомненный пример им. самостоятельного находим в рассказе об осаде Луцка под 1097 г.: «Сѣополкъ же посла Поутату свое<sup>ѣ</sup> воеводу. Путата же пришедь с вои к Лу<sup>ѣ</sup>цьку. къ Сѣоши сѣу Двѣду. и ту баху мужи Двѣви» (л. 93об.; ПСРЛ, II, стб. 247); у предикации с *пришедь* имеется собст-

---

описании видения Богородицы татарину: «и внезапу зрѣть <...> Жену пресвѣтлу, багряны ризы имущу, и молящуся о насъ, и ризами Своими яко махая и осеняя и свѣрѣпство яростнаго огня уталяющи» (Степенная книга, II, 356); *махая, осеняя и уталяющи* относится к *Жене*, стоящей в главном предложении в аккузативе. Можно полагать, что причастия в номинативе появляются по недосмотру в силу растянутости предложения, в начале которого автор употребляет правильные формы *имущу* и *молящуся*.

<sup>219</sup> Так, скажем, в Мф. 8: 5 в Саввиной книге читается: «пришьде ꙗко въ капернаоумъ. припаде емоу сътъникъ», тогда как в Зогр., Мар. и Асс. находим «въшедьшоу же емоу въ кафернаоумъ. припаде емоу (пристѣжи къ нему) сътъникъ» (Вечерка, III, 186).

венный субъект (Путята), не совпадающий с субъектом соседствующих предикаций<sup>220</sup>.

Несколько больше таких примеров встречается в Киевской летописи, причем их пропорция увеличивается к концу летописи. Ср. в начальной части: «Мьстиславъ же съ Ярополкомъ. съ вои. хотяща ити на Всеволода про Ярослава. Всеволодъ же посласа по Половци» (л. 108об.; там же, стб. 290); *хоташа* (дв. число) относится к Мстиславу с Ярополком, тогда как субъект главного предложения – Всеволод. Ср. еще: «И сразившемаса полкома. побѣжени бывше погании. силою чѣтнаго крѣта и сѣомъ Михаиломъ. часть ихъ избиша. а часть ихъ истопе в рѣкѣ» (там же); *погании* в качестве субъекта предикации с *побѣжени бывше* вполне автономны и никак не соотносятся с безличным субъектом главного предложения (субъектом глагола *избиша*). Ср. несколько более сложный пример в рассказе о борьбе новгородцев с Святославом, братом Всеволода, под 1140 г.: «и съпръянъ. емоу коумъ тысячкои его княже хотать та ѣти. онъ же оубоуявѣся. и бѣжа и с женою. и съ дружиною своею. на Полтескъ Смоленську» (л. 113об.–114; там же, стб. 307); *съпръянъ* (от *съпринати*, которому Срезневский на основании именно данного примера приписывает значение ‘доброжелательствовать, сочувствовать’ – Срезневский, III, стб. 805) имеет субъектом тысяцкого, сообщившего Святославу о замыслах новгородцев; в главном предложении субъект *онъ* (Святослав). В конечном фрагменте Киевской летописи находим, среди прочих, такие примеры: «Ббу же тако попоустившю гнѣвъ свои. на Изрѣла. и побѣжени бывше Изрѣлѣтани ѿ иноплемьникѣ. и сѣню завѣта Гѣна плѣниша» (л. 228, там же, стб. 665); этот пример устроен точно таким же образом, как приведенный выше, в котором говорилось о победе над «погаными». Ср. еще в рассказе о кончине князя Ростислава в Галиче под

<sup>220</sup> Два других примера имеют несколько более сложный характер. В одном из них, в рассказе об обретении мощей преп. Феодосия, написанном от первого лица, субъекты следующих друг за другом предикаций частично пересекаются: «азъ же пришедъ съ игуменомъ. не вѣдушю никому же. разгладавша куда копати. и назнаменовавша мѣсто кдѣ копати кромѣ оустыя. ре<sup>ч</sup> же ко мнѣ игуменъ...» (л. 77об.; ПСРЛ, II, стб. 201); в причастном обороте с *пришедъ* субъект (*аз*) частично совпадает с субъектом (рассказчик + игумен) двух следующих предикаций с причастиями, стоящими в дв. числе (*разгладавша* и *знаменовавша*), тогда как субъект следующей за ними предикации (игумен) с личным глаголом входит как часть в субъект предшествующих предикаций. Поскольку расширение или сужение субъекта в паре «причастный оборот и главное предложение» представляют собой достаточно обычное явление в языке летописей (см. ниже), которое, видимо, следует толковать отдельно от им. самостоятельного, данный пример может интерпретироваться по-разному. Разные интерпретации могут быть и у примера с повторяющимся субъектом: «Володимеръ же хоташе мира. Сѣополкъ же хота ратью. и поиде Сѣополкъ и Володимеръ и Ростиславъ къ Трьполю. и приидоша ко Стугнѣ» (л. 80об.–81; там же, стб. 210). Повторяющийся субъект также не редкость в летописях (см. ниже), однако приведенный пример не похож на примеры с повторяющимся субъектом (повторы не разделены никакими вставными предикативными единицами) и обладает рядом нетривиальных особенностей (субъект охватывает трех лиц, глагол, стоящий перед субъектом, согласован по ед. числу, а глагол, стоящий после субъекта, – по мн. числу) и, видимо, может трактоваться как им. самостоятельный.

1189 г.: «Оугре же оусмотривше его и приложивше зелье смръѣное к ранамъ. и с того оумре» (л. 230об.; там же, стб. 665); субъектом причастий являются угры, субъектом главного предложения – Ростислав. Имеется и еще несколько примеров<sup>221</sup>, которые, однако же, не меняют картины<sup>222</sup>.

Некоторое количество им. абсолютных находим и в обследованной нами части Московского летописного свода. Типичный пример этой конструкции можно видеть в следующем пассаже: «а елици у него бѣша, тогда тѣх призвавъ к себѣ, и архимандритъ и прочихъ священниковъ, елици о сем разумъ имуть, и поведав имъ мысль свою и рѣчи великого князя, что кладет на мнѣ и на вас моихъ дѣтех. Они же вси последоваша рѣчи митрополита Филиппа» (ПСРЛ, XXV, л. 413); субъект причастного оборота – митрополит Филипп, субъект главного предложения – те, к кому митрополит обращался.

<sup>221</sup> Целая цепочка им. самостоятельных может быть выделена в следующем пассаже под 1197 г., содержащем похвалу преставившемуся смоленскому князю Давиду Ростиславичу: «и вида вбразъ Бжии. и всѣ сѣѣа иконы. смираа вбразъ свои скрошенымъ [так!] срѣцмъ и смиренымъ. оуздыхание ѿ срѣца возноса. и слезами вбливаа лице свое. взираа юко на самого Творца. и показание. Дѣда цѣра приимаа. плачаса ѿ грѣсѣхъ своихъ. глѣ Гѣи. юкоже дрѣвле разбоиника. и блоудницу и мытара. шправдалъ еси. тако и мене Гѣи Бже мои. вчѣти ѿ грѣхъ моихъ. И тако мола въ срѣци своемъ. да бы ма бѣ сподобилъ. мнискому чиноу. и свободилса бѣхъ ѿ многоматежнаго житѣя. и маловременнаго свѣта сего и та вса расмысливъ во оумѣ своемъ. и не лиши бѣ хотѣннѣа его. но причте и ко избраньному своему стадоу» (л. 241об.; там же, стб. 704). Весь ряд причастий *вида, смираа, возноса, вбливаа, взираа, приимаа, плачаса, мола, расмысливъ* имеют в качестве субъекта Давида, не названного в начале пассажа (его начальная граница определяется словам «мы же на подлежащее возвратимся»), но устанавливаемого из контекста; ближайшей предикацией с личным глаголом оказывается «и не лиши бѣ хотѣннѣа его» с другим субъектом, что заставляет считать все перечисленные причастные обороты им. самостоятельными. Построение кажется вполне аномальным, так что возникает подозрение, что оно появилось в результате ошибки. В Хлебниковском и Погодинском списках вместо «И тако мола» стоит «И тако мола<sup>с</sup> помышля<sup>ш</sup>», и это похоже на правильное чтение, искаженное в Ипатьевском (замечу, что *помышляше в сердци своем* – это фразеологизм, тогда как *моля в сердци своем* таковым не является); в этом случае у нас есть предикация с личным глаголом (*помышляше*), субъектом которой является Давид, а все причастные обороты могут быть отнесены к ней как к главной, теряя свой статус им. самостоятельных.

<sup>222</sup> И в Киевской летописи в ряде случаев самостоятельность субъекта при причастии сомнительна и поэтому построение поддается разной интерпретации. Ср.: «Ярополкъ <...> и створи с ними миръ. въ бѣ. генвара. и целовавше хрестъ. межю собою. ходачю ме(жю) ими чѣтному Михаилу. митрополиту. со крѣтомъ. и вда Ярополкъ Ольговичемъ. ѿчину свою» (л. 111; ПСРЛ, II, стб. 299); субъектом *целовавше* являются Ярополк и Ольговичи, с которыми он заключил мир; этот субъект представляет собой расширение субъекта главного предложения (Ярополк). Ср. еще: «Того же лѣта во Шлговичехъ престависа кнѣзь Всеволодъ. Сѣславичъ братъ Игоревъ. мѣца маа. и тако спратавше. тѣло его вса братѣа <...> Епискоупъ ж Черниговьской. и вси игумени. и попове. проводиша его до гроба со вбѣчными пѣми» (л. 239об.; там же, стб. 696); если полагать, что братия, с одной стороны, и черниговский епископ, игумены и попы, с другой стороны, – это пересекающиеся множества, то и здесь мы имеем дело с частично самостоятельным субъектом.

Ср. еще: «Полци же великого князя погнаша по них, колюще и секуще их, а они сами бежаще, друг друга бьюще и топчаще, кои с кого мога» (там же, л. 404–404об.)<sup>223</sup>. Им. абсолютные нередко встречаются и в Степенной книге, в проанализированной выборке их более десятка (более 3% всех причастных конструкций). Приведу выборочные примеры: «И сице убо тогда симъ царскимъ дѣтемъ случися житію конецъ воспріяти <...> ово убо иже нѣчто, яко человекъ, согрѣшиша, и отъ таковыхъ сими скорбѣми хотя ихъ очистити Господь, ово же утвержая Богъ совершенно и непоколебимо царство отъ юности самодержавному государю» (ПСРЛ, XXI, 2, 630); и у *хотя*, и у *утвержая* отдельные субъекты (Господь, Бог), отличные от субъекта главного предложения. См. еще: «Великій же князь умоленъ бывъ отъ боярь, и послаша бояре къ паномъ государево милостивое слово» (там же, 633); «Моисій <...> и самыхъ скрижалей не пощадѣ <...> но въ ярости сокруши, тако и насъ милосердый Богъ таковымъ страшнымъ уязвленіемъ приводя въ покаяніе» (там же, 636–637); «Царица же, взявши сосудъ въ руцѣ свои, и абіе паки оба полы воскипѣ вода» (там же, 652).

Как уже упоминалось, для Летописца 1619–1691 гг. характерно употребление причастий в качестве автономных предикатов: имею в виду либо предикативные единицы с причастиями, не подчиненными никакому предикату с личной глагольной формой, либо абсолютные причастные обороты (за исключением традиционного дательного самостоятельного). В летописце встречается более полутора десятка им. самостоятельных, т. е. более 4% всех причастных конструкций, и это, видимо, свидетельствует о постепенной экспансии подобных построений, связанной с утратой функционального противопоставления причастий и личных форм (для реконструкции данного процесса нужно, понятно, проанализировать существенно более обширный материал). Укажу на несколько примеров: «Ныне же вы самовольно ходяще во всех наших царских чертожных полатах, страх деюще, всякого от вас безчестия, шуму и барабанного стучания в чертогах своих видехом» (ПСРЛ, XXXI, л. 720об.); «Видевши же сия вси народи, яко греков правда, и всем стало верно, и змѣями нарицати престаша» (там же, л. 723об.); «Стрелцы же по многия нощи деюще всполохи, в барабаны бьюще и оружие и пушки заряжающе, никого же видяще ниоткуда, но самех и всех живущих во царстве страх объа» (там же, л. 728об.); «в самом верху над солнцем стоя дуга верху солнца, солнце же сияше вельми светло» (там же, л. 732).

<sup>223</sup> Как и в других летописях, встречаются здесь и случаи, когда субъект причастного оборота включается в субъект главного предложения, ср.: «и тако же в нощи пришед митрополит съ уготованными на то с ним и относят гробъ с мощьми святаго в киот» (ПСРЛ, XXV, л. 413об.); митрополит входит в число тех лиц, которые (во мн. числе) относили гроб. Имеется даже случай, когда субъект причастного оборота и субъект главного предложения совпадают, но при этом выражены отдельно и эксплицитно: «Слышавъ же царь Ахмат, что на тѣх мѣстех на всѣх, кудѣ прити ему, стоят против ему с великими князи многие люди, и царь поиде в Литовъскую землю, хотя обоити чрес Угру» (там же, л. 462); такие случаи, впрочем, можно рассматривать в отдельной рубрике причастных оборотов с повторяющимся субъектом (см. ниже).

Летописец 1619–1691 гг. отнюдь не уникален в данном отношении среди анналистических текстов XVII в. Едва ли не большее пристрастие к им. самостоятельному обнаруживается у составителя Мазуринской летописи (ср.: Живов 1995а). Мы находим здесь, например: «И *живяще* Кий на горе, Щок *живяше* на другой горе» (ПСРЛ, XXXI, 28 – аналогичное употребление уже в Лаврентьевской летописи: ПСРЛ, I, стб. 9; в других списках на месте причастия стоит имперфект, ср. ПСРЛ, IX, 4; замена указывает на неразличение функций); «Святыи же *очютив* пономоря, пономарь же тихо *изглагола* ему» (ПСРЛ, XXXI, 72); «Баазит же *помышляя* битися с ним, первосоветник же Баазиту *рече*» (там же, 95); «он же *бияша* и *грабиша* [3 мн. аориста вместо 3 ед. имперфекта] их <...> князь же вся сия *терня*» (там же, 99); «И митрополиту Григорию тако же *послаша* [посадницы и бояре] <...> земстии же людие *не хотяще* сего» (там же, 111); «и инии бо *хотяху* <...> быти во учении правыя веры <...> а инии королю *отлагающесе* в латынскую веру» (там же, 111); «Маистр же в стремницы *убежа*, а бискуп сам *убежав* в Юрьев <...> воинство же его *побиша*» (там же, 135) и т. д. В приведенных случаях причастие явно обозначает отдельное событие в нарративной последовательности, основания для субординирования оказываются по большей части неочевидными. Причастная конструкция, таким образом, остается формальным средством связи предикативных единиц, не указывающим, однако, на характер самой связи и тем самым лишенным своего дискурсивного задания.

Выше говорилось о тех случаях, когда возникают различные нестандартные (с точки зрения современного русского языка или языков классических) отношения между субъектом причастного оборота и субъектом главного предложения. Они могут частично совпадать, а частично не совпадать (и иногда это сопровождается отличиями по числу между причастием и личной формой), или они могут совпадать полностью, но при этом эксплицитно повторяться и при причастии, и при личной форме. Такие построения напоминают им. самостоятельный (поскольку у причастного оборота формально имеется отдельный субъект), однако поддаются различной трактовке, в частности, в зависимости от того, насколько по разным параметрам дистанцированы субъекты двух соотносимых предикаций<sup>224</sup>.

Так, вполне обычным образом в летописных текстах появляются построения типа следующего: «Мьстислав же *здумава* с Новгородьци. и *послаша*

<sup>224</sup> Р. Вечерка рассматривает ряд таких построений в старославянском как разновидность им. самостоятельного, что – при привлечении более обширного и разнообразного восточнославянского материала – кажется некоторым упрощением. Он пишет: «Das Subjekt/Agens der Partizipalkonstruktion und das Subjekt/Agens des finiten Verbs können auch durch die Beziehung *totum : pars* (bzw. durch die Numerusbeziehung) miteinander verbunden werden, d. h., das eine Glied kann im anderen mitenthalten sein» (Вечерка, III, 185) – и приводит несколько примеров из Супр., в частности: «*жѣтелѣне же оуслышавъше плача младенништа. и мати почоувъши обрати сѧ. и разоумѣвъши своего зѣла въскрича съ въсѣми*» (Супр., I, 43. 21–24); если полагать, что *съ въсѣми* как-то входит в агенс личного глагола *въскрича*, то жнецы, субъект причастия *оуслышавъше*, являются частью субъекта главного предложения.

передъ собою (оу) сторожѣ Добрыну Рагуиловича» (л. 87; ПСРЛ, II, стб. 228); субъект главного предложения составлен из введенного причастным оборотом агенса (Мстислав) и присоединенного к нему с помощью предложно-падежной конструкции множества (новгородцы), и в силу этого причастие согласовано по ед. числу, а личная форма – по мн. числу. Поскольку, однако, субъект главного предложения (когда он совпадает с субъектом причастного оборота) часто помещается внутри причастного оборота или, можно сказать, вводится причастным оборотом, говорить в данном случае о самостоятельном субъекте причастного оборота, противопоставленном субъекту главного предложения, было бы натяжкой, а поэтому неправомерно в данном примере видеть им. самостоятельный. Примеры, устроенные так же, как разобранный выше, можно приводить во множестве, ср. в ПВЛ: «Мстиславъ же перешедъ пежарь. с Новгородцѣ. и ступишася на Колачыцѣ. ѿ бѣ<sup>а</sup> брань крѣпка» (л. 87об.; там же, стб. 230); «Изаслав же се видивъ. со Всеволодомъ. побѣгоста с двора» (л. 63об.; там же, стб. 160–161). Аналогично в Киевской летописи: «Тоѣ же зимы Сѣславъ сославъся с Рюрикомъ. сватомъ своим<sup>а</sup>. и сдоумасти ити на Половцѣ» (л. 227об.; там же, стб. 653); «Тое же зимы сдоумавъ. Сѣславъ со сватомъ своимъ с Рюрикомъ<sup>а</sup>. послата. Черны Клобоукъ. на вѣжа за Днепръ» (л. 229; там же, стб. 659); «Сдоумавъ Игорь с братьею. ити на Половци. и шедше шполонишася скотомъ и конми. и возвратишася во свояси» (л. 233; там же, стб. 673); «Рюрикъ же приведе братью свою и дикыи Половци. и почаша воеватися со Шлгови<sup>а</sup>» (л. 239; там же, стб. 695). Находятся подобные примеры и в позднейших летописях, так что данное употребление, видимо, образует традицию и преемственно воспроизводится, ср. в Московском летописном своде: «В недѣлю же по утрени пришед митрополитъ съ епископы Сарским и Пермьским и со всѣм освященным собором на дворъ княжъ и взявше тѣло его несоша въ церковь архаггела Михаила и отпѣвше надгробнаа положиша его въ гробъ каменъ» (ПСРЛ, XXV, л. 418); «Въ 4-ю в недѣлю владыка с тѣми же прежереченными пришед к великому князю явили десять волостей» (там же, л. 448об.); «Того же лѣта июня въ 17 князь велики Иван Васильевич всея Руси да сынъ его князь велики Иванъ Иванович всея Руси, объмысля с своим отцомъ с митрополитом Геронтиемъ и съ архиепископомъ с Ростовскимъ съ Асафомъ <...> положиша жеребьи на престолъ» (там же, л. 466об.). В принципе (хотя и не часто) субъект главного предложения может быть не расширением, а сужением субъекта причастного оборота, ср. в ПВЛ: «Сѣполкъ же и Володимерь. оубредша оу Трубѣшъ. к Половцемъ. и нача Володимерь хотѣти порадиiti дружины» (л. 85; ПСРЛ, II, стб. 221–222).

Нет, видимо, смысла рассматривать в качестве им. самостоятельных все те причастные обороты, которые формально обладают собственным субъектом, но этот субъект идентичен субъекту главного предложения. В большинстве случаев такие построения целесообразнее толковать как повторение субъекта. Если случаи такого повтора в ПВЛ сомнительны<sup>225</sup>, в Киевской

<sup>225</sup> В Ипатьевском списке ПВЛ находим следующий пример: «Присла Романъ и Костантинъ. и Стефанъ слы къ Игорев<sup>а</sup>. построить мира пѣрваго. Игорь же глѣвъ с нимъ<sup>а</sup> мирѣ. посла Игорь мужи свои къ Роману» (л. 18; ПСРЛ, II, стб. 35); повтор субъекта (*Игорь*) при

летописи подобные построения не являются редкостью, ср.: «и видивъ Игорь. вси его вои. шже Киане пославшеса. и поаша оу Изаслава тысачкого и съ стагомъ. и приведоша и к собѣ. и потомъ переѣхавше Берендичи чересь Лѣбѣдъ и взаша Игореву товару. передъ Золотыми вороты. и подъ ѿгороды и. то видивъ Игорь. ре[че] братоу своему Сѣославоу. и снѣцю своему Сѣославоу Всеволодичю» (л. 120–120об.; там же, стб. 325–326); *Игорь* повторен два раза; как субъект первого *видивъ* и как субъект второго *видивъ* и личного глагола *рече*; повтор, надо полагать, обусловлен рядом вставных предложений со своими субъектами, разделяющих два вхождения<sup>226</sup>. Такие примеры могут быть умножены: «и се оувѣдавъ Романъ. ажъ моужи Галичкый не добро живоуть с кѣаземъ своимъ. про его насилье. зане гдѣ оулюбивъ женоу или чью дочь. поимашеть насильемъ. Романъ же слашеть без опаса. к моужемъ Галичкимъ» (л. 229об.; там же, стб. 660; инсерт – придаточные предложения – разделяет два вхождения *Романа*); «слышав же се королевичъ. и воевѣды Оугорьскыа. ажъ идеть Ростиславъ к Галичю. по свѣтоу Галичкыхъ моужъ. королевичъ же [не] има имъ вѣры поча ихъ водити ко крѣтоу» (л. 230об.; там же, стб. 664; инсерт – придаточное предложение – разделяет два вхождения королевича); «Тое же шсени Юрославъ Всеволожичъ. Черниговьскыи слышавъ. ажъ Всеволодъ и Дѣдъ. вшедша в землю и<sup>х</sup> и жъжета волость ихъ и Ватьскыа городы. поимали и пожыглѣ. Юрославъ собравъ. братью свою. и сдоумавъ с ними. пожали земли своена» (л. 240; там же, стб. 698; первое вхождение *Юрославъ Всеволожичъ* и второе

причастии (*главъ*) и личном глаголе (*посла*) не имеет никакого функционального смысла и производит впечатление искаженного текста. В Лаврентьевской летописи вместо *главъ* стоит *гла* (л. 11; ПСРЛ, I, стб. 46), что дает несколько лучшее чтение (в этом случае можно считать, что *посла* начинает новый период и поэтому снабжается отдельным субъектом), которому большинство издателей отдает предпочтение (см.: Островский, I, 269); писец протографа Ипатьевского списка мог реинтерпретировать синтаксическое членение и заменить аорист на причастие, что и создало синтаксический ляпсус. Второй из имеющихся примеров несколько более правдоподобен: «Печенѣзи же радѣ бывше мнаще ѿко хотатъ<sup>с</sup> са [так в ркп.] передати. а сами избраша лучшии мужи въ гра<sup>х</sup>» (л. 48; ПСРЛ, II, стб. 113); буквального повтора в этом примере нет, хотя *сами* анафорически отсылает к *печенѣзи*. Между повторяющимися субъектами имеется вставное предложение с другим субъектом (*ѿко хотатъ<sup>с</sup> са передати*), что могло бы служить оправданием для повтора. Тем не менее и здесь целесообразнее трактовать этот пример как результат искажения первоначального текста. В Лаврентьевской находим: «Печенѣзи же ради бывше. мнаще ѿко предатиса хота<sup>т</sup>. поаша оу ни<sup>х</sup> тали. а сами избраша лучшии мужи в городѣхъ» (л. 44; ПСРЛ, I, стб. 128); в этом варианте, который кажется мне предпочтительным (реконструкции издателей противоречивы – ср.: Островский, II, 1008), субъект при глаголе главного предложения (*поаша*) не повторяется, а *сами* употреблено в противопоставлении анафорическому *оу ни<sup>х</sup>* в предшествующей предикации.

<sup>226</sup> Подобным же образом мотивированные повторы (напоминание об основном субъекте повествования) возможны и в современном русском языке, однако в нем они выступают как маркированный риторический прием. В средневековом славянском книжном нарративе, для которого, как уже говорилось, характерен растянутый период со множеством анафорических связей, такие повторы скорее представляют собой необходимый элемент обеспечения связанности текста.



*Ярославъ* разделены инсертом – придаточным предложением; *пожали* – аор. 3 л. ед. ч. от *пожалити*); «преблгыи и премилосердгыи Х<sup>с</sup>ъ Бъ нашъ. не хотя дати радости дьаволоу. ни дикымъ Половцемъ. ажъ бахоуть на се готови. и оустремилися на кровопролитье. и шбрадовалися бахоуть свадѣ в Роускихъ князехъ. избави Бъ кр<sup>с</sup>т<sup>а</sup>нъ ѿ роукъ неч<sup>с</sup>тврыхъ. и шканьныхъ Агаранъ» (л. 240об.; там же, стб. 700; первое вхождение Х<sup>с</sup>ъ Бъ нашъ и второе Бъ разделены инсертом – придаточным предложением)<sup>227</sup>.

Именительный самостоятельный является относительно автономной предикацией, обладающей собственным субъектом и отдельным предикатом; субординированный характер такой предикации обозначен исключительно причастной формой, и в этом плане им. самостоятельный еще более автономен, чем дат. самостоятельный, субординированность которого подчеркивается также косвенным падежом агенса. Когда формальная зависимость причастия от соседствующих личных глаголов не выражена отчетливо, а смысловая субординированность отсутствует (что, как уже говорилось, случается нередко), им. самостоятельный превращается в полностью независимую предикацию, которую, собственно, нет смысла именовать именительным самостоятельным. В этих случаях можно говорить о том, что причастие выступает в качестве личного глагола или, иными словами, что пишущий не дифференцирует (или нечетко дифференцирует) причастия и личные формы. В ПВЛ такое смешение нами не отмечено, однако уже в Киевской летописи в рассказе о поставлении Климента Смолятича митрополитом имеется по крайней мере один пример, в котором субординированный характер причастного оборота неочевиден; после прямой речи Нифонта Новгородского и Мануила Смоленского («Новгородьский Нифонтъ. Смоленский Мануиль. рекоста не есть того в законѣ яко ставити еп<sup>с</sup>помъ митрополита. безъ патриарха. но ставити патриархъ митрополита. а не поклонивъ ти сѧ. ни слоуживъ с тобою <...>») сразу же идет причастный оборот, субъектом которого является Климент, обозначенный анафорическим *онъ*: «шнъ же на на про то тажко ср<sup>д</sup>це имѣа»; дальше говорится о том, что Онуфрий Черниговский предложил поставить Климента главою св. Климента Римского («Внофрии же Черниговьский ре<sup>с</sup> азъ свѣде достоитъ ны поставити...»); зависимость *имѣа* от *ре<sup>с</sup>* (*Внофрии*) сомнительна, она предполагала бы, что недовольство Климента Нифонтом и Мануилом было причиной того, что Онуфрий сделал свое предложение; скорее *имѣа* зависит от *рекоста*, однако в этом случае главный глагол оказывается отделен от причастия пространной прямой речью; это, конечно, не невозможно, но выглядит достаточно неловким построением (летописцу лучше было бы вместо *имѣа* употребить аорист *имѣ*).

<sup>227</sup> Эта модель используется и в позднейших летописях, ср., например, в Степенной книге: «Человѣколюбивый же Богъ своимъ неизреченнымъ милосердіемъ долготерпѣя о нашихъ согрѣшеніихъ, ожидая нашего покаянія и не хотя конечной пагубе предати насъ, яко да престанемъ отъ злобы и не уповаемъ на неправедное богатство, еже вскоре минуется, милостивно наказати насъ хотяй Богъ и попусти неправедному богатству огнемъ истребитися» (ПСРЛ, XXI, 2, 635); два вхождения субъекта *Богъ* разделены несколькими вставными предложениями с другими субъектами.

Как бы ни обстояло дело с данным неоднозначным примером, в позднейших летописях обнаруживаются не слишком редкие случаи, когда причастие выполняет функцию личного глагола. Вполне возможно, что подобное употребление возникает в результате реинтерпретации построений типа разобранного выше, которые для позднейших авторов выступают в качестве прецедента. В Степенной книге находим немало причастных оборотов, которые не прикрепляются ни к какому главному глаголу; причастие в них выступает как субститут личной формы, ср.: «И тогда безбожный той царь Маагмедъ-Кирѣй, яко время удобно уллучивъ своему лукавому злохитрству, вѣдый [вар: вѣдяше] бо извѣстно, яко великій князь тогда ниоткуда брани на ся не надѣяшеся и самъ въ то время брани не составляше ни на кого же. Воиньственіи же его людіе мнози тогда во своихъ областяхъ безъ опасенія учрежахуся» (ПСРЛ, XXI, 2, 598–599; *уллучивъ* можно прикрепить только к *учрежахуся*, но никакой смысловой связи между этими предикативными единицами нет); «И тако вси правовѣрнии отъ конецъ до конецъ вселенныя царьскими благочестивыми отрасльми, яко райскими цвѣты крася и благочестіемъ ихъ хвалящеся, ихъ же всячески по Бозѣ благонадежно спасеніе имуще» (там же, 652). В последнем примере отсутствует какой-либо личный глагол, к которому можно было бы привязать причастные обороты. Так же обстоит дело и со следующими примерами: «Сынъ же его, князь Владимиръ, и мати его, княгиня Ефросинія, за стражбою сядяща [вар: сѣдяще] три лѣта и полъчетверта мѣсяца» (там же, 630); «Тако нашь Пречистая Богородица преславно избавляя отъ всяческихъ бѣдъ и чудесно спасая и въ разумъ истинны обращающа» (там же, 638); «Благочестивый же царь и великій князь Иванъ, видя Казаньскихъ людей многая къ себѣ неисправленія и колико нападеніе разбойнически сотвориша на православіе и...» (там же, 642).

Еще больше подобных примеров в Летописце 1619–1691 гг., автор которого был не в ладах с церковнославянской грамматикой. Ср., например, следующий пассаж: «Благочестивыя же великия государи и благоверныя государины, от них слышав такой их воровской вымышленой крик и шумной мятеж, показуя к ним свою царскую пресветлую милость, яко отцы чадолюбцы к своим чадам, умильно глаголюще со упрощением, дабы престали от такова злаго начинания; почто суетный их мятеж? “Се zde царевич Иоанн Алексеевич, кто вам сия помутит?”» (ПСРЛ, XXXI, л. 716об.); причастия *слышав*, *показуя* и *глаголюще* ни от какого личного глагола не зависят и употреблены вместо личных глаголов. Так же обстоит дело с причастиями *затевающе* и *подписывающе* во фразе: «Врази же, к воровству вымышленицы затевающе паки во царстве смятение сотворити, подписывающе на вратах боярских и вельможских нощию тайно, яко сему убиену быти. Кииждо же виде таковое подписание на вратех домов своих» (там же, 728–728об.). Причастия не находятся в зависимости ни от какой личной формы и в следующих примерах: «И быша псы, яко лютыя зверие, и живущим человеком во царстве проходу не дающе, многих заядающе до смерти. И градстии боляре и вельможи посылающе стрелцов со оружием сих побивати» (там же, л. 695; *посылающе*); «Они же, яко неприязнь некая, непрестанно просящи: “Бояр изменников даждь нам!”», глаголюще с невежеством, приступающе ко царю»

(там же, л. 697; *просящи, глаголюще, приступающе*); «Потом же и хребты их подъемлюще на многих копиях кровавыя трупы такожде к высоте, ругаяся, кажуще к народу, кричаще: “Любо ли?” Народи же вси вопиют, яко любо» (там же, 722об.; *подъемлюще, ругаяся, кажуще, кричаще*). Следует отметить, что все явления, разобранные в данном параграфе, в большей или меньшей степени характерны для гибридного регистра (для гибридных нарративных текстов), но не характерны ни для регистра стандартного, ни для некнижных регистров (делового и бытового).

**4. 3. 5. Согласование причастий.** Как уже говорилось, закономерным следствием превращения кратких действительных причастий в деепричастия является утрата согласования причастия с субъектом по роду и числу. Выше обсуждался вопрос о согласовании причастий в некнижных текстах (юридических кодексах и грамотах); данные этих текстов позволяют предположить, что в некнижном языке процесс утраты согласования протекает в XII–XIII вв. и полностью завершается по крайней мере к XIV в., так что редкие примеры согласования оказываются с этого времени внесистемными реликтами; речь не идет, конечно, о формах ед. числа м. рода, которые делаются немаркированной формой причастия для всех родов и чисел (поэтому употребление этой формы при субъекте м. рода ед. числа не может рассматриваться как согласованное). В некнижных текстах, как показывают берестяные грамоты и списки Русской Правды (см. §§ IV-4.1, IV-4.2), начальные этапы утраты согласования фиксируются в примерах, в которых агенс причастия в главном предложении стоит не в номинативе; для книжных текстов такое употребление причастий нехарактерно (см. § IV-4.3.3), и поэтому этот контекст никакими особыми чертами не выделяется. Понятно, что процесс утраты согласования начинается в контекстах, в которых действие механизма согласования осложнено дополнительными моментами – такими, как неноминативный агенс в некнижных текстах и агенс в дв. числе в текстах книжных (см. об этом ниже).

Отметим сразу же, что в книжных текстах ситуация с согласованием складывается существенно иным образом, чем в текстах некнижных. И в них отражается процесс утраты согласования, однако отражение это опосредованное, накладывающееся на преемственность навыков книжного письма. В образцовых книжных текстах, таких, например, как Псалтырь, Евангелие, Апостол, Часослов, нарушения согласования практически не встречаются; они появляются лишь в отдельных списках в результате недосмотра переписчика. Писец летописи, овладевший грамотой с помощью образцовых текстов и продолжающий пользоваться ими в своей читательской жизни, так или иначе на них ориентируется. Нарушение согласования появляется у него тогда, когда он отходит от этой ориентации, прежде всего тогда, когда он начинает ориентироваться не на образцовые книжные тексты, а на тексты своих предшественников по летописной традиции. В этом случае он может воспроизводить и умножать те отступления от нормы, которые окказионально появлялись в их текстах. В рамках этого процесса пропорция несогласованных употреблений может возрасть. В силу данных соотношений объем нарушений согласования причастий может служить определен-

ным индикатором того, насколько летописная традиция эмансипируется от стандартного церковнославянского языка.

В начале летописной традиции эта эмансипация должна была быть минимальной, и вместе с тем в этот период согласование причастий было обычным и для некнижного языка. Понятно поэтому, что в ПВЛ нарушения согласования встречаются достаточно редко. Исследователи обращали внимание на этот факт. К. А. Гомонова, анализировавшая Лаврентьевскую летопись, отмечает: «Нарушения в согласовании кратких действительных причастий с суфф. наст. вр. с подлежащим, связанные со становлением деепричастия, в Лавр. сп. имеют место в относительно небольшом количестве случаев; однако их больше, чем в Синодальном списке, где они очень редки. Эти нарушения в Лавр. сп. проявляются преимущественно в употреблении формы на -а(я) вместо формы им. пад. мн. ч. муж. рода. Такое несогласованное употребление формы на -а(я) заметно увеличивается в Суздальской летописи сравнительно с “Повестью временных лет”» (Гомонова 1958, 7–8)<sup>228</sup>. ПВЛ по Ипатьевскому списку, который был предметом нашего анализа, не отличается принципиально в интересующем нас отношении от немногим более ранней Лаврентьевской версии. Это, однако же, лишь самые поверхностные выводы, не конкретизированные статистическими данными и не отражающие некоторые важные частные случаи.

Статистические данные, относящиеся к ПВЛ по Ипатьевскому списку, имеют следующий вид. Всего согласование причастия с субъектом причастного оборота нарушается в 40 случаях, из них в 5 случаях нарушение возникает в результате искажения текста, не имеющего отношения к согласованию. Ср., например: «наоутриа же хота. Володимеру и Дѣдови и Шлгови чересь Днѣпръ на Сѣполка. Сѣполкъ же хоташе побѣгнути ис Кыева» (л. 90; ПСРЛ, II, стб. 237); в Лавр. на месте *хота* находим *хотащи*<sup>м</sup>, в Радз. и Акад. *хотащоу* (Островский, III, 2005), что также дает приемлемое чтение; писец Ипат. не нарушал согласования, а исказил оборот дат. самостоятельного<sup>229</sup>. В одном случае можно по-разному трактовать характер согласо-

<sup>228</sup> Аналогичные наблюдения делает и П. А. Лавровский (на которого ссылается Гомонова) о новгородском летописании. Он пишет: «Стоит только присмотреться к древним памятникам, чтобы убедиться, до какой степени правильно выдерживаются в них эти причастия и как несомненно отсутствие деепричастий. Совсем другое представляется в памятниках последующих веков: в них более и более обнаруживается кристаллизация древних причастий неопределенных, пока, наконец, в произведениях XV столетия <...> не исчезло старое резкое различие по родам <...> погубило и правильное употребление множественного числа <...> Еще в первой Новгород. летописи, в конце Синод. списка, встречаются погрешности <...> количество их увеличилось в следующих списках, Академии и Толстовском, и, наконец, решительно погибла правильность употребления причастий неопред. вида в остальных летописях северных. Иначе, в промежуток времени от конца XIV до конца XV столетия место древних причастий заняли образовавшиеся из них деепричастия» (Лавровский 1852, 73–74).

<sup>229</sup> Ср. еще: «и таковаѣ створиша бѣсовѣ его ради. но и по смѣрти его пребывающа въ гроба его. знаменъѣ твораху во има его» (л. 16; ПСРЛ, II, стб. 30; Радз., Акад. *пребывающе* – Островский, I, 232); «и по малу шгдавѣса. кушавше хлѣба. и тако наоучисѣ ѣсти» (л. 72; ПСРЛ, II, стб. 186; Лавр. кусаше, Радз., Акад. кусаше, Хлеб. въкушаше – Островский, III,

ния: «и се слышавъ. Сѣополѣ и Василко поидоста противу» (л. 92об.; ПСРЛ, II, стб. 244); форма *слышавъ* употреблена также в Лавр. и Хлеб. (Островский, III, 2050), и можно предположить, что препозитивное причастие согласовано по числу не с субъектом, состоящим из двух лиц, а с первым из стоящих за ним субъектов; для личных форм такое согласование вполне обычно. Если исключить из подсчетов эти 6 примеров, пропорция нарушений согласования (к числу всех причастных оборотов) составит 3%.

Весьма существенно, что 11 из 34 примеров нарушения согласования приходится на формы дв. числа (это составляет 32%). Ср., например: «и се слышавша цѣра быѣста печална. посласта вѣсть сице глѣще» (л. 41об.; ПСРЛ, II, стб. 95; в Лавр., Радз., и Новгород. летописях правильное *глѣща*; в Акад. неправильное *глѣще*, как и в Ипат. – Островский, II, 845); «Сѣослав же и Всеволодъ посласта. къ Изаславу глѣще» (л. 64об.; ПСРЛ, II, стб. 163; в Радз. и Новгород. летописях правильное *глѣща*; в Лавр., Акад. и Хлеб. неправильное *глѣще*, как и в Ипат. – Островский, III, 1389). Всего в ПВЛ по Ипат. списку имеется 43 причастные формы, требующие согласования по дв. числу; из них 32 согласованы правильно, 11 – неправильно; нарушения согласования составляют в формах дв. числа 26%, что на порядок выше, чем аналогичный показатель для форм ед. и мн. числа (он составляет 2%). Сам по себе этот факт никак не удивителен. Ипатьевская летопись появилась в XV в., когда дв. число исчезло из разговорного языка, а вместе с тем и из языка некнижного и стало весьма непоследовательно употребляться в новосоздаваемых книжных памятниках (см. § VII-2); вместе с тем в разговорном языке, равно как и в языке некнижном, краткие действительные причастия перестали согласовываться (см. выше, § IV-4.1). Сочетание двух этих факторов должно было сделать краткие причастия дв. числа особенно уязвимыми при воспроизведении старых книжных текстов, что и отразилось в приведенных выше статистических данных. Конечно, сами по себе эти данные ничего не говорят о том, в какое время появились те нарушения согласования, которые фиксируются в Ипатьевском списке: они задают лишь *terminus ante quem*, но не сообщают никакой более точной временной привязки: нарушения могли, в принципе, появиться от момента завершения ПВЛ в начале XII в. до изготовления списка в середине XV в. Это, впрочем, более общая проблема, относящаяся не только к формам дв. числа.

Определенное представление о том, как могла выглядеть ПВЛ на начальных этапах своего существования, дают разночтения дошедших до нас списков в тех примерах, где имеет место нарушение согласования причастий. Замечательным образом только в двух случаях списки не имеют разночтений и дают одинаково неправильное чтение<sup>230</sup>, т. е. только в двух слу-

1574); «но послаша Оусеволожую. и митрополита Николу. къ Володимеру глѣща» (л. 90об.; ПСРЛ, II, стб. 237; все остальные списки дают правильное *глѣще* – Островский, III, 2006); ср. еще пример, рассмотренный в примеч. 213 (л. 61; ПСРЛ, II, стб. 154; Островский, II, 1307–1308).

<sup>230</sup> Я не включаю в подсчет следующий пример без разночтений, находящийся в конце ПВЛ по Ипатьевскому списку: «и князь Володимеръ пристави полкы своя. ѣдучи предъ полкомъ пѣти тропари. и коньдакы. хреста чѣтнаго и канунъ сѣи Бѣи» (л. 99об.; ПСРЛ, II,

чаях из 32 можно хотя бы предположить, что нарушение имело место уже в оригинале. Эти два случая следующие: «Шлегъ же ꙗ Борисъ. придоста Чернигову. мѣнаще ѿдолѣвше. а земли Руской много зла створивши<sup>мъ</sup>» (л. 74об.; ПСРЛ, II, стб. 191); *мѣнаще* вместо *мѣнаща* читается и во всех прочих списках: Лавр., Радз., Акад., Хлеб. (Островский, III, 1611); замечу, что только Шахматов реконструирует здесь форму *мѣнаща*, тогда как другие издатели восстанавливают в исходном тексте несогласованное причастие *мѣнаще*. «Сѣопол<sup>къ</sup> и Василко пойдоста противу вземше хрестъ» (л. 92об.; ПСРЛ, II, стб. 244); *вземше* вместо *вземша* находим также в Лавр. и Хлеб. (Островский, III, 2050; в других списках данное место отсутствует); Бычков, Шахматов и Лихачев реконструируют согласованную форму на *-ша*, Островский предпочитает восстанавливать *възъмше*. Вряд ли случайно, что в обоих этих примерах мы имеем дело с нарушением согласования форм дв. числа. Из совпадения неправильных чтений во всех известных списках не следует, однако же, с необходимостью, что эти чтения присутствовали в первоначальном тексте ПВЛ (и в этом плане вполне показательна непоследовательность в трактовке этого вопроса разными издателями текста): поскольку такие ошибки достаточно обычны, они могли появиться в архетипах разных редакций независимо друг от друга. Тем не менее совпадение всех списков делает вероятным появление данных ошибок на достаточно ранних стадиях истории текста.

На то, что ошибки в согласовании могут случаться независимо друг от друга, указывают те случаи, когда нарушение согласования имеет место во всех списках, но в разных списках появляются разные неправильные формы. У нас есть три таких примера, и во всех этих примерах неправильные формы встречаются на месте форм дв. числа. Ср.: «и та испросистаса къ Цѣрюграду. с родо<sup>мъ</sup> своимъ. и пойдоста по Дѣнепру. идучи мимо. и оузрѣста на горѣ городокъ» (л. 9; ПСРЛ, II, стб. 15); в Лавр. и Троицкой находим *идуче*, в Радз., Акад., Ипат., Хлеб. *идучи*; Бычков и Лихачев реконструируют *идуче*, Островский – *идучи*, Шахматов – *идуща* (Островский, I, 110). Пример из рассказа о двух волхвах: «ѡна же въ мѣтѣ прорѣзавше за плечемъ. вынимаста любо жито любо рыбы. или въверицю» (л. 65; ПСРЛ, II, стб. 165); в Лавр., Ипат., Хлеб., Комиссионном находим *прорѣзавше*, в Радз., Акад. – *прорѣзавше*, в Новг. Академич. и Толстовском – *прорѣзавши*; все издатели восстанавливают *прорѣзав(ъ)ша* (Островский, III, 1406). Из статьи 1078 г.: «Ізаслав же и Всеволодъ оуранивса пойдоста ѿ града противу Шлговѣ» (л. 74об.; ПСРЛ, II, стб. 192); в Лавр., Радз., Акад. *оуранивше*, в Ипат., Хлеб. *оуранивса*; Бычков и Лихачев реконструируют *оуранивше*, Шахматов – *оуранивъша*, Островский – *оуранивъ ся* (Островский, III, 1618). Показательно, что в двух

---

стб. 266; этот пример разбирался выше, § IV-4.3.3). Данная часть текста находит соответствие лишь в Хлеб. и Пог. списках, и поэтому разночтения в ней незначительны, а отсутствие разночтений малопоказательно. Не содержат нарушения согласования два контекста из Хроники Амартола: «ѡ ѡзыкомъ старишины [в др. сп.: старѣишины] наставляюще (τῶν ἐθνῶν τοῖς κρατίστοις ἐπιστάτοισιν) симъ же нѣкоего Перьсамъ прозрѣти ѡправда» (л. 100об.; там же, стб. 269); «бѣ бо мужъ силенъ. слышавше [порча вместо: слышав же] нѣ ѿ кого жену нѣкую. ѿ Егуптанинѣ. бѣту и всажену соуцю» (л. 104об.; там же, стб. 279).

из трех примеров распределение вариантов по спискам не совпадает с их принятым текстологическим членением. В случае этих ошибок вовсе не очевидно, что они возникли в ранний период истории текста; испорченные чтения свидетельствуют лишь о трудностях, которые вызывали формы дв. числа.

Стоит вообще отметить, что почти в половине из всех релевантных случаев (а именно в 14 случаях из 30) можно наблюдать несовпадение распределения вариантов и стеммы списков. Выше мы рассмотрели два таких случая, когда все чтения оказываются ошибочными. В 12 случаях среди вариантов имеются правильные чтения, но само распределение вариантов делает вероятным предположение о том, что нарушения согласования появляются не в протографе той или иной редакции, а независимо друг от друга в отдельных списках. Ср. несколько примеров: «и оувидивъше се шканъныи Сѣополкъ. и ѿко еще ему дышюшу. и посла два Варага. приконъчевати его» (л. 50об.; ПСРЛ, II, стб. 120); Лавр. дает *оувѣдѣвъше*, Радз. и Комиссионный – *оувидѣвъ*, Акад., Новг. Академический и Толстовский – *оувидѣвъше*, Ипат. – *оувидивъше* (Островский, II, 1067); «в на же дѣи ѿчѣтившеса дѣа. празнѣтъ свѣтло въскрѣнїе Гѣне веселашесѧ ѡ Бѣѣ» (л. 68; ПСРЛ, II, стб. 174–175); в Лавр., Акад., Комиссионном правильный вариант *веселашисѧ*, в Радз., Ипат., Хлеб., Новг. Академическом, Толстовском – *веселашесѧ* (Островский, III, 1495).

Наконец, имеется 8 примеров, в которых все списки, кроме Ипатьевского, дают правильное чтение и лишь Ипат. содержит несогласованное причастие. В этих случаях наиболее вероятным представляется, что ошибка возникла под пером писца Ипатьевского списка или одного из его непосредственных антиграфов. См.: «послаша же Переяславци. къ Печенѣго<sup>м</sup> глѧ. и деть Сѣославъ в Русь» (л. 29; ПСРЛ, II, стб. 61); в отличие от Ипат., в Лавр., Радз., Акад., Хлеб., Комиссионном, Новг. Академическом, Толстовском правильное *глице* (Островский, I, 511). Ср. еще: «сего же оубоавъ же са Грѣци. послаша с лестю ко<sup>т</sup>пана» (л. 62; ПСРЛ, II, стб. 155); в отличие от Ипат., в Лавр., Радз., Акад., Хлеб., Комиссионном, Новг. Академическом, Толстовском правильное *оубоавшесѧ* (Островский, II, 1319).

Наблюдения над разночтениями в списках ПВЛ позволяют заключить, что исходный текст памятника был полностью (или, если предпочесть сугубо осторожные оценки, почти полностью) свободен от случаев нарушения согласования причастий. Такие случаи, однако, появляются достаточно рано, вполне возможно, уже в XII в. Ошибки первоначально затрагивают формы дв. числа причастий, оказывавшиеся особенно трудными для восточнославянских книжников. Лишь позднее, видимо, этот процесс распространяется и на формы ед. и мн. числа. Одинаковые неправильные формы могут возникать не только в результате воспроизведения унаследованных ошибок, но и независимо друг от друга. Процесс этот идет непрерывно, так что в новых списках появляются новые ошибки, и это ведет к постепенному накоплению примеров с несогласованными причастиями. Этот накапливаемый материал служит прецедентом для каждого следующего поколения книжников; данный прецедент приобретает все большую значимость по мере перехода летописцев от ориентации на образцовые книжные тексты к

ориентации на своих предшественников по жанру (или, другими словами, по мере формирования памяти жанра).

Эти выводы отчасти подтверждаются данными Киевской летописи (или во всяком случае не вступают с ними в противоречие). Существенный момент состоит в том, что параметры начальной части Киевской летописи (ПСРЛ, II, стб. 286–370, 1120–1148 гг.) значимым образом отличаются от параметров последней части (ПСРЛ, II, стб. 650–714, 1185–1199 гг.). В первой части согласование нарушается лишь в 11 случаях, что составляет несколько менее 3% от числа всех причастных конструкций. Более четверти этих нарушений (3 случая, 27%) приходится на формы дв. числа. В 11 случаях при согласовании по дв. числу нарушения отсутствуют. Таким образом, в формах, требующих согласования по дв. числу, нарушения имеют место в 21% случаев, и это на порядок больше, чем для форм ед. и мн. числа (8 из 401, что составляет 2%). Эти статистические параметры не отличаются значимым образом от тех, которые приводились выше для ПВЛ по Ипатьевскому списку. В отличие от ПВЛ, Киевская летопись не обнаруживает значимых разночтений; правда, для сопоставления могут быть использованы только два списка, Хлеб. и Погодинский, так что и возможности варьирования в сравнении с ПВЛ радикально ограничены. Приведу несколько примеров нарушения согласования причастий: «оувѣдавъ же Юрополка. в Переяславли. вратишася на Посулье воевать» (л. 108; ПСРЛ, II, стб. 290); в Погод. правильный вариант *оувѣдавшие*; «ѡже ти бра<sup>т</sup> не досити волости всю землю Роускою. държачи. а хощеши сея волости» (л. 113; там же, стб. 305); *държачи* при дативном субъекте в ед. числе представлено во всех списках; «се бра<sup>т</sup>я прислалися ко мнѣ Володимиръ Изаславъ Дѣдвича и Сѣославъ Ълговичъ. и Сѣославъ Всеволоди<sup>ч</sup> мира проса» (л. 133об.; там же, стб. 365); в Хлеб., Погод. вместо *проса* стоит *прося<sup>т</sup>*, последний вариант выглядит скорее как исправление, чем как исходное чтение.

Во второй части Киевской летописи согласование нарушается в 27 случаях, что составляет несколько более 6% от числа всех причастных конструкций. Таким образом, мы наблюдаем существенный статистически значимый рост пропорции нарушений (в два раза). Формы дв. числа перестают играть какую-либо роль в раскладе нарушений согласования. Среди форм, требующих согласования по дв. числу, имеется одно нарушение при 6 правильных формах; хотя нарушения составляют здесь 14%, ввиду единичности примера эта цифра ни о чем не свидетельствует. Разночтения по спискам не дают никакой информации; как правило, чтения Хлеб. и Погод. интересующих нас точек совпадают, и лишь в трех случаях в Хлеб. и Погод. появляется правильный вариант. Приведу примеры: «много же ѡли баху Чернии Клобуци. Половецкого княза Кобана. но блюдучиса кнѣз Ростислава не вода его в полкъ. оуладившеса с нимъ. на<sup>и</sup>скупъ. и пустиша и. и тако приемше ѡ Бо<sup>г</sup>. на поганѣя побѣду. и възратиша<sup>с</sup> въ своѣси» (л. 232об.; ПСРЛ, II, стб. 672); и *блюдучиса*, и *вода* воспроизводятся во всех списках; «и похваливше всимл<sup>с</sup>тваго Бѣ приемши ѡ Бѣ на поганѣя побѣдоу. и возвратишася во своѣси. со славою» (л. 234об.; там же, стб. 678); вместо *приемши* в Хлеб. и Погод. правильное *приемше*.



Диспропорция в интенсивности нарушения согласования между начальной и конечной частями Киевской летописи не может быть объяснена ошибками позднейших писцов. Она с теми или иными поправками должна восходить к оригиналу. Конечно, можно представить себе, что писец, создававший Ипатьевский список, к концу Киевской летописи устал и начал чаще ошибаться (различия по тщательности письма между началом и концом текста фиксируются в ряде рукописей), однако Киевская летопись не завершала рукопись в антиграфах всех трех имеющихся списков (Ипат., Хлеб., Погод.), так что подобное объяснение выглядит неправдоподобно. Если же диспропорция восходит к оригиналу, это означает, что в течение XII в. ситуация меняется, так что авторам конца этого столетия оказывается труднее справиться с согласованием причастий, чем авторам начала столетия (или, что по существу то же самое, авторы конца столетия обращают меньше внимания на согласование причастий, чем авторы, начинавшие Киевскую летопись). Поскольку и анализ разночтений ПВЛ говорит о вероятности того, что ряд нарушений в согласовании причастий возник на достаточно ранних этапах копирования памятника (т. е., возможно, в XII в.), можно предположить, что уже к концу этого столетия в разговорном языке начинается переход к несогласованным деепричастиям, и именно он отражается в окказиональных отступлениях от нормы в книжных памятниках конца XII в. Эта датировка оказывается несколько более ранней, чем предлагаемая А. А. Зализняком на основании берестяных грамот (см. выше, § IV-4.2), однако здесь нет настоящего противоречия: число примеров в грамотах слишком мало, чтобы исключить неопределенность в полстолетия; кроме того, в принципе имеется возможность того, что данный процесс на юге восточнославянской территории начался несколько раньше, чем на севере<sup>231</sup>.

Материалы более позднего времени не выстраиваются в натуральную хронологическую последовательность. Особенности согласования причастий в более поздних текстах зависят не от времени их создания, а от установок пишущего (пишущих). Поскольку летописи представляют собой книжные памятники, хотя бы опосредованно соотносящиеся с основным корпусом книжных текстов (см. выше, § III-5), согласовательная интенция никогда не исчезает в них полностью, хотя и может реализоваться крайне непоследовательно. Так, Московский летописный свод был создан в конце XV в., и именно к этому времени относятся те фрагменты из его финальной части, которые мы анализировали; они были написаны, тем самым, приблизительно в то же время, что и Судебник 1497 г. В Судебнике 1497 г., как от-

<sup>231</sup> Можно предполагать, что одним из факторов, обусловивших рост случаев несогласования причастий в текстах конца XII в., было распространение в некнижном языке неизменяемой деепричастной формы на *-чи*, проникавшей и в книжные тексты. Конечно, в книжных памятниках продолжают употребляться и согласуемые формы на *-че* и *-чи* (наряду с формами на *-ще* и *-щи*), однако показательно, что из 27 несогласованных форм причастия в конечной части Киевской летописи 15 представляют собой формы на *-чи* (*стерегоучи*, *просачиса*, *кланяючиса*, *идоучи* и т. д. – ПСРЛ, II, стб. 673, 679, 689, 693).

мечалось выше (§ IV-4.1), не только число несогласованных форм превосходит число согласованных, но не просматривается никакого стремления к согласованию. Для Московского летописного свода это не так, хотя объем нарушений согласования весьма высок и не идет ни в какое сравнение с тем, что мы наблюдали в Киевской летописи. В самом деле, пропорция несогласованных причастий составляет в обследованном фрагменте более 25% (98 причастных оборотов), в 43% случаев при субъекте ед. числа м. рода употреблено причастие ед. числа м. рода, которое является немаркированной причастной (деепричастной) формой и поэтому не может рассматриваться как случай согласования, и более чем в 31% случаев имеет место маркированное согласование.

Эта картина радикально отличается от наблюдаемой в Судебнике 1497 г., где маркированного согласования (третья рубрика при рассмотрении Московского летописного свода) вообще не наблюдается; в Московском летописном своде число маркированно согласованных оборотов (оборотов не с субъектом ед. числа м. рода) значимым образом превышает число несогласованных оборотов (122 к 98). Согласование причастий оказывается, таким образом, чертой, противопоставляющей регистры письменного языка: в стандартных церковнославянских текстах согласование нарушается лишь в единичных (исключительных) случаях, в гибридных текстах при наличии существенной пропорции несогласованных причастных оборотов присутствует согласовательная интенция, в деловых и бытовых текстах отсутствует и согласовательная интенция. В этом плане заслуживает внимания тот факт, что в Московском летописном своде, в отличие от последней части Киевской летописи, доминирующей «несогласованной» причастной формой является форма прош. времени ед. числа м. рода (*шед, взял, собрав* и т. д. – ПСРЛ, XXV, лл. 391об., 395б 395об., 406об., 408, 446, 446об., 450об., 466); ее находим в 49 случаях из 98, несогласуемая форма на *-чи* (*гоняючи, зовучи* и т. д. – там же, л. 416об., 438об.) встречается только в 11 случаях<sup>232</sup>.

Степенная книга в обследованных нами частях обнаруживает в сфере согласования причастий несомненные признаки гибридной традиции, однако ее статистические параметры отличаются от параметров Московского летописного свода. Ее авторы и редакторы, создавая памятник официальной сакрализованной историографии, претендуют на более высокий языковой статус своего произведения и стремятся избавиться от тех черт, которые для них могут ассоциироваться с некнижными регистрами, в частности с отсутствием согласования. Конечно, они работают внутри летописной традиции, и поэтому несогласованные причастные обороты в Степенной книге отнюдь не редкость, однако же их здесь только 37, что составляет 11% от общего числа причастных оборотов обследованной выборки. Немаркированные причастные обороты м. рода ед. числа являются в Степенной книге

<sup>232</sup> Вообще говоря, распределение несогласованных причастных форм в Московском летописном своде довольно хаотично. Наряду с отмеченными выше формами в нем встречаются и формы на *-вши* (14х), и формы на *-щи* (7х), и формы на *-а/-я* (9х), равно как и формы на *-вше* и *-ще* (по 3 раза). Нормализация несогласованных причастных форм здесь явно отсутствует.

самым обширным классом (153х, 47%), а маркированно согласованные обороты появляются в 136 случаях и составляют весьма впечатляющие 42%. С этой стратегией употребления причастий хорошо сочетается и другая черта причастного узуса: в выборе несогласованных причастных форм просматривается некоторая зачаточная нормализация. Доминирующими являются формы м. рода ед. числа прош. времени (*видѣвъ, пришедѣ* – ПСРЛ, XXI, 2, 601, 632) и м. рода ед. числа наст. времени (*видя, глаголя* – там же, 601, 602, 629); первые представлены 11 примерами, вторые – 20 примерами. Имеются также по три формы на *-вше* и на *-ще* и одна форма на *-вши*. Стоит отметить, что форма на *-чи*, которая могла ассоциироваться с некнижным узусом, вообще не представлена.

На другой стороне спектра располагается Летописец 1619–1691 гг., о невысокой лингвистической компетенции авторов которого уже говорилось выше. Они явно не ставили перед собою амбициозных лингвистических задач, не слишком старались отталкиваться от некнижного языка и поэтому к согласованию причастий относились без особого внимания. В результате в этом тексте имеется 109 случаев нарушения согласования, что составляет 29% от общего числа причастных оборотов. При этом в 65 случаях (17%) имеет место немаркированное употребление причастия ед. числа м. рода при соответствующем субъекте, а в 201 случае (54%) наблюдается маркированное согласование. Таким образом, обозначенные выше регистровые признаки видны весьма отчетливо: пропорция несогласованных причастий значительна, но согласовательная интенция присутствует вполне ощутимо. Выбор несогласованных причастных форм не противоречит такой стратегии. Доминирующими являются формы м. рода ед. числа прош. времени (*прием, слышав, дошед* – ПСРЛ, XXXI, лл. 703об., 731, 733) и м. рода ед. числа наст. времени (*видя, глаголя, зная* – там же, 700, 709об., 714об., 715об., 716об., 721); первые представлены 31 примером, вторые – 41 примером. Имеются также 19 форм на *-вши*, 11 на *-щи*, 7 форм на *-ще* и даже одна форма на *-чи*.

Итак, анализ особенностей согласования причастий в ряде русских летописей позволяет сделать некоторые выводы о динамике этого явления в истории русского письменного языка. На начальных этапах летописания причастия согласуются с субъектом практически повсеместно, согласование в этот период (начало XII в.) не дифференцирует регистры письменного языка: оно свойственно и образцовым книжным текстам, и летописям, и текстам некнижным. Ситуация меняется к концу XII в., когда, как можно полагать, появляются нарушения согласования в летописях, прежде всего в формах дв. числа. Этот факт заставляет предположить, что и в живом языке этого времени краткими действительными причастиями было утрачено (частично или полностью) согласование, что и отразилось в текстах на некнижном языке, впрочем, несколько более поздних. На этой основе не позднее XV в. (хотя, возможно, и несколько ранее) характер согласования сделался чертой, дифференцирующей регистры письменного языка: последовательное согласование в стандартном церковнославянском, непоследовательное, но целенаправленное согласование в гибридном церковнославянском, отсутствие согласования в некнижном языке. Анализ позднего

летописного материала (XV–XVII вв.) позволяет увидеть тот диапазон, в котором могли реализоваться специфические черты гибридного языка.

**4. 3. 6. Сочинительные союзы между причастным оборотом и главным предложением.** Описывая употребление союзов с причастными оборотами в старославянском, Р. Вечерка отмечал: «Immerhin ist es fast schon eine *opinio communis* der neueren slavischen Sprachwissenschaft, daß *i, ti, a* usw. zwischen Partizip und finitem Verb ein Zeichen für die größere syntaktische Autonomie der Partizipialkonstruktionen in Transgressivfunktion/-bedeutung im Aksl. (und in älteren slav. Sprachen überhaupt) sind» (Вечерка, III, 208). Действительно, слова о том, что употребление союзов связано с определенной автономностью причастной предикации, нередко повторяются в литературе, и именно эта синтаксическая особенность указывается в качестве одного из аргументов, побуждающих понимать славянский причастный оборот как «второстепенное сказуемое» (ср.: Ружичка 1963, 108).

Однако самый концепт «второстепенного сказуемого» оказывается, по справедливому заключению А. А. Алексеева, «метафорическим термином» (Алексеев 1987б, 187–188), а «автономность» – расплывчатым понятием с неясным синтактико-семантическим содержанием. Понятно, что имеется в виду какая-то ослабленная связь с главным предложением (или с основным глаголом), но в каких именно семантических отношениях между главным предложением и причастным оборотом это должно выражаться, остается неясным. Поскольку конкретные семантические (или прагматические) основания причастного субординирования, практически не изучавшиеся историками славянского синтаксиса, писавшими о «второстепенном сказуемом», могут быть весьма разнородными и не описываются с помощью одной простой рубрики (см.: Сахарова 2010), рассуждения о смысловой независимости причастного оборота лишены опознаваемого содержания. Чаще всего они и сводятся к указанию не на семантические или прагматические особенности, а на синтаксические моменты, а именно на соединение с помощью сочинительных союзов и на возможность расположения субъекта (главного предложения и тавтосубъектного причастного оборота) внутри причастного оборота (Истрина 1923, 76–78). Эти черты и свидетельствуют об относительной независимости причастного оборота и вместе с тем составляют все содержание этого понятия, так что подобные построения неизбежно попадают в порочный круг<sup>233</sup>.

Никакой значимой корреляции между характером семантической зависимости между главной и причастной предикациями и названными синтаксическими параметрами в общем случае не устанавливается. Например, в цепочках предикативных единиц, соответствующих последовательности событий, в которых одни единицы реализуются в причастиях, а другие – в

<sup>233</sup> Ср. у Е. С. Истриной: «Постановка союзов связывается, конечно, с степенью самостоятельности причастия, с его сравнительной равноправностью в отношении глагольного сказуемого; союзы соединяют как-бы два равные сказуемые. Причастие, выступающее впереди глагольного сказуемого, обладает большей самостоятельностью, и поэтому в данном положении союзы естественно наблюдаются чаще, чем при обратном порядке слов» (Истрина 1923, 84). О порочном круге в этом рассуждении см. Алексеев 1987б, 193.

личных глаголах без видимого смыслового различия (это и представляет собой случай относительной семантической автономности), не видно никакой особой тенденции к употреблению союзов (или к расположению субъекта внутри причастного оборота). Причастные обороты, выступающие как звенья нарративной цепочки, в каких-то случаях соединяются с другими предикатами с помощью союзов, а в каких-то употребляются без союзной связи, ср. в ПВЛ: «слышавъ же се Володимиръ. в Новѣгородѣ. ꙗко Юрополкъ. оуби Шлга. оубоѡвса бѣжа за море» (л. 30; ПСРЛ, II, стб. 63); «Володимеръ же видивъ ꙗко идутъ. по нихъ. въспативса. изби шладии Грѣчькиѡ. и възвратиса в Русь» (л. 57об.–58; там же, стб. 142); ср. наряду с этими примерами примеры с союзной связью: «и шнѣ же послушавъ его. постриже его. и нарче имѧ ему Аньтониѧ и наказавъ его. и наоучивъ его чернѣцкому шбразу и ре<sup>ч</sup> ему. да иди шпать въ Русь» (л. 58об.; там же, стб. 144); «и пришедъше чернорисци. пѣвше шбычныѧ пѣсни. и принесше и положиша ю. оу црѣвѣ сѣѡѧ Бѣѧ. противу гробу Федосьеву» (л. 78об.; там же, стб. 104). Пожалуй, лишь два частных момента могут быть истолкованы как указывающие на некоторую связь между употреблением сочинительных союзов и теснотой связи между причастием и личным глаголом.

Одно наблюдение было сделано А. А. Алексеевым, писавшим: «Всякое распространение причастного оборота приводило к ослаблению необходимого грамматического единства и постановке союза *и*. Ср. следующий выразительный пример: (1) “Слышав же то князь Олег резанский, ꙗко князь великий съѡкуписѧ с многими силами и грядетъ в сретение безбожному царю Мамаю и наипаче же въоружен твѣрдо своею верою, еже к богу вседръжителю, вышнему творцу всю надежду възлагая, и нача блюстисѧ Олег резанский” ОР 57; (2) “Слышав же то, князь Олег резанский начат боятисѧ”» (Алексеев 1987б, 196). Мне неясно, насколько распространение причастного оборота ослабляло именно грамматическое единство и насколько это грамматическое единство было необходимо, однако очевидно, что наличие многих предикативных единиц с другим субъектом между причастным оборотом и главным предложением делало желательным появление какой-либо анафорической отсылки к дистанцированному причастному обороту, и сочинительный союз мог выполнить эту функцию (в приведенном Алексеевым первом примере стоит отметить и повтор субъекта, который, как указывалось выше, появляется в качестве средства обеспечения связанности при обширном инсерте). Такая мотивация может быть отмечена и в обследованных нами летописных памятниках, хотя синтаксическая распространенность выступает лишь как фактор, благоприятствующий появлению союзов. Никакой обязательности союза синтаксическая разветвленность не создает, да и определить, сколь сложной должна быть последовательность предикаций, отделяющих причастие от личного глагола, представляется неосуществимой задачей. В принципе достаточно одной вставной предикации, однако союз может отсутствовать и при более обширном инсерте; вместе с тем во множестве случаев союз употребляется при том, что никакой вставной предикации нет.

Приведу, впрочем, несколько примеров, в которых синтаксическая сложность сочетается с употреблением союза. Из ПВЛ: «и си слышавъ Воло-

димеръ. аще се истина буде<sup>ѣ</sup>. по истѣнѣ великъ бѣ крѣтъянескъ. и повелѣ крѣтитиса» (л. 42; ПСРЛ, II, стб. 96) «Юань же испытавъ чья еста смерда. и оувѣдѣвъ. яко своего ему княза. пославъ же къ нимъ. иже школо ею суть. и ре<sup>чѣ</sup> имъ выдаите. волѣхъ та сѣмо» (л. 65б; там же, стб. 165). Из Киевской летописи: «и слышавъ шже билиса Шлговичи оу Переяславла. съ стрѣемъ его с Вачеславомъ. и съ братомъ его Изаславомъ. и поиде на волость ихъ» (л. 115; там же, стб. 311); «и тоу изымаша сторожа Половѣцкыя. и взявше оу нихъ вѣсть. аже Половци дѣища вдалѣ лежать и стада. по сеи сторонѣ Днѣпра по Роуской и ѣхаша чересь ночь» (л. 234об.; там же, стб. 677). Из Московского летописного свода: «И яко поставльше раку с мощьми святаго, молебн пѣвше, знаменавшеся у мощей святаго съ страхом и радостію, бѣ бо тогда не покровен гробъ святаго, но видими всѣми святаы мощи его. и по сем разидошася святители и князи и велможи» (ПСРЛ, XXV, л. 414об.).

Если вставные предикации ослабляют тесноту связи между причастным оборотом и главным предложением, то употребление причастия в адвербиальном значении (как характеристики основного действия, а не как отдельного действия или отдельного компонента действия) предполагает полную зависимость причастия от главного глагола, их особо тесную связь. Хотя в определении границ такого рода употребления могут быть различные моменты неопределенности, можно все же сказать, что в случае выраженной адвербиальности между причастием и глаголом никогда не стоит союз. Приведу несколько примеров. Из ПВЛ: «шна же поклонивши главу стояше. аки губа напаема. внимаючи оученью» (л. 24–24об.; ПСРЛ, II, стб. 49; «поклонивши главу и стояше» представляется невозможным); «выступиша. ѿ нихъ. трие мужи и придоша къ Юневи. рекуще ему. вида идеши на смѣртъ не ходи» (л. 65; там же, стб. 165; сочетания подобные «вида и идеши» не встречаются). Из Киевской летописи: «Сѣославъ же прослєзивъса ре<sup>чѣ</sup> пославъ къ Юргѣви. оу Соуждаль» (л. 121об.; там же, стб. 329; «прослєзивъса и рече» казалось бы странно); «шни же рекоша. кѣже не страпаа поѣди. zde ти нѣ ш чемъ быти» (л. 123; там же, 334; «не страпаа» значит по существу 'немедленно', и перед *поѣди* появляться не должно). Из Московского летописного свода: «Князь же велики ис Торжѣку послал к ним Богдана, а с ним Кузма Коровиина, что бы не мочтаа [*так в изд.*] пошли к Новугороду» (ПСРЛ, XXV, л. 402об.; «не мочтаа» так же невозможно с союзом, как и «не страпаа»). Это, пожалуй, единственное заметное ограничение на употребление союза между причастием и главным глаголом.

Поскольку употребление союза является факультативным, различные тексты в разной степени используют эту синтаксическую возможность. Как было показано выше (см. §§ IV-4.1; IV-4.2), в юридических кодексах и деловых документах пропорция причастных оборотов, соединяющихся с главным предложением с помощью союзов, колеблется между 20% и 40%, тогда как в берестяных грамотах союзное соединение доминирует (во всяком случае для препозитивных причастных оборотов). Я не производил аналогичных подсчетов для основного корпуса книжных текстов, однако здесь можно воспользоваться данными для старославянского корпуса, поскольку эти тексты достаточно консервативны (когда они не подвергаются целенаправленной правке) и никакого массивованного прироста союзного при-

соединения причастий при хождении этих памятников на восточнославянской почве ожидать не приходится. Иллюстрируя ситуацию в старославянских евангельских кодексах, Р. Вечерка приводит данные для Зогр. евангелия: «Finden sich z. B. in Z von allem 1165 dort belegten tautosubjektivischen/tautoagentivischen Partizipien in der Funktion des zweitrangigen Prädikats 39 mit *i, ti, a* (d. h. in 3,2% der Gesamtzahl)» (Вечерка, III, 207–208; те же данные см.: Вечерка 1961, 135–136). В стандартных книжных текстах, не относящихся к основному корпусу и стоящих вне старославянского канона, пропорция может быть существенно больше, и Вечерка указывает, что в Житии Мефодия она составляет 10%, а в Житии Кирилла – 17,2%<sup>234</sup>, однако очевидно, что диапазон возможных колебаний обозначен на одном полюсе книжными текстами основного корпуса, в которых искомая пропорция составляет менее 5%, а на другом полюсе – бытовыми берестяными грамотами, где та же пропорция переваливает через 50%. Эти цифры, конечно, указывают на определенную связь данного параметра с регистровыми оппозициями, хотя, как мы увидим далее, корреляция здесь не однозначна.

Прежде чем обратиться к этому принципиальному для нас вопросу, мне представляется целесообразным остановиться на дискуссионной проблеме, имеющей для нас лишь второстепенное значение, а именно на проблеме происхождения союзной связи причастных конструкций. Доминирование подобных построений в берестяных грамотах с несомненностью указывает, что соединение причастного оборота и главного предложения с помощью сочинительных союзов не относится к явлениям заимствованного книжного синтаксиса. Они должны быть приписаны живому языку восточных славян вне зависимости от того, сколь интенсивно употреблялись причастные конструкции в разговорной речи. Данные старочешского и старопольского языков позволяют предположить, что мы имеем здесь дело с общеславянским явлением. Такова была точка зрения А. А. Потебни, который полагал, что данное явление есть «по меньшей мере славяно-литовское, глубоко древнее и знаменательное» (Потебня, I–II, 191). Такой точки зрения придерживались и многие другие языковеды, писавшие после Потебни, в частности, Р. Вечерка (Вечерка 1961, 131–132; Вечерка, III, 204–208), Й. Курц (Курц 1972, 87–98) и Р. Ружичка (Ружичка 1963, 102–112).

Этой точке зрения противостоит концепция, согласно которой мы имеем здесь дело с элементом заимствованного синтаксиса, первоначально с синтаксической калькой, которая «résulte aussi de l'imitation du grec byzantin» (Вайан 1948, 350; ср. Вайан 1952, 402); А. Вайан развивал соображения, высказанные А. Мейе. Ввиду того, что мы наблюдаем в не книжной письменности, на синтаксис которой непосредственное или опосредованное влияние византийского греческого могло быть лишь весьма ограниченным, эта точка зрения не кажется сейчас убедительной. Не кажется вполне прав-

<sup>234</sup> Вечерка указывает, что в поздних старочешских памятниках эта пропорция может быть еще существенно выше. Репрезентативная выборка из *Staročeské životy svatých* otců XIV в. показывает, что здесь союз может употребляться с 81% причастных оборотов (Вечерка, III, 208; Вечерка 1961, 136). В восточнославянских памятниках аналога для такого развития, насколько мне известно, не находится.

доподобной и механика калькирования, которую предполагал Вайан, когда в силу «упадка чувства подчинения» два связанных союзом аориста передаются с помощью причастия и аориста, связанных тем же союзом. Калькирование скорее предполагает буквальное воспроизведение, в то время как, по замечанию Р. Вечерки, «[d]er Wortlaut der griech. Vorlagen scheint die Anwendungsmöglichkeit von *i*, *ti*, *a* zwischen dem Partizip und 'seinem' finiten Verb eher eingeschränkt zu haben» (Вечерка, III, 207), ср. также аргументацию Р. Ружички, доказывавшего, что «[d]ie slavische Konstruktion ist in jedem Falle eine Abweichung von der griechischen» (Ружичка 1963, 106).

Данные не книжных текстов не дают возможности согласиться и с гипотезой А. А. Алексеева, согласно которой причина развития этих особенностей употребления причастий «в момент их возникновения заключалась в недостаточном владении грамматикой причастия как категории церковнославянского языка, чуждой грамматической системе восточнославянской речи» (Алексеев 1987б, 197). Хотя восточнославянские писцы могли быть в разной степени образованны (и, конечно, никто из них не учил церковнославянский язык в школе «по грамматике»), *argumentum ad ignorantiam* не только обходит молчанием не книжные тексты, но и не объясняет характер варьирования интересующих нас параметров в книжных текстах; например, менее грамотные могут употреблять меньше сочинительных союзов, чем более грамотные (см. ниже о писце Летописца 1619–1691 гг.), что не согласуется с обсуждаемой гипотезой. В этих условиях оптимальным решением, уже упоминавшимся выше, кажется связывать данную особенность причастного синтаксиса с нераспространенностью в восточнославянских текстах бессоюзного соединения предикативных единиц (о «высокой частотности союза *и*» как о фоне разбираемого явления пишет и А. А. Алексеев – Алексеев 1987б, 195–196).

Вернемся теперь к грамматическим параметрам употребления союзов между причастным оборотом и главным предложением и к распределению этого явления по обследованным летописным текстам. Основные закономерности употребления сочинительных союзов, соединяющих причастный оборот и главное предложение, хорошо известны. Причастные обороты, стоящие в препозиции, существенно чаще соединяются с главным предложением с помощью союза, чем причастные обороты, стоящие в постпозиции. Так обстоит дело в старославянском (Вечерка, III, 205), так же и в восточнославянских не книжных текстах (см. выше, §§ IV-4.1; IV-4.2), равно как и в текстах гибридного регистра (см.: Истрина 1923, 84–85; Алексеев 1987б, 191–192). Союзы могут быть соединены как обороты с причастиями наст. времени, так и обороты с причастиями прош. времени. Поскольку, как было описано выше, причастия прош. времени чаще находятся в препозиции, а причастия наст. времени в постпозиции, формально союзы чаще могут сочетаться с причастиями прош. времени, однако никакой внутренней связи в этом не просматривается. Предпочтительность препозиции пытались объяснить тем, что причастие в этом положении «обладает большей самостоятельностью» (Истрина 1923, 84; см. полную цитату выше), однако рациональному уточнению понятие самостоятельности не поддается, и им можно манипулировать как угодно, ср. противоположное мнение С. Д. Никифорова,



возражающего Истриной и полагающего, что значение действия, «как бы подготовившего главное действие, выраженное глаголом-сказуемым, постепенно приводит к ослаблению самостоятельности краткого причастия» (Никифоров 1952а, 247).

Я полагаю, что союз более обычен в препозиции, поскольку сочетание причастия с последующим личным глаголом чаще всего иконически соответствует последовательности событий; предикаты, выстроенные в такую цепочку, обычно связываются союзами; так происходит в случае с последовательностью личных глаголов (*вста и рече*), и точно так же, хотя и не так регулярно, – в случае с последовательностью причастия и личного глагола (*вставъ и рече*). В постпозиции подобного цепочного расположения нет. Последовательность предикатов может быть обратной по отношению к последовательности событий (например, *рече, вставъ*) или раскрывать два момента одного события (например, *рече, плакася*), но в обычном случае она не соотносится с аналогичной последовательностью личных глаголов, соединенных союзами (как минимум неидиоматично выглядят *рече и вста*, если имеется в виду ‘встал и затем сказал’, или *рече и плакася*, если не имеется в виду, что сначала сказал, а потом стал плакать). Таким образом, в случае постпозиции модель нарратива, не осложненного субординированием, не стимулирует употребления союзов.

Распределение союзного соединения по летописным текстам не образует ясной модели. Анализируя не книжные тексты, мы видели, что в берестяных грамотах употребление союза куда более распространено, чем в деловой письменности или юридических кодексах. Это побуждает соотносить степень употребительности союзов со статусом текста: более низкий социальный статус благоприятствует большему употреблению союзов. Временная динамика неоднозначна, но по крайней мере сопоставление Русской Правды с Псковской судной грамотой говорит о росте пропорции союзного соединения. В летописной традиции картина складывается еще менее ясная. Различия в пропорции причастных оборотов с союзами не соотносятся ясным образом ни со временем написания летописи, ни со степенью книжности, характерной для языка текста. Похоже, что эти параметры зависят от индивидуального выбора летописца; во всяком случае для обнаружения какой-либо модели нужен существенно больший материал, чем тот, которым я располагаю.

В ПВЛ по Ипатьевскому списку картина определяется следующими статистическими параметрами:

		без союза	с союзом	всего	% с союзом
Препозиция	наст.	50	19	69	26%
	прош.	380	116	496	23%
Всего препозиции		430	135	565	24%
Постпозиция	наст.	386	15	401	4%
	прош.	132	17	149	11%
Всего постпозиции		518	32	550	6%
Всего оборотов		948	167	1115	15%

Как можно видеть, пропорция причастных оборотов, соединяющихся с главным предложением с помощью союзов, существенно выше, чем в старославянских евангельских текстах (и, надо полагать, чем в текстах основного корпуса вообще), но несколько ниже, чем это характерно для некнижных текстов (например для Русской Правды). Это хорошо согласуется со статусом летописей: они представляют собой книжный текст, и в силу этого такие «некнижные» элементы, как союзное соединение причастий, должны быть в них более ограничены, чем в некнижных текстах, и в то же время летописи – это жанр, свободнее других книжных жанров отступающий от норм основного корпуса, поэтому неудивительно, что обсуждаемая пропорция отличается от той, которую мы находим, например, в Зографской евангелии (любопытно, что она близка той, которую Вечерка дает для Жития Кирилла).

Основные параметры дистрибуции причастных оборотов с союзной и бессоюзной связью реализуются вполне обычным образом. Союзная связь существенно чаще встречается при препозитивных причастных оборотах и относительно редко при постпозитивных (разница в 4 раза). Препозитивные причастия наст. времени, присоединяемые союзом, могут обозначать как предшествующее, так и одновременное действие, ср. в рассказе о бесе в образе ляха: «и шбѣхода подлѣ братью. взимаю из лона цѣвѣтокъ. и вѣржаше на кого любо» (л. 70–70об.; ПСРЛ, II, стб. 181); в тексте договора Руси с греками препозитивный причастный оборот может означать условие (как и в Русской Правде): «входа (Хлеб.: входяще) ж<sup>е</sup> Русь в городъ да не твора<sup>т</sup> пакости. и не имѣютъ власти купити паволокъ» (л. 19об.; там же, стб. 37; союз реализует и оптативное значение). Препозитивные причастия прош. времени (наиболее обширный класс) не требуют особых комментариев, примеры с осложненной синтаксической структурой приводились выше; приведу теперь пример, где нет никакого инсера (таких примеров большинство): «Игорь же пришедь. и нача съвокупити вои многы» (л. 17об.; там же, стб. 34). Хотя количество причастий прош. времени с союзной связью в несколько раз превышает количество причастий наст. времени, их процентные характеристики отличаются несущественно, что говорит о том, что постановка союза не зависит от времени причастия. Постпозитивные причастия наст. и прош. времени, присоединяемые к главному предложению союзом, всегда примыкают к главному предложению непосредственно, без всяких вставных предикаций. В большинстве случаев постпозитивные причастные обороты, присоединяемые союзом, не отличаются по семантике от оборотов, присоединяемых бессоюзно, ср.: «швогда же ли паки в нощи прихожаху к нему и страхъ ему творяще» (л. 72об.; там же, стб. 188). Особым случаем представляются обороты, противопоставленные по смыслу главному предложению; находясь в постпозиции, они присоединяются к главному предложению с помощью противительного союза *а*, ср.: «смердовъ жалуете и ихъ конии. а сего не помышляюще [так!]. шже на весну начнетъ смердъ тотъ шрати лошадыю тою и приѣхавъ Половчинъ оударитъ смерда стрѣлю» (л. 99; там же, стб. 265); «ты кнаже чюжеи земли ищешь и блюдешь. а своєю са лишивъ» (л. 26об.; там же, стб. 55).

В Киевской летописи реализуются те же принципы дистрибуции причастных оборотов с союзным соединением, что и в ПВЛ, с тем, впрочем, суще-

ственным различием, что в Киевской летописи сравнительно с ПВЛ пропорция оборотов, присоединяемых с помощью союзов, существенно возрастает, причем в последней части летописи это возрастание выражено еще сильнее, чем в начальной. Это создает впечатление нарастающего влияния живой речи или некнижной письменности, что с определенными оговорками может рассматриваться как характерное соотношение ПВЛ и следующего за нею летописания. Статистические параметры начальной части Киевской летописи таковы:

		без союза	с союзом	всего	% с союзом
Препозиция	наст.	30	12	42	29%
	прош.	130	74	204	36%
Всего препозиции		160	86	246	35%
Постпозиция	наст.	94	6	100	6%
	прош.	46	7	53	13%
Всего постпозиции		140	13	153	8%
Всего оборотов		300	99	399	25%

Статистические параметры последней части Киевской летописи имеют следующий вид:

		без союза	с союзом	всего	% с союзом
Препозиция	наст.	32	13	45	29%
	прош.	103	95	198	48%
Всего препозиции		135	108	243	44%
Постпозиция	наст.	124	7	131	5%
	прош.	32	3	35	9%
Всего постпозиции		156	10	166	6%
Всего оборотов		291	118	409	29%

По сравнению с ПВЛ, пропорция оборотов с союзной связью возрастает почти вдвое, с 15% до 25% и 29%. Это возрастание особенно заметно для оборотов в препозиции – с 24% до 35% и 44%, тогда как пропорция оборотов в постпозиции остается относительно стабильной. Динамика имеет исключительно количественный характер, существенных смысловых инноваций в употреблении союзной связи в летописном нарративе не заметно. Ср. препозитивные обороты с причастиями наст. времени: «и не стерпаче бѣхъ кнѣзѣ сѣдѣти. и ни жито к нимъ не идаше. ни ѿколѣ же. и послаша Гюргеви моужи своя» (л. 114; там же, стб. 308; здесь любопытна вставная предикация, поясняющая, почему новгородцам было тяжело без князя, но никак формально предшествующей предикации не подчиненная). Возможно, частной инновацией оказывается появление пар противопоставленных предикаций, соединенных союзом *а*, где причастие находится в препозиции, ср.: «и посада своего оу ни<sup>а</sup> посадника. а самъ поиде съ Сѣославомъ. и ѿиде ѿтоуду к Выреви» (л. 130об.; там же, стб. 356; впрочем, противопоставление может носить здесь иной характер, нежели в приводившихся выше

примерах). Ср. препозитивный оборот с причастием прош. времени без вставных предикаций и с тесной семантической связью причастия и личного глагола: «на оутрии же днь пославъ Изаславъ на Юрославль дворъ. и повелъ звонити» (л. 135; там же, стб. 369–370; *послатъ* и *повелѣтъ* обозначают компоненты одного действия). Постпозитивные причастные обороты обладают теми же характеристиками, что и в ПВЛ, ср., в частности, обороты, присоединяемые союзом *а* и противопоставленные по смыслу главному предложению: «бѣ бо и Мьстислава. пустилъ. передъ собою. к Володимерю. с маломъ вои. а самъ хота поити. по немъ съ всими вои» (л. 107об.; там же, стб. 288); «се снѣ твои заклъ Половци. зачалъ рать. а ты хочешъ ити инамо а свою землю ѡставивъ» (л. 234об.; там же, стб. 678).

Переход от ПВЛ к Киевской летописи можно интерпретировать как начало развивающегося процесса адаптации книжного синтаксиса к синтаксическим моделям не книжного языка, т. е. так же, как описывалась выше утрата согласования. ПВЛ и Киевская летопись фиксируют две стадии этого процесса и делают понятной его динамику; развиваясь, он мог бы привести к той ситуации, которую мы наблюдаем, например, в старочешских памятниках типа *Staročeské životy svatých otců XIV v.* (см. выше, примеч. 234). Ничего подобного, однако, не происходит. В Московском летописном своде XV в., в его последней части, менее книжной по языку, чем Киевская летопись, пропорция оборотов с союзной связью по сравнению с Киевской летописью не возрастает, а убывает, так что никакого нарастающего процесса не видно. Употребление союзов между причастными оборотами и главными предложениями характеризуется следующими цифрами:

		без союза	с союзом	всего	% с союзом
Препозиция	наст.	32	4	36	11%
	прош.	154	50	204	25%
Всего препозиции		186	54	240	22,5%
Постпозиция	наст.	101	7	108	6%
	прош.	20	6	26	23%
Всего постпозиции		121	13	134	10%
Всего оборотов		307	67	374	18%

Конфигурация статистических параметров отличается от тех, которые разбирались выше, хотя неясно, значимы ли эти различия. Так, скажем, препозитивные причастия наст. времени употребляются только в 4 случаях (11%), и это существенно меньше, чем в ПВЛ, из рассмотренных нами памятников ближе всего стоящей по своим статистическим характеристикам к Московскому летописному своду. Однако никаких содержательных ограничений на употребление союзной связи с причастными оборотами этого рода не видно, напротив, среди малочисленных примеров можно отметить такие, которые иллюстрируют редко появляющиеся типы причастного употребления. Так, например, причастия наст. времени употреблены здесь для обозначения действия, явно предшествующего действию главного глагола (о значении предшествования у причастий наст. времени см. выше,

§ IV-4.3), ср.: «И глаголющи межи себя о священии церкви, како достоит, послати ли по епископы земли нашиа, котории близ нас, и положиша на том, что послати по них» (ПСРЛ, XXV, л. 456об.). См. еще обычный причастный оборот, противопоставленный по смыслу главному предложению, стоящий в постпозиции и присоединяемый к главному предложению союзом *а*: «А князь Иван Булгакъ и князь Ярославъ взяша с Вышегорода Вельяда таемъ себѣ 2. 000 рублевъ посула и поидоша от града с силою, а Вышегород не возьмѣ» (там же, л. 466)<sup>235</sup>.

Точно так же выбивается из любых прямолинейных схем Степенная книга. Этот текст претендовал на особый статус и в силу своего нетрадиционного устройства (не как анналы, а по степеням), и в силу своих особых задач – создания сакрализованной истории московской династии. Это отражалось на характере языка, который по многим признакам отталкивался от книжного. При таких общих характеристиках можно было бы ожидать, что пропорция причастных оборотов с союзной связью будет достаточно низкой. На самом деле, однако, пропорция эта выше, чем в каком-либо другом из обследованных памятников, и достигает 30%. Статистические параметры выглядят следующим образом:

		без союза	с союзом	всего	% с союзом
Препозиция	наст.	61	20	81	25%
	прош.	40	33	73	45%
Всего препозиции		101	53	154	34%
Постпозиция	наст.	92	26	118	22%
	прош.	14	9	23	39%
Всего постпозиции		106	35	141	25%
Всего оборотов		207	88	295	30%

<sup>235</sup> Схожие с Московским летописным сводом статистические параметры обнаруживает Сказание о Мамаеве побоище, написанное немногим ранее Московского летописного свода и дошедшее до нас в рукописи, созданной несколько позднее Московского летописного свода. Выборка невелика и поэтому не слишком репрезентативна, тем не менее эти данные, приводимые А. А. Алексеевым (Алексеев 1987б, 192), представляют определенный интерес. Привожу их, располагая в принятом в настоящей работе формате:

		без союза	с союзом	всего	% с союзом
Препозиция	наст.	8	0	8	0%
	прош.	37	26	63	41%
Всего препозиции		45	26	71	37%
Постпозиция	наст.	66	3	69	4%
	прош.	7	1	8	12,5%
Всего постпозиции		73	4	77	5%
Всего оборотов		118	30	148	20%

Видимое отличие этого статистического расклада от тех, которые анализировались выше, состоит в высокой пропорции оборотов с союзным соединением в постпозиции, т. е. в положении, которое, как указывалось выше, не благоприятствовало появлению союза. На наш взгляд, союзная связь препозитивных причастных оборотов представляет собой способ выстраивания предикаций в нарративную цепочку, тогда как в постпозиции этот фактор не действует (см. выше) и для союзной связи, если только она не носит противительного характера (например, с союзом *а*), нет существенного основания: она появляется окказионально в силу общего пристрастия повествователя к связыванию предикаций с помощью союзов.

В Степенной книге эта черта из окказиональной превращается в постоянно действующую, причем дело здесь, видимо, не в тенденции соединять предикации союзами, а в тенденции превращать личные предикации в причастные: один причастный оборот громоздится на другой, реализуя не какие-либо дополнительные факторы субординирования, а любовь повествователя к замысловатым синтаксическим построениям, к числу которых и относятся книжные причастные обороты (ср. выше § IV-3.1 об употреблении в Степенной книге дат. самостоятельного). В обычном повествовании такие предикации могли бы быть соединены союзами – союзы продолжают употребляться и при причастной трансформации, ср., например, следующий пассаж: «И абіе вси купногласно и единокорно на молитву подвигошася, и литію сотворше и молебныя каноны согласно пояху, на нихъ же и евангеліа прочитаху и ектеніи по чину глаголаху и “Господи помилуй”, со слезами призывающе, пояху и молитву Пречистой Богородице предъ образомъ Ея глаголаху и отпустъ совершающе и крестомъ осененіе съ кажденіемъ благоуханнымъ дѣйствоваху и на вся страны крестаобразно благословляюще» (ПСРЛ, XXI, 2, 601). Здесь описывается последовательность богослужения, все это описание могло бы быть составлено из предикаций с личными глаголами (кроме, пожалуй, «со слезами призывающе», где указывается на дополнительный аспект того, как молящиеся пели «Господи помилуй»); никаких содержательных оснований для того, чтобы произвести причастную трансформацию в случае *сотворше*, *совершающе* и *благословляюще*, не видно; причастия как бы «украшают» книжный нарратив, и при этом союзная связь сохраняется вне зависимости от формы причастия (наст. или прош. времени) и его позиции относительно личного глагола. Таких примеров в Степенной книге немало, ср. еще: «И тако равноапостольный самодержецъ <...> вниде со всѣмъ синклитомъ за кресты во градъ. И вшедше въ соборную церковь и со многимъ усердіемъ умильно припадая и кланяся святымъ иконамъ и любезно целуя ихъ, прилѣжная моленія творя и веліе благодареніе воздая къ Богу и Пречистой Богородицы» (там же, 590; *вшедше*, *припадая*, *кланяся*, *целуя*, *творя*, *воздая* представляют собой постпозитивные причастия, употребленные в целом без нужды); «Не имѣяше бо на телеси своемъ ни единого рубища и стыдѣнія не имуще, яко же первозданный прежде преступленія, душевною же добротою неизреченно одѣянну ему и сугубо преукрашенному, иже многа лѣту великія подвиги полагая и много болѣзненныя нужди претерпѣвая, сие преходя з беззлобіемъ богомудростное уродство воздержаніемъ же и наготою томя себе, лѣте убо

солнечнымъ зноемъ изгараше» (там же, 635; см. неправильно согласованное и присоединенное союзом *не имуще*). Таким образом, стремление автора к сложному книжному синтаксису реализуется среди прочего в обилии причастных оборотов, нередко лишенных смысловой второстепенности, а это изобилие в сочетании с цепочечным соединением предикаций приводит к многочисленным случаям их союзного соединения.

В известной степени противоположный случай обнаруживается в Летописце 1619–1691 гг. Как уже говорилось, этот текст написан не слишком грамотным книжником, не имевшим особых стилистических амбиций. В тексте встречаются и некнижные синтаксические построения, и аграмматическое использование книжных синтаксических средств. Если бы в это время союзное соединение причастий продолжало быть чертой некнижного синтаксиса, следовало бы ожидать, что в Летописце 1619–1691 гг. оно будет представлено в высокой пропорции. На самом деле причастные обороты с союзным соединением в анализируемом тексте еще реже, чем в Московском летописном своде, они составляют всего лишь 8% от числа всех причастных оборотов. Статистические параметры этого текста показывают и ряд других аномалий, ср.:

		без союза	с союзом	всего	% с союзом
Препозиция	наст.	69	7	76	9%
	прош.	95	8	103	8%
Всего препозиции		164	15	179	8%
Постпозиция	наст.	119	7	126	6%
	прош.	29	6	35	17%
Всего постпозиции		148	13	161	8%
Всего оборотов		312	28	340	8%

Никаких принципиальных новшеств в употреблении причастных оборотов в Летописце 1619–1691 гг. не заметно. Имеются, впрочем, случаи, когда причастная трансформация не обусловлена никакими смысловыми или дискурсивными факторами и при этом причастие соединяется с личным глаголом с помощью союза. Такие немотивированные синтаксические построения появляются редко, если сравнить Летописец со Степенной книгой, но тем не менее появляются, не будучи в прямом смысле инновациями, но представляя все же относительно поздний пласт в развитии причастного синтаксиса. Замечательным образом союзное соединение для причастных оборотов, стоящих в постпозиции, появляется не реже, чем для причастных оборотов, стоящих в препозиции, и это как раз и говорит о том, что причастная трансформация утрачивает жесткую связь со смысловым субординированием и становится формальным средством, обеспечивающим связанность текста. Любопытно, что наибольшая пропорция союзного соединения наблюдается у такого маргинального класса, как постпозитивные причастные обороты с причастием прош. времени, ср.: «с ними же прииде и мати их государская благоверная и благочестивая великая государыня царица и великая княгиня Наталлия [так в изд.] Кирилловна и благородныя царевны и со всем их

государским домом, и воздвигше плачь и сетование велие» (ПСРЛ, XXXI, л. 702об.; *воздвигоша* было бы более уместно). Ср. еще: «вси прославиша господа бога и пречистую его богоматерь, поклонишася ему и честный и животворящий крест господень ему, государю, целовавше, поздравляюще ему» (ПСРЛ, XXXI, л. 702об.–703; *целоваша* было бы уместнее, чем *целовавше*).

В книжных текстах и, в частности, в текстах летописных не видно той эволюции союзов, которую мы наблюдали в юридических текстах и берестяных грамотах (см. выше §§ IV-4.1; IV-4.2). Основным союзом, употреблявшимся для соединения причастного оборота и главного предложения, является *и*; союз *а* появляется нечасто, преимущественно при наличии контраста между главной и причастной предикацией, стоящей в постпозиции; другие союзы (*да*, *но*) встречаются лишь окказионально. Так, в ПВЛ по Ипатьевскому списку в 157 случаях причастный оборот и главная предикация соединены союзом *и*. Союз *а* употребляется в 8 случаях, он присоединяет причастный оборот в постпозиции с более или менее выраженным противопоставлением главной предикации (примеры с очевидным противопоставлением см. выше); контраст между главной и причастной предикациями может реализоваться на уровне пресуппозиций, ср.: «Дѣдъ затвориса въ градѣ чаа помочи в Лаховѣ <...> бѣша бо рекли ему яко на та приидуть Русьскіи князи. то мы ти будемъ помощници и солгаша. а емлюще злато оу Давыда» (л. 92об.; ПСРЛ, II, стб. 244; предполагается, что, взяв деньги, надо делать обещанное, а ляхи солгали и не сделали)<sup>236</sup>. В договоре Игоря с греками два раза встречаются причастные обороты, присоединенные союзом *да*; один пример приводился выше, для полноты можно привести и второй: «а ѿходаче со сло<sup>м</sup> цртва наше<sup>н</sup>. да попроводать к великому князю Игореву Ру<sup>с</sup>кому» (л. 20об.; там же, стб. 41); это оптативное *да* ведет себя тем же образом, что и *да* ряда юридических кодексов (см. § IV-4.2 о Псковской судной грамоте).

В обследованных частях Киевской летописи союз *и* в разбираемой функции встречается 213 раз, союз *а* – 6 раз, два раза появляется союз *но*, один раз – *да*. Употребления союза *а* не столь единообразны, как в ПВЛ. В трех случаях мы имеем дело с постпозитивными причастными оборотами с контрастом, аналогичными встречающимся в ПВЛ, а в двух случаях причастный оборот стоит в препозиции: противопоставляется поведение двух персонажей, а противопоставление обеспечивается словосочетанием *а сам*; один из этих примеров, трактованный как инновация, разбирался выше, другой выглядит следующим образом: «Изаславъ Мьстиславичъ и Володимиръ Двѣвичъ. пославша брата своего Изаслава съ Шварномъ. а сама по немъ идоста» (л. 123об.; там же, стб. 336). Пример с *да* появляется не в юридическом контексте, а в похвале Рюрику Ростиславичу и его жене Анне, *да*

<sup>236</sup> Ср. еще ироническое обращение воеводы Святополка к новгородцам: «и воевода нача. Сѣополчѣ. ѡзда. възлѣ бѣрегѣ оукарати Новгородци глѣ. что приидосте с хромьцемъ симъ. а вы плотници суще. а приставимъ въ. хоромъ рубить нашихъ» (л. 53об.; ПСРЛ, II, стб. 129); называя новгородцев плотниками, воевода имеет в виду, что они не умеют воевать и поэтому их приход с Ярославом находится в противоречии с их качествами.



имеет явное оптативное значение: «ѡба же вкоупѣ. патрѣарьшескы троудѣ свѣршающе. да и вѣнѣцъ ѿ мздыдавца ѡбщии восприимета» (л. 243об.; там же, стб. 710). Оба примера с *но* (там же, л. 131, стб. 357; л. 240об, стб. 701) кажутся аномальными, так что было бы поспешным полагать, что мы имеем здесь дело с инновацией.

Московский летописный свод, как мы видели, пользуется причастными оборотами с союзной связью в ограниченных размерах. В 52 случаях союзом является *и*, однако сравнительно велика пропорция оборотов с другими союзами: в 10 случаях находим *а*, в 3 – *да*. Употребление союзов в Московском летописном своде инновативно в нескольких отношениях. Союз *а* оказывается основным союзом, присоединяющим причастные обороты, стоящие в постпозиции (9 присоединены с помощью *а*, 4 – с помощью *и*). В нескольких случаях между главной и причастной предикациями имеется противопоставление, в большинстве случаев, однако, *а* выполняет чисто присоединительную функцию, ср. «да и Венецеиского посла Ивана Тривизана с ними же отпустил, а подмогши его всѣм, и людьми и коньми и поминкы» (ПСРЛ, XXV, л. 425); «Царь же идяше медлено, а все короля ожидая» (там же, л. 462). Союз *да* присоединяет препозитивные причастные обороты в контекстах, никак не связанных с оптативностью, а напоминающих те, которые А. А. Зализняк фиксирует в берестяных грамотах (см. выше, § IV-4.2), ср.: «И судив их и обыскав, да жалобников оправил, а тѣх всѣх, кои находили и били и грабили, обвинуили» (там же, л. 429об.); «и князь великы почтив его, да велѣл ему за собою поити по своей дорозе» (там же, л. 438об.).

В Степенной книге мы отмечали высокую пропорцию причастных оборотов с союзной связью, причем, специфическим для этого текста образом, союзная связь почти в той же степени характерна для постпозитивных оборотов, как и для препозитивных. Это, казалось бы, могло благоприятствовать появлению союза *а* (как в Московском летописном своде), однако в анализирувавшихся частях данный текст обходится одним союзом *и*, употребляющимся в рассматриваемой функции 88 раз. В Летописце 1619–1691 гг. с его крайне ограниченным употреблением союзной связи последовательно употребляется союз *и*, только в двух случаях вместо *и* появляется *но* с выраженным противительным значением, ср.: «И положены быша святыя мощи его во святей соборной церкви Успения пречистыя богородицы у южных дверей, к ним же и доднесь притекающе с верою, припадаем исцеления ради и не отходим тщи, но с радостию благодаряще бога» (ПСРЛ, XXXI, л. 694); «И тою дияволею прелестию погубиша сами себе и дома своя, взявшия чужая, ни един здрав не бысть, но вси помирающе и з домашними своими» (там же, л. 694об.).

Рассмотренные данные не позволяют сделать однозначных выводов об эволюции набора союзных средств, употребляемых при соединении причастных оборотов и главных предложений; неясно даже, имеем ли мы дело с развитием общего узуса или с индивидуальными пристрастиями. Существовало, однако, отметить, что наблюдаемые в летописном узусе изменения не похожи на то, что имеет место в юридических кодексах или деловом язы-

ке; летописная традиция явно не взаимодействует с этими регистрами в рассмотренном выше аспекте<sup>237</sup>.

Таким образом, функциональная значимость союзного соединения причастных конструкций оказывается переменчивой. На начальных этапах союзная связь, характерная скорее для некнижного языка, переживает в летописных текстах определенную экспансию в сочетании с другими чертами некнижного синтаксиса. Позднее, однако, эта соотнесенность с некнижным синтаксисом исчезает. Хотя материалы, имеющиеся в нашем распоряжении, недостаточны для твердых выводов, создается впечатление, что интенсивность применения союзной связи становится зависимой от стремления автора создавать сложные книжные синтаксические построения с семантически немотивированным употреблением причастных предикаций: когда в одной цепочке оказывается несколько причастных оборотов, вырастает вероятность их союзной связи с личными глаголами. В силу этого характер применения союзной связи становится чертой, связанной с индивидуальными установками авторов, и не превращается в признак, дифференцирующий регистры письменного языка. С индивидуальными установками авторов связан, возможно, и набор используемых союзов<sup>238</sup>.

<sup>237</sup> Как показал А. А. Зализняк, древнейшие берестяные грамоты связывают препозитивный причастный оборот с главным предложением с помощью частицы *же*, помещаемой при личном глаголе (Зализняк 2004а, 192; см. выше, § IV-4.2). Такое построение не представлено ни в юридических кодексах, ни в рассмотренных нами пергаменных грамотах; оно, видимо, должно трактоваться как архаизм. Не свойственно такое употребление и летописной традиции. В ПВЛ мы находим лишь один пример такого построения: «Шлегъ же прииде к Суждалю. и слышавъ яко идеть по немъ Мьстиславъ. Шлегъ же повелѣ зажещи городъ Суждалъ» (л. 87; ПСРЛ, II, стб. 228); трудно думать, что мы имеем здесь дело с архаизмом, повтор последовательности *Шлегъ же* (с повторяющейся частицей) выглядит скорее как испорченный текст. Впрочем, при повторении субъекта второе вхождение нередко снабжается частицей *же*, см. примеры выше (§ IV-4.3.4), ср. еще: «се же слышавъ Рюрикъ ѿ пословъ ѿ Всеволожихъ. шже жалоуютъ. на ны про волость. аже далъ башеть волость лѣпшую зати своему Романови Мьстиславличю. Рюрикъ же поча доумати с моужи своими како бы емоу дати волость. Всеволодоу» (л. 236; там же, стб. 583). Несколько употреблений скрепляющего *же* находим в Степенной книге, ср.: «Литовскій же краль Жигимантъ лестію мируя, въ тайнѣ же ссылашеся съ Крымскимъ царемъ Минъ-Гирѣмъ» (ПСРЛ, XXI, 2, 587); «Благовѣрный же государь великій князь о преславной побѣде на враги благодарствуя Бога, льстивыхъ же пословъ Литовскихъ во время брани не вреди ничимъ же» (там же, 594). Полагаю, что в примерах из Степенной книги запечатлелась не архаическая традиция, а особенное употребление частицы *же* в данном тексте, требующее отдельного исследования.

<sup>238</sup> Обследованные материалы не дают возможности определить, как развивалось употребление причастных конструкций с подчинительными союзами *яко*, *что* и т. д. Выше мы отмечали в Русской Правде причастный оборот *оу кого купивъ* в функции придаточного изъяснительного; такое употребление кажется архаическим (см. выше, § IV-4.1). В ПВЛ находим причастный оборот в функции придаточного результата: «и суть и еще мужи старии ходили за Югру и за Самоядъ. яко видивше сами на полунощныхъ странахъ спаде туча» (л. 104; ПСРЛ, II, стб. 277); не ясно, имеем ли мы здесь дело с архаизмом или с окказиональной аномалией. В Киевской летописи находим: «шнѣ же велми възъгла<sup>а</sup>въ ре<sup>ч</sup>и шканьнии не вѣсте са что твораше» (л. 129; там же, стб. 351);

**4. 4. Агиографическая традиция и регистр стандартного церковно-славянского.** Детальный анализ текстов основного корпуса для настоящего обзора представляется излишним. Подавляющее большинство этих текстов представляет собой переводы с греческого, сделанные или отредактированные в Болгарии IX–X вв. Конечно, они подверглись адаптации на восточнославянской почве (см. выше, § I-3), однако этот процесс не сказывался на употреблении причастий (как и вообще на явлениях синтаксиса). Влияние восточнославянской среды бытования могло проявляться лишь в окказиональных отступлениях от книжной нормы, обязанных своим возникновением невнимательности писца (так могло появиться несколько несогласованных причастий), или во вставке нескольких дополнительных союзов между причастной и личной предикациями, обычной для некнижного и гибридного узуса. Основные статистические параметры это не затрагивало, и поэтому о данных аспектах стандартного церковнославянского регистра можно судить по употреблению старославянских памятников, достаточно тщательно исследованных (см.: Вечерка 1961; Ружичка 1963; Вечерка, III, 176–213). Анализ книжных памятников восточнославянского происхождения может в этих условиях иметь смысл лишь в том случае, если они в каком-либо существенном отношении отличаются от памятников старославянского канона, например, в силу своей жанровой природы или в силу того, что их соотнесение с текстами основного корпуса проблематично.

Мы уже обращались выше к употреблению причастий в Пчеле, показывая, что связь причастий прош. времени с препозицией, а наст. времени – с постпозицией обусловлена дискурсивными свойствами нарратива: в Пчеле в силу ненарративного характера текста причастия наст. времени в равной пропорции встречаются в постпозиции и препозиции, что отличает этот

---

это употребление напоминает цитировавшуюся выше фразу из Русской Правды. Того же типа конструкция встречается и в последней части Киевской летописи: «Мѣстиславъ бо <...> возвратиса ко своимъ. мнѣѡвѣ ѡуже побѣдивѣ Шлга а не вѣдѣ свои<sup>х</sup> побѣженныхъ» (л. 238об.; там же, стб. 692). Трудно сказать, насколько выходит за рамки нормы и является коллоквиализмом следующий пассаж с самостоятельным причастным оборотом (субъект *вси*) в значении придаточного времени: «Рюрикъ же рче емоу ажъ хочешъ со мною во правдоу любви. а даи ми поуть слати ко Всеволодоу и ко Дѣдѣви а како са нагадавшѣ вси тако же с тобою оуладимса» (л. 239об.; там же, стб. 696). Аномальным представляется употребление причастия (в функции условного придаточного) в следующем примере из Московского летописного свода: «поне же бо възлюбив и похваливыи чюжую вѣру, то своеи поругался естъ» (ПСРЛ, XXV, л. 419). Не менее аномальным можно считать и употребление именительного самостоятельного в функции относительного придаточного в Степенной книге: «Второму же лѣту наставшу отъ рождѣнія царевичю Ивану, о немъ же сугубо хотя Господь прославити угодника Своего, святаго Никиту» (ПСРЛ, XXI, 2, 652). В Летописце 1619–1691 гг. находится один пример причастного оборота с результативным значением, напоминающий приведенное выше предложение из ПВЛ: «И бысть той день в такове красоте, яко до 9-го часа дни, такожде и в народе тишина, яко никто ничего же чающе быти» (ПСРЛ, XXXI, л. 711об.). Этим и ограничивается собранный нами материал. Он ставит ряд вопросов, нуждающихся в дальнейшем исследовании, но не позволяет сделать какие-либо выводы о динамике рассматриваемого феномена.

памятник и от старославянских евангельских переводов, и от восточнославянских летописей (см. выше, § IV-4.3.2). На связь данных черт причастного синтаксиса с нарративом (а не только с летописной традицией) указывают также данные восточнославянской агиографии. Восточнославянская агиография представляет для нашего исследования особый интерес, поскольку тексты житий куда больше ориентированы на основной корпус книжных текстов (прежде всего евангельских), нежели летописи, и в силу этого могут относиться к регистру стандартного старославянского. Я располагаю лишь весьма фрагментарным материалом, однако он вполне содержательным образом дополняет наши наблюдения о связи рассматриваемой черты причастного синтаксиса с нарративом, а не непосредственно с регистрами письменного языка. Приведу, например, статистические данные, характеризующие «Сказание и страсть и похвалу святому мученику Бориса и Глеба» по списку Успенского сборника (Усп. сб., л. 86–186):

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	18 // 14%	27 // 21%	45 // 35%
прош.	73 // 58%	9 // 7%	82 // 65%
всего	91 // 72%	36 // 28%	127

Эти статистические параметры сами по себе полностью согласуются с теми, которые мы наблюдали в летописных текстах; они ближайшим образом напоминают данные Московского летописного свода (см. выше). Более того, в анализируемом тексте обнаруживается ряд других элементов нарративной стратегии, находящих полное соответствие в языке летописей. Так, например, в Сказании встречаем передачу цепочки событий с помощью последовательности причастных оборотов, смысловая второстепенность которых в отношении к главному предложению неочевидна, ср.: «Сѣопълкъ потаи съмъртъ бѣа своего. и нощь проймавъ помость на берестовѣмъ и въ ковѣръ обѣртѣвъше съвѣсивѣше оужи на землю. везѣше на саньхъ поставиша ѿ въ църкви сѣи бѣа» (Усп. сб., л. 9а–9б); характерно в этом пассаже и изменение субъекта: от одного Святополка в начале пассажа (*потаи* и *проймавъ* в ед. ч.) к Святополку с сообщниками в конце пассажа (*обѣртѣвъше*, *сѣвѣсивѣше*, *везѣше*, *поставиша* во мн. ч.); такое «расширение» субъекта нередко и в летописных текстах<sup>239</sup>. Аналогичным образом, в этом агиографическом тексте реализуются те же трафареты, которые известны нам по летописной традиции (см. выше, § IV-4.3.1), ср., например: «посла же къ борисоу глѣа» (там же, л. 10б); «и присла ѿрославъ къ глѣбоу река» (там же, л. 13б); «нѣ ваю мѣтвы надѣюще са къ сѣсоу възъпиемъ глѣюще» (там же, л. 17г); «и абие оусъпе, предавъ дѣию свою въ роуцѣ бѣ жива» (там же, л. 12в).

<sup>239</sup> Ср., например, в ПВЛ: «томъ же лѣ<sup>т</sup> ходи Вачеславъ на Дунаи с Фомою Ратиборичемъ и пришедъ къ Дьрсту и не възпѣвъше ничто же воротишаса» (ПСРЛ, II, стб. 284); ср. также: «и высла имъ князь Болгарьскыи пити съ отравою и пивъ Аепа и прочии князи. вси помроша» (там же, стб. 285). Другие многочисленные примеры см. выше.

Несколько иные, но вполне вписывающиеся в ту же нарративную стратегию параметры находим в Житии преп. Сергия Радонежского, из которого мы анализировали два фрагмента по тексту, напечатанному в Библиотеке литературы Древней Руси (БЛДР, VI, 254–280; 322–350)<sup>240</sup>. Полученные данные имеют следующий вид:

	препозиция	постпозиция	всего
наст.	40 // 14%	114 // 39%	154 // 53%
прош.	132 // 44%	8 // 3%	140 // 47%
всего	172 // 58%	122 // 42%	294

И здесь вполне отчетливо видно тяготение причастий наст. времени к постпозиции, а причастий прош. времени – к препозиции. Отличительной особенностью данного текста является большая частота причастий наст. времени в сравнении с причастиями прош. времени. Такое соотношение отнюдь не беспрецедентно, если смотреть на летописную традицию; оно присутствует, например, в Степенной книге (см. выше); возможно, это сходство не случайно, а отражает склонность авторов к пояснениям и интерпретациям. Любопытна и крайняя редкость появления причастий прош. времени в постпозиции: ретроспективный ход явно не привлекает автора. Отмечу еще, что в одном из употреблений постпозитивного причастия прош. времени мы имеем дело с модификацией трафарета, вводящего прямую речь (ср. § IV-4.3.1): «И благослови братию, рекъ к нимъ» (БЛДР, VI, 322). Данный трафарет хорошо представлен и в его обычном виде, ср.: «Прочая же вѣрныя оны жены приступльши к ней, начаша вѣпрашати ю, глаголюще» (там же, 262); «съ въздыханиемъ и съ слъзами моляшеся къ Богу, глаголя» (там же, 264) и т. д. Подобные сходства как раз и позволяют говорить о том, что характер размещения причастных оборотов с причастиями наст. и прош. времени представляет собой элемент нарративной стратегии, общий для средневековых восточнославянских повествований вне зависимости от их конкретного жанра. Поскольку мы имеем здесь дело с противопоставлением нарратива и других речевых жанров, размещение причастных оборотов лишь опосредованно связано с противопоставлением регистров: книжные ненарративные тексты точно так же не обладают данными признаками, как и ненарративные тексты некнижных регистров (деловые документы или юридические кодексы).

Существенно более выражено противопоставление регистров по такому признаку, как степень согласованности причастий. Это и понятно, по-

<sup>240</sup> Хотя публикации в этом издании не всегда корректны в лингвистическом и текстологическом отношениях, а пунктуация, которой снабжены в них церковнославянские сочинения, побуждает думать, что публикаторы не владеют церковнославянской грамматикой и плохо понимают печатаемые ими тексты, с ними удобно иметь дело, поскольку они доступны в электронной форме (<http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070>), а их недостатки практически не сказываются на рассматриваемых статистических параметрах.

сколько здесь просматривается прямая зависимость от характера и степени владения книжными навыками. Как уже говорилось, в воспроизводимых текстах основного корпуса несогласованные причастия появляются только по недосмотру переписчиков. Обращение к агнографической традиции выявляет некоторые дополнительные аспекты: поскольку жития ориентированы на канон, они могут быть существенно более «книжными», чем летописи. Показательно, в частности, что в Сказании о Борисе и Глебе по списку Успенского сборника (середина XII в.) несогласованные причастия вообще не появляются. Можно предположить, что в это время процесс утраты согласования в некнижном языке только начинается (см. выше, § IV-4.3.5); скорее всего, именно на этот период приходятся первые случаи отражения данного процесса в летописях, в первую очередь в формах дв. числа. Сказание написано на языке, более близком языку основного корпуса и, вероятно, в силу этого автор не допускает употребления несогласованных причастий, в частности и в формах дв. числа.

В Житии Сергия ситуация меняется. В нем пропорция несогласованных причастий составляет 9% и может расцениваться как весьма низкая при сопоставлении с летописными текстами. Формы дв. числа не играют в этом сколько-нибудь существенной роли (как и в современных Житии Сергия летописях), из 27 несогласованных причастий лишь два стоят на месте предполагаемых форм дв. числа. Характерным образом наиболее частой несогласованной формой оказывается не немаркированная форма ед. числа м. рода, а форма ж. рода на *-ши* или *-щи* (13 случаев из 27), ср.: «Суть бо нѣции, иже и до седмижды днем ядят, иже от утра зѣло рано начинающе и долго нощи окончеваючи, пьюще бесчисмени» (БЛДР, VI, 280); «Ти тако испекши просфиры, служаше Богу от своих праведных трудовъ» (там же, 328). Согласовательная интенция пишущего присутствует в тексте не только в подавляющем большинстве правильно согласованных причастий, но и в неудачных попытках употребить правильную форму, выбрав один из маркированных вариантов. По многим признакам Житие Сергия должно быть, видимо, помещено в некую промежуточную зону между стандартным церковнославянским и гибридным регистром (как, возможно, и ряд других более поздних агнографических текстов); показатели согласованности причастий вполне соответствуют этому регистровому статусу и тем самым выполняют функцию дифференциации регистров.

Вполне показательны в плане регистрового противопоставления и данные Пчелы. Здесь согласование нарушается в 32 случаях, что составляет несколько менее 5% от числа всех причастных оборотов. Такой показатель кажется вполне типичным для стандартного книжного текста, не входящего в основной корпус текстов и написанного (скопированного) тогда, когда в разговорном языке согласование причастий было утрачено. Иными словами, этот низкий процент соответствует представлению о консервативности книжной нормы, отклонения от которой возникают в результате окказиональных ошибок писца. И в этом тексте наиболее частой неправильной формой оказывается не форма ед. ч. м. рода, а формы на *-ше*, *-ще* (*-че*) (в 11 случаях на месте форм ед. ч. м. рода, в 11 случаях на месте форм ед. ч. ж. рода); еще в 5 случаях в качестве несогласованной выступает форма

на *-щи*, ср.: «такоже и дѣла не приключише дѣловѣнаго оучениа тернѣмъ и волчьцѣмъ порастетъ» (Пичхадзе и Макеева 2008, 270); «Дѣлатели, видѣши класи клонѣшасѧ к' земѣли, радуютъсѧ» (там же, 278). В 5 случаях (и это статистически значимое число) несогласованные причастия появляются в причастных оборотах с «дативным» субъектом, довольно многочисленных в данном ненарративном памятнике (напомним, что в Русской Правде несогласованные причастия встречаются только в этом контексте – см. выше, § IV-4.1), ср.: «Оуѣ ти кѣтъ что добро исправивѣше завидимоу бытїи, нежели сѣгрѣшивѣше и ѿ инѣхъ помилованѧ изискати» (там же, 445). Таким образом, и данный текст вполне отчетливо демонстрирует, что согласование причастий является признаком, дифференцирующим регистры и противопоставляющим, в частности, стандартный книжный язык и язык гибридный.

Обращение к агиографической традиции подтверждает высказанный выше тезис, согласно которому статус союзной связи причастных оборотов с главным предложением оказывается в истории языка русской письменности изменчив и малопоказателен в отношении регистровых оппозиций. Сказание о Борисе и Глебе характеризуется следующими статистическими данными:

		без союза	с союзом	всего	% с союзом
Препозиция	наст.	17	1	18	6%
	прош.	63	10	73	14%
Всего препозиции		80	11	91	12%
Постпозиция	наст.	24	3	27	11%
	прош.	8	1	9	11%
Всего постпозиции		32	4	36	11%
Всего оборотов		112	15	127	12%

В целом эти данные не отличаются содержательным образом от тех, которые мы обнаруживаем в ПВЛ (см. выше, § IV-4.3.6). Пропорция причастных оборотов с союзной связью невелика, в препозиции они встречаются чаще, чем в постпозиции. Никаких специальных семантических характеристик препозитивные причастные обороты не имеют. В постпозиции причастный оборот может присоединяться союзом *а* и служить в этом случае для обозначения ситуации, находящейся в смысловом противопоставлении с той, которая описывается главной предикацией. Так обстоит дело в одном из четырех имеющихся примеров: «яко не въсхотѣ противитися [брату своему] любѣ ради Христовы, а колики воѣ държа въ руку свою» (Усп. сб., л. 11г). Как и в ПВЛ, основная масса примеров с союзным соединением приходится на препозитивные обороты с причастиями прош. времени.

В обследованных фрагментах Жития преп. Сергия Радонежского пропорция оборотов с союзной связью несколько увеличивается, хотя ни о каком существенном сдвиге, подобном тому, который замечен между ПВЛ и последней частью Киевской летописи, говорить не приходится. Нет значимых изменений и в соотношении разных типов причастных оборотов и со-

юзной связи (изменение соотношений постпозитивных оборотов незначимо в силу малого числа примеров). Как и в Сказании, наибольший объем конструкций с союзной связью свойствен препозитивным оборотам с причастием прош. времени. Никаких содержательных функций союзная связь, по видимости, не несет. В проанализированном тексте союз *а* не используется и случаев с контрастом между причастной и личной предикацией, выделенным этим союзом, не наблюдается. Статистические параметры имеют следующий вид:

		без союза	с союзом	всего	% с союзом
Препозиция	наст.	32	8	40	20%
	прош.	101	31	132	23%
Всего препозиции		133	39	172	23%
Постпозиция	наст.	105	9	114	8%
	прош.	7	1	8	12,5%
Всего постпозиции		112	10	122	8%
Всего оборотов		245	49	294	17%

Интересны данные Пчелы. Они не отличаются кардинальным образом от того, что мы находим в агнографической традиции, и это позволяет думать, что основные параметры использования союзной связи причастных оборотов не зависят от нарративной или ненарративной природы текста. Мы не наблюдаем в Пчеле ни существенного роста пропорции оборотов с союзной связью (20% в сравнении с 17% Жития Сергия), ни существенного перераспределения оборотов с союзной связью по отдельным рубрикам. Больше всего оборотов с союзной связью и в этом тексте фиксируется для препозитивных оборотов с причастиями прош. времени, причем из совокупности примеров особенно ясно видно, что основным фактором употребления союза являются не содержательные параметры (например, синтаксическая сложность или развернутость инсера), а сложившиеся трафареты. Так, из 82 препозитивных причастий прош. времени, соединенных союзом *и* с главной предикацией 41, т.е. 50% приходится на сочетание причастия с глаголом *рече* (прежде всего причастий *видѣвъ* и *слышавъ*), ср.: «**Се** видѣвъ оуношу много книгъ коупаща и рече» (Пичхадзе и Макеева 2008, 283); «**Се** слышавъ злаго лѣчца, тако глше великоу силоу имѣеть, и рече» (там же, 431). Ненарративный характер текста сказывается на употреблении союзов, пожалуй, лишь в том, что нередко появляются конструкции с союзом *а* и *но*, устанавливающие контраст между причастной и главной предикациями. Употребительность этих конструкций, прежде всего в случае постпозитивных причастных оборотов с причастиями наст. времени, может объясняться тем, что гномические тексты часто играют с контрастными предикациями. Ср.: «**Иже** истинныа правды не имѣ, лежащія въ дши своен, но нли иманье хотѣ взати, нли дроугоу оугода по любѣви <...> то соуда исправиити не може<sup>т</sup>» (там же, 160); «**Иже** надѣяется добра, а зло творѣ, безоутѣшныа страсти приниметь» (там же, 528). Статистические параметры, относящиеся к тексту в целом, даны в следующей таблице:



		без союза	с союзом	всего	% с союзом
Препозиция	наст.	165	29	194	15%
	прош.	170	85	255	33%
Всего препозиции		335	114	449	25%
Постпозиция	наст.	179	16	195	8%
	прош.	44	6	50	12%
Всего постпозиции		223	22	245	9%
Всего оборотов		558	136	694	20%

Хотя имеющихся в моем распоряжении материалов недостаточно для обоснованных выводов, можно все же высказать предположение, что тексты стандартного церковнославянского регистра менее вариативны в рассматриваемом отношении, нежели тексты летописные, пропорция причастных оборотов с союзной связью колеблется в них от 3% до 20%, но не выходит за эти рамки. Эта относительная стабильность может объясняться тем, что в стандартном церковнославянском ориентация на тексты основного корпуса (в котором рассматриваемая пропорция находится у нижнего предела диапазона вариативности) остается куда более действенным фактором, чем в летописной традиции.

## 5. Заключительные замечания о причастном синтаксисе

Употребление кратких действительных причастий является, надо полагать, той областью синтаксиса, где наиболее показательным образом происходит дифференциация различных типов письменного языка и, прежде всего, реализация регистровых противопоставлений. Ряд причастных конструкций свойствен только регистрам книжного языка и тем самым однозначно противопоставляет их регистрам языка некнижного. Сюда относится в первую очередь конструкция дательного самостоятельного, равно как и употребление причастия с глаголом *быти* (бѣ ꙗꙋꙋꙋ) и accusativus duplex после *verba intelligendi, cogitandi, percipiendi, loquendi* (слышаша же фарисѣи народъ рѣпѣштѣ о немъ – ср. Вечерка, III, 195). Вместе с тем обычные причастные обороты с краткими действительными причастиями, которые ряд исследователей считает исключительно книжными, на наш взгляд таковыми не являются, поскольку некоторое их количество появляется и в некнижных текстах, в частности в ничем не отмеченном контексте, исключающем возможность трактовки этих причастий (деепричастий) как вставок элементов книжных регистров; об этом же косвенно свидетельствует развитие так называемого нового перфекта в северозападных русских говорах (чтобы появилось он вставши, вставши должно было существовать в разговорном языке). Отсюда не следует, что обычные причастные обороты не играют роли в противопоставлении книжных и некнижных регистров, однако опозиции носят здесь более тонкий и частный характер.

Существенно прежде всего, что в некнижных регистрах действительные причастия употребляются на порядок реже, чем в книжных. Таким образом, сама частота появления причастных оборотов оказывается признаком,

дифференцирующим книжные и некнижные регистры. Вместе с тем в некнижных регистрах несравненно более последовательно отражаются черты разговорного употребления причастий, чем в регистрах книжных. Судя по берестяным грамотам, в разговорном языке уже в XIII в. было утрачено согласование кратких причастий с субъектом причастного оборота. В некнижных регистрах полное отсутствие согласовательной интенции фиксируется по крайней мере с XIV в. и становится устойчивой чертой как юридических кодексов, так и деловых документов. В книжных регистрах, напротив, согласовательная интенция присутствует в качестве маркирующего признака неотменно, хотя и в разной степени, в текстах стандартного и гибридного регистров; тем самым характер согласования не только противопоставляет книжные и некнижные регистры, но и дифференцирует стандартный и гибридный регистры.

Таков же, видимо, генезис союзной связи причастных оборотов с главной предикацией, по крайней мере в случае препозитивных причастных конструкций. Как показывают берестяные грамоты, такая связь нормальна для некнижного синтаксиса и весьма последовательно реализуется в бытовых некнижных текстах (поздние – XVII и XVIII вв. – бытовые тексты требуют отдельного анализа, который выходит за рамки настоящего обзора). В деловых документах и юридических кодексах союзная связь встречается с куда меньшей последовательностью. Это одна из тех немногих черт причастного синтаксиса, которые хотя бы отчасти дифференцируют бытовую и деловую регистры. Можно заметить в этой связи, что в дифференциации этих двух регистров причастия не играют заметной роли, и это вполне естественно, поскольку причастные конструкции (возможно, за исключением нового перфекта в северозападных говорах) остаются маргинальным элементом некнижного синтаксиса, в весьма ограниченной мере ориентированного на формальное субординирование. Насколько союзная связь причастных оборотов соотносится с оппозицией стандартного и гибридного регистров, нуждается в дополнительном исследовании, хотя предварительно можно предположить, что гибридный регистр допускает больший диапазон вариаций, чем регистр стандартный; оппозиция может быть в данном случае привативной: в спектре вариаций определенные значения показателя употребительности союзной связи (пропорции причастных оборотов, соединенных союзом с главной предикацией, к числу всех причастных оборотов) однозначно идентифицируют текст как гибридный (например, пропорция, превышающая 20%)<sup>241</sup>.

Книжные и некнижные регистры противопоставлены также характером соотношения формы причастия (наст. или прош. времени) и его позиции относительно главного глагола. Дифференциация возникает здесь опосредованным образом и оппозиция имеет, как и в предшествующем случае, привативный характер. Закономерность, согласно которой причастия прош.

---

<sup>241</sup> Не могу исключить, впрочем, что оппозиция является все же эквивалентной и что минимальные значения показателя употребительности союзной связи (скажем, менее 7%) столь же однозначно указывают на принадлежность текста стандартному книжному регистру.

времени употребляются преимущественно в препозиции, а причастия наст. времени – преимущественно в постпозиции, реализуется только в книжных текстах и в силу этого может служить признаком, идентифицирующим текст как принадлежащий одному из книжных регистров. Несоблюдение данной закономерности не указывает, однако, на некнижный характер текста. Она не соблюдается, как было показано, в книжных ненарративных текстах. Это позволяет определить данную закономерность как элемент книжной нарративной стратегии: причастие прош. времени обозначает по преимуществу действие, предшествующее действию главной предикации, и поэтому оно, в силу иконической природы обычного нарратива, тяготеет к препозиции; причастие наст. времени обычно указывает на один из аспектов основного действия или поясняет его свойства или причины, и поэтому повествователь, озабоченный нарративным движением текста, сначала пишет о событиях, а затем о их акциденциях, что и подталкивает причастия наст. времени к постпозиции. В ненарративных текстах (например, в юридических кодексах или собраниях изречений) это не так. Поскольку некнижные тексты в основном являются ненарративными, им рассматриваемая закономерность не свойственна, что и делает ее маркером книжных регистров.

Здесь, видимо, уместно сделать отступление о некнижных нарративных текстах. В устной традиции такие тексты, надо полагать, существовали во множестве – в виде волшебных сказок, рассказов из жизни, быличек. От средневекового периода никаких таких текстов до нас не дошло, так что мы не знаем, употреблялись ли в них действительные причастия и, если употреблялись, в каких функциях и с какими закономерностями. Поскольку мы имеем дело с регистрами письменного языка, такие устные тексты к механизмам употребления письменного языка прямого отношения не имеют. Специального внимания заслуживает, однако же, Хожение за три моря Афанасия Никитина, едва ли не уникальный некнижный текст преимущественно нарративного характера. Хотя делать выводы на основании одного памятника несколько рискованно, Хожение позволяет предположить, что причастия в некнижном нарративе использовались крайне ограниченно; их окказиональное употребление никаких закономерностей не образует, и в этом смысле некнижный нарратив не компрометирует рассматривавшуюся выше закономерность как маркер книжных регистров<sup>242</sup>.

Остановлюсь кратко на Хожении Афанасия Никитина. В этом тексте имеется всего шесть причастных оборотов, пять из них в «некнижной» части текста, один – в «книжной» (об этом делении и его принципах см.: Зализняк 2008а, 150–152). Книжный нарративный текст такого объема содержал бы не менее сотни причастных оборотов, так что причастная ску-

<sup>242</sup> Конечно, отдельные пассажи более или менее выраженного характера имеются и в Хожении на восток Василия Позняка с товарищи или в Хожении Трифона Коробейникова, однако в основе своей это куда более книжные тексты, чем записки Афанасия Никитина. При этом разделение текста на книжный и некнижный, нужное для анализа некнижного нарратива, осуществляется в них с куда большими сложностями, чем в Хожении Афанасия (об этом членении для Хожения Афанасия Никитина см.: Зализняк 2008а, 150–152). Рассмотрение этих хождений выходит за рамки настоящей книги.

дость Никитина хорошо иллюстрирует то противопоставление книжных и некнижных регистров по интенсивности употребления действительных причастий, о котором говорилось непосредственно выше. Поскольку примеры столь малочисленны, перечислю их полностью. «И пошли есмь в Дербентъ, заплакавши, двема суды» (л. 443)<sup>243</sup>; «И мы, заплакавъ, да разошлись кои куды» (Троицкий список, л. 371); «и ты остави вѣру свою на Руси, да воскликнув Махмета да поити в Гундустанскую землю» (л. 445об.); «и оны, пришед на град, дворы разваляют и людей побьют» (л. 448об.); «Амасию взяли, и много пограбили сел, да пошли на караманского воюючи» (л. 457об.). Единственный пример из «книжного» компонента: «И приидох в монастырь Колязин ко святѣй Троицы живоначалной и къ святым мучеником Борису и Глѣбу, и у игумена ся благословив у Макария и у святыя братии» (л. 442).

При столь ограниченном количестве примеров любые статистические выкладки бездоказательны, однако можно указать на то, какие типы причастных конструкций имеются в тексте. В тексте 5 причастий прош. времени, одно наст. времени; последнее стоит в постпозиции; из причастий прош. времени три стоят в препозиции, два в постпозиции; вряд ли такую ситуацию можно считать реализацией обсуждавшейся выше закономерности. В тексте нет ни следа согласовательной интенции, и это вполне выразительно указывает на его некнижный характер. В 4 случаях употреблено несогласованное причастие, из них в 2 случаях это форма ед. ч. м. рода (*заплакавъ, пришедъ*), в одном – ед. ч. ж. рода (*заплакавши*) и еще в одном – неизменяемая некнижная форма наст. времени (*воюючи*); в двух случаях при субъекте ед. ч. м. рода употреблена немаркированная форма ед. ч. м. рода (*воскликнув, ся благословив*), что, как говорилось выше, не свидетельствует о согласовании. В трех случаях из шести (50%) причастие и личный глагол соединены союзом (в одном случае – *и*, в двух – *да*), и это также согласуется с некнижной природой текста; в одном случае при безличной главной предикации с инфинитивом *да* обладает оптативными коннотациями. В функциональном отношении употребление причастий вполне прямолинейно. В трех случаях они употреблены в обстоятельном значении (*заплакавши, заплакавъ, воюючи*), в двух – для указания на простое предшествование (*воскликнув, пришедъ*). Лишь в примере из «книжного» компонента причастие прош. времени, стоящее в постпозиции, обозначает действие, следующее за главным (Афанасий сначала пришел в монастырь, а потом получил благословение). Употребления такого рода встречаются, хотя и не слишком часто, в летописных текстах (см. выше, § IV-4.3.1) и, кажется, практически не появляются, кроме как в особых условиях<sup>244</sup>, в стандартных книжных текстах.

<sup>243</sup> Если специально не оговорено, цитата дается по Эттерову списку Летописного извода по изд.: Никитин 1986, 5–17; при компьютерной обработке я пользовался также электронной версией: БЛДР, VII (см.: <http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068>). При необходимости исправляется бессмысленная пунктуация публикаторов.

<sup>244</sup> Имею в виду, например, такой пассаж из Сказания о Борисе и Глебе: «дондеже юрославъ, не търпа сего зълааго оубииства движе ся на братооубица оного оканьньнааго

Как можно видеть, особенности причастного синтаксиса весьма ясно очерчивают границу между книжными и некнижными регистрами. Граница между стандартным и гибридным книжным языком, в принципе более расплывчатая, обозначена особенностями употребления причастий лишь частично, скорее нюансами этого употребления, нежели однозначными оппозициями (если не считать оговоренного выше объема несогласованных причастий). Ряд противопоставлений наблюдается в функционировании дательного самостоятельного. Так, в гибридных текстах может появляться и даже выступать как стилистическое средство дат. самостоятельный, не подчиняющийся никакой предикации с личным глаголом, т. е. являющийся, иными словами, «отдельным предложением» (см. выше оговорки относительно приложимости традиционного понятия предложения к гибридному нарративу). Такие примеры встречаются в ощутимом количестве в Степенной книге (см. § IV-3.1), окказионально они появляются и в других летописных текстах, начиная уже с ПВЛ (где они появляются как бы по недосмотру) и Галицко-Волынской летописи. В стандартных церковнославянских текстах (во всяком случае в текстах основного корпуса) такие построения не встречаются, что и позволяет рассматривать их как черту, маркирующую тексты гибридного регистра (при том что, безусловно, имеется немало гибридных текстов, этой черты не обнаруживающих). Равным образом не характерны для стандартных текстов цепочки дательных самостоятельных, передающих последовательность событий, ср. в ПВЛ по Лаврентьевскому списку: «разболѣвшю бо сѧ юму. и болѣвшю. дѣи .ѣ. посемь бѣвшю вечеру. повелѣ изнести сѧ на дворѣ» (ПСРЛ, I, стб. 186). Можно думать, что и наличие таких цепочек маркирует гибридные тексты. К числу подобных же черт может относиться и пропорция препозитивных дат. самостоятельных, соединенных с главной предикацией сочинительными союзами. В гибридных текстах эта пропорция может достигать двух третей, чего в стандартных книжных текстах не бывает. Какой именно минимальный объем таких конструкций маркирует гибридные тексты (возможно, более 50%), предстоит определить.

В принципе гибридный регистр может отличать от стандартного объем того, что можно было бы назвать эксцессами причастного синтаксиса. Например, обороты им. самостоятельного известны старославянским памятникам, откуда они переходят в стандартные церковнославянские тексты. Само наличие таких оборотов не может, таким образом, дифференцировать стандартный и гибридный регистры. Однако в ряде поздних гибридных текстов, таких, например, как Летописец 1619–1691 гг., объем таких оборотов (в отношении к общему числу причастных оборотов) может существенно возрастать. Такие эксцессивные объемы несомненно маркируют тек-

---

[так в ркп.] сѡплѣка. и брани мѣногы сѧ нимь сѧставивѣ. и вьсегда пособиѣмь бѣжиѣмь и поспѣшениѣмь сѡю побѣдивѣ. ѧлико брани сѧстави» (Усп. сб., л. 15б–15в). Ярослав, конечно, сначала двинулся на Святополка, а потом победил его, однако два события даются не как нарративная цепочка, а как постоянная сцепка событий, что подчеркивается наречием *вьсегда* и придаточным предложением «ѧлико брани сѧстави». Эта итеративность нейтрализует иконические отношения следования в цепи предикативных единиц.

сты гибридного регистра. Это же относится к построениям с причастиями в качестве единственного предиката или, иными словами, с причастиями в функции единственного в предложении личного глагола. Старославянским текстам такие построения не свойственны вообще, отсутствуют они и в ПВЛ, однако появляются в более поздних летописях. Можно, конечно, сказать, что такое использование причастий аномально и что оно встречается отнюдь не во всех гибридных текстах, однако эти аномалии находят употребление в летописной традиции и частота их появления возрастает, так что и они могут рассматриваться как маркеры гибридных текстов.

Большинство перечисленных выше типов отклонений от заданной текстами основного корпуса синтаксической нормы естественно трактовать как результат ассимиляции стандартного причастного синтаксиса в условиях, когда в живом языке причастные конструкции употребляются в ограниченном объеме и в лимитированном наборе функций. В этих условиях пишущему могут быть неясны принципы субординирования, присущие нормативному причастному синтаксису. Он может интерпретировать их расширительно по отношению к тому корпусу текстов, на основе которого он конструирует собственную грамматику письменного языка, или, в несколько иной перспективе, он может расширять контексты, в которых употребляются освоенные им трафареты. Из того, что в известных ему стандартных текстах окказионально употребляется им. самостоятельный, он может сделать вывод, что это легитимный способ сочетания двух предикаций в единое синтаксическое целое, в особенности если одна из предикаций, трансформируемая в им. самостоятельный, в каком-то отношении не вполне семантически полноценна в сравнении с предикацией, использующей личный глагол. Такое умозаключение может обернуться существенным ростом конструкций данного типа.

Аналогичным образом, увидев, например, что препозитивное причастие прош. времени обозначает, как это обычно и должно быть, событие, предшествующее событию главной предикации, и не увидев (возможно, не разглядев) каких-либо дополнительных отношений между двумя предикациями, обусловившими причастную трансформацию первой из них (например, то, что первое событие подготавливает второе или является его причиной или фоном), книжник может заключить, что для причастной трансформации достаточно временного предшествования и на этом основании употреблять цепочки причастных оборотов для обозначения последовательности равноправных событий. Такие сдвиги могут быть постепенными и малозаметными, их обнаружение требует достаточно тонкого семантического анализа, который способен выявить разнообразные переходные случаи. Там, где исследование сталкивается с семантическими нюансами, рубрики оказываются дробными, а фрагментированный по ним языковой материал недостаточным для статистического анализа. Весьма возможно, что в этой сфере имеются черты, противопоставляющие гибридное употребление стандартному, однако их выявление требует куда более детального семантического анализа, чем те общие наблюдения, которыми ограничен настоящий обзор. Так, скажем, я не могу исключить, что причастные обороты с причастиями наст. времени и значением предшествования собы-

тию главной предикации, которые упоминались выше (§ IV-4.3), существенно более свойственны гибридным текстам, нежели стандартным. Однако одновременность – это весьма грубое семантическое описание, покрывающее разные типы соотношения предикаций, и весьма возможно, что некоторые подтипы (например, те, в которых одновременность означает каузирующий основное действие фон) встречаются и в стандартных книжных текстах, тогда как другие не встречаются. И выделение таких подтипов, и их подсчет – весьма объемная задача, которая не могла быть поставлена в рамках настоящего очерка.

Приведу еще один пример тех сложностей, с которыми связан предполагаемый подобной задачей семантический анализ. А. Тимберлейк, исследуя, как авторы ПВЛ трансформировали в книжный текст тот устный нарратив, который служил им источником, анализирует особенности причастных трансформаций, справедливо предполагая, что в устном нарративе были скорее всего паратактически соединенные предикации с личными глаголами. Он указывает на многочисленные стандартные случаи подобных трансформаций, а затем разбирает то, что ему представляется особыми случаями. Один такой особый случай он видит в следующем пассаже: «и оутопе Ростисл<sup>а</sup>въ снѣ Всеволожь. Володимеръ же пе[ре]бредѣ рѣку с малою дружиною мнози бо падоша ѿ полка юго и боларе юго ту падоша. и перешедѣ на шну сторону Днѣпра. плакаса по брат<sup>б</sup> своемъ. и по дружинѣ свои» (Лаврентьевская лет., л. 7об.; ПСРЛ, I, стб. 220). Тимберлейк полагает, что последовательность «мнози бо падоша ѿ полка юго и боларе юго ту падоша» представляет собой «a parenthetical interruption», в силу чего причастие *пе[ре]бредѣ* оказывается «unattached» (ближайший личный глагол *падоша* имеет другой субъект); это побуждает Тимберлейка определить две указанных предикации как «an editorial aside» (Тимберлейк 2008, 217). Такая трактовка возможна, хотя и не необходима; как мы видели, пространные вставки между причастием и личным глаголом нередко встречаются в летописи и могут даже сопровождаться повторением субъекта (см. выше, § IV-4.3.4); не во всех случаях они должны быть редакторской ремаркой.

Не здесь, однако, Тимберлейк видит семантическую аномалию. Он пишет: «Moreover, the participles do not fit norms for the semantics of participles. If we were to ignore the parenthetical comment, we would get: “Володимеръ же перебрѣдѣ ... и перешедѣ плакаса”. Semantically the sequence is awkward because the actions reported by the two participles are not preliminary actions. Fording the stream was not *as a precondition* for weeping; it is not because Vladimir crossed the river that he wept, nor did he cross the river in order to then weep. Quite likely, the original narration was paratactic, with finite verbs instead of participles “перебрѣдѣ” and “перешедѣ”» [там же, 217–218; разрядка моя. – В. Ж.]. Последнее предположение выглядит вполне правдоподобно, однако аргументы, которые подводят к этому заключению, не кажутся бесспорными. Автор говорит о «нормах семантики причастий» и предполагает, что норма (в случае причастий прош. времени) обуславливает возможность причастной трансформации тем, что причастная предикация обозначает предпосылку (условие, причину) следующей за ней предикации с личным глаголом. Это важная гипотеза, и соблазнительно было

бы думать, что здесь мы сталкиваемся с тем самым расширением семантики причастных конструкций, которое связано с ассимиляцией книжного причастного синтаксиса восточнославянскими книжниками. Если это так, можно было бы предположить, что книжному стандарту (норме) свойственна твердая схема, согласно которой препозитивный причастный оборот с причастием прош. времени «are preconditions for the main predicate» (там же, 217), а отсутствие подобной семантической связи является отклонением, присущим гибриднему регистру.

Вопрос здесь состоит в том, что такое эта норма. Представляет ли она собой некую идеальную грамматику, в которой причастная трансформация обладает четким семантическим заданием, или обобщением того узуса, который наблюдается в основном корпусе текстов и на который, как мы знаем, прямо или опосредованно ориентировался восточнославянский книжник. Предполагаю, что второй вариант предпочтителен для построения истории языка. Если мы избираем его, то тогда проблема нормы и отклонения оказывается более сложной, чем в предложенном выше построении. Мы читаем, например, в старослав. евангелиях «и шѣдѣ вѣнь петръ. плакааше сѧ горько» (Лк. 22: 62; в Мар. **ншѣдѣ**; то же и в восточнослав. евангельских текстах, ср., например, Мстислав. ев., л. 120б; см.: Ружичка 1963, 15). Следует ли думать, что Петр покинул двор первосвященника именно для того, чтобы заплакать, что этим его поведение отличается от действий Владимира и что это присутствие мотивации (precondition) обуславливает нормативное применение причастной трансформации? Такая трактовка не кажется совсем абсурдной, поскольку Петр, видимо, должен был уйти от недоброжелательных взоров служителей Каиафы, чтобы дать волю своим чувствам (а Владимир мог плакать, где ему вздумалось). Однако плач обычно изображается как неинтенциональная эмоциональная реакция; учитывая это обстоятельство, статус предпосылки у действия, обозначенного причастием **шѣдѣ** (или **ншѣдѣ**), кажется натяжкой. Летописец мог помнить пассаж из Евангелия и рассматривать его (и аналогичные ему) как реализацию нормы, а не как особый случай, как частный трафарет с не вполне стандартными, но вполне нормативными семантическими отношениями причастия и личной формы. Он мог употреблять причастия в соответствии с этим образцом, и такое употребление вряд ли стоит считать ненормативным. Тогда и то расширение семантики, которое мы пытались приписать гибриднему регистру, оказывается мнимым. Решение зависит от трактовки весьма тонких семантических нюансов, и в этих обстоятельствах нам придется воздержаться от постулирования семантических оппозиций, дифференцирующих стандартный и гибридный регистры.

Говоря о семантических оппозициях, надо иметь в виду, что смысловые отношения отнюдь не всегда были приоритетом для средневекового восточнославянского книжника. Выше уже указывалось, что летописный (и не только летописный, а нередко и агиографический) нарратив организуется как нанизывание предикаций, при котором один период покрывает целый эпизод повествования, объединенный одним сюжетом и одним набором участников. В этих обстоятельствах актуальной оказывается формальная задача придать такому периоду структурное, т. е. синтаксическое единство.



В рамках этой формальной задачи смысловые отношения предикативных единиц могут лишаться первостепенного значения. В порождаемых таким образом сложных структурах в цепи развертывающихся событий один (или несколько) из элементов может передаваться причастным оборотом не в силу своей семантики (например, принадлежности кулисам, если пользоваться метафорой Вечерки), а для превращения этой цепи в относительное синтаксическое единство (ср. об аналогичном употреблении дательного самостоятельного: Ворт 1994, 44–45). Ср., например, в ПВЛ о монашеском призвании преп. Антония Печерского: «и шнъ же послушавъ его. постриже его. и нарче има єму Аньтонии и наказавъ его. и наоучивъ его чернѣцкому шбразу и ре<sup>ч</sup> єму. да иди шпать въ Русь» (ПСРЛ, II, стб. 144); почему именно *наказавъ* и *наоучивъ* превращены в причастие, неясно; «постриже его. нарекъ има єму Аньтонии и наказа его. наоучивъ его чернѣцкому шбразу» было бы никак не худшей фразой, что, однако же, несущественно, поскольку синтаксическое целое возникает при обоих построениях. Актуальность данной задачи не зависит от того, к какому регистру – стандартному или гибричному – принадлежит создаваемый текст. В этих условиях потенциально существующие семантические оппозиции между двумя регистрами не выглядят как наличие vs. отсутствие определенной черты или как бросающиеся в глаза статистические диспропорции в употреблении некоторого типа построений в текстах соответствующих регистров; оппозиции могут воплощаться лишь в нечетко выраженных предпочтениях, которые не реализуются в явных статистических различиях и с трудом поддаются фиксации. Описание этих аспектов причастного синтаксиса могло бы стать предметом особой работы.

## ГЛАВА V. СИНТАКСИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ И ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА РАЗНЫМИ РЕГИСТРАМИ ПИСЬМЕННОГО ЯЗЫКА. ПОРЯДОК СЛОВ И ПРОЧИЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

### 1. Синтаксические стратегии книжных и некнижных регистров. Элементы разговорного синтаксиса в некнижном письменном языке

Как уже упоминалось, исследования современного русского разговорного языка показывают, что в нем имеется ряд конструкций, в письменном литературном языке не представленных. К таким конструкциям относится, например, именительный темы, когда тема (предмет) высказывания обозначается существительным в номинативе, стоящим в начале предложения (ср. *Петя, я его вчера видел*). Такие конструкции отсутствуют в древнерусских книжных текстах, но могут быть найдены в берестяных грамотах, ср. № 600, рубежа XII/XIII вв.: «а **вытоле** (им. ед.) **того изловили**» («а что касается “вытола”, то его выловили» – Зализняк 2004а, 471); № 550, вторая пол. XII в.: «а **дороганици** (дороганичи, жители местности Дороганя, им. мн.) **ти шли въ городо**» («а дороганичи, они ушли [или пошли] в город» – Зализняк 2004а, 401–402), № 19, 20-е годы XV в.: «а **приставе ино здѣсо филисть кхать хоче**» («а [что касается] пристава, то здесь хочет ехать Филист» – Зализняк 2004а, 644).

В разговорном синтаксисе современного языка известен именительный перечисления, когда при перечислении предметов первые названия стоят в нужном косвенном падеже, а последующие – в именительном. И здесь находят аналоги в берестяных грамотах при отсутствии их в книжной письменности, ср. № 169, рубеж XIV/XV в.: «**Онтане послале овдокиму два клещи** (вин.) **да щука** (им.)» («Антон послал Евдокиму двух лещей и щуку» – Зализняк 2004а, 656). Аналогичный пример в грамоте № 445 XIV в.: «**всало горончаро ѿ сорока • кунциу • кобылу • гѣ • кожи • шапка • сани хомуты**» («Взял гончар два сорока куниц, три кожи, шапку, сани, хомуты» – Зализняк 2004а, 542–543); форма *шапка* несомненно представляет собой именительный перечисления (Зализняк 2004а, 157). В грамоте № 692 XV в. обнаруживаем такую специфически разговорную конструкцию, как *пусть его*: «**пѹсти • кѹ •**

тымъ по мнѣ • поманеть» («Пусть он на это наследство совершит по мне поминки» – Зализняк 2004а, 661–662).

Нетрудно указать и на другие примеры, которые, хотя и имеют по видимости окказиональный характер, указывают на определенную синтаксическую стратегию. Так, в грамоте № 752 конца XI – начала XII в. появляются предложения, в которых формально главная предикативная единица поставлена посредине формально придаточного предложения, отделяя (вынося вперед) находящуюся в фокусе часть этого формально придаточного предложения. Речь идет о следующих предложениях: «**А тобѣ вѣдѣ ако есть не годнѣ**» («А тебе, я вижу, не любо»; буквально «А тебе я знаю, что не любо»), «**А вѣ сю недѣлю цѣтъ до мнѣ зѣла имееши оже е[с]и къ мѣнѣ н[ѣ при]ходилъ**» («Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю (или: в это воскресенье) ты ко мне не приходил?» – Зализняк 2004а, 249–250). Зализняк отмечает: «Такие структуры могут быть представлены как результат особого типа развертывания простого предложения: вместо слова со значением типа ‘явно’ выступает (в той же точке текста) предложение *вѣдѣ ако*, вместо ‘почему’ – *цѣтъ до мнѣ зѣла имееши оже*. В современном русском языке фразы этого типа не соответствуют литературной норме, но широко распространены в разговорной речи» (там же, 251). Добавлю к комментарию Зализняка, что, во-первых, такие фразы не встречаются и в стандартных церковнославянских текстах (и в этом отношении современная литературная норма находится в отношениях преемственности со старой церковнославянской) и, во-вторых, разрыв между зависимыми членами предложения и вынесение зависимых элементов вперед обусловлены фокусированием. Действительно, в первом случае в предшествующих предложениях говорится о действиях и чувствах автора письма, а анализируемая фраза переводит фокус на адресата (*а тобѣ*); во втором случае выделен тот отрезок времени (*а в сю недѣлю*), в который произошло изменение в ситуации; именно недоумение по поводу поведения адресата в эту неделю и служит предметом сообщения. При логическом (нормативном) расположении возможности такого фокусирования не могли бы быть реализованы столь простым и лаконичным способом; вынесение вперед основной темы сообщения требовало бы особого придаточного предложения.

Итак, в синтаксисе бытовых не книжных текстов обнаруживается ряд явлений, идентичных тем, которые присущи современной разговорной речи. Можно полагать, что синтаксические построения разговорного языка, иногда рассматриваемые как инновации, могут быть достаточно архаичными (Земская 2004, 347–350), так что специфические особенности разговорного синтаксиса устойчиво в течение многих столетий определяют отличия сначала книжного языка, а затем наследующего ему языкового стандарта (при всех его изменениях) от разговорного регистра русского языка, равно как и от не книжных регистров письменного языка средневековья.

▲ **Эккурс о синтаксических различиях письменного и устного языка.** Несомненно, в этом контексте встает вопрос о неоднородности разговорной речи и комплексности оппозиции письменного и устного языка. Различные конфигурации признаков (синтаксических и иных) неоднозначно соотно-

сятся с данной оппозицией и находятся в зависимости от «жанров» – как «жанров» устной речи, так и «жанров» письменной речи. Отдельные жанры устной речи (например, лекция или проповедь) по своим лингвистическим характеристикам могут находиться рядом с полюсом письменной речи, т. е. быть схожими с такими образцово письменными жанрами, как научная статья или описательная проза. И напротив, ряд жанров письменной речи располагаются рядом с полюсом оральности; это может относиться, например, к личным письмам или – в современной лингвистической ситуации – к чату в интернете. Конкретное распределение конфигураций лингвистических признаков по жанрам находится в зависимости от различных историко-культурных параметров, хотя отдельные черты оральности и письменной речи являются, видимо, универсальными (см. обзор литературы вопроса с отчасти сходными выводами: Чейф и Теннен 1987)<sup>245</sup>.

У. Чейф и Дж. Данилевич, сравнивая диалоги, лекции (устный язык), письма и научные статьи (письменный язык) в английском, отмечают, что ряд показателей, относящихся к структуре фразы, представляют собой скалярные величины, по которым четко противопоставлены полюса (диалоги и научные статьи), тогда как промежуточные жанры могут быть достаточно сходны (несмотря на противопоставление письменного и устного). Сюда относятся пропорции последовательностей предложных конструкций, номинализаций, прилагательных и существительных в атрибутивной функции, конструкций с однородными членами, причастий, что в конечном счете обуславливает большую длину интонационной группы (*intonation unit*) в письменном языке сравнительно с устным (Чейф и Данилевич 1987, 94–102). Точно так же скалярной величиной является и сложность периода. Как отмечают авторы, «[c]onversational spoken language consists in large part of intonation units joined together in a chain, very often with the coordinating conjunction *and* linking them together. In other words, there is a strong tendency for casual speakers to produce simple sequences of coordinated clauses, avoiding the more elaborate interclausal relations found in writing. Elaborate syntax evidently requires more processing effort than speakers can ordinary devote to it» (там же, 102–103); соответственно пропорция простых сочинительных связей убывает от диалога до научной статьи.

Это простое утверждение было поставлено под сомнение М. Холлидеем, высказывавшим сомнение в том, что «*written language is syntactically more complex than spoken*» (Холлидей 1987, 66; ср.: Холлидей 1979). Холлидей полагает, что устному и письменному языку присущи разные типы синтаксической сложности (там же). Он различает вставные конструкции (*embedding*) и гипотаксис (*hypotaxis*), полагая, что именно первые определяют синтаксическую сложность письменного языка, тогда как вторые характерны для языка устного: «*Hypotaxis is more like parataxis than it is like embedding; and both are characteristic of spoken rather than written language. So*

<sup>245</sup> Например, в отдельных культурах частные письма носят не информативный, а аффективный характер, и это сказывается на их повышенной «оральности», превышающей по ряду параметров оральность устного диалога (см. о функционировании письменного языка в полинезийском языке нукуле: Беньер 1988).

in order to do justice to the particular mode of organization of both spoken and written discourse, the grammar needs to distinguish between the constituency relation of embedding, or rank shift, where one element is a structural part of another, and the dependency relation of "taxis", where one element is bound or linked to another but is not part of it» (там же, 74); Холлидей иллюстрирует данное различие следующими примерами: *the conviction [that he failed] / [of failure]* и *was convinced || that he had failed* или *the effect [of such a decision] would be [that no further launchings could take place]* и *if they decide that way || no further...* (там же). Несомненно, вставные конструкции в большей степени присущи книжному языку, чем устному, и русский язык вряд ли радикально отличается в этом случае от английского (ср. *он предупредил о своем неприходе на работу – он предупредил, что не придет на работу*), но отсюда нельзя сделать вывод о гипотаксисе как черте разговорного синтаксиса. Гипотаксис, конечно же, возможен в разговорной речи, но частота его употребления зависит от жанра. Парадоксальные выводы Холлидея связаны с тем, что он рассматривал устные нарративы, которые по многим синтаксическим параметрам отличаются от диалогической коммуникации. Если же учитывать жанровый фактор и различать разные типы придаточных предложений, мы можем вернуться к выводу о том, что гипотаксис в устном языке имеет меньший набор функций и более ограниченное распространение.

Данные Холлидея о частоте придаточных предложений в устном языке подтверждаются наблюдениями К. Биенен (Биенен 1984), которая, однако же, также работала с устными нарративами. Было бы существенно установить, отличается ли эта ситуация от наблюдаемой в современном русском языке, но для русского мне не удалось обнаружить релевантных статистических данных. Как показал Д. Байбер, в английском «*that*-clauses, *if*-clauses, *wh*-clauses, and other subordinators (i. e. adverbial clauses) function as part of a single dimension; but relative clauses have a separate communicative function. Infinitives have been grouped as parts of two different factors, and thus may have yet another communicative function. Assessments of over-all subordination which indiscriminately lump these measures together can be expected to produce contradictory results. When individual subordination measures are considered separately, the findings are less contradictory; e. g., in agreement with my analysis, most previous studies have found more *that*-clauses in speech <...> However, nearly all studies have shown relative clauses to occur more frequently in writing <...> they are distributed differently from *that*-clauses» (Байбер 1986, 409). Не ясно, насколько универсальны данные отношения, однако несомненно, что простое противопоставление гипотаксиса и паратаксиса является слишком грубым инструментом.

Дебора Теннен отмечает: «Two recurrent hypotheses are (1) that spoken discourse is highly context-bound, while writing is decontextualized <...> and (2) that cohesion is established in spoken discourse through para-linguistic and non-verbal channels (tone of voice, intonation, prosody, facial expression, and gesture), while cohesion is established in writing through lexicalization and complex syntactic structures which make connectives explicit, and which show relationships between propositions through subordination and other foregrounding or backgrounding devices <...> The first of these hypotheses, I suggest, indeed

taps features often found in spoken and written discourse respectively, but these result not from the spoken or written nature of the discourse as such, but rather from the genres that have been selected for analysis – casual conversation, on the one hand, and expository prose, on the other. The second hypothesis is indeed a necessary concomitant of spoken and written modes» (Теннен 1982, 3; ср. еще: Теннен 1983).

Я полагаю, что отчетливое представление о различии в стратегиях устной и письменной речи как раз и дают полярно противопоставленные жанры – такие как непринужденный диалог и описательная проза. Все прочие речевые жанры располагаются между этими полюсами и могут рассматриваться как результат интерференции двух находящихся в оппозиции лингвистических установок. Как формулирует Д. Теннен, «strategies typically associated with spoken discourse can be and are used in writing, and strategies typically associated with written language are likewise realized in speech» (Теннен 1983, 80). В «канонической речевой ситуации» упаковка информации ориентирована на контекст, и синтаксические стратегии соответствуют презумпции диалога, в котором слушающий посвящен в курс дела, реагирует на сказанное и предоставляет возможности оговорок и пояснений при сбоях коммуникативного механизма. Более изощренная трактовка речевых жанров и присущих им синтаксических стратегий вряд ли необходима для историка языка, не располагающего никакими свидетельствами о различии этих жанров в устном узусе далекого прошлого. Исходя из общих соображений, можно предположить, что в обществах, усвоивших риторические стратегии античности (или аналогичные индийские или китайские традиции), определенные жанры устной речи (например, торжественная речь или проповедь) сдвинуты в сторону «письменного полюса» и могут обладать весьма сложной синтаксической организацией. До какой степени это приложимо к средневековой Руси, сложный вопрос, хотя ряд гомилетических текстов восточнославянского происхождения указывают, что эта традиция не была чужда и восточным славянам. ▲

Понятно, что синтаксис средневековых восточнославянских некнижных текстов не воспроизводит синтаксиса разговорной речи, некнижные тексты могут быть лишь сдвинуты в сторону «устного» полюса. Это относится прежде всего к жанру бытовой переписки, по многим прагматическим параметрам сближающемуся с устной коммуникацией. Деловые тексты должны располагаться далее от «устного» полюса. Однако же и бытовые тексты (в первую очередь бытовые берестяные грамоты) определенно обнаруживают навыки именно письменной речи. Имею в виду не только многочисленные эпистолярные формулы, но и общий выразительный лаконизм и построение текста как целого. Приведу в качестве примера псковскую берестяную грамоту № 6 середины XIII в. (Зализняк 2004а, 515):

п кюрѣка и ѿ герасѣма к ано-ѡ-нѣмоу про белоу оже кѣте  
не сторговале то прислите со проста занѡда оу насѡ  
коуплѣ естѣ бѣлѣ а про себѣ оже боудѣше пороженѣ то боудѣ-  
ди к намѡ а намѡ ксѣнно-ѡ-нѣотѣ измакле а про сен чело-

ВЕКО МЫ КГО НЕ ЗНАКМО А ВО ТОМО БОЖЕЯ ВОЛА И ТВ-  
ОГА

Перевод: «От Кюрика и от Герасима к Онфиму. О беличьих шкурках: если (или: что) вы еще не сторговали (т. е. не запродали), то пришлите [сюда] немедленно, потому что у нас [здесь] есть спрос на беличьи шкурки. А о тебе: если будешь свободен, то приезжай (букв.: будь) к нам – Ксинофонт нам напортил (нанес ущерб, расстроил дела). А об этом человеке (т. е. Ксинофонте): мы его не знаем; а в том воля Божья и твоя». По предположению Зализняка, младшие компаньоны Кюрик и Герасим просят старшего, Онфима, отстранить от их дел неизвестного им Ксинофонта. Письмо распадается на три раздела. После адресной формулы следует содержательная часть, причем информация расклассифицирована и вводится своего рода заголовками: *про белоу, а про себе, а про сеи человеко*. Такая текстовая структура, конечно, не имеет ничего общего с устной диалогической коммуникацией, поэтому и видеть в любой из синтаксических конструкций подобного текста воспроизведение конструкций разговорного языка нет никаких оснований.

То, что в существенной степени противопоставляет синтаксис книжных и некнижных письменных текстов, это соблюдение/несоблюдение принципа проективности – наиболее выразительной лингвистической манифестации принципа логического развертывания. Проективность состоит в том, что стрелки дерева зависимостей не пересекаются, т. е. внутри словосочетания не вклиниваются слова или группы слов, не зависящие от членов данного словосочетания<sup>246</sup>. В книжных текстах (равно как и в современном литературном языке) обычно соблюдение проективности. Традиционный синтаксический анализ, выработанный на опыте литературных языков, предполагает, что проективность – это естественное свойство речи, а непроективность, как об этом пишет Я. Г. Тестелец, «маркирована, т. е. несет некую особую информацию, которая в соответствующем проективном предложении не содержится»; непроективность может указывать «на признак ситуации речи, стиль и т. п.» (Тестелец 2001, 98). Это, однако, ничем не обоснованное предположение, что ясно продемонстрировали уже не раз упоминавшиеся исследования русской разговорной речи. Трудно согласовать утверждение о том, что «непроективными конструкциями изобилует <...> русская разговорная речь» (там же), общую презумпцию, согласно которой именно разговорная речь «первична» (что бы ни понималось под первичностью), и постулирование маркированного характера непроективности. В древних восточнославянских некнижных текстах проективность нарушается часто, так что было бы бессмысленно видеть в ней принцип построения этих текстов.

<sup>246</sup> См.: Маркус 1965; Робинсон 1970; Мельчук 1988; Тестелец 2001, 94–101. Технически под проективностью понимается такое свойство предложения, при котором перпендикуляры, опущенные из узлов дерева зависимостей на линейное представление предложения, не пересекают его ветвей (ср. *Принеси мне французскую книгу – Французскую принеси мне книгу*).

Ряд примеров из берестяных грамот приводит А. А. Зализняк (2004а, 189–190). Он указывает, что особенно часто дистантное расположение членов словосочетания имеет место в конструкциях вида «существительное + определение или приложение к нему». Так обстоит дело в грамоте № 607/562 последней четверти XI в.: **Жизнобоудѣ погоубленѣ оу Сычевичѣ новѣгородскѣ смьрдѣ** («Сычевичами убит Жизнобуд, новгородский смерд» – Зализняк 2004а, 245); № 78 XII в.: **възѣми оу Тимошеѣ одноу на десѣтъ грив[ѣ]ноу оу въичина шурина на конѣ** («возьми у Тимошки, Войчина шурина, одиннадцать гривен за коня» – Зализняк 2004а, 373); № 745 XII в.: **ажѣ то лодиа прислана кыянина** («если ладья киевлянина [уже] прислана» – Зализняк 2004а, 262–263) и т. д. Появляются такие конструкции, естественно, и в пергаменных грамотах, ср. в новгородской купчей ок. 1359 г.: «И даша на немъ рублеи гривну на 70 лѣтъ, а от того лѣта, коли Іо[аннѣ] князь мертвъ Ивановиче» (Валк 1949, № 106, с. 163).

А. А. Зализняк, обсуждая элементы ситуационного синтаксиса в берестяных грамотах, формулирует принцип организации информации, который реализуется в данной синтаксической стратегии, – в начале главная часть сообщения, затем уточнения. «В соответствии с этим принципом прежде всего объявляется суть дела (без деталей), а все уточняющие слова образуют вторую, дополнительную часть высказывания, которая фактически представляет собой цепочку синтаксически не связанных между собою слов или синтагм... Заметим, что подобное построение не предполагает обособления отнесенных в конец слов и никаких пауз перед ними нет. Обильно расставляемые в таких случаях издателями летописей запятые (например: *и Завидѣ, посадникѣ новгородскыи, оумре, Дмитровицѣ*) внешне приближают текст к современной литературной норме (где подобный порядок слов возможен только при обособлении), но отнюдь не соответствуют действительному членению древнерусской фразы» (Зализняк 1995, 172; Зализняк 2004а, 190). И этот принцип соответствует тому, что отмечается исследователями современной разговорной речи, ср. наблюдения Е. А. Земской: «[Ч]лен (или члены), наиболее информативно важный, <...> тяготеет к началу высказывания. <...> В конце высказывания, как правило, располагаются члены, информативно менее важные, например, невыделенная тема высказывания» (Земская 1973, 382). Порядок слов в этих случаях обусловлен информационной значимостью отдельных элементов или, другими словами, фокусированием.

Два момента заслуживают при этом особого внимания. Во-первых, такие конструкции могут быть достаточно сложными, т. е. дополнительная информация, отправляемая в конец высказывания, может состоять из нескольких уточнений, и эти уточнения могут относиться к разным предметам высказывания, т. е. зависеть синтаксически от разных слов главной части. Ср. грамоту № 663 XII в.: **«милкоѣ, Уенегѣ, Будиша заплѣтили поло гривене Коросткине рѣла»** («Милко, Уенег и Будиша, Коросткины [дети], заплатили полгривны порѣла» – Зализняк 2004а, 397–398). Здесь имеются два уточнения: одно о том, что плательщики – это Коросткины дети, и *Коросткине* относится к субъекту высказывания, другое о том, что это был за платеж, и *рѣла* относится к объекту высказывания.



Во-вторых, такие конструкции иногда встречаются и в книжной письменности, прежде всего в летописях, и эта допустимая экспансия «некнижного» (ситуационного) синтаксиса в книжные тексты может, видимо, выступать в качестве одной из особенностей гибридного регистра. Можно полагать, что в летописях нестандартность коммуникативных заданий приводит к появлению синтаксических построений, невозможных в стандартных церковнославянских текстах. Эти отступления появляются, видимо, в силу того, что книжное (логическое) расположение не всегда соответствует представлениям автора о соотносительной важности упоминаемых предметов и персонажей и привычные способы ранжирования информации берут верх над навыками риторического размещения языковых элементов. В этих случаях появляется дистантное расположение членов словосочетания, при котором – как это характерно для некнижных текстов – дополнительная информация относится в конец предложения.

А. А. Зализняк (Зализняк 2004а, 189–190) приводит ряд подобных примеров из Новгородской первой летописи: *Володимиръ иде на Юмъ съ новгородъци сѣъ Ярославль* (s. a. 1042); *а сѣъ посади Новѣгородѣ Всѣволода на столѣ* (s. a. 1117); *въ тоꙗже лѣтѣ постави Твѣрдислаꙗ црковъ на воротѣхъ въ Оркажи манастири Михалковицѣ стꙋо Съмена Стѣлпника* (s. a. 1206), отмечая, что их можно умножить<sup>247</sup>. Эта черта хорошо согласуется с тем уже отмечавшимся обстоятельством, что Новгородская первая летопись куда скромнее использует книжные синтаксические ресурсы, чем другие древнейшие летописи. Редкие примеры могут быть обнаружены, однако, и в Повести временных лет, которая, вообще говоря, характеризуется более книжным (в большей степени использующим стандартные гипотаксические построения) синтаксисом, чем Новгородская первая. Так, в однажды уже цитировавшемся пассаже ПВЛ о заключении договора Игоря с греками 945 г. говорится:

зѡѡѡтра призва Игорьъ слы. и приде на холмѣ кде стоѡаше Перѡнъ. [и] покладоша ѡружье свое и шитѣ [так в изд.] и золото. и ходи Игорьъ ротѣ и люди его. елико поганыхъ Рꙋсѣ. а хѣѡанꙋю Рꙋсѣ водниша ротѣ. в цркви стꙋго Ильи. ꙗже естъ надѣ рꙋчаемѣ. конецъ Пасынѣчѣ бесѣды. и

<sup>247</sup> Ср., например, в статье 1103 г.: «Въ то же лѣто заложиша церковь Благовѣщение Мъстислав князь на Городищи» (л. 60б.; НПЛ, 19); во всех остальных списках вместо *заложиша* стоит *заложи*, согласующееся по числу с субъектом (*Мъстислав*). Представляется, что *заложиша* появляется не по ошибке, а потому, что сначала идет своего рода «безличное» предложение с глаголом в 3 лице мн. числа, выдвигающее на первый план сам факт закладки церкви, а затем в качестве дополнительной информации указывается, кто и где это сделал; позднейшие редакторы устраняют это вторжение чрезмерно разговорного синтаксиса. Ср. еще следующее предложение в статье 1214 г.: «и въиде Мъстислав съ братьею и съ новгородъци въ Киевѣ, и поклонишася кыяне, и посадиша Киевѣ Мъстислава Романовица, вѣнукъ Ростиславль» (л. 80; НПЛ, 53). Конечно, *вѣнукъ Ростиславль* может трактоваться как вин. ед. прямого объекта, при котором вин.=им. *вѣнукъ Ростиславль* рассогласован с вин.=род. *Мъстислава Романовица* (см. о таких случаях: Крысько 1994а, 24–25). Кажется более привлекательным, однако, видеть здесь аппозитивное уточнение, стоящее в им. ед.

**Козарѣ. се бо бѣ скорнага. црѣки. мнози бо бѣша Варязи хѣтани** (ПСРЛ, I, стб. 54).

Последовательность «и **Козарѣ**», вызывающая трудности при интерпретации, может, видимо, рассматриваться как однородное дополнение с **хѣтаню Руть** при глаголе **водиша**, вынесенное в конец фразы как поясняющая деталь<sup>248</sup>.

Примеры из более поздних летописей могут быть еще более красноречивы, ср. хотя бы в Новгородской второй летописи XVII в., отличающейся особой «разговорностью»: «И как ѣдучи государь князь велики Иван Васильевич всея Руси с Москвы в Великии Новгород, да был в тѣ поры в Кирилове монастырѣ и из своею братьею со князем Юрьемъ Васильевичемъ и со княземъ Владимиром Ондрѣевичем да и молебны в манастырѣ в церкви в каменои в болшей отслушали в Кирилове Афонасьи при игумене Парфеньи» (ПСРЛ, XXX, 149 – s. a. 1547). «Мѣсяца февраля в 9 день простил духъ святыи падную болѣзнь, а та болѣзнь от родства и Славны Юрья Бобровника Кожевина» (ПСРЛ, XXX, 156 – s. a. 1566)<sup>249</sup>. «Июня 2 день, а простил духъ святыи малчека двунатцати лѣт, очима, Юрьевъского крестьянина с Моринѣ» (там же, 156 – s. a. 1560). «Мѣсяца сентября в 21 день в недѣлю поѣхал царь и государь с Москвы в Великии Ногород Иван Васильевич да с нимъ царевичъ Иван» (там же, 157 – s. a. 1568)<sup>250</sup>.

Не менее показательно в плане интерференции с некнижным синтаксисом употребление предикатов-приложений, выступающих как определение к объектному или (реже) субъектному актанту, т. е. тех оборотов, которые А. А. Потебня называл «паратактическое глагольное придаточное предложение» (Потебня, III, 251; ср.: Борковский и Кузнецов 1965, 506). Такие констру-

<sup>248</sup> Трудности в интерпретации возникают из-за того, что исследователи стараются прочесть текст в согласии с привычным книжным синтаксисом. Шахматов полагал, что слова **и Козарѣ** переставлены, и реконструировал данное место следующим образом: «а хрестяную Русь водиша ротѣ въ църкви святаго Илиѣ, яже есть надѣ Ручаемъ, коньць Пасынчѣ бесѣды: се бо бѣ съборная църкы, мѣнози бо бѣша Варязи и Козаре хрестияне» (Шахматов 1916, 61). Эта реконструкция полностью произвольна, поскольку списки не дают для нее никакого основания. Правда, форма **Козарѣ** – это плохой вин. мн. от **Козаринѣ**, но и хорошего им. мн. из нее не получается; наряду с эмендацией **Козаре** (им. мн.) можно с тем же успехом предположить, что писец Лавр. просклонял **Козаринѣ** по мягкой разновидности (вин. мн.).

<sup>249</sup> Имеется в виду, что Св. Дух исцелил от падучей Юрия Бобровника Кожевина из Славны; эта болезнь была у него от рождения. Летописца явно больше интересует сам факт исцеления и серьезность исцеленного недуга, чем конкретный человек, который от этой болезни страдал.

<sup>250</sup> Некоторые исследователи не вполне понимают функциональное задание (принцип организации информации), которое стоит за подобными построениями, и, отмечая их странность, интерпретируют их весьма своеобразно. Так, Н. Д. Боголюбова, приводя два красноречивых примера из Псковской первой летописи, пишет, что «они создают впечатление приписки» (Боголюбова 1970, 83). Примеры следующие: «Того же лѣта князь Володимиръ умре Киевский Рюковичъ» (Псковские летописи, I, 12); «Того же лѣта на весну князь Иван Михалович преставися Тверьский» (Псковские летописи, I, 35).

кции встречаются в той же демонстрирующей многочисленные примеры интерференции Новгородской второй летописи, см., например: «Згорѣла 4 двора, пятой разметали да дитя зашибли Василья Сермяжка с Никитины улицы до смерти, Павломъ зовут» (ПСРЛ, XXX, 151 – s. a. 1549; имеется в виду ребенок Василия Сермяжка, которого звали Павлом); «Мѣсяца того же 21 день на третии недели вторник великого поста Никита епископъ жену простил очию болѣзнию от Троицы с Клапья из Дерѣвениц селца зовут Евдокѣю на часех, как отпѣли часы» (там же, 154–155 – s. a. 1552); «и в тѣ же и поры на колоколницы звонец звонил в колокол в проскурницкой, Семеном зовут, и у колокола веревка порвалась» (там же, 194 – s. a. 1572). Такие конструкции, обычные в современном разговорном языке, встречаются и в старой некнижной письменности, ср. в письме из фонда Киреевских конца XVII – начала XVIII в.: «а бѣдет гсдрь изволишь есть ѹ нас на Туле мастер Маѣимом зовѣт» (Котков и Панкратова 1964, 58). Обширную сводку примеров из деловых документов XVI–XVII вв. приводит А. А. Потебня (Потебня, III, 252–254; ср. еще: Потебня, I–II, 318)<sup>251</sup>. Они нередко появляются и в Житии протопопа Аввакума, выступая как один из оборотов, конструирующих оральность этого уникального произведения (о конструировании оральности в Житии Аввакума см.: Живов 2004а, 152–155) и вместе с тем манифестирующих принадлежность этого текста к гибриднему регистру; укажу ряд примеров по списку Пустозерского сборника (Пустозерский сборник 1975): «а старой другъ – Феодором зовутъ Михайловичъ Рѣтищевъ – тотъ и 60 рублев, гор(ь)кая сиротина, даль» (л. 59); «Доброй ч(е)л(о)вѣк, дворянин, другъ, Иваном зовутъ, Богдановичъ Камынинъ, въкладчикъ в м(о)н(а)-ст(ы)рѣ, и ко мнѣ зашелъ» (л. 65); «От(е)цъ у него в Новогороде богатъ гораздо, сказывал мнѣ, мытоимецъ-де, Феодором же зовут, а онъ уроженецъ

<sup>251</sup> Ср., например, из акта 1680 г.: «Сказал: корешишко де именуется девятины, *отъ сердечные скорби держатъ*, а травишко де держать *отъ гнѣтенишныя скорби*» (Потебня, III, 253). Потебня весьма проницательно оспаривает точку зрения Буслаева, считавшего (как и многие авторы, писавшие о примерах из разговорной речи до того, как ее стали рассматривать в качестве особого регистра), что такие конструкции образуются «выпуском соединительных слов, составляющих предложение придаточное» (Буслаев 1959, 453). Потебня полагал, что эти обороты «первоначально паратактичны» (Потебня, III, 251). Полемизируя с Ф. Е. Коршем, находившим аналоги подобным конструкциям в средневерхненемецком, но полагавшим, что «у Славян такие случаи составляют, конечно, исключение, объяснимое небрежностью, – тем более, что и самая конструкция никогда не осознавалась ими, как особенный, постоянный оборот» (Корш 1877, 49), Потебня, опережая свое время, писал: «Таким образом, в нижних слоях языка было и есть исконное течение, в течение веков не выступавшее наружу в цсл. и славянорусск. переводных и подражательных памятниках, опять скрывающееся в новом книжном русском языке (как и в ново-в. нем. литературном, там же, 50). При благоприятных условиях из этого течения мог бы быть внесен в литературный язык и закреплен в нем относительный оборот без относительного местоимения и союза» (Потебня, III, 255). Каковы эти благоприятные условия, Потебня не оговаривает, и вряд ли он мог четко их сформулировать, однако он ясно противопоставляет по данному признаку книжный и некнижный язык средневековья и видит преемственность между старым книжным языком и новым (т. е. русским литературным языком) и между старым некнижным языком и современным языком разговорным.

мезенской» (л. 68об.)<sup>252</sup>. Открытость для отдельных элементов некнижного синтаксиса становится характерной чертой гибридного регистра.

## 2. Повторение предлогов и функционирование некнижных синтаксических средств в книжных регистрах

Особенно интенсивна интерференция, идущая из некнижных регистров в книжные, в случае так называемого повторения предлогов. Как справедливо отмечает Ф. Минлос, «регулярность повтора предлога напрямую связана с языковым регистром текста» (Минлос 2007, 64). В формулировке Э. Кленин, следующей здесь за А. А. Зализняком (Зализняк 1986, 154), эта зависимость выглядит следующим образом: «Old Russian PrepRep [preposition repetition] is found most often in the documents least influenced by Slavonic norms: whereas it is consistently used in the Novgorod birchbark letters, and is only slightly less frequent in private documents on parchment, it is less widespread in public documents, highly restricted in chronicle texts, and very rare in religious texts» (Кленин 1989, 188–189). Можно предполагать, что в зависимости от регистра меняется и характер повторения предлогов, т. е. сама возможность повторения предлогов, заданная разговорным языком, не только в разной степени, но и по-разному используется в разных письменных традициях (ср.: Кленин 1989, 191). Само по себе повторение предлогов представляет собой автоматический синтаксический механизм, в котором предлог выступает как согласуемый морф (в зависимой словоформе повторяются грамматические показатели главной словоформы, ср. согласование по числу *он носил* – *он-и носил-и*) и тем самым может дублировать согласующиеся окончания (ср. *ко посаднику ко вьликому* – новгородская берестяная грамота № 704 – Зализняк 2004а, 482). В этом отношении повторение предлогов в большинстве случаев не несет дополнительной грамматической информации и в силу этого может рассматриваться как избыточное; наличие избыточных морфологических маркировок не является чем-то необычным в языке (не очевидно, что, как полагает Д. Ворт, древнерусский язык обладает особой «склонностью» к избыточности и дублированию – Ворт 2006, 227–228); вместе с тем принято думать, что избыточность создает условия для утраты морфологических элементов в ходе исторического развития. Д. Ворт пишет: «Функциональная избыточность объясняет как факультативный статус ПП [повторения предлога] в древнерусском языке, так и его последующее исчезновение (или – в случае народного стиха – пе-

---

<sup>252</sup> Как это случается в разговорном синтаксисе и, вообще говоря, невозможно в синтаксисе книжном, объектный актант может оставаться невыраженным (быть объектом эллиптического сокращения), ср. в Новгородской второй летописи: «А в четвертой же неделю 2 день простил богъ в церкви святеи Богородици у гроба Петра митрополита у человека нога прикорчена и исцели» (ПСРЛ, XXX, 179 – s. a. 1416; имеется в виду, что Бог простил и тем самым исцелил человека, у которого была укорочена нога). Такого рода синтаксические построения нетипичны для летописных текстов, однако они весьма выразительно демонстрируют, насколько далеко может простираться интерференция книжных и некнижных синтаксических средств.

реосмысление: превращение в метрический прием, сохраняющий дактилическую клаузулу и проч.)» (там же, 230)<sup>253</sup>.

Базовая грамматическая модель повторения предлогов реализуется именно в текстах бытового регистра, тогда как нормированные не книжные тексты и тем более тексты книжные (летописи и жития) представляют собой модификации этой базовой модели, отражающие восприятие повторения предлогов как маркированно не книжной черты; вполне оправданным повторение предлогов в книжных текстах может быть лишь при особых обстоятельствах. В бытовом регистре повторение предлогов, судя по новгородским грамотам (как берестяным, так и пергаменным, исключая лишь договоры с князьями, имеющие, видимо, особый социальный статус), наблюдается в следующих случаях (Зализняк 1986, 153–154; Зализняк 2004а, 164–166).

В группах из прилагательного в препозиции и существительного предлог не повторяется; если в препозиции находится несколько определений, предлог может повторяться (но может и не повторяться) перед каждым из определений, но не перед субстантивом, ср. «с тою с вашею грамотою» (Гра-

<sup>253</sup> Разными исследователями предпринимались разнообразные попытки приписать повторению предлогов особое функциональное задание, отличное от согласования в рамках именной группы. В. И. Борковский полагал, что повторение предлога «служит цели подчеркнуть данные слова, обратить на них особое внимание» (Борковский и Кузнецов 1965, 450); невозможность приписать повторению предлога функцию логического ударения была доказана Д. Вортом (Ворт 2006, 217–218), так что нет смысла возвращаться более к этой гипотезе. Сам Д. Ворт рассматривает повторение предлогов как «дополнительный, избыточный способ выражения принадлежности к словосочетанию», остроумно указывая при этом, что невозможность повторения предлога в словосочетании «препозитивное прилагательное (одиночное) + существительное» (или «атрибутив + субстантив») при обычности повторения предлога в случае постпозиции прилагательного объясняется тем, что единственным элементом, зависимым от предлога, является субстантив, но не прилагательное; так, в словосочетании *в моем княжене* предлог *в* управляет существительным *княжене*, «и поскольку *княжене* уже управляется начальным *в*, повторение *в* между прилагательным и существительным невозможно» (там же, 230); в словосочетании же *во всем в моем княжене* для повторения предлога появляется подходящее место.

Более сложное построение предлагает Э. Кленин, считающая, что повторение предлогов не является избыточным по отношению к падежным окончаниям, так как оно маркирует внешние границы именных групп, в то время как падежные окончания кодируют внутреннюю синтаксическую структуру именной группы (Кленин 1989, 199). Эта концепция позволяет объяснить, почему повторение предлогов в конструкциях 'head-modifier' особенно часто встречается при субstantиве, выраженном именем собственным (там же, 196; ср.: Зализняк 2004а, 164–165): имена собственные могут трактоваться не как отдельные существительные, а как именные группы. Теоретические обоснования этой трактовки не вполне очевидны, а для объяснения исторических процессов она практически ничего не дает (об исторической концепции Э. Кленин см. ниже). Концепция Ф. Минлоса, предлагающего в рамках X'-теории рассматривать повтор предлога как «возможность поверхностной реализации падежа именной группы при промежуточных проекциях N'» (Минлос 2007, 70), при всех своих теоретических достоинствах, также, видимо, не создает полезного инструмента для анализа исторической динамики.

мота Пскова Колывани 1418–1419 г. – Зализняк 2004а, 692), «по старымъ по княжимъ грамотамъ» (Валк 1949, № 115, с. 174). В конструкциях, где определение стоит после определяемого существительного, предлог повторяется при каждом члене конструкции, ср. в новгородской берестяной грамоте № 167: «к Юрью к Оньцифорову»; № 310: «на теба на своего шпод[и]на» (Зализняк 2004а, 164–165). Подобное повторение практически обязательно, когда первый член группы – имя собственное или личное местоимение; отклонения редки и появляются сравнительно поздно. Когда первый член группы – имя нарицательное, повторение предлога оказывается частой, но факультативной чертой, параметры употребления зависят от характера второго компонента. Если второй компонент – существительное, преобладает конструкция с повторением предлога, ср. в новгородской берестяной грамоте № 578: «к бабѣ к Марѣмынѣ»; старорусская берестяная грамота № 2: «к сину к своему к Иса[ку]» (там же, 165). Если второй компонент – притяжательное или указательное местоимение, предлог по большей части не повторяется, хотя редкие примеры фиксируются, ср. в новгородской берестяной грамоте № 521: «до тела до моего и до виду до моего» (там же). Если второй компонент – неместоименное прилагательное, возможна как конструкция с повторением предлога, так и без него, конструкции с повторением несколько чаще, ср. в новгородской берестяной грамоте № 831: «къ Рагоуилови ко старышоум[o](y)» (там же, 166), «про складство про первое и про заднее» (Валк 1949, № 331, с. 317).

С этими параметрами в целом согласуются данные корпуса московских духовных и договорных грамот XIV–XV вв., обследованных Д. Вортом, хотя Ворт, к сожалению, не приводит статистических характеристик (Ворт 2006, 218–226). Во всяком случае здесь выделяются те же типы конструкций с теми же ограничениями на повторение предлога в группах с препозитивным прилагательным и отмечается факультативность повторения предлога для большинства конструкций. Единственной заметной особенностью московского корпуса являются построения с так называемым «неуправляемым» родительным падежом типа *с брата моего судьей, со княжим с Дмитриевым Юрьевича Меньшого* (имеется в виду ‘с судьей моего брата, князя Дмитрия Юрьевича Меньшого’), в которых прилагательные в род. падеже оказываются средством выражения притяжательности и синтаксически эквивалентны однородным с ними притяжательным прилагательным (*княжий* от *князь* = *Юрьевича* от *Юрьевич*); соответственно на поверхностном уровне появляются прилагательные в род. падеже при предлоге, который род. падежом не управляет, ср. еще: «с Ивановым селом с хороброго» (‘с селом Ивана Храброго’) (там же, 221). Похоже, что эти специфические построения московских документов идут не из разговорного языка, который может обойтись без столь сложных конструкций, а из оборотов делового языка, сформировавшихся в московской канцелярской практике, но не характерных для практики новгородской или вовсе ей не присущих (материал для суждения недостаточен).

В летописях повторение предлогов встречается существенно реже и реализует несколько другие схемы; отличия летописного узуса от узуса бытового и делового регистров весьма показательны. Э. Кленин исследовала в

данном отношении Лаврентьевскую летопись и отметила ряд расхождений между ее начальной частью (Повестью временных лет) и продолжением (Суздальская летопись) (Кленин 1989). Ф. Минлос проанализировал Новгородскую первую летопись старшего и младшего изводов (Минлос 2007). В отличие от грамот, в летописи повторение предлогов почти не представлено в конструкции с двумя препозитивными атрибутами; Кленин вообще таких случаев не отмечает, а Минлос указывает на их редкость, приводя примеры из Новгородской четвертой летописи «в сильную в Суздальскую землю» (s. a. 1216) и несколько примеров с кванторами и притяжательными атрибутами (там же, 61). Вообще, в противоположность грамотам, повторение предлогов в сочетаниях с атрибутом, в том числе и постпозитивным, представлены лишь ограниченным образом. В Лаврентьевской летописи оно относительно нередко в ПВЛ (6 примеров повторения предлогов из 20), но его употребление сужается в Суздальской летописи (около 4% из всех допускающих повторение предлога сочетаний данного типа); в ней, за исключением единичных примеров, повтор предлога при постпозитивном атрибуте встречается либо при субстантиве, выраженном именем собственным (которое, как уже говорилось, Э. Кленин трактует как именную группу), либо в условиях синтаксической сложности (например, при наличии вложенных конструкций) (Кленин 1989, 195). Первый фактор, как мы видели, действует и в грамотах; синтаксическая сложность для них, видимо, нерелевантна. В Новгородской летописи подобной гетерогенности не наблюдается. Как отмечает Ф. Минлос, «в Синод. НПЛ есть 4 случая повтора предлога при постпозитивном прилагательном, а в Комис. НПЛ – 16 таких примеров. По нашим предварительным подсчетам, для обеих редакций это составляет около 7%» (Минлос 2007, 61).

Шире представлено в летописях повторение предлога в аппозитивных именных группах (при сочетании субстантивов). Конкретные статистические параметры зависят от типа сочетания. Для Суздальской летописи Кленин говорит о постепенном убывании пропорции сочетаний с повторением предлога. У сочетаний имени и отчества в первом фрагменте летописи эта пропорция равна 47%, во втором – 27%, в последнем – 11% (Кленин 1989, 196). В сочетаниях имени с термином родства или титулом, хуже представленном, повторение предлогов наблюдается приблизительно в 24% случаев, причем и здесь заметно убывание (от 32% в начальном фрагменте до 20% в конечном). Существенно, однако, что кардинальную роль играет здесь синтаксическая сложность. В сочетаниях, состоящих из одного имени и одного термина родства (от которых могут зависеть определяющие их прилагательные), повторение предлогов реализуется лишь в 15% случаев и при этом убывает; в сочетаниях же, в которых один из элементов или все сочетание находятся в сочинительной связи с другими субстантивами, пропорция сочетаний с повторением предлогов равна 57%, и от начала к концу Суздальской летописи эта пропорция возрастает (там же, 197). Данные Новгородской первой летописи в целом похожи на приведенные выше (сопоставление несколько затруднено тем, что Э. Кленин и Ф. Минлос пользуются разными классификациями). В конструкциях из имени и отчества повторение предлога идет на спад (от 70% в статьях XII в. до 10% в статьях XV в.)

(Минлос 2007, 56); показательно сопоставление с Новгородской четвертой летописью, где предлог в подобных сочетаниях повторяется «очень редко» (этот процесс может быть связан не с динамикой повторения предлогов, а с изменением статуса отчеств, постепенно становившихся частью имени, см.: Кленин 1989, 187). В сочетаниях личного имени и нарицательного (термина родства или титула) пропорция повторения предлога колеблется в зависимости от части летописи от 0% до 15%; эта пропорция существенно возрастает, когда группа имени нарицательного «распространена атрибутами» (например, *съ княземъ своимъ съ Юрьемъ*) или когда «в конструкции представлено не одно личное имя, а их сочиненная цепочка» (Минлос 2007, 58 – аналог синтаксической сложности Кленин).

По мнению Э. Кленин, за подобным распределением стоит реальный исторический процесс. Первоначально, на ее взгляд, повторение предлогов было присуще аппозитивным конструкциям, тогда как повтор предлога в сочетаниях субстантива и атрибута (*modifier-head PrepRep*) «was a relatively minor subtype, perhaps restricted to Slavonic or syntactically marked environments, but that it expanded substantially in the Muscovite period» (Кленин 1989, 199–200). Этот процесс имеет место в контексте других изменений, прежде всего перехода от беспредложных косвенных падежей к предложному управлению. В этом контексте границы именных групп оказывались нечеткими, их установление не было вполне автоматическим и повторение предлога оказывалось средством обозначения этих границ, демонстрирующим структуру предложно-падежного сочетания (там же, 201). Хотя такой сценарий не кажется невозможным, он не представляется мне наиболее вероятным. Как справедливо отмечает сама Э. Кленин, обосновывающие этот сценарий статистические данные «need not necessarily be correlated with any actual historical changes, but could instead reflect <...> the preferences or habits of individual writers» (там же, 197–198).

Трудно поверить, прежде всего, что повторение предлога в какой бы то ни было конструкции (в частности, в сочетаниях субстантива и атрибута) могло восприниматься как своего рода синтаксический «славянизм». Несомненно прав А. А. Зализняк, который, обозревая употребление интересующего нас явления в текстах разных типов, приходит к выводу, «что данная синтаксическая особенность расценивалась как простонародная и в книжном языке сознательно избегалась» (Зализняк 2004а, 166). Для того чтобы какой-то феномен воспринимался как «славянизм», необходимо, чтобы этот феномен присутствовал в образцовых церковнославянских текстах; к повторению предлогов это никак не относится. Кроме того, подобное восприятие должно оставлять долгий след в особенностях употребления соответствующего элемента в письменных текстах (как это видно, например, в случае неполногласной лексики или дательного самостоятельного); такого следа у повторения предлогов в сочетаниях субстантива и атрибута не наблюдается (см. ниже). Для выводов о соотносительной важности отдельных подтипов повторения предлогов недостаточно скудных статистических данных, извлекаемых из летописи, особенно из таких старательно книжных памятников, как Повесть временных лет. Частота употребления вряд ли отражает в подобных случаях развитие процесса в живом языке; скорее речь



должна идти о том, почему в одних случаях книжник более радикально извлекся от «простонародных» элементов, чем в других<sup>254</sup>.

Мне представляется, что данные летописей, содержащиеся в исследованиях Э. Кленин и Ф. Минлоса, допускают иное, более простое объяснение. Новгородские грамоты показывают, что уже в ранний период повторение предлогов было широко представлено в древненовгородском диалекте в сочетаниях разных типов, хотя, как замечает Зализняк, «ранее XIV в. для статистического анализа материала еще недостаточно» (Зализняк 2004а, 166). Можно полагать, и Повесть временных лет служит этому хорошим свидетельством, что повторение предлогов наблюдалось и в других восточнославянских диалектах. Когда именно возникает это явление в славянских диалектах, какие из них оно характеризует первоначально, а на какие распространяется позднее, нам неизвестно и в нашей перспективе не слишком существенно<sup>255</sup>. Как черта разговорного языка повторение предлогов отражалось прежде всего в текстах бытового регистра. Поскольку оно воспринималось как не книжное явление, употребление его в книжных текстах было ограничено. Ограничения в употреблении в книжных текстах отражают не системную иерархию различных сочетаний, допускающих повторение предлога в разговорном языке, а установки книжника, использующего не книжный оборот преимущественно в тех случаях, когда ему трудно (или непривычно) без него обойтись. Этим, надо думать, объясняется тот факт, что повторению предлогов благоприятствует синтаксическая сложность конструкции: данный фактор, по-видимому, не играет роли в бытовых текстах, но, как установила Э. Кленин, существен для летописей; при синтаксической сложности книжник, можно предположить, стремится обозначить (прояс-

<sup>254</sup> Исследователь не может не учитывать и случайность и неполноту выборки, с которой ему приходится иметь дело. Так, например, Э. Кленин утверждает, что «whereas 12<sup>th</sup>-century Novgorod texts contain NP appositive PrepRep <...> '(adjectival) modifier + head' PrepRep is attested only from the latter 13<sup>th</sup> century» (Кленин 1989, 199). На время написания статьи это было вполне верным утверждением, однако с тех пор появилась грамота № 831, датируемая второй четвертью XII в., в которой встречается цитирувавшийся выше пример: *къ рагоуцлови ко старьшоуцм[о](у)* (Зализняк 2004а, 302). Этот случай демонстрирует опасность выводов, сделанных на основании единичных примеров.

<sup>255</sup> Ср. в этой связи любопытную, но абсолютно недоказуемую гипотезу, упоминаемую Хеннингом Андерсеном; согласно этой гипотезе повторение предлогов возникает в результате доисторического развития многочленной праславянской падежной системы, «in which an original case (or cases) was replaced by prepositional phrases, but a special rule, the iteration rule, was set up to preserve agreement and hence, at least in some phrases, the distinctions formerly carried by case desinences alone. The textual attestation would then belong to a subsequent phase of development in which the original semantic distinctions between iterated preposition + case and non-iterated preposition + case had been re-interpreted as a stylistic difference, employable in all prepositional phrases regardless of the preposition and the case governed» (Андерсен 1971, 950, примеч. 1). Нетривиальный характер этой гипотезы подчеркивает тот факт, что данные для реконструкции доисторических славянских морфологических и синтаксических процессов очень ограничены и допускают множество конкурирующих решений, преимущества которых по отношению друг к другу в целом иллюзорны.

нить) структуру словосочетания не только падежными флексиями, но и дублирующим их повторением предлогов. Равным образом, структурная схема более прозрачна в сочетаниях субстантива с атрибутом и менее прозрачна при конструкции из двух или нескольких субстантивов (в аппозитивных конструкциях). Именно это (а не различия в хронологии возникновения) объясняет, скорее всего, чрезвычайно низкую (в сравнении с бытовыми текстами) пропорцию повторения предлогов в сочетаниях первого рода в сопоставлении с сочетаниями второго рода: и в сочетаниях второго рода в летописях пропорция повторения предлогов существенно ниже, чем в бытовых текстах, но здесь различие все же не столь радикально.

При обсуждении этих различий может быть полезно расширить диапазон анализируемых памятников. Весьма показательны данные первой редакции Жития Михаила Клопского, новгородского текста конца XV в. В сопоставлении с другими агиографическими памятниками этот текст отличается на редкость некнижным изложением; в нем встречаются разнообразные некнижные синтаксические конструкции (как результат интерференции с некнижными регистрами), ряд нестандартных форм, некнижная лексика; как уже говорилось, эти особенности изложения побудили Василия Тучкова существенно переработать текст для последующего включения его в Великие Минеи Четьи митрополита Макария (см. § II-5; § IV-3.3). Вместе с тем это несомненно книжный текст, ориентированный на традиции восточнославянской агиографии; его книжная природа выражена, можно думать, в большей степени, чем, скажем, во многих летописях. Текст невелик по объему, так что статистические данные для него непоказательны, однако их структурные характеристики представляют известный интерес.

Повторение предлогов представлено в этом тексте более чем в трети всех возможных контекстов, т. е. для житийного жанра чрезвычайно часто<sup>256</sup>. При этом в сочетаниях имени и прилагательного в постпозиции повторение предлога вообще отсутствует: «на преображение господне» (Дмитриев 1958, л. 163), «ко Троице святой» (л. 164), «по проречению Михайлову» (л. 165–165об.), «по пророчеству Михайлову» (л. 166об.), «от князя великого» (л. 168об.). Эти примеры, конечно, поддаются разному объяснению, однако очевидно, что та отмеченная в языке летописей тенденция, в соответствии с которой повторение предлогов редко встречается в сочетаниях субстантива с атрибутом, находит здесь законченное выражение. Эта особенность хорошо объясняется тем, что повторение предлогов может не употребляться книжными авторами там, где синтаксическая структура и без того прозрачна; вместе с тем гипотезе Э. Кленин о том, что данные памятников от-

<sup>256</sup> Окказиональные примеры повторения предлогов могут быть обнаружены даже в житиях, написанных достаточно изощренным книжным языком. Так, например, в Житии Пафнутия Боровского, вошедшем в Великие Минеи Четьи митрополита Макария, находим: *на волоцѣ на лам'ско*<sup>м</sup> (ВМЧ<sup>2</sup>, 1–8 Мая, л. 64а), *на рѣкоу на истермѣ* (там же, л. 69с). Ни с какими особенностями данного текста (кроме его русского происхождения) эти явления не связаны и никакой избирательностью не характеризуются. Данные примеры свидетельствуют лишь о том, что непроходимого барьера между книжными и некнижными текстами нет и в ограниченном объеме интерференция всегда возможна.

ражают постепенное и сравнительно позднее распространение повторения предлогов в этих сочетаниях, эти примеры противоречат: Житие написано позже, чем большинство текстов, анализировавшихся Д. Вортом, и отличия между этими текстами явно обусловлены их регистровыми, а не хронологическими параметрами (о диалектных параметрах речь не идет: нет никаких оснований предполагать, что в повторении предлогов были как-либо отражены различия между новгородским и московским диалектами). (Об одном неконтактном сочетании с атрибутом в препозиции будет сказано ниже.)

Иная ситуация в аппозитивных сочетаниях. Здесь в большинстве случаев повторение предлогов имеет место: «к Феодосию к ыгумену» (л. 162об.), «по мастеров по Олексия, и по Ивана, и по Олисия» (л. 164об.), «от посадника от Григория от Кириловича» (л. 166), «по реки по Веряжи» (л. 166), «у старца у Михайла» (л. 167–167об.), – хотя оно и остается факультативным, ср.: «у игумена Феодосия» (л. 164), «ко владыки Еуфимию» (л. 165об.), «к рабу Михайле» (л. 170). Влияние синтаксической сложности на повтор предлогов из приведенных примеров не очевидно: два примера можно трактовать как синтаксически осложненные, и можно сказать, что во всех синтаксически осложненных примерах употребляется повтор, однако примеров всего два, и по крайне мере в трех примерах никакой синтаксической сложности нет. Показательно, между тем, насколько аппозитивные сочетания отличаются от атрибутивных; это отличие естественно объяснять установками книжника, по-разному относящегося к этим синтаксическим конструкциям, а не процессами в живом языке.

Стоит обратиться и к данным нормализованных не книжных текстов. А. А. Зализняк при описании повторения предлогов в древненовгородском диалекте исключает из рассматриваемого им материала договоры с князьями (№ 1–27 в издании: Валк 1949, 9–51). Основанием для этого исключения является их высокий социальный статус (см. об этом факторе выше, § III-7; ср. еще: Минлос 2007, 64), обуславливающий их нормализованность, которая выражается, в частности, в том, что в них снижается (сравнительно с бытовыми текстами) пропорция сочетаний с повторением предлога. В плане того, как реализуется нормализованность, этот небольшой корпус представляет особый интерес. Вслед за Зализняком мы исключили из анализируемого материала начальные адресные формулы, в которых по большей части повторение предлогов отсутствует (ср.: «от посадника Михаила, и от тысяцкого Кондрата» – Валк 1949, № 2, с. 10), хотя и здесь не обходится без исключений (ср.: «къ отцю ко владыцѣ» – там же, № 4, с. 14). Подсчет этих пропорций в данном корпусе дает следующие результаты. В сочетаниях существительного с прилагательным в постпозиции на 19 случаев повторения предлога приходится 28 случаев без него, т. е. повторение предлога реализуется в 40% случаев (ср.: «въ всеи волости в Новгородьской» – № 14, с. 27; «по всеи волости Новгородьской» – там же). В аппозитивных сочетаниях двух субстантивов при 27 случаях повторения предлога имеется 32 сочетания без повторения, т. е. повтор реализуется в 46% случаев (ср.: «съ тѣрьскимъ княземъ с Михайломъ» – № 16, с. 31; «со тѣрьскимъ княземъ Михайломъ» – там же). При первом члене сочетания, выраженном личным местоимением, предлог всегда повторяется (ср.: «ко мнѣ, ко князю к вели-

кому к Дмитрею Ивановичю» – № 16, с. 31; «от васъ, от великихъ князей» – № 26, с. 46); имеется 5 примеров<sup>257</sup>.

Как можно видеть из этих данных, пропорция сочетаний с повторением предлога в нормализованных некнижных текстах значимо ниже, чем в текстах бытового регистра, хотя и существенно выше, чем в книжных текстах (летописях). Вместе с тем не видно никакого отбора (похожего на летописный) тех конструкций, которые создают сложности для пишущего и в которых преимущественно реализуется повторение предлогов: незаметно действия фактора синтаксической сложности, а конструкции с субстантивом и атрибутом характеризуются повторением предлога почти в той же степени, что и конструкции с аппозицией субстантивов. Такая ситуация хорошо согласуется с функциональным статусом повторения предлога: для писца книжного текста эта черта маркированно некнижная, которая появляется у него при особых условиях, оправдывающих ее появление; для писца официальных документов эта черта относится к разряду тех средств, дозирование которых может символизировать социальный статус документа, но для употребления которых никаких специальных оправданий не нужно. Таким образом, данный материал побуждает думать, что ряд особенностей летописного языка объясняется не отражением исторических процессов в языке разговорном, а функциональными параметрами: избирательным использованием некнижных средств при создании книжного текста.

На то, что речь идет о выборе книжника, а не о натуральном процессе в разговорном языке, указывают и данные такого своеобразного памятника, как Новгородская вторая летопись. Как уже говорилось, эта летопись полна некнижными элементами, особенно в той ее части, составляющей существенно более половины текста, в которой описываются события XVI в. Нанизывание предикативных единиц, нередкое нарушение проективности, ограниченное использование гипотаксиса, редуцированное употребление простых претеритов, ряд морфологических особенностей (например, в употреблении дв. числа – ср.: Живов 2004а, 90–91), полная непоследовательность в правописании – все это говорит о том, что составитель данной летописи не представляет себе требований книжного узуса или относится к ним с индифферентностью; он пишет на книжном языке исключительно в силу того, что подражает, хотя и весьма непоследовательно и неумело, другим летописным текстам. Можно предполагать, что, употребляя повторение предлогов, он не следует какой-либо избирательной книжной стратегии, а подчиняется своим некнижным языковым навыкам, отступая от них прежде

---

<sup>257</sup> Для суждения о других конструкциях материал недостаточен. Действие фактора имени собственного, столь важного для бытовых текстов, в данном корпусе не просматривается (ср., однако: «къ Олександру князю» – № 14, с. 27). В сочетаниях с двумя атрибутами в препозиции предлог повторяется (ср. «по старымъ по крестнымъ грамотамъ» – № 23, с. 43), однако имеется всего лишь 3 примера. В одном (исключительном) случае предлог повторяется в сочетании с одним препозитивным прилагательным (эта именно та конструкция, которую Д. Ворт считает невозможной), ср.: «на тферьского на князя на Михаила» (№ 16, с. 31).

всего в тех случаях, когда знакомые ему летописные тексты задавали ему употребление словосочетания без повторяющихся предлогов.

Именно на такие выводы наводит исследование статистических параметров его узуса. Пропорция сочетаний с повторением предлога в Новгородской второй летописи существенно выше, чем в Лаврентьевской или в Новгородской первой. Если обобщить все случаи повторения предлогов, их пропорция составит около 34%, что существенно превосходит аналогичные цифры в двух других упомянутых летописях и приближается к тому уровню, который мы наблюдаем в нормализованных некнижных документах. Еще более информативно распределение по классам. В сочетаниях субстантива с адъективным атрибутом в постпозиции повтор предлога наблюдается в 58 случаях, повтор отсутствует в 61 случае; пропорция сочетаний с повтором равна 49%<sup>258</sup>. Никаких специальных факторов, благоприятствующих повторению предлога, не обнаруживается. Синтаксическая сложность роли не играет, большинство конструкций с повтором – двучленные и нераспространенные, ср.: «с церкви с каменной» (ПСРЛ, XXX, 150, л. 13об. – s. a. 1547), «из церкви из теплой» (там же, л. 14об. – s. a. 1548), «в монастыре в Осифове» (л. 18об. – s. a. 1566), «над гробомъ над чудотворцавым» (л. 170 – s. a. 1548) и т. д. Конечно, повторение предлогов наблюдается и в так или иначе осложненных конструкциях, ср.: «на тои же недели на страстной» (л. 11об. – s. a. 1547), «в церковь в старую в живоначальную Троицу» (л. 85 – s. a. 1569), однако в тех же конструкциях повторение может и не встретиться. Не играет никакой роли и характер субстантива: при именах собственных повторение никак не чаще, чем при нарицательных<sup>259</sup>. Имеется несколько случаев повторения предлогов при атрибуте, стоящем в препозиции, в целом ничем не замечательных<sup>260</sup>.

Что касается сочетаний двух субстантивов, то здесь бросается в глаза низкая – в сравнении с атрибутивными сочетаниями – пропорция повторения предлогов: при 84 сочетаниях с повторением в 228 случаях повтор от-

<sup>258</sup> К конструкциям с повторением предлога при атрибуте в постпозиции можно прибавить еще один пример с кванторным местоимением: «Да того же дни на государя ставили хрестьяне кормы на Бронницы по ямом по всѣм и по дорогам» (ПСРЛ, XXX, 194, л. 145 – s. a. 1572).

<sup>259</sup> Скорее даже наоборот, что связано, надо думать, не с характеристикой субстантива, а с тем, что ряд подобных сочетаний, церковных по происхождению, был обычен для составителя летописи именно в форме без повторения предлога и в этой привычной форме и воспроизводился, ср.: «у Спаса святого» (л. 8 – s. a. 1543), «у Лазаря святого» (л. 9 – s. a. 1546), «у Иоанна святого» (л. 13об. – s. a. 1547), «у Луки святого» (л. 16об. – s. a. 1549), «до Алексѣя святого» (л. 22об. – s. a. 1500), «к Духу святому» (л. 23 – s. a. 1500) и т. д. Показательно отчасти, что в этих сочетаниях род. ед. прилагательных употребляется преимущественно в форме *-аго*, тогда как чаще в данной летописи эта флексия имеет форму *-ого*.

<sup>260</sup> Имеется два примера повторения предлога при однородных прилагательных: «к Богородицикимъ [так в изд.] к городным ворото [так в ркп.] к Великому мосту» (л. 19об. – s. a. 1500; то же словосочетание л. 22); больше однородных прилагательных в препозиции в тексте нет. В двух случаях встречаем повторение предлога при одинарном атрибуте в препозиции: «на всякомъ стану на царскомъ на наслѣги, кгдаъ царь и государь начують» (л. 85 – s. a. 1569); «в Великий в Новгород» (л. 107об. – s. a. 1555).

сутствует; пропорция тем самым равна 27%. Новгородская вторая летопись противостоит здесь и Лаврентьевской летописи, и Новгородской первой летописи, и даже разбиравшимся выше княжеским договорам. И в этом случае повтор предлогов ни от каких особых факторов не зависит. Повтор широко представлен в двучленных нераспространенных конструкциях, ср.: «у подьячего у Посника» (л. 25об. – s. a. 1552), «у чюдотворца у Николы» (л. 26 – s. a. 1552), «о Псковичех о гостех» (л. 100об. – s. a. 1552), «из града из Твери» (л. 166об. – s. a. 1486), «над рѣкою над Волховом» (л. 170об. – s. a. 1551) и т. д. Имеются и несколько более сложные построения с повтором предлогов, однако их пропорция не превышает удельный вес осложненных построений в тексте в целом (вне зависимости от повторения предлогов), ср.: «з другим братомъ своим с Володимеромъ Андрѣевичемъ» (л. 91 – s. a. 1547), «у посадника у степенного у Василья у Есиповича» (л. 103 – s. a. 1476) и т. п. В большинстве аппозитивных конструкций в качестве одного из членов выступает имя собственное, однако на повторение предлогов этот момент видимого воздействия не оказывает, поскольку данная характеристика равно приложима к сочетаниям с повторением предлога и без него.

Низкая пропорция сочетаний с повторением предлога объясняется, следует предположить, тем, что в нескольких особо частых сочетаниях повтор почти никогда не встречается. Можно указать на два таких сочетания. Первое состоит из предлога *при*, за которым следует титул или чин, после которого идет имя собственное; такие выражения служат для обозначения локально-временной фиксации сообщения и встречаются в десятках погодных статей, ср.: «при великомъ князе Иване Васильевиче всея Руси и при архиепископѣ Макарии и при намѣстнике Иване Михайловиче Шуискомъ Спсителеви и при намѣстникѣ Василье Григорьевиче Морозове и при дворецком Иване Дмитриевиче, при диякѣ Васге Сукове, Ишукѣ Бухарине» (л. 4 – s. a. 1541), «при великом князе Иване Васильевиче всея Руси и при митрополите Московском Мокарьи и при архиепискупе Феодосии Ноувгородцкомъ и при намѣстниках Новгородцких князе Иване Михайловиче Спасателеви Шуискомъ и при князе Юрьи Васильевиче Голицина и при дворцѣском Новгородскомъ Семене Александрове Успина и при диакахъ Новгородских при Дмитрее Скрыпицини Тимофѣевиче, Ишуки Бухарине и при Кириловскомъ игумене при Парфение» (л. 15 – s. a. 1548), «при архиепископе Пимине, при игумене Якиме» (л. 49об. – s. a. 1558) и т. д. Хотя повторение предлога в таких словосочетаниях не вовсе исключено, ср. в приведенном выше примере: «при диакахъ Новгородских при Дмитрее Скрыпицини Тимофѣевиче, Ишуки Бухарине и при Кириловскомъ игумене при Парфение», ср. также: «при игумене при Ефреме при Шумляи» (л. 49об. – s. a. 1558), – оно встречается в них довольно редко. Всего подобных сочетаний с *при* и без повторения предлогов 118, т. е. более трети всех сочетаний субстантивов. Другим сочетанием, не благоприятствующим повторению предлогов, является *София Премудрость Божия*, ср.: «в Софѣи премудрости божии» (л. 17об. – s. a. 1549), «к Софѣи премудрости божии» (л. 32об. – s. a. 1568), «о святѣи Софѣи премудрости божии» (л. 184об. – s. a. 1222). Встречается 13 таких сочетаний; с повторением предлогов данное словосочетание не фигурирует. Если исключить из подсчетов эти сочетания без повторения предлогов, пропорция сочетаний с повторе-

нием предлогов составит 46%, т. е. приблизится к тому, что нам знакомо по княжеским договорам. Неупотребление повтора предлогов в приведенных сочетаниях объясняется, надо думать, тем, что именно в такой форме они присутствуют в летописной традиции; составитель Новгородской второй летописи следует этому образцу, составляющему элемент его читательского опыта. Употребление этих сочетаний без повторения предлогов объясняется не специальной синтаксической стратегией составителя, а частными особенностями той письменной традиции, в которой он работает.

Таким образом, повторение предлогов в книжных текстах определяется установкой книжника. Если он стремится создать книжный текст (а такая интенция присутствует едва ли не во всей восточнославянской книжности; исключения, подобные Новгородской второй летописи, единичны), он пользуется этим инструментом согласования с осмотрительностью. Эта осмотрительность особенно заметна в Повести временных лет (по Лаврентьевскому списку), но в то же время присутствует и в менее тщательно написанных памятниках, таких как Суздальская летопись, Новгородская первая летопись или Новгородская четвертая летопись (о последней см.: Агапов 1994; Минлос 2007). В силу этого пропорция сочетаний с повторением предлогов в летописных текстах невелика, а само это повторение присутствует по большей части при определенных условиях, стимулирующих его употребление.

Особенно показательно в данном отношении обязательное повторение предлога при нарушении проективности. Это правило выполняется в некнижных текстах, для которых непроективные построения преимущественно и характерны. А. А. Зализняк постулирует: «В случае разрыва именной группы не входящими в нее словами предлог обязательно повторяется» (Зализняк 2004а, 164), – и приводит пример из новгородской берестяной грамоты № 710 второй половины XII в.: *а ѿ нльке възъмн ѿ ме[д]ын(и)[ц]а <...> а ѿ гюрьга въз[б]мн: ѿ с[б]мъкиннц(а)* (там же, 364). Здесь заметна связь повторения предлогов с некнижным синтаксисом: очевидно, что ситуативный синтаксис требует более эксплицитного выражения синтаксических связей, чем логическое развертывание. Как пишет Ф. Минлос, «функциональная необходимость в повторе предлога как дополнительного средства, обеспечивающего морфосинтаксическое единство именной группы, связана с тем, что для древнерусского предложения вполне нормальными были непроективность, разрыв многих именных групп» (Минлос 2007, 67).

Характерно, что, когда в результате интерференции нарушающие проективность построения появляются в книжных регистрах, вместе с ними интерферирует и повторение предлогов. Поэтому и для Повести временных лет Э. Кленин указывает: «PrepRep seems to be obligatory if the prepositional phrase is disrupted by external linguistic material» (Кленин 1989, 191) – и приводит в качестве примера «хоташеть бо на Юрослава ити на сѣа своѣго» (ПСРЛ, I, стб. 130 – s. a. 1014)<sup>261</sup>. В Новгородской первой летописи Ф. Минлос обнару-

<sup>261</sup> Кленин добавляет к этому еще два примера с разрывом именной группы: «како са покланяють въ храмѣ рекше в ропати» (ПСРЛ, I, стб. 108 – s. a. 987); «придоша ѿ Скуфѣ рекше ѿ Козарѣ» (ПСРЛ, I, стб. 11 – доанналистическая часть). Такая трактовка этих примеров

живает 9 примеров повторения предлога «в неконтактных сочетаниях»<sup>262</sup>, в частности: «тогда же родился у князя сынъ у Ярослава» (Синодальный список, s. a. 1191); «сѣ княземъ есмь с московскимъ миру не взялъ» (Комиссионный список, s. a. 1444) (Минлос 2007, 61). Подобные же примеры находятся и в Новгородской четвертой летописи, ср.: «и твораше требы кумиромъ с людьми своими о побѣди с боаре» (л. 25об. – ПСРЛ, IV, 987); «по Фому посла по Доброшинича по Новоторьского посадника» (л. 114 – ПСРЛ, IV, 1215), хотя здесь на 6 примеров повтора в неконтактных сочетаниях приходится 4 примера неконтактных сочетаний без повторения предлога (Агапов 1994, 50–51; Минлос 2007, 62). Из Новгородской второй летописи можно привести два подобных примера: «в монастырѣ у Пресвятой в Оркажи згорѣло 4 кельи» (ПСРЛ, XXX, л. 30об., с. 156 – s. a. 1568); «Августа въ 10 день преставися князь Василии Иванович Шемака, в поиманы в полатѣ седишь в Набережной» (там же, л. 177 – s. a. 1529). Один пример можно обнаружить даже в таком агиографическом тексте, как Житие Михаила Клопского: «И по всем по городцким ездил год по манастырем да полтора месяца» (Дмитриев 1958, л. 167). При нарушенной проективности повторение предлогов становится важным средством прояснения синтаксической структуры, и книжный язык, поскольку он допускает нарушение проективности, усваивает в этих условиях и повторение предлога.

Хотя обычно считается, что в текстах XVI–XVII вв. повторение предлогов становится менее регулярным, этот вопрос (как показывает Новгородская вторая летопись XVII в.) нуждается в дальнейшем исследовании. В текстах XVIII в. на русском литературном языке нового типа оно не представлено вовсе; и в данном случае причиной может быть не исчезновение этой черты из живого языка (она до сих пор отмечается в говорах), а построение синтаксиса нового литературного стандарта. С одной стороны, он по преимуществу развивал синтаксис старого книжного языка, для которого повторение предлогов было нехарактерно. С другой стороны, при отборе материала, восходящего к разным регистрам письменного языка предшествующего периода, ориентиром могли быть западноевропейские языки (французский и немецкий), в которых предлог повторяться не может. Нормативный характер отсутствия повторения предлогов подчеркивается тем фактом, что в языке фольклора (противостоящем литературной норме) повторение предлогов сохраняется и может выступать как элемент стилизации в текстах, ориентированных на фольклорную традицию. Как и в других случаях, отвергнутый нормой языковой материал не отбрасывается полностью, а ста-

---

кажется неправомерной: *рекше* выступает в функции соединительного союза и не разывает именной группы, ср. в современном русском языке группы с союзом *то есть* и допустимым повторением предлога: *от скифов, то есть от хазар* (ср. еще: Минлос 2007, 61).

<sup>262</sup> Сам Минлос говорит о 8 примерах, а еще один пример – «поиха владыка Иоанн к митрополиту на Москву Киприяну» (Комиссионный список, s. a. 1401) – приводит как пример без повтора предлога, в котором отсутствие предлога может объясняться фонетически. Мне фонетическое объяснение представляется наиболее вероятным (к *Киприяну* закономерно преобразуется в *Киприяну*), а это позволяет и данный случай толковать как пример с повторением предлога.



новится специфическим стилистическим средством в рамках стилистической дифференциации литературного языка.

### 3. Режимы интерпретации и связанность текста; особенности делового регистра

Как уже неоднократно говорилось, разные по своим коммуникативным заданиям тексты по-разному устроены в лингвистическом и прежде всего в синтаксическом отношении. Вполне естественно, что различия в способе упаковки информации, о которых мы говорили выше, соотносятся и с различиями в том, как реализуется связанность текста. Можно сказать, что в этом отношении, как и во многих других, каждый из типов текстов обладает своей грамматикой, лишь частично совпадающей с грамматикой других типов текстов. Впервые эту зависимость грамматики от коммуникативного типа текста четко сформулировал Э. Бенвенист. В его статье, посвященной глагольным временам французского языка («Les relations de temps dans le verbe français» – Бенвенист 1966, 237–257), вводится понятие двух планов сообщения: плана истории и плана речи. С ними, согласно Бенвенисту, связаны две системы глагольных времен: «Эти две системы представляют два различных плана сообщения, которые мы будем различать как план *истории* и план *речи* (celui de l'*histoire* et celui du *discours*)» (там же, 238/271). Бенвенист, по существу, говорит о двух грамматиках (или, если угодно, двух грамматических подсистемах), противопоставленных, в частности, своими глагольными парадигмами, причем обычное грамматическое описание, задающее единую глагольную парадигму, эту дублетность затушевывает. Он пишет: «Схема спряжения какого-либо отдельно взятого французского глагола с единообразным и полным набором выстроенных в один ряд парадигм не позволяет даже предположить, что подлинная система форм глагола обладает двойственной структурой (спряжение настоящего и спряжение перфекта), как двойственна и его временная организация, основанная на отношениях и оппозициях, составляющих подлинную реальность языка» (там же, 250/284).

Различие этих двух грамматических подсистем состоит прежде всего в устройстве референции – как темпоральной, так и ситуационной, – что определяет и различие в значении грамматических единиц. Как пишет Бенвенист: «Речь свободно оперирует всеми личными формами глагола, первым и вторым лицом (je “я”, tu “ты”), так же как и третьим (il “он”); в явной или неявной форме отношение к лицу присутствует в ней всегда. Поэтому “третье лицо” не имеет здесь того же значения, что в историческом повествовании. Так как в последнем сам рассказчик не выступает, то третье лицо не противопоставлено там никакому другому, оно есть, по существу, отсутствие лица. В плане же речи говорящий противопоставляет не-лицу *он* лицу *я/ты*. Набор глагольных времен также гораздо шире в речи; по сути дела, здесь возможны все времена, за исключением одного, аориста, изгнанного в наши дни из этого плана и являющегося типичной формой плана исторического» (там же, 242–243/277). Глагольная референция плана истории отли-

чается от глагольной референции плана речи тем, что в плане речи точкой отсчета (временной отметкой, «le repère temporel») служит момент речи («le moment du discours»), тогда как в плане истории – момент события («le moment de l'événement») (там же, 244).

Эти идеи Бенвениста получили дальнейшее развитие в работах по грамматической семантике (или по семантике синтаксиса), поскольку без различения точек отсчета, разных для разных «планов», невозможно описать семантику предикативных конструкций и дейктических слов, равно как и правила их сочетаемости. Дж. Лайонз проводит членения иначе, чем Бенвенист, однако основная мысль остается по существу той же. Противопоставляется каноническая речевая ситуация («communication in face-to-face interaction» – Лайонз 1978, 637) и прочие речевые ситуации, в которых нарушается одно из трех условий каноничности (присутствие говорящего и слушающего, единство времени и единство места). Ясно, что то, что Бенвенист именует «планом истории», попадает у Лайонза в неканонические ситуации, но вместе с тем туда же попадает и множество разновидностей «плана речи», к которому Бенвенист относит все, кроме нарратива, – «все разнообразие форм устной речи любой природы и любого уровня, от бытового разговора до изоощренной орации. Но это также и многочисленные письменные формы, которые воспроизводят устную речь или заимствуют ее манеры и цели: письма, мемуары, драматическая литература, дидактические сочинения» (Бенвенист 1966, 242/276). В обоих случаях, однако же, предполагается, что разные типы речевой деятельности соотнесены с разными грамматиками.

Развивая эти же идеи, Е. В. Падучева говорит о разных режимах интерпретации (Падучева 1996, 13–14 et passim), различая «речевой» режим и «нарративный» режим и указывая на то, что именно от реализуемого режима зависит истолкование временной референции в тексте. Сам термин, как мне представляется, может рассматриваться как шаг навстречу проблематике реальной речевой деятельности в ее функциональном многообразии. Режим интерпретации предполагает интерпретанта или, иными словами, предполагает, что адресат сообщения интерпретирует его в соответствии с коммуникативным заданием текста (ср. о связанности текста как результате интерпретационной деятельности: Сенфорд и Мокси 1995). Когда адресат сталкивается с диалогом, он интерпретирует его как диалог; когда к нему обращен нарратив, он интерпретирует его как нарратив. Это означает, что у него есть отдельный инструментарий для восприятия диалога и отдельный для восприятия нарратива, и именно это реальное различие в стратегии восприятия стоит за необходимостью постулировать не одну, а несколько грамматических систем (подсистем) в качестве составляющих языка. Таких подсистем или режимов столько, сколько разных наборов интерпретирующего инструментария имеется у адресата сообщения. Адресат сообщения обычно знает (в силу экстралингвистических обстоятельств) или сразу же опознает (благодаря, в частности, лингвистическим сигналам), с какого рода текстом (сообщением) ему предстоит иметь дело, и вытаскивает из своего арсенала подходящие средства для его анализа.

Коммуникативное пространство отнюдь не предполагает бинарного членения на диалог и нарратив, как может показаться при чтении Бенвениста или Лайонза. Легко привести примеры таких типов сообщения, которые не принадлежат ни к одному из этих классов, и такие примеры можно найти отнюдь не только в весьма диверсифицированной современной речевой деятельности, но в речевой деятельности любого времени, о котором у нас есть возможность судить<sup>263</sup>. Можно указать, например, на молитву, которая несомненно не есть нарратив и обычно не включает никаких нарративных фрагментов и в то же время не может, видимо, рассматриваться как дефектная форма диалога. Это по существу своему монологический жанр, в котором адресатом сообщения является Бог, а адресантом – молящийся. Этими заданными коммуникативными параметрами определяются специфические референциальные отношения в текстах данного типа<sup>264</sup>. Ясно, что носитель языка в нормальном случае знаком с такими текстами, владеет по крайней мере пассивно их риторикой, т. е. обладает необходимым интерпретационным инструментарием и, пользуясь этим инструментарием, устанавливает анафорические связи, специфичные для данного типа текстов и определяющие характерные для него способы обеспечения связанности.

**3. 1. Легальный режим интерпретации в архаическом праве.** Особый режим интерпретации характеризует и юридические кодексы. Такого рода тексты также известны с глубокой древности, так что можно полагать, что и здесь мы имеем дело не с маргинальным явлением, а с коммуникативной ситуацией, входящей в канонический запас человеческой цивилизации. Об устойчивых синтаксических структурах подобных текстов уже говорилось

<sup>263</sup> Е. В. Падучева может говорить о нескольких режимах интерпретации, отличных от речевого (см.: Падучева 2004, 181). В деталях, однако, эта проблема остается неразработанной. Правда, в другом месте Падучева говорит о трех режимах интерпретации, необходимых для истолкования форм времени, – речевом, синтаксическом и нарративном (там же, 501). Однако синтаксический режим представляет собой, по существу, не особый режим с отдельной «грамматикой» и референциальной системой, а элемент референциальной системы, общей для нарративного и речевого режимов и требующей *consecutio temporum* в предложениях, зависимых от главного, т. е. автоматического сдвига временных форм подчиненных предложений в зависимости от времени главного предложения.

<sup>264</sup> В молитвенном тексте *ты* адресата кореференциально с Богом, который может быть назван не только во втором лице, но и в третьем лице; референциальная идентичность устанавливается благодаря ожиданиям, заложенным в режим интерпретации (*Господь помилует мя и помилуй мя, Господи* оказываются эквивалентными высказываниями). Вместе с тем и *я* адресанта кореференциально с такими наименованиями как *душа моя*, которые также появляются в третьем лице. Ср., например, Пс. 40: 4–5: «ГДЬ ДА ПОМОЖЕТЪ ЕМУ НА ОДРѢ БОЛѢЗНИ ЕГО: ВСЕ ЛОЖЕ ЕГО ОВРАТИТЬ ЕСИ ВЪ БОЛѢЗНИ ЕГО. АЗЪ РѢХЪ: ГДИ, ПОМИЛУЙ МЯ, ИЗЦѢЛИ ДУШУ МОЮ, ЯКВЪ СОГРѢШИХЪ ТИ». Не случайно в современном русском языке особые формы вокатива имеются лишь у слов *Бог* и *Господь* (*Боже* и *Господи*), употребляющихся в молитвенном контексте. Можно сказать, что вокатив выступает как грамматическая категория, функционирование которой ограничено молитвенным режимом интерпретации (подобно тому, как *passé simple* ограничено нарративным режимом).

выше (см. § III-6). Интерпретационный режим для этих структур обладает рядом специфических свойств. Он не нуждается в категории времени, поскольку казусы и их разрешение описываются как вневременные зависимости. В силу этого время в глаголе оказывается в данных текстах избыточной категорией и в принципе допускается варьирование временных форм, не несущее семантической нагрузки. Первый член может, например, формулироваться как *убил муж мужа*, или *убьет муж мужа*, или *убивает муж мужа*, и смысл от этого не меняется. Уже одна эта ситуация с темпоральностью противопоставляет данный режим интерпретации (его можно назвать легальным) и диалогическому, и нарративному режиму, выделяя тексты юридических кодексов в особую категорию, обладающую отдельной грамматикой.

Еще более специфическим образом реализуются в легальном режиме интерпретации референциальные связи. Понятно, что первое и второе лицо в этом режиме практически не находят себе применения (как и в нарративе, согласно Бенвенисту). Однако и референциальные связи нешифтерных актантов строятся особым образом, обусловленным типовым содержанием коммуникативных единиц. Рассмотрим простой пример. В Краткой редакции РП, ст. 13, читаем:

Аще поиметь кто чюжь конь, любо шроужье, или портъ, а познаеть въ своемъ мирѣ, то взати емоу свое, 3 гривны за шбидѣ (РП, I, 79).

Формально референт местоимения *кто* должен совпадать с субъектом предиката *познаеть*, и к этому же референту должно отсылать местоимение *емоу*, которым обозначается субъект действия *взати*. Такой анализ, однако, делает данный текст бессмысленным: тот, кто украл коня, не нуждается в том, чтобы опознавать его, и не может получить *свое*, поскольку никакого *своего* у него нет. Обнаружив невозможность данного анализа, мы ищем иного, который давал бы осмысленный текст, и без труда его находим: референтом местоимения *кто* является вор, а субъектом предиката *познаеть* и референтом местоимения *емоу* является потерпевший; этому потерпевшему принадлежит и *свое*. Вполне очевидно, что читатель (или слушатель) РП не приходил к данному решению методом проб и ошибок, но получал его автоматически в силу известного ему легального режима интерпретации. Этот режим предполагает, что в первом члене описывается казус, который и состоит в том, что X украл коня у Y; казус данного типа предполагает потерпевшего, так что Y, никак в первом члене формально не обозначенный, тем не менее присутствует в качестве невыраженного актанта. Второй член описывает способ разрешения казуса. Когда имеется потерпевший, это предполагает возмещение ему понесенного ущерба. Соответственно *емоу* и должно относиться к этому Y-у, хотя формально эта референтная связь не выражается.

Точно так же, с помощью аналогичного инструментария, адресат данного текста интерпретировал и слова *3 гривны за шбидѣ*, которые формально могли бы быть приложением к *свое*, однако «по смыслу» в этой синтаксической функции выступать не могут. В другом списке Краткой РП эта же синтагма выглядит несколько иначе – *а 3 гривнѣ за обиду* (РП, I, 70–71), но и этот вариант никакого определенного синтаксического статуса для

данной фразы не требует: союз *a* может выступать и как соединительный, связывающий два однородных дополнения (*свое* и *3 гривнѣ*), и как межфразовый коннектор, присоединяющий отдельное предложение. В переводах *3 гривнѣ* трактуется как прямой объект (у И. Эверса: «so nehme er das Seinige, und für Unrecht 3 Grivnen»; у И. Платонова: «то он имеет право взять свою собственность и взыскать за обиду 3 гривны»; у Л. К. Гётца: «so nimmt er das seine, aber 3 Grivna für das Unrecht» – РП, II, 99). Это, однако, наложение привычных для «логического» синтаксиса конструкций на построение, организованное по другим принципам. Фразу *3 гривны за шбидѣ* целесообразнее всего считать синтаксически не связанной с предшествующим текстом, формально назывным предложением, а по существу, в рамках устанавливаемого легальным режимом интерпретации фрейма, предложением, обозначающим размер возмещения ущерба (об исчислении ущерба см.: Щепкин 1915). В этих рамках и обозначение действия, и обозначение его актантов является в смысловом отношении излишним, что и обуславливает появление фразы, состоящей из одной именной группы.

Как можно видеть, интерпретация подобных сообщений требует от их адресата определенного умения с ними обращаться. Именно это умение позволяет ему установить необходимые референциальные связи, не имеющие того формального выражения, которое является обязательным, скажем, для нарратива. В этом смысле можно говорить о существовании особого грамматического инструментария, приспособленного для данного типа текстов, т. е. предполагать для них отдельный режим интерпретации, который выше был назван легальным и который и конституируется специфическими грамматическими характеристиками, присущими данным текстам. Конечно, можно задаться вопросом, до какой степени структура легальной референции подобна референциальной структуре диалога, в котором также референтные связи могут отсылать к экстралингвистическим параметрам речевой ситуации. Не берусь решать этот вопрос в целом и тем более остерегусь делать какие-либо предположения относительно сходств между легальными и диалогическими коммуникативными единицами у восточных славян в XI–XIV вв. (прежде всего потому, что никакими данными о диалоге этого периода мы не располагаем). Замечу, однако, что референция в диалоге никаким узким набором фреймов не определяется, и это явно отличает диалогический режим интерпретации от легального.

Наличие жестко заданной смысловой структуры (или, скорее, нескольких альтернативных структур, поскольку казусы наследственного или договорного права отличаются от казусов уголовного права) делает допустимыми такие синтаксические построения, которые в открытом контексте были бы грамматически невозможны или образовали бы семантический нонсенс. Приведу несколько примеров. В Пространной редакции РП, ст. 42, читается:

Аже крадеть скоть на поли, или овци, или козы, или свинѣ, 60 коунѣ; боудеть ли ихъ много, то всѣмъ по 60 кунѣ (РП, I, 126).

Смысл статьи прозрачен. Если кто украдет на поле скот, а именно овец, или коз, или свиней, то он платит 60 кун. Если воровство было групповым,

то каждый из воров платит по 60 кун. Этот смысл, однако, выводится из заданной режимом интерпретации смысловой структуры, а не из синтаксического построения. В первом предложении субъект должен быть в ед. числе, тогда как объект действия стоит во мн. числе (в разъясняющем приложении – овцы, козы, свиньи); в этих условиях местоимение *ихъ* в следующей фразе должно было бы относиться к объекту, однако это приводит к смысловой нестыковке, поскольку возникновение казуса никак не связывается с числом украденных объектов, а затем и к синтаксической несообразности, поскольку в таком случае и *всѣмъ* должно относиться к объекту, каждый из составляющих которого должен получить 60 кун. Так как объект неличный, такое действие невозможно, ни овцы, ни козы, ни свиньи по 60 кун не получают; следовательно, для *ихъ* нужно искать иного референта, обладающего агентивностью. В этой функции могут выступать только создатели казуса, причем того же казуса, который разбирается в предшествующем предложении. Единственным отличием, на которое и указывает фраза с *ихъ*, является множественность агентов преступления, которые и должны выступать в качестве возместителей ущерба во второй части конструкции. Этой логикой смысловой структуры, не находящей соответствия в синтаксисе, и задается правильная интерпретация *ихъ* и *всѣмъ*.

Более сложный пример интерпретационной стратегии, обращающейся к заданной смысловой структуре, дает статья 27 Пространной редакции:

Аще ли оутнетъ роукоу, и шпадеть роука или оусъхнеть, или нога, или шко, или не оутьнетъ, тъ полъ виры 20 гривенъ, а томоу за вѣкъ 10 гривенъ (РП, I, 124).

Существующие переводы неудовлетворительны, ср., например, перевод И. Платонова: «Если кто ударит кого по руке или по ноге, и нога или рука от того отпадет или усохнет, или выколет глаз: то с такового взыскать в казну в половину противу пени за убийство, т. е. 20 гривен, да в пользу раненого за увечье десять гривен» (РП, II, 346).

В переводе, как можно видеть, словам *или не оутьнетъ* ничего не соответствует. Хотя они представлены во всех группах списков Пространной редакции за исключением одной, они рассматриваются, видимо, как ничего не значащая ошибка (Б. А. Романов говорит о «дефектном виде» данной статьи – Романов 1940, 60). Те, которых не устраивает столь необоснованное игнорирование повсеместно представленного чтения, прибегают к чтению списков Пушкинской группы (никак не отличающихся большей, сравнительно с остальными, исправностью), в которых вместо *или не оутьнетъ* стоит *или носъ оутнетъ* (РП, II, 283–284), которое по всем текстологическим резонам должно быть признано инновацией данной группы, а не оригинальным чтением.

Между тем никакой бессмыслицы в разбираемых словах нет, они оказываются непонятными для исследователей (и, возможно, для писца, написавшего протограф Пушкинской группы списков) именно в силу того, что они не владеют лингвистическим интерпретационным инструментарием, необходимым для понимания юридических текстов. Как уже говорилось, в первом члене двучленной конструкции содержится описание казуса или

группы однородных казусов, а во втором – порядок восстановления нормы. Описание группы однородных казусов, требующих одинакового возмещения ущерба, представляет и первый член разбираемой статьи. Если преступник ударит пострадавшего по руке, так что рука отпадет или усохнет, он платит полувирье пени и половину данной суммы в пользу потерпевшего. Аналогичный казус имеет место, когда то же самое происходит с ногой или глазом. Замечу попутно, что с носом, появляющимся в списках Пушкинской группы, обычно ничего подобного не происходит, во всяком случае усохших носов не бывает, да и особой ценности для человека нос не представляет, так что повреждение носа не должно образовать аналогичный казус. Такое же увечье, однако, может быть результатом не только удара, но и другого насильственного действия (скажем, ужимания, выкручивания и т.д.). Именно этот аналогичный казус описывается словами *или не оутьнеть*, и если мы знаем, что ими должно быть описано, то никаких особых интерпретационных сложностей такой способ описания не вызывает. Легальный режим интерпретации как раз и указывает, о чем должна идти речь в каждой из частей коммуникативной единицы. Перевод рассматриваемой статьи должен иметь следующий вид: «Если [кто-либо] ударит [кого-либо] по руке, и рука отпадет или усохнет или [то же самое случится с] ногой или глазом, [или то же самое произойдет в результате другого насилия, при котором обидчик] не ударит, то [платит] полувирье – 20 гривен, а тому [раненому] за увечье 10 гривен».

Исходя из разобранных примеров, было бы ошибочно думать, что легальный режим представляет собой в грамматическом отношении упрощение или редуцию языка, что он просто задает фрейм, нейтрализующий грамматические оппозиции и выводящий из игры механизм анафорических связей. Грамматический инструментарий каждого из режимов приспособлен к присущему ему коммуникативному заданию. Одним режимам интерпретации нужны одни средства, другим – другие, разность между инструментариями не в том, что одни большие, а другие маленькие, а в том, что наборы инструментов дифференцированы в соответствии с содержательными потребностями. Легальному режиму нет нужды во времени, и поэтому временные оппозиции в нем нейтрализуются. Однако у него есть потребность в логическом упорядочивании казусов, которая, как правило, не возникает в других режимах интерпретации (во всяком случае не возникает в сравнимом масштабе). Для этой цели могут использоваться средства, не имеющие аналогичной функции в иных коммуникативных ситуациях.

Воспользуюсь примером из все той же Русской Правды. Как показала Р. Перельмуттер (Перельмуттер, в печати), для группировки и упорядочения статей Русской Правды используются разные союзы: союзы противопоставлены в соответствии с уровнями логического расчленения казусов. Так, в первых двух статьях Краткой Правды речь идет об убийстве или покушении на убийство, о том, в каких случаях законна кровная месть за эти преступления, и о том, какие пени могут заменять кровную месть. В Академическом списке эти статьи читаются так:

Оубьеть моуж(ь) моужа, то мьстить братоу брата <...> Или боудеть кровавъ или синь надъраженъ, то не искати емоу видока

человѣкоу томоу; аще не боудеть на немъ знаменіа никотораго же, то ли приидеть видокъ; аще ли не можетъ, тоу томоу конецъ; оже ли себе не можетъ мстити, то взати емоу за обиду 3 гривнѣ, а лѣтцю мѣзда (РП, I, 70).

*Перевод:* Если убьет муж мужа, то [следует] брату мстить за брата [далее перечисляются другие законные мстники, говорится о замене мести пеней в 40 гривен и о социальном статусе убитого] <...> [если имело место покушение на убийство и] потерпевший окажется в крови или синяках, то ему не требуется искать свидетеля; если же никаких следов на нем нет, то либо пусть появится свидетель, либо [если потерпевший] не может [привести свидетеля], делу конец; если же [потерпевший, имея на то право,] не может мстить за себя, то пусть возьмет за преступление [с виновного] 3 гривны и плату лекарю.

Как можно видеть, для обозначения дилеммы первого уровня (убийство – побои, т. е. покушение на убийство) употреблен союз *или*. Для обозначения дилеммы второго уровня (наличие либо отсутствие следов преступления, а отсюда и отсутствие необходимости или необходимость привлечения свидетеля) используется союз *аще* (*боудеть кровавъ – аще не боудеть*). Наконец, для установления следующей дилеммы (кровная месть либо взимание пени) служит союз *оже ли*. Таким образом, союзы оказываются противопоставленными по рангу, при том что в иных коммуникативных ситуациях (при иных режимах интерпретации) подобное противопоставление отсутствует и различные маркеры условных отношений ни семантически, ни функционально не дифференцированы<sup>265</sup>.

<sup>265</sup> Следует отметить, что рассмотренные союзы не обладают постоянно приписанным им рангом и в юридических текстах; для построения иерархии казусов в разных изводах Русской Правды могут использоваться разные наборы союзов. Однако принцип ранжирования с помощью союзов обнаруживается в разных изводах и может быть приписан исходному способу построения Русской Правды как юридического текста; понимание этого способа входило в лингвистическую компетенцию адресатов рассматриваемого памятника в качестве одного из компонентов легального режима интерпретации.

Ср. в Пространной редакции РП развернутую трактовку части этих же сюжетов. В цитируемой ниже статье исключено убийство и кровная месть и говорится лишь об увечьях. Трактовка соответствующих казусов остается, однако же, трехчастной, и для выделения трех частей употреблены разные союзы (отличные от тех, которые мы наблюдали в Краткой редакции):

(1) *Аже* придетъ кровавъ мужъ на двѣрь или синѣ, то видока юму не іскати, но платити юму продажу 3 гри(вны); (2) *аще ли* не будеть на немъ знаменіа, то привести юму видокъ слово противу слова; а кто будеть почаль, тому плати[ти] 60 кунъ; (3) *аче же* и кровавъ придетъ, іли будеть самъ почаль, а вылѣзуть послуи, то то юму за платежъ, оже и били (РП, I, 106).

*Перевод:* Если в суд явится муж в крови или синяках, то ему не требуется искать свидетеля, но ему платить 3 гривны продажи; если же никаких следов на нем нет, то он должен привести свидетеля, [который подтвердит его показания] слово в слово: кто окажется зачинщиком, тому платить 60 кун; если же [потерпевший] придет в крови, но при этом он сам начал [драку], как покажут свидетели, то ему вместо платежа то, что [его] побили.



Таким образом, легальный режим интерпретации основан, в частности, на умении обращаться с эллипсисом. Эллипсис оказывается отличительной чертой древних юридических текстов, одним из основных средств обеспечения в них связанности (cohesion). Набор средств связи между предикативными единицами является типологически универсальным, т. е. в любом (письменном) языке для осуществления такой связи могут использоваться: (а) референциальные элементы (например, определенный артикль или дейктические местоимения), (б) служебные элементы, раскрывающие тип связи (союзы, частицы), (в) именные, глагольные и фразовые субституты (причастные и инфинитивные конструкции), (г) эллипсис, (д) повтор лексических единиц (Холлидей и Хасан 1976). Очевидно, однако, что и в разных языках, и – что существеннее для нас – в разных регистрах внутри одного языка может преимущественно употребляться один набор и не употребляться другой. Преимущество того или иного набора диктуется в этом случае риторической стратегией говорящего или пишущего и соотносится в силу этого с коммуникативным заданием данного типа текстов.

**3. 2. Эволюция легального режима интерпретации.** Для книжных регистров письменного языка русского средневековья характерна связь с помощью формальных элементов и фразовых субститутов, для некнижных – связь с помощью эллипсиса и лексического повтора. В древнейших юридических кодексах доминирует эллипсис, который и может рассматриваться как характерная черта синтаксиса (организации текста) делового регистра. Со временем, однако, этот синтаксический детерминант делового регистра меняется. Перемена, как можно предположить, обусловлена изменением характера трансмиссии легальных текстов (об изменении характера трансмиссии см. выше, § III-6). Когда письменная трансмиссия начинает вытеснять устную, изменяется и организация изложения легальных норм.

Если древний способ изложения может быть охарактеризован как имплицитный, требующий тех инструментов декодирования, которые мы связали с легальным режимом интерпретации, то новому способу свойственна эксплицитность. В юридических кодексах основным средством достижения эксплицитности является лексический повтор, со временем становящийся основным средством обеспечения связанности текста в деловом регистре. Развитие лексического повтора, выполняющего данную функцию, можно рассматривать как вытеснение одного типа анафоры (эллипсиса) другим типом анафоры (повтором)<sup>266</sup>. Повтор занимает те же самые синтаксиче-

<sup>266</sup> Вообще говоря, эллипсис и повтор выступают как взаимозаменяемые и эквивалентные средства обеспечения связанности текста. О функционировании их в этом качестве см.: Холлидей и Хасан 1976. О дискурсивных функциях эллипсиса см., например: Мак-Шейн 1998. Эллиптирование данного (given) как элемент коммуникативной стратегии характерен прежде всего для разговорной речи (ср.: Гренобль 1998, 161–162), так что широкое использование эллипсиса в юридических кодексах, передающихся устной традицией, и отказ от эллипсиса при переходе к письменной трансмиссии является, видимо, неслучайным. Соотносительность эллипсиса и лексического повтора как двух средств связи, обусловленная присутствием или отсутствием предмета референции в ситуации коммуникативного акта, видна в устройстве современной русской разговорной речи.

ские позиции, которые ранее принадлежали эллиптированным элементам, и трансформирует референциальную структуру из имплицитной (эллиптической) в эксплицитную. Возникающая в результате эксплицитность также весьма специфична; юридические тексты вновь оказываются противопоставленными по своей организации текстам других типов, в которых использование анафорического лексического повтора подвержено существенным ограничениям, ср. ненейтральный характер такой последовательности, как *Старый профессор отправился в университет с утра, старый профессор вернулся домой поздно вечером* сравнительно с более обычной *Старый профессор отправился в университет с утра, он вернулся домой поздно вечером*. Таким образом, референциальная структура новых юридических текстов также требует особого инструментария или, иными словами, особого режима интерпретации. При этом новый инструментарий преемственно связан со старым.

Это развитие заслуживает подробного анализа, однако нам придется ограничиться беглым очерком. Проиллюстрирую данный процесс лишь несколькими примерами, взяв один текст, имеющий переходный характер (от старой структуры к новой), и другой текст, в котором новая структура получает окончательное и полное развитие. В качестве переходного текста может выступать Псковская судная грамота XV в., в качестве финальной точки в прослеживаемом развитии целесообразно взять Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г.

В Псковской судной грамоте в полной мере обнаруживается переход от устного права к письменному праву, здесь, как уже упоминалось (см. § III-8), говорится о письменных документах (грамотах, досках, рядницах) и депозитарии для их хранения. Хотя легальные процедуры оказываются обновленными, характер кодификации изменяется постепенно, так что в Псковской судной грамоте обнаруживаются статьи и со старой структурой референции, требующей старого легального режима интерпретации, и статьи с новой структурой референции, основанной на лексическом повторе. Статья 8 может служить иллюстрацией первого типа:

---

Если предмет присутствует в обстановке речи, предикативные конструкции в диалоге будут обычно связываться за счет эллипсиса. На просьбу «Включи телевизор» нормальным ответом будет «Включил», в котором опущение прямого объекта во втором предикате связывает его с первым; ответ «Включил телевизор», содержащий лексический повтор, выглядит безусловно аномальным. Если, однако же, предмет отсутствует в обстановке речи, лексический повтор становится обычным. На просьбу «Дай мне спички» частым ответом, при условии что отвечающий не находит спичек в своем поле зрения, будет «Где они, спички?», тогда как ответ «Где они?» кажется менее идиоматичным (повтор при этом содержит анафору, аналогичную определенному артиклю, т. е. отсылающую к тем спичкам, которые имел в виду просивший). Таким образом, лексический повтор функционирует как своего рода коммуникативный субститут отсутствующего предмета. В письменной коммуникации обстановка коммуникативного акта, как правило, предполагается неизвестной. В силу этого лексический повтор в деловом языке может интерпретироваться как своего рода трансформация черт оральности, присущих не книжному синтаксису.

Что бы и на посад<б> покрадетса, ино двожды е пожаловати, а изличив казнити по его винѣ, и в третїи рад изли[чи]въ живота ему не дати, крам [так в ркп.] кромъскому татю (ст. 8 – ПСГ, 2–3).

*Перевод:* Если что-либо будет украдено на посаде, то дважды следует помиловать [вора], а уличив его, наказать в соответствии с его виной; если же [он] будет уличен в третий раз, то в живых его не оставлять [так же], как и вора, обокравшего Кремль (ср.: ПРП, II, 303).

Как можно видеть, преступник не обозначен ни в качестве субъекта действия в первой части статьи, ни в качестве объекта уличения во второй части, хотя именно к этому эллиптированному преступнику относится притяжательное местоимение *его* в именной группе *по его винѣ*. Структура референции здесь такая же, как в Русской Правде.

Простейший пример появления иной структуры референции обнаруживается в 43 статье:

А которой котечникъ заложи весну, или исполовникъ оу гсдра, ино ему заплатит весна своему гсдру, какъ оу другоичатѣ доставалоса на том же садѣ (ст. 43 – ПСГ, 11).

*Перевод:* Если какой-либо котечник или издольщик у господина пропустит весну (весенний рыбный лов), ему [все равно] следует оплатить весну своему господину [столько же], сколько пришлось на других на том же рыболовном участке (ср.: ПРП, II, 310).

Если бы эта статья читалась в Русской Правде, вместо *ино ему заплатит весна своему государю* там бы стояло *ино ему заплатити*, поскольку и характер платы, и ее получатель уже обозначены в первой части клаузулы. В Псковской грамоте эллипсис заменен лексическим повтором. Еще более выраженно эта функция лексического повтора видна в ст. 38, в которой четырежды повторено слово *радница*:

А кто иметъ на ком сочить торговых денегъ по доскамъ, тот члкъ противу положит радницу, а в радницы будет написано ѡ торговли же, а противу тои радницы не будетъ во сѣби цркви [на полях: Троицы] в лари в тѣж рѣчи другои, ино таа радница повинити (ст. 38 – ПСГ, 10).

*Перевод:* Если кто-либо будет с кого-либо взыскивать торговую ссуду, указывая на доски, а тот в ответ предъявит расписку (о погашении ссуды), но тождественной расписки не будет в ларе в святой церкви (Троицком соборе), то эту расписку (о погашении ссуды) считать недействительной (ср.: ПРП, II, 309).

Приведу еще один пример, в котором отчетливо видна новая структура референции:

А которому члку на комъ будетъ иманїе по записи, да и гостинець будет писан на записи, а прїидет зарокъ, ино ему авитъ гсдѣ ѡ своемъ гостинцѣ, ино и по зароки ему взать свои гостинець; а толко не явит зарок гсдѣ, гостинца ино ему не взат по зарокѣ (ст. 73 – ПСГ, 17).

*Перевод:* Если какой-либо человек будет взыскивать на ком-либо [ссуду] по записи, в которой будут зафиксированы и [подлежащие уплате] про-

центы, и придет срок [погашения], он должен заявить госпде о причитающихся ему процентах, и тогда он может взыскать проценты и после срока [погашения]; если же он не заявит госпде [об этом] в срок, тогда не может взыскать процентов после срока (ср.: ПРП, II, 316).

С точки зрения старой системы целый ряд элементов является в этом изложении излишним. Вместо *гостинець будетъ писанъ на записи* достаточно было бы сказать *гостинець будетъ писанъ*, поскольку *запись* уже упомянута в предшествующей фразе. Точно так же вместо *ино и по зарокѣ ему взять свой гостинець* было бы достаточно *ино и по зарокѣ ему взять*, так как анафорический эллипсис легко восстанавливается из контекста. Равным образом в последней фразе можно было бы обойтись словами *ино ему не взять* вместо *гостинца ино ему не взять по зарокѣ* – и здесь эллиптированные элементы поддавались бы восстановлению и обеспечивали бы анафорическое примыкание к предшествующему тексту. Во всех этих случаях мы находим лексический повтор, выполняющий ту же анафорическую функцию.

Если сопоставить Псковскую судную грамоту или Судебник 1497 г., устроенный в интересующем нас отношении сходно с Псковской грамотой, с Судебником 1550 г., можно утверждать, что переход от эллипсиса к лексическому повтору достигает в последнем нового этапа: эллипсис почти полностью отсутствует, а использование лексического повтора приобретает едва ли не систематический характер. Приведу лишь один произвольный пример:

А которому наместнику дан в кормление город с волостями, или ему даны в кормление волости, а в которых волостех наперед сего старост и целовалников не было, и ныне в тех волостех быти старостам и целовалником во всех (ст. 68 – Суд., 163).

Использование новой референциальной структуры достигает своего полного развития в Уложении 1649 г. Приведу лишь один произвольный пример, выбор не имеет значения, поскольку аналогичная организация изложения наблюдается во всех статьях, а количественные параметры лексического повтора зависят лишь от длины статьи и набора трактуемых в ней предметов (разбор нескольких примеров см. в: Живов 2004а, 75–76). Избранная статья (или вернее часть статьи) посвящена одному предмету – загулявшим лошадям; соответствующая лексема повторяется во всех предикативных составляющих, кроме одной, и связанность текста основана именно на этом лексическом повторе. Повторяются, впрочем, и другие лексические элементы (*воеводам – воеводам, в полки – ис полков*):

А будет на государеве службе у кого у служилых людей лошади отгуляют от станов или из стад куды разбегутся, а кто такие лошади где найдет и изымает, и тому те лошади привести на явку для записки в полки к воеводам, а будет в то время лучитца воеводам ис полков куды отъезд, и такие лошади приводить на явку в полки к судьям или к сотенным головам. Да будет тем лошадям выищутца исцы, у которых те лошади отгуляли, и те лошади отдавать тем, чьи те лошади, а за привод тех лошадей велеть на них имать и давати тому, кто те лошади на явку приведет, по три алтына по две деньги с лошади (глава VII, ст. 26 – Уложение 1987, 27).

Для сопоставления попытаюсь преобразовать этот текст в соответствии с референциальным инструментарием старого режима интерпретации:

А будет на государеве службе у служилых людей лошади отгуляют от станов или из стад разбегутся, а кто найдет и изымает, привести на явку для записки в полки к воеводам, а лучитца отъезд, и приводить к судьям или к сотенным головам. Да будет выищутца исцы, и им отдавать, а за привод имать по три алтына по две деньги с лошади и давати приводнику.

Особенность нового референциального инструментария состоит в том, что адресат отождествляет каждое новое вхождение повторяющихся элементов с референтом, введенным первым вхождением, воспринимая эти повторные вхождения как эквивалент анафорических местоимений, специфический для легального режима интерпретации. Эксплицитность достигается за счет крайней избыточности, так что именно эта избыточность – как своего рода изнанка прежнего лаконизма – делается характерной чертой юридического дискурса и определяет основные синтаксические стратегии делового регистра XVI–XVII вв. Стоит отметить в этой связи, что рассмотренная организация текста присуща не только юридическим кодексам, но и деловым документам разного типа. Ср., например, челобитную жителей города Шуи 1688 г. (подчеркиванием обозначены связующие элементы):

В прошлом гсдри во РЧЕ-м году в Суздальском уѣздѣ <...> села Холуйской Слоботки на рекѣ Тесѣ построили было вновь мельницу тои Холѣйской Слоботки крстьяне Гришка Арлинѣ да Маѣмко Новоселов <...> а на тои гсдри рекѣ Тесѣ от Шѣи города вниз до реки Клязмы <...> струговой ход истари а от тои новопостроенной мельницы в Шуе в таможенѣ учинился вшет великих гсдреи казнѣ недобор болшеи <...> потому гсдри что до Шѣи <...> са [по причине] тои новопостроенной мельницы струи со всякими товары не дошли і по вашему великих государей имянному указу... по которымъ рекам струѣи ходят <...> и по таким рѣкам мельницѣ <...> делать не велено (Котков, Астахина и др. 1984, 210).

Таким образом, и в ранний период, и в период поздний деловой регистр оказывается противопоставлен другим регистрам прежде всего своей синтаксической структурой. Сначала выделительной чертой, обеспечивающей связанность текста в данном регистре, оказывается эллипсис, позднее на смену ему приходит лексический повтор. Конечно, и то и другое средство обеспечения связанности находит соответствие в разговорной речи и в регистре бытовой письменности, однако там они служат лишь для связи единичных предикативных единиц, не образующих цепочек; конструирование цепочек оказывается специфичным для структур изложения в деловых документах. Эти способы организации текста находятся в очевидном противостоянии со способами организации текста в регистрах книжного языка. Несомненно, эллипсис нередок и в них, однако в них он ограничен совсем иными условиями, связанными прежде всего с эксплицитностью референтной структуры. Что же касается лексического повтора, то, если речь не идет об особых эмфатических риторических фигурах, он трактуется как стили-

стическая погрешность и по возможности устраняется (как и в современных стандартных языках, наследующих в этом отношении – так же как и церковнославянский – классическим риторическим моделям).

Дальнейшее развитие легального режима интерпретации должно быть предметом особого исследования, которому придется оперировать с иными параметрами, нежели рассматривавшиеся выше. Это развитие определяется двумя группами факторов. Во-первых, в XVIII в. утверждается идеал полифункционального языкового стандарта, т. е. единого литературного языка, применимого во всех коммуникативных ситуациях, включая и законодательную деятельность. Различия в языке, употребляемом в разных ситуациях, сознательно минимизируются и трактуются как стилистическая дифференциация. Из этого не следует, что подобные различия исчезают и что для юридических текстов больше нет нужды в особом лингвистическом инструментарии. Однако речь больше не идет о столь ярко выраженных чертах, как эллипсис или лексический повтор, но о характеристиках более тонких и требующих другого типа анализа (типы бытийных предложений, размещение рематического компонента, употребление временных и пространственных сирконстантов и т. д.).

Во-вторых, в процессе европеизации меняется характер изложения юридических норм. Он перестает быть казуистическим. Соответственно, двучленная структура текстовых единиц юридического кодекса (казус – способ его разрешения) элиминируется (ср.: «непредумышленное убийство наказывается лишением свободы от трех до пяти лет») или подвергается преобразованию<sup>267</sup>. Новая структура текста предполагает иные референциальные связи и иную реализацию референциальных отношений, так что легальный режим интерпретации, если и продолжает существовать, конституируется новыми, сравнительно с предшествующей эпохой, лингвистическими характеристиками.

#### **4. Адаптация книжных синтаксических конструкций и характер интерференции регистров. Конструкции с инфинитивом**

Как говорилось выше, лингвистическая стратегия книжного текста, соответствующая принципу логического развертывания, радикально отличается от лингвистической стратегии разговорной речи, равно как в определенной степени и от лингвистической стратегии не книжных текстов, в ряде случаев воспроизводящих синтаксические построения и информационную структуру разговорной речи. Повторю здесь еще раз, что стратегиям книжного изложения никто и никогда восточнославянских книжников не учил;

<sup>267</sup> Новую структуру юридической статьи, сохраняющую, однако же, элементы старого двучленного фрейма, можно видеть уже в законодательстве Петра Великого, ср., например, в Воинском артикуле 1715 г. (гл. V, арт. 51): «Должны офицеры салдат к работе побуждать и прилежно смотреть, чтоб все исправно было зделано. Кто в том мешкателен обрящется, оный жестоко наказан будет» (Законодательство Петра I, 762). Статья начинается с утверждения общей нормы, и лишь затем говорится – в предложении с двучленной структурой – о нарушении нормы и способе восстановления.

ни наставников, ни письменных руководств у них не было, так что соответствующие навыки, принципиально отличные от «естественных» навыков разговорной речи, они приобретали путем простого подражания, подражания тому книжному языковому узусу, который был им известен из прочитанных ими текстов. В этом случае мы наблюдаем во вполне чистом виде трансформацию навыков чтения в навыки письма.

Важно отметить, что в этой картине книжное и некнижное употребление не выступают как симметричные структуры. Эта несимметричность обуславливает разный характер интерференции, идущей в разных направлениях – от некнижного узуса к книжному и от книжного узуса к некнижному. Элементы некнижного узуса и прежде всего некнижного синтаксиса проникают в книжные регистры спонтанно, в силу того, что навыки книжного письма время от времени дают осечку; благоприятствующим обстоятельством для такого рода интерференции оказывается, как уже упоминалось (§ II-3.3), тематическая чуждость сообщаемой информации текстам основного корпуса. Элементы книжного синтаксиса также могут проникать в некнижные регистры, однако это ситуация существенно более редкая и связанная, как правило, с отдельными клишированными фразами или дискурсивными построениями (как, например, инципиты и конклюдзии в заветательных документах или санкции во вкладных грамотах). Влияние некнижного узуса на книжный не ограничивается употреблением отдельных некнижных синтаксических построений, но входит в саму фактуру книжного синтаксиса, определяя характер калькирования в переводных текстах, задающих образцы книжного синтаксиса и лежащих в основе навыков книжного письма.

Мы наблюдали подобное явление, когда обсуждался вопрос о дат. самостоятельном как кальке род. самостоятельного греческого языка (§ IV-3.1) и связывали замену род. падежа на дательный с функциями дат. падежа в славянских языках. Сходный процесс имеет место и при калькировании ряда инфинитивных конструкций, функционирующих как средство иерархизации предикативных единиц. Инфинитив несомненно присутствовал в грамматической системе восточнославянского разговорного языка и играл в ней, надо полагать, более существенную роль, нежели причастия, с которыми мы имели дело в предыдущей главе. Однако функциональные задания инфинитива в разговорном языке не были, видимо, связаны с субординированием предикативных единиц. В некнижном языке инфинитив употребляется как глагольное дополнение (*хочетъ взяти, нача говорити, идетъ отмстити*), либо в модальных конструкциях (*а ему взяти*). В книжном языке инфинитив приобретает дополнительные функции и выступает как трансформ полноценной предикативной единицы (см. о калькировании греческих инфинитивных конструкций в стандартном церковнославянском: Бобрик 1990). Источником таких конструкций выступает калькирование, однако результат отражает аккомодацию калькированной конструкции к особенностям языка-реципиента.

**4.1. Конструкция «яко + инфинитив» со значением результата.** Именно так обстоит дело с инфинитивными конструкциями с субъектом

подчиненного предиката в дат. падеже. Эти конструкции имеют в греческом значение придаточного следствия (результата) и употребляются с союзом ὥστε; предикат, обозначающий следствие, ставится в инфинитиве, а субъект этого предиката в винительном падеже (ср.: Исаченко, I, 87; Успенский 2002, 257; ср. еще: Йордалъ 1973, 157), ср.:

Ὁ δ' Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη,  
ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλάτον  
(Мк. 15: 5)

Ісѣ же къ нимѣ ничсо же отъвѣща  
яко дивити сѧ пилатѹ  
(Мстислав. ев. 115г)

То, что при калькировании данной конструкции в славянских переводах греч. винительный заменяется слав. дательным, весьма показательно, поскольку демонстрирует механизм приспособления имевшихся в разговорном языке славян языковых средств к новым синтаксическим заданиям, связанным с иерархизацией предикативных конструкций. В самом деле, субъектный датив в данной конструкции явно соотнесен с субъектным (агентивным) дативом простых (однопредикатных) предложений, известным некнижному языку и имеющим в нем модальное значение (ср.: Тимберлейк 2002, 59–62), ср. в Слове о полку Игореве: «Быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону Великаго» (ПЛДР, XII в., 374); или в Краткой редакции Русской Правды: «Оубъеть моужь моужа, то мьститъ братѹ брата, или сынови отца, любо отцю сына, или братѹчадоу, любо сестриноу сынови» (ст. 1 – РП, I, 70), или в цитировавшейся выше новгородской берестяной грамоте № 724: «**да остатъ дани исправити было имѣ досени а по первомѹ пѣти послати и отъвѣгити проче**» (Зализняк 2004а, 350–351). Таким образом, при переводе с греческого инфинитив отождествляется с инфинитивом, а на место агентивного аккузатива, невозможного при славянском инфинитиве, ставится агентивный датив, свойственный славянскому синтаксису.

Имеет место и определенная семантическая адаптация, механизм которой, однако же, не вполне ясен: данная конструкция употребляется преимущественно тогда, когда речь идет не просто о некотором результате события, о котором говорится в главном предложении, но о таком результате, который указывает на чрезвычайность данного события. Как правило, эта конструкция не будет применяться, если нужно сказать «случилась буря, и повалило несколько деревьев»; подходящим риторическим контекстом для нее будет указание на ужасающие масштабы бедствия, например: «восста буря великая, яко ни единому древу остатися стояти». Ср. несколько примеров из летописей: «**Знаменьє [змиєво] ѡвиса на ѣбси. яко видѣти всей земли**» (ПВЛ по Лавр. списку, л. 50об.; ПСРЛ, I, стб. 149; s. a. 1028); «и снаста другую дѣску с печи и сѣдоста и вдавиша и рамано. **яко персемѣ трескотати**» (об ослеплении Василько; ПВЛ по Ипат. списку, л. 89об.; ПСРЛ, II, стб. 235). Нельзя сказать, что это специфическое семантическое задание, отсутствующее во вполне нейтральных греческих оборотах «ὥστε + инфинитив» (Лидделл и Скотт, II, s. v. ὥστε B, I), строго выдерживается во всем множестве известных нам примеров, однако оно в разной степени характерно для большинства из них, так что возникает подозрение, что специфич-



чески книжная природа этого оборота способствует его употреблению как эмфатического средства.

Эта конструкция носит явно книжный характер, что не мешает, однако, ее проникновению в оригинальные книжные тексты, в том числе и в тексты гибридного регистра. Особенности ее распределения по текстам разных типов напоминают, хотя и не полностью, распределение конструкции «*быти* + действительное причастие» (см. § IV-3.2). Интенсивность ее использования коррелирует с выраженностью установки автора на книжность и степенью его ориентированности на тексты основного корпуса. Как и следовало ожидать, особенно часто данная конструкция встречается в Житии Феодосия. В этом тексте встречается 33 примера ее использования, одна конструкция приходится приблизительно на каждые 600 слов (точнее 567), и это беспрецедентно высокая пропорция для оригинальной восточнославянской письменности.

В 20 из этих 33 примеров (61%) в той или иной мере присутствует коннотация чрезвычайности. Хорошим примером может служить следующая фраза: «то же слышавъ онъ ѿиде. и тако въниде въ храмъ тъ. ти видѣ соущѣкъ тъ иже бѣ пьрьвѣке тѣщѣ и мѣтвами прѣдъвнаго оца нашего Феодосіа. пѣльнѣ соущѣ моуки. тако же прѣсыпати сѧ ки. чрѣсъ стѣноу на землю» (Усп. сб., л. 55а). Здесь вполне очевидно, что результат молитв Феодосия был экстраординарным, что и подчеркивается конструкцией «яко + инфинитив», в которой присутствует смысл «больше, чем можно было бы ожидать или надеяться». В других случаях эта коннотация менее выражена, но тем не менее может быть выделена без особых натяжек, ср.: «и възятъ кѣждо сѣчиво свое таже тако приговаша дръва тако же тѣмъ довольномъ имъ быти на многы дни» (там же, л. 42в); количество нарубленных дров подчеркивается тем, что их хватило на многие дни. Сходная интерпретация может быть предложена и для следующего пассажа: «тоже съ оуповаа тако възятъ власть на нихъ ѿтъ бѧ. възставъ вечеръ и иде въ храмъ тъ. и затворивъ двѣри о себе тоу же пребысть въ немъ до оутрѣнаа мѣтвы творѧ. тако же отъ того часа не явити сѧ бѣсомъ на томъ мѣстѣ ни пакости никогда же творити имъ. запрещеникъмъ преподовнаго и мѣтвою» (там же, л. 38вг); сила молитв Феодосия подчеркивается тем, что бесы не смели даже появиться на избранном им месте.

Эксплицитное выражение экстраординарности случившегося появляется в тех случаях, когда в инфинитивной конструкции говорится об удивлении, которое вызвало описываемое событие у его свидетелей; собственно, весь смысл инфинитивного оборота заключается в указании на эту чрезвычайность. Изумление свидетелей обозначается обычно глаголами *дивитися*, *чудитися* или их синонимами. В Житии Феодосия есть два таких примера: «И въскорѣ извыче всѧ граматикиа • ако же вѣмъ чюдити сѧ о премоудрости и разумѣ дѣтища» (там же, 28а); «тѣмъ весь съ вѣмъ въздържаникъмъ дшю сѣмѣрааше. тѣло же пакы троудъмъ и подвижаникъмъ дроучааше. тако дивити сѧ прѣвноуоумоу антонию. и великоуоу никоноу. сѣмѣренню ко и покоренню. и толикоу ко въ оуности блгоу нравствѣ. и оукрѣпленню и въдрости» (там же, 31г). Выше был приведен пример из Евангелия в точности с таким же употреблением инфинитивной конструк-

ции; можно с осторожностью предположить, что ориентация на евангельский пример сыграла существенную роль в утверждении рассматриваемой конструкции в книжном языке и в усвоении ей значения экстраординарности. Как мы увидим далее, рассматриваемая конструкция с обозначением удивления свидетелей становится трафаретом в восточнославянской книжной письменности (см. ниже).

Поскольку функции книжных оборотов в церковнославянском узусе остаются незафиксированными в грамматических пособиях и книжники осваивают их путем подражания образцам, в их употреблении отсутствует однозначность. Образцы определяют наиболее частые и устойчивые употребления, но наряду с ними существует область дисперсии, в которой книжный оборот использован без четкого семантического задания, а порою и в противоречии с теми функциями, которые характерны для него в образцовых текстах. Что-то из этих «иррегулярных» употреблений может рассматриваться как местное развитие конструкции, но не меньшую роль играет и индивидуальный произвол (в частности, неумение книжника справиться со своим коммуникативным заданием, которое можно нередко наблюдать в восточнославянских книжных памятниках, см.: Живов 2008б, 43–44; ср. § IV-3.1). Понятно, что в ряде случаев рассматриваемый нами оборот может употребляться со значением результата, но без всяких заметных коннотаций чрезмерности, ср.: «и тако же пакы прѣидаше пакы въ ноши въ прѣже реченоу пещероу. и ѿтогда въ патъкъ върьбьныа нѣла къ братии излазаше. яко же тѣмъ мнѣти. тоу кмоу прѣбывъшу въ постыныа дни» (Усп. сб., л. 57б); речь идет о том, что Феодосий проводил время до пятницы на Вербной неделе в другой пещере, но потом возвращался в расположенную поблизости, так что братия ошибочно думала, что в ней он и пребывал; нет, кажется, оснований говорить об экстраординарности основного события. Равным образом нет смысла видеть чрезвычайность в следующей фразе из рассказа о чуде с разбойниками (которым казалось, что церковь, которую они собирались ограбить, поднималась на воздух): «отъ земли бо възлетѣ са цркъ. и съ соущими въ нѣи възиде на въздоуѣ. яко не мощи имѣ дострѣлти къ» (там же, л. 57б); представляется, что основной смысл в недоступности церкви для разбойнического нападения, а не в том, что она поднялась особенно высоко.

Имеются и существенно более радикальные отступления от основной модели. Нестор, как уже говорилось по поводу употребления в Житии Феодосия дательного самостоятельного (см. § IV-3.1), испытывал неразумное пристрастие к специфически книжным средствам выражения и употреблял их кстати и некстати. У него, как и у других восточнославянских авторов, в некоторых случаях анализируемая инфинитивная конструкция употреблена скорее со значением цели, чем результата, ср.: «а ѿдежа кго бѣ свита власяна остра на тѣлѣ извьноу же на неи и ина свита. и та же вельми хоуда соущи и тоже сего ради възволочаше на ся. яко да не гавити ся власяници соущи на неи» (там же, л. 42г–43а; вм. на неи читай на немъ); кажется, что здесь говорится о том, что Феодосий надевал вторую свитку для того, чтобы не была видна его власяница, а не «так что его власяница была не видна». Также цель, а не результат имеется в виду в рассказе о пророческом сне о

перемещении монастыря: «кже о блаженѣмъ и прѣдвѣнѣмъ оцѣ нашемъ ѿеодоси. и о прѣчистѣй того и непорочнѣй молитвѣ. ꙗже же и о стѣмъ того монастыри. и ѿ того паки показоуѣ ино мѣсто. тако же тѣмъ тоу прѣселити сѧ» (там же, л. 55г); речь идет, надо думать, о месте, куда монахи переселятся, а не о месте, куда они в воображении визионера уже переселились<sup>268</sup>.

Можно указать также на два аномальных случая, в которых рассматриваемый оборот употреблен без всякого ясного назначения и смысл результата не может быть усмотрен без существенных натяжек. Представляется, что в этих случаях Нестор не справлялся с книжным синтаксическим построением и употреблял рассматриваемый нами оборот, не найдя лучших книжных синтаксических средств. Эти два случая следующие: «Мнози же того ѿ несмыслынныхъ оукарахоуѣ. то же сии съ радостию та принимаше. се же тако же и ѿ оученикъ своихъ многашьды оукоризны и досажениа томоу примати. нѣ обаче онѣ бѧ мола за всѧ прѣбываше» (там же, л. 61б; то, что Феодосий многократно терпел укоризны от своих учеников, не есть результат того, что он с радостью принимал укоры «несмысленных»); «тоже пекоущимъ готовашемъ и тѣсто мѣсашемъ. и паки имъ лѣюшемъ оукропъ въ нѣ. и се обрѣте сѧ тоу жаба. тако же тои варенѣ быти въ таковѣи водѣ. и тако же то тѣмъ оскверни» (там же, л. 52г; сваренная жаба была скорее последствием, нежели результатом того, что она оказалась в чане с тестом)<sup>269</sup>.

Можно полагать, что Житие Феодосия лежит в основании последующего употребления рассматриваемой конструкции в агиографической традиции, хотя, конечно, создававшиеся у восточных славян жития ориентиро-

<sup>268</sup> Ср. эти пассажи в не совсем точном переводе О. В. Творогова, однозначно трактующего смысл употребленных в процитированных фрагментах оборотов как целевой: «А одеждой ему служила власяница из колючей шерсти, сверху же носил другую свиту. Да и та была ветха, и одевал он ее лишь для того, чтобы не видели одетой на нем власяницы» (БЛДР, I, 391); «было видение о блаженном и преподобном отце нашем Феодосии и о пречистой и непорочной его молитве, а еще и о святом монастыре его – и так указано было то место, куда суждено будет братии переселиться» (там же, 415–417).

<sup>269</sup> От разбираемой конструкции следует отличать придаточные предложения, вводимые союзом *яко* в значении ‘что’ или ‘чтобы’ (Срезневский, III, 1654–1655) и состоящие из инфинитивного сказуемого с дативным субъектом (в анализируемом обороте *яко* имеет значение ‘так что’). Придаточные такого типа могут быть изъяснительными или целевыми, ср. в Житии Феодосия: «они же вси рекоша *яко* стѣфану достоноу быти по тѣбѣ игоуменьство приати» (Усп. сб., л. 63а); «имѣаше же обычан сиць великыи оцѣ нашъ ѿеодоси. *яко* же по всѧ ноци обиходити кмоу келнѣ мниховы вѣѣ. хотѧ оувѣдѣти когдождо ихъ како жити» (там же, л. 38г); «Великыи же никонѣ видѣвъ таковое съматенне въ князихъ соущѣ. ѿнде съ инѣма дѣвѣма чьрьноризьцема. въ прѣже реченыи островѣ иде же бѣ монастырь съставиль. и блаженомоу ѿеодосию мѣного того моливъшю. *яко* да не разоуѣтити сѧ има донѣдеже кста въ плѣти. и не ѿходити кмоу ѿ нѣго» (там же, л. 60в). Инфинитив в подобных конструкциях употреблен в тех функциях, которые присущи ему и в некнижных текстах, так что построения типа наблюдаемых в приведенных примерах нецелесообразно считать специфически книжными (во всяком случае специфически книжными инфинитивными конструкциями). Их распределение по текстам не имеет ничего общего с анализируемым инфинитивным оборотом, они употребляются существенно шире и вне связи с книжными установками авторов.

вались в первую очередь на основной корпус текстов, а лишь затем на собственно житийную литературу – как переводную, так и оригинальную. В основании летописной традиции лежит в первую очередь ПВЛ, и в ней употребление анализируемого оборота существенно отличалось от описанного для Жития Феодосия. Прежде всего, совершенно другой оказывается интенсивность употребления данного оборота. В ПВЛ он встречается 12 раз, один оборот приходится на 4900 слов, т. е. «яко + инфинитив» появляется почти в 9 раз реже, чем в Житии Феодосия. Можно сказать, что исследуемая конструкция употребляется в ПВЛ окказионально. При таком употреблении несколько ущербным оказывается и семантический потенциал конструкции: ограниченное количество стандартных (в перспективе тех закономерностей, которые мы наблюдали в Житии Феодосия) употреблений соседствует с синтаксическими «промахами», не поддающимися хорошему объяснению.

В 6 случаях (50%) может быть отмечено значение результата, подчеркивающего экстраординарность основного события, один такой пример из рассказа об ослеплении Василько уже приводился выше, ср. еще: «бѣ бо раслабленъ тѣломъ. и оумомъ. яко не мощи ему шбратитиса на другую страну. ни встати и ни сѣдити. но лежа на единой странѣ» (л. 71об.; там же, стб. 185). В одном случае из этих шести реализуется отмеченный выше трафарет с глаголом *дивитися*: «кнагини же. его. много раздили бѣатьство. монастыремъ. и попомъ и оубогымъ. яко дивитиса всѣмъ члѣкомъ. яко такою млѣти никтоже можетъ створити» (л. 102об.; там же, стб. 275). В ПВЛ можно усмотреть начальный этап образования еще одного трафарета, а именно употребления конструкции «яко + инфинитив» при описании астрономических и природных явлений, ср.: «и бы<sup>а</sup> сияючи за .к. дѣи по сем же бы<sup>а</sup> звѣздамъ течение. с вечера до оутриа. яко мнѣти всимъ. яко падають звѣзды» (л. 61об.; там же, стб. 154); «течение звѣздное бы<sup>а</sup>. на нбсѣ<sup>а</sup>. ѿтергахоу бо са на землю и яко выдадимъ мнѣти кончину» (там же).

В большинстве примеров значение результата (следствия) просматривается вполне отчетливо, ср., например: «тѣмъ любимъ бѣ ѿцѣмъ своимъ. яко глѣти ѿцѣ его к нему. сѣу мои блго тобѣ. яко слышу ш тобѣ кротость і радуюса» (л. 79об.; там же, стб. 207), хотя в отдельных случаях выбор между значением результата и цели может вызывать затруднения, ср. в истории об Аполлонии Тианском: «ѿ Рима бо пришедъ въ Оузантію. оумоленъ бы<sup>а</sup> ѿ живущи ту створити сия. ѿгна множество змии. и скоропиа изъ града. яко не вѣрежатиса члѣкомъ ѿ нихъ» (л. 15об.; стб. 29–30)<sup>270</sup>. Однозначно целевое

<sup>270</sup> Как известно, эта история заимствована в ПВЛ из Хроники Георгия Амартола (о характере этого заимствования см.: Франклин 1986, 386–388; ср. выше § I-2). В славянском переводе Хроники в цитируемом пассаже наблюдаются лишь незначащие для разбираемого нами вопроса разночтения, ср.: «ѿ Рима бо пришедъ въ Оузантію, оумоленъ бы<sup>а</sup> ѿ живоущихъ в немъ творити сия, ѿгнавъ множество змии искорени ѿ [искажение позднего списка вместо исходного *и скоропиа*, имеющегося в других списках] изъ градъ, яко не вѣрежатиса члѣкомъ ѿ нихъ» (Истрин, I, 305). О. В. Творогов переводит данное место ПВЛ следующим образом: «Однажды, когда из Рима пришел он в Византию, упросили его живущие там сделать следующее: он изгнал из города множество змей и скорпионов, чтобы не было от них вреда людям» (БЛДР, I, 91); тем самым он придает обороту «яко +

значение выступает в цитате из Иезекииля (Иез. 33: 11): «яко же прѣркъ глѣть живѣ азъ Адана Г<sup>ѣ</sup>. яко же не хоцю смѣрти грѣшника. яко же шбратитиса ему ѿ пути своего и живу быти» (л. 49; там же, стб. 116); нестандартный смысл обусловлен здесь, видимо, недостатками цитируемого библейского перевода (ср. в греч. «ὥς τὸ ἀποστρέψαι τὸν ἁσεβῆ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ»). Отмечу еще странное употребление рассматриваемого оборота в пассаже, заимствованном из Малалы: «и по семъ цр<sup>ѣ</sup>това снѣ его именемъ Слнѣ егоже наричють. Дажьбѣ семъ тысащъ и ѹ и семъдесать днѣи яко быти лѣтома. двемадесатьмати» (л. 104об.; там же, стб. 279)<sup>271</sup>.

Позднейшее летописание восточнославянского юга не отличается радикальным образом от того образца, который был задан ПВЛ. В Киевской летописи встречается 11 примеров интересующей нас конструкции, т. е. столько же, сколько и в ПВЛ; поскольку Киевская летопись приблизительно в полтора раза превышает по объему ПВЛ, это означает существенно меньшую интенсивность употребления разбираемого оборота. Содержательные параметры его функционирования ближайшим образом напоминают ПВЛ. Коннотация экстраординарности основного события присутствует почти во всех примерах; она вполне выражена по крайней мере в 9 примерах из 11 (81%), ср. хотя бы: «Шлегъ же бѣ в то верема несдравуа велми. яко не мощи ему ни на конь всѣсти» (л. 188; там же, стб. 526); невозможность даже сесть на коня показывает тяжесть болезни. В одном случае интерпретация неоднозначна: «и потребатса грѣшници ѿ земла яко не быти и<sup>м</sup>» (л. 197об.; там же, стб. 553); неясно, означает ли «так что их больше не будет» эмфатическое добавление к истреблению грешников или тавтологический повтор.

В Киевской летописи яснее, чем в ПВЛ, видно значение трафаретов. В двух случаях фигурирует оборот с глаголом *дивитиса*: «и оукрашивъ ю и оудививъ ю сосуды златыми и многоцѣнными тако яко и всимъ приходящимъ дивитиса» (л. 205об.; там же, стб. 581; о построении церкви Андреем Боголюбским); «Того же лѣ<sup>а</sup> бы<sup>а</sup> знамение. м<sup>ѣ</sup>ца сентабра. ѿ. днѣ. тма бы<sup>а</sup> по всеи землѣ яко же дивитиса всимъ члѣкомъ. слнѣ бо погибе а нбо погорѣ вблакы шгнезарными» (л. 228; там же, стб. 655). Последний пример

---

инфинитив» однозначно целевое значение, что вряд ли оправданно. В греческом оригинале Амартола, как и ожидается, стоит оборот «ὥστε + инфинитив», имеющий скорее результативное, нежели целевое значение: «ἀπὸ Ῥώμης δ' ἐλθὼν πρὸς τὸ Βυζάντιον καὶ παρακληθεὶς ὑπὸ τῶν ἐντοπίων ἐποίησε ταῦτα φυγαδεύσας τὸ πλῆθος τῶν ὁφείων καὶ σκorpionων ἐκ τῆς πόλεως, ὥστε μὴ ἀδικεῖσθαι ὑπ' αὐτῶν τοὺς ἀνθρώπους» (Боор, II, 444).

<sup>271</sup> В этом контексте *яко быти* должно по существу переводиться как 'то есть' (ср. в украинском переводе Л. Махновца: «А після цього царствував син його, на ймення Сонце, – що його зовуть Дажбогом, – сім тисяч і чотириста і сімдесят днів, – себто буде двадцять з половиною літ» – <http://litopys.org.ua/litop/lit13.htm>). Конечно, возможен и перевод 'что дает двадцать лет', и в этом случае появляется нечто вроде результата. Для интерпретации летописного текста это все же кажется натяжкой, равно как и трактовка этого оборота как придаточного изъяснительного. Можно заметить, что придаточные изъяснительные с *яко* и инфинитивом в ПВЛ не редкость, ср.: «и повѣдаше Нои яко быти потопу» (л. 35об.; там же, стб. 77); «и шель ротѣ с Володимѣромъ. яко сѣсти Володимеру в Киевѣ» (л. 90; там же, стб. 237). Как уже говорилось, такие обороты с книжными установками пишущего не соотносятся.

иллюстрирует также трафарет, при котором рассматриваемый оборот употребляется для описания природных и астрономических явлений. В Киевской летописи есть еще три примера использования этого же трафарета, ср.: «и бы<sup>а</sup> въ тѣ днѣ мыла велика. яко не видити до конецъ копья» (л. 167об.; там же, стб. 466); «томъ же лѣ<sup>а</sup> бы<sup>а</sup> знамение в лунѣ. яко погыбнути ему всему. мѣца августа. въ кѣ днѣ» (л. 183; там же, стб. 512). Можно отметить, что в Киевской летописи на долю трафаретов приходится большее число примеров, чем в ПВЛ, что следует рассматривать как проявление фактора традиционности (подражательности) в употреблении рассматриваемого оборота, роль которого со временем возрастает («свободное» употребление данного оборота становится при этом более редким)<sup>272</sup>.

Нельзя не сказать, впрочем, что в Галицко-Волынской летописи трафареты не играют столь заметной роли, как в Киевской; материал для наблюдений, однако, здесь еще более ограничен, чем в Киевских анналах. Встречается лишь семь примеров интересующей нас конструкции, что тем не менее – в силу меньшего объема данной летописи в сравнении с Киевской – не свидетельствует о снижении интенсивности в ее употреблении. Коннотация чрезвычайности присутствует в пяти из семи примеров (71%), ср.: «В соу<sup>а</sup> же на ночь поплено [в др. сп. поплнено] бы<sup>а</sup> школо Белза. и школо Червена. Даниломъ и Василкомъ. и вса земла поплнена бы<sup>а</sup>. боаринъ боарина плѣни<sup>а</sup>шю. смердъ смерда градъ града. якоже не шстатиса ни единой вси [в др. сп. доб. не] плѣнени» (л. 251об.; там же, стб. 739); «И бы<sup>а</sup> рать велика. якоже наполнити болота. Ютвѣжская полкомъ» (л. 278; там же, стб. 831; сражение было столь ожесточенным, что полки наполнили ятвяжские болота)<sup>273</sup>. В одном случае при описании «церкви святого Ивана», построенной и украшенной Даниилом Галицким, значение чрезвычайности эксплицировано трафаретным оборотом с глаголом *дивитися*: «двѣри же еи. двоѣ оукрашены. каменемъ Галичкы<sup>а</sup> бѣлымъ. и зеленымъ. Холмъ-скимъ тесанымъ. оузоры тѣ. некимъ хытрѣчемъ. Авдѣемъ. прилѣпы ѿ всѣхъ шаровъ. и злата. напреди ихъ же бѣ издѣланъ Сѣсъ. а на по-

<sup>272</sup> Можно полагать, что о формировании трафарета свидетельствуют и те случаи, когда он употребляется «с ошибками», т. е. когда употребляется некий его дериват, искажающий грамматическую схему трафарета. Такой дериват природно-астрономического трафарета присутствует, видимо, в следующем примере: «тогда бо глахоутъ тмоу бывшую в Галичи яко и звѣзды видити середѣ днѣ слѣцо померькшю» (л. 228, там же, стб. 655); у глагола *видити* отсутствует (дативный) субъект, и это не дает возможности находить в данном случае анализируемую нами конструкцию. Тем не менее влияние данной конструкции (и данного трафарета) на построение фразы имеет место.

<sup>273</sup> И в остальных двух случаях можно было бы найти оттенок экстраординарности, передаваемый инфинитивным оборотом, однако в них присутствие этого оттенка не столь очевидно, ср.: «и взаша скоты ихъ. а со стады оутекоша. яко всимъ во емъ наполнитиса скота» (л. 252об.; там же, стб. 743; то, что все солдаты разжились скотом, может свидетельствовать о чрезвычайности добычи); «прилоучи же са сице за грѣхы. загорѣти<sup>а</sup> Холмови ѿ шканьныя бабы си же потомъ спиемъ ѿ созданинии гра<sup>а</sup>. и оукрашение цркви. и шного погибели мнозѣ. яко всимъ сжалитиси» (л. 281; там же, стб. 841; то, что все опечалились [отметим, что и здесь кванторное *весь*], говорит о масштабах катастрофы).

лоунощны<sup>х</sup>. сѣи Иванъ. ꙗкоже всимъ зращимъ дивитиса бѣ» (л. 281об.; там же, стб. 844; поставленная без всякой надобности форма имперфекта *бѣ* говорит о том, что автору было не всегда легко справляться с книжным синтаксисом).

Летописание восточнославянского севера еще более сдержанно в употреблении рассматриваемой конструкции, чем летописание юга, хотя контраст между двумя традициями в данном отношении не столь разителен, как в случае конструкции «*быти* + действит. причастие» (см. выше, § IV-3.2). В Суздальской летописи, несколько большей по объему, чем Галицко-Волынская летопись, всего пять примеров оборота «*яко* + инфинитив», причем два из этих пяти находят прямое соответствие в Киевской и Галицко-Волынской летописях, так что могут рассматриваться как усвоенные из «южной» анналистики<sup>274</sup>. Из остальных трех примеров два приходятся на астрономически-природный трафарет и обладают коннотациями чрезвычайности: «ставшим же и<sup>м</sup> межи собою в днь четверта. бы<sup>а</sup> дождь силенъ с вѣтро<sup>м</sup>. ꙗко ни ратны<sup>м</sup> помочи [вар.: мочи] собѣ видѣти. шлющи<sup>м</sup> слы межи собою ш мирѣ» (л. 111; ПСРЛ, I, стб. 333); «Бы знаменье въ слнци. и морочно. бы<sup>а</sup> велми. ꙗко и звѣзды видѣти члѣкмъ въ шчю ꙗко зелено баше» (л. 134; там же, стб. 396).

Еще более выразительно выглядит контраст между северным и южным летописанием, если обратиться к Новгородской первой летописи. В старшем изводе (Синодальный список) имеется ровно один пример анализируемой конструкции: «силоу креста честнаго и помощю святыхъ Софѣя, молитвами святыхъ владычица наша Богородица приснодѣвица Марія и всѣхъ святыхъ, пособи богъ князю Дмитрию и новгородцемъ, мѣсяца ферваря 18, на память святого отца Лва, в суботу сыропустную; и гониша ихъ, бѣюче, и до города, въ 3 пути, на семи верстѣ, ꙗкоже не мочи ни коневѣ ступити трупиемъ» (л. 146; НПЛ, с. 87). В этом единственном примере инфинитивный оборот явно придает главному событию характер экстраординарности: новгоро-

<sup>274</sup> Эти два случая следующие. В истории о Федорце Ростовском под 1169 г. говорится: «митрополитъ же Костантинъ повелѣ <...> шчи ему вынати. зане хулу измолви на сѣю Бѣю. потребляють бо са грѣшници ѿ земаля. и безаконьници ꙗко и не быти имъ» (л. 119об.; ПСРЛ, I, стб. 356); этот рассказ в точности соответствует тому, который читается в Киевской летописи (л. 197об.; ПСРЛ, II, стб. 553); направление зависимости нас сейчас может не интересовать. В рассказе о столкновении с татарами, предшествовавшем битве при Калке, под 1223 г. говорится: «и взаша скоты и<sup>х</sup> а съ стады оутѣкоша. ꙗко всимъ воємъ наполнитиса скотомъ» (л. 232; ПСРЛ, I, стб. 507); эту же фразу находим и в Галицко-Волынской летописи (л. 252об.; ПСРЛ, II, стб. 743); здесь, видимо, приоритет имеет южное летописание (в рассказе имеются критические замечания о севернорусских князьях). Интересно отметить, что в одном случае в Суздальской летописи воспроизводится формулировка ПВЛ, но при этом устраняется оборот «*яко* + инфинитив», ср. в ПВЛ: «при Костантинѣ иконоборци. [црѣ] сѣа Лешнова теченье звѣздное бы<sup>а</sup> на нѣбѣ. ѿторваху бо са на землю. ꙗко видащи<sup>м</sup> мнѣти кончину» (л. 55об.-56; ПСРЛ, I, стб. 165) и в Суздальской: «и видѣши же нѣции течение звѣздное бы<sup>а</sup> на нбси. ѿторгахъ бо<sup>а</sup> звѣзды на землю. мнѣти ви<sup>а</sup>щи<sup>м</sup> ꙗ. ꙗко кончинъ» (л. 238об.; стб. 419); перестановка *яко* свидетельствует, надо думать, о недопонимании интересующей нас синтаксической конструкции.

дцы преследовали своих врагов столь успешно, что конь не мог не споткнуться об их трупы<sup>275</sup>.

В младшем изводе (Комиссионный список) примеров несколько больше, а именно пять. Два из них, однако, заимствованы из киевского летописания<sup>276</sup>, а один (л. 182; НПЛ, с. 318) совпадает с цитировавшимся выше из старшего извода НПЛ. Из оставшихся двух один приходится на Житие Александра Невского: «Сеи бѣ князь Александръ богомъ роженъ от отца боголюбива и мужелюбца, паче же и кротка князя великаго Ярослава, от Федосиа матери, боголюбивы нравом; доброчестива и богоугодна купнѣ якоже суща, великими просвѣщается дѣлы, якоже иноческаго сподобитися ей чина» (л. 161об.; там же, с. 290). Второй содержится в похвале архиепископу Феоктисту под 1310 г. и реализует известный нам трафарет с глаголом *дивитися*: «Того же лѣта, на зиму, преставися блаженный архиепископъ новгородчкый Феоктистъ, мѣсяца декабрия въ 23, на память святых мученикъ 10, иже въ Критѣ, много пострада богови въ болезни, святая душа его возиде на небеса, а лице его просвѣтися яко свѣтъ, яко всѣмъ видящим дивитися и славити бога» (л. 193об.–194; там же, с. 333).

Позднейшее летописание, насколько можно судить по выборочным данным, достаточно разнообразно в интересующем нас отношении, так что складывающиеся в нем тенденции требуют отдельного исследования. В Московском летописном своде, причем в последней его части, описывающей события с 1380 по 1492 (ПСРЛ, XXV, лл. 276–472об.), имеется 17 примеров рассматриваемой конструкции; интенсивность использования вполне сравнима в этом случае с ПВЛ (по объему эта часть приблизительно в полтора раза превышает ПВЛ, и число примеров приблизительно в полтора раза больше, чем в ПВЛ). Оттенок чрезвычайности присутствует как минимум в 14 из этих 17 примеров, так что в данном плане употребление вполне традиционно и основано на образцах предшествующей анналистики; ср. достаточно выразительные примеры: «И тогда плакашася над ним многимъ плачем князи и бояре и епископи и священници и весь народ плачемъ горкым, яко и земли трястися и аеру възмутитися и человекѡмъ възмястися» (л. 303об.; ПСРЛ, XXV, 217). Впрочем, эмфазис сам по себе не объясняет всей совокупности имеющихся примеров; они распределены по тексту летопис-

<sup>275</sup> Стоит, возможно, еще раз подчеркнуть, насколько несхоже поведение анализируемого оборота и целевых и изъяснительных придаточных с инфинитивным предикатом. Последние встречаются в Новгородской первой летописи в немалом количестве, ср. «Цесарь нѣмечскый посла къ папѣ въ Римъ, и тако увѣчаста, яко нѣ воевати на Цесарьградъ» (л. 65; НПЛ, с. 46); «И цѣловаша послы крестъ; а тамо ѣздивъ Лазоръ Моисиевичъ водилъ всѣхъ ихъ къ кресту, пискуповъ и божиихъ дворянъ, яко не помогати имъ колыванцемъ и раковорцемъ» (л. 143об.–144; там же, с. 86).

<sup>276</sup> Эти два примера следующие: «И паки сие же бысть при Устианѣ цесари, звѣзда восиа на западѣ, испущающе луча, еуже прозываху блистаньницу, и бысть ей сѣяющи за 20 днии; посемъ же бысть звѣздамъ течение с вечера до утрия, яко мнѣти всѣмъ, яко падуть звѣзды» (л. 85об.; НПЛ, с. 185; ср.: ПСРЛ, I, стб. 165); «Посемъ же бысть при Костянтинѣ иконоборци, сына Леонова: течение звѣздное на небеси бысть, отторгахуть бо ся на землю, яко видящимъ имъ кончину мнѣти» (л. 86; НПЛ, с. 185; ср.: ПСРЛ, I, стб. 165).



ного свода неравномерно и появляются преимущественно в тех фрагментах, которые обнаруживают выраженную установку пишущего на книжность изложения; так, своего рода скопление примеров читается в повествовании о Пафнутии Боровском (сближающемся с агиографической традицией и отличающемся по синтаксису от соседствующих погодных записей), ср.: «Мѣсяца маиа 31 с пятници на субботу канун всѣх святых мороз велми велик был, яко и лужам померѣзнути» (л. 435); никакого частного стилистического задания в этом обороте не видно.

В употреблении рассматриваемого оборота существенную роль играют трафареты. Четырьмя примерами представлен трафарет с глаголом *дивитися* и его синонимами, ср.: «Сиа же и ина многа изглагола, им же нѣсть числа исписати не мочно, глаголющу же ему слезам текущим от очию его, яко же быстринам, яко всѣм сущим ту дивитися таковому смиренію и умиленію» (л. 373об.); «и церковь въздвиже, преже древяну, по томъ же камену устрои, и подписа ея чюдно велми, и украси ея иконами, и книгами, и всякою утварию церковною, яко дивитися и самим тѣмъ самодръжцем Русскыа земля, и при животѣ его приходити к нему благословения ради и молитвы еже о них» (л. 435); «А воеводы великого князя поидоша к Шолонѣ, и яко пришедшим имъ к берегу реки тоя, идѣ же брести чрес ея, оже в ту же пору прииде ту рать Новгородскаа противу их съ другия страны от града своего к тои же рецѣ Шолонѣ, многое множество, яко и ужаснутися полком великого князя» (л. 403об.)<sup>277</sup>. В одном случае находим реализацию «природно-астрономического» трафарета, ср.: «И бысть тогда туча страшна и грозна велми, гром страшень и молниам блистания, яко и живота сущим с Витовтом отчаатися» (л. 345). Можно предположить, что распространением этого трафарета является употребление рассматриваемого оборота при описании пожаров, вернее, при указании на чрезвычайную силу огня или чрезвычайные размеры нанесенного им ущерба, ср.: «Бысть пожаръ великъ въ градѣ Ростовѣ, множество церкви згорѣ и церковь соборная выгорѣ Пречистая, яко и каменью распастися, в ней же иконы и книги и сосуды златыя и сребренныя з жемчюгом и с каменіемъ дорогым, то все огнем погорѣ» (л. 332); «Того же мѣсяца июля 14 день в среду загорѣся град Москва внутри города в нощи и выгорѣ весь, яко ни единому деревеси на градѣ не остатися» (л. 367); пожары представляют собой, конечно, постоянную тему анналистических сочинений, и в более ранних летописях они описываются с помощью других трафаретов, так что использование конструкции «яко + инфинитив» в этом контексте может рассматриваться как инновация составителя Московского летописного свода, связанная с тем, что в ряде фрагментов он интенсивно использует анализируемый оборот.

Степенная книга в своих последних трех степенях в целом напоминает Московский летописный свод. Правда, исследуемая конструкция используется в ней несколько менее интенсивно, однако примеры распределены по

<sup>277</sup> Отмечу еще в более ранней части Московского летописного свода: «Тое же зимы преставися блаженны архиепископъ Новгородскыи Феоктистъ, много пострадавъ богови в болѣзни. Во преставлении же его просвѣтися лице его яко солнце, яко всѣмъ видящимъ дивитися и славити бога» (ПСРЛ, XXV, л. 204 об.-205).

тексту с подобной же неравномерностью: в 15 степени встретились три примера, в 16 – четыре, а в 17 – ни одного. В шести примерах из семи присутствует коннотация экстраординарности, ср.: «Нѣкто же нищъ мужъ, слышавъ сиа, и шедъ къ церкви тои, никимъ же посланъ, и начать копати, обрѣте камень великъ, яко двадесетимъ челоуѣкомъ едва мощи двигнути его» (Степенная книга, II, с. 303, л. 694); «В него же толико много воды влити повелѣ, яко ни единому сосуду праздну не обрестися» (там же, с. 335, л. 728об.)<sup>278</sup>. Определенную роль в употреблении рассматриваемого оборота играют описанные выше трафареты. В одном случае мы находим инфинитивный оборот с глаголом *ужаснутися* (как синоним *дивитися*), совпадающий с процитированным выше из Московского летописного свода (там же, с. 230, л. 627об.; см.: ПСРЛ, XXV, л. 403об.). В другом случае работает «природно-астрономический» трафарет: «Потомъ же наставшу лѣту 6985, сентября 1 громъ бысть велии, и прииде стрѣла громная въ монастыри, иже на Симановѣ, и съ церкви каменья срази верхъ, и падеся глава церковная и шиа внутрь церкви, яко мѣсту поколебатся отъ гремѣния страшнаго» (Степенная книга, II, с. 284, л. 677об.–678).

Такая ситуация, однако, характерна лишь для части позднего летописания, причем, видимо, части меньшей. Ряд поздних летописей либо вовсе не употребляет рассматриваемого оборота, либо употребляет его в единичных случаях. Так, в Новгородской второй летописи мы находим всего два примера. Один представляет собой заимствование из старого летописания, а именно из ПВЛ (или Начального свода): «В лѣто 6536. Знамение явися змиево на небесныхъ, яко видѣти всеи земли» (л. 71; ПСРЛ, XXX, 170; ср.: ПВЛ по Лавр. списку, л. 50об.; ПСРЛ, I, стб. 149; с. а. 1028). Во втором случае реализуется «природно-астрономический» трафарет с характерным для него глаголом *поколебаться*: «И в ностоящей час рождение его бысть внезапно громъ страшенъ зѣло и блистания молнииныи бывшу по все области державныхъ ихъ, яко от основанию земли поколебаться, таковому страшному грому» (л. 90–90об.; ПСРЛ, XXX, 176). В Летописце 1619–1691 гг. анализируемая конструкция вообще не употребляется.

Вернемся теперь к агиографическому нарративу. В силу того, что он в большей степени ориентирован на тексты основного корпуса, нежели нарратив летописный, он более последовательно удерживает рассматриваемые нами инфинитивные обороты, хотя и в агиографической традиции интенсивность их употребления зависит от установки автора на книжность. Как уже говорилось выше, Житие Феодосия оказывается в данном отношении

<sup>278</sup> Единственный пример, в котором оттенок чрезвычайности не просматривается, появляется в Послании Вассиана Рыло на Угру, включенном в 15-ю степень Степенной книги. Этот текст в целом характеризуется обилием специфически книжных построений, нередко синтаксически не оправданных, но служащих созданию своего рода риторического великолепия. Это специальная установка обуславливает, видимо, и нестандартное употребление анализируемого оборота: «И что убо съвѣщаютъ ти лъстивии сии лжеименитии, мнящесе быти християне, но токмо еже повергъше щыты своя и нимало съпротивльшесе окаяннымъ симъ сыроядцемъ, предавъ христьянство и свое Отечество, яко бегуномъ скитатися по инымъ странамъ» (Степенная книга, II, с. 256, л. 650).

едва ли не исключением: Нестор в большей степени привязан к специфически книжным синтаксическим построениям, чем большинство позднейших агиографов. Так, например, в Житии Авраамия Смоленского (БЛДР, V, 30–64; Розанов 1912, 1–24), использующем сочинение Нестора (см.: Розанов 1912, 4, 16, 36, 46, 54, 67, 77, 78, 87, 97, 104), встречается всего семь интересующих нас конструкций; один оборот приходится приблизительно на 1100 слов, что, конечно, существенно чаще, чем в любом из летописных памятников, но все же почти в два раза реже, чем в Житии Феодосия. Оттенок чрезвычайности привносится рассматриваемым оборотом практически с той же последовательностью, что и в Житии Феодосия – в 5 из 7 примеров (71%), ср. хотя бы: «Есть бо, о братие о семь приложити слово на утѣшение вамъ: тако бо бѣ благодатью Христовою утѣшая приходящаа, и плѣняя ихъ душа и смыслъ ихъ, дабы възможно и неотходящу быти, яко же и сему мнози суть послуши, яко же и самому игумену не стерпѣти, многыя к нему видя притекающаа» (там же, 38; изменена грамматически бессмысленная пунктуация издателя)<sup>279</sup>.

Житие появляется в XIII в., и это побуждает думать, что трафареты, использующие анализируемый оборот, еще находятся в процессе формирования. Некоторый материал, однако, обнаруживается. В одном случае находим оборот с инфинитивом *чудитися* (синоним *дивитися*): «к сему же на игры съ инѣми не исхожааше, но на божественное и на церковное пѣние и почитание преже инѣхъ притекая, яко о семъ родителема радоватися, а инѣмъ чюдитися таковому дѣтища разуму» (там же, 32–34). Видимо, как реализацию того же трафарета, расширяющую сферу его применения, можно рассматривать и следующий пример: «Пребысть же блаженный Авраамий въ прежереченнѣмъ монастыри въ трудѣ и въ бдѣнии, и въ алкании день и ночь, яко же и самому игумену, зрящу добраго житѣя, радоватися, и всей братѣи славити Бога, и мноземъ отъ мира притекати отъ него утѣшение примати отъ святыхъ книгъ» (там же, 36); в предшествующем примере в качестве реакции публики на поведение протагониста выступали *радоватися* и *чудитися*, в разбираемом предложении этот набор видоизменяется (именно так и осуществляется динамика трафаретов) и превращается в *радоватися*, *славити* и *притекати*. В тексте можно обнаружить и начальный материал для «природно-астрономического» трафарета, возможно, говорящий о вли-

<sup>279</sup> В двух случаях, как мне представляется, главное событие может быть истолковано как чрезвычайное, но инфинитивный оборот не имеет к этому прямого отношения, ср.: яко за то прииде на ня гнѣвъ Божий и бысть на ня 5 лѣтъ глада, да накажуться не радоватися о злѣ ни о коемъ же, яко же приити иконому къ преподобному Савѣ и глаголати: «Уже суть братѣя не ядше всю недѣлю, да уже есть намъ не ударити в трапезѣ било» (БЛДР, V, 46); чрезвычайность голода подчеркнута тем, что братия не ела целую неделю, но не тем, что иконом пришел к Савве; «еще преподобному не дошедшу своя кѣлия, одожди Богъ на землю дождь, яко славити Бога всѣмъ и глаголати» (там же, 50–52); случившееся чудо экстраординарно, как и всякое чудо, но всеобщая благодарность Богу за чудо подразумевается и ничего не прибавляет к его чрезвычайности. Возможно, мы имеем здесь дело с вполне типичными сдвигами в употреблении конструкции, когда контекст создает семантическую аттракцию, поглощающую собственную семантику конструкции.

янии летописной традиции: «Бывшу же бездождью велику въ градѣ, яко иссыхати земли и садомъ, и нивамъ, и всему плоду земленому» (там же, 50).

Если взглянуть на последующую агиографическую традицию, в которой интенсивность употребления исследуемого оборота существенно снижается не только в сравнении с Житием Феодосия, но и в сравнении с Житием Авраамия, это последнее выглядит как определенный промежуточный этап. Похоже, что некоторое новое состояние традиции отложилось в Житии Сергия Радонежского. В той редакции, которая публикуется в Библиотеке литературы Древней Руси (компилятивная редакция, сохранившаяся в рукописях XVI в., напечатанная в свое время архимандритом Леонидом – Леонид 1885 – и с рядом дополнений воспроизведенная Д. М. Буланиным), встречается 12 примеров анализируемой конструкции, интенсивность употребления составляет при этом один оборот на 2800 слов, что почти в пять раз меньше, чем в Житии Феодосия, хотя вместе с тем почти в два раза больше, чем в ПВЛ<sup>280</sup>. В 10 примерах (83%) присутствует коннотация чрезвычайности, ср.: «Егда испрѣва начинашеся създаватися мѣсто то, егда немножайшим братьям живущим в нем, егда немнози бяху приходящеи и приносящеи, тогда начастѣ скудости бываху потребных, яко многажды на утриа и хлѣбу не обрѣстися» (БЛДР, VI, 332); «Бѣ же тѣм прѣдреченный вельмужа бѣсом мучим лютѣ, непрестанно въ дни и въ нощи, яко и желѣзныя ему узы съкрушати» (там же, 350).

В четырех случаях, т. е. в трети всех употреблений реализуется трафарет с глаголом *дивитися* и его синонимами: «елма же Богъ избра тебе, еще суща въ утробѣ матернѣ носима, и прознамена о тебѣ и преже рожения твоего, егда трикраты провъзгласилъ еси въ всю церковь въ время, егда поют святую литургию, якоже и всѣм людемъ, стоящим ту и слышащим, въ удивлении быти и ужаснымъ почюдитися» (там же, 290; пунктуация изменена); «он же и сподоби его иночьскому образу, и тако пребывающу ему у святого въ свершеном послушании, житие добродѣтельно проходя, тѣло свое изнуряя зѣлным въздръжаниемъ, яко и дивитися мнозѣмъ о нем» (там же, 368; пунктуация изменена). В одном случае инфинитивом оказывается *ужаснутися*, обозначающее, как и *дивитися*, чрезвычайную реакцию наблюдателей: «тогда абие внезапу младенецъ начят въпити въ утробѣ матернѣ, якоже и многим от такового приглашения ужаснутися о преславнѣмъ чудеси,

<sup>280</sup> В Первой Пахомиевой редакции Жития (по классификации Б. М. Клосса) примеров несколько больше; во всяком случае ряду примеров, имеющих в этой редакции, в компилированной редакции ничего не соответствует, ср.: в первой Пахомиевой редакции: «начат стихословити зѣло добрѣ и строинѣ, яко и дивитися святому тому старцу» (Клосс 1998, 346); в компилированной: «отрок прием благословение от старца, начят стихословити зѣло добрѣ стройнѣ; и от того часа гораздѣ бысть зѣло грамотѣ» (БЛДР, VI, 278); в первой Пахомиевой редакции: «И живяше въ всяком послушании и повиновении, яко дивитися зрящим его» (Клосс 1998, 352); в компилированной: «Симон же по много лѣтъ поживе в покорении и въ послушании, паче же въ странничествѣ и въ смиреннии» (БЛДР, VI, 326). Было бы интересно рассмотреть текстологические соотношения этих вариантов и выяснить, в какой момент появляются интересующие нас конструкции. Принципиально, однако, эти несколько дополнительных примеров общей картины не меняют.

бывающемъ о младенци семъ» (там же, 262). Еще в одном случае появляется перифрастическая конструкция *ужасшися стояти*, что можно рассматривать как развитие анализируемого трафарета: «яко и въ всю церковь изыде глас его, яко и самой матери его ужасшися стояти, и сущим женамъ стоящим ту, и недомыслящимся в себѣ, глаголющим» (там же, 262). В двух случаях можно говорить о природно-астрономическом трафарете: «И абие зрит видѣние чюдно: свѣт бо велий явился с небесе, яко всей ношнѣй тмѣ отгнаннѣй быти; и толицѣмъ свѣтом ночь она просвѣщена бѣ, яко дневный свѣт превѣсходити свѣтлостию» (там же, 352); «Случи бо ся нѣкогда, плывущим намъ от Коньстантина града къ Руским странам, къ своей митрополии, вѣтру же велию бывшу в мори, яко и кораблю съкрушатися от зѣлнаго влѣнениа» (там же, 364). Таким образом, трафареты охватывают половину всех примеров в Житии Сергия, так что можно считать, что эти устойчивые конструкции оказываются основой употребления рассматриваемого оборота в поздних памятниках.

Подробный анализ этих памятников выходит за рамки настоящей работы, но два общих момента, о которых, впрочем, уже так или иначе говорилось выше, стоит отметить. Первый – это сохранение рассматриваемого оборота в репертуаре книжных конструкций несмотря на весьма низкую интенсивность его употребления. Авторы, стремящиеся придать своим сочинениям облик высокой книжности, употребляют разбираемую конструкцию как знак своего книжного мастерства – нечасто и непоследовательно, но, видимо, вполне сознательно маркируя им свои риторические установки. Второй – это возрастающая роль трафаретов, указывающих прежде всего на те ситуации, в которых стоит пользоваться анализируемым оборотом, и дающих готовые лексические формулы, облегчающие его использование.

Последний момент можно проиллюстрировать массовым характером вполне традиционного, как было показано, использования инфинитивного оборота с глаголами *дивитися*, *чудитися* и их синонимами в тех ситуациях, когда результатом какого-либо действия, совершенного протагонистом, оказывается удивление или изумление тех лиц, которые наблюдают это действие (или которым адресовано это действие). См. в Житии Мартиниана Белозерского: «И толико потрудися блаженный и подвиги показа на старость жителства своего, яко всѣмъ чюдитися и ѹдивити прилежанию его и ѹсердию» (Прохоров и др. 1993, 268); в Житии Димитрия Прилуцкого: «бы<sup>ѣ</sup> постыникъ чюдень. <sup>ѡ</sup>ако мнозѣмъ дивитисѧ терпѣнїю его и смиреннѡмѡудрїю и простотѣ<sup>ю</sup>» (л. 204–204об.; Герд 2003а, 74); в Житии Григория Пельшемского: «и бы<sup>ѣ</sup> постыникъ чюдень. <sup>ѡ</sup>а<sup>к</sup> и мнозѣмъ дивитисѧ того трѣпѣнїю. и смиренїю и кротости» (л. 304; Герд 2003а, 152); «и приходѧ ко гробѡу прѣбнаго григорїа чюдотворца. припадаѧ плачѧся грѣховъ свои<sup>х</sup>. <sup>ѡ</sup>ако видѧщимъ его дивити<sup>сѧ</sup> множеству слез<sup>а</sup> его» (л. 322; там же, 174); в Житии Антония Сийского: «Бла<sup>ж</sup>нномоу же ѡтрокоу вышенамененому андрею во оучилищи. паче всѣ<sup>х</sup> сверстникъ свои<sup>х</sup>. зело преспѣвающюу книжномоу ѹченїю въскорѣ из<sup>в</sup>ыкшоу. <sup>ѡ</sup>ако оучѧлю его дивитисѧ скоромоу его книжномоу наоученїю» (Герд 2003б, 34); в Житии архиепископа новгородского Евфимия: «таже томъ некое время в монастыри живѡщѣ. въ всемъ повинѡющисѧ настоятелю своему и братїи. <sup>ѡ</sup>ако мнозѣмъ дивитисѧ и похвалити. паче же в таковон юности мно-

голѣтныи разжмѣ» (ВМЧ<sup>2</sup>, Март 1–11, л. 337b); в Повести об Улиянии Осоргиною XVII в.: «и всѣх обшиваше и всѣх нужных и болных всяцем добром назираше, яко всѣм дивитися разуму ея и благовѣрию» (ПлДР, XVII век, кн. 1, 99). В Житии Евфросинии Суздальской XVII в.: «Бывши же ей уже девяти лѣтъ, и толма бысть любящи учение, яже [вм.: якоже] чюдится родителемъ ея о толицемъ любви [так!] учений ея, чюди же ся и блговѣрный боляринъ Феодоръ о скоромъ учении ея и премудрости» (Георгиевский 1899: 88).

Первый момент хорошо замечен при сопоставлении различных редакций Жития Михаила Клопского (Дмитриев 1958). В первой, наиболее «некнижной» редакции рассматриваемого оборота нет вообще, не употребляется он и во второй редакции, украшенной риторическим многословием, но лишь в ограниченных масштабах пользующейся маркированно книжными синтаксическими конструкциями, которыми составитель этой редакции не вполне владел<sup>281</sup>. В Тучковской редакции, однако, анализируемый оборот появляется, и пяти имеющихся примеров (не так и мало на этот не слишком обширный текст) достаточно, чтобы продемонстрировать, насколько книжное художество Василия Тучкова отличается от грамматической неизощренности его предшественников. Любопытно проследить, где Тучков прибегает к интересующим нас инфинитивным оборотам. В одном случае описывается чрезвычайное природное явление – трехлетняя засуха. Во второй редакции эта ситуация описана просто: «вся вода высохла, бысть суша по три лета» (там же, 110); Тучков опознает эту ситуацию как чрезвычайное природное явление и – в согласии с трафаретом – подчеркивает его чрезвычайность с помощью инфинитивного оборота: «Случися некогда, обѣдержашу бездождию окрестныя страны Новаграда, толику же божию гневу протязаящуся нас человеколюбне наказующу, яко три лета не быти дождю» (там же, 147). Во втором случае рассказывается, как чудесным образом заболели два разбойника, собиравшиеся напасть на монастырь. В Тучковской редакции подчеркивается тяжесть недуга: «И абие от слова святаго ужасошася, и в недуг тяжек оба впадоша, яко ни языком глаголати им възмощи» (там же, 148). Тучков также приводит в порядок синтаксически неудачный пассаж второй редакции, в котором говорится о буре на озере, не дававшей возить камень; Тучков облакает это сообщение в правильные книжные формы: «Ненавидяй же искони добра враг въздвизает бурю в езере, яко невозможно ни единой ладьи приити с камением» (там же, 149). Еще в одном случае описывается чудо с вельможей Олферием (Елевтерием), которому святой велел отступить от несправедных притязаний, угрожая немедленной страшной болезнью. Вельможа не послушался, и, как говорится во второй редакции, «в той час отняся у него рука, и нога, и язык прочее, и не

<sup>281</sup> Во второй редакции имеется один сомнительный пример: «И некогда, по устроению прещедраго бога, хотяще боле прославити своего угодника, абие вѣсташа бурно дыхание безъпрестанно велие, [я]ко две недели бяше и негде чего добыти, и яко же в размышлении всем им быти [быти в ряде списков отсутствует] занеже не мощи камени водою возити. А мастером не мощи [вар.: мощно] на церкви стояти бурнаго ради дыхания и хотяще прочь бежати» (Дмитриев 1958, 121–122). В этом пассаже и инфинитив, и *яко* используются в разных конструкциях, которые, видимо, плохо разграничивались автором.

говорит. И тако нем бысть, тако и скончася разъслаблен и нем» (там же, 129). Тучков экстраординарность случившегося с вельможей выражает инфинитивным оборотом: «И егда преклонися прияти ручницу, и внезапно весь ослабе по пророчеству святаго, яко ни очеси възвести ему, ниже усты двинути, и в том тяжцем недуге преставися» (там же, 151). Наконец, в пятом случае текст Тучкова представляет собой риторический пассаж о величии святых, не находящий соответствия в предшествующих редакциях; экстраординарность совершаемых святыми чудес обозначена употреблением хорошо известного нам трафарета, получающего у Тучкова определенную разработку и распространение: «Толико бо приемлют въздаяния святии противу трудолюбнаго и жестокаго их жития, яко вселенней всех тех чюдеса на языци обнести и самем царем удивлятися, ветиям же и риторьская словеса разумевающим устне дланию закрывати» (там же, 161). Таким образом, рассматриваемый оборот оказывается удобным инструментом для демонстрации культурно-риторической позиции автора, и в этом качестве он с определенной умеренностью используется различными писателями XVI–XVII в.

Прежде чем закончить данную тему, приведу еще один пример подобного использования исследуемого инфинитивного оборота, взяв для этого достаточно типичное и ничем особенным не примечательное Житие Корнилия Комельского, составленное во второй половине XVI в. (Герд 2004). Анализируемая конструкция употребляется в нем с достаточно низкой интенсивностью; в тексте, немногим большим по объему Тучковской редакции Жития Михаила Клопского, имеется три примера нашего инфинитивного оборота, один из которых сомнителен, поскольку неясно, выражает ли оборот результат или цель или *яко* употреблено здесь как изъяснительный союз, ср.: «и всѣх<sup>х</sup> поучаше страхомъ бжїю, и трудолюбїю. *яко* празноу нико<sup>ю</sup> не быти. и своея воли не творити никакоже» (л. 95; Герд 2004, 35). Два других оборота употреблены в описании одного из чудес над иноком, страдавшим зубной болью. Здесь говорится: «и егда прїиде въ ѿвѣтель, начатъ его люте моу<sup>ч</sup>ити злѣе прежняго. *яко* емѹ многѹ дни ни пастѹ нї пити ни почивати» (л. 140; там же, 60). В продолжение этого же рассказа читаем: «лице же его и съ главою отекло. *яко* всѣмъ зрѹщѹ на него оужасатисѹ» (там же). Характерным образом, в последнем случае мы находим реализацию хорошо нам известного трафарета.

Таким образом, рассматриваемый оборот «*яко* + инфинитив» является специально книжной конструкцией, появляющейся в книжном языке как калька с греческого и противопоставляющей синтаксис книжных регистров синтаксису не книжных регистров. Этим, однако, его функциональная значимость не ограничивается. В переводных текстах, относящихся к стандартному регистру книжного языка, этот оборот, соответствуя греческим инфинитивным конструкциям с *ὡς*те, употребляется регулярно и без особых стилистических или семантических заданий. В оригинальных текстах гибридного регистра ситуация иная: употребление этого оборота постепенно становится признаком, указывающим на книжное мастерство автора и тем самым выражающим его лингвистические установки. Этот момент отличает тексты гибридного регистра от текстов стандартного регистра.

Вместе с тем данный оборот развивает и семантические особенности, не свойственные его греческому оригиналу: в большинстве употреблений он указывает на чрезвычайность главного события, результат которого описывается инфинитивным оборотом.

**4. 2. Общие соображения об инфинитивных конструкциях и книжном синтаксисе.** Набор специфически книжных инфинитивных конструкций этим не исчерпывается. Они достаточно разнообразны и нуждаются в особом исследовании. Они появляются в церковнославянском языке благодаря переводам с греческого и последующему усвоению синтаксических калек книжным языком (см. списки таких инфинитивных конструкций: Исаченко, I, 84–91; Успенский 2002, 256–258; Бобрик 1990). Сюда относится, например, оборот дательного с инфинитивом в модальном значении типа «**А кже сѣсти одеснѣ мене и о лѣвѣ. нѣсть мѣнѣ дати**» (Остр. ев., л. 136а) в соответствии с греч. «τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι» (Мк. 10: 40). Специфически книжной является и конструкция «**еже + инфинитив**», в которой местоимение *еже* калькирует греческий артикль τὸ, выступающий как средство номинализации (ср. в предшествующем примере **а кже сѣсти** в соответствии с τὸ δὲ καθίσαι). Сюда же относятся инфинитивные обороты со значением времени в соответствии с греч. конструкцией «**ἐν τῷ + инфинитив**», передаваемой с помощью сочетания «**егда (внегда, повнегда) + инфинитив**», ср. в Геннадиевской Библии (Быт. 11: 2): «**и быѥ егда понти имѣ ѿ вѣстокъ. и обрѣтоша в земли поле сенаар**» (ГИМ, Син. 915, л. 6; улучшенный текст в Острожской Библии: «**и бысть егда понти имѣ ѿ вѣстокъ, и обрѣтоша поле въ земли сенаар**» – Острожская Библия 1581, л. 4об), ср. греч. «καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν εὗρον πεδίον ἐν γῇ Σενααρ». Имеется в церковнославянских памятниках и *accusativus cum infinitivo*, калькирующий ту же греческую конструкцию (Успенский 2002, 256–257), ср.:

Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι  
(Мк. 8: 27)

**Кого ма глѣють чл(о)вци быти**  
(Мстислав. ев. 1276)

Все перечисленные конструкции могут быть обнаружены и в восточнославянских оригинальных текстах, хотя в рассматривавшихся нами выше памятниках они появляются слишком редко, чтобы можно было описать динамику их освоения и употребления в книжном языке восточных славян. Ср. единичные примеры *accusativus cum infinitivo* в Житии Феодосия: «**О стадѣ свокомъ мола ба и того призываа помощника имѣ быти о всякомъ подвижѣ ихъ**» (Усп. сб., 576); в ПВЛ: «**си<sup>х</sup> же послѣ<sup>аи</sup> прих<sup>аи</sup>ша и Греци хоулаще всѣ законы, свои же хвалаще и много глаша сказоующе ѿ начала миру. сж<sup>т</sup> же хитро сказающе. ꙗко и друггы свѣ<sup>т</sup> повѣдаю<sup>т</sup> быти. и чю<sup>а</sup>но слыша<sup>ти</sup> и<sup>х</sup>»** (ПСРЛ, II, стб. 93 [Хлебниковский список]); в Киевской летописи: «**попа же башеть привелъ из Роуси к собѣ. со сѣю слоужбою. не вѣдашеть бо Бж<sup>и</sup>а промысла. но творашеть<sup>а</sup> тамо и долъго быти**» (л. 226; там же, стб. 649). Понятно, что и эти редкие конструкции могут маркировать лингвистические установки пишущего, однако по самому своему характеру они находят в этом качестве лишь окказиональное употребление.



Существенно еще раз отметить, что подобные конструкции – это только вершина айсберга, указывающая на принципиально иное устройство синтаксиса книжных текстов сравнительно с синтаксисом текстов некнижных. Отличаются не только отдельные конструкции, но и все построение предложения и периода, и в этих рамках употребление синтаксических калек с греческого выступает как частность, как один из важных, но все же не принципиальных моментов умения строить высказывание по-книжному, основываясь на синтаксисе риторического развертывания, а не на ситуативном синтаксисе.

В силу данного обстоятельства не приходится думать, что эволюция книжного синтаксиса отражает изменения в синтаксисе живого языка. Поскольку изначально установка пишущего может рассматриваться как «искусственная», т. е. отличная от его естественных речевых навыков, изменения в способе порождения книжного синтаксического построения также не могут опираться на эти навыки. В эволюции книжного синтаксиса основную роль играют, надо думать, иные факторы. Так, например, по мере проникновения в книжные тексты *л*-форм без связки в функции единой формы прошедшего времени становится обычным употребление личных местоимений в роли подлежащего. Причина очевидна: лицо субъекта действия перестает выражаться глагольной формой и начинает выражаться местоимением. В ранних памятниках обычные формы без местоимения-подлежащего, ср. в Житии Феодосия Печерского: *старыць... гл҃а ки • ѿко много молихы и да изидеть къ тебе* (Усп. сб., 32в3–5 – местоимение 1 лица отсутствует); местоимение употребляется, лишь когда на него падает логическое ударение (как в латыни). В поздних памятниках обычные предложения с местоимением-подлежащим (как во французском). В правленных текстах Петровской эпохи при замене аориста на *л*-форму добавляется местоимение, например: *положихомъ* → *положили мы, взял* → *я взял*, т. е. восполняется опущенное указание на лицо (Живов 1986б, 249–250). Вряд ли употребление местоимений-подлежащих отражает развитие живого языка; скорее речь идет о нормативных установках, требующих эксплицитного выражения лица. И в современном разговорном языке (*пошел домой*), и в текстах XVIII–XIX вв., написанных людьми, плохо владевшими литературным языком, предложения без местоимений-подлежащих встречаются достаточно часто.

## 5. Жанровые характеристики текстов и порядок слов

Порядок слов в книжных восточнославянских текстах остается недостаточно исследованным, равно как, впрочем, и порядок слов в текстах некнижных. Одним из факторов, обуславливающих эту ситуацию, является невозможность описания порядка слов в отвлечении от жанровых (в широком смысле слова) характеристик текста. В самом деле, в текстах, прямо обращенных к слушателю или читателю (например, в молитвах, обращенных к Богу или святым, или в проповеди или наставлении, обращенных к аудитории верующих), следует ожидать иного порядка слов, чем в юридическом кодексе, формулирующем безличные предписания, или в деловом доку-

менте, удостоверяющем совершенное действие. Свои особенности и у порядка слов в нарративе, для которого в средневековых восточнославянских текстах порядок слов в существенной степени определяется задачами поддержания связанности текста в рамках «нанизывания» предикативных единиц (того «бескрайнего» предложения, о котором несколько раз говорилось выше, § IV-5). В нарративе, который и здесь будет важнейшим предметом нашего рассмотрения, порядок слов соотносится со способами установления и демонстрации референциальных связей между излагаемыми событиями: открывает ли описываемое действие новую цепочку событий, находится ли в середине подобной цепочки или выпадает из нее в качестве комментария или обозначения фона, на котором происходят описываемые действия; задается ли начальная для повествования ситуация или продолжается уже начатый рассказ, вводится ли в качестве агента новый персонаж или описываемое действие совершено уже известным персонажем; в каком отношении агент данного действия находится к агенту предшествующего действия (субъекту предшествующей предикативной единицы). Мы уже видели, что те задачи иерархизации предикативных единиц, которые выполняются дательным самостоятельным в нарративных текстах, как правило, не возникают в текстах назидательных, что и приводит к сравнительно малой употребительности данного оборота в текстах последнего рода. Как было показано выше, от жанровых параметров текста зависит и режим его интерпретации, в частности, конфигурация временных форм в последовательности предикативных единиц. Порядок слов относится к явлениям аналогичного порядка, зависимым от коммуникативной установки текста<sup>282</sup>.

В целом эта зависимость хорошо известна, хотя соответствующие факты могли интерпретироваться разным образом. Еще Э. Бернекер, говоря об относительно редких случаях постановки глагола в ПВЛ в конце предложения, отмечал, что данное явление редко в повествовании, но «*weit häufiger in Schilderungen und Beschreibungen*» (Бернекер 1900, 10). Равным образом, С. М. Кардашевский, отмечая, что в ПВЛ доминирующим словорасположением является VS, указывает, что это характерно для сообщений «светского» характера, в «частях же памятника с религиозным содержанием, а также рассуждениях летописца чаще наблюдается постпозитивное употребление сказуемого» (Кардашевский 1948, 39). Сходное наблюдение над ПВЛ в несколько более корректных терминах делает Акихиро Сато, различающий «тексты типа фактографии» и «тексты типа комментария» и указывающий, что если в первых доминирующим порядком является VS, то во вторых – SV (Сато 2008, 10–11). Теоретически более изысканным образом об

<sup>282</sup> О связи информационной структуры предложения (упаковки информации) с выбором порядка слов, вариациях в порядке слов в рамках одного текста и о том, как эта прагматическая перспектива отражается в истории языка, см. для германских языков: Хинтерхёльцл и Петрова 2009. В особенности интересной является статья С. Петровой, посвященная порядку слов в древневерхненемецком переводе Татиана: Петрова 2009. Интересные сравнительные данные и типологические соображения о прагматических параметрах порядка слов и о его связи с характером предиката в идише см.: Дизинг 1997.

этом пишет С. Тернер, вводящая в исследование порядка слов оппозицию *Besprechung – Erzählung*, как ее постулировал Г. Вайнрих (Тернер 2006, 87; ср.: Вайнрих 1964). Наконец, чрезвычайно инструктивна работа Дж. МакАннален, посвященная Хожению игумена Даниила, в которой показано, как отличаются параметры порядка слов в части, представляющей собой своего рода путеводитель по Святой Земле, и в части, содержащей рассказ о нисхождении святого огня – повествование о личном опыте Даниила (МакАннален 2009). Последняя работа особенно важна, поскольку она демонстрирует, что порядок слов зависит не только от таких фундаментальных оппозиций, как нарратив и авторское пояснение к нему, но и от более частных (и, возможно, индивидуальных) особенностей коммуникативной установки пишущего – в случае Даниила отличий описательного рассказа от персонализированного нарратива.

Нет сомнений вместе с тем, что зависимости между типом текста и порядком слов не являются однозначными. В этом отношении показательны данные, приводимые С. Тернер. В одной из ее работ анализируются четыре совокупности текстов: (1) новгородские грамоты – берестяные и пергаменные XI–XIV вв., (2) Новгородская первая летопись с 1016 по 1210 гг. (за исключением статьи 1204 г. о взятии Царьграда), (3) Новгородская первая летопись с 1211 по 1234 гг. (с присовокуплением статьи 1204 г.), (4) Житие Феодосия. Эти тексты характеризуются следующими статистическими данными (Тернер 2006, 99):

	SV	VS	Ø	Total
Gr	145 // 32%	57 // 13%	249 // 55%	451
Nov1	141 // 12%	477 // 40%	564 // 48%	1182
Nov2	236 // 24%	239 // 24%	502 // 51%	977
Th	345 // 33%	114 // 11%	602 // 57%	1061

Как можно видеть из этой таблицы, в нарративных текстах, представленных в данном корпусе двумя частями Новгородской первой летописи и Житием Феодосия, параметры словорасположения могут весьма сильно различаться: в первой части Новгородской летописи VS доминирует над SV, во второй части они оказываются равно употребительными, а в Житии Феодосия SV встречается существенно чаще, чем VS. Как уже неоднократно отмечалось, язык Жития Феодосия существенно больше ориентирован на тексты основного корпуса (т. е. на переводные памятники), чем многие другие агиографические тексты, а с текстами анналистическими он не идет в этом отношении ни в какое сравнение. Между тем, для нарративных текстов основного корпуса, о которых достаточно адекватное представление дает корпус старославянских памятников, характерна постановка глагола в абсолютном начале предложения или после различных второстепенных членов предложения, но перед субъектом (Вечерка, I, 65–69). Вместе с тем данные С. Тернер свидетельствуют о том, что весьма сходные статистические параметры могут быть у весьма разных по типу текстов – у жития, с

одной стороны, и у бытовых и деловых документов – с другой. Из этого с необходимостью следует, что зависимость порядка слов от коммуникативного (тематического) задания не является прямой, что реализация этого задания может осуществляться разными способами, с заметными различиями в упаковке информации (фокусировании, соотнесении нарратива и комментария, типизировании и индивидуализации и т. п.), отражающимися в статистических параметрах отдельных текстов. Мы можем говорить о связи отдельных элементов стратегии изложения с определенным порядком слов и о том, что разные жанры (типы текста) по-разному и в разных пропорциях группируют эти элементы, но эта опосредованная зависимость жанра и порядка слов не дает возможность предсказать, исходя из жанра, статистические показатели конкретного текста<sup>283</sup>.

Никак не осмысленными оказываются в этой перспективе традиционные попытки постулировать один из порядков слов как «основной» или «базовый», а остальные словорасположения рассматривать как отклонения от этого порядка, обусловленные теми или иными частными причинами. Именно так трактует порядок SV В. И. Борковский (Борковский 1949, 132–142, 330; Борковский и Кузнецов 1965, 386–392), а вслед за ним другие советские авторы, писавшие об историческом синтаксисе. Порядок VS, равно как и другие отклоняющиеся от SV порядки, они рассматривают как «инверсию», обусловленную «стремлением обратить внимание на сказуемое или зависящее от него слово». Это «стремление» оказывается предметом ничем не сдерживаемой фантазии исследователей. Например, Борковский видит данную интенцию во фразе из договорной грамоты литовского князя Свидригайла с Новгородом 1431 г. «а кончилъ азъ кнѣзь великий швитри-кгаило миръ (со всимъ велик)и<sup>м</sup> новы<sup>м</sup> городо<sup>м</sup> и с приго(роды) со всею волостью новгородскою по сеи грамоте» (Борковский и Кузнецов 1965, 390; ср.: Борковский 1949, 133; Валк 1949, № 63, с. 106); почему именно автор этого текста эмфатически подчеркивал глагол *кончилъ*, ничем не примечательный и относящийся к процессу заключения договора, Борковский не

<sup>283</sup> Данные С. Тернер не в полной мере сопоставимы с данными других исследований в силу двух причин. Во-первых, она с полным основанием подсчитывает не только фразы с VS и SV, но и фразы без эксплицитного субъекта (Ø). Поскольку последние во всех случаях составляют большинство (см. об этом ниже), VS и SV делят между собой лишь около половины всех подсчитываемых элементов. Для того чтобы получить цифры, сопоставимые с приводимыми в других работах, надо вычислить процент VS и SV в множестве, состоящем только из фраз с эксплицитным субъектом. Тогда, например, в грамотах будет 28% VS и 72% SV, а в первой выборке из Новгородской первой летописи окажется 77% VS и 23% SV. Во-вторых, Тернер не включает в свою выборку фразы с глаголами *быти* и *стати*, поскольку для этих глаголов следует различать, являются ли они связками или экзистенциальными предикатами, а отнесение их к одному из этих классов само по себе зависит от порядка слов, так что в их трактовке присутствует элемент порочного круга. Поскольку *быти* весьма часто употребляется как экзистенциальный глагол, а такие глаголы имеют тенденцию помещаться в препозиции к субъекту (см. ниже), исключение указанных фраз из корпуса примеров может способствовать возрастанию пропорции фраз с SV. Оба эти обстоятельства, однако, влияют лишь на детали, а общей картины не меняют, так что при любой трактовке выводы автора остаются в силе.

объясняет, как не объясняет он и других своих аналогичных указаний. Это манипулирование с понятием эмфатического выделения (или логического акцента) заводит авторов в бессмысленные противоречия (разбор нескольких красноречивых примеров см.: Тернер 2007, 114–115) и лишает их работы всякой ценности. Абсурдность получаемых таким образом построений особенно очевидна, когда Борковский бездумно проговаривается о несостоятельности своих заключений. Постулируя порядок SV в качестве «нормы», Борковский замечает: «Этот вывод мы сделали несмотря на то, что число случаев с препозицией подлежащего меньше числа случаев с его постпозицией» (Борковский и Кузнецов 1965, 388; автор, впрочем, не сообщает, что именно он подсчитывал и из чего состоял корпус его примеров, если таковой вообще существовал).

От самой идеи доминирующего порядка слов можно без ущерба для дела отказаться. В разных типах текстов статистические параметры словорасположений различны, и опосредованно это связано с тем, какого типа информация сообщается в текстах разного типа и как эта информация в них упаковывается. Свободный порядок слов – это мощное коммуникативное средство. Возможность по-разному расставить единицы текста не может не использоваться как важнейший инструмент разметки ролей, приписываемых предикату и его аргументам в рамках предикативной единицы. Порядок слов может показывать, как преподносится описываемая ситуация (например, как событие в цепи событий или как характеристика субъекта), как она связана с предшествующим изложением (что в ней представляет новую информацию, а что референтно связано с аргументами или предикатами предшествующих предикативных единиц), какова ее функция в тексте в целом (введение в повествование, звено в наборе последовательных ситуаций, сообщение, комментирующее или отсылающее к выбивающимся из последовательности событий фактам и т. д.) (ср.: Йокояма 2005, 397–398). И потребность в таких указаниях, и их конкретный характер зависят от типа текста: деловой документ, например, по-другому приступает к изложению фактов, нежели житие святого, и это прямо или косвенно сказывается на выборе порядка слов.

Целью исследования оказывается в этом случае не установление «господствующего» порядка слов, что бы под ним ни понималось, и не перечисление «инверсий» с надуманными объяснениями их причин, а установление того, с каким функциональным (коммуникативным) заданием используются разные порядки слов в отдельных текстах или отдельных типах текстов. Обычный инструмент для описания коммуникативных стратегий – это актуальное членение. Некоторые попытки описать в этих терминах (темы и ремы, основы и ядра или центра и т. д.) историю порядка слов в восточнославянских памятниках предпринимались, и они вполне показательны в том плане, что свидетельствуют о существенно иных принципах упаковки информации, чем те, которые характерны для современного русского языка; в этой перспективе оказывается проблематичной объяснительная сила аппарата актуального членения в приложении к русскому историче-

скому материалу<sup>284</sup>. Как замечает И. И. Ковтунова, рассуждая о порядке слов в Петровскую эпоху (до начала нормализации), «в одних случаях расположение слов и групп слов в предложении соответствовало его актуальному членению, в других случаях не было такого соответствия <...> Иначе говоря, и в этой сфере не было того единого принципа словорасположения, который существует в современном русском литературном языке» (Ковтунова 1969, 90). В контексте настоящей работы понятно, что отсутствие нормативного принципа на всем пространстве языка отнюдь не означает, что в отдельных его разновидностях употребление является бессистемным; очевидно лишь, что наблюдаемое в текстах словорасположение плохо описывается через аппарат актуального членения (в качестве универсального принципа).

Наиболее разумный подход к использованию актуального членения для описания порядка слов в старых восточнославянских памятниках находим в работах Сары Тернер, в полной мере сознающей те ограничения, которые накладывает на использование этого аппарата письменный характер материала. В исследованиях актуального членения в современном языке важнейшую роль играет интонация (см.: Янко 2001), которая для письменных текстов прошлого не может быть реконструирована, а следовательно, не может служить руководством для установления интенций пишущего (производителя речи) (Тернер 2007, 122–130). В силу этого установление актуального членения может производиться только за счет контекста и содержательных сторон текста, которые определяют коммуникативный статус

---

<sup>284</sup> Отдельные наивные опыты переноса результатов анализа современного русского языка на исторический материал не в счет. К числу таких опытов относится статья Н. Д. Боголюбовой о порядке слов в Псковской первой летописи. Автор утверждает, что во всех случаях (возможно, за редчайшими исключениями) принципом является переход от темы к реме; оказывается, что и при препозиции подлежащего, и при препозиции сказуемого «высказывание разворачивается от известного, обусловленного контекстом и представляющего основу высказывания, к неизвестному – центру сообщения» (Боголюбова 1970, 97). Понятно, что подвести к такому выводу может лишь манипуляция с понятиями известного и неизвестного, информационного центра сообщения, выделенности и т. д., т. е. интерпретативного произвола того же типа, что мы видели у Борковского. Автор придерживается постулата, согласно которому как в современном языке, так и в древнерусском «коммуникативно наиболее значимым является конец предложения» (там же, 88), и поэтому трактует как рему (центр) все, что там оказывается. Так рассматриваются, например, «обстоятельства, о которых неизвестно из предшествующего контекста и которые не подсказываются им» и, соответственно, «наибольшая смысловая значимость» (что, видимо, равнозначно статусу ремы) приписывается обстоятельствам времени *на святой неделе в четверг* в предложении «московичи же град ему отвориша, на святой неделе в четверг» (там же, 74). Там, где такие простые решения не работают, автор прибегает к понятиям логического ударения и интонации, которые предполагаются каким-то образом известными. Автор, например, считает, что в предложении «и погорѣ Застѣние все; только дѣтиница святая троица оублюде» (Псковские летописи, I, 14) логическое ударение падает на *дѣтиница* (видимо, благодаря частице *только*), а в предложении «и погорѣ Застѣние все; а дѣтиница богъ оублюде [*так в изд.*]» (там же, 17) заметна «разница в интонации» (Боголюбова 1970, 85).

сообщаемой информации: к теме принадлежит то, что контекстуально предсказуемо, к реме – добавляющаяся информация. В рамках подобного анализа могут быть сделаны определенные значимые обобщения.

Основная проблема, на которую наталкивается анализ порядка слов в древней восточнославянской письменности, – это частота последовательности VS в различных типах текстов. Как уже говорилось выше, в некоторых из них этот порядок является доминирующим, а в некоторых – занимающим более скромное положение, но повсеместно существенно более употребительным, чем в современном русском литературном языке. Такая ситуация противоречит идее актуального членения как организующего распределение информации принципа, поскольку глагол, как правило, бывает нереперенциальным, т. е. в большинстве случаев не выступает как тема. Поэтому интенсивное использование порядка VS несовместимо с принципом «сначала тема, потом рема».

Тернер выделяет в анализируемом ею корпусе 11 примеров (менее 2% всех примеров VS), в которых глагол несомненно принадлежит теме, например, из Новгородской первой летописи: «Въ то же лѣто князь Михайль створи пострѣгы сынови своему Ростиславу Новегородѣ у святѣи Софии и уя влас архиепископъ Спиридон» (л. 110; НПЛ, 69); поскольку о пострижении Ростислава говорится в первом предложении, во втором референциально относящееся к нему уя *влас* является темой, а субъект этого действия (Спиридон) – ремой (Тернер 2006, 100–103). В некотором количестве встречаются в памятниках и примеры с «нерасчлененным предложением», т. е. предложением, в котором тема не выделяется, а все компоненты являются рематическими (прежде всего реализующими «интродуктивные стратегии» – Янко 2001, 140 сл.; о механизмах интеграции ремы см.: Падучева 2010). Некоторые из них напоминают аналогичные структуры современного литературного языка, хотя этот случай не слишком част, ср. из Новгородской первой летописи: «и на западѣ явися звѣзда велика» (л. 30б.; НПЛ, 17; см. Тернер 2006, 103); эту относительную редкость Тернер объясняет тем, что «undivided clauses in the modern language are most prevalent in scene-setting and landscape descriptions, which are simply not part of the medieval literary idiom» (там же, 104). Во множестве случаев структуры, состоящие из одних рематических элементов, используются в контекстуально независимых предложениях, прежде всего в начале летописных статей или в начале их отдельных составляющих; в отличие от современного языка, такие построения могут содержать информацию о различных образующих нарратив действиях и использовать переходные глаголы, ср. из Новгородской первой летописи: «Въ лѣто 6706. Заложи церковь камяну въ Русѣ святого Преображения боголюбивый архепископъ Мартурии» (л. 59–59об.; НПЛ, 43).

Наконец, существенную пропорцию предложений с VS составляют построения, в которых глагол является ремой, а имя – темой (V<sub>R</sub>St), т. е. порядок, который прямо противоречит принципам актуального членения, ср., например, в Новгородской первой летописи: «Томъ же лѣтѣ иде, на зиму, Рюрикъ из Новагорода, и послаша новѣгородѣци къ Ондрею по князь» (л. 38; НПЛ, 34; имеется в виду последовательность *послаша новѣгородѣци*; см. Тернер 2006, 110). Сама исследовательница пишет по поводу этих при-

меров: «They could be taken as evidence that the discourse units of theme and rheme are not active factors in clause organization in EESl [Early East Slavonic]» (там же, 111). Тернер указывает на варианты возможных, но не удовлетворительных объяснений. Одно из них состоит в том, что начальная позиция ассоциируется как с контрастом, так и с развитием темы; когда хотят избежать контраста, но нуждаются в субъекте для обеспечения связанности текста, появляется порядок  $V_{RS}T$ ; другое объяснение – стилистическое.

Оба эти объяснения, как справедливо отмечает Тернер, не слишком привлекательны. Совсем не очевидно, что начальная позиция твердо ассоциируется с контрастом. Хотя верно, что в случае контраста субъект занимает начальную позицию (см. ниже, § V-5.1.1), субъект может занимать эту позицию, когда никакого контраста, насколько можно судить, не предполагается, ср. в Новгородской первой летописи: «Томъ же лѣтъ князь Ярославъ, преже сеи рати, поиде въ Пльсковъ съ посадникомъ Иванкомъ» (л. 104; НПЛ, 65–66). Что же касается стилистического объяснения, то оно противоречит большой употребительности порядка  $VS$ , при которой невозможно приписать ему какие-либо маркированные свойства<sup>285</sup>.

Существующие объяснения распространенности порядка  $VS$  в средневековых славянских текстах отмечены слишком высоким уровнем необязательности, чтобы быть приемлемыми. Р. Вечерка, анализируя старославянские памятники, указывает на «архаичность» этого порядка, восходящего к глубокой праиндоевропейской древности (Вечерка, I, 64), говорит о том, что он в целом соответствует греческому (тому, который наблюдается в греческих оригиналах славянских переводов)<sup>286</sup>, но не идет дальше этого мало что объясняющего диахронического соображения, замечая: «Die AP [Anteposition] des V vor dem N bildete im Aksl. keine strenge Wortfolgenorm, sondern stellte nur einen der Typen der linearen Satzorganisation dar, und zwar den archaischen» (там же, 68). О. Йокаяма приписывает порядку  $VS$  старых восточнославянских текстов связь с их «эпичностью», выдвигая «the tentative idea that Russian is moving from an epic, event-oriented word order [т. е.  $VS$ ] to a participant-oriented one [т. е.  $SV$ ]» (Йокаяма 1986, 296); ориентированность

<sup>285</sup> С. Тернер замечает по этому поводу: «It would also be puzzling if orders seen in Nov [Новгородская первая летопись] were a stylistically motivated variant of the orders in Gr [грамоты], for they are used with such frequency that their stylistic markedness must surely be lost in the context of the chronicle» (Тернер 2006, 112).

<sup>286</sup> Вечерка, однако, воздерживается от утверждения, что порядок  $VS$  в славянских текстах идет из греческого, полагая, что он «твердо укоренен в славянском языковом употреблении» (Вечерка, I, 66). Доказательство этому он с неоправданной прямолинейностью видит в том, что такой порядок встречается и в древних оригинальных (непереводных) славянских текстах, таких как Житие Кирилла и Житие Мефодия, из которых он и приводит примеры; ориентированность этих текстов на евангельские переводы, в том числе и на их синтаксис, Вечерка игнорирует. Несколько более интересен приводимый им пример из Шестоднева Иоанна Экзарха, в котором слав.  $VS$  соотнесен с греч.  $SV$ : «сѣтворѣнь вѣсть съ тѣми и свѣтъ – τὸ φῶς ἐπὶ τοῖς θεοῖς δειμιούρητο»; конечно, из одного примера с таким специфическим предикатом, как составное сказуемое, никаких выводов сделать нельзя (да и неодушевленное существительное в качестве субъекта также может давать нехарактерные словорасположения).



на события – это слишком общая характеристика, в наличии которой трудно удостовериться, причем нелегко отделаться от мысли, что, приписывая это свойство древним восточнославянским текстам, исследовательница исходила из стилистической значимости порядка VS в современном русском литературном языке, попадая тем самым в своих рассуждениях в порочный круг.

Сопоставляя высокую пропорцию SV в грамотах с высокой пропорцией VS в летописях, привлекательно было бы думать, что порядок VS характерен в первую очередь для книжного языка, а в нем может быть наследием евангельского греческого, калькирование которого формирует славянский книжный синтаксис. Это простое объяснение, однако, не проходит, поскольку, как указывает С. Тернер, в восточнославянских текстах порядок VS представлен разнообразнее и шире, чем в старославянских евангельских переводах (Тернер 2006, 111)<sup>287</sup>. С. Тернер предлагает иное объяснение, основанное на противопоставлении *Besprechung* и *Erzählung* в терминах Г. Вайнриха (Вайнрих 1964). По ее мнению, «in EESl different orders of constituents are associated with different text types: *Besprechung* sources as exemplified by Gr [грамоты] have theme-rheme order, whereas EESl *Erzählung* sources show a preference for verb-first clauses, even when this order contravenes the discourse principle of placing available information before unavailable information» (Тернер 2006, 112). Связь оппозиции *Besprechung* и *Erzählung* со словорасположением не столь прозрачна, как связь с глагольными временами, употреблением местоимений 1 и 2 лица и иными дейктическими элементами. Очевидно, что эта связь не имеет детерминативного характера: как и с большинством явлений словопорядка, в доступных нам текстах выделяются тенденции, а не жесткие правила. С. Тернер намечает определенные линии, соединяющие эти явления и объясняющие некоторые из наблюдаемых тенденций, однако связь остается слишком нечеткой, чтобы можно было считать рассматриваемую оппозицию тем принципом, который управляет (хотя бы и мягким образом) выбором словорасположения<sup>288</sup>.

<sup>287</sup> Утверждение С. Тернер, согласно которому порядок V<sub>r</sub>St в евангельском греческом характерен едва ли не исключительно для глаголов речи и, если их исключить, сходство между переводами с греческого и восточнославянскими текстами исчезает (Тернер 2006, 111), представляется мне слишком радикальным, ср. достаточно разнообразный набор примеров с глаголами других типов: Вечерка, I, 66–68. Однако возводить словорасположение восточнославянского летописного нарратива к переводам евангельских текстов, видимо, не получается, даже если допустить многослойное переосмысление усвоенных из них моделей в узусе восточнославянских авторов.

<sup>288</sup> С. Тернер пишет: «The writer in the *Besprechung* situation typically expects the other party to have prior knowledge of some aspect of the situation of concern, and he further have a particular point he wishes to convey in connection with it. In the interests of effective communication, he indicates his assumptions and then makes his point. In the *Erzählung* situation, by contrast, the writer can often have a substantial amount of information to convey, all of which is of general interest, but no one item of which constitutes the crucial point of his clause, and the only common ground which need link him with his reader is their shared interest in the act of communication itself. The more leisurely mode of communication does not oblige him to structure his thoughts with the same rigor as the writer of the *Besprechung* text

Выбор порядка слов определяется, хотя и неоднозначно, действием многих факторов. Изучение истории порядка слов кажется целесообразным начинать с более частных и конкретных случаев, когда оказывается возможным исключить одновременное действие множества факторов и сосредоточиться на однотипных случаях, в которых критерии выбора словорасположения поддаются реконструкции, хотя нет оснований ожидать, что даже для частных случаев можно будет сформулировать строгие правила – когда языковое поведение нестрогое, строгие правила появляются только благодаря ненужным натяжкам, которые позволяет себе исследователь. Поскольку, как явствует из сказанного выше, актуальное членение не снабжает нас адекватным инструментом для описания словорасположения в средневековых восточнославянских текстах, кажется разумным пользоваться при анализе первичного материала простыми схемами, рассматривая, как различаются по своему прагматическому заданию и своим семантическим параметрам порядки VS и SV у непереходных глаголов и порядки SVO, OVS, SOV, OSV, VSO, VOS у переходных глаголов. Для современного русского языка такой подход был реализован А. Тимберлейком (Тимберлейк 2001; Тимберлейк 2004, 449–458), а на анализ исторического материала перенесен в уже упоминавшейся работе Джулии МакАннален о Хожении игумена Даниила (МакАннален 2009).

Хотя Тимберлейк работал с небольшой и довольно специфической выборкой из русского мемуарного текста середины XX в. (выборка была ограничена предложениями, в которых объект переходного глагола являлся местоимением 1 л. ед. числа [меня], а субъект был выражен эксплицитно), он пришел к важным заключениям относительно функционального смысла (или, иными словами, прагматического задания) разных словорасположений. Хотя речь идет о современном русском литературном языке, устанавливаемые функции формулируются весьма общим образом, так что в целом они оказываются пригодны и для исторического материала. Согласно Тимберлейку, порядок SV, SVO является наиболее нейтральным и частым, в его рамках «[t]he subject announces an entity for discussion, the verb states a property that holds of it» (Тимберлейк 2004, 450). Порядок OVS употребляется в двух специальных функциях: «One is to establish relationship between

must» (Тернер 2006, 113–114). Эти общие соображения кажутся справедливыми, однако они в принципе относятся к любому нарративу в его противопоставлении, скажем, бытовой корреспонденции, и объясняют лишь, почему порядок VS не так противопоставлен нарративным текстам, как речевому режиму. Отчего VS становится излюбленным порядком в летописи, это построение не объясняет, и С. Тернер указывает на дополнительные обстоятельства: «In the expanded view of rheme-only clauses presented here, the high number of VS orders in Nov can be accounted for in large measure by the discontinuous nature of the chronicle text» (там же, 115). Аргумент понятен: прерывистость требует множества интродуктивных фраз, для которых как раз и характерен порядок VS; однако степень прерывистости с трудом поддается определению. В Новгородской первой, конечно, много кратких погодных статей, фрагментирующих текст (больше, скажем, чем в ПВЛ), однако и Житие Феодосия с иными параметрами словорасположения в большей части составлено из отдельных эпизодов, да и в других агиографических памятниках чудеса святого представляют собой соединенные в цепочку прерывистые фрагменты.

the object, which is a known entity, and an abstract condition. Another is to introduce a new event – an interaction between the known object and a new individual» (там же, 451). Говоря о порядках SOV и OSV, Тимберлейк указывает, что «they establish the entities as bases. The predicate, as focus, then states the relation among them» (там же, 452). Наконец, о столь важных для нас порядках с глаголом в препозиции VS(X), VSO, VOS говорится: «Putting the major arguments after the verb presents the world as a holistic situation. First the state of the world is established (the property or event named by the verb), then secondarily the entities that participate in this state are identified» (там же).

Как можно видеть, описание функций различных словорасположений носит очень общий характер и оказывается в определенном смысле внеисторичным. Порядок VS отсылает к целостной ситуации по самой своей природе – в современном русском языке точно так же, как в русском языке XV или XII в. Для того чтобы проследить, что меняется в языке, и как, например, порядок VS из нейтрального становится маркированным, нужно обратиться к более частным параметрам – не столько к соотношениям разных порядков по частоте, сколько к условиям их употребления: их месту в структуре текста, их связи с определенными типическими ситуациями, к стандартным способам описания этих ситуаций (трафаретам) и т. п. Технически это может быть сделано разными способами. Наиболее простым и целесообразным представляется такой, при котором примеры распределяются по разрядам, определяемым лексической семантикой составляющих их элементов. При исследовании соотносительного расположения предиката, субъекта и объекта основной может служить семантика глагола. Семантика глагола определяет (пусть и неоднозначно) тип описываемой ситуации, тот трафарет или тот набор трафаретов, с помощью которых о подобных ситуациях сообщается в разных типах текстов; расположение аргументов или по крайней мере репертуар разных возможностей их расположения часто предопределены стандартной ситуацией. Можно сказать, что семантика глагола в самом общем виде задает подклассы ситуаций, с которыми соотносится трактовка описываемого события.

В принципе можно думать, что такой подход «реалистичен» – в том смысле, что он соответствует языковому поведению пишущего, который, надо полагать, не вырабатывал общей стратегии словорасположения на все времена и ситуации, а выбирал тот или иной порядок слов в конкретном, обычно знакомом ему контексте, ориентируясь на устойчивые модели изложения событий определенного типа. Как мы увидим ниже, глаголы разных семантических групп характеризуются разными статистическими конфигурациями словорасположений и разным распределением по группам, мотивирующим тот или иной порядок слов. Это означает, что пишущий по-разному решал задачи словорасположения (упаковки информации) для разных семантических классов предикатов. Отсюда можно сделать вывод, что и рассматривать проблемы порядка слов нужно не в общих категориях, а применительно к отдельным классам слов и связанным с ними ситуациям. В принципе такая методика хорошо вписывается в общие представления о связях лексического значения глагола и его синтаксического поведения. Как пишет Бет Левин, анализируя связь между структурой аргументов и

лексическим значением глагола: «Presumably, predictions about verb behavior are feasible because particular syntactic properties are associated with verbs of a certain semantic type <...> allowing the syntactic behavior of a verb to be predicted from its meaning» (Левин 1993, 5). Подобная зависимость, хотя и в менее детерминированной форме, существует, надо думать, между лексической группой глагола и порядком слов.

Оправданность именно такого подхода вполне очевидна, как кажется, в отношении к порядку слов в сочетаниях атрибута и определяемого имени. Сколько-нибудь значимые и верифицируемые утверждения могут быть сделаны только относительно отдельных конкретных типов словосочетаний, но не относительно всей совокупности примеров данного типа, причем утверждения оказываются тем содержательнее, чем ограниченнее класс словосочетаний, к которым они прилагаются<sup>289</sup>. Словорасположение субъекта и предиката поддается, видимо, более широким обобщениям, однако и здесь начинать целесообразно с частных случаев.

В первую очередь такая техника исследования может прилагаться к нарративным текстам. Сюжеты как агиографического, так и анналистического повествования отличаются определенным однообразием или во всяком случае составляют не слишком обширный набор типов, и в этих сюжетах многочисленны повторяющиеся ситуации, которые описываются несильно варьирующимися лексическими средствами. Нельзя сказать, что сочетание ситуации и относящейся к ней глагольной лексемы детерминируют положение аргументов относительно предиката, однако в этих рамках

---

<sup>289</sup> Можно указать, что уже в первой большой работе, посвященной взаиморасположению имени и эпитета, проводится различие между качественными прилагательными (подразделяющимися на обозначающие качество и количество), относительными, притяжательными и прилагательными на *-ский* (Виднес 1952); некоторый схематизм в выводах этой работы, слишком однозначно противопоставляющей «les textes de caractère russe» и «les textes sujets à l'influence byzantino-slavonne» по препозиции/постпозиции прилагательного, может быть связан именно с неразработанностью классификации анализируемых словосочетаний. К более дробной классификации прибегает О. А. Лаптева; она сформулировала закономерность (которую лучше мыслить как тенденцию), согласно которой постпозиция прилагательного указывает на его семантическую второстепенность, тогда как «препозитивное контактное положение было свойственно прилагательному, сообщающему нечто новое» (Лаптева 1959, 110); это в целом осмысленное утверждение относится, однако, только к части прилагательных и предполагает установление – по формальным и семантическим признакам – ряда групп прилагательных, например, прилагательные *многоъ* и *великъ*, прилагательные «эмоционально-экспрессивные, оценочные», равно как ряд относительных и притяжательных прилагательных, включая сюда прилагательные с суффиксом *-ьск* (там же, 111). Р. А. Евстифеева использует существенно уже определенные группы для того, чтобы описать характер словорасположения в атрибутивных словосочетаниях Новгородской первой летописи (Евстифеева 2008). Наиболее содержательные закономерности, относящиеся, например, к падежу, в котором стоит атрибутивное словосочетание или к наличию/отсутствию предлога, выявляются при анализе отдельных словосочетаний или их небольших и относительно однородных групп, см. подобные работы: Маруяма 2005; Минлос 2008; Минлос 2010а; Минлос 2010б; Минлос 2011; ср.: Ворт 1985/2006, 269–285.

оказывается возможным наблюдать параметры, однозначно благоприятствующие тому или иному словорасположению, случаи, где выбор оказывается зависимым от вкусов и пристрастий автора, и зоны свободной вариативности, где никакой авторской интенции не просматривается. Вообще вариативность в словорасположении древнерусских нарративных текстов неустраима, и совсем не все варьирующиеся в одном контексте словорасположения соотносятся с какой-либо семантической и прагматической мотивацией. В этой сфере отчетливо видно, что детерминативность в языке имеет ограниченный характер, находится много моментов, в которых «все равно», и это, надо думать, соответствует устройству языка как механизма с потенциалом приспособления и изменения.

В летописных и агиографических текстах даже устойчивые трафареты не создают абсолютной детерминированности порядка слов: жесткие правила не работают, а имеются лишь вероятностные соотношения. Например, в сообщениях о смерти в летописи *преставися* обычно ставится перед субъектом, ср., например, в Лаврентьевской: «В лѣтѣ .̑.̑.̑. [6509 (1001)] Престависа Изаславъ ѿѣ Брачиславль сѣъ Володимеръ» (л. 44об.; ПСРЛ, I, стб. 129); «В лѣтѣ .̑.̑.̑. [6560 (1052)] Престависа Володимеръ сѣъ Юрославль. старъ Новѣгородѣ» (л. 54об.; там же, стб. 160) и т. д. Такое словорасположение вполне поддается объяснению: сообщается прежде всего о событии как о «holistic situation», а не о субъекте, собирающемся совершить какие-то действия; да и субъект некоторым образом неполноценен, поскольку сообщается именно о том, что он утерял агентивность. В Лаврентьевской летописи 24 сообщения о смерти устроены таким образом, однако в двух случаях порядок оказывается обратным: «В лѣтѣ .̑.̑.̑.ба ÷ – [6571 (1063)] Судиславъ престависа. Юрославль братъ. и погребоша и въ цркви ста<sup>т</sup> Гешригъ» (л. 55; там же, стб. 163); «В лѣтѣ .̑.̑.̑.пв ÷ – [6582 (1074)] Ошдосии игумень Печерскыи престависа» (л. 61об.; там же, стб. 183). Никакого содержательного объяснения этому дать невозможно; мы сталкиваемся здесь с произволом пишущего, не позволяющим нам говорить о жестких правилах.

Не менее ярким примером могут быть предикации с глаголом *заложити*. Чаще всего и этот глагол стоит в препозиции к субъекту, и это также поддается объяснению: в фокусе находится акт создания, а создатель оказывается в тени этого акта. Вероятностная картина может, кажется, подтвердить такую трактовку. Например, в Новгородской первой летописи старшего извода на 19 примеров с препозицией глагола приходится 6 примеров с препозицией субъекта, последний класс составляет 24%. Вот примеры. VSO: «Том же лѣтѣ заложи Воигость церковь святого Федора Тирона, априля въ 28» (л. 8об.; НПЛ, 20); «Мѣсяця того же въ 6 заложиша Лукиници церковь камяну святых апостолъ Петра и Павъла на Сильнищи» (л. 46; там же, 38). VOS: «Въ то же лѣто заложи церковь камяну святая Богородица на Търговищи Всѣволодѣ, Новегородѣ, съ архепископѣмъ Нифонтомъ» (л. 16об.; там же, 23; здесь особенно ясно, что субъект отнесен в конец предложения, в разряд второстепенной информации); «Въ то же лѣто заложи церковь камяну князь великий Ярославъ, сынъ Володимеръ, вѣнукъ Мъстиславль, въ имя святого Спаса Преображения Новегородѣ на горѣ, а прозвище Нередице» (л. 60–60об.; там же, 44). SVO: «Въ то же лѣто игумень Антонъ

заложи церковь камяну святыя Богородиця манастирь» (л. 9об.; там же, 20); «Томъ же лѣтъ Ирожнеть заложи церковь святого Николы на Яколи улицы» (л. 16об.; там же, 23). Чем вызвано вынесение субъекта в препозицию в шести примерах, остается в целом неясным – эта та вариативность, которая присуща схемам упаковки информации вообще.

Сюжеты деловых документов или юридических кодексов еще более ограничены, однако в них мы имеем дело не столько с трафаретами, сколько с формулами. Они либо вообще исключают вариативность, – например, в грамотах, начинающихся «се азом», предикат всегда стоит после субъекта (ср.: ДДГ, № 1, 2, 6, 23, 61, с. 7, 11, 21, 62, 193 и т. д.), а в купчих субъект (тот, кто совершил покупку) всегда стоит после предиката (*купи* или *купил*, которому может предшествовать, а может не предшествовать местоимение *се* – ср.: Валк 1949, № 229, 231, 232, 233, 236, 238, с. 250–255 и т. д.); либо формула допускает вариативность в отношении порядка слов, но эта вариативность не имеет ровно никакой семантической или прагматической значимости, ср., например, вариации порядка SV и VS в формуле, употребляющейся при размежевании земли: «что к тои деревни истарини потягло, куды т[опо]ръ ходил, куды коса ходила» (Валк 1949, № 263, с. 269); «съ всѣми угоды, куды ходила коса и секира, по старинѣ и в вѣкы» (там же, № 282, с. 283).

В дальнейшем мы будем преимущественное внимание уделять именно нарративным текстам, лишь окказионально обращаясь к текстам не книжным и практически игнорируя назидательную и гномическую литературу. Здесь можно видеть задачи для будущего исследования, точкой отсчета для которого все равно должны служить параметры нарративных текстов. Обращаясь к этим последним, необходимо иметь в виду, что для восточнославянского нарратива, как уже упоминалось, характерен не порядок SV и не порядок VS, а порядок V (см. приводившиеся выше статистические данные из работы: Тернер 2006, 99–100). Субъект внутри нарратива обычно эллиптирован. Эллипсис, как уже говорилось, – одно из важных средств обеспечения связанности текста (Холлидей и Хасан 1976, 142–225). Эллипсис субъекта, как правило, указывает, что субъект тот же, что и в предшествующем предложении (в предшествующей предикативной единице), хотя при определенных условиях эллиптированный субъект может быть референциально связан с именем, занимающим в предшествующей предикации несубъектную позицию (ср.: Живов 2008б, 7–9). Субъект появляется (чаще всего в порядке SV), когда происходит смена субъекта, когда заходит речь о новом агенте повествования. Приведу простой пример из Жития Александра Невского, отмечая двумя косыми чертами смену агента и в ряде случаев опускаемая прямую речь, которая может рассматриваться как вставка, не влияющая на словорасположение в основном тексте (хотя это допущение, в принципе, не всегда оправданно):

Си же слышавъ король части римскѣѡ полѣношныѡ страны таковое мѡжество кнѣѡа алеѡандрѡа, помысли в себѣ: поидѡ, плѣню землю алеѡанровѡ; и собравъ силѡ великѡ, наполни кораблѡ многы полковѡ своиѡ, подвижесѡ в силѣ велицѣ, пыѡам дѡхо<sup>м</sup> ратныѡ. Прїиде в невѡ, шатаесѡ безѡмїемѡ, посла послы, загордѣвѡсѡ къ кнѣю алеѡандрѡ в

новѣгра<sup>А</sup>, рече: аще мѡжеши противитисѧ мнѣ, то се есмь оуже зѣѣ, пѣннаѧ землю твою. // **А**лѣѡан<sup>А</sup>рѣ же, слышавѣ словеса нхѣ, разгорѣсѧ срѣцемѣ и вшедѣ въ црковѣ стѣмъ софѣмъ, па<sup>А</sup> на колѣнѣхъ пре<sup>А</sup> олтаремѣ, нача молитисѧ бгѣ съ слезами: <...> Въспрѣемѣ ѱлм<sup>м</sup>скѣю пѣѣ, рече: <...> И скончавѣ молитвѣ, въставѣ, поклонисѧ; // архіепѣтъ же спиридонѣ блѣвивѣ его, ѡпѣсти. // онѣ же, идѧ изъ црковѣ, оутираше слезы, и нача крѣпити дрѡжинѣ свою и рече <...> И сѧ рекѣ, прѣиде на нхѣ в малѣ дрѡжинѣ, не сождавсѧ со многою силою своею, но оуповаѧ на стѣю трѣцѣ (Серебрянский 1915, тексты, 111–112; ср.: Бугославский 1914, 279–280).

В данном отрывке смена субъекта подчеркивается частицей *же*, одна из основных функций которой – указывать на референциальную связь слова, к которому она присоединяется как энклитика, с элементом предшествующего текста, нередко, но не непременно с предшествующим вхождением этого же слова или иным обозначением того же агента или действия. Мы находим такое *же* при имени **А**лѣѡан<sup>А</sup>рѣ при первой смене субъекта и при местоимении онѣ при третьей смене субъекта. В то же время архиепископ Спиридон является новым персонажем в повествовании, и *же* в данном случае не сигнализирует о референции, а подчеркивает переход от одного действия (молитвы) к другому (благословиению и отпуску епископа), которое закономерно за ним следует<sup>290</sup>. Такое референциальное или псевдо-референциальное *же* выдвигает субъект в препозицию к предикату (т. е. обуславливает порядок SV); насколько регулярно то же самое происходит при смене субъекта, не выделяемого частицей *же*, будет видно из дальнейшего изложения, в котором мы рассмотрим несколько семантических классов глаголов. Мы рассмотрим глаголы речи, глаголы движения и – из числа переходных глаголов – глаголы с корнем *сла-* (*послати, прислати, выслати* и т. д.). Этим мы в целом и ограничимся, полагая, что такой выборочный анализ позволит выделить основные закономерности. В летописном нарративе предикаты этих трех групп составляют, по приблизительным данным, более половины всех личных глаголов с выраженным субъектом, для агиографии эта пропорция, видимо, ниже, но все же остается достаточно высокой.

Следует заметить, что особенности средневекового восточнославянского нарратива ограничивают возможности исследования порядка слов по отдельным семантическим классам глаголов. Если глаголы движения и глаголы речи широко представлены и многократно встречаются во фразах с эксплицитным субъектом, то многие глаголы, как, например, *взяти*, по большей части употребляются во фразах с невыраженным субъектом. Это

<sup>290</sup> Впрочем, в другой редакции Жития мы находим: «И, скончавѣ молитву, въставѣ, поклонисѧ архіепіскопу. Епископѣ же бѣ тогда Спиридонѣ, благослови его и отпусти» (БЛДР, V, 350). Здесь *же* обретает свою референциальную функцию, *епископѣ же* отсылает к *архіепіскопу* предшествующей предикации. Не вполне очевидно, однако, что данное чтение является первоначальным: предложение «Епископѣ же бѣ тогда Спиридонѣ, благослови его и отпусти» синтаксически ущербно (глагол-связка выступает в однородной связи со знаменательными глаголами) и, возможно, является результатом неудачного редактирования.

не случайное обстоятельство, а отражение семантики подобных глаголов. Взятие чего-либо случается обычно после некоторых предваряющих действий. В обычном повествовании сначала идет рассказ об этих действиях, а потом об их результате, и у всех этих действий обычно один и тот же агенс. Поэтому *взяти* и появляется во фразах с невыраженным субъектом, ср.: «[П]оиде Шлегъ поимъ воѡ многи Вараги. Чюдѡ Словѣни. Мерю. и всѣ Кривичи. и приде къ Смоленску съ Кривичи. и приѡ градъ. и посади мужъ сво<sup>и</sup>. ѡтуда поиде внизъ. и взя Любець. и посади мужъ<sup>и</sup> свои» (л. 8; ПСРЛ, I, стб. 22–23); «ѡдолѣ Сѡславъ Козаромъ. и гра<sup>и</sup> ихъ и Бѣлу Вѣжю взя» (л. 19; там же, 65); «Иде Володимеръ на Ювтаги. и побѣ<sup>и</sup> Ювтаги. и взя землю и<sup>и</sup>. и иде Киеву. и твораше потребу кумиро<sup>и</sup>» (л. 26; там же, стб. 82). Как уже говорилось, по условиям восточнославянской нарративной стратегии, отличающей средневековые памятники от современных, субъект появляется один раз в начале нарративной цепочки, а у предикатов, следующих за начальным, субъект эллиптирован. Когда же *взяти* появляется с эксплицитным субъектом, обычно имеют место специфические дискурсивные обстоятельства, например, начало рассказа о том, что произошло, после того как город был взят, ср. в Новгородской первой летописи: «Въ лѣто 6708 [1200]. Ловоть възъѡ Литва и до Налюца, съ Бѣлее до Свинорта и до Ворча сѡреду; и гнашася новгородѣи по нихъ и до Църнянъ, и бишася с ними, и убиша Литвы мужъ 80, а новгородѣи 15» (л. 62; НПЛ, 45). Эта интродуктивная функция сказывается и на порядке слов: скорее всего субъект будет стоять после предиката, и этот момент обусловлен не семантикой глагола, а характером нарратива. Именно учитывая данные обстоятельства, мы выбрали указанные выше семантические группы глаголов: эксплицитный субъект встречается с ними часто, хотя, конечно, не всегда.

**5. 1. Глаголы речи.** Я анализировал, пользуясь электронными версиями текстов, предикации с глаголами *глаголати* и *рещи* в летописных и агиографических текстах; этими глаголами данный семантический класс не исчерпывается (в него входят также, например, *отвѣщати*, *сказати*, *повѣдати* и *възглашати*), однако они покрывают более 90% всех конструкций с глаголами речи и дают достаточный статистический материал. Основная функция этих глаголов в восточнославянских нарративных текстах – это введение прямой или несобственно прямой речи, широко, хотя и в разной степени использующейся восточнославянскими нарративными текстами. Описывая условия препозиции глагола в старославянских памятниках, Р. Вечерка особо отмечает глаголы речи, вводящие прямую речь. В рассматриваемых Вечеркой примерах эти глаголы употребляются «am Anfang der direkten Reden oder der Einleitungssätze in Dialogen bei einem Wechsel der Sprecher, vgl. z. B. Matth 19, 19, wo die direkte Rede Jesu Christi endet und der Vers 20 folgt: *ġla emu junoša <...>* – *λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος*; darauf folgt die direkte Rede des Jünglings, und die darauffolgende Replik Jesu Christi wird in Vers 21 folgendermaßen eingeleitet: *reče emu iś <...>* – *ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς*» (Вечерка, I, 65). Восточнославянский нарратив построен по этой модели, и глаголы речи играют в нем в целом такую же роль, как и в евангельском повествовании; при этом сохраняется и ряд формальных черт их использования



(в том числе и словорасположение), которое в славянских евангельских переводах восходит к греческому.

**5. 1. 1. Древнейший период.** В ранних летописях основным глаголом говорения является *реци*, в ПВЛ он употребляется (в предикациях с выраженным субъектом) 321 раз, причем в 317 случаях (99%) он вводит прямую речь (о прямой и несобственно прямой речи в ПВЛ см.: Перельмуттер 2009). Во многих случаях, как и в старославянских памятниках, он используется при конструировании диалога, ср.: «и возва є Шльга к собѣ. [и ре<sup>ч</sup> имѣ] добри гостѣе придоша. и рѣша Деревлане придохомѣ кнагине. и ре<sup>ч</sup> имѣ Шльга да глѣте что ради придосте сѣмо. рѣша же Древлане. пѣсла нѣ Дервьска земла. <...> ре<sup>ч</sup> же имѣ Шльга люба ми естъ рѣчь ваша» (л. 15; ПСРЛ, I, стб. 55–56); «и ре<sup>ч</sup> Володимерь что естъ законѣ вашъ. шни же рѣша шбрѣзатиса. свининѣ не ѣсти ни зачѣинѣ. суботу хранити. шн же ре<sup>ч</sup> то гдѣ естъ земла ваша. шни же рѣша въ Єрлмѣ. шнѣ же ре<sup>ч</sup> то тама ли естъ. шни же рѣша разѣгнѣваса Бѣ на шѣи наши. и расточи нѣ по странамѣ грѣхъ ра<sup>ч</sup> наши<sup>ч</sup>. и предана бѣ<sup>ч</sup> земла наша х<sup>ч</sup>ѣяномѣ. шн ж ре<sup>ч</sup> то како вы инѣ<sup>ч</sup> оучители сами ѿвержени ѿ Бѣ и расточени» (л. 27об.–28; там же, стб. 85–86). В нескольких случаях появляются нарративные сообщения о речевых актах (см. об этой категории использования *verba discendi*: Лич и Шорт 1981, 323–324; Коллинз 2001, 124–132). В двух случаях в ПВЛ *реци* описывает событие говорения, ср.: «на патое лѣ<sup>т</sup> поманѣ конѣ. ѿ него<sup>же</sup> бахѣтъ рекли во<sup>с</sup>ви оумѣти. и призва старейшинѣ конюхо<sup>м</sup>» (л. 19; там же, стб. 38). В двух случаях *реци* выступает как переходный глагол с объектом, выраженным местоимением (*се*): «се же рѣша Грьци льстаче подѣ Русью» (л. 21; там же, стб. 70); «се же ре<sup>ч</sup> Соломанѣ о прелюбодѣица<sup>ч</sup>» (л. 25об.; там же, стб. 80).

*Глаголати* в ПВЛ ведет себя иным образом. Во-первых, оно употребляется существенно реже, всего 36 раз (имею в виду опять же предикации с выраженным субъектом), во-вторых, для *глаголати* характерна иная статистическая конфигурация функций. И в этом случае основная функция – это введение прямой речи, она реализуется в 27 примерах (75%; статистически значимое отличие от *реци*), в основном при цитировании Св. Писания, ср.: «сего ради виноградѣ вашѣ и смоковѣе ваше. нивѣ и дубравѣ ваша истрохѣ глѣтъ Гѣ. а злобѣ вашихѣ не могохѣ истерти» (л. 56об.–57; там же, стб. 168)<sup>291</sup>. В 5 случаях *глаголати* описывает событие говорения, ср., например: «Присла Романѣ и Костантинѣ. и Степанѣ слы к Игоревѣ. построити мира первого. Игорь же глѣ с ними ш мирѣ» (л. 11; там же, стб. 46); «аще ли неправо глѣ Дѣдѣ. да прииметѣ [мestь] ѿ Бѣ и ѿвѣчае<sup>т</sup> пре<sup>ч</sup> Бмѣ» (л. 87об.; там же, стб. 260). В 5 случаях *глаголати* употреблен как переходный глагол с выраженным объектом, ср.: «Шлег же посмѣаса и оукори кѣдесника. река то ти неправо глѣють вол<sup>с</sup>ви» (л. 19; там же, стб. 39); «и не бѣ<sup>ч</sup> свѣтло. но

<sup>291</sup> *Глаголати* вводит библейские цитаты в 18 случаях; сюда, видимо, следует прибавить еще ссылку на Амартала («Глѣтъ Гешргии в лѣтописаньи» – л. 5об.; там же, стб. 14) и на Василия Великого (л. 39об.; там же, стб. 114). Таким образом, в 20 из 27 случаев (74%) *глаголати* соотносено с сакральными источниками восточнославянской книжной письменности и тем самым в рамках летописной языковой традиции оказывается противопоставлено *реци* как элемент специфически религиозного дискурса.

акы мѣць бѣ. югоже невѣгласи глѣють. снѣдаѣму сущю» (л. 55об; там же, стб. 164); как и в случае *рещи*, объект обычно выражен местоимением, в двух случаях указательным (*то*), в двух – относительным (*егоже*).

Новгородская первая летопись старшего извода отличается от ПВЛ в плане употребления глаголов речи. Она существенно менее интенсивно пользуется прямой речью и, в особенности, избегает тех пространных диалогов, которые характерны для ПВЛ (эту черту новгородского летописания отмечал Д. С. Лихачев – Лихачев 1946, 119). При всех этих различиях в функциональных параметрах двух рассматриваемых глаголов наблюдаются определенные сходства. Так, глагол *рещи* употребляется в Синодальном списке всего 35 раз (что весьма мало сравнительно с ПВЛ), однако во всех этих случаях он вводит прямую речь (что похоже на ПВЛ), ср. типичный пример: «Рекоша ему новгородьци: “камо, княже, очима позриши ты, тамо мы главами своими вържемь”» (л. 79; НПЛ, 53)<sup>292</sup>. Любопытно, что и в Синодальном списке глагол *глаголати* оказывается не так тесно связан с функцией введения прямой речи, как *рещи*. *Глаголати* употреблено в предикациях с выраженным субъектом всего 6 раз, из них только в одном случае мы имеем дело с бесспорной прямой речью: «якоже глаголетъ писание: дивно оружие молитва и постъ» (л. 145; НПЛ, 86), – и этот случай представляет собой цитирование Св. Писания. В двух других случаях прямую речь можно постулировать лишь с оговорками: «инии же мнози глаголаху, яко, полупивъ святую Софию, пошълъ Цесарюграду» (л. 28об.–29; там же, 29); «а зовуть я Татары, а инии глаголють Таурмены, а друзии Печенѣзи» (л. 95об.; там же, 61). Еще в двух случаях зависима от *глаголати* предикация скорее представляет собой придаточное изъяснительное, нежели прямую или несобственно-прямую речь, ср.: «Тако бо Мефодии глаголетъ, яко скончанию врѣмень явитися тѣмъ, яже загна Гедeonъ, и поплѣнять всю землю от вѣстокъ до Ефранта» (л. 96; там же, 61; ср. еще: л. 95об.–96; там же, 61). Еще в одном случае фиксируется событие говорения: «Богъ же вѣсть, како скончася: много бо глаголють о немъ инии» (л. 124; там же, 76).

Когда глаголы говорения вводят прямую или несобственно-прямую речь, они выполняют в дискурсивном плане интродуктивную функцию. И в евангельском греческом, и в церковнославянских евангельских переводах эта функция у глаголов речи давала словорасположение VS в качестве доминирующего порядка в соответствующих предикативных единицах (ср.: Вечерка, I, 65; Тернер 2006, 111). На эту модель в целом ориентированы ранние восточнославянские летописные тексты.

<sup>292</sup> Единственное исключение – это фраза о данном и не исполненном обещании черниговского князя Михаила Всеволодовича, что служит основанием для изгнания его сына Ростислава: «А княжицю Ростиславу путь показаша с Торожку къ отцеви въ Църниговъ: “како отецъ твои реклъ былъ вѣсѣсти на коне на воину съ Въздвигения и крестъ цѣловаль, а се уже Микулинъ день, съ нас крестное челование; а ты поиди прочь, а мы собе князя промыслимъ”» (л. 112об.; НПЛ, 70); *реклъ былъ* с последующим инфинитивом употреблено здесь не для введения прямой речи, а в значении ‘клялся’ и с этим, видимо, можно связать необычное сочетание *verbum dicendi* с формой плюсквамперфекта.

Так, в ПВЛ по Лаврентьевскому списку в предикациях с глаголом *реши* порядок VS наблюдается в 188 случаях (59%), а порядок SV – в 133 случаях (41%). Порядок VS можно считать для данных предикаций немаркированным, не столько в силу численного превосходства, сколько в силу того, что большинство примеров с порядком SV могут быть объяснены специальными условиями. Конечно, индуцирующая порядок SV мотивация может быть найдена не в 100% случаев; как уже говорилось, выбор порядка слов, как и вообще выбор оптимального способа упаковки информации, осуществляется не на уровне правил, а на уровне тенденций и подвержен влиянию различных не поддающихся учету факторов (авторского вкуса, ориентации на конкретный образчик, хотя бы и аномальный, и, наконец, некоторой неустранимой неурегулированности языкового употребления, которая создает его подвижность и историческую динамичность). Тенденции в ПВЛ, однако, просматриваются достаточно отчетливо.

Прежде всего, SV появляется, когда в действие вступает новый субъект, отличный от субъекта предшествующей предикации, и эта смена субъекта означена частицей *же* (которая вообще в летописи является основным средством выделения субъекта, так что А. Сато трактует конструкции с нею – на мой взгляд, без достаточных оснований – как отдельный разряд синтаксических построений – Сато 2008). Примеры многочисленны, всего их в ПВЛ 104, т. е. 78% от всех предикаций с порядком SV при глаголе *реши*, ср. несколько стандартных примеров: «и по крѣньи возва ю црь и рече єи хоцю та поати собѣ женѣ. ѡна же ре<sup>а</sup> како хочеша ма поати крѣть [в др. сп. а крестивѣ] ма самѣ» (л. 17об.; ПСРЛ, I, стб. 61); «свѣтъ створше братьѣ идоша к старцю Антоню. и рекоша постави намѣ игумена. ѡн же ре<sup>а</sup> имѣ. кого хочете. ѡни же рѣша кого хочеть бѣ и ты» (л. 54; там же, стб. 159). С помощью частицы *же* может выражаться чередование участников при конструировании диалога; сверх приведенных выше примеров ср., например, беседу Яна Вышатича с волхвами: «Юань же ре<sup>а</sup> по истинѣ лжа то створилъ бѣ члѣвкъ ѿ землѣ <...> ѡна же рекоста вѣ вѣвѣ. како естъ члѣвкъ створенъ. ѡн же ре<sup>а</sup>. како. ѡна же рекоста бѣ мѣвѣса вѣ мовници и вспотивѣса <...> ре<sup>а</sup> има Юань. поистинѣ прельстилъ ва<sup>а</sup> естъ бѣсъ. коєму Бѣ вѣруєта. ѡна же рекоста антих<sup>а</sup>. ѡн же ре<sup>а</sup> има то кдѣ естъ. ѡна же рекоста сѣдѣть в безднѣ. ре<sup>а</sup> има Юань. какыи то бѣ сѣда в безднѣ. то естъ бѣсъ» (л. 59об.; там же, стб. 176–177). В некоторых случаях субъект оказывается выделен не частицей *же*, а другими средствами, например частицей *и* или прилагательным *други*, указывающим на смену субъекта, ср.: «ре<sup>а</sup> бо Гѣ. ѡко радость бываєтѣ на нѣбси ѡ єдиноѣмъ грѣшницѣ кающемѣса. се же не єдинъ ни два. но бєчисленое множество. к Бѣ прѣступиша. сѣымъ крѣньемъ просвѣщени. ѡкоже и прѣкъ ре<sup>а</sup>. вѣскроплю на вы воду чѣту і ѡчѣтитєса. и ѿ идолѣ вашихъ. и ѿ грѣхъ вашихъ<sup>а</sup>. пакы други прѣкъ ре<sup>а</sup>. кто ѡко бѣ ѡемѣла грѣхы. и прєступає неправды. ѡко хота и млѣтѣвъ єсть. то ѡбратѣть и оущєдрит ны. и погрузитъ грѣхы наша вѣ глубинѣ» (л. 41об.; там же, стб. 120)<sup>293</sup>.

<sup>293</sup> Ср. еще: «Иєремѣа же ре<sup>а</sup> аще станеть Самоилъ и Моисѣи не помилую ихъ. паки то же [= тѣ же, *вар.*: тои же] Иєремиа ре<sup>а</sup>. тако глѣтъ Гѣ се клахса иманемъ моимъ великомъ. аще буде има мое имануємо. ѿсєлє гдѣ в вустѣхъ<sup>а</sup> Июдѣиски<sup>а</sup>» (л. 33; ПСРЛ, I, стб. 98). Во

Нередко субъект вводится причастным оборотом, оказываясь тем самым элементом двух предикаций (в нашей выборке с глаголом *рещи* в ПВЛ насчитывается 16 таких примеров); в случае препозитивного причастного оборота и субъект оказывается в препозиции к основному предикату (глаголу речи), ср.: «и посьдѣвъ Дѣдъ мало ре<sup>ч</sup> кде е<sup>а</sup> бра<sup>т</sup>» (л. 87об.; там же, стб. 259). Иногда промежуточный статус субъекта, принадлежащего одновременно причастной и матричной предикации, подчеркивается тем, что матричная предикация соединяется с причастной с помощью соединительного союза (см. о подобном соединении § IV-4.5.1), ср.: «ѡвѣщавши Шльга. и ре<sup>ч</sup> къ сломъ. аще т<sup>б</sup>и рьци такоже постоиши оу мене в Почаинѣ ѡкоже азъ в Сюду то тогда ти дамъ» (л. 18; там же, стб. 63). В принципе предложения с препозитивным причастным оборотом, субъект которого является также субъектом матричной предикации, могут быть разного типа. Наряду со структурой типа Part + S + V и Part + S & V, которые соответствуют двум приведенным выше примерам, могут быть и структуры типа S + Part + V или S + Part & V, ср.: «Игумень и черноризци свѣтъ створше рѣша не добро естъ лежати ѡцю нашему. Ѳеодосьеви кромѣ монастыра» (л. 70; там же, стб. 209), ср. еще в Московском летописном своде: «Тоя же осени князь велики Витовтъ, събравъ епископы области своя, Исакия Черниговскаго, Федосиа Полотскаго, Деонисиа Лучскаго, Герасима Володимерьскаго, Харитона Холмскаго, Еуфимиа Туровскаго, и рече к ним...» (ПСРЛ, XXV, л. 338об.). Построения последних двух типов встречаются несколько реже, чем построения первых двух, однако во всех этих случаях субъект оказывается в препозиции к глаголу матричной предикации, так что не кажется целесообразным разбирать эти случаи отдельно. Существенно, что в рассмотренных текстах практически не встречаются предложения типа «Рѣша игумень и черноризци свѣтъ створше» или «Рѣша свѣтъ створше игумень и черноризци», т. е. предложения со структурой V + S + Part или V + Part + S, что и позволяет говорить о том, что препозитивный причастный оборот является фактором перемещения субъекта в препозицию<sup>294</sup>.

второй цитате из Иеремии хотя и не происходит смены субъекта, но специально подчеркивается тождество субъекта данной предикации с субъектом предшествующей, что также представляет собой случай выделения. Весьма возможно, что выделительной функцией обладает и частица *бо*; когда она следует за субъектом, автором идущего далее изречения, она ставит его в фокус как источник авторитета. В ПВЛ мы находим два подобных примера: «се же к тому гнѣваша на мѣрь Соломанъ бо ре<sup>ч</sup> кака и [вместо: кажаи] злыа приємлетъ собѣ досаженъ ѡбличаю» (л. 18об.; там же, стб. 64); «Соломанъ бо ре<sup>ч</sup> првдѣнцѣ въ вѣки жиють и ѡ Гѣ мзда имъ естъ. и строенье ѡ Вышнаго» (л. 21; там же, стб. 69).

<sup>294</sup> Возможна, конечно, такая трактовка сочетания препозитивного причастного оборота и матричной предикации, при которой субъект приписывается исключительно причастной предикации, а матричная предикация рассматривается как предикация с эллиптированным субъектом, отсылающим к субъекту причастной предикации, т. е. можно считать, что в «и посьдѣвъ Дѣдъ мало ре<sup>ч</sup> кде е<sup>а</sup> бра<sup>т</sup>» имеется предикация с субъектом «и посьдѣвъ Дѣдъ мало» и бессубъектная предикация «ре<sup>ч</sup> кде е<sup>а</sup> бра<sup>т</sup>». Мне такая трактовка не кажется привлекательной.

Возможно (это требует дополнительного исследования), препозиция субъекта может быть обусловлена и тем, что предикация с глаголом речи оказывается частью относительного придаточного, в котором относительное местоимение является дополнением, ср.: «ѡ немже и великій Настасии. Бжѣа гра<sup>а</sup> ре<sup>ѣ</sup>. Аполонию же да<sup>ж</sup> и дон'нѣ. на нѣце<sup>х</sup> мѣсте<sup>х</sup> собываютъ<sup>ѣ</sup> [створенаа] стоашаа» (л. 20; ПСРЛ I, стб. 40).

В принципе, видимо, могут быть и иные, не представленные в ПВЛ факторы, мотивирующие выдвижение субъекта в препозицию. Однако они не объясняют всех случаев, когда в предикациях с глаголами речи субъект стоит перед предикатом. Этот «игнорирующий правила» остаток составляет в ПВЛ 7 примеров. В принципе такие примеры требуют не объяснения, которого нет, а фиксации и определения их количественных параметров (в нашем случае весьма скромные 5% от всех конструкций с порядком SV). Нельзя, однако же, не отметить, что в 6 из этих 7 примеров глагол вводит библейскую цитату; тем самым намечается какая-то связь между порядком SV и тематическими свойствами контекста, ср.: «Г<sup>ѣ</sup> ре<sup>ѣ</sup> приходящаа ко мнѣ не иженуть вонѣ» (л. 18; там же, стб. 62); «ѡ саковыхъ бо Солом[он]ъ ре<sup>ѣ</sup>. скоріи суть пролити кровь бес правды» (л. 45об.; там же, стб. 132). Единственный из этих примеров, где *реци* не вводит библейскую цитату, следующий: «в днѣ бо Въздвиженьа Всеславъ вздохнувъ ре<sup>ѣ</sup>. ѡ кр<sup>ѣ</sup>те ч<sup>ѣ</sup>тныи понеже к тобѣ вѣрова<sup>ѣ</sup>. избави ма ѡ рва сего» (л. 58; там же, стб. 172); и в этом случае, как можно видеть, вводимая прямая речь представляет собою молитву и появляется в контексте обсуждения того, как Бог «показа силу кр<sup>ѣ</sup>тную» «землѣ Русьстѣи»<sup>295</sup>.

Порядок слов в ПВЛ в предикациях с глаголом *глаголати* во многом напоминает – в уменьшенном размере – те особенности, которые мы наблюдали в случае *реци*, хотя обнаруживаются и некоторые небезынтересные частные отличия. Как уже говорилось, в ПВЛ имеется 36 таких предикаций. В 21 (58%) обнаруживается порядок VS, в 15 (42%) – порядок SV; статистически эти цифры никак не отличаются от приводившихся выше для глагола *реци*, и это само по себе вполне знаменательно. И здесь VS может рассматриваться как немаркированный порядок, ср. примеры: «ѡбратитеса ко мнѣ. и ѡбращюся к вамъ глѣть Г<sup>ѣ</sup>» (л. 57; там же, стб. 169); «Иезекиила же ре<sup>ѣ</sup>. тако глѣть Г<sup>ѣ</sup> Аданаиль. расъсѣю въ вса ѡстанки ваша» (л. 33; там же, стб. 98). Как и в случае *реци*, большинство примеров с SV мотивированы какими-либо специальными характеристиками, прежде всего сменой субъекта, на которую указывает частица *же* при субъекте. Таких случаев 6, что составляет всего 40% от всех предикаций с порядком SV – существенно меньше, чем в случае *реци*, ср.: «начаша же друзии несмыслении глѣти.

<sup>295</sup> Нужно сказать, что просматривающаяся здесь связь является односторонней. Немотивированный порядок SV появляется, когда вводятся библейские цитаты. Неверно было бы утверждать, однако, что библейские цитаты мотивируют порядок SV, поскольку большинство библейских цитат вводится глаголом *реци*, стоящим в препозиции к имени (таких случаев в ПВЛ 31, т. е. в 5 раз больше, чем примеров с SV), ср.: «и ре<sup>ѣ</sup> Бѣ проклата земля в дѣлѣхъ твоихъ. и в печали ѡси вса дни живота своего» (л. 29; там же, стб. 89); «ре<sup>ѣ</sup> бо Двѣдъ работайте Г<sup>ѣ</sup>ви съ страхо<sup>м</sup>. и радуитеса ѡму с трепето<sup>м</sup>» (л. 41об.; там же, стб. 120).

поиди кнаже. смыслении же глѣху. аще бы [ихъ] пристроилъ и .й. тысячь не лихо то юсть» (л. 73; там же, стб. 218). В двух случаях препозиция субъекта мотивирована тем, что субъект представляет собой местоимение 2 лица; местоимения 1 и 2 лица практически всегда (когда они являются субъектами) ставятся перед предикатом, что, видимо, связано с их особым коммуникативным статусом как шифтеров, маркирующих выход из нарративного режима, ср. в разговоре Яна с волхвами: «за величанье юго низъвержень бы<sup>а</sup> с ѿбсе. и естъ в безднѣ ѿко<sup>ж</sup> то вы глѣта» (л. 59об.; там же, стб. 177). В одном случае предикация с SV является частью относительного предложения с относительным местоимением-объектом в вин. падеже (а отсюда и порядком OSV), ср.: «и не бы<sup>а</sup> свѣтло. но акы м<sup>а</sup>ць бѣ<sup>а</sup>. югоже невѣгласи глѣють. снѣдаему сущю» (л. 55об.; там же, стб. 164). В немотивированный остаток попадает 6 предикаций с SV, что составляет 40% всех предикаций с SV, и это существенно выше, чем в случае с *реци*. 5 из этих 6 предикаций вводят библейские цитаты, что в принципе похоже на примеры с *реци*, однако не обладает тем же выделительным потенциалом, поскольку большинство цитат, вводимых глаголом *глаголати*, является библейским (см. выше), ср.: «ѿкоже Исаия глѣть. ѿиметь Гь ѿ Иер<sup>а</sup>лма крѣпкаго исполина» (л. 48; там же, стб. 140). Таким образом, здесь, в предикациях с SV, как и при функциональном употреблении *глаголати*, доминирующие модели работают менее жестко, чем в случае *реци*<sup>296</sup>.

Обратимся теперь к Новгородской первой летописи. Прямая речь, как уже упоминалось выше, используется в этом памятнике существенно менее интенсивно, чем в ПВЛ. Меньше поэтому и предикаций с глаголами речи. Глагол *реци* употребляется (при эксплицитном субъекте) 35 раз, *глаголати* – 6 раз. Предикации с *реци* устроены в целом так же, как в ПВЛ. В 23 случаях (66%) мы находим порядок VS, который и следует рассматривать как немаркированный, ср. несколько примеров: «И рече Гюрги и Андрѣи: “се Яропѣлкѣ, брат наю, по смерти своеи хочеть дати Киевѣ Всеволоду, братану своему”» (л. 14; НПЛ, 22); «И рече князь Михаилъ: “да положимъ 3 жрѣбья, да которыи богъ дастъ намъ”» (л. 109; там же, 68). Порядок SV появляется в 12 примерах (34%), и в большинстве случаев для этого порядка может быть найдена мотивация. В 5 случаях (42% от всех предикаций с SV) субъект вынесен вперед в качестве нового с помощью частицы *же*, ср.: «Онъ

<sup>296</sup> Здесь и далее мы игнорируем такой фактор, как положение глагола речи, вводящего прямую речь, по отношению к прямой речи. В обычном случае *verba dicendi* стоят перед прямой речью. Так, например, обстоит дело с глаголом *реци* в ПВЛ во всех 317 рассмотренных нами случаях. Постпозиция вводящего прямую речь глагола (tag'a) редка, она появляется в маркированных контекстах цитирования авторитетных сентенций, прежде всего из Св. Писания (ср.: Коллинз 2001, 7–8). В ПВЛ встречается 4 таких случая с tag'ом *глаголати*, ср.: «шбратитеса ко мнѣ. и шбращюся к вамъ глѣть Г<sup>с</sup>ъ» (л. 57; ПСРЛ, I, стб. 169). В Суздальской летописи, равно как и в Новгородской первой, постпозиция tag'a вообще не встречается. Точно так же обстоит дело и в Житии Феодосия. При постпозиции субъект всегда, видимо, стоит после глагола (как и в современном русском языке). Поскольку, однако, существенной (в статистическом отношении) роли данный фактор не играет, в настоящей работе он учитываться не будет.

же рече: “въвъдете Гръцина, попа святую Костянтину и Елены”» (л. 102об.; там же, 65). В нескольких случаях фокусирование на субъекте (или контрастное противоположение субъекта данной предикации субъекту предшествующей предикации) осуществляется за счет иных дискурсивных средств. В одном случае таким средством является местоимение *сам*, всегда содержащее противопоставление данного субъекта другим потенциальным субъектам и поэтому всегда помещаемое в препозиции к предикату, ср.: «и терпить о насъ, ожидая покаяния, якоже самъ реклъ есть: не хоцю смерти грѣшнику, но обращения животу его» (л. 132–132об.; там же, 80). В другом случае оппозиция субъекта рассматриваемой предикации субъекту предшествующей выражена лексически (*инии*) и подчеркнута употреблением противительного союза *но*: «и хотѣша новгородци на нихъ ударити, но инии рекоша: “уже есть велми к ночи, еда како смятемся и побиемся сами”» (л. 146; там же, 87). Еще в одном случае оппозиция выражена местоимением *они*, отсылающим ко второму участнику диалога; в рассказе о конфликте князя Ярослава и новгородцев с псковичами в 1228 г., когда псковичи заключили союз с Ригой против Новгорода, об этом событии говорится следующим образом: «То же слышавъше плсковичи, яко приведе Ярослав пълкы, убоявшеся того, възяша миръ съ рижаны, Новгородъ выложивъше, а рекуче: “то вы, а то новгородьци; а намъ ненадобе; нъ оже поиду на насъ, тъ вы намъ помозите”; и они рекоша: “такое буди”; и пояша у нихъ 40 муж въ талбу» (л. 104об.; там же, 66). В еще одном случае ситуация несколько более сложна и менее очевидна, хотя и здесь событие включает две стороны и выдвижение вперед субъекта второй предикации обусловлено, как кажется, переключением с позиций одной стороны на позиции другой стороны; это переключение подчеркнуто наречием *тогда же*, которому можно приписать значение следствия и которое в контексте означает реакцию второй стороны на действия первой стороны, ср.: «Тои же зимѣ побѣже Федоръ Даниловичъ съ тиуномъ Якимомъ, поимъше съ собою 2 княжича, Федора и Альксандра, сыропустныя недѣли въ уторник, в ночь. Тъгда же новгородци рѣша: “дажь что зло съдумавъ на святую Софию, а побеглъ; а мы ихъ не гонили, нъ братью свою есме казнили; а князю есме зла не створили никотораго же; да оно имъ богъ и крестъ честныи, а мы собѣ князя промыслимъ”» (л. 107–107об.; там же, 67).

Как и в ПВЛ, в Новгородской первой остается «игнорирующий правила» остаток; он представлен 3 примерами, что в процентном выражении немало – 25% всех предикаций с SV (существенно больше, чем в ПВЛ, хотя малочисленность примеров не позволяет делать далекоидущие выводы). Приведу примеры: «Князь и новгородьци рекоша Митрофану и Онтону: “идита къ митрополиту, да кого намъ прислеть, то нашъ владыка”» (л. 92об.; там же, 60); «Гюрги рече посломъ: “выдаите ми Якима Иванковица, Микифора Тудоровица, Иванка Тимошкинича, Сдилу Савиниц, Вячка, Иваца, Радка...”» (л. 100об.; там же, 64). Стоит, видимо, заметить, что первый подобный пример встречается в Новгородской летописи под 1219 г., т. е. в достаточно позднем ее слое (о членении Новгородской первой летописи на слои см.: Гиппиус 1997а), по времени более чем на сто лет отстоящем от последних статей ПВЛ.

В предикациях с глаголом *глаголати* картина иная, не напоминающая ПВЛ и – в силу малочисленности примеров – вообще несколько невнятная. Из 6 встретившихся примеров лишь в двух (33%) фиксируется порядок VS, ср.: «и отъять от насъ мужи добрыѣ да быхом ся покаяли, якоже глаголетъ писание: дивно оружие молитва и постъ» (л. 145; там же, 86). В четырех случаях (67%) мы находим порядок SV, который ранее мы рассматривали как маркированный. В трех случаях из этих четырех порядок SV представляется мотивированным. В двух примерах встречается субъект, выдвинутый в препозицию к предикату с помощью *же*, ср.: «инии же мнози глаголаху, яко, полупивъ святую Софию, пошльъ Цесарюграду» (л. 28об.–29; там же, 29); в одном примере мы находим пару противопоставленных субъектов, оппозиция которых выражается лексически (*инии* – *друзии*): «а инии глаголють Таурмены, а друзии Печенѣзи» (л. 95об.; там же, 61). В одном случае (17%) порядок SV кажется немотивированным: «Тако бо Мефодии глаголетъ, яко скончанию врѣменъ явитися тѣмъ, яже загна Геденъ, и поплѣнять всю землю от вѣстокъ до Ефранта» (л. 96; там же, 61). Хотя пропорция предикаций с SV кажется «неправильной» при сопоставлении с другими текстами, распределение этих предикаций по классам не представляет собой ничего необычного.

Оставаясь в пределах древнейших восточнославянских текстов, мы можем перейти теперь от анналистической традиции к агиографической и обратиться к Житию Феодосия. Стоит сразу же отметить, что основным глаголом речи для этого текста является *глаголати* (39 примеров), а не *рещи* (6 примеров). В этом можно видеть свидетельство большей ориентации агиографической литературы на каноническую церковнославянскую традицию в сравнении с литературой анналистической. Хотя само по себе это очевидно, прямые лингвистические отражения этого явления представляют определенный интерес. Оба глагола в основном используются для введения прямой речи. *Глаголати* употреблен в этой функции 38 раз (97% всех употреблений), *рещи* – 5 раз (83% всех употреблений). *Глаголати* один раз выступает как переходный глагол с объектом, выраженным относительным местоимением *еже*: «**ѡ како, ѡчѣ, заперещеникъ твоѡ ꙗже глѣтъ чьрноризць сини. ꙗко аще и князь приидеть, не поустити ꙗго**» (Усп. сб., л. 40г). *Рещи* один раз вводит несобственно-прямую речь: «**они же вси рекоша ꙗко стефанѡу достоиноу быти по тебѣ нгоуменьство приати**» (там же, л. 63а). Связь *verba dicendi* с функцией введения прямой речи выглядит здесь еще более тесной, чем в описанных выше летописных памятниках.

Любопытным образом, в Житии Феодосия в предикациях с глаголами речи порядок SV появляется чаще, чем VS. Тем не менее, как и в летописных памятниках, именно VS скорее представляется немаркированным порядком, нежели SV, поскольку употребление SV может рассматриваться как мотивированное, а мотивация VS, если о ней вообще можно говорить, сводится к общей интродуктивной функции (кроме одного случая с *глаголати* как переходным глаголом, цитировавшимся выше; единичность примера не позволяет здесь определить его функциональные параметры). В предикациях с *глаголати* порядок VS встречается 15 раз (38%), а порядок SV – 24 раза (62%). Мотивирующими для порядка SV факторами являются следующие.



Субъект выдвигается в препозицию к предикату, когда он выделен частицей *же*; таких примеров 10 (42% всех предикаций с SV), ср.: «Братниа же ишъдъше вънъ глаху къ себѣ. что оубо сии сицево глеть» (там же, л. 62б). Субъект принадлежит одновременно к главной предикации с глаголом речи и к находящейся в препозиции к ней причастной предикации; таких случаев 4 (17% всех предикаций с SV), ср.: «Таче паки хоблювьць възвѣщаа кмоу да оувѣсть кто ксть. и глаше се во азъ ксмь. и мнѣ отъврѣзи врата кдиномоу» (там же, л. 40в)<sup>297</sup>. В 6 случаях (25%) предикация с глаголом речи вводится союзом *тоже*, переключающим повествование с одного участника события на другого, реагирующего на действия первого и составляющего с первым своего рода пару; этот союз продвигает субъект в препозицию к предикату, ср.: «и се въниде икономъ гла блаженомоу. како въ оутрини днь не имамъ коупити кже на яды братни. и на иноу потребоу. тоже блженин гла кмоу. се како же видиши оуже вечеръ соушь и оутрини днь далече ксть» (там же, л. 44г). В 4 случаях (17% всех предикаций с SV) аналогичную дискурсивную функцию имеет наречное сочетание *тогда же*, действие которого мы уже разбирали на примере из Новгородской первой летописи (см. выше), ср., например, в Житии в рассказе о том, как князь Изяслав удивлялся сладости монастырской пищи и спрашивал Феодосия о причине этого феномена: «Тъгда же бѣдъхновенин оць ѿеодосии. хотѣ оувѣрити того на любвь божню. гла емъ. то аще блгын блдо сиа оувѣдѣти хоцеши. послушан насъ и повѣде ти» (там же, л. 48вг).

Как уже отмечалось, предикации с *речи* встречаются существенно реже предикаций с *глаголати*, имеется всего 6 примеров. В двух из них (33%) имеет место порядок VS, ср.: «о семь во словеси рече пррокъ. близъ гъ притыбающимъ въ истину. и волю боащимъ сѧ ко то творитъ и мѣтву нхъ оуслышитъ и спсѣтъ ѧ» (там же, л. 33а). В четырех примерах (67%) имеет место порядок SV, во всех этих примерах новый субъект выдвинут в препозицию с помощью частицы *же*, ср. в диалоге преп. Феодосия с матерью после реплики матери: «блженин же рече къ неи. то аще хоцеши видѣти ма по всѧ дни нди въ сии градъ» (там же, л. 32г). Важно отметить, что – в отличие от летописей – в Житии Феодосия не обнаруживается никакого «игнорирующего правила» остатка, во всех предикациях с порядком SV просматривается мотивация этого порядка. Можно сказать, что агиограф – в

<sup>297</sup> В этот класс можно было бы включить еще три примера, в которых субъект входит в причастный оборот, но которые в предлагаемой классификации разнесены по иным рубрикам. Два примера с причастным оборотом встречаются после наречного сочетания *тогда же*, притягивающего к себе субъект, один – после союза *тоже*, обладающего тем же действием, ср.: «ѡнъ же паки глаше кмоу. молю ти сѧ оче како ѡселъ не могу пребывати въ келни. множества ради живуцнхъ вѣсовъ въ неи. тъгда же блженин прекрстивы и таче гла кмоу. нди и боуди въ келни своен» (Усп. сб., л. 44в). Одновременное действие двух факторов несколько не противоречит идее мотивированности порядка SV; отнесение к одному из классов в подобных случаях неизбежно условно, хотя в приведенном примере кажется, что *тогда же*, вводящее ответную реакцию второго действующего лица в паре, является несколько более важным фактором. Если переклассифицировать примеры, рассматривая вхождение в причастный оборот как первичный классификатор, соответствующих примеров будет семь и они составят 29% всех предикаций с SV.

сравнении с летописцем – строже придерживается синтаксически регламентированных моделей.

В этом контексте можно взглянуть и на Житие Авраамия Смоленского, небольшой объем которого ограничивает возможности его использования, однако не мешает обсуждению общих тенденций, выявляющихся в более пространных памятниках. В этом тексте встречается 12 предикаций с глаголом *глаголати* и 9 с глаголом *реци*, преобладание первых над вторыми и здесь может интерпретироваться как черта агиографической языковой традиции. Во всех случаях, кроме одного, глаголы говорения служат для введения прямой или несобственно-прямой речи; в одном случае описывается акт говорения, ср.: «И сице же и сему бысть отъ дияволя научения, ибо нѣции отъ ерѣи, друзии же отъ черноризецъ како бы на нь вѣстати, овии же отъ града потязати и укорити исходяще, друзии спира творяще, яко ничто же свѣдуша противу насъ глаголааху, и тако посрамлени съ студомъ отхожааху» (БЛДР, V, 38).

Поскольку текст невелик, мы не будем рассматривать по отдельности предикации с *глаголати* и предикации с *реци*. Порядок VS представлен в 12 из них (57%), порядок SV – в 9 (43%), порядок VS может считаться немаркированным, поскольку мотивированность употребления характеризует именно порядок SV. Мотивирующие факторы достаточно разнообразны. Лишь в одном случае (11% всех предикаций с SV) мы имеем дело с выдвижением вперед субъекта с помощью частицы *же*, ср.: «И преподобный же Сава, утѣшая, глаголаша, яко “не имать Богъ презрѣти рабъ своихъ”» (там же, 46). В пяти случаях (56%) мы имеем дело с другими способами контрастирования субъекта предикации с глаголом говорения и предшествующей предикации. В трех случаях оппозиция обозначена лексически с помощью слов *инии* или *друзии*; один пример приводился выше, см. еще: «и начаша овии клеветати епископу, инии же хулити и досажати, ови еретика нарицати, а инии глаголаху на нь – глубинныя книги почитають» (там же, 42). В одном случае для контраста служит (все еще, видимо, указательное) местоимение *она*: «Се же сказавши ми матери его, и она глаголаше: “В тотъ часъ отроча оживе въ утробѣ моей”» (там же, 32). Еще в одном случае оппозиция реализуется с помощью союза *а*, отмечающего переход от одного источника цитирования к другому: «рече бо Господь: “За весь празднѣ глаголь въздати есть слово въ день судный”. А Павелъ апостолъ, вселенныя учитель, глаголетъ: “Что осужаете чюжого раба? Своему господину или стоять, или падать, или вѣстанеть; силенъ же Господь поставити и”» (там же, 46). В двух случаях (22%) субъект принадлежит одновременно причастному обороту и матричной предикации, ср.: «сый пришедъ глагола къ епископу Игнатию: “Великой есть быти опитемъи граду сему, аще ся добръ не опечалиши”» (там же, 46). Еще один пример синтаксически несколько аномален и поддается разным интерпретациям<sup>298</sup>. Как можно видеть, общие контуры выбора

<sup>298</sup> Имею в виду следующее предложение: «Видя Господь силу неприязнину и его злобу на ны, не попусти вся воли его, но яко же самъ вѣсть, тако и попускаетъ по силѣ... приимати его брань, яко же Господь въ Еуангелии рече, яко “ни на свиньяхъ имать власти безъ Божиа повелѣния”; да искусни Божии раби явятся» (БЛДР, V, 42). Субъектом

словорасположения в Житии Авраамия Смоленского вполне сходны с теми, которые мы наблюдали в Житии Феодосия, и отличаются от того, что характерно для древнейших летописных памятников. Это и позволяет предположить существование в сфере порядка слов отдельной агиографической языковой традиции, отличной от традиции летописания.

**5. 1. 2. Данные XIII–XV веков.** Располагая минимальными сведениями о древнейших восточнославянских текстах, мы можем сделать следующий шаг и попытаться определить, какие изменения характеризуют следующий этап в развитии письменного языка. Для этого можно обратиться к Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку, отражающей письменные навыки летописцев XII–XIV вв. В Суздальской летописи, как и в ПВЛ, глагол *реши* употребляется существенно чаще, чем *глаголати*: первый встречается 62 раза, второй – 23 раза. Функциональный диапазон обоих глаголов по сравнению с ПВЛ сужен. *Реши* во всех своих употреблениях вводит прямую речь (это характерно и для Суздальской летописи по Академическому списку, частично продолжающему Суздальскую летопись по Лаврентьевскому списку). *Глаголати* слегка более гетерогенен, хотя эта гетерогенность далека от той, которая характеризовала ПВЛ. Из 23 примеров с *глаголати* в одном глагол не вводит прямую речь, а описывает акт говорения: «и свѣ<sup>т</sup>лна поклѣбаша<sup>с</sup> и лю<sup>д</sup>ѣ мно<sup>г</sup>ѣ изумѣша<sup>с</sup> и мнахутса та<sup>к</sup>ѣ яко голова обишла ко<sup>е</sup>го и<sup>х</sup>. и яко другъ къ дру<sup>г</sup>у глѣху не вси бо ра<sup>д</sup>ѣмѣва<sup>х</sup>. дивна<sup>х</sup> то<sup>г</sup> чю<sup>д</sup>се» (л. 157; ПСРЛ, I, стб. 454); еще в одном примере трактовка неочевидна и не исключается интерпретация *глаголати* как переходного глагола со значением ‘называть’: «и зовуть ѿ Татары. а инии глѣють Та<sup>т</sup>мены. а друзии Печенѣзи» (л. 153; там же, стб. 445)<sup>299</sup>. Как и в ПВЛ, *глаголати* по преимуществу вводит цитаты из Св. Писания, а также патристических сочинений; в Суздальской летописи из 23 примеров с *глаголати* так обстоит дело в 20 случаях (87%), ср.: «якоже Г<sup>с</sup>ѣ глѣть на кого призрю. не на кроткаго ли. и смѣренаго и трепещущаго словесъ моихъ» (л. 157об.; там же, стб. 456); надо заметить, что, как и в ПВЛ, вводить библейские цитаты может и глагол *реши* (таких примеров 24). Итак, в Суздальской летописи мы видим меньшее функциональное разнообразие в употреблении глаголов говорения, чем в ПВЛ.

---

предикации, предшествующей интересующей нас «яко же Господь въ Еуангелъи рече», является опять же Господь. В принципе повторяющийся субъект либо эллиптируется (и эллипсис работает как анафора), либо заменяется анафорическим местоимением (например, *сѣ*). Эта общая установка в разбираемом случае нарушена, и в данных специфических условиях субъект выдвигается в препозицию. Можно предположить, что это связано с особым статусом субъекта: автор не хочет распространять на Бога обычные синтаксические манипуляции. Возможно, это один из первых примеров, когда сакральность имени (наименование Бога) становится фактором, влияющим на расположение его в предложении (см. ниже).

<sup>299</sup> Еще один пример для глагола *проглаголати*, описывающего акт звукоизвлечения, обнаруживается в Суздальской летописи по Академическому списку: «и нѣмѣхъ сѣщѣ емѣ. и не могѣхъ проглѣти. е<sup>г</sup>ѣ же пресѣщенныи митрополитъ Алексѣи скончавше бж<sup>е</sup>твеню литѣргію. тог<sup>д</sup>а проглѣ штрокѣ. и простреса емѣ рѣка. и бы<sup>с</sup>ѣ цѣла. яко и другаа» (л. 256об.; ПСРЛ, I, стб. 535).

Что касается порядка слов, то в предикациях с *реци* мы находим порядок VS в 27 примерах (44%), а порядок SV в 34 примерах (56%), и это, конечно, существенная инновация сравнительно с ПВЛ<sup>300</sup>. Как и в ПВЛ, порядок VS может рассматриваться как немаркированный, поскольку он – в отличие от порядка SV – лишен мотивации (ср. тот же аргумент относительно Жития Феодосия). Основным классом предикаций с порядком SV являются предложения, в которых новый субъект выдвигается вперед с помощью частицы *же*; таких примеров 19 (56% всех предикаций с SV); ограничусь одним примером: «Андрѣи же ре<sup>ч</sup>. на томъ ѳсмъѣ цѣловали кр<sup>ѣ</sup>. ако поити нѣ Суждаю» (л. 112; там же, стб. 335). В одном случае имеется пара противопоставленных субъектов и переход от одного к другому маркируется союзом *а*: «Всеволодъ же посла по ни<sup>х</sup> и вороти еп<sup>с</sup>па с ними. и держа и съ еп<sup>с</sup>пмъ. а Новгородци сдумавше рекоша. даи нѣ шюрина своего Мстиславича» (л. 102об.; там же, стб. 308). В двух случаях субъект выделен местоимением *сам*, ср.: «и здумавше сами рекоша. любо лиху. любо добро всѣ<sup>м</sup> намъ поидемъ вси» (л. 126; там же, стб. 372). В двух случаях субъект принадлежит одновременно причастному обороту и предикации с *реци*, ср.: «и Новгородци сдумавше рекоша Всеволоду. не хоче<sup>м</sup> сѣа твоего» (л. 102об.; там же, стб. 308)<sup>301</sup>. Хотя в большинстве примеров с SV вполне отчетливо просматривается мотивация, остается класс «игнорирующих правила» словорасположений, включающий в себя 9 единиц; это составляет 26% всех предикаций с SV, что существенно больше, чем в ПВЛ и напоминает Новгородскую первую летопись, в существенной своей части современную Суздальской. Приведу примеры: «и пакы Г<sup>с</sup> ре<sup>ч</sup> ко мнѣ сѣи мои ѳси ты. и азъ днѣ роди<sup>а</sup> та» (л. 142; там же, стб. 421); «но ѧко<sup>ж</sup> Приточни<sup>к</sup> ре<sup>ч</sup>. в злехитру дѣю не вниде<sup>т</sup> прмдр<sup>а</sup>ть» (л. 168; там же, стб. 477). Отметим, что, как и в ПВЛ, большинство примеров из этой группы (7 из 9) составляют предикации, вводящие библейские цитаты.

Как и в ПВЛ, употребление *глаголати* менее урегулировано, нежели употребление *реци*. Достаточно сказать, что *глаголати* встречается с порядком VS всего один раз (4%), а с порядком SV – 22 раза (96%). В некотором количестве предикаций с SV просматривается мотивированность. В одном случае субъект вынесен в препозицию с помощью *же* (и при этом субъект принадлежит и основной, и причастной предикации), ср.: «вси же зраще такового чюда. глѣху княже правъ ѳси поѣди противу ѳму» (л. 128об.; там же, стб. 380). В двух случаях оппозиция субъекта по отношению к субъекту предшествующей предикации выражена местоимением *ини*, ср.: «ини глѣху ѧко се су<sup>т</sup> ш ни<sup>х</sup>же Мефодии Патомьскыи еп<sup>с</sup>пъ свѣдѣтельствует<sup>т</sup>» (л. 153; там же, стб. 445–446). В одном случае субъект является местоимением 1 лица, всегда стоящим в препозиции к глаголу, ср.: «тѣмже и мы

<sup>300</sup> Один пример исключен из рассмотрения, поскольку текст испорчен и порядок слов в нем неясен, ср.: «и Къянъ всѣ. рекоша Къяне молвита с чимъ ва<sup>с</sup> князь присла<sup>а</sup>» (л. 105об.; там же, стб. 316); варианты по другим спискам не проясняют ситуацию.

<sup>301</sup> Как и в ПВЛ, субъект, кажется, может быть выделен и частицей *бо*, подчеркивающей авторитетность автора вводимой глаголом речи цитаты, ср.: «Соломон бо ре<sup>ч</sup> мл<sup>а</sup>тнами и безлобье [так в изд.] и вѣроу шчищаю<sup>т</sup>са грѣси» (л. 151об.; там же, стб. 443).

послѣдующе Дѣду прѣрку. глѣмъ Бѣ мои положи ѣ ѡко коло. ѡко шгнь предѣ лицомъ вѣтру» (л. 130; там же, стб. 384). Еще в одном случае выделение может осуществляться частицей *бо* при цитировании библейского авторитета, ср.: «Ісаіа *бо* прѣркъ глѣтъ. Гѣ в печали поманухо<sup>м</sup> та. и прочаа» (л. 135; там же, стб. 398–399). Тем не менее немотивированные употребления существенно превосходят по числу мотивированные, «игнорирующий правила остаток» состоит из 16 единиц, что составляет 73% всех предикаций с SV. Такого доминирования немотивированного порядка SV мы еще не видели (напомню, что в предикациях с *глаголати* в ПВЛ немотивированный остаток составлял 40%), и оно, надо думать, свидетельствует об изменении синтаксических стратегий пишущего – вместе с увеличением порядка SV у предикаций с *рещи*, но более выразительным образом<sup>302</sup>.

Изменения затрагивают и агиографическую языковую традицию. Об этом можно судить по Житию Сергия Радонежского (XV в.), памятнику существенно более позднему, чем Суздальская летопись, но все же наиболее подходящему для наших целей, поскольку в литературе XIV в. нет достаточно обширного оригинального житийного текста. Первое, что бросается в глаза при чтении Жития Сергия, это преобладание предикаций с *рещи* в сравнении с предикациями с *глаголати*: предикации с *глаголати* встречаются 20 раз (подсчитывались только предикации с эксплицитным субъектом), предикации с *рещи* – 81 раз, т. е. в четыре раза чаще. Такое употребление чуждо ранней агиографической традиции (см. выше) и напоминает традицию летописную, которая, возможно, и оказывает влияние на Епифания (ср.: Клосс 1998, 100–128; Живов 2004а, 89–90). Показателен, видимо, и другой момент. Предикации обоих типов служат прежде всего для введения прямой или несобственно-прямой речи: в 85% примеров в случае *глаголати* и в 98% примеров в случае *рещи* (как мы помним, и в летописях предикациям с *глаголати* свойственна большая функциональная гетерогенность, нежели предикациям с *рещи*). Как указывалось выше, в ПВЛ и в Суздальской летописи *глаголати* преимущественно употребляется для введения цитат

<sup>302</sup> Приведу еще данные по той части Суздальской летописи, которая имеется только в Академическом списке. Они, впрочем, не содержат ничего принципиально нового. Предикации с *рещи* встречаются здесь 11 раз, 7 раз (64%) с порядком SV и 4 раза (36%) с порядком VS. Появление SV мотивировано в 6 случаях выделением субъекта с помощью частицы *же*, ср.: «кнѣзь Мѣстиславъ *же* рече. кнѣже Владимире и Костантинѣ. гора намъ не поможеть» (л. 223об.; там же, стб. 497). В одном случае субъект принадлежит как матричной предикации, так и причастному обороту, соединяющемуся с этой предикацией союзом *и*: «видѣвъ *же* кнѣзь Мѣстиславъ и рече. не даи Бѣъ выдати брато [в др. сп. брате] кнѣже Владимире добры<sup>х</sup> людеи» (л. 224; там же, стб. 498). Предикации с *глаголати* встречаются 6 раз, 5 раз с порядком SV, один раз с порядком VS. Порядок SV в большинстве случаев мотивирован, например, тем, что субъект представляет собой указательное (анафорическое) местоимение, ср.: «В Володимер<sup>ѣ</sup> *же* штаса не противныи наро<sup>а</sup> попове чернцы. жены. и дѣти. видѣвъше радоваахъса. твораахъ посла ѿ кнѣза и ти *бо* глѣхъ наши шдолевають» (л. 225об.; там же, стб. 499). Имеется, однако, и одно немотивированное употребление: «ѡкоже прѣркъ. глѣтъ нѣсть члвкъ смрѣи. и нѣ<sup>а</sup> мѣжества нѣ дѣмы противъ Г<sup>а</sup>ви» (л. 241; там же, стб. 517). Корпус примеров слишком мал, чтобы основывать на нем какие-либо выводы.

из Св. Писания и святоотеческих сочинений. Такая связь, хотя и в менее выраженном виде, просматривается и в Житии Сергия: *глаголати* вводит библейские цитаты в 11 случаях, другого рода прямую речь в 6 случаях, т. е. на библейские цитаты приходится 65% такого рода употреблений; *реши* вводит библейские цитаты в 27 случаях, другого рода прямую речь в 52 случаях, т. е. на библейские цитаты приходится 34% такого рода употреблений – различие несомненно статистически значимо и опять же указывает на связь с летописной традицией.

Инновации распространяются и на порядок слов. В предикациях с *реши* порядок VS наблюдается в 14 примерах (17%), а порядок SV – в 67 примерах (83%), и это кажется существенным движением в сторону SV. Можно было бы сказать, что порядок SV становится здесь немаркированным, а порядок VS маркированным, однако такое утверждение предполагало бы не только количественное преобладание, но и какую-то (семантическую или прагматическую) мотивированность маркированного употребления – для порядка VS никаких мотивирующих факторов не просматривается. Вместе с тем порядок SV в большинстве случаев появляется под воздействием хорошо известных нам мотивирующих факторов. В 41 случае (61% всех предикаций с SV) субъект выдвигается в препозицию с помощью частицы *же*, ср. несколько примеров: «Жены же рѣша к ней: “До [так в изд.] како дасться глас прежде рожения младенцу, въ утробѣ сушу?” Она же рече: “Аз о семь и сама удивляюся и вся есмь въ страсть, трепещу, не вѣдуши бываемаго”» (БЛДР, VI, 264); «Святыи же старецъ, прекрестивъ его рукою, рече: “Господь да исплнитъ желание твое!”» (там же, 360). В 6 случаях субъект принадлежит одновременно матричной предикации и причастному обороту, стоящему к ней в препозиции, ср.: «Слышавъ же блаженный хвалящаяся Михаила на нь, рече къ учеником своим, яко Михаилъ, хваляйся на святую обитель сию, не имать получити желаемаго» (там же, 378 – пунктуация издателя изменена в сторону осмысленности). В двух случаях субъект является местоимением 1 лица, ср.: «Мы же речем ти: или сам буди игумень, или шед спроси нам игумена у святителя» (там же, 316). В одном случае оппозиция с субъектом предшествующей предикации реализуется за счет определения *другой*: «И другой пророкъ рече: “Отступите от земля и възидете на небо”» (там же, 288).

В 6 случаях трактовка неоднозначна. Субъектом в этих предикациях является Бог (Бог, Господь, Христос), который может рассматриваться как действующее лицо, обладающее суперагентивностью; можно было бы предположить, что эта черта обуславливает постановку субъекта перед предикатом, ср. примеры: «по толику же и Богъ о нем речет: “С ним есмь въ скръби; изму и и прославлю и. Длѣготу дний исплню его и явлю ему спасение мое”» (там же, 306); «трикраты же Христос по въскресении рече: “Петре, любиши ли мя?”» (там же, 270). Для такого предположения есть некоторые, хотя и отнюдь не бесспорные основания (ср. о препозиции сверхъестественного субъекта в оборотах дат. самостоятельного: Живов 2008б, 11–13; ср. примеч. 54, а также: Бернекер 1900, 7). Возможно, здесь следует постулировать формирующуюся тенденцию, реализующуюся, однако, нере-

гулярно<sup>303</sup>. От трактовки этих случаев зависит, насколько многочисленным оказывается «игнорирующий правила» остаток. Если считать, что «божественные имена» представляют собой фактор, продвигающий субъект в препозицию, в этом остатке оказывается 11 примеров (16% всех предикаций с SV); если отказаться от такой трактовки, примеров станет 17 (25% всех предикаций с SV), ср. примеры: «Егда же отпущаше игумена онго, иже постригшаго и, съ мнозѣмъ смиреномудриемъ Сергий рече ему: “Се убо, отче, отходиши ты днесъ еже от здѣ, а мене смиреннаго, якоже и произволих, единого оставляеши”» (там же, 296); «Давидъ рече: “Приидѣте, чада, послушайте мене: страху Господню научу вы”» (там же, 322). В любом случае в Житии Сергия появляются предикации с немотивированным порядком SV, которые, как мы видели, были нехарактерны для предшествующей агиографии, и пропорция этих предикаций достаточно значительна, так что в данном феномене следует видеть важное новое развитие, направленное, как и в анналистической литературе, в сторону легализации немотивированного порядка SV.

Предикации с *глаголати* представляют меньший интерес и не показывают такой динамики, как предикации с *рещи*. Их всего 20, из них 5 (25%) характеризуются порядком VS (ср.: «Глаголаху нѣции от здѣшнихъ старецъ о преподобномъ Сергии, яко риза нова никогдаже възиде на тѣло его» – там же, 340), 11 (55%) – порядком SV, а 4 представляют собой особый случай. Во всех этих четырех случаях воспроизводится одна и та же фраза: «Святое глаголетъ писание» (там же, 256, 280 [bis], 308), за которой следует цитата из Библии. Глагол помещен здесь между прилагательным и существительным-подлежащим, вероятно, в силу пристрастия автора к риторически мотивированным нарушениям проективности (инверсиям)<sup>304</sup>; целесообразнее, видимо, рассматривать такие предикации как особые случаи реализации порядка SV, и в этом случае пропорция предикаций с SV возрастает до 75%. Это, конечно, значимая динамика, хотя лишь в одном случае (7%) этот порядок является немотивированным (четыре рассмотренных выше примера с VS здесь не анализирую), ср.: «Азѣ не изждѣну вас, понеже Спасѣ нашъ глаголаше, яко: “Грядущаго къ мнѣ не ижъждѣну вънѣ”» (там же, 310). В 6 случаях мы находим конструкции с частицей *же*, ср.: «Святыи же к нему глаголаше: “Прелстися еси, о человеце, и не вѣси, что глаголеши”» (там же, 350). В двух случаях субъектом являются местоимения 1 или 2 лица, ср.: «Отци и братиа! Азѣ супротивѣ вамъ ничтоже глаголю, воли Господни предавшия» (там же, 318). Еще в двух случаях субъект принадлежит

<sup>303</sup> Эта нерегулярность отчетливо видна, поскольку в том же тексте есть предикации с постпозицией этих же субъектов, ср.: «Братие, вы есте церкви Бога жива, якоже рече Богъ: “Вселюся в ня”» (БЛДР, VI, 400); «якоже рече Господь въ святомъ Евангелии: “Тако да просвѣтити васъ свѣтъ вашъ предъ человеки, яко да видятъ дѣла ваша блага и прославятъ Отца вашего, иже есть на небесѣхъ”» (там же, 394–396).

<sup>304</sup> Вопрос о том, как отличаются типы инверсий (нарушений проективности), свойственных разговорной речи и ориентированным на нее текстам, от типов инверсий, употребляемых как риторический прием, мог бы быть интересной темой для особого исследования.

матричной предикации и причастному обороту, ср.: «Сладость бо словесную Давидъ вкусивъ, удивляясь, къ Богу глаголет: “Коль сладка грѣтани моему словеса твоя, паче меда устомъ моим!”» (там же, 392). Обобщая, можно все же сказать, что изменения в предикациях с *глаголати* идут в том же направлении, что и в предикациях с *рещи*, и это те изменения, которые постепенно делают порядок SV доминирующим.

Двигаясь дальше по хронологической шкале, мы можем обратиться к Московскому летописному своду, рассмотрев, как и в других случаях, только последнюю его часть, описывающую события с 1380 по 1492 (ПСРЛ, XXV, лл. 276–472об.). Здесь еще отчетливее видны направления эволюции, начальные этапы которой мы видели при анализе Суздальской летописи; заметны, впрочем, и некоторые совсем новые тенденции. В частности, в последней части Московского летописного свода предикации с *глаголати* встречаются приблизительно с той же частотой, что и предикации с *рещи*: на 38 предикаций с *глаголати* приходится 39 предикаций с *рещи*<sup>305</sup>. Если принять во внимание те данные об употреблении *рещи* и *глаголати* в Житии Сергия, которые обсуждались выше, это равноправие *рещи* и *глаголати* в летописи наводит на мысль о том, что рассматривавшаяся выше оппозиция летописной и агиографической традиции в XV в. нейтрализуется. Само по себе подобное наблюдение не кажется экстраординарным: тексты накапливаются, и вместе с их накоплением растет их взаимодействие; оно, конечно, нуждается в куда более тщательной проверке, чем возможна в контексте настоящей работы. Как и в более ранних памятниках, предикации с *глаголати* более разнообразны в функциональном отношении. Хотя основной функцией предикаций с *рещи* и *глаголати* остается введение прямой или несобственно-прямой речи, использование этих глаголов в других функциях в Московском летописном своде возрастает, и в основном этот рост приходится на предикации с *глаголати*, ср.: «Нынѣ же слыши, царю, о сих, что папа глаголетъ, седми святыхъ вселенскихъ зборъ не хочет поминати, тебѣ, царя, въ молитвенных не поминати, ни патриарховъ братию себѣ

<sup>305</sup> Занимаясь Московским летописным сводом, я включил в подсчеты немногочисленные предикации с глаголом *говорити*, не появляющимся в более ранних летописных памятниках. Таких предикаций обнаружилось 5. В Московском летописном своде эти предикации появляются в самом конце при описании переговоров Ивана III с новгородцами (наряду с рядом элементов делового языка) и там свободно чередуются с предикациями с *рещи*, так что исключение их из рассмотрения разрушает структуру летописного диалога, ср.: «А говорил посадник Яков Коробъ так: “что бы государь нашъ князь великы свою отчину Великы Новгород волных мужей пожаловал, нелюбья отдал, а мечь бы твои унял”. И по сем Фефилат посадник тако рече: “что бы государь князь великы пожаловал Новгородских боаръ, которые у него, выпустил бы их, а владычне челобитье и всего Великого Новагорода принял”. А Лука посадник Федоров тако рече: “что бы государь князь великы пожаловал свою отчину, ездилъ бы на четвертой год в Велики Новгород а имал бы по 1000 рублев <...>”. А Яков говорил Федоров: “что бы пожаловал князь великы, не велѣл своим намѣсником владычных судов судити, да и посадничьих”. А житии говорили с товарищи о том, что князю великому кобране позывают Новгородцев» (л. 441–441об.; ПСРЛ, XXV, 314). Никаких принципиальных последствий это включение не имеет, и в дальнейшем рассмотрении мы не отличаем этих предикаций от предикаций с *рещи*.



звати не хочет» (л. 357; там же, 255–256); «и снидесе весь град на вѣче то, посадники и тысяцкие и прочии вси людие, и не умѣюще, что молвити, но смутишася и восколебашеся, яко пьяны, инѣ инаа глаголаше» (л. 384об.; там же, 275). В рассматриваемом фрагменте *глаголати* 7 раз употреблено для описания события говорения и 7 раз в качестве переходного глагола. *Реци* и *говорити* употреблены для описания события говорения по одному разу.

Глаголы *реци* и *говорити* встречаются в рассматриваемом фрагменте 44 раза; в 7 случаях наблюдается порядок VS (16%), ср.: «И рекоша Татарове к нимъ: “царево слово к вам, даю вам сына своего Мамутека, а князи своих дети дают вам в закладѣ на том, дасть ми богъ, буду на царствѣ и доколя буду живъ, дотоля ми земли Русские стеричъ”» (л. 363; там же, 260); в 37 случаях (84%) – порядок SV. И здесь, таким образом, заметно общее движение к употреблению субъекта в препозиции. Ряд употреблений SV обычным образом мотивирован. В 16 примерах субъект вынесен в препозицию с помощью частицы *же*, ср.: «Князь же Дмитреи, обѣдумавъ с бояры своими, рече: “брате, что томити мнѣ не тетку, но и госпожу свою великую княгиню, а сам бѣгаю, а люди себѣ надобны, а уже истомлены и еще бы и сее стеречи, лутши отпустить ея с Каргаполя”» (л. 376; там же, 269). В двух случаях субъект является местоимением 1 или 2 лица, ср.: «Аз же толико сиа рекох имъ: “аще хто отступит заповеди святыхъ апостолъ богосъставленныхъ святыхъ седми зборъ святыхъ отецъ и седми святыхъ папѣж вселенскихъ учителей, да будетъ анафема”» (л. 356об.; там же, 255). В двух случаях оппозиция субъектов соседствующих предикаций реализуется союзом *а*: «А житии говорили с товарищи о том, что князю великому кобрыне позывают Новогородцевъ» (л. 441об.; там же, 314). В одном случае выделение субъекта осуществляется местоимением *сам*: «яко же сама истинна въ еуангелии рече: “бываетъ радость на небеси о едином грѣшницѣ кающемся”» (л. 317; там же, 227). В пяти случаях субъект принадлежит и матричной предикации, и причастному обороту, ср.: «Отвѣщавъ же Марко рече к ним: “и нынѣ, царю, не послушаю вас, но яко же богъ въсхощет, тако и сотворить”» (л. 358; там же, 356). В 10 случаях (27% всех предикаций с SV) мы имеем «нерегламентированный» остаток, ср.: «Благочестия же ревнитель и споспѣшник истиннѣ благовѣрныи князь великы Василеи Васильевич сицевая рече к нему: “о, Сидоре, дръзновенно дѣеши”» (л. 353; там же, 253); «Князь Иван Юрьевичъ рѣче сице: “Князь велики Иванъ Васильевич всея Русии тебѣ своему богомольцу владыцѣ и посадникомъ и житиим тако отвещеваютъ”» (л. 442; там же, 315)<sup>306</sup>. Отметим, что число примеров с немотивированным порядком SV превышает число примеров с VS, и это явным образом свидетельствует о тенденции к употреблению порядка SV как немаркированного (основного).

Не менее отчетливо эта тенденция прослеживается в предикациях с *глаголати*. Из 38 предикаций с этим глаголом 3 (8%) характеризуются по-

<sup>306</sup> Еще в одном случае глагол стоит посреди именной группы: «А Яков говорил Федоров: “что бы пожаловал князь великы, не велѣл своим намѣсником владычных судов судити, да и посадничьихъ”» (л. 441об.; там же, 314). Полагаю, что такое словорасположение может трактоваться как особый случай SV.

рядком VS, а 35 (92%) порядком SV. В ряде предикаций с SV заметно действие известных нам факторов. В 8 случаях субъект в препозиции отмечен частицей *же*: «Благовѣрныи же великийи князь Василеи Васильевич богомъ вразумѣваемъ глаголаши [*так в изд.*] ему, да не поидет на составление осмаго збора Латыньского» (л. 353; там же, 253). В одном случае субъект является местоимением 2 лица: «не лзѣ брате тому так быти, яко же вы глаголете, за короля нам датися, и архиепископа поставити от его митрополита Латинина суща» (л. 398; там же, 284–285). В 3 случаях оппозиция между субъектом данной предикации и предшествующей означена союзом *а*: «Диакон же видѣвъ сие и от страха оцепѣнѣ, а князь такы то же слово глаголаше» (л. 365; там же, 261). В 2 случаях субъект выделен местоимениями *сам* и *тои*: «но единъ точию от ученикъ его Инокентии именем, тои съ многими же слезами надгробнаа проглагола» (л. 434об.; там же, 310). В 7 случаях фокусирование субъекта осуществляется словами *друзии, инъ/инии, овиу*, ср.: «а от того часа възбеснѣша, яко пѣнии, инъ инаа глаголаше, и къ королю паки възхотѣша» (л. 435об.; там же, 310). Однако большая часть предикаций с SV остается без мотивации; в этот остаток попадают 13 примеров (37% предикаций с порядком SV), ср.: «О семъ убо мнози князи и воеводы глаголаху ему: “господине княже великыи, не стави ся наперед битися, но назади или на крылѣ, или индѣ въ опришнемъ мѣстѣ”» (л. 282об.; там же, 204); «Князь велики Иванъ Васильевич всеа Руси, государь нашъ, тебѣ своему богомолцу и владыцѣ и своеи отчинѣ Великому Новгороду глаголетъ так: “что еси нашъ богомолецъ архиепископъ Феофил съ всѣм освященным собором и вся наша отчина Великы Новгород били челом”» (л. 452об.; там же, 321). Тенденция к порядку SV как к немаркированному заметна здесь еще сильнее, чем в предикациях с *речи*: число примеров с немотивированным порядком SV превышает число примеров с VS в четыре раза.

Если придерживаться хронологии, то правильным агиографическим ответствием для последней части Московского летописного свода скорее должно быть Житие Михаила Клопского, нежели Житие Сергия Радонежского. Житие Михаила Клопского, однако, настолько своеобразно по языку, а различные его редакции дают столь богатый материал для суждения о вариантах гибридного языка, что заслуживают особо тщательного обсуждения. Вариант А первой редакции Жития был создан в 1470-х годах в Новгороде; интерференция с книжным узусом в этом тексте характеризуется чрезвычайной интенсивностью: книжные элементы появляются и на синтаксическом, и на лексическом, и на морфологическом уровнях (см. выше, § II-3.3). Явления порядка слов также весьма характерны. Поскольку памятник невелик по объему, мы, чтобы получить достаточный объем материала, рассмотрели все *verba dicendi*, а не только *глаголати* и *речи*, тем более что Житие отходит в этом отношении от книжной традиции и весьма широко использует, например, глагол *молвити*, нечасто встречающийся в других книжных памятниках.

В варианте А употреблено 40 глаголов речи, в 39 случаях они вводят прямую речь, в одном случае содержание речи эллиптировано, и этот эллипсис отсылает к предыдущей предикации: «и поиде понамарь по водицу к

церкви, аже Михайла пишет на песку: “Чашу спасения прииму, имя господне призову. Ту будет кладяз неисчерпаемый”. И пономарь, как обедню отпели, сказал игумену Феодосию» (Дмитриев 1958, 91). В варианте А глаголы речи стоят в препозиции к субъекту в 8 случаях (20%), в постпозиции – в 32 случаях (80%). Можно сказать, что именно порядок SV является здесь немаркированным, и это утверждение выглядит правдоподобным в частности и потому, что в подавляющем большинстве случаев употребление этого порядка никак не мотивировано. Лишь в трех случаях субъект принадлежит одновременно матричной предикации и препозитивному причастному обороту, соединенному с матричной предикацией соединительным союзом, ср.: «И пришедши Олферий Иванович к церкви святой Богородицы в Курьско и молвит: “Брате Иоан, то земля моя!”» (там же, 95). В 29 случаях никакой мотивации не заметно, и этот класс составляет 91% всех предикаций с SV. Предикации с SV появляются в самом обычном контексте, когда нужно ввести прямую речь, в частности, в диалогах, ср.: «и Феодосей игумен ему молвит: “Чему, сынько, имени своего нам не скажешь?” И он молвит противу: “Бог знает!”» (там же, 91); «И посадник рече: “Святая братья, хлеб, господа, да соль!” И Михайла рече против того: “Еже уготова бог любящим его и заповеди его хранящим”» (там же, 95). Приписывая немаркированный статус порядку SV, мы должны были бы определить особые условия, в которых появляется порядок VS, т. е. факторы, мотивирующие этот порядок. Таких факторов, однако, не обнаруживается, SV и VS сменяют друг друга без всякого видимого основания в коммуникативной структуре текста или в иных его прагматических параметрах, ср., например, два следующих друг за другом предложения: «И старец рече Феодосию: “Зови их хлеба ясти, занеже издалуче пришли тыи людие”» (там же, 90–91; в предшествующем предложении другой субъект); «И вопросы их старец: “О чем, детки, не ядите?”» (там же, 91; и здесь в предшествующем предложении другой субъект). Можно думать, что порядок VS употребляется здесь без всякого коммуникативного или стилистического задания, как дань традиции, в которой этот порядок был немаркированным.

Из сопоставления с последующими переработками Жития создается впечатление, что порядок SV идет из живого языка автора, в котором в таком случае он уже был таким же доминирующим, как и в современном русском языке. Хотя ни порядок SV, ни порядок VS не выполняют какого-либо ясного стилистического задания, а скорее находятся в свободной вариации, абсолютное доминирование SV в книжном тексте могло, видимо, создавать впечатление необычности, несоответствия канону. Поэтому уже в варианте Б первой редакции ситуация несколько меняется. В этом варианте текст Жития не подвергается какой-либо заметной лингвистической редактуре, но лишь пополняется – в одних случаях новыми эпизодами, в других – несколько более многословным повествованием о событиях, описанных и в варианте А<sup>307</sup>. Это расширение текста изменяет пропорции предикаций с SV

<sup>307</sup> Отметим еще, что в варианте Б в 55 случаях глаголы речи вводят прямую речь, в одном случае глагол речи выступает как переходный с объектом: «И он не отвеща ему ничто же» (Дмитриев 1958, 101).

и VS. В варианте Б 30 предикаций с SV (54%) и 26 предикаций с VS (46%). Пропорция, в которой употребляются два словорасположения, становится куда более традиционной (см., например, цифры, характеризующие Суздальскую летопись), однако употребление порядка SV так же не соответствует старому канону, как и в варианте А. Только 3 примера с SV обладают мотивацией, а именно принадлежностью субъекта причастному обороту, ср.: «И седячи владыка за столом да молъвит: “Михайлушко, моли бога о мне, чтобы было совершение от великого князя Василья”» (там же, 105). В 27 случаях появление SV так же немотивированно, как и в варианте А (примеры по большей части совпадают, так что нет смысла их приводить). Очевидно, что, делая добавления, составитель варианта Б следует более традиционным моделям словорасположения, чем его предшественник.

Еще дальше этот процесс идет во второй редакции Жития, для которой характерно прежде всего чрезвычайное риторическое многословие. Хотя лингвистическое редактирование в этой редакции весьма ограничено и в тексте остаются многочисленные не книжные элементы, некоторые изменения в сфере порядка слов вполне показательны (см. таблицу):

стр	<i>Вариант А первой редакции</i>	стр	<i>Вторая редакция</i>
91	И князь молвить игумену и старцам: “Поберегите его – нам человек той своитин!”	118	И тако глагола князь Феодосию игумену и всей братии: “Поберезите, отцы, сего старца: нам человек той своитин!”
95	И Михайла рече против того: “Еже уготова бог любящим его и заповеди его хранящим”.	128	И против того рече Михайло блаженный: “Еже уготова бог любящим его и заповеди его хранящим”.
96	И Михайла владыке молвит: “И позовут тя на Москву и тебе ехати и добыешь челом князю великому и митрополиту”.	131	И рече блаженный владыки: “Позовут тя на Москву не за долго время и тебе ехати, и добыеши челом великому князю и митрополиту”.
96	И Михайла рече ему: “Княже, досягнеши 3-лакотнаго гроба!”	132	И отвеща блаженный: “Княже, досягнеши окрест Великого Новграда во обители всемилостиваго спаса и страстотрпца Георгия, досягнеши трехлакотнаго гроба”.

Подобные отдельные изменения не устраняют, конечно, немотивированного употребления порядка SV, но значимым образом изменяют конфигурацию словорасположения. Во второй редакции порядок SV наблюдается в 29 случаях (45%), а порядок VS – в 35 случаях (55%). Несколько возрастает и число примеров, в которых порядок SV традиционным образом мотивирован. В двух случаях препозиция субъекта отмечена употреблением частицы *же*, ср.: «Он же отвеща ему: “Был есмь, честный отче, у своей пратеши, у Ефросинии, да приехал есмь у тебе благословитися”» (там же, 134). В 6 слу-

чаях субъект принадлежит одновременно матричной предикации и препозитивной причастной конструкции, ср.: «И тако пришед Михайло преподобный, глаголаше князю: “Не скорби, княже, о милости божии”» (там же, 122). Немотивированным остается 21 употребление порядка SV (72%), что, несомненно, также указывает на постепенное становление в книжном языке (или во всяком случае в определенных его вариантах) порядка SV в качестве немаркированного.

Наиболее красноречивы, однако, данные Тучковской редакции. Глаголы речи встречаются здесь не слишком часто (сравнительно, например, со второй редакцией), поскольку Тучков предпочитает торжественность рассуждений и комментариев оживленному прямой речью нарративу. Соотношение порядка SV и порядка VS здесь не особенно показательно. В 25 случаях (78%) наблюдается порядок SV, в 7 случаях (22%) – порядок VS. Такое соотношение похоже не только на вариант А первой редакции Жития Михаила Клопского, но и на Житие Сергия Радонежского, так что для XVI в. такую пропорцию можно считать достаточно обычной. Замечательно другое. Из 25 предикаций с порядком SV только в двух не просматривается мотивации, ср.: «Господь бог наш Иисус Христос в иевангелии глаголетъ: веруай в мя, аще и умрет, жив будет» (там же, 160)<sup>308</sup>. В 21 случае мы находим знакомое нам вынесение субъекта в препозицию с помощью частицы *же*, причем нередко в тех самых пассажах, которые в предшествовавших редакциях были примерами немотивированного порядка SV. См., например: «Он же отвеща: “Един създавый вестъ, кто есмь аз”» (там же, 147), ср. во второй редакции: «И он отвеща против ему: “Бог знает, отче, всех нас создавый!”» (там же, 118); «Блаженный же, отвещав ему, рече: “Княже, всякая власть от бога даруется”» (там же, 156), ср. во второй редакции: «И Михайло рече: “Всякая власть дается от бога”» (там же, 132)<sup>309</sup>. Данные изменения в стратегии словорасположения полностью вводят отредактированный текст в рамки характерного для XV–XVI вв. книжного узуса.

<sup>308</sup> Здесь, возможно, характерен и божественный статус субъекта, и вводимая глаголом речи библейская цитата; оба эти явления характерны для предикаций с SV (см. выше). Второй пример немотивированного порядка SV поддается, возможно, иной интерпретации. Пример следующий: «И тогда князь рече ко игумену: “Ведый буди, яко сей старецъ сродства съюзом нам приплетається”» (там же, 147). Перед этим пассажем читаем: «Игумен же и братия възрадовашася о уведении имени блаженного». Если бы можно было усмотреть какую-то причинную связь между радостью игумена и братии и речью князя, *и тогда* можно было бы считать мотивирующим порядок SV союзным словосочетанием (см. об этой функции *тогда же* в Новгородской первой летописи и Житии Феодосия выше).

<sup>309</sup> Еще в одном случае порядок SV мотивирован принадлежностью субъекта причастной конструкции, ср.: «Уразумев же святыи духом лукавство Елевтериево и глагола ему: “Чадо, отвръзи от себе насилуемая, и сам припади со слезами к необидимому судии”» (там же, с. 151). В другом случае субъект выделен словами *также* и, сопоставляющими субъект разбираемой предикации с субъектом предшествующей предикации: «Яко же убо великий пророк Иеремя иерусалимское пленение прозорным оком проувиде, тако и святыи Михаил чистотою умною хотящее збытися Великому Новуграду опасне прорече» (там же, 160).

Об этом движении к нормативному свидетельствует и еще один момент. Поскольку в случае Жития Михаила Клопского мы рассматривали все глаголы говорения, мы не останавливались на соотношении глаголов *рещи* и *глаголати*. Между тем оно заслуживает внимания. В первой редакции глагол *глаголати* вообще не употребляется, что, конечно же, ставит данный памятник особняком в агиографической традиции, глагол *рещи* (в форме *рече*, *рекоша*, *рек* и т. д.) употребляется 17 раз в варианте А, 31 раз в варианте Б (таким образом, в варианте Б это более половины всех употреблений глаголов речи). Во второй редакции *рещи* употребляется 30 раз и появляется *глаголати* с 17 употреблениями (в сумме они покрывают почти три четверти всех употреблений глаголов говорения). В Тучковской редакции *рещи* употребляется 15 раз, *глаголати* – 7 раз, и вместе они покрывают более двух третей всех употреблений глаголов говорения. Параметры употребления этих глаголов во второй редакции и в редакции Василия Тучкова вполне традиционны (ср. эти данные, например, с данными Жития Сергия Радонежского), и здесь, таким образом, можно видеть еще один аспект становления редакторами традиционного узуса.

Отсюда напрашивается вывод, отчасти уже сделанный выше, согласно которому первая редакция отражает в сфере порядка слов сформировавшееся в книжном (скорее всего, разговорном) языке употребление, в котором SV, во всяком случае в предикациях с глаголами говорения, становится доминирующим порядком слов, а последующие редакции стремятся примирить особенности этого текста с традиционным агиографическим узусом; в то же время порядок VS, не приобретая каких-либо специальных прагматических или стилистических функций, сохраняется в употреблении как дань традиционным книжным навыкам.

**5. 1. 3. Данные XVI–XVII веков.** Как развивались рассмотренные нами процессы в конце XVI–XVII вв, требует дополнительного исследования. Те выборочные данные, которыми я располагаю, не показывают никакой ярко выраженной динамики. Так, например, во Второй Новгородской летописи имеет место преобладание SV над VS у глаголов говорения, однако не столь выраженное, как, например, в первой редакции Жития Михаила Клопского (вариант А). *Рещи* употреблено в постпозиции 5 раз, во всех пяти случаях выдвижение субъекта в препозицию означено частицей *же*, ср.: «Он же рече: “с радостию, учителю, иду по тебѣ”» (л. 56об.–57; ПСРЛ, XXX, 165); с порядком VS *рещи* употреблено 3 раза. *Глаголати* употреблено в постпозиции 4 раза, в основном эти употребления обычным образом мотивированы: один раз частицей *же* при субъекте; один раз принадлежностью субъекта к причастному обороту (см.: «И людие богобоязнии припадающе ко святителю ногама с плачемъ глаголаша: “пойди, святителю, благослави народы, да уставишь господь твоимъ благословениемъ усобную рать”» – л. 57; там же, 165); один раз оппозиция субъекта по отношению к субъекту предшествующей предикации обозначена словом *иныи* (см.: «А у святеи Богородици в Торгу попъ Егорѣи згорѣ, а ные глаголють убиша его над товаромъ понеже церков вся погорѣ» – л. 96об.; там же, 178). В одном случае препозиция субъекта не имеет мотивации, любопытным образом при введении библей-

ской цитаты: «Яко же Соломонъ глаголаше: “се же есть мудръ, еже вѣсть древняя повѣда”» (л. 116; там же, 185). С порядком VS *глаголати* встречается 2 раза.

Летописец 1619–1691 гг. любопытен в основном тем, что глаголы говорения вообще не встречаются в нем с порядком VS, тогда как с порядком SV глагол *реши* встречается 6 раз, глагол *глаголати* – 9 раз. В 4 случаях (27%) из этих 15 препозиция субъекта не мотивирована, ср.: «И странныя люди многия рекоша в укоризну ему, яко нелеть ти есть сие творити» (л. 706об.; ПСРЛ, XXXI, 189); «яко же писание глаголет: “Богу попускающу, врагу же действующу”» (л. 704об; там же, 188). В пяти случаях мы имеем лексически обозначенную оппозицию субъекту предшествующей предикации, ср.: «а инии плачуще и его умоляюще, со умилением глаголаху ему: “Кто ты, пастыря нашего, прогнева, яко не вемы, чего ради тебе, пастыря своего, лишаемся?”» (л. 696; там же, 183). В трех случаях препозиция субъекта означена частицей *же*, в одном случае субъект является местоимением 2 лица, в одном случае местоимением *кто*, в одном случае субъект принадлежит и матричной, и причастной предикациям. Таким образом, употребление здесь является достаточно традиционным. Нетрадиционно лишь полное отсутствие предикаций с порядком VS, но значимость этого факта несколько затушевывается малочисленностью примеров.

Для динамики агиографической традиции, кажется, должны были бы быть интересны данные Жития Аввакума, не менее полного некнижными элементами, чем первоначальный вариант Жития Михаила Клопского. Ничего нового, однако, эти данные не показывают. Приходится думать, что Аввакум, весьма умело использовавший регистровые оппозиции языковых элементов для решения своих специфических риторических задач (совмещения жития и автобиографии – см.: Виноградов 1980; Тимберлейк 1995; Живов 2002в), к порядку слов в предикациях с *verba dicendi* в этих целях не обращался. Поэтому в данной сфере его узус остается вполне традиционным. В Житии по редакции Пустозерского сборника (Пустозерский сборник 1975) предикации с *реши* встречаются 8 раз, предикации с *глаголати* 5 раз. В 10 случаях (77%) субъект стоит в препозиции к глаголу, в 3 (23%) – в постпозиции. Порядок SV в большинстве случаев мотивирован. В 3 случаях выдвижение субъекта в препозицию отмечено частицей *же*, ср.: «Он же, вздохня из глубины сердца, ко мнѣ прог(лаго)ла сице: “Спаси б(о)гъ тебя, батюшко, что ты меня отнял у ц(а)р(е)вича и у двух кн(я)зей бѣсовских!”» (там же, л. 86об.). В 3 случаях субъект является местоимением 1 лица, ср.: «И я рекль: “Востани! Б(о)гъ простит тя”» (там же, л. 20). В одном случае субъект принадлежит и матричной, и причастной предикации. В трех случаях препозиция субъекта остается без мотивации, во всех трех случаях вводятся цитаты из Св. Писания и святоотеческой литературы, ср.: «якоже и ап(о)ст(о)ль г(лаго)летъ: “Аще и невежда словомъ, но не разумомъ”» (там же, л. 83). Любопытно, что и во всех трех случаях, в которых мы сталкиваемся с порядком VS, мы имеем дело с цитатами из Св. Писания, ср., например: «Рече от(е)ц с(ы)нови: “Сотворим ч(е)л(о)вѣка по образу нашему и по подобию”. И отвѣща другий: “Сотворим, отче, и преступит бо”» (там же, л. 12). Можно сказать, что порядок VS появляется исключительно в тради-

ционных контекстах и может рассматриваться как дань унаследованным навыкам книжного письма. Конечно, для трактовки этого явления как архаизма материала в Житии Аввакума недостаточно.

**5. 1. 4. Некоторые предварительные выводы.** Таким образом, мы чертили, хотя бы и предварительным образом, основные линии развития порядка слов в предикациях с *verba dicendi*. Полученные нами данные могут быть суммированы в следующей таблице:

<i>Тексты</i>	SV						VS
	<i>же</i>	другие выдели- тели	местоим. (особый) субъект	прича- стие	немоти- виров.	Всего	
<i>ПВЛ</i>	110	7	2	16	13	<b>148</b>	<b>209</b>
<i>Новг. Первая</i>	7	4	1	—	4	<b>16</b>	<b>25</b>
<i>Житие Феодосия</i>	14	10	—	4	—	<b>28</b>	<b>17</b>
<i>Житие Авраамия</i>	1	5	1	2	—	<b>9</b>	<b>12</b>
<i>Сузд. летопись</i>	20	6	3	2	25	<b>56</b>	<b>28</b>
<i>Житие Сергия</i>	47	1	10	8	12	<b>78</b>	<b>19</b>
<i>Моск. лет. свод</i>	24	12	8	5	23	<b>72</b>	<b>10</b>
<i>Михаил Клопский IA</i>	—	—	—	3	29	<b>32</b>	<b>8</b>
<i>Михаил Клопский IB</i>	—	—	—	3	27	<b>30</b>	<b>26</b>
<i>Михаил Клопский II</i>	2	—	—	6	21	<b>29</b>	<b>35</b>
<i>Михаил Клопский Тучков</i>	21	1	—	1	2	<b>25</b>	<b>7</b>
<i>Новг. Вторая</i>	6	1	—	1	1	<b>9</b>	<b>5</b>
<i>Аввакум</i>	3	—	3	1	3	<b>10</b>	<b>3</b>
<i>Летописец 1619–1691</i>	3	5	2	1	4	<b>15</b>	—

В древнейших памятниках немаркированным порядком слов является VS, тогда как SV появляется при особых обстоятельствах, которые могут рассматриваться как факторы, индуцирующие появление маркированного



порядка SV. Для раннего периода можно говорить о различиях двух нарративных традиций: летописной (представленной в нашем материале ПВЛ и Новгородской первой летописью) и агиографической (представленной Житием Феодосия и Житием Авраамия Смоленского). В основе их различия лежит разная степень ориентированности на образцовые церковнославянские тексты (прежде всего евангельские). Эти различия заметны в употреблении глаголов *рещи* и *глаголати*; последний сравнительно редко появляется в летописных текстах, но господствует в агиографических. Важным моментом, противопоставляющим ранние летописные и ранние агиографические тексты, является наличие «игнорирующего правила» остатка, т. е. предикаций с порядком SV, для которого никакой мотивации не просматривается.

К числу мотивирующих факторов относится (1) появление нового, сравнительно с предшествующей предикацией, субъекта, обращение к которому означает частицей *же*; (2) иные способы постановки субъекта в фокус и противоположения его субъекту предшествующей предикации, например, с помощью слов *ишии*, *друзии*, частицы *бо*, союзного словосочетания *тогда же* и т. д.; (3) появление в качестве субъекта местоимений первого или второго лица, а также местоимения *сам*; (4) принадлежность субъекта одновременно и основной предикации с глаголом говорения, и причастной предикации, стоящей в препозиции к основной.

Дальнейшая динамика состоит в постепенном изменении пропорции порядка SV и VS в сторону возрастания порядка SV в отдельных случаях вплоть до полного исчезновения предикаций с VS. Это изменение сопровождается ростом пропорции немотивированного употребления порядка SV: в отдельных памятниках XV в. численность этого немотивированного остатка начинает превышать численность предикаций с порядком VS. При таком соотношении VS перестает быть немаркированным порядком, хотя предикации с VS и не приобретают какой-либо специальной мотивации или стилистического значения, но выступают как окказиональное воспроизведение моделей предшествующей традиции (традиционных навыков книжного письма). Материал первоначального текста Жития Михаила Клопского побуждает предположить, что стимулом к этой динамике являются изменения в не книжном (живом) языке, в котором, возможно уже в XV в., SV становится доминирующим порядком (во всяком случае в сфере глаголов говорения). Вместе с тем в XV в. исчезают и те различия между агиографическими и анналистическими текстами, которые определяли их оппозицию в более ранний период.

Нарративные тексты конца XVI–XVII веков, как кажется, не привносят чего-либо принципиально нового в ту ситуацию, которая складывается в конце XV – начале XVI в. Положение SV как доминирующего порядка стабилизируется, тогда как порядок VS в предикациях с глаголами говорения продолжает существовать как наследие предшествующей письменной традиции, его специфические стилистические коннотации появляются за пределами рассматриваемого периода и, предположительно, могут быть следствием той стилистической нормализации, которой сопровождается формирование русского языкового стандарта в XVIII–XIX вв.

**5.2. Глаголы движения.** Предложенная в предыдущем параграфе схема развития порядка слов нуждается в дальнейшей разработке – прежде всего потому, что она построена на основе одних только глаголов речи, которые весьма специфичны и по своей семантике (определяющей те ситуации, в которых они употребляются), и по своей прагматике. Вопрос о том, насколько она приложима к другим классам глаголов (который мы не надеемся решить в полном объеме), побуждает нас обратиться к глаголам движения. Для простоты обработки электронных данных мы ограничились лишь глаголами с корнем *ид-*, которые, однако же, и в летописных, и в житийных текстах (особенно ранних) доминируют в предикациях с глаголами движения и поэтому дают адекватный материал для исследования порядка слов в этих предикациях<sup>310</sup>.

Дж. МакАннален, исследовавшая порядок слов в Хожении игумена Даниила, отметила, что глаголы движения по-разному функционируют в двух частях этого текста – в своего рода путеводителе по Св. Земле, занимающем основную часть текста, и в рассказе Даниила как очевидца о схождении небесного огня в Иерусалиме, помещенном в конце текста. Она отмечает: «The function of motion verbs in the travel guide is similar to the function of existential and position verbs. They serve to introduce new entities or add information to previously established scenes, but with the additional component of motion» (МакАннален 2009, 216). В рассказе о небесном огне глаголы движения работают иначе: «They establish a change of textual scenery and allow the text to fluidly move from one situation to another via a common entity» (там же, 224). В связи с этим разным функционированием автор ставит и параметры словорасположения: «[m]otion verbs are also preferentially VS in the travel guide section of the text» (там же, 216), предикации с VS встречаются здесь в 55% случаев, предикации с SV – в 45% (там же, 214). В нарративной части картина обратная, порядок SV (53%) встречается чаще, чем VS (47%) (там же, 223). Не занимаясь здесь подробным разбором данного текста и сделанных на его основе выводов, отмечу, что и здесь порядок VS связывается с интродуктивными стратегиями автора. Имеет смысл взглянуть, как эти стратегии реализуются в летописном и агиографическом нарративе<sup>311</sup>.

<sup>310</sup> Супплетивные образования с корнем *шь-* (*шьль*, *шьли* и т. д.) я для простоты подсчетов исключаю из рассмотрения. Формы перфекта, плюсквамперфекта и не Книжного прошедшего времени, равного *л-*форме, встречаются в наших текстах достаточно редко, и ими можно пренебречь.

<sup>311</sup> МакАннален полагает, что при порядке VS «new entities are related to previously established loci, thus they are brought into existence to contribute information to a broader scene, but these entities in and of themselves are not of central importance in this particular clause», и в качестве примера приводит следующее предложение: «И есть монастырь-еть на устьи, идеже входит Иорданъ в море Содомское, и есть градом одѣлан весь около монастыр-ет; черноризецъ же в нем 20» (БЛДР, IV, 56). В качестве примера нарративного движения, индуцирующего порядок SV, автор дает следующий: «Тогда азъ худый, недостойный, в ту пятницу, въ 1 час дни, идохъ къ князю тому Балдвину и поклонихся ему до земли» (там же, 108). В принципе, мне представляется правильной та прагматическая дифференциация порядка VS и SV у глаголов движения, которую предлагает МакАннален (в русле излагавшихся выше идей А. Тимберлейка), однако я не уверен, что она отражается в раз-

**5. 2. 1. Древнейший период.** Мы начнем, как и в случае глаголов речи, с ПВЛ. Глагол *иде* и его производные встречаются в ПВЛ 197 раз, причем с порядком VS – 33 раза (17%), а с порядком SV 164 раза (83%). Появлению порядка SV способствует ряд уже известных нам факторов, к рассмотрению которых мы вскорости перейдем. Сначала, однако, надо сделать общее замечание. Глаголы движения устроены не так, как глаголы речи; несходство статистических параметров есть внешнее проявление этой глубинной разности в прагматике и семантике (и это может служить очевидным аргументом в пользу рассмотрения порядка слов в предикациях по классам глаголов). При указанных выше статистических параметрах порядок VS, конечно, не может считаться немаркированным, и все описание предикаций с глаголами движения должно строиться по-иному: должны быть выявлены факторы, которые индуцируют один или другой порядок или – в менее обязательной форме – благоприятствуют тому или иному порядку, и «серая зона», в которой эти факторы не работают и мы сталкиваемся со свободной вариацией порядков SV и VS.

Существование свободной вариативности в сфере порядка слов представляется мне непреложным фактом, а попытки исключить этот феномен, приписывая разные коммуникативные задания предикациям с одним и тем же содержанием, выраженным одними и теми же словами, и различающимся лишь порядком слов, кажутся мне тщетными (см. выше, § V-5). Эта тщетность не зависит от того, в каких терминах осуществляется дифференциация – логического ударения, коммуникативной структуры или прагматического задания. Когда мы читаем в ПВЛ в статье 1036 г. «Арославу же сущю Новѣгородѣ. вѣсть приде юму. яко Печенѣзи встоють Кыевѣ» (л. 51; ПСРЛ, I, стб. 150–151), а в статье 1096 г. «а Мстиславу съдащю на шбѣдѣ. приде юму вѣсть яко Шлегъ на Клазмѣ» (л. 86; там же, стб. 239), мы должны признать, что никакие содержательные параметры эти предложения не различают и следует либо вообще отказаться от попыток объяснить эти особенности употребления, либо ссылаться на неведомые нам языковые пристрастия летописцев, ответственных за разные слои летописного повествования (другие случаи свободной вариативности будут обсуждаться ниже).

Факторы, которые индуцируют выдвижение субъекта в препозицию к предикату, не представляют чего-либо нового сравнительно с предика-

---

ных статистических параметров SV и VS в предикациях с глаголами движения. Процентная разница невелика, а число примеров ограничено (19). Вместе с тем в нарративной части действуют и другие факторы, прежде всего повествование от первого лица, в котором употребляются предикации с местоимением *аз* в качестве субъекта. Оно, как отмечает и автор обсуждаемой работы, «is itself a trigger for SV word order» (МакАннален 2009, 225). Кроме процитированного выше предложения, *азъ* оказывается субъектом еще в трех предикациях с глаголами движения: «Аз же поклонився има, идохъ с радостию великою, и купих кандило стѣкляно» (БЛДР, IV, 108); «и азъ худый ту же поидохъ съ игуменомъ тѣмъ и з братиєю» (там же, 110); «Азъ же, поклонився Гробу Господню и ключареви, и возьмъ кандло свое съ масломъ святымъ, изидохъ из Гроба Святаго с радостию великою» (там же, 116). Если исключить из подсчета эти четыре примера, то пропорция VS и SV станет совсем иной: VS – 60%, SV – 40% (всего 15 примеров, из которых 6 с SV).

циями с глаголами говорения. И с глаголами движения препозитивный субъект – это прежде всего «новый» субъект, т. е. субъект, отличный от субъекта предшествующей предикации. Такой субъект обычно (хотя и не всегда) выделяется в летописи частицей *же*. С глаголами движения таких случаев в ПВЛ 81, т. е. практически половина всех рассматриваемых предикаций с порядком SV (точнее, 49%), ср. несколько примеров: «Сѣполкъ же приде ночью Вышегороду» (л. 45об.; там же, стб. 132); «Изаславъ же и Сѣославъ. и Все<sup>во</sup>лодъ. изидоша противу им<sup>б</sup>. на Лѣто. и бывши нощи подъидоша противу собѣ» (л. 56об.; там же, стб. 167). Контраст между субъектами соседствующих предикаций может выражаться и другими средствами или даже оставаться формально не выраженным, но семантически очевидным, ср. последний случай: «и пакы ветхаа мимо идоша. и се быша новаа» (л. 41об.; там же, стб. 120; ср. еще: л. 33об., стб. 99). Формально контраст может выражаться союзами *а* или *но* или такими словами, как *друзии*, ср.: «Юрославъ же приде Новугороду. а Юкунъ иде за море» (л. 50об.; там же, стб. 148); «то се не столпъ водаше ихъ но англъ идаше пре<sup>а</sup> ними в нощи и въ днѣ» (л. 96; там же, стб. 284–285); «И раздѣлишася надвое. ѡдина сташа оу града рать борюще. а друзии поидоша Кънѣву» (л. 73об.; там же, стб. 221); всего таких примеров 26 (16%). Местоимения 1 и 2 лица, а также местоимения *кто* и *сам* всегда стоят в препозиции к глаголу; так устроено 20 примеров (12%), ср.: «к нему же и азъ придохъ худыи и недостойныи рабъ» (л. 54; там же, стб. 160); «аще кто не поидеть с нами. сами потнемъ [его]» (л. 48об.; там же, стб. 142). Наконец, в 13 случаях (8%) субъект принадлежит одновременно матричной предикации и препозитивному причастному обороту, что также индуцирует препозицию субъекта, ср.: «и възвративъса Юрославъ приде Новуногороду [*так в ркп.*]. и посла за море по Варагы» (л. 50–50об.; там же, стб. 148); «слышав же Юрославъ волхвы. приде Суздаю» (л. 50; там же, 147–148)<sup>312</sup>.

Эти хорошо известные нам факторы выдвигания субъекта в препозицию не детерминируют все употребления порядка SV. За пределами данного множества остается 22 примера, которые подобной мотивации не имеют; они составляют вполне ощутимые 13% от всех предикаций с SV. Более того, в отдельных случаях они вторгаются в ту область, которую из общих соображений можно было бы отнести к сфере действия VS, и в этих случаях SV и VS оказываются конкурирующими (или находящимися в свободной вариации) словорасположениями. К числу предикаций с никак не мотивированным порядком SV относятся по крайней мере 8, не обладающих какими-либо очевидными общими свойствами, ср.: «яко<sup>ж</sup> ре<sup>а</sup> англъ пре<sup>а</sup> тобою пре<sup>а</sup>идеть. и [пакы] англъ твои буди с тобою» (л. 96; там же, стб. 285); «и

<sup>312</sup> Сюда надо прибавить еще два случая особого выделения субъекта – усилительной частицей *ти* и местоимением *етерь*, ср.: «Приде Володимиръ съ Вараги Ноуогороду. и ре<sup>а</sup> посадникомъ Юрополчимъ. идѣте къ брату моему. и рѣте ему. Володимиръ ти иде[тъ] на та» (л. 23об.; там же, стб. 75); «аще братъ етеръ въидаше из монастыра. вса бра<sup>а</sup>а имаху ѡ томъ печаль велику» (л. 63об.; там же, стб. 188–189). Механизм фокусирования на субъекте не требует здесь особого комментария, хотя в летописных текстах данные средства выделения используются редко.



дикации с порядком SV, ср.: «бы<sup>ѣ</sup> же вѣсть Изаславу ꙗко Олегъ идетъ к Мурому» (л. 85об.; там же, стб. 236).

Собственно, находится лишь один фактор, который однозначно индуцирует порядок VS. В силу самой природы этого фактора примеры весьма немногочисленны и маргинальны, речь идет о предикациях с глаголом движения в качестве ремы (см. подробно об этом факторе: Тернер 2006, 100–103). В ПВЛ можно найти три такие предикации, ср.: «и ре<sup>ѣ</sup> Блудъ Юрополку поиди къ брату своему. и рѣ<sup>ѣ</sup> ему что ми ни вдаси. то ѡзъ прииму. поиде же Юрополкъ. [и] ре<sup>ѣ</sup> же ему Варажъко не ходи кнаже оубыють та» (л. 24об.; там же, стб. 78); «Всеслав же поиде противу. и приде Бѣлугороду Всеславъ» (л. 58об.; там же, стб. 173). В 8 случаях не видно вообще никаких моментов, которые должны были бы благоприятствовать тому или иному словорасположению (VS или SV), ср.: «аще оумреть члѣвкъ в землю идетъ тѣло. а дѣа к Ъу» (л. 59об.; там же, стб. 177; здесь скорее можно было бы найти контраст двух субъектов – тела и души, – благоприятствующий порядку SV); «во ѿ же дѣѣ наоутриа посла къ патрарху глѣ. сиец придоша Русь пытающе вѣры нашея» (л. 37; там же, стб. 107)<sup>313</sup>.

Переходя от ПВЛ к Новгородской первой летописи, мы попадаем, можно сказать, в другой мир, характеризующийся, видимо, иными стратегиями изложения, включающими иной отбор информации, нежели в ПВЛ. Новгородская первая употребляет глаголы движения более интенсивно и использует их в нарративе несколько иным образом, чем это делает ПВЛ. Отсюда и порядок слов в предикациях с глаголами движения характеризуется совершенно иной статистической конфигурацией, чем в ПВЛ. Порядок VS в Новгородской летописи (в предикациях с глаголами движения) решительно преобладает. Всего в нашем материале 322 предикации, из них 243 с порядком VS (75%) и 79 с порядком SV (25%).

Если предикации с порядком SV устроены достаточно обычным и хорошо известным нам образом (мы наблюдаем обычную совокупность факторов, выдвигающих субъект в препозицию к предикату – см. ниже), то в предикациях с порядком VS проявляется главное отличие от известных нам по ПВЛ моделей. В большинстве предикаций с VS этот порядок может считаться мотивированным; факторы, его индуцирующие, практически не просматривавшиеся в ПВЛ, видны здесь вполне отчетливо. В подавляющем большинстве случаев порядок VS используется в интродуктивной функции – как первая предикация в эпизоде. Таких случаев в нашем материале 188, что составляет 77% всех предикаций с порядком VS. В наиболее частом случае эта первая предикация непосредственно следует за хронологической маркировкой погодной статьи или за альтернативной временной привязкой типа *того же лѣта*, ср.: «Въ лѣто 6625 [1117]. Иде Мьстиславъ Киеву на столъ из Новагорода марта въ 17; а сынъ посади Новѣгородъ Всѣволода на

<sup>313</sup> Еще в одном случае порядок VS характеризует условное предложение: «заходилъ бо бѣ ротѣ Сѣша к Дѣдѣви. аще поиде<sup>ѣ</sup> на та Сѣполкъ то повѣмъ ти» (л. 91об.; там же, стб. 272). Можно предположить, что условие объемлет событие как целостность (если что-то в целом случится, то тогда...) и поэтому индуцирует порядок VS. Одного примера, однако же, недостаточно для такого рода общих заключений.

столѣ» (л. 9; НПЛ, 20); «Въ то же лѣто, на зиму, иде въ Русь архепископъ Нифонтъ съ лучшими мужи и заста кыяны съ церниговьци стояще противу собе» (л. 16об.; там же, 23–24). Составители Первой Новгородской летописи явно полагали, что указание на передвижения персонажей представляют собой естественное и оправданное начало эпизода. В силу лаконизма Новгородской летописи эпизоды могут быть весьма краткими и состоять из двух-трех, а иногда даже из одной единственной предикации.

Как мы видели в ПВЛ, интродуктивная функция может сочетаться и с порядком SV; есть такие случаи и в Первой Новгородской летописи, однако их всего четыре, т. е. несоизмеримо меньше, чем выполняющих эту функцию предикаций с порядком VS (который в этих обстоятельствах можно рассматривать как мотивированный интродуктивным заданием). Весьма любопытно, что три из этих четырех исключений приходятся на наиболее ранний пласт летописи, воспроизводящий Начальный свод (и из него попадающие и в ПВЛ), ср.: «Въ лѣто 6525 [1017]. Ярославъ иде къ Берестию» (л. 1об.; там же, 15); «Въ лѣто 6550 [1042]. Володимиръ иде на Емь съ новгородьци, сынъ Ярославъ» (л. 2об.; там же, 16); «Въ лѣто 6551 [1043]. Володимиръ иде на Грькы» (л. 2об.; там же, 16). Начиная с 1066 г. таких примеров за одним единственным исключением больше не появляется, а употребляются только конструкции с VS, ср.: «Въ лѣто 6574 [1066]. Приде Всѣславъ и възя Новѣгородъ» (л. 3об.; там же, 17)<sup>314</sup>.

Второй по численности группой примеров с порядком VS являются предикации, которые выступают в эпизоде как его конклюдия, как результат того, что случилось. Поскольку в этих условиях событие концептуализируется не как некоторое свойство, появляющееся у субъекта, а как целостность, как результирующая ситуация, эта текстовая функция мотивирует употребление порядка VS. В Первой Новгородской летописи таких примеров 15 (6% всех предикаций с порядком VS), ср.: «Въ то же лѣто ходи князь Ярослав на Луки, позванъ полотьскою княжъею и полоцкыи, и поя съ собою новѣгородьць переднюю дружину; и съняшася на рубежи и положиша межи собою любвь, яко на зиму всѣмъ сънятися любо на Литву, любо на Чюдь; и приде князь Новугороду Ярославъ одаренъ» (л. 50об.; там же, 40). Эпизод и здесь может быть весьма кратким и описываться двумя предикациями, ср.: «Тѣгда же новгородьци послашася по брата его по Мьстислава въ Русь, и въниде Мьстиславъ въ Новѣгородъ мѣсяця ноября въ 1, на святую безмездьнику Къзмы и Дамияна» (л. 42об.; там же, 36).

Очень показательны, хотя и не особенно часты примеры, в которых фокусом является событие в целом и предикация описывает данное событие. В таких случаях порядок VS вполне нейтрален и в современном русском языке, ср.: «Вот что случилось: пришел Иван Иванович домой...»<sup>315</sup>. В Первой

<sup>314</sup> Единственное позднее исключение появляется в самом конце летописи под 1332 г.: «Того же лѣта великий князь Иванъ приде изъ Орды и възверже гнѣвъ на Новѣгородъ, прося у нихъ серебра закамьского» (л. 167; НПЛ, 99). Каким образом можно было бы объяснить это исключение, остается мне неясным.

<sup>315</sup> Приведу пример из найденных мною в Яндексе стихов Александра Кулятина 2001 г.: «Нет, вот что случилось: пришла утром мать, Сказала: “Сыночек, тебе уже пять”»

Новгородской летописи обнаруживается 7 таких примеров, ср.: «Въ лѣто 6576 [1068]. Гнѣвъ божии бысть: придоша Половци и побѣдиша Русьскую землю» (л. 4; там же, 17); «Оле страшно чюдо и дивно, брате; поидоша сынове на отца, брат на брата, рабъ на господина, господинъ на рабъ» (л. 84об.–85; там же, 56); «Князю же Юрью пришедшу с полкы близъ Тфѣри за 40 верстъ, и ту выиде на нь князь Михаило со Тфѣри, и съступишася» (л. 116; там же, 72). Средства фокусирования события в его целостности могут быть весьма разнообразны, но эффект этого фокусирования в Первой Новгородской вполне стабилен: предикат выдвигается в препозицию (замечу, что в современном русском языке это не так: хотя порядок VS в подобном контексте нейтрален, порядок SV также вполне обычен и появляется достаточно часто).

Рассмотрю еще два специальных случая, в которых господствует VS. Один уже известен нам по ПВЛ. Речь идет о трафаретном выражении *приде вестъ*. И в этом случае событие, видимо, берется в его целостности, и поэтому *вестъ* стоит в постпозиции к *приде*. Таких случаев в Первой Новгородской 5, ср.: «И приде вестъ въ Новѣгородъ» (л. 83; там же, 55); «И приде вѣсть въ Пльсковъ, яко взяша Нѣмци Изборьскъ» (л. 127об.; там же, 77). Однако для того, чтобы мы не забывали, что мы имеем дело с предпочтениями, а не с жесткими правилами, находим противоречащий пример: «Тѣгда же вѣсть приде в Новѣгородъ къ князю Ярославу» (л. 118–118об.; там же, 73).

Другой случай также связан с трафаретным выражением, часто завершающим рассказ о военных (и невоенных) предприятиях новгородцев: *придоша здрави вси*. Статус *вси* как субъекта в подобных предикациях не бесспорен, *вси* может быть определением к эллиптированному субъекту, совпадающему с субъектом предшествующих предикаций, ср.: «и побѣгоша Нѣмци къ городу, и убиша новгородци два воеводѣ, а третии руками яша, а коневъ отѣяша 700, и придоша сдрави вси» (л. 87об.; там же, 57); если *вси* трактовать как определение к *новгородци*, примеры этого рода должны быть исключены из анализируемого корпуса. Однако не все примеры поддаются данной интерпретации, ср. рассказ о начале правления кн. Ярослава Всеволодовича в Киеве: «И, пришедъ, сѣде в Киевѣ на столѣ; и державъ новгородцевъ и новоторжцевъ одну недѣлю и одаривъ я, отпусти проче; и придоша здрави вси» (л. 120; там же, 74); новгородцы и новоторжцы, к которым относится *вси*, в предшествующих предикациях выступают не как субъект, а как объект. В силу указанной неопределенности я оставил в корпусе все примеры с *вси*, с порядком VS их 12 (5% всех предикаций с VS), первый такой пример встречается под 1212 г.: «и придоша подъ городъ, и поклонилася Чюдъ князю, и дань на нихъ възъ, и придоша вси сдрави» (л. 78; там же, 52; заметим, что антецедент *вси* выясняется только из содержательных соображений). И здесь, однако, не обходится без исключений – имеется один пример с порядком SV, ср.: «и вси придоша неврежени ничимъ

---

(<http://zapovednik.artinfo.ru/N17/page03.html>). Укажу еще на пассаж из «Записок о моей жизни» Н. И. Греча, взятый мной из Национального корпуса русского языка: «Но вот что случилось. Накануне бала приезжает к нему чиновник Министерства иностранных дел и привозит записку Коленкура к графу Румянцеву с жалобой».



же; и ради быша Новгородѣ вси от мала и до велика» (л. 59; там же, 43; контекст несколько отличается от стандартного, но значимость этого отличия неясна).

Имеется и еще несколько единичных случаев, в которых можно говорить о том, что порядок VS индуцируется формальными или прагматическими свойствами предикации<sup>316</sup>. За пределами этих разрядов остается еще 13 примеров (5% всех предикаций с VS), в которых мотивация порядка VS не просматривается. Так, например, подобные предикации встречаются в цепочке предикаций, соответствующих последовательности событий; они могут обладать «новым» субъектом, что, по крайней мере при наличии хотя бы зачаточного контраста с субъектом предшествующей предикации, должно было бы давать порядок SV; видимо, в силу отсутствия контраста ни один из порядков не оказывается предпочтительным и реализуется как допустимый вариант, ср.: «Томъ же лѣтъ рубоша новгородъ за моремъ въ Дони. И иде Исаия игумень съломъ Киеву; приде опять съ митрополитомъ Михаиломъ Новугороду, декабря въ 9» (л. 15–15об.; там же, 23); «Выидоша намѣстници Михайловы из Новагорода, и поиде князь Михаило к Новугороду со всею Низовьскою землею; а новгородци учиниша острогъ около города по обѣ сторонѣ, и соидеся вся волость новгородская: пльсковичи, ладожане, рушане, Корѣла, Ижера, Вожане» (л. 160; там же, 95); «идоша новгородьци съ Святославомъ къ Кеси, и придоша Литва въ помочь же; и много воеваша, нѣ города не възяша» (л. 94–94об.; там же, 60–61; имею в виду вторую предикацию с субъектом *Литва*). Могут быть и другие случаи немотивированного появления VS, ср. хотя бы: «пояша и из монастыря от святых Богородицы, и князь Мьстиславъ Гюргевицъ, и всѣ клиросъ святыхъ Софие, и вси попове городьстии, игумени и черньци, и въвѣдоша и, поручивъше епископью въ дворѣ святыхъ Софие, дондеже приде митрополитъ въ Русь» (л. 29об.; там же, 30): почему именно написано *приде митрополитъ*, а не *митрополитъ приде*, остается неясным, ср.: «а онъ про то не бързо отрядивъ его, нѣ посади и въ Печерьстѣмъ монастыри, дондеже Гюрги приде» (л. 26; там же, 28).

Что касается предикаций с порядком SV, то здесь ситуация достаточно обычна. В подавляющем большинстве предикаций этот порядок мотивирован и мотивирующие факторы распределяются по обычным рубрикам. Наиболее многочисленны предикации с SV, в которых выдвижение «нового» субъекта в препозицию отмечено частицей *же*; таких предикаций 29 (37%

<sup>316</sup> Так, например, в рассказе о взятии Константинополя крестоносцами в 1204 г. рассказывается о том, как Алексею Ангелу удалось бежать из Византии в бочке с тройным дном. В данном контексте в этой вставной повести появляется следующее предложение: «И тако изиде Исаковичъ, и приде къ нѣмъчьскому цесарю Филипови, къ зяти и къ сѣстрѣ своей» (л. 65об.; там же, 46); внимание к способу побега обуславливает фокус на действии в целом, а не на субъекте, и в этом плане благоприятствует появлению порядка VS. Возможно, порядка VS требуют отдельные особые субъекты (так же, как порядка SV требуют местоимения 1 и 2 лица), ср.: «и тако, грѣхъ ради нашихъ, безбожными погаными побѣжени быша, придоша каждо десятии въ дома своя» (л. 120об.–121); здесь, конечно, нужны дальнейшие разыскания.

всех предикаций с SV), ср.: «Князь же Мьстиславъ въ вѣче поча звати, они же не поидоша; князь же чѣловавъ всѣхъ, поклонивъся, поиде; новгородъци же, створивъше вѣче о собе, почаша гадати» (л. 79–79об.; там же, 53); «Тогда же поиде князь Михайло со всею Низовьскою землею и с Татары к Торжку; новгородци же съ княземъ Афанасьемъ и с новоторжци изидоша противу на поле» (л. 159; там же, 94). В 11 случаях мы находим оппозицию субъекта рассматриваемой предикации субъекту предшествующей предикации, отмеченную союзом *а*, ср.: «и иде Даньславъ Лазутиницъ съ дружиною Киеву къ Мьстиславу по сынъ; а Святославъ приде съ суждалци и съ братома и съ смольняны и съ полоцаны къ Русѣ» (л. 35; там же, 32). В 6 случаях эта же оппозиция отмечена другими средствами, ср.: «Ини же Татари поидоша по русскихъ князихъ, бѣюче до Днѣпра» (л. 98об.; там же, 63). В 10 случаях субъект представляет собой местоимение *сам*, которому предпослан союз *а*, ср.: «Того же русстии князи не послушаша, нъ послы избиша, а сами поидоша противу имъ» (л. 97об.; там же, 62). В 7 случаях субъект принадлежит одновременно матричной и препозитивной причастной предикации, ср.: «Услышавше же новгородци съ княземъ Афанасьемъ, изидоша к Торжку и пребыша ту съ 6 недѣль» (л. 159; там же, 94). В 5 примерах мотивация порядка SV остается неясной, ср.: «И воеваша Литва въ Шелонѣ; новгородци изидоша по нихъ и не състигоша ихъ» (л. 87; там же, 57)<sup>317</sup>.

Таким образом, сопоставляя ПВЛ и Первую Новгородскую летопись, мы находим в них два разных типа повествования, по-разному использующие глаголы движения. Эти различия в нарративных стратегиях определяют и разные статистические параметры порядка слов в предикациях с данными глаголами. Данное различие задает своего рода координаты, в которых может рассматриваться порядок слов в предикациях с глаголами движения. Целесообразно взглянуть теперь на то, как обстоит дело с данными стратегиями в Житии Феодосия.

В Житии Феодосия существенно меньше материала, чем в летописях, не только в силу меньшего объема этого памятника, но и потому, что персонажи Жития существенно меньше перемещаются в пространстве. Предикации с глаголами движения в Житии структурированы существенно четче, чем в ПВЛ, но все же способ обращения с этими глаголами в Житии ближе к ПВЛ, чем к Первой Новгородской летописи. Это видно прежде всего по соотношению предикаций с SV и VS. В Житии 34 предикации с SV (64%) и 19 предикаций с VS (36%), диспропорция здесь более умеренная, чем в ПВЛ, но все же однозначно указывающая на предпочтение порядка SV.

<sup>317</sup> Из остающихся вне этой основной классификации мелочей упомяну употребление сочетания *тогда же* в значении следствия ('в результате') как фактора, мотивирующего выдвигание субъекта в препозицию (ср. выше), см. в рассказе о том, как в 1228 г. псковичи выгнали из города приспешников Ярослава: «Пльсковичи же тѣгда бяху подѣвгели Нѣмци и Чюдѣ, Лотыголу и Либѣ, и отпустиша я опять; а тѣхъ, кто ималъ придатькъ у Ярослава, выгнаша исъ Пльскова: "поидите по князи своемъ, намъ есте не братья". Тѣгда же Ярослав поиде съ княгынею из Новагорода Переяславлю, а Новѣгородѣ остави 2 сына своя, Феодора и Альксандра, съ Федоромъ Даниловицемъ, съ тиуномъ Якимомъ» (л. 105об.; там же, 66).

Предикации с VS в своем большинстве мотивированны. В 13 случаях (68% всех предикаций с VS) им может быть приписана интродуктивная функция, ср.: «Въ кдинъ же ѿ днин приде къ прѣдобноуѹмоу ѿеодосиу прозвѣтеръ ѿ града просѧ вина на слоужьбоу стѣпа литургѧ» (Усп. сб., л. 51аб); «и се въ кдину ношь тѣмѣ соуши велицѣ приидоша на нѧ разбои-ници» (там же, л. 46в); «и тако многашьды молащюся кмоу. и се приидоша страньници въ градъ тѣ» (там же, л. 28в). В трех случаях предикация с глаголом движения выступает как завершение эпизода и порядок VS выполняет конклюдивную функцию, ср.: «и такоже пакы по мнозѣи тои бесѣдѣ ѿнде князь въ домъ свои, слава бѧ» (там же, л. 59в); «И се по съмотренню бжню повблачило сѧ нбо и съниде дѣждѣ» (там же, л. 64вг). В трех случаях мотивация порядка VS остается неясной, ср.: «вси иже ти въ слѣдѣ идоуше поахоу. и вси въ роукахъ свѣщѣ горѣцѣ имахоутъ. прѣдъ ними же идѧше прѣдѣбныи оцѣ ихъ и наставьникъ ѿеодоси» (там же, л. 56г).

Предикации с SV более многочисленны, но также в подавляющем большинстве мотивированны, причем мотивированы хорошо известными нам чертами. В 10 случаях вынесенный в препозицию субъект маркирован частицей *же*, ср.: «Великыи же никонъ отъиде въ островъ тѣмоутороканьскыи. и тоу обрѣтъ мѣсто чисто близъ града сѣде на немъ» (там же, л. 35б). В одном случае контраст с субъектом предшествующей предикации обозначен другим способом. В двух случаях субъект выражен местоимением, один раз личным 1 лица, другой раз указательным *сии*; оба эти местоимения требуют препозиции, ср.: «То же сии съ радостию вѣставъ приде съ боляры въ мана-стырь юго» (там же, л. 59б). В 15 случаях субъект принадлежит матричной и причастной предикациям, многочисленность этого класса объясняется, видимо, пристрастием Нестора к причастному субординированию, ср., например: «тѣмъ же оуповаѧ блаженныи. іако имать прогнати іа ѿ мѣста того. іако же дрѣвле ѿ мѣсильница. и прииде въ село то» (там же, л. 54в). Наконец, следует отметить два повторяющихся друг друга примера, в которых субъект в условном предложении выделен усилительной частицей *и*, ср.: «рѣхъ ти іако повелѣно ми кѣтъ отъ игоумена. іако аще и князь приидеть не отъвръзи вратъ» (там же, л. 40в). В четырех примерах мотивация неочевидна, ср.: «по сихъ же пакы ефремъ каженикъ ѿнде въ квѣнтантинъ градъ и тоу живѧше въ кдиноу манастири» (там же, л. 35бв; этой предикации можно было бы приписать и интродуктивную функцию, не свойственную порядку SV).

**5. 2. 2. Данные XIII–XVII веков.** Обобщая эти данные, можно было бы сказать, что Житие Феодосия стоит как бы на развилке двух путей построения нарратива, наметившихся в проанализированных нами памятниках. Расширение класса предикаций с SV, которые теснят предикации с VS, выполняющие присущие этому порядку функции (прежде всего интродуктивную), ведет к конфигурации, представленной в ПВЛ. Расширение класса предикаций с VS и интенсификация использования *verba movendi* для обеспечения нарративного движения дает конфигурацию типа той, которая обнаруживается в Первой Новгородской летописи. Посмотрим теперь, какие изменения вносит в эту картину дальнейшее историческое развитие. С этой целью обратимся к Суздальской летописи.

Одного взгляда на самые элементарные статистические данные оказывается достаточно, чтобы утверждать, что Суздальская летопись следует традиции ПВЛ и чужда тем тенденциям, которые реализуются в Первой Новгородской летописи: порядок SV представлен в ней 177 примерами (86%), а порядок VS – 28 примерами (14%). Диспропорция в сторону порядка SV выражена здесь еще ярче, чем в ПВЛ. Распределение предикаций по классам, определяемым факторами, мотивирующими представленный в них порядок слов, также в общих очертаниях схоже с наблюдаемым в ПВЛ, однако некоторые частные отличия достаточно показательны и могут быть связаны с общими линиями развития порядка слов.

Что касается предикаций с SV, то здесь, как и в ПВЛ, наиболее многочисленным классом является тот, в котором выдвинутый в препозицию субъект маркирован частицей *же*; таких предикаций 70 (40% всех предикаций с SV), ср.: «Шлговичи же придоша къ Днѣпру. Рюрикъ же выде противу ихъ» (л. 143об.; ПСРЛ, I, стб. 426). Многочисленными примерами представлена и группа, в которой имеет место контраст между субъектом данной предикации и субъектом предшествующей предикации; этот контраст может быть отмечен противительным союзом *а*, а может выражаться другими средствами; таких предикаций 30, ср.: «Лахове же не идоша. а Оугри идоша» (л. 112об.; там же, стб. 336); «приде множество Половецъ. раздѣлившеса на двоѣ. ѡдини придоша к Переяславлю. и сташа оу Пѣсочна. а друзии придоша по ѡнои сторонѣ Днѣпра г Кыеву. и сташа оу Корсуна» (л. 120; там же, стб. 357); «Володимерко же ста оу Кыева оу терѣмца. и Гюрги ѡ то чинъ приде г Кыеву и со Шлговичи. и со Двѣвичема. и со Всеволодичимъ» (л. 109–109об.; там же, стб. 327). В 32 случаях порядок SV мотивирован местоименным субъектом, в 7 случаях – 1 лица, в 25 случаях – местоимением *сам*, ср.: «али мы иде<sup>мъ</sup> по свою бра<sup>т</sup>ю к ва<sup>мъ</sup>» (л. 135; там же, стб. 399); «Тое же весны вда Мьстиславъ Ростиславу Кыевъ подѣ собою. а са<sup>мъ</sup> иде Володимерю» (л. 117; там же, стб. 348)<sup>318</sup>. В 14 примерах субъект принадлежит одновременно матричной и причастной предикациям: «и тогда Всеволодъ приведе брата. ис Курьска Сѣослава. и иде с ни<sup>мъ</sup> Переяславлю. на Андрѣя. и хоташе выгнати Андрѣя» (л. 102; там же, стб. 307). В 8 примерах субъект поставлен в препозиции без видимой мотивации, ср.: «Том же лѣ<sup>т</sup>. Изаславъ ѡда дщерь свою. Полотску за Борисовича за Роговолода. и Всеволодъ князь Кыевскыи приде с женою и со всѣми болары. и с Кыяны. Переяславлю на свадьбу» (л. 103об.; там же, стб. 311)<sup>319</sup>.

<sup>318</sup> Сюда, видимо, можно отнести и пример с субъектом *нѣкто*, который также, кажется, употребляется преимущественно в препозиции, ср. во включенном в летопись Житии Александра Невского: «и сего ради нѣкто силенъ ѿ западныхъ страны. иже нарицаются Бжѣя. ѿ тѣхъ приде хотя видѣти дивныи то взрастъ юго» (л. 168об.; ПСРЛ, I, стб. 477–478).

<sup>319</sup> Отмечу еще ряд мелочей. Порядку SV благоприятствует, кажется, такая структура текста, когда подряд перечисляются действия нескольких субъектов или когда перечисляются субъекты, совершающие одно действие; перечисление тяготеет к препозиции, ср.: «Совкупишася Шлговичи вси в Черниговъ на сне<sup>мъ</sup>. Всеволодъ Чермны с своею бра<sup>т</sup>ю. и Володимеръ Игоревичъ с своею бра<sup>т</sup>ю. и Мстѣславъ Романовичъ. и-Смолинь-

Эти параметры лишь несущественно отличаются от того, что мы наблюдали в ПВЛ. Наиболее важная инновация, которую нужно отметить в Суздальской летописи, – это сравнительно интенсивное употребление порядка SV в интродуктивной функции, которая в принципе должна была бы благоприятствовать порядку VS. Можно сказать, что порядок SV теснит порядок VS в его основной нише. Элементы этого были заметны и в ПВЛ, где интродуктивной функции можно приписать 9 предикаций с VS и 7 предикаций с SV. В Суздальской летописи, однако же, эта функция принадлежит 14 предикациям с SV и всего 2 предикациям с VS, ср.: «В лѣтѣ .ъ.ѣ.ѣла. [6731 (1223)] Всеволодъ Гюргеви<sup>т</sup>. иде из Новгорода къ шѣю своѣму в Володимерь» (л. 153; там же, стб. 445); «Тое же зимы Цѣрь Тотарскыи приде въ Тѣфѣрь. има юму. Токтомѣрь. и много тагости люде<sup>м</sup> оучинивъ поиде в своа си» (л. 171; там же, стб. 483); ср. с порядком VS: «В то же лѣтѣ. поиде Гюргѣ с сынми своими. и с Ростовѣ. ии [так в ркп.] с Суждалци. и с Разанци. и со князи Разаньскыи и в Русь» (л. 113; там же, стб. 338). Таким образом, здесь процесс вытеснения порядка VS идет существенно дальше, чем в ПВЛ.

В других группах с порядком VS этот процесс не столь заметен. Наиболее многочислен класс предикаций, представляющих собой придаточные изъяснительные, в которых событие, о котором сообщается в придаточном, концептуализируется как целое. В ПВЛ в этой функции порядок VS был представлен практически на равных с SV (7 и 6 предикаций соответственно). В Суздальской летописи порядок VS представлен 13 предикациями, тогда как SV – только двумя, ср.: «а Изаславъ шта на Волоцѣ. на ту же всень оувѣдавъ вже идеть Юрополкъ съ братьею к Чернигову» (л. 100об.; там же, стб. 302–303); «Мстислав же слышавъ вже иде<sup>т</sup> на нь рать. изиде ис Торжку. Новугороду» (л. 148; там же, стб. 435); ср. с порядком SV: «князи же видѣвше Половци идутъ прочь. идоша ѿ Чернигова к Новугороду Сѣверьскому» (л. 113об.; там же, стб. 339). В этом разряде, таким образом, порядок VS упрочивает свои позиции. Так же обстоит дело и с предикациями, субъект которых *весть* (или *слух*). В ПВЛ на 4 таких предикации с порядком VS приходилось две с порядком SV; в Суздальской летописи это соотношение превращается в 7 к 1, ср.: «приде к нему вѣсть. стрыи ти оумерлъ Вачеславъ» (л. 114об.; там же, стб. 342); «и бѣвши<sup>м</sup> имъ оу Коломны приде вѣсть. вже Глѣбъ шелъ Володимерю инѣмъ путемъ» (л. 129об.; там же, стб. 383); ср. с порядком SV: «и вѣсть приде к ни<sup>м</sup> идеть Изаславъ. с Вачеславомъ в помочь Черниговце<sup>м</sup>» (л. 113об.; там же, стб. 339). Остальные

---

ска приде к ни<sup>м</sup> с своими сыновци. и Половци придоша к ни<sup>м</sup> мнози» (л. 143об.–144; там же, стб. 426). Порядок SV регулярно появляется в построенных на параллелизме «библейского» типа афористических высказываниях: в первом члене пары находим порядок VS, во втором – SV, ср.: «вбрати бо са болѣзнь юго на главу юму. и на верхъ юго неправда юго сниде» (л. 119об.; там же, стб. 356; см. еще: л. 146; там же, стб. 431; цитата из Пс. 7: 17). Особый тип фокусирования субъекта с помощью частицы *ни* можно, видимо, постулировать в следующем примере: «Новгородци не стерпаче безо княза сѣдити. ни жито к ни<sup>м</sup> не идаше ни ѿкуду же» (л. 102об.; там же, стб. 309).

группы совсем малочисленны<sup>320</sup>, в том числе и класс предикаций, в которых порядок VS представляется немотивированным; в нем всего две предикации, ср.: «Того<sup>ж</sup>. лѣ<sup>т</sup>. Безаконъныи Глѣбъ Володимеричъ. приде со мно<sup>ж</sup>ство<sup>м</sup> Половецъ к Разаню. и изиде противу имъ Инъгваръ съ своею бра<sup>т</sup>ею» (л. 152об.; там же, стб. 444; имею в виду предикацию с *изиде*).

Можно сказать, таким образом, что Суздальская летопись развивает те тенденции, которые наблюдаются в ПВЛ. Прежде всего речь идет о возрастающем употреблении порядка SV, который успешно конкурирует с VS даже в тех классах предикаций, которые обычно соотносятся с VS (интродуктивная функция). Вместе с тем параметры порядка слов в Суздальской летописи несколько более структурированы, нежели в ПВЛ, о чем свидетельствует уменьшение пропорции предикаций (особенно с порядком VS), в которых мотивирующие факторы не просматриваются.

Продолжение Суздальской летописи по Академическому списку не приносит чего-либо принципиально нового, и поэтому я позволю себе ограничиться лишь минимальной информацией. В этом тексте всего 58 предикаций с рассматриваемыми нами *verba movendi*, из них в 52 предикациях (90%) наблюдается порядок SV, а в 6 (10%) – порядок VS, т. е. сдвиг в пользу SV идет еще дальше. Самый примечательный момент в этом тексте состоит в том, что наиболее многочисленным классом предикаций с SV оказывается не группа с субъектами, маркированными частицей *же*, а предикации, выполняющие интродуктивную функцию. Таких предикаций 17, в то время как выполняющих ту же функцию предикаций с VS всего 3, ср.: «того же лѣта. ию<sup>н</sup>. еі. кнѣзъ великий Дмитрей Ивановичъ поиде въ Wrду» (л. 255–255об.; там же, стб. 534); «того же лѣта црѣ Токтамышъ приде ратью на великого кнѣа Дмитрея Ивановича. и на всю Рѣсскѣю землю» (л. 258; там же, стб. 536); ср. пример с VS: «В лѣ<sup>т</sup>. .ѣ.ѣ.ѣ. [6917 (1409)] индикта .б. се<sup>м</sup>. дї. поиде кнѣзъ великий Витофтъ на зата своего на кнѣа великого Васильа Дмитреевича» (л. 259об.; там же, стб. 538). Класс предикаций с субъектом, маркированным частицей *же*, оказывается на втором месте среди предикаций с SV с 13 примерами, затем следуют предикации с субъектами-местоимениями (8 примеров с местоимением *сам*, один с местоимением 1 лица), в 6 случаях субъект принадлежит матричной и причастной предикациям, в 5

<sup>320</sup> И в этом случае остановлюсь на нескольких мелочах. В двух случаях порядок VS кажется мотивированным тем, что предикация выступает как конклюдия эпизода, ср.: «радъ бы<sup>а</sup> Изаславъ и створи шбѣдъ великъ. и да юму Божьскы и ины городы. а къ Глѣбови пославъ ре<sup>ч</sup>. иди ко Шлговиче<sup>м</sup> к тѣ<sup>м</sup> ѹси пришелъ. ати ти дадать волость. и иде Глѣбъ Чернигову. а ѡтуда къ шїю. а Ростиславъ иде в Городецъ» (л. 106об.; там же, стб. 320). В одном случае предикация представляет собой прямую речь, пересказывающую уже известную информацию, к которой в вводящем прямую речь предложении отсылает местоимение *то*; в силу этого событие выступает как целостность: «В то же время поиде Володимерко г Кънѣву на Изаслава. в помочь Гюргеви. Изаслав же слыш<sup>а</sup>въ то посла к сїу своему Мстиславу река. иде<sup>т</sup> на ма Володимерко» (л. 109; там же, стб. 326–327). Еще в одном случае мы находим библейскую афористическую сентенцию с параллелизмом, в первом члене которой реализуется порядок VS (см. предыдущее примечание), см: «и приде<sup>т</sup> предъ та правда твоя. и слава Бжѣя шбуиметь та» (л. 139; там же, стб. 410), ср. Ис. 58: 8.

случаях имеет место оппозиция в отношении субъекта предшествующей предикации<sup>321</sup>. Лишь в одном случае в предикации не просматриваются мотивирующие порядок SV факторы. Что же касается предикаций с VS, то здесь в дополнение к упоминавшимся выше трем с интродуктивной функцией имеется еще две с субъектом *весть* и одна аномальная с субъектом – местоимением 1 лица. Таким образом, отмеченные в Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку инновации находят в рассматриваемом тексте дальнейшее развитие<sup>322</sup>.

Следуя хронологическому порядку, обратимся вновь к агиографии и рассмотрим Житие Сергия Радонежского. В Житии Сергия сама фактура текста в ряде отношений отличается от летописной. В нем больше придаточных предложений, в которых, видимо, существуют особые тенденции использования порядка слов. Занимаясь предикациями с *verba dicendi*, мы отмечали, что Житие Сергия вполне вписывается в динамику постепенного утверждения порядка SV как доминирующего, а язык этого памятника в некоторых аспектах кажется испытавшим влияние летописной традиции. Употребление глаголов движения, хотя и не противоречит прямо этим выводам, непосредственно с ними не соотносится. Ничего особенно удивительного в этом нет, поскольку авторы работали с отдельными трафаретами и с отдельными навыками изложения, а не с глобальными правилами, так что сходства в развитии порядка слов у разных групп глаголов могут вовсе не проявляться на всяком этапе процесса развития: узус *verba dicendi* может быть весьма продвинутым, а *verba movendi* – консервативным. Узус Жития Сергия консервативным не назовешь, однако в сфере *verba movendi* он консервативнее предшествовавшего ему летописного, представленного в Суздальской летописи, а в сфере *verba dicendi* – радикальнее узуса той же Суздальской летописи. Конечно, все подобные рассуждения имеют сугубо предварительный характер: для более обоснованных выводов нужен анализ куда большего числа текстов.

В Житии Сергия встречается 59 предикаций с рассматриваемыми нами глаголами движения, в 34 (58%) предикациях имеет место порядок SV, в 25 – порядок VS (42%). Диспропорция между двумя типами здесь более умеренна, чем в Суздальской летописи и ПВЛ, и скорее напоминает Житие Фео-

<sup>321</sup> Из предикаций с контрастом между субъектом рассматриваемой и предшествующей предикации интересно отметить одну, в которой этот контраст содержится имплицитно: «В лѣтѣ .ѣ.ѡ.ми. [6848 (1340)] поиде в Ордѣ князь Иванъ Даниловичъ. того же лѣта кнѣзь Алексанѣръ поиде в Ордѣ. а сѣа Федора напередѣ ѡпѣсти» (л. 253; там же, стб. 531). Заслуживает также внимания предикация с субъектом особого типа: «а иного вою кожоѣо десатый прѣиде» (л. 234; там же, стб. 509); насколько такого рода субъекты индуцируют постпозицию глагола, остается неясным.

<sup>322</sup> Имею в виду следующее предложение: «и ркоша Новогороѣци княземъ поидемъ мы с Торжкѣ. и князи ркоша. аще поидемъ к Торжкѣ попѣстошимъ Новѣгороѣскѣю волость. и поидоша къ Тѣери» (л. 219об.; там же, стб. 492). Этот пример еще раз напоминает, что, занимаясь порядком слов, мы имеем дело не с жесткими правилами, а с сильнее или слабее выраженными преференциями. Трудно сказать, имеются ли между *поидемъ мы* и *мы поидемъ* модальные различия, которые характерны для современного русского языка, в котором препозиция глагола указывает на нетвердость намерений говорящих.

досия, хотя и в сравнении с Житием Феодосия в Житии Сергия можно видеть небольшой шаг к умеренности. Сами по себе рубрики, по которым распределяются предикации в зависимости от особенностей мотивации порядка слов, достаточно обычны; специфика, обусловленная более книжным, нежели в летописи, характером языка, минимальна.

Так, среди предикаций с порядком SV выделяются следующие группы. Имеется 8 предикаций с субъектом, выдвижение которого в препозицию отмечено частицей *же*, ср.: «Игумен же незамедлено вниде въ церковь и постриже и въ аггельский образ» (БЛДР, VI, 294). В 8 случаях препозиция определена типом местоимения-субъекта – в 5 случаях местоимением 1 лица, в трех – местоимением *сам*, ср.: «Аз пророка видѣти приидох, вы же ми сироту указасте» (там же, 344); «Сам же поиде къ митрополиту Алексѣю, нося принесенное послание отъ патриарха» (там же, 354). К этому же разряду следует, видимо, отнести и две предикации с местоимением *сей/се*, которое очевидным образом сдвигает фокус на субъект и индуцирует его препозицию, ср.: «Се добрый и блаженный нашъ старецъ от нас къ Господу отиде, и нас сирых оставивъ» (там же, 406); «Сей убо прииде къ святому Сергию, якоже велию вѣру имѣа къ старцу» (там же, 372); такое употребление для летописи нехарактерно. Фокусирование или контраст могут осуществляться и другими средствами, например, с помощью сочетания *и се* (2 примера) или местоимения *елици*, ср.: «И вѣнегда наченшу ему пѣние, вѣнезаапу стѣна церковнаа разъступися, и се диаволь очивѣсть вниде съ множеством вой бѣсовскихъ» (там же, 300); «И по времени же мнозѣ благо-разумный пастырь благословляет Феодора и отпускает; и елици вѣсхотѣша с ним братиа идоша, да идѣже вѣзлюбят» (там же, 368). В 3 случаях субъект принадлежит одновременно матричной и причастной предикациям, ср.: «И абие князь великий Дмитрие и все воинство его, от сего велику дръзость вѣсприимше, изыдоша противу поганныхъ» (там же, 372). В трех случаях фактор, мотивирующий препозицию субъекта, не просматривается, ср.: «О семъ съжалихся зѣло, како убо таковой святой старецъ, пречюдный и предобрый, отнеле же преставися 26 лѣтъ преиде, никтоже не дръзняше писати о немъ» (там же, 254; в этом не слишком удачно построенном предложении имеется в виду, что прошло 26 лет с тех пор, как скончался преп. Сергий: субъект *преиде* – 26 лет).

Наибольший интерес, однако, представляют примеры, в котором порядок SV сочетается с интродуктивной функцией. Интродуктивная функция устанавливается в Житии с большими сложностями, чем в летописи, поскольку эпизоды не столь четко отделяются друг от друга, но все же с некоторыми допущениями выделяется семь подобных предикаций, в основном начинающихся обстоятельством времени или следующих за временным придаточным или дательным самостоятельным, ср.: «Въ единъ убо от дний преподобный Сергий в нощи вниде въ церковь, хотя пѣти заутреню» (там же, 300); «Приведену же ему бывшу въ монастырь, преподобный изыде изъ церкви, нося крестъ в руцѣ» (там же, 352). Ситуация в Житии Сергия далека от той, которую мы наблюдали в Суздальской летописи и в особенности в Суздальской летописи по Академическому списку, и основным для интродуктивной функции остается порядок VS. Предикации с VS в данной



функции обнаруживаются в 13 случаях, т. е. почти в два раза чаще, чем предикации с SV, ср.: «И сиа убо тако помышляющу ему, прииде же нѣкогда къ преподобному Сергию Алексие митрополит въ обитель посѣщения ради» (там же, 364); «По малѣ же времени прииде святыи Сергие видѣти строение ученика своего на оно мѣсто» (там же, 366). Тем не менее существенное число предикаций с SV в интродуктивной функции реализует те же тенденции к экспансии порядка SV, которые мы наблюдали в летописных памятниках.

Предикации с VS в интродуктивной функции составляют более половины всех предикаций с VS. Остальные предикации с VS нуждаются лишь в минимальном комментарии. В 4 случаях событие, передаваемое предикацией с VS, концептуализируется как целостность, на что указывают разные формальные черты. Так, в одном случае мы читаем: «бѣ убо по крещении преиде нѣколько врѣмя месяцев, егда и отдоенъ бысть законом естества» (там же, 268); это грамматически сомнительное предложение могло быть переведено так: «и вот случилось, прошло после крещения несколько месяцев...»; автора явно интересует само истечение временного интервала, а не какие-либо новые свойства «врѣмя месяцев». В рассказе о том, как Сергей провещал во чреве матери, находим: «И паки, како не памалу провъзгласи, но въ всю церковь, яко да въ всю землю изыдет слово о нем» (там же, 268); и здесь целевое *яко да* указывает на то, что автора интересует результирующее событие в целом, а не появление новых свойств у «слова». В 2 случаях предикация с VS является относительным предложением, в котором глагол следует за относительным местоимением: «Путь же онъ, имѣже идяше епископъ, отстоит от монастыря святого Сергия яко поприщъ 10 или вѣще» (там же, 362); именно такое построение книжного относительного предложения кажется обычным для средневековых восточнославянских текстов. В четырех случаях мотивация для порядка VS неясна<sup>323</sup>.

Тенденция к экспансии порядка SV, хотя в конечном итоге она и торжествует в русском языке, реализуется в хронологической последовательности памятников отнюдь не с полной последовательностью, а лишь после разнообразных колебаний, подробности которых и возможные причины (такие, как влияние некнижного языка или ориентация на ту или иную письменную традицию) нуждаются в отдельном исследовании, куда более тщательном, чем тот обобщенный очерк, который дается в настоящей книге. Эти соображения неизбежно возникают при обращении к Московскому летописному своду, в котором никакой экспансии порядка SV не заметно, а скорее может быть постулировано обратное явление. Мы рассмат-

<sup>323</sup> В одном случае мы имеем дело с цитатой из Псалтыри, сохраняющей, естественно, порядок слов оригинала: «Хлѣбъ аггельскый яде человекъ, просиша, и приидоша крастели, и одожди на ня, яко прах, плоти и, яко пѣсок морьскый, и птица прѣнатыа; и ядоша и насытишася зѣло» (БЛДР, VI, 340); в основном цитируется Пс. 77: 24–29, но *приидоша крастели* взято из Пс. 104: 40. Еще в одном случае мы находим субъект особого типа (*кыйждо ею*), возможно, индуцирующий порядок VS: «И тако пребысть нѣколько время, служаа [так в изд.] и угадая родителема своима всею душею и чистою съвѣстию, дондеже постригостася въ мнишеский чинъ, отидоша кыйждо ею въ своя времена в монастыря своя» (там же, 288).

ривали два фрагмента из последней части Московского летописного свода, один с л. 276 по л. 334об., покрывающий годы с 1379 по 1408, а другой с л. 414 до конца, покрывающий годы с 1472 по 1491. Московский летописный свод весьма гетерогенен по своим лингвистическим характеристикам, в частности потому, что инкорпорирует тексты, отражающие разные языковые традиции (например, в рассказе о Пафнутии Боровском заметны определенные агиографические элементы, а в рассказе о разорении Новгорода Иваном III – некоторые элементы делового языка). Как мы увидим, и два анализируемых фрагмента не вполне сходны по своим характеристикам.

В первом фрагменте встречается 108 предикаций с глаголами движения, в 58 из них порядок SV (54%), в 50 порядок VS (46%). Такие цифры напоминают только что разобранный Житие Сергия, в анализируемой нами редакции возникшее где-то на полвека раньше занимающего нас теперь летописного текста; они во всяком случае не имеют ничего общего со статистической конфигурацией Суздальской летописи. Основные классы, по которым распределены предикации, вполне обычны, хотя в статистической конфигурации имеются необычные моменты. Для предикаций с порядком SV выделяются классы предикаций: с субъектом, отмеченным частицей *же* (8 примеров); реализующих контраст с субъектом предшествующей предикации с помощью союза *а* или иных средств, ср.: «а инии по лѣствицѣмъ на городъ възыдоша никому же възбраниащу имъ» (л. 289об.; ПСРЛ, XXV, 209) (8 примеров); с субъектом-местоимением *сам* (2 примера), с субъектом, принадлежащим матричной и причастной предикациям (10 примеров). В 3 случаях мотивация порядка SV не просматривается, несколько примеров объясняются частными моментами<sup>324</sup>.

Как и в Житии Сергия, порядок SV активно сочетается с интродуктивной функцией. Такое сочетание имеет место в 21 примере, и это, таким образом, самый многочисленный класс предикаций с SV, ср.: «Мѣсяца ноября въ 6 на память Павла исповедника квязь великий Василей Дмитреевичъ иде с Москвы в Новѣгород Нижней» (л. 306об.; там же, 219); «Тое же зимы некоторой князь Ординьский именем Едигеи повелѣниемъ Булата царя прииде ратью на Русскую землю» (л. 332об.; там же, 238). Как и в Житии Сергия и в отличие от Суздальской летописи, интродуктивная функция чаще все же совмещается с порядком VS; Таких примеров в разбираемом фрагменте 31, ср.: «Тое же осени прииде Пиминъ изо Царягорода и посланъ бысть в заточенье на Чюхлomu» (л. 285об.; там же, 206); «Генваря въ 25 выиде из Орды князь Иванъ Михайлович Тферьскы, тогда же и женися» (л. 331об.; там же, 237). Из предикаций с порядком VS следует указать еще 6 примеров, в которых предикация завершает эпизод (конклюзивный контекст), две предикации с субъектом *весть* (одна предикация с тем же

<sup>324</sup> Так, например, во фразе «и отъиде слава его и уничижение прииде на нь» (л. 291; ПСРЛ, XXV, 209) можно видеть парную структуру с параллелизмом, в которой первая предикация обладает порядком VS, а вторая – порядком SV (см. примеч. 75, 76). Другой тип параллелизма, также мотивирующий порядок SV, находим во фразе «за веселье плач и слезы приидоша ми, а за утѣху и радость сътование и скорбь яви ми ся» (л. 303; там же, 217).

субъектом характеризуется порядком SV), две предикации, где в фокусе оказывается событие в его целостности, ср.: «Бысть чудо на Москвѣ в дому Тютрюмовѣ, иде миро от иконы святыа богородица и от чудотворца Николы» (л. 327; там же, 233); «И бысть въ филипово говѣнье мѣсяца декабря въ 1 день прииде Едегѣи к Москвѣ ратью со всею силою Татарскою» (л. 333; там же, 238). В 6 случаях мотивация порядка VS неясна. Как можно видеть, сходства с Житием Сергия вполне выразительны и распространяются даже на отдельные детали.

Для второго фрагмента это не так или не совсем так. Прежде всего, предикации с VS в нем преобладают. Из общего числа в 96 рассматриваемых предикаций 34 обладают порядком SV (35%), а 62 – порядком VS (65%). Это вряд ли связано с ориентацией данной части Московского летописного свода на старое новгородское летописание (такая ориентация отсутствует); скорее это объясняется характером текста, состоящего из мозаики очень коротких эпизодов. В этих условиях чрезвычайно многочисленными становятся предикации с интродуктивной функцией, а они в своем большинстве обладают порядком VS. Действительно, более половины всех предикаций – это VS-предикации с интродуктивной функцией, их в рассматриваемом фрагменте 49, см., например: «В четвертии же день в среду прииде князь великы Иван Васильевич из Ростова и многи слезы излия» (л. 418; там же, 298); «Того же лѣта августа приидоша на Москву послы великого князя от короля Римского Максимиана, Юрьи Грекъ Тарханиот да дьякъ Василеи Кулешинъ» (л. 471; там же, 332). Интродуктивную функцию выполняют и предикации с порядком SV, но таких предикаций всего 10, т. е. почти в пять раз меньше, чем предикаций с VS с той же функцией, ср.: «Мѣсяца февраля 12 в четверток владыка из Новагорода прииде к великому князю с поминки перед обѣднею, подал чепь злату 5 гривенок» (л. 454об.–455; там же, 323). Остальные группы предикаций никаких значимых инноваций не показывают. Среди предикаций с порядком VS 4 выступают как конклюдия, другие 4 включают словосочетание *приде вестъ*; несколько особых случаев не представляют большого интереса; для одной предикации мотивировка порядка VS неясна. Среди предикаций с порядком SV в 5 случаях выдвижение субъекта в препозицию отмечено частицей *же*, в 10 случаях имеет место оппозиция субъекта рассматриваемой предикации субъекту предшествующей предикации, в трех случаях субъект является местоимением *сам*, в двух случаях субъект принадлежит матричной и причастной предикациям, два случая требуют особых объяснений, в одном случае мотивация порядка SV не просматривается. Сопоставление первого и второго фрагментов позволяет увидеть общие черты реализуемой в этом памятнике языковой системы, в ряде отношений похожей на систему Жития Сергия, и вместе с тем понять диапазон вариаций, допускаемых этой системой и зависящих от различий в коммуникативных задачах, характерных для разных фрагментов (см. выше о многочисленности кратких эпизодов во втором фрагменте).

Еще более сложным материалом для интерпретации оказываются различные редакции Жития Михаила Клопского, которые, как мы уже неоднократно видели, могут служить своего рода полигоном для выяснения соотношений между стилистически дифференцированными разновидностями

книжного языка. Материал всех трех редакций Жития в сфере *verba movendi* невелик. В первоначальной редакции (вариант А) встречается всего 29 глаголов движения (всех типов; как и с глаголами речи, материал был получен не автоматическим поиском, а сплошной выборкой). Порядок SV наблюдается в 11 случаях (38%), порядок VS – в 18 случаях (62%). Это напоминает последний фрагмент Московского летописного свода, и это сходство не случайно, а обусловлено одним и тем же фактором – интенсивным употреблением глаголов движения в интродуктивной функции. И в первоначальной редакции Жития эта функция присуща почти половине всех предикаций с *verba movendi*, а именно 14 (48%). Хотя, понятно, Житие не может состоять из столь мелких эпизодов, как погодные статьи в Московском летописном своде, однако оно достаточно фрагментарно, и начальные части многих из этих фрагментов отмечены глаголами движения, выполняющими интродуктивную функцию, ср.: «И по мале по том времени вышел Феодосей игумен и старец ис церкви от обедни» (Дмитриев 1958, 90); «И по времени же не мале прииде князь Костянътин Дмитриевич в монастырь ко Троице святой» (там же, 92); «И прииде владыка Еуфимей на Клопско кормить монастыря» (там же, 96).

Остальные предикации распределяются по группам следующим образом. С порядком VS имеется еще три предикации с завершительной функцией, ср.: «И ездил владыка въ Смоленско и стал владыкою» (там же, 96); еще одна VS предикация входит в придаточное изъяснительное, ср.: «Посмотрят, аже идет Михайла, а олень за ним» (там же, 93)<sup>325</sup>. Предикации с порядком SV представлены тремя группами. В 5 предикациях субъект принадлежит одновременно матричной и препозитивной причастной предикациям, ср.: «Некто христоробецъ, Михайла Марков сын, имея любовь христову к рабу Михайле, и поехал за море в корабли» (там же, 97; пунктуация Л. А. Дмитриева изменена). В одном случае субъект противопоставлен субъекту предшествующей предикации и контраст отмечен союзом *a*. Наконец, в 5 случаях порядок SV не имеет очевидной мотивации, см., например: «И он с ними в трапезу пошел» (там же, 90); «И они пришли, ажно келья заперта» (там же, 97). Эта группа, пожалуй, наиболее значима; немотивированность порядка SV является одним из аспектов его экспансии, и поэтому эти пять примеров (хотя число и незначительно, эта группа составляет почти половину всех примеров с SV), вполне нейтральных по своей коммуникативной структуре, побуждают предположить, что инновативное развитие отражается и в разбираемом памятнике.

Во второй редакции пропорции SV и VS меняются одновременно с увеличением числа примеров. В тексте встречается 48 предикаций с глаголами

<sup>325</sup> Как мы знаем из разбиравшихся выше примеров, придаточное изъяснительное не может рассматриваться как фактор, однозначно требующий порядка VS, хотя обычно событие, которое служит предметом сообщения, концептуализируется как целое, и это обуславливает предпочтительность порядка VS. В разбираемом примере эта необязательность проявляется вполне отчетливо, поскольку во второй редакции Жития в том же эпизоде говорится: «И посмотри, аже преподобный старецъ идет, а олень за ним скоро женет» (Дмитриев 1958, 136).

движения, из них 28 (58%) с порядком SV, а 20 (42%) – с порядком VS. Как и в первоначальном варианте Жития, самую большую группу составляют предикации с VS, выполняющие интродуктивную функцию; их 13, часть из них буквально совпадает с предикациями первой редакции, ср.: «По времени же не мале приехал князь Костяньтин Дмитриевич в монастырь» (там же, 121; ср. то же предложение с незначительными разночтениями там же, 92). Среди предикаций с VS имеются также три, реализующие конклюдентную, и две, которые ставят в фокус событие в целом, ср.: «Аже их идут тридесят человек в доспесех со оружии и с сулицами» (там же, 117). В одном случае субъектом является *весть*, еще в одном случае мотивация порядка VS неочевидна. Среди предикаций с SV наиболее многочисленной (13 примеров) является группа, где субъект принадлежит одновременно матричной и причастной предикации; разрастание этой группы говорит о стилистических пристрастиях составителя второй редакции. В 4 случаях субъект рассматриваемой предикации противопоставляется субъекту предшествующей, в 3 случаях субъект выдвигается в препозицию с помощью частицы *же* и, наконец, в 7 случаях порядок SV представляется немотивированным. В целом, несмотря на изменение пропорций, параметры второй редакции лишь незначительно отличаются от первоначального варианта.

Тучковская редакция, несмотря на значительный объем, не слишком интенсивно пользуется глаголами движения. В ней 31 предикация с этими глаголами, из них 17 предикаций (55%) с порядком SV и 14 предикаций (45%) с порядком VS. VS-предикации с интродуктивной функцией хорошо представлены и в этой редакции (их 10); они по большей части унаследованы из предшествующих вариантов, хотя по другим параметрам употребление глаголов движения существенно обновляется<sup>326</sup>. В остальных группах VS-предикаций по одному примеру; любопытно отметить одну пару предикаций, построенную по принципу параллелизма: «И прииде архиепископ с всем священным собором, и всенародное множество течаху» (там же, 159). Из предикаций с порядком SV в 10 выдвигание в препозицию субъекта маркировано частицей *же*, ср.: «Еуфимий же ко граду Смоленску отходит» (там же, 152); в первоначальном варианте здесь: «И ездил владыка въ Смоленско» (там же, 96). Остальные предикации распадаются на вполне обычные группы, содержащие, однако, лишь по одному примеру; в частности, лишь в одном случае для порядка SV не видно никакой мотивации, ср.: «В та же времена преосвященный архиепископ Иван к господу отиде» (там же, 150).

Общее впечатление от Тучковской редакции состоит в том, что ее составитель стремится ввести употребление глаголов движения в более традиционное русло, находя, видимо, употребление первоначальной редакции излишне инновативным. Так, он избавляется от большинства предикаций с немотивированным порядком SV. Ряд черт первоначальной редакции, однако же, удерживается, прежде всего интенсивное использование порядка

<sup>326</sup> Впрочем, в одном случае Тучков изменяет порядок VS на SV в предикации с интродуктивной функцией, ср.: «По съвршени же божественныя службы игумен Феодосий изыде к брегу реки» (там же, 147); в первоначальной редакции: «И по мале по том времени вышел Феодосей игумен и старец ис церкви от обедни» (там же, 90).

VS в интродуктивной функции. Интерпретируя соотношение вариантов Жития, можно заметить следующее. Первоначальная редакция свидетельствует о некоторой экспансии порядка SV, хотя и существенно менее выраженной, чем в случае глаголов речи. Можно полагать, что эта экспансия оказывается относительно приемлемой для книжного языка, во всяком случае во второй редакции эта инновация удерживается, а в Тучковской подвергается своего рода канализации, переработке в предикации, подпадающие под традиционные рубрики, благоприятствующие порядку SV. Сопоставление с современным языком побуждает думать, что стимул этой экспансии идет из живого языка, однако в письменный язык он транслируется непрямым образом. Это, видимо, зависит и от прагматики глаголов разного типа (связанной с их семантикой), и от индивидуальных представлений о характере книжного узуса (скажем, для одних авторов этот узус в большей степени связан с причастными конструкциями и обусловленным ими выдвиганием субъекта в препозицию, а для других это выдвигание скорее соотносится со сменой субъекта, маркированной частицей *же*). Кажется вполне правдоподобным, что порядок SV и в живом языке завоевывает позиции по-разному в зависимости от типов высказывания (функциональных и семантических). Вместе с тем нет оснований думать, что употребление предикаций с порядком VS является только данью книжной традиции. Кажется вероятным, что по крайней мере в интродуктивной функции порядок VS сохраняет позиции и в живом языке, и что их интенсивное употребление в первоначальной редакции Жития связано и с этим фактом. И здесь опять же прослеживаются определенные связи с современным разговорным языком.

Сохранение связи предикаций с VS с устной традицией отражается, как кажется, и в таком новгородском памятнике начала XVII в., как Вторая Новгородская летопись. Как несколько раз указывалось выше, эта летопись отличается изобилием не книжных элементов как на синтаксическом, так и на морфологическом уровне (а отчасти также и в лексике) (см. §§ V-1, V-2, IV-3.3). Конечно, она находится в определенной зависимости от Первой Новгородской летописи, наследуя, в частности, определенный идущий из этой летописи текстовый материал, однако вряд ли одним влиянием этой архаичной новгородской традиции могут быть объяснены все особенности употребления в ней глаголов движения. Картина в этой летописи вполне выразительна. Рассматриваемые нами глаголы движения встречаются в этом тексте 66 раз; порядок SV наблюдается в 12 предикациях (18%), а порядок VS – в 54 предикациях (82%); диспропорция здесь оказывается еще более сильной, чем в Новгородской первой летописи.

Основную группу предикаций составляют предикации с порядком VS в интродуктивной функции (их 48), они представлены во всех слоях данной летописи, см. несколько примеров: «В лѣта 7045-го. Поиде князь Андрѣи Ивановичъ с Москвы ратью к Великому Новугороду и стоял на Марьины ряду во Тухолехъ» (л. 5; ПСРЛ, XXX, 148 – 1537 г.); «И поиде владыко съ архимандриты и священицы, мужи и жены провожати с Никитины улици из церкви иконы святыя богородици Знамения на Ильину улицу» (л. 45об.; там же, 162 – 1571 г.); «И прииде к Новугороду архиепископъ Акимъ и требища разори и Перуна посѣче и повелѣ wreци в Волховъ» (л. 70; там же, 169 –

989 г.). Остальные группы немногочисленны. С порядком VS встречаются еще две предикации в завершительной функции, ср.: «Се же бысть по четыре лѣта, и придоша Нѣмцы к Новугороду з житомъ и с мукою» (л. 63; там же, 167 – 1230 г.); а также 4 предикации, в которых в фокусе оказывается событие в целом, ср.: «В лѣто 6915. Бысть знамение на похристие, иде кровь от иконы святыхъ» (л. 80; там же, 173 – 1407 г.). Предикации с SV распределяются по следующим классам. В трех примерах мы находим выдвинутый в препозицию субъект, отмеченный частицей *же*, в двух примерах субъект представлен местоимением *сам*, в одном примере находим оппозицию субъекта субъекту предшествующей предикации, маркированную союзом *а*. В еще одной группе, состоящей из трех примеров, находятся предикации, выполняющие интродуктивную функцию, ср.: «В лѣто 6815. Того же лѣта на зиму архиепископъ Новгородский Феоктис выиде изо владычна двора по своей воли своего дилиа нездравиа» (л. 138; там же, 191 – 1307 г.). В трех случаях порядок SV не имеет очевидной мотивации, ср.: «Того же году опять Арсени сѣде во двор владычни, и сослаша его Новгородцы бѣючи съ владычна двора, мало его до смерти не убиша, и он соиде на Хутыню» (л. 158; там же, 197 – 1225 г.). Половина предикаций с SV, таким образом, остается вне обычных мотивационных групп; впрочем, этих примеров слишком мало, чтобы говорить об экспансии порядка SV.

В заключение рассмотрим еще два поздних памятника XVII в. – Летописец 1619–1691 гг. и Житие протопопа Аввакума. В Летописце материал невелик, всего 32 рассматриваемых нами предикации, 18 из них с порядком SV (56%), 14 – с порядком VS (44%). Рубрики, по которым распределяются эти предикации, достаточно обычны. При порядке SV в 10 случаях новый субъект выдвигается в препозицию, и это отмечено частицей *же*; в трех случаях субъект специфичен (*кто, некто*)<sup>327</sup>. В двух случаях предикация содержится в придаточном изъяснительном, сдвигающем фокус на субъект, ср.: «а своего совету, каков их стрелецкой и салдацкой вымысл идет, никому же не поведающе, токмо знают сами между собою» (л. 705об.; ПСРЛ, XXXI, 189; *каков* согласуется с *вымысл* и выделяет его). В трех случаях мотивация для порядка SV не просматривается, ср.: «И того ради нестроения великие гусудари из села Коломенскаго отѣидоша во обитель живоначальная Троицы в Сергиев монастырь странным путем чрез село Хорошово и Тушино, и Тонинское» (л. 728об.; там же, 201). Предикации с VS структурированы еще более четко. В 10 случаях они выполняют интродуктивную функцию, ср.: «В то же время сниде к ним от великих гусударей с Красного крыльца к площади боярин Петр Михайлович Салтыков и вопросы их» (л. 713; там же, 193); в двух случаях они выступают как конклюдия, ср.: «И поидоша гусудари с крыльца Красного за преграду во свои царския полаты» (л. 715; там же, 194);

<sup>327</sup> См.: «На площади же над мертвыми телесы, кто ни прииде, ругашеся и не умилися никто» (л. 717об.; ПСРЛ, XXXI, 195). Интереснее другой пример: «и учал им, стрелцом, говорить: чего ради они к царскому дому невежди сарынью приидоша?» (л. 715; там же, 194); здесь субъект – личное местоимение 3 л. *они* располагает приложением *невежди*, которое обеспечивает выделение этого местоимения и выдвигает его в препозицию к глаголу.

в одном случае субъектом предикации является *весь*, еще в одном случае – *время* (предикации типа *прииде время* – л. 709об.; там же, 191 – часто, хотя и не всегда выступают как целостность и поэтому благоприятствуют порядку VS). Можно было бы сказать, что Летописец 1619–1691 г. реализует вполне устоявшуюся письменную традицию, в которой в глаголах движения широко используется порядок SV, а порядку VS отведены отдельные ясно очерченные функции.

Житие протопопа Аввакума существенно отличается по своим риторическим задачам и риторическим стратегиям не только от летописей, но и от традиционной агиографии. Своеобразно в нем и использование глаголов движения. Всего мы находим в нем 61 предикацию рассматриваемого нами типа, из них 49 предикаций с порядком SV (80%), а 12 – с порядком VS (20%). Столь ярко выраженную диспропорцию мы встречали лишь в ПВЛ и Суздальской летописи, которые, понятно, не входят в число лингвистических ориентиров Аввакума. Несмотря на сходство в статистических данных, параметры употребления глаголов движения мало походят на летописные.

Остановлюсь сначала на предикациях с порядком SV. Поскольку текст представляет собой *Ich-Erzählung*, в нем довольно много предикаций с субъектом – местоимением 1 лица; субъект в таких случаях почти всегда стоит в препозиции; с глаголами движения таких предикаций 13, ср.: «Я к нему на двор пришел, и онъ пал предо мною» (Пустозерский сборник 1975, л. 44об.); «Аз же от нея отшелъ за стол, бояся искусу дьявол(ь)скова, и сѣлъ на лавке» (там же, л. 95об.); еще в двух случаях выделяющим субъект местоимением является *весь*, ср.: «40 дощеников – всѣ в ворота прошли без вреда» (там же, л. 49об.). В 5 случаях выдвинутый в препозицию субъект отмечен частицей *же*, ср.: «Иван же Струна собрався с людьми во ин д(е)нь, прииде ко мнѣ во ц(е)рк(о)вь» (там же, л. 28). В 5 случаях субъект рассматриваемой предикации противопоставляется субъекту предшествующей предикации, что может быть выражено противительным союзом *а*, а может быть лишено формального выражения, ср.: «Аз же покропилъ водою окошко – и бѣсъ сошелъ в жерновый угол. Аз же и там покропилъ водою – бѣсъ же оттоля пошел на печ(ь)» (там же, л. 80–80об.). В одном случае фокусирование субъекта осуществляется частицей *бо*, еще в одном случае этому служит развернутость именной группы субъекта: «Доброй ч(е)л(о)вѣк, дворянин, другъ, Иваном зовуть, Богдановичъ Камынинъ, въкладчикъ в м(о)н(а)ст(ы)рѣ, и ко мнѣ зашелъ да на келаря покричал» (там же, л. 65). В двух случаях порядок SV вторгается на территорию VS и употребляется с интродуктивной функцией, ср.: «Посем указ пришел: велено меня ис Тобольска на Лѣну вести за сие, что браню от писания и укаряю Никона, еретика» (там же, л. 30). Основная специфика Жития, однако, не в этих группах, а в многочисленности предикаций, в которых порядок SV представляется немотивированным; таких предикаций 20, и они разнообразны по своей структуре, ср.: «Г(о)с(у)д(а)рь сошел с мѣста и, приступя к патриарху, упросил у него, и не стригше отвели в приказ Сибирской» (там же, л. 27об.); «Перемѣна ему пришла, и мнѣ грамота пришла: велено ехат(ь) на Рус(ь)» (там же, л. 52). Такое изобилие предикаций с немотивированным порядком SV служит важным свидетельством экспансии этого порядка.



Предикации с порядком VS в Житии немногочисленны. 6 из них выполняют интродуктивную функцию, ср.: «А егда еще былъ в попѣхъ, прииде ко мнѣ исповѣдаться д(ѣ)в(и)ца, многими грѣхми обременена» (там же, л. 14об.)<sup>328</sup>. Две предикации с VS выступают как конклюдзии, ср.: «Аз, послѣ их возставъ, моля б(о)га со слезами, обѣщалься жжечь просвиру-ту, и прииде на мя бл(а)г(о)дат(ь) д(у)ха с(вя)таго, яко искры во очию моею блещахуся огня невещественнаго» (там же, л. 99об.). Еще в 4 случаях для порядка VS мотивации не видно, ср.: «В ноцъ же ту против вторника пришел ко мнѣ с Тимофѣемъ, келейником своим, он, келар(ь)» (там же, л. 65об.). Обобщая данные Жития, можно сказать, что оно показывает новый письменный узус, отходящий от традиционных моделей, основанный на экспансии порядка SV и сохраняющий порядок VS в прочно закрепленных за ним функциях. Конечно, эти тенденции осуществляются в Житии не с полной последовательностью (см., например, четыре случая немотивированного порядка VS), однако в данной сфере трудно было бы ожидать еще более четких результатов от такого непедантичного автора, как Аввакум.

**5. 2. 3. Некнижные тексты.** Остановлюсь еще вкратце на некнижных текстах. Если глаголы речи в деловых и бытовых документах представлены редкими единичными примерами, не позволяющими сделать никаких выводов (и в силу этого нами не анализировавшимися), глаголы движения в определенном количестве в них появляются. И здесь, впрочем, материал ограничен, причем не только количественной недостаточностью выборки, но и тем, что много раз повторяются одни и те же клише. Берестяные документы, в принципе, богаче и разнообразнее по содержанию, чем деловые грамоты, реализующие небольшой набор формуляров, однако материал очень мал, а функции предикации не всегда могут быть установлены с достоверностью.

Первый вывод, который можно сделать из наличного материала, состоит в том, что та вариативность, которую мы наблюдали в книжных текстах, присуща и текстам некнижным: в одних и тех же условиях в одном и том же коммуникативном контексте без всякой видимой содержательной или прагматической разницы употребляются предикации с разным порядком слов, ср. в условных предложениях: «**оже князь поне присѣли ивана хроушъкин[иц]-(ше)мъ и врьнѣ и шит[ъ]**» (№ 332 – Зализняк 2004а, 431); «**оже поне князе а помни коне оу ѿѣдора**» (№ 404 – там же, 472); с субъектом-местоимением 1 лица: «**а мы шьли ш[ъ]ли же**» (№ 837 – там же, 341); «**шьли мы на мѣлевъ**» (№ 885 – там же, 316); последняя пара примеров, возможно, не показательна: во втором примере реализуется интродуктивная функция, а первый пример извлечен из фрагмента, так что функция предикации не ясна.

Второй стоящий замечания момент заключается в том, что ряд мотивационных рубрик, которые мы установили в книжных текстах, находит соот-

<sup>328</sup> Любопытно, что в одном случае интродуктивная функция обуславливает порядок VS даже при том, что субъектом является местоимение 1 лица, ср.: «По нѣкоем времени пришел я от Федора Ртищева зѣло печаленъ, понеже съ еретиками бранился и шумѣлъ в дому ево, о вѣре и о законѣ» (Пустозерский сборник 1975, л. 90об.). Ситуация здесь вполне сходна с современным разговорным нарративом.

ветствие и в текстах некнижных. Так, например, противоположение субъектов двух следующих друг за другом предикаций обуславливает препозицию субъекта во второй из них, и этот контраст нередко маркируется союзом *а*; такой пример находим в грамоте № 165: «гюрег[и ти д]ошълѣ сто(ров)ѣ а поутила пришьлѣ» (там же, 378). Так же, как в книжных текстах, субъект, являющийся относительным местоимением *кто*, регулярно оказывается в препозиции, ср.: «кетъ ти бъръже поидеть въ гъръдъ к(ъ) тѣмоу же пристави кѣне» (№ 891 – там же, 314); «кто придесть з веростомъ» (№ 40 – там же, 685). Относительно неплохо документированной оказывается и интродуктивная функция порядка VS, ср.: «пошьлѣ петръ къ тебе поемъ конь и мѣтьлѣ лазар(ѣ)въ» (Торжок № 10 – там же, 452); «пришьлѣ искоупникъ ис полоцька а рать поведае великоу» (№ 636 – там же, 482); «по томъ пришли смерди ѿ андрѣа мѣжь приали» (№ 724 – там же, 350; начало нового эпизода в относительно пространным нарративе). Это побуждает думать, что широкое употребление порядка VS в данной функции в ряде новгородских памятников (прежде всего в Первой Новгородской летописи) имеет основание (или, по крайней мере, соответствие) в живом языке.

Анализ новгородской деловой письменности (пергаменных грамот – корпус ГВНП) в целом лишь подтверждает сказанное выше на основании берестяных грамот. В данном корпусе встречается всего 50 предикаций с глаголами движения, из них 25 предикаций с порядком SV и 25 предикаций с порядком VS. Как и в берестяных грамотах, имеются случаи, бесспорно свидетельствующие о возможности свободной вариативности порядка слов, причем эта вариативность может затрагивать и устойчивые формулы. Один такой пример уже приводился выше (см. § V-5 – Валк 1949, № 263, с. 269, № 282, с. 283), к нему могут быть приобщены и другие, ср.: «А ободъ тои земли от усть Хмелева ручья, от Быковой рѣки по Хмелевому ручію вверхъ по пути, что путь идетъ от монастыря в Каковичи, что черезъ Хмелевой ручьи идетъ путь, ино от того пути черезъ наволоки дрянъ тысяча сажень до границь, что Ондрѣи граници проложилъ» (Валк 1949, № 255, с. 264–265 – *путь идетъ ~ идетъ путь*); «А коли приде ваше слово ко мнѣ, и язъ ваше слово прииму» (там же, № 57, с. 95); «А ваше слово к намъ придесть, и мы противъ вамъ ради издружити и отпряти» (там же, № 65, с. 108).

Ряд рубрик, мотивирующих тот или иной порядок слов и известных нам по книжной письменности, находит соответствие и в деловых документах. Так, при контрасте субъектов двух соседствующих предикаций, второй субъект помещается в препозицию, ср.: «кто купецъ, поидеть в свое сто; а смѣрдъ поидеть в свои погостъ» (там же, № 9, с. 20; эта же формула, порою с вариациями: № 10, с. 22; № 14, с. 28; № 77, с. 132). Находится даже один пример, когда субъект, принадлежа матричной и причастной предикации, выносится в препозицию, ср.: «Было то такъ: какъ брата его убивъ, слуга тую жь ночь жбегле, ино осталось у него...» (там же, № 336, с. 323). Несколько примеров свидетельствуют о том, что порядок VS используется прежде всего в интродуктивной функции, ср.: «Се приеха Иванъ Бѣлый изъ Любка, Адамъ съ Гочкого берега» (там же, № 34, с. 63; ср. с различными вариациями: № 38, с. 67; № 46, с. 81; № 60, с. 99; № 70, с. 115; № 72, с. 118; № 77, с. 130); «А приехали к намъ со Пѣскова Ларыонъ Селвестровъ, сынъ посад-

ничъ, Стеѡанъ Арыстовичъ, а Лука Михайловичъ, да били намъ челомъ» (там же, № 335, с. 321); «Съ Онига озира отъ двухъ Лощевъ острововъ поидеть мѣжа водою» (там же, № 285, с. 286 [bis], 287 [bis], 288).

Одна конструкция, требующая препозиции субъекта, почти не представлена в книжных текстах, но образует отдельную рубрику в текстах деловых. Имею в виду относительные предложения, стоящие перед главным, с местоимениями *кто* и *который* (всего 10 примеров), ср.: «из Московской землі изъ великого княженіа хто приѣдетъ лиходѣи великихъ князеи в Великіи Новгородъ, и Новугороду ихъ не приимати» (там же, № 23, с. 43; см. также с различными вариациями: № 26, с. 46 [bis]; № 50, с. 89; № 70, с. 115[bis]); «А хто крестьянинъ Терпилова погоста в Двинскую слободу воидеть, ино ему мирянину тянути в Двинскую слободу» (там же, № 89, с. 146); «А хто приѣдетъ на тыи острова на ловлю или на добытокъ. на сало или на кожу, ино всимъ тымъ давати в домъ святаго Спаса» (там же, № 96, с. 153); «А кто выиде отчинникъ тои земли, и онъ дастъ три рубли» (там же, № 298, с. 296). Существенно также, что в корпусе ГВНП имеется 5 предикаций с SV, в которых этот порядок кажется немотивированным: «А коли архимандрить приѣде на подѣздъ, стояти ему на стану двѣ ночи» (там же, № 115, с. 184). Эта группа может свидетельствовать о том, что экспансия порядка SV не чужда и некнижному языку, и в силу этого нельзя исключить, что именно в нем в качестве инновации развивается это явление.

**5. 2. 4. Некоторые предварительные выводы.** Таким образом, мы прочертили, хотя бы и предварительным образом, основные линии развития порядка слов в предикациях с глаголами движения. Полученные нами данные могут быть суммированы в следующей таблице (см. стр. 587).

Разобранные материалы недостаточны для восстановления скольконибудь полной и детальной картины того, как эволюционировал порядок слов в предикациях с *verba movendi*. Тем не менее можно попробовать сформулировать некоторые предварительные общие соображения. Позиции порядка SV в предикациях с глаголами движения с самого начала оказываются достаточно сильными, так что, как это ясно видно из ПВЛ, предикации с порядком VS никак нельзя считать в данном случае немаркированными. Вместе с тем, как показывает Первая Новгородская летопись, и порядку SV также нельзя приписать этот статус. Оба порядка имеют собственные и самостоятельные позиции, и их статистическое соотношение зависит, в принципе, не от склонности пишущего к одному или другому типу, а от того, как строится текст, насколько мелко он фрагментирован (чем мельче фрагментация, тем больше возможностей для предикаций с интродуктивной функцией, как правило, предполагающей порядок VS), насколько длинные цепочки предикаций составляют эпизод в его единстве (чем длиннее цепочка, тем скорее будут появляться референции к агентам в предшествующих предикациях, отмеченные частицей *же*, равно как и препозитивные причастные конструкции – и то, и другое обуславливает препозицию субъекта). В ранней восточнославянской письменности реализуются разные варианты из этого репертуара.

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ

Тексты	SV						VS						
	же	другие выдел.	мест. субъект	прича- стие	интро- дукция	прочее	Всего	интро- дукция	кон- клюдия	целост- ность	изъясн.	прочее	Всего
ПВЛ	81	26	20	13	7	17	164	9	—	—	7	17	33
Новг. Первая	29	11	10	7	4	18	79	188	15	7	—	33	243
Житие Феодосия	10	3	2	15	—	4	34	13	3	—	—	3	19
Сузд. летопись	70	30	32	14	14	17	177	2	—	7	13	6	28
Сузд. лет. по Акад. списку	13	5	9	6	17	2	52	3	—	2	—	1	6
Житие Сергия	8	2	10	3	7	4	34	13	—	4	—	8	25
Моск. лет. свод 1	8	8	2	10	21	9	58	31	6	4	—	9	50
Моск. лет. свод 2	5	10	3	2	10	4	34	49	4	4	—	5	62
Михаил Клопский I	—	1	—	5	—	5	11	14	3	—	1	—	18
Михаил Клопский II	3	4	—	13	—	8	28	13	3	3	—	1	20
Михаил Клопский Тучков	10	1	1	1	—	4	17	10	1	1	1	1	14
Новг. Вторая	3	1	2	—	3	3	12	48	2	4	—	—	54
Авакум	5	5	15	—	2	22	49	6	2	—	—	4	12
Летописец 1619–1691	10	2	3	—	—	3	18	10	2	2	—	—	14

Данная система, которую можно рассматривать как исходную, достаточно рано подвергается преобразованиям. Эти преобразования весьма заметны уже в Суздальской летописи, и в особенности в той ее части, которая представлена в Академическом списке; они состоят в экспансии порядка SV, который теснит порядок VS в присущих ему функциях (прежде всего в интродуктивной). Нельзя сказать, что это развитие оказывается воспринятым всей оригинальной книжной письменностью, порядок VS в предикациях с интродуктивной функцией сохраняет свои доминирующие позиции в большинстве обследованных памятников, однако те или иные феномены экспансии порядка SV отмечаются практически повсеместно. По большей части они состоят в увеличении пропорции предикаций с порядком SV, в которых для этого порядка не просматривается никакой мотивации. Данное явление в разной мере свойственно разным обследованным текстам, что, видимо, связано со степенью их ориентации на предшествующую традицию (это заметно, например, при сопоставлении ориентированной на традицию Тучковской редакции Жития Михаила Клопского с предшествующими редакциями: Тучков стремится избавиться от предикаций с немотивированным порядком SV). Развитие этого явления достигает своей высшей точки (среди обследованных нами текстов) в Житии протопопа Аввакума, в котором предикации с немотивированным порядком SV составляют треть всех предикаций с глаголами движения. Вместе с тем и в Житии Аввакума, и во многих предшествующих текстах, включая разные редакции Жития Михаила Клопского, Вторую Новгородскую летопись и Летописец 1619–1691 гг., порядок VS в интродуктивной функции и в конклюдиях представлен достаточно хорошо. Трудно отделаться от мысли, что это то самое развитие, которое ведет к ситуации в современном русском языке, где порядок SV безусловно доминирует, однако неформальный рассказ вполне – никак не нарушая нормы – может начинаться с предложения типа «Пришел Петя в гости к Ивановым», а завершаться фразой «И пошел Петя домой»<sup>329</sup>.

**5. 3. Переходные глаголы.** У переходных глаголов особые прагматические свойства, отличающие их и от глаголов речи, и от глаголов движения. Трудно сказать, впрочем, насколько переходные глаголы образуют единую в прагматическом отношении группу. Их дискурсивные свойства могут различаться в зависимости от того, насколько легко они употребляются без эксплицитного объекта, равно как и от характера типичного объекта (например, личного или неличного) и т. д. Вряд ли целесообразно поэтому анализировать переходные глаголы как единый класс. Вместе с тем разделение

<sup>329</sup> Особый вопрос о том, насколько в современном русском литературном языке доминирование порядка SV в предикациях с *verba movendi* связано с влиянием западноевропейских образцов и насколько в этой связи изменяются стилистические коннотации порядка VS (в частности, его ассоциированность со сферой неформальной разговорной речи), мы сейчас разбирать не будем. Предыстория современной ситуации включает, несомненно, не только влияние западных языков и калькирование их синтаксических построений в сформировавшем русский литературный язык XVIII в., но и внутреннее развитие русского языка в предшествовавшие эпохи, вступавшее в сложный синтез с его «европеизирующей» обработкой (см. об этом ниже, § X-5; см. также: Живов 1997).

этого класса на различные подгруппы (например, глаголов восприятия, физического воздействия и т. д.), в принципе, видимо, желательное, создает существенные сложности для статистического анализа материала: в каждом отдельном подклассе оказывается слишком мало примеров для каких-либо заключений. Можно придумать разные способы решения этой проблемы, но все они предполагают куда более детальное исследование материала, чем это уместно в настоящем общем очерке. В силу этого мы рассмотрим лишь один небольшой подкласс переходных глаголов, а именно глаголы с корнем *сла-* (*послати, прислати, заслати* и т. д.). Эта группа глаголов обладает для нас рядом достоинств; прежде всего, по крайней мере в летописных текстах, они встречаются достаточно часто, так что возможно их статистическое исследование. Достоинствам, как всегда, сопутствуют недостатки. Действие посылания или присылания характерно отнюдь не для всех нарративных сюжетов: в летописях что-то подобное случается постоянно, в житиях, особенно в житиях монахов, неисходно пребывающих в своем скиту, никто никого никуда не посылает и соответствующий лингвистический материал отсутствует. При всех этих оговорках предполагаемое исследование может сообщить хотя бы предварительные данные для суждения о порядке слов в предикациях с переходными глаголами и о происходящих в этой сфере процессах.

Дж. МакАннален, исследуя Хожение игумена Даниила, отмечает, что переходные глаголы чаще употребляются с порядком SVO, чем с VSO. Она объясняет это тем, что «transitive verbs are focused on individual entities and SV order is used to individualize the subject. For verbs such as *исцелити, дати, и умыти* it is clear why SVO is preferred – the goal of the sentence is to state that an act was performed by a specified entity and not to introduce or give background information» (МакАннален 2009, 217). В качестве одного из примеров МакАннален приводит «и в той храминѣ Христос умы ноги учеником». Эти примеры противопоставляются предикациям с порядком VSO; последние, согласно автору, употребляются с тем, чтобы сделать «the situation or scene primary instead of the individuated actor <..> The broader scene is most often connected through a locus, thus the VSO examples above occur repeatedly with the prepositional phrase *и на том мѣстѣ*. Here the VSO order foregrounds the preceding prepositional phrase and the scene is referenced by downgrading the subject» (там же, 218). В качестве одного из примеров приводится: «и на том мѣстѣ уби Давыд Голиада». Не видно, однако же, никакого ясного резона – кроме порядка слов, – почему Давид низведен на второстепенное место как своего рода атрибут локуса, а Христос индивидуализирован, а не подчинен «храмине». При всей привлекательности предложенной интерпретации, она все же образует порочный круг: интерпретация зависит от порядка слов, а выводы о функциях порядка слов делаются на основе этой интерпретации. В самом общем виде речь идет, надо думать, о том, что переходные глаголы чаще всего обозначают активные действия, которые более пригодны для характеристики совершающего их лица, нежели для характеристики деперсонализованной ситуации. Это, однако, чрезвычайно общее утверждение, отнюдь не всегда приложимое к конкретному текстовому материалу, поскольку и активные действия могут браться в деперсонализованном ракур-

се, и непереходные глаголы, обозначающие состояние, могут использоваться для индивидуализации персонажа. Если такого рода факторы влияют на частоту разных типов порядка слов, влияние это не прямое и осложненное различными дополнительными факторами.

Обращаясь к текстам, мы обнаруживаем действие тех же частных факторов, которые мы анализировали, занимаясь глаголами речи и движения. Их конфигурация несколько отлична, и картина осложняется тем, что предикации распадаются не на два класса, а – по крайней мере в принципе – на восемь: SV (когда переходный глагол употребляется без прямого объекта), SVO, SOV; VS, VSO, VOS; OSV, OVS. Ни в одном из обследованных нами текстов, впрочем, не реализуются все эти восемь возможностей.

**5. 3. 1. Древнейший период.** Обращусь к ПВЛ. Всего в выборке предикаций с производными от глагола *слати* 72 примера. Эти примеры распределены следующим образом: SV – 18; SVO – 15; VS – 16; VSO – 17; VOS – 5; OSV – 1; примеры с препозицией субъекта составляют 46% от всей выборки, примеры с постпозицией субъекта – 54%. Можно сразу сказать, что то построение, которое предлагалось для Хожения игумена Даниила, в данном случае не проходит: переходные глаголы сами по себе препозиции субъекта не благоприятствуют. Разбирая пример за примером, обнаруживаем картину, во многом сходную с той, которую мы наблюдали, занимаясь непереходными глаголами. Те же факторы способствуют выдвиганию субъекта в препозицию, и те же факторы благоприятствуют препозиции глагола.

Из 18 контекстов с SV половина (т. е. 9) содержат новый субъект, отмеченный частицей *же*, ср.: «В си<sup>ж</sup> времена прииде Семишнъ пленна Фракию. Греки<sup>ж</sup> послаша по Печенѣги» (л. 20; ПСРЛ, I, стб. 42); «Сѣополкъ же и Володимеръ. посласта къ Шльгови. веластва юму поити на Половци с собою» (л. 76; там же, стб. 228). В 5 примерах препозиция субъекта обусловлена тем, что он одновременно принадлежит матричной и причастной предикациям: «и заоутра Волга сѣдаши в теремѣ. посла по гости. и придоша к нимъ» (л. 15об.; там же, стб. 56). В одном случае субъект является местоимением 2 лица: «ѡвѣща юму Володимеръ ты юси прислалъ к на<sup>м</sup> хочю братья прити к ва<sup>м</sup>. и пожаловатиса своєю шбиды» (л. 92; там же, стб. 273). Три случая представляют особый интерес; в них порядок SV совмещается с интродуктивной функцией, в рассматриваемом корпусе предикаций закрепленной по преимуществу за порядками VS и VSO, ср.: «В лѣ<sup>тѣ</sup> .ѣ. и .ѣд. Сѣополкъ и Володѣмеръ посла [в др. сп. посласта] къ Шлгови глѣща сиче. поиду Къиѣву да порады положимъ ш Русьстѣи земли» (там же, стб. 229). Знакомые рубрики описывают и предикации с SVO. В 5 случаях «новый» субъект маркирован частицей *же*, ср.: «Сѣополкъ же посла и к Володимеру. и пришедшю юму. нача впрашати юго Володимеръ» (л. 94; там же, стб. 279). В 4 случаях субъект принадлежит матричной и причастной предикациям, ср.: «оувѣдѣвше [в др. сп. увидѣвъ] же се шканъныи Сѣополкъ ѡко еще дышетъ. посла два Варага прикончатъ юго» (л. 46; там же, стб. 134). В 4 случаях субъект рассматриваемой предикации противопоставляется субъекту предшествующей предикации, ср.: «поидоша Половци. и послаша пре<sup>а</sup> собою [в] сторожѣ. Алтунопу. иже словаше в ни<sup>х</sup> мужство<sup>м</sup>. такоже Рускиѣ князи. послаша сто-





мение, присоединяемое к первому полноударному слову, т. е. к глаголу; в 4 из 5 случаев предикации с VOS имеют интродуктивную функцию, ср.: «Иде Володимеръ на Радимичи. бѣ оу него воевода Волъчии Хвостъ. и посла [и] Володимеръ передъ собою Волъчъа Хвоста» (л. 27; там же, стб. 83); «В лѣ<sup>т</sup> ѿ<sup>ѣ</sup>ѣ. Посла моу<sup>жи</sup> свои Шлегъ. построити мира. и положити ра<sup>а</sup> межю Роу<sup>а</sup> и Греky» (л. 16; там же, стб. 32; почему *моужи свои* помещаются перед субъектом, неясно)<sup>332</sup>. Итак, в ПВЛ порядок слов (препозиция или постпозиция субъекта) в предикациях с переходными глаголами определяется теми же факторами, что и в случае непереходных глаголов (*verba dicendi et movendi*); предикации, в которых незаметно никакой мотивации для препозиции или постпозиции субъекта, составляют весьма незначительное множество: от силы одна предикация для препозиции субъекта и как максимум пять предикаций для постпозиции субъекта; можно сказать, что картина здесь даже более четкая, чем в случае обследованных нами непереходных глаголов.

Если в случае глаголов речи и глаголов движения ПВЛ и Первая Новгородская летопись дают кардинально несхожие картины (см. выше), то в анализируемой выборке предикаций с производными от *слати* наблюдается существенное сходство. И здесь препозиция и постпозиция субъекта представлены не слишком отличающимся числом примеров, и здесь обнаруживаются сходные рубрики, мотивирующие разные порядки слов. Распределение примеров по рубрикам статистически выглядит так: SV – 13; SVO – 23; SOV – 2; VS – 17; VSO – 21; VOS – 3; таким образом, имеется 38 предикаций с препозицией субъекта (48%) и 41 предикация с постпозицией субъекта (52%).

Среди предикаций с порядком SV в пяти выдвигание субъекта в препозицию отмечено частицей *же*, ср.: «Новгородци же послаша къ Ярославу по князя, и дасть имъ сына своего Андрѣя» (л. 128; НПЛ, 78). В двух предикациях субъект находится в оппозиции с субъектом предшествующей предикации, ср.: «Онъ же услышавъ, оже идуть на нь, иде Торопцю, а новгородъци послаша въ Русь къ Мъстиславу по сынъ» (л. 34; там же, 32). В двух случаях субъект является местоимением *сам*, ср.: «И съдумавъше новгородъци показаша путь князю Роману, а сами послаша къ Ондрѣви по миръ на всѣи воли своеи» (л. 37; там же, 33). Еще в двух случаях субъект принадлежит одновременно матричной и причастной предикациям, ср.: «И увѣдавъ цесарь, посла искать его; и начаша искати его въ мнозѣхъ мѣстѣхъ» (л. 65; там же, 46). В одном случае предикация, несмотря на препозицию субъекта, выполняет интродуктивную функцию: «Того же лѣта Нѣмци прислаша с

<sup>332</sup> Еще в одном случае препозиция глагола не имеет очевидной мотивации, см. в Поучении Владимира Мономаха: «первое к Ростову идохъ сквозѣ Ватичѣ. посла ма шѣ. а самъ иде Курьску» (л. 81; там же, стб. 247); предикация «посла ма шѣ» служит пояснением к предшествующей, однако из наших материалов не видно, чтобы данная функция благоприятствовала препозиции глагола. Наших материалов недостаточно и для того, чтобы как-то объяснить появление единственной предикации с порядком OSV: «црю же ѿшедшу на Шгараны. [и] дошедшу [в др. сп. дошедшу] ему Черныи рѣки. вѣсть епархъ посла к нему. яко Русь на Црьгородъ идетъ» (л. 70б.; там же, стб. 21); не видно, что изменилось бы, если бы читалось «епархъ посла к нему вѣсть».

поклономъ: “безъ князя что есмы зашли Водъ, Лугу, Пльсковъ, Лотыголу мечемъ, того ся всего отступаемъ”» (л. 129об.–130; там же, 78). Еще в одном случае мотивация порядка SV неясна.

Порядок SVO соотносится с теми же мотивирующими категориями. В 9 примерах выдвижение субъекта в препозицию маркировано частицей *же*, ср.: «Князь же Святослав присла свои тысяцькы на вѣче» (л. 91; там же, 59). В двух случаях субъект рассматриваемой предикации противопоставляется субъекту предшествующей предикации, ср.: «Ходи князь великыи Иванъ Данилович и Костянтинъ Михайлович, а новгородци от себе послаша Федора Колесницу, въ Орду къ цесареви» (л. 165–165об.; там же, 98). В 8 случаях субъект принадлежит матричной и препозитивной причастной предикации, ср.: «и учювъ Гюрги, оже въ мале шли, и посла князя Берладьскаго съ вои» (л. 26–26об.; там же, 28). В трех случаях, однако же, предикации с порядком SVO выполняют интродуктивную функцию, ср.: «Того же лѣта Гюрги князь присла брата своего Святослава новгородчемъ въ помощь» (л. 94; там же, 60), а в одном случае порядок SVO представляется немотивированным. В двух примерах с порядком SOV причины препозиции объекта неясны, в одном случае неясна и мотивация препозиции субъекта, ср.: «Много же князь нудивъ, и не яшася по путь. Тъгда же князь Ярославъ пълкы своя домовъ посла» (л. 105об.; там же, 66). В другом примере препозиция субъекта мотивирована тем, что он «новый» (противопоставленный субъекту предшествующей предикации) и отмечен частицей *же*.

Рассмотрим теперь предикации с постпозицией субъекта. Из 17 предикаций с порядком VS 16 выполняют интродуктивную функцию, ср.: «И послаша новгородѣи къ Святославу въ Русь по сынъ, и приведоша Володимира въ Новъгородъ, и посадиша и на столъ въ 17 августа» (л. 43; там же, 36). И здесь нередко (в 7 случаях) посылание связано с введением прямой речи посланных: «Того же лѣта прислаша внуци Ростислави въ Новъгородъ къ Мъстиславу Мъстиславицю: “се не творить намъ Всеволодъ Святославиць части въ Русьской земли”» (л. 79; там же, 53). В одном случае порядок VS мотивирован фокусом на событии как целостности: «И бысть заутра, высла князь Гюрги съ поклономъ къ княземъ: “не деите мене днесъ, а заутра пойду из города”» (л. 86; там же, 56).

Предикации с порядком VSO распределяются по следующим классам. В 17 случаях предикации выполняют интродуктивную функцию, причем в 4 случаях одновременно вводится прямая речь, ср.: «Тои же осени присла Изяслав ис Кыева сына своего Ярослава, и прияша новгородѣи, а Святопълка выведе злобы его ради и дасть ему Володимиръ» (л. 25об.; там же, 28); «И послаша новгородци къ Гюрьгю на Тържъкъ 2 мужа: “княже, пусти к намъ дѣтя, а самъ поиди съ Тържъку”» (л. 100–100об.; там же, 64). Три примера играют роль конклюдии, ср.: «Того же лѣта сдумавше новгородци с посадникомъ Михаиломъ, призваша князя Дмитрия Александровича ис Переяславля с полкы, а по Ярослава послове послаша; и посла Ярославъ в себе мѣсто Святъслава с полкы» (л. 143об.; там же, с. 85–86). В одном случае мотивация порядка VSO неочевидна. Порядок VOS представлен тремя примерами, все они выполняют интродуктивную функцию, а препозиция объекта связана с тем, что *прислати послы* представляет собой устойчивое сло-

восочетание (см. о фразеологических сочетаниях как факторе, обуславливающим препозицию объекта по отношению к предикату: Пичхадзе и Родионова 2011): «и в Новѣгород прислаша послы Татарове, и даша имъ новгородци 2000 серебра, и свои послы послаша с ними к воеводамъ съ множествомъ даровъ» (л. 165; НПЛ, 98)

У нас нет возможности сопоставить эти данные с материалом агиографической традиции: в житиях просто слишком редко встречаются соответствующие глаголы. Так, в Житии Феодосия мы находим только три предикации с глаголами, производными от *слати*, одну с порядком SOV, одну с порядком OVS и одну с порядком VSO. Порядок SOV мотивирован тем, что субъект принадлежит одновременно матричной и причастной предикациям, ср.: «И се прѣже реченыи ѿнѣ болгаринѣ боу ꙗмоу възложышю на оумѣ. се бо напѣлливѣ три возы брашна хлѣбѣ и сырѣ и рыбѣ. сочиво же и пышено. кше же и медѣ. и то посъла къ блаженому въ монастырь» (Усп. сб., л. 50в). Порядок VSO встречается в предикации, выступающей как конклюдия: «се бо молитвами прѣдѣвныа братиа наша. посъла бѣ милость свою къ намѣ. подаа намѣ вса на потрѣбоу ꙗго же аще хоцѣмѣ» (там же, л. 55аб). Порядок OVS встречается в относительном предложении, в котором объект – относительное местоимение, что и служит для данного порядка мотивацией, ср.: «и се по проречению блаженаго. привезоша .г. возы. пѣлѣны соуше кърѣчагѣ съ винѣмѣ. ихѣ же посъла жена нѣкаѣа» (там же, л. 55в). Какие-либо выводы на столь скудном материале сделать невозможно; любопытно, впрочем, что во всех трех случаях порядок слов оказывается мотивированным.

**5. 3. 2. Данные XIII–XVII веков.** Некоторую динамику можно наблюдать, перейдя от древнейших летописных памятников к Суздальской летописи. Здесь заметен некоторый, хотя и очень небольшой сдвиг в направлении к препозиции субъекта. Более существенны, однако, параметры распределения предикаций по мотивационным группам. Всего в Суздальской летописи (по Лаврентьевскому списку) 109 предикаций. Они распределяются следующим образом: SV – 23 предикации; SVO – 35; SOV – 2; OSV – 1; VS – 5; VSO – 41; VOS – 2. Таким образом, препозиция субъекта имеет место в 61 примере (56%), постпозиция субъекта – в 48 примерах (44%); диспропорция между двумя типами порядка слов сравнительно с ПВЛ слегка увеличивается.

Предикации с порядком SV распределены по группам достаточно обычным образом. В 15 предикациях вынесение вперед субъекта обусловлено тем, что это «новый» субъект, и отмечено частицей *же*, ср.: «Изаслав<sup>б</sup> же посла напередѣ Сѣослава сестричича своего Чернигову вела. имѣ dospѣвати» (л. 105; ПСРЛ, I, стб. 315); «великий<sup>ж</sup> кнѣзь Всеволодѣ. посла моужа свое<sup>а</sup> Михаила Борисовича. и води Шлговичи ко кр<sup>с</sup>тоу» (л. 245; там же, стб. 420). В трех случаях контраст между субъектами рассматриваемой и предшествующей предикаций маркирован союзом *а* или частицей *бо*, ср.: «а князь Сѣославѣ посла по сѣы своѣ. и по всѣ князи. и собрашася к нему г Кыеву» (л. 135об.; там же, стб. 399). В двух случаях субъект представляет собой местоимение, требующее препозиции (личное 1 лица *язѣ* или указательное *сь*), ср.: «и бѣ оу него [оуи его] Добрына. воевода и храборѣ и нараденѣ мужѣ. <sup>и</sup>сь посла к Роговолоду. и проси оу него дщере [его] за Володимера»

(л. 99об.; там же, стб. 299). В одном случае субъект принадлежит матричной и причастной предикациям: «оувѣдѣвъ же бблюбивъи еп<sup>с</sup>пъ Кирилъ. и кнагыни Василкова. послаша по кназа. принесоша и в Ростовъ» (л. 163; там же, стб. 466). Наконец, еще в одном случае предикация с SV выполняет интродуктивную функцию: «Того<sup>ж</sup>. лѣ<sup>т</sup>. блговѣрнии кнази. Василко. и Всеволодъ. и Володимеръ. послаша къ шю своему Гюргю. и къ еп<sup>с</sup>пу Митрофану. по Кирила. игумена и архимандрита. монастыра сѣ<sup>т</sup>и Бѣа Рж<sup>т</sup>ва» (л. 156об.; там же, стб. 453).

Такие же рубрики характеризуют и предикации с SVO. Среди них имеется 12, в которых выдвижение субъекта в препозицию маркировано частицей *же*, ср.: «Глѣбъ же посла брата своего Михалка. и с нимъ Переяславецъ .р. а Берендѣевъ полторы. тысячи» (л. 120об.–121; там же, стб. 359). В трех случаях субъект рассматриваемой предикации противопоставляется субъекту предшествующей предикации (с помощью союза *а* или без нее), ср.: «а Мьстиславъ Романови<sup>ч</sup>. сѣде в Бѣлѣгородѣ. и пото<sup>м</sup> Всеволодъ Чермныи посла в Переяславль къ Юрославу Всеволодичю. река юму поѣди ис Переяславля къ шю своему в Суждалю» (л. 144об.; там же, стб. 427–428). В 9 предикациях субъект входит в матричную и причастную предикации, ср.: «Того<sup>ж</sup>. лѣ<sup>т</sup>. Кна<sup>з</sup> Гюрги. сѣ<sup>т</sup> Всеволожъ. изведъ Симона игумена блженана ѿ Рж<sup>т</sup>ва сѣ<sup>т</sup>и Бѣа. и посла и в Кыевъ к митрополиту. и постави и еп<sup>с</sup>помъ Суждалю. и Володимерю» (л. 149об.; там же, стб. 438). Ничего примечательного в этих рубриках нет. Еще одна рубрика, однако, весьма значима. В классе предикаций с SVO, выполняющих интродуктивную функцию, оказывается целых 11 примеров, и это указывает на определенную экспансию препозиции субъекта, см. примеры: «В лѣ<sup>т</sup> .ш.х.ма. Юрополкъ посла Мстисл<sup>а</sup>вича Изаслава. къ братьи Новугороду. и даша дани Печерьскыѣ. и ѿ Смолинска даръ» (л. 100об.; там же, стб. 302); «В лѣ<sup>т</sup> .ш.ѣ.ки. Георгии великыи кна<sup>з</sup>. сѣ<sup>т</sup> Всеволожъ. посла брата своего Сѣослава. с полкы и воеводами на безбожныа Болгары» (л. 152об.; там же, стб. 444)<sup>333</sup>.

Предикации с препозицией глагола составляют меньшинство и устроены достаточно однообразно. Предикаций с порядком VS всего 5, и все они выполняют интродуктивную функцию, ср.: «Того же лѣ<sup>т</sup>. послаша Влговичи по Половци. и н<sup>а</sup>чаша воевати по Сулѣ» (л. 101об.; там же, стб. 305). Предикаций с порядком VSO 41, и они несколько более разнообразны. 37 из

<sup>333</sup> Порядок OSV встречается в одном вполне специфическом примере – в прямой речи в обращении к собеседникам, которые обозначены местоимением 2 лица, выступающим как объект; видимо, именно 2 лицо выдвигает объект в препозицию, хотя одного примера явно недостаточно для каких-либо выводов, ср.: «рекоша Кыяне молвита с чимъ ва<sup>с</sup>кназь присла<sup>а</sup>» (л. 105об.; там же, стб. 316). Порядок SOV отмечен в двух предикациях, находящихся в одной цепочке. Эта цепочка начинается предикацией с порядком SVO, а затем объект, повторяющийся в трех предикациях (*сынъ*), выдвигается в препозицию к глаголу; в последней предикации это перемещение вперед отмечено частицей *же*, ср.: «Тою же зимы кназь Андрѣи посла сѣа своего Мстислава. съ всюо дружиною на Великыи Новъгородъ. и Романъ Смолинскыи кназь. с брато<sup>м</sup> Мьстиславо<sup>м</sup>. и Разаньскыи кназь сѣа посла. и Муромьскыи сѣа же посла. и пришедше в землю ихъ много зла створиша» (л. 121об.; там же, стб. 361). Это, несомненно, весьма специфический случай, который и мотивирует один из маргинальных порядков слов.

них выполняют интродуктивную функцию, ср.: «суботѣ же свитающе. посла митрополитъ игумена. Ананью ста<sup>ѣ</sup> Февдора. и приѣхавъ игуменъ видѣ и нагого. и шблече и. и ѿпѣ над ни<sup>мъ</sup> шбѣчнѣна пѣсни» (л. 106; там же, стб. 318); «престависа князь Кыевѣскѣи Сѣославъ. и положенъ бы<sup>ѣ</sup> в манастири въ цркви ста<sup>ѣ</sup> Кирила. юже бѣ создалъ шѣъ юго. и посла великѣи князь Всеволодъ мужѣ свои в Кыевъ и посади в Кыевъ Рюрика Ростиславича» (л. 139об.; там же, стб. 412); «В лѣтѣ<sup>ѣ</sup> .с.ѣ.ѣ.б. Посла благовѣрнѣи и х<sup>ѣ</sup>олюбивѣи князь великѣи Всеволодъ Гюргеви<sup>ѣ</sup>. внуку Володимеръ Мономаха. сѣа своего Юрослава. в Переяславль. в Русьскѣи княжить» (л. 141; там же, стб. 416). В двух случаях предикация с VSO выступает как конклюдия, ср.: «В лѣтѣ<sup>ѣ</sup> .с.ѣ.ѣ.з. Бѣжа Юрославецъ Сѣополчичъ. из Володимера в Лахы. и посла Володимеръ сѣъ свои Романа. в Володимеръ княжить» (л. 97; там же, стб. 292). В одном случае в фокусе оказывается событие в его целостности: «Мстиславу же не вѣдуще. и ставшу юму оу Сапогына. а Оугри сташа школо юго. тогды же выслалъ бѣ юму Володимеръ питье много. Оугромъ и юму» (л. 112; там же, стб. 335). В одном случае мотивация порядка VSO неочевидна, предикация стоит в цепочке других предикаций, ср.: «и бѣжа [Сѣославъ] Корачеву. и посла по не<sup>мъ</sup> Изаславъ Шварна. и Изаслава Двѣвича. и взяша полона много у Корачева» (там же, стб. 314)<sup>334</sup>.

Двигаясь дальше, мы вынуждены миновать Житие преп. Сергия Радонежского, в котором отыскивается всего лишь три интересующих нас примера (не только из-за редкости послыания как сюжетного элемента, но и из-за пристрастия автора к пассивным конструкциям типа *послан бытъ*)<sup>335</sup>, и обратиться к последней части Московского летописного свода (с л. 276 до конца: ПСРЛ, XXV, 201–333). В этом анналистическом памятнике встречается 141 предикация интересующего нас рода. По типам порядка слов эти предикации распределяются следующим образом: SV – 22; SVO – 73; SOV – 7; VS – 5; VSO – 33; VOS – 1; как можно видеть, предикации с препозицией субъ-

<sup>334</sup> Имеются еще две предикации с маргинальным порядком VOS. Одна из них содержится в истории о епископе Федорце, мучившем свою паству и в результате отосланном Андреем Боголюбским для наказания в Киев: «имѣнѣ бо бѣ не сѣтъ акы адѣ. посла же юго Андрѣи митрополиту в Кыевъ. митрополитъ же Костантинъ повелѣ юму изытъ оурѣзати» (л. 119об.; там же, стб. 356); препозиция объекта по отношению к субъекту объясняется, видимо, местоименным (и, можно думать, полуэнклитическим) характером объекта. Другая предикация этого типа немотивированна: «Того жѣ лѣта прислаша с молбою к великому князю Всеволоду. митрополита Матѣѣ. Всеволодъ Чермнѣи. и вси Шлговичи проса мира. и во все<sup>мъ</sup> покарѣющеса» (л. 148; там же, стб. 435); препозиция глагола связана, видимо, с интродуктивной функцией; не вполне ясно, однако, почему вперед выдвигается также объект, – возможно, в силу того, что субъектная именная группа распространена однородными членами и причастными оборотами, требующими «пространства справа».

<sup>335</sup> Пожалуй, можно отметить, что в одном из этих трех примеров порядок SVO оказывается использован в предикации с интродуктивной функцией: «Въ единѣ убо от дний отецъ его посла его на взыскание клюсятъ» (БЛДР, VI, 276). Два других примера вполне обычны. В одном с интродуктивной функцией сочетается порядок VSO (там же, 308), в другом порядок SV обусловлен характером субъекта «Онѣсица христоробецъ» и тем, что он принадлежит одновременно причастной и матричной предикациям (там же, 338).

екта встречаются в 102 случаях (72%), а с постпозицией субъекта – в 39 случаях (28%). Уже из этой простой статистики отчетливо видна экспансия порядков с препозицией субъекта. Существенно увидеть, как эта экспансия влияет на распределение предикаций по мотивационным группам.

Порядок SV представлен вполне обычными группами с малопримечательными статистическими параметрами. В 11 примерах «новый» субъект выдвигается вперед и это отмечено частицей *же*, ср.: «В лѣто 6973. Сентября 13 Федосеи митрополит остави митрополю, сниде в манастирь к Михайлову чуду. **Поставление Филиппа на митрополю.** Князь же великы посла по братию свою и по вся епископы земли своея, тако же и по архимандриты и игумены честныа» (л. 389об.; там же, 278; любопытно, что обеспечиваемое частицей *же* отталкивание от субъекта предшествующей предикации перескакивает здесь через заголовок). В двух случаях препозиция обусловлена характером субъекта: один раз – местоимением 2 лица, другой – местоимением *сам*, ср.: «и ты бы ко мнѣ к великому князю с тѣм прислал часа того, и яз тогды укажу ти, гдѣ ти будет быти съ Псковичи» (л. 440; там же, 313). В 4 случаях субъект принадлежит и матричной, и причастной предикации, ср.: «Слышав же сие князь великы от святителя, посла к тому лягату, чтобы не шел пред ним крыж, но повелѣ скрыти его» (л. 419; там же, 299). В одном случае данный порядок встречается в изъяснительном придаточном, которое может рассматриваться как спорная территория между порядками с постпозицией и препозицией субъекта: «отвѣт давъ ему таковъ: “что отчина моя Великийи Новѣгород прислали ко мнѣ бити челом о том, что взял богъ отца их, а нашего богомолца архиепископа Иону, а избрали себѣ по своему обычаю по жребию, священноинока Феофила, и яз ихъ, князь великы, жалую»» (л. 397об.). В трех других случаях порядок SV занимает нишу, отведенную порядку VS, а именно выступает как интродукция и как конклюдия, ср.: «Того же лѣта Дионисии епископъ Суздальскыи присла изо Царягорода с чернцемъ с Малахиємъ с философомъ, преписа образа два пречистые Одигитрии» (л. 285; там же, 206).

Порядок SVO представлен существенно большим числом примеров и обладает несколько большим функциональным разнообразием. В 16 предикациях мы находим здесь выдвижение субъекта в препозицию, отмеченное частицей *же*, ср.: «Новгородци же послаша послы своя противу великого князя, Иева Аввакумовичя и Ивана Александровичя, с челобитьем о миру» (л. 295об.; там же, 212). В 21 случае субъект рассматриваемой предикации противопоставляется субъекту предшествующей предикации, что часто маркируется союзом *а*, но иногда и союзом *и*, ср.: «а Новгородскыи архиепископъ Феофилъ и Тферьскыи епископъ Генадеи прислали послов своих, а подписашася со прочими епископы за один» (л. 422; там же, 301); «И боаря шед князю великому тѣ рѣчи сказали, и князь великы выслал к ним тѣх же своих боарѣ съ отвѣтомъ, а велѣл имъ сице отвѣчивати» (л. 446; там же, 317). В трех случаях препозиция субъекта обусловлена типом субъекта: в двух примерах – указательными местоимениями *ти* и *тот*, в одном примере – местоимением *сам*, ср.: «а елицы не пришли на поставление, а ти прислаша послы и грамоты своя и подписашася вси за единъ» (л. 390; там же, 279). В 8 примерах субъект принадлежит матричной и причастной пре-

дикациям, ср.: «Слышавъ же то князь Дмитрии Костянтинович Суздальский и посла два сына своя къ царю Тахтамышу, князя Василья да князя Семена» (л. 286; там же, 206). Наиболее существенным моментом оказывается, однако, то, что в 21 предикации порядок SVO сочетается с интродуктивной функцией, ср.: «Того же лѣта князь велики Дмитрии Иванович посла отца своего духовного Феодора, архимандрита Симановъского, о управленьи митрополии въ Царьгород» (л. 295; там же, 212); «Да тогда же князь велики выслал от себя вон Ивана Офонасова да сына его Олфериа, да и тѣх поимати же велѣл» (л. 429об.; там же, 306). Оказывается, что в Московском летописном своде предикации с интродуктивной функцией, которые являются основной областью, индуцирующей препозицию предиката, поделены поровну между порядками с препозицией предиката и препозицией субъекта (по 24 предикации в каждом из разрядов); это наиболее отчетливое свидетельство экспансии порядков с препозицией субъекта. Сюда можно добавить, что 4 предикации с SVO выступают в роли конклюдзии, т. е. также занимают территорию препозиции предиката, ср.: «В четвертокъ же в самую обѣдну егда начаша чести святое еуангелие, и тогда отдаст духъ конечное мѣсяца септевриа 22 день. И часа того бояря его послаша по брата его по старѣишего по князя Дмитрея Шемяку на Углеч» (л. 365–365об.; там же, 262)<sup>336</sup>.

И в Московском летописном своде предикаций с порядком VS всего 5. Четыре из них выступают в интродуктивной функции, причем три из этих четырех – в заголовках, на которых мы особо остановимся ниже. В одном случае мотивация порядка VS неясна: «Присла же Мамаи к великому князю Дмитрею Ивановичю просити выхода, какъ было при цесари Чжанибѣкъ, а не по своему dokonчанью» (л. 278; там же, 202); предикация стоит в середине повествовательной цепочки, в которой столь же уместно было бы начать ее со слов «Мамаи же присла»; с существенной натяжкой ее можно было бы трактовать как начало нового мини-эпизода и тогда приписывать ей интродуктивную функцию. Интродуктивную функцию выполняет единственная предикация с порядком VOS, ср.: «Октября 16 в четверток прислал к великому князю грамоту намѣстник его Василии Китаи, что приехал в Торжек другой о опасѣ от владыки и от всего Новагорода Иван Иванов Марков житеи» (л. 436об.; там же, 311).

Предикации с порядком VSO представлены существенно лучше. 20 из них выполняют интродуктивную функцию, ср.: «Из Ярославля же послал князь велики ко князю Дмитрею боарина своего Василья Федоровича Кутузова, прося у него матери свои великие княгинии Софьи, глаголя ему

<sup>336</sup> Порядок SOV не нуждается в особом комментарии. В одном случае он наблюдается в предикации, где препозиция субъекта отмечена частицей *же*, в 5 случаях субъект рассматриваемой предикации противопоставляется субъекту предшествующей, ср.: «И боаря шед сказали то великому князю, и князь велики их же послал съ отвѣтом, велѣл так говорити» (л. 446об.; ПСРЛ, XXV, 318). Еще в одном случае предикация выполняет интродуктивную функцию, ср.: «И тоя же весны по велице дни князь велики многих детей боарских, дворъ свои, послалъ на Каму воевати мѣстъ Казаньских» (л. 391об.; там же, 280); эта предикация появляется после заголовка с порядком VS – особый случай, о котором будет сказано ниже.

тако...» (л. 376; там же, 269); «В лѣто 6982. Послал князь велики Пскову на помочь князя Данила Дмитриевича Холмского, а с ним многыя полкы своя» (л. 422об.; там же, 301); в одном случае такая предикация находится в заголовке (см. ниже). В 6 случаях мы имеем дело с конклюдиями, ср.: «А к вотчинѣ своей к Новугороду послал о том князь велики боарѣ своих, Федора Давыдовича и Ивана Борисовича, что бы дали своих приставов на тѣх обидящих братию свою» (л. 429, там же, 306). В двух случаях предикации с VSO появляются в придаточных изъяснительных, ср.: «Сшедшим же ся к нему всѣм княземъ и воеводам и сказа им, что прислалъ к нему князь велики грамоту» (л. 394; там же, 282). Еще в одном примере VSO индуцируется, кажется, тем, что предикация является пояснением и в этой роли выступает как целостность, ср.: «Тое же осени заратишася Новгородци к великому князю, прислаша бо к ним князь великии Василеи Дмитриевичь Ивана Всеволожича и Данила Тимофѣевича о черном бору и о грамотѣ, иже цѣловали Новгородци» (л. 306об.; там же, 220). В 4 случаях порядок VSO не представляется мотивированным, ср.: «А Костянтинъ Беззубцевъ со всѣми предписанными вои совокупився стояше в Новѣгородѣ в Нижнем, и прислал к нему князь велики грамоту свою, веля ему самому стояти в Новѣгородѣ» (л. 394; там же, 282).

В Московском летописном своде встречается феномен, который заслуживает отдельного комментария. Речь идет о содержащихся в летописи заголовках и о тексте, непосредственно следующем за ним и его воспроизводящем. Первое наблюдение состоит в том, что заголовкам свойственна препозиция предиката, что и понятно: заголовок суммирует событие как целостность. Второе наблюдение состоит в том, что текст, следующий за заголовком, может (хотя и не непременно) отличаться от него порядком слов, а именно содержать препозицию субъекта вместо препозиции предиката. Приведу имеющиеся примеры: **«Послал князь велики на Черемису воевати.** Тоя же осени князь велики Иванъ послал на Черемису князя Семена Романовича, а с ним многих детей боарьских» (л. 390об.–391; там же, 279); **«Послал князь велики на Каму воевати.** И тоя же весны по велице дни князь велики многих детей боарьских, дворъ свои, послалъ на Каму воевати мѣсть Казаньских, с Москвы к Галичю Руна с казаки» (л. 391об.; там же, 280); **«Послал князь велики по царевну по Софью в Римъ.** Тое же зимы князь велики обмыслив съ отцемъ своимъ митрополитомъ и съ матерью своею великою княгинею Марью [так в ркп.] и з братиею и з боары своими и послаша Фрязина в Римъ» (л. 410–410об.; там же, 293). Как можно видеть, заголовок, который является не только интродукцией в эпизод, но и его суммированием и который тем самым подает событие в его целостности, регулярно пользуется препозицией предиката. Следующему за заголовком предложению также можно приписать интродуктивную функцию, но не функцию суммирования, и в этом контексте появляются выполняющие интродуктивную функцию предикации с порядком SVO; нельзя исключить, что летописец меняет здесь порядок слов, избегая точного повторения<sup>337</sup>.

<sup>337</sup> Конечно, такая зависимость далека от жесткого правила. Следующее за заголовком предложение также может характеризоваться препозицией предиката, ср.: **«Послал**



Как бы то ни было, и в только что разобранном явлении, и в общем распространении предикаций с препозицией субъекта, выполняющих интродуктивную функцию, и в самом статистическом доминировании предикаций с препозицией субъекта можно видеть свидетельства экспансии соответствующих порядков слов. Эта экспансия идет существенно дальше, чем те зачаточные моменты, которые можно заметить в Суздальской летописи. Понятно, что двух памятников недостаточно для установления хронологии процесса, но все же можно высказать предположение, что в сфере рассматриваемых нами предикаций (и, возможно, в сфере предикаций с переходными глаголами вообще) процесс экспансии словорасположения с препозицией субъекта приходится на XIV–XV вв. Эта хронология в целом соответствует тем датировкам аналогичного процесса, которые мы устанавливали для более изобильного и более противоречивого материала предикаций с глаголами речи и движения. У нас нет достаточных данных для того, чтобы увидеть в деталях, как этот процесс шел в дальнейшем. Однако тот скудный материал, которым мы располагаем, все же заслуживает внимания.

Определенный интерес представляет в данном отношении Житие Аввакума. Материал здесь невелик, всего 12 предикаций, однако распределение показательно. Только в одной из этих предикаций имеет место препозиция предиката (8%), и эта предикация выполняет интродуктивную функцию: «Наутро прислала боярня пироговъ да рыбы, и с тѣхъ мѣсть помирился» (Пустозерский сборник 1975, л. 47об.). Во всех остальных предикациях субъект стоит в препозиции к глаголу. В трех случаях это обусловлено 1 лицом субъекта, ср.: «И аз ему малое писанейце послал» (там же, л. 33), в трех случаях выдвижение субъекта в препозицию маркировано частицей *же*, ср.: «Он же, исполняя зависти, паки послал ноч(ь)ю и велѣлъ сѣти мои в клочки изорвати» (там же, л. 103об.). В одном случае субъект принадлежит матричной предикации и причастному обороту, ср.: «Смалод(у)шничавъ она осердяс(ь) на меня, послала робенка к шептуну-мужику» (там же, л. 46–46об.). Эти обычные мотивированные примеры соседствуют с немотивированными. В одном случае это порядок SVO в предикации, выполняющей интродуктивную функцию: «Еремѣй прислал ко мнѣ вѣсть, чтобъ “батюшко-г(о)с(у)д(а)рь помолится за меня”» (там же, л. 49). В трех случаях никакая мотивация не просматривается, ср.: «ц(а)р(е)вна Ирина Михайлова ризы мнѣ с Москвы и всю службу в Тоболескъ прислала» (там же, л. 106). Хотя примеров мало, они хорошо укладываются в уже известную нам по предикациям с глаголами других типов картину: препозиция субъекта становится немаркированным словорасположением, а препозиция предиката закрепляется в качестве возможного, но не обязательного словорасположения в специальных функциях, прежде всего в интродуктивной.

**5. 3. 3. Некоторые частные и общие выводы.** Таким образом, мы прочертили, хотя бы и предварительным образом, основные линии развития порядка слов в предикациях с переходными глаголами. Полученные нами данные могут быть суммированы в следующей таблице:

---

**князь велики судовую рать на Казань.** Тоя же весны по велице дни на другои недѣле послал князь велики на Казанские мѣста рать в судѣхъ» (л. 393–393об.; там же, 281).

ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Тексты	SV, SVO, SOV, OSV							VS, VSO, VOS					
	же	другие выдел.	мест. субъект	прича- стие	интро- дукция	прочее	Всего	интро- дукция	кон- клюдия	целост- ность	изъясн.	прочее	Всего
ПВЛ	14	4	2	9	3	2	34	31	2	—	—	5	38
Новг. Первая	15	4	2	10	4	3	38	36	3	1	—	1	41
Сузд. летопись	28	5	3	10	12	4	62	43	3	1	—	1	48
Моск. лет. свод	28	26	5	12	29	2	102	25	6	1	2	5	39
Аваакум	3	3	1	—	1	3	11	1	—	—	—	—	1

Приведенные наблюдения, по необходимости весьма отрывочные, позволяя тем не менее сказать, что в древнейший период и для переходных глаголов – или во всяком случае для переходных глаголов со значением ‘посылать’ – препозиция предиката является наиболее частым порядком слов. Стоящий в препозиции предикат выполняет, как правило, интродуктивную функцию: начало летописного повествования о различных событиях часто начинается с того, что кто-то (обычно князь) кого-то (обычно своего родственника или подчиненного) куда-то послал. В силу этого нет уверенности в том, что эта функция будет столь же однозначно доминировать в словорасположениях с предикатом в препозиции при глаголах других семантических групп. Препозиция субъекта в исследованных древнейших памятниках обусловлена хорошо известными факторами: сменой или выделением субъекта, обозначенными частицей *же* или иными средствами, употреблением определенных местоимений в качестве субъекта, принадлежностью субъекта как матричной, так и препозитивной причастной предикации. Отдельные случаи употребления словорасположения с субъектом в препозиции в интродуктивной функции имеются и в древнейших памятниках, однако они достаточно редки и могут трактоваться как исключения.

Как и у непереходных глаголов, начиная приблизительно с XIII в., имеет место экспансия словорасположения с препозицией субъекта. Если в ПВЛ и Новгородской первой летописи препозиция предиката статистически доминирует (хотя и незначительно), то в Суздальской летописи и в еще большей степени в Московском летописном своде и Житии Аввакума доминирующим становится словорасположение с препозицией субъекта. Значимо при этом не столько статистическое преобладание порядков с препозицией субъекта, сколько вытеснение порядков с препозицией предиката из основной сферы действия этих порядков – интродуктивной функции. Начальные этапы этого процесса прослеживаются уже в Суздальской летописи, а полномасштабные результаты фиксируются в Московском летописном своде. Конечно, полного вытеснения не происходит, но ситуация становится похожей на положение в современном русском языке, где словорасположение типа VS и VSO в интродуктивной функции также сохраняет некоторые позиции. Для глаголов послания это состояние оказывается достигнутым уже в конце XV в.; экстраполировать эту хронологию на все переходные глаголы не представляется правомерным, однако видеть в этом определенную веку в выдвижении субъекта в препозицию несомненно возможно.

Такая интерпретация хорошо вписывается в общую картину, насколько ее можно восстановить из анализа словорасположения трех групп глаголов. Во всех этих группах словорасположения с начальным субъектом теснят словорасположения с начальным предикатом. Для разных групп глаголов соотношения двух типов словорасположения оказываются, как было показано, изначально разными. *Verba dicendi*, в большинстве употреблений вводящие чужую речь, в раннем узусе безусловно благоприятствуют препозиции предикатов. *Verba movendi* не столь однозначно соотносятся с порядком слов; препозиция предиката доминирует лишь в том случае, если повествование фрагментировано и начала фрагментов обозначены перемещениями действующих лиц (как в Новгородской первой летописи). Обсле-

дованные нами переходные глаголы ведут себя скорее как *verba movendi*, хотя некоторое предпочтение препозиции предиката на ранних этапах все же может быть им приписано. Каковы бы ни были эти различия, сходства в динамике порядка слов бросаются в глаза. Они состоят в том, что препозиция субъекта появляется в тех классах употреблений, где раньше ее не было и где ее можно считать немотивированной: при введении чужой речи, не осложненном известными параметрами, выдвигающими субъект в препозицию, в интродуктивной функции, в функции конклюдзии.

Отдельные явления, предвосхищающие позднейшие изменения, могут быть отмечены уже в древнейший период (например, окказиональное использование препозиции субъекта в интродуктивной функции у глаголов посылки), однако изменение доминантных соотношений (когда препозиция субъекта становится преобладающей вне зависимости от функции) приходится на более позднюю эпоху, в основном на период XIV–XV вв. Анализ употребления глаголов говорения в разных редакциях Жития Михаила Клопского приводит к выводу, что стимул этого изменения шел из разговорного языка, хотя для хронологизации данного процесса в разговорном языке достаточных данных нет. Как показывают те же редакции Жития Михаила Клопского, книжники могли владеть простыми механизмами, позволявшими им избавляться от немотивированной препозиции субъекта; во многих случаях достаточно было вставить частицу *же* или другой сигнал смены (контраста) субъектов, чтобы привести порядок слов в соответствие с традиционным узусом (что и делает Тучков с *verba movendi*, редактируя Житие Михаила Клопского). В принципе нельзя исключить гипотезы, согласно которой в разговорном языке изначально доминировала препозиция субъекта, тогда как препозиция предиката шла из книжной традиции, из традиции славянских переводов с греческого, в которых для отдельных групп глаголов (например, для *verba dicendi*) славянское словорасположение в целом повторяло греческое. Следует, однако, принимать во внимание, что препозиция предикатов хорошо фиксируется в некнижных текстах, например, в употреблении глаголов движения в берестяных грамотах в интродуктивной функции. При отсутствии материала, достаточного для статистических наблюдений, невозможно сказать, был ли этот порядок в данной функции доминирующим (как, например, в Новгородской первой летописи) или он был лишь допустимым вариантом (как, например, в современном русском языке). Как и в других случаях, письменный узус достаточно автономен, и характеризующие его изменения могут плохо соотноситься с изменениями в (по большей части неизвестном нам) разговорном узусе, в частности и в хронологическом отношении. Во всяком случае, проанализированный нами материал позволяет утверждать, что ко времени начала стандартизации русского языка в XVIII в. порядок слов (взаимное расположение субъекта и предиката) был весьма близок к тому, который мы наблюдаем в современном русском языке; языковой стандарт формировался не в противоречии со сложившимся узусом, а как его регламентация, частично устраняющая вариативность, характерную для предшествующих эпох (о полном устранении вариативности речи, конечно, не идет).

## 6. Книжный нарратив и конфигурация временных форм

Как элемент синтаксической организации нарратива следует, надо думать, рассматривать и употребление временных форм в последовательности предикативных единиц. Одни из этих единиц продвигают нарратив вперед, образуя цепочку излагаемых событий, другие обеспечивают приостановку этого движения для фиксации ситуации, на фоне которой происходят события, или для отсылки к какому-нибудь событию в прошлом (в предшествующем повествовании), уже известному читателю, или для указания на смысл этих событий. Точка зрения повествователя может быть синхронной с описываемыми событиями, а может задавать повествованию ретроспективную точку отсчета. Эта организация нарратива осуществляется за счет выбора видо-временных форм. Средневековый восточнославянский нарратив отличается в данном отношении от современного русского нарратива прежде всего в силу того, что репертуар временных форм в книжном языке средневековья был существенно шире, чем в современном русском языке, а видовая оппозиция не была грамматикализована в той степени, как в современном языке. Имелись отличия и в том, как структурировалась информация, какие действия могли составлять одно нарративное событие, а какие требовали развертывания в цепочку (см. ниже).

В течение всего средневекового периода, вплоть до формирования русского литературного языка нового типа в Петровскую эпоху, в книжных регистрах использовался весь арсенал временных форм, наличествовавших в книжном языке со времени первых славянских переводов с греческого (кирилло-мефодиевской традиции). Собственно, они продолжают использоваться и в современном церковнославянском языке, с Петровской эпохи противопоставленном русскому литературному языку. Хотя арсенал языковых средств – во всяком случае в области претеритных форм, являющихся основными для любого нарратива, – оставался неизменным, стратегии их употребления существенно менялись. Едва ли не главным фактором в этой эволюции были изменения в живом языке восточных славян, утерявшем в определенный период (о хронологии этой утраты см. ниже) все претеритные образования, кроме *л*-формы (бывшего перфекта), и грамматикализировавшем категорию вида. Воздействие языкового опыта книжников, связанного с их разговорным языком, на преемственно воспроизводимую (благодаря опыту чтения) темпоральную организацию книжного нарратива и является основным сюжетом в данной области истории письменного языка. Именно в данной сфере наиболее ясно просматриваются механизмы этого взаимодействия, о которых уже говорилось выше (механизм пересчета и реинтерпретации, механизм ориентации на образцы, см. §§ II-3.1; II-3.2). Возникают различные модификации исходного книжного узуса, которые могут создавать собственные линии преемственности (прежде всего в летописной традиции, см. выше, § III-5); происходит приспособление использования унаследованного репертуара грамматических форм к языковым навыкам носителей, реализовавшимся вне сферы книжного языка, и к

тем коммуникативным задачам, которые ставили перед собой авторы средневековых нарративов.

Обычно говорится о том, что в исходной для книжного языка восточных славян традиции аорист употреблялся как основное повествовательное время, имперфект служил для обозначения фоновых состояний и длящихся или повторяющихся действий, перфект встречался относительно редко и указывал на результат действия (актуальный для настоящего или для прошлого) или вообще на действие, выключенное из нарративной последовательности (см.: Кленин 1993); плюсквамперфект выступал факультативно, отмечая не столько предшествование, сколько сдвиги в точке отсчета, различные для разных текстов (ср. § III.5)<sup>338</sup>. Аналитические времена (перфект и плюсквамперфект) образовывались как от глаголов совершенного, так и от глаголов несовершенного вида; имперфект в обычном случае производился (в соответствии со своим генезисом) от глаголов несовершенного вида, тогда как имперфект от глаголов совершенного вида имел специфические (относительно редко выражаемые) значения; аорист мог образовываться как от глаголов совершенного, так и от глаголов несовершенного вида, хотя последний случай был более редким и связанным с некоторыми дополнительными ограничениями (например, не употреблялся аорист от вторичных имперфективов) (ср., например: Маслов 1954; Генсборский 1957; Сконефельд 1959).

О том, насколько сформировалась категория вида в древнейший период, существуют разные точки зрения, причем по-разному смотрят исследователи и на вопрос о том, какую часть глаголов характеризовало видовое противопоставление (Бермел 1995; Бермел 1997; Петрухин 2002). Можно думать, что построение адекватного семантического описания употребления времен и вида невозможно без более сложных семантических категорий, чем те, которыми обычно пользуются; ясно, что семантика вида по-

---

<sup>338</sup> К числу времен нарратива относится, конечно, и *praesens historicum*, отдельные примеры которого имеются уже в старославянских текстах. В принципе *praesens historicum* может использоваться в тех же контекстах, что аорист и имперфект, и не имеет никакого собственного «значения». Его функции являются, видимо, чисто дискурсивными: повествователь (и читатель) как бы занимает позицию очевидца (ср.: Падучева 1996, 289). Можно сказать (в традиционной терминологии), что *praesens historicum* используется как стилистический прием. В ранних восточнославянских текстах его употребления окказиональны. Формы несов. вида, появляющиеся часто как вкрапления в контексте имперфектов, обозначают действия в их протекании; формы сов. вида, еще более редкие, используются для маркировки поворотного момента в повествовании (Мишина 2001; Мишина 2000; ср.: Мишина 1999). В более поздних текстах (с XV в.) *praesens historicum* может использоваться достаточно широко; формы несов. вида могут образовывать цепочки, описывающие, как и в современном русском языке, последовательности событий. Развитие такого построения нарратива может быть связано со вторым южнославянским влиянием, что отражается в характере текстов, в которых оно первоначально появляется; позднее *praesens historicum* оказывается обычным в нарративных текстах разных типов (Шевелева 1986; ср.: Бондарко 1958). В дальнейшем изложении мы позволим себе отвлечься от этого интересного, но все же периферийного нарративного средства.

разному реализуется у разных групп глаголов, а от этого семантического контекста зависит и семантика претеритных форм. Так, в частности, предикаты могут быть разделены на те, которые обозначают целенаправленную активность (прекращающуюся, когда появляется результат активности, т. е. предельные глаголы, напр.: *умирати, написати, сказати*), и нецеленаправленные предикаты (т. е. непредельные, напр.: *стояти, держати, плакати*). С глаголами первого типа аорист обозначает завершённое действие и в нарративе естественно выступает как обозначение одного из цепочки последовательных актов (один завершается, начинается другой). Однако с непредельными предикатами аорист этого значения не имеет. Ср. в Лаврентьевской летописи под 1141 г.: «надо въсѣми горѣ баше акы дуга мѣць. ѡсобѣ стояче. и стояша знаменья та. дондеже похорониша и» (л. 103 – ПСРЛ, I, стб. 309). Здесь аорист обозначает длительное действие (состояние), не включенное в последовательность других действий, однако эта длительность принадлежит, так сказать, не аористу, а глаголу. Если мы заменим аорист на имперфект (*стояху*), мы получим ненужное летописцу значение – окажется, что знаменья многократно появлялись. Таким образом, то, что обычно излагается, является неким идеальным конструктом, существенно упрощающим наблюдаемый в дошедших до нас текстах узус.

Сколь бы несовершенной ни была подобная реконструкция, даже она позволяет понять, что в позднейших летописных памятниках система существенно трансформируется – в одних в меньшей степени, в других в большей. Однако ее реликтовые контуры просматриваются практически в любом летописном или агиографическом тексте. Их можно наблюдать даже при механическом сравнении статистических данных. Так, например, в ПВЛ по Лаврентьевскому списку, согласно подсчетам Г. Я. Симиной, аорист составляет 86% глагольных форм прошедшего времени, имперфект – 9,5%, перфект (л-форма и перфект со связкой) – 3,5%, плюсквамперфект – 1,0% (Симина 1959). Эти данные можно сопоставить с тем, что мы наблюдаем в первой части поздней Мазуринской летописи (конец XVII в.), составитель которой обладал лишь очень ограниченным умением производить книжный нарратив. В той части этой летописи, которая охватывает события до 1430 г. (она весьма неумело, с разнообразными ошибками в употреблении временных форм, скомпилирована из более ранних источников), аорист составляет 86,3% глагольных форм прошедшего времени, имперфект – 10,2%, л-формы – 3,2%, перфект со связкой – 0,2%, плюсквамперфект – 0,1% (Живов 1995а, 61). Совпадение разительно. Даже в том случае, например, когда основным выражением для последовательности излагаемых действий оказываются л-формы, сохраняются статистические диспропорции в остаточном употреблении аориста и имперфекта, которые можно возвести к исходной системе. Эти реликтовые моменты, никак не связанные с разговорным употреблением, однозначно указывают на роль преемственности в рамках письменной традиции.

Поскольку стандартные церковнославянские тексты (прежде всего тексты основного корпуса, такие как Евангелие) никогда не исчезали из языкового опыта средневековых авторов, они не только знали весь набор временных форм, но могли при случае использовать их в тех же нарративных

целях, что и их далекие предшественники. Приведу простой, но от этого не менее показательный пример. «Скифская история» Андрея Лызлова, написанная в 1692 г., обнаруживает все характерные черты гибридного текста, что и понятно, поскольку автор продолжает и преобразует летописную традицию. Употребление прошедших времен у него непоследовательно, пропорция *л*-форм достаточно высока, имперфект редок и во многих случаях никак семантически не противопоставлен аористу. Тем не менее мы находим здесь следующий пассаж: «Турки, парфы, персы, венгры, сыкабры от их народу изыдоша. Асию Малую и Великую, вторую и величайшую часть света, мужеством *обладаша*, и *обладаху* ею с полторы тысячи лет...» (Лызлов 1990, 10). Соположение форм явно указывает на дифференциацию аориста и имперфекта: в первом случае выступает инхоативное значение ('завладели'), во втором – значение процесса (длительного действия, покрывающего означенный отрезок времени – 'владели долгое время'). Там, где указание на длительность действия отсутствует, в аналогичных контекстах появляется аористная форма, ср.: «И тако от того времени *обладаша* нечестивии татарове странами оными» (там же, 28); «И тако от того времени турецкий султан оным славным генуенским градом Кафою *облада*» (там же, 128)<sup>339</sup>. Таким образом, автор, чаще всего обходящийся одним аористом, при случае пускает в ход те возможности, которые создает полный набор временных форм; при этом он дифференцирует их, переосмысляя то употребление, которое было знакомо ему из его читательского опыта, и приспособливая его к своим коммуникативным потребностям.

Расхождение в грамматическом репертуаре книжного и разговорного языка приводило к тому, что одни и те же формы оказывались наделены разными функциями (разным семантическим потенциалом) в разных регистрах; поскольку же регистры не являются взаимонепроницаемыми, осмысление (функции) определенных форм в одном регистре не может не влиять на их осмысление в другом регистре, и это создает момент динамического взаимодействия. Переосмысление (семантическая реинтерпретация) временных форм и является механизмом этого взаимодействия, так что переосмысление достаточно тесно связано здесь с коммуникативными задачами (способом изложения)<sup>340</sup>. Именно такое взаимодействие имеет место в истории русского письменного языка.

<sup>339</sup> Неясно, понимал ли Лызлов *обладати* как глагол несов. вида или как специально книжный коррелят глагола сов. вида *овладѣти*, ср. характерный контекст, где данный глагол находится в окружении двух глаголов сов. вида: «И вскоре по том Батый нечестивый царь с татары *попленил* Российския государства и *обладал* всеми странами, иже по Волге и до моря Хвалискаго, и *населитася* тамо» (Лызлов 1990, 109). Похоже, что он использовал обе возможности, т. е. трактовал этот глагол как имперфективный, образуя от него форму имперфекта, и как перфективный, образуя от него форму аориста (см. ниже о соотношении оппозиции аориста и имперфекта с видовой корреляцией). Он, видимо, основывался при этом на припоминании разных освоенных им текстов, не волнуясь, естественно, по поводу возникающих в результате проблем морфемного членения.

<sup>340</sup> Следует, однако же, заметить, что зависимость имеющихся средств и коммуникативных задач не является односторонней: наличие определенных средств выражения провоцирует постановку ряда коммуникативных задач.



**6. 1. Проблема исчезновения простых претеритов из разговорного языка.** Когда в точности простые претериты исчезают из разговорного языка восточных славян, остается дискуссионным вопросом, не поддающимся простому решению и, возможно, не столь значимым, как это представлялось исследователям, сосредоточивавшим внимание на бинарной оппозиции церковнославянского и восточнославянского. То или иное решение зависит в основном от интерпретации письменных источников – как книжных, так и некнижных. Согласно «традиционной» точке зрения (Истрина 1923; Кузнецов 1959), все претеритные формы (аорист, имперфект, перфект и плюсквамперфект) сохранялись в живом языке и были семантически дифференцированы вплоть до середины XIII в. или даже позднее; ранние письменные источники непосредственно отражали разговорное употребление. Согласно другому взгляду, который Э. Кленин (1993) называет «ревизионистским» (Исаченко, I–II; Горшкова и Хабургаев 1981; Успенский 2002), простые претериты отсутствовали в разговорном восточнославянском уже в XI в. и их употребление в письменных памятниках было обусловлено ориентацией на образцовые книжные тексты. Аргументы *pro* и *contra* разнообразны и различны в случае имперфекта и аориста. Аргументы могут быть разделены на функциональные и формальные.

Относительно имперфекта функциональные аргументы состоят в следующем: имперфект употребляется практически только в книжных текстах. Употребление его в некнижных текстах ограничивается единичными примерами, которые могут быть объяснены влиянием книжной письменности. В берестяных грамотах он встречается лишь как исключение, причем лишь в таких, которые и по другим параметрам имеют отчасти книжный характер, как, скажем, письмо от одного монаха к другому (*мѣлѣашѣ* в НБГ № 605, начало XII в. – Зализняк 2004а, 271). Из той полудюжины примеров, которые все же извлекаются из берестяных грамот, некоторые кажутся семантически ущербными, т. е. не соответствующими предполагаемой семантике общеславянского имперфекта, восстанавливающейся из книжных текстов. Так, в НБГ № 487, пер. пол. XII в., встречаются целых три формы имперфекта (*[вѣ]лѣшь, дѣлѣшь, возывахо*), однако если первые две укладываются в семантический репертуар имперфекта, то третья вписывается в него лишь с трудом при определенной интерпретации глагола *възывати* (как ‘называть’); если же *а возывахо тѣ сѣстрою нѣвѣстою* переводить как «А вызывал я тебя через сестру невестку», мы, надо полагать, имеем не фоновое действие в прошлом и не многократное действие, а, скорее, сообщение о единичном действии, для обозначения которого естествен был бы аорист. Между тем контексты, в которых мог бы быть употреблен имперфект, в деловых текстах не так уж редки, если иметь в виду прежде всего повторяющиеся действия (итератив или множественность действия других типов – см. ниже, § V-6.2.1).

Формальные аргументы состоят в том, что:

а) В восточнославянских текстах появляется имперфект с аугментом *-тъ* (ср.: ОЕ *ноуждашеть*, АЕ *оугнѣтахоуть*), который трактуется как перенос окончания презенса. Такой перенос возможен, согласно этой линии рассуж-

дения, лишь в случае, если форма имперфекта «искусственна». В этом случае ее появление может быть обусловлено стремлением избавиться от омонимии 2 и 3 лица и гиперкорректной добавкой (в диалектах, где презенс без *-ть*). Это объяснение отнюдь не является единственным. Аугмент первоначально появляется перед энклитическим местоимением *и* как вставка при сандхи, а затем имеет место реинтерпретация, придающая формам с аугментом определенную семантическую нагрузку (см.: Тимберлейк 1997а; Тимберлейк 1998; Тимберлейк 1999; ср. также: Штоль 2000; Живов 2006а, 200–224)<sup>341</sup>.

б) Ссылаются также на изменения в основе имперфекта. В восточнославянских рукописях имперфект всегда образуется с помощью суффикса *-а(а)-*, в том числе и в тех случаях, когда в южнославянских (старославянских) текстах мы находим суффикс *-ѣ(а)-*. В старославянском суффикс *-ѣ(а)-* употребляется при основах следующих типов: (1) основы на *-ѣ* или *-ѣй* (типа *видѣ-*, *умѣй-*); (2) основы на *-ну* (типа *сѣх-ну*); (3) основы на незаднеязычный согласный (напр., *вед-* [*вести*]); (4) некоторые неправильные глаголы: *вѣдѣ-*, *идѣ-*, *бѣ-* (Лант 1980, 92). В восточнославянских текстах встречаются и постепенно становятся доминирующими формы типа *вида(а)ху*, *ба(а)ху* и т. д. Н. Н. Дурново полагал, что «употребление *-аа-* вместо *-ѣа-* в памятниках русского письма основано на известном русским писцам произношении южных славян, читавших в этих формах *ѣ*» по-южнославянски, т. е. как [æ] (Дурново, VI, 60; Дурново 2000, 490). Если переносилось южнославянское произношение, то у самих восточных славян данных форм не было. Иное объяснение предлагает Г. Лант, считающий, что восточнославянская морфология (реальных диалектов) отличалась здесь от южнославянской и *-а(а)-* был суффиксом имперфекта независимо от класса глагола.

с) Аргументом в пользу раннего исчезновения рассматриваемой категории могут также служить неправильные образования имперфекта от инфинитива на суффиксальный *-і-*, дававший предшествующий палатальный согласный (Хабургаев 1991, 50). Ср. в Лаврентьевской летописи (примеры Г. А. Хабургаева) *любаше олга сѣна* (вместо *любаше*, также встречающегося), *возвраташеться* (вместо *возвращашеться*), *троудашеся* (вместо *троужашеся*), *допѣстахѹ* (вместо *допѣщахѹ*), *молвахѹтъ* (вместо *мѣвлахѹтъ*) и т. д. Эти формы указывают на автоматическое образование от формы инфини-

<sup>341</sup> С. Штоль, исследуя употребление имперфекта в славянском переводе «О пленении Иерусалима» Иосифа Флавия (Штоль 2000), предложила другое объяснение для форм имперфекта с *-ть*. Она полагает, что речь может идти не об аугменте, перенесенном из форм презенса, а о сохранении праславянских первичных окончаний, утраченных в позиции конца слова, в положении перед клитиками. Если это так, *-ть* об искусственности формы не свидетельствует. Данные обследованных памятников никак не подтверждают указанной гипотезы, но и не могут опровергнуть ее. Вообще говоря, значимым является употребление *-ть* перед энклитиками, начинающимися с согласного (*ся*, *бо*, *же*): если речь идет о флексии, унаследованной из праславянского, она должна сохраняться и перед этими клитиками; если же речь идет об аугменте, появляющемся в условиях сандхи, употребление его перед данными клитиками является вторичным и необязательным. В отдельных памятниках (например, в Лаврентьевской летописи) *-ть* перед энклитиками, начинающимися с согласного, появляется, но скорее кажется инновацией, нежели реликтом.

тива или презенса в результате пересчета, а не на сохранение древней формы (ср.: Оттен 1973, 218). Лант и здесь считает, что речь идет не об искусственных образованиях, порожденных неправильным пересчетом, а об иной морфонологии восточнославянских диалектов (Лант 1980, 93).

d) На это же, согласно мысли «ревизионистов», могут указывать нередкие образования имперфекта от основ с суффиксом *-ива-*, соотносящие имперфект с итеративом (ср. выше, § II-5) и приводящие к семантическому удвоению. Ср. в Лаврентьевской летописи: *оумѣкиваху* («и брака оу нихъ не бываше. но оумѣкиваху оу воды дѣца» – л. 5; ПСРЛ, I, стб. 13; в Радзивилловском и Академическом списках *умыкаху*) наряду с нормальным *оумѣкаху* («и ту оумѣкаху жены собѣ. с неюже кто съвѣщашеса» – л. 5; там же, стб. 14), *приискиваху* («аще бо възмете рать межю собою. погании имуть радоватиса. и возмутъ землю нашу иже бѣша стажали ѡѣи ваши. и дѣди ваши. трудо<sup>м</sup> велики<sup>м</sup>. и храбрѣствомъ побарающа по Русьскѣи земли. инѣи земли приискиваху. а вы хотите погубити землю Русьскую» – л. 88об.–89; там же, стб. 263–264). Аналогичные формы и в других летописях. Легче всего объяснить эти формы пересчетом от соответствующих *л*-форм, восполнявших в живом языке парадигму глагола *приискати* и т. п. (*приискивали* как обозначение множественного процесса в прошлом).

Защитники традиционной точки зрения приводят в основном аргументы семантического порядка. Прежде всего указывают на достаточно последовательное употребление имперфекта в значении длительного или постоянного или фонового действия в прошлом в оригинальных памятниках. Вопрос о том, возможна ли такая последовательность при отсутствии категории в живом языке, не ясен. Да и в самой последовательности можно указать на ряд моментов, когда употребление кажется «искусственным», представляется преобразованием предшествующей традиции употребления, осуществившимся в пределах письменного языка (в частности, в случае трафаретов – см. ниже). Мы не знаем, какие результаты дает усвоение навыков письменного языка, когда навыки употребления не соответствуют разговорному языку. Как неоднократно подчеркивалось, навыки письма зависят от навыков чтения, так что систематичность употребления отнюдь не свидетельствует о том, что оно отражает узус «живого» языка.

Стоит отметить, однако, что имеются случаи – и в достаточно древних слоях летописи – употребления перфекта (или *л*-формы) в значении имперфекта. Так, Э. Кленин (Кленин 1993, 336–337) отмечает в Лаврентьевской летописи под 1185 г.: «и по[и]доша к ни<sup>м</sup> закупѣ вси. и перешѣдше Оуголь рѣку .ѣ. дѣии искаша ихъ. Володимеръ же Глѣбовичъ внуку Юргевъ. ѣздаше напереду в сторожи<sup>х</sup> с Переяславци. и Берендѣевъ было с нимъ .ѣ. и .р. Половци же <...> оустремишася на бои» (л. 133об.; ПСРЛ, I, стб. 395); «Половци же <...> побѣгоша <...> наши же погнаша съкуще я .ѣ. тысячь руками изымаша ихъ князии шдинѣхъ было Половьцьскы<sup>х</sup> .ѣ. и .ѣ. Кобака руками ѡша. Шолука. Барака. Тарга. Данила. Башкърта. Тарсука» (л. 134; там же, стб. 395); под 1186 г.: «шни же слышавше поидоша к ни<sup>м</sup>. а по дружи послашася. и снашася с ними стрѣлци и бишася .ѣ. дѣи. стрѣлци а копьи са не снимали. а дружинѣи ѡжидаючи. а к водѣ не дадуче имъ ити. и приспѣ к ни<sup>м</sup> дружина вса» (л. 134об.; там же, стб. 398). Эти примеры указывают на про-

цесс вытеснения имперфекта л-формами, начавшийся ранее конца XII в. Поскольку между началом процесса в живом языке и его первыми отражениями в письменных памятниках и в особенности в памятниках книжного письма проходит обычно довольно много времени (мы не располагаем инструментами для более точных измерений), можно полагать, что начало процесса относится, по крайней мере, к первой половине XII в. Конечно, начавшийся процесс вытеснения не означает, что вытесняемые формы сразу же перестают употребляться.

е) В дополнение к этому порою указывается, что в оригинальных текстах можно найти достаточно многочисленные примеры, когда имперфект употребляется в значениях, не засвидетельствованных в старославянском, в частности, «кратно-перфективном» от глаголов сов. вида (см. выше, § II-5, об аргументах Ю. С. Маслова, исследовавшего это употребление, и о возможности иной трактовки). Из сказанного выше вполне очевидно, что, на наш взгляд, семантические различия вовсе не обязательно идут из разговорного языка; они могут возникать в результате переосмысления, происходящего в письменной традиции<sup>342</sup>.

Суммируя все сказанное, при имеющихся данных более правдоподобным представляется исчезновение имперфекта в достаточно раннее время, так что его употребление можно связывать с механизмом пересчета уже в период становления книжного языка на Руси (конец XI – начало XII вв.), хотя одновременно с ним работает и механизм ориентации на образцы, а обусловленные этим механизмом типические контексты подвергаются в дальнейшем семантическому переосмыслению. Такая хронологическая оценка в целом совпадает с предлагаемой А. А. Зализняком, который полагает, что аорист исчезает из активного употребления не позднее XII в. (см. ниже), а имперфект переживает «тот же тип эволюции, что у аориста, но завершившийся быстрее» (Зализняк 2004а, 174).

Существенно сложнее обстоит дело с аористом, поскольку свидетельства здесь по всем критериям куда менее однозначны, чем в случае имперфекта. Что касается функциональных аргументов, то здесь отличия от ситуации с имперфектом имеют в основном количественный характер: в некнижных текстах аорист появляется хотя и достаточно редко, но все же существенно чаще, чем имперфект. Как и в случае с имперфектом, это обстоятельство может интерпретироваться по-разному.

---

<sup>342</sup> При трактовке кратно-перфективного значения имперфекта стоит иметь в виду, что то же значение могло выражаться и аористом, ср. в Житии Феодосия (Усп. сб., л. 62в): **ѡако же многашьды вѣсхотѣ тако сътворити. нѣ оумолкнѣ бывааше о томъ ѡт князя и ѡт вельможѣ**. Аорист **вѣсхотѣ** явно обозначает многократно повторяемое перфективное действие (многократность эксплицитно обозначена наречием **многашьды**, и в контексте, где многократность выражена подобными лексическими средствами, обычно появляется имперфект). Можно, впрочем, думать, что именно это эксплицитное обозначение делает избыточным имперфект: избыточность – это амбивалентная категория, в одних случаях ее избегают, в других – активно используют (ср., однако же, в приведенном примере: **оумолкнѣ бывааше**).

Потребность в аористе и имперфекте возникает преимущественно в повествовании, тогда как в других коммуникативных жанрах их употребление, как можно судить по современному болгарскому (или по истории *passé simple* во французском), довольно ограничено. Понятно, что простые претериты нашли самое широкое употребление в древнейших переводах с греческого на славянский, прежде всего в переводах таких нарративных текстов, как Евангелие и Апостол. Можно предположить, что узус, возникший в этих переводах, синтезировал то употребление, которое имело место в славянских устных нарративных текстах (таких, например, как сказки), и те схемы использования временных категорий, которые определялись нарративной стратегией греческих оригиналов, проецируемых на славянский языковой материал (что, конечно же, не предполагает однозначного соотнесения временной структуры греческих оригиналов и славянских переводов; такая соотнесенность, как известно, в старославянских текстах отсутствует). Этот узус был унаследован всей последующей славянской книжной письменностью, зависимой от кирилло-мефодиевской традиции, в частности письменностью восточнославянской.

Редкость аориста в восточнославянских некнижных текстах может быть обусловлена спецификой коммуникативных задач этих текстов. Повествовательные фрагменты занимают в них минимальное место, так что контексты, требующие аориста или имперфекта, появляются в них редко, во всяком случае в явно недостаточном количестве для того, чтобы создать предусматривающую употребление соответствующих форм традицию изложения, которая хотя бы отдаленно напоминала традицию нарративных книжных текстов. Эта содержательная особенность юридических и бытовых документов приводилась исследователями в качестве аргумента против трактовки окказионально встречающихся в них форм аориста как «церковнославянизмов»: их окказиональность объяснялась их коммуникативной не востребованностью (см.: Селищев 1968, 131–132; ср. также: Якубинский 1953, 313–314). Каковы бы ни были причины, понятно, что из отсутствия рассматриваемых элементов в некнижных текстах никаких прямых выводов о разговорном языке сделать нельзя: они могли не употребляться как в силу того, что их не было в разговорном языке, так и в силу того, что они были не нужны для коммуникативных задач деловой и бытовой письменности.

Некоторое количество аористов в некнижных текстах все же встречается. Какая-то их часть может быть отнесена на счет интерференции книжного языкового опыта пишущих, в ряде случаев спровоцированной контекстом. Так, в уже обсуждавшейся новгородской берестяной грамоте № 605 (письмо от одного монаха другому) находим **разгнѣвася** (Зализняк 2004а, 271–272); эта форма может быть отнесена на счет книжных пристрастий пишущего. Грамота № 842 первой половины – середины XII в. от дьяка и от Ильки о посылке разных товаров начинается словами **се посылѧхѡвѣ** (там же, 311). Говоря об этом употреблении, А. А. Зализняк трактует ее как «начальную формулу актов» (там же, 142) и объясняет ее появление следующим образом: «Либо с точки зрения дьяка эта грамота и была официальным имущественным документом, либо он просто начал свое сообщение в привычном для себя стиле» (там же, 311). Возможны, надо думать, оба объясне-

ния, но они отсылают не к интерференции книжного языкового опыта (как грамота № 605), а к актовым формулам, которые, по предположению Зализняка, были привычны для дьяка, писавшего эту грамоту где-то в 1140-х годах. Проблема состоит здесь не в том, почему дьяк употребил эту формулу, а в том, как и когда эти формулы, использующие аорист, возникают.

В самом деле, использование аориста в актовых формулах, в начале разного рода грамот хорошо известно как по берестяным грамотам, так и по грамотам пергаменным. Как отмечает А. А. Зализняк, «[в] поздних грамотах аорист встречается прежде всего в составе начальной формулы официальных актов: *се даа* 197 (XIII), *се азо... напсахъ* 138, *се соцетеса* 45, *съ урадѣса <-диса>* 366, *се блѣви* 368, *се доконьцаху* 136 (с окончанием -ху, перенесенным в аорист из имперфекта» (там же, 142; далее приводится еще некоторое количество примеров). Для XIII–XV вв. это никак не редкость. В новгородских, двинских, обонежских, псковских грамотах этого периода аористы насчитываются десятками, ср. в корпусе ГВНП: *докончахомъ, отложихомъ, докончахомъ, отложихомъ, поставихомъ, выдахомъ* (Валк 1949, 56–57), *приѣха, дахомъ* (там же, 62), *приѣха* (63), *приѣха, повелѣша* (81), *приказахомъ* (91), *покончяху* (99), *привѣсиша* (119), *даша* (146), *покончаша, пожаловаша* (148), *сташа, ркоша, вспросиша, оправиша, даша* (149), *дахомъ* (151); *пожаловаша, приложиша* (153), *приложиша* (156), *трудихся* (159), *изыдохъ, прияхъ, дахъ, седохъ* (160), *написахъ* (163), *купи, даша* (163), *ослобонихомъ, приложихомъ* (164), *вкупи* (164), *даша* (165), *дахомъ, ослободихомъ* (165), *приложихомъ* (166), *списахъ* (166), *списахъ* (169), *покончаша, положиша* (172), *подраша* (181), *купиша* (183), *взя* (187), *подраше* (187), *ста, спросиша, рче* (188), *купи, даша, купи* (190), *разделишась* (191), *даша* (209), *даша* (218), *даша* (223), *дасте* (226), *роздѣлиша* (234), *дасть* (243), *розделиша* (244), *роздѣлиша, досташется, досташетца* (277), *положиша* (293), *даша* (297), *досташась, положиися межу [так!]* (310), *урядиша, повелехомъ* (325), *оправихомъ, повинихомъ, дахомъ* (327), *порядисеся, положиша* (330), *выложиша, посудихомъ, велѣхомъ* (338) и т. д.<sup>343</sup>

Рассматривая данное употребление, А. А. Зализняк замечает: «К живой речи эти формулы уже не имеют отношения. Их искусственный характер виден прежде всего из того, что они применяются в семантической позиции, характерной как раз не для древнего аориста, а для перфекта (ср. Успенский 1987: 145). В старейших официальных документах мы находим в этих случаях именно перфект, например: *и изъ съгадавъ съ своєю княгинею съ Анною и съ своими дѣтми, дал ѣсмь ты соуды црквамъ* (Устав князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных; по Новгородской кормчей 1280-х гг. – Щапов 1976, 23), *се азъ Мьстиславъ... повелѣлъ ѣсмь* (Мстиславова грамота), *се азъ князь великий Всеволодъ далъ есми* (ГВНП, № 79, поздний список с грамоты 1134 г.), *се въдале Варламе* (Варл.) и др. Аорист вместо перфекта

<sup>343</sup> Конечно, в ряде случаев употребляются неправильные формы аориста, свидетельствующие о том, что пишущие воспроизводили устойчивую формулу, грамматический состав они могли не осознавать, ср., например: «А даша на томъ попъ Максимъ Иониничъ...» (№ 135; Валк 1949, 190); форма 3 л. мн. числа употреблена здесь при субъекте в ед. числе. Имеются и другие аналогичные примеры (там же, 209, 218).

появляется в таких формулах позже – по-видимому, лишь тогда, когда он уже мог восприниматься просто как стилистически более высокий эквивалент перфекта» (Зализняк 2004а, 174).

Это объяснение, привлекательное своей простотой, вступает тем не менее в противоречие с интерпретацией формы аориста в берестяной грамоте № 842 (см. выше). Если дьяк, писавший эту грамоту в первой половине XII в., имел возможность обрести привычку к аористу в актовых формулах, формулы с аористом появляются достаточно рано, не позже в целом, чем те формулы с перфектом, которые цитирует Зализняк. Конечно, формулы с перфектом существовали параллельно с формулами с аористом, они могут варьировать даже в пределах одной и той же грамоты<sup>344</sup>, однако никаких ясных свидетельств о том, что аорист появлялся на месте перфекта, у нас нет. Совершенно не ясно, какое отношение к подобным гипотетическим заменам могла иметь «стилистическая высота» аориста. Стилистические характеристики могли бы играть какую-то роль в договорных грамотах с их высоким социальным статусом (ср., например, грамоту Новгорода с Готским берегом 1262–1263 гг. – Валк 1949, № 29, с. 56–57), но трудно представить себе стремление к стилистической возвышенности у дьячка, который писал купчую Павла Трифоновича у Григория Ивановича на половину поля Высокого (там же, № 154, с. 261–262). Отказываясь рассматривать аорист в актовых формулах как поздний дериват перфекта, мы должны, понятно, объяснить возникающую здесь семантическую аномалию (см. ниже).

Формальные аргументы, касающиеся времени исчезновения аориста из живого языка, также не отличаются однозначностью. С определенного периода в восточнославянских текстах наблюдается аграмматизм в употреблении аориста. Наиболее ранний пример – XIV в.: в новгородском Евангелии XIV в. (РНБ, Ф. п. I. 8, л. 10б.) имеется словосочетание **придоша и позоубаше** (Соболевский 1907, 236; здесь же и другие примеры). Это могло бы свидетельствовать об исчезновении аориста по крайней мере с XIV в. (см.: Успенский 2002, 221). Однако наряду с этим есть иное формальное обстоятельство. В памятниках XIV в., Мерице Праведном и Чудовском Новом Завете, отмечается акцентуация форм аориста, которая соответствует этимологическим характеристикам форм, не может объясняться аналогией и требует приложения к формам аориста живой акцентологической системы. Как указывает А. А. Зализняк (Зализняк 1990, 131; Зализняк 2010–2011, I, 659), в аористе для глаголов с презенсом на *-еть* в Мерице Праведном «противопоставлены две акцентные модели», что указывает на полное сохранение

<sup>344</sup> Ср., например, в жалованной грамоте Новгорода Соловецкому монастырю 1459–1469 гг.: «А к сеи грамотѣ приложилъ господинъ преосвященныи архиепископъ Великого Новагорода и Пскова владыка Юна свою печать, посадникъ степенныи Иванъ Лукиничъ и тысяцкйи степенныи Труфанъ Юрьевичъ приложиша свои печати; повеленіе всего господина государя Великого Новагорода изо всихъ пяти концевъ приложиша печати» (Валк 1949, № 96, с. 153; ср. еще № 101, с. 156). Ср. в цитировавшейся выше купчей попа Максима Ивановича: «А даша на томъ попъ Максимъ Иониничъ Семеновымъ дѣтемъ Левонтью и Ивану десеть сороковъ бѣлки к старымъ кунамъ закладнымъ, а попопонка далъ одному брату свинью, а другому брату кура» (там же, № 135, с. 190).

исконного корневого ударения аориста в акцентной парадигме *а*; в Мериле Праведном место ударения устанавливается по написанию *ω* (обозначающему /ô/) под ударением и *о* (обозначающему /ɔ/) в безударном положении; обнаруживается четкое противопоставление:

Ударение на корне: *погибоша, въздвигохъ, въздвигошася, складохъ, излѣзоста, падоша, обрѣтохъ, обрѣтохомъ, обрѣтоша, сѣдохъ, сѣдоша*.

Ударение на показателе аориста: *приведѡша, погребѡша, внидѡша, преидѡша, придѡхъ, придѡсте, придѡша, придѡста, оумрѡша, изнесѡша, рекѡхомъ* и т. д.

В Чудовском Новом Завете «это древнее ударение тоже в основном сохранено; однако с ним уже явно начинает конкурировать более новое ударение на показателе аориста (например, встречаются *въздвигѡша, влѣзѡша* <...> и др.» (там же, 132/660). Новая система дает постоянное ударение на показателе аориста, что вообще характерно для акцентуации «искусственных» форм (отсутствующих в разговорном языке). Эта новая система, намечающаяся в Чудовском Новом Завете, затем вполне последовательно реализуется в более поздних акцентуированных памятниках (Зализняк 1985, 192–193; Зализняк 2010–2011, I, 192–193).

Наиболее простая интерпретация данного феномена состоит в том, что акцентуация в Мериле Праведном отражает живые явления, т. е. живую акцентуацию живых форм. Когда аорист исчезает, он перестает восприниматься в парадигме и обобщается ударение на показателе. Если принимать данную концепцию, аорист еще в XIV в. в живом языке имелся. Однако такая интерпретация плохо согласуется с другими фактами. Возможно, следует предполагать традицию книжного произношения, в которой акцентные характеристики корневых морфов реализуются и в специфически книжных формах. Как мы знаем, тексты выучивались наизусть и за правильностью их произнесения следили; это могло обеспечивать сохранение древнего ударения на корне в течение какого-то периода (возможно, длительностью в полтора-два столетия) после того, как аорист исчез из живого языка. Таким образом, изложенные акцентологические обстоятельства не противоречат датировке исчезновения аориста из активного употребления уже в XII в. Они противоречат, однако, последовательно «ревизионистской» точке зрения, относящей исчезновение аориста к периоду развития письменности у восточных славян: традиция книжного произношения, обеспечивавшего сохранение накоренного ударения в аористе, должна была сначала утвердиться, а уж потом действовать, т. е. следует предполагать какой-то период одновременного существования аориста в книжном и некнижном языке.

В тщательной интерпретации нуждаются и параметры семантического порядка. Один из «ревизионистских» аргументов апеллирует к употреблению перфекта (т. е. *л*-формы) в значении аориста и аориста в значении перфекта. Это, впрочем, два разных случая, которые могут иметь разное объяснение. Аргументы Б. А. Успенского состоят в том, что, раз аориста нет в живом языке, а есть только *л*-форма, то *л*-форма появляется на месте аориста, а аорист – как признак книжности – на месте утраченного перфекта (Успенский 2002, 215–220). Видимо, адекватнее более сложная картина. Вос-



точнославянский (а возможно, и общеславянский) перфект с самого начала не совпадает с «результативом» и может апеллировать к любому временному плану текста (Кленин 1993, 331). Можно думать, что систематично и еще одно значение, не результативное, но суммирующее, которое мы наблюдали, например, в Поучении Владимира Мономаха (см. § II-3.3). Аорист же выступает как основное «нарративное» время, время событий, образующих нарративную цепочку (Кленин 1993, 334). Исторически, видимо, имело место расширение значений перфекта за счет аориста, и именно так происходит вытеснение аориста. В ходе этого процесса развивается и нарративный перфект, однако это относительно позднее явление.

В ПВЛ Э. Кленин обнаруживает лишь два примера, которые напоминают нарративный перфект, однако оба они неполноценны: «В лѣтѣ .ѡ.ѣ.лѣ. [6538 (1030)] Юрославъ Б[ел]зѣ взаль. и родиса Юрославу . д.-и снѣ. И наре<sup>ч</sup>а имѣ ему Всеволодъ. [в] семь же лѣтѣ /л. 51/ Иде Юрославъ на Чюдѣ» (л. 50об.-51; ПСРЛ, I, стб. 149); «Ростиславъ же пришедъ. пакы выгна Глѣба. и приде Глѣбъ къ шѣю своему. Ростиславъ же сѣде Тмуторокани. в се же лѣтѣ Всеславъ рать почаль» (л. 55об.; там же, стб. 164). В обоих случаях собственно нарративная последовательность отсутствует, сообщается скорее об отдельных действиях, не связанных определенной связью (Кленин 1993, 335). Собственно нарративное употребление перфекта (в нарративной цепочке) появляется лишь в XIII в. В Лаврентьевской летописи под 1239 г. находим следующий пример: «Того<sup>ж</sup>. лѣтѣ. Юрославъ иде Смолинску на Литву. и Литву побѣди. и княза ихъ яль. а Смольнаны оурадивъ. княза Всеволода посади на столѣ. а са<sup>м</sup> со мно<sup>ж</sup>ство<sup>м</sup> полона с великою чѣтью ѿиде в свою си» (л. 164об.; ПСРЛ, I, стб. 469; ср.: Кленин 1993, 338). Правда, Э. Кленин полагает, что выбор перфекта *яль* связан с тем, что летописец относит это действие к заднему плану («viewed as backgrounded»), поскольку пленение чужого князя важно прежде всего потому, что оно ведет к поставлению своего, однако это все же нюансы, обычные для цепочки событий, и в более раннем тексте здесь ожидался бы аорист<sup>345</sup>. А. А. Зализняк игнорирует данный пример и полагает, что «первый случай использования перфекта в чистом повествовании (изложении последовательности событий), т. е. в образцовом семантическом контексте для аориста, приходится <...> в Лавр. <...> на записи за 1285 г.» (Зализняк 2004а, 173); имеется в виду следующий пассаж: «Того<sup>ж</sup>. лѣтѣ. воѡвали. Литва Тфѣрьского влѣкы волость. Шлешню и совкупившеса Тфѣричи. Москвичи. Волочане. Новоторжѣи. Зубчане. Рожевичи. и

<sup>345</sup> Э. Кленин приводит и еще один пример из летописи под 1256 г.: «Поѡхаша князи на Городецъ. да в Новѣгородѣ. кня<sup>з</sup> же Борисъ поѡха в Татары. а Шлехандръ кня<sup>з</sup> послалъ дары. Борисъ же бывъ Оулавчю. дары давъ. и приѡхъ в свою шѣину с чѣтью. Тое же зимы. Поѡха князь Олехандръ на Юмъ с Суждалци. и с Нооугородци. и Юмъ побѣди. и много полона приведе. и приѡхъ с чѣстью въ свою оѣину» (л. 166об.-167; ПСРЛ, I, стб. 474; ср.: Кленин 1993, 338). И здесь при желании можно усмотреть второплановость означенного перфектом действия: «The main topic of the context of *послалъ* is Boris's activity, since Aleksandr's contribution is less important than Boris's journey, the statement about Aleksandr is subject to backgrounding» (там же). Неясно все же, были ли существенны для летописца подобные нюансы.

шедше биша Литву на лѣсъ. в канунъ Спѣву дѣи. и поможе Бѣ хрѣъно<sup>м</sup>. великого кѣза ихъ Домонта оубиша. а инѣ<sup>н</sup> изѣймаша. а ѡвы<sup>н</sup> избиша. полонъ весь ѡѡша а инии розбѣжашаса» (л. 170об.; ПСРЛ, I, стб. 483); и здесь, впрочем, можно было бы считать, что военные действия литовцев были фоном для последующих событий. Я бы полагал, что эти данные можно интерпретировать как отражение в летописном тексте постепенного вытеснения аориста перфектом, распространяющегося от менее «аористных» контекстов к более «аористным». В летописи это вытеснение происходит, надо полагать, под влиянием живого языка, в котором активное употребление аориста прекратилось и нарратив стал использовать вместо аориста л-формы. В живом языке это могло случиться существенно раньше, чем появились отражения этого процесса в летописной традиции, уже в XII в., видимо, достаточно устойчивой.

Не менее существенны для обсуждаемой проблемы те случаи, когда в перфектном значении употребляются формы аориста, и это возвращает нас к вопросу об употреблении аориста в актовых формулах (в грамотах). Б. А. Успенский цитирует уже упоминавшуюся договорную грамоту Новгорода с Готским берегом 1262–1263 гг. («**Се азъ князь ѡлександръ и снъ мондмитри с посадникомъ мнѡхалъмъ и с тысяцькимъ жирославомъ и съ всѣми новгородци докончахомъ миръ с посломъ нѣмьцькимъ**» – Обнорский и Бархударов, I, 51) и пишет по поводу этого примера: «Текст явно требует формы перфекта, а не аориста, и форма аориста здесь – безусловно, дань книжной традиции. Функционирование форм аориста с перфектным значением свидетельствует о семантической недифференцированности форм аориста и перфекта» (Успенский 2002, 216).

Мы уже говорили, с какими сложностями сталкивается подобное объяснение. Аналогичное употребление аориста отмечено в грамоте № 842 середины XII в., и это значит, что исчезновение дифференциации двух времен приходится отнести ко времени не позднее самого начала XII в. И вместе с тем подобное употребление аориста наблюдается в обычных купчих, закладных и других документах, связанных с обыденной жизнью и никак не благоприятствующих стилистической возвышенности и влиянию книжной традиции. Мне представляется предпочтительным другое объяснение.

Как уже говорилось, письменная юридическая документация появляется в Киевской Руси относительно поздно, на фоне вполне сложившейся практики письма (см. § III-8). Письменная документация накладывается на отработанные процедуры устного заключения сделок, утверждения договоров и других юридических актов. Само совершение актов могло сопровождаться произнесением (при свидетелях) формул типа *се купи*, которые и означали, что сделка совершена. Форма аориста имеет здесь не обычное значение действия в прошлом, рассматриваемого вне связи с настоящим (с референциальным моментом), но значение перформатива (ср.: Зеemann 1983, 555–556), и эта функция аориста никак, видимо, не выводится из того круга значений, в которых аорист употребляется в книжном языке. В этой же функции мог использоваться и перфект (см., например двинские грамоты: Валк 1949, № 123, с. 182; № 125, с. 183). Что появляется раньше, аорист или перфект, неясно; можно сконструировать семантическую deriva-

цию, идущую и в ту, и в другую сторону. В принципе, в перформативном употреблении время глагола нерелевантно. Легко представить себе, что словами, фиксирующими сделку, могут быть (если воспользоваться современным русским языком) и *купил*, и *покупаю*, и *поплю*; аорист в этой перформативной функции не кажется менее уместным, чем перфект, тем более что мы не знаем и не имеем возможности узнать, каково было значение аориста в ненарративных текстах восточных славян. Весьма схожее и близкое к перформативному значение аориста мы находим в прямой речи древлян, пришедших к Ольге: «и повѣдаша Шльзѣ ѡко Деревлане придоша. и возва е Шльга к собѣ. [и ре<sup>ч</sup> имъ] добри гостѣе придоша. и рѣша Деревлане придохомъ кнагине» (л. 15; ПСРЛ, I, стб. 55). Аорист *придохомъ* употреблен здесь в результативном значении, причем с результатом актуальным в момент речи (ср.: Исаченко, II, 362). Сказалось ли здесь влияние перформативного аориста, известного летописцу XI в., или отразились ли здесь странности разговорного ненарративного употребления аориста, сказать трудно, и не видно, какие дополнительные источники помогли бы решить эту проблему.

Все рассмотренные свидетельства подводят к предположению, что в живом языке восточных славян имело место постепенное исчезновение аориста к началу XIII в. Аорист вытеснялся перфектом постепенно, сначала в периферийных для аориста функциях, а затем и в основных – в нарративных цепочках. В книжном языке аорист продолжает функционировать как основное время нарратива, однако с XIII в. варьируя с перфектом (*л*-формами), причем объем вариативности зависит от характера книжного текста и в целом постепенно возрастает. Понятно, что этот же процесс приводит и к исчезновению собственно перфекта, становящегося основным прошедшим временем<sup>346</sup>.

<sup>346</sup> Г. А. Хабургаев пытался решить проблему хронологизации исчезновения простых претеритов из живого языка с помощью данных лингвистической географии. Он указывал на то, что «изоглосса так называемого “нового перфекта” (*он ушотцы, сестра уехано* и т. п.), который должен был развиваться только <...> после принятия на себя старым перфектом функции прошедшего времени <...>, т. е. только после утраты простых претеритов, включая аорист <...>, совпадает с изоглоссами структурно не связанных между собой явлений, развившихся не позднее XII в. Иначе говоря, “современное” использование образований на -л- от основ разных видов с “неперфективными” значениями <...> должно было оформиться не позднее XII в.» (Хабургаев 1991, 48). Вряд ли, однако, этот аргумент имеет то значение, которое приписывает ему автор. Принимая в принципе датирующую роль лингвогеографических данных, нельзя не заметить, что изоглосса сама по себе никак не указывает на первоначальную грамматическую семантику конструкции, в нашем случае «нового перфекта». «Новый перфект» мог развиваться в северо-западных восточнославянских говорах в XII в. с каким-то специфическим значением, которое мы сейчас не можем реконструировать, и лишь позже приобрести значение, фиксируемое в современных говорах. В силу этого хронология устранения «старого» перфекта, т. е. экспансии *л*-форм на неперфективные значения прошедшего времени (как можно полагать, не одномоментный, а длительный процесс, постепенно захватывавший разные семантические контексты), остается размытой, и опереться на что-либо, кроме интерпретации письменных источников, не удастся.

**6. 2. Употребление имперфекта: трансформации книжной традиции в разных типах текстов.** Как уже говорилось, исчезновение простых претеритов из живого языка восточных славян отнюдь не повело к исчезновению их из языка книжного, в том числе и из его гибридного регистра. Простые претериты продолжают быть основой темпоральной структуры нарратива, как в летописях, так и в житиях и других повествовательных текстах. Было бы неверно рассматривать простые претериты в письменном языке как реликты некоего предшествующего состояния. Письменный язык представляет собой, как неоднократно указывалось, достаточно автономный узус, и один из аспектов этой автономии как раз и состоит в том, что специфически книжные элементы (те, которые отсутствуют в живом языке) получают в нем развитие, обладающее собственной преемственностью и собственной динамикой. Динамика подобных явлений по существу не менее «органична», чем динамика изменений в живом языке. Она требует такого же анализа и может давать вполне систематическую картину.

Я остановлюсь на эволюции лишь одного фрагмента системы претеритов, рассматривая его вне связи с другими фрагментами (что, конечно, лишает предлагаемый анализ системности, но дает возможность проследить некоторые явления в деталях). Предметом рассмотрения будет употребление имперфекта в летописных и агиографических текстах. Имперфект, как мы знаем, употребляется не столь часто, как аорист, и это делает разбор его употреблений обозримым<sup>347</sup>. Переходя от памятника к памятнику, мы можем наблюдать разнообразие типов употребления и пытаться соотнести отдельные типы с хронологической шкалой. Если это и не дает полноценной истории явления, появляется по крайней мере обзор существующих вариантов.

Претеритный морфосинтаксис может анализироваться по разным параметрам. В принципе можно было бы рассмотреть, какие факторы обусловливают выбор той или иной претеритной формы: какие семантические, контекстуальные и прагматические моменты формируют оппозицию аориста и имперфекта, аориста и перфекта, перфекта и плюсквамперфекта и т. д. В этих рамках можно пытаться сконструировать общее значение (*Grundbedeutung*) отдельных прошедших времен в «древнерусском» (или церков-

---

<sup>347</sup> Как и в других случаях, мы пользовались электронными версиями текстов и выявляли формы имперфекта с помощью автоматического поиска. У такого способа получения данных есть неизбежные недостатки. Мы просматривали все последовательности вида *ше* и *ху*, что давало в результате полный перечень форм имперфекта 3 лица ед. ч. и 3 лица мн. ч.; формами 1 и 2 лица, равно как формами дв. числа мы позволили себе пренебречь ради экономии усилий. Возможно, в результате мы упустили из внимания какие-то специальные типы употребления (например, употребление имперфекта в прямой речи). Представляется, однако, что в статистическом отношении отброшенной оказалась лишь очень небольшая часть употреблений, менее 1%, и что основные процессы выявляются вполне адекватно при анализе остающихся 99% употреблений. В исследованиях такого рода приходится делать выбор между шириной охвата материала и тщательностью рассмотрения отдельных текстов; в настоящей работе выбор сделан в пользу широты охвата материала.

нославянском) языке. Такие попытки делались (ср., например: Генсьорский 1957; Сконефельд 1959), но, как и в других случаях выделения общего значения, приносили сомнительные результаты, поскольку основывались на слишком общих признаках – таких, в терминах которых невозможно было описать динамику явления. Когда, скажем, говорится о том, что аорист обозначает предельность действия в прошлом, а имперфект – неопределенность, это не только вынуждает постулировать многочисленные исключения (что само по себе нестрашно), но не снабжает нас инструментом, который позволял бы сказать, чем один памятник отличается от другого или чем памятники XII в. отличаются от памятников XVI в. (а это делает малоосмысленным все предприятие).

Не задаваясь даже вопросом о том, нужны ли нам вообще общие значения и соответствуют ли эти конструкты хоть какой-то языковой реальности, можно утверждать, что наблюдаемое в восточнославянских памятниках употребление претеритов плохо поддается анализу в данных терминах. Мы сталкиваемся со слишком большим числом случаев, когда вполне последовательный (повторяющийся от памятника к памятнику) узус оказывается в противоречии с «общими» закономерностями употребления имперфекта (см., например, ниже о глаголах речи). Это особенно заметно, когда мы имеем дело с трафаретами: употреблением имперфекта, связанным не с какими-либо общими закономерностями, а с определенной лексемой или группой лексем, и приспособленным для описания конкретной нарративной ситуации. В этих случаях очевидно, что пишущий исходит не из общих соображений, а из предшествующего узуса, на который он ориентировался (и который мог переосмысливать, не считаясь ни с какими общими закономерностями). Непросто установить, каково соотношение общих соображений и частной преемственности в каждом отдельном памятнике (да и в каждом отдельном контексте).

При этих обстоятельствах мы сочли целесообразным начать с установления конкретных параметров (семантических и функциональных) каждого из употреблений имперфекта. Очевидно, что существует определенная корреляция между семантикой глагола (принадлежностью его к той или иной семантической группе) и его употреблением в форме имперфекта (см. выше о связи лексического значения глагола и его синтаксических свойств, § V-5; ср.: Левин 1993). От определенных глаголов имперфект вообще не образуется, например, от однократных глаголов с суффиксом *-ну-*. От ряда глаголов имперфект употребляется лишь в тех случаях, когда имеется в виду множественное действие (см. об этом понятии ниже), но не тогда, когда имеется в виду процесс (длительное действие) или фоновое действие; в этих случаях не появляется имперфект от глаголов достижения (achievement в классификации Вендлера). В этой ситуации два значимых фактора, которыми может быть охарактеризовано каждое из употреблений имперфекта, – это значение глагола (семантическая группа) и его функция в данном контексте<sup>348</sup>. В силу того, что книжное употребление преемственно вос-

<sup>348</sup> Вообще говоря, здесь встает задача определить, могут ли при тех же факторах, т. е. при том же значении глагола и при той же функции глагольной формы наряду с импер-

производит узус предшественников, радикальных сдвигов в данных параметрах по большому счету не происходит, однако статистические характеристики могут противопоставлять разные типы употребления (разные типы текстов) и меняться от эпохи к эпохе.

**6. 2. 1. Летописная и агиографическая письменные традиции.** Рассмотрение того, как употребляется имперфект в летописях, целесообразно начать с Новгородской первой летописи; в ней употребление имперфекта существенно редуцировано по сравнению с большинством современных ей книжных текстов, так что специфические черты летописного узуса выступают здесь с особой отчетливостью. В Новгородской первой летописи (Синодальный список) встречается всего 213 форм имперфекта 3 лица ед. и мн. числа. 107 форм из этого числа (50%) являются формами глагола *быти* (*бѣше* и *бяху* – не перечисляю здесь правописные варианты), употребленными в разных функциях. В 34 случаях *быти* употреблен как экзистенциальный глагол, ср.: «Тои же зиме бѣше сильнѣ морозѣ» (НПЛ, л. 33); «Цесарь же Исаковицѣ бѣшетѣ въ Влахернѣ, и хотяше въвести Фрягы отаи боярѣ въ град» (там же, л. 67). Также в 34 случаях *быти* употреблен как связка, ср.: «загоресѣ Савѣкине дворе на Ярышевѣ улицѣ, и бѣше пожарѣ зѣль, сѣгорѣша церкѣви 10» (там же, л. 53об.–54); «Сѣ же Дужѣ много брании замышляше на град, и вси его послушаху, и корабли его велиции бяхутѣ, с нихѣ же градѣ възяша» (там же, л. 71об.); понятно, что в отдельных случаях интерпретация *быти* как связки или как полнозначного глагола в экзистенциальном значении неоднозначна, однако для нас это принципиального значения не имеет. В 35 случаях *быти* в имперфекте выступает как вспомогательный глагол при образовании плюсквамперфекта, ср.: «Тои же весне прѣстависѣ архиепископѣ Нифонтѣ, априля въ 21: шѣль бѣше Киеву противу митрополита» (там же, л. 28об.); «Томѣ же лѣтѣ избища [*так в ркп.*] плѣсковици Чюдѣ поморьскую: пришли бо бяху въ 7 шнекѣ и оболочилисѣ около порога въ озеро» (там же, л. 49об.–50). В 4 случаях *быти* в имперфекте употреблен в синтаксических конструкциях с инфинитивом и действительным причастием, ср.: «и тако быша безѣ мира: бяху бо перевѣтъ держаче с Нѣмци плѣсковичи, и подѣвели ихѣ Твердило Иванковичѣ сѣ инѣми» (л. 127об.–

фектом употребляться и другие прошедшие времена (аорист, перфект). В общем виде ответ известен: такого рода вариативность имеет место, и попытки увидеть семантические или прагматические факторы, благоприятствующие одному из вариантов, нередко никаких результатов не приносят. Например, мы читаем в Житии Феодосия в сцене разговора матери преподобного с Антонием: «*тачѣ сѣдѣшѣма има. начатѣ жена простирати к немуѣ бесѣдоу многоу. послѣди же оуави виноу кѣа же ради приидѣ. и глѣше же молю ти сѣ ѿчѣ повѣжѣ ми аще сѣе кѣтъ сѣнѣ мон. много же си жалю кѣо ради не вѣдоуци аще оубо живѣтъ кѣтъ. старѣцѣ же сын прѣстѣ оумѣмѣ. и не разоумѣвъ лѣсти кѣа. глѣа ки тако сѣе кѣтъ сѣнѣ твон. и не жали си кѣо ради сѣе бо живѣтъ кѣтъ*» (Усп. сб., л. 32аб). Почему мать *глаголаше*, а старец *глагола*, никакому вразумительному объяснению не поддается. Можно предположить, что разные глаголы допускают подобную вариативность в разной степени и что разные памятники различаются в данном отношении; это, в принципе, интересная проблема, и результаты такого исследования могли бы пролить свет на эволюцию системы претеритов в книжном языке. Для обзорной работы, однако, это слишком трудоемкое исследование, и мы его предпринять не решились.

128); «О, великое, братье, чюдо съвади оканьныи дияволъ; кѣгда бѣше брани быти на поганыя, тѣгда ся начяша бити межи собою» (там же, л. 90об.).

В 103 случаях в имперфекте стоит глагол, отличный от *быти*. Функции этих имперфектных форм распадаются на несколько классов. Самый большой класс включает обозначения множественных действий, имперфект в этой функции употребляется 53 раза. Множественность может быть связана с разными параметрами обозначаемого действия (ср. о разных видах множественности: Кленин 1995, 83; Петрухин 1996, 70). Наиболее простой случай множественности – это итератив, т. е. многократно повторяемое действие (одно и то же действие, совершаемое несколько раз одним и тем же агенсом); такое употребление имперфекта встречается в Новгородской первой достаточно часто (а именно 25 раз), ср.: «Оттоле вѣста зло: по вся дни загарашеся невидимо и бѣмѣсть и боле; и не съмяху людѣе тировати въ домѣхъ» (НПЛ, л. 54) (повторяемость действия подчеркивается в данном примере обстоятельством *по вся дни*). Как и акциональная множественность других типов, итеративность совместима как с предельными, так и с непредельными глаголами, ср., например, непредельный глагол в следующем примере: «Новгородѣци же много моляхуся: “не ходи, княже”; и не можахуть его уяти, и поклонивъся поиде» (там же, л. 88об.).

В качестве отдельного подтипа множественности может выделяться узуальное действие, не противопоставленное сколько-нибудь отчетливо итеративу, однако подчеркивающее скорее обычность, чем повторяемость (таких примеров в НПЛ 11). Ср.: «ядяху люди сосновую кору и листь липовѣ и мохъ» (там же, л. 81об.); «Тѣгда же оканьныи дияволъ, испърва не хотѣи добра роду человѣчю и завидѣвъ ему, зане прогоняшеть его ночью стояниемъ, пѣниемъ и молитвами, и въздвиже на Арсения, мужа кротка и смерена, крамолу велику» (там же, л. 106).

Особый тип множественности представляет собой действие, составленное из ряда отдельных актов, например, совершенных разными субъектами или направленных на разные объекты. Так, скажем, в следующем примере: «Съ же Дужь много брании замышляше на град, и вси его послушаху, и корабли его велиции бяхуть, с нихъ же градъ възвѣша» (там же, л. 71об.), – *послушаху* образуется из актов послушания множества субъектов, обозначаемых в тексте как *вси*. Подтипом этой субъектной множественности является дистрибутивная множественность, когда из множества агенсов выделяются отдельные части и действие приписывается одной из частей или каждой части, ср.: «Тои же весне прѣставися архиепископъ Нифонтъ, априля въ 21: шель бѣше Киеву противу митрополита; инии же мнози глаголаху, яко, полупивъ святую Софию, пошель Цесарюграду» (там же, л. 28об.–29). Наряду с субъектной множественностью (представленной 7 примерами) существует и объектная множественность (представленная 3 примерами), ср.: «а новгородѣе измавъ Всеволодъ за Волокомъ и по всѣи земли своеи, държаше у себе, не пустя ихъ Новугороду; нѣ хожаху по городу по воли Володимири» (там же, л. 58–58об.); Всеволод схватил новгородцев одного за другим и держание состояло из пленения каждого из этих новгородцев. Наконец, имеются такие случаи, когда действию присуща множественность, которую тру-

дно определить в описанных выше категориях; ее можно было бы назвать ситуационной множественностью, поскольку расчлененность действия выводится не из отдельных свойств высказывания, а из совокупного смысла, вложенного повествователем в описание ситуации, ср.: «О, горе, братье, толь лють бяше пожаръ, яко и по водѣ хожаше огонь, и много товара погорѣ на Волховѣ в лодьяхъ» (там же, л. 143); очевидно, что огонь не один раз прошелся по воде, что он ходил туда и сюда, и именно это множественное движение обозначает летописец с помощью имперфекта (таких примеров 7); впрочем, надо заметить, что в таких интерпретациях всегда присутствует элемент произвола, поскольку невозможно исключить, что летописцу была важна не множественность, а процессуальность (длительность).

Обозначение процессуальности также может быть функцией имперфекта, и нередко именно это значение (длительного действия в прошлом) рассматривается как основное для имперфекта. Это в принципе хорошо согласуется с «видовым» происхождением имперфекта, но для нашего исследования подобные этимологические соображения никакой ценностью не обладают: в летописных текстах процессуальность обозначается с помощью имперфекта достаточно редко, так что в статистических терминах это никак не основное значение. Можно предположить, что летописный нарратив сосредоточивается скорее на переходе от действия к действию, чем на описании отдельного действия в его развертывании. Как бы то ни было, в НПЛ мы находим лишь два примера с процессуальным имперфектом, ср.: «И вси хотяху Радиноса; онъ же не хотяше царства, нъ кръяшеся от нихъ, измѣнивъся въ чърны ризы» (там же, л. 67); Радинос скрывался, пока все хотели поставить его на царство; действие скрывания длилось в том же временном отрезке, что и состояние хотения.

Состояния образуют одну из основных групп глаголов, употребляющихся в имперфекте; в НПЛ этот узус представлен 37 примерами, что составляет 36% от всех «смысловых» имперфектов (т. е. имперфектов не от глагола *быти* и не употребленных по ошибке). Они и используются для обозначения состояния; соответствующие предикативные единицы, когда они не употребляются изолированно, обычно обеспечивают разрыв в событийной цепочке, представляющий собою дополнение, пояснение или комментарий нарратора к излагаемым событиям. Ср., например: «Иде князь Ярославъ на Новыи търгъ, и прияша и новоторожци съ поклономъ; и жяляху по немъ въ Новгородѣ добрии, а злии радовахуся» (там же, л. 58); собственно события состоят в переходе Ярослава в Торжок и в приятии его новоторжцами; далее следует добавление летописца о настроениях новгородцев. Ср. еще: «Увѣдавъ Онанья, хотя ему добра, посла по немъ втаинѣ Якуна; и увѣдавшѣ черныи люди, погнаша по немъ, и хотѣша на дворъ его, и не да Онанья: “братье, аже того убие, убие мене переже”; не вѣдѣше бо, аже о немъ мысль злу свѣщаша самого яти, а посадничество дати Михалку» (там же, л. 134); сначала рассказывается о конфликте Онаньи с черными людьми, а потом летописец, обладающий той информацией, которая была недоступна Онанье, комментирует неразумность его поступков. Впрочем, обозначаемое имперфектом состояние может не прерывать нарративную цепочку, а завершать ее как указание на стабильную ситуацию, достиг-



нутую после описанной последовательности действий, ср.: «Иде князь Гюрги Андреевиць съ новгородьци и съ ростовици Киеву на Ростиславице и прогнаша е ис Києва, и стояше подъ Вышегородъмъ 7 недѣль» (там же, л. 38об.).

В НПЛ представлено и весьма специфическое употребление имперфекта с глаголами речи. Конечно, и глаголы речи могут употребляться как обозначения множественного действия или процесса, и в этом случае их принадлежность к данной группе глаголов нерелевантна. Ср., например: «и много глаголаху на нь, нь собе на грѣхъ» (там же, л. 29); мы имеем здесь дело с итеративным значением, подчеркнутым наречием *много*. Однако в многочисленных церковнославянских памятниках, начиная с евангельских переводов, глаголы речи могут употребляться в имперфекте без всякой видимой функциональной мотивации; можно было бы сказать, что у глаголов речи нейтрализуется противопоставление имперфекта и аориста, ср. в Остр. ев.: «и глаголааше сего ради грѣхъ вамъ. тако никто же не можетъ прити къ мѣнѣ аште не бждеть дано кмоу отъ отца моего» (л. 24г–25а); здесь явно имеется в виду одноразовый речевой акт, так что употребление аориста *глагола* было бы не менее уместно. Такие примеры имеются и в НПЛ, хотя и в небольшом количестве (два примера), потому, видимо, что НПЛ, как уже отмечалось (см. выше, § V-5.1.1), сравнительно скупо пользуется прямой речью, ср.: «а Нифонтъ тако мѣлвляше: “не достоинъ есть сталь, оже не благословенъ есть от великаго сбора, ни ставленъ”» (НПЛ, л. 26); и здесь Нифонт единожды высказал свое мнение о поставлении Климента в киевские митрополиты. Никакого семантического объяснения для такого употребления имперфекта, как мне представляется, нет. Существенный момент, скорее, состоит в особой функции *verba dicendi* – они вводят прямую речь, и для этой функции форма глагола безразлична (так же как противопоставление глагола и причастия).

В НПЛ, как и в других летописных памятниках, имеется и некоторое количество случаев, когда имперфект употребляется без всякой видимой мотивации для обозначения одноразового действия. Можно было бы считать, что это «неправильное», нарушающее норму употребление имперфекта, хотя такое суждение предполагает куда более четкую фиксацию нормы, чем допускает наличный материал. В НПЛ находим три таких примера (2,9% от всех «смысловых» имперфектов): «Исходящю лѣту, слахуся новъгородьци къ Всѣволоду посадника дѣля Мирошке и Иванка и Фомѣ» (там же, л. 57–57об.); нет никаких оснований думать, что речь идет о неоднократных послылках, так что *слашася* было бы столь же подходящей формой, как и *слахуся*, и мотивы сделанного автором выбора остаются неясными. Это же относится и к двум другим примерам: «Ходи Мирославъ посадникъ из Новагорода мирить кыанъ съ черниговьци, и приде, не успевъ ницто же: сильно бо възмялася вся земля Русская; Яропѣлкъ к собе зваше новъгородьце, а черниговьскыи князь к собе; и бишася, и поможе богъ Олговицю съ черниговчи, и многы кыяны исеце, а другыя изма руками» (там же, л. 16); «Приде Гюрги князь и-Суждаля Смольньску и зваше новгородьце на Києвъ на Всѣволодка, и не послушаша его» (там же, л. 20–20об.). И Ярополк, и Гюргий, по-видимому, звали к себе новгородцев один раз, и именно этот еди-

ничный акт не возымел действия, о чем и сообщает летописец. Как мне представляется, было бы натяжкой рассматривать *зваше* в приведенных примерах как *verbum dicendi*, а никакой другой мотивировки для употребления имперфекта в этих случаях не заметно.

Наблюдается в НПЛ и другое явление, более широко представленное в поздних памятниках, но в ограниченном виде появляющееся и в НПЛ; имею в виду трафареты, когда вместо мотивировки выступает прецедент. В этом случае употребление имперфекта соотнесено с определенным глаголом или несколькими синонимическими глаголами и с сообщением об определенной ситуации; летописец пользуется сложившимся способом описания данной ситуации, иногда, однако же, переосмысляя свой образец и в результате переосмысления расширяя или сужая сферу его приложения. Так, в НПЛ устойчиво употребляется имперфект от глагола *творити* в значении, которое И. И. Срезневский определяет как 'указывать, говорить что про кого-либо' (Срезневский, III, стб. 936), но которое лучше может быть описано как 'приписывать кому-либо или чему-либо какие-либо действия или свойства', ср. примеры: «И сѣде 2 мѣсяця, и пустиша из города июля въ 15, а Володимира, сына его, приаша. А се вины его творяху: 1, не блюдетъ смердъ; 2, "чему хотелъ еси сести Переяславли"» (НПЛ, л. 17); «Новгородѣци же того не бережаху и убиша Захарию посадника и Неревина и Несду бириця, яко творяхуть е переветь дръжаще къ Святославу» (там же, л. 34об.); «И убиша Сбышку Волосовица и Негочевица Завида и Моислава Поповица сами путъники, а друзии кунами ся откупиша; творяхуть бо я съвѣтъ дръжаще на свою братью, а то богови судити» (там же, л. 54об.); «Того же лѣта ижгоша вълхвы 4, творяхуть е потворы дѣюще, а богъ вѣсть, и съжгоша ихъ на Ярославли дворе» (там же, л. 102об.-103); «нѣ тѣхъ Корѣла, кде обидуче, въ лѣсе ли, выводяче, избиша: бе бо ихъ пришло творяху 2000 или боле, богъ вѣсть» (там же, л. 103об.-104); «Того же лѣта, еще не дошедшу князю Михаилу до города, яша Игната Бѣска, и биша и на вѣчи, и свергоша и с моста въ Волховъ: творяхуть бо его перевѣтъ державша к Михаилу» (л. 160об.). *Творити* в рассматриваемом значении представляет собой предельный глагол деятельности, в некоторых случаях имеется в виду одноразовый акт (например, в первом из приведенных примеров, речь идет о том, в чем обвинили Всеволода; нет никаких оснований думать, что его обвиняли много раз или что летописца интересовал процесс обвинения), так что употребление имперфекта не кажется мотивированным.

В ряде случаев определенная мотивация просматривается, а именно суждение о персонажах повествования выступает как фон (часто поясняющий фон) для действия, совершаемого в отношении данного персонажа; скажем, Игната Беска сбросили с моста в Волхов, потому что считали, что он предательски сносился с князем Михаилом (о фоне как мотивировке употребления имперфекта см. ниже); эта поясняющая функция эксплицирована частицей *бо*. По-видимому, именно это употребление представляет собой типичную ситуацию, поскольку о людском мнении в летописи, как правило, говорится именно тогда, когда оно послужило мотивом для какого-то действия. От этих образцовых употреблений трафарет распространяется на те случаи, где фоновость (функция мотива) формально не выражена (пример

про четырех волхвов), далее на те случаи, где фоновость вовсе не просматривается (первый пример), а еще далее на те случаи, где *творяху* употреблено в другом значении<sup>349</sup>. Следует также заметить, что аорист от *творити* в НПЛ не употребляется (ни в каком из значений этого глагола); аорист употребляется от видового коррелята данного глагола *створити* (можно полагать, что у данного предельного глагола видовая оппозиция уже оформилась), ср.: «зане не створи имъ ряду» (там же, л. 28), «кивоть створи» (там же, л. 29), «и створи манастирь» (там же, л. 51), «и створи праздыникъ четьнь и службу створи» (там же, л. 59об.), «добро створихъ брату моему Олѣксѣ» (там же, л. 65), «створиша вѣче на посадника Дмитра и на братью его» (там же, л. 74).

Еще один трафарет имеет дело с описанием дефицита продуктов питания и сопровождающего дефицит взлета цен на них. Цена выражается указанием на то, что данный продукт «купляху» за такие-то деньги, ср.: «а на весну ходи Всѣволодъ съ новгородѣци на Емь, въ вѣλικое говение, и побѣди я; нѣ лють бяше путь, оже купляху по ногатѣ хлѣбъ» (там же, л. 10об.); «Бысть дорогъвъ Новегородѣ: и купляху кадь рѣжи по 4 гривнѣ, а хлѣбъ по 2 ногатѣ» (там же, л. 37); «На ту же зиму бысть дорогъвъ, оже купляху по двѣ ногате хлѣбъ» (там же, л. 49); «А Новѣгородѣ зло бысть вельми: кадь ржи купляхуть по 10 гривенъ, а овса по 3 гривнѣ, а рѣпѣ возъ по 2 гривнѣ» (там же, л. 81об.); «И въздорожиша все по тѣргу: и хлѣбъ, и мяса, и рыбы; и оттолѣ ста дороговъ: купляху хлѣбъ по 2 кунѣ» (там же, л. 104об.); «И тако быша безъ мира лѣто все; и не пусти князь гости къ нимъ, и купляху соль по 7 гривенъ бѣрковскѣ» (там же, л. 115об.–116). Можно считать, что *купляху* представляет собой предельный глагол, употребленный здесь в итеративной функции, что и мотивирует употребление имперфекта; хотя формально это так, смысл состоит в том, что, например, хлеб стоил ногату; при такой диатезе ясно, что имеется в виду не действие, а состояние (которое тоже может мотивировать имперфект)<sup>350</sup>. По этой линии идет и распространение трафарета, ср. в описании победы

<sup>349</sup> Фоновость не просматривается и в следующих двух примерах, в которых *творяху* употреблено в несколько иной синтаксической конструкции (суждение агентов *творяху* дается в придаточном с союзом *яко*), что также можно рассматривать как распространение трафарета, ср.: «и ту бысть велика съча Свѣемъ. И ту убиень бысть воевода ихъ, именемъ Спиридонъ; а инии творяху, яко и пискупъ убьень бысть ту же» (там же, л. 126об.); «и новгородци не вѣдяху, кдѣ князь идетъ; друзии творяху, яко на Чюдъ идетъ» (там же, л. 135). *Творяху* в ином значении ('делать') употреблено в следующем примере: «И бысть заутра, съѣха князь с Городища, и оканьнии Татарове с нимъ; и злыхъ свѣтомъ яшася по число: творяху бо бояре собѣ легко, а меншимъ зло» (там же, л. 137об.); в нем, однако же, поясняющая функция (в данном случае моралистического комментария) выражена частицей *бо*.

<sup>350</sup> В нескольких случаях употребляется не имперфект 3 лица мн. числа, а имперфект 1 лица мн. числа (поэтому данные примеры не учитываются в наших статистических выкладках); никакой семантической нагрузки это отличие не несет, ср.: «Еще же, за грѣхы наша, не то зло оставися, нѣ паки на зиму ста вся зима тепломъ и дѣжгемъ, и громъ бысть; и купляхомъ кадку малую по 7 кунѣ» (там же, л. 32); «И купляхомъ по гривнѣ хлѣб и поболшю, а ржи 4-ю часть кади купляхомъ по гривнѣ серѣбра» (там же, л. 114).

новгородцев над суздальцами: «и къ вечеру побѣди я князь Романъ съ новгородѣци, силою крестъною и святою богородицею и молитвами благовѣрнаго владыки Илие, мѣсяця феуаря въ 25, на святого епископа Тарасия, овы исѣкоша, а другыя измаша, а прокъ ихъ злѣ отбѣгоша, и купляху суждальць по 2 ногатѣ» (там же, л. 37); речь здесь идет не о дефиците, а об избытке (и это семантическое расширение трафарета), но при этом говорится не о том, что новгородцы покупали суздальцев по две ногаты, а о том, что суздальцы стоили всего две ногаты, а покупать их могли вовсе не новгородцы<sup>351</sup>.

Как уже было сказано, употребление имперфекта в НПЛ редуцировано. Это сразу же бросается в глаза при сопоставлении НПЛ и ПВЛ. По объему ПВЛ лишь немногим больше НПЛ, но имперфект употребляется в ней в три раза чаще: 212 форм НПЛ соотносятся с 650 формами ПВЛ. Как мы увидим ниже, интенсивность употребления имперфекта – это важный показатель книжности текста, его ориентированности на корпус образцовых текстов. ПВЛ, как известно и как неоднократно указывалось в настоящей работе, существенно ближе книжным образцам, чем НПЛ. Это сказывается и на частоте форм имперфекта.

Лингвистическая значимость этого момента не вполне ясна. По крайней мере для ранних текстов было бы неверно думать, что пишущий, создавая более книжный текст, при выборе между аористом и имперфектом выбирает имперфект, а пишущий менее книжный текст выбирает аорист. Хотя определенная вариативность аориста и имперфекта существует уже в древнейших памятниках (см., например, выше о глаголах речи), в основном этот выбор соотносен с семантикой (с характером описываемой ситуации), а не с регистровыми параметрами. Грубо говоря, когда речь идет о фоновом процессе или об узуальном действии, употребляется имперфект, а когда фиксируется одномоментное действие в последовательности действий, как правило, употребляется аорист. Поэтому статистические различия не прямо соотносены со степенью книжности текста, а опосредованно. Можно полагать, что в более книжных текстах события излагаются несколько иным образом, чем в менее книжных; в более книжных больше комментариев и пояснений, указаний на фон и на повторяемость ситуации, внимания к состоянию персонажей и т. д.; менее книжные стремятся скорее зафиксировать простые цепочки событий, и именно это создает различия в интенсив-

---

<sup>351</sup> Нужно также отметить два случая ошибочного употребления имперфектных форм. Оба они появляются в повествовании о взятии Царьграда фрягами под 1204 г. В одном случае имперфект употреблен, по-видимому, вместо аориста: «а из бѣчькъ гвозды вынимаша, и видеше воду текущую, идоша прочь, и не обрѣтоша его» (там же, л. 65об.); форма ед. числа *видеше* стоит вместо мн. числа *видеша* или, возможно, вместо причастия *видевше*. В другом случае ошибка семантическая, имперфект употреблен вместо плюсквамперфекта: «Фрязи же и вси воеводы ихъ възлюбиша злато и сръб्रो, иже мѣняшеть имъ Исаковиць, а цесарева велѣння забыша и папина» (там же, л. 65об.–66). В позднейших текстах такое смешение имперфекта и плюсквамперфекта не редкость, однако в НПЛ в целом оппозиция этих времен выдерживается вполне последовательно, и на этом фоне рассматриваемое употребление представляется девиантным.

ности употребления имперфекта. Можно думать даже, что у составителей более книжных и менее книжных текстов несколько различаются интересы и они немного по-разному отбирают события, становящиеся предметом повествования. Более книжные тексты в большей степени заинтересованы в предыстории, исторических прецедентах, моральном смысле событий и внутренних параметрах действий, общих схемах и постоянных характеристиках, и вся подобная проблематика интенсифицирует употребление имперфекта. Данные факторы могут, конечно, рассматриваться как экстралингвистические, как своего рода прагматика книжного узуса, зависимость его от жанра, однако четкой границы между системными и прагматическими факторами нет, созданные по определенному образцу тексты образуют отдельные лингвистические традиции, и поэтому для истории языка такие различия существенны, каково бы ни было их происхождение.

Замечательным образом, при существенно более интенсивном употреблении имперфекта в ПВЛ сравнительно с НПЛ, имперфект от глагола *быти* употребляется здесь реже, чем в НПЛ, а именно 76 раз, что составляет всего 11,7% от всех употреблений имперфекта. В 27 примерах мы находим экзистенциальное значение, ср.: «Придоша Печенизи пѣрвое на Ру<sup>а</sup>кую землю. а Сѣославъ баше в Переяславци» (ПСРЛ, II, стб. 53). В 22 случаях формы имперфекта функционируют как связка, ср.: «Оумѣршу же Рюрикови. прѣдасть княжение свое Улгови. ѿ рода ему суща. вѣдавъ ему на руцѣ сѣа своего Игоря. баше бо молодъ велми» (там же, стб. 16). Относительно редко *быти* в имперфекте используется как вспомогательный глагол при образовании плюсквамперфекта, таких случаев всего 15, ср.: «и позва к собѣ нарочитаа мужа. иже баху. исьсѣкли Вараги» (там же, стб. 128). В 12 примерах мы имеем дело с использованием *быти* в синтаксических конструкциях с неличными глагольными формами, ср. с инфинитивом: «и баше видити радость велика на нѣси и на земли. толико дѣшъ спѣаеми<sup>а</sup>» (там же, стб. 102), или с действит. причастием: «и прѣ<sup>и</sup>ѣха на мѣсто идеже баху лежаще кости его голы. и лобъ голъ» (там же, стб. 29).

Предсказуемым образом основной функцией имперфекта в ПВЛ оказывается обозначение множественных действий, в этой рубрике насчитывается 296 примеров (45,5% всех употреблений форм имперфекта). В большинстве случаев множественность реализуется как узуальность (196 примеров) или итеративность (46 примеров) – две эти рубрики часто нечетко противопоставлены. В этом случае вполне заметен тот тематический фактор (большей заинтересованности в исторических константах и моральных уроках), о котором мы говорили непосредственно выше. В летописи содержатся целые пассажи, где говорится о нравах и обычаях как отдельных народов, так и отдельных лиц (печерских иноков или благочестивых князей – особенно в энкомиастическом контексте). См., например, в предисловии к ПВЛ о нравах восточнославянских племен: «не хожаше женихъ п<sup>о</sup> невѣсту. но привожаху вечеръ. а заоутра приношаху что на неи владуче... а Деревлани живаху звѣрьскимъ шбразомъ. живуще скотъскы. и оубиваху другъ друга. ядуще все нечѣто... и браченъа в нихъ не быша. но оумыкаху оуводы дѣца... и бѣраци не бываху в нихъ. но игрища межю селы. и схожахуса на игрищ<sup>а</sup>. на пласанъа. и на вса бѣсовьскыа пѣ<sup>а</sup>ни. и ту

оумыкаху жены собѣ. с неюже кто свѣщеваше<sup>с</sup>» (там же, стб. 10). В описании жизни Киево-Печерского монастыря: «и тако же и старѣишии имаху любовь к меншимъ. наказаху и. оутѣшающе аки чада възлюбленаѣ... аще который братъ впадетъ в кое любо согрѣшение и оутѣшаху и. и епитемью единого брата. раздѣлаху .ѣ.-ѣ. или .ѣ. за великую любовь... и вса братьѣа имаху ш томъ печаль велику. и посылають по нь приводаху брата къ монастырю. и шедше вси покланяхуса игумену. и оумолать игумена. и приимаху в монастырь. брата с радостью... аще бо коли кто. принесаше дѣтищъ боленъ. качимъ любо недугомъ. шдержимъ. приношаху в монастырь и абѣ твораше мѣтву. и масломъ сѣмъ помазаше. и абѣ исцѣлѣваху приходящи к нему... стояше бо крѣпко въ пѣньи. дондеже ѿпоаху. оутреннюю. и тогда идаше в кѣлюю свою» (там же, стб. 179–181). Такого рода пассажи, наполненные имперфектами, имеют вполне ощутимый статистический эффект, делая узualmente множественность основной рубрикой имперфектного узуса. В качестве примера итеративной множественности приведу следующий пассаж: «и многажды бѣси пакости дѣаху. и глѣаху ему и нашъ еси поклонилъса еси нашему старѣишины и намъ» (там же, стб. 188); итеративность в данном примере подчеркнута наречием *многажды*.

В меньшем, хотя и немалом количестве представлена множественность других типов: субъектная, объектная, дистрибутивная, ингерентная (всего 54 примера). См. примеры на каждую из названных категорий: «и тѣсначѣса другъ друга спехнуша Шлга с моста въ дебрь. и падаху лю<sup>а</sup>ѣ мнози с моста» (там же, л. 62); «и ины цркви ставаше по градомъ. и по мѣстомъ. поставлаѣа попы. и даѣа имѣнѣа своего оурокъ» (141); «тѣмъ же пришедъшимъ в землю свою. повѣдаху кождо своимъ. ш бывшемъ. и владѣнѣмъ шгни» (там же, л. 34); «ина много повѣдаху ш немъ. а другому и самовидци быхомъ. и тако вза побѣду на бѣсовския силы» (там же, л. 187).

Так же как в НПЛ, в ПВЛ процессуальное значение имперфекта представлено относительно немногочисленными примерами, хотя их все же существенно больше, чем в НПЛ, – их число равно 19, ср. хотя бы: «Моисѣи же събравъ люди Жидовьския. поиде ѿ земля Егупетъския. и ведаше ѧ Г<sup>с</sup>ъ путемъ по пустыни. къ Чермьному морю. и предъидаше пре<sup>а</sup> ними ночью столпъ шгнѣнъ» (там же, стб. 82). От процессуального значения не всегда возможно отличить фоновое, выделяющееся в тех случаях, когда рассматриваемое действие описывается как условие, или причина, или фон, или сопровождение других действий, составляющих цепочку событий, ср.: «и егда възношашесѧ на ѧбо. оучѣны поклониша<sup>с</sup> ему. и възвратиша<sup>с</sup> въ Иер<sup>с</sup>лмъ» (там же, стб. 91); «и изълѣзоша Болгаре на сѣчу противу Сѣославу. и бы<sup>с</sup> сѣча велика. и шдолѣваху Болгаре. и ре<sup>а</sup> Сѣославъ во<sup>м</sup> своимъ» (там же, стб. 57). Таких примеров в ПВЛ 11. К. Сконефельд полагает, что имперфект в древнерусском употребляется при наличии синтаксической координации с обозначением других действий или при одновременности обозначенного имперфектом действия с каким-либо фактом в прошлом (Сконефельд 1959, 36–55); он следует в этом за Б. Гавранком (Гавранек 1939), выделявшим у имперфекта в старославянском общее значение сопровождающего действия или состояния. Такое конструирование семантики старославянского имперфекта представляется мне сомнительным, однако для нас сейчас существ-

венно другое: к летописным текстам такая конструкция принципиально неприложима, поскольку повествовательная цепочка строится, как уже не раз говорилось выше, из многочисленных и плохо упорядоченных предикативных единиц, так что функцию сопровождения можно приписать абсолютному большинству предикативных единиц (стоящих как в имперфекте, так и в аористе), поэтому постулировать ее в качестве определяющей для имперфекта не имеет никакого смысла. Говорить о фоновом значении стоит только в том случае, если устанавливается ясно выраженная семантическая связь между действием, выраженным имперфектом, и другими действиями, выраженными аористом<sup>352</sup>.

Многочисленны формы имперфекта от глаголов состояния, их в ПВЛ 190 употреблений, т. е. 34% от всех «смысловых» имперфектов, что весьма похоже на соответствующий показатель в НПЛ и, надо думать, свидетельствует о некотором сходстве нарративных стратегий. Ср. с глаголами восприятия: «видаше же люди кр<sup>а</sup>тъяны суца. радовашеса дѣю и тѣломъ. и тако по вса лѣта твораше» (ПСРЛ, II, стб. 110); с мыслительными глаголами: «также и други братъ именемъ Еремѣи. иже помнаше кр<sup>а</sup>щние земли Руськои. сему даръ данъ ѿ Ба проповѣдаше. провидѣ будущаа» (там же, стб. 180); с глаголами обладания: «бѣ бо Рогъволодъ перешелъ изъ заморья. имаше вол<sup>о</sup>сть свою Полотъскѣ» (там же, стб. 63); с глаголами чувства: «бѣ же Мьстиславъ. дебелъ тѣломъ. чермьномъ лицомъ. великома шчима. храбръ на рати. и мл<sup>а</sup>твѣ. и любаше дружину. по велику» (л. 56–56об.; там же, стб. 138) и т. д.

Как и в других памятниках, отдельную категорию образуют глаголы речи, в ПВЛ весьма многочисленные. Многочисленны поэтому и случаи, когда эти глаголы употреблены в имперфекте без всякой мотивации; таких случаев насчитывается в ПВЛ 25, см., например: «и покл<sup>о</sup>нившися патриарху гл<sup>а</sup>ше. мл<sup>т</sup>вами твоими вл<sup>к</sup>о да съхранена буду. ѿ сѣти неприязнены» (там же, стб. 49); «и ѿтолѣ не бы<sup>а</sup> ему пакости. ѿ бѣсовъ. ꙗко же самъ повѣдаше» (там же, стб. 189). В несколько большем количестве, но приблизительно в том же процентном соотношении появляются в ПВЛ и примеры, в которых имперфект немотивированным образом обозначает одноразовое действие; в ПВЛ таких примеров 13, что составляет 2,3% от всех «смысловых» имперфектов. См., например, в описании судеб Израиля в речи философа: «при ни<sup>х</sup> же забывше Ба. изъведъшаго ꙗ изъ Егупта. начаша служити бѣсо<sup>м</sup>. и разъгнѣваса бѣ предашеть ꙗ иноплеменьнико<sup>м</sup> на расхищение» (там же, стб. 83–84); речь идет, можно думать, об одноразовом действии Бога, раз-

<sup>352</sup> В большинстве примеров, приводимых Сконефельдом, такой связи не заметно. Ср., хотя бы в примере из рассказа о Святополке: «а Сѣополкъ бѣжа. и бѣжащю ему нападе на нь бѣсъ. и раслабѣша кости ѿго. не можаше сѣдѣти [на кони]. и несахуть и на носилѣхъ. принесоша и къ Бестою бѣгающе с нимъ. шнѣ же гл<sup>а</sup>ше побѣгнѣте со мною. женуть по насъ» (л. 49–49об.; ПСРЛ, I, стб. 144–145; см.: Сконефельд 1959, 37). Святополк не мог сидеть на коне, потому что у него расслабели кости; здесь причинность, а не синтаксическая координация. Поэтому его несли на носилках – и здесь причина, а не сопровождение (или координация). Когда его принесли к Берестю, он сказал о том, что ему привиделось. И здесь никакой координации не видно, одно действие просто следует за другим.

гневавшегося на иудеев<sup>353</sup>. Сходные проблемы возникают и при интерпретации следующего примера: «а Мьстиславъ поиде к Суждалю. и съда ту. посылаше к Ольгови мира проса» (л. 87–87об.; там же, стб. 228); трудно предположить, что летописец, выбирая имперфект, хотел подчеркнуть, что Мстислав много раз посылал к Олегу с просьбой о мире; в таких случаях он обычно не полагался только на форму глагола, а добавлял какое-нибудь подходящее наречие (типа *многажды*); не кажется особенно правдоподобным, что *посылати* трактуется здесь по аналогии с глаголами речи, так что остается лишь зафиксировать неизбежное недоумение.

В одном случае мы, как представляется, имеем дело с трафаретом, носящим, впрочем, не вполне тривиальный характер. Этот трафарет употребляется, когда говорится о том, что какое-то явление знаменовало, показывало, было проявлением некоего скрытого смысла; в этом значении могут использоваться глаголы *показывати*, *являти* и *проявляти*, поставленные в имперфекте. Этот трафарет представлен 6 примерами, в которых описанная ситуация реализуется с разной степенью прозрачности. См.: «по сем же при Неронѣ цѣрѣ в том же Єрѣлмѣ. въсия звѣзда. въ шбразѣ копийныи надъ городомъ. се же проявлаше нахождение рати ѿ Римланъ» (там же, стб. 154); «и пакы слѣце без лучъ сияше. се же проявлаше крамолы. недужи члѣвкомъ оумѣрѣиѣ баше» (там же, стб. 154); «такое и сѧ [вар.: се] явление которое показываше. емуже быти хоташе. еже бо и бы<sup>с</sup> на второе лѣто» (там же, стб. 262 – о явлении огненного столпа над гробом Феодосия; ср.: Островский, III, 2160); «то се баше въ Иерусалимѣ токмо. а по инымъ землямъ не баше сего. ꙗкожъ бысть знаменье въ слѣцѣ. проявлаше Сѣополчю смѣръ» (л. 102–102об.; там же, стб. 275). Несколько менее ясный синтаксис в следующем примере: «се же ꙗвлаше нахождение Антишхово. нашествие рати на Єрѣлмѣ» (там же, стб. 154)<sup>354</sup>. Этот же трафарет, видимо, реализуется и в описании смерти Святополка, ср.: «приѧша муки сего шканьнаго. Сѣополка. показываше. ꙗвѣ посланаѧ пагубнаѧ рана. въ смѣръ немлѣвно въгна» (там же, стб. 132)<sup>355</sup>.

<sup>353</sup> Нет никакой логики в том, что глагол *разъгнѣвася* употреблен в аористе, а *предакишетъ* в имперфекте. Правда, в Лаврентьевском списке находим причастие *разъгнѣвася*, дающее лучшее чтение, которое большинство исследователей реконструируют в качестве исходного (см.: Островский, II, 730), однако *предати* стоит в имперфекте во всех списках, нигде не заменяясь на *предасть*. Примысливать значение многократности кажется при этом натяжкой.

<sup>354</sup> Речь идет о рысующих по небу всадниках (взятых из Амартала), *нахождение Антишхово* и *нашествие рати* означают одно и то же событие, и их бессознательное соединение не свойственно синтаксису древнерусских текстов; в двух списках (Радзивил. и Академич.) *нашествие рати* отсутствует и синтаксис становится ясным, хотя реконструировать подобный вариант для прототекста (как делает ряд исследователей – см.: Островский, II, 1308–1309) кажется недостаточно обоснованным. Скорее *нашествие рати* представляет собой глоссу на полях, позднее внесенную в текст, отразившийся в Лаврентьевском и Ипатьевском списках, а в Радзивил. и Академич. устраненную.

<sup>355</sup> Синтаксическое построение в этом пассаже запутано и не допускает хорошего чтения, так что некоторые исследователи рассматривали текст как испорченный (см.: Шахматов 1916, 185; ПВЛ 1996, 64, 20). Ясно, что субъект *показываше* – это *пагубная рана*, но



Поскольку имперфект в ПВЛ употребляется существенно чаще, чем в НПЛ, в ПВЛ встречается больше ошибок. Ряд этих ошибок относится, конечно, не к ПВЛ как таковой, а к конкретному списку (а именно Ипатьевскому), однако для наших целей текстологический аспект не имеет принципиального значения, и мы его учитывать не будем. Простые ошибки (их 8) чаще всего состоят в употреблении имперфекта 3 лица ед. числа вместо аориста 3 лица мн. числа, ср.: «повелѣ рубити црѣкви и поставлати по мѣстомъ. идеже стояше кумиры и постави црѣвь сѣго Василья на холмѣ. идѣже стояше кумири» (там же, стб. 103), хотя появляются и формальные ошибки другого типа, ср.: «бѣ бо любаше Во<sup>д</sup>димиръ дружину. и с ними дума ѡ строеныи землинемъ» (там же, стб. 111). Еще в 6 случаях употребление имперфекта кажется аномальным с семантической точки зрения, ср., например: «яко же пишашеть в лѣтописании Грѣцко<sup>м</sup>. тѣмъ же и ѡселѣ почне<sup>м</sup>. и числа положи<sup>м</sup>» (там же, стб. 12); почему здесь появляется безличное предложение и почему глагол стоит в имперфекте, остается неясным (ср. лучшее чтение в Лаврентьевском списке: *пишется* – ПСРЛ, I, стб. 17; ср.: Островский, I, 92). Ср. еще: «а Дбѣдъ Игоревичъ. сѣдаше опрочъ. и не припустаху его к собѣ. и ѡсобѣ думаху ѡ Дбѣдѣ. и сдумавше послаша. къ Двѣдѣ мужи свои» (ПСРЛ, II, стб. 249); почему для отстранения Давида Игоревича от совета, на котором его братья обсуждали, какой ему дать удел, понадобился имперфект, неясно; его не пустили один раз, так что он сидел в одиночестве; глагол сов. вида *припуститъ* вряд ли поддается процессуальному прочтению, так что выбор временной формы кажется аномальным.

Взглянем теперь на памятники агиографической традиции, начав, как мы делали и в других случаях, с Жития Феодосия. В этом тексте встречается 390 форм имперфекта; поскольку Житие приблизительно в 3,4 раза меньше ПВЛ, это означает, что имперфект употребляется в нем более чем в два раза интенсивнее, чем в ПВЛ (и приблизительно в 6 раз интенсивнее, чем в НПЛ). Эта повышенная интенсивность связана, надо думать, со степенью книжности текста, со степенью ориентации текста на корпус образцовых текстов. Как несколько раз отмечалось выше в связи с разными лингвистическими параметрами, агиографическая традиция отличается в данном отношении от летописной; интенсивность употребления имперфекта также, видимо, принадлежит к параметрам, различающим данные традиции.

что именно она показала, остается неясным, видимо, то, что Святополка охватили (при-  
яли) муки, см. данный пассаж в развернутом виде: «и ту испровѣрже животь свои злѣ. его же и по правдѣ яко неправѣдна. суду пришедшу. по ѡшествию сего свѣта. приаша муки сего шканяного. Сѣополка. показываше. явѣ посланаѣ пагубнаѣ рана. въ смрѣть немлѣтно выгна». Весь этот пассаж воспроизводит описание смерти Ирода в Хронике Амартала, однако воспроизводит с пропуском и искажением. У Амартала читаем: «по ѡшествию сего свѣта приаша моуки шканяна<sup>г</sup> показавше явѣ шбразъ» (Истрин, I, 215). Хотя осмысленный текст подвергся искажению, получился новый текст, не полностью лишенный смысла, и в этом полуосмысленном тексте имперфект *показываше* употреблен в соответствии с разбираемым трафаретом; было бы, однако же, неосторожно думать, что изменение глагольной формы – имперфект вместо причастия – обусловлено существованием данного трафарета: цитируемый пример – самый ранний из имеющихся.

Эти различия идут дальше и отражаются также в распределении форм имперфекта по рубрикам. Как мы видели, в НПЛ формы имперфекта от глагола *быти* составляют почти половину всех форм имперфекта, в ПВЛ, более ориентированной на книжную традицию, им принадлежит лишь 11,7% от всего множества. В Житии Феодосия этот показатель еще меньше. Из общего множества в 390 форм на долю форм от *быти* (их 12) приходится только 3%. Можно предположить, что дело здесь не только в степени книжности, но и в характере нарратива. Показательно, например, что в Житии нет ни одного примера на имперфект от *быти* в экзистенциальном значении; автор, по видимости, не нуждается в указании на место (длительного) пребывания персонажа или на его принадлежность определенной категории лиц. Имперфектная связка появляется в 6 случаях, ср.: «**Козылины бо томоу бѣахотъ тако многоцѣннаа и свѣтлаа одежа**» (Усп. сб., л. 62а); «**бѣаше бо по истинѣ чловѣкъ бжии. свѣтило въ всемъ мирѣ видимоу**» (там же, л. 42а). В двух случаях употребляются формы плюсквамперфекта и имперфект от *быти* используется как вспомогательный глагол, ср.: «**оу же нашъ ѿеѡдосии бѣаше сице запертиа вратарю. да по отъѣдении обѣда не ѿвръзакъ вратъ никомоу же**» (там же, л. 40б). В 4 примерах имперфект выступает в конструкциях с неличными глагольными формами, ср. с действительным причастием: «**Бѣаше же и самъ блаженный ѿеодосии. по вса дни съ братнею подвижата сѧ и троужаа. о възгражении таковаго домоу**» (там же, л. 60г). Стоит заметить сразу же, что примеры ошибок и девиантного употребления имперфекта в Житии отсутствуют, и это тоже может рассматриваться как характерная черта более книжной агиографической традиции.

Что касается «смысловых» имперфектов, то здесь распределение по рубрикам устроено в целом по тем же моделям, которые мы наблюдали в НПЛ и ПВЛ, хотя статистическая конфигурация несколько отличается от обоих разобранных выше летописных образцов, сдвигаясь, можно думать, в сторону классических церковнославянских (переводных) текстов. Множественность остается наиболее многочисленной рубрикой (196 примеров, 50,3% всех употреблений имперфекта), причем узуальная и итеративная множественность доминирует над субъектной и объектной еще более выраженным образом, чем в летописях. Это обстоятельство нужно, видимо, связывать с тем, что в описании жизни святого особенно значимы образцы его благочестия, то, что он совершал постоянно как подвиг святости и что агиограф рассматривает как данные для подражания парадигме праведности; отсюда акцент на узуальном. Имперфект в узуальном значении представлен 157 примерами, ср.: «**и хожаше по вса дни въ цркъв бжню послушаша бжствныхъ книгъ. съ всѣмъ въниманикмъ**» (там же, л. 27г); «**аще коли хотѧщу емѹ опочинути то сѣдъ на столѣ. и тако мало посъпавъ въстанаше паки на нощнюк пѣникъ**» (там же, л. 38аб); они, понятно, образуются как от глаголов несов. вида, так и от глаголов сов. вида, как от предельных, так и от непредельных глаголов. Это же верно и для итеративных имперфектов, представленных 18 примерами, ср.: «**и ѿтолѣ часто прихѡдаше къ нему. и дхѡвнаго того брашна насыщаша сѧ. паче мѡдоу и сѣта**» (там же, л. 59вг).

Реже встречаются другие типы множественности, обозначенные имперфектом. Имеется один случай имперфекта, обозначающего дистрибу-

тивную множественность: «и се раздѣлахѹтъ да кѣждо въ нощи свою часть измелашеть на състрокии хлѣбомъ» (там же, л. 36а). В одном случае множественность действия определяется множеством объектов: «И тако паки всѣа съ слъзами ѹчааше. кже ѡ спсении дѣи и бѣоугоднѣмъ житии. и о пощении» (там же, л. 62б); множественность объектов подчеркивается местоимением *всѣа*. Несколько чаще (15 примеров) появляется имперфект, мотивированный субъектной множественностью, ср., например: «о сѣи одежи хоудѣи мнози несъмыслени роу҃гахоу҃ сѣа кмоу оукарѣюще кго» (там же, л. 43а – множественность субъектов подчеркнута словом *мнози*); «си же слышавѣше братиѣа ѿ оустъ ст҃го оца. плачь и слъзы изъ очию испоу҃цаахоу҃» (там же, л. 63г).

Представляется значимым относительно большая пропорция имперфектов в процессуальном или фоновом значении. В НПЛ всего лишь 2 примера с процессуальным значением (менее 2% всех «смысловых» имперфектов), в ПВЛ – 30 (5,4% всех «смысловых» имперфектов), в Житии Феодосия – 45 примеров, что составляет 11,9% всех «смысловых» имперфектов. Объяснение, видимо, лежит в области нарративных предпочтений автора: процессуальность фокусирует рассказ на протекании действия, на его внутренних характеристиках, а не на последовательности сменяющих друг друга действий, когда для автора существенна лишь цепочка событий. В житиях такая нарративная стратегия находит себе большее применение, чем в хрониках, что и объясняет, можно предположить, различие в этом отношении агиографической и анналистической традиций. См. характерные примеры с процессуальным значением: «ина многа старьць бесѣдова кѣ отрокоу҃. и ѡмномоу же срдце боле острѣше сѣа на любѣвь бж҃ию» (там же, л. 33г); «бл҃женни же всѣа си съ радостию принимае. съ мълчаникмъ и съ сѣмѣреннѣмъ» (там же, л. 29б); в последнем примере эксплицитно обозначены атрибуты того, как Феодосий воспринимал поношения от своих сверстников. Для фонового значения можно указать на имперфект *отъхожааше* в следующем примере: «раби и рабыни плакахоу҃тъ сѣа г҃на своего и тако отъхожааше отъ ннхъ. иде жена моужа лишающѣи сѣа плакаше сѣа. оцъ и мти сѣа своего плакаста сѣа. тако ѿлоучаше сѣа отъ ннхъ» (там же, л. 35а).

В 110 случаях (29.1% от всех «смысловых» имперфектов) имперфект образуется от глаголов состояния. Функционально такое употребление имперфекта может быть комментарием к какому-то событию или описывать некоторое состояние, достигнутое в результате развития событий, или, наконец, выступать как изолированное сообщение. Ср. несколько примеров: «по томъ же паки оумилосердѣвъши сѣа на нь. нача съ мольбою оуѣщавати и. да не отъѣѣжитъ отъ неѣа люблѣше бо и зѣло паче ннѣхъ. и того ради не тѣрпѣше безъ него» (там же, л. 29а); «и отътоуда паки пресели сѣа на ннѣ хлѣмъ антонии. и ископавъ пещероу҃ живѣаше не излазѣа изъ неѣа» (там же, л. 35г); «Мати же кго много искавъши въ градѣ своемъ и въ окрѣстннхъ градѣхъ. и тако не обрете кго. плакаше сѣа по немъ лютѣ» (там же, л. 31г); «тѣмъ же сѣмѣрѣаше сѣа мыни всѣхъ сѣа творѣа и всѣмъ слоужа» (там же, л. 36г).

Вполне предсказуемым образом в Житии Феодосия, довольно широко использующем прямую речь, имперфект, как и в летописях, нередко образу-

ется от глаголов речи без всякой дополнительной мотивации (25 примеров), ср.: «онъ же не вѣды яко князь ксть. отъвѣщаваше кмоу сице. рѣхъ ти яко повелѣно ми ксть отъ игоумена...» (там же, л. 40в); имеется в виду безусловно единичный акт. Вместе с тем иные немотивированные употребления имперфекта весьма редки (существенно более редки, чем в обследованных летописях), они фиксируются лишь в двух случаях, когда речь идет о единичном акте, занимающем ничем специально не отмеченное положение в структуре повествования, ср.: «и повелѣно бѣ оубо блженуоуоуоуоу ѡеѡдосию. предѣстоати и слоужити. и сего ради поощашети и мѣти кго, да облечеть ся въ одежду чистоу» (там же, л. 30в) (мать единожды отправила Феодосия переодеваться); «и ѡтолѣ подаше сѧ на троуды телесныя. и бѣдѣше по всѧ ноци въ славословленни бжии» (там же, л. 31в)<sup>356</sup>.

Таким образом, намечаются определенные отличия агиографической традиции от анналистической, соотносимые прежде всего с тем фактом, что жития представляют собой более книжный текст, чем летописи, хотя и не сводимые к одному этому фактору. В агиографических текстах существенно меньше пропорция имперфектов от глагола *быти*, как в экзистенциальном значении, так и в функции связки или вспомогательного глагола. Среди «смысловых» имперфектов характерно широкое употребление данных форм для обозначения узуальной множественности действия (это главная рубрика имперфектных форм), относительно активное употребление имперфекта в процессуальном значении и почти полное отсутствие имперфектов, обозначающих единократный акт (кроме актов речи). Как можно видеть, агиографическая и анналистическая языковые традиции оказываются достаточно разными и по употреблению имперфектных форм.

Данные наблюдения подтверждаются материалом Жития Авраамия Смоленского; хотя материал ограничен по объему, он служит неплохим дополнением для Жития Феодосия. В Житии Авраамия встречается всего 91 форма имперфекта, причем из них только четыре примера – это формы глагола *быти*, что составляет 4,3%, т. е. близко к тому, что мы обнаружили в Житии Феодосия. Как и в Житии Феодосия, имперфект от *быти* в экзистенциальном значении не употребляется. В трех случаях имперфект функционирует как связка, ср., например: «Образъ же блаженаго и тѣло удручено бѣше, и кости его, и състави яко мощи исщести» (БЛДР, V, 40). Плюсквамперфект с вспомогательным глаголом *бѣаше* находим в одном примере с достаточно запутанным синтаксическим построением и в силу этого не

<sup>356</sup> Интерпретация последнего примера зависит, понятно, от того, как описывается значение глагола *подаваться*. Если следовать Срезневскому и определять данное значение как ‘предаваться’, мы имеем дело с глаголом состояния, и ничего девиантного в примере нет (см.: Срезневский, II, стб. 1031; ср. то же определение ‘предаваться чему-л.’ в СРЯ XI–XVII вв., XV, 222). В обоих словарях приводится один и тот же пример, и этот пример – анализируемое здесь предложение из Жития Феодосия. Я бы полагал, что правильнее было бы определить данное значение как ‘приняться за что-л.’; такое определение лучше согласуется с позднейшими лингвистическими фактами и хорошо подходит к наречию *оттолѣ* в разбираемом примере. В этом случае имеется в виду единичный акт и употребление становится девиантным.

вполне ясной функцией плюсквамперфекта: «И еще тогда блаженому Лазарю иерѣемъ сущу и по Игнатьи епископу бывшу, истинною рещи, яко поборникъ и пастухъ Христовы церкви словесныхъ овецъ, сый бо бѣаше Бога ради оставилъ епискупью свою и за многое обидѣние святыхъ церковей иже обидятъ и властели, отъимающе чюжая бес правды и обидящихъ вдовица и сироты, сый бо видѣ и слыша, яко вся бес правды, яже на блаженнаго Авраамия ону крамолу въздвигнули» (там же, 44–46; пунктуация изменена). Как и в Житии Феодосия, отклонения и ошибки в употреблении имперфекта отсутствуют.

Среди «смысловых» имперфектов доминируют формы, обозначающие множественность действия (их 43, т. е. 47,3% всех имперфектов), причем, как и в Житии Феодосия, доминирует узуальная множественность (30 употреблений), ср.: «Мнози же хотяху быти черноризцы, но не ту абие постризааше, вѣдый трудъ, искушение велико отъ общаго всего врага» (там же, 54). Процессуальное и фоновое значения представлены 6 примерами (6,9% всех «смысловых» употреблений): пропорция несколько меньшая, чем в Житии Феодосия, но все же превышающая показатели ПВЛ, ср.: «И вшедшу ми в домъ къ матери его, яко отроча мыху мнози же святители священнолѣпно, яко крещениемъ благодати освящающи» (там же, 32). Обозначения состояния являются, как и в Житии Феодосия, второй по численности рубрикой, содержащей 22 примера (24,2% всех имперфектов), ср.: «Егда же въ болший възрастъ прииде, всею телесною красотою и добротю яко свѣтсияше» (там же, 34). От глаголов речи имперфект образуется без дополнительной мотивации в 13 случаях, ср.: «И глаголаше блаженный Лука на снимающихся на блаженнаго Авраамия и на уничижающихъ его: “Много бо бес правды хулящеи и уничижаютъ”» (там же, 44). Немотивированное употребление имперфекта для обозначения единичного акта ограничено двумя примерами: «Прозвितеръ же, видѣвъ дѣтища, сердечныма очима и благодатью Божию прозяше о немъ, яко хощеть измлада Богу датися» (там же, 32). Как можно видеть, Житие Авраамия дает картину весьма сходную с той, которую мы наблюдали в Житии Феодосия, в рассматриваемом отношении оно представляет собой как бы его уменьшенную копию и в этом своем качестве указывает на определенную автономию агиографической письменной традиции.

**6. 2. 2. Дальнейшее развитие летописной и агиографической письменной традиций.** Описанное выше употребление имперфекта в летописной и агиографической традициях закладывает основы для всего средневекового узуса, характерные черты обеих письменных традиций встречаются даже в соответствующих текстах XVI–XVII вв. Это не значит, конечно, что никаких изменений в употреблении имперфекта не происходит. Как и в ряде других аспектов маркированно книжного синтаксиса, с течением времени ориентация на образцовые источники ослабевает (хотя никогда не исчезает полностью), заменяясь ориентацией на специфическую текстовую (жанровую) традицию, а эта ориентация связана с реинтерпретацией источников, с формированием узуса, который превращает девиантные прецеденты в допустимые варианты. Мы сможем лишь самым беглым образом проследить эти процессы.

Предлагаемый беглый обзор можно начать с Суздальской летописи. По объему она приблизительно равна ПВЛ, но в ней встречается всего 278 форм имперфекта, т. е. имперфект употребляется с более чем в два раза меньшей интенсивностью. Суздальская летопись в этом отношении скорее похожа на Новгородскую первую летопись. Здесь, возможно, наблюдается известное нам и по другим признакам противопоставление южного и северного летописания: замечу, что в Киевской летописи, приблизительно в полтора раза большей, чем ПВЛ, встречается 763 формы имперфекта, а в Галицко-Волынской летописи, несколько меньшей по объему, нежели Суздальская, встречается 479 форм имперфекта (3 лица ед. и мн. числа) (см.: <http://www.lrc-lib.ru/rus LETOPISI/gvl/search.htm>), т. е. пропорционально в обеих летописях имперфект употребляется лишь немногим реже, чем в ПВЛ.

Из признаков летописной традиции, отмеченных выше, в Суздальской летописи несомненно присутствует изобилие имперфектов от глагола *быти*; всего их 87, что составляет внушительные 31,3% от всех форм имперфекта. В 14 случаях имперфект от *быти* имеет экзистенциальное значение, ср.: «и совкупи въсь сборъ иерѣискыи. митрополита бо в то время не баше. и рекоша Мстиславу. на ны буди то грѣ<sup>ѣ</sup>» (ПСРЛ, I, стб. 297); «пославъ Гюрги възврати ихъ не дасть имъ воєвати. зане погодыа имъ не бы<sup>ѣ</sup>. бахут бо дождове велми мнози днѣ и ношь» (там же, стб. 451). В 15 случаях имперфект выступает как связка, ср.: «кн<sup>ѣ</sup>зь бо Переяславскыи Глѣбовичъ. Володимеръ. в то время башеть малъ яко .вѣ. лѣ<sup>ѣ</sup>» (там же, стб. 358); «мл<sup>ѣ</sup>твѣ же баше паче мѣры. поминаю слово Г<sup>ѣ</sup>не. блжний мл<sup>ѣ</sup>тви яко ти помиловани буду<sup>ѣ</sup>» (там же, стб. 468).

Особенно многочисленны рассматриваемые формы в функции вспомогательного глагола при образовании плюсквамперфекта, таких форм 50. Правда, во многих случаях плюсквамперфект оказывается ложным, в том смысле что он не выражает предшествования или давности в прошлом, а употреблен «без толку», видимо, как специфически книжная форма (признак книжности), таких «ложных» плюсквамперфектов 13. Приведу сначала примеры традиционного употребления: «и да ему Переяславъ по хр<sup>ѣ</sup>ному цѣлованью. акоже са баше оуради<sup>ѣ</sup> с брато<sup>ѣ</sup> свои<sup>ѣ</sup> Мстиславомъ. по шню повелѣнью» (там же, стб. 301); «Того<sup>ѣ</sup> лѣ<sup>ѣ</sup>. выгнаша Ростовци. и Суждальци. Лешна еп<sup>ѣ</sup>па. зане оумн<sup>ѣ</sup>жилъ баше цр<sup>ѣ</sup>квѣ грабѣи попы» (там же, стб. 349). «Ложный» плюсквамперфект может быть проиллюстрирован следующими примерами: «и придоша к Вячеславу в Пересопницю. Гюргевича. два. Ростиславъ. и Андрѣи. и помочь Володимиркова. и са<sup>ѣ</sup> Володимерко приступилъ баше ближе к Шюмьску. и оубоашаса Лахове» (там же, стб. 323); описываются различные военные передвижения, не упорядоченные по времени, летописец отнюдь не утверждает, что Владимирко подошел к Шумску ранее, чем к Вячеславу пришли Гюргевичи. Ср. еще: «Изаслава же Мстиславича ѡзвѣша в руку. и свергли и бахуть с коня. и хотѣша и оубити свои. пѣшци. не знающе юго. но сна с себе шело<sup>ѣ</sup> и познаша и» (там же, стб. 334); описывается последовательность событий, вряд ли летописец специально имел в виду, что Изяслава сначала сбросили с коня, а потом ранили в руку. В одном случае мы находим даже законченную краткую погодную статью, в которой единственный предикат стоит в плюсквамперфекте, ср.: «В лѣ<sup>ѣ</sup>. .s.w<sup>ѣ</sup>.z мѣца.

маа. въ .бѣ. Шгородилося башеть слѣнце грозно» (там же, стб. 484). Представляется, что эта частичная десемантизация плюсквамперфекта была этапом на пути к тому состоянию, когда плюсквамперфект становится факультативным грамматическим элементом, употребляющимся без четкого семантического задания.

В 8 примерах имперфект выступает в конструкциях с неличными глагольными формами, в одном случае с действительным причастием, в 3 – с инфинитивом, в 4 – со страдательным причастием, см. примеры: «бахуть бо борци стояще горѣ во бронѣ<sup>х</sup> и стрѣляюще. а кормника .бѣ. бѣста» (там же, стб. 331); «и баше видѣти дѣло стыдно и велми страшно. и хлѣбъ во уста не идашьтѣ ѿ страха» (там же, стб. 481); «и мнози ѿ шбоихъ оуязвляеми баху. и выходяща ночью крадаху воду» (там же, стб. 431).

Как и в более древних памятниках летописной традиции, в Суздальской летописи имеется некоторое количество (а именно 11 примеров) ошибочных употреблений имперфекта. По большей части это формальные ошибки, когда имперфект употреблен вместо аориста или причастия в результате смешения форм, ср.: «и идоша. Юрополкъ. Гюрги. Андрѣи. к Чернигову на Шлговичѣ. и сташа не дошедше города. и стояше нѣколько дѣи. и воротышаса шпатѣ. мѣца. ноя<sup>бѣ</sup>» (там же, стб. 303); «князю же Всеволоду блѣговѣрну и бѣбѣязниву. не хоташе [в Радз. и Акад.: *не хоташу*] того створити. повелѣ всадити ихъ в порубѣ людий дѣла» (там же, стб. 385). Встречается, однако, и семантическая девиантность, ср.: «и възвратишася с побѣдою великою Половци. а ѿ наши<sup>х</sup> не бы<sup>х</sup> кто и вѣсть принеса. за наше согрѣшенѣ. гдѣ бо баше в на<sup>х</sup> радо<sup>х</sup>. нонѣ же въздыханѣ и плачь распространиса» (там же, стб. 398); *баше* употреблено с явным значением предшествования, которое должно было бы выражаться не имперфектом, а плюсквамперфектом.

Замечательным образом в Суздальской летописи обозначение множественного действия не является доминирующей функцией имперфекта. В данном памятнике эту функцию выполняет всего 73 формы, что составляет лишь 26,3% всех форм имперфекта (тогда как в ПВЛ этот показатель приближается к 50%). Основной источник множественности действия, обозначаемой имперфектом, – узуальность, и в этом Суздальская летопись не отличается ни от ПВЛ, ни от текстов агиографической традиции, однако того разрыва между узуальностью и множественностью других типов, который мы наблюдали в ПВЛ, в Суздальской нет: узуальная множественность представлена 23 примерами, итеративная – 18 примерами, ср. примеры узуальной множественности: «паче же на мл<sup>х</sup>тѣню зѣло шхотивъ. ибо брашно свое и медъ по шлица<sup>м</sup> на возѣхъ слаше болны<sup>м</sup>. и по затвором<sup>м</sup>» (там же, стб. 368); «не бѣ бо хитаа ѿ чюжи<sup>х</sup> домовъ баѣства. ни збираа юго ни тѣмъ хваласа. но паче шбличаше грабитела. и мздоимца. поревнов<sup>а</sup>въ нраву Зла<sup>т</sup>ѣстаго» (там же, 439); ср. примеры итеративной множественности: «погорѣ оу него болшаа половина города Великаго. а пото<sup>м</sup> шставшаа часть. загараше<sup>т</sup>са дѣмъ дваждыи и триждыи. такоже и бы<sup>х</sup> по многу дѣи. мало штаса города. а все погорѣ» (там же, стб. 452). Множественность других типов представлена 31 примером. Встречается множественность, определяющаяся множеством объектов действия, ср.: «и възвратиса Новугороду. слава и хвала Бѣ. ведѣи мно<sup>ж</sup>ство полона. яко<sup>ж</sup> сущи с ни<sup>м</sup>. не возмогоша

всего полона ѿнести. но швы<sup>х</sup> сѣчаху. а ины<sup>х</sup> мно<sup>х</sup>ство пушаху шпать в свою си» (там же, стб. 449); равно как и множеством субъектов действия, ср.: «шни же бяхутса излазаци из града не брани дѣла. но жажы ради водныа. измираху бо мнози людье в градѣ» (там же, стб. 432). Примером ингерентной множественности может служить следующий: «Изаславу же блюдущю и не дадущю вбрести въ Днѣпръ. бяхутся межи собою. ѣздаче в лоды<sup>х</sup>» (там же, стб. 331); *битися* предполагает многократные столкновения противников (см. еще ниже, о трафарете *бяхуса с города*).

Чаще всего «смысловой» имперфект встречается с глаголами состояния (обычно эта функция стоит на втором месте); таких употреблений в Суздальской летописи 85, что составляет 30,6% всех употреблений имперфекта. Это, видимо, индивидуальная черта Суздальской летописи. Как кажется, имперфект от глаголов состояния образуется вне зависимости от функции глагола в контексте (это не значит, однако, что от глаголов состояния не образуются аористы). Ср., например, констатирующий имперфект, нерывающий событийной цепочки: «и наре<sup>н</sup>о бы<sup>а</sup> има юго в сѣмъ крѣпни Філипъ. живаше ббѣгодно. в сре<sup>а</sup> и в плато<sup>а</sup>. пребываа въ алчбѣ» (там же, стб. 479); состояние как результат описанных событий: «видѣв же таковое видѣнье и слыша таковыи гла<sup>а</sup> ѿ мѣнку. стояше<sup>а</sup> трепетенъ» (там же, стб. 479); состояние как разрыв в повествовательной цепочке, объясняющий излагаемые действия: «Изаслав же перешедъ к ни<sup>а</sup> чересь рѣку. Съртъ. и сступиша са битъ. и бы<sup>а</sup>сѣча зла. и межу ими сматенье. не вѣдахуть котори суть побѣдили» (л. 113об.–114; там же, стб. 340), и т. д.

Другие характеристики употребления имперфекта в Суздальской летописи вряд ли нуждаются в особом комментарии. Имеется небольшое количество процессуальных и фоновых имперфектов (всего 16 примеров), ср.: «На зиму придоша ѿ всточныѣ страны. на Рязанскую землю лѣсо<sup>а</sup> безбожнии Татари. и почаша воевати Рязанскую землю. и плѣноваху и до Проньска. поплѣнивше Рязань весь» (там же, стб. 460 – *плѣноваху* обозначает разворачивающийся во времени процесс); «похороненъ оу ста<sup>а</sup> Михаила. югда же и несахуть к гробу. дивно знаменье бы<sup>а</sup> на нбси. и страшно. быша .ѣ. слнца сияюща межи собою» (там же, стб. 309 – несение к гробу выступает как фон для знаменания). В 4 случаях имперфект без всякой дополнительной мотивации употреблен с глаголами речи, ср.: «ш семь ѹбо добро извѣстно ап<sup>а</sup>ль глѣше. наченъ в васъ дѣло благое да свершить є. и погребоша ю с рыданье<sup>а</sup> и плаче<sup>а</sup> велики<sup>а</sup>» (там же, стб. 424). В двух случаях имперфект употреблен для обозначения одноразового действия и представляется немотивированным, ср.: «Новгородци не стерпаче безо княза сѣдити. ни жито к ни<sup>а</sup> не идаше ни ѿкуду же. и ємлюще метажуть и в погробъ» (там же, л. 309); несомненно, речь идет об одном акте отправки в заключение, а не о множественном действии.

В Суздальской летописи можно выделить один трафарет, который, однако же, не необходим для объяснения употребления имперфекта, поскольку речь идет о натурально множественном действии. Имею в виду описание отражения атак противника со стен крепости. Эта ситуация выражается словосочетанием *бяхутся (крѣпко) (из) с города*, ср.: «Изаславичъ же Мстиславъ. затвориса в Кыевъ городѣ. и бяхутся [крѣпко] с города. и стояша



оу города .ѣ. дѣи» (там же, стб. 354); «Новгородци же затворишася в городѣ. съ княземъ Романомъ. и бѣхуться крѣпко с города» (там же, стб. 361); «Володимерци бѣхутся с города. сѣѣи Бѣѣ помогающе<sup>м</sup>. и стояша школо города .ѣ. недѣль» (там же, стб. 373); «ѡни же бѣхутся крѣпко из града. и мнози ѡ шбоихъ оуязвляѣми баху» (там же, стб. 431); по-видимому, распространением этого трафарета может считаться употребление его с субъектом в ед. числе, ср.: «ѡн же бѣшетъся с ними из города. ѡжидаѣ помочи ѡ Изаслава ѡ стрѣѣа своего. и ѡ тести своего ѡ Андрѣѣа» (там же, стб. 350).

Московский летописный свод (мы обследовали лишь небольшой фрагмент, ПСРЛ, XXV, л. 282об.–322) не показывает какой-либо принципиальной динамики сравнительно с более ранними летописями, и это свидетельствует об устойчивости летописной традиции, по крайней мере в том, что касается употребления имперфекта. Можно напомнить, что это употребление целиком (во всяком случае начиная с XIII в.) ориентировано на читательский опыт пишущего, является переосмыслением того узуса, который составители летописей нашли у своих предшественников, поэтому ничего неожиданного в отмеченном факте нет. Нельзя также сказать, что в Московском летописном своде употребление имперфекта становится менее интенсивным, чем в предшествующем летописании. В анализируемом фрагменте приблизительно 15000 слов, т. е. он в четыре раза меньше ПВЛ. На этом отрезке встречается 139 форм имперфекта, что пропорционально лишь незначительно меньше, чем в ПВЛ, и чаще, чем в Суздальской летописи<sup>357</sup>.

Как и в других летописных памятниках, в Московском летописном своде имеется заметное количество имперфектов от благола *быти*, их 16, что составляет 11,5% от числа всех форм имперфекта. Это несколько меньше, чем в рассматривавшихся выше летописных текстах, но все же существенно больше, чем в текстах агиографических, и в этом смысле свидетельствует о том, что летописная традиция продолжает существовать и Московский летописный свод к ней примыкает. Любопытный момент состоит в том, что в разбираемом фрагменте имперфект не выступает в качестве вспомогательного глагола или, иными словами, отсутствуют формы плюсквамперфекта; это указывает, по-видимому, на дальнейшее развитие того процесса, который мы наблюдали в Суздальской летописи: сначала плюсквамперфект начинает употребляться без семантического задания, а затем перестает употребляться вообще. В 7 случаях имперфект имеет экзистенциальное значение, ср.: «Тогда же сущии въ Царѣградѣ царь и патриархъ и прочии людие бяху в печали велице и во истомѣ и въ оскудѣнии» (там же, л. 318об.). В 5 примерах имперфект выступает как связка, ср.: «Бѣше бо сии Темиръ Аксакъ велми нежалостивъ и зѣло немилостивъ и лют мучитель и золь гонитель и жестокъ томитель» (там же, л. 311). В 4 примерах имперфект входит в кон-

<sup>357</sup> Возможно, эта выборка не вполне представительна в плане интенсивности употребления имперфекта, поскольку она включает в себя похвалу Дмитрию Донскому, написанную как агиографический энкомиум, и рассказ о Стефане Пермском, составленный в той же агиографической традиции. Тем не менее совокупность всех примеров образует конфигурацию, указывающую на анналистическую традицию.

струкции с неличными глагольными формами, ср.: «И ту бѣше видѣти свѣтыя иконы повержены на земли лежаща и кресты честныя ногами топчемы» (там же, 289об.).

Среди «смысловых» имперфектов большинство приходится на обозначения множественности действия, таких форм 66, что составляет 47,5% от всех форм имперфекта. На узуюальную и итеративную множественность приходится при этом немногим более примеров (35), чем на множественность других типов (31), ср.: «Божественныя дни поста в чистотѣ храняше и по вся недѣли свѣтыхъ таинъ причащашеся, преочистовану бо душу хотя предпоставити предъ богомъ» (там же, л. 300об.); «и шедъ опять в Пермь и нѣкыя от них и грамотѣ изучи Пермской, и поставляше попы и дѣяконы и церкви ставляше и славляше в них бога Пермскимъ языкомъ» (там же, л. 316об.–317). Представлены и все другие виды множественности, дистрибутивная, объектная и субъектная, и в данном отношении Московский летописный свод продолжает летописную традицию, ср.: «овии стрѣлами стрѣлахуть со заборолъ, инии же каменiemъ шибяху на ня, друзии же тѣякы пуцаху на ня, а инии ис самострѣлъ стрѣлаху, инии же пушкы великы пуцаху» (там же, л. 288); «а кого гдѣ изымавшѣ нещадно мучаху различными казнми, мужей, женъ и дѣтей, а иныхъ въ избы запирающе зажигаху» (там же, л. 297); «А инии от нихъ створивше лѣствици и присланияху ко граду и лѣзяху на стѣны» (там же, л. 288об.).

Второй по численности рубрикой являются процессуально-фоновые употребления, в ней 24 примера, ср.: «Татарове же отступиша от города и паки приступиша, и тако по три дни бѣяхуся и много людеи от стрѣлъ паде, и по семъ миръ взяша» (там же, л. 315); «Чистоты бо ради жития его вселися во нь благодать свѣаго духа, аще бо царскыи санъ держаше» (там же, л. 300). Обозначения состояния представлены в 22 примерах, ср.: «и обрѣтѣся разность в нихъ, не хотяху помогати, не помянуша бо пророка Давыда, глаголюща» (там же, 286об.). От глаголов речи имперфект образуется в 7 случаях (без дополнительной мотивации), ср.: «а князь Семень глаголаше: “не азъ створихъ лѣсть, но Татарове, а язъ не поволень в нихъ, а съ ними не могу”» (там же, л. 315об.). Имперфект для обозначения однократныхъ актовъ употребляется лишь в двухъ случаяхъ, ср.: «Олегъ нача зло ко злу прилагати и посылаше къ безбожному Мамаю и къ нечестивому Ягаилу своего боярина единомысленаго» (там же, л. 277; посылка была одноразовой); «Сеи же приходяше акы змия ко гнѣзду, окаанныи Мамаи, нечистиыи сорядець на християнство дръзну» (там же, л. 279об.; и здѣсь рѣчь идетъ об одномъ нашествии Мамаи); малочисленность такихъ употреблений говоритъ об определенномъ уровнѣ книжныхъ навыков<sup>358</sup>.

<sup>358</sup> Традиционность письма в Московском летописном своде подтверждается и редкостью ошибок в рассматриваемом фрагменте (качество письма указывает на устойчивые книжные навыки). Лишь в одном случае имперфект 3 лица ед. числа (*стояше*) стоит на месте аориста 3 лица мн. числа: «Смолняне же въ градѣ затворишася, они же стояше не много у города и взяша окупъ с него, а телеса избѣнныхъ князей даша имъ и взяша над Смолняны свою волю, елико въсхотѣша» (там же, л. 298).

Совсем иного качества Новгородская вторая летопись, и это весьма красноречиво сказывается на употреблении имперфектов. Конечно, определенные черты летописной традиции их употребления присутствуют и в данном памятнике, но, можно было бы сказать, как в кривом зеркале. Первое, что бросается в глаза в данном отношении, – это низкая интенсивность употребления имперфектов. В данном памятнике их всего 76, при том что Новгородская вторая по объему составляет приблизительно три пятых ПВЛ или Новгородской первой. Имперфект употребляется здесь почти в два раза реже, чем в Новгородской первой (для которой характерна низкая интенсивность употребления анализируемых форм), и почти в шесть раз реже, чем в ПВЛ. Можно сказать, что имперфект в Новгородской второй маргинализуется.

У этой маргинализации есть и еще один аспект. Новгородская вторая летопись была составлена в конце XVI – начале XVII в. как компиляция из фрагментов различных новгородских летописных памятников, в частности, до нас не дошедших. Статьи расположены не в хронологической последовательности, какой-либо порядок в расположении статей отсутствует. Основная часть материала относится к XV–XVI вв., в грубом приближении можно сказать, что на этот поздний период приходится три четверти текста, тогда как на более ранний, с X в. по XIV в. – одна четверть текста. Однако в этой одной четверти встречается почти половина всех имперфектных форм (а именно 35 из 76). Отсюда следует, что интенсивность употребления имперфекта существенно убывает от более ранних слоев летописи к более поздним; существенная часть имперфектных форм попала в данный текст как механическое воспроизведение форм более ранних памятников, порою с искажениями. В новых частях летописи использование форм имперфекта оказывается минимальным, а владение ими, как показывают различные ошибки, ущербным.

Из 76 форм имперфекта 14 приходятся на формы глагола *быти*, что составляет 18,4% и соответствует статистическим параметрам летописной традиции. Из них 3 употреблено в экзистенциальном значении, ср.: «Бяшет бо тогда митрополитъ в Києви и послаше его послове» (ПСРЛ, XXX, л. 94, 1359 г.). В 6 случаях формы имперфекта являются связкой, ср.: «Тако бо бяше лють и велик пожар з бурю и вихромъ, яко мнѣти уже кончина» (там же, л. 95об., 1340 г.). В 4 случаях имперфект употреблен как вспомогательный глагол при образовании плюсквамперфекта, ср.: «Тогда же бяше пришел преж изнания Митрофана, архиепископа Добрыня Дрѣковичъ и привез собою гроб господень» (там же, л. 135об.–136, 1211 г.)<sup>359</sup>. В двух из этих четырех случаев плюсквамперфект оказывается «ложным», ср.: «И в то время вшед бяше бѣс Перуна и нача кричати: “о горѣ, ох мнѣ, достался еси милостивым симъ рукамъ”» (ПСРЛ, XXX, л. 70, 989 г.)<sup>360</sup>; «И в то время

<sup>359</sup> Для понимания данного текста полезно обратиться к источникам этого сообщения, ср., например, в Новгородской первой летописи: «Тѣгда же бяше пришълъ, прѣже изгнания Митрофана архиепископа, Добрыня Ядрѣковиць изъ Цесаряграда и привезъ съ собою гробъ господень, а самъ пострижеса на Хутинѣ у святого Спаса» (НПЛ, л. 77об.).

<sup>360</sup> В предшествовавшем летописании: «вшелъ бѣаше бѣсъ в Пероуна» (Новгородская четвертая летопись, л. 46об. – ПСРЛ, IV, 1, 90).

умерѣлю [так!] бѣше Михаило Юрьевичъ июля 20 на память святаго отца Мефодия» (ПСРЛ, XXX, л. 134, 1176 г.; ср.: Новг. IV летопись, л. 101об. – ПСРЛ, IV, 1, 167). Стоит отметить, что в тексте, относящемся к XV и XVI вв., плюсквамперфект не встречается. В одном случае имперфект употреблен в конструкции со страдательным причастием: «Поставилъ владыка Иаким церковь деревяную святую Софию, имуще верховъ 15, и стояла 4 лѣта и поднялася церкви святая Софѣя от огня мѣсяца марта в 4 день в судный день. Бѣше честное устроение укращено [так в изд.]» (ПСРЛ, XXX, л. 170об., 991 г.).

«Смысловые» имперфекты особого интереса не представляют. В 23 случаях (30,2% от числа всех имперфектов) имперфект обозначает множественность действия, лишь в 7 случаях мы имеем дело с обозначением узальной или итеративной множественности, ср.: «Того же дни в лютую тую брань бысть громъ великъ и молния блискаше, дождь и град» (там же, л. 56, 1418 г.); «Изучися же грамотѣ, измлада Христа возлюбивъ и часто хожадше [так в изд.] в церковь божию, а еже к дѣтем играющимъ не приближаешся» (там же, л. 160об., 1353 г.). Больше имперфектов, обозначающих множественность других типов, например, объектную: «А утопших скажемъ: как сад горѣл и бысть вихрь великъ Волхвова реки суды велики с людьми и з животы ношаше и во огнь вметаше, а иные в воде вихром потопаше [ошибочная форма], истопших нѣсть числа» (там же, л. 13, 1508 г.). Примеров с процессуальным или фоновым значением 7, ср.: «Преставись благовѣрный князь Андрѣи Володимировичъ в Переяслави мѣсяца генваря 22. Егда несяхут и ко гробу дивно бысть знамение велми на небеси» (там же, л. 73, 1141 г.). От глаголов состояния имперфект образуется в 15 случаях, ср.: «И поиде из монастыря и всѣд на конь и приѣде в Новѣград. И бысть от того времени прииде на него изумление, овогда видяху его въ Еуфиевской паперти сѣяща в одной ряскы, иногда же видяху его в полдни у Святѣи сѣдяща в одной ряскы и без манатии» (там же, л. 166, 1484 г.). В 5 случаях имперфект образуется от глаголов речи без дополнительной мотивации, ср.: «Яко же Соломонъ глаголаше: “се же есть мудръ, еже вѣсть древняя повѣда”» (там же, л. 116, 1421 г.). Стоит отметить, что в 4 случаях имперфект обозначает единичный акт; при общем ограниченном числе форм имперфекта пропорция девиантного употребления оказывается вполне ощутимой, ср.: «Да того же лѣта мѣсяца маи 14 на 4 недили послѣ велица [так в изд.] дни во вторник, гдѣ стоало диачия изба дерѣвеная, розметаше ю всю» (там же, л. 160б.–17, 1549 г.); девиантность подчеркнута общим не книжным синтаксическим построением, в которое вставлен безличный имперфект<sup>361</sup>.

Несколько другой тип редуцированного употребления имперфекта дает Летописец 1619–1691 гг. Имперфект употребляется в нем достаточно интенсивно. 99 форм имперфекта приходится на объем в (приблизительно)

<sup>361</sup> Для характеристики употребления имперфекта показателен и тот факт, что в 8 случаях, т. е. в 10,5% всех форм имперфекта, форма выбрана ошибочно, ср.: «И убояшесь людие от страха ижасошась вопияху коиждо. Силен [так в ркп.] и грады убо и камене являшесь изо облака» (там же, л. 118, 1421 г.); «И възлюбиша житие его боляри и люди и прихождаху к нему поучашесь [так!] от него день и ночь, и пребысть ту 18 лѣт» (там же, л. 161об., 1353 г.).

17000 слов, что пропорционально немногим меньше, чем в Суздальской летописи. В Летописце утеряна такая характерная черта летописной традиции, как многочисленность имперфектов от глагола *быти*; в нем всего 3 таких формы, одна в экзистенциальном значении, ср.: «Бяше же и во прешедшия времена соборное молебное со святыми иконами хождение в ту святую обитель, но упразднися неких ради препятий, ныне же паки обновися» (ПСРЛ, XXXI, л. 693об.). Две формы имперфекта выполняют функцию вспомогательного глагола при образовании плюсквамперфекта, ср.: «И много поругашася мертвых телесем, яко же и прочим побиинным боярам, издрибша телеса их, яко грязь смесиша; труп Данила дохтура покрывша сумою нищенскою, юже носил бяше яко нищей» (там же, 722об.–723).

«Смысловые» имперфекты образуют достаточно обычную комбинацию. Наиболее многочисленной рубрикой является обозначение множественности действия, в этой рубрике всего 36 форм, что составляет 36,4% от числа всех имперфектов. Как и в Новгородской второй летописи, узусная и итеративная множественность не доминирует в данной рубрике, на два этих типа приходится лишь 14 примеров, ср.: «они же хождяху округ его к дому, из дому в царский дом, провозжающе его с копии и со оружии, бегуще и нарицающе его себе “батком”» (о стрельцах и Хованском – там же, л. 729об.); «И посылаше во окрестные и в подмосковныя грады единомышленников своих, таких же воров и изменников, донских казаков, с воровскими прелестными писаниями» (там же, 699об.). Другие типы множественности представлены 22 примерами, ср. субъектную множественность: «и в домы умерших тии людие преждедеченныя прихождаху и видяще телеса их мертвыя лежаще неустроены, и, комуждо елико сила может, начаша строити гробы» (там же, л. 695); объектную множественность: «И текше тамо же за преграду, зле возбуждаху всех, да испросят бояр» (там же, л. 719об.).

В процессуальном и фоновом значении имперфект употреблен 12 раз, ср.: «Они же, яко зверие дивии, незлобивое агня, сего страдалца похватиша от царских пресветлых лиц, изведше ис преграды, с Красного крыльца свергоша на землю, влечаху по граду немилостивно, поревающе и биюще» (там же, л. 721об.); «готовляшеся к тому же посещению божию, ожидающе себе конца, хождаше промежду умерших, их же некому погребсти, а без иереов немощно, понеже иереов во царстве тогда бысть мало и не успеваше погребати мертвых» (там же, л. 695). От глаголов состояния образуется 22 формы имперфекта, ср.: «И мняху народи, яко те рыбы – прямое лихое дело, а умышленой их отравы не знаяше; но обаче вскоре слух пройде, и вси познаша» (там же, л. 723). В одном случае находим имперфект от глагола речи (без дополнительной мотивации): «Во утрий же день апрелия в 28 число в пяток бысть всемирное сетование и плачь и рыдание велие во царстве, видяще царев гроб износим к погребению, вси плачуще, глаголаху сице» (там же, л. 703). Один раз имперфект употреблен для обозначения одноразового действия: «Благочестивый же государь подвижеся и сам к ним изыде, глагола им: “Кто есть изменники?” и времени просяше у них до Москвы» (там же, л. 697).

Эти параметры употребления имперфекта малопоказательны; они свидетельствуют об определенной преимущественности узуса, несколько не не-

ожиданной, и в силу ограниченного числа примеров не слишком значимы для вопроса о динамике статистических показателей. Значима, однако же, другая рубрика употребления имперфекта, а именно ошибочные употребления. Их в Летописце 1619–1691 гг. 24, т. е. 24,2% от всех форм имперфекта. Ошибки вполне однотипны: имперфект 3 лица ед. числа употреблен при субъекте во мн. числе; чаще всего это можно объяснить как смешение с формами 3 лица мн. числа аориста, хотя в ряде случаев эти формы образованы от глаголов состояния, для которых в рассматриваемом контексте употребление аориста нехарактерно; в этом случае можно было бы сказать, что автор плохо различает окончания *-ше* и *-ху*. Приведу несколько примеров: «Мнози же тогда страха ради в народе стояше и не хотящи, глаголаше и шапки машуще, глаголаше, яко любо» (там же, л. 722об.); «И мняху народи, яко те рыбы – прямое лихое дело, а умышленной их отравы не знаяше; но обаче вскоре слух пройде, и вси познаша» (там же, л. 723; аорист *знаяша* кажется неуместным и во всех отношениях аномальным, особенно рядом с имперфектом *мняху*). Множество ошибочных форм безусловно является свидетельством того, что летописец плохо владеет употреблением имперфекта, не понимая функции соответствующих форм, а лишь воспроизводя с существенными отклонениями те словосочетания, которые были ему знакомы по чтению других памятников.

Обратимся теперь к агиографической традиции, ограничившись, впрочем, лишь минимальными данными. Я рассмотрю лишь два агиографических текста, а именно Житие Сергия Радонежского (в редакции, опубликованной в Библиотеке литературы Древней Руси) и Житие Михаила Клопского в двух редакциях – второй и тучковской. Это, конечно, не может дать адекватного представления о динамике агиографической традиции в целом, однако все же позволяет представить, какие процессы могли происходить в этой традиции, и тем самым дает возможность сформулировать задачи для дальнейшего исследования. Начну с Жития Сергия, в котором анализировался фрагмент от начала до главы «О Иване, сыне Стефанове» (включительно) (БЛДР, VI, 254–330).

В анализировавшемся фрагменте формы имперфекта встречаются 371 раз, и это означает, что имперфект употребляется в данном тексте с той же интенсивностью, которую мы наблюдали в текстах более ранних. В рассматриваемом фрагменте приблизительно 17000 слов, что лишь на 1700 меньше, чем в Житии Феодосия, в котором фиксируется 390 форм имперфекта; таким образом, в Житии Феодосия одна форма имперфекта приходится на 48 слов, в Житии Сергия – на 46 слов. Сама интенсивность использования имперфекта показывает, что Житие Сергия написано в рамках агиографической традиции. На такую преемственность указывает и ряд других черт употребления имперфекта, о которых мы скажем ниже, хотя эти сходства не отменяют существенных различий, говорящих об определенном разрывании унаследованного от предшествующего периода узуса.

Прежде всего в Житии Сергия встречается довольно много форм имперфекта от глагола *быти*, что, как мы видели выше, было характерно для летописной и нехарактерно для агиографической традиции. Всего таких форм 22, что составляет 5,9% от всех форм имперфекта. 4 таких формы

употреблены в экзистенциальном значении, ср.: «И елико же что дѣаше, псалом въ устѣх его всегда бѣаше» (БЛДР, VI, 314). В 7 случаях имперфект выступает как связка, ср.: «И уже оттолѣ пища матерня въздрѣжаніе и постѣ бѣаше, и оттолѣ младенецъ повсегда по обычаю питаемъ бѣваше» (там же, 266). В одном случае форма имперфекта выступает как вспомогательный глагол при образовании плюсквамперфекта, ср.: «Афанасій же слышавъ, радъ бысть, о Христѣ цѣлованіе даст ему: преже бо бѣаше слышалъ яже о нем, начатки добраго подвизанія его, и церкви възграженія» (там же, 318); это редуцированное употребление плюсквамперфекта может быть как чертой агиографической традиции, так и результатом того устранения плюсквамперфекта из репертуара глагольных форм, которое мы наблюдали в Московском летописном своде. В 10 случаях (и это сравнительно много) имперфект употребляется в конструкциях с неличными формами глагола, ср. с действительным причастием: «Бѣаше бо и та добродѣтелна сущи и зѣло боящися Бога» (там же, 264); с инфинитивом: «Се же бѣаше по смотрению Божию быти сему, яко да от Бога книжное учение будет ему» (там же, 276); со страдательным причастием: «Се же все бысть всемудраго Бога судьбами, якоже Пръвья Царьскія Книгы извѣщают о Саулѣ, иже посланъ бѣаше отцомъ своимъ Киссомъ на взысканіе осляти» (там же, 276).

Основные рубрики «смысловых» имперфектов представлены в том виде, который мы наблюдали и в более ранних житийных текстах. Наиболее многочисленной является рубрика множественных действий, в ней 160 форм, т. е. 43,1% от всех форм имперфекта; характерным для житийной литературы образом наиболее частым типом множественности оказывается узуальный (136 примеров), ср.: «И въ семь всегда труждааше тѣло свое, и иссушая плоть свою, и чистоту душевную и телесную без скверны съблюдаше, и часто на мѣсте тайнѣ наединѣ съ слѣзами моляшеся къ Богу» (там же, 282). К узуальной множественности примыкает итеративная (14 примеров), ср.: «Се же не единою, ни дважды, но и многажды прилучашеся, еже есть по вся среды и пятки бѣваше» (там же, 266). Другие типы множественности представлены относительно небольшим числом примеров, ср. субъектную множественность (9 примеров): «И не мало их от ростовець москвичемъ имѣнія своя съ нуждею отдаваху, а сами противу того раны на телеси своемъ съ укоризною въземающе и тѣми руками отхождааху» (там же, 284); дистрибутивную множественность (1 пример): «Жены же, въздохнувши и бѣюще в перси своя, възвращахуся кааждо на свое мѣсто» (там же, 264).

В процессуальном и фоновом значении имперфект употребляется достаточно часто, а именно, процессуальное значение представлено 25 примерами, ср.: «По ошествии же игуменовъ преподобный Сергій в пустыни упражняшеся, единъ живы» (там же, 298); фоновое представлено 15 примерами, ср.: «егда блаженный въ хижѣ своей всенощную свою единъ беспрестани творяше молитву, внезапно бысть шумъ, и клопот, и мятежъ многъ» (там же, 302). Во вторую по численности рубрику входят имперфекты, образованные от глаголов состояния, ср.: «Сам же преподобный юноша зѣло желаше мнишескаго житія» (там же, 288). В 9 случаях имперфект образуется от глаголов речи без дополнительной мотивации, ср.:

«Предобрый же отрок отвѣщеваше ей, купно же и моляше ю, глаголя: “Не дѣй мене, мати моя, да не по нужи преслушаюся тебѣ”» (там же, 280). Существенное отличие Жития Сергия от предшествующих агиографических памятников состоит в многочисленности форм имперфекта, обозначающих однократный акт; таких примеров 23 (6,6% от всех «смысловых» имперфектов), ср.: «Другойци же мати его привожаше к нему жену нѣкую доилицу имущу млеко, дабы его напита́ла» (там же, 268 – кормилицу привели один раз); «Се есть тѣй, иже ветхаго человека съвлачашесе и отлагааше, а в новаго облечесе» (там же, 296 – так же как субъект этого предложения единожды облечся в нового человека, он и единожды совлекся ветхого; все глагольные формы должны были бы быть аористными); такое изобилие имперфектов, обозначающих одноразовое действие, свидетельствует о том, что при всей своей традиционности Житие Сергия отходит от первоначального агиографического употребления имперфекта и, можно полагать, иллюстрирует отдельный этап в процессе разрушения первоначальной системы<sup>362</sup>.

Перейдем теперь к Житию Михаила Клопского. Как уже говорилось (см. § II-5; § IV-3.3; § V-4.1 § V-5.1.2), это житие существует в трех редакциях. Первая редакция отличается наличием многочисленных не книжных элементов, вторая расширяет текст за счет многочисленных риторических вставок, третья (сделанная Василием Тучковым) представляет собой радикальную переработку текста, приводящую его в соответствие с обработанным книжным узусом. Замечательной чертой первой редакции является полное отсутствие форм имперфекта. Это, конечно, исключительный случай, и других таких агиографических памятников XV–XVI вв., насколько мне известно, нет (ср. перечни форм имперфекта в различных агиографических текстах XVI в., включая Тучковскую редакцию Жития Михаила Клопского, в кн.: Аверина и др. 1996, 27–29). При всей своей исключительности данный случай однозначно свидетельствует о том, что употребление форм имперфекта воспринималось авторами XV в. как специфически книжный навык, нужный для создания «правильного» книжного текста, но не нужный для передачи существенных с точки зрения нарратора смыслов: имперфект, как показывает первая редакция, делается факультативным грамматическим средством.

Вместе с тем приличный автор должен был воспринимать отсутствие форм имперфекта в тексте как вопиющее свидетельство лингвистического невежества, и это создавало стимул для того, чтобы при переработке такого

<sup>362</sup> Можно указать также, что в Житии встречается три девиантных употребления имперфекта, свидетельствующие о том, что автор или переписчик порою создавал специфически книжные образования, не вполне владея грамматическим инструментарием книжного языка. В двух случаях имперфект полнозначного глагола употребляется с вспомогательным *бѣше*: «бѣше бо и тот любяше жити трудолюбно, живый в келии своей житие жестоко» (там же, 292); «Бѣше же в та времена в том монастыри Алексий митрополит живяше, еще не поставленъ в митрополиты» (там же, 292); один раз к *бѣше*, выступающему как связка, без всякой надобности приставлено причастие *быв*: «И понеже младу ему сущу и крѣпку плотию, – бѣше бо силенъ быв тѣлом, могый за два человека» (там же, 312).



текста снабдить его хотя бы минимальным набором форм имперфекта. Именно это и делает составитель второй редакции, причем делает это с заметным усердием, так что во второй редакции мы находим 96 форм имперфекта. Текст невелик, так что 96 примеров могут рассматриваться как достаточно интенсивное употребление, вполне на уровне других агиографических памятников этого периода. Интенции редактора в этом случае совершенно очевидны, он хочет, чтобы текст выглядел по-книжному прилично, однако его книжное мастерство не вполне соответствует поставленной задаче. Это несоответствие ясно отражается в распределении форм имперфекта по известным нам рубрикам.

Прежде всего можно отметить многочисленность форм имперфекта от глагола *быти*, их пропорция существенно превышает ту, которую мы наблюдали в других житийных памятниках; таких имперфектов 21, что составляет 21,9% от общего числа имперфектов. В 8 случаях имперфект употреблен в экзистенциальном значении, ср.: «В той баше обители поп, Никифор тако завои» (Дмитриев 1958, 129). В 4 случаях форма имперфекта выполняет функцию связки, ср.: «И баше житие его вельми жестоко» (там же, 137). В двух примерах имперфект выступает как вспомогательный глагол при образовании плюсквамперфекта, хотя плюсквамперфект в этих примерах оказывается «ложным», не выполняя никаких функций, свойственных этому времени глагола, ср.: «Понеже узна, яко не утаиши от игумена и братии, и хотел бо баше в скровьне месте жити преподобный» (там же, 113); «И тако баше в том монастыри олень кормной, учен у них измлада, и погуби бо баше вдруг и олень с ним» (там же, 135–136). В 7 случаях имперфект выступает в конструкциях с неличными глагольными формами, ср. с действит. причастием: «А друг их третей не взя, баше мысля злую думу о той обители» (там же, 116); с инфинитивом: «И не баше тогда в нем во исходе видети что скорбно» (там же, 137); со страдат. причастием: «И абие Макарий поп страхом и ужасом велием баше одержим и виде в келии старца» (там же, 112).

Не вполне традиционна и статистическая конфигурация «смысловых» имперфектов. Во-первых, обозначение множественности не является доминантной рубрикой, форм имперфекта с этим значением всего 11, т. е. всего 11,5% от общего числа имперфектов. Множественность реализуется в узальном и итеративном вариантах, ср.: «А во всем своем житии по вся неделя единою въкушаше о хлебе и о воде, и тако причащашеся на всяк месяц божественных тайн Христа бога» (там же, 137); «И абие всем благословение и прощение даяше, и от всех сам прощения и благословения прошаше» (там же, 137). Множественность других типов формами имперфекта не выражается. Наиболее многочисленной рубрикой оказываются имперфекты от глаголов состояния, в этой рубрике 23 формы, ср.: «Преподобный же старец пребываше в молитвах и в посте, ночь и день без сна пребываше» (там же, 115). В 10 случаях имперфект имеет процессуальное или фоновое значение, ср.: «И благословение князь у игумена и у блаженного взял, идяше с монастыря к судну» (там же, 133); «Понеже бога чтише и бог почти и» (там же, 114). В 6 случаях имперфект образуется (без дополнительной мотивации) от глаголов речи, ср.: «И тако призва его игумен причаститися божиих тайн,

и он молвяше» (там же, 137). Весьма показательна многочисленность имперфектов, обозначающих единократные акты; таких форм 9 (15,3% от всех смысловых имперфектов, почти в три раза больше, чем в Житии Сергия), ср.: «Блаженный же Михайло старецъ, шед ко владыце, коня того прошаше в свою обитель» (там же, 130); «И възяше с собою из церкви кадило и темьян, и паки пошел в келию свою» (там же, 138). Такое употребление свидетельствует, надо думать, о неполном владении грамматическим инструментарием.

Еще более выразительным показателем этого неполного владения являются многочисленные ошибки. Ошибочные употребления представлены 16 примерами, что составляет 16,7% от всех употреблений имперфекта. Ряд ошибок состоит в употреблении имперфекта 3 лица ед. числа при субъекте во мн. числе (что, однако же, не всегда случается из-за смешения с аористом 3 лица мн. числа), ср. несколько примеров: «А два же их лежаше в монастыре дней больны» (там же, 117); «И абие, совершив обедню, игумен и братия и блаженный старецъ идяше в трапезу» (там же, 128). В других случаях мы находим бессмысленное сочетание глагольных форм, одна из которых является формой имперфекта, ср.: «Бяше обитель есть некая не от славных» (там же, 111). В некоторых случаях можно подозревать смешение не с аористом, а с причастием, ср.: «Того же лета тем же и в жребий того поставиша, не ведяше, яко той от юности на сие зван бяше» (там же, 130 – *не ведяше*, видимо, вместо *не ведяще*). Эти данные позволяют утверждать, что автор второй редакции не владел (или плохо владел) навыками употребления имперфекта, хотя и считал формы имперфекта необходимой принадлежностью книжного языка.

Совсем другую картину дает Тучковская редакция. Насколько совершенно Василий Тучков владел книжным языком, трудно определить; он, например, употребляет имперфект для обозначения единократного акта, хотя и редко (что в целом укладывается в рамки агиографической письменной традиции). Но в любом случае он демонстрирует принципиально иной уровень владения книжным языком в сравнении с составителем второй редакции, и это тем более показательно, что перерабатывает он именно эту вторую редакцию. Самое выразительное свидетельство этой разности в качестве – это полное отсутствие ошибочных форм. Тучковская редакция не отличается в этом отношении от Жития Феодосия или Жития Авраамия Смоленского. Не менее показательна отсутствие форм имперфекта от глагола *быти* в какой-либо функции. Можно сказать, что Тучков в данном аспекте гиперкорректен – более строг, чем его классические образцы (что, конечно, случается с эпигонами). Единственное полуисключение – это употребление имперфекта от глагола *бывати* со страдательным причастием: «Тогда благочестия семена сеяхуся от апостол, последи же класи пожинахуся и плоды владыце приносими бываху» (там же, 142); строго говоря, понятно, это не пример на употребление имперфекта от *быти*, а пример на использование имперфекта для обозначения узуальной множественности.

Итак, практически все имперфекты в Тучковской редакции являются «смысловыми»; всего в данном тексте 77 форм имперфекта. Интенсивность употребления находится в тех же статистических рамках, что и во второй редакции и в ряде классических житийных памятников (текст Тучковской

редакции лишь незначительно короче текста второй редакции; по изданию Л. А. Дмитриева в Тучковской редакции 27 страниц, во второй редакции – 30). Наиболее многочисленной рубрикой оказываются, как это и характерно для агиографической традиции, обозначения множественности, и в этом плане Тучковская редакция исправляет аномалию второй редакции. В разбираемой рубрике 27 примеров (28, если включать процитированный выше пример с *бываху*), что составляет 35,1% всех форм имперфекта – вполне приемлемый показатель для традиционного агиографического текста. Доминирует узуальная (11 примеров) и итеративная (10 примеров) множественность, ср.: «Вкушаше же единою в седмици хлеба, тако же и воду пиаше единою же в седмици» (там же, 146); «И много толцаху, и не отверъзе им, ниже отвеща» (там же, 145); «Он же крестом ограждашеся кадила же укланяшеся» (там же, 145; см. выше, § II-5 об итеративном значении имперфекта в тучковской переработке). В 7 случаях мы имеем дело с субъектной множественностью, ср.: «не в тернии бо, ниже на камени семена ея падаху, но на блазей и тучней земли сторичьствующия плоды приношаху» (там же, 161). Второй по многочисленности рубрикой являются процессуально-фоновые употребления имперфекта. В этой рубрике 26 примеров; такая продвинутость процессуальности напоминает Московский летописный свод (см. выше) и, возможно, свидетельствует о процессе определенного переосмысления функций имперфекта в книжной письменности, ср. примеры: «Сушци же в дому его рыдаху, видяще его ни едином от уд движуца» (там же, 163); «Егда по камень идяху, ветру им поспешьствующу, егда же с камением възвращахуся, и ветр по них паки възвращашеся» (там же, 149). От глаголов состояния имперфект образуется в 15 случаях, ср.: «В келии же ничто же имейше: ни ризы, ни рогожа, кроме единой, ею же тело покрываше» (там же, 146). В 3 случаях имперфект образуется (без дополнительной мотивации) от глаголов речи, ср.: «Святый же отвещеваше им, глаголя» (там же, 158). В 4 случаях имперфект обозначает однократные действия, что, как отчетливо видно из Жития Сергия, не противоречит агиографической традиции, однако все же указывает на границы книжного мастерства Тучкова, ср.: «и тамо архиерейства сан восприемляше от митрополита Киевьскаго Герасима» (там же, 152; о поставлении архиепископа Евфимия в Смоленске); «Вельможа же плачася обещевашеся, и грех своих каяся» (там же, 154; обещание было дано один раз).

Таким образом, в Тучковской редакции мы находим вполне традиционный узус, показывающий, что агиографическая традиция, сложившаяся в домонгольский период, продолжала оставаться актуальной и в XVI в. и что эта преемственность могла быть результатом вполне осознанного выбора: Тучков явно ценит свое книжное мастерство и культивирует свои языковые навыки. Вообще же редакции Жития Михаила Клопского демонстрируют разнообразие вариантов рецепции рассматриваемой письменной традиции – от почти полного ее игнорирования (в первой редакции) к неумелому подражанию (вторая редакция) и далее к почти полностью адекватному воспроизведению (Тучковская редакция). Как эти варианты распределялись в русской письменности XV–XVII вв., нуждается в отдельном исследовании.

Таким образом, употребление имперфекта преемственно характеризует книжные нарративные тексты от начала письменной традиции до времени формирования нового языкового стандарта в XVIII в. Сохраняется основной набор функций, в которых употребляется имперфект. Вместе с тем имеет место и определенная эволюция имперфектного узуса. В ранний период достаточно четко противопоставляются агиографическая и летописная традиции употребления имперфекта. Различия затрагивают и интенсивность употребления имперфекта, ощутимо большую в житиях, и параметры этого употребления, прежде всего пропорцию употребления имперфектов от глагола *быти* в разных функциях. Позднее, в XIV–XVII вв. это противопоставление размывается, сохраняясь лишь в виде реликтов (прежде всего такого формального момента, как интенсивность употребления имперфекта). Изменения характеризуют и содержательные параметры имперфектного узуса. Наиболее заметным изменением оказывается почти полное исчезновение форм плюсквамперфекта с имперфектом глагола *быти* в качестве вспомогательного глагола, а также возрастание доли неправильных в формальном или семантическом отношении форм имперфекта; более нюансированной новацией является увеличение пропорции имперфектов в процессуально-фоновом значении. Существенно, что употребление имперфекта становится для гибридных текстов факультативным (как показывает первая редакция Жития Михаила Клопского), а разные варианты имперфектного узуса (более соответствующие традиции или далеко от нее отходящие) делаются показателями книжного мастерства автора.

### **6. 3. Основные линии эволюции употребления простых претеритов.**

Вопрос о соотношении книжного и разговорного употребления простых претеритов, иногда рассматривавшийся едва ли не как центральный для всей проблемы соотношения книжного и некнижного языка в средневековой Руси, теряет свою принципиальность, если мы исходим из того, что книжный язык обладает собственной преемственностью (от опыта чтения к навыкам письма) и вырабатывает собственную систематичность, которая отнюдь не является слепым отражением систематичности, наблюдаемой в разговорном языке. Развитие происходит прежде всего внутри этой ингерентной для письменного книжного узуса систематичности, когда новое поколение книжников переосмысляет тот узус, который оно находит в текстах, созданных предшествующими поколениями. В каких-то случаях, возможно, это переосмысление происходит и под влиянием разговорного употребления, однако такое влияние отнюдь не является единственным или необходимым фактором (см. выше, § III-5, об особенностях употребления перфекта и плюсквамперфекта в Новгородской первой летописи, никак не выводимых из разговорного узуса, но обнаруживающих нетривиальную нарративную стратегию новгородского летописца; эти особенности были описаны П. В. Петрухиным – Петрухин 2004).

Именно в этом ключе можно интерпретировать в Лаврентьевской летописи ту экспансию употребления перфекта, теснящего имперфект и аорист, которая весьма убедительно была реконструирована Э. Кленин (Кленин 1993). Расширение сферы употребления перфекта происходит за

счет реинтерпретации, при которой позднейший летописец всякий раз опирается на прецеденты, встреченные у своего предшественника, но придает им более общее значение: результатив воспринимается как любое ненарративное употребление, ненарративное употребление понимается затем как категория, приложимая к любому действию, упоминаемому вне строгой нарративной последовательности, и с каждой реинтерпретацией сфера употребления перфекта расширяется. Поскольку этот процесс имеет вид системного (естественного), Э. Кленин предполагает, основываясь на представлении о тождестве системного («естественного») и разговорного, что мы имеем здесь дело с непосредственным отражением развития разговорного языка. Доказать эту гипотезу так же сложно, как опровергнуть, поскольку данными о разговорном языке XI–XIV вв. мы не располагаем. Не менее правдоподобно во всяком случае, что экспансия употребления перфекта в разговорном языке предшествовала всем или части тех изменений, которые мы наблюдаем в Лаврентьевской летописи, а системность наблюдаемых процессов обусловлена постепенностью реинтерпретации внутри самой письменной традиции.

Реинтерпретация форм прошедших времен определенно взаимодействует с динамикой риторических (нарративных) стратегий, наблюдаемых в летописании. Как показал П. В. Петрухин на материале Пискаревского летописца середины XVII в., гетерогенность этого текста относится не только к составу и количественным параметрам морфологических вариантов, но и к способу представления излагаемых событий (Петрухин 1996). С начала XV в., т. е. с периода, к которому можно отнести первые попытки создания больших летописных компиляций, синтезирующих разные местные традиции (иными словами, общерусских летописных сводов), характер изложения меняется. Летописец начинает суммировать события, и это приводит к появлению ретроспективного контекста или ретроспективной точки отсчета (см. об этих понятиях: Падучева 1996, 30–31). В данном контексте начинают употребляться глаголы с общефактическим значением в формах прошедших времен типа *приходиша*, предполагающие суммированное описание события (пришли, побыли, ушли). Для таких глаголов (видимо, вообще для приставочных глаголов несов. вида) противопоставление перфектного, аористного и имперфектного (длительного, не соотношенного с точкой отсчета) значения нейтрализуется, и эта нейтрализация может служить стимулом для реинтерпретации всей системы прошедших времен. Как замечает Петрухин (1996, 76), по существу, «[с]емантические различия между простыми претеритами и *л*-формами стираются: они функционируют как варианты».

В данных условиях оказывается, что для пишущего «[в]идовая характеристика глагола является <...> важнейшим фактором в выборе формы претерита, а все прочие факторы, в том числе фактор традиции, ограничивавшей <...> употребление имперфекта определенными типами нарратива и предписывавшей образовывать их преимущественно от неопределенных глаголов (бесприставочных) отходит на второй план» (там же, 74). Таким образом, смена режима повествования приводит к новым синтаксическим стратегиям, при которых семантика временных форм адаптируется к тем

категориям, которые актуальны для языкового опыта пишущих в данный период: для того чтобы «формы аориста и имперфекта» стали, как пишет Петрухин, «производными, соответственно, от основ СВ и НСВ», видовое противопоставление должно было утвердиться в представлениях книжников как основная характеристика глагольной основы. Характер переосмысления временных форм, привязывающего их к категории вида, наиболее отчетливым образом отражается в заменах аористов от бесприставочных глаголов (несов. вида) соответствующими аористами от приставочных глаголов (сов. вида), нередких в позднейших летописных сводах или позднейших списках летописей, ср. варианты Радзивиловского и Академического списков ПВЛ в отношении к Лаврентьевскому типу *побѣгоша – бѣжаша, придоша – приходиша* и т. п. – ПСРЛ, I, стб. 70, 106).

Переосмысление дифференциации простых претеритов в терминах видовой оппозиции никогда не дает стопроцентных результатов в порождаемых с помощью этого механизма текстах. Действительно, переосмысление происходит в рамках преемственности узуса, а не как смена одного узуса другим. Поэтому, скажем, аорист от бесприставочных глаголов несов. вида (симплексов) продолжает употребляться, хотя, видимо, и в снижающихся пропорциях. Иначе и не может быть, поскольку такие аористные формы, как *видѣ, умре, моли* и т. п., входили в многочисленные выражения, известные книжникам как устойчивые коммуникативные фрагменты, и порождались автоматически в силу ориентации на образцы.

Сам механизм связи простых претеритов с видом сохранял при этом свою значимость. Он не только работал там, где память не диктовала книжнику готового выражения, но имел принципиальные последствия для систематики видо-временных элементов, посредством которых книжник мыслил и излагал описываемые события. Он теснейшим образом связан с развивающимся дискурсивным потенциалом видовой оппозиции. Этот процесс приводил к тому, что возрастал объем информации, передаваемой видовой формой (Бермел 1997, 108), так что спектр нарративных функций вида оказывался сопоставим со спектром аналогичных функций книжной временной системы. В результате для основного изложения аорист и имперфект оказываются вариантами *л*-форм соответственно сов. и несов. вида<sup>363</sup>, так что выбор между простыми претеритами и *л*-формами становится стилистическим и простые претериты получают возможность функционировать как чистые признаки книжности<sup>364</sup>.

<sup>363</sup> Такое переосмысление может, видимо, не затрагивать особые случаи употребления простых претеритов, например, употребление имперфекта для обозначения субъектной множественности, когда имеется в виду действие, совершаемое один раз многими лицами. Формы имперфекта применяются для выражения данного значения, являющегося распространением (переосмыслением) итеративного, во многих памятниках. В этом частном случае имперфект остается нетождествен по функции *л*-форме несов. вида.

<sup>364</sup> Соотнесение простых претеритов с видовой корреляцией находит яркое выражение в спорах об исправлениях в церковных книгах, начавшихся в первой трети XVI в. в ходе процессов над Максимом Греком и продолжившихся затем в полемике старообрядцев и никониан. Речь шла о заменах, произведенных Максимом Греком, а затем повторенных

Это обуславливает появление поздних летописных текстов (частей летописных сводов, охватывающих конец XVI – XVII столетия), в которых л-формы составляют до 90% всех форм прошедшего времени (соответствующие части Новгородской второй летописи, Пискаревского летописца, Мазуринской летописи). В этих текстах употребление простых претеритов (в основном одного аориста) становится композиционно или тематически обусловленным. Такие тексты представляют крайние случаи, занимающие периферийное положение в русской книжной письменности XVII в., однако они показательны в том отношении, что реализуют потенциал вариативности, сформировавшийся в результате переосмысления категорий прошедшего времени. Реинтерпретация осуществляется в подобных случаях радикальным образом, однако сами ее механизмы являются общими для всех текстов гибридного регистра.

Радикализм реинтерпретации зависит от мастерства книжника. Чем выше это мастерство, тем больше книжник «вживается» в способ изложения, представленный в воспроизводимых частях летописи, и тем меньше он отклоняется от унаследованного узуса под влиянием инородного языкового опыта (в частности, опыта разговорного языка). У изощренных книжников различия между воспроизводимым узусом и оригинальным узусом оказываются минимальными, так что текстовые швы, проходящие между частями летописи, составленными разными летописцами, не всегда легко обнаружить. Так, скажем, весьма нюансированными оказываются различия в употреблении простых претеритов в различных степенях Степенной книги; никаких резких сдвигов в узусе, зависящих от времени излагаемых событий (и, следовательно, от времени составления использованных источников), не наблюдается; фиксируемые между степенями различия укладываются в картину очень постепенного переосмысления унаследованного узуса (см.: Оттен 1973).

Если, напротив, этот опыт ограничен и неотрефлексирован, переосмысление может заходить достаточно далеко (или, напротив, автор может – в редких случаях – буква в букву копировать свои оригиналы, и тогда переосмысление вообще никак не реализуется). Примером может служить только что упоминавшийся Мазуринский летописец, составитель которого не обладал, видимо, большим опытом книжной деятельности. В оригинальной части его летописи (в которой описываются события после воцарения Михаила Федоровича – ПСРЛ, XXXI, 156–179) простые претериты составляют лишь четверть всех форм прошедшего времени, тогда как в воспроизводимых частях более трех четвертей, так что отсутствие простых претеритов в

---

никоновскими справщиками форм 2 и 3 лица ед. числа аориста на формы перфекта типа *сѣдѣ* → *сѣдѣлѣ* (см.: Живов и Успенский 1986; см. еще ниже, § VIII-5). Противники этих нововведений воспринимали различие между *сѣдѣ* и *сѣдѣлѣ* по модели видового противопоставления *сѣлѣ* и *сѣдѣлѣ*. Речь шла при этом об интерпретации слов Символа веры (*сѣдѣ одесную Отца*), поэтому противники Максима указывали, что в первоначальном тексте имелось в виду начатое и незавершенное действие (сидение Христа одесную Отца), а в исправленном – действие завершенное (предполагающее, что Христос перестал сидеть одесную Отца). Это давало им основание обвинять справщиков в ереси.

разговорном языке автора отражается в тексте в полной мере. Конечно, и воспроизводимый текст не остается незатронутым инновациями компилятора, но переход к оригинальной части отмечен резким сдвигом в употреблении претеритных форм. Разбив Мазуринский летописец на три части, покрывающие интервалы от всемирного потопа до 1430 г. (там же, 11–102), от 1430 г. до 1613 г. (там же, 102–156) и от 1613 г. до 1682 г. (там же, 156–179), мы получаем наглядную картину того, как осуществляется этот сдвиг (проценты даются от числа всех претеритных форм в анализируемом сегменте текста – см. подробнее: Живов 1995а, 60–61):

Страницы	<i>аорист</i>	<i>имперфект</i>	<i>л-формы</i>	<i>перфект со связкой</i>	<i>плюсквам- перфект</i>
<b>11–102</b>	86,3%	10,2%	3,2%	0,2%	0,1%
<b>102–156</b>	72,3%	6,3%	21,2%	0,2%	—
<b>156–179</b>	23,2%	2,2%	74,6%	—	—

Радикальность переосмысления унаследованного узуса, наблюдаемая в этом памятнике, хорошо видна в том, как составитель Мазуринского летописца обращается с причастиями. Он не в ладах с книжными причастными формами, и поэтому смешивает их с личными глагольными формами, не согласует их по роду и числу, ставит их не в те падежи (Живов 1995а). Наиболее яркий пример подобного переосмысления в Мазуринской летописи наблюдается в начальной части текста, в статьях, заимствованных из святцев. В этих статьях регулярно употребляется форма аориста 3 мн. *быша* при субъекте в ед. числе, причем субъект может обозначаться как формой им. ед., так и формой род. ед., ср.: «Лета 5852, в та же лета *быша* святыи мученик Иоанн Воинственник в царство Иулиана Преспутника [*так!*]» (ПСРЛ, XXXI, 25); «Того же году, в та лета *быша* святаго священномученика Тимофея, епископа прускаго, в царство Иулиана Преступника» (там же); «Того же году, в та лета *быша* иже во святых отца нашего Павла Исповедника» (там же). Возможно даже совмещение формы им. ед. и род. ед. при обозначении одного субъекта: «Того же году, в та лета *быша* иже во святых отец наш Кирила» (там же, 24); «Того же году *быша* преподобны отец наш Харитон Исповедник, живша и пострадаша в царство Аврелиане» (там же, 18). Реже в этой же функции употребляется форма ед. ч. *бысть* – опять же без согласования, ср.: «Того же году, в та лета *бысть* святых мученик и исповедник Гурия Самона» (там же, 19). Во всех этих случаях мы имеем дело, видимо, с трансформациями стандартной записи в месяцеслове, использующей причастие *бывша* или *бывшаго* типа «Святаго апостола Иакова брата Господня по плоти, епископа *бывша* перваго во Иерусалиме» (23 октября). В нескольких случаях сохраняется и исходная причастная форма, ср.: «Того же году, в та же лета *бывшаго* иже во святых отца нашего архиепископа...» (там же, 23); «Лета 5850, в та лета *бывша* преподобнаго отца нашего Аврамия Затворника» (там же, 24). Отсюда объясняется и появление род. ед. вместо им. ед.: в святцах при перечислении опускается заглавное слово *память* или *празднование*.



Редкие вкрапления статей, демонстрирующих данные языковые аномалии, попадают и в других частях летописи; они всякий раз указывают на заимствование из святцев. Причастие исходного текста явно было осмыслено составителем как универсальный предикат с неясной ему субъектной валентностью.

Когда специфически книжные глагольные формы оказываются для автора текста сложными в употреблении и малопонятными по значению, он начинает применять их с большим разбором, для специфических стилистических нужд. Они больше не встречаются повсеместно, но сосредоточиваются в определенных значимых отрезках текста; можно сказать, что они мотивированы характером этих отрезков. Мотивированность может быть композиционной или тематической. Композиционная мотивированность обуславливает употребление форм аориста и имперфекта в рамочных частях текста, прежде всего в его начале; в этом случае пишущий пользуется данными формами для того, чтобы с самого начала обозначить книжный характер создаваемого им текста; поскольку такое обозначение присутствует, в дальнейшем изложении необходимости в специально книжных формах уже не возникает и основным средством выражения становятся *л*-формы. Тематическая мотивированность обуславливает употребление форм аориста и имперфекта в тех фрагментах, которые в рамках данного произведения маркированы по своему содержанию: речь может идти о сакральных предметах, о библейской или античной истории и т. п. В этом случае характерное для всей средневековой литературы подражание образцам становится (в большей или меньшей мере) сознательным приемом письма, позволяющим дать формальное выражение разной семиотической значимости описываемых предметов, грамматически выделить то, что имеет непосредственное отношение к культурным ценностям автора, противопоставив эти предметы повышенного внимания нейтральному повествованию. Ряд примеров того, как действуют указанные факторы, можно найти в новеллах из «Римских деяний» или в Географии Помпония Мелы. По такой схеме построены и некоторые русские исторические сочинения конца XVII – начала XVIII вв. (см.: Жульева 1973а; Солуянова 1989), равно как и ряд других текстов (ср.: Жульева 1973б; Скоморохова-Вентурины 1988).

Так устроены, например, «Записки о стрелецком бунте», входящие в состав Мазуринского летописца (ПСРЛ, XXXI, 173–179). Основным способом выражения прошедшего времени являются здесь *л*-формы, тогда как аорист встречается лишь в 16 случаях. Четыре из этих 16 приходится на начало текста: «Лета 7189 году на московском государстве *бысть* знамение велие: на небеси *явися* <...> звезда <...> И *поиде* от звезды хвост узок и от часу *нача* распространятися в ширину» (л. 298об.; там же, 173). Практически все остальные случаи употребления аориста тематически мотивированы, они появляются там, где речь идет об основных, входящих в сакрализованный обиход событиях царской жизни: восшествии на престол, браке, преставлении. См.: «Государь царь и великий князь Федор Алексеевич <...> *похотеша* [смешение форм аориста и имперфекта] совокупитися второму законному браку. И *взя* за себя государь Матвееву дочь» (л. 299об.; там же, 173); «и крест ему государю *целоваша* бояря и окольничие» (л. 300; там же, 173); «А

на погребение царское на выносе прежде *несоша* крест запрестольной <...> И *погребоша* его, государя, в соборной церкви» (л. 300; там же, 173) и т. д. (ср. еще: Жульева 1973а, 327–328).

Преимственность в письменном языке означает, что пишущий воспроизводит те характеристики текста (в частности, ту вариативность), которую он находит в других текстах данного типа (жанра), которые он читал. Он не всякий раз заново осознает, что релевантно для книжного языка, а что нерелевантно, а осваивает определенный узус. Характеристики воспроизводятся, но это не значит, что они не подвергаются изменениям, поскольку автор, воспроизводя, переосмысляет то, что он воспринял из прочитанного. Он переосмысляет эти характеристики, внося в них семантические категории, присущие его языковой компетенции. Основываясь на этих категориях, он реинтерпретирует знакомые ему образцы. Именно так в XVI–XVII вв. развивается зависимость в выборе форм простых претеритов от видовой корреляции. Авторы знакомы со старыми текстами. Там просматривается определенная, хотя и неоднозначная зависимость аориста и имперфекта от вида глагола. Пишущий может реинтерпретировать ее как прямую: сов. вид – аорист, несов. вид – имперфект, – и в своем собственном узусе следовать этой реинтерпретации. Так же может обстоять дело с употреблением *л*-форм. Исходно они употребляются с ограниченным семантическим заданием, позднее, когда это семантическое задание перестает осознаваться, старые тексты воспринимаются как прецедент употребления *л*-форм, который позволяет пишущему употреблять их в общем значении прошедшего времени.

В этом процессе переосмысления меняются и синтаксические стратегии пишущего, так что постепенно происходит преобразование способов организации нарративных цепочек (например, для обозначения действий или состояний, выпадающих из нарративной последовательности, употребляется не имперфект, а *л*-формы несов. вида, обладающие иным функциональным потенциалом, нежели формы имперфекта). Существенно иметь в виду, что подобные изменения происходят в рамках определенных жанровых традиций. Например, употребление *л*-форм в летописях рассматривается как допустимое на основе древних прецедентов, и со временем это употребление расширяется, обрастая новыми функциями. В гимнографических текстах прецеденты аналогичного употребления (более редкие по характеру этих текстов) воспринимаются как ошибки и постепенно устраняются, что тоже представляет собой разновидность реинтерпретации. В силу этого разные типы употребления простых претеритов по-разному характеризуют разные регистры письменного языка (стандартный церковнославянский и гибридный), а в рамках этих регистров могут неодинаковым образом употребляться в разных жанровых традициях.

## ГЛАВА VI. НОРМА И ВАРИАТИВНОСТЬ В ПРАВОПИСАНИИ. ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИСТРОВ

### 1. Общие соображения

Как я пытался показать в двух предшествующих главах, лингвистическая (риторическая) стратегия реализуется прежде всего в синтаксисе, что обусловлено прямой связью синтаксического построения и коммуникативного задания текста. Сначала определяется общая форма изложения, подразумевающая основные синтаксические характеристики, затем с нею в той или иной степени согласуются признаки других уровней. Уровень лексический при этом малопоказателен, поскольку он слишком тесно связан с содержанием текста, так что выбор здесь обусловлен в большей степени тематикой, нежели лингвистической стратегией<sup>365</sup>. Что же касается фонетики (орфографии) и морфологии, то жесткой соотнесенности с выбором риторической стратегии здесь не устанавливается. Некоторая соотнесенность безусловно имеет место. Она возникает благодаря преемственности языковых навыков пишущих, а не в силу того, что синтаксические стратегии и элементы орфографии и морфологии образуют единую систему (*la langue* в со-сюрровском понимании). Если взглянуть непредубежденным взглядом на соответствующий лингвистический материал, его «внесистемный» характер обнаруживается с полной очевидностью.

Так, например, бытовая система письма, характерная для новгородских берестяных грамот (см. о ней выше, §§ II-4; III-7), обычна лишь для книжных текстов, а для записи книжных текстов может употребляться только в исключительных случаях. Тем не менее такие случаи имеются. Редкий случай такого рода находим, например, в новгородской берестяной грамоте № 419 XIII в., представляющей собой единственную известную на сей день берестяную книжечку. Бытовым письмом записаны здесь две стихиры. По предполо-

---

<sup>365</sup> Хотя, как мы видели при анализе юридической терминологии (см. § III-6), и в лексике существуют тематические сферы, в которых можно говорить об оппозиции книжных и книжных единиц. Выбор книжной или книжной терминологии обусловлен историко-культурной установкой, а не тематикой, поскольку тематика этих текстов в существенной мере совпадает.

жению А. А. Зализняка, ее мог изготовить «для себя кто-нибудь из певчих церковного хора» (Зализняк 1995, 430; Зализняк 2004а, 524). Каковы бы ни были причины, сам этот факт показывает, что безусловной (системной) связи между синтаксическим построением и правописанием не существует. Об этом же свидетельствует торжковская берестяная грамота № 17 второй пол. XII в., содержащая два пассажа из Поучения Кирилла Туровского (Зализняк 2004а, 464–466); по словам Зализняка, эта грамота «являет собой очень чистый и выразительный пример того, как церковно-литературный текст, попадая в бытовую среду, переписывался по бытовой орфографии» (там же).

Точно так же ряд орфографических приемов встречается только в книжной письменности, а в некнижных текстах появляется лишь как исключение. Так обстоит дело, например, с обозначением палатальных сонорных: они достаточно часто обозначаются в книжных памятниках XI–XIII вв. (Живов 1996а), тогда как из некнижных текстов единственным примером является Мстиславова грамота (около 1130 г.). В Мстиславовой грамоте палатальные сонорные обозначаются йотацией следующего гласного; фиксируются три случая: **донкѣже, осенникѣ, въ нѣ** (в одном случае палатальный не обозначен: **оу него**). Мстиславову грамоту можно, конечно, рассматривать как аномалию и объяснять ее книжную орфографию тем, что это, видимо, один из первых письменных документов, созданных в Киевской Руси; никакой традиции делового письма в это время еще не было, и церковник, писавший эту грамоту, не имел оснований отказываться от своих навыков книжного письма. И в этом случае частности не имеют значения, тогда как безусловность связи достаточно очевидна.

Такого же рода примеры можно привести и для морфологии. Например, хорошо представленное в новгородских берестяных грамотах окончание им. ед. о-склонения **-е**, которое уже упоминалось выше, в новгородских книжных текстах появляется в считанных случаях. Два примера из Вопросания Кирика по списку Новгородской кормчей 1280-х годов приводились выше (ср.: Гиппиус 1996б, 51–53). Вывод очевиден: никакой системной связи между морфологическими показателями и синтаксическим построением не просматривается. Сходным образом, формы имперфекта, без которых практически невозможно представить себе книжную письменность, практически не встречаются в некнижной. Несколько исключений тем не менее обнаруживаются в новгородских берестяных грамотах, причем некоторые из них не могут быть объяснены тематикой письма или принадлежностью автора к клиру (см. выше, см. также: Зализняк 1995, 123–124; Зализняк 2004а, 142). Вне зависимости от того, имелся ли имперфект в живой новгородской речи соответствующего периода (см. выше, § V-6.1), можно утверждать, что формы имперфекта присутствовали в языковом опыте новгородцев и иногда могли ими использоваться по случаю, вне прямой связи с коммуникативной установкой и типом текста.

Хотя анализируемая нами связь не имеет, как мы видели, обязательного, системного характера, она несомненно существует (возникая в силу социальной преемственности языковых навыков). При структуралистской концептуализации подобное устройство формальных признаков побуждает говорить о бинарном противопоставлении книжного и некнижного языков,

и именно так трактует их ряд исследователей (ср.: Исаченко, I, 80–98; Успенский 1987, 129–170). Те нарушения бинарности, которые мы только что обсуждали, оказываются при этом маргинальными исключениями и выводятся из рассмотрения в согласии с обычной структуралистской практикой. Пока речь идет об общем противопоставлении типов языкового употребления, связанных с культурной установкой пишущего, подобная интерпретация особых возражений не вызывает. Проблемы возникают тогда, когда это бинарное членение проводится через все множество вариативных языковых средств и каждый из вариантов наделяется значимостью индикатора языкового кода. При таком подходе имплицитно продолжает действовать модель двух языковых систем, в каждой из которых все элементы связаны и однородны по своим системным качествам.

Исследователи, естественно, отдают себе отчет в том, что у этих двух систем большая часть языкового материала является общей, однако элементы, которые могут быть соотнесены лишь с одной из систем, представляются двумя равномерно противопоставленными множествами. Скажем, имперфект, *щ* на месте *\*tj* и флексия *-ѣа* в род. ед. прилагательных ж. рода оказываются составляющими одного «книжного» множества и в силу этого одинаковым образом противостоят составляющим противоположного «некнижного» множества – *л*-форме, *ч* на месте *\*tj* и флексии *-ѣѣ*. Отсюда и появляются «русизмы» и «славянизмы», которыми оперируют историки языка при разборе средневековых восточнославянских текстов. Когда в книжном тексте оказываются элементы из «некнижного» множества, они рассматриваются как чужеродные вкрапления и именуются русизмами; когда в некнижном тексте появляются элементы из «книжного» множества, они также рассматриваются как чужеродные вкрапления и именуются славянизмами. Именно в этих терминах традиционно описывается история языка восточнославянской письменности.

Если обратиться к тому, как в действительности создавались тексты, – имею в виду характер образованности, способы приобретения навыков письма, социальные слои, пользовавшиеся письменностью, – подобная картина не кажется реалистической. Она предполагает, во-первых, что у пишущего было ясное представление о двух противопоставленных системах и о совокупности черт, характерной для каждой из них. Поскольку, как уже отмечалось, только структуралистская мифология побуждает говорить о двух языковых системах, автономно существующих в сознании носителя, такое размежевание языкового материала могло бы быть возможно лишь в том случае, если бы эти «языки» были кодифицированы и книжный язык изучался «по грамматике» (модель двуязычия). Поскольку же опыт книжного языка образовался из чтения текстов, носитель языка мог руководствоваться только своими впечатлениями о том, что где встречается. Понятно, что такие впечатления не формировали бинарной классификации. Одни элементы оказывались более привычными, другие менее привычными, одни – более книжными, другие – менее книжными<sup>366</sup>. Создавался своего

<sup>366</sup> О неоднородности отдельных признаков, противопоставляющих книжный (церковнославянский) и некнижный языки, писал в свое время В. Д. Левин, впрочем, формулируя

рода стилистический континуум, причем, видимо, место в нем некоторых элементов могло быть разным у разных носителей; впрочем, в силу того что основной корпус книжных текстов (Псалтырь, Евангелие, Апостол, богослужебные тексты) имел общезначимый характер, индивидуальные различия носили частный характер.

Во-вторых, описанная выше картина предполагает, что основной и постоянной заботой носителя было соблюдение границы между книжным и некнижным языком. Стремление к подобной чистоте языка действительно могло иметь место, когда речь шла об основных сакральных текстах, актуализовавших нормативную установку. Однако трудно представить себе мотивы, которые с такой же настоятельностью требовали бы от пишущего остерегаться некнижных элементов в тексте, предназначенном для внебогослужебного назидания (как, например, патерики или Поучение Владимира Мономаха) или – тем более – избегать книжных элементов в бытовом письме. Естественно думать, что более важной для пишущего была задача изложить нужную информацию, по возможности сохраняя тот характер изложения, который он находил в уже существующих текстах. Такая задача диктовала выбор книжного или некнижного синтаксического построения, равно как и орфографических и морфологических элементов, ассоциировавшихся в его читательском опыте с тем или другим способом изложения, но в рамках этого выбора оставляла значительную свободу в подыскивании подходящих языковых средств.

Хорошим примером могут служить формы действительных причастий наст. времени с *щ* или *ч* в суффиксе на месте *\*tj* в ряде памятников древней восточнославянской письменности. К. Ларсен, исследовавшая распределение этих форм в Вопросании Кирика и Поучении Владимира Мономаха, обнаружила устойчивую корреляцию между рефлексом *\*tj* и синтаксической функцией причастия (Ларсен 2001; ср. § IV-2). Причастия в книжных конструкциях (в атрибутивной функции, субстантивированные причастия, в составе дательного самостоятельного, оборота двойного винительного и в обороте *нже* + причастие) употребляются исключительно с рефлексом *щ*. Причастия в некнижных конструкциях – в деепричастной функции с субъектом, не совпадающим с субъектом основного предиката, в предикативной функции (функции личного глагола), в нестандартном дательном самостоятельном (см. о таких конструкциях: Ворт 1994, 31–33) – как правило, употребляются с рефлексом *ч*. При стандартном употреблении причастия в деепричастной функции (когда субъект причастия совпадает с субъектом основного предиката), нейтральном в плане противопоставления книжных и некнижных регистров, в Вопросании Кирика появляются исключительно формы с *ч*, а в Поучении формы с *ч* и с *щ* распределены приблизительно поровну. Понятно, что в этом случае мы имеем дело с интерференцией книжного и некнижного узуса, обусловленной нестандартностью коммуникативных задач разбираемых текстов (с чертами гибридности, характерными

---

эту проблему недостаточно четко (Левин 1984). Вопрос об иерархической упорядоченности отдельных признаков в книжной и некнижной письменности вполне отчетливо ставит А. А. Гиппиус (Гиппиус 1989).

для этих памятников, – см. выше, § II-3.3). Интерференция на синтаксическом уровне тянет за собою и интерференцию на морфологическом уровне. Замечательно, однако, что стопроцентной зависимости при этом не возникает. Например, в Вопросании Кирика в конструкции нестандартного дательного самостоятельного один раз встречается причастие с *щ* вместо ожидаемого *ч*: **Попови крѣстѣще дѣтѣмъ, къ собѣ лицемъ обратити** (РИБ, VI, стб. 55). Тем самым вариативность сохраняется, и вместе с тем сохраняется свобода выбора языковых средств, не сводящегося к системному противопоставлению церковнославянского и восточнославянского.

Во многих случаях объяснить, почему в конкретном пассаже конкретного текста выбран тот, а не другой элемент, не представляется возможным: в условиях интерференции языковых регистров всегда есть место для хотя бы минимальной свободной вариативности. Не представляется возможным выяснить, скажем, почему, переписывая евангельский текст, данный писец данной рукописи в данном пассаже употребил **хочеть** вместо стандартного **хощеть**. Однако выполнимой и важной задачей является анализ того, каков был диапазон вариативности в разные периоды истории письменного языка, в результате каких факторов возникала эта вариативность (или, иными словами, каковы были источники этой вариативности), каким динамическим преобразованиям подвергался диапазон вариативности, каковы были причины этих преобразований в случае разных явлений правописания и морфологии и каковы были различия в истории этих преобразований в разных регистрах письменного языка. Поскольку, как было указано выше, вариативность нецелесообразно рассматривать как результат проникновения элементов одной законченной и охватывающей все уровни языка системы в тексты, порождаемые с помощью другой законченной и охватывающей все уровни языка системы, нет никаких оснований полагать, что явления орфографии и орфоэпии, с одной стороны, и явления морфологии, – с другой, имеют параллельное развитие, находящееся в зависимости от одних и тех же факторов. В силу этого представляется разумным рассматривать явления орфографической (орфоэпической) вариативности и явления вариативности морфологической отдельно, отдавая себе, впрочем, отчет в том, что эти уровни могут взаимодействовать (как и в современных орфографических системах, правила которых могут быть основаны на морфологических параметрах).

## 2. Нормативность и вариативность

В средневековых восточнославянских памятниках чуть ли не каждая форма представлена в нескольких возможных графических вариантах, отражающих и возможные различия в произношении (книжном и разговорном), и различия в орфографических принципах, и различия в отношении к оригиналу, с которого копировался текст (если такой оригинал имелся). При сопоставлении с тщательно стандартизованными современными литературными языками, в которых вариативность сведена к минимуму, ситуация в средневековых текстах производит впечатление полного разноречия, в кото-

ром просматриваются лишь зачаточные формы упорядоченности. Это впечатление побуждает ряд исследователей говорить о том, что в церковнославянском узусе раннего периода вообще отсутствовала книжная норма (Ворт 1978). Мне такая точка зрения представляется неоправданной, во всяком случае если понимать норму достаточно широко, не отождествляя ее со стандартизованностью современных литературных языков.

О наличии нормы (представлений о правильности лингвистических форм) однозначно свидетельствуют, как уже говорилось (см. § II-4), многочисленные исправления в дошедших до нас рукописях: если рукопись правится, это значит, что писец заменяет неправильные с его точки зрения элементы на правильные, т. е. обладает представлением о норме и проводит эти представления в своей языковой практике. Лингвистические исправления являются постоянным элементом книжного дела в древней Руси, во многих случаях они осуществляются вполне последовательно, так что нормализация – это обычный, а не исключительный феномен языковой установки восточнославянских книжников. В рукописях XII–XIV вв. встречаются приписки, в которых писец в виде жеста самоуничижения просит прощения за то, что он писал, но не исправлял, и обращается к читателю с просьбой исправить его огрехи, не осуждая его; тем самым правка при списывании рассматривается как естественная составляющая процесса профессионального копирования, в том числе, видимо, и правка орфографическая.

Нормализация в некнижных текстах, обладающих определенным социальным статусом, представляет собой, как было аргументировано выше (§ III-8), производное явление, на начальных этапах полностью зависимое от нормализации в книжных текстах. Поскольку культурный статус некнижных текстов отличался от статуса текстов книжных, писцы, видимо, никак не рефлектировали над теми ошибками, которые они могли в них допустить (это же, впрочем, справедливо и для книжных текстов нижнего иерархического уровня, таких как летописи), и никаких замечаний по поводу своей практики не делали. Особые нормы делового письма (деловой скорописи) образуются относительно поздно, в XV–XVI вв., когда происходит институализация канцелярской деятельности. В бытовой письменности нормализация отсутствует, так что структура вариативности, допускающая свободное использование диалектных вариантов, отличается в ней от структуры вариативности в нормализованных текстах.

Что касается книжной письменности, то для нее мы можем в большинстве случаев реконструировать процесс рекуррентной перелицовки, происходящий при многократном переписывании книжных текстов. Эта реконструкция дает нам возможность объяснить формирование орфографических систем, характерных для разных периодов истории книжного языка, как кумулятивный эффект последовательно проводившихся правок. Писец, переписывающий оригинал предшествующего периода, приводит его правописание в соответствие с нормами своего времени. Он может это делать не вполне последовательно, и тогда его продолжатель (или продолжатели), производя следующие списки, довершают его дело. Замечу, забегая вперед, что кумулятивный характер этого процесса указывает на зависимость между последовательностью в проведении нормативных установок с тем, на-



сколько часто переписывается рукопись; частота копирования находится, понятным образом, в связи с жанром рукописи.

Процесс аккумулируемых изменений, приводящих к формированию новой нормы, можно проиллюстрировать на многократно описанном и прозрачно мотивированном утверждении нормы написания **ж** вместо **жд** на месте *\*dj*. Н. Н. Дурново писал, что

звуковой системе русских живых говоров XI в. сочетание *žd* не было свойственно: *ž*, как и другие шипящие, могло стоять только перед гласными и перед палатальными согласными; между тем *d* в этом сочетании в книжном произношении русских грамотных людей не было палатальным. Только позднее, благодаря выпадению *ь* в слабом положении, в русских языках стало возможным сочетание *žd* с *d* непалатальным. Но в XI в. *ь* после *ž* перед непалатальным *d* сохранялось. Несовпадением между книжным произношением *žd* и звуковой системой живого языка объясняется то, что тенденция к устранению *žd* из книжного языка замечается очень рано; *žd* постепенно было вовсе устранено из языка в тех случаях, где оно соответствовало о.-сл. *\*dj*, и заменено русским *ž*; старшие памятники, указывающие на такую замену, относятся к XI в. (Архангельское ев. и др.) (Дурново 2000, 651–652).

Процесс устранения **жд** может рассматриваться как кумулятивное изменение, приводящее к замене одной нормы другою. Процесс этот был несколько более длительным, чем тот краткий отрезок времени, на который, по видимости, указывает Дурново, обрисовывающий лишь его общие контуры; к тому же он был осложнен рядом мелких, но характерных деталей. Поскольку число рукописей XI–XII вв. весьма ограничено, можно учесть практически все доступные данные. Для первоначального периода восточнославянской письменности можно говорить о норме, предполагающей написание **жд** на месте *\*dj*. Так, исключительно **жд** фиксируется в Новгородском кодексе первой четверти XI в.<sup>367</sup> Эта норма, хотя и с некоторыми отклонениями, сохраняет свою значимость для обоих почерков Остромирова евангелия (OE<sup>1</sup> и OE<sup>2</sup>). В первом почерке на 26 форм с **жд** приходится только 3 формы с **ж** (10. 34%): **прѣ/же** 7а, **роже//нѣи** 8аб, **прихожж** 23в (ср.: Козловский 1885–1895, 113; Лант 1949, 105–106). Во втором (основном) почерке OE **ж** на месте *\*dj* встречается в 27 случаях, однако в подавляющем числе случаев сохраняется **жд** (Лант 1949, 105; примеры см.: Козловский 1885–1895, 113–114). Такая же ситуация и в Изборнике 1073 г. (И1073); оба писца этой рукописи, как правило, сохраняют **жд**; **ж** в соответствующих рефlekсах употребляется приблизительно в 8% случаев (Лант 1949, 114). Не менее последовательна в рассматриваемом отношении Чудовская псалтырь (см. публикацию: Погорелов 1910); в ней на 192 формы с **жд** приходит-

<sup>367</sup> В тексте псалмов, написанных на cere, релевантные примеры отсутствуют. В надписях на полях встречается, однако, **отъхождѣнѣ** (Зализняк и Янин 2001, 23). В «скрытых» текстах, отпечатавшихся на досках кодекса и прочитанных А. А. Зализняком, находим: **троуждаахжс**, **жажджшм**, **проваждаахж**, **прохлаждѣнн**, **троуждаахжѣн** и т. д. (Зализняк 2002б, 50, 52).

ся всего 11 форм с **ж** (5.42%). В этот же ряд могут быть поставлены и Тринадцать слов Григория Богослова (ГПБ, Q. п. I. 16), в которых Лант насчитывает около 14% «русских» написаний (Лант 1949, 140), и Путятин минея (РНБ, Соф. 202), в которой пропорция написаний с **ж** составляет 14.29% (30 написаний с **ж** на 180 написаний с **жд** – см. изд.: Баранов и Марков 2003; ср. еще: Марков 1968, 553). Сходные характеристики присущи и Пандектам Антиоха (ПА – ГИМ, Воскр. 30 – см. изд.: Поповски 1989б): из пяти писцов этой рукописи лишь у двух встречаются написания с **ж** на месте *\*dj*, тогда как три писца вполне последовательно воспроизводят **жд**; даже и два «погрешающих» писца в подавляющем большинстве случаев не погрешают и пишут **жд**: у писца В (по определению И. Поповского) 13 примеров с **ж**, у писца Е – всего 4 примера (Поповски 1989а, 109)<sup>368</sup>.

Насколько оправданно для этих ранних рукописей говорить о нормативности написания **жд** на месте *\*dj*, кажется спорным вопросом. Относительная последовательность данных написаний может быть объяснена как подражание южнославянским протографам: нормативность этого подражания по отдельным лингвистическим параметрам зависит от его сознательности (целенаправленности). Не будет, однако, слишком смелым допущением предположить, что отдельными писцами формы с **ж** на месте *\*dj* могли рассматриваться как ошибочные или во всяком случае как сомнительные. В перечисленных выше рукописях прямых свидетельств такого восприятия нет. Тем не менее по крайней мере в одной рукописи рубежа XI–XII вв., а именно в Бычковско-Синайской псалтыри<sup>369</sup>, у одного из писцов в трех случаях имеются исправления **ж** на **жд** (д дописано сверху): *прихож<sup>д</sup>а/хоу* (л. 63), *въсаж<sup>д</sup>и* (л. 83об.), *ѡи<sup>д</sup>ѡи* (л. 90об) (см.: Альтбауэр и Лант 1978, 72, 93, 100; Кривко 2004б, 175; ср. об этой рукописи ниже). Если писец, который употребляет **ж** и **жд** приблизительно в равной пропорции, может испытывать беспокойство в отношении написаний с **ж**, подобное же беспокойство может быть, видимо, приписано и писцам, употреблявшим **жд** более последовательно. Исправления, как уже было сказано, предполагают норму, хотя, как в данном случае, она обычно не выдерживается с полной последовательностью и существует лишь в течение относительно недолгого периода.

Действительно, уже для 1070-х годов можно говорить о разрушении данной нормы и о начале переходного периода, периода постепенного становления новой нормы. Из датированных рукописей на этот процесс указывает Изборник 1076 г. По подсчетам Г. Ланта в рефlekсах *\*dj* в 62% случаев употребляется **ж**, тогда как на долю «традиционного» **жд** приходится 38% (Лант 1949, 119)<sup>370</sup>. Еще более показательна ситуация в Архангельском евангелии 1092 г., написанном двумя почерками (AE<sup>1</sup> и AE<sup>2</sup>). В первом по-

<sup>368</sup> При этом в двух случаях (по одному у писца В и Е), включенных в подсчет, буква **д** соскоблена; понятно, что время такого рода правки трудно установить; она могла быть произведена существенно позже написания рукописи.

<sup>369</sup> Иногда эта рукопись, фрагменты которой разбросаны по разным хранилищам (Тарнанидис 1988, 109–110), может датироваться и просто XI в. (Зализняк и Янин 2001, 19).

<sup>370</sup> Т. Ротт-Жебровски дает и абсолютные цифры: **жд** употребляется в 63 случаях, **ж** – в 104 случаях, что как раз и составляет 62,28% (Ротт-Жебровски 1974, 190).

черке параметры сходны с Изборником 1076 г.: **жд** встречается в 24 случаях, **ж** – в 30 случаях (55. 56%) (Лант 1949, 106). Второй писец, Мичко, решительно поворачивает в сторону **ж**, которое встречается у него в более чем 90% случаев (там же; ср. еще Дурново 1931). Поскольку оба писца работали одновременно, различия в их узусе по рассматриваемому признаку показывают, какова могла быть дисперсия параметров в переходный период. Сходная ситуация в Минее 1097 г. (М1097). В данной рукописи первые три писца, объединяемые С. П. Обнорским в одну группу (первая часть), употребляют **жд** в 49 случаях, **ж** – в 147 случаях (75%); четвертый писец (вторая часть) употребляет **жд** в 14 случаях, **ж** – в 170 случаях (92. 39%) (Обнорский 1924, 217; ср.: Лант 1949, 132–133). Аналогичные соотношения можно наблюдать и в ряде недатированных рукописей конца XI – начала XII в. Так, например, в Бычковско-Синайской псалтыри в первом почерке в «подавляющем большинстве случаев» на месте *\*dj* пишется **ж**, тогда как написание **жд** представлено единичными примерами (их всего 6) (Кривко 2004а, 87–88). Во втором почерке той же рукописи соотношение иное: **жд** встречается в 25 случаях, **ж** – в 27 случаях (51. 92%) (Кривко 2004б, 175).

Естественно, что в этот же период появляются и рукописи, сплошь характеризующиеся окказиональным употреблением **жд** при доминирующем **ж**. К таким рукописям относятся в первую очередь Новгородские минеи 1095 (М1095) и 1096 г. (М1096). Полные статистические данные для этих рукописей отсутствуют (цифры, которые дает В. Комарович для М1096, неверны и неправдоподобны – Комарович 1925, 37). Однако выборочные подсчеты, сделанные Г. Лантом, показывают, что в М1096 **жд** пишется на месте *\*dj* приблизительно в 6% случаев, а в М1095 аналогичный показатель еще меньше и составляет менее 2% случаев (Лант 1949, 125; ср. Карнеева 1916–1917, 123). Такая же правописная практика характерна и для февральской минеи из собрания Синодальной типографии рубежа XI–XII в. (РГАДА, ф. 381, № 103 – см. СК 1984, № 40, с. 80–81); и в ней **ж** пишется в подавляющем большинстве случаев (Тот 1981, 154–155). Для этих рукописей, таким образом, можно считать, что нормативным в них является написание с **ж**, тогда как написания с **жд** выступают как отклонения от нормы. Это не означает, конечно, что данная новая норма стабилизировалась уже в конце XI в. И в первой половине XII в. появляются рукописи с существенно большей пропорцией отклонений; видимо, пропорция может зависеть и от индивидуальности писца, и от той школы (скриптория), к которой он принадлежит (для раннего периода этот фактор не поддается анализу), и от жанра рукописи. Можно указать, например, на Ефремовскую кормчую, в которой, по приблизительным подсчетам С. П. Обнорского, написания с **ж** встречаются более чем в 500 случаях, тогда как написания с **жд** представлены 350 примерами (таким образом, написания с **ж** составляют около 59%) (Обнорский 1912, 62). Аналогичная пропорция наблюдается и в минее РГАДА, ф. 381, № 131 (так называемая Ильина книга – см. издание: Крысько 2005). Здесь на 136 примеров с **жд** приходится 160 примеров с **ж** (54,05%) (Верещагин и Крысько 1999, 4–5). Можно указать и на еще более консервативные рукописи, появляющиеся позднее новгородских миней. К ним относится, например, Юрьевское евангелие 1119–1128 г. (ГИМ, Син. 1003), орфография кото-

рого архаична по многим параметрам. На первых 50 листах этой рукописи **жд** встречается в 64 случаях, **ж** – в 25 случаях (28.09%). Менее консервативно Мстиславово евангелие (МЕ – ГИМ, Син. 1203; см. публикацию: Жуковская 1983). Выборочные подсчеты (лл. 1а–50г, 75а–105г, 150а–180г) дали здесь следующие результаты: **жд** встречается в 63 случаях, **ж** – в 136 случаях (68.34%)<sup>371</sup>.

В середине XII в., однако, появляются рукописи, в которых написания с **ж** проведены с полной последовательностью. К их числу относится Галицкое евангелие 1144 г. (ГИМ, Син. 404), орфографически один из наиболее выдержанных памятников своего времени. Хотя мои подсчеты ограничиваются Евангелием от Матфея (л. 1–67об.), данные достаточно показательны: на 66 написаний с **ж** не приходится ни одного написания с **жд**; последовательность **жд** вообще здесь не представлена, поскольку рефлексы *\*zdj*, *\*zgj* и *\*zg* перед передними гласными передаются сочетанием **жч** (и~~ж~~ч~~ен~~оу~~тъ~~ 8об., дъ~~ж~~ч~~ит~~ь 11, вѣ~~ж~~ч~~ел~~ѣша 28об. и т. д.). Сходная ситуация в Добриловом евангелии 1164 г. (РГБ, Рум. 103). В основном в нем употребляются формы с **ж**: **вижъ** 110а, **прихожахоу** 110в, **прохожаше** 111б, **стражюще** 112б, 112в, 118в, **зижющемоу** 115б, **одежи** 116а, **роженъихъ** 116б и т. д., отклонения составляют менее 2%.

Понятно, что и сами рукописи Галицкого и Добрилова евангелий, и дата их написания могут рассматриваться как рубежные в процессе формирования новой нормы лишь в качестве символических вех. Неверно было бы утверждать, что после 1144 г. не появляется рукописей с отступлениями от новой нормы, однако можно сказать, что со второй половины XII в. подобные отступления появляются в ограниченном количестве и во многих случаях являются мотивированными (прежде всего лексическими мотивированными). Таким образом, если М1095 с ее ничтожной пропорцией **жд** в рефлексах *\*dj* выступает как провозвестник будущей нормы, опережающий свое время (как показывает, например, написанное через четверть века Юрьевское евангелие, в котором кумулятивный процесс утверждения новых вариантов практически не запечатлелся), то Галицкое евангелие оказывается воплощением новой нормы, отражающим доминирующую правописную практику.

<sup>371</sup> Несколько моментов в МЕ заслуживают отдельного комментария. Во-первых, написание рефлексов *\*dj* распределено в этой рукописи неравномерно. В самом начале написания с **жд** доминируют. Так, на первых 10 листах **жд** встречается в 17 случаях, **ж** – в 3 случаях (15%), однако на следующих 20 листах уже устанавливается среднее для всей рукописи соотношение: **жд** встречается в 18 случаях, **ж** – в 37 случаях (67.27%). В дальнейшем значительных колебаний не наблюдается. Кажется вероятным, что (как это нередко случается) писец поначалу больше ориентировался на свой оригинал, однако по мере продвижения основным руководством для него становилась собственная орфографическая практика. Во-вторых, элементов лексикализации того или другого написания в памятнике практически не заметно: одни и те же формы встречаются и с **ж**, и с **жд**. Есть, однако, два исключения. Только с **жд** пишется корень **цюжд-** (**цю/жднихъ** 50б, **цюжднихъ** 50б) и наречие **съ зажда** (лл. 41а, 61г, 86в, 176в); в обоих случаях, видимо, писец затруднялся соотносить воспроизводимые им формы с элементами своего живого языка.

Об императивном характере новой нормы ясно свидетельствует Троицкий сборник конца XII – начала XIII в. (РГБ, собр. Тр.-Серг. Лавры 12 – см. изд.: Поповски, Томсон, Федер 1988). Этот сборник содержит в перегруппированном виде Пандекты Антиоха. Как установил И. Поповски (Поповски 1987; Поповски 1989а, 120–134), Пандекты Антиоха в Троицком сборнике скопированы непосредственно с уже упоминавшейся старейшей рукописи Пандектов – ГИМ, Воскр. 30 XI в. (см. изд.: Поповски 1989б), так что соответствующие рукописи представляют собой древнейшую в славянской письменности пару антиграф-апограф. Троицкий сборник написан несколькими писцами, орфография которых различается по ряду параметров. Все они тем не менее приводят правописание копировавшейся ими рукописи XI в. в соответствие с орфографическими нормами своего времени (ср.: Живов 2006а, 165–170), так что сопоставимые части Воскр. 30 и Троицкого сборника могут служить полигоном для проверки норм, сформировавшихся в XII в., и установления характера их реализации. При выборочном обследовании оказывается, что писцы Троицкого сборника исправляют **жд** в рефлексх *\*dj* на **ж** вполне последовательно. Примеры многочисленны, так что приведу лишь несколько в качестве иллюстрации (для Воскр. 30 указана глава, параграф и стих Пандектов по изд. Поповски 1989б; для Троицкого сборника – лист и строка):

**Воскр. 30**

свобаждаѣмъ 7: 1. 10

нужьно 7: 2. 17

тоуждемоу 11: 1. 9

даждь 11: 4. 2

**Троицк. 12**

свобажакмъ 67об. 20

нужьно 68. 22

тоужемоу 69. 3

дажь 69. 8

Исправлениями остаются незатронуты лишь несколько примеров (составляющих менее 8% всех релевантных случаев). Эти примеры характерны, и их стоит разобрать отдельно:

**Воскр. 30**

тоуждї 6: 1. 65

вѣждама 104: 1. 52

вѣждама 104: 1. 57

ѡрожда 130: 1. 80

рожденик 128: 1. 118

вѣждж 90: 1. 65

**Троицк. 12**

тоужди 66об. 18

вѣждема 94. 5

вѣждама 94. 8

оуро/жда 101об. 2–3

рожденик 107об. 22

вѣж̑ю 115. 18

По крайней мере 5 из этих примеров специфичны. Они представлены словами, которые, по всей видимости, отсутствовали в живом языке писца и могли быть не вполне известны ему из его читательского опыта. Это относится прежде всего к слову **вѣжда**, которое в форме с **ж** на месте *\*dj* (**вѣжа**, **вѣжь**) в восточнославянских памятниках XI–XIII вв. не встречается (см.: СДРЯ XI–XIV вв., II, 291–292; Срезневский, I, стб. 483). Редким и, возможно,

отсутствующим в восточнославянском разговорном языке является и слово **жрѣжда** в соответствии с греч. βλακεία 'леность, нерадивость, слабость' (PG, LXXXIX, col. 1841C; ср. **жрѣжда** – Срезневский, I, стб. 1257 со значением 'уродливость ума, глупость' и примером из Слов Кирилла Иерусалимского с греч. соответствием μωρία). С формой **тоуждѣ** у писца Троицкого сборника таких проблем не должно было возникать, поскольку отождествление с восточнослав. **чѣуж-** не требовало особой проницательности и в ряде других случаев писец (писец В по классификации И. Поповского) успешно с этим справлялся. Тем не менее это исправление не могло быть столь автоматическим, как другие; здесь возникали затруднения (особенно при первом столкновении: рассматриваемый пример является первым в части, скопированной писцом В), а при затруднениях писец обычно был готов обезопасить себя и повторить написание своего оригинала.

Не исключено, что по сходной причине писец сохраняет и написание **рождениѣ**, хотя идентификация **рожд-** и **рож-** лежала на поверхности и, как правило (см. лл. 72. 8–9, 72об. 22, 101об. 14, 109. 8), осуществлялась писцом без всяких сбоев. В рассматриваемом случае, однако, затруднения мог вызывать контекст. В Пандектах читалось: «**ничтоже тако распалаѣтъ. и движитъ срѣце на любовь бжѣж. такоже бѣсловыѣ. рождениѣ бо се съи благодѣти юго. прѣвѣна оубо. и дары дѣши даровати любящимъ бѣ**» (128: 1. 115–120). Поскольку речь шла о воздействии «богословия» на сердце, в результате которого в нем что-то происходит с благодатью, и вместе с тем говорилось о том, что «богословие» «распалает» сердце, **рождениѣ** могло контаминироваться с **раждениѣ**, т. е. с разжиганием (распалением) благодати (которая, вообще говоря, идет от Бога, а не рождается в человеке, а в человеке может лишь возрастать)<sup>372</sup>. Рефлексы \**zg* перед передними гласными последовательно передаются в Троицком сборнике через **жд**, так что существительное, производное от глагола *разжечь* (**раждечн** – см.: Срезневский, III, стб. 17), как раз и должно было иметь форму **раждениѣ**. Если у писца возникали сомнения этого рода, он и в данном случае мог предпочесть не рисковать и воспроизвести оригинал<sup>373</sup>. Таким образом, норма написания **ж** в рефлексах \**dj* сохраняет для писцов Троицкого сборника полную актуальность, что, однако, не делает недопустимыми отдельные отступления от этой нормы.

<sup>372</sup> Непонимание и сопутствующие ему ложные ассоциации появляются из-за несовершенства перевода, ср. греческий текст: «Γεννᾷ γὰρ αὐτῇ ὅσα τῆς αὐτοῦ χάριτος. πρῶτα πάντων καὶ δῶρα τῇ ψυχῇ χαρίζεται τοῦ ἀγαπῶντος τὸν Θεόν» (PG, LXXXIX, col. 1836C). Возможно, впрочем, что перевод делался с иной версии греческого текста, отразившейся в латинском переводе, лучше соответствующем славянскому тексту («Germen enim ipsa cum sit gratiae divinae...» – PG, LXXXIX, col. 1835C). Как бы то ни было, в славянском тексте без обращения к оригиналу формы с трудом поддаются идентификации (ср. хотя бы **прѣвѣна**), синтаксис оказывается темен, и недоумения переписчика выглядят естественными.

<sup>373</sup> Замечу попутно, что подобные сомнения оформлялись, конечно, не в терминах рефлексов праславянского, а в терминах орфографических правил (ср.: Живов 1986а, 299–300): писец должен был решить, имеются ли в настоящем случае условия для трансформации **жд** → **ж**, что требовало соотнесения копируемого слова с известными ему формами его живого языка (*рожати* или *розжечи*).

Об императивности анализируемой нормы свидетельствуют и прямые исправления, встречающиеся в рукописи Богословия Иоанна Дамаскина рубежа XII–XIII вв. (ГИМ, Син. 108). Здесь имеется правка **но҃жда** → **но҃жа** 7а, **то҃ждѣ** → **то҃жѣ** 7б, **иде҃жде** → **иде҃же** 5б, **пре҃жде** → **пре҃же** 8в и т. д. (Успенский 2002, 128). Правка, по всей видимости, была произведена вскоре после написания рукописи, т. е. может датироваться приблизительно тем же временем, что и создание Троицкого сборника. В рукописях более позднего времени **жд** в рефlekсах *\*dj* встречается только в качестве окказионального реликта (появляющегося при невнимательном списывании более ранних рукописей). Так, например, в Галицком евангелии 1266–1301 г. (РНБ, Ф. п. I. 64) в рефlekсах *\*dj* повсеместно пишется **ж** (ср. в частности: **жа҃жю** 15а, **жа҃жѣть** 26б, **жа҃жю҃щен** 28а) и лишь один раз появляется **жа҃ждю** 145г (Малкова 1987б, 321) с характерной вставкой еря, свидетельствующей о том, что **жд** после падения редуцированных может восприниматься как обычная группа согласных.

Рассмотрение данного частного аспекта становления восточнославянской орфографической книжной нормы позволяет увидеть, как в принципе сочетаются нормативность и вариативность. Прежде всего норма избирательна – в том смысле, что она проводится по одним признакам (например, соотношение написания **ж** с [ž], звучащим в живом языке) и не проводится (или в большинстве рукописей проводится непоследовательно) по другим (например, во многих новгородских рукописях варьируют написания типа **дѣ҃жѣ** и **дѣ҃ждѣ** в соответствии с [žg]). Даже и в тех случаях, когда норма актуальна для писца, она не исключает отступлений и, соответственно, не уничтожает вариативности. Отступления могут появляться в силу разных причин. Копируемая форма может вызывать у писца трудности, в силу которых он оказывается не в состоянии привести ее в соответствие со своей орфографической системой. Писец может быть робок или недостаточно профессионален и ориентироваться на оригинал при всяком недоумении. Или он может быть небрежен и непоследовательно реализовать свои собственные орфографические правила, воспроизводя написания оригинала по невниманию. Причины могут быть разнообразны, но эффект оказывается одним и тем же: написания варьируют как в рамках одной рукописи (точнее, одного почерка), так и от одной рукописи к другой.

### 3. Факторы, обуславливавшие вариативность правописания

Как можно видеть на рассмотренном примере, вариативность обусловлена множественностью ориентиров, которыми руководствуется писец в своей практике. По крайней мере вплоть до XVI в. восточнославянские писцы не располагали никакими справочниками и поэтому должны были опираться на свой профессиональный опыт и свои естественные языковые навыки; при этом в зависимости от своего профессионализма они могли в большей или меньшей степени доверять воспроизводимым им оригиналам. Этим и определяются основные факторы, приводящие к появлению вариантов в

книжной письменности. Можно говорить о четырех таких факторах (см.: Успенский 2002, 114–115):

1. Отражение написаний оригиналов;
2. Отражение усвоенной писцом орфографической традиции;
3. Отражение книжного произношения;
4. Отражение разговорного произношения.

Последнее явление, которому уделялось преимущественное внимание в младограмматических историях языка, можно не рассматривать, так как, если разговорное произношение вступает в противоречие с книжным (а только в этом случае оно может быть опознано как самостоятельный фактор), речь безусловно идет о нарушении нормы. Такие нарушения появляются лишь окказионально и не создают преемственности, так что в динамике правописной практики они роли не играют. Так обстоит дело, например, с отражением аканья. Примеры такого отражения появляются с XIV в., однако никакой акающей орфографии ни в книжном языке средневековья, ни в наследующем ему языковом стандарте Нового времени так и не появляется.

Существенным фактором, обуславливающим написания текста, являются написания оригиналов (влияние протографа). Как уже говорилось, профессиональные писцы руководствовались прежде всего правилами, но следование им могло не быть сплошным, зависело от профессионализма писца, от того, как много исправлений ему приходилось вносить, и, наконец, от статуса текста. Как мы видели на примере написаний рефлексов *\*dj*, для рукописей XI в. правописание южнославянских оригиналов является очень значимым фактором. Собственные письменные традиции находятся в процессе становления и поэтому не могут в полную силу конкурировать с традициями импортированными. Вряд ли в XI в. было и значительное количество профессиональных писцов, сложившиеся писцовые школы, устойчивая система орфографических правил. Хотя к концу века все это появляется, по крайней мере, в первоначальном виде, и это отражается в дошедших до нас рукописях. Можно сказать, что южнославянские протографы формируют восточнославянскую письменную традицию, но потом письменная традиция может вступать в противоречие с правописанием и иными языковыми особенностями протографов. Поэтому прямое влияние протографов характерно в основном для рукописей XI в. и уже в следующем веке сходит на нет. Понятно, что и в XII в. рукописи в данном отношении неоднородны. У нас есть, скажем, Мстиславово евангелие, написанное очень профессиональными писцами и потому влияние протографов почти не отражающее, но есть и отдельные почерки даже второй половины XII в., в которых такое влияние все еще, хотя бы в отдельных написаниях, заметно.

Зависимость от протографа соотносится и с характером текста. Тексты, не входящие в основной корпус, не столь хорошо известные переписчикам, могут сохранять черты протографов дольше, чем, скажем, евангельские рукописи. Правописная практика писца связана, таким образом, с типом текста, над которым он трудится. Это означает, в частности, что с типом текста соотносится тип книжного письма, к которому прибегает книжник, и, сле-



довательно, выбор правописной практики несет определенную информацию о содержательных параметрах текста (обладает семиотической значимостью). Наиболее последовательная и тщательно соблюдаемая орфографическая практика наблюдается в образцовых текстах – текстах Св. Писания и богослужения, – правильность передачи которых непосредственно связана с религиозными ценностями. Тексты, предназначенные для частного (например, келейного) чтения, воспроизводятся менее тщательно (т. е. с меньшей последовательностью в соблюдении избранной писцом орфографической системы), поэтому, например, в аскетических или церковно-канонических памятниках находим большую лингвистическую вариативность, чем, скажем, в текстах Евангелия, Псалтыри или служебных миней. Эта зависимость правописной практики от типа текста была в свое время отмечена Н. Н. Дурново, который писал:

Разное отношение писцов к правописанию их непосредственных оригиналов и вызванные этим либо близость правописания писанных ими рукописей к правописанию оригинала, либо его относительная независимость стояли в связи как с индивидуальными способностями и грамотностью писцов, так и с характером списываемого текста. Писцу не приходилось следить буква за буквой за написаниями оригинала при переписке хорошо знакомых ему текстов, например, Евангелия; наоборот, при списывании малопонятного богословского трактата, где переписчику были неясны самые слова и их грамматическая зависимость, трудно было писцу руководиться своим знанием книжного языка и правописания и приходилось ближе держаться к написанию оригинала; таким образом, а priori можно предположить, что зависимость правописания рукописи от правописания ее непосредственного оригинала тем меньше, чем больше знаком писцу переписываемый текст. Так как естественно, что более ценные рукописи, каковы напрестольные списки Евангелия, поручались более опытным, т. е. более грамотным писцам, то всего менее приходится искать следов правописания непосредственных оригиналов в [напрестольных евангелиях] (Дурново 2000, 645–646).

Хотя на самом деле нам неизвестно, как распределялась работа между писцами и какие обстоятельства играли здесь роль, хотя вряд ли можно утверждать, что напрестольные евангелия всегда написаны более тщательно и последовательно в орфографическом отношении, чем все прочие рукописи (скажем, писец напрестольного Добрилова евангелия 1164 г. допускает существенно большую вариативность, чем писец ненапрестольного, как кажется, Галицкого евангелия 1144 г.), наблюдения Дурново в целом справедливы. Знакомство с текстом представляется, в самом деле, одним из важных факторов, влияющим на особенности правописной практики, – возможно, в силу того, что в этом случае внутренний диктант писца получает характер автоматизма.

Было бы, однако, поспешным принимать его за константу, равномерно влияющую на облик дошедших до нас рукописей: одни писцы были более опытными и, видимо, знали тексты почти наизусть, другие (например, в на-

чале своей карьеры) могли спотыкаться даже и на евангельском тексте. Видимо, на правописную практику мог влиять – причем влиять в противоположном направлении – и другой фактор: религиозная важность текста. Ошибка в Евангелии была страшнее ошибки в аскетическом трактате. Соответственно, над Евангелием книжник работал тщательнее и, возможно, чаще справлялся с оригиналом. Другое дело, что это обращение к оригиналу могло вовсе не приводить к воспроизведению написаний оригинала, поскольку никаких оснований доверять этому оригиналу больше, чем своим навыкам, у опытного книжника не было. Работа над наиболее важными в религиозном отношении памятниками могла, таким образом, характеризоваться не большим автоматизмом (как полагал Дурново), а большей тщательностью, однако тщательность, как правило, понималась как большая (но всегда относительная) выдержанность орфографической системы.

Вариативность в текстах, не входивших в основной корпус (под основным корпусом понимаю Евангелие, Псалтырь, основные богослужебные книги), определялась еще и тем, что в них нередко встречались лексические элементы, которые писец с трудом опознавал или не опознавал вовсе. В подобном случае книжник обычно воспроизводил то, что видел в оригинале (хотя случалось, что он придумывал вместо этого нечто для себя понятное и заменял на него смутившее его слово или словосочетание; так в списках появляются испорченные пассажи). Воспроизведенный элемент мог при этом вступать в противоречие с той орфографической системой, которой придерживался писец. Так, как мы видели выше, нередко обстояло дело с реликтовыми написаниями **жд** на месте *\*dj* в рукописях, последовательно употреблявших в этой позиции **ж** (см. выше о Троицком сборнике и Добриловом евангелии). Красноречивый пример такой орфографической аномалии находим все в том же Троицком сборнике. Переписывая Пандекты Антиоха из рукописи ГИМ, Воскр. 20, писцы, как уже говорилось, последовательно устраняли особенности написания, противостоявшие нормам конца XII – начала XIII в., приводя его в соответствие с орфографическими нормами своего времени. Выполняя эту задачу, они устраняли элементы одноеровой орфографии, осуществляли перестановку **ер** и **р**, **л** в сочетаниях редуцированных с плавными и, среди прочего, устраняли буквы **ж**, **ѣж**, **ѣа**, заменяя их «восточнославянскими эквивалентами» (Поповски 1989а, 132). Делалось все это достаточно последовательно, но все же не без исключений. В одном случае **ж** остается неустраненным, ср.:

**Воскр. 30**

подобѣнь бо єсть постѣнникъ  
 фюѣниковоу цвѣѣтоу.  
 глѣмѣмоу алаѣѣнж 7: 1. 15–16

**Троицк. 12**

подобѣнь бо кѣтъ постѣнникъ  
 фюѣниковоу цвѣѣтоу.  
 глѣмѣмоу алаѣѣнж 68. 1–3

Кажется весьма правдоподобным, что название цветка финика было восточнославянскому книжнику неизвестно. Столкнувшись с этим неведомым словом, книжник предпочел его не трогать, воспроизведя в точности ту форму, которая была в оригинале. Он, таким образом, пожертвовал последовательностью своей правописной практики, стремясь избежать иска-

жения непонятной ему лексемы<sup>374</sup>. И в этом случае орфографический выбор писца оказывается опосредованно связан с характером копируемого текста (незнакомые слова встречаются в текстах, относительно маргинальных для православного церковного обихода: **аа-ѡ-и-ж** не найдешь ни в Евангелии, ни в Псалтыри), а тем самым и с культурным контекстом, в котором работает книжник.

В принципе можно полагать, что написания, восходящие к южнославянским протографам, получают функциональный статус допустимых вариантов, хотя, как показывают исправления **жд** на **ж** в рукописи Богословия Иоанна Дамаскина (ГИМ, Син. 108, XII в.; см. выше), уже в XII в. мы сталкиваемся со случаями, когда написания, восходящие к южнославянскому протографу, но противоречащие восточнославянской норме книжного языка, подвергаются правке. Эта правка свидетельствует о том, что в результате длительного процесса маргинализации «протографические» написания оказываются на грани допустимого: одни книжники при определенных условиях относятся к ним толерантно, другие стремятся их полностью изничтожить.

Обратимся теперь к отражению усвоенной писцом орфографической традиции. Как уже говорилось (см. § II-4), книжные писцы получали специальную выучку и пользовались орфографическими правилами. Объем и характер этой выучки трудно определить; для этого нам недостает данных об организации книжного дела в древней Руси (см.: Карский 1928, 259). Дошедшие до нас рукописи свидетельствуют о том, что в один и тот же период и в одних и тех же культурных центрах разные писцы следуют различающимся правописным системам. Остается неясным, возникали ли такие системы в рамках определенных правописных школ или были результатом индивидуального творчества – индивидуальным приспособлением навыков, выработанных отдельным писцом на основе усвоенных общих принципов и опыта работы с рукописями.

Рукописи, переписанные большими группами писцов, такие, например, как ПА в списке Воскр. 30 (работало пять писцов), или Троицкий сборник (Троицк. 12 – работало семь писцов), или Мерило праведное по списку XIV в. (в работе участвовало по крайней мере восемь писцов, среди них два старших учителя-каллиграфа – см.: Милов 1963; Зализняк 1990, 5–6) и т. д. (примеры многочисленны), свидетельствуют о существовании коллективов писцов, работавших совместно и взаимодействовавших друг с другом (ср. еще ряд примеров у Л. В. Милова: Милов 1963, 32). Такая совместная книжная

<sup>374</sup> В одном случае в Троицком сборнике сохраняется **и-ж**. И в этом случае ее сохранение связано, видимо, с тем, что писец испытывал трудности в идентификации форм, а именно в опознании формы анафорического местоимения ж. рода в Асс. sg. **и-ж**; более естественным ему, возможно, представлялась фраза без этого местоимения (поскольку анафора содержалась уже в местоимении **всюю**), однако опустить затруднившую его форму он не решился, см. этот пример:

**Воскр. 30**

ѡгда бо люкавъгъи съ вѣсь. ѡбъметъ  
дшю. и въсѣ **и-ж** ѡмрачитъ 25: 1. 10–12

**Троицк. 12**

ѡгда бо люкавъгъи съ вѣсь. ѡбъметъ  
дшю. и всюю **и-ж** ѡмрачитъ 73об. 6–8

деятельность представляет определенную форму институализации, создающей контекст для обмена правописными навыками, которые получают в результате надиндивидуальный характер и обуславливают те общие черты в динамике нормы (коллективных представлений о «правильных» написаниях), которые хорошо просматриваются в изложенной выше истории правописания рефлексов \**dj*.

Тем не менее любому историку восточнославянской письменности хорошо известны многочисленные примеры рукописей, написанных несколькими писцами, орфографические системы которых отличны друг от друга. Во многих случаях правописание писцов, работавших вместе (или, по крайней мере, одновременно) различалось не только степенью мастерства, но и отдельными орфографическими принципами, что, вообще говоря, позволяет утверждать, что они придерживались разных орфографических норм. Многократно описаны различия между первым и вторым почерком Архангельского евангелия (Дурново 2000, 400–401; Соколова 1930; Лант 1949, 82 сл.): в АЕ<sup>1</sup> «мягкость согласных не обозначается; **ѣ** и **ѥ**, **ѧ** и **Ѩ** не различаются», тогда как в АЕ<sup>2</sup> «**ѥ** и **ѥ**, **ѧ** и **Ѩ** различаются с большой правильностью <...>; употребляются изредка буквы **ѧ** и **Ѩ**, и вообще довольно строго различаются **ѧ** и **Ѩ** мягкие и немые» (Дурново 2000, 401).

Типографский устав конца XI – начала XII в. (Третьяковская галерея, К-5349; ср.: Дурново 2000, 401–402; Успенский, III, 209–245) написан двумя почерками (ТУ<sup>1</sup> и ТУ<sup>2</sup>). В ТУ<sup>1</sup> проводится различие между **ѣ** и **ѥ**, противопоставлены **ѣ** и **ѥ**, **ѧ** употребляется после согласных, **Ѩ** – после гласных и в начале слова, с помощью **ѧ** и **Ѩ** обозначаются палатальные сонорные, в рефlekсах редуцированных с плавным еры пишутся перед плавным, рефlekсы \**dj* отражаются в виде **ж** (рождѣньѣ 55об., съхоженіи 61об.), в рефlekсах \**CerC* ставится «южнославянский» **ѣ** (непрѣстан 25, чръды 30 и т. д.). В ТУ<sup>2</sup> отсутствует систематическое противопоставление **ѣ** и **ѥ** (еси и кси 34, 37, стипень 34. постъничское 37об.); **ѣ** и **ѥ** нередко смешиваются (добродетельми 32об., вероуи 33, капѣ Vos. 32об.); **Ѩ** часто ставится после согласных; палатальность сонорных не обозначается (и йотированные гласные, и буквы **ѧ** и **Ѩ** ставятся безотносительно к этимологии); в рефlekсах редуцированных с плавным еры пишутся или после плавного или с обеих сторон плавного; рефlekсы \**dj* могут отражаться в виде **жд** (жаждоу 46об., рождении 34об.); в рефlekсах \**CerC* ставится «восточнославянский» **ѣ** (прешѣдъ 32, посредѣ 41об.). Такие примеры нетрудно умножить (см. подробнее: Живов 2006а).

В любом случае для каждого из писцов речь идет о следовании правописной системе. Как отмечал Н. Н. Дурново в уже цитировавшемся выше (см. § II-4) пассаже, «ошибочно думать, что сколько-нибудь грамотные писцы стремились к точной передаче написаний своих непосредственных оригиналов. В этом легко убедиться из рассмотрения рукописей, списанных одним писцом с разных оригиналов или, наоборот, разными писцами с одного оригинала. Таких рукописей сколько угодно» (Дурново 1933, 45; Дурново 2000, 644–645). В качестве примера Дурново указывает на Успенский сборник середины XII в., который в данном отношении чрезвычайно показателен. Оригиналами для собранных в УС сочинений служили разные (переводные и оригинальные) тексты, предположительно гетерогенные по своим

лингвистическим параметрам. Тем не менее «правописание первой половины жития Феодосия, писанной первым писцом, не отличается от правописания переводных повести прор. Иеремии и жития Афанасия, а правописание второй половины жития Феодосия, писанной вторым писцом, – от правописания писанных им же житий Ирины и Иова, между тем как правописание этих двух частей жития, восходящих к одному оригиналу, сильно разнится» (Дурново 2000, 394). Они разнятся, в частности, в таких существенных деталях, как употребление букв **ѡ** и **ѡ̑**: в УС<sup>1</sup> **ѡ̑** употребляется и после согласных, тогда как УС<sup>2</sup> избегает такого употребления.

Таким образом, правописные системы, бывшие в употреблении в пределах одного периода, различались, однако при всем их разнообразии они подчинялись определенным общим принципам. В рамках этих принципов имела место и общая динамика правописных систем, позволяющая говорить об их относительной хронологии. Именно эти принципы входили в основу восточнославянского извода церковнославянского языка и противоплавали его другим изводам. Так, например, употребление букв **ѡ̑** и **ѡ** в южнославянских рукописях основывалось на их разной фонетической реализации, тогда как у восточных славян был выработан орфографический принцип использования этих букв. Согласно одному его варианту **ѡ̑** употреблялось после согласных, а **ѡ̑̑** после гласных и в начале слова; согласно другому варианту **ѡ̑̑** употреблялось после согласных, кроме палатальных сонорных, а **ѡ̑̑̑** после гласных, в начале слова и после палатальных /*ĭ*, *ŋ*/ (как способ обозначения палатальности). Оба варианта, иллюстрирующие разнообразие сосуществующих правописных систем, реализуют тем не менее общие принципы, противоплавающие восточнославянский извод южнославянскому.

Как уже говорилось (§ II-4), преемственность орфографической практики поддерживалась применением орфографических правил. Эти правила являются частью того механизма, который соотносит правописание и произношение, т. е. графический уровень и фонетический уровень. Древнее восточнославянское правописание соотносится с современным ему книжным (церковным) произношением, как на это указывал еще А. А. Шахматов. Шахматов писал: «Между живой русской речью и письменным языком оказывалось средостение в виде <...> церковного произношения. Переписчики, контролируя списываемые оригиналы известным им церковным произношением, произношением для них авторитетным, для них самих обязательным, стали отступать при переписке от своих оригиналов; но <...> делая такие отступления, полагали, что отступают в пользу церковного языка, не заботясь о том, что вместе с тем эти отступления сближали письменный язык (в некоторых чертах) с живым народным произношением» (Шахматов 1910–1912, I, 191).

Ориентация на книжное произношение является важнейшим общим фактором функционирования и эволюции правописных практик. В большинстве случаев он не отделяется от других факторов – следования орфографии, поскольку орфография в конечном счете была основана на книжном произношении, и отражения произношения живого, поскольку по многим параметрам книжное произношение совпадало с живым. В ряде случаев,

однако, расхождение имеет место, и тогда можно видеть действие фактора книжного произношения в чистом виде. Так обстоит дело, например, с написаниями **о**, **е** на месте слабых редуцированных, о котором уже говорилось выше (§ II-4).

Связь правописания с книжным произношением для первого периода истории книжного языка (XI–XIV вв.) является самой непосредственной, орфография не имеет в этот период того автономного статуса, который она получает после второго южнославянского влияния, процесс адаптации состоит как раз в том, что орфография памятников приводится в соответствие с книжным произношением; как пишет Дурново, писцы стремились выдерживать усвоенную ими у южных славян орфографию лишь в тех случаях, когда она не вступала в конфликт с книжным произношением (Дурново, V, 112; ср.: Успенский 2002, 117–118). Лишь в отдельных случаях можно говорить о том, что возникают правила собственно орфографического характера (например, разбиравшееся выше дополнительное распределение **ѣ** и **ѧ** или правила написания **ц** и **ч** в новгородской книжности).

Значимость орфоэпии и ее преимущественная ценность обуславливались в частности и тем, что орфоэпия была относительно единообразна. Во всяком случае богослужебное чтение было существенно более унифицировано, чем книжная орфография. Конечно, и здесь были определенные локальные нормы (например, цокающее книжное произношение на северо-западе восточнославянского ареала), однако такого рода различия были, видимо, минимальны. В правописании царило куда большее разнообразие, поскольку рукописи, по которым читали, возникали в разных писцовых школах, выполнялись более и менее грамотными писцами, а могли быть и вовсе инославянского происхождения (можно думать, скажем, что, если в какой-то церкви была болгарская рукопись, читали и по ней, а не заказывали сразу же новую, соответствующую местному изводу, – это было дорого и не всегда доступно). Разные варьирующие написания могли, надо думать, прочитываться одинаковым образом. Так, скажем, рефлексy редуцированных с плавными могли записываться (для примера) и как **държава**, и как **дърѣжава**, однако читались, как правило, одинаково в виде [dɛrɛʒava] (см. ниже, § VI-6.4.2).

Шахматов понимал книжное произношение как орфоэпическую традицию, реализовавшуюся в церковном (литургическом) чтении. Это понимание, не будучи неверным, апеллировало, однако, к явлению, которое само по себе плохо поддается реконструкции (отсюда ряд ошибочных заключений Шахматова – например, о произношении **ѣ**, см. ниже, § VI-6.5). Традицией, на которой основывалось книжное произношение, было не литургическое чтение само по себе, но обучение чтению, а именно обучение чтению по складам (о традиции этого обучения см. выше, § I-2). Это обучение, которое в древней Руси проходил всякий грамотный человек, и было той институциональной основой, на которой зиждилась традиция книжного произношения.

#### 4. Правописание и обучение чтению по складам

Чтение по складам состояло в произнесении, выучивании и записывании графических последовательностей типа «согласный (+ согласный) (+ согласный) + гласный», в котором на первом месте фигурировали все содержащиеся в азбуке согласные, а на втором – все содержащиеся в азбуке гласные. В результате возникало соотношение графического и фонетического уровней, которое может быть представлено в виде  $ба \Leftrightarrow [ba]$ ,  $ва \Leftrightarrow [va]$ ,  $га \Leftrightarrow [ga]$ ,  $бе \Leftrightarrow [be]$ ,  $ве \Leftrightarrow [ve]$ ,  $ге \Leftrightarrow [ge]$  и т. д. Отсюда выводились элементарные (базисные) соответствия букв и фонем типа  $а \Leftrightarrow [a]$ ,  $б \Leftrightarrow [b]$ ,  $в \Leftrightarrow [v]$ ,  $г \Leftrightarrow [g]$ ,  $е \Leftrightarrow [e]$  и т. д. Умение читать обеспечивало и умение писать – фиксировать на письме звуковые цепочки согласно с базисными соответствиями, заданными чтением по складам. Это, однако, не решало всех проблем правописания. Механизм базисных соответствий давал сбои в двух разрядах случаев: (1) в случае звуковых последовательностей, не обеспеченных базисными соответствиями; (2) в случае омофоничных букв, т. е. букв, соответствующих одной фонеме – во всех позициях (как и и ї) или в позиции нейтрализации какого-либо фонологического противопоставления (как оу и ю в позиции после палатальных согласных).

Именно в этих случаях и должны были работать специальные орфографические правила. Эти правила не входили в элементарное образование и не выучивались при обучении чтению по складам. Они были достоянием профессионального образования книжных писцов. В силу этого они противопоставляли книжное письмо – письмо, оперирующее со специальными орфографическими правилами, некнижному (или бытовому) письму, основанному исключительно на базисных соответствиях, усвоенных в процессе обучения чтению. В отличие от чтения по складам, которое было, видимо, относительно унифицированным (о возможном существовании и в этой области разных традиций будет сказано ниже), профессиональные навыки книжных писцов могли существенно разниться.

Различия касались, во-первых, набора употреблявшихся ими дополнительных графем, не входивших в использовавшуюся при обучении чтению азбуку, но встречающихся в копируемых книжных текстах и нужных в ряде случаев для фиксации на письме звуковых последовательностей, не обеспеченных базисными соответствиями (например, йотированных букв или специальных графем  $\text{л}$  и  $\text{н}$  для обозначения палатальных сонорных), и, во-вторых, собственно орфографических правил. Разные писцы использовали их в разных наборах, отличавшихся как детальностью регламентации, так и характером предписаний. Детальность используемого набора указывала, видимо, на мастерство писца. Можно предположить, что разные мастера письма передавали своим ученикам разные совокупности орфографических навыков (скриптории, возможно, служили той институцией, где осуществлялась эта передача); для раннего периода, как уже говорилось, мы не располагаем никакими достоверными свидетельствами для реконструкции этого процесса. Судя по результатам, стремление к унификации и институ-

циональные условия для этого процесса в первые века письменной культуры отсутствовали; этим, надо думать, было обусловлено отмечавшееся выше разнообразие правописных практик, сосуществовавших в рамках одного исторического периода.

Обращусь сначала к тем правописным практикам, которые были связаны со звуковыми последовательностями, не обеспеченными базисными соответствиями. Здесь можно вновь рассмотреть обсуждавшийся в начале статьи вопрос о правописании **жд** и **ж** в рефлексах *\*dj*. Для букв **д** и **ж** существовали следующие базовые соответствия: **д** ⇔ [d], **ж** ⇔ [ž]. Приложение этих соответствий к последовательности **жд** должно было бы дать фонетическое сочетание [žd], однако до падения редуцированных группа согласных [žd] была чуждой языку восточных славян и, по всей видимости, ими не произносилась. Можно предположить, что складов типа **жда**, **жде** в первоначальном букваре не было, т. е. специально произносить данную аномальную последовательность восточных славян не учили. Поэтому при чтении **жд**, появлявшееся в южнославянских рукописях, заменялось соответствующими местными рефлексами, т. е. на месте *\*dj* читалось [ž], на месте *\*zgj*, *\*zdj* и *\*zg* перед передней гласной в зависимости от диалекта – [žž], [žg] и т. д. В силу этой фонетической адаптации, между прочим, в чтении восточных славян появляется различие, отсутствовавшее в болгарском изводе. Правописная практика постепенно приходит в соответствие с установившимся книжным произношением. На месте **вижду** появляется **вижу**, и это решало проблемы соотношения орфографии и орфоэпии: **вижю** никаких сложностей не создавало и читалось с помощью базовых соответствий.

Орфографическая адаптация рефлексов *\*zgj*, *\*zdj* и *\*zg* перед передней гласной проходит более сложным образом и обнаруживает большую вариативность. Дело здесь как раз в том, что произносившиеся в этом случае [hž], [hg] были звуковыми последовательностями, не обеспеченными базисными соответствиями. Поэтому для них нужно было отдельное орфографическое правило. Это могло быть простое правило, сохранявшее традиционные («южнославянские») написания, типа «там, где слышится [žž] (или [žg] или [žž] в зависимости от диалекта), пишется **жд**». Оно широко применялось, как показывают многочисленные рукописи, в которых на месте *\*zgj*, *\*zdj* и *\*zg* перед передней гласной пишется **жд**, а в рефлексах *\*dj* стоит **ж**. Однако у него были недостатки. Во-первых, оно входило в противоречие с базовыми соответствиями, поскольку **д** оказывалось соотнесено не с [d], а с [ž], или [g], или [ž]. Во-вторых, оно создавало возможность неправильного чтения оставшегося неисправленным **жд** на месте *\*dj* (см. ниже). В этих условиях понятно стремление избавиться от указанных недостатков, изменив написание рефлексов *\*zgj*, *\*zdj* и *\*zg* перед передней гласной. Поскольку произношение (в том числе, видимо, и книжное) было разным в разных диалектных зонах, это стремление приводит к разным результатам в разных писцовых традициях.

Одна из таких возможностей – передать второй член сочетания [ž] особым знаком, отсутствующим в азбуке. Поскольку речь идет о палатальном согласном, на него может быть экстраполирован способ обозначения палатальности у сонорных, т. е. крючок. Отсюда появляется «**д** с крючком» (**ѣ**).



Такое решение, естественно, имеет место только в рукописях, употребляющих графемы **л**, **н**. Его мы находим, например, в Выголексинском сборнике XII в.: **дѣждѣ, вѣждѣлахѣ, пригвождѣны** (Судник 1963, 177) и Мстиславовом евангелии: **иждѣноу, иждѣнѣть, иждѣноуѣть** (лл. 10в, 98а, 126в, 147а, ср.: Успенский 2002, 129). Такие же написания есть и в Толстовском сборнике XIII в. (**дѣждѣ, иждѣнѣть** – ГПБ, Ф. п. I. 39). Этот способ, достаточно редкий и изящный, представлен исключительно в рукописях, написанных на высоком профессиональном уровне, и может считаться изысканным писцовым приемом. В рукописях после XIII в. он не встречается, т. е. уходит вместе с обозначениями палатальных сонорных как **л**, **н**, обнаруживая в этом свою зависимость от них.

Другая возможность используется в писцовых традициях восточнославянского юга и состоит в том, что [ʒʒ] записывается как **жч**. Вполне последовательно этот способ реализован в Галицком евангелии 1144 г. И это решение достаточно красиво, оно опирается на то обстоятельство, что звонкость функционирует как автоматический признак консонантного сочетания в целом, т. е. может быть обозначена лишь в одном из согласных; этим согласным и оказывается **ж**. Такой подход позволяет второй член сочетания записать в глухом варианте, для которого в азбуке имелась особая буква **ч**; правило в этом случае не входило в противоречие с базисным соответствием [č] ↔ **ч**. Этот способ предполагает, что в книжном произношении **жд** стало читаться как [ʒʒ], а затем написание было приведено в соответствие с данным произношением. Понятно, что оно было распространено именно на юге, где указанное книжное произношение соответствовало разговорному.

На севере, во всяком случае в Новгороде, такого соответствия не было; в Новгороде *\*zgj*, *\*zdj* и *\*zg* перед передней гласной давали [ʒg], т. е. сочетание палатального шипящего с палатальным взрывным. Входило ли такое произношение в книжную орфоэпию, остается неясным; возможно, оно было лишь факультативным вариантом. Как бы то ни было, в соответствии с этим произношением появляется и написание **жг**, встречающееся во многих новгородских рукописях XI–XIII вв. И в этом случае специальное орфографическое правило «там, где слышится [ʒg], пишется **жг**» снимало противоречия между написанием и базисными соответствиями, так как соответствие [g] ↔ **г** реализовалось при чтении складов **ги** или **гю** (так же как и складов **ки** и **кю**, необходимых для чтения заимствованных слов). Такие написания, однако, появляются лишь окказионально, что и указывает на неполноценный статус соответствующего произношения.

В этом контексте целесообразно сделать два замечания. Первое относится к взаимоотношению чтения и письма. Можно сказать, что древние восточнославянские книжники обычно читали так, как было написано (в соответствии с книжным правописанием), а писали так, как читалось (в соответствии с книжным произношением). В случае звуковых последовательностей, не обеспеченных базисными соответствиями, этот механизм двустороннего преобразования мог давать сбои. Об этом свидетельствуют написания типа **прѣжге, рожгеноумоу, рожгение, рожгеныхѣ, повѣжгенѣ** в Минее 1095 г. (см.: Ягич 1886, 0116<sub>13</sub>, 0179<sub>6</sub>, 0181<sub>22</sub>, 0183<sub>13</sub>, 0217<sub>7</sub>; ср.: Шахматов 1915, 322; Живов 1984, 257), **рожгению, ѿ тоужаго** в Минее 1096 г. (см.: Ягич

1886, 520-21, 11<sup>17</sup>; ср.: Комарович 1925, 38) или написание **жаждѣть** в Мстиславовом евангелии (л. 266<sup>12</sup>). Подобные написания объясняются тем, что при книжном чтении оригинала **жд**, стоящее на месте *\*dj*, было прочитано (ошибочно, но в соответствии с тем, что книжник видел в рукописи) как [žg] (или [žž]), а затем записано с применением того же приема, что и аналогичные фонетические последовательности, закономерно стоящие на месте *\*zgj*, *\*zdj* и *\*zg* перед передней гласной. Именно возможность такого рода сбоев побуждала книжников, с одной стороны, устранять написание **жд** в рефлексах *\*dj*, а с другой – искать таких способов написания рефлексов *\*zgj*, *\*zdj* и *\*zg* перед передней гласной, которые однозначно соотносились бы с их книжным произношением.

Второе замечание подводит нас непосредственно к обсуждающейся сейчас проблеме роли азбуки и чтения по складам в развитии орфографической системы. Много раз отмечалось, что судьба рефлексов *\*dj* в восточнославянской письменности была иной, нежели судьба рефлексов *\*tj*, несмотря на полный параллелизм в развитии этих рефлексов в живом языке восточных славян. Делались различные попытки объяснить это отсутствие параллелизма в книжном языке. Б. А. Успенский предлагал, например, связывать его с «македонским (западноболгарским) влиянием на русское книжное произношение» (Успенский 2002, 134). Согласно концепции Успенского, в

македонских диалектах X–XI вв. как *\*tj*, *\*kt'*, так и *\*skj*, *stj*, *sk'* давали [štš], в то время как *\*dj*, *\*zdj*, *\*zgj*, *\*zg'* давали [žd']. <...> Русские усвоили македонское произношение **ц** как [štš], поскольку в ряде случаев оно совпадало с их разговорным произношением. Очевидно, что они не могли сделать того же самого относительно македонского (или вообще южнославянского) произношения **жд**, поскольку это произношение ([žd']) не совпадало ни с каким русским произношением (ни с рефлексами *\*dj*, ни с рефлексами *\*zdj*, *\*zgj*, *\*zg'*) (там же).

Это объяснение неудовлетворительно по ряду причин. Произношение [štš] ([šč]) в рефлексах *\*skj*, *\*stj*, *\*sk'* не было общим для всей восточнославянской зоны, при том что нормативность написания **ц** в рефлексах *\*tj*, *\*kt'* характеризовала всю восточнославянскую письменность вне зависимости от локализации рукописей. Это означает, что восточнославянские книжники успешно справлялись с перенесением произношения рефлексов *\*skj*, *\*stj*, *\*sk'* на рефлексы *\*tj*, *\*kt'* даже тогда, когда это произношение не совпадало с их диалектным произношением. Неясно, почему в этом случае они не могли произвести аналогичную операцию со своим произношением рефлексов *\*zgj*, *\*zdj* и *\*zg* перед передней гласной ([žž]), распространив его на рефлексы *\*dj*. Сверх того не вполне понятен механизм усвоения македонского произношения. Читали ли македонские книжники в церквях Киевской Руси, а местные жители им подражали? Или македонцы эксплицитно учили восточнославянских христиан подобному произношению, и – в силу особенностей восточнославянской фонетики – это обучение оказалось успешным в случае рефлексов *\*tj*, *\*kt'*, *\*skj*, *\*stj*, *\*sk'* и безрезультатным в случае рефлексов *\*dj*, *\*zgj*, *\*zdj* и *\*zg* перед передней гласной? И как осуществлялось это обучение – принимая во внимание то обстоятельство, что склады с **жд**, видимо, не существовали?

Более правдоподобно, на мой взгляд, объяснение Г. Ланта. Он предлагает следующую концепцию:

The reason for this lack of parallelism in the two seemingly similar features lies in the graphic system and the usages of church pronunciation. The Bulgarian *št* could represent not only *\*tj*, but also *\*stj* and *\*skj*. <...> The Russian would quickly identify the symbol **ѣ** with his biphonematic *šč*, and doubtless generalized the pronunciation to all occurrences of the letter. Thus he would also say *xoščetъ* <...> instead of his native *xočetъ*, being guided by the spelling. There was only the difficulty of remembering to use this familiar combination of sounds in unusual places. The redistribution of *šč* was then a feature of the Russian church pronunciation. Words employing it except for *stj/skj* would be regarded as new lexical items, doublets to the native Russian forms. Why then was the same redistribution not adopted for “*žd*” as well? In this case there were two letters used to spell the combination. And this combination was not one which ever occurred in R[ussian] words. It must have caused real difficulty for pronunciation, and it is probable that very early any attempt to retain it for church usage was abandoned in favor of the native forms (Лант 1949, 106–107).

Таким образом, согласно Ланту, отсутствие параллелизма объясняется тем, что в азбуке у (восточных) славян была отдельная буква для [šč], но не было отдельной буквы для [žž]. Если бы болгары не располагали буквой **ѣ**, а обходились бы диграфом **шт**, с рефлексам *\*tj* случилось бы в восточнославянской письменности то же самое, что и с рефлексам *\*dj*, и нас бы не озадачивало отсутствие параллелизма. Этот тезис мне представляется верным. Недостает у Ланта лишь определения того, как именно восточные славяне «quickly identif[ied] the symbol **ѣ** with [their] biphonematic *šč*»<sup>375</sup>. Именно в этом процессе решающую роль играло, как я полагаю, обучение чтению по складам.

В самом деле, обучающийся выучивал склады типа **ѣа**, **ѣе**, произнося их с [šč] (или, возможно, другой фонетической последовательностью, которая соответствовала в его живом языке рефлексам *\*skj*, *\*stj*). Встречая букву **ѣ** в читавшихся им текстах, он произносил ее в согласии с установившимися при чтении по складам базовыми соответствиями, а именно **ѣ** ⇔ [šč]<sup>376</sup>. Это

<sup>375</sup> Мне не кажется также убедительным утверждение, что слова с **ѣ** на месте *\*tj* рассматривались восточными славянами в качестве новых лексических единиц, дублирующих их родные формы с **ч**. Как показывают нередкие случаи вариации в подобных формах (например, *хоѣеть* и *хочеть*) в разных списках одного памятника, восточнославянские книжники эти формы отождествляли. Они выступали для них, видимо, как нормативное и ненормативное написание одного и того же слова.

<sup>376</sup> Отдельный непростой вопрос состоит в том, когда появляются склады с буквой **ѣ**. В древнейших дошедших до нас букварях, принадлежащих мальчику Онфиму (новгородские берестяные грамоты № 199, 201), склад **ѣа** имеется (Зализняк 2004а, 476), однако эти тексты относятся к довольно позднему времени – началу XIII в. Вместе с тем в ряде древнейших восточнославянских азбук буква **ѣ** отсутствует (см.: Зализняк 1999, 553). Самая ранняя азбука, в которой появляется эта буква, содержится в новгородской берестяной грамоте № 460 последней четверти XII в. (Зализняк 1999, 559; Зализняк 2004а,



буквы использовались для обозначения палатальных сонорных. В качестве общего замечания стоит указать, что средневековое письмо отнюдь не всегда стремилось к однозначному соотнесению графем и фонем, а попытки приписать ему подобное стремление (например, представить азбуку, созданную Константином-Кириллом как результат безупречного фонологического анализа – см.: Трубецкой 1954, 15–16, 30–31) представляются структуралистским мифотворчеством<sup>377</sup>.

В книжном письме омофоничные буквы использовались иначе, чем в письме некнижном. В некнижном письме, как правило, употреблялись лишь те буквы, которые входили в азбуки и, следовательно, изучались при обучении чтению по складам. Так, вплоть до XIII в. в берестяных грамотах лишь в исключительных случаях встречаются **ѡ** и **ѣ** (Зализняк 2004а, 31)<sup>378</sup>. Избегает некнижная письменность и ряда букв, входивших в азбуки, но выступавших как очевидное излишество, например **ѡ** (там же, 31–32). Книжная письменность, напротив, в целом культивирует буквы-омофоны, профессионально известные книжным писцам из копируемых ими текстов. В ней разрабатываются правила их употребления, создающие для них определенную функциональную нагрузку. Например, буква **ѣ** может замещать **и** в последовательности **ии** (во второй позиции) или в конце строки; буква **ѡ** (а также **ѣ**) может писаться в начале слова и тем самым маркировать границу между словами. Важными функциями могут обладать йотированные гласные. Они дают возможность графически выразить оппозиции /jā – a/ и /je – e/ с помощью противопоставлений **ѡ** – **ѡ̇** и **ѣ** – **ѣ̇** (по модели **ю** – **ѹ̇** = /jü – u/), нейтрализующиеся, впрочем, в позиции после гласной, но нужные для различения /je – e/ в начале слова (Дурново 2000, 452–467; Успенский 2002, 178–180); они могут использоваться также для графического выражения оппозиции палатальных и непалатальных сонорных (Успенский 2002, 159–163; Живов 2006а, 151–177).

Следует заметить, однако же, что все эти приемы дифференциации омофоничных букв характерны для одних писцов и не характерны для других. Поскольку вместе с тем одни и те же приемы встречаются в разных

<sup>377</sup> Парадигматическим примером отсутствия подобного стремления может служить функционирование букв **и** и **ѹ** в средневековой романской письменности. Обе эти буквы могли употребляться и для обозначения фонемы /u/, и для обозначения фонемы /v/, хотя установление однозначного соответствия (как в современном правописании) было, казалось бы, не слишком сложным предприятием.

<sup>378</sup> Ср. формулировку А. А. Зализняка: «[В] обучении грамоте алфавитарию могли играть лишь роль фундамента. Остальное довершала практика: в процессе чтения обучавшиеся убеждались в том, что существуют и некоторые другие, еще не изученные ими буквы. Вероятно, эти дополнительные буквы осваивались разными людьми в разной степени: одни постепенно научались правильно ими пользоваться и включали их в свой активный фонд, другие умели лишь их опознавать» (Зализняк 1999, 573). У пишущих некнижным письмом появление этого дополнительного умения для древнейшего периода (до XIII в.) нехарактерно, хотя никак не невозможно (поскольку, как показывает грамота № 724 [см. выше], некнижным письмом могли пользоваться и те, кто владел письмом книжным). Причины изменения некнижной правописной практики в XIII в. заслуживают отдельного обдумывания.

рукописях, они представляют собой не индивидуальные изобретения, но черты сложившихся правописных практик. В этих чертах наиболее наглядным образом проявляется то разнообразие сосуществующих орфографических традиций, о котором говорилось выше. Нужно учитывать также, что ряд букв оказывался омофоничным в определенных позициях. Так, после палатальных согласных, имевших для своего обозначения отдельные буквы (ж, ш, ц, ч, ц), омофонами оказывались а, ѡ и ѡ; є и к; оу и ю; ѣ и и; ѣ и ѣ. И в этом случае выбор обозначения был орфографической условностью и осуществлялся по-разному в разных правописных практиках.

Вместе с тем те буквы, которым не удавалось получить никакой функциональной нагрузки, достаточно быстро исчезают из книжного письма (ср.: Дурново 2000, 666). Так обстоит дело прежде всего с буквами ѡ и ѡ, которые уже в начале XII в. появляются лишь в редких исключительных случаях. Несколько медленнее этот процесс захватывает и буквы ж и з, употребление которых поддерживалось их наличием в азбуках. Известно, правда, что писец АЕ<sup>1</sup> довольно широко употребляет ж (не противопоставляя его оу) и при этом с большей интенсивностью к концу своей части рукописи; наиболее правдоподобное объяснение состоит в том, что ж, употребляемый вместо диграфа оу, позволял ему сэкономить место и состыковать свои тетради с тетрадями второго писца (ср.: Дурново 2000, 400). Эта относительная компактность не была, однако, настоящей легитимирующей функциональной нагрузкой (к тому же в этом качестве по праву выступала лигатура ѡ, уже в ранних рукописях нередко употреблявшаяся для экономии места в конце строки), и буквы ж она не спасает. В рукописях второй половины XII в. и она появляется лишь как окказиональное исключение (ср.: Успенский 2002, 127; Живов 2006а, 27).

В некнижной письменности все обстоит по-другому. Как уже говорилось, те дублетные буквы, которые не изучались при обучении чтению (не входили в азбуки), как правило, в некнижной письменности XI–XII вв. не употреблялись. Не свойственно некнижной письменности и стремление к функциональной дифференциации графических дублетов; когда они употребляются, они в основном употребляются безразборно. Этим объясняется и терпимость некнижной письменности к «лишним» буквам. Если книжные писцы отказывались от них, когда не находили для них функциональной роли, то некнижные писцы, выучив «ненужную» букву при обучении грамоте (азбуке), без затруднений пользовались ею как легитимным способом письма даже и в тот период, когда книжные писцы избегали подобного употребления. Так, скажем, ж употребляется на равных правах с оу. Такое употребление находим, например, в новгородской берестяной грамоте № 516, второй половины XII в.: «ж опала :ѣ: жнѣ <...> ж сновѣ :ѣ: жнѣ <...> ж тѣръѣнна :ѣ: жнѣ <...>» (Зализняк 2004а, 360). Можно напомнить в этой связи, что для новгородской письменности в качестве омофоничных букв выступали также ц и ч (в силу цоканья, характерного и для книжного, и для некнижного произношения): в книжной письменности эти буквы дифференцировались с помощью орфографических правил (ср. выше, § II-4), тогда как в некнижной письменности они употреблялись безразборно (Зализняк 2002а, 605; Зализняк 2004а, 34).

## 5. Правописные практики и регистры письменного языка

Описанные выше факторы определяют развитие правописных практик вплоть до конца XIV – начала XV в., когда орфографические принципы изменяются в ходе так называемого второго южнославянского влияния (см. об этом ниже, § VIII-2). Эти же факторы обуславливают и различия в правописных практиках, характерных для разных регистров письменного языка, находящихся в данную эпоху в периоде становления. Основным различием оказывается здесь противопоставление книжного и некнижного письма.

Некнижное письмо, свойственное бытовому регистру письменного языка, не испытывает по понятным причинам влияния южнославянских протографов, поэтому, в нем никогда не появляется написание **жд** в соответствии с *\*dj*. Не испытывает оно и влияния книжного произношения. Вне зависимости от того, предназначались ли письма бытового содержания для чтения вслух (ряд берестяных грамот предназначался для оглашения адресатом третьему лицу, см. о прагматике берестяных грамот: Гиппиус 2004в; Гиппиус и Схакен 2011; Схакен 2011) или исключительно для чтения про себя, они отражали некнижное (диалектное) произношение, что и делает эти тексты ценнейшим источником для исторической фонетики (см. выше, § III-7). В силу этого, если воспользоваться разбиравшимися выше орфографическими явлениями как лакмусовой бумажкой, в бытовых текстах никогда не появляется **џ** в соответствии с *\*tj*. Бытовые тексты в нормальном случае всегда писались заново, т. е. не копировались ни с какого антиграфа, поэтому для них нерелевантны все те проблемы, которые возникали в книжной письменности при соотношении оригинала и копии (стратегии копирования, доверие или недоверие к оригиналу и т. д.). Наконец, и это едва ли не самое важное, некнижное письмо было основано на базовых соответствиях графем и фонем и игнорировало орфографические правила, применявшиеся (в разном объеме) книжной письменностью; в этой связи стоит упомянуть, что до XIII в. бытовые тексты, как правило, не использовали букв, отсутствовавших в изучавшейся их авторами азбуке. Понятно, что некнижное правописание обладало собственной преемственностью, и весьма показательно, что оно могло, в принципе, связываться с коммуникативной установкой пишущего и соотноситься с предметом изложения (бытовым, не имеющим социального статуса официальной коммуникации), как это показывает разбиравшаяся выше (см. § III-7) грамота № 724.

Правописные практики, характерные для стандартного церковнославянского регистра, по всем отмеченным признакам противоположны практикам некнижного письма. Основные тексты стандартного церковнославянского регистра являются воспроизводимыми текстами. В этой связи они, как было показано, испытывают непосредственное или опосредованное влияние южнославянских протографов, что иллюстрируется, в частности, появлением в них написаний **жд** в соответствии с *\*dj* (сначала как нормативного, а затем как допустимого варианта). Тексты стандартного церковнославянского регистра в своей основной части предназначены для литур-

гического чтения, и поэтому книжное произношение оказывает на них самое непосредственное влияние. При копировании писец подобных текстов пользуется, видимо, внутренним диктантом, особенно значимым, когда он знает данные тексты наизусть. Именно в этом процессе реализуется стремление привести правописание в соответствие с книжным произношением. В этой связи, в частности, в стандартных церковнославянских текстах **ѣ** в соответствии с *\*tj* появляется в качестве единственного допустимого варианта, а **ч** в соответствии с *\*tj* рассматривается как ошибка. Нормальным подходом писца к копированию стандартных церковнославянских текстов является унифицирующая установка, т. е. приведение правописания копируемых им оригиналов к единой правописной системе, которую писец считает правильной. Именно такие установки демонстрируют, в частности, два писца Успенского сборника, о которых говорилось выше. Правильность письма в стандартных церковнославянских текстах обеспечивается прежде всего особыми орфографическими правилами, которые составляют профессиональную выучку книжного писца. Хотя объем и изощренность этих правил различны для разных писцов, именно в этих текстах находят приложение все искусственные орфографические приемы, обеспечивающие соблюдение орфографической нормы.

Как уже говорилось, гибридные и деловые тексты пишутся, как правило, книжным письмом; во всяком случае вплоть до XV в. (до развития скорописи как особого типа делового письма) они не обладают собственной правописной традицией. Тем не менее книжное письмо этих текстов отличается по ряду признаков от книжного письма стандартных церковнославянских текстов. Гибридный регистр в XI–XIV вв. находится в процессе становления, и его особенности, заметные прежде всего в летописных текстах, еще не складываются в стабильный узус. Однако и в этот ранний период их правописание не во всем совпадает с правописанием текстов стандартного регистра. Прежде всего гибридные тексты – это тексты оригинальные, а не воспроизводимые. Поэтому южнославянские протографы не оказывают на них никакого влияния. В летописях, например, если иметь в виду списки, не затронутые вторым южнославянским влиянием, никогда не появляется **жд** в соответствии с *\*dj*<sup>379</sup>. Предназначались ли летописные

<sup>379</sup> В качестве простой иллюстрации можно перечислить все слова, в которых появляется **жд** в Синодальном списке НПЛ. Их немного, и ни одно из них не содержит рефлексов *\*dj*. Чаще всего буквосочетание **жд** встречается в корне (топониме) *Суждал-* (*сѣждаль*, *сѣждальць*, *сѣждальскыи*); таких примеров 27 (см.: НПЛ, л. 15, 15об., 19об., 20, 20об., 25, 26об., и т. д.). Если принимать этимологию О. Н. Трубачева, возводившего этот топоним к *зѣдати* (Трубачев 2004, 302–303; ср. однако же: Фасмер, III, 797), это сочетание образуется в результате падения редуцированного. Утрату редуцированного можно предполагать и в топониме *Ждань* («И бишася на Ждани горѣ» – НПЛ, л. 15об.). Падение редуцированных, широко отражающееся в НПЛ, лежит в основе написаний слов с корнем *жъд-* (*дождавъше* 67об., 146об., *жда* 103, *ждавъше* 103об., *дождавъше* 127) и местоимений на *-жъдо* (*комѣждо* 29, *кождо* 89об., 99об., 120об.). В трех случаях **жд** стоит на месте *\*zg* в корне *дъжд-* (*дѣждева* 23, *дѣждемь* 125об., *дѣждеве* 132). Отмечу, что в четырех случаях рассматриваемые корни пишутся с ерами: *сѣждальстѣи* 14об., *сѣждальци* 19, *ждѣче* 35, *кождо* 97). Сходная ситуация в Лаврентьевской летописи.



тексты для чтения вслух, нам неизвестно, однако следует думать, что при копировании этих текстов контроль с помощью книжного произношения осуществлялся в них в значительно ослабленном виде. Этому несомненно способствовал тот факт, что для многих элементов (слов), встречающихся в летописях, писец не находил стандартного книжного эквивалента. В результате в летописях, например, **ѡ** в соответствии с *\*tj* остается доминирующим написанием, однако **ч** в этой позиции встречается значительно чаще, чем в стандартных церковнославянских текстах и, возможно, не воспринимается как ошибка.

При копировании летописных текстов одни писцы с разной степенью тщательности унифицируют воспроизводимый текст, а другие не отступают от оригинала. Обе стратегии обнаруживаются, например, в Синодальном списке Новгородской первой летописи. Написанная первым почерком первая часть летописи (до 1234 г.) воспроизводит особенности своего оригинала без заметной ревизии; второй писец, работавший позже (с 1330 г.) и написавший вторую часть кодекса, унифицировал правописание той части, над которой он трудился. В результате лингвистическая (в том числе и правописная) гетерогенность первой части выражена несравненно сильнее, чем лингвистическая гетерогенность второй части (о том, как образовался Синодальный список, о его составе и почерках см.: Гиппиус 1997а; ср. также: Гиппиус 1992; специально о лингвистической гетерогенности данного списка см.: Гиппиус 1996а). Гетерогенность первой части распространяется не только на вариативность морфологических форм, но и на орфографические условности (ср., например, о неодинаковом для разных лет употреблении букв **ѡ**, **ѣ** и **ѣ**: Гиппиус 1997а, 65, примеч. 158). Насколько мне известно, ни один книжный писец, работавший в XI–XIV вв. с евангельскими или богослужебными рукописями, такой стратегией, как первый писец Синодального списка, не пользовался. Никакой гетерогенности (в пределах одного почерка), хотя бы отдаленно напоминающей гетерогенность первой части Синодального списка, в церковно-богослужебной письменности рассматриваемого периода не обнаруживается. Это обстоятельство несомненно связано с местом летописей (как типа письменного памятника) в иерархии книжных текстов. В этой иерархии летописи стоят на самой нижней ступени (см. § III-8). С одной стороны, они могут почти не подвергаться правке, с другой – замены в них не подвержены столь жесткому контролю, как замены в текстах, использовавшихся при богослужении. Именно поэтому в летописании книжники могут работать и как бесхитростные копиисты (консервирующая установка), и прямо противоположным образом – перенося на воспроизведение летописей те навыки книжного письма, которые они выработали при работе с иерархически более значимыми текстами (унифицирующая установка).

Что же касается применения орфографических правил в гибридных текстах, то здесь они значимым образом от стандартных церковнославянских текстов не отличаются. Поскольку иерархический статус этих текстов был низок, они копировались с меньшей тщательностью, чем тексты церковно-богослужебные. Орфографическая изысканность была в них неуместна, так что в анналистических рукописях мы не находим сложных орфогра-

фических приемов (таких, скажем, как использование особых обозначений для палатальных сонорных). Как правило, заметно меньше в них и последовательность в реализации орфографических правил. Так, например, в Синодальном списке Новгородской первой летописи «цокающие» написания появляются чаще, чем в большинстве современных новгородских текстов стандартного регистра, хотя пропорция их несопоставима с аналогичным показателем для бытовых текстов, правила вообще игнорировавших. Простые правила книжного письма и здесь применялись вполне последовательно, о чем свидетельствует, например, отсутствие смешения ъ и ѳ, њ и ѿ.

Деловой регистр в XI–XIV вв. также далеко еще не сложился, так что относящиеся к нему тексты могут быть достаточно разнородны, в том числе и в отношении к правописанию. Уже отмечалось, в частности (см. § III-8), что имеются деловые (юридические) тексты, написанные некнижным письмом, а именно список А Смоленской грамоты 1229 г. (международного договора). В целом, однако же, правописание деловых текстов нормализовано и реализует книжную орфографию. И в этом случае, впрочем, правописные практики деловых текстов не вполне тождественны практикам стандартного книжного письма. Деловые тексты, конечно же, не испытывают влияния южнославянских протографов, поэтому – приведем обычную иллюстрацию – в них никогда не появляется жд в соответствии с \*dj. Их написание никак не контролируется книжным произношением (даже в той ослабленной степени, которая свойственна текстам гибридного регистра). Если эти тексты и читались вслух (что представляется вероятным), то, надо думать, произношение при этом было некнижным, соответствующим секулярной обстановке подобного акта. Соответственно – воспользуемся и здесь обычной иллюстрацией – в них, как и в текстах бытового регистра, не появляется ѿ в соответствии с \*tj. Какая-либо унификация при воспроизведении для этих текстов также нерелевантна, хотя, как видно из примера елецкой челобитной 1625 г., приводившегося в § III-8, в позднейшее время, когда формируется отдельная приказная правописная норма, и деловые тексты могут при воспроизведении подвергаться *sui generis* унификации. Что же касается орфографических правил, то ограниченное их использование характерно и для деловых текстов. Хотя никакой орфографической изоциренности в них не обнаруживается (за редчайшими исключениями, см. выше об обозначении палатальных сонорных в Мстиславовой грамоте около 1130 г.), стандартные правила книжного письма применяются и в них. В силу этого в них, как правило, отсутствует смешение ъ и ѳ, њ и ѿ, ѿ и ѿ, характерное для бытовой письменности, а в северо-западных текстах «цокающие» написания представлены в меньшей пропорции, чем в бытовых берестяных грамотах (хотя, видимо, в большей, чем в летописных текстах).

Результаты изложенных выше наблюдений над соотношением правописных практик и регистров письменного языка можно суммировать в следующей таблице:

	<i>Влияние южнослав. протографов</i>	<i>Влияние книжного произношения</i>	<i>Унификация при копиро- вании</i>	<i>Применение орфографиче- ских правил</i>
Стандартный церковнослав.	+	+	+	+
Гибридный (летописи)	—	+	—	+
Деловой (договоры)	—	—	—	+
Бытовой (некнижное письмо)	—	—	—	—

## 6. История отдельных орфографических явлений

Выше были рассмотрены основные факторы, определявшие динамику правописных практик и их соотношение с регистрами письменного языка. В качестве иллюстрации была подробно разобрана история написаний рефлексов *\*dj*, история написаний рефлексов *\*zgj*, *\*zdj* и *\*zg* перед передней гласной, а также рефлексов *\*tj*, *\*kt'*, *\*skj*, *\*stj*, *\*sk'*. Анализ этих явлений был необходим нам для того, чтобы уяснить принципы, на которых строилось книжное письмо в его противопоставлении письму некнижному. Этим, конечно, не исчерпывается история изменений в правописных практиках. Динамика ряда других явлений орфографии будет рассмотрена ниже.

**6. 1. Употребление юсов.** В период распространения книжности в восточнославянских диалектах носовые гласные отсутствовали, они были чужды звуковой системе восточных славян и поэтому не фигурировали не только в живом языке, но и в книжном произношении. Следует думать, что никаких их следов не было и в процедуре обучения грамоте (чтении по складам), т. е. склады с юсами, входившими в азбуку (**ѣ**, **ѡ**), произносились без носовых гласных. Можно полагать, что, скажем, **ѣж** читалось как [bʲu] или [bʲü], **ѡ** – как [bʲä]. Соответственно, в орфоэпии имела место немедленная адаптация, при которой на месте носовых гласных [ɔ, ɔ̃, ɛ] оказывались [u, ü, ä]. Поскольку в книжном произношении носовые гласные отсутствуют, орфография памятников приспосабливается к орфоэпии; юсы оказываются омофоничными буквами и становятся объектом действия собственно орфографических правил. Мы уже видели, к чему это приводит в случае **ѡ**: **ѡ** и **ѡ** (а в определенных позициях – после палатальных шумных – также и **ѡ**) оказываются в дополнительном распределении. В ранних памятниках, например, АЕ<sup>2</sup>, это распределение часто не выдерживается – видимо, как ввиду слабости еще только формирующейся орфографической традиции, так и в силу возмущающего влияния южнославянских протографов; в дальнейшем (в памятниках XII в. и более поздних) выдержанное дополнительное распределение обычно указывает на профессионализм писца, отступления от него – на недостаток профессионализма, хотя не обходится без исключений;

Нейотиrowанный юс большой (ж) держится дольше, чем йотиrowанный. Исчезает, однако, и он, поскольку не находится никакого правила, которое оправдывало бы его употребление (как в случае с ѡ). Эта буква пишется ис-

691

ключительно под влиянием южнославянских оригиналов, однако полного тождества с южнославянскими правописными практиками нет даже в таком архаичном памятнике, как Новгородский кодекс; даже и в нем в читающей на воске части наблюдаются отступления от южнославянских написаний. А. А. Зализняк и В. Л. Янин отмечают (указывая на ограниченную значимость приводимых статистических данных – в силу небольшой величины документа): «[Н]а месте этимологических **ж**, **ѣ** знак для неносовой гласной отмечен в 8% случаев, обратная замена – в 6%; на месте этимологического **ѡ** знак для неносовой гласной отмечен в 8% случаев (причем почти все примеры приходятся на позицию после [j]), обратная замена – в 11% (причем все примеры приходятся на позицию не после [j])» (Зализняк и Янин 2001, 7). Те памятники XI в. (ОЕ, ГБ, ТЕ), в которых **ж** употребляется относительно часто, обнаруживают стремление писцов следовать в данном отношении своему оригиналу, однако это стремление не приносит адекватных результатов. По подсчетам Дурново, в ОЕ «на с лишком 2000 случаев правильной постановки **ж** и **ѣ** насчитывается 62 случая **ж** вместо **оу**, 40 случаев **оу** вместо **ж**, 65 случаев **ѣ** вместо **ю** и 150 случаев **ю** вместо **ѣ**, т. е. всего немного более 300 случаев ошибочной постановки этих букв или замены их другими. В Туровском евангелии подобных случаев всего 9, тогда как случаев правильного употребления **ж** и **ѣ** более сотни» (Дурново, IV, 88). Таким образом, даже при стремлении копировать оригинал писец делает почти 15% ошибок (несколько больше, чем писец Новгородского кодекса, который ошибается меньше, чем в 10% случаев), и это понятно, потому что писец не мог опереться ни на какие правила, обращающиеся к его естественному языковому знанию.

Поскольку, однако, **ж** в качестве омофоничной буквы входил в элементарные знания грамотного человека, так как занимал свое место в азбуке (о положении **ж** в древнейших дошедших до нас азбуках см.: Зализняк 1999, 560–562, 569–570; Зализняк 2003а, 28–29), он мог употребляться как факультативный вариант графом **оу** или **ю**. Употребление **ж** как варианта **ю** мотивировано, надо думать, смешением букв **ж**, **ѣ** и **ю** в азбуках и, соответственно, при обучении чтению по складам. Употребление **ж** в качестве факультативного варианта хорошо иллюстрируется первым почерком АЕ: первый писец писал одновременно со вторым, разделив текст по тетрадам. К концу своей части первый писец обнаружил, что плохо укладывается, и начал писать теснее, чтобы поместиться; в этой части **ж** употребляется существенно чаще, чем во всей рукописи, написанной первым писцом, поскольку употребление юса вместо диграфа **оу** позволяло сэкономить место.

В книжных текстах **ж** выступает как факультативный вариант, встречается **ж** и в некнижных текстах и здесь может употребляться свободно – на равных правах с **оу**. Такое употребление находим, например, в цитированной выше новгородской берестяной грамоте № 516, второй половины XII в. (Зализняк 2004а, 360–361). Встречается и употребление **ж** в соответствии с [j], ср. в новгородской берестяной грамоте № 745 конца XI – первой четверти XII в. (Зализняк 1995, 240; Зализняк 2004а, 262–263): «**аже то лодня присълана кыянина овѣсти ж кънязюу**» (перевод: «Если ладья киевлянина [уже] прислана, то сообщи о ней князю»); с помощью **ж** записано местоиме-

ние ед. ч. ж. рода в вин. падеже (ю). В некнижной письменности ж выходит из употребления к концу XII в., последние примеры приходится на первую половину XIII в. В книжных текстах ж окказионально встречается и позже, но употребляется крайне редко, так что постепенно утрачивает даже статус факультативного варианта.

**6. 2. Йотированные гласные.** Как уже говорилось, йотированные гласные не входят в азбуки, и это, видимо, может быть связано с тем, что они по крайней мере некоторыми книжниками воспринимались как диграф. Исключения из этого немногочисленны: это ѣ в древнейшей азбуке Новгородского кодекса (полной) и новгородской берестяной грамоте № 591 (Зализняк 2003а, 27) и ѧ вновь в азбуке Новгородского кодекса (полной). На правописной практике эти исключения прямо не сказываются. Так, ѣ, появившийся в азбуках, выходит из употребления к концу XI в., т. е. в то же время, что и ѡ, в азбуках не появляющийся. Употребление ѧ несколько отличается от употребления ю, но кажется маловероятным, что это отличие как-то соотносено с единичным случаем включения ѧ в азбуку. Похоже, что при обучении чтению по складам йотированные буквы никак не озвучивались, даже если они (ѣ или ѧ) попадали в азбуку.

Весьма ограниченное употребление находили они и в некнижной письменности. Йотированные юсы не употреблялись в ней вовсе (если не считать упомянутого выше ѣ в грамоте № 591) (Зализняк 1986, 97). Буквы ѧ и ю в ранних берестяных грамотах встречаются лишь спорадически. О ю А. А. Зализняк замечает: «В ранне-др.-р. период в берестяных грамотах для этой цели [обозначения /je/] почти всегда используется простое е <...> Исключения составляют только грамоты 9, 105, 170, 807, 227, 400, 427, 437, 493, 878 (в каждой из них ю встретилось всего один раз, причем в № 9, 105, 227 – наряду с записью /je/ через е). С середины XIII в. графема ю начинает употребляться более активно. В XIV в. ее употребительность быстро растет. В XV в. примеры е вместо ю уже носят характер редких исключений» (Зализняк 2004а, 31). О графеме ѧ Зализняк пишет: «графема ѧ до конца XIII в. в берестяных грамотах почти не употребляется: вместо нее используется а. В ранне-др.-р. период она отмечена только в грамотах 789 (XI) и 400 (XII/XIII). Некоторое распространение графема ѧ получает с XIV в. Во 2 пол. XIV и в XV в. ее употребительность заметно растет. Однако, в отличие от ю, графема ѧ даже и в эту эпоху не получает полного господства» (там же). Отсутствие йотированных ѧ и ю в подавляющем большинстве ранних берестяных грамот следует связать с тем, что эти графемы не входили в нормальную азбуку, т. е. не выучивались при обычном обучении чтению, а могли быть известны пишущему из прочитанных им книжных памятников. Какими именно факторами обусловлен рост употребительности этих букв с конца XIII в., не совсем ясно. Можно полагать, что система обучения чтению переживает в это время определенную реформу, как это видно из изменения чтения складов с ерами (см. ниже, § VI-6.4), она могла затрагивать и другие моменты, для которых нет столь ясных свидетельств. Возможно, сказывалась определенная профессионализация некнижного письма: рост письменной документации (см. об этом выше, § III-8) приводил к умножению профессио-



zweimal ein Umschlag beobachten: in Hom. 6–26 wird ausschliesslich **є**, in Hom. 27–40 ausschliesslich **к** und in Hom. 40–96 **є** und **к** in freier Variation verwendet» (Поповски 1989а, 94); впрочем, мои наблюдения показывают, что **є** употребляется и в гомилиях 27–40, так что свободная вариация свойственна гомилиям 27–96, ср., например, в гомилии 29: **клевѣтъникъ** и **вкзжмыа** (Поповски 1989б, 52).

Уже к концу XI столетия вырабатываются определенные орфографические правила употребления йотированных букв (**ѡ** и **ѣ**), не имеющие отношения к этимологии и к правописанию южнославянских оригиналов. Хотя говорить для этого времени о каких-либо писцовых школах представляется неосторожным, можно утверждать, что разные писцы придерживаются разных правил и, видимо, разные типы обращения с йотированными буквами соотносятся с разными традициями орфографической выучки (преемственно передающейся от одного поколения книжных писцов к другому). Различие орфографических практик можно наблюдать на таком классическом примере, как два почерка Архангельского евангелия 1092 г. В первом почерке АЕ<sup>1</sup> (Арх. ев., л. 1–76об.) **ѡ** пишется после гласных и в начале слова, **ѣ** после согласных; зависимость от этимологии отсутствует, исключения единичны; имеется 6 случаев написания **ѡ** после шипящих (**молишиа** л. 31об.; **сѣтворишиа** л. 43, **бѣдашиа** л. 61об. и т. д.), в одном из заголовков находим **пантѣкоѣ**, в 5 случаях в «неправильной» позиции появляется **ѣ** (**исана** л. 12, **ѣ** [им. мн. м. р.] л. 14, **ѣмо** л. 29об., **ѣзыкъ** л. 73, **дѣволѣ** л. 75). Употребление **к** характеризуется своими особенностями. В положении после согласной **к** не пишется, в положении после гласной **к** пишется с большой регулярностью, написания с **є** немногочисленны, ср.: **вѣроуѣмъ** (л. 3), **вѣрѣмъ** (л. 3), **камѣниѣ** (л. 4об.) и т. д. В начале слова в основном употребляется **к**, хотя написания с **є** не редкость, ср.: **ѣтерн** (л. 9), **ѣн** (л. 33об.), **ѣго** (л. 1, 29, 45), **ѣмоуѣ** (л. 2, 13об., 29об., 40, 41, 52), **ѣже** (л. 38об. bis), **ѣце** (л. 2об.) и т. д.

Второй почерк АЕ<sup>2</sup> явно представляет собой другую орфографическую традицию; употребление йотированных букв в нем подробно описано Н. Н. Дурново (Дурново 2000, 354–367). Замечу, что Дурново для употребления букв **ѡ**, **ѣ** и **ѧ** прослеживает соотношение с этимологией, и его данные показывают, что она никак не определяет написания, хотя, возможно, оказывается дополнительным возмущающим фактором<sup>382</sup>. Согласно Дурново, «буква **ѡ** правильно передает старославянские **ѡ** и **ѡа** не после согласных: **ѡавлю** 81, **ѡавити** 100об., **ѡиаволоуѣ** 86, **ѡнамениа** 88, **ѡоахоуѣ** 80, **ѡа** 89об., **ѡзыка** 81, **ѡстоащинухъ** 80об., **ѡѡа** 84, **ѡприати** 100 и мн. др.» (там же, 355).

<sup>382</sup> Так, например, Дурново отмечает, что «**ѡ** пишется в некоторых словах в соответствии со ст.-сл. **ѡ**, в которых русский яз. уже в древнейшую эпоху имел **ѡ** после мягких согласных: **ѡиавста** 83, **ѡсѡхѡдѡашѣ** 150, **ѡѡѡѡѡѡ** 114» (Дурново 2000, 356). Сказывалась ли эта этимология на написании, т. е. практически влиял ли **ѡ** в написаниях южнославянских оригиналов на выбор буквы **ѡ**, а не **ѣ** в восточнославянских списках, остается сомнительным и не поддающимся четкой проверке; в АЕ<sup>2</sup> **ѡ** нередко пишется после согласных и «на месте» **ѣ**, так что **ѡ** в южнославянской предыстории никак не может быть решающим фактором. О мягкости предшествующих **ѡ** согласных говорить нецелесообразно (см. ниже).



Действительно, в начале слова и после гласной пишется **ѣ**, а **ѡ** не встречается. В позиции после согласной положение существенно сложнее. Йотированное **ѣ** служит для обозначения палатальных сонорных и употребляется в положении после /*ĭ, ñ*/ вполне регулярно: **помышляюще** (л. 79), **славляхоу** (л. 79об.), **оучителѣ** (л. 94), **земля** (л. 110, 119об., 154об. bis), **кланѣ** (л. 81об.), **испѣлнѣ** (л. 148), **вышнѣ** (л. 161, 168), **осѣнѣ** (л. 170, 171) и т. д. (пространную сводку примеров см.: Дурново 2000, 356). После непалатальных /*l, n*/ **ѣ** не пишется за одним исключением (**по пѣнѣ** (л. 159, см.: Дурново, там же)). Однако **ѣ** как средство обозначения палатальности предшествующего согласного несколько скомпрометировано тем, что оно употребляется и после непалатальных согласных, прежде всего **м**, см. у Дурново: **мѣ** 78 об. и др. (больше 20 раз), **имѣ** 100 и др. (больше 12 раз), **времѣ** 99 об. и др. (больше 14 раз) <...> рядом с такими написаниями обычны и написания с **ѡ**» (Дурново 2000, 357). Дурново отмечает также **молиѣ** (л. 162), **декаѣ** (л. 138об.), **влоуѣ** (л. 175, запись) (там же). В этой точке, таким образом, написание **ѣ** оказывается лишь частично регламентированным<sup>383</sup>.

Для букв **ѥ** и **Ѧ** в положении не после согласной Дурново постулирует фонетическую дифференциацию. Он полагает, что «буква **ѥ** не после согласных правильно передает ст.-сл. **е** без предшествующего *j* или *ĭ*» (там же, 361) и приводит ряд примеров: **ѥда** 91об. и др. (12 раз), **ѥтеръ** 130, 165об., **ѥтероу** 126об., **ѥтера** 127, 138об., **ѥи** 133 и др. (4 раза), **архѣ** 83 и др., **нѣрѣ** 83 и др., **ѥллини** 86об. и др., **захарѣ** 166 и т. д. Вместе с тем «буква **Ѧ** не после согласных правильно передает ст.-сл. сочетание *je* или *ĭe*» (там же, 362); в подтверждение приводятся многочисленные примеры: **Ѧго** 77, 77об., 78об. и мн. др., **Ѧмоу** 77, 77об. и т. д., **Ѧгоже** 77 и др., **Ѧгда** 77, 80 об. и др., **вѣроуѦши** 78 и др., **знаѦши** 78, **помышляѦте** 79об., **оудовѦ** 79об., **пыѦть** 80, **своѦго** 80об. и др. и т. д. То, что в начале слова в некоторых служебных словах и в грецизмах /*e*/ может произноситься без йотации (в силу чего **ѥ** и **Ѧ** в этой позиции дифференцированы фонетически), представляется вероятным и подтверждается рядом независимых от древнего правописания свидетельств (см. ниже, ср. современное рус. *это, эй, эллин*); для позиции после гласной таких свидетельств нет и никаких оснований считать, что **захарѣ** произносился с зиянием между /*i*/ и /*e*/, не видно: употребление **ѥ** вместо **Ѧ** могло иметь здесь чисто орфографическую природу. Следует иметь в виду, что в ряде примеров, отмечаемых Дурново, **ѥ** и **Ѧ** употребляются недифференцированно. Дурново пишет: «Смешение **ѥ** и **Ѧ** встречается редко. В некоторых слу-

<sup>383</sup> В этой ситуации представляется неправомерным интерпретировать **ѣ** как способ обозначения палатального /*ř*/. Дурново отмечает: «**ѣ** после **р** пишется сравнительно редко для передачи **ѣ**, **ѡ** после того **р**, которое было мягко в ст.-сл. или, по крайней мере, в говорах ст.-сл. яз.: **ѣра** вин. ед. 105об., **сѣпъ|ѣмѣра**, **ноѣмѣра** 137, **сѣ вечера** 93. **ѣ** после **р**, соответствующего о.-сл. немягкому *r*, не встречается» (Дурново 2000, 356). После рефлекса палатального /*ř*/ встречается, конечно, и **ѡ**, так что **р** принципиально не отличается в этом отношении от **м**. На основании четырех приведенных примеров считать, что **рѣ** обозначает палатальность дрожащего, столь же неоправданно, как видеть обозначение особого типа мягкости в написаниях типа **мѣ**.

чаях оно может указывать на существование различного произношения соответствующих слов. Таковы: **авнѣ** 79об. и др. (больше 20 примеров) – **авнѣ** 81об. и др. (4 примера), **кгда** 88 и др. (не меньше 14 примеров) – **егда** 85, 106об. (2 примера). **кще** 96, 97об., 102об., 166об. (4 прим.) – **еще** 98об., 100, 113 (3 прим.). **кдинѣ**, **кдинога**, **кдиномоу**, **кдинога** и пр. 82 и др. (около 60 примеров) – **единѣ**, **единого** и пр. 83об. и др. (6 прим.). В языке самого писца было **одинѣ** и пр. 96об. и др. (3 примера)» (Дурново 2000, 362; я не воспроизвожу всех примеров, приводимых Дурново). На каком основании Дурново предполагал, что разным написаниям соответствовало разное произношение, неясно; с тем же успехом здесь можно видеть орфографическую вариативность. Это тем более правдоподобно, что имеются примеры смешения **ѣ** и **к**, никаким произношением не объясняемые и самим Дурново трактуемые как «ошибочное написание **ѣ** вместо **к** по неясным причинам» (там же), ср. примеры: **его** 83, 110об., **еже** 92, 128об., **разоумѣте** 101об., **на двоѣ** 110, **божѣ** 125, **проливаета** 125об., **твоѣ** 126 и т. д. Можно констатировать, что употребление **ѣ** и **к** в положении не после согласной существенно менее регламентировано, чем употребление **ѧ** и **Ѧ**.

В положении после согласной ситуация иная. Здесь **к** служит для обозначения палатальных сонорных, причем употребляется в этой функции с большей последовательностью, чем употребляется **ѧ**. Дурново приводит многочисленные примеры: **глаголѣте** 82об., **избавлѣннѣ** 84, **землѣ** зв. 145, **колѣблѣмы** 157об. и т. д.; **въ нѣмѣ** 78, **зѧнѣ** 78, **къ нѣмоу** 78 и др. (не меньше 7 раз), **Ѧ нѣго** 78об. и др. (не меньше 4 раз), **поклонѣннѣ** 127об. bis и др., **обременѣннѣ** 139 и т. д. (там же, 363). Оказионально употребляется альтернативное обозначение палатальных сонорных **л** и **н**, и после них, как правило, пишется **ѣ**, ср.: **гѣтѣ сѧ** 128об., **излѣвоу** 146об., **бѣговѣнѣ** 153, **нѣвѣ** 153; **гѣнѣ** 123об. После других согласных **к** не пишется за единственным исключением: **нарѣчѣши сѧ** 168 (там же).

Памятники XII в. принадлежат разным (из числа описанных выше) традициям и реализуют их с разной последовательностью. Ко второй половине XII в. правописание в данном отношении становится несколько более регулярным, однако и в это время отнюдь не все писцы употребляли буквы **ѧ** и **к** согласно тем или иным правилам. Характерны, например, данные Успенского сборника XII в. Первый писец, писавший листы 1–46, дифференцированно употребляет буквы **ѣ** и **к**: **к** исключительно после гласных и в начале слова, **ѣ** после согласных и в начале ряда служебных слов и гречизмов (об этом употреблении **ѣ** см. ниже, см. также: Дурново 2000, 452–467; специально об Успенском сборнике: там же, 462–463; Шахматов 1884), ср.: **нѣѣленнѣ** (Усп. сб., л. 17в<sub>1</sub>), **твоѣ** (л. 17г<sub>24</sub>), **евангѣлинѣхъ** (л. 17а<sub>2-3</sub>), **ѣлма** (л. 17г<sub>16</sub>) и т. д.; палатальные сонорные с помощью **к** не обозначаются, ср.: **к нѣмоу** (л. 19а<sub>8</sub>), **землѣю** (л. 19а<sub>11-12</sub>). Напротив, **ѧ** первый писец употребляет бессистемно, в свободной вариации с **Ѧ** (Шахматов 1884), ср.: **кнѧзѧ** (Усп. сб., л. 17а<sub>1</sub>), **высокаѧ** (л. 17а<sub>5</sub>), **въселѧста сѧ** (л. 17а<sub>6-7</sub>), **ѧко** (л. 17а<sub>29</sub>), **ѧко** (л. 18а<sub>10</sub>) и т. д.; при таком употреблении **ѧ** не может служить для обозначения палатальных сонорных. Второй почерк Успенского сборника (л. 46–304) несколько менее систематичен в употреблении йотированного **к**; оно и здесь употребляется в основном после гласных и в начале слова, а также после палатальных

сонорных, однако отступления встречаются не слишком редко, см. **ѣмѣ** (л. 72г<sub>11</sub>), **ѣже** (л. 58а<sub>20</sub>, 59а<sub>11</sub>, 102в<sub>15</sub>, 104а<sub>4</sub> при многочисленных случаях **кже**), **ѣсмь** (л. 152б<sub>32</sub>), **ѣсть** (119г<sub>7</sub>), **своего** (53а<sub>3</sub>), **свое** (л. 57г<sub>21</sub>, 111в<sub>6</sub>), **доброе** (л. 67б<sub>30</sub>) и т. д.; особенно часты отступления при обозначении палатальных сонорных, ср.: **ѡславлѣникъ** (л. 66а<sub>5-6</sub>), **гѣть** (л. 62б<sub>32</sub>, 65а<sub>17</sub>, 79г<sub>10</sub>, 79г<sub>12</sub>, 79г<sub>23</sub>), **немь** (л. 68б<sub>17</sub>), **нен** (79а<sub>30</sub>) и т. д.<sup>384</sup> Употребление **ѣ** у второго писца несомненно куда более упорядочено, чем у первого; он употребляет **ѣ** параллельно **к**, т. е. после гласных, в начале слова и для обозначения палатальных сонорных. Для первых двух случаев отступления немногочисленны, ср.: **ѡвита** (л. 80а<sub>5-6</sub>), **ѡко** (л. 150б<sub>8-9</sub>, 161в<sub>24</sub>), **ѡбодосѣ** (л. 66г<sub>9</sub>), **сѡваздаѣ** (л. 71г<sub>26-27</sub>) и т. д.; менее последовательно обозначение палатальных, хотя отступлений здесь меньше, чем в случае **к**, ср.: **бѡларинуѡ** (л. 65а<sub>37</sub>), **гѣ** (л. 65б<sub>19</sub>, 76б<sub>10</sub>, 78в<sub>10</sub>), **зѣмѣ** (л. 78г<sub>25</sub>)<sup>385</sup>.

С середины XIII в. йотированные гласные перестают употребляться для обозначения палатальных сонорных (см. ниже), и это несколько упрощает характер их употребления. Последовательность в употреблении йотированных гласных постепенно возрастает, хотя, как и во второй половине XII в., появляются рукописи с не до конца урегулированным узусом. Как отмечает В. Н. Щепкин, «еще во второй половине XIII в. встречаются рукописи, в которых употребление знаков **ѣ** и **ѡ**, **к** и **ѣ** уже нормировано, но всюду еще сохраняется написание **ѡѣ**. Другие рукописи той же эпохи во всех трех случаях непоследовательны» (Щепкин 1967, 118). «К середине XIV в. <...> устанавливается последовательное правописание. В начале слога (т. е. в начале слова и после гласных) пишутся только знаки **к**, **ѣ**, **ѡѣ**, между тем как в середине слога пишутся только знаки **ѣ**, **ѡ**, **ѣ**» (там же). Появление в середине XIV в. широкого якорного **ѣ**, заменяющего **к** или появляющегося наряду с ним (там же, 117), представляет чисто графическую инновацию, не меняющую орфографической системы; когда в конце этого века **ѣ** начинает встречаться на месте обычного **ѣ**, это можно интерпретировать как расшатывание орфографической системы в преддверии второго южнославянского влияния (см. об этих процессах: Гальченко 2001, 325–382). О том, как меняется орфографическая система в ходе этого влияния, будет сказано в своем месте (см. § VIII-2).

Остается сказать о разных орфографических традициях, связанных с написанием **к** и **ѣ** в начале слова. Этот аспект восточнославянского правописания был подробно описан Н. Н. Дурново (Дурново 2000, 452–467), так что можно лишь повторить его выводы. Дурново выделял три традиции: «1) правописание, различающее **ѣ** и **к**, – в ОЕ<sup>1</sup>, ОЕ<sup>2</sup>, ТЛ, И73<sup>1</sup>, КИ, СПт, ЧПс, АЕ<sup>2</sup>, М96, МЕ, ЮЕ, ГЕ, ТЕ1, УЗ30, УС<sup>1</sup>, УС<sup>2</sup>, ЕК, большей части М97 [т. е. в подавляющем большинстве обследованных Дурново рукописей. – В. Ж.]; 2) правописание

<sup>384</sup> В небольшой просмотренной мною выборке лл. 61а–80г на 46 случаев обозначения палатальности пришлось 27 случаев необозначения, т. е. коэффициент выраженности этого обозначения (см. о данном понятии ниже) составляет 63%.

<sup>385</sup> Для уже упомянутой выборки на 31 обозначение палатальности сонорного приходится 10 случаев необозначения, таким образом коэффициент выраженности составляет 75,6%.

сание, употребляющее в начале слов только **ѣ**, – в ПА, РЕ, в начале и конце ГБ, 1-м почерке М95 и начале М97 и 3) правописание, употребляющее в начале слов только **ѣ** – в И73<sup>2</sup> и АЕ<sup>1</sup>. Эти три правописания не во всех рукописях являются выдержанными: единичные отступления от правописания, различающего **ѣ** и **ѣ**, встречаются в СПт, ЧПс, АЕ<sup>2</sup>, УС<sup>2</sup>, а ГБ, И73<sup>1</sup>, КИ. М96 и М97 представляют значительное число таких отступлений <...> Наконец, в части рукописей начальные **ѣ** и **ѣ** употребляются безразлично, и вскрыть за этим употреблением следы правописания, различавшего **ѣ** и **ѣ**, трудно. Таковы меньшая часть У142 и большая часть М95» (Дурново 2000, 463). Дурново указывает, что с начальным **ѣ** пишутся «греческие слова» (такие, как **ѣвангелѣѣ**, **ѣпистолина**, **ѣресь**, **ѣхидна** и т. д.), а также ряд служебных слов (**ѣи**, **ѣда**, **ѣдѣва**, **ѣтерѣ**, **ѣльма**) и слов, в которых церковнославянское начальное **ѣ** соответствует восточнослав. **о**- (**ѣзеро**, **ѣлень**); наборы слов, пишущихся с начальным **ѣ**, несколько варьируют по памятникам, хотя определенное ядро характерно практически для всех рукописей, дифференцирующих **ѣ** и **ѣ** в начале слова.

Н. Н. Дурново, а вслед за ним и Б. А. Успенский резонно полагают, что дифференциация **ѣ** и **ѣ** «не отражает живого произношения, поскольку <...> наблюдается в заимствованных словах и в словах специфически книжных, отсутствовавших в разговорном языке (например, **ѣтерѣ**)» (Успенский 2002, 179). Можно считать поэтому, что дифференцирующее правописание отражает книжное произношение, унаследованное от южных славян (обучавших восточных славян грамоте). Дурново предполагал, что, возможно, «первоначальное церковное произношение, различавшее **ѣ** и **ѣ**, уже в XI в. стало заменяться другим произношением, с начальным **ѣ** во всех случаях, и это другое произношение и вызвало отступления от установившейся орфографии у менее грамотных писцов. Оно же легло в основание орфографии, употребляемой в начале слов только **ѣ**. Эта последняя орфография возникла очень рано, так как засвидетельствована уже И73<sup>2</sup> и АЕ<sup>1</sup>, но не получила большого распространения» (Дурново 2000, 467). Это, однако, лишь гипотеза, поскольку правописание тех писцов, которые не дифференцировали **ѣ** и **ѣ** в начале слова, могло не отражать их произношения, они могли просто игнорировать данное различие (как, скажем, они могли игнорировать и оппозицию палатальных и непалатальных сонорных). Поэтому представляется поспешным заключение Успенского, согласно которому «уже с XI в. на Руси существуют две нормы книжного (церковного) произношения начального **ѣ**: в одной из них различалось произношение иноязычных и славянских слов, которые были противопоставлены по признаку наличия йотации, тогда как в другой норме все слова без различия читались с йотацией» (Успенский 2002, 180). Традиция различения **ѣ** и **ѣ** в начале слова могла исчезнуть на какой-то части восточнославянской территории существенно позже, и именно в результате подобных поздних процессов могло возникнуть противопоставление различия **ѣ** и **ѣ** в киевской традиции и их неразличения в традиции Московской Руси (см. об этом: Успенский 2002, 180, 355–356).

**6. 3. Палатальные сонорные.** При интерпретации обозначений палатальных сонорных необходимо иметь в виду, что особые знаки для них в славянской азбуке (как глаголической, так и кириллической) отсутствовали. Н. С. Трубецкой полагал, что св. Константин-Кирилл не изобрел особых букв для этих фонем (несмотря на последовательно фонологический характер созданного им алфавита), поскольку он ассоциировал их с греческими палатальными согласными. В греческом же такие согласные были свойственны народному произношению (результат слияния согласного с передней гласной) и с точки зрения образованных книжников оказывались приметой социально ущербного узуса. Это восприятие св. Кирилл мог переносить и на славянскую почву, отказываясь обозначать «*vulgäre Nuances der Volkssprache*» отдельными буквами (Трубецкой 1954, 30–31; ср.: Марти 1984, 119–120)<sup>386</sup>.

Каковы бы ни были причины отсутствия особых букв для палатальных сонорных в стандартной азбуке, оно обуславливало ряд специфических моментов в употреблении применявшихся для их обозначения знаков. Типологически эта ситуация тождественна той, которая имеет место в русской письменности XIV–XVII вв. с обозначением оппозиции /ѡ/ и /ѡ/ (см. о последней: Зализняк 1990, 1–5, 27). Прежде всего, способы обозначения маркированного члена оппозиции не унифицированы. В случае двух *о* /ѡ/ может обозначаться ѡ, ѡ широким, ѡ узким или ѡ с каморой (Зализняк 1985, 208–211; Зализняк 1990, 1–5; Зализняк 2010–2011, I, 537–539). В случае палатальных сонорных также фигурируют и особая форма букв, и диакритики: палатальные сонорные могут обозначаться ѡ, ѡ (ѡ и ѡ с крючком), надстрочным знаком (каморой или точкой) и, наконец, написанием йотированной гласной буквы после палатального. Стоит отметить, что один и тот же писец мог пользоваться более чем одним способом обозначения палатальных (например, во втором почерке Архангельского евангелия пишутся и ѡ, ѡ и йотированное ѡ). Набор способов обозначения оказывается индивидуальным параметром (или, возможно, особенностью отдельных писцовых школ, для установления которых сохранившиеся рукописи XI–XII вв. явно не дают достаточного материала), так что нет возможности считать какой-либо способ обозначения стандартным и интерпретировать отклонения от него как фонетически значимые. В частности, во втором почерке Архангельского евангелия для обозначения палатальных последовательно

<sup>386</sup> Г. Лант предпочитает думать, что отсутствие знаков для палатальных сонорных в азбуке, созданной Кириллом, было обусловлено тем, что в македонском диалекте, на который ориентировался Кирилл, палатальные совпали с непалатальными. Это позволяет спасти тезис о последовательной фонологичности первоначальной глаголицы и продолжать считать, что «for Cyril, the relation of phoneme to letter was almost a one-to-one correspondence» (Лант 1949, 41). Не обсуждая сейчас вопрос о том, какие трудности создает такой тезис для македонской исторической фонологии, замечу, что нет никаких оснований приписывать св. Кириллу установки лингвиста-фонолога, озабоченного адекватным воспроизведением фонологической системы. Отступления от фонологического принципа были и в греческой азбуке, и вряд ли св. Кирилл ощущал их как недостаток. Такого же рода отступления он мог допустить и для азбуки славянской.

употребляется **к**, тогда как употребление **ка** в этой функции существенно менее регламентировано; из этого никак не следует, что в произношении писца, как думал Дурново, исследуемая оппозиция сохранялась перед /е/, но нейтрализовалась перед /ä/; можно лишь констатировать, что писец употребляет **а** и **ка** как синонимические буквы, т. е. следует практике, хорошо представленной в рукописях XI–XII вв. (например, во втором почерке Типографского устава), отражающей известный восточнославянский переход /ѣ > ä/ и никакой иной фонетической информации не сообщаящей (ср.: Лант 1949, 83). Таким же образом обстоит дело и в основном почерке Выголексинского сборника, в котором **к** применяется для обозначения палатальных, а **ка** появляется и после непалатальных согласных (ср., например, **ма** Выг. сб., л. 110об.3, 114<sub>11</sub>, 140об.4, 146<sub>7</sub> bis, 164<sub>12</sub>, **тка** л. 140<sub>4</sub>, **ста** л. 34<sub>17</sub>, 34об.4 и др. [более ста примеров]) (ср.: Голышенко 1977; Судник 1963).

Все эти способы обозначения выучивались – в отличие от букв, входивших в азбуку, – не при обучении грамоте (чтению по складам), а в качестве специальных профессиональных навыков (предположительно в скрипториях), поэтому одни писцы владели ими, а другие не владели. Обозначение палатальных сонорных было специальным умением, не необходимым для работы переписчика. Многие писцы палатальные сонорные вообще никак не обозначали, и это вовсе не свидетельствует о том, что соответствующей оппозиции не было в их живом или книжном произношении. Абсолютно неправоммерно поэтому утверждение Н. Н. Дурново о том, что оппозиция палатальных и непалатальных сонорных была актуальна для южнорусских (т. е. украинских), но не для севернорусских писцов, обоснованное тем, что «в севернорусских минеях конца XI в. общеславянские смягченные и полусмягченные *л*, *н* перед *е* не различаются» (Дурново 2000, 143). Единственный вывод, который можно сделать на этом основании, состоит в том, что писцов Новгородских миней 1095–1097 гг. не научили обозначать палатальные сонорные: писцы этих рукописей вообще не отличаются высокой квалификацией. Известную аналогию этому можно видеть в употреблении букв **ѣ** и **кѣ**. В азбуке **кѣ** тоже отсутствует, поэтому отдельные писцы употребляют эту букву и пишут /е/ – **ѣ**, /je/ – **кѣ**, а другие писцы эту букву не употребляют и обходятся вообще без **кѣ** (например, некоторые писцы так наз. Новгородской минеи 1095 г.). Это, конечно же, не значит, что они произносили /тоѣ/, а не /тоje/ (см. выше).

Поскольку обозначение палатальных не было обязательным вообще, оно не было обязательным и в пределах отдельной рукописи. В каком-то числе случаев писец мог не прибегать к особому способу обозначения, а писать попросту. Аналогией может служить непоследовательность в написании **ѣ** в современном русском языке – у тех носителей, которые употребляют эту букву. Как и все обозначения, связанные с дополнительными орфографическими правилами (не определявшимися азбукой), фиксация палатальных сонорных подчиняется принципу факультативности и характеризуется коэффициентом выраженности (тем параметром, который ввел А. А. Зализняк для способов фиксации /ô/ – Зализняк 1990, 14–21; Зализняк 2010–2011, I, 547–553). Коэффициент выраженности – это отношение числа фиксаций к числу всех релевантных случаев, в которых мог стоять фикса-

руемый элемент. Например, в уже рассматривавшейся Мстиславовой грамоте палатальные сонорные обозначаются йотацией следующего гласного. Фиксируются три случая: **донклѣже**, **осеньникк**, **въ нк**. В одном случае палатальный не обозначен: **оу него**. Коэффициент выраженности составляет 3/4, т. е. 75%.

В принципе, следует поставить вопрос о том, при каком коэффициенте выраженности можно говорить, что в рукописи отражается фонологическое противопоставление живого языка. Однозначный ответ здесь вряд ли возможен, однако в ряде рукописей XI–XII вв. этот коэффициент достаточно высок. Например, он превышает 50% в основном почерке Синайского патерика (Голышенко 1987, 55–60), превышает 92% в Цветной триоди XI–XII вв. (РГАДА, ф. 381, № 138 – данные В. С. Голышенко 1987, 75–82). Отметим, что картина передачи противопоставления палатальных и непалатальных сонорных существенно отличается в рукописях XI–XII вв. от картины передачи противопоставления носовых и неносовых гласных. Даже неадекватные попытки передачи последнего противопоставления для рукописей XI–XII вв. представляют исключительный случай (см. выше); как правило, графическое противопоставление, присущее протограммам, но не находящее соответствия в фонологической системе писца, не передается и консервируется лишь в окказиональных реликтовых написаниях. С противопоставлением носовых и неносовых гласных такая ситуация складывается даже при том, что алфавит содержит специально обозначающие их буквы, выучивавшиеся при обучении чтению. Обозначение палатальных приобретает такой характер лишь в рукописях XIII в., тогда как многие памятники XI–XII вв. обнаруживают вполне сознательную установку на передачу оппозиции палатальных и непалатальных сонорных. Одной из манифестаций этой установки и является достаточно высокий коэффициент выраженности<sup>387</sup>.

<sup>387</sup> Понятно, что такая сознательная установка обнаруживается не во всех рукописях. Как уже было сказано, есть рукописи, в которых никакие обозначения для палатальных сонорных не употребляются. К этой категории ближайшим образом примыкает та группа памятников, в которых появляются окказиональные обозначения палатальных сонорных. Например, в ряде почерков Учительного Евангелия XII в. (ГИМ, Син. 262) палатальные сонорные обозначаются с помощью йотированных **ѡ**, **ѣ**, однако такие обозначения единичны (Голышенко 1987, 85–87); хотя «ошибочные» написания, т. е. употребление букв **ѡ**, **ѣ** после непалатальных сонорных, практически отсутствуют, сознательная установка писца на передачу интересующей нас оппозиции, видимо, не просматривается. Такую же ситуацию наблюдаем в первом почерке ноябрьской минеи конца XI – начала XII в. (ГИМ, Син. 161). Мы находим в ней 21 случай обозначения **/ĭ/** и **/ĕ/** с помощью **ѡ**, **ѣ**: **доблѣсти** (**ѣ** исправлено из **и**) 7, **колѣблѣми** 21об., **ѡгнѣдѣхновѣна** 40об., **всѣлкѣнѣ** 61, **вѣс тѣлѣ** 75, **ѣммануѣлѣ** (ед. вин.) 75, **нынѣ** 76, **всѣлкѣноу** 77, **вскѣрѣлѣама** (м. ед. вин.) 84об., **томѣтѣлѣ** (ед. вин.) 87, **поклѣнѣти сѣ** 91, **нѣс тѣлѣ** 93, **датѣлѣ** (ед. вин.) 96, **матѣрѣнѣама** 101об., **плѣнѣнѣнѣа** 104об., **вѣ послѣдѣнѣа** 104об., **вѣподѣвлѣнѣа** 130, **раздѣлѣтѣлѣ** (ед. вин.) 141об., **молѣнѣ** (**ѣ** исправлено из **и**) 145об., **дрѣвлѣ** 160об., **благословѣнѣа** 167. Ошибочные написания отсутствуют: в **ѡгнѣдѣхновѣна** **/ĕ/** закономерно появляется в результате ассимиляции с **/γ/** (ср.: Васильев 1913), **ѣммануѣлѣ** представляет собой заимствование, прозношение которого писец не мог проверить с помощью разговорных речевых навыков. Остается неясным, возникает ли такая картина в силу того, что писец,

Таким образом, ситуация с обозначением палатальных сонорных в рукописях XI–XII вв. существенно отличается от ситуации с обозначением носовых гласных, и это может служить указанием на то, что в данный период различение палатальных и непалатальных сонорных на письме было основано на фонологической оппозиции, присущей живому языку.

Коэффициент выраженности – лишь один из показателей реальности оппозиции. Другой – по крайней мере, столь же важный – это случаи ошибочного написания, т. е. употребления маркированного знака там, где ему не место. Если таких ошибок много, очевидно, что писец употребляет соответствующие знаки (например, *л*, *н*) без системы, не знает, где их ставить. Ему известна орфографическая практика, фиксирующая палатальные сонорные, и он стремится ее имитировать, однако справиться с различением палатальных и непалатальных сонорных он не в состоянии. В этом случае скорее всего его орфографические опыты не поддержаны фонологическими характеристиками живого языка, а обусловлены лишь подражанием престижному правописанию.

Этот критерий нередко используется исследователями, однако его применение невозможно без ряда существенных оговорок. Прежде всего следует помнить, что, употребляя обозначения для палатальных сонорных, писец – если он опирается на свое произношение – обращается к своему живому языку, т. е. к тому, как звучит записываемая им форма в его живой речи. В этом случае он руководствуется правилом типа: там, где слышится /*l̥*/, пишется *л*; там, где слышится /*l̥̃*/, пишется *н*. Для того, чтобы таким правилом воспользоваться, писец должен иметь возможность к нему прибегнуть, т. е. в его речи должна реально слышаться та форма, правописание которой он выясняет. Если искомая форма в живом языке не употребляется (или не выводится простым образом из употребляемых в живом языке форм), писец свое правило применить не может. «Ошибки» писца должны определяться относительно его гипотетического разговорного узуса, а не относительно этимологии, которую писец не знал и которая его не интересовала. Зависимость воссоздаваемой картины от выбора точки отсчета может быть весьма ощутимой.

Так, например, В. С. Голышенко полагает, что в говоре основного писца Синайского патерика оппозиции /*l* – *l̥*/ и /*n* – *ñ*/ слились с оппозициями /*l* – *l'*/, /*n* – *n'*/ . Об этом, на ее взгляд, свидетельствуют «как единичные случаи графического обозначения бывшей полумякости согласных [т. е. употребление обозначений для палатальных сонорных на месте непалатальных сонорных. – В. Ж.] <...> так и значительно чаще представленные в СП<sup>1</sup> случаи необозначения исконной мягкости» (Голышенко 1987, 95). О неосновательности последнего аргумента уже было сказано выше. Для того, чтобы оценить первый аргумент, нужно обратиться к примерам. Количественно они немногочисленны, так что процент ошибок относительно случаев правиль-

---

умеющий в принципе обозначать палатальные сонорные, относится к этому занятию с полным пренебрежением, или в силу того, что он окказионально воспроизводит правильные формы из переписываемого им оригинала, в котором обозначение палатальных сонорных проводится достаточно последовательно.



ного употребления невысок и на путаницу в письменных навыках писца не указывает. Их состав следующий:

перед и: въ мѣнозѣ оуныгнии 120. 5, истингнии 161об. 15;  
 перед ь: добродѣтельмъ 176об. 11, ковѣкаль 10. 6, ковѣкаль 36. 14, илъ  
 108. 6, зонль чѣтьць 117об. 10, соун'каль 89. 4, сънгъмъ 168об. 12,  
 ѿелонгъ 117об. 15, 118. 1 (Голышенко 1987, 61).

Легко видеть, что большинство из этих примеров ошибками в уточненном выше понимании назвать нельзя. Прежде всего, слова **ковѣкаль**, **иъ**, **зонль**, **соун'каль**, **ѿелонгъ** являются заимствованиями книжного характера, которые в разговорной речи не встречались, а поэтому проверке не поддавались и могли писаться произвольно; писец мог при этом руководствоваться аналогией, рассматривая существительные м. рода на -ль по типу имен с суффиксом *-telj-*. Ряд слов можно считать определенно книжными, также в разговорной речи не встречавшимися. Таковы слова **добродѣтель** и **сънгъмъ**, возможно, еще и **оуныгникъ**. Очевидно, что, не находя в своем разговорном узусе такого слова, как, например, **добродѣтель**, писец мог пренебречь его родовой характеристикой и дать его в той же форме, которая была ему привычна по многочисленным именам с суффиксом *-telj-*. Если исключить эти примеры, то остается лишь одна настоящая ошибка: **истингнии**; учитывая достаточно большой объем рукописи, одной ошибкой можно пренебречь, рассматривая ее как случайную опisku. При такой интерпретации Синайский патерик превращается в памятник, в котором вполне последовательно проведено противопоставление палатальных и непалатальных сонорных, памятник, указывающий не на нейтрализацию разбираемой оппозиции в говоре писца, а напротив, дающий основания думать, что писец проверял написание с помощью своего живого произношения.

Как уже говорилось, реальность фонологического противопоставления, стоящего за графическим различием, соотносится с коэффициентом выраженности. При этом, однако, должен учитываться характер рукописи. Следует различать те случаи, когда графическая передача исследуемого противопоставления может быть приписана данной рукописи, и те, в которых эту передачу можно отнести на счет оригинала, с которого данная рукопись переписывалась. В первом случае даже относительно невысокий коэффициент выраженности свидетельствует о фонологической реальности противопоставления, поскольку единственным источником фиксации может быть лишь сам писец. Вопрос состоит лишь в том, руководствуется ли он при этом своим произношением или орфографическими правилами, которые на произношение не опираются. Последний случай легко обнаруживается, поскольку, не обращаясь к произношению, писец может фиксировать различие лишь в ограниченном числе классов форм, подчиняющихся простым правилам. В случае палатальных сонорных такими классами могут быть формы имперфекта, косвенные падежи местоимения *и*, формы с *l* epentheticum; нет оснований предполагать, что писцы осваивали правила, позволяющие справиться с правописанием отдельных, не входящих в простые категории форм. В силу этого, в частности, обозначение палатальных сонорных в Мстиславовой грамоте с коэффициентом выраженности 75% и при этом в фор-

мах, для которых, видимо, не было общего правила (например, *донкѣжѣ*), может считаться вполне достоверным свидетельством того, что писец этой грамоты отличал палатальные сонорные в своем произношении. Это позволяет утверждать, что палатальные сонорные сохранялись в живом произношении по крайней мере еще в начале XII в. (учитывая деловой характер текста, вряд ли возможно считать, что писец Мстиславовой грамоты ориентировался в своем правописании на книжное произношение).

Свидетельства сохранения палатальных сонорных могут быть найдены, впрочем, и для еще более позднего времени. Таким свидетельством может служить уже неоднократно рассматривавшаяся пара антиграф – апограф, а именно старейшая рукопись Пандектов Антиоха (ГИМ, Воскр. 30 XI в.) и Троицкий сборник конца XII – начала XIII в. (РГБ, Собр. Тр.-Серг. Лавры 12). В рукописи Воскр. 30 палатальные сонорные никак не обозначаются, в рукописи Троицк. 12 один из писцов использует для обозначения палатальных сонорных *ѣ*. Таким образом, в рукописи Троицк. 12 обозначения палатальных сонорных появляются вне зависимости от оригинала и, следовательно, могут быть приписаны данной рукописи. И рукопись Троицк. 12, и Воскр. 30 написаны несколькими писцами, орфографические навыки которых в ряде моментов не совпадают. Первый писец Троицк. 12 переписывает текст, написанный двумя писцами Воскр. 30 (А и В по обозначению И. Поповского – 1989а, 69). Писец А практически не использует *ѣ* (лишь в единичных случаях *ѣ* появляется в начале слова и после гласной), тогда как писец В употребляет *ѣ* чрезвычайно широко как в начале слова и после гласных, так и после согласных вне зависимости от их качества (см. выше, § VI-6.2).

Переписывая текст писца А, первый писец Троицк. 12 вводит *ѣ* в начале слова, после гласных и после палатальных сонорных, переписывая же текст писца В, он, напротив, устраняет написания *ѣ* после согласных, кроме палатальных сонорных. Таким образом, фиксируются, с одной стороны, преобразования типа *гѣмѣ* (Воскр. 30А, Р: 1. 5) → *гѣмѣ* (Троицк. 12, 64. 16); *ѣанѣ* (Воскр. 30А, 6: 1. 36; 6: 1. 85; 23: 4. 31; 24: 8. 2) → *ѣанѣ* (Троицк. 12, 66. 21; 67. 12; 70об. 22; 72об. 9), а с другой – преобразования типа *рѣчѣ* (Воскр. 30В, 27: 5. 1) → *рѣчѣ* (Троицк. 12, 79об. 13); *сѣбѣ* (Воскр. 30В, 32: 9. 2) → *сѣбѣ* (Троицк. 12, 84. 22). Примеры многочисленны (см. полные перечни: Живов 2006а, 166–169), и преобразования проведены вполне последовательно (имеется всего лишь два отступления). Коэффициент выраженности в сопоставимых частях Троицк. 12 составляет 98%, так что не может быть сомнения в том, что писец основывается на реальной фонологической оппозиции. Совокупность примеров не разбивается на небольшое число простых классов и тем самым не может быть объяснена как результат применения писцом простых правил. Таким образом, устанавливается, что еще в конце XII – начале XIII в. оппозиция палатальных и непалатальных сонорных в восточнославянских говорах продолжала существовать. Поскольку в более поздних рукописях – второй половины XIII – XIV вв. – палатальные сонорные вообще не обозначаются или их обозначения носят реликтовый характер, можно полагать, что палатальные сонорные как особые фонемы исчезают именно в конце XII – начале XIII в.



ния /ĭ, ñ/ обладали для него фонетической реальностью и воспроизводились, тогда как обозначения /ř/ такой реальностью не обладали и потому в большинстве случаев не воспроизводились (подобное же различие отмечалось выше у второго писца Архангельского евангелия, см. § VI-6.3). Это и означает, что в фонологической системе данного (восточнославянского) писца сохранялись фонемы /ĭ, ñ/, но не сохранялось /ř/. Таким образом, восточнославянские рукописи XI–XII вв. отражают реальное состояние фонологической системы, в которой наличествуют палатальные сонорные /ĭ, ñ/, но отсутствует /ř/.

**6. 4. Процессы, связанные с редуцированными.** Ко времени развития книжности в древней Руси в инославянских областях, которые были источником этой книжности, и прежде всего на славянском Юге, падение редуцированных уже произошло. В разных славянских областях оно дало разные результаты, что, видимо, и отразилось в исходных орфоэпических и орфографических системах. В русской системе обучения чтению отразилась та южнославянская система, в которой ѣ дал о, а ъ дал е (македонские говоры). В силу этого склады с ерами читались как буки еръ бо, т. е. устанавливались соответствия типа бѣ /bo/, вѣ /vo/, бѣ /be/ и т. д. Поскольку в русских условиях XI в. слабые редуцированные в момент усвоения данной системы не пали, то такое чтение распространялось и на сильные, и на слабые редуцированные. Это своего рода орфоэпическая адаптация (поскольку не воспроизводятся чуждые восточнославянским говорам XI в. чтения с павшими редуцированными), но она приводит к возникновению оппозиции между книжным произношением (в котором все еры читаются как гласные полного образования) и разговорным произношением (в котором сохраняются редуцированные – сильные и слабые).

Это книжное произношение окказионально отражается в написаниях в книжных памятниках и в растяжении ѣ как о и ъ как е в кондакарях. Так, например, в новгородской Минее 1095 г. встречаются написания с заменой ѣ на е: *весе* (= *вьсь*), *бесѣтоуженыимѣ*, *положе* (= *положь*), *рожены* (= *рожьны*, тв. мн.), *весесильная*, *многострастене*, *бгови́дече*, *словесена*, *ковечегѣ* и т. д. Имеет место и обратная замена е на ѣ: *извлечѣ* (= *извлече*, аор. 3 ед.), *бл҃годѣтьль*, *словьсьмь* и т. п. Аналогичная ситуация и со смешением ѣ и о (Карнеева 1916–1917, 31–34). Смешение этого рода представлено в разных пропорциях и во многих других рукописях. Такие случаи наблюдаются, например, в Минее 1097 г., ср.: *нѣсеными* л. 39а, *немлствено* л. 91а, *придохо* л. 32б, *дѣло добрыхѣ* (мн. род.) л. 81а, *домо* л. 115б и т. д.; С. П. Обнорский отмечает также 20 примеров, в которых о исправлено на ѣ, например: *женихо* л. 35б, 38б, *мчнкомо* (мн. дат.) л. 95б (Обнорский 1924, 185–186). Похожие примеры находятся и в Ефремовской кормчей, ср. *золовѣрни* л. 555<sub>10</sub>, *второе* л. 46<sub>16</sub>, *конецѣ* л. 187<sub>15</sub>, *кѣтъѣ* (= *кѣто*) 774<sub>26</sub>, *чтъѣ* 297<sub>12</sub> и т. д. (Обнорский 1912, 31–33). Надо заметить, что данное явление свойственно отнюдь не только рукописям новгородского происхождения (ср. ростово-суздальское Евангелие МГУ XIII в. – Князевская 1973, 14–15).

Не менее значимо свидетельство кондакарей, в которых при растяжении еры и о и е выступают как эквивалентные обозначения тянущейся



лась орфография. Как пишет Дурново, писцы должны были «руководиться правилом писать **ѣ** и **ѥ** там, где в соответствующих словах и формах русской живой речи слышались звуки [ѣ] и [ѥ], а **о** и **е** там, где слышались звуки [о] и [е]» (Дурново 1933, 64/Дурново 2000, 663). Это правило не действовало лишь в двух типах случаев. Во-первых, когда в живом языке не было формы, с помощью которой можно было проверить написание, т. е. при написании специфически книжных форм, таких, например, как **оупѣвати**; поскольку этот глагол отсутствовал в разговорном языке восточных славян, они не могли проверить, следует ли в нем писать **ѣ** или **о**, и поэтому писали как **оупѣвати**, так и **оуповати** (Дурново 2000, 664).

Во-вторых, приведенное выше правило не действует в случае особых сокращенных написаний, усвоенных из южнославянской традиции в качестве профессионального письменного навыка; имеются в виду такие слова, как **кнѧзѣ**, **кто**, **много**, **книга**, **все**, **дни**<sup>390</sup>. О том, что речь не идет здесь об отражении падения редуцированных (как полагал ряд исследователей), но о чисто орфографической конвенции, ясно свидетельствуют написания типа **всь**, встречающиеся уже в рукописях XI в.; такие примеры находим в Минее 1095 г. (Ягич 1886, 047<sub>21</sub>, 0233<sub>8</sub>; Карнеева 1916–1917, 28; Дурново 2000, 427) и в Минее 1097 г. (всего 14 раз при 11 написаниях **всь** – Обнорский 1924, 174–175), в также в Типографском уставе (4 примера – Тип. Устав, II, 314). Такие формы никак не редкость и во многих позднейших памятниках<sup>391</sup>. Принципиальное значение данных примеров состоит в том, что сокращенное написание устраняет здесь не слабый, а сильный редуцированный (а после прояснения редуцированных – фонему /e/) и поэтому никак не может быть фонетическим<sup>392</sup>. В остальных случаях правописание подчинялось

<sup>390</sup> О том, что в корнях **кнѧзѣ**-, **ктѣ**-, **мнѧгѣ**-, **всѣ**-, **книгѣ**- и т. д. еры с древнейших времен опускались в качестве орфографической условности, см.: Дурново 2000, 418–434; Успенский 2002, 136–137. О неправомерности интерпретации подобных примеров как свидетельств начального этапа восточнославянского процесса падения редуцированных, который при подобной трактовке начинается в «безударных» первых слогах слова (эта трактовка восходит к А. А. Шахматову и затем некритически воспроизводится в десятках работ, затрагивающих данный вопрос, ср. хотя бы: Шевелов 1979, 238–239), см.: Зализняк 2004а, 63–64 (ср. еще: Зализняк 1985, 168–172).

<sup>391</sup> Любопытно отметить, что в нескольких случаях сокращенного написания этих корней в Стихираре середины XII в. (ГИМ, Син. 279) над первым согласным стоит особая нева (над **в** в **всѣмъ** 200б., **вси** 50, **всѣмъ** 127об., над **м** в **многогостыни** 47). Это ясно свидетельствует о том, что пропуск еров в данных случаях является орфографическим приемом, не имеющим никакого отношения к фонетической реализации. Отмечу еще написание **мъногогостра/стыни** 109об., где **ѣ** исправлен из **о**.

<sup>392</sup> М. Карнеева предлагала своего рода компромиссное объяснение, согласно которому «под влиянием обычного пропуска слабого **ѣ** в основе **всь**- в памятниках встречается иногда опущение сильного **ѣ** в слове **всь**» (Карнеева 1916–1917, 28). «Под влиянием», конечно, неопределенно и многозначно; хотя ясно, что это влияние не фонетическое, но как бы предполагается, что исходный феномен (опущение слабого **ѣ**) имеет фонетическую природу. Такая гипотеза, однако, не кажется вероятной, у нас не появляется написаний типа **снѣ** под влиянием **сна**, **лѣѣ** под влиянием **лѣа** и т. д. Аббревиатура представляется куда более правдоподобным объяснением. Его поддерживают и появляющаяся в

правилу. Поскольку написания проверялись живым произношением, «неправильные» еры устранялись. Правило носило императивный характер, об этом свидетельствуют и исправления, о которых уже упоминалось выше.

После падения и прояснения редуцированных имеет место новая адаптация, применительно к новому состоянию живого языка. Происходит изменение книжного произношения: **ѣ** начинает произноситься как [bэ], т. е. с гласным призвуком типа шва после согласного. О том, что именно дало такое произношение, могут быть разные мнения, но оно во всяком случае засвидетельствовано при обучении по складам у старообрядцев-беспоповцев (Успенский 1968, 36–39; Успенский 1971, 16–17) и нет никаких оснований полагать, что эта традиция не восходит к древности (к периоду после падения редуцированных). По мнению Б. А. Успенского, такое чтение возникло как обобщение на склады с ерами произношения неорганических вставных гласных (порою отражавшихся в написаниях с ерами типа **псалѣма** в Чудовской псалтыри, см. многочисленные примеры: Марков 1964, 165–166); они, понятно, не были затронуты падением и прояснением редуцированных и, возможно, фонетически отождествлялись с редуцированными в период, когда редуцированные уже пали, но еще не прояснились (см.: Успенский 1988а; Успенский, III, 162–163, 196–197).

Именно изменением в процедурах обучения чтению по складам следует, очевидно, объяснять сокращение к концу XIII в. берестяных грамот со смешением **ѣ** и **о**, **ѣ** и **е**. Это изменение в некнижной орфографии может датировать интересующее нас изменение в чтении по складам: чтобы повлиять на некнижный узус, изменение должно было начаться на полвека раньше, т. е. в середине XIII в. (когда стало прошлым прояснение сильных редуцированных). Изменение узуса – это кумулятивный процесс: правописные практики постепенно приспосабливаются к новому книжному произношению. Это приспособление проходит, видимо, через период сложных правил, учитывающих морфологическую структуру слова (см. § III-7; ср.: Хабургаев 1976). В результате радикального упрощения орфографических приемов возникает новое нормализованное письмо, в котором **ѣ** и **ѣ** выступают как знаки конца слова, а **ѣ** также обозначает мягкость предшествующего согласного (не перед гласным). Именно этой новой нормой объясняется и упоминавшееся выше изменение в записи певческих текстов.

**6. 4. 1. Одноеровая орфография.** Отдельной проблемой в истории употребления еров является одноеровая орфография. Одноеровая орфография, т. е. правописная практика, использующая лишь одну из букв **ѣ** и **ѣ** на месте этимологических \*ѣ и \*ѣ, приходит на Русь из Болгарии, где ее развитие было обусловлено совпадением фонем /ѣ/ и /ѣ/. Таким образом, восточно-

---

рукописях форма **днь** (наряду с **днѣ** и **днии**), она встречается, например, в первом почерке Изборника 1073 г. Обычно это слово пишется под титлом, и тогда принцип сокращения реализуется эксплицитно, однако в Изборнике **днь** появляется, как отмечает Дурново, «несколько раз без титла» (Дурново 2000, 419): нерегулярность в употреблении титла не отменяет принципа сокращения. Этот же принцип объясняет и написание **всь**, и многочисленные написания с опущенными слабыми ерами (см. специально о сокращенных написаниях и о стоящей за ними южнославянской традиции: Успенский, III, 217–218).

славянские книжные памятники одноерового письма представляют собой одну из разновидностей влияния южнославянских протографов на восточнославянское правописание. На восточнославянской почве такое правописание было фонетически немотивированным, поскольку у восточных славян фонемы /ъ/ и /ь/ были противопоставлены. Можно полагать, что из Болгарии приходят к восточным славянам не только одноеровые рукописи, но и одноеровые азбуки, а с ними и «одноеровая» система обучения чтению по складам (т. е. такая система, в которой были склады только с одним из еров).

В книжных памятниках одноеровая орфография представлена в ряде рукописей XI в., начиная с Новгородского кодекса начала XI в. (Зализняк и Янин 2001, 8). Ряд исследователей полагает, что и другие рукописи одноерового письма относятся к числу древнейших (ср. анализ этих рукописей в книге И. Тота: Тот 1985), хотя реальные основания для датировки этих рукописей в пределах XI в. (начало, середина или конец) отсутствуют. Можно с осторожностью согласиться с мнением В. Л. Янина и А. А. Зализняка, согласно которому «даже Остромирово евангелие, которое традиционно рассматривается как образец самого первоначального состояния русской письменности, в действительности отражает уже значительно продвинутый этап ее развития, а именно этап, когда в практике русского книжного письма уже решительно было отдано предпочтение той из двух пришедших извне графических систем, которая лучше соответствовала древнерусской фонологической системе» (Зализняк и Янин 2001, 8). Из этого, конечно, не следует, что дошедшие до нас одноеровые рукописи написаны ранее Остромирова евангелия, однако, нужно полагать, они репрезентируют маргинальную и исчезающую правописную практику, которая к концу XI столетия вымирает окончательно.

Это вымирание можно связать с тем, что книжные писцы писали еры «по правилам», причем по правилам, апеллировавшим к произношению редуцированных в живом языке. Показательна в этом отношении неоднократно упоминавшаяся выше рукопись Пандектов Антиоха ГИМ, Воскр. 30. Рукопись написана пятью писцами, работавшими вместе (возможно, в одном скриптории). Большая ее часть написана вторым писцом (писцом В), правописание которого меняется от начала рукописи к концу. Эти изменения проанализированы И. Поповским (Поповски 1989а, 50–51). В первом фрагменте, принадлежащем писцу В (л. 18d: 7 – 29d), он пользуется одноеровой орфографией, употребляя исключительно ѣ (другие писцы одноеровой орфографией не пользуются); во втором фрагменте (л. 32а–64d) одноеровая орфография сменяется двуеровой, хотя в употреблении еров нередко случаются ошибки; начиная с третьего фрагмента (л. 65а–88d) случаи смешения еров почти исчезают. Этому изменению сопутствует постепенный переход от употребления диграфа шѣ к употреблению ѣ, несколько, впрочем, запаздывающий по отношению к переходу на двуеровое правописание (исключительное употребление ѣ свойственно лишь последнему, седьмому фрагменту, л. 189а–212d). Можно сказать, что писец В постепенно переходит от непосредственного копирования своего (глаголического) оригинала к употреблению более подходящей к книжному языку восточных славян орфографической системы; он как бы учится по ходу дела. Нельзя



исключить, что определенного рода обучение и в самом деле имело место, что в группе переписчиков Пандектов был старший писец, который указывал своим сотрудникам на их недостатки<sup>393</sup>.

Как бы то ни было, отказ от одноерового правописания непосредственно соотнесен в данной рукописи с употреблением орфографических правил. Именно орфографические правила восточнославянских книжников делают одноеровую орфографию невозможной; исчезновение одноерового книжного письма связывается со становлением восточнославянской орфографической системы, основанной на приспособленных к речевым навыкам писцов орфографических правилах. В этом плане кажется неслучайным, что вымирание одноеровой книжной орфографии хронологически совпадает со становлением восточнославянской нормы написания флексий тв. ед. -ѣмь, -ьмь (вместо «южнославянских» -омь, -ѣмь), также обусловленной употреблением орфографических правил написания еров, апеллирующих к живому языку восточнославянских писцов.

В контексте высказанных соображений не должно вызывать удивления, что в бытовом письме одноеровая графика держится существенно дольше, чем в письме книжном. Древнейшие дошедшие до нас кириллические абecedарии (XI–XII вв.) являются одноеровыми (содержат ѣ и не содержат ь); на основании существующих свидетельств А. А. Зализняк приходит к выводу, что «безъеревые азбуки были в древний период весьма распространены» (Зализняк 1999, 560). Это с большой вероятностью означает, что какая-то часть обучающихся грамоте осваивала алфавит с одним ером. Им эти люди (или во всяком случае некоторые из них) и продолжали пользоваться, поскольку никаких особых неудобств в бытовом письме, не предназначенном для публичного чтения вслух, такая система письма не вызывала. Данную ситуацию можно сопоставить с функционированием московской скорописи в XVI–XVII вв., в которой также могли не различаться ѣ и ь (на генезисе этого явления в скорописи мы можем сейчас не останавливаться), что ни к каким недоразумениям в обмене информацией не приводило. От XI – середины XII в. до нас дошло не менее десятка берестяных грамот и надписей, написанных в одноеровой графике (Зализняк 2004а, 27–28; Зализняк 2004б, 258–260); наиболее поздняя из них (грамота № 821) относится к середине XII в. Такая ситуация понятна, поскольку писавшие в бытовой системе особого интереса к орфографическим правилам книжного письма не испытывали и в функциональной ясности соотношения графики и фонетики не нуждались. Поэтому у них не было тех стимулов к отходу от одноеровой графики, которые определяли поведение книжных писцов. Исчезновение этой традиции в бытовой письменности во второй половине XII в. надо, видимо, связывать с утверждением той системы чтения по складам, в которой различались склады с ером и с ерем.

<sup>393</sup> Это хорошо объясняло бы радикальность в изменении правописной практики писца В. Вообще говоря, однако, переход от более тщательного копирования в начале рукописи к копированию менее тщательному и в результате более соответствующему естественному для писца узусу (более ориентированному на локальные орфографические правила) представляет собой достаточно обычное явление.

Такая система также существовала, надо думать, с весьма раннего времени. Она вряд ли появилась на восточнославянской почве существенно позже, чем одноеровая система. Даже среди грамот и надписей XI в. большинство (из дошедших до нас) написано в двуеровой графике. Конечно, грамотные люди и в XI в. многократно сталкивались с текстами (в частности, с книжными), написанными в двуеровой графике и, видимо, без труда их читали. Чтение таких текстов могло быть стимулом к употреблению двуеровой графики, однако трудно предположить, что этого стимула было достаточно для перехода на двуеровую графику в правописной практике обучавшихся по одноеровой системе. Можно предположить поэтому, что двуеровые азбуки существовали и в XI в. и не дошли до нас лишь по случайности. Система обучения чтению была ориентирована на книжные тексты (Часослов и Псалтырь), которые ученики читали и выучивали наизусть. После того как исчезли одноеровые книжные тексты, система обучения чтению должна была на это – с известным запозданием – отреагировать. Переход к «двуеровому» образованию в свою очередь должен был изменить навыки бытового письма – также с известным запозданием. Эти два временных сдвига как раз и приводят к тому, что в бытовой письменности одноеровая графика исчезает как минимум на полвека позже, чем в письменности книжной.

**6. 4. 2. Сочетания редуцированных с плавными.** Если в южнославянских памятниках в рефлексах данных сочетаний еры писались после плавного (**стѣлпѣ**), то в восточнославянских еры писались перед плавным (**стѣлпѣ**). Восточнославянский тип написания утверждается постепенно, в памятниках XI в. написания южнославянского типа встречаются нередко, в пропорциях, сходных с пропорцией написаний **жд** в соответствии с \**dj*; они могут трактоваться как отражение влияния южнославянских протографов. В XII в. они сохраняются лишь в качестве редких допустимых вариантов в отдельных сравнительно консервативных рукописях, в особенности в пассажах, которые были не вполне понятны восточнославянскому книжнику. Обычная трактовка этого изменения правописной практики состоит в том, что книжное правописание адаптировалось к восточнославянскому произношению, прежде всего к произношению живому.

Эта трактовка, однако, не бесспорна, поскольку неясно, таким ли было живое и книжное произношение. В книжных текстах нередко написания типа **стѣлпѣ** или эквивалентные им **стѣл'пѣ**. Таковы же написания в ранних берестяных грамотах, ср.: **въ дѣлѣтъ** (№ 675 – Зализняк 2004а, 296), **кѣръзѣно** (№ 648 – там же, 444), **оперѣсникѣ** (там же), **смѣръда**, **смѣръди** (№ 247 – там же, 238) и т. д.<sup>394</sup> Нет резона объяснять эти написания как искусственные,

<sup>394</sup> А. А. Зализняк отмечает: «В берестных грамотах запись с гласной буквой (ѣ, ъ или о, е) после плавной является нормой (естественно, кроме тех примеров из поздних грамот, где вставной [ѣ] или [ѡ] уже должен был по общим правилам пасть). В ранний период запись типа *смѣрде* (без вставного редуцированного) встречается очень редко и истолковывается неоднозначно: это может быть правильная письменная передача рефлекса вост.-новг. типа или просто орфографическая условность – написание по господствующему

как графическую контаминацию написаний типа *стѣлпъ* и *стѣлпѣ* (такое объяснение предлагалось рядом исследователей, см., например: Ягич 1876; Борковский и Кузнецов 1965, 58; Успенский 1987, 92; в следующем издании автор отказывается от этой концепции: Успенский 2002, 138; см. отчасти также: Шахматов 1902). Это то явление, которое потом на Северо-Западе развивается во второе полногласие. Однако отсюда не следует, что такое произношение было ограничено Северо-Западом. Восточнославянская территория могла быть здесь так же неоднородна, как и в случае с (первым) полногласием.

Что касается первого полногласия, то, по справедливому наблюдению П. Гарда, в восточнославянских диалектах до определенного момента вторые [о] и [е] в полногласных сочетаниях фонетически отличались от [о] и [е] в других позициях (см.: Гард 1974, 112–115). Нет, однако, оснований рассматривать фонетический процесс отождествления этих [о] и [е] с соответствующими звуками в других позициях как слишком поздний – по крайней мере, для севера восточнославянской территории. Если не постулировать, как это делает П. Гард, правосточнославянскую систему, а допустить изначальную гетерогенность северных и южных восточнославянских диалектов, ничто не мешает думать, что на севере второе [о] полногласных сочетаний отождествилось с [о] в других позициях еще в дописьменный период (и впоследствии под автономным ударением дало /ѡ/, как и всякое другое /о/ в этих условиях).

Что касается юга, то здесь действительно нужна особая интерпретация. Второе [о] полногласных сочетаний дает здесь в новых закрытых слогах /ѡ/, т. е. ведет себя как рефлекс \*ѡ, а не как рефлекс \*о. Допустить тождество второго гласного полногласных сочетаний с [ѡ] (до падения и прояснения редуцированных) нельзя, так как в этом случае после падения редуцированных должны были бы появиться формы типа \**голова* (вместо *голова*), а этого не происходит. П. Гард видит выход из этой трудности в том, чтобы отнести процесс отождествления второй гласной полногласных сочетаний с /о/ ко времени после падения и прояснения редуцированных. В качестве решения фонологической задачи такая конструкция, конечно, возможна, но она не слишком привлекательна фонетически. Она предполагает, что до падения и прояснения редуцированных существовало три задних лабиализованных звука среднего подъема: [о], [ѡ] и еще один звук, отличный от этих двух, реализовавший фонологический нуль (призвук, появлявшийся между плавным и шумным), но фонетически достаточно самостоятельный, чтобы затем отождествиться с [ѡ]. После падения и прояснения редуцированных происходит бифуркация [о], которое дает /ѡ/ в новых закрытых слогах и /ѡ/ в других случаях; и в это же /ѡ/ вливаются рефлекс \*ѡ и фонологизировавшиеся рефлекс гласного призвук после плавного (третьего о-образного звука).

Возможна, однако же, и другая точка зрения. Если фонологическая позиция /ѡ/ и /ѡ/ развивается лишь после падения и прояснения редуцированных, то ничто не мешает думать, что фонетическое различие [ѡ] и [ѡ]

---

щему в наддиалектном др.-р. языке образцу» (Зализняк 2004а, 50); о правомерности выделения особых восточноновгородских рефлексов см. ниже.

(или каких-то двух других о-образных аллофонов) существовало значительно ранее (видимо, в самых разных славянских диалектах). На восточнославянской территории особый аллофон [o] (например, с увеличенной длительностью и большей закрытостью) мог развиваться под автономным ударением перед редуцированными в слабых позициях (возмездительное удлинение), тогда как в других позициях гласный был более открытым и менее длительным; иными словами, и до падения редуцированных *порокъ* 'vitium' мог звучать как [pɔrɔkъ] (ударение на втором слоге), *пророкъ* как [prɔrɔkъ] (ударение на втором слоге). После падения и прояснения редуцированных происходит процесс фонологизации этих аллофонических различий, что и дает оппозицию /ô/ и /ɔ/. На юге восточнославянской территории второй гласный полногласных сочетаний, не будучи тождествен [ъ], не имел в то же время аллофонических характеристик длительности и закрытости, и поэтому его рефлексом стало /ɔ/ (ср.: Живов 2006а, 142–143; Зализняк 2004а, 50).

Похоже, что столь же различны были по диалектам и рефлексы для редуцированных с плавными. Гласный (который при желании можно назвать гласным призвуком) звучал и после плавного, а не только перед ним. На севере этот гласный был более длительным (сильным), чем на юге. После падения и прояснения редуцированных он мог в ряде северных диалектов рефонологизироваться, что и дало второе полногласие (формы типа *верехъ*). На юге, равно как и в ряде северных диалектов рефонологизация пошла другим путем и гласный после плавного стал восприниматься как ноль звука (формы типа *верхъ* или *вер'хъ*). На параллелизм первого и второго полногласия указывает и А. А. Зализняк: «В обоих случаях в вост.-слав. зоне после плавного появляется вокалический призвук, который развивается в сторону уподобления предыдущей гласной. В северо-западной части зоны (новг.-пск.) в большинстве говоров этот процесс реализуется полностью: получаются *ToroT* и *TъrъT*. В юго-западной части (будущей укр.-белор.) он не доходит до своего логического завершения: вставная гласная не достигает полного сходства с предыдущей, и ее позднейшие рефлексы иные, чем соответственно у исконных \*o и \*ъ. (В восточной половине зоны ситуация компромиссная: \**TorT* дает те же рефлексy, что на северо-западе, а \**TъrT* – те же, что на юго-западе.)» (Зализняк 2004а, 50; ср.: Николаев 1996, 211–215).

Последнее утверждение (о восточных восточнославянских говорах), конечно, справедливо, оно сводится к тому хорошо известному факту, что второе полногласие свойственно северо-западным говорам и не свойственно северо-восточным (равно как и южным). Такова ситуация в современных говорах (см. изоглоссу второго полногласия: Аванесов и Орлова 1964, 247–248; ср. также: Орлова 1970, 249, 283, 400), и исходя из этого членения Зализняк противопоставляет новгородско-псковский диалект (в котором «получаются *ToroT* и *TъrъT*») и восточные новгородские говоры (в которых *TъrъT* не получается). Не очевидно, что такое противопоставление существовало уже в древнейший период; современное диалектное состояние может быть результатом того, что гласный после плавного фонологизировался на Северо-Западе и не фонологизировался на Северо-Востоке, что может быть не связано прямо с фонетическими различиями в звуках, про-

износившихся после плавного в рефлексх редуцированного с плавным. Вполне выраженный гласный призвук после плавного мог быть свойствен и северо-восточным диалектам и даже всему восточнославянскому ареалу, а различия возникали в силу разной фонологической трактовки этого призвuka после падения и прояснения редуцированных, причем там, где он трактовался как фонологический нуль, он переставал произноситься (см. о диалектной дивергенции подобного типа: Андерсен 1978)<sup>395</sup>.

Если реконструировать такую картину, то в рукописях, созданных до падения редуцированных, написание гласного после плавного отражало произношение, а не было результатом графической контаминации. Более того, написание рефлексов редуцированного с плавным с гласными по обе стороны плавного (или с паерком после плавного) представлено в рукописях XI–XIII вв., происходящих из разных восточнославянских ареалов. Рукописи северо-западного происхождения никак особо в этом отношении не выделяются (ср. сходные соображения у В. Б. Крысько 1994б, 17). Можно указать, например, на Изборник 1073 г., который естественно рассматривать как памятник киевского книжного искусства.

Об этой рукописи Н. Н. Дурново писал: «[П]ервый писец передает *л, г* постоянно написаниями *ѣл, ѣр, ѣр*, а второй обычно сохраняет ст.-сл. порядок и только изредка пишет *ѣ, ѣ* по обе стороны плавных или перед плавным» (Дурново 2000, 397); вместе с тем, Дурново отмечает, что первый писец употребляет «*spiritus lenis*, который он ставит для обозначения мягкости [имеется в виду палатальность. – В. Ж.] согласных, пропуска *ѣ* и *ѣ*, а также в начале слова и после гласных над буквами *а* и *є*» (там же). Таким образом, *spiritus lenis* функционирует и как паерок и служит альтернативным обозначением редуцированных. В первом почерке мы регулярно находим его в рефлексх редуцированного с плавным после плавного (перед плавным пишется *ѣ* и *ѣ*), т. е. встречаемся с написаниями *ѣл, ѣр, ѣр*, эквивалентными, надо полагать, написаниям *ѣл, ѣр, ѣр* (ср.: Васильев 1909, 305). На обследованных мною листах 7а–16г такие написания встречаются 49 раз, только в 3 случаях *spiritus lenis* над плавным пропущен, т. е. коэффициент выраженности составляет 94%, и это согласуется с гипотезой о фонетической значимости данного обозначения. Приведу несколько примеров: *пѣрво*к Изб. 1073, л. 8а, 9г, 11в, 11г. 12б, *испѣлнить* л. 8г, *сѣмѣть* 11г и т. д.; показательно, что

<sup>395</sup> Стоит отметить, что группировка современных говоров основана на относительно небольшом списке лексем: *вѣрех* или *верѣх*, *сѣрѣп* или *серѣп*, *кѣром*, *стѣлоб* или *стѣлоб*, *гѣроб*, *мѣлонѣя* (Орлова 1970, 249, 400); за фонологизацией, видимо, следовала лексикализация. Как это нередко случается, ареалы распространения лексикализованных фонетических явлений не полностью совпадают, у каждой лексемы несколько отличающаяся от других территория распространения. Хотя в основном все эти ареалы принадлежат северо-западной диалектной зоне (псковским, новгородским, гдовским, ладого-тихвинским, селигеро-торжковским говорам), отдельные примеры находятся и за ее пределами. Так, относительно формы *кѣром* отмечается, что, кроме северо-западных среднерусских говоров, «ареалы указанного произношения данного слова известны вдоль границы с БССР и УССР и в междуречье Оки и Мокши» (там же, 400). Такие единичные выплески фонетического явления за территорию его основного распространения могут быть остатками более широкой дистрибуции.

плавный с диакритикой может стоять в конце строки, в этом случае диакритика явно эквивалентна гласной, поскольку в конце строки может стоять только гласная, ср.: *мьр̣|тво* л. 12а, *пър̣|вын* л. 12б, *съл̣|ньце* л. 15а, *съмьр̣|тъна* л. 15г, *съвьр̣|ши* л. 16а и даже *пър̣||вородьныи* л. 12б-в.

Полагая, что такое написание отражает произношение, мы получаем аргумент в пользу того, что гласный призвук после плавного звучал не только в северо-западных говорах, но и в других восточнославянских диалектах. Выделение северо-западных говоров в отдельную группу, характеризующуюся вторым полногласием, происходит позже, после падения и прояснения редуцированных. До этого нет особых оснований противопоставлять новгородско-псковские (западноновгородские) и восточноновгородские говоры по этому признаку, как это делает А. А. Зализняк. Сам Зализняк замечает, что появляющееся изредка написание «типа *смьрде* (без вставного редуцированного) <...> истолковывается неоднозначно: это может быть правильная письменная передача рефлекса вост.-новг. типа или просто орфографическая условность – написание по господствующему в наддиалектном др.-р. языке образцу» (Зализняк 2004а, 50). Похоже, от первого варианта было бы благоразумно отказаться. Конечно, в разных диалектах гласный призвук после плавного мог быть разной длительности и интенсивности, можно сказать, разной полноценности. Однако это был лишь один из факторов, который способствовал обозначению этого призвука на письме. В книжных текстах выбор писца, его интерпретация гласного призвука как полноценного или неполноценного звука могла быть связана со степенью его (писца) ориентации на те образцовые тексты, в которых этот призвук никак не обозначался. В любом случае обозначение гласного призвука в книжных текстах оставалось необязательным, а последовательность в его проведении – делом вкуса (или определенной писцовой традиции). Традиции книжного письма могли влиять и на письмо некнижное, что и дает написание «типа *смьрде*».

Как соотносились книжное и разговорное произношение, также не вполне ясно и поддается разной интерпретации. В разговорном произношении могло звучать *търъгъ*, а в книжном *търгъ*, тогда книжная орфография, представленная в большинстве памятников, отражает книжное произношение, а написание типа *търъгъ* являются ненормативными. Такая трактовка маловероятна, поскольку таких написаний слишком много (особенно, если учитывать *тър'гъ*) и они не сочетаются с другими приметами низкого профессионализма. Более привлекательной представляется иная возможность: книжное произношение совпадает с разговорным, а написание может не учитывать второго гласного. На эту возможность, как кажется, указывают данные певческих текстов, хотя они не вполне однозначны, так что нельзя исключить, что в книжном произношении при господствующем произнесении гласных по обеим сторонам плавного могла иметь место вариативность (не ясно, на уровне ли отдельных отступлений или последовательного выбора) и появляться формы без гласного после плавного.

Последнюю возможность побуждают предположить данные Типографского устава. Здесь у первого писца в ненотном тексте находим *дъръжавоу*, а в нотном – *дъръжахааавввв* (л. 35 – Тип. Уст., II, 95; нотного знака над

плавным нет), а у второго писца соотношение обратное: в ненотном тексте **държавѣ**, в нотном – **дъръжааавѣ** (л. 55об.–56 – там же, 136–137). Впрочем, и эти данные поддаются другой интерпретации. Можно считать, что написание без отдельного знака после плавного не маркировано и не означает отсутствия гласного даже в певческих текстах (несложно допустить, что гласный в этом случае поется на той же ноте, что и предшествующий), тогда как появление отдельного знака указывает на произнесение гласного, на его присутствие<sup>396</sup>. В этом контексте показательными оказываются те случаи, где в певческих текстах гласный после плавного обозначен или над плавным стоит отдельная невма.

Б. А. Успенский указывает на ряд таких форм в кондакарях XII–XIII вв. Так, в Благовещенском кондакаре находим **църьрьькыхъи** (**църькы**), л. 22, в Лаврском кондакаре **вълъхъынъи** (**вълъхъы**), л. 96, в Синодальном кондакаре **стълълъпъ** (**стълъпъ**), л. 1. Нередки примеры, когда после плавного еры не пишутся, но над плавным стоит нота, например, в Синодальном кондакаре **скъървини**, л. 20об., **съьрьдьцеее**, л. 72об., **въььрьтъььпъ**, л. 51, **весььмьрьтъьне**, л. 82об., **веесьмьрьтъини**, л. 87, в Успенском кондакаре **дъььрьжаави**, л. 73об., **въздържаааннаа**, л. 61, в Лаврском кондакаре **мььрьтъынъъ**, л. 90об. (Успенский, III, 222–223). Аналогичные примеры с невмой над плавным приводит и А. А. Шахматов из Стихираря XII в. (ГИМ, Син. 279): **сльньце**, л. 98об., **първыи**, л. 133, **оутвърженик**, л. 132об. (Шахматов 1902, 317). Комментируя эти написание, Шахматов замечает: «Ясно, что при церковном пении сочетания **ьр**, **ър**, **ъл** произносились как два слога, т. е. именно так, как они пишутся в иных рукописях (**ьрь**, **ъръ**, **ълъ**)» (там же).

Подобные примеры подводят нас к заключению, что до падения и прояснения редуцированных рефлексы редуцированных с плавными и в разговорном, и в книжном произношении восточных славян предполагали произнесение гласного с обеих сторон плавного. Гласный, стоявший после плавного, мог быть неполноценным (призвук), по крайней мере в тех ареалах, где сформировалась письменная традиция. Эта традиция, можно думать, требовала обозначения гласного перед плавным, а обозначение

<sup>396</sup> Мне представляется, что такое решение лучше объясняет существование рукописей, где никакого знака после плавного не появляется, чем гипотеза о диалектных различиях или замысловатое построение Л. Васильева. Апелляция к диалектным различиям неэффективна, поскольку рукописи без знаков после плавного или с единичными знаками происходят из разных ареалов – как южных и северо-восточных, так и северо-западных. Л. Васильев, обследовавший ряд таких рукописей, полагал, что гласный призвук после плавного был в восточнославянских диалектах повсеместным в «доисторическую эпоху» и повсеместно же образовал «вторичные слоговые **ъ**, **ь**»; затем редуцированные начали исчезать, причем ранее всего после **р** и **л**, что захватило и случаи второго полногласия; «рельефно это выразилось только в XII в.» (Васильев 1909, 311–312). Васильев приводит любопытные статистические данные для Христинопольского Апостола и Толстовского сборника XIII в., но их явно недостаточно для предлагаемой нестандартной картины падения редуцированных. Во многих рукописях редуцированные после плавного из рефлексов **\*ъr**, **\*ър**, **\*ъl**, **\*ъл** ведут себя не так, как редуцированные после **р**, **л** другого происхождения, и это противоречит гипотезе Васильева.

гласного после плавного делала маркированным: его обозначение было факультативным и с разной последовательностью (непоследовательностью) реализовалось разными писцами. После падения и прояснения редуцированных в фонетике живого языка происходит фонологическая реинтерпретация гласного после плавного – в одних диалектах как нуля звука, а других как полноценного гласного (второе полногласие). Изменяется, видимо, и традиция книжного произношения: гласный после плавного перестает произноситься (когда и как это происходит – вопрос для отдельного исследования, которое могло бы быть построено на материале поздних певческих рукописей). Это изменение в книжном произношении оказывает влияние и на правописание: написание гласного после плавного появляется лишь в качестве реликта; таких реликтов сравнительно много в XIII–XIV вв., и они встречаются все реже и реже в XIV–XV вв. (хотя примеры могут быть найдены и в рукописях XV в., как, например, в новгородском Прологе 1431–1434 гг. (РНБ, Ф. п. I. 48), в котором, впрочем, с помощью *о*, *е* нередко обозначаются вставные гласные разного происхождения, см.: Попов 2006, 235)<sup>397</sup>.

**6. 4. 3. Формы 3 лица настоящего времени.** Хотя речь идет о морфологическом показателе, причины его модификации фонетико-орфографические, связанные с тем, как трактуются еры при переписке южнославянских рукописей у восточных славян. Окончание *-тъ* в третьем лице презенса встречается лишь в небольшом числе древнейших памятников, наиболее

<sup>397</sup> Я не рассматриваю здесь встречающиеся в достаточно ранних рукописях (начиная с Синайского патерика XI в.) написания типа *ТръТ*, а позднее *ТроТ* в рефlekсах редуцированного с плавным (см.: Шевелева 1995; Шевелева 1996; Шевелева 2001). Хотя в отдельных рукописях примеры таких написаний довольно многочисленны, они все равно остаются второстепенным способом передачи данных рефlekсов, являются не частью какой-либо орфографической системы, а отступлением от нее (ср.: Шевелева 1995, 83). Имеется и ряд берестяных грамот с такими написаниями, и они, следует полагать, отражают произношение в одном из северо-западных («новгородских») говоров (Зализняк 1997; Зализняк 2004а, 50–52). Весьма вероятно, что ряд памятников, обследованных М. Н. Шевелевой (например, Типографский и Соловецкий список Жития Андрея Юродивого), был написан носителями этих говоров, хотя, скажем, для Синайского патерика такая локальная приуроченность кажется сомнительной и особенности в рефlekсах редуцированных с плавными в этом тексте хотелось бы объяснить иначе. Как именно появились подобные рефlekсы в данной группе северо-западных говоров, не вполне ясно и для нас не имеет принципиального значения. Возможно, имела место метатеза, возможно, как предполагал В. Б. Крысько, «дефонологизация изначально предшествовавшего плавному гласного полного образования» (Крысько 1994б, 18–19), можно придумать и другие сценарии. Мне не представляются продуктивными споры о том, был ли такой этап, когда «слоговость» сосредоточивалась в плавном (т. е. когда плавный был слоговым, а его слоговость могла обозначаться стоящим после него гласным), или гласный после плавного присутствовал изначально (см. полемику: Попов 2006; Шевелева 2007). Противопоставление слогового плавного и плавного с гласным призвуком вряд ли может быть четко определено и в синхронной фонетике, а для исторической фонетики оно полностью нерелевантно, поскольку никаких данных, указывающих на один из вариантов, существовать не может. В русской книжной письменности обсуждаемые написания рефlekсов редуцированного с плавным даже в качестве второстепенных никакой устойчивой традиции не образуют.



тщательно воспроизводящих написания южнославянских протографов, а именно в Остромировом евангелии и Слуцкой псалтыри. В Остромировом евангелии имеется четыре таких случая: **знаѣтъ** л. 244а, **идѣтъ** л. 86а, **спѣѣтъ** л. 224б, **отѣпоуѣаѣтъ сѧ** л. 67а (Козловский 1885–1895, 116). В Слуцкой псалтыри имеется одна такая форма у нетематического глагола: **ѣстъ** (Тот 1982, 186); впрочем, текст невелик, так что в процентном отношении этот один пример перевешивает четыре примера Остромирова евангелия (статистика при таком количестве примеров никакого смысла не имеет). Мы, естественно, не рассматриваем памятники одноерового письма. Пандекты Антиоха, однако, требуют упоминания. По данным И. Поповского, презенс на **-тъ** встречается у второго и пятого писцов данной рукописи, у второго писца 610 раз, у пятого 25 раз. Эти данные не просто интерпретировать, поскольку Поповский, с одной стороны, указывает, что презенс на **-тъ** встречается повсеместно («passim») и тем самым представляет собой немаркированную форму, а с другой – включает в подсчеты узуса второго писца тот фрагмент, который написан в одноеровой орфографии, что, видимо, и обуславливает столь высокие показатели (Поповски 1989а, 105). Презенс на **-тъ** присутствует, однако, и в двуеровой части рукописи, ср., например: **принимѣтъ** л. 55а, **запѣнѣтъ сѧ** там же, **сѣвѣштаѣтъ** там же и т. д. (примеры многочисленны – Поповски 1989б, 55); естественно думать, что мы имеем здесь дело с (непоследовательным) отражением одноерового протографа.

Как можно видеть, окончание **-тъ** исчезало стремительно, поскольку его замена на **-ѣ** была частным случаем нормализации правописания еров. Г. Лант писал: «The OCS third person **-тъ** spellings in 11th-c. ER manuscripts occur only in the context of valiant efforts to reproduce OCS details, surely from OCS models; the native **-тъ** triumphed immediately. Surely the scribes saw this substitution of **ѣ** for **тъ** simply as one more “correction” of the unsatisfactory use of jer-letters in their protographs» (Лант 1987, 148). Книжники пользовались при этом уже известным нам правилом: «Пиши **ѣ** там, где в разговорном языке слышится [ѣ], пиши **ѣ** там, где в разговорном языке слышится [ѣ]»; при этом они, надо полагать, обладали некоторым опытом подобной правки, поскольку она была необходима при копировании оригиналов, написанных в одноеровой орфографии (можно думать, что дошедшие до нас одноеровые отрывки – это скорее исключения, результат «недоработки» книжников, которые в обычном случае переводили одноеровую орфографию в двуеровую).

**6. 4. 4. Формы творительного падежа единственного числа.** Аналогичным образом обстоит дело и с формами тв. падежа ед. числа; характерные для южнославянских рукописей флексии **-омь**, **-емь** заменяются на флексии **-ѣмь**, **-ѣмь**, соответствующие тому узусу, который имел место в восточнославянских диалектах до прояснения редуцированных. Очевидно, что эта замена основывается на том же известном нам правиле: «Пиши **ѣ** там, где в разговорном языке слышится [ѣ], пиши **ѣ** там, где в разговорном языке слышится [ѣ]». Однако в данном случае правилом этим пользовались отнюдь не с той же последовательностью, как в случае окончаний презенса, поскольку, можно думать, задача была несколько более сложной. Как мы знаем (см. выше), в некнижном письме существовала традиция (зародившаяся уже в

XI в.), в которой **о** и **ѣ**, **ѣ** и **ѣ** вообще не различались, а выплески этого различия окказионально появлялись и в книжных рукописях. Если в переписываемом писцом южнославянском оригинале последовательно встречалось окончание **-омь**, которое вместе с тем соответствовало книжному произношению данного писца, это создавало мощный стимул для сохранения южнославянской формы, т. е. для отступления от приведенного выше правила. Замечательно, что, по большей части, этот стимул уже в XI в. не играет определяющей роли, хотя, понятно, у разных писцов он сказывается в разной степени.

Н. Н. Дурново предполагал описать судьбу данного окончания в своем труде «Русские рукописи XI и XII вв. как памятники ст.-сл. языка» (см.: Дурново 2000, 395), но так этого и не сделал, приведя лишь отрывочные данные об этом явлении в «Славянском правописании»: «Так, русские писцы часто писали <...> **-ѣмь**, **-ѣмь** в твор. ед., потому что так звучали эти окончания в живом русском произношении, и эти написания уже в некоторых рукописях XI в. становятся орфографическими нормами: в обоих почерках Остромир. ев. написания с **-ѣмь** составляют 96% всех случаев употребления формы instr. sg. от основ на **-о** и на **-и**, а в обоих почерках Арханг. ев. – все 100% и т. д.» (Дурново 2000, 664; об Архангельском евангелии см. также: Соколова 1930, 122)<sup>398</sup>. Это преобразование весьма красноречиво иллюстрирует роль правил, их преимущественное значение в сравнении с отражением написаний протографа. Процесс вытеснения южнославянского окончания не был, однако же, таким беспроblemным, и в ряде рукописей XI в. окончания **-омь**, **-ѣмь** представлены в значительной пропорции, тогда как в более поздних рукописях встречаются исправления, в которых **-омь**, **-ѣмь** заменяется на **-ѣмь**, **-ѣмь**.

Из памятников XI в. можно, например, указать на Путятину минею. Для нее характерно, по наблюдению В. М. Маркова, «повсеместное употребление форм с **-о-**, **-ѣ-** при наличии незначительного количества примеров употребления окончаний **-ѣмь**, **-ѣмь**» (Марков 1964, 246)<sup>399</sup>. И. Тот, рассматривая этот параметр в ряде рукописей XI в., характеризующихся сохранением многих черт южнославянских протографов, отмечает их в одноеровой части Пандектов Антиоха, в Туровских листках (**гласомъ**, л. 7а, **страхомъ**, л. 9б) и Житии Кондрата (**оуброуcomъ**, л. 1б) (Тот 1985, 318). Узус Пандектов Анти-

<sup>398</sup> Если для Остромирова евангелия пользоваться данными М. Козловского, цифры получаются несколько иными. Козловский не дает статистики, но приводит примеры, по видимости, исчерпывающие. В его списке (Козловский 1885–1895, 117–118) 136 примеров на **-ѣмь**, **-ѣмь** и 22 примера на **-омь**, **-ѣмь**, что дает соотношение 86% – 14%. В чем причина этого расхождения, неясно. Возможно, например, что Козловский учитывает формы из склонения на согласный (например, **именьмь** 3 примера, **именемь** 11 примеров), а Дурново не учитывает, хотя при любых манипуляциях цифры не сходятся.

<sup>399</sup> В. М. Марков не приводит, к сожалению, статистических данных, ограничиваясь общими указаниями и сопоставлением с майской минеей XIII в. (РНБ, Соф. 204). В последней рукописи неизменно употребляются окончания **-ѣмь**, **-ѣмь**, что представляет известный интерес, показывая – как и другие рукописи этого периода, – что данная норма сохранялась и некоторое время после прояснения редуцированных.

оха подробнее описан И. Поповским; согласно его данным, нормальным для Пандектов является написание **-омь**, **-ѣмь**, **-омъ**, **-ѣмъ**, тогда как флексии **-ъмь**, **-ьмь**, **-ъмъ**, **-ьмъ** появляются лишь в виде исключения 2 раза в первом почерке, 16 раз во втором почерке и 8 раз в пятом почерке; в третьем и четвертом таких написаний нет (Поповски 1989а, 106). По наблюдениям Й. Еленского, в Изборнике 1073 г. первый писец употребляет по преимуществу окончание **-омъ**, тогда как у второго писца обычно окончание **-ъмь** (Еленски 1960, 633, 654): две стадии в развитии восточнославянской орфографической нормы представлены здесь в одной рукописи. Из приведенных данных можно заключить, что становление нормы происходит постепенно, и еще в конце XI в. отступления от нее не редкость. Так, в Минее 1096 г. доминирует флексия **-ъмь**, но отмечены редкие случаи с **-омь**: **съ женихѡмь** 51<sup>16</sup>, **своиствоѡмь** 73<sup>22</sup>, **тазыкомь** 164<sup>15</sup> (Комарович 1925, 40). Равным образом, и в Минее 1097 г. флексия **-ъмь** у существительных отмечена в 177 случаях, флексия **-омь** – в 40 случаях, флексия **-ьмь** отмечена в 45 случаях, флексия **-ѣмь** – в 7 случаях (Обнорский 1924, 221).

Поскольку флексии **-омь**, **-ѣмь**, не соответствуя орфографической норме, соответствуют тем не менее книжному произношению, они сохраняются в качестве реликтов и в рукописях XII в. Представляется, что именно это соответствие книжному произношению отличает данные окончания от форм презенса на **-тъ**, которые противоречат и книжному, и разговорному узусу и поэтому исчезают почти мгновенно. У окончаний **-омь**, **-ѣмь** совсем другая динамика. Нельзя даже сказать, что в какое-то время они полностью выходят из употребления, поскольку на становление орфографической нормы, предписывавшей написания **-ъмь**, **-ьмь**, накладывается процесс падения и прояснения редуцированных, в результате которого флексии **-омь**, **-ѣмь** (с отражением прояснения редуцированных) становятся нормативными.

Скажу сначала о становлении нормы, предписывавшей написания **-ъмь**, **-ьмь**. О норме свидетельствуют исправления, которые мы находим уже в некоторых рукописях первой половины XII в. Так, например, в относящейся к этому времени октябрьской минее ГИМ, Син. 160 мы обнаруживаем **высокъмь словѣмь** л. 23 (**ъ** в прилагательном исправлен из **о**). Еще более показателен Стихирарь, ГИМ Син 279, датируемый обычно второй половиной XII в. Падение редуцированных отразилось и в этом памятнике в очень ограниченном объеме (что, возможно, связано с тем, что он нотированный). Флексии тв. ед. пишутся с ерами перед **м** в 107 случаях (**соудѣмь** 15об., **лицѣмь** 16об., **страхѣмь** 17 и т. д.), в 16 случаях встречаются написания с **о**, **ѣ** (эти написания составляют, таким образом, 13% от общего числа): **кѣстьствомь** 32об., **словомь** 61, **ангеломь** 63, **праздѣнникомь** 86об. и т. д. В 6 случаях (посчитанных как формы с ерами) имеются исправления **-омь** на **-ъмь** или **-ѣмь** на **-ьмь**: **богѣмь** 58, **путьмь** 68об., **кѣстьствѣмь** 100, **млекѣмь** 115об., **поспѣшьствѣмь** 121об., **оубиинствѣмь** 156. Замечательным образом, такого рода правка встречается даже в Стихираре начала XIII в. (РГБ, ОР 740), в котором «**словомь** правится на **словѣмь** (л. 47, 81об.), **закономь** на **законѣмь** (л. 73об.), **млѣкомь** на **млѣкъмь** (л. 114об.), **мракомь** на **мракѣмь** (л. 118)» (Успенский, III, 157). Особый интерес этого примера состоит в том, что писец продолжает руководствоваться правилом, предписывавшим писать еры в окончаниях тв. ед.,

хотя, по-видимому, в его живом языке редуцированные уже прояснились и писец следует чисто орфографической традиции, регламентирующей не написание еров вообще, а именно написание данной флексии.

Такой узус связан, надо полагать, с установкой писца на традиционность, на воспроизведение узуса его предшественников (ср.: Живов 2006а, 36–37). В этот же период может реализоваться и противоположная установка, установка на адаптацию правил к разговорному языку, обуславливающую их простоту и выполнимость. Эта установка прежде всего отражалась в правописании еров, которое в этом случае приводилось в соответствие с новым состоянием живого языка, в котором слабые редуцированные пали, а сильные прояснились. С наибольшей отчетливостью эта установка запечатлелась в Добриловом евангелии 1164 г. (Малкова 1967), которое порою трактуется как характерный в данном отношении памятник второй половины XII столетия. Такая трактовка, несомненно, неправомерна, поскольку других сходных в этом аспекте рукописей не появляется не только в тот же период, но и в течение как минимум последующего полувека. Более ограниченное отражение результатов падения и прояснения редуцированных отмечается, однако, в большом числе рукописей.

Одной из основных категорий, в которых отражается прояснение редуцированных, являются флексии тв. ед., которые начинают писаться в виде **-омь**, **-емь**. Так, например, обстоит дело в Типографском евангелии XII в. (РГАДА, ф. 381, № 6). В первом почерке этой рукописи встречается, по данным О. В. Малковой (там же, 12), «250 случаев употребления **о**, **е** на месте **ъ**, **ь** в сильной позиции»; из них 150 приходится на окончания тв. ед., при том что с **ъ**, **ь** это окончание отмечено всего около 20 раз» (там же), т. е. написания с ерами составляют приблизительно 12% от всех релевантных примеров (там же, 13). Во втором почерке аналогичные цифры составляют 17 и 4 примера, т. е. написания с ерами составляют приблизительно 19%. Сходное положение в Выголексинском сборнике XII–XIII в. (там же; ср. еще: Судник 1963, 96; Голышенко 1977, 28), с той, однако, замечательной особенностью, что в 19 случаях **о** в данном окончании самим писцом исправлено на **ъ**. Наиболее радикально Добрилово евангелие, в котором результаты прояснения редуцированных в суффиксах и окончаниях представлены в 638 случаях из 643 (99.22%); в тв. ед. лишь одна форма записана с **ъ**: **вѣтръмь** 52г (Малкова 1987б, 206–207). Это выделение флексии тв. ед. из других последовательностей с сильными редуцированными (особую продвинутость данного контекста в отражении результатов прояснения редуцированных) трудно не связать с тем обстоятельством, что в предшествующей рукописной традиции **-омь**, **-емь** уже существовали, так что новое написание могло контаминироваться со старым, предвещающим написание **-ъмь**, **-ъмь** и «освященным» древностью. Понятно, что в XIII в. новый правописный узус, в котором окончания тв. ед. записываются как **-омь**, **-емь**, одерживает победу.

**6. 5. Различение яти и естя в правописании и книжном произношении.** Можно полагать, что в книжном произношении букв **ѣ** и **е** имела место адаптация. Конечно, мы не знаем, какая именно оппозиция соответствующих фонем реализовалась в том южнославянском диалекте, который при-

несли на Русь южнославянские книжники, и не могло ли на Русь придти несколько южнославянских произношений, как это предполагал Н. Н. Дурново<sup>400</sup>. Как мне представляется, вне зависимости от того, что восточные славяне слышали от своих южнославянских учителей, они ставили в соответствие противопоставлению букв **ѣ** и **е** то фонетическое противопоставление, которое было свойственно их живому языку. Во-первых, утверждалось произношение **ѣ** как гласной средне-верхнего подъема. Во-вторых, две гласные «типа *e*» противопоставлялись, судя по всему, не только своим качеством (например, открытостью – закрытостью), но и характером перехода к этому гласному от предшествующей согласной. Перед **/ѣ/** согласный был палатализован сильнее, чем перед **/е/**, или, иными словами, оппозиция **бѣ** и **бѣ** реализовалась как, условно говоря, [be – b'e]. Это, надо думать, соответствовало живому диалекту Киева, как и других южных восточнославянских диалектов, о чем, в конечном счете, свидетельствует и современная украинская фонетика: перед рефlekсами **/ѣ/** произносится мягкий согласный, перед рефlekсами **/е/** – твердый.

Графически, таким образом, пара букв **ѣ** и **ѣ** оказывалась в том же отношении, что и пары **оу** – **ю**, **ы** – **и**, **а** – **ѡ**, **ѡ** – **ѡ**. В положении после палатальных согласных эта оппозиция нейтрализовалась, и в ряде случаев это может приводить к смещению на письме букв **ѣ** и **ѣ** в положении после палатальных сонорных (**л** и **л**), в положении после **ц** и в положении после **/ј/**, т. е. в начале слова и после гласных (после шипящих **ѣ** неоткуда появиться, и писец может руководствоваться правилом не писать **ѣ** после этих согласных). Ряд примеров такого смещения приведен Б. А. Успенским, ср. **кѣти**, **кѣдѣ** в Архангельском евангелии, **цѣлова** в Синайском патерике, **гнѣвъ** в Изборнике 1073 г. и т. п. (Успенский 2002, 166–167). Вполне показателен и переход **ѣ** в **ѣ** при растяжении в кондакарном письме, ср., например, в Типографском уставе **рааѣзмѣѣ. ѣ. ѣѣѣ. ѣѣѣи** (л. 90об.; Успенский 2002, 168; там же и другие примеры). После падения редуцированных и формирования оппозиции твердых и мягких согласных такое книжное произношение фонологически закреплялось в противопоставлении: твердая согласная перед **ѣ**, мягкая – перед **ѣ**. Именно такое произношение до сих пор сохраняется у старообрядцев-беспоповцев (Успенский 1968, 29–33; Успенский 1971, 13–15). Его, видимо, можно возводить к древности.

Сложность вопроса об употреблении **ѣ** состоит в том, что рукописи со смещением **ѣ** и **ѣ** известны уже с древнейшей эпохи и могут происходить из регионов, где фонемы **/ѣ/** и **/е/** не смешиваются ни в древнейший период, ни позднее, а в процессе фонетического развития могут совпадать с разными фонемами (например, когда в новгородских говорах **/ѣ/** > **/и/**, а **/е/** в **/и/**

<sup>400</sup> Дурново писал, основываясь на том, что в словах с корнем **ѣд-** 'edere' и **ѣд-** 'venenum', в которых возможно было как написание с **ѣ**, так и написание с **ѡ**, «написания с **ѡ** к концу XI в. становятся более употребительными; по-видимому, южные славяне, с которыми русские познакомились раньше, говорили и писали несколько иначе, чем южные славяне, появившиеся на Руси в конце XI в.» (Дурново 2000, 491). Понятно, что данное незначительное и плохо хронологизируемое изменение узуса может быть объяснено и иным образом.

не переходит), что, понятно, исключает их совпадение друг с другом. Таковы, например, новгородские рукописи конца XI – XII вв.: второй почерк Типографского устава (Третьяковская галерея, К-5349), Софийская минея начала XII в. (ГПБ, Соф. 188), отрывки из которой опубликованы В. Ягичем (Ягич 1886), Стихирарь 1157 г. (ГИМ, Син. 589). Ту же проблему ставят и новгородские берестяные грамоты (и грамоты из Старой Руссы), в которых смешение **ѣ** и **е** «наблюдается с самого начала письменной традиции» (Зализняк 2004а, 27; ср. еще Зализняк 2002а, 604–605) и явно не обусловлено фонетически. Вопрос состоит в том, чем же тогда обусловлено это смешение.

Наиболее убедительное, на мой взгляд, решение было предложено Б. А. Успенским (Успенский 2002, 163–173; ср. еще: Живов и Успенский 1984). Оно состоит в том, что противопоставление /ѣ/ и /е/ в книжном произношении реализовалось иначе, чем в произношении разговорном, во всяком случае на северо-западе восточнославянской территории. В книжном произношении склад **ѣ** произносился как [be] (как в современном украинском языке), а склад **ѣѣ** – как [b'e] или [b'ê] (качество гласного, видимо, было безразлично). В разговорном произношении согласный смягчался и перед /ѣ/, и перед /е/ и фонологическое противопоставление реализовалось за счет качества гласного ([b'e] vs. [b'ê]). Это и было источником неполноценных правописных практик. По словам Б. А. Успенского,

Именно это расхождение книжного и разговорного произношения и приводит к смешению **ѣ** и **е** на письме. Поскольку в разговорном произношении формы с **е** (**се́ло**) произносятся так же, как в книжном произношении могут читаться формы с **ѣ** (**дѣ́ло**), формы с **е** могут записываться через **ѣ** (**сѣ́ло**), а отсюда смешение может идти дальше и формы с **ѣ** могут записываться через **е** (**де́ло**) (Успенский 2002, 169).

В предложенных выше терминах можно сказать, что обучение чтению устанавливало следующую систему базисных соответствий: **е** ↔ [e]; **ѣ** ↔ [ʼê] или [ʼe]. Поскольку для носителей северо-западных диалектов [ê] и [e] фонологически противопоставлялись, буква **ѣ** оказывалась полифункциональной (как, скажем, **л**, которая в рукописях, не располагавших специальными знаками для палатальных сонорных, обозначала и [l], и [λ]). Соответственно, одна из фонетических последовательностей типа [C'ê] или [C'e] оказывалась необеспеченной базовыми соответствиями. В силу этого для правильного употребления букв **ѣ** и **е** были необходимы правила, соотносящие книжное и разговорное произношение. Авторы текстов бытового письма правилами не пользовались, что и приводило к смешению **ѣ** и **е** в некнижных текстах. Недостаточно опытные писцы в этих правилах путались, что давало тот же результат. Интересно отметить, что ситуация должна была измениться, когда в ряде диалектов Северо-Запада [ê] перед мягкой согласной перешел в /i/. По мере того, как этот переход начинает отражаться в бытовой письменности, в ней убывает число грамот со смешением **ѣ** и **е** (Зализняк 2004а, 25–27).

**6. 6. Рефлексы \*er в межконсонантной позиции.** У южных славян \*er дает неполногласные рефлексы типа *плѣнѣ*, *брѣгѣ*; у восточных славян – полногласные рефлексы типа *полонѣ*, *берегѣ*. Разная орфографическая реализа-

ция неполногласных форм данного типа в восточнославянском правописании (и в русском правописании до 1918 г.) восходит в конечном счете к процессу адаптации южнославянских форм на восточнославянской почве. В результате этого процесса в словах типа *брѣгъ, прѣдъ, врѣмя* и т. д. **ѣ** замещался на **ѥ**, а в рефlekсах сочетаний с *l* это замещение подобной регулярно не отличалось, что и обусловило сохранение написания *плѣнь*. Соответственно возникает вопрос, чем вызвано подобное отсутствие параллелизма.

Гипотезы, высказывавшиеся в этой связи, немногочисленны. Большинство авторов, описывавших данное явление, ограничивались указанием на то, что в формах с рефlekсами *\*er* происходит замещение **ѣ** на **ѥ**, что во многих рукописях по крайней мере с XII в. оно имеет систематический характер; попутно они иногда замечали, что в формах с рефlekсами *\*el* подобного последовательного замещения не происходит. Можно полагать, что вопрос об отсутствии параллелизма не вставал перед ними прежде всего потому, что явления эти несопоставимы количественно: рефlekсы *\*el* встречаются в полудюжине не слишком употребительных слов (*плѣнь, шлѣмъ, члѣнь, млѣко, плѣва, влѣщи, облѣчи, тлѣщи*), тогда как рефlekсы *\*er* обнаруживаются во множестве, прежде всего в весьма распространенных в церковных текстах образованиях с приставкой *пре-*, равно как в предлогах *предъ* и *чрезъ*; ряд корней с этими рефlekсами (*брег-, врем-*) также употребляется относительно часто.

Подробный анализ всех типов смещения **ѣ** и **ѥ** дал Н. Н. Дурново, который исходил из наблюдения, что «употребление **ѥ** вместо **ѣ** в памятниках русского письма сводится или к единичным примерам при огромном количестве случаев правильного написания, или к определенным категориям» (Дурново, VI, 39/2000, 468). К таким категориям Дурново относит, разделяя их по отдельным рубрикам, «неполногласные сочетания с **рѣ**» и «неполногласные сочетания с **лѣ**» (там же, 40/469–479). Среди обследованных им древнейших восточнославянских рукописей в сочетаниях первой категории «написания с **ѥ** отсутствуют только в ОЕ, ГБ, ЧПс, ТЕ1 и У330; очень редко пишется **ѥ** при обычном **ѣ** в ТЛ, [...] И73<sup>1</sup>, КИ, ПА, УС<sup>2</sup>» (там же, 40/469). Во второй категории («неполногласные сочетания с **лѣ**») «[в] большей части памятников в этом положении **ѥ** не пишется, а пишется правильно **ѣ**; таковы ОЕ, ТЛ, И 73<sup>1</sup>, И 73<sup>2</sup>, ГБ, СПт, ПА, АЕ<sup>1</sup>, У 142, ГЕ, ТЕ1, У 330, УС<sup>2</sup>; в единичных случаях написано **ѥ** в ЧПс, [...] КИ: *плѣнѣник* 213об. (ср. *плѣна* 109об., *плѣвными* 59об., *млѣка* 84об., *млѣко* 127), М 95: *плѣвелы, плѣненик*, М 96: *овлѣкоста сѣ* (при 7 случаях с **ѣ**); чаще **ѥ** в М 97: *влѣкома bis, привлѣче, звлѣче*, при более частом **ѣ**, и ЕК, где **ѥ** в этом положении 5 раз, случаев с **ѣ** не менее 30; обычно **ѥ** при редком **ѣ** в АЕ<sup>2</sup>, МЕ, УС<sup>1</sup>» (там же, 40–41/470). Дурново находит в этих данных основание для того, чтобы противопоставить две рассматриваемые категории, замечая, что «[в] ряде рукописей, знающих **ѥ** вместо **ѣ** в неполногласных сочетаниях после **р**, в таких же сочетаниях после **л** [...] пишется правильно **ѣ**. Таковы ГБ, ТЛ, И 73<sup>1</sup>, И 73<sup>2</sup>, ПА, СПт, АЕ<sup>1</sup>, ГЕ, УС<sup>2</sup>» (там же, 51/480–481).

Дурново обследовал исключительно древнейшие восточнославянские рукописи – рукописи XI–XII вв., – причем рассматривал их, игнорируя отдельные детали (например, статистические соотношения) и выделяя пре-

жде всего те принципиальные моменты, которые указывали на пути трансформации южнославянских правописных систем на восточнославянской почве. Если, однако же, выйти за рамки древнейшего периода и учесть ряд частных особенностей, картина становится существенно яснее. Процесс адаптации южнославянских написаний по признаку *rb/re* в полногласных сочетаниях развивался достаточно медленно, существенно медленнее, например, чем в случае таких признаков, как *-тъ/-ть* в окончаниях 3 лица презенса или написание редуцированных с плавными в примерах типа *дрѣжава/държава~държава* (см. выше, ср.: Живов 1987, 63). Поэтому в ранних памятниках находим большую вариативность, позволяющую увидеть лишь направление развития восточнославянской орфографической практики, но не окончательную модель, характеризующую восточнославянскую правописную норму.

Выделяя вехи этого процесса, начну, впрочем, с древнейших памятников, уже обследованных Дурново. Во втором почерке Архангельского евангелия 1092 г. (АЕ<sup>2</sup> – см. издание: Арх. ев.) процесс адаптации по интересующему нас признаку продвинулся весьма далеко, дальше, чем в большинстве рукописей рубежа XI/XII вв. В неполногласных сочетаниях с *rb* ять практически не пишется, на 265 написаний с *re* приходится всего 3 написания с *rb*: *прѣречеѥ* 147<sup>16</sup>, *прѣтѣше* 110об.<sup>17</sup>, 118об.<sup>7</sup>; это составляет чуть более 1% (1,12%). Неполногласные сочетания с *lb* статистически куда менее показательны, и такая ситуация неизбежна, поскольку, как уже говорилось, основны с этими сочетаниями немногочисленны. Дурново перечисляет АЕ<sup>2</sup> в ряду рукописей, в которых «обычно *e* при редком *ѣ*», и формально это верно: лишь в одном случае *ѣ* оказывается не замененным на *e*: *плѣньникомъ* 123об.<sup>6</sup>; в 13 случаях такая замена имеет место. Тем не менее стоит заметить, что это замена происходит в других корнях: *облекоша* (7 раз), *плевъ* (1 раз), *сѣвлекоша* (5 раз), причем этот набор естественно ограничен, а общая пропорция написаний с *ѣ* выше, чем в случае с *rb/re* – 7,14%<sup>401</sup>.

Продвинемся теперь приблизительно на столетие вперед и обратимся к первому почерку Успенского сборника (УС<sup>1</sup> – см.: Усп. сб.) второй половины XII в. Дурново упоминает и его в числе тех рукописей, в которых в неполногласных сочетаниях с *lb* «обычно *e* при редком *ѣ*», однако такая характеристика мало что говорит об орфографической системе данной рукописи. Существенно, что в УС<sup>1</sup> в отличие от многих памятников того же времени *ѣ* в неполногласных сочетаниях с *rb* полностью отсутствует, т. е. замена *ѣ* на *e* в

<sup>401</sup> Первый почерк Архангельского евангелия (АЕ<sup>1</sup>), который Дурново относит к числу рукописей с заменой *ѣ* на *e* в неполногласных сочетаниях с *rb*, но не с *lb*, на самом деле куда менее показателен. Прежде всего, замена *ѣ* на *e* имеет здесь место и в сочетаниях с *lb*, правда, всего в одном случае: *облечеѥ сѧ* 14<sup>17-18</sup>; в пяти случаях находим написания *lb*, т. е. пропорция написаний с *e* в неполногласных сочетаниях с *lb* составляет 16,67%. Что же касается неполногласных сочетаний с *rb*, то пропорция написаний с *e* составляет здесь 10,22% (14 из 137), и поэтому различие в трактовке сочетаний с *rb* и с *lb*, столь значимое для последующего развития (см. ниже), в этом случае еще никак не проявляется. Таким образом, в перспективе последующей нормализации именно АЕ<sup>2</sup>, а не АЕ<sup>1</sup> может рассматриваться как начальная веха.



этих сочетаниях проведена с полной последовательностью (материал достаточен для выводов, замена наблюдается в 295 случаях). На фоне этой последовательной адаптации правописание в неполногласных сочетаниях с *лѣ* выделяется вполне рельефно: *ле* пишется в 28 случаях, а *лѣ* – в 7 случаях, т. е. написания с *лѣ* составляют 20%. И здесь, таким образом, отчетливо видно несходство в развитии неполногласных сочетаний с *лѣ* и с *рѣ*. Еще существеннее, пожалуй, что намечается определенное лексическое распределение написаний с *лѣ* и с *ле*. В наибольшей степени к замене *ѣ* на *е* склонны образования с корнями *влѣщ-* и *облѣщ-* (19 замен на один случай сохранения), в наименьшей степени – образования с корнем *плѣн-* (5 замен при 4 случаях сохранения), тогда как образования с корнем *млѣк-* занимают промежуточное положение.

Следующий этап в истории адаптации интересующих нас неполногласных сочетаний может быть проиллюстрирован Сборником толкований XIII в. РНБ Q. п. I. 18 (см. Сводный каталог 1984, № 309; ср. публикацию: Вантубска 1987). В отношении адаптации в неполногласных сочетаниях с *рѣ* данная рукопись, понятно, не идет далее УС<sup>1</sup>, в котором предел уже достигнут; напротив, адаптация проведена здесь с меньшей последовательностью, что характеризует, надо думать, не период написания рукописи, а правописные навыки писца, работавшего в разбираемом сейчас аспекте с меньшей тщательностью, чем писец УС<sup>1</sup>. Всего в рукописи встречается 503 неполногласных сочетания с *рѣ*; из них 489 пишется с *ре* и лишь 14 с *рѣ*, что составляет 2,78% от общего количества. Количество написаний с *рѣ* сопоставимо с количеством написаний с *ере*, т. е. случаев полногласия, представляющих собой явный дефект в орфографической практике писца. В неполногласных сочетаниях с *лѣ* иная картина. Замена *ѣ* на *е* явно не имеет здесь нормативного характера. На 19 написаний с *ле* приходится 12 написаний с *лѣ*, т. е. написания с *ѣ* составляют 38,71%. Как и в УС<sup>1</sup>, в разбираемой рукописи написания с *ле* и с *лѣ* лексически распределены, причем то распределение, которое лишь намечалось в УС<sup>1</sup>, в Q. п. I. 18 приобретает вполне фиксированный характер, характер сложившегося узуса. В корнях *влѣщ-* и *облѣщ-* закрепляется написание с *е* (17 примеров), в корне *плѣн-* утверждается написание с *ѣ* (9 примеров), а в менее употребительном корне *млѣк-* сохраняется вариативность.

Подходящей иллюстрацией финального этапа этого развития может послужить здесь коломенская Палея 1406 г., написанная в самом конце рассматриваемого нами периода (см. издание: Палея толковая 1892–1896): она вполне соответствует правописному узусу данной эпохи для памятников, не обнаруживающих следов второго южнославянского влияния. Понятно, что в рефlekсах неполногласного *рѣ* последовательно пишется *е*: на сотни примеров с *е* приходится лишь один пример с *ѣ* (что составляет доли процента), но и он может рассматриваться как случайная ошибка писца, а не как реликт более старого узуса. В рефlekсах неполногласного *лѣ* находим то же лексическое распределение написаний с *ѣ* и с *е*, что и в анализировавшихся выше рукописях. В корнях *влѣщ-* и *облѣщ-* закрепляется написание с *е* (9 примеров), так же обстоит дело с корнем *млѣк-* (8 примеров), в корне *плѣн-* написание с *ѣ* (4 примера) варьирует с написанием с *е* (16 примеров). Хотя пра-

вописание рукописи не отличается особой тщательностью, распределение написаний с *ѣ* и с *е* в основном следует сложившемуся узусу. Сформировавшаяся правописная традиция обнаруживается здесь вполне явно, и стоит отметить, что позднейшая орфографическая норма (XVIII–XIX вв.: *влеку*, *облеку*, *шлемъ*, но *плѣнь*) в значительной степени опирается на эту традицию.

Итак, в процессе формирования норм книжного правописания в восточнославянской письменности XI–XIV вв. неполногласные сочетания с *рѣ* и *лѣ* переживают неодинаковые преобразования: в сочетаниях с *рѣ* *ѣ* последовательно заменяется на *е*, тогда как в сочетаниях с *лѣ* такое замещение нормативным не становится, а написания с *ле* и с *лѣ* оказываются распределены лексически, причем это распределение образует хотя и не строгую, но достаточно устойчивую традицию. Вопрос в том, что обусловило такое различие в развитии.

Как говорилось выше, реализации противопоставления *ѣ* и *е* в книжном и разговорном произношении могли не совпадать, и поэтому *ѣ* и *е* писались «по правилам», учитывая разговорное произношение, типа «пиши *ѣ* там, где в разговорном произношении слышится /ѣ/, пиши *е* там, где в разговорном произношении слышится /е/». В приложении к неполногласным сочетаниям с *рѣ* подобные правила закономерно давали написание *ре*: выясняя, какую гласную нужно писать после *р* в слове *дрѣво*, писец обращался к своему произношению полногласного коррелята, т. е. *дерево*, и обнаруживал, что писать следует *е*. Понятно, что такое написание «по правилам» вступало в конфликт с орфографией южнославянских оригиналов и разрешение этого конфликта должно было растянуться на достаточно длительный период. Растянута преобразования находит здесь естественное объяснение. Как и в других случаях, конфликт был разрешен в пользу написания «по правилам», но процесс был постепенным, так что написания, восходящие к южнославянским протограммам, могли окказионально появляться даже в совсем поздних рукописях. Именно эту картину мы и наблюдали в приведенных выше материалах.

В этом контексте становится понятным и разнообразие узуса, отражающегося в разных рукописях одного времени. Правописание писца зависит от степени его книжной выучки, от того, насколько он уверен в себе и склонен следовать правилам, а не доверяться написаниям копируемого им оригинала. Так, скажем, писцы Остромирова евангелия себе не доверяли и старались не отступать от своего антиграфа; в результате они сохраняют *ѣ* во всех неполногласных сочетаниях с *рѣ*. Писцы Архангельского евангелия следовали разным установкам. Как отмечает М. А. Соколова, второй писец «не так внимателен к оригиналу и, не копируя его непрерывно, он, больше, чем первый писец, вносит в свое письмо черт живого говора <...> У первого писца мы не находим ни такого умения и любви к делу, ни той начитанности, привычки обращаться с церковным текстом, которые так выгодно отличаются второго <...> Вот почему он относится с большим вниманием к оригиналу, который копирует. Поэтому он допускает значительно меньше отклонений от него» (Соколова 1930, 95–96). Различие в установках сказывается во многих особенностях правописания двух писцов и, в частности, в их трактовке неполногласных сочетаний с *рѣ*: как мы видели, второй писец

заменяет в них **ѣ** на **е** в 99% случаев, тогда как первый писец – лишь в 10%. Сходным образом объясняются различия в правописании первого и второго писца Успенского сборника.

Иначе складывалась судьба неполногласных сочетаний с **лѣ**, и это вполне понятно. Они тоже требовали проверки, но проверять их было нечем. Писец мог обратиться к своему разговорному произношению, выбирая между **ѣ** и **е** в словах **млѣко** и **плѣнь**, но там он находил только *молоко* и *полонъ*, так что его запрос оставался без ответа. Естественным результатом такого безмолвия была вариативность в написании **ѣ** и **е** в формах данного типа, та вариативность, которую мы наблюдаем в ранних памятниках восточнославянского происхождения, например в АЕ<sup>1</sup> или УС<sup>1</sup>. В дальнейшем, однако, правописная норма и здесь стабилизируется, хотя стабилизация эта основывается, естественно, на иных принципах, чем в случае неполногласных сочетаний с **рѣ**. Она менее последовательна, поскольку не базируется на правиле, и привязана к лексическим единицам, поскольку больше ее привязать не к чему. Отсутствие параллелизма в развитии неполногласных сочетаний с **рѣ** и неполногласных сочетаний с **лѣ** выглядит в этой перспективе само собой разумеющимся. С полной ясностью в этом случае выступает преемственность правописного узуса, в ряде черт (таких, как разобранная выше) изменяющегося от поколения к поколению в течение столетий, стремящегося к упорядочению, но допускающего вариативность, реализующего тенденции развития не в реформах (как во время второго южнославянского влияния – см. ниже), а в статистических сдвигах, в кумулятивных эффектах, достигаемых с постепенностью, характерной для эволюционных процессов.

## 7. Относительная хронология правописных систем и тип текста

Выше мы в нескольких случаях рассматривали рукописи, различные писцы которых придерживались разных правописных систем. Так, в частности, обстоит дело в Изборнике 1073 г., Архангельском евангелии 1092 г. или в Успенском сборнике (см. выше). Такие примеры могут быть приведены и в большем количестве. Дело, однако, не в их числе, а в той теоретической задаче, которую они ставят перед историком восточнославянской письменности. Сколь различные правописные системы могут сосуществовать в рамках одной рукописи и тем самым в рамках одного временного интервала? Существуют ли ограничения на подобные различия и – в случае утвердительного ответа – каков источник таких ограничений? Можно ли говорить об общем ядре различных орфографических систем одного периода, которое в этом случае и предстает как норма, и о разнообразии в апроприации этого ядра разными книжниками, создающем сферу вариативности?

Эти вопросы легче поставить, чем на них ответить, поскольку ответ требует сплошного обследования рукописей XI–XIII вв., в то время как на сегодняшний день, несмотря на существенные достижения последних лет, большая их часть остается неизученной. Ответы, таким образом, могут иметь лишь предварительный характер. Тем не менее ряд закономерностей может быть установлен. Сколь бы тривиальными они ни выглядели, они

создают теоретические рамки, в которых целесообразно обсуждать поставленные задачи. Они могут служить основой для типологии рукописей (или типологии писцов) и определяют координаты, в которых содержательным образом описывается динамика нормы. Закономерности состоят в сочетаемости отдельных признаков орфографических систем. Наличие одних признаков предполагает наличие других и вместе с тем исключает наличие третьих. Эти закономерности действуют прежде всего в пределах одного почерка, но они могут быть экстраполированы и на рукопись в целом, т. е. задавать ограничения на сочетание отдельных орфографических систем в рамках одной рукописи. До некоторой степени эти же закономерности могут быть приложены и к рукописям, созданным в один период, указывая на то, какие орфографические системы могут сосуществовать в пределах одного отрезка времени. В некоторых случаях они могут быть соотнесены с типами текста, поскольку стремление к нормативности, архаизации или инновативности может зависеть от коммуникативных задач текста. Различия, характеризующие один период в отношении к другому, как раз и раскрывают динамику нормы.

Для уяснения предлагаемой здесь теоретической схемы проиллюстрирую сказанное, взяв лишь ограниченное число признаков и указывая лишь на наиболее очевидные соотношения, рассмотренные выше. Для раннего периода (XI – начало XII в.) можно обратиться к следующим признакам:

1. Окончание **-тъ** в третьем лице презенса.
2. Воспроизведение этимологически правильного употребления юсов (не более 30% отклонений).
3. Флексии тв. ед. **-омь, -емь** наряду с флексиями **-ъмь, -ьмь**.
4. Написание рефлексов редуцированных с плавным в виде «плавный + еры» преимущественно перед написаниями с ерами перед плавным или с обеих сторон плавного.
5. Написание **жд** преимущественно перед **ж** в рефлексах *\*dj*.
6. Последовательное обозначение палатальных сонорных (с помощью особых букв, или надстрочного знака, или написания йотированных гласных после сонорного).
7. Написание **рѣ** преимущественно перед **рѣ** в рефлексах *\*CerC*.

Закономерности могут быть представлены в виде таблицы, в которой указывается сочетаемость в пределах одного почерка наличия (+) или отсутствия (–) данного признака с наличием или отсутствием каждого другого признака. Обязательность сочетания обозначается знаком «+», невозможность – знаком «–», в тех случаях, когда сочетание необязательно, но возможно, ставится знак «+/-», в тех случаях, когда нет уверенности в том, как соотносятся два признака, ставится знак вопроса.

	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
-1	—	+	+	+	+	+	+
-2	—	—	+	+	+	+/-	+
-3	—	—	—	+?	+?	+/-	+
-4	—	—	—?	—	+/-	+/-	+
-5	—	—	—?	+/-	—	+/-	+
-6	—	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+
-7	—	—	—	—	—	+/-	—

Сделаю выборочные пояснения к данной таблице, демонстрирующие ее устройство. Окончание **-тъ** в третьем лице презенса встречается, как мы видели, лишь в небольшом числе древнейших памятников, наиболее тщательно воспроизводящих написание южнославянских протографов. Понятно, что в памятниках, демонстрирующих **-тъ**, присутствуют и все другие черты, восходящие к южнославянским протографам, что и отражено в плюсах, стоящих в первой строке<sup>402</sup>. Для весьма ограниченного круга памятников характерно и стремление к употреблению юсов в соответствии с теми позициями, которые они занимают в южнославянских протографах (что и обозначается традиционно как стремление к «этимологически правильному» написанию, хотя этимология, очевидным образом, была для славянских книжников безразлична). К ним относится ОЕ, Туровские листки и Тринадцать слов Григория Богослова (Дурново 2000, 407), а также ряд отрывков (Слуцкая псалтырь, Житие Кондрата, Житие Феклы – Тот 1985, 75–93). Как можно видеть, и эта черта обладает большой предсказующей силой. В рукописях, обладающих этой чертой, появляются и другие «южнославянские» характеристики, кроме окончания **-тъ** в третьем лице презенса (отсутствует в Туровских листках и у Григория Богослова); неопределенной остается лишь ситуация с обозначением палатальных сонорных (они никак не обозначаются в Житии Кондрата – Тот 1985, 155–156).

Вопрос о том, как соотносится с другими признаками наличие флексий тв. ед. **-омь**, **-ѣмь**, требует дальнейшего исследования и уточнения. Оказионально эти флексии употребляются, как мы видели, едва ли не в большин-

<sup>402</sup> Не совсем ясно, как соотносится эта черта с обозначением палатальности сонорных. В ОЕ палатальность обозначается – преимущественно йотацией последующего гласного и в нескольких случаях крючком при **л** (Козловский 1885–1895, 20). В Слуцкой псалтыри для этой цели, возможно, используется надстрочный знак (Тот 1982, 161), хотя достоверные данные отсутствуют.

стве памятников XI – первой половины XII в., вливаясь в конце концов в массу написаний с прояснившимися редуцированными. Существенную пропорцию в отношении к написаниям с *-ѣмь, -ьмь* они составляют, однако, лишь в относительно небольшом числе памятников; уже в ОЕ их пропорция менее 10% (Дурново 2000, 664), хотя имеются рукописи, в которых флексии *-омь, -емь* доминируют (например, Путятина минея или Пандекты Антиоха). Какова значимая пропорция написаний с *-омь, -емь*, подлежит уточнению; только при этом условии можно будет осмысленно говорить о соотношении данного признака с такими чертами, как написание рефлексов редуцированных с плавными и *жд* в рефлексах *\*dj*. Что касается первых двух черт, то здесь ситуация ясна: в рукописи может быть существенная пропорция написаний с *-омь, -емь*, при том что нет ни *-тъ* в презенсе, ни этимологически правильного написания юсов. Ясна и ситуация с двумя последними признаками: обозначение палатальных сонорных прямо с характером окончаний в тв. ед. не связано, тогда как существенная пропорция написаний с *-омь, -емь* соотнесена с доминирующим употреблением *рѣ* в рефлексах *\*CerC*.

Сходные проблемы возникают и в отношении написания рефлексов редуцированных с плавным. Преимущественное написание еров после плавного может иметь место и в рукописях, не знающих ни презенса на *-тъ*, ни этимологически правильного употребления юсов. Соотношение с употреблением тв. ед. на *-омь, -емь* и с пропорцией *жд* в рефлексах *\*dj* требует дополнительного исследования. Последнее соотношение, как кажется, не обладает иерархической структурой. Есть рукописи, такие, как И1073<sup>1</sup> или ЧП, в которых доминируют «восточнославянские» написания еров с плавными, тогда как пропорция *ж* незначительна (Лант 1949, 114). Есть, однако же, и рукописи с противоположным соотношением, например, М1097, в которой у первого писца преобладают «южнославянские» написания с ерами после плавного, тогда как написания с *ж* в рефлексах *\*dj* встречаются существенно чаще, чем написания с *жд*. Прямой связи между написаниями рефлексов редуцированных с плавными и обозначением палатальных сонорных не просматривается. Что же касается употребления *рѣ* в рефлексах *\*CerC*, то и в данном случае высокая пропорция «южнославянских» написаний с ерами после плавного индуцирует и высокую пропорцию написаний с *рѣ*.

Соотношение признака преимущественного написания *жд* в рефлексах *\*dj* с другими признаками очевидно из сказанного выше. Ясна и ситуация с обозначениями палатальных сонорных: орфографические системы, предусматривающие такие обозначения и не предусматривающие их, сосуществуют и их реализация не зависит от реализации других признаков (за исключением, возможно, лишь *-тъ* в презенсе, предполагающего особо выраженное следование южнославянской традиции). Употребление *рѣ* в рефлексах *\*CerC* удерживается в восточнославянских рукописях дольше, чем какая-либо другая черта южнославянской традиции, не находящая опоры в живом языке пишущих. Соответственно, наличие всех прочих рассматриваемых здесь «южнославянских» написаний (признаки 1–5) предопределяет реализацию этого признака.

Изложенная выше схема соотношения различных параметров правописания представляет собой лишь небольшой и неполный фрагмент описания

разнообразия орфографических систем, представленных в рукописях одного периода. Можно было бы пополнить число признаков и можно было бы раздвинуть хронологические рамки. Однако и в виде наброска эта схема показывает, сколь много зависит от индивидуального выбора писца, и вместе с тем проясняет те ограничения, которые накладываются на идиосинкразии книжника.

Понятно, что при изменении хронологических параметров в анализ оказываются вовлечены другие признаки. Все признаки, конечно, могут быть выстроены в единый ряд и характер их соотношения представлен в единой таблице; такое представление могло бы продемонстрировать динамику правописной практики на всем протяжении XI–XIV вв. (до второго южнославянского влияния), но было бы лишено наглядности. Воздерживаясь в силу этого от умножения столбцов и строк, остановлюсь кратко на том, как могла бы выглядеть та часть таблицы, которая описывала бы правописание XII – начала XIII в.

Для этого периода большинство признаков, рассмотренных выше, перестает быть релевантным, поскольку в этот период больше не появляется рукописей с окончанием **-тъ** в третьем лице презенса, воспроизведением этимологически правильного употребления юсов или преимущественным написанием рефлексов редуцированных с плавным в виде «плавный + еры». В начале XII в. встречаются еще рукописи с преимущественным написанием **жд** в рефлексах *\*dj*. Рукописи с флексиями тв. ед. **-омь**, **-емь** появляются, но эти флексии оказываются (например, в Добриловом евангелии) элементом не архаичной, а новой правописной практики, развивающейся в связи с падением и прояснением редуцированных. С этим судьбоносным процессом связано постепенное преобразование орфографических систем, в которых сначала «фонетические» правила замещаются «морфологическими», а затем происходит перестройка всего механизма употребления еров.

Для периода XII – начала XIII в. можно было бы рассматривать следующий набор признаков (не претендую на то, чтобы он был исчерпывающим): (1) употребляется буква **ж**; (2) имеется существенная пропорция (конкретные параметры подлежат уточнению) написаний с **жд** в рефлексах *\*dj*; (3) последовательно обозначаются палатальные сонорные (с помощью особых букв, или надстрочного знака, или написания йотированных гласных после сонорного); (4) имеется существенная пропорция (конкретные параметры подлежат уточнению) написаний с **рѣ** в рефлексах *\*CerC*; (5) большая часть слабых редуцированных в корнях не обозначается; (6) большая часть слабых редуцированных в суффиксах (на стыке суффикса и основы) не обозначается; (7) имеются неединичные случаи необозначенных (опущенных) слабых редуцированных в предлогах и приставках; (8) на месте (бывших) сильных редуцированных в корнях в большинстве случаев пишется **о**, **ѣ**; (9) на месте (бывших) сильных редуцированных в суффиксах и окончаниях в большинстве случаев пишется **о**, **ѣ**; (10) на месте редуцированных в рефлексах редуцированного с плавным в большинстве случаев пишется **о**, **ѣ**; (11) имеются неединичные случаи написания **о**, **ѣ** на месте редуцированных в предлогах и приставках; (12) на месте **ѣ** в новых закрытых слогах в большинстве случаев пишется **ѣ** (новый **ѣ**).

Я оставляю будущему исследователю попытки разобраться в том, как для этих признаков могла бы быть заполнена таблица, аналогичная приведенной выше. Это явно непростая проблема, требующая объемных и кропотливых исследований, статистических подсчетов<sup>403</sup> и, видимо, усовершенствования теоретического аппарата, который должен был бы предусмотреть возможность соотнесения статистических значений отдельных признаков (в процентах, а не в общих характеристиках типа «большой части» или «неединичных случаев»). Именно в рамках подобного построения можно увидеть, где писец следует обычной для его времени практике, а где он уникален в своем индивидуальном выборе. Так, например, именно на фоне общей картины становится ясна необычность правописной манеры писца Симоновской псалтыри последней четверти XIII в. (см. издание: Амфилохий 1873–1878; лингвистическое описание прискорбным образом отсутствует). Он окказионально употребляет **ж**, в рефлексах *\*CerC* чаще пишет **рѣ**, нежели **ре**, но при этом последовательно ставит **ж** в рефлексах *\*dj* и по большей части опускает еры в соответствии со слабыми редуцированными на стыке основы и суффикса и в корнях (**застоупникъ** Пс. 41: 10, **помощникъ** 45: 2, **отци** 43: 2, **овца** 43: 12).

Предлагаемое построение задает типологию рукописей (писцов), которая обладает определенной предсказательной силой в отношении того, какие правописные практики могут совмещаться в рамках одной рукописи. Как мы видели, навыки писцов в этих случаях могут различаться по ряду существенных признаков, однако же они (естественно, при условии одновременной работы писцов) всегда, насколько мне известно, принадлежат к близким (в терминах предлагаемой классификации) орфографическим типам. Нет, скажем, таких рукописей, в которых один писец стремился воспроизвести этимологически правильное написание юсов, а другой писал бы **ж** преимущественно перед **жд** в рефлексах *\*dj*.

Важно отметить, что для орфографических систем, сосуществующих в один исторический период, предсказательная сила рассматриваемой классификации существенно меньше. Иными словами, в один период могут существовать системы, типологически весьма несходные. Нормативное ядро для каждого данного периода определяется лишь немногими общими признаками; оно лишь частично ограничивает разнообразие сосуществующих орфографических систем. Именно поэтому для любого периода оказывается возможным говорить об «архаически» написанных рукописях и рукописях «инновативного» письма, имея в виду не хронологию (поскольку речь идет о памятниках одного периода), а типологию, поскольку эта типология предполагает определенную псевдохронологическую шкалу инновативности.

На этой шкале могут быть расположены тексты разных типов, иллюстрирующие связь правописной практики с регистровыми особенностями памятника. Именно так можно попробовать объяснить большую архаичность Успенского сборника второй половины XII в. в сопоставлении с рядом еван-

<sup>403</sup> Ценные, хотя и не всегда адекватно интерпретируемые статистические данные о написании еров в рукописях XII в. можно найти в работах О. В. Малковой – Малкова 1966; Малкова 1987а; Малкова 1987б.



гельских текстов того же периода, которым присуща бóльшая нормативность. Возможно, бóльшая инновативность первой части Новгородской первой летописи, отражающей узус середины XIII в., в сравнении с рукописями евангелий или псалтырей этого же периода может объясняться маргинальностью этого текста для церковно-книжной традиции и отсутствием в предыстории этого текста какого-либо южнославянского протографа. Такие связи, конечно, не носят жесткого характера, но тем не менее указывают на то, как выбор орфографического узуса соотносится с выбором других элементов лингвистической стратегии, связанных с регистровыми корреляциями.

## ГЛАВА VII. НОРМА И ВАРИАТИВНОСТЬ В МОРФОЛОГИИ. РЕГИСТРЫ И КОНФИГУРАЦИИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ

### 1. Общие соображения

Как уже неоднократно говорилось, различия между регистрами письменного языка задаются в первую очередь синтаксическими стратегиями. Вариантные элементы других языковых уровней, способные в принципе противопоставлять разные письменные традиции, оказываются до определенной степени «привязанными» к основной синтаксической дифференциации, хотя эта привязка не имеет характера жесткой зависимости. Существенно иметь в виду при этом, что та нежесткая зависимость, которую мы можем наблюдать, анализируя средневековые тексты, в правописании и морфологии реализуется неодинаковым образом. Как мы видели выше, в правописании имеет место достаточно последовательный процесс нормализации (т. е. отбора и классификации правописных вариантов), подчиняющий себе в первую очередь регистр стандартного церковнославянского и от него – в силу существования единых навыков книжного письма – иррадиирующий в гибридный и деловой регистры. Дифференциация регистров, в сущности, обусловлена интенсивностью этой иррадиации, в разной мере и по-разному захватывающей гибридный и деловой регистры и не затрагивающей регистр бытовой письменности. В области морфологических вариантов эта зависимость носит иной, в ряде аспектов более сложный характер.

Как отмечает А. А. Гиппиус, стремясь определить границы нормы книжного (церковнославянского) языка древней Руси, «к XIII–XIV вв., когда орфографическая норма оказывается уже унифицированной по ряду важнейших признаков, морфологическая вариативность, обладающая большей самостоятельностью, не только не ослабевает, но, напротив, усиливается за счет появления новых значимых оппозиций в результате собственно восточнославянского языкового развития. Вариативность морфологических форм является, следовательно, не преходящим этапом в истории образования русского извода, но принципиальным свойством самой этой нормы» (Гиппиус 1989, 95). Не в меньшей степени вариативность морфологических форм свойственна и некнижным восточнославянским текстам, т. е. она может рас-

смастраваться как характерная черта восточнославянской и русской средневековой письменности во всех ее разновидностях. А. А. Гиппиус говорит в этой связи о «функциональном объединении <...> с одной стороны, восточнославянских, диалектных и “новых”, а с другой – южнославянских, общерусских и “старых”» вариантов; он отказывается приписывать им заранее какие-либо системные характеристики, сочетая их в ряды вариантов, вполне условно характеризуемые в рамках ряда как «левые» и «правые» (там же, 99; см. выше, § III-8). Это не означает, однако, что во всех разновидностях реализуются те же самые наборы вариантов или что они повсеместно используются одинаковым образом.

Структуралистская традиция в течение нескольких десятилетий причала нас к тому, что уровни языка устроены если и не совсем одинаково, то во всяком случае похоже. Отдельные исследователи (например, Е. Курилович в работе «La notion de l'isomorphisme» – Курилович 1960, 16–26) говорили даже об изоморфизме уровней языка. Эта страсть к тождеству ослепляла и не позволяла сосредоточиться на кардинальном различии уровней в функционировании языка, на том, что зоны ответственности каждого из уровней в языковой деятельности в целом достаточно дифференцированы. Морфология (словоизменение) оказывается в этой перспективе весьма специфическим уровнем, его можно было бы определить как – в сущности – коммуникативно бессмысленный. Морфология представляет собой как бы внутренность языка, те винтики и шестеренки языкового механизма, которые, вообще говоря, совершенно безразличны потребителю языкового продукта. Морфология – это технология коммуникативной деятельности, задающая «технологическую структурность» (в смысле Бодрияра – Бодриар 1995, 4–5) языка как средства коммуникации и отделенная от его «функциональной структурности». В описании коммуникативного акта морфология присутствует столь же призрачно, как разбор двигателя внутреннего сгорания в рассказе об автомобильном путешествии.

Никакого специального коммуникативного задания у морфологии нет. Речевая деятельность не может обойтись без фонетики (графики), без лексики, без синтаксиса, поскольку у каждого из этих уровней есть свое дело в реализации коммуникативного акта. У морфологии своего дела нет, что и удостоверяется тем фактом, что существуют языки без морфологии (аморфные). Это не означает, конечно, что морфология, когда она имеется, ничему не служит. Формальные средства, присутствующие в языке, всегда эксплуатируются говорящими для разных нужд, т. е. не в одной, а в нескольких функциях (скажем, если в языке есть особая форма императива, она обычно употребляется не только для выражения просьбы или приказа, но и для обозначения особого характера действия или определенного типа связи между предикативными единицами). Морфологические (словоизменительные) показатели маркируют статус слова в предложении (например, субъекта или объекта в предикативной конструкции, основного или вторичного предиката в полипредикативном построении и т. д.) и в силу этой своей роли создают возможность для таких синтаксических стратегий, которые при отсутствии словоизменения были бы невозможны. Имею в виду, например, иерархизацию предикативных единиц, осуществляемую с помощью

особых глагольных форм (таких, как причастия или инфинитивы), или разнообразных построения с нарушением проективности, для «декодирования» которых необходимо учитывать морфологическое согласование.

Такая связь морфологии с риторическими стратегиями говорящего существует, однако она представляется вторичной, тогда как основное задание морфологии с дискурсивными интенциями говорящего никак не связано. Так, скажем, в большинстве языков с морфологией имеется категория числа. Формы числа приписываются элементам соответствующих морфологических классов вне зависимости от того, входит или не входит в коммуникативную интенцию говорящего обозначение единственности или множественности упоминаемых им предметов (что хорошо видно из сопоставления, например, русского с китайским, в котором множественность обозначается лишь в тех случаях, когда она нужна говорящему). Прямое дополнение получает форму нужного падежа, даже если идентификация субъекта и объекта в конкретном высказывании самоочевидна и никакого эксплицитного выражения не требует. В морфологии в самом деле работает своего рода порождающий механизм, не зависящий от интенций говорящего и снабжающий производимые им сообщения непредусмотренной информацией, которая едва ли не в большинстве случаев оказывается избыточной.

Распределение морфологических вариантов по регистрам письменного языка в силу этого обусловлено прежде всего преемственностью языковых навыков, тем, что пользователь определенного регистра в основном пишет так же, как писали до него, т. е. он воспроизводит ту вариативность, которая присутствовала в текстах, сформировавших его читательский опыт (как уже говорилось, разный у разных носителей языка и соотнесенный с характером создаваемых ими текстов – см. выше, Введение-III). Никакие факторы, непосредственно связанные с коммуникативным заданием текста, на его морфологический узус не воздействуют. Именно поэтому интерференция в морфологии существенно более интенсивна, чем в синтаксисе или лексике.

Инновации, вносимые отдельными авторами письменных документов, как правило, незначительны и непреднамеренны. Они могут появляться в силу разных причин. Следует иметь в виду, что восточнославянский письменный узус с самого начала гетерогенен, и эта гетерогенность в полной мере распространяется на морфологию. Гетерогенность обусловлена тем, что в воспроизводимых текстах с теми или иными модификациями (как например, во флексиях 3 лица презенса или в тв. ед. *о*-склонения – см. выше, §§ VI-6.4.3; VI-6.4.4) воспроизводятся формы, присутствовавшие в оригиналах инославянского происхождения, тогда как в порождаемых заново бытовых некнижных текстах, ориентированных на разговорное употребление, используются формы, свойственные восточнославянским диалектам. В арсенале языковых средств, которыми располагал средневековый восточнославянский книжник, объединялись автохтонные (восточнославянские) и усвоенные извне (церковнославянские) языковые элементы, что и стимулировало вариативность. Вариативность, естественно, идет не только из этого источника. Как и в других языках, она может быть обусловлена сочетанием старого и нового, элементов одного диалекта с элементами другого

диалекта, однако изначальная гетерогенность письменного узуса существенно увеличивает потенциал вариативности.

Регистры, как уже говорилось, не представляют собой законченных автономных языковых систем, существующих независимо друг от друга. Регистры взаимопроницаемы, т. е. они обладают общим языковым материалом, а специфический языковой материал каждого из регистров может быть инкорпорирован в речевую деятельность, соответствующую другому регистру, в качестве своего рода чужого слова. Эта инкорпорация или интерференция может быть обусловлена разными моментами речевой деятельности. Употребление «чужой» морфологической формы возможно в результате недогляда, но может происходить и в силу того, что данная форма ассоциирована с тем или иным словосочетанием (характерным для одного из регистров) или с той или иной синтаксической конструкцией. Так, скажем, в словосочетании «Х с товарищи», в деловых текстах XVII в. имеющем формульный характер, форма тв. мн. *товарищи* может употребляться даже в текстах, как правило, не использующих данную форму тв. падежа (крайний результат такого рода инкорпорации хорошо известен лингвистам в петрифицированных идиомах типа *темна вода во облацех*). Существенно, что морфологический вариант, раз попав в тексты определенного регистра (по каким бы то ни было причинам), начинает в них «жить», т. е. может репродуцироваться и переосмысливаться авторами позднейших текстов того же типа.

Понятно, что морфологические варианты, присутствующие в разных сегментах языкового опыта пишущего (в частности, в его разговорном языке), будут расширять сферу своего употребления преимущественно перед вариантами, специфичными для отдельных регистров. Наличие много-регистровых вариантов в текстах, которые осваивает пишущий, служит прецедентом для дальнейшего употребления; при этом то, что в начале было окказиональным вариантом, может стать вариантом вполне употребительным, а через несколько поколений пишущих даже и господствующим. Такое развитие можно считать естественным, поскольку, наряду с вектором, уходящим в прошлое и определяющим связь речевой деятельности носителя с традициями определенного регистра, имеется и другой вектор, синхронного порядка, идущий от более динамичных частей его языкового опыта к менее динамичным частям, и именно взаимодействие этих двух составляющих определяет эволюцию узуса в каждом из регистров.

Каков бы ни был источник вариативности, она всегда обладает функциональным потенциалом, т. е. всегда возможно наделение вариантов определенной значимостью: они могут дифференцироваться семантически или стилистически, могут закрепляться в разных речевых традициях и т. д. Попав в узус определенного регистра, морфологический вариант оказывается в паре с другим вариантом; взаимоотношения в этой паре подвергаются затем переосмыслению (нередко многократному), что и определяет морфологическую динамику регистра. «Стремление дифференцировать варианты создает телеологический момент в языковой деятельности, однако этот момент существует не на уровне глобальных преобразований системы,

а на микроуровне: узуса, ограниченного определенной ситуацией и определенной традицией» (Живов и Тимберлейк 1997, 13).

Из того арсенала вариантов, который имеется в данном узусе, пишущий делает определенный выбор (бессознательный или сознательный), обусловленный его коммуникативными стратегиями. Так, скажем, когда в восточнославянских говорах наряду со старыми флексиями полных прилагательных под влиянием склонения неличных местоимений появляются новые флексии (например, род. ед. м. и ср. рода *-ого* наряду с *-аго*), в книжных памятниках новые флексии довольно часто употребляются с субстантивированными прилагательными или с прилагательными в полупредикативной функции (в конструкциях второго винительного, второго дательного или дательного самостоятельного), подчеркивая тем самым особый синтаксический статус соответствующей словоформы (Гиппиус 1993, 74–76). Такого рода дистрибутивные параметры могут затем подвергаться переосмыслению, экстраполироваться на новые категории словоформ и создавать традицию употребления, характерную для данного узуса и отличающую его от других функционально заданных узусов. Воспроизведение подобной дистрибуции указывает на преемственность, на то, что автор или переписчик более позднего текста черпал свой языковой опыт из чтения аналогичных по функции более ранних текстов и в результате освоил (адекватно или не совсем адекватно) присущее им употребление, специфическую для них конфигурацию морфологических вариантов.

Мы уже говорили о том, что письменный язык не является искусственным образованием, письменный узус относительно независим от устного, и внутри него действуют механизмы преемственности, аналогичные тем, которые работают в устном языке. Преемственность письменного узуса не означает его неизменности. Изменение письменного узуса в рамках одного регистра происходит, надо думать, таким же образом, как и изменение устного узуса: новое поколение реинтерпретирует опыт предшествующего (предшествующих). Носитель, формирующий свои языковые навыки, заново анализирует воспринимаемый им узус и, извлекая из него правила употребления, переформулирует условия их приложения – формально-грамматические, семантические или стилистические. Поскольку исходным материалом для формирования письменных навыков является не узус предшествующего поколения, а корпус известных пишущему текстов, принадлежащих определенному регистру, он реинтерпретирует именно эти данные, имея дело, таким образом, с разновременной совокупностью образцов. Переосмысляя эти образцы, пишущий приспособливает имеющуюся в них вариативность для собственных коммуникативных потребностей, задает им новые функции, причем динамика накладывающихся друг на друга переосмыслений может иметь вполне системный характер – поскольку речь идет о грамматикализации и реграматикализации.

Такого рода изменение было прослежено А. Тимберлейком в истории форм имперфекта в Лаврентьевской летописи (Тимберлейк 1997а). Рассматривая контексты, в которых имперфект употребляется с аугментом {-т(ь)} в разных сегментах летописи, Тимберлейк пришел к выводу, что динамика употребления аугмента имеет системный характер (об употребле-

нии аугмента имперфекта в различных книжных памятниках см. еще: Тимберлейк 1998; Тимберлейк 1999; Штоль 2000). От одного сегмента к другому происходит семантическая реинтерпретация контекстов, ничем по своей модели не отличающаяся от той, которая реконструируется для исторического синтаксиса разговорного языка. Как указывает исследователь, «изменение проходит поэтапно, причем инновации предшествующего этапа оказываются отправным моментом для инноваций следующей стадии процесса» (Тимберлейк 1997а).

А. Тимберлейк суммирует эту эволюцию следующим образом: «[В] качестве исходного состояния выделялся один четко определенный контекст – позиция имперфекта непосредственно перед энклитическим местоимением **и** (и аналогичными местоимениями **ѿ**, **ю**, а также, возможно, **вин.=род. нхъ**). Отсюда {-t'} распространяется на положение перед другими местоимениями, включая возвратное. Другая линия развития, основанная на том, что глагол со своими местоименными энклитиками часто стоит в начале предложения, ведет к обобщению {-t'} в позиции перед другими энклитиками, которые помещаются после начального глагола, а именно перед энклитическими частицами **бо** и **же**. <...> Сверх того, {-t'} употребляется в предложениях, содержащих частицы **бо** и **же** даже в тех случаях, когда глагол не стоит непосредственно перед частицей, если только предложение имеет модальный характер <...> Наконец, с середины XIII в. {-t'} может, как кажется, употребляться вполне свободно, преимущественно, однако, в предложениях, обнаруживающих элемент нарративной условности (зависимости) в противоположность чистому описанию» (Тимберлейк 1997а, 85).

Таким образом, исходный контекст, в котором появляется {-t'}, представляет собой положение перед энклитикой (прежде всего энклитическим местоимением **и**), начинающейся с гласной. Объясняя появление аугмента имперфекта в этом контексте, Тимберлейк предположил, что **-ть** переносится из форм презенса в условиях сандхи (как вставная согласная, позволяющая избежать зияния гласных): «[В] условиях сандхи гласный имперфектного окончания был отделен от гласного идущего за ним местоимения в лучшем случае глайдом [j], а еще правдоподобнее, здесь образовалась последовательность двух гласных. Формы наст. времени задавали образец для флексий 3 лица, оканчивающихся на {-t'}, демонстрируя чередование вариантных флексивных форм, одна из которых имела в исходе гласный, а другая – согласный. Подражая этой особенности презенса, имперфект усваивал данную часть морфемы, чтобы отделить гласный имперфектной формы от гласного следующей морфемы. Неудобная последовательность [C<sub>1</sub>V<sub>1</sub>|V<sub>2</sub>] замещалась более естественной [C<sub>1</sub>V<sub>1</sub>C<sub>2</sub>|V<sub>2</sub>], где C<sub>2</sub> = [t']» (там же, 76)<sup>404</sup>.

<sup>404</sup> С. Штоль, исследуя употребление имперфекта в славянском переводе «О пленении Иерусалима» Иосифа Флавия (Штоль 2000), предложила другое объяснение для форм имперфекта с **-ть**. Она полагает, что речь может идти не об аугменте, перенесенном из форм презенса, а о сохранении праславянских первичных окончаний, утраченных в позиции конца слова, в положении перед клитиками. Для того, как употреблялся данный морфологический вариант в восточнославянских книжных текстах, его происхождение, вообще говоря, безразлично.

В древнейшем слое летописи, ПВЛ, в этом контексте аугмент появляется более чем в половине релевантных контекстов (типа **и мнѣхуѣтъ и своего** s. a. 6476 или **и учашеть** и s. a. 6463). В этом же слое, но с существенно меньшей последовательностью аугмент появляется и перед энклитическими частицами **бо** и **же** (в контекстах типа **имашеть же и за оубьеньѣа** s. a. 6479), а также перед возвратной частицей **сѧ** (в контекстах типа **възвращашетьсѧ Къиеву** s. a. 6504). В следующем слое летописи (1111–1185 гг.) дистрибутивные свойства {-t'}, отмеченные в ПВЛ, выражены еще сильнее. Сверх того, {-t'} употребляется в дополнительных контекстах, которые можно рассматривать как переосмысление и расширение прежних. Так, {-t'} появляется не только с глаголами, предшествующими **бо** и **же**, но и вообще при наличии этих частиц в предложении, т. е. не непосредственно перед частицами (в контекстах типа **князь бо Переяславъскыи Глѣбовичъ Володимеръ въ то время башеть малъ** s. a. 6677). В следующем слое летописи этот процесс переосмысления продвигается еще дальше.

Исключительно любопытным представляется здесь то обстоятельство, что эта эволюция имеет место при том, что в разговорном языке в XII–XIII вв. имперфект, судя по всему, уже не был живой категорией (см. выше, § VI-6.1). Описанная эволюция, следовательно, совершается внутри письменного языка, и это демонстрирует автономную системность письменного узуса. Вместе с тем важно отметить, что употребление данного морфологического варианта в летописях, т. е. оригинальных текстах формирующегося гибридного регистра, существенно отличается от того, которое мы находим в стандартных церковнославянских памятниках, прежде всего в евангелиях. Нельзя сказать с определенностью, в результате какого процесса формы имперфекта с аугментом попадают в стандартные церковнославянские тексты. Одна такая форма появляется уже в Остромировом евангелии (**моуждашеть** ОЕ, 279 – см.: Дурново 2000, 298; ср. еще: Соболевский 1907, 160–161). Появляется ли она как результат окказионального действия аналогии (с формами презенса), или отражает болгарский оригинал (при том что в старославянских памятниках имперфект с аугментом не встречается, кроме единичного **запрѣщашеть** в Саввиной книге – Дурново, там же), или, что еще труднее предположить для середины XI в., перенесена из узуса оригинальных книжных текстов, остается неясным.

Как бы ни возник этот вариант, он оказывается полезным добавлением к арсеналу морфологических средств восточнославянского книжника. Уже с конца XI в. возникает особая традиция его использования, характерная почти исключительно для евангельских текстов. В этих текстах аугмент употребляется только после форм имперфекта 3 лица мн. числа и никогда после форм 3 лица ед. числа, и при этом, если отвлечься от единичных случайных отклонений, только перед местоименными энклитиками, начинающимися с гласной (**и** и **ѧ**). Это употребление вполне последовательно проведено уже в Архангельском евангелии 1092 г., ср. здесь: **«молахуѣти и оученици глѣюще»** (Ин. 4: 31 – л. 20б.); **«и назирахоуѣти и кънижъници и фарисѣи»** (Лк. 6: 7 – л. 510б.); **«и оугнѣтахуѣтъ и»** (Мк. 5: 24 – л. 1380б.) и т. д. (всего 14 примеров; примеров без аугмента в данном контексте не встречается). То же явление и с еще более выразительными числовыми показателями (завися-



щими и от объема рукописи, и от того, в какой пропорции употребляются в ней местоимения **и** и **кго**) наблюдается в Юрьевском евангелии (19 примеров), в Мстиславовом евангелии (23 примера) и в Галицком евангелии (41 пример) (Живов 2006а; Янакиева 1989)<sup>405</sup>.

Не может не обратить на себя внимания тот факт, что ни в одном из памятников формирующегося гибридного регистра (в летописях, «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия или Слове о полку Игореве) употребление аугмента никак от числового значения имперфектной формы не зависит, аугмент употребляется и с формами ед. числа на **-ше**, и с формами мн. числа на **-ху**. Именно такая ситуация и представляется естественной, как бы мы ни объясняли происхождение аугмента. Если аугмент появляется в условиях сандхи, эти условия равно относятся к формам ед. и мн. числа. Если аугмент переносится из форм презенса, то и здесь формы мн. числа ничем не противопоставлены формам ед. числа. Одним словом, ни фонетические, ни морфологические факторы не могут объяснить той разности в употреблении аугмента с формами ед. и мн. числа, которое наблюдается в евангельских текстах.

Объяснить эту аномалию можно лишь тем, что писец старался избежать того общенного звучания, которое возникает при присоединении энклитических местоимений к форме мн. числа имперфекта. Евангелие предназначалось прежде всего для литургического чтения. Постоянное повторение непристойного звуко сочетания могло показаться смутительным для благочестивого уха монашествующего книжника. Употребление аугмента позволяло избежать кощунственного соблазна. Соблазн, видимо, не возникал, когда элементы непотребного звуко сочетания были разнесены по разным тактовым группам, как, скажем, во фразе «**ако мнози кго ради идэху юден и въроваху въ іса**» (ГЕ, Ин. 12: 11 – л. 209), поскольку литургическое чтение было отчетливым и возможного в *allegro*-стиле слияния в нем не произошло, однако в случае энклитик разделение элементов было невозможно.

В силу традиций книжного чтения, расчленявшего произносимую последовательность звуков на склады, вычленение из этой последовательности отдельных фонетических сегментов было для средневекового восточно-

<sup>405</sup> Нередко, хотя и всегда непоследовательно аугмент имперфекта встречается также перед местоимениями **кго**, **кмоу**, **има**, **имъ**, ср. в Арх. ев.: «**и внахутъ кго по главѣ**» (Мф. 27: 30 – л. 107об.); в ГЕ такие примеры довольно многочисленны. В сочетаниях форм имперфекта с неэнклитическими формами местоимения **и** имеет место, видимо, своего рода промежуточный тип примыкания или колебание между двумя основными типами – энклитическим и полноударным. В ряде случаев эти формы ведут себя как энклитики, т. е. объединяются с формой имперфекта в одну тактовую группу (о возможности подобных объединений для сочетаний иного рода ср.: Зализняк 1985, 121), в ряде же случаев – как полноударные слова. Можно было бы с осторожностью предположить, что уже в ранний период рассматриваемые местоимения факультативно могли функционировать как энклитики (как это имеет место и в современном русском языке и, надо думать, характеризовало достаточно ранний период в истории болгарского и македонского языков – до тех пор пока соответствующие местоимения окончательно не превратились в энклитики), и именно этот их переходный статус отражается в непоследовательном употреблении аугмента.

славянского книжника достаточно естественным процессом: ему не нужно было обладать извращенным умом для того, чтобы услышать, как сомнительно звучит **вѣдѣху** и. О том, что членимость звуковой цепочки была актуальна для средневековых книжников, может свидетельствовать наименование пения, при котором еры произносятся как [o] и [e], *хомовым* (см. об этой традиции выше, § VI-6.4). Как поясняет Б. А. Успенский, «[x]омовым данное пение называется потому, что окончание аориста 1 л. мн. -*хомъ*, часто встречающееся в церковных текстах, звучит в этих условиях как -*хомо*. Так, ирмос седьмой песни Великого канона поется в хомовой огласовке следующим образом: 'Согрѣшихомо и беззаконовахомо, не оправдихомо предо тобою, ни соблюдахомо, ни сотворихомо якоже заповѣда намo, но не предаи же насo до конца отеческіи Боже'» (Успенский 2002, 146). Те книжники, которые не обвиняясь вычленяли *хомъ*, столь же натуральным образом вычленяли и *ху* и.

Разобранное выше употребление евангельских текстов чрезвычайно поучительно. Во-первых, мы видим, какое использование могут получать морфологические варианты. Как только в распоряжение пишущего поступают вариантные языковые элементы, он получает возможность воспользоваться появившимся у него выбором. В разных случаях и цели использования морфологических вариантов, и степень сознательности, с которой носитель языка пускает в дело имеющиеся у него возможности, могут быть различны. Так обстоит дело и с возможностями, сообщавшимися разными типами употребления аугмента имперфекта. Сами эти возможности возникли благодаря системным факторам. В ряде восточнославянских памятников они использовались, как было показано в упоминавшихся выше работах А. Тимберлейка и С. Штоль, для маркировки различных синтаксических и семантических отношений; степень интенциональности такого использования в каждом из случаев требует особого обсуждения. Писцы евангельских текстов несомненно воспользовались имевшимися у них возможностями вполне намеренно, так что мы имеем здесь дело с предельно ясным случаем сознательной манипуляции морфологическими вариантами, складывающейся в традиции в определенном типе текстов<sup>406</sup>.

---

<sup>406</sup> В недавно появившейся работе О. Б. Страховой (Страхова 2011) употребление аугмента имперфекта концептуализируется существенно иным образом и предложенное мною объяснение отвергается. Хотя автор приводит много интересных материалов, расширяющих наши знания об употреблении аугмента в книжных памятниках и его статистических параметрах, общая концепция не кажется мне убедительной. Я исходил, как мне представляется, из необходимости объяснить, почему в ряде памятников (в первую очередь евангельских) аугмент появляется в формах мн. числа и не появляется в формах ед. числа. Никакого фонетического объяснения у этого факта быть не может: и в том, и в другом случае имеются одни и те же условия сандхи (или одно и то же положение перед клитиками, если принимать гипотезу С. Штоль о сохранении праславянских окончаний). Разгадка, как я думаю, в том, что формы мн. числа дают обшечное звучание, которого книжники стремятся избежать (для этого и используется аугмент), а формы ед. числа не дают. Отсюда и определенная связь с типом текста: рассматриваемый узус свойствен прежде всего текстам, предназначенным для литургического чтения.

О. Б. Страхова предлагает иное объяснение. Согласно Страховой, употребление аугмента было нарастающим восточнославянским процессом (это само по себе возможно, о расширении контекстов употребления имперфекта говорит и Тимберлейк). Его первый этап приходится на первую половину – середину XI в. (там же, 258) и отразился в памятниках конца XI – XII в. (тех самых евангельских текстах, которые были рассмотрены и в нашей работе). В это время аугмент употребляется только в формах мн. числа и преимущественно перед энклитикой *и* (с которой Страхова необоснованно, на мой взгляд, объединяет и местоимение *ѣго*), хотя уже в этот период создаются «предпосылки для появления аугментных имперфектов перед другими падежами местоимений 3-го л. (*ѣмоу, ѣи, ѣма* и проч.)» (там же, 292). На втором этапе, отразившемся в рукописях второй половины XII в. (Выголексинский и Успенский сборники), «правила, выработанные для форм множ. числа, начали распространяться на формы ед. числа; правила, выработанные для имперфектов с энклитиками, начали распространяться на имперфекты с проклитиками» и т. д. (там же). Автор сначала говорит о переходе от форм мн. числа к формам ед. числа, а потом перечисляет те моменты расширения в употреблении аугмента, о которых писал Тимберлейк и которые недоуменных вопросов не ставят. Переход от форм мн. числа к формам ед. числа автор объясняет отдельно и, как я думаю, совершенно не убедительно; к этому объяснению я вскоре обращусь, но сначала сделаю ряд более общих замечаний.

О. Б. Страхова предполагает (хотя не пишет об этом с полной отчетливостью), что мы имеем здесь дело с органическим процессом, происходящим в языке писцов. Так, например, комментируя употребление писца Домки в Минее 1095 г., Страхова замечает, что оно «нарушает литературную норму этого времени, известную нам по евангелиям, но несомненно отражает произношение писца» (там же, 260). Она предполагает также, что «древнерусские писцы <...> *изначально* произносили *-тъ* в окончаниях имперфекта 3-го лица перед энклитическим *и*» (там же, 288, см. еще с. 291), а потом, видимо, стали произносить эти звуки и в других контекстах. Мы не знаем, конечно, что именно древнерусские писцы произносили изначально, но думать, что динамика в употреблении аугмента имперфекта, отразившаяся, например, в Лаврентьевской летописи, обусловлена живым произношением летописцев, кажется неоправданным, плохо согласующимся с тем, что мы должны предполагать относительно исчезновения имперфекта из живого языка (см. выше, § VI-6.1). Понятно, что книжные тексты читались вслух и таким образом произносились, но это произношение в основном следовало за написанием, и мы, таким образом, имеем дело с процессом в письменном языке (хотя, как говорилось выше, этот процесс переосмысления также можно считать органическим). Именно результаты таких процессов оказываются объектом рефлексии писцов.

Я был бы осторожнее, пользуясь понятием нормы. Согласно Страховой, в XI в. была одна норма, а в первой половине XII в. сложилась другая. Хронологизируя эти нормы, Страхова реконструирует правописную систему протографов дошедших до нас рукописей. Она, например, полагает, что «отсутствие аугментных форм в *Остр* следует объяснять ориентацией на другой по сравнению с *Арх* и *Мст* протограф, в котором не было аугментных форм» (там же, 260). Иногда и в самом деле какие-то черты правописания рукописи можно относить на счет протографа (см. выше, § VI-3), однако восстановление правописной системы протографа, которое позволяло бы этот протограф датировать, – это, хоть и любопытная, но по большей части невыполнимая задача; слишком многое оказывается здесь зависимым от интерпретации исследователя: у нас нет хороших доказательств того, что писцы, скажем, Архангельского евангелия воспроизводили аугментные формы своего антиграфа, а не создавали их самостоятельно. Поэтому реконструкция двух норм в протографах и антиграфах кажется упражнением с мнимостями.

Я бы считал, что лучше говорить не о нормах, а об узусах. Я описал узус, представленный прежде всего в ряде евангельских текстов. Я не утверждал (в отличие от О. Б. Стра-

Во-вторых, характер вариативности, наблюдаемый в гибридных (или протогибридных) текстах отличается от того, который мы наблюдаем в стандартных церковнославянских текстах (евангелиях). В гибридных текстах дистрибутивные закономерности в употреблении морфологических вариантов имеют относительно факультативный характер, они выдерживаются лишь с большей или меньшей последовательностью, но нигде не получают статус нормативных. В стандартных церковнославянских текстах дифференциация морфологических вариантов также не всегда проводится с

ховой), что этот узус имел нормативный характер. Он, по-видимому, обладал определенной преемственностью (т. е. каждый новый писец не выдумывал его *ad hoc*), но не обладал обязательностью: писцы Остромирова евангелия ему не следовали, а писцы Юрьевского или Мстиславова – следовали; ни о какой норме, присущей отдельному периоду, это не говорит и от хронологических выводов в подобных условиях лучше воздержаться. Как и другие характеристики правописного узуса (узусов) XI–XIV вв., то или иное употребление аугмента может проводиться не вполне последовательно. Нет ничего удивительного, что мое построение «совсем не объясняет случаи, когда имперфект, оказываясь в позиции перед энклитическим *и*, не развивает аугмента» (там же, 283), что кажется Страховой роковым упущением. Как мы видели, даже такие простые правила, как дистрибуция *ѣ* и *ѣ*, часто до конца не выдерживаются (см. выше, § VI-6.2). Подобные случаи не требуют объяснения, они требуют понимания характера реализуемых в рукописях рассматриваемого периода норм.

Таким образом, общие построения Страховой отличаются ненужной ригидностью, сочетающейся с готовностью к опасным умозаключениям (о правописании протографов). Концепция двух норм кажется искусственной и маловероятной. Конечно, никакого объяснения для разности в поведении форм имперфекта ед. и мн. числа она не дает. Для этого Страхова прибегает к весьма хитрому и совсем невероятному аргументу. Она полагает, что первоначально аугмент перед энклитическим *и* употреблялся не в форме *-тъ*, а в форме *-ти*, возникавшей в силу того, что редуцированный перед */i/* был напряженным (т. е. [i], а не [э]); это ничем не обоснованное предположение, во всяком случае в дошедших до нас рукописях написания с аугментом *-ти* встречаются реже, чем с аугментом *-тъ*. Следующий ход состоит в том, что имперфект в евангелиях часто оказывался «в неподлежащей конструкции» (там же, с. 290). Затем эти формы «приобретали новый смысл: они воспринимались как окончание имперфекта 3-го лица множ. числа (*-хочу*) + форма множ. числа им. падежа местоимения *ти*. Именно такое восприятие сегмента (*-хоу* + *ти*) позволяло аугментной форме, оканчивающейся на *-хоути*, удерживаться столь долго в памятниках разного времени и места написания» (там же, 291). Такая реинтерпретация была невозможна для форм имперфекта ед. числа, и отсюда идут различия в их поведении. Нехороша, как мне представляется, сама сложность этого построения. Еще хуже, однако, то обстоятельство, что она предполагает в качестве возможной последовательность типа *видяхоу ти и*, где *ти* – местоимение в им. падеже мн. числа; именно эта последовательность и должна подвергаться реинтерпретации. Такая последовательность, однако же, была невозможна, поскольку *и* было энклитикой 7 ранга, а *ти* (им. мн.) энклитикой не было (см.: Зализняк 2008в, 32, 36) и поэтому перед *и* стоять не могло: хотя закон Вакернагеля в книжных памятниках мог нарушаться, но все же не до такой степени. Древнерусский книжник это прекрасно знал (в отличие от незадачливого исследователя) и поэтому *ти* в качестве местоимения никак рассматривать не мог. Таким образом, О. Б. Страхова дает ложное объяснение различий в поведении имперфектов ед. и мн. числа, и разумному читателю приходится вернуться к моему, сколь бы несовершенным оно ни было.

абсолютной последовательностью, те или иные отступления встречаются постоянно. В разобранным примере дистрибутивные закономерности в употреблении аугмента имперфекта вполне последовательно выдерживаются в Архангельском и Галицком евангелиях, но покрывают лишь большинство контекстов в Юрьевском и Мстиславовом евангелиях; в Остромировом евангелии, как было отмечено, имеется одно окказиональное употребление имперфекта с аугментом, никакой закономерности не реализующее. Тем не менее различие в интенции может быть постулировано: стандартные церковнославянские тексты избегают немотивированной вариативности (и поэтому, взяв на вооружение новый морфологический вариант, стремятся употреблять его в определенных контекстах – и только в них), для текстов гибридного регистра немотивированная вариативность представляется приемлемым явлением, и стремления к устранению ее в них не заметно.

В рассмотренном примере можно наблюдать, как нормативная установка противопоставляет стандартные и гибридные книжные тексты; наблюдать на данном материале особенности других регистров невозможно, поскольку формы имперфекта в них практически не встречаются. Можно, однако, обратиться к другим примерам, показывающим, что мы имеем здесь дело не со случайным различием в языковом поведении, характеризующим лишь одно явление, но с различием в лингвистических установках, определяющим облик разных регистров. Здесь можно обратиться к более позднему материалу.

Так, например, в русских письменных текстах XVII в. окончание прилагательных род. ед. ж. рода представлено тремя вариантами: *-ья/-ия*, *-ой/-ей* и *-ье/-ие*. Лишь в редких случаях, однако, все эти три варианта могут быть обнаружены в одном тексте. Как правило, в стандартных церковнославянских памятниках встречается только флексия *-ья/-ия*, в гибридных книжных текстах эта флексия употребляется наряду с флексией *-ой/-ей*, в текстах делового характера преимущественное распространение получает флексия *-ье/-ие*, а флексия *-ой/-ей* появляется в качестве дополнительного варианта (ср.: Унбегаун 1935а, 323–325; Черных 1953, 306–307; Пеннингтон 1980, 252), тогда как в бытовой переписке основным вариантом оказывается флексия *-ой/-ей*, флексия *-ье/-ие* может рассматриваться как вариант дополнительный, тогда как флексия *-ья/-ия* встречается лишь в редких случаях. Очевидно, что выбор варианта никак непосредственно с коммуникативным заданием не связан. Те или иные флексии употребляются в данном тексте не потому, что это требуется его функциональными характеристиками, а потому, что производитель данного текста обладает определенным опытом их писания, возникшим прежде всего из чтения аналогичных текстов; сложившиеся таким образом навыки письма он и реализует в соответствующей этим навыкам коммуникативной ситуации. Преэминентность узуса выступает здесь, таким образом, в чистом виде.

Вместе с тем даже на приведенном элементарном примере видно, как отличаются по своему качеству разные письменные традиции. Стандартные церковнославянские тексты последовательно употребляют лишь одну флексию, и эта последовательность несомненно обусловлена нормализационным контролем над письменными навыками. Традиция в данном случае

состоит в поддержании достаточно эксплицитной нормы, что предполагает, в свою очередь, существенную роль формального обучения (пусть даже не в форме привычного для нас школьного выучивания грамматики). И гибридная, и деловая традиции менее ригористичны; письменные навыки возникают здесь «естественным» путем, т. е. не столько в результате обучения, сколько в результате подражания. В социальном плане подражание такого типа указывает на своего рода профессионализацию (преемственность социальной роли), поскольку навыки письма возникают как отражение определенного профессионально ориентированного круга чтения; это особенно ясно в случае деловой традиции: приказной служащий всю жизнь читает приказные бумаги и именно благодаря этому опыту научается производить аналогичные документы. В бытовом регистре регламентация минимальна; письменные навыки разного происхождения оказываются здесь смешанными, а собственная традиция слабо очерченной; она проявляется в отсутствии нормативных элементов других традиций. Пишущий простое письмо пишет его не так, как он писал бы челобитную, даже если он обладает навыками делового письма, и не так, как летописную статью, даже если он занимается летописанием; этот выбор связывает его с определенным узусом (узусом бытового регистра), однако не требует от него жесткого контроля, который исключал бы элементы, идущие из инородного языкового опыта.

## **2. Дифференциация регистров письменного языка как развивающийся процесс: формы двойственного числа**

Дифференциацию регистров по морфологическим вариантам в реальной динамике этого процесса можно наблюдать, обратившись к истории форм дв. числа. Исчезновение категории дв. числа из живого языка восточных славян можно датировать XIII в. До этого времени, естественно, формы дв. числа разные типы текстов не дифференцируют. Когда в разговорном узусе на месте грамматического выражения двойственности предметов появляется брешь, т. е. когда носители языка перестают думать в терминах тройного противопоставления по числу и начинают думать в терминах противопоставления бинарного (единственное – неединственное), ряд форм дв. числа выходит из употребления, ряд форм переосмысливается, появляется новая морфологическая вариативность, причем в разных регистрах письменного языка она претерпевает разное развитие.

Исчезновение дв. числа может рассматриваться как абдуктивное изменение (о классификации изменений см.: Андерсен 1973); его результаты различаются в зависимости от того, какую информационную нагрузку несут грамматические показатели дв. числа. Все случаи употребления дв. числа существительных (у которых дв. число является номинативной, а не согласовательной категорией, т. е. может выражать определенный смысл, а не служит для указания на принадлежность слов к одной синтаксической группе) а priori распадаются на три класса:

(1) Там, где информационная нагрузка полностью отсутствует, поскольку соответствующая информация выражена другими средствами (су-

ществительные в сочетании с числительными *два, оба*); это то употребление, которое О. Ф. Жолобов и В. Б. Крысько называют связанным (Жолобов и Крысько 2001, 46).

(2) Там, где информационная нагрузка минимальна, поскольку в обычном случае (*in default situation*) двойственность является сама собой разумеющейся. Имею в виду употребление дв. числа при обозначении парных предметов; о непарных *руках, боках, берегах* и т. п. приходится говорить лишь в редких случаях, и только в совсем исключительных ситуациях указание на эту непарность входит в смысловую интенцию говорящего (во фразах типа *все левые сапоги были без каблука*); ср. превосходный пример из Лобковского пролога 1282 г., приводимый О. Ф. Жолобовым и В. Б. Крысько (2001, 99): «**деснага очеса избодоша имъ и лѣвъѣхъ ногъ лѣстыгы с жилами изрезаша**» (л. 216). Это то употребление дв. числа, которое в литературе именуется «свободным» (ср.: Белич 1932, 30–33; Жолобов и Крысько 2001, 46), хотя этот термин в перспективе излагаемого подхода представляется не слишком удачным: имеется в виду, что двоичность присуща самому имени и поэтому не зависит от другой информации, сообщаемой в предложении. Это, однако, вырожденный случай двоичности, поскольку она сведена здесь к парности, т. е. является счетной категорией лишь вторичным образом (для нас сейчас безразлично, была или не была парность «первичным» значением индоевропейского дв. числа).

(3) Там, где грамматическое обозначение двойственности несет полноценную информационную нагрузку, указывая на присутствие предмета в двух экземплярах (во фразах типа **И рече има идѣта по мѣнѣ и сътворжъ въ ловьца члѣкомъ** – Мф. 4: 19 = ОЕ, л. 60 об.). В этой категории может быть выделен ряд частных случаев, соответствующих подразделениям, вводимым О. Ф. Жолобовым и В. Б. Крысько: несвязанное употребление дв. числа, прономинально-вербальное дв. число, дв. число в конструкции с двумя именами (Жолобов и Крысько 2001, 46–47). Во всех этих случаях, однако, дв. число указывает на счетность референта и одновременно на представленность его в двух экземплярах. В принципе при рассмотрении истории дв. числа в рамках третьего класса следует различать те более широкие контексты, где двойственность предметов имеет неграмматическое выражение (сюда по определению входят прономинально-вербальные употребления дв. числа и дв. число в конструкциях с двумя именами, равно как и некоторая часть из несвязанных употреблений дв. числа), от тех, в которых адресат сообщения узнает о двойственности предметов только из грамматических форм. В первом случае, примером которого может служить приведенный выше стих из Евангелия (в предшествующем стихе – Мф. 4: 18 – говорится: **Видѣ дѣва брата симона нарицаемаго петра и андреа брата кмоу въмѣтажшта мръжа въ море** – ОЕ, л. 60, и именно к этому предложению отсылают местоимения *има* и *въи*), обозначение двойственности почти столь же избыточно, как в словосочетании с числительным, что и создает возможности для его окказиональной элиминации<sup>407</sup>. Второй случай встре-

<sup>407</sup> Мне представляется, что именно в качестве подобного окказионализма, не свидетельствующего о падении дв. числа, следует интерпретировать нередко цитируемую

чается в языковой практике исключительно редко. Речь, следовательно, должна идти не о том, насколько избыточно обозначение двойственности, но о том, какой тип избыточности поощряется языком (вовсе не стремящимся, как мы помним, к экономии средств), а какой нет. Проблема плохо изучена, но похоже, что избыточность широкого контекста, в отличие от избыточности в словосочетании, относится к тем свойствам текста, которые широко используются различными дискурсивными стратегиями, поскольку эта избыточность обеспечивает связанность текста<sup>408</sup>.

Исчезновение дв. числа из грамматической системы проявляется именно в том, что двойственность перестает обозначаться в контекстах третьего класса, тогда как в контекстах первых двух классов противопоставление по числу нейтрализовано (во втором классе частично) вне зависимости от того, является ли дв. число семантически полноценной категорией (в контекстах третьего класса). В этом плане не представляется оправданной точка зрения А. М. Иорданского, согласно которой «[п]оследней стадией разрушения грамматической категории двойственного числа было распространение этого процесса на сочетания с числительными *дѣва, оба, дѣвѣ, обѣ*, происходившее <...> не ранее XIII в.» (Иорданский 1960, 75). Ее теоретическая несостоятельность подтверждается и фактическими данными, указывающими, например, что в древненовгородском диалекте унификация форм существительного в числовых сочетаниях с *дѣва, три, четыре* достигается для существительных ср. и ж. рода уже к рубежу XII–XIII вв., откуда появляются ряды типа *дѣва лѣта, три лѣта, четыре лѣта; дѣвѣ кунѣ, три кунѣ, четыре кунѣ* (Зализняк 1995, 148; Зализняк 2004а, 166–167; Зализняк 1993, 216–

фразу из «Сказания чудес Бориса и Глеба»: *а сѣаго глѣва роукоу. вѣзмѣ же георгии митрополитѣ блгословаше князѣ. изяслава. и всеволода. и паки сѣославѣ имѣ роукоу митрополитю. и дрѣжащю сѣаго роукоу прилагааше къ вѣдоу* (УС, л. 20г). Упоминание двух имен однозначно указывает на двойное количество князей и тем самым создает контекст для потенциальной нейтрализации числовой оппозиции. Мне не кажется убедительной трактовка О. Ф. Жолобова и В. Б. Крысько (2001, 103–104), которые полагают, что здесь «речь идет не о двух, а о трех князьях и форма *князѣ* – совершенно правильная форма мн. ч.». Скольких бы князей ни благословлял митрополит в реальности, в тексте этот акт представлен как благословение двух князей, Изяслава и Всеволода, в то время как третий князь, Святослав, совершает отдельное действие, притягивая к себе руку Георгия. Трудно представить себе, что хитрый автор указал на тройное благословение именно с помощью формы мн. числа, а затем упомянул только двух князей из трех; позднейшая переделка этого пассажа в Московском летописном своде (митрополит благословляет трех князей) может быть обусловлена неловким описанием этого события в более раннем тексте, однако никак не может служить источником для анализа грамматической структуры этого более раннего текста.

<sup>408</sup> Так, скажем, в евангельской истории об изгнании бесов в стране Гергесинской сначала речь идет о встрече Христа с двумя бесноватыми (*сѣрѣтоста и два бѣсна отъ гробѣ изглаголаша. люта зѣло* – Мф. 8: 28 = МЕ, л. 38в), затем рассказывается об изгнании бесов, вошедших в свиное стадо, а потом говорится о том, как пастухи убежали в город и *вѣзвѣстиша всѣмъ о бѣсѣи сѣ* (Мф. 8: 33 = МЕ, л. 38г). Возвращение к начальным персонажам повествования, включающее и грамматическое указание на их двоичность, обрамляет рассказ и придает ему референциальную целостность.



220; ср.: Хабургаев 1990, 274–277), ср. примеры из берестяных грамот: *дѣва лѣта* (№ 113, вторая половина XII в. – Зализняк 2004а, 377), *ѣ: лѣкна* (№ 671, рубеж XII/XIII вв. – там же, 420); *ѣ: коунѣ* (№ 526, вторая треть XI в. – там же, 241); *цѣтыри гривне* (№ 550, втор. половина XII в. – там же, 401)<sup>409</sup>. Ни подобные примеры, ни обозначения парных предметов однозначно о судьбе категории дв. числа не свидетельствуют, поскольку речь идет о позициях нейтрализации, в которых и сохранение формы дв. числа, и появление формы мн. числа не приводит к изменению смысла сообщения.

Наиболее отчетливо на элиминацию категории дв. числа могло бы указывать отсутствие в текстах определенного периода форм существительного в дв. числе, являющихся единственным обозначением двойственности предметов в контексте (типа *купца пошла еста...*), однако подобный процесс трудно проследить из-за редкости таких примеров, а потому и трудно датировать. Хорошим индикатором исчезновения дв. числа может служить неупотребление форм дв. числа глагола при субъекте, составленном из двух предметов. В бытовой некнижной письменности, в которой согласованные формы глагола в дв. числе не должны появляться в силу традиции или нормализационных установок, такая ситуация фиксируется в XIII в. А. А. Зализняк отмечает, что «[с]амые поздние примеры двойств. числа в глаголе, отмеченные в берестяных грамотах, – *торговала еста* 510 (кон. XII – XIII<sub>1</sub> <...>), *[пр]авита (?)* 111 (2 треть XIII)» (там же, 136). Серединой XIII в. и следует, видимо, датировать устранение дв. числа из восточнославянской морфологической системы. С этого момента появление согласованных форм дв. числа противопоставляет книжные регистры письменного языка некнижным.

Как только дв. число исчезает в качестве числовой категории, показатели дв. числа оказываются, можно сказать, бесхозными и в силу этого становятся морфологическими вариантами других показателей, и эта вариативность постепенно подвергается переосмыслению. Вариативность характеризует теперь все три рассмотренные выше класса употреблений. Правда, в первых двух классах она могла существовать и ранее, в первом классе, при числительных *два, оба*, в силу унификации паукальных счетных форм, во втором – в силу употребления так называемого дистрибутивного дв. числа, когда обозначения парных предметов ставятся в дв. числе вне зависимости от того, что подразумевается несколько пар (см.: Жолобов и Крысько 2001, 18–24). Теперь, однако, эта вариативность получает возможность реализоваться в существенно большем объеме, поскольку употребление форм дв. числа в соответствующих контекстах не поддерживается

<sup>409</sup> Иное объяснение этой унификации, сосредоточивающееся на факторах внутрипарадигматической реорганизации именного словоизменения, дает У. Вермеер (1996, 43–45) и следующие за ним О. Ф. Жолобов и В. Б. Крысько (2001, 71–74). Это объяснение по существу не противоречит тому, которое предлагает А. А. Зализняк и которое представляется верным и мне. Вермеер описывает внутренний механизм преобразования, который оказался пущенным в дело благодаря определенной функциональной мотивации. Эта мотивация как раз и состояла в переосмыслении паукальных счетных форм как особого класса и обособлении их формообразования от связи с оппозицией мн. и дв. числа.

больше автономным употреблением данных форм в контекстах третьего класса. Направление переосмысления зависит от характера контекста, оно вполне предсказуемо.

Во втором и третьем классе контекстов старые формы дв. числа и старые формы мн. числа оказываются морфологическими вариантами, полностью синонимичными и не поддающимися никакому содержательному переосмыслению, при котором они получали бы разную семантику. При этом и тот и другой вариант встречаются достаточно часто – вариант старого двойственного числа у существительных, обозначающих парные предметы, вариант старого множественного – у всех остальных. В результате не происходит вытеснения одного варианта другим, но распределение их по разным классам существительных. Окончание *-а* в качестве флексии мн. числа сначала консервируется у существительных, обозначающих парные предметы (оно употребляется, таким образом, не только когда речь идет о паре сапог, но и когда сапоги оказываются непарными и в любом количестве), а затем, когда в результате *а*-экспансии *á* приобретает функцию маркера множественного числа существительных, совершает экспансию, начиная все шире употребляться у существительных м. рода с подвижным ударением и вытеснять флексию *-ы* (ср.: Хабургаев 1990, 159–160). Дистрибуция флексий *-á* и *-ы* основана, таким образом, на формальном принципе и не предполагает семантического переосмысления форм сверх того исходного семантического сдвига, в результате которого они оказались синонимичными.

В первом классе перераспределение происходит иным образом. В числовых сочетаниях значение числа у существительного нейтрализовано, и в силу этой нейтрализации вариативность форм дв. и мн. числа в числовых сочетаниях с *два, три, четыре* может иметь место, как мы видели на новгородских примерах, еще до окончательной элиминации дв. числа. Обозначения чисел *два, три, четыре* создают естественную группу, и это подталкивает к унификации форм существительных, употребляющихся в сочетании с этими словами. Элиминация дв. числа убирает все препятствия для такой унификации, что и приводит к ее постепенному завершению, сначала у существительных ср. и ж. рода, позже у существительных м. рода (о возможных причинах несовпадения этих процессов во времени см.: Хабургаев 1990, 276–277; ср.: Зализняк 2004а, 166–167). Один из возможных путей унификации – за счет старой формы мн. числа, которая переносится из сочетаний с *три, четыре* на сочетания с *два*; старые формы дв. числа в этом случае из данных сочетаний исчезают; так и происходит в украинском и белорусском (и в некоторых великорусских говорах). Другой путь унификации сохраняет старые формы дв. числа у существительных м. рода, распространяя их на сочетания с *три, четыре* (ср. примеры из текстов XIV в. – Жолобов и Крысько 2001, 200–201), но использует старые формы мн. числа для существительных ср. и ж. рода, экстраполируя их на сочетания с *два*. Поскольку все унифицированные таким образом формы омонимичны формам род. ед. соответствующих слов, унифицированная форма существительных в сочетаниях с *два, три, четыре* переосмысливается как форма род. ед.,

параллельная форме род. мн., употребляемой в сочетаниях с *пять, шесть, семь* и т. д.<sup>410</sup>

То, что было описано выше, – это реконструкция процесса переосмысления в разговорном языке. В некнижных регистрах он отражается достаточно непосредственно (что и позволяет произвести реконструкцию). Значение двойственности просто перестает здесь выражаться, причем в деловых текстах практически в то же время, что и в бытовых (см. примеры из деловых текстов в: Иорданский 1960, 74). Это объяснимо, поскольку деловой регистр как автономная традиция в период исчезновения дв. числа в разговорном языке (XIII вв.) только начинает формироваться, и никаких специфических формул, консервирующих обозначения двойственности и в силу этого продлевающих жизнь данной категории в регистре в целом, видимо, не успевает сложиться. В некнижных текстах сначала происходит расстройство в согласовании, т. е. при существительном в дв. числе глагол (и прилагательное) оказываются употребленными во мн. числе (ср. в цитировавшейся выше берестяной грамоте № 510 рубежа XII/XIII вв.: *торговала еста <...> и розъѣли есть* – Зализняк 2004а, 470), что переводит обозначения двойственности в разряд факультативных, а затем уже в XIII–XIV вв. эта факультативная возможность перестает использоваться.

Книжные регистры, естественно, в той или иной степени консервируют двойственное число. В стандартном церковнославянском регистре, охватывающем по преимуществу воспроизводимые тексты, правильно употреблявшие формы дв. числа, это употребление лишь с весьма небольшими изменениями репродуцируется в позднейших списках (последовательность воспроизведения отчасти зависит от религиозных функций памятника, с которыми, как уже говорилось применительно к правописанию [см. § VI-3], связана тщательность копирования). Насколько при этом представление о двоичности как особом грамматическом значении входило в языковой опыт книжников, требует отдельного обсуждения. В воспроизводимых текстах стандартного церковнославянского регистра отмечается небольшое количество «ошибок», когда переписчики вносили расстройство в согласование по числу, явно не нарушавшееся в их оригинале, ср. ряд примеров, приводимых А. И. Соболевским: «Ев. 1354 г.: нечистыма рукама рекше неумвеными 76 об.; <...> Служебник преп. Сергия: предъидущимъ двѣма свѣщникомъ 21 об., святыма своима и пречистыми и непорочными руками 34 об.; Ев. XIV в. Публ. Библ. F 17: двѣма стомъ 13 об., двѣма сты 50 об.; Чудовской Новый Завет XIV в.: быста друзи 40 (о двух лицах); Пролог 1432 г. Публ. Библ.: съ двѣма отроковицами 148 об.» (Соболевский 1907, 205–206; ср. еще подборку примеров: Жолобов и Крысько 2001, 143–144). Подобные примеры свидетельствуют, конечно, о том, что в разговорном языке писца дв. число было утрачено (что, впрочем, куда вернее устанавливается с помощью некнижных текстов и в особом подтверждении не нуждается), что тем самым он

<sup>410</sup> Последующая перетяжка ударения ряда существительных в сочетаниях с *два, три, четыре* с корня на флексию и образование особой счетной формы, отличительными примерами которой могут служить формы *шага, раза, ряда* с ударением на флексии, может нас сейчас не интересовать (ср.: Виноградов 1947, 304; Зализняк 1967, 47–48).

был не в состоянии вполне адекватно переработать опыт своего книжного чтения, так что парадигматическая соотнесенность всех форм дв. числа для него в полном объеме не существовала, а формы мн. числа выступали как допустимые варианты форм дв. числа (возможно, стоит еще раз напомнить, что никакие грамматические пособия книжникам XIV–XV вв. доступны не были, так что наглядного представления о парадигматике они ниоткуда получить не могли).

Вопрос о том, как следует интерпретировать формы дв. числа, варьирующиеся в книжных памятниках XIV–XVII в. с формами мн. числа, не может осмысленно обсуждаться без учета специфики традиционных письменных текстов. Означает ли продолжающееся употребление форм дв. числа сохранение данной категории в языке, пусть и в неполноценном виде? Или же вариативность возникает в силу того, что категория двойственности полностью исчезла из языкового опыта книжников? О. Ф. Жолобов и В. Б. Крысько полагают, что «появление варьирования дуальных и плюральных форм в сколько-нибудь значительных масштабах еще не означало утраты дв. ч. С точки зрения лингвистической теории морфологическое варьирование указывает вовсе не на утрату категориального значения, а на “конкуренцию признаков и непризнаковых форм” <...> Однако в древнейших текстах нет и самого морфологического варьирования, а есть лишь спорадические, единичные замены дуальных форм плюральными. Они носят окказионально-речевой характер и не затрагивают системно-языковых отношений» (Жолобов и Крысько 2001, 96)<sup>411</sup>.

---

<sup>411</sup> Не буду сейчас останавливаться на глубинных противоречиях этого подхода, связанных с тем, что вариативность разрушает систему, поскольку разные варианты реализуют разные структурные принципы, неспособные существовать одновременно в рамках одной системы (в которой, согласно Соссюру, все элементы связаны и определяются отношением друг к другу – см.: Тимберлейк 2002). Именно это противоречие пытается разрешить Х. Андерсен, вводя понятие абдуктивных изменений (Андерсен 1973). Эти изменения происходят мгновенно и представляют собой переход от одной системы к другой, не оставляющий места для сосуществования в системе противоречащих друг другу принципов. Абдуктивные изменения происходят, когда младшее поколение конструирует свою грамматику на основе узуса предшествующего поколения. Изменение имеет место тогда, когда эта интерпретация отличается от интерпретации предшествующего поколения, «[t]he source of abductive innovations is to be found in distributional ambiguities in the verbal output from which the new grammar is inferred» (там же, 789). Это моментальное изменение глубинной грамматики ведет затем к постепенным (алгоритмическим, производным – дедуктивным, в пирсовском понимании термина) изменениям в порождаемых ею поверхностных структурах. Если принимать эту концепцию, спасающую системность от реально наблюдаемой вариативности, то в случае рассматриваемого сейчас явления это означает, что определенное поколение говорящих перестало интерпретировать формы дв. числа как указывающие на двоичность референта (в этом и состояло абдуктивное изменение), а затем дедуктивные изменения постепенно приводили узус в соответствие с этой новой грамматикой. Понятно, что в рамках концепции этого типа никакого морфологического варьирования при сохранении категориального (принадлежащего глубинной грамматике) значения дв. числа быть не может. Какой именно способ решения подобных общелингвистических проблем предполагают

В приложении к устному языку и при традиционном понимании системы языка (которое и позволяет различать «окказионально-речевые» и «системно-языковые» феномены) такая концепция кажется разумной, отражающей тот эмпирически засвидетельствованный факт, что изменения в языке не происходят мгновенно, но осуществляются как постепенное вытеснение одного варианта другим. В традиционных письменных текстах, однако, этот процесс вытеснения может растягиваться на многие столетия, поскольку такие тексты не порождаются *ad hoc*, с чистого листа, в результате работы порождающего механизма языка (т. е. системы), а представляют собой коллаж, составленный из разнородных фрагментов, отражающих многослойный языковой опыт пишущего, основанный на чтении появившихся в разные эпохи текстов (в свой черед неоднородных). Системна (в обычном структуралистском понимании системности) в этом опыте может быть только та его часть, которая отражает разговорный узус пишущего. Восстановить эту часть из созданных данным носителем книжных текстов крайне сложно, если вообще возможно, поскольку книжник, как уже неоднократно говорилось, никоим образом не стремится писать так, как он говорит; наоборот, в обычном случае он пытается отрешиться от своих навыков разговорной речи. В этих обстоятельствах приложить к традиционным письменным текстам оппозицию «окказионально-речевых» и «системно-языковых» феноменов кажется достаточно безнадежным предприятием.

Из сказанного не следует, однако же, что языковой опыт книжника никак не структурирован, хотя он и не образует ничего похожего на поссюрровски организованную систему. Он содержит несколько «грамматик», соотнесенных с разными регистрами письменного языка, частично пересекающихся, совмещающихся и накладывающихся друг на друга, но не обладающих ни завершенностью, ни внутренней согласованностью, которая создавала бы основу для различения системного и узуального (в рамках структуралистского понятийного аппарата). Осваивая тексты своих предшественников, восточнославянский книжник каким-то образом научался употреблять формы дв. числа, и в силу этого данная категория должна была присутствовать в одной из его грамматик. Поэтому неверно было бы считать, что в языковом опыте книжников грамматическое значение двойственности полностью отсутствовало, что, как полагал Г. А. Хабургаев, «средневековые книжники <...> воспринимали ее [форму дв. числа. – В. Ж.] со значением “множественности” (противопоставленной “единичности”), а не “двойственности»» (Хабургаев 1990, 121).

Последовательность в употреблении форм дв. числа зависит от того, какие именно задачи стоят перед книжником (копирования, редактирования, составления нового текста), и от того, насколько его владение книжным языком адекватно этим задачам. Понятно, что, пока формы дв. числа присутствуют в разговорном опыте пишущего, он без труда употребляет их и в книжных текстах. Когда опыт разговорного языка перестает приходить на помощь, естественно ожидать непоследовательностей в употреблении.

---

О. Ф. Жолобов и В. Б. Крысько, говоря о вариативности дуальных и плюральных форм, остается неясным.

Пропорция таких непоследовательностей соотносится и со сложностью стоящей задачи, и с индивидуальным мастерством книжника. Если задача проста, а мастерство высоко, то даже окказиональные отступления свидетельствуют скорее всего о том, что разговорный опыт перестал служить книжнику поддержкой. Этот момент должен учитываться при анализе окказиональных отступлений в ранних памятниках и в воспроизводимых текстах в целом.

В воспроизводимых церковнославянских текстах до второй половины XVII в. мало что меняется. Как бы книжники ни воспринимали формы дв. числа, обычно они послушно их копируют, отдавая себе, видимо, отчет в том, что они принадлежат к книжному стандарту. Окказиональные (в целом весьма редкие) замены форм дв. числа на формы мн. числа в переписываемых памятниках говорят только о том, что не у всех книжников эти формы были прочно укоренены в совокупности их языкового опыта (а это тривиальным образом следует из отсутствия данных форм в живом языке книжников). По существу все сводится к тому, что при отсутствии грамматической традиции нормализационный контроль не может быть полностью эффективен (а не к характеру восприятия форм дв. числа). Таким образом, последовательное (лишь с окказиональными отступлениями) употребление форм дв. числа становится приметой стандартного церковнославянского регистра.

Ситуация в воспроизводимых текстах меняется только тогда, когда возникает грамматическая традиция. В книжной справе второй половины XVII – первой половины XVIII в. соответствующие формы могут подвергаться исправлениям, которые прямо отражают новое грамматическое знание, исключаящее те отступления от нормы, которые появились в предшествующий период. Так, например, в ходе библейской справки начала XVIII в. справщик, заменяя в Евангелии (Мф. 20: 33) **да Ѡверзѣтѣса очн наю** (чтение, восходящее к древнейшему переводу и реализующее дистрибутивное употребление дв. числа, ср.: ОЕ, л. 76 об.; Алексеев и др. 2005, 109) на **да Ѡверзѣтѣса очн наши**, замечает: «Понеже здѣ рѣчь не о двоихъ очахъ, почему не dualis numerus, но pluralis долженъ быть» (Бобрик 19886, 156).

Вместе с тем обусловленная новой ситуацией грамматическая рефлексия приводит к тому, что дв. число начинает восприниматься как маргинальная для книжного стандарта форма, что, видимо, отражает опыт гибридного языка, имевшийся у русских книжников этого времени (см. ниже), и одновременно стремление к грамматическому усовершенствованию церковнославянского стандарта, выражавшееся в устранении маргинальных форм. Таково отношение к формам дв. числа у Федора Поликарпова, рассматривавшего их как кальку с греческого, чуждую церковнославянскому языку (см.: Живов 1996, 285), и это же отношение реализуется в библейской справе, определившей церковнославянский языковой стандарт синодального периода (см.: Успенский 1987, 329). На последнем этапе этой справки, при подготовке Елизаветинской Библии, устранение форм дв. числа проводится особенно интенсивно, так что в результате «формы мн. ч. имен, местоимений и глаголов образуют нейтральный <...> фон; сохраняемые в тексте формы дв. ч., помещаемые, как правило, по две-три в главах, где

возможно их появление, выполняют роль своеобразного камертона книжности <...> и служат обеспечению дистанции между книжным и живым языками» (Бобрик 1988а, 8).

Лучшее представление о том, как структурирован опыт книжника, употребляющего формы мн. числа без опоры на свой разговорный узус, дают не воспроизводимые, а оригинальные тексты, написанные с сознательной ориентацией на образцы стандартного церковнославянского. К числу таких текстов относится, например, Житие преп. Сергия Радонежского, составленное Епифанием, как полагают, в самом конце 1410-х годов (Клосс 1998, 99). Житие дошло до нас лишь в позднейших списках (XVI в.), однако нет оснований думать, что большинство отклонений от «правильного» употребления форм дв. числа может быть отнесено на счет переписчиков, поскольку число таких отклонений существенно превышает ту пропорцию, которую мы находим в других переписываемых памятниках (таких как Евангелие или богослужебные тексты), в исходном виде отклонений не содержавших.

Хотя, как мы увидим, отклонения от «правильного» употребления в рассматриваемом тексте многочисленны, в языковом опыте Епифания категория двоичности явно присутствовала. Так, например, описывая, как юный Варфоломей (будущий преп. Сергей) и его старший брат Стефан искали место для своего скита, Епифаний пишет: «Обходиста по лѣсом многа мѣста и послѣди приидоста на едино мѣсто пустыни» (Клосс 1998, 306). Указание на то, что субъектов этого действия было два, содержится практически только в дв. числе глагольных форм, и это свидетельствует о том, что Епифаний полностью отдавал себе отчет в их семантике, отнюдь не воспринимая их как альтернативное обозначение множественности (как представлялось Г. А. Хабургаеву)<sup>412</sup>. Этот вывод не опровергается тем фактом, что в предложениях, непосредственно следующих за процитированным, употребление форм дв. числа оказывается достаточно непоследовательным – хотя, безусловно, он (вывод) по видимости плохо с этим фактом согласуется. Приведу это продолжение: «Обышедша же мѣсто то и възлюбиста е, паче же Богу наставляющу ихъ [вместо я. – В. Ж.]. И сътвориша [вместо *сътвори*ста; нельзя исключить искажения при переписке причастной формы *сътвори*ша. – В. Ж.], начаста своима рукама [пример дистрибутивного

<sup>412</sup> В тексте, предшествующем процитированной фразе, говорится: «К нему же пришед блаженный уноша Варфоломѣй, моляше Стефана, дабы шель с ним на възыскание мѣста пустынного. Стефанъ же, принужденъ бывъ словесы блаженного, и исшедша» (Клосс 1998, 306). Из этого пассажа можно, конечно, сделать вывод, что действующих лиц было два, однако эксплицитно эта информация никак не выражена. Правда, форма *исшедша* может интерпретироваться как им. дв. м. рода действительного причастия прош. времени, однако синтаксическая конструкция ненормативна (причастие в функции личной формы), и поэтому неясно, как воспринимал ее Епифаний, его читатели и переписчики. Если полагать, что Епифаний сознательно употребляет здесь данную причастную форму, указание на двойственность содержится уже в ней и столь же ясно говорит об актуальности для Епифания данной семантической категории. В любом случае контекст предполагает владение данной категорией, двойственность субъекта не выражена здесь даже перечислением, типа «Варфоломей и Стефан обходиста».

употребления дв. числа, при котором парные предметы стоят в дв. числе, хотя пар несколько. – В. Ж.] лѣсъ сѣщи, и на раму своею берѣвна изнесоша [вместо *изнесоста*. – В. Ж.] на мѣсто» (там же, 306–307).

Хотя «правильное» употребление дв. числа в памятнике встречается весьма часто, не менее часты и отклонения<sup>413</sup>. Какой принцип может определять такой узус, если, как мы видели, тезис, согласно которому двойственность как семантическая категория автором игнорируется, не соответствует наблюдаемым фактам? Можно предположить, что Епифаний и не стремится к последовательному употреблению форм дв. числа. Он не подвергает книжные формы дуалиса какому-либо семантическому переосмыслению или стилистической переоценке, но обозначение двойственности начинает воспринимать как необязательное. Ему достаточно обозначить двойственность один или несколько раз, зафиксировать это значение в нарративном фрагменте, а затем наступает свобода и формы мн. числа могут употребляться наряду с формами двойственного. Это означает, видимо, что Епифаний воспринимает двойственность как самостоятельный, но подчиненный семантический элемент, как особый случай множественности. Такое восприятие – явно не новинка. Оно должно было предшествовать исчезновению дв. числа как грамматической категории, перевода показатели дв. числа из разряда регулярных грамматических маркеров в разряд факультативных. Именно в силу этого восприятия в книжных памятниках XIII–XIV вв. появляются непоследовательности в употреблении форм дв. числа. Епифаний может ориентироваться на подобные прецеденты, расширяя при этом сферу факультативности и облегчая себе тем самым жизнь<sup>414</sup>.

<sup>413</sup> Приведу еще несколько примеров, иллюстрирующих характерное для Епифания употребление. «Сѣй преподобный отецъ нашъ Сергие родися от родителя добродородну и благовѣрну: от отца, нарицаемаго Кирила, и от матере именем Мариа, иже бяста Божии угодници, правдиви пред Богомъ и пред челоуѣкы, и всячьскими добродѣтели исплѣнени же и украшени» (Клосс 1998, 290 – ср. мн. число вместо дв.: *Божии угодници, правдиви, исплѣнени, украшени*). «Старецъ же святыи проразумѣ и позна духомъ будущее и рече има [родителям Сергия. – В. Ж.]: “О блаженаа врѣсто! О предобраа супруга, иже таковому дѣтищу родители быста! Въскую устрашистесь страхом, идѣ же не бѣ страха. Но паче радуйтесе и веселитесе, яко сподобистася таковой дѣтищъ родити <...> Сынъ ваю имать быти обитель Святыя Троица <...>” И сиа рекъ, изиде от них. Они же проважахуть его пред врата домовнаа; он же от них вънезапу невидим бысть» (там же, 300 – ср. мн. число вместо дв.: *родители* в сочетании с глаголом в дв. числе *быста, устрашистесь, радуйтесе, веселитесе, от них, они, проважахуть*).

<sup>414</sup> Дв. числу у Епифания Премудрого посвящен специальный раздел и в монографии О. Ф. Жолобова и В. Б. Крысько (Жолобов и Крысько 2001, 192–196). Авторы, однако, рассматривают не Житие Сергия, а Житие Стефана Пермского, добавляя к нему еще летописную Повесть о Митяе, принадлежность которой перу Епифания сомнительна, но которая в любом случае содержит лишь весьма ограниченный материал для суждений об употреблении дв. числа. О. Ф. Жолобов и В. Б. Крысько приходят к выводу, что «дв. число используется автором почти безошибочно, самостоятельно, часто не обусловлено книжными реминисценциями» (там же, 194). Впрочем, отступления имеются, и вопрос о том, почему их пропорция выше в Житии Сергия, нежели в Житии Стефана, не имеет принципиального характера. Вряд ли здесь могли сказаться те два десятилетия, которые, по



Факультативность употребления морфологических показателей характерна для признаков книжности, т. е. таких элементов книжного узуса, отсутствующих в узусе некнижном, которые автор вносит в свой текст прежде всего для указания на его книжность (см. § III-4). Факультативное употребление признаков книжности свойственно текстам гибридного регистра, который и конституируется тем, что книжные грамматические элементы употребляются в нем в качестве таких признаков. Преемственность такого употребления как раз и формирует гибридную традицию, гибридные тек-

мнению ряда исследователей, отделяют создание одного памятника от другого. Скорее речь может идти о различиях в риторической конструкции этих агиографических произведений: Житие Стефана более «панегирично», а Житие Сергия более «повествовательное». Как бы то ни было, заключение, согласно которому «употребление дв. ч. у Епифания Премудрого носит обязательный характер» (там же, 196), не кажется убедительным, хотя справедливо, что прямой зависимости этого употребления от стиля не просматривается. Мне остается неясным, что авторы имеют в виду, утверждая, что «грамматические архаизмы, которыми насыщены сочинения Епифания Премудрого, на фоне более поздней литературы должны быть истолкованы как архаизмы узусальные» (там же), относят ли они к числу таких архаизмов употребление дв. числа и что в этом случае они имеют в виду под архаизмами, полагая, что дуалис у Епифания остается принадлежностью его морфологической системы.

Тщательный анализ употребления форм дв. числа в Житии Стефана Пермского и Житии Сергия Радонежского дан в работе Ю. Маруямы (Маруяма 2011), приводящей полные статистические данные. Автор отмечает превалирующее употребление форм дв. числа при обозначении парных предметов и в сочетании с числительными *два* и *оба* (там же, 169–173), а относительно интересующих нас случаев, которые Маруяма, вслед за Жолотовым и Крысько, группирует под рубрикой «несвязанного употребления», замечает, подтверждая и дополняя наши выводы: «В ЖСП [Житии Стефана Пермского] преимущественно используются формы дв. числа <...> в 1-й части ЖСП [Жития Сергия Радонежского] числовые формы варьируются <...> во 2-й части встречаются исключительно формы мн. числа» (там же, 173). Различие между 1-й и 2-й частями Жития Сергия связано, очевидно, не с какими-либо содержательными параметрами, а тем обстоятельством, что в этих частях по-разному сочетается авторство Епифания Премудрого и Пахомия Логофета. Во второй части несвязанное (полноценное) обозначение двойственности (третий класс по нашей классификации) отсутствует даже в тех случаях, когда двойное число предметов однозначно указано в тексте с помощью числительного, при котором существительное стоит в дв. числе, ср. пример, приводимый Ю. Маруямой: «*но абѣ въскорѣ послааѣ два архѣма<sup>д</sup>дрѣта, герасѣма. павла <...> прише<sup>а</sup>ше<sup>ж</sup> архѣмандри<sup>тн</sup> тѣи...*» (там же, 174). Маруяма предполагает, что фрагменты, активно использующие формы дв. числа, и фрагменты, избегающие этих форм, различаются «на текстовом уровне», т. е. в зависимости от того, как автор подает эпизод. Так, в первой части Жития Сергия формы дв. числа отсутствуют при описании встречи родителей Сергия со старцем, хотя эти формы изобилуют в примыкающем к этому эпизоду тексте, а во второй части – в описании видений. В принципе такие тематические зависимости не исключены, в работе Ю. Маруямы, посвященной Повести о боярыне Морозовой, показано, что формы дв. числа употребляются при описании сторонников боярыни, а формы мн. числа (в контексте двойственности) – при описании ее противников (Маруяма 2006). В Житии Сергия, однако, никакой простой зависимости не заметно, отчего видения не терпят форм дв. числа, совершенно неясно; и в этих условиях мне кажется благоразумным воздерживаться от интерпретаций, апеллирующих к содержанию.

сты (в первую очередь летописи) ориентированы друг на друга и в силу этого преемственно воспроизводят (и нередко интенсифицируют) те отличия от стандартного церковнославянского, которые им присущи. В употреблении форм дв. числа в Епифаниевом Житии Сергия, по видимости, работает тот же механизм, однако это житие стоит несколько в стороне от основных памятников гибридного регистра прежде всего потому, что его автор ориентируется не на гибридные (например, летописные) образцы, но на стандартные церковнославянские тексты, в наибольшей степени на греческую агиографию в славянских переводах, на которую он и ссылается в начале своего произведения. Черты гибридности едва просматриваются и в употреблении простых претеритов, наблюдаемом в рассматриваемом тексте.

В то время, когда Епифаний писал Житие, гибридный регистр окончательно еще не сформировался, во всяком случае гибридный узус еще не распространяется в это время на тексты нелетописных жанров. Рассматриваемый текст в данном отношении неоднозначен, элементы гибридности, которые в нем появляются, еще не складываются в целостную традицию (которую мы можем найти через столетие, к примеру, в Житии Федора Черного в редакции иеромонаха Антония – см.: Ленхофф 1997, 95, 242–281). Епифаний при этом был явно знаком с летописной традицией и, возможно, сам занимался летописанием<sup>415</sup>, поэтому определенная интерференция гибридного (летописного) узуса в написанных им житиях удивления не вызывает (насколько прецедент Епифания был важен для позднейших агиографов, использовавших гибридную традицию, предстоит исследовать). Примечательно, что черты гибридности проявляются едва ли не ранее всего в использовании форм дв. числа. Причину этого можно видеть в его коммуникативной избыточности, которая делает переосмысление форм дв. числа как факультативного обозначения двоичности простой и вполне прямой процедурой.

Делаясь факультативным, обозначение двоичности в гибридных текстах может колебаться от относительно частого до минимального, находясь в определенной (хотя и не строгой) корреляции с другими признаками книжности (имею в виду, что интенсивное употребление форм дв. числа наблюдается в тех текстах, в которых последовательно употребляются простые претериты, согласуемые действительные причастия и т. д.). Устранение форм дв. числа, однако, идет дальше, чем устранение других признаков книжности, – в силу того, что никакому содержательному переосмыслению они не поддаются и поэтому никакой полезной семантической

---

<sup>415</sup> Б. М. Клосс атрибутирует Епифанию Троицкую летопись и несколько других памятников исторического содержания (Клосс 1998, 100–128). Филологические аргументы, на которых он основывается, не выдерживают никакой критики, приводимый в качестве доказательства общий текстовый материал состоит из общих мест (топосов), которые ни о каком авторстве свидетельствовать не могут, типа: «по истине явися земный аггел, небесный человек» – «яко земный аггел, яко небесный человек», «всех равно любяше» – «всех вкупе равно любяше и равно чтяше» (там же, 114). Хотя для Епифания авторство летописных текстов остается гипотетическим, его знакомство с такими текстами не вызывает особых сомнений.

нагрузкой не обладают. Их употребление может быть целиком отнесено на счет консервативности книжного узуса, никакой значимой роли (сверх их функции признака книжности) они в построении книжного повествования не получают<sup>416</sup>.

А. И. Соболевский, иллюстрируя устранение форм дв. числа в памятниках восточнославянской письменности, приводит пример из Новгородской второй летописи, о нестандартных синтаксических построениях которой говорилось выше (§§ IV-3.3; V-2): «горіло два двора пустыхъ» (Соболевский 1907, 206; см.: ПСРЛ, XXX, 192 – s. a. 1572). При этом он проходит мимо куда более любопытного факта: формы дв. числа употребляются в этом памятнике со значением двоичности всего четыре раза, причем в тех фрагментах летописи, которые воспроизводят существенно более древний текст. Вот эти четыре примера: «два человека до конца *мертва быста*» (ПСРЛ, XXX, 171 – s. a. 1187); «Нынѣ же убо быша прежеречпнаго [*так в изд.*] *нашима очима* видѣхомъ великое нашествие водное» (там же, 185 – s. a. 1421; в контексте прямых ссылок на предшествующее летописание и нехарактерной для данного памятника библейской цитаты); «Онѣ же рече: “введите Гречено, попа *святую царя* Костянтина и Елены”» (там же, 187 – s. a. 1226; как именно следует интерпретировать форму *царя* – как им.-вин. дв. или как род. ед. – остается неясным; ср. ту же фразу в Новгородской первой летописи: «въвъѣдете Гръцина, попа *святую* Костянтину и Елены», НПЛ, 65, с первым именем в род. дв., ср.: Жолобов и Крысько 2001, 164); «*Заложиста* церковь камену святого Кирилу в монастыри во Лѣнезень Костянтин и Дмитрей братеники» (там же, 188 – s. a. 1196)<sup>417</sup>.

<sup>416</sup> Ю. Маруяма замечает по этому поводу, что, на ее взгляд, «книжники старорусского периода используют формы дв. ч. не просто как признак книжности, но и как композиционный прием, способ обеспечения целостности текста» (Маруяма 2011, 164). Я в принципе не исключаю такой возможности (хотя этот прием нелегко продемонстрировать на конкретных примерах), однако полагаю, что в анналистических текстах, особенно таких, как Новгородская вторая летопись, столь изощренных композиционных средств не применяется.

<sup>417</sup> Я не включаю в число этих примеров формы *очию*, *очима* (когда они не согласуются с другими формами дв. числа), несколько раз встречающиеся в тексте (см. неполный список у А. М. Иорданского 1960, 48), ср. «жену простил очию болѣзнию» (там же, 154–155 – s. a. 1552); «испусти из очию слезы» (165 – s. a. 1418); «простил духъ святѣи малчека двунатцати лѣтъ, очима» (156 – s. a. 1560); «Никита чудотворецъ жену простил, а не видела очима восемь лѣтъ» (162 – s. a. 1571); «простил богъ женушку очима» (183 – s. a. 1553); «простила человека очима» (194 – s. a. 1572); «пречистая Софѣа божи простила жонушку очима» (205 – s. a. 1542). Они по-иному распределены в хронологических слоях летописи, нежели «настоящие» формы дв. числа, и это хорошо согласуется с их статусом застывших образований (ср. форму *очима* в современных украинских и белорусских говорах). Отмечу также форму дв. числа, употребленную в значении ед. числа: «*Приидоста* в Новгород митрополит Кирилъ и поставаша [*так в изд.*] архиепископа Новугороду именемъ Долмата» (188 – s. a. 1250; реликт старой записи оригинала, в котором речь шла о приезде двух архиереев, митрополита Кирилла и ростовского епископа Кирилла – см. НПЛ, 80); составитель летописи явно не соотносит эту форму со значением двоичности.

Эти четыре примера фиксируются на фоне несравненно более частых употреблений форм мн. числа при обозначении двух предметов, ср.: «на память *святых мученикѣ* Хрисанфа и Дарьи» (148 – s. a. 1542); «велѣл *своимъ посланикомъ* Пладе и Василю» (157 – s. a. 1567); «И царь и царевичъ *поѣхали* опослѣ молебнов» (157 – s. a. 1568); «*святых безсребреникѣ* Козьма и Демьяна» (169 – s. a. 1330); «Семионъ Андрѣевичъ с матерію своею боголюбивою Наталею *заложиша* церковь камену» (173 – s. a. 1360); «*Поставиша* церковь святаго Ипатія Рядко з братомъ на Рагатици» (189 – s. a. 1183); «за церковь *святых мученикѣ* Фрола и Лавра» (192 – s. a. 1572); «Царь и патриархъ *пожаловали* его и *дали* ему грамоту» (198 – s. a. 1353), и т. д. Подобные примеры, относящиеся к разным слоям летописи, можно многократно умножить.

Составитель Новгородской второй летописи явно не осознавал специфическое грамматическое значение форм дв. числа. Для его языкового опыта гипотеза, высказанная Г. А. Хабургаевым (см. цитату выше), может быть вполне верна. Это, однако, крайний случай: Новгородская вторая летопись отдалается от книжного стандарта настолько, насколько это возможно для книжного текста (ср. приводившиеся выше примеры некнижных синтаксических построений, нередких в этом памятнике). Между данным произведением и разбиравшимся ранее Житием Сергия Радонежского располагается целый спектр текстов, различающихся степенью книжности. Их разнообразие определяется многими параметрами, устройством и характер эволюции этих параметров различны, однако для большей части этого спектра можно полагать, что значение двойственности, выражаемое формами дв. числа, так или иначе осознавалось книжниками, хотя они и не видели надобности в его последовательном употреблении.

Как мы видели, в гибридном регистре степень книжности текста непосредственно соотносена с тем, насколько часто выражается в нем значение двойственности. В некнижных текстах двойственность перестает обозначаться в XIII–XIV вв. В силу интерференции книжного и некнижного узуса это приводит к непоследовательности в обозначении двойственности и в книжных текстах, выражение двойственности в них может становиться факультативным. Оно не исчезает совсем, поскольку в воспроизводимых книжных текстах, служащих образцом для всего книжного употребления, дв. число остается нормативным вплоть до конца XVII в. Факультативность не предполагает переосмысления форм дв. числа как обозначений «множественности», она лишь снимает с книжника обязанность следить за последовательным употреблением данных форм. Это и создает традицию непостоянного (иногда лишь окказионального) обозначения двойственности, характерную для гибридного регистра. Когда такие обозначения появляются в тексте совсем редко, можно предполагать, что его автор не отдает себе отчета в значении соответствующих форм; он может себе это позволить, поскольку это не находится в прямой связи с риторической стратегией текста. Более искусные авторы значение двойственности, надо думать, осознают, но и для них дуалис является не обязательной, а факультативной категорией. При всех различиях этого рода факультативное употребление форм дв. числа оказывается дифференцирующей приметой гибридного ре-

гистра, противопоставляющей его, с одной стороны, стандартному церковнославянскому регистру, где эти формы употребляются в целом последовательно, а с другой – деловому и бытовому регистрам, где эти формы вообще не употребляются.

### 3. Дифференциация регистров письменного языка как развивающийся процесс: категория одушевленности

Своего рода обратную перспективу в процессе морфологической дифференциации регистров мы обнаруживаем в истории становления категории одушевленности. Как известно, этот процесс, в грамматическом отношении единый, распадается на два четко различимых этапа. Первый этап, начинающийся еще в дописьменную эпоху, охватывает формы ед. числа и выражается в синкретизме форм вин. ед. и род. ед. у одушевленных существительных *о*-склонения и *і*-склонения, противопоставленном синкретизму вин. ед. и им. ед. у неодушевленных существительных *о*-склонения и *і*-склонения. Этот этап в живом языке завершается в XIII–XIV вв. Второй этап, начальные явления которого обнаруживаются весьма рано (еще в XI в.), распространяет тот же процесс на формы мн. числа (всех склонений). И здесь он выражается в синкретизме форм вин. мн. и род. мн. у одушевленных существительных, противопоставленном синкретизму вин. мн. и им. мн. у неодушевленных существительных. Основные изменения, характеризующие этот этап, совершаются в XIV–XVII вв.

Причиной изменения формы одушевленного объекта обычно считается стремление избежать потенциального смешения субъекта и объекта. В типичной ситуации субъект является одушевленным (и определенным), а объект неодушевленным (и неопределенным) или, в более аккуратной формулировке, агентивность субъекта превышает агентивность объекта (ср. о иерархии агентивности/субъектности: Гиро-Вебер 2011, 105–114). В обычных обстоятельствах объект отличается от субъекта «by virtue of their feature constituency». Если, однако, свойства объекта отличны от типичных и он является одушевленным (или определенным), он вступает в конкуренцию с субъектом и в силу этого должен быть эксплицитно маркирован как объект (Комри 1979).

Как мы неоднократно отмечали в этой книге, опасность смешения нередко преувеличивается. Если у нас есть два аргумента *волк* и *мальчик* и предикат *съесть*, очевидно, – если не делать противоестественных предположений (а противоестественное никогда не грамматикализуется), – что субъектом окажется волк, а объектом мальчик, и никакой особой необходимости «to disambiguate S and O» (Братишенко 2003, 94) не возникает. Как пишут П. Хоппер и С. Томпсон, комментируя объяснения, предлагаемые Б. Комри для особенностей маркировки одушевленного или определенного объекта в языках мира, «one objection to this explanation is that many languages quite readily tolerate confusability at the sentence level between subject and O <...>; consequently, it is unlikely that this factor alone would result in such a widespread grammatical phenomenon. In general, we feel that the DISTINGUISHING

function of morphological and syntactic phenomena has been over-emphasized in linguistics; at least as important is the INDEXING function, which indicates that a certain NP is 'an O', and which only incidentally serves to contrast that O with another NP which is a subject or has some other NP role» (Хоппер и Томпсон 1980, 291, ср. с. 259; со ссылкой на: Моравчик 1978). Как подчеркивает А. Тимберлейк, «язык будет использовать все те средства, которые ему доступны, чтобы снабдить объекты, являющиеся одушевленными (или определенными, индивидуализованными, местоименными – в зависимости от языка) таким морфологическим показателем, который отличался бы от показателя субъекта действия» (Тимберлейк 1996, 9)<sup>418</sup>.

Вопрос о маркировке нетипичного объекта, который встает в самых разных языках и решается в них с помощью разных морфосинтаксических средств, не следует путать (как это делают многие исследователи, в том числе и Е. Братищенко) с другим вопросом: почему в славянских языках эта маркировка осуществляется формой род. падежа. Обычное объяснение состоит в том, что источником вин.=род. одушевленных существительных служит родительный прямого объекта, относительно широко представленный в средневековых восточнославянских памятниках (и сохраняющийся в ряде русских говоров в существенно большем объеме, нежели в литературном языке – см. о генетивном управлении: Малышева 2008; Малышева 2010). В наиболее приемлемом виде эта гипотеза сформулирована Эмили Кленин, которая пишет: «What happened to the genitive objects that were lost is that they were morphologically reanalyzed as genitive-accusative; the source of the genitive-accusative was the morphological reanalysis of genitive objects» (Кленин 1983, 104). Неудобство этой гипотезы, которое в полной мере осознает сама Э. Кленин (там же, 108), состоит в том, что генетивное управление типологически соотносится с отсутствием индивидуализованности, неопределенностью, пониженной агентивностью, пониженной транзитивностью и т. д. (ср.:

---

<sup>418</sup> Существенные соображения, противоречащие теориям происхождения вин.=род. как стремления избежать омонимии субъекта и объекта, восходящим еще к А. И. Томсону (Томсон 1908), см. у Э. Кленин: Кленин 1983, 12–17. В наиболее очевидное противоречие данные теории вступают с «the history of the genitive-accusative in pronoun declensions, which developed genitive-accusative syncretism even in paradigms that had previously had a nonsyncretic accusative form» (там же, 15). В недавнее время, следуя за Б. Комри, нетерпимость омонимии субъекта и объекта как основной фактор развития вин.=род. отстаивала Е. Братищенко (Братищенко 2003). Отвергая аргумент, апеллирующий к склонению местоимений, она пишет, что «even if the attested paradigms of this and other demonstrative pronouns do not exhibit nominative-accusative syncretism *per se*, there remains the hypothetical possibility of its prehistoric approximation (in the form of a single stem shared by animate and inanimate demonstrative pronouns throughout the paradigm as the result of the above-mentioned Balto-Slavic change) – if not actual existence, as suggested by the relative pronoun nominative sg. masc. *jъze* and the nominative ending *-jъ* of long-form adjectival forms. This nominative formally coincides with the accusative case of the personal pronoun» (там же, 94). Стремление избежать омонимии с несуществующей формой не может, конечно, быть фактором, продуцирующим вин.=род. Никакой прямой зависимости становления вин.=род. от угрозы смешения субъекта и объекта не устанавливается, и постулирование столь прямолинейных механизмов исторической динамики языка представляется неоправданным.

Хоппер и Томпсон 1980, 279). Вместе с тем вин.=род. употребляется прежде всего в тех контекстах, которые характеризуются индивидуализованностью, определенностью, повышенной агентивностью и транзитивностью (см. ниже). Таким образом, морфологическая реинтерпретация оказывается связанной с семантическим (и прагматическим) перевертыванием.

В этом контексте кажется любопытной, хотя все же натянутой гипотеза Е. Братишенко о связи вин.=род. с приименным генетивом принадлежности. Братишенко справедливо замечает, что посессор, обладающий одушевленностью и вообще повышенной агентивностью, обозначается в древних восточнославянских текстах с помощью притяжательного прилагательного, тогда как «нетипичный» посессор (неагентивный, неодушевленный, неиндивидуализованный и т. д.) обозначается приименным генетивом, ср., например, *радость велика о Глѣбовѣ приѣздѣ* vs. *възбране отрока* (Братишенко 2003, 98, 99). Как замечает Братишенко, «the pattern of attestations of adnominal genitive in possessive constructions and of genitive-accusative in transitive constructions is regulated by a single agent/possessor hierarchy. The identity of agent and possessor is based on features common for both semantic roles, making agent/possessor a linguistic gestalt comprised of lexical, morphological, syntactic, and referential features. The prototypical S stands for the prototypical agent of an action, which in turn corresponds to the prototypical possessor. In early OESl, genitive-accusative in transitive constructions and adnominal adjective in possessive constructions were associated with S use typical of the agent/possessor, while adnominal genitive is correlated with the patient/possessed, or status. Since proper personal stems denoting prototypical possessors predominantly formed individual personal adjectives in OESl, adnominal genitive usage was unproductive among the most agentive nouns (Мейе 1897, 150). It may be concluded then, that genitive, associated with the Patient/Possessed and status and greatly under-employed in possessive constructions, was available for use in transitive constructions as a marker of a non-prototypical O. Due to its typological association with O, it was the most fitting case for non-prototypical marking» (там же, 101).

Так появляется дифференцирующая маркировка одушевленного объекта. Задача дифференцирования объясняет, почему вин.=род. развивается в парадигмах только тех имен, в которых имел место синкретизм им. и вин. падежей. Для существительных ед. числа *о*-склонения это условие оказывается выполнено уже в общеславянском (после отпадения конечных согласных во флексиях им. и вин. падежей, *\*-os* и *\*-om*), и процесс утверждения вин.=род. у одушевленных существительных носит общеславянский характер. Показательно при этом, что в том славянском диалекте, в котором синкретизм им. и вин. падежей в *о*-склонении отсутствовал, распространение вин.=род. задерживалось. Имею в виду древненовгородский диалект, в котором им. ед. имел флексию *-е*, а вин. ед. – флексию *-ѣ* (см. выше, § III-7). Конечно, и в новгородских текстах встречается вин.=род. у одушевленных существительных, который, видимо, следует объяснять влиянием общевосточнославянского письменного койне и/или книжного языка, однако вин.=им. появляется здесь и в берестяных грамотах XIII–XV вв., когда в восточнославянских текстах другого диалектного происхождения вин.=им. от одушевленных существительных практически не встречается (Крысько

1994а, 78–96; Зализняк 2004а, 105–107); вин. на -ъ от одушевленных существительных исчезает в новгородских текстах параллельно с исчезновением форм им. ед. на -е, хотя полного параллелизма у этих двух процессов нет, поскольку форма вин. на -ъ от одушевленных существительных, встречающаяся и в новгородских памятниках, более приемлема (имеет менее выраженный диалектный характер), чем форма им. ед. на -е (Крысько 1994а, 82–83, 88–89). Вытеснение формы вин.=им. формой вин.=род. в парадигмах мн. числа также следует за возникновением синкретизма им. и вин. падежей мн. числа; первые примеры появляются уже во второй половине XII в. (берестяная грамота из Старой Русы № 10 – Зализняк 2004а, 447–448), хотя не как окказионализм такие формы распространяются лишь с XIV в.

Динамика процесса (на обоих этапах) весьма характерна; становление вин.=род. от одушевленных существительных может служить образцовой иллюстрацией того, как в натуральном порядке совершаются изменения в языке. На обоих этапах изменение совершается в результате рекуррентного семантического переосмысления образующихся морфологических вариантов, т. е. форм вин.=им. и форм вин.=род. у одушевленных существительных. Упрощая, можно сказать, что формы вин.=им. употребляются в тех случаях, когда одушевленный объект лишен индивидуализации (типа *послати посолъ*), а формы вин.=род. – когда индивидуализация имеет место. Индивидуализация связана со статусом, с уровнем агентивности имени; одушевленные существительные с пониженным уровнем агентивности, такие, как *рабъ*, могут обнаруживать тенденцию к употреблению вин. ед., равного им. ед. Уровень индивидуализации может быть различен, и динамика процесса состоит в том, что условия, при которых употребляется вин.=им., становятся все более и более ограниченными, пока, наконец, не сводятся к пустому множеству, что и означает завершение соответствующего этапа. Поскольку в процесс вовлечено несколько взаимодействующих факторов, зависимость выбора формы от семантики и прагматики непрямолинейна; наряду с примерами, в которых выбор формы четко демонстрирует значимые для пишущего критерии, имеется область несистематизированного (случайного) употребления, не согласующегося с простыми семантическими оппозициями; как и в других случаях, узус менее структурирован, чем побуждает думать структуралистский идеал.

Вариативность присутствует на протяжении всего протекания изменения, но это не полностью свободная вариативность, а вариативность, на которую влияют определенные факторы. Вин.=им. сохраняется у неиндивидуализованных объектов, объектов с низкой агентивностью, ограниченной субъектностью, выраженной недетерминированностью и т. д., каждый из этих факторов влияет на параметры употребления вин.=им. в том смысле, что вин.=им. чаще употребляется при их наличии, чем в их отсутствие. Зависимость имеет не абсолютный, а статистический характер. Мы не можем объяснить каждое из наблюдаемых употреблений и ряд случаев вынуждены отнести на произвол говорящего. Он или она могут сказать *бѣсѣ имаша* или *бѣса имаша*, и нам остается лишь гадать, чисто случайна эта вариативность или обусловлена разными представлениями говорящих о субъектности нечистого духа, обитающего в бесноватом. Однозначные зави-



симости в данной сфере вообще, видимо, не существуют. Статистические параметры характеризуют не только вариативность, но и сам процесс изменения: он состоит не в замене одного правила другим, а в постепенном изменении статистических параметров, когда, например, при наличии всех перечисленных выше факторов вин.=им. от одушевленных существительных появляется все реже и реже.

В этой перспективе кажется неоправданной та трактовка становления одушевленности, которую предложил В. Б. Крысько в монографии, с наибольшей тщательностью и широтой описывающей данный процесс. Согласно Крысько, вариативность вин.=род. и вин.=им. полностью хаотична, в течение длительного времени они находятся в свободной вариации, и ни один из факторов не в состоянии объяснить эти колебания в узусе. А. Тимберлейк пишет по этому поводу: «Во всех тех случаях, когда наблюдается вариативность, зависящая от того или иного фактора, Крысько показывает, что этот фактор не может сам по себе объяснить все случаи употребления каждого из вариантов» (Тимберлейк 1996, 12). Вот эта ложная презумпция всеобщности (полного охвата), никак не похожая на то, что мы знаем о функционировании языка вне условий строгой нормализации, и обуславливает неправомерность интерпретации. Приведу пример.

А. Мейе связал использование вин.=род. с определенностью объекта (Мейе 1897, 59–60); выделенная маркировка определенного (или референциального) объекта находит множество типологических параллелей (см.: Хоппер и Томпсон 1980, 256–259; Гивон 1979; Гивон 1995, 47–53), так что вывод Мейе может быть подкреплён дополнительными аргументами. Мейе указывал, что в старославянском евангельском тексте *rabъ* употребляется в вин.=род. в тех случаях, когда соответствующее существительное (δοῦλος) в греческом оригинале употреблено с артиклем, тогда как в род.=им. в тех случаях, когда δοῦλος оказывается без артикля<sup>419</sup>. Крысько продельывает аналогичные подсчеты на вполне обширном корпусе анализируемых им текстов, исследуя употребление названий животных и постулирует «отсутствие непосредственной связи между выражением определенности в греческом и выбором В=И либо В=Р в славянском» (Крысько 1994а, 64). Приводимые им цифры говорят, однако же, об обратном. Укажу на эти данные: «Из 132 примеров В=Р 67 (50,8%) соответствуют существительным с артиклем <...> однако в 47 случаях (35,6%) греческие тексты содержат нечленные формы <...> С другой стороны, среди 104 контекстов с В=И 50 (48,1%) передают нечленные формы оригинала <...> но в 33 примерах (31,7%) формой В=И переводятся имена с артиклем» (там же, 63–64). Легко убедиться, что в анализируемом материале имелось 100 (67+33) примеров греческих имен с артиклем; в 67% случаев они передаются формой вин.=род., а в 33% – вин.=им., т. е. в двух третях всех примеров наличие определенного артикля предсказывает появление вин.=род. Конечно, данный фактор не действует с абсолютной последовательностью, но этого было бы странно ожидать, по-

<sup>419</sup> Замечу между прочим, что Мейе аккуратнейшим образом оговаривается, что «cette règle relative à l'emploi de *rabъ* et *raba* ne se trouve du reste vérifiée que dans l'Évangile» (Мейе 1897, 60).

скольку это лишь один из факторов (и он может оказываться в противодействии с другими, что и создает непоследовательность выбора) и, возможно, не самый важный (поскольку категория определенности в славянском реализовалась иначе, чем в греческом). Статистические данные, однако, однозначно свидетельствуют о том, что соотносительность определенности с выбором формы вин.=род. имеет место.

В соответствии с этой линейной (абсолютная детерминированность – отсутствие всякой зависимости) картиной вариативности процесс изменения оказывается у Крысько механистическим. Сначала преобладает старая флексия, потом имеет место «свободная вариативность обеих форм», потом «новое преобладание одной из флексий» и, наконец, «закрепление одного из варьировавшихся окончаний» (там же, 52). Вариативность немотивирована, а попытки «семантической мотивации вариативности» случаются только в «книжно-литературном» языке, остаются искусственными и лишь в отдельных случаях могут быть «навязаны» разговорной речи (там же). Никаких доказательств искусственности мы обнаружить не в состоянии. Как уже говорилось, при наличии в языке двух вариантов формы или конструкции носитель обычно стремится сделать из этого изобилия какое-либо употребление, использовать его для решения каких-то содержательных или стилистических задач. Носитель обычно делает это достаточно непоследовательно, так что подобные интенции обнаруживаются лишь статистически, однако к искусственности таких опытов это никакого отношения не имеет.

И в самом деле, разные типы семантической и прагматической мотивированности могут быть отмечены на разных этапах становления категории одушевленности, причем отмечены в текстах разных типов, отнюдь не только в «книжно-литературных». Так, например, описывая распределение вин.=род. и вин.=им. в новгородских берестяных грамотах, А. А. Зализняк разделяет существительные на несколько разрядов. В первый разряд включены имена собственные, обозначающие лиц (этот разряд подразделяется на употребленные без сопровождающего имени нарицательного и с сопровождающим именем нарицательным). Во второй разряд входят имена нарицательные, обозначающие лиц и подразделяемые на употребленные в сопровождении имени собственного и без такого сопровождения. В этой группе существительные далее классифицируются по «иерархическому статусу» (уровню социальной активности); Зализняк различает высокий статус (*отъць, господинъ, кѣназь* и т. д.), низкий статус (*холопъ, отрокъ*) и промежуточное множество (средний статус). В третий разряд входят все прочие слова (неодушевленные и названия животных). В первой группе господствует вин. на -а, практически абсолютно для имен, не сопровождающихся именем нарицательным. Во второй группе предпочтение отдается вин. на -а, хотя возможны обе формы и «выбор отчасти зависит от “иерархического статуса”»: у слов «высокого статуса» предпочитается вин. на -а, у слов “низкого статуса” господствует В. ед. на -ѣ, а у слов «среднего статуса» первоначально доминирует вин. ед. на -ѣ, но с течением времени увеличивается пропорция вин. ед. на -а, что и представляет собой процесс становления категории одушевленности. В третьем разряде возможен только вин. ед. на -ѣ (Зализняк 2004а, 105–107).

В Новгороде, как уже говорилось, утверждение вин.=род. происходит позже, чем на других восточнославянских территориях, однако ход процесса аналогичен тому, что наблюдается в других областях (которые, правда, не дают столь показательного материала, как свидетельства берестяных грамот). И фактор социальной активности (статуса), отмеченный Зализняком для новгородского материала, имеет повсеместную значимость. Конечно, как отмечает Зализняк, «влияние данного признака на выбор формы В. ед. носит не жесткий, а статистический характер» (там же, 106). Так же обстоит дело и в других восточнославянских реализациях того же процесса (ср.: Хабургаев 1990, 168–170), дискуссионной остается лишь скорость, с которой в различных восточнославянских диалектах вин.=род. распространялся на наименования лиц с «низким статусом»<sup>420</sup>.

Социальный статус – лишь один из параметров, воздействующих на выбор формы вин. ед. Степень агентивности объекта может быть связана не только с социальным статусом, но и с тем контекстом, в котором упоминается данное лицо. На выбор вин.=род. или вин.=им. может влиять не семантика существительного, а семантика того предложения (или даже более обширного, чем предложение, контекста), в котором оно употреблено. Как показал А. Тимберлейк, данный выбор зависит и от того, в каком аспекте сообщается о лице. «In what might be termed existential reference, the individual is relevant only by virtue of the property that identifies the individual. For example, in *и приа градъ. и посади мѹжь сво*» <с. а. 6390, 1. 8.>, the noun has purely existential reference: all that is known, and all that is relevant, is that the person stands in a certain relation to the subject. <...> Alternatively, an individual may be relevant to the discourse for properties other than those that define it, such as when other properties are known of the individuals; this mode of reference might

<sup>420</sup> Г. А. Хабургаев полагал, видимо, необоснованно, что «повседневная речевая практика уже в древнерусское время не дифференцировала в В. ед. ч. названий лиц различного социального положения» (Хабургаев 1990, 169), а видимые диспропорции, наблюдаемые в памятниках письменности, объясняются приверженностью «переписчиков традиционным нормам» (там же).

Данные берестяных грамот делают этот вывод сомнительным, причем не только для новгородского материала, но и для всего восточнославянского ареала. Степень агентивности, соотнесенная с социальным статусом, – это отнюдь не искусственный параметр, и действовал он, видимо, и в разговорной, и в письменной речи. Понятно, что он определял статистические соотношения, но не создавал абсолютных запретов. Отсюда может делаться неправомерный в своей радикальности вывод, согласно которому «противопоставление личных существительных по признаку социальной активности их денотатов не может быть признано релевантным для выбора старой либо новой формы ВП. Практически все личные наименования обнаруживают в древнерусских памятниках сосуществование обеих форм, не обусловленное никакими семантическими факторами» (Крысько 1994а, 35). Из существования вариативности (обусловленной, в частности, действием иных, отличных от социального статуса факторов), не следует выводить заключение о нерелевантности семантических факторов (ср. некоторые критические соображения о трактовке рассматриваемого параметра у Крысько в работе Ильченко 2011, 23–34; в этой работе, необъяснимым образом, не учтены те факты и интерпретации, которые даются в «Древненовгородском диалекте» Зализняка 2004 г.).

be termed individuated» (Тимберлейк 1997б, 50). Когда объект индивидуализирован, он стоит в вин.=род., когда же высказывание имеет экзистенциальную модальность, чаще употребляется вин.=им. Типичными примерами второго типа являются *посла мѹжь свон* или *и посади мѹж<sup>б</sup> свон* (там же, 51). Этому противостоят индивидуализованные объекты в *мѹж<sup>а</sup> твоего оубихомъ* или *Володимеръ цѣловавъ брата своего и понде Переяславлю* (там же). Именно в рамках этой дискурсивной дихотомии может быть объяснено такое нестандартное употребление, как *чемѹ кси слѣпилъ бра<sup>т</sup> свон*, с которого Тимберлейк начинает свою статью<sup>421</sup>. Понятно, что в некотором очень общем смысле этот фактор сходен с фактором социального статуса: у лица с высоким социальным статусом больше шансов попасть в нарратив как индивидуализованная фигура, однако факторы эти никак не тождественны, так что *мужь*, далеко отстоящий от холопов и отроков, в экзистенциальном контексте получает вин.=им. Противоречивое взаимодействие подобных факторов не может не обуславливать вариативности, хотя вряд ли вся вариативность может быть отнесена на счет этого явления (в отдельных случаях мы имеем дело с чистым произволом говорящего или пишущего).

Замечательным образом, аналогичные в целом факторы воздействуют и на выбор вин.=род. или вин.=им. у одушевленных существительных во мн. числе. Как говорилось выше, первые формы вин.=род. у существительных м. рода во мн. числе появляются уже в XII в. Едва ли не исчерпывающую сводку ранних примеров приводит В. Б. Крысько (Крысько 1994а, 105–113). Среди этих ранних примеров имеются такие, которые обусловлены той самой оппозицией экзистенциального и индивидуального контекста, воздействие которой мы наблюдали при выборе вин.=род. или вин.=им. у существительных в ед. числе. Тимберлейк приводит пример из ПВЛ: «*наоутриа же Сѣтополкъ созва боляръ и Кыянь и повѣда имъ еже бѣ ему повѣдалъ Дѣдъ*» (ПСРЛ, I, стб. 259, л. 87об., s. a. 6605). Это употребление контрастирует с обычным словосочетанием *созвати боляре*, в котором «существительное представляет собой органический или внутренний для данного действия объект; сочетание глагола и имени создает целокупную картину» (Тимберлейк 1996, 12–13). И далее Тимберлейк пишет: «Когда же *Сѣтополкъ созва боляръ и Кыянь*, его целью было не попросить у них совета, но внушить народу свою обманную версию событий. Иными словами, его целью было не создать ситуацию (противопоставленную отсутствию такой ситуации), участниками которой были бы лица, удовлетворяющие формуле и действующ-

<sup>421</sup> Тимберлейк рассматривает этот пример «as an occasional, but not wholly arbitrary, extension of the prototypical formula for the nominative-accusative ({*посади мѹжь свон*}) <...> the narrative ultimately concerns a specific person, but the question does not ask 'Why did you blind Vasilko', for simply blinding a person named Vasilko would not have been the heinous act that the princes accuse Svjatopolk of having committed. Rather, they accuse him of having acted in a certain way with respect to someone who stands in a certain relationship to Svjatopolk himself. The individual is relevant to the current discourse by the virtue of being in that relationship rather than for specific qualities as Vasilko <...> As David and Oleg point out, this event is understood as a token of a type of event: *такъ сего не было въ родѣ нашемъ*» (Тимберлейк 1997б, 56).

щие именно в этом качестве (что соответствовало бы употреблению  $V = I$ ), но оказать вполне определенное воздействие, создающее одно из ряда возможных состояний, на индивидов, участие которых не вытекает автоматически из описываемого события (как это и должно быть при  $V = P$ ). В силу тех же причин и другие примеры относительно раннего употребления  $V = P$  от существительных м. рода во мн. числе, которые приводит Крысько, тяготеют к семантически ограниченной группе глаголов – либо к глаголам перемещения (*сгонити*), либо к глаголам насильственного изменения состояния (*избити*) [Крысько 1994а: 106–107]. Оба эти типа глаголов сообщают, как правило, о результатах воздействия на уже существующее множество предметов или лиц, а не о создании ситуации. Эти факты соответствуют более общей закономерности, по которой, когда  $V = I$  и  $V = P$  находятся в отношении вариативности, различие между ними касается типа описываемой ситуации; если описывается ситуация, участники которой определены формулой, вытекающей из природы события, употребляется  $V = I$ , если же речь идет о специфическом действии в отношении независимо определяемых индивидов, появляется  $V = P$ » (там же, 13).

Этот фактор (характер ситуации) органически связан с процессом дифференциации *вин.=род.* и *вин.=им.*, с маркированием объектов, обладающих повышенной агентивностью, и действует в течение всего периода, когда сохраняется вариативность двух форм *вин. мн.* Его действие отнюдь не ограничивается книжными текстами (такими, как летописи), но характерно и для текстов не книжных. Тимберлейк проанализировал употребление двух форм *вин. мн.* в полоцких грамотах XV в. (отправленных из Полоцка в Ригу), изданных Фр. Бунге (Бунге 1974–1981) и исследованных в свое время Хр. Стангом (Станг 1939).

Процесс вытеснения формы *вин.=им.* формой *вин.=род.* у существительных м. рода во мн. числе в этой разновидности делового языка находится на весьма продвинутой стадии, однако *вин.=им.* все еще встречается. Он представлен практически только в рамках одного трафарета. «In this template, the object noun (often modified by the reflexive possessive adjective) describes possible individuals who perform a certain function. Rather than reporting a change in one property of some existing entity, the verb reports that a situation has come into existence. A canonical example would be: *А про то есмѣ посылали к вамъ послы свои на имя [...]* <...> The sense of the sentence (and of the template in general), is 'by sending people who fit the definition of representative, we have created a situation to which you, addressee, should respond'» (Тимберлейк 1997б, 58). Тимберлейк указывает, что здесь действуют те же факторы, которые можно было наблюдать в Повести временных лет. «In both varieties of language (from different time periods, different geographical areas, and with different textual functions), the genitive-accusative is resisted when the whole sentence reports the action viewed as the token of a type (specifically, as the creation of the existence of a type of situation), in which, further, the noun names individuals relevant as representatives of types, not as individuals whose stories will be of interest in their own right» (там же, 60). На этом основании формулируется и общий принцип: «Whenever a context develops variation, one expect to see the genitive-accusative appear when the information reported by the

predicate concerns changes in a specific entity whose properties, over and above the property that defines the individual, are relevant to the discourse; the old accusative will be maintained if the predicate reports holistic situations involving an entity which represents a type» (там же).

Изложенные выше сведения представляют собой общий очерк истории становления категории одушевленности, обобщающий накопленные в этой области знания и лишь в ограниченной мере меняющий принятые концепции развития данного процесса. Его реализация, однако, существенным образом зависит от типа текста, хотя эта зависимость неодинакова в случае форм ед. и мн. числа. Первый этап, вытеснение форм вин.=им. формами вин.=род. у одушевленных существительных м. рода в ед. числе, засвидетельствованный письменными памятниками XI–XIV вв., затрагивает тексты всех регистров и развивается в них, насколько можно судить, практически параллельно; стандартные церковнославянские тексты лишь немногим более консервативны, чем тексты других регистров. Правда, о бытовом и деловом регистрах мы в основном можем судить лишь по новгородским документам, а в Новгороде, как уже говорилось, рассматриваемый процесс происходит с запозданием, обусловленным исходным отсутствием синкретизма им. ед. и вин. ед. в *о*-склонении. Однако это запоздание ничуть не больше выражено здесь в некнижных текстах (берестяных грамотах), чем в текстах книжных (например, Новгородской первой летописи)<sup>422</sup>. Те ограниченные сведения, которыми мы располагаем для неновгородской некнижной письменности, также никак не свидетельствуют о радикальных различиях между книжной и некнижной письменностью в интересующем нас отношении. Конечно, стандартные церковнославянские тексты несколько более консервативны, чем тексты гибридные (прежде всего летописи), но это не создает, как кажется, регистровой оппозиции. Старые формы вин.=им. не превращаются в признак книжности текста, они постепенно исчезают и из стандартных церковнославянских текстов, сохраняясь лишь в виде единичных реликтов, не маркирующих характер памятника. Стандартные книжные тексты никак не более последовательны в употреблении форм вин. падежа, чем тексты гибридные.

Поскольку стандартные церковнославянские тексты как малопоказательные для истории живого языка лишь в ограниченной мере привлекали к себе внимание исследователей, приведу некоторые фрагментарные данные, иллюстрирующие сделанные выше утверждения. Обращусь к Остромирову евангелию, представляющему в текстологическом отношении «древний текст» славянского перевода (Алексеев и др. 1998, 8–9; Алексеев и др. 2005, 9), вполне архаичный в тех элементах своей морфологии, которые не подвергались автоматическому редактированию при переписке (формы вин. ед. *о*-склонения несомненно относятся к их числу). В этом тексте для одушевленных существительных м. рода формы вин.=им. составляют менее

<sup>422</sup> Скорее имеет место обратное соотношение, поскольку на новгородское летописание могла оказывать влияние киевская анналистическая традиция, в которой процесс становления вин.=род. от одушевленных существительных развивался без новгородского запаздывания (ср.: Крысько 1994а, 85–92).

трети, а формы вин.=род. более двух третей всех соответствующих форм<sup>423</sup>. Можно сказать, таким образом, что в этом древнейшем памятнике восточнославянского извода церковнославянского языка вин.=род. у одушевленных существительных о-склонения является доминирующим вариантом; это доминирование можно приписать исходному этапу развития стандартного церковнославянского на восточнославянской почве.

Распределение вин.=им. и вин.=род. обнаруживает определенные содержательные тенденции, хотя и не полностью исключает область немотивированной вариативности. Поскольку маркированным является вин.=им., именно его употребление заслуживает отдельного комментария. Можно сказать, что вин.=им. преимущественно употребляется в деиндивидуализованном контексте, описывающем возникновение ситуации, в которой объект выступает не как носитель индивидуальных свойств, а как исполнитель определенной роли. Так, например, в Лк. 14: 17 мы находим: **и посла рабѣ свои. въ годѣ вечери. рещи зъваннымъ придѣте** (ОЕ, л. 107а). Это тот же трафарет, который знаком нам из летописей (**посла/посади моужь свои** или **посла солъ свои**) и полоцких грамот (**посылали к вамъ послы свои**) и предполагает, что объект действия является деперсонализированным агентом субъекта действия. Это употребление противостоит таким, например, как Мф. 26: 51: **и оударь раба архiereова. и оуръза кмоу оухо** (ОЕ, л. 161б; ср. аналогично Лк. 22: 50 – ОЕ, л. 293б; вин.=род. в Мф. 26: 51 употребляется без вариантов – Алексеев и др. 2005, 146) или Лк. 2: 29: **Нынѣ отъпоустистиши раба твоего блко** (ОЕ, л. 264г); в обоих случаях объект индивидуализован и действие, совершенное над ним, не вытекает из того, в какой роли он выступает в отношении к субъекту.

Сходные соображения могут быть высказаны и относительно Мф. 18: 24: **приведоша кмоу дѣжьникъ кдинъ** (ОЕ, л. 75а); герой притчи вводится в

<sup>423</sup> Мы подсчитывали употребления всех одушевленных существительных вне зависимости от характера их одушевленности, включая сюда названия животных и такие имена, как дух или бес, одушевленность которых может быть проблематична (см. ниже); потенциально это могло несколько увеличить пропорцию вин.=им. Мы не подсчитывали употреблений вин.=им. и вин.=род. после предлогов, поскольку примеры здесь единичны, непоказательны и лишь затемняют общую картину, ср.: **на господина** (ОЕ, л. 268в. – Мф. 20: 11; в Мариином евангелии **на гнѣ**, однако почти повсеместно, в частности и в старославянских рукописях – **на господина** – Алексеев и др. 2005, 107); **на развонника** (ОЕ, л. 161г. – Мф. 26: 55; ОЕ, л. 293б – Лк. 22: 52; для Мф. 26: 55 других вариантов нет – Алексеев и др. 2005, 146); **на свои скотъ** (ОЕ, л. 103б – Лк. 10: 34).

Замечу еще, что приводимые мною статистические данные неточны. При подсчетах я пользовался указателем к ОЕ, составленным А. Х. Востоковым (исправляя, естественно, допущенные им ошибки в определении грамматических характеристик). Востоков, по понятным причинам, статистике значения не придавал и в ряде случаев полных данных не приводил. Например, для формы вин. ед. **отъца** Востоков приводит три примера, а затем указывает «**бца**. тож, во мн. местах» (Востоков 2007, 198 второй пагинации). Без этих не приведенных Востоковым примеров в ОЕ оказывается 34 употребления вин.=род. и 17 употреблений вин.=им., что и позволяет говорить, что пропорция вин.=род. составляет более двух третей. На самом деле эта пропорция еще выше, однако для наших иллюстративных целей вполне достаточно и этих приблизительных данных.

нарратив деиндивидуализованно, как один из многих рабов царя, приведенных к нему для финансового разбирательства. Эта имперсональность и индуцирует вин.=им., хотя данный фактор работает не всегда, с какого-то времени он перестает действовать, и в поздних евангельских рукописях появляется вариант с вин.=род. (дѣлѣжника єдино҃го или єдино҃го дѣлѣжника) (Алексеев и др. 2005, 99). Несколько сложнее обстоит дело с Мф. 10: 37: **иже любѣтъ оца или матере҃ паче мене҃ нѣсть мене҃ достоинѣ и иже любѣтъ сынѣ или дѣщерѣ паче мене҃ нѣсть мене҃ достоинѣ** (ОЕ, л. 58г–59а); сынѣ здесь – это совершенно произвольный неиндивидуализованный сын, the token of a type, что, надо думать, и обуславливает выбор вин.=им. Однако то же самое можно сказать и об отце, для которого тем не менее выбрана форма вин.=род.; в данном случае, видимо, сказывается «иерархический статус» объекта<sup>424</sup>. Такая сложная обусловленность не благоприятствует стабильности, и в большинстве рукописей, начиная с Ассеманиева евангелия и Саввиной книги, обнаруживаем вин.=род. сѣна (Алексеев и др. 2005, 59)<sup>425</sup>.

В еще одной группе примеров мы имеем дело с употреблением, в которых редуцирована агентивность объекта, что и служит, надо полагать, основанием для выбора вин.=им. Сюда можно отнести названия животных. Хотя В. Б. Крысько говорит о «референциальной однородности наименований людей и животных» и утверждает, что вин.=род. развивается у названий

<sup>424</sup> «Иерархический статус» сказывается, видимо, и в употреблении вин.=им. в Лк. 2: 12: **обращаете҃ младенець повѣтъ** (ОЕ, л. 250б). И здесь, впрочем, можно говорить об интродукции главного персонажа, возникновении исходной ситуации (экзистенциальном контексте).

<sup>425</sup> Рассуждая в этих же терминах, можно попробовать объяснить и род.=вин. сынѣ в конце первой главы от Матфея, Мф. 1: 21–25: **родитѣ же сынѣ. и наречешѣ има҃ емѣ нѣс тѣ во спсѣти люди҃ свои҃ отъ грѣхѣ нѣхъ <...> се҃ дѣла вѣ чрѣвѣ приметѣ. и родитѣ сѣнѣ <...> дондеже роди сѣнѣ свои҃ первѣнѣцѣ. и нарече҃ има҃ кмоу҃ нѣсѣ** (ОЕ, л. 247г–248б), ср. еще Лк. 2: 7: **и роди сѣнѣ свои҃ первѣнѣцѣ. и повѣтъ ю҃го и положи и вѣ паслахѣ** (ОЕ, л. 250а). И здесь мы имеем дело с нарративной интродукцией: возникает новая ситуация, противопоставленная отсутствию ситуации, и герой этой ситуации сначала вводится в повествование имперсонально, как осуществление пророчества Исайи, чтобы затем раскрылись Его индивидуальные черты. Это, надо думать, существенная трансформация того трафарета, в котором объект – это не более чем исполнитель типической функции; как всякая переработка трафарета, данное употребление попадает в зону вариативности, так что во многих рукописях, начиная с древнейших, мы находим сѣна наряду с сынѣ, причем в трех примерах из Мф. 1: 21–25 в одной рукописи могут использоваться разные варианты (см.: Алексеев и др. 2005, 23).

В подобных отступающих от трафаретной сетки примерах вариативность, видимо, – совершенно обычное явление; отдельные примеры нетрудно найти и в ОЕ, ср. Мк. 16: 62: **и оузырѣте҃ сына члѣвѣска҃го. одеснѣю҃ сѣдѣща҃ силѣ и градѣща҃ сѣ облакѣ нѣбѣскѣи҃ми** (ОЕ, л. 291бв) и Лк. 21: 27: **и тогда оузырѣтъ сынѣ члѣвѣскѣи҃. идѣщи҃ на облацѣхѣ сѣ силоу҃ж и сѣ славоу҃ж мѣноу҃ж** (ОЕ, л. 120аб). При желании и здесь, конечно, можно увидеть некоторые семантические нюансы: в Мк. 16: 62 Иисус отвечает архиерею, говорит, что Он Сын Божий и затем, говоря о Себе, предрекает пришествие Сына Человеческого, а в Лк. 21: 27 Иисус обращается к ученикам, говорит им о последних днях и о пришествии Сына Человеческого, не указывая прямо на Себя. Трудно, однако, утверждать, что такие нюансы могли воздействовать на выбор пишущего.



животных параллельно развитию его у названия людей (Крысько 1994а, 68, 54–56), он здесь, как и в своей работе в целом, не учитывает статистические параметры: активные люди существенно чаще появляются в вин.=род., чем животные<sup>426</sup>. В ОЕ находим Ин. 10: 12: **видѣть вѣкъ градѣщѣ. и оставляють овъца** (ОЕ, л. 214а); впрочем, вариант **вѣкъ градѣща** представлен во множестве рукописей, начиная с древнейших и включая Мариинское евангелие (Алексеев и др. 1998, 48).

Другой категорией слов с сомнительной одушевленностью являются, как их называет Мейе, «*mots désignant de ‘purs esprits’*» (Мейе 1897, 66). Среди наших примеров из ОЕ сюда принадлежат *дух* и *бес*. *Дух* появляется в Мф. 3: 16: **и видѣ доухъ бѣжи съходящѣ. тако голѣбѣ. и градѣщѣ на нь** (ОЕ, л. 260в); в ранней славянской рукописной традиции вариант *доуха* не отмечается (Алексеев и др. 2005, 28)<sup>427</sup>. *Бес* встречается два раза, ср. Ин. 7: 20: **отвѣща народъ и рече бѣсъ ли имаша къто тебе ищетъ оубити** (ОЕ, л. 26в) и Ин. 8: 48: **такъ самарянинъ кси ты и бѣсъ имаша** (ОЕ, л. 336). Вариант **бѣса** появляется, для Ин. 7: 20 в Ассеманиевом и Галицком, для Ин. 8: 48 только в Галицком (Алексеев и др. 1998, 33, 41). В этих случаях, надо думать, вари-

<sup>426</sup> Сверх того, вин.=род. от названий животных иначе распределен по типам текстов, чем вин.=род. от названий лиц, так что здесь, вероятно, можно говорить о второстепенном регистровом расхождении. Г. А. Хабургаев отмечает, что «более или менее регулярно В.-Р. ед. ч. названий животных муж. р. в текстах делового и бытового характера появляются лишь с конца XVI – начала XVII в. <...> В памятниках бытового характера старейший случай с формой В.-Р. датируется рубежом XIV–XV вв.: *У мнь коня познали* (НБГ, № 305). В книжно-литературных текстах редкие словоформы с флексией Р. в функции прямого объекта встречаются раньше – с рубежа XII–XIII вв.» (Хабургаев 1990, 170–171). П. С. Кузнецов объяснял это расхождение южнославянским влиянием, «наличием соответствующей формы [вин.=род. от названий животных. – В. Ж.] на южнославянской и, в первую очередь, на болгарской почве <...> в болгарском языке той эпохи, когда им еще не было утрачено склонение, форма родительного-винительного для названий животных распространилась раньше, чем в русском языке» (Кузнецов 1959, 101). Мне это объяснение кажется несостоятельным, поскольку неясны пути, по которым влияние болгарских языковых процессов, не отразившихся в старославянских (ранних болгарских церковно-славянских) текстах, могло дойти до русской письменности. Я бы полагал скорее, что в книжных текстах животные в силу разных причин могут наделяться большей агентивностью, чем в текстах не книжных, где они обычно являются предметом торго, средством передвижения и т. д. (ср.: Мейе 1897, 27).

<sup>427</sup> В ОЕ имеется и весьма специфический нечистый дух в вин.=род., Лк. 4: 33: **бѣ члвкъ нмы доуха нечиста** (ОЕ, л. 89а6). Мейе по поводу этого евангельского стиха замечает: «Le traitement de *duchŭ* dans L., IV, 33 est curieux: Zogr. a *čĕŭ jimy dĕhŭ bĕsŭ nečistŭ*, où *duchŭ* est à l'accusatif et provoque la forme d'accusatif *bĕsŭ*; *bĕsa nečista* Mar. ne prouve rien d'abord parce que le texte grec est «*ἀνθρώπος ἔχων πνεῦμα δαμονίου ἀκαθάρτου*» et surtout parce que le Marianus a introduit le génitif au lieu de l'accusatif avec *jimĕti* dans plusieurs passages; Assem. a *bĕsŭ nečistŭ* sans *duchŭ* et Ostr. a *ducha nečista*. Cet exemple montre comment la forme de *duchŭ* entraîne après elle l'accusatif propre du nom de tous les êtres qui rentrent dans cette catégorie des «esprits» (Мейе 1897, 67). В данном примере, очевидно, ОЕ избирает вин.=род. не по содержательным соображениям, а в силу трансформации определенной текстовой традиции.

ции в выборе формы вин. могут быть связаны с разным осмыслением соответствующих имен.

Итак, в ОЕ употребление старого аккумулятива (вин.=им.) ограничено и маркировано. В большинстве случаев оно может рассматриваться как мотивированное, хотя эта мотивированность носит факультативный характер; имею в виду, что выделяемый в качестве мотивирующего фактор не действует с обязательностью, а лишь создает благоприятный контекст для употребления вин.=им. Эта факультативность выражается и в том, что для ряда употреблений (хотя отнюдь не для всех) в древней рукописной традиции находятся альтернативные варианты с вин.=род. Можно полагать, что в одних примерах мотивированность выражена сильнее, а в других слабее, и связывать это с тем, что в первом случае употребление следует трафарету, а во втором от трафаретов отступает (подвергает трафареты экспансии). Как бы то ни было, в ОЕ мы находим сложную картину, никак не напоминающую свободную вариативность, но образованную действием нескольких факторов, влияющих на употребление с разной силой и порою в разных направлениях.

То, что мы находим в последующей восточнославянской рукописной традиции, может быть охарактеризовано как постепенное прекращение действия рассмотренных факторов и обусловленное этим постепенное исчезновение форм вин.=им. от одушевленных существительных. Конечно, в ряде случаев появление формы вин.=род. на том месте, где в ОЕ стоял вин.=им., может быть объяснено не изменением языковой системы (прекращением действия мотивирующих вин.=им. факторов), а следованием другой текстовой традиции (другой текстологической преемственностью), но эти частные случаи не меняют общей картины. Формы вин.=им. постепенно выходят из употребления вне зависимости от того, имелся или не имелся вариант с вин.=род. в предшествующей рукописной традиции. Для наглядности сведу интересующие нас данные в таблицу, в которой употребление вин.=им. в ОЕ будет прослежено по позднейшим памятникам.

Стих	ОЕ	Еванг. 1472 г.	Геннад. Библия	Библия 1663 г.	НЗ 1738 г.	Библия 1762 г.
Мф. 1: 21	сынѣ	сѣна	сѣна	сѣна	сѣна	сѣна
Мф. 1: 23	сѣнѣ	сѣна	сѣна	сѣна	сѣна	сѣна
Мф. 1: 25	сѣнѣ	сѣна	сѣна	сѣна	сѣна	сѣна
Мф. 1: 25	първѣнѣць	первѣнца	първѣнца	первенца	первенца	первенца
Мф. 3: 16	доухѣ	дѣхѣ	дѣхѣ	дѣхѣ	дѣха	дѣха
Мф. 10: 37	сынѣ	сѣна	сѣна	сѣна	сѣна	сѣна
Мф. 18: 24	длѣжнѣникѣ	длѣжника	длѣжника	должника	должника	должника
Лк. 2: 7	сѣнѣ	сѣна	сѣна	сѣна	сѣна	сѣна
Лк. 2: 7	първѣнѣць	первѣнца	первенца	первенца	первенца	первенца

Лк. 2: 12	младѣньць	мла <sup>а</sup> нець	младенець	младенець	мла <sup>а</sup> нець	мла <sup>а</sup> нца
Лк. 11: 5	дроугъ	дрѹга	дроуга	дрѹга	дрѹга	дрѹга
Лк. 14: 16	рабъ	—	рабъ	раба	раба	раба
Лк. 21: 27	сынъ	с <sup>на</sup>	с <sup>на</sup>	с <sup>на</sup>	с <sup>на</sup>	с <sup>на</sup>
Ин. 4: 47	сынъ	с <sup>на</sup>	с <sup>на</sup>	с <sup>на</sup>	с <sup>на</sup>	с <sup>на</sup>
Ин. 7: 20	бѣсъ	бѣс'	бѣс	бѣсъ	бѣса	бѣса
Ин. 8: 48	бѣсъ	бѣсъ	бѣсъ	бѣса	бѣса	бѣса
Ин. 10: 12	вълкъ	волака	волака	волака	волака	волака

Как можно видеть, ко второй половине XV в. все те сложные семантические параметры, которые обуславливали употребление вин.=им. в ОЕ, перестают играть роль. Употребления вин.=им. оказываются единичными: дхъ в Мф. 3: 16, младенець в Лк. 2: 12, рабъ в Лк. 14: 16, бѣсъ в Ин. 7: 20 и Ин. 8: 48. Это, конечно, реликты ушедшего употребления; до какой степени они объединены каким-либо семантическим единством, неясно. Собственно, в трех случаях мы находим названия 'purs esprits', а в двух – лиц с низким агентивным статусом. Примеры с вин.=им. в данных стихах мы находим в Геннадиевской Библии (Русская Библия, VII) и в Четвероевангелии 1472 г. (РГБ, ф. 304. I, Тр.-Серг., № 66); в Геннадиевской Библии находим все пять примеров, в Четвероевангелии 1472 г. – четыре, так как в Лк. 14: 16 в этом тексте объект дан во мн. числе (и посла рабъ свои<sup>х</sup> въ го<sup>а</sup> вечера – л. 300об.)<sup>428</sup>. В Библии 1663 г. (Библия 1663) рабъ превращается в раба, а бѣсъ в бѣса, впрочем, только в Ин. 8: 48, так что остается только три реликта. В Новом Завете 1738 г. (Новый Завет 1738) дхъ превращается в дха, а бѣсъ из Ин. 7: 20 – в бѣса, так что остается один младенець. Наконец, в Елизаветинской Библии (Библия 1762) и младенець превращается в младенца, и на этом процесс устранения форм вин.=им. завершается. То, что на это устранение уходит больше трех столетий, показывает, конечно, консервативность текста Св. Писания, однако эта консервативность ориентирована на текст, а не на язык: если в ранний период (до XIV в.) вин.=им. может осмысляться как средство осуществления определенных семантических задач (что и реализуется в активном употреблении этого периода), то в более позднее время реликтовые формы вин.=им. никакого семантического задания не выполняют и никакой стилистической нагрузки не несут.

Совсем иначе обстоит дело с вин.=род. в парадигме мн. числа. Как уже говорилось, процесс утверждения вин.=род. одушевленных существительных во мн. числе начинается позже, чем вытеснение форм вин.=им. формами

<sup>428</sup> Этот вариант следует, видимо, считать окказионализмом, в позднейших текстах он не воспроизводится. Он возникает, видимо, в результате изменения формы вин. мн. от вин.=им. к вин.=род. (ср., например, и посла раб<sup>м</sup> своа въ хо<sup>а</sup> [так в ркп.] вечера в Евангелии XIV в., РГБ, ф. 304. I, Тр.-Серг., № 5, л. 97). Такие изменения для евангельской рукописной традиции нехарактерны (см. ниже), что и побуждает смотреть на данное употребление как случайное.

вин.=род. в ед. числе о-склонения. Ранние примеры, первые из которых относятся к XII в., носят характер окказионализмов. Широкое распространение вин.=род. одушевленных (личных) существительных м. рода во мн. числе характерно для конца XIV – XV вв. (Кузнецов 1959, 102–103; здесь же многочисленные примеры из грамот). В первую очередь это развитие отражается в не книжных текстах, и в них, как указывалось относительно полоцких грамот, выбор между вин.=род. и вин.=им. подчинялся ряду семантических факторов (см. выше). Я не обнаружил действия аналогичных факторов в обследованных мною летописях, но формы вин.=род. представлены в них достаточно широко. Как отмечает В. Б. Крысько, «употребление новой формы аккузатива <...> к XIV в. стало обычным для деловых и летописных текстов» (Крысько 1994а, 111).

Укажу в этой связи на многочисленные примеры из последней части Московского летописного свода: *и избиша разбоиниковъ ушкуиников* (ПСРЛ, XXV, л. 276); *съсекоша же всѣхъ безъ милости, архимондритовъ и игуменовъ и всѣхъ священниковъ, тако же бояръ и всѣхъ людеи* (л. 289об.); *и приставовъ своихъ послаша в Заволочье* (л. 296об.); *прислаша Новгородци пословъ своихъ к великому князю, лучшихъ людеи* (л. 308); *и приставовъ Королевыхъ и Витовтовыхъ изсѣче* (л. 341), *посла князь Костянтинъ в Нѣмци великого князя намѣстника князя Федора Патрѣквевича и своего боарина Андрѣа Костянтиновича и посадниковъ Новгородскихъ* (л. 341об.–342); *укоряше философъ их* (л. 358); *послали пословъ своихъ многихъ князеи со многыми людьми* (л. 367об.); *с Москвы послалъ суружанъ и суконниковъ и купчихъ людеи и прочихъ всѣхъ Москвичъ* (л. 393об.); *начаша наимовати худыхъ мужиковъ вѣчниковъ* (л. 398); *повелѣ казнити главною казнью Новгородскихъ посадниковъ* (л. 405об.); *почтивъ... посадниковъ ихъ и тысяцкихъ* (л. 407об.); *и прочихъ с нимъ Фрязь и Грековъ дрѣжа князь великъ у себя 11 недѣль* (л. 420); *прислали пословъ своихъ* (л. 422); *далъ приставовъ своихъ* (л. 429); *дали бы своихъ есте приставовъ* (л. 429); *что бы дали своихъ приставовъ* (л. 429); *а князь великъ всѣхъ посадниковъ, боаръ и тысяцкихъ и посадничьихъ детеи и купцовъ и житиихъ людеи, жаловалъ отъ себя* (л. 432); *начаша приводити къ крестному целованию боаръ Новгородскихъ и житиихъ и купцовъ и прочихъ* (л. 452об.–453); *послалъ князь великъ своихъ детеи боарьскихъ да и дѣяковъ своихъ* (л. 453); *пословъ ихъ отпустил* (л. 462об.) и т. д.<sup>429</sup> Не менее многочисленны подобные формы в Новгородской пятой летописи по Хронографическому списку, относящемуся к началу XVI в. (ПСРЛ, IV, 2<sup>1</sup>), или в Новгородской второй летописи начала XVII в. (ПСРЛ, XXX).

Вопрос о том, как в гибридных текстах формы вин.=род. мн. числа вытесняют формы вин.=им., как это распространяется по классам существительных (общие контуры известны: сначала в м. роде, затем в ж. и ср. роде, сначала среди личных имен, затем среди названий животных, – однако зависимость этой динамики от типа текста, его тематики и стилистики не

<sup>429</sup> Анализ вариативности вин.=им. и вин.=род. у существительных во мн. числе в Московском летописном своде имеется в книге О. С. Ильченко (Ильченко 2011, 106–120). Семантический анализ примеров часто неудовлетворителен, а категории, в которых он производится, порою плохо соотносятся с материалом, однако представление о характере вариативности приведенные данные все же дают.

изучена), какие письменные навыки создает этот процесс и где «застревают» формы вин.=им., требует отдельного исследования, которое было бы неуместно в настоящей работе. В нашей перспективе существенно, что данный процесс практически не затрагивает стандартные церковнославянские тексты; правда, единичные примеры вин.=род. появляются и в стандартных церковнославянских текстах, но они являются исключениями, не влияющими на общую картину (см.: Крысько 1994а, 118–119)<sup>430</sup>. Таким образом формы вин.=им. мн. числа – в отличие от форм вин.=им. ед. числа – делаются маркером регистра, одним из второстепенных признаков книжности и, в силу этого, в дальнейшем развитии письменного языка получают особую стилистическую нагрузку как элементы, отсылающие к церковной книжной традиции.

Как мы видели, в гибридных (летописных) текстах вин.=род. получает распространение уже в XV в. Правомерно сопоставить этот факт с той ситуацией, которую мы наблюдаем в рукописях Св. Писания этого же периода, и здесь естественно воспользоваться Геннадиевской Библией 1499 г. Мы ограничимся материалом Евангелия от Матфея (Русская Библия, VII, 15–117). В этом тексте мы находим 58 примеров вин.=им. от существительных м. рода во мн. числе, включая субстантивированные прилагательные и причастия. Приведу примеры: Мф. 1: 21: спсѣть люди своѧ; 2: 6: оупасеть люди моѧ; 2: 7: призва вѧхъ; 3: 7: видѣв же многы фарисѧ и саддоукеѧ; 4: 24: приведѡша емоу всѧ болащаѧ различными недоугы; 5: 12: изгнаша прѣркъ; 5: 17: разорити <...> прѣркъ; 5: 44: любите врагы вашѧ; 5: 44: блѣвите клѣноущаѧ вы; 5: 47: и аще цѣлоуете доугы ваша; 7: 22: и твоимъ именемъ бѣсы изгонихомъ; 8: 16: и изгна доугы словѣ; 9: 13: не прїидоу во призвати праведники. но грѣшники на покааніе; 10: 8: болаща исцѣлите прокаженѧ очищайте. бѣсы изгоните; 12: 24: сен не изгонитъ бѣсы. тѣкмо ѡ вселзевѡуѧ; 13: 41: послеть снѣ члѣскын аггелы своѧ; 15: 30: нмоуше съ собою хромы. слѣпы. нѣмы. бѣдны. и ныи многы; 22: 13 посла рабы своѧ призвати званымъ на браки и т. д.; нет особого смысла приводить полный перечень примеров<sup>431</sup>.

<sup>430</sup> Любопытно, что отдельные замены вин.=им. на вин.=род. во мн. числе имеются в той правке, которую вносил в Псалтырь Максим Грек на последнем этапе своей филологической деятельности. Так, в Пс. 105: 5 на месте видѣти въ блѣти избранымъ твоѧ в традиционном тексте и в предшествующих рукописях Максима в Псалтыри 1552 г. появляется избраныхъ твоихъ (Ковтун и др. 1973, 109). В нашей перспективе существенно, что в отличие от ряда других нововведений Максима, которые были восприняты справщиками позднейшего времени (ср.: Успенский 2002, 235–236), данная инновация отклика у них не нашла.

<sup>431</sup> Вполне ожидаемым образом мы находим вин.=им. и для существительных ж. и ср. рода или для существительных, обозначающих животных; они более консервативны, чем личные существительные м. рода и в живом языке, и этот консерватизм лишь усиливается в языке книжном, ср.: Мф. 23: 24: оцѣжающеи комары, велбоудѧ же пожирающе (комары – вин. мн., велбоудѧ, надо думать, вин. ед., хотя не исключен и партитивный род. ед.; откуда возникает различие по числу, неясно, в греческом вин. ед. κύνωπα и κάμηλον, в славянской рукописной традиции множество вариантов – Алексеев и др. 2005, 125; в позднейшей церковнославянской традиции, запечатленной хотя бы в Библии

Остановлюсь на исключениях. Их три: Мф. 8: 22: *и остави мртвѣныхъ. погребѣти своя мртвѣца*; 19: 14: *оставите дѣтен. и не възбраните имъ прѣити къ мнѣ*; 26: 11: *въсегда бо нищѣи имате съ собою*. Видимо, в этих примерах отразился процесс становления вин.=род. у одушевленных существительных в формах мн. числа; отражения эти имеют окказиональный характер и производят впечатление случайных ляпсусов. Это в особенности касается второго примера. В принципе, как отмечалось в литературе, существительные *люди, дѣти* «очень консервативны в отношении форм В.-Р. во мн. ч.», они «до конца XVI в. в текстах книжного характера довольно последовательно употребляются в форме В.-И., а в деловой документации, менее строго следующей традиционным письменным нормам, встречаются в это время в форме В.-И. не реже, чем в форме В.-Р.» (Хабургаев 1990, 170; ср.: Кокрон 1962, 100). Замечу, что в соседнем стихе находим *приведоша къ нему дѣти* (Мф. 19: 13) с ожидаемой формой вин.=им. и что в предшествующей Геннадиевской Библии традиции вариант *дѣтен* не представлен (Алексеев и др. 2005, 103)<sup>432</sup>.

Субстантивированные прилагательные *мртвѣныхъ* и *нищѣи* в первом и третьем примере также не имеют хорошего объяснения. Они известны в поздней рукописной традиции (вторая Афонская редакция – Алексеев и др. 2005, 48, 142) и, возможно, именно оттуда приходят в Геннадиевскую Библию (а оттуда и в Острожскую). Впрочем, А. И. Соболевский приводит стих *остави мертвыхъ погребѣти своя мертвеца* из Евангелия 1383 г. (Соболевский 1907, 200). Комментируя данный пример, Э. Кленин замечает, что «it may be noted that adjectives on the whole seem to have been inclined to take the plural genitive-accusative earlier than substantives» (Кленин 1983, 91; ср. еще об этом: Иорданиди и Крысько 2000, 199–201). Этим указанием приходится, надо думать, ограничиться ввиду отсутствия какого-либо более содержательного объяснения. Здесь уместно еще раз напомнить, что мы имеем дело не с абсолютными правилами, а с вероятностным выбором. Приведенные три исключения не противоречат тому важному для нас факту, что в стандартных церковнославянских текстах доминирующей (и, можно сказать, полностью доминирующей) у существительных во мн. числе остается флексия вин.=им.

1663 г. [л. 412об.], оба существительных стоят во мн. числе: *комары, велебѣды*; 23: 37: *сѣврати чѣда твоа*; 23: 37: *яко же сѣбираеть кокошь птенца своа поа крилѣ*; 25: 32: *якоже пастырь раздоучаетъ овца ѿ козлицы*; 25: 33: *и поставитъ овца ѿдесноую себе*.

<sup>432</sup> Не кажется целесообразным трактовать *дѣтен* в данном примере как род. мн. в отложительном (удалительном) значении, обусловленном семантикой глагола *оставити*. Такое управление можно изредка обнаружить при *оставити* в значении 'отвергнуться, бросить' (Крысько 2006, 212), но не в значении 'позволить, допустить'. В Мф. 19: 5 *оставитъ члвкъ оца своаго и матере* (ОЕ, л. 74аб) форму *матере* следует рассматривать как вин. ед. (ср.: Срезневский, II, стб. 736; ССЯ, II, 568). В ряде примеров, имеющих в Словаре XI–XIV вв., род. падеж при *оставити* употреблен при отрицании (хотя бы и дистантном), ср.: *но г(с)ъ не хотѣ мѣста сего сѣи софѣи оставити поуста; не подобаетъ клирикомъ оставити своаго овитѣли; не бо имать бѣ оставити цркви сеа въ оутрини <бо> днь бе-слоужьбы* (СДРЯ XI–XIV вв., VI, 217). Данное замечание относится и к *остави мртвѣныхъ* в первом примере.

Тот узус, который мы находим в Геннадиевской Библии, сохраняется в библейском тексте на многие годы, оказываясь, тем самым, показательной характеристикой стандартного церковнославянского в его противопоставлении другим регистрам письменного языка (о формах вин.=род. мн. ч. как исключениях в библейских текстах см.: Булич 1893, 217). Об устойчивости этой характеристики можно судить, сопоставив приведенные выше примеры из Геннадиевской Библии с тем употреблением, которое мы находим в обычном евангелии середины XVIII в. – в этом качестве мы воспользовались Евангелием 1748 г. (Евангелие 1748). Можно констатировать, что ни в одном из примеров, где в Геннадиевской Библии стоит вин.=род., в Евангелии 1748 г. не появляется вин.=род., т. е. старый вин.=им. сохраняется во всех случаях. Речь не идет просто о консервативности издателей текста, многочисленные формы подвергаются коррекции и нормализации, ср. несколько выборочных примеров: Мф. 3: 7: *фарисеа и саддоукеа* > *фарісен и са<sup>а</sup>д<sup>а</sup>укеи*; 5: 44: *врагы, клъноушаа* > *враги, кленѣшыа*; 10: 8: *болашаа исцѣлите прокаженнаа очищаите. бѣсы изгоните* > *болашыа исцѣлайте. прокаженныхъ учничайте. мертвыа воскрешайте. бѣсы изгоняйте* и т. д. Однако замены вин.=им. на вин.=род. при этом не происходит. Напротив, в одном случае мы находим обратную замену: Мф. 26: 11: *всегда бо нищій<sup>х</sup> имате съ собою* > *всегда бо нишыа имате с' собою*. Таким образом, последовательное употребление вин.=им. от одушевленных существительных во мн. числе становится маркером стандартного церковнославянского<sup>433</sup>. Можно сказать, что эти формы сходны по своей функции с формами дв. числа, они также могут вы-

<sup>433</sup> Этот маркированный статус форм вин.=им. замечен и в их употреблении в ряде гибридных текстов, где эти формы варьируют с формами вин.=род. Ряд примеров из Стоглава приводит О. С. Ильченко (Ильченко 2011, 127–132). Огрубляя, можно сказать, что формы вин.=род. тяготеют в этом памятнике к бытовым сюжетам, а формы вин.=им. – к воспроизведению традиционных церковных текстов и выражений, ср., например, при описании монастырских безобразий и церковных нестроений: «да племянников своих вмецают в монастырь(ъ) <...> а монастыри тѣм пустошатъ, а старых слуг и вкладчиков изводятъ» (Емченко 2000, 256); «А дѣтей кр(е)ститъ тако ж(е) во единой патрахѣли без риз и младенцов умрѣших тако ж(е) отпѣвает без ризъ» (там же, 261); ср. в менее приземленном контексте: «И тако посрами еретики» (там же, 292); «негли Г(о)с(по)дъ м(и)л(о)сть Свою послал на грѣшныя рабы Своя» (там же, 263). Конечно, это полярные случаи, и между ними располагается зона немотивированной вариативности, ср.: «И устави бы есте старосты поповские надо всѣми с(вя)щенники <...> Вамъ убо есть поручена то пасти ц(е)ркви Б(о)жиеи и ц(е)рковных чиновниковъ уставляти и поучати» (там же, 254); *старосты* и *чиновниковъ* соседствуют без всякой содержательной дифференциации.

В продолжение этого узуса рассматриваемые варианты могут использоваться как стилистические еще в XVIII в., при этом формы вин.=им. отсылают к церковной традиции. См. в богословском сочинении писаря Киево-Печерской лавры иеромонаха Фаддея 1754 г.: «Аще бо кто въ размышленіе приимет Божіе челоуѣколюбіе, всѣми всего мира грѣхами непреодоульное: молитву же праведнаго, много могущую у Господа, любящаго праведники и грѣшники милующаго праведнымъ судомъ Своимъ, низводящаго во адъ грѣшныя и возводящаго на небеса тѣхъ же помилованныхъ Своимъ благоустроіемъ...» (ОДДС, XX, приложение XV, стб. 1010). Характерно, что Фаддей использует архаические варианты непоследовательно (*праведники, грѣшники, грѣшныя*, но при этом *тѣхъ, помилованныхъ*); для стилистической маркировки достаточно нескольких форм вин.=им.

ступать как признаки книжности (хотя, видимо, русским книжникам их легче освоить, и поэтому не делается попыток изгнать их из стандартных церковнославянских текстов); вместе с тем в формах ед. числа имеет место процесс адаптации, в результате которого книжный язык усваивает в качестве стандартных формы вин.=род.

#### 4. Дифференциация регистров и статистические конфигурации морфологических вариантов

Регистры, как уже говорилось, взаимопроницаемы, а морфологическая вариативность не связана тесной связью с коммуникативными заданиями, определяющими противопоставление регистров. Поэтому варианты, возникающие в одном из регистров, в том или ином количестве проникают и в другие регистры; мы имеем дело, как много раз указывалось, не с абсолютными запретами, а с преимущественным выбором. Поэтому само по себе наличие того или иного морфологического варианта в текстах определенного регистра никакой специфичностью, как правило, не обладает. Специфичным для данного регистра оказывается постепенно устанавливающийся способ выбора из двух (или нескольких) сосуществующих вариантов, или, если угодно, способ использования возникшей вариативности при порождении или воспроизведении текстов определенного регистра.

Простым примером может служить процесс синкретического объединения форм им. мн. с формами вин. мн. существительных *о*-склонения (или, иными словами, замены в им. мн. флексии *-и* на флексию *-ы*). Системной причиной этого объединения является аналогическое выравнивание парадигм мягкой и твердой разновидности после падения редуцированных и возникновения корреляции твердых и мягких согласных. В результате этой инновации мягкая разновидность стала включать в себя не только существительные с основой на палатальный согласный, но и существительные с основой на палатализованный согласный (перешедшие в *о*-склонение из *і*-склонения), а противопоставление твердой и мягкой разновидности распространилось на все именное словоизменение, исключая лишь *і*-склонение. Регулярные соотношения флексий в этих разновидностях становились организующим всю систему принципом, что приводит к устранению нерегулярных соотношений /у/ – /ѣ/, /ѣ/ – /і/ и /у/ – /і/. У существительных м. рода *о*-склонения это приводит к установлению в им. мн. регулярного соотношения /у/ – /і/ на месте нерегулярного /і/ – /і/ (*год-ы* – *кон-и*).

Единичные примеры употребления форм вин. мн. вместо им. мн. у существительных м. рода встречаются уже в памятниках XII в., причем не только у существительных твердой разновидности *о*-склонения, но и у существительных м. рода других классов (у существительных мягкой разновидности *о*-склонения, у существительных *і*-склонения и *С*-склонения), ср.: *каноны* (Ефремовская кормчая, л. 193б – Иорданиди и Крысько 2000, 173), *власы* (УС, л. 198а – там же), *лики* (Троицкий сб. № 12, л. 18об. – там же), *старьца* (УС, л. 87г – там же; церковнослав. флексия вин. мн. *-а* в соответствии с восточнослав. *-ѣ*), *звѣри* (Чуд. Пс. 49 – там же; вместо *звѣрие*), *пѣти* (там же, 9 –



там же), *дѣни* (Юрьевское евангелие, л. 67об., 141, 167 – там же), *хранителя* (Ефремовская кормчая, л. 113б – там же). Эти редкие отступления от «правильных» форм словоизменения не имеют прямого отношения к установлению регулярных соотношений твердой и мягкой разновидностей (поскольку такая интерпретация возможна для существительных твердой разновидности *о*-склонения, но невозможна для всех прочих примеров). И здесь, однако же, мы имеем дело с аналогическими преобразованиями: модель задана омонимией им. мн. и вин. мн. у существительных немужского (ж. и ср.) рода<sup>434</sup>. Эти примеры имеют окказиональный характер и в силу этого безразличны к типу текста.

В XIII–XIV вв. подобные примеры становятся массовыми, и это свидетельствует о том, что изменился сам характер процесса. Словоизменение существительных м. рода получает в этот период новую конфигурацию, обусловленную процессами перехода имен м. рода *i*-склонения в *о*-склонение (с закономерной заменой им. мн. типа *звѣриѣ* на им. мн. типа *звѣри*) и распространения флексии *-и* вместо *-ѣ* (церковнослав. *-а*) в вин. мн. существительных мягкой разновидности м. рода *о*-склонения (формы типа *старьци* вместо *старьца*). Данные изменения приводили в качестве побочного эффекта к омонимизации им. мн. и вин. мн. в мягкой разновидности склонения существительных м. рода (в мягкой разновидности *о*-склонения, вобравшей в себя существительные м. рода *i*-склонения). Утвердившиеся в результате этих преобразований регулярные соотношения твердой и мягкой разновидности нарушались лишь в им. мн. твердой разновидности (нерегулярное соотношение */i/* – */i/* типа *год-и* – *кон-и*). Массовость примеров вин. мн. на месте им. мн. в твердой разновидности (*год-ы* вместо *год-и*) как раз и связана с устранением этой нерегулярности, ср. примеры: *чины* (Житие Нифонта 1222, л. 113аб – Иорданиди и Крысько 2000, 179), *лики* (Саввина Триодь, л. 171 – там же), *върхы* (НПЛ, л. 88 – там же), *притворы* (там же), *послы* (Новгородская грамота, 1268 г.; НПЛ, л. 13б, 143об., 150об. – там же), *рабы* (Паремийник 1271 г., л. 15в – там же), *псы* (Новгородская кормчая, л. 475г – там же), *козлы* (там же) и т. д.

На этом этапе ясной дифференциации регистров по выбору формы им. мн. (типа *годы* или типа *годи*) незаметно. К XVI в., однако, старые формы им. мн. в книжных текстах могут получать стилистическую значимость (как маркеры книжного регистра). При этом в стандартном церковнославянском поддерживается нормативное употребление флексии *-и*, тогда как в гибридном регистре флексии *-и* и *-ы* находятся в свободной вариации. В не-книжных текстах старые флексии сохраняются лишь в качестве редких реликтов (Унбегаун 1935а, 154–159) и отчасти подвергаются лексикализации (становятся флексиями отдельных слов, являющихся исключениями из общей модели); господствующей флексией им. мн. существительных м. рода

<sup>434</sup> Наряду с формами вин. мн. на месте им. мн. в древних памятниках отмечаются и единичные примеры употребления им. мн. вместо вин. мн., ср. въ *гради* (Милятино евангелие, л. 147б – Иорданиди и Крысько 2000, 176), *бѣси* (УС, л. 254в, 269а – там же), *кнази* (Милятино евангелие, л. 144г – там же). Эти формы могут интерпретироваться как гиперкорректные.

твердой разновидности *о*-склонения в некнижных регистрах оказывается -ы. Эта же флексия доминирует и в текстах XVII в. (при том что набор слов с ее лексикализированным употреблением сокращается – см.: Кокрон 1962, 66–67) и утверждается в языковом стандарте в XVIII в. Лексикализированные реликты старой флексии в современном литературном языке сохраняются лишь в двух парадигмах – *сосед* и *черт*, – которые во мн. числе получают склонение по мягкой разновидности (*соседи, черти; соседей, чертей* – Зализняк 2003в, 45).

Дифференциация регистров по функционированию морфологических вариантов не сводится, однако, к наличию или отсутствию тех или иных вариантов или к различию в условиях их употребления. Каждый из регистров характеризуется определенной конфигурацией морфологических вариантов, содержащей в себе статистические параметры. Речь, таким образом, идет не столько о наборе вариантов (скажем, -ть для инфинитивов от невозвратных глаголов, -тися для инфинитивов от возвратных глаголов и т. д.), сколько о статистических параметрах этих вариантов (-ть существенно чаще, чем -ти; -тися не реже, чем -ться и подобное). Можно полагать, что, как показывает ряд исследований (см.: Живов 2004а), статистические соотношения морфологических вариантов являются устойчивой, т. е. преемственно воспроизводимой чертой отдельных регистров, и для каждого из регистров характерна собственная динамика статистических параметров. Когда мы имеем дело с нормативным предписанием (правилом типа: «в им. мн. существительных твердой разновидности пиши -и, а не -ы»), тот факт, что ему следует одно поколение пишущих за другим, не вызывает удивления. Он говорит лишь о том, что правило осваивается пишущими и продолжает действовать. Статистические соотношения никакими правилами не задаются, поэтому для объяснения их устойчивости мы должны представить себе иной механизм.

Преемственность статистических параметров не представляет собою некую необъяснимую магию чисел, не мотивированную никакими рациональными факторами. Наши сведения о том, как происходит усвоение языка вообще, а в особенности наши знания о процессе формирования письменных навыков, не отличаются ни обстоятельностью, ни глубиной. Однако мы располагаем элементарным языковым опытом, который может быть экстраполирован на необычные для нас языковые ситуации. Регистры в силу своей связи с коммуникативным заданием напоминают то, что в современной русистике именуется функциональными стилями. Основное отличие состоит в том, что, говоря о функциональных стилях, мы предполагаем, что они сосуществуют в рамках единой общей языковой нормы как ее «стилистические» модификации (хотя само понятие стиля оказывается в этом категориальном пространстве существенно видоизмененным), тогда как регистры ни к какой единой норме не сводятся. Как уже говорилось, и представление о единой норме, и, соответственно, представление о фундаментальности отличия функциональных стилей от регистров в существенной степени зависят от того, что основными уровнями грамматической рефлексии остаются фонетика и морфология. Именно на этих уровнях до-

статочно понятно, что имеется в виду под единой нормой и под ее модификациями в отдельных функциональных стилях (см. выше, § III-1).

В одном плане, однако, функциональные стили подобны регистрам: они обладают схожей естественной преемственностью, и именно в силу этого мы можем придти к определенным заключениям на основании знакомых нам из нашего языкового опыта функциональных стилей и – с некоторыми оговорками – перенести эти выводы на регистры. Обратимся, например, к безличным конструкциям типа *автором было показано, что* или *в работе доказывалось, что*. Такие конструкции характерны для научного стиля как элементы объективизирующей риторической стратегии, устраняющей субъекта «общезначимого» высказывания. В обычном литературном нарративе (например, в беллетристическом рассказе об ученом) им будет соответствовать *NN показал(а), что* или *NN доказал(а) в своей работе, что*. Это не значит, конечно, что в научном тексте не встречаются конструкции второго типа или что в популярном рассказе невозможны построения первого типа (скажем, *им было открыто, что*, когда акцент делается на открытом явлении и важность персонажа конструируется за счет важности открытия). Когда мы говорим о характерности конструкций двух этих типов для разных функциональных стилей, мы очевидно имеем в виду пропорции их употребления, т. е. статистическое соотношение двух типов конструкций в рамках текстов, принадлежащих к разным функциональным стилям<sup>435</sup>.

Аналогичным образом обстоит дело, например, с препозитивными деепричастными оборотами с каузальным значением типа *доказав теорему (1), можно обратиться к...* И эти обороты характерны прежде всего для научного стиля, хотя, безусловно, и в обычном нарративе нередко обнаруживаются фразы типа: *Выиграв матч у «Торпедо», спартаковцы получили пропуск*

<sup>435</sup> С этим можно сравнить данные о пассивах в разных стилистических разновидностях английского языка. Как показал Т. Гивон (Гивон 1979, 58–59), пассивные конструкции характеризуются значительно меньшей частотой, чем соответствующие им активные, и при этом их частота связана со стилистическими параметрами текста: «passives average between 4% for less-educated styles to 18% for more-educated styles» (см.: Хоппер и Томпсон 1980, 294). Ср. таблицу в работе Гивон 1995, 45:

*Frequency distribution of active and passive clauses in written English*

text type	clause type					
	Active		Passive		total	
	N	%	N	%	N	%
academic	49	82%	11	18%	60	100%
fiction	177	91%	18	9%	195	100%
news	45	92%	4	8%	49	100%
sports	64	96%	3	4%	67	100%

Как указывает Дуглас Байбер, комментируя статистические характеристики пассива, противопоставляющие научную речь, с одной стороны, и нарративные и разговорные тексты – с другой, «the passive often promotes abstract concepts to subject status – while demoting the more concrete agent to object status, or deleting it altogether» (Байбер 1986, 395; ср. еще там же, 407; ср. еще о функциональных свойствах пассива в английском: Чейф и Данилевич 1987; Вейнер и Лабов 1983).

в полуфинал. Однако для спортивного фельетона скорее характерно более живое изложение: *Спартакowцы выиграли матч у «Торпедо», и теперь у них пропуск в полуфинал*. Характерность и в этом случае выражается в статистическом соотношении рассматриваемых синтаксических построений.

Эти статистические соотношения возникают не *ad hoc*, а передаются по наследству. Автор, пишущий газетный фельетон или, напротив, научную статью, воспроизводит тот «стиль», который он усвоил из чтения сочинений соответствующих жанров. Можно полагать, что в ту совокупность лингвистических и риторических элементов, которые усваиваются в этом процессе, входит и «характерность», т. е. статистический вес различных синтаксических конструкций. Правда, в современной ситуации в этот процесс могут привноситься элементы эксплицитного обучения, когда автор работает с редактором или научным руководителем, однако подобные элементы имеют, видимо, лишь маргинальное значение. В обычном случае автор приходит к своему «наставнику» с текстом, уже обладающим основными чертами соответствующего «стиля». С другой стороны, «стиль» меняется от поколения к поколению, что и выражается в таких высказываниях, как «старомодно написанная статья» или «так у нас больше фельетонов не пишут». Меняющаяся мода может захватывать и «характерность» тех или иных синтаксических построений (скажем, в постмодернистской статье явно сокращается – сравнительно с традиционным научным «стилем» – пропорция безличных конструкций), однако границы между функциональными «стилями» при этом все же сохраняются (мне не удалось обнаружить каких-либо исследований, содержащих релевантные статистические данные для русского языка), а это означает, что усваиваемые из чтения пропорции подвергаются лишь частичной модификации, не разрушающей отличий в этом отношении одних стилей от других.

Рассмотренные примеры иллюстрируют то, как осуществляется преемственность «стиля» при существовании единой нормы литературного языка и как эта преемственность реализуется в статистических параметрах употребления тех элементов, которые в рамках единой нормы выступают как варианты. В современной языковой ситуации такие элементы обнаруживаются в основном на синтаксическом и лексическом уровнях; выбор между морфологическими вариантами (например, тв. мн. *людьми* или *людями*) осуществляется не за счет преемственности, а за счет нормативных предписаний, поэтому морфологические варианты функциональные «стили» практически не дифференцируют и никакими конфигурациями морфологических вариантов «стили» не характеризуются. В русском средневековье мы имеем дело с совершенно иной языковой ситуацией. Регистры различаются не только наборами характерных для них синтаксических построений, но и наборами характерных морфологических вариантов. Характерность, как мы знаем, выражается в пропорции употребления вариантных элементов, и эти статистические пропорции воспроизводятся механизмом преемственности.

Подобно тому как «характерность» синтаксических конструкций в случае функциональных стилей может в известной мере быть предметом эксплицитного обучения, подобно этому и «характерность» морфологических элементов в случае регистров может задаваться рекомендациями настав-

ника (например, старшего писца в церковном скриптории или старого подьячего в московском приказе). Тем не менее это лишь побочные факторы, и основой, на которой утверждается наследуемая «характеристичность», является естественный механизм преемственности от чтения к письму. Как и в случае синтаксических конструкций в функциональных стилях, морфологические варианты в рамках отдельных регистров подвергаются модификациям от поколения к поколению (например, от поколения к поколению возрастает общая пропорция новых флексий у существительных в косвенных падежах мн. числа). Это возрастание, однако, проходит в рамках существующей преемственности и не влияет кардинально на дифференциацию регистров. Разрушение этой преемственности, выражающееся в резком сдвиге статистических параметров, происходит лишь тогда, когда начинает формироваться единая норма нового литературного языка, требующая унификации морфологических характеристик вне зависимости от коммуникативного задания текста. С формированием этого стандарта морфологическая вариативность выводится из репертуара «стилистического» выбора пишущего и на долю естественной преемственности и связанных с нею воспроизводимых статистических пропорций остаются лишь элементы синтаксического построения, в динамике которых сохраняется то числовое постоянство, которое, как мы видели, поддается вполне рациональному объяснению.

## 5. А-экспансия и дифференциация регистровых конфигураций

Хорошим примером такого развития может служить история окончаний существительных в дат., тв. и местном мн. числа, т. е. выбор вариантов из набора *-омъ/-амъ* в дат. мн., *-ы/-ьми/-ами* в тв. мн. и *-ѣхъ/-ехъ/-ахъ* в местн. мн. История этих вариантов, которая и может быть охарактеризована как *а-экспансия*, позволяет увидеть, как статистические соотношения вариантов дифференцируют различные регистры письменного языка в XVII в., под влиянием каких факторов формируется эта дифференциация и как в ней отражаются изменения, произошедшие ранее в разговорном языке.

Начало этого процесса в восточнославянских диалектах относится еще к XIII в. и в XVI–XVII вв. приводит к утверждению вариативности соответствующих флексий как характеристике различных языковых разновидностей (книжных и некнижных); параметры вариативности различаются в разных регистрах письменного языка. Процесс *а-экспансии* растянут на несколько веков и неравномерно захватывает разные косвенные падежи и разные типы склонения. Отдельные примеры существительных м. и ср. рода с окончаниями *-амъ*, *-ахъ* фиксируются в различных книжных и некнижных текстах, начиная с конца XII в.; наиболее ранние примеры тв. мн. на *-ами* у существительных, не принадлежащих *а-склонению*, появляются лишь в текстах XIV в. (см.: Соболевский 1907, 177; Зализняк 2004а, 111; Иорданиди и Крысько 2000)<sup>436</sup>. В письменном языке *а-экспансия* развивается в *о-склоне-*

<sup>436</sup> Недавние находки новгородских берестяных грамот позволяют отнести начало не к XIII в., как это было принято, а к периоду приблизительно на сто лет более раннему. В

нии в тв. падеже позже, чем в дат. и местн. падежах. Было ли такое запаздывание тв. падежа свойственно и языку устному, установить невозможно. Позднее всего *а*-экспансия затрагивает *і*-склонение. Здесь процесс начинается лишь в XVI в. и завершается, видимо, лишь к концу XVII в., когда подвергается выравниванию наиболее консервативный тв. падеж (отдельные реликты, такие как *людьми, детьми, дверьми* сохраняются в языковом стандарте и до настоящего времени).

В плане системном мотивы *а*-экспансии состоят прежде всего в обособлении мн. числа как особого согласовательного класса, который противостоит другим классам по ряду формальных признаков (ср. процесс акцентологической дифференциации числовых парадигм – см.: Зализняк 1985, 373–375). В этом классе нивелируются различия, обусловленные родом и типом основы существительного; *-а*- выступает при этом как тематическая гласная (отдельный морф), присущая мн. числу существительных (см.: Андерсен 1969; Шульга 1984, 99, 102; Хабургаев 1990, 123 сл.; ср.: Бодуэн де Куртене 1903, 5 сл.). В этом системном преобразовании находят место и отдельные моменты аналогического воздействия: флексия *-а* в им.-вин. мн. существительных ср. рода *о*-склонения, *-а*-флексии у существительных *а*-склонения (прежде всего у существительных м. рода типа *владыка, судия*). Сказывается, видимо, и синтагматический фактор, на который справедливо обращают внимание С. И. Иорданиди и В. Б. Крысько (Иорданиди и Крысько 2000, 258–260).

В XVI в. положение в стандартных церковнославянских текстах не отличается сколько-нибудь существенным образом от того, которое описано для более раннего периода: инновативные флексии появляются здесь лишь в единичных случаях, и их общее количество столь незначительно, что статистические данные не сообщают оснований для каких-либо содержательных обобщений. Для делового регистра московской письменности релевантный материал собран и описан в классической работе Б. Унбегауна (Унбегаун 1935а, 193–205); хотя статистические данные у Унбегауна отсутствуют, общая картина достаточно понятна. В целом старые флексии доминируют, а новые появляются в виде редких исключений. Из трех падежей менее всего затронут *а*-экспансией тв. мн., для которого Унбегаун нашел один единственный пример. В *о*-склонении инновативные флексии чаще встречаются в местн. мн., чем в дат. мн. Существительные *і*-склонения значительно более консервативны, чем существительные *о*-склонения (Унбегаун 1935а, 197–198).

---

грамоте № 1011, не позднее 70-х годов XII в. обнаруживаются формы *на ножѣхѹ* и *на ожерѣлѣхѹ*; как пишут публикаторы данной грамоты, это «самые ранние в истории русского языка примеры нового окончания *-ѣхѹ* (*-ѣхѹ*) во множ. числе *о*-склонения»; сопоставляя эти примеры с известными ранее, а именно примерами 1260–1280 годов для местн. мн. ср. рода (Иорданиди и Крысько 2000, 247–248) и примерами второй половины XIV в. для местн. мн. м. рода (там же, 249–250), публикаторы заключают: «форма *на ожерѣлѣхѹ*, представленная в настоящей грамоте, приблизительно на сто лет раньше самых ранних известных до сих пор примеров данного рода, а форма *на ножѣхѹ* – на целых двести лет!» (Зализняк, Торопова, Янин 2011, 16).

Для гибридного регистра показательны данные Новгородской пятой летописи по Хронографическому списку, относящемуся к началу XVI в. (ПСРЛ, IV, 2<sup>1</sup>). В этом памятнике пропорция новообразований, обусловленных *а*-экспансией, невелика, она составляет всего 3,54%. Наиболее консервативен тв. мн., где новообразования вообще отсутствуют. В дат. мн. и местн. мн. новообразования у существительных ср. рода представлены в 6% случаев; для существительных м. рода *о*-склонения аналогичный показатель составляет 9,59%. В последнем классе, наиболее многочисленном и наиболее показательном, дат. мн. оказывается чуть сильнее затронутым *а*-экспансией, нежели местн. мн.: в дат. мн. пропорция новых флексий составляет 9,95%, в местн. мн. – 8,79%. Новые формы в *і*-склонении не встречаются.

Как можно видеть, в XVI в. конфигурации вариантов в дат., местн. и тв. мн. числа практически не дифференцируют регистры письменного языка. Инновативные формы во всех регистрах встречаются лишь в качестве окказиональных отступлений, частота новых форм в некнижных регистрах, по видимому, лишь несущественно превышает аналогичный показатель в регистрах книжных. Во всех регистрах тв. мн. остается в наименьшей степени затронут *а*-экспансией, хотя в некнижной письменности присутствие тв. мн. на *-ами* более ощутимо, чем в письменности книжной. Соотношение дат. мн. и местн. мн. по характеру *а*-экспансии также остается достаточно неопределенным во всех регистрах. Существенно иметь в виду, что эти характеристики письменного узуса устойчиво поддерживаются при том, что в разговорном употреблении процесс *а*-экспансии, скорее всего, уже завершился или находился в завершающей фазе – во всяком случае, если говорить об *о*-склонении.

В XVII в. ситуация существенно меняется. Возрастает пропорция новых флексий в текстах всех типов, однако в одних регистрах это рост характеризуется куда большим объемом, чем в других. Это приводит к тому, что регистры приобретают дифференциацию по объему *а*-экспансии. Вместе с тем это нарастание зависит и от типа склонения, и от падежа, причем в каждом из регистров эта зависимость обладает определенной спецификой. В результате разные регистры оказываются дифференцированы конфигурациями морфологических вариантов с присущими им статистическими характеристиками.

В текстах стандартного церковнославянского регистра (библейских и богослужебных) новые флексии вплоть до конца XVII в. появляются на фоне подавляющего большинства старых форм в виде единичных примеров (так обстоит дело, например, в Библии 1663 г.) (Булич 1893, 166 сл.; ср. Фрайдхоф 1972, 90–93). *А*-экспансия представлена почти исключительно в формах *о*-склонения, у существительных м. рода в наибольшей степени в местн. мн., затем в тв. мн. и дат. мн. В *і*-склонении у существительных м. рода *а*-экспансия вообще не представлена, а у существительных ж. рода отмечена единичными примерами: *мышами*, *бл҃гостахѣ* (Булич 1893, 168–169). Характер отражения *а*-экспансии в новых оригинальных текстах на стандартном грамматически нормированном церковнославянском достаточно адекватно предстает в сочинениях Симеона Полоцкого.

Так, в «Обеде душевном» (Симеон Полоцкий 1681) *а*-экспансия представлена лишь окказионально, в 6% соответствующих случаев. Примеры *а*-экспансии ограничены только существительными *о*-склонения. У существительных м. рода в дат. мн. новые флексии отсутствуют, в местн. мн. составляют 5% (зѣбѣахъ л. 10об., вертѣпахъ л. 111, 119, прѣтѣлахъ л. 121об., 130 и т. д.), тогда как в тв. мн. пропорция увеличивается до 16% (волкѣми л. 32об., грѣхѣми л. 62об., 194об., трѣдѣми л. 69об., орѣхѣми л. 125 и т. д.). В *і*-склонении и у существительных м. рода, и у существительных ж. рода *а*-экспансия вообще не представлена. Особо продвинутое в плане *а*-экспансии положение тв. мн. существительных м. рода объясняется, видимо, ориентацией на грамматику Смотрицкого: у Смотрицкого во многих парадигмах формы на *-ами* и *-ы* даются в качестве вариантов. Частным указанием на такую ориентацию может служить тот факт, что у Симеона среди форм с новыми флексиями существенная часть совпадает с теми, которые приводит Смотрицкий, ср. хотя бы: срѣцѣмъ (Симеон Полоцкий 1681, л. 40об.; Смотрицкий 1648, л. 112об.), срѣцѣхъ (Симеон Полоцкий 1681, л. 5об., 12, 54об., 102об., 211об.; Смотрицкий 1648, л. 112об.), житѣахъ (Симеон Полоцкий 1681, л. 123об.; Смотрицкий 1648, л. 130), грѣхѣми (Симеон Полоцкий 1681, л. 62об., 194об.; Смотрицкий 1648, л. 110об.) и т. п.

Итак, в стандартных церковнославянских текстах XVII в. *а*-экспансия представлена лишь немногочисленными окказиональными примерами, составляющими менее 10% всех релевантных форм. Подчеркнутая консервативность этих текстов выражается и в том, что *а*-экспансия наблюдается лишь в формах *о*-склонения и практически не представлена в формах *і*-склонения, т. е. для свежих инноваций этот тип текстов оказывается по существу непроницаем. Определенная неоднородность наблюдается у существительных м. рода *о*-склонения. Устойчивой чертой является наибольшая консервативность дат. мн., тогда как наибольшая продвинутость в одних текстах характеризует местн. мн., а в других – тв. мн. Это различие можно связать с ориентацией на грамматику Смотрицкого и тем самым на нормализационные решения, имеющие целью устранение омонимии им.-вин. мн. и тв. мн.

Рассмотренные характеристики стандартного книжного языка разительно противопоставлены тем данным, которые обнаруживаются в некнижных текстах XVII в. Окказиональному употреблению новых флексий в стандартных церковнославянских текстах противостоит массовое их употребление в текстах некнижных. Если попытаться придать этим общим характеристикам статистические корреляты, то окказиональное употребление новых флексий можно определить как менее 10% всего объема, ограниченное употребление – от 10% до одной трети всего объема, широкое – от одной до двух третей всего объема, доминирующее – более двух третей всего объема. Сколь бы условны ни были эти корреляты, они позволяют увидеть существующую дифференциацию текстов: для стандартных церковнославянских текстов характерно окказиональное употребление новых флексий, для некнижных текстов – неокказиональное употребление, причем для некнижных ненормированных текстов (бытового регистра) – широкое употребление.



Показательным примером может служить частная переписка второй половины XVII в., изданная С. И. Котковым и Н. И. Тарабасовой (Котков и Тарабасова 1965, 9–125). Общий объем новых флексий составляет в этом корпусе 42,91%. У существительных ж. рода *i*-склонения в дат. мн. и местн. мн. новые флексии доминируют (80% и 89,19% соответственно), а в тв. мн. встречаются исключительно старые формы. У существительных м. рода *o*-склонения наиболее продвинут местн. мн. (65,71% новых флексий), затем идет тв. мн. (51,35%), наиболее консервативным является дат. мн. (15,38%). Таким образом, узус бытового регистра определяется тем, что *a*-экспансия представлена в нем широко, охватывая более одной трети релевантных случаев. Новые флексии представлены во всех классах имен, хотя и не в равной пропорции. Для существительных м. рода *o*-склонения наиболее продвинутым является местн. мн., а наименее продвинутым дат. мн. Такое распределение (**L > I > D**) совпадает с наблюдавшимся в ряде стандартных церковнославянских текстов, для которых фактор нормализации (ориентации на грамматику Смотрицкого) относительно менее значим (см.: Живов 2004а, 283–284). Очевидно, что в этом плане указанные церковнославянские тексты совпадают с некнижными ненормированными – как бы сильно ни сказывалась их специфика на других моментах. Тем самым распределение **L > I > D** может рассматриваться как нейтральное, осуществляющееся вне определяющего воздействия фактора нормализации.

Заслуживает внимания и еще один момент. Выше уже было сказано, что консерватизм стандартных церковнославянских текстов проявляется не только в окказиональном характере отражения *a*-экспансии, но и в невосприимчивости их к свежим инновациям, а именно к новым формам в *i*-склонении. В данном аспекте частная переписка оказывается для них прямой противоположностью. В ней не только наблюдается широкое отражение *a*-экспансии, но в дат. мн. и местн. мн. существительных ж. рода *i*-склонения новые формы могут доминировать, т. е. свежие инновации отражаются даже в большей степени, чем инновации более давние. Подобное соотношение можно объяснить тем, что свежим инновациям не противостоят выработанные навыки письма, обуславливающие определенную консервативность форм *o*-склонения.

Параметры текстов делового регистра отличаются в ряде моментов от параметров регистра бытового, и это, надо думать, связано с присутствием в приказном языке определенных элементов нормализационной установки. Степень сознательности данной установки у авторов деловых текстов может быть предметом дискуссии, однако ее актуальность удостоверяется исправлениями, вносимыми в деловые тексты, в частности, исправлениями, касающимися интересующих нас форм существительных в косвенных падежах мн. числа. Об этом, например, свидетельствуют списки Вестей-Курантов. Сопоставляя черновую рукопись этих текстов с беловиком, Н. И. Тарабасова отмечает целый ряд исправлений в формах дат., тв. и местн. мн. Как правило, при таких исправлениях новое окончание заменяется традиционным, например, *робятам* → *робятом*, *ѣдѣлам* → *ѣдѣлом* (Тарабасова 1986, 98–99), с... *Статами* → с... *Статы* (с. 111), *городах* → *городех*, *сѣставах* → *сѣставех* (с. 114),

хотя возможны и замены обратного характера, ср.: *караблѣхъ* → *карабляхъ*, *животех* → *животах* (с. 113–114).

Естественно было бы ожидать, что в текстах на деловом языке, претендующих на определенный культурный статус, нормализация будет проявляться более определенно, однако обращение к этим текстам вполне ясной картины не дает. Даже самые поверхностные статистические наблюдения показывают, что подобные тексты неоднородны. В одних объем *а*-экспансии ограничен, например, в Уложении 1649 г. (около 20% новых флексий), и это – в сопоставлении с данными частной переписки – определенно указывает на большую устойчивость письменных навыков. В других текстах, однако, *а*-экспансия представлена широко; например, в Вестях-Курантах новые флексии употребляются более чем в трети случаев, так что в этом плане отличий от частной переписки не наблюдается. Сходство в других параметрах, однако, позволяет говорить об общем механизме порождения приказных текстов, т. е. видеть здесь особую традицию, обладающую определенным внутренним единством. В письменности XVII в. деловой регистр оказывается противопоставлен другим регистрам также и статистической конфигурацией вариантов в косвенных падежах мн. числа.

К деловым текстам, получившим явную нормализационную обработку, могут быть отнесены Вести-Куранты. Выборочный подсчет на материале Вестей-Курантов 1648–1650 гг. (Вести-Куранты 1983, 9–150) дает следующие результаты. Общий объем новых флексий составляет 45%. У существительных м. рода *о*-склонения наиболее продвинутым является тв. мн. (66% новых флексий), затем идет местн. мн. (45%), затем дат. мн. (43%). У существительных *і*-склонения ж. рода *а*-экспансия имеет вполне выраженный характер: в дат. мн. 80% новых флексий, в местн. мн. – 50%, в тв. мн. – 33%. Анализ этого и ряда других текстов делового регистра (см. подробнее: Живов 2004а, 289–296) и сопоставление с данными частной переписки позволяет сделать некоторые общие выводы. В нормализованных текстах на приказном языке *а*-экспансия в *о*-склонении распространяется на разные падежи в другом порядке, нежели в частной переписке: в наибольшей степени она представлена в тв. мн., а не в местн. мн., т. е. имеет место порядок **I > L > D**. Естественно думать, что это более продвинутое состояние тв. мн. объясняется нормализацией: новые флексии в тв. мн. дают возможность разрешить омонимию тв. мн. и им.-вин. мн., и это может служить стимулом для их предпочтения в нормализуемой письменной речи<sup>437</sup>. Таким образом,

<sup>437</sup> Вопреки гипотезе Шахматова, полагавшего, что *а*-экспансия начинается с тв. падежа в силу того, что необходимо было разрешить омонимию им.-вин. мн. и тв. мн. (Шахматов 1910–1912, III, 422–424), фактор разрешения омонимии не играл никакой роли в развитии новых флексий в живом языке XIII–XVI вв. (см. критические соображения: Унбегаун 1935а, 203–205; Иорданиди и Крысько 2000, 255–256). Омонимия им.-вин. мн. и тв. мн. приводит к реальной смысловой неоднозначности лишь в очень редких случаях, и стремление избежать этой неординарной коммуникативной ситуации не может быть приписано ни участникам устной коммуникации, которые в случае необходимости предпочитают пользоваться переспросом, ни создателям письменных текстов, в которых двусмысленность уничтожается перечитыванием. В применении к обычной речевой дея-

в деловом регистре нормализация дает тот же эффект  $I > L > D$ , который мы наблюдали в специфически нормализованных стандартных церковнославянских текстах (у Симеона Полоцкого), хотя для каждого отдельного падежа пропорции существенно различаются. Приказные тексты могут быть консервативны, характеризуясь лишь ограниченным объемом новых флексий, однако их консервативность на порядок отличается от консервативности памятников стандартного церковнославянского, в которых новые флексии представлены лишь окказионально.

В то же время для существительных ж. рода *i*-склонения данные рассмотренных памятников в общем совпадают с тем, что наблюдается в частной переписке. Можно полагать, что оба типа источников отражают в этом случае соотношения, характерные для живого языка: продвинутость *a*-экспансии в дат. мн. и местн. мн. и консерватизм в этом отношении тв. мн. Вместе с тем общей чертой является и открытость для свежих инноваций; в этом и нормализованные и ненормализованные не книжные тексты противостоят стандартным церковнославянским. Особые параметры характеризуют такой важный деловой текст, как Уложение 1649 г.; этот текст оказывается архаизирующим, что выражается прежде всего в консервативности тв. мн. *o*-склонения.

Тексты гибридного регистра специфичны в ряде отношений. В XVII в. они обнаруживают наиболее ясно выраженную динамику, в результате которой в них разбивается ряд общих черт, противопоставляющих их как стандартным церковнославянским текстам, так и текстам на не книжном языке. По сравнению со стандартными церковнославянскими текстами сочинения, написанные на гибридном языке, получают в результате этого развития существенно больший объем *a*-экспансии: в текстах второй половины XVII в. новые флексии составляют, как правило, не менее 15% от общего объема, а в отдельных произведениях (относительно редкий случай) пропорция новых флексий может превышать одну треть. Определенные ограничения возникают здесь лишь в силу ориентации на образцы; степень этой ориентации, связанная прежде всего с памятью жанра, в разных гибридных текстах представляется величиной переменной, и именно поэтому различной может быть и пропорция новых флексий. В любом случае, однако, соблюдение традиционной нормы, допускающей новые формы лишь в качестве отступления, не является здесь обязательным, как в стандартных церковнославянских текстах, что и объясняет относительно быстрый рост объема подобных форм.

---

тельности фактор омонимии – это вымышленный стимул языковых изменений. Когда мы говорим о стремлении устранить омонимию как элемент нормализационной установки, мы имеем в виду не желание устранить двусмысленность, а внимание к формам как таковым, т. е. достаточно абстрактную интенцию к однозначности формы: тв. мн. на -ы плох не тем, что создает реальную неясность, а тем, что данная форма многозначна. Понятно, что такая специфическая интенция (в большей или меньшей мере сознательная) появляется только в письменном языке и только в особых обстоятельствах регламентированного письма.

Определенное представление о динамике рассматриваемых морфологических вариантов может дать сопоставление двух частей Мазуринской летописи. В первой части, доходящей до 7000 г. (включительно) и характеризующейся прежде всего последовательным традиционным употреблением простых претеритов и весьма ограниченной частотой *л*-формы, параметры употребления разбираемых морфологических вариантов таковы (ПСРЛ, XXXI, 11–119):

		м. р. <i>о</i> -скл.	м. р. <i>јо</i> -скл.	ср. р. <i>о</i> -скл.	ср. р. <i>јо</i> -скл.	м. р. <i>с</i> -скл.	м. р. <i>і</i> -скл.	ж. р. <i>і</i> -скл.
Д.	омъ/емъ	93	30	20	2	33	16	17
	амъ/амъ	2	3	1	—	—	1	2
М.	ехъ/ѣхъ	35	16	17	4	11	15	11
	ахъ/ахъ	7	4	4	6	—	—	1
	ы/и	111	23	24	7	27	—	—
Т.	ами/ами	5	—	—	1	1	—	—
	ми	2	2	—	1	—	25	28

Отражение *а*-экспансии в первой части Мазуринской летописи можно было бы назвать архаичным; оно сопоставимо, например, с отражением этого процесса в Новгородской пятой летописи (см. выше). На это указывает прежде всего низкая общая пропорция новых флексий, составляющая всего 6,25%: употребление новых флексий остается окказиональным, как и в памятниках XVI в. По объему *а*-экспансии рассматриваемый текст не противопоставляется значимым образом и тем памятникам XVII в., которые относятся к стандартному церковнославянскому регистру. Не менее показательны и соотношения пропорций старых и новых флексий в различных падежах существительных м. рода *о*-склонения. Больше всего инновативных форм в местн. мн. (17,74%), затем следует дат. мн. (3,91%), и на последнем месте оказывается тв. мн. (3,47%), т. е. данный параметр выглядит как **L > D > I**. Это архаическое соотношение отражает то запаздывание *а*-экспансии в тв. мн., которое выше отмечалось как характерное для письменности XVI в. (равно книжной и некнижной).

Во второй части Мазуринской летописи (ПСРЛ, XXXI, 119–179) картина существенно меняется, что несомненно связано с общим изменением узуса (так, во второй части иным становится употребление прошедших времен, доминирующее положение занимает *л*-форма – Живов 1995а). На этом фоне преобразуется и характер выбора вариантов у существительных в косвенных падежах мн. числа. Это выражается прежде всего в резком (в три раза) возрастании пропорции инновативных форм. В абсолютных цифрах вторая часть Мазуринской летописи характеризуется следующими показателями:

		м. р. о-скл.	м. р. јо-скл.	ср. р. о-скл.	ср. р. јо-скл.	м. р. С-скл.	м. р. і-скл.	ж. р. і-скл.
Д.	омъ/емъ	48	23	3	—	8	13	3
	амъ/амъ	18	2	1	—	—	2	5
М.	ехъ/ѣхъ	33	5	9	1	1	4	5
	ахъ/ахъ	25	2	5	4	1	—	2
	ы/и	85	30	7	10	23	—	—
Т.	ами/ами	29	—	1	1	—	—	—
	ми	—	—	—	—	—	75	21

Как можно видеть, употребление новых флексий оказывается здесь не окказиональным, а ограниченным, их пропорция составляет 19,48%. Изменяется и характер распределения инновативных флексий по классам. В о-склонении у существительных м. рода наиболее подвержен а-экспансии местн. мн. (41,54% новых флексий), в тв. мн. и дат. мн. а-экспансия представлена существенно слабее (соответственно 20,14% и 21,98%). У существительных ж. рода і-склонения а-экспансия не отмечена в тв. мн., доминирует в дат. мн. (62,5% новых флексий, ср.: *площадям*, с. 155, 156, *вестям*, с. 161, *записям*, с. 162) и фиксируется в местн. мн. (28,57% новых флексий, ср.: *волостях*, с. 132, *костях*, с. 133); распространение а-экспансии на существительные данного класса представляет собой наиболее явный сдвиг в сравнении с текстами более раннего времени.

Та динамика отражения а-экспансии, которая обозначилась при сравнении двух частей Мазуринской летописи, выявляется и при рассмотрении других гибридных памятников XVII в., прежде всего летописных. Так, близкий аналог первой части Мазуринской летописи находим во «Временнике» Ивана Тимофеева (РИБ, XIII, стб. 261–472), в Новгородской второй летописи и ряде других гибридных текстов первой половины XVII в. Гибридные тексты второй половины XVII в. дают иную картину. В качестве типичного для этого периода текста можно рассмотреть Летописец 1619–1691 гг. (ПСРЛ, XXXI, 180–205). Хотя по своим лингвистическим стратегиям он существенно отличается от Мазуринской летописи, демонстрируя стремление к выражению книжному изложению (довольно последовательное употребление простых претеритов, насыщенность специфически книжными синтаксическими конструкциями), а-экспансия отражается в нем практически таким же образом, как и во второй части Мазуринского летописца. Это ясно показывает, что в отношении разбираемой вариации действует принципиально иной лингвистический механизм, нежели в отношении маркированно книжных элементов. Сходные с Летописцем 1619–1691 гг. параметры обнаруживаются и в Сибирских летописях XVII в. или в «Скифской истории» Андрея Лызлова (Лызлов 1990).

В гибридных текстах, не связанных с летописной традицией и тем самым лишенных характерной для них памяти жанра, пропорции новых флек-

сий могут быть существенно выше. Так обстоит дело, например, в Житии протопопа Аввакума (по автографу Пустозерского сборника – Пустозерский сборник 1975), построенном в лингвистическом отношении на имитации оральности и отталкивании от традиции. Новые флексии в тексте Жития не доминируют, но употреблены в такой пропорции, которая не встречается в других памятниках гибридного регистра. Пропорция новых форм составляет в Житии Аввакума 47,72%, что является беспрецедентным для гибридных текстов данного периода. У существительных м. рода *о*-склонения наиболее продвинутым является местн. мн. (55,17%), менее продвинут тв. мн. (38,30%) и менее всего подвержен *а*-экспансии дат. мн. (37,93%) (различия между последними двумя классами статистически не значимы). Данная схема соотношения падежей является, как мы знаем, типичной для гибридных текстов, и Аввакум преемственно воспроизводит ее вне зависимости от значительного изменения общей пропорции инноваций. У существительных м. и ж. рода *і*-склонения в дат. мн. фиксируются исключительно новые окончания, в местн. мн. новые окончания преобладают, единичный пример нового окончания отмечен также в тв. мн. (*кознями*, л. 28); на фоне известного нам гибридного узуса такое поведение существительных *і*-склонения может интерпретироваться как еще одна черта, маркирующая установку Аввакума на коллоквиализацию.

Можно отметить, что в гибридных текстах с определенным временным лагом наблюдаются те же процессы, что и в текстах не книжных. К таким процессам относится прежде всего продвижение *а*-экспансии в тв. мн. существительных м. рода *о*-склонения. В гибридных текстах первой половины XVII в. отставание тв. мн. еще вполне заметно, тогда как в подобных же текстах второй половины XVII в. пропорция инновативных форм в тв. мн. сравнивается с аналогичной пропорцией в дат. мн., а чаще даже и превышает эту последнюю. Тот же процесс, но проходящий ранее и более интенсивно, можно наблюдать при сопоставлении архаизирующего узуса Уложения 1649 г. с другими памятниками делового регистра, а результаты аналогичного процесса отчетливо видны и в текстах бытового регистра. Вместе с тем тв. мн. нигде не становится наиболее продвинутым в плане *а*-экспансии падежом, как это имеет место в деловом регистре. Это объяснимо, поскольку установка на нормативность реализуется в гибридных текстах в признаках книжности и им в принципе чужды те моменты нормализации, которые присущи текстам на приказном языке. Именно поэтому характер распределения новых флексий в исторических сочинениях второй половины XVII в. соответствует в них тому нейтральному порядку, который мы находим в ненормированных не книжных текстах (частной переписке), т. е. схеме **L > I > D**.

Рассмотренные данные позволяют сделать некоторые общие выводы о тех факторах, которые определяют характер *а*-экспансии в письменности XVII в. Так, степень консервативности употребления может быть соотнесена с ориентированностью на образцы: чем больше выражена эта ориентированность, тем менее употребляются новые флексии. Именно по этому признаку стандартные церковнославянские тексты, ориентированные на основной корпус сакральных памятников, более всего отличаются от текстов бытового регистра, для которых давление традиции не является столь су-

щественным фактором. Вместе с тем данный фактор может объяснить и различия в объеме *а*-экспансии в текстах делового и гибридного регистра. Если архаизирующее, т. е. ориентированное на более ранние памятники Уложение 1649 г. сравнительно консервативно, то Вести-Куранты и ряд других деловых текстов столь непосредственной преемственности не обнаруживают и в силу этого более открыты для инноваций. Аналогично и с гибридными текстами. Там, где преемственность поддерживается памятью жанра, как это имеет место в летописных памятниках, ориентированных на образцы предшествующего летописания, объем *а*-экспансии сравнительно низок. Более продвинуты в отношении *а*-экспансии сочинения, не так непосредственно связанные с образцами или по тем или иным причинам отталкивающиеся от них, как, например, Житие Аввакума.

Ориентированность на образцы по-разному реализуется в книжной и в некнижной письменности. Речь идет не только о том, что связь с традицией в книжной письменности существенно сильнее, чем в некнижной, и соответственно в книжных текстах объем *а*-экспансии, как правило, значительно меньше, чем в текстах некнижных. Имеются и качественные различия. Ориентация на образцы в некнижных текстах не обладает хронологической глубиной; преемственность осуществляется здесь как передача письменных навыков от одного поколения к непосредственно за ним следующему; подъячий или участник частной переписки получает образцы лингвистической продукции, созданные максимум за полстолетия до его времени; поэтому реализующиеся здесь традиции относительно открыты для свежих инноваций. Отражением этой ситуации является большой объем *а*-экспансии в дат. мн. и местн. мн. существительных ж. рода *і*-склонения, характерный почти для всех некнижных памятников – как нормированных, так и ненормированных, как характеризующихся ограниченным употреблением новых форм, так и усваивающих широкое их употребление.

Стандартные церковнославянские тексты, напротив, к свежим инновациям особенно невосприимчивы, воспроизводство инновативных форм растянуто в них во времени, поскольку те образцы, на которые ориентированы эти тексты, произведены не предшествующим поколением книжников, а далекими предками, а последующие поколения стремились воспроизвести язык этих образцов наиболее полным образом; соответственно, новые формы в дат. мн. и местн. мн. существительных ж. рода *і*-склонения здесь практически отсутствуют. Ситуация в гибридных текстах зависит от того, насколько значима для них преемственность. В гибридных текстах, ориентированных на образцы и потому лишь в ограниченном объеме употребляющих инновативные формы, *а*-экспансия в дат. мн. и местн. мн. существительных ж. рода *і*-склонения может вообще не проявляться или проявляться весьма ограниченно, как это и имеет место в большинстве летописных памятников; это может объясняться тем, что в образцовых текстах, на которых воспитывались авторы обследованных сочинений, данный класс *а*-экспансией вообще затронут не был. В гибридных текстах с широким употреблением новых флексий (Житие Аввакума) инновации в разбираемом классе форм доминируют; этот момент естественно связать с тем разрывом в преемственности, который характерен для этих текстов.

Обратимся теперь к другому параметру – относительной продвинутости  $\alpha$ -экспансии в разных падежах у существительных м. рода  $o$ -склонения, т. е. в наиболее употребляемом классе имен. Этот параметр в разбираемый нами период подвержен наиболее ярко выраженным динамическим преобразованиям. В первые десятилетия XVII в. имеет место существенное отставание в объеме тв. мн. от дат. мн. и местн. мн.; так было и в XVI в., и исследуемая эпоха наследственно воспроизводит эту черту. Для начала XVII в. характерен порядок  $L > D > I$ . Отставание тв. мн., отразившееся как в некнижных текстах XVI в., так и в текстах гибридных (примером может служить Новгородская пятая летопись), засвидетельствовано и памятниками первой половины XVII в. С одной стороны, это архаизирующее Уложение 1649 г., с другой – книжные памятники гибридного регистра: Новгородская вторая летопись, Казанский летописец, первая часть Мазуринской летописи. В данный период гибридные тексты еще не противопоставлены в разбираемом отношении некнижным; это позволяет говорить об общей на начальных этапах эволюции книжных и некнижных текстов. Постепенно отставание тв. мн. преодолевается, быстрее в некнижных текстах, медленнее в книжных. В результате во второй половине XVII в. устанавливается нейтральный порядок распределения старых и новых флексий по падежам, соответствующий схеме  $L > I > D$ .

Этот порядок мы с абсолютным постоянством находим в различных текстах бытового регистра, видимо, уже с 30-х годов XVII столетия. Он осуществляется и в стандартных церковнославянских текстах, менее подчиненных нормализационной установке. Такое соотношение падежей наблюдается и в большинстве гибридных текстов. Общая пропорция новых флексий здесь существенно меньше, чем в текстах бытового регистра, но относительная продвинутость падежей в рассматриваемом классе существительных оказывается такой же, т. е.  $L > I > D$ . Так обстоит дело во второй части Мазуринского летописца, в Летописце 1619–1691 гг., в Сибирских летописях, у Лызлова.

Эволюция текстов делового регистра приводит к реализации иной схемы соотношения падежей по продвинутости  $\alpha$ -экспансии. Отставание тв. мн. преодолевается и здесь, однако в деловых текстах эволюция идет дальше и тв. мн. становится падежом с наибольшей пропорцией инновативных форм. Для делового регистра характерным делается порядок  $I > L > D$ . Данную эволюцию можно рассматривать как углубление регистровой дифференциации. В письменной культуре оформляются разные линии преемственности, и постепенно расхождение нарастает, так что дифференцированными по регистрам оказываются все новые и новые области морфологической вариативности.

То отступление от нейтрального порядка, которое мы наблюдаем в деловом регистре, можно связать с нормализующей установкой, выражающейся в стремлении избавиться от омонимии тв. мн. и им.-вин. мн. Именно это стремление и обуславливает реализацию модели  $I > L > D$ . Такой порядок свойствен прежде всего приказной традиции, выступая как ее яркая отличительная черта. Однако аналогичные явления могут быть обнаружены и в стандартных церковнославянских текстах (у Симеона Полоцкого), в кото-



рых нормализационная тенденция проявляется с особой интенсивностью (в форме ориентации на грамматику Смотрицкого). В этом случае нормализующая установка имеет, возможно, опосредованный характер: стремление разрешить омонимию тв. мн. и им.-вин. мн. подталкивает Смотрицкого к тому, чтобы ввести варианты с новыми флексиями тв. мн. в свою грамматику, а Симеон воспринимает рекомендации Смотрицкого как стимул к употреблению новых форм.

Таким образом, разнообразие реализаций *а*-экспансии в текстах XVII в. определяется двумя факторами: степенью ориентации на образцы и стремлением к нормализации. Можно представить их действие следующим образом:

		ориентация на образцы	
		+	—
стремление к нормализации	+	окказиональное <b>I &gt; L &gt; D</b> станд. цсл. регистр	ограниченное/широкое <b>I &gt; L &gt; D</b> деловой регистр
	—	ограниченное <b>L &gt; I &gt; D</b> гибридный регистр	широкое <b>L &gt; I &gt; D</b> бытовой регистр

Итак, в XVII в. мы наблюдаем следующую картину дифференциации регистров по морфологической вариативности, связанной с отражением *а*-экспансии. Несмотря на то что в XVII в. процесс *а*-экспансии в живом языке в основном завершается (кроме, видимо, тв. мн. существительных ж. и м. рода *і*-склонения), в письменных текстах новые флексии нигде не оказываются доминирующими (составляющими более двух третей всего объема). В этом проявляется автономность письменного узуса, основанная на естественной передаче письменных навыков от поколения к поколению. Вся совокупность текстов определенным образом структурирована. Полюса обозначены стандартными церковнославянскими текстами, в которых *а*-экспансия отражается лишь окказионально, и некнижными ненормированными текстами (текстами бытового регистра), в которых *а*-экспансия отражается широко. Между этими двумя полюсами располагаются тексты на гибридном церковнославянском и тексты делового регистра.

Механизм употребления новых флексий в текстах этих двух типов различен. В текстах делового регистра он обусловлен выборочной нормализацией. Она стимулирует сохранение старых флексий прежде всего у существительных м. рода *о*-склонения, поскольку противопоставление письменного и разговорного языка обрело здесь устойчивые формы еще в XVI в. и отложилось в устойчивых письменных навыках. Вместе с тем нормализацией вызвано распространение новых флексий в тв. мн., поскольку это позволяет разрешить омонимию падежных форм. Вне этого нормализуемого класса приказная традиция реализации *а*-экспансии не противостоит (или противостоит слабо).

В гибридных текстах подавление *а*-экспансии связано не с нормализацией, а с ориентацией на образцы. Чем сильнее эта ориентация (чем более укоренен текст в книжной традиции), тем меньше простора получает *а*-экспансия. Ориентация на образцы подавляет *а*-экспансию в разных классах существительных, она в особенности неблагоприятна для свежих инноваций (для отражения тех процессов, которые в разговорном языке завершились относительно недавно). Если отвлечься от отражения свежих инноваций, то схемы распределения новых флексий в гибридных текстах в основном совпадают с аналогичными параметрами некнижных ненормированных текстов (текстов бытового регистра) – отличие состоит лишь в снижении пропорций. Это показывает, в частности, что оппозиция старых и новых флексий в анализируемых формах не входит в число признаков книжности; создающий эту оппозицию процесс *а*-экспансии захватывает и книжные, и некнижные регистры, и каждый из регистров формирует свое употребление наличных вариантов, свою конфигурацию вариантов, характеризующую статистическими параметрами их употребления. В данном случае диверсификация регистров оказывается достаточно поздним процессом, и это неслучайно. В XVII в. объем и разнообразие производства письменных текстов существенно возрастает, и это разрастание приводит к кристаллизации письменных традиций, к стабилизации дифференцированных письменных навыков.

## 6.    **Формы инфинитива и дифференциация регистровых конфигураций**

Более простое конфигурирование морфологических вариантов, дифференцирующих регистры письменного языка, можно обнаружить при исследовании форм инфинитива в письменном узусе XVII в. Как формы инфинитива на *-ти*, так и формы инфинитива на *-ть* встречаются в русской письменности с древнейших времен. В древнейший период (XI–XIV вв.) формы на *-ти* являются основными не только для книжной, но и для некнижной письменности; эти формы выступают как основной вариант не только у тех глаголов, которые в ранний восточнославянский период имели ударение на *-ти*, но и у тех, где *-ти* было исконно безударным. Отпадение конечной безударной гласной в инфинитиве определяется общим правилом отпадения конечных гласных, как оно сформулировано А. А. Зализняком: «В истории русского языка со времени падения редуцированных (XII век) в течение нескольких веков (по крайней мере до конца XVI века) действовала следующая закономерность: безударная конечная гласная фонетического слова, не составляющая самостоятельного морфа, факультативно (а в части случаев и окончательно) исчезала, если ей предшествовала одиночная согласная (или сочетание *ст*)» (Зализняк 1992, 296–297; ср.: Дурново 1928).

Действие этой закономерности обусловило отпадение конечной безударной гласной в инфинитиве на *-ть* после падения редуцированных, равно как и дальнейшие преобразования в формах инфинитива других типов, когда в этих формах происходил перенос ударения на слог влево и образовалась

новая безударная гласная (ср. *взять* из *възятѣй*, *беречь* из *беречѣй*). Тот же процесс дефинализации ударения дает и формы типа *вѣсть*, *нѣсть* и т. д., хотя в этом морфологическом подклассе дефинализация является поздней и непоследовательной (Зализняк 1985, 182–188; ср.: Орлова 1970, 97; Горшкова и Хабургаев 1981, 345–346).

В книжных текстах XI–XIII вв. формы инфинитива на *-ть* встречаются лишь в качестве редчайших исключений, имеющих особое объяснение. Хотя можно подозревать, что в разговорном языке XIII в. отпадение конечной гласной в инфинитиве получило определенное распространение, норма книжного письма требовала инфинитива на *-ти*. Лишь окказионально встречаются формы на *-ть* и в памятниках некнижных. Первые по времени примеры появляются в Смоленских грамотах, ср. единичный пример в договоре 1229 г. (список А): **Аже не бѹдѣтъ порѹки то оу жельза оусадитѣ** (СГ, 21). Не менее показательно, что форма на *-ти* последовательно употребляется в ранних новгородских берестяных грамотах; первые примеры с *-ть* появляются в блоке, состоящем из грамот № 61 и 68 и относящемся к 60–70-м годам XIII в.: **исправитѣ, бѹтъ** (Зализняк 2004а, 483–484). Однако и позднее формы на *-ти* употребляются преимущественно перед формами на *-ть*. По подсчетам А. А. Зализняка для берестяных грамот второй половины XIV в. «соотношение примеров с *-ть* и с *-ти* – 7:13», правда, в первой половине XV в. соотношение меняется на 9:6 (Зализняк 2004а, 141; ср.: Зализняк 1986, 144). Таким образом, вплоть до конца XIV в. формы на *-ти* были основными не только для книжного, но и для некнижного языка. Такое положение вещей характерно и для более позднего времени. В книжных памятниках XV–XVI вв. нормативной остается форма на *-ти*, тогда как форма на *-ть* встречается лишь в относительно малом числе случаев или может полностью отсутствовать (ср.: Булич 1893, 398). Так обстоит дело не только в памятниках стандартного церковнославянского, но и в произведениях, написанных на гибридном языке. Лишь единичные формы на *-ть* (и *-чь*) встречаются, например, в Казанском летописце, Сказании о Мамаевом побоище или письмах Ивана Грозного (Никифоров 1952а, 195; Никифоров 1952б, 105).

Некнижные тексты XV–XVI вв. в рассматриваемом аспекте более дифференцированы. В текстах делового регистра (в судебных грамотах, в призывающем к ним Домострое) сохраняется существенное преобладание форм на *-ти* (Никифоров 1952а, 195; Соколова 1957, 145). Между тем, как отмечает С. Д. Никифоров, «формы инфинитива на безударные *-ть*, *-чь* более часты в частных письмах (грамотках) и в челобитных <...> Примеры (РИБ т. 15): 3 голода не хотят *умереть* (78). Некуды *итить* (80). Послал... *проводить* своих дву человек (219)» (Никифоров 1952а, 195).

В XVII в. картина становится более сложной и дифференцированной, надо полагать, в связи с уже упоминавшимся ростом письменной продукции. В стандартных церковнославянских памятниках форма на *-ти* продолжает быть вне конкуренции. Форм на *-ть* нет ни в Библии 1663 г., ни, что также характерно, в Елизаветинской Библии 1752 г. (Булич 1893, 398). Не менее единообразны в этом отношении и богослужебные тексты. В печатных изданиях устраняются даже те случайные отклонения, которые могли

вкрасться в рукописные тексты, так что церковнославянская норма выдерживается здесь без всяких отклонений.

Памятники гибридного регистра в интересующем нас отношении достаточно разнообразны. В сравнении с гибридными текстами более раннего времени они в целом обнаруживают явный сдвиг в сторону большего употребления инфинитива на *-ть*. Этот сдвиг отчетливо отражается, например, в гетерогенном узусе Мазуринского летописца. Весь текст может быть разделен на две части: от начала повествования до 7001 г. (ПСРЛ, XXXI, 11–119) и от 7001 г. до конца (там же, 119–179) (см. выше). В первой части инфинитив на *-ть* появляется лишь окказионально. При 567 формах инфинитива на *-ти* фиксируется всего лишь 25 форм инфинитива на *-ть*, что составляет 4,22% от общего числа инфинитивов данного типа. Инфинитив от возвратных глаголов представлен исключительно формами на *-тися* (71 пример), формы на *-ться* полностью отсутствуют. Точно так же отсутствуют формы с отпавшим гласным среди инфинитивов на *-сти*. Среди инфинитивов на *-щи/-чи* пропорция форм с отпавшей гласной неожиданно велика: из 18 имеющихся примеров 4 представляют собой формы на *-чь* (22,22%). Суммируя, эти данные можно представить в следующей таблице:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/-ться</i> ( <i>-тца</i> )	<i>-щи(-чи)/-чь</i>	<i>-стѣ/-сть</i>	<i>-'сти/-сть</i>	Всего
старые	567	71	14	21	8	681
новые	25	—	4	—	—	29
% новых	4,22%	0%	22,22%	0%	0%	4,08%

По статистическим параметрам употребление инфинитива в первой части близко тому, которое наблюдается в гибридных текстах XVI в., ср. примеры инновативных форм: *Русь нача писание имети и писать имети* (с. 33), *пришли веры смотреть* (с. 43), *посылал веры изыскивать* (с. 43), *заповеда утаить смерть* (с. 50), *не бысть вспаметовать никому о сем* (с. 51), *нача господствовать на Москве* (с. 59) и т. д. Статистические параметры второй части существенно отличаются от параметров первой части. При 362 формах инфинитива на *-ти* фиксируется 93 формы инфинитива на *-ть*, что составляет 20,44% от общего числа инфинитивов данного типа; форма на *-ть*, появляющаяся в пятой части примеров, представляет собой, понятно, не окказиональный, а хорошо представленный допустимый вариант. Инновативные формы появляются и в инфинитивах возвратных глаголов; из 46 примеров 6 оказываются формами с отпавшей гласной (это составляет 13,04%). Для сравнения приведу таблицу:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/-ться</i> ( <i>-тца</i> )	<i>-щи(-чи)/-чь</i>	<i>-стѣ/-сть</i>	<i>-'сти/-сть</i>	Всего
старые	362	40	8	9	3	422
новые	93	6	9	2	3	113
% новых	20,44%	13,04%	52,94%	18,18%	50%	21,12%

Приведенные данные показывают, что в XVII в. гибридный регистр допускает не только окказиональное появление инновативных форм инфинитива (как это характерно для предшествующего периода), но и употребление их в качестве санкционированного факультативного варианта. Разные гибридные тексты данного периода в разной степени используют данную возможность, при этом не заметно какой-либо связи этого выбора с тематикой текста, с его более светским или более религиозным характером. Понятно, что в специфически книжных конструкциях с инфинитивом (например, в конструкции *яко* + инфинитив с субъектом в дат. падеже, см. § V-4.1) будут достаточно устойчиво употребляться традиционные формы инфинитива (ср. в Мазуринском летописце: *яко и пеня не слышати* – с. 91), тогда как конструкции, не характерные для книжного языка, будут благоприятствовать появлению инновативных форм (ср. там же инфинитивные предложения со значением долженствования и субъектом в им. падеже: *стольники пить носить перед бояр в большой стол* – с. 167). В принципе это означает, что в текстах, широко использующих специфически книжные синтаксические построения, будет в подавляющем большинстве случаев употребляться инфинитив на *-ти*, в то время как в текстах, допускающих элементы не книжного синтаксиса, будет представлено существенное количество форм на *-ть*. На деле, однако, различия гибридных текстов в синтаксических стратегиях не сказываются однозначным образом на статистике инфинитивных форм. В отличие, скажем, от простых претеритов, дифференцированное употребление которых требует овладения семантическими механизмами книжной письменности, традиционные формы инфинитива порождаются без труда и доступны практически любому автору вне зависимости от его мастерства и риторических установок. Каждый автор может выбрать то, что ему больше нравится, примкнуть к унаследованной традиции или преобразовать ее.

Та незначительная корреляция, которая все же имеется между уровнем книжности памятника (имею в виду риторическую изоционность и связанные с нею синтаксические построения) и выбором формы инфинитива, может быть прослежена на примере одного из самых не книжных гибридных текстов XVII в., обнаруживающего наибольшее количество синтаксических коллоквиализмов (см. § VII-2), именно на примере Новгородской второй летописи по списку РГАДА, МГАМИД, № 62/85 конца XVI – начала XVII в. (ПСРЛ, XXX, 147–205). При 211 формах инфинитива на *-ти* в летописи фиксируется 20 форм на *-ть*, пропорция последних составляет 8,66%. Общие статистические параметры этого памятника представлены в таблице:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/-ться</i> ( <i>-тца</i> )	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-стѣ/-сть</i>	<i>-'сти/-сть</i>	Всего
старые	211	26	11	9	4	261
новые	20	—	—	—	—	20
% новых	8,66%	0%	0%	0%	0%	7,12%

Новгородская вторая расположена не в хронологическом порядке, различные хронологические слои в сохранившемся тексте перемешаны. Если произвести расчленение хронологических слоев, то оказывается, что формы на *-ть* встречаются преимущественно в пласте конца XV – XVI вв., ср.: октенью велѣл *говорить* (л. 20 – с. а. 1500); велѣл октенью *говорить* (л. 20об. – с. а. 1500; двумя строчками выше: октенью велѣл *говорити*); октенью велѣл *гоговорить* [так!] (л. 23 – с. а. 1500); велѣл октенью *говорить* (л. 23 – с. а. 1500); а не *служит* обѣднеи дияконом вдовым (л. 88 – с. а. 1504) и т. д. Вне данного пласта обнаруживается лишь два примера с инфинитивом на *-ть*, ср.: Из многих церкви не успѣли *выносить* ни иконъ ни книг (л. 95об. – с. а. 1340); повелѣ *взять* крестъ господень (л. 57 – с. а. 1418). Показательно, что в Новгородской второй отсутствуют инновативные формы инфинитива от возвратных глаголов, равно как формы с отпавшей гласной у глаголов на *-сти* и *-ци*.

Понятно, что в продолжение XVII в. в гибридных текстах происходит определенная аккумуляция инновативных вариантов, так что тексты, созданные в конце этого периода и не содержащие текстового материала, восходящего к более раннему времени, показывают заметно большую пропорцию инновативных форм. Примером может служить Летописец 1619–1691 гг. (ПСРЛ, XXXI, 180–205), написанный, как видно из его хронологических рамок, в последнее десятилетие XVII в. и не включающий никаких летописных статей из летописей XVI в. или еще более раннего периода. Новые формы инфинитива предствлены здесь в 26,64% случаев (145 форм на *-ти* и 59 форм на *-ть*). Для уяснения параметров гибридного узуса отметим, что инфинитивы от возвратных глаголов представлены в Летописце 1619–1691 гг. исключительно традиционными формами: *укрытися* (695об.), *битися* (л. 700) и т. д. Лишь в традиционной форме встречаются и инфинитивы на *-сти*, причем вне зависимости от места ударения: *погребсти* (л. 695), *ясти* (л. 723об. [ter]) и т. д.

Как можно видеть из приведенных примеров, авторы проанализированных гибридных текстов сохраняют употребление инфинитива на *-ти* в качестве доминирующего. Так, однако, обстоит дело не во всех памятниках гибридного регистра XVII в. Там, где преемственность узуса оказывается по тем или иным причинам нарушенной, создаются условия для расширенного употребления инновативных форм инфинитива. Это имеет место прежде всего в новых жанрах, в тех литературных текстах, которые появляются как дань изменившимся вкусам переходной эпохи, в качестве новинки, дистанцированной от традиционного круга чтения средневекового книжника и отчасти рассчитанной на нетрадиционную аудиторию. Имею в виду прежде всего возникающую в XVII в. секулярную литературу. В качестве примера можно взять данные «Римских Деяний» (*Gesta Romanorum*) в московском переводе конца XVII в. (Римские Деяния 1877–1878, II, 162–237, 325–366). Статистические параметры двух обследованных выборок предстают в следующем виде:

	- <i>ти</i> /- <i>ть</i>	- <i>тися</i> /- <i>ться</i> (- <i>тца</i> )	- <i>ци</i> (- <i>чи</i> )/- <i>чь</i>	- <i>стѣ</i> /- <i>сть</i>	- <i>'сти</i> /- <i>сть</i>	Всего
старые	125	21	6	16	3	171
новые	144	—	—	6	3	153
% новых	53,53%	0%	0%	27,27%	50%	47,22%

Хотя в тексте могут быть выделены пассажи, в которых пропорция форм на *-ти* превышает среднестатистические показатели, равно как и пассажи, в которых доминирует форма на *-ть*, однако сколько-нибудь четкой связи вариантных форм с тематикой или стилистикой фрагмента не устанавливается. Очевидно, что возросшее употребление форм на *-ть* обусловлено в данном памятнике не особой стилистической интенцией переводчика и не тематическим диапазоном повествования, а его жанровой нетрадиционностью, стимулирующей отступления от сложившейся письменной традиции гибридного регистра.

Разрыв этот не является полным, он имеет ограниченный характер и оставляет место для существенной преемственности в отношении к узусу гибридного регистра. Об этой преемственности свидетельствует не столько даже вполне устойчивое функционирование форм инфинитива на *-ти*, продолжающих употребляться почти в половине случаев, сколько употребление инфинитивов от возвратных глаголов. В разговорном языке XVII в. судьба инфинитивов от возвратных глаголов (форм на *-тися*) не отличалась, видимо, от судьбы инфинитивов от невозвратных глаголов. В какой мере процесс преобразования *-тися* > *-ться* (*-тца*) шел параллельно процессу преобразования *-ти* > *-ть*, это не совсем ясный вопрос, поскольку при срастании возвратной частицы с глагольной формой конечная гласная инфинитива переставала быть конечной и это могло способствовать ее удержанию. Если бы, однако, письменный язык отражал это несходство в развитии возвратных и невозвратных форм, в нем следовало бы ожидать распространение форм на *-тисъ*, встречающихся лишь в редких случаях.

Как бы то ни было, в гибридном регистре возвратные и невозвратные формы функционировали разным образом. Как мы видели, например, в Мазуринском летописце, в его первой части инфинитивы на *-ться* полностью отсутствуют (при наличии инфинитивов на *-ть*), тогда как во второй части пропорция инновативных форм от возвратных глаголов оказывается ниже, чем аналогичные параметры для невозвратных глаголов. Тенденция к удержанию традиционной формы инфинитива от возвратных глаголов преимущественно перед невозвратными глаголами прослеживается и в других гибридных памятниках. Можно думать, что эта тенденция по крайней мере отчасти объясняется стремлением избежать омонимии форм 3 лица ед. числа презенса и форм инфинитива (типа *ставится* – *ставиться*), стремлением, специфическим для письменного языка. Дополнительным основанием могло быть желание противопоставить традиционную «полную» форму инфинитива той редуцированной форме, которая возникала (в частности, при чтении) в результате слияния [t] и [s] в аффрикату [c] (ср. формы инфинитива типа *писатца*). Для книжного языка, в котором отделимость

возвратной частицы *ся* продолжала быть актуальным моментом (поскольку в образцовых книжных текстах, хорошо известных пишущим, случаи дистантного расположения возвратной частицы в определенном количестве имелись), подобное слияние могло представляться нежелательным.

Рассмотренные данные определяют тот контекст, в котором появляется Житие протопопы Аввакума, его специфические лингвистические стратегии проясняются в их замысле на фоне гибридного узуса XVII в. В Житии Аввакума по списку Пустозерского сборника (Пустозерский сборник 1975) наблюдаются следующие пропорции в употреблении инфинитивных форм:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/-ться</i> ( <i>-тца</i> )	<i>-щу(-чи)/-чь</i>	<i>-стѣ/-сть</i>	<i>-'сту/-сть</i>	Всего
старые	68	20	6	13	1	108
новые	313	30	4	—	6	353
% новых	82,15%	60%	40%	0%	85,71%	76,57%

Таким образом, в данном тексте встречается 313 форм инфинитива на *-ть* при 68 формах инфинитива на *-ти*; пропорция инновативных форм составляет 82,15%. Подобное употребление инфинитива сразу же выводит Житие Аввакума за рамки традиционной агиографии (и хронографии), написанной на гибридном языке. Как и секулярная литература, появляющаяся в XVII в., Житие Аввакума дистанцируется от сложившейся лингвистической традиции гибридного узуса. Если в случае секулярной литературы это дистанцирование может рассматриваться как автоматическое следствие отсутствия жанровой преемственности, то у Аввакума память жанра несомненно присутствовала, и особенности его узуса должны интерпретироваться как сознательный опыт создания квазиагиографического текста, одновременно ориентированного на агиографические образцы и отталкивающегося от них. Одним из выражений этого отталкивания и оказывается интенсивное употребление инновативных форм инфинитива.

Установка на оральность реализуется в Житии повсеместно. Определяя главный стилистический слой Жития как сказ (форму «речевой, бесхитростной импровизации – ‘бесѣды’, ‘вяканья’»), В. В. Виноградов отмечает, что «вдруг этот сказ сменяется торжественной проповедью» (Виноградов 1980, 8). Поэтому восходящие к разным регистрам морфологические элементы распределены по тексту неравномерно. Ярче всего эта неравномерность проявляется в дистрибуции простых претеритов: аорист и имперфект появляются почти исключительно в «книжных» фрагментах Жития, тогда как в пассажах, характеризующихся оральностью, они встречаются лишь окказионально и обычно со специфической мотивировкой (глагол, вводящий цитату и т. п. – см.: Чернов 1984а, 66–68; Тимберлейк 1995). Употребление форм инфинитива следует этой же модели, и этим Житие Аввакума существенно отличается от памятников секулярной литературы с высокой пропорцией инфинитивов на *-ть*. Инфинитив на *-ти* приобретает у Аввакума вполне выраженную функциональную нагрузку.



Можно полагать, что Аввакум в разных фрагментах своего текста в разной степени дистанцируется от языковых традиций книжной письменности. Степень дистанцирования связана с риторической задачей фрагмента: там, где Аввакум рассказывает о своей жизни, делая вид, что речь идет не о святом, а об обычном человеке, он имитирует структуру и язык устного повествования, избегая обращения к книжной традиции; там, где он учительствует или вообще озабочен созданием внешнего авторитета для своего текста, он апеллирует к книжной традиции (частным случаем такой апелляции является цитата), насыщая текст элементами книжного языка. Понятно, что эти задачи, будучи в целом распределены по разным фрагментам, порой могут совмещаться в рамках одного абзаца или даже одного предложения, что обуславливает интерференцию элементов разных регистров на всем протяжении текста (и не позволяет механически расчленить его на русские и церковнославянские куски)<sup>438</sup>.

Весьма показательно сопоставление Жития с другими сочинениями Аввакума. В качестве примера можно обратиться к Книге бесед, представляющей собой обличение «никонианской ереси» по основным пунктам старообрядческой догматики. И в этом сочинении элементы устного языка используются достаточно интенсивно, однако они получают здесь иную функциональную нагрузку. Они создают непосредственность обращения к адресату, можно сказать, житейскую доходчивость проповеди, столь характерную для всей старообрядческой гомилетической традиции, ср. произвольно выбранный пассаж: «Иного времени долго такова *ждать*: само царство небесное валится в ротъ. А ты откладываешь, говоря: дѣти малы, жена молода, *разориться* не хочется, а тово не видишь, какую честь-ту бросили бояроне-те; да еще жены суть. А ты – мужикъ, да безумнѣ бабѣ, не имѣешь цѣла ума: ну, дѣти переженишь, и жену-ту утѣшишь. А за тѣмъ что? не гробъ ли?» (РИБ, XXXIX, стб. 253). В то же время оральность конструируется в Книге бесед иным образом, нежели в Житии, и в силу этого не наблюдается намеренного отталкивания от традиционного узуса. Это отражается на статистических параметрах употребления инфинитивных форм. Анализировались две выборки: беседы 1–4 (РИБ, XXXIX, стб. 241–288) и беседы 9–10 (там же, стб. 361–392) по списку из собрания П. Д. Богданова № 2. В двух рассматриваемых выборках форма на *-ти* встречается 62 раза (из них 17 раз в цитатах), а форма на *-ть* – 40 раз, таким образом, пропорция инновативных форм составляет всего 39,22% (против 82,15% в Житии); даже если из набора форм на *-ти* устранить те, которые встречаются в цитатах (что лишь отчасти оправданно, поскольку при цитировании в принципе возможна переделка инфинитивных форм), пропорция инновативных форм будет равна 47,06%, так что и в этом случае отличие Книги бесед от Жития в интересующем нас отношении продолжает быть статистически значимым. Это

<sup>438</sup> Ср., например, следующий пассаж: «Никто ко мнѣ не приходилъ, токмо мыши, и тараканы и сверчки кричатъ, и блохъ довольно. Бысть же я в третій день пріалъченъ, – сирѣчь есть захотѣлъ, – и послѣ вечерни ста предо мною, не вѣмъ – ангелъ, не вѣмъ – человекъ, и по се время не знаю» (РИБ, XXXIX, стб. 16). Примеры подобной интерференции многочисленны (ср.: Виноградов 1980, 16).

статистическое различие соотнесено и с различием функциональным: формы инфинитива обнаруживают свободную вариативность, лишенную какой-либо функциональной (стилистической) значимости, ср.: «подобаетъ-де надъ пятію просвирами *служити* въ пять чувствъ челоѣческихъ <...> подобаетъ-де надъ трема *служить* во образъ Святыя Троицы <...> подобаетъ-де надъ единою *служить* во едино Божество» (стб. 371). Такое употребление в значительно большей степени соответствует традиционному гибриднему узусу, нежели то, которое наблюдается в Житии. Преемственность в отношении гибридного узуса (противостоящая отталкиванию от него, характерному для Жития) особенно ярко проявляется в употреблении форм инфинитива от возвратных глаголов. Из 26 форм инфинитива от возвратных глаголов, встречающихся в анализируемых выборках, 22 имеют традиционную форму на *-тися*: *крестится* (стб. 246), *подивится* (стб. 252), *укрываетися* (стб. 253), *веселится* (стб. 255), *удовляется* (стб. 255) и т. д., и лишь две показывают инновацию: *разориться* (стб. 253), *потрудитца* (стб. 380); пропорция инновативных форм составляет всего 7,69%. Таким образом, специфический характер употребления инфинитива в Житии обусловлен его особым риторическим устройством, в то время как в других сочинениях Аввакума инновативные формы инфинитива, хотя и употребляются весьма интенсивно, ведут себя по моделям, присущим гибриднему регистру.

Итак, в памятниках гибридного регистра, созданных в XVII в., постоянно встречается инфинитив в форме на *-ть*. В большинстве памятников, однако, доминирующим вариантом остается форма на *-ти*, пропорция инновативных форм обычно не превышает четверти, а часто оказывается существенно меньшей. Такое соотношение нарушается в памятниках, выходящих за рамки традиционного жанрового репертуара, в первую очередь, в появляющихся в данную эпоху секулярных текстах. Особым статусом обладают формы инфинитива от возвратных глаголов. Хотя нет оснований думать, что в разговорном языке конечная гласная в этих формах удерживалась существенно дольше, чем у инфинитивов основного типа, в текстах гибридного регистра они, как правило, заметно более консервативны.

Перейдем теперь к памятникам бытовой письменности. В текстах середины и второй половины XVII в. положение здесь вполне однозначно и радикально отличается от того, которое мы наблюдали в текстах книжных. Инфинитивы на *-ти* встречаются в них лишь окказионально, равно как, по существу, и все прочие формы инфинитива с сохранением конечной безударной гласной (ср.: Кокрон 1962, 208). При обследовании нескольких корпусов текстов оказывается, что для бытового регистра господствующими вариантами (едва ли не имеющими статус нормативных) являются новые формы инфинитива. Это в равной мере относится к инфинитивам от возвратных и невозвратных глаголов, к инфинитивам на *-щи(-чи)/-чь* и на *-сти/-сть* при ударе на основе. Единственный класс, в котором наблюдаются колебания, – это глаголы на *-сти/-сть* с историческим ударением на показателе инфинитива; колебания эти не несут никакой функциональной нагрузки. Не обладают стилистической (функциональной) значимостью и окказионально употребляемые старые формы инфинитива других типов. Эти употребления могут быть охарактеризованы как исключительные; в

большинстве случаев они частично мотивированы тем, что старая форма появляется в составе устойчивых формул, которые могут способствовать сохранению реликтовых элементов, ср.: «а на<sup>м</sup> бы слышавъ про твое здаро<sup>в</sup>я о Хрстѣ *радоватися*» (Котков и Панкратова 1964, 25 – письмо И. И. Киреевскому от Д. Яблочкова от 6 сентября 1697), «*Дати* ся грамо<sup>т</sup>ка Иванъ О<sup>н</sup>дрѣвичю Масловъ» (там же, 81 – письмо И. А. Маслову от Н. Вараксина). При этом, однако, выбор архаического варианта никак не предопределен формульным характером текста: в большинстве случаев новые формы встречаются и в составе устойчивых формул. При всех этих частных оговорках новые формы инфинитива оказываются конститутивным элементом бытового узуса.

Узус делового регистра существенно отличается от узуса регистра бытового. Прежде всего он более разнороден: соотношение старых и новых форм инфинитива в принадлежащих этому регистру текстах в большой мере зависит от официального статуса документа. В челобитных, расспросных речах, купчих, частных договорных записях употребление форм инфинитива близко к тому, которое мы наблюдали в частной переписке, хотя, особенно в текстах начала XVII в., окказиональное употребление форм на *-ти* не является редкостью. В текстах, обладающих более высокой степенью публичности или претендующих на публичность, старые формы инфинитива оказываются достаточно обычным явлением – при том что сами тексты обнаруживают несомненные черты делового языка как в своем синтаксическом устройстве, так и в морфологии. Выбор формы инфинитива получает в этой ситуации определенную функциональную значимость. Значимость социального статуса документа для его лингвистического облика представляет собою достаточно известный фактор, обсуждавшийся выше применительно к новгородским документам (см. § III-8).

Пример такого функционирования форм инфинитива находим в деле по извету иноземца Д. Рябицкого на О. Науменка в том, что он умышлял портить и уморить царицу Евдокию Лукьяновну; это дело велось с 18 марта 1642 г. по 20 мая 1643 г., оно включает в себя протоколы многократных допросов Офоньки Науменки и различных свидетелей по делу, распоряжения царя Михаила Федоровича и описание следственных действий; обширный текст опубликован С. И. Котковым, А. С. Орешниковым и И. С. Филипповой (Котков и др. 1968, 254–277). Общие статистические данные о формах инфинитива в данном тексте видны из следующей таблицы:

	-ти/-ть	-тися/-тѣся (-тѣца)	-ци(-чи)/-чь	-стѣ/-сть	-’сти/-сть	Всего
старые	13	—	1	8	—	22
новые	226	8	3	—	1	238
% новых	94,56%	100%	75%	0%	100%	91,54%

Как мы увидим ниже, пропорция в 5,5% форм инфинитива на *-ти* не представляет собой ничего необычного для московских деловых текстов, однако в данном случае статистические соотношения сами по себе мало о

чем говорят. В основной части текста инфинитивы на *-ти* вообще не встречаются за одним единственным исключением. Все остальные формы инфинитива на *-ти* располагаются на двух последних листах дела, содержащих окончательный царский приговор (отличающийся от первоначального приговора судивших Науменку бояр и окольничих, приговоривших его к отсечению рук и ног и сожжению): «г<sup>с</sup>дрь црь и великий кна<sup>з</sup> Миха<sup>л</sup>о [Фе]дорови<sup>ч</sup> всеа Р<sup>у</sup>сии <sup>у</sup>каза<sup>а</sup> о<sup>т</sup>ста[в]ново стре<sup>а</sup>ца О<sup>о</sup>онку На<sup>з</sup>ме[нк]а са ево бо<sup>а</sup>шое воро<sup>в</sup>ство *сосла<sup>ти</sup>* [в Си]би<sup>р</sup> на Таре <...> вел<sup>ѣ</sup>т О<sup>о</sup>онк<sup>з</sup> На<sup>з</sup>ме<sup>н</sup>ка *сослати* в сибирско<sup>и</sup> горо<sup>а</sup> на Тар<sup>з</sup> <...> а на Таре вел<sup>ѣ</sup>т ево *держа<sup>ти</sup>* в тюрм<sup>ѣ</sup> до г<sup>с</sup>дрва <sup>у</sup>кас<sup>з</sup> <...> и к тюрм<sup>ѣ</sup> гд<sup>ѣ</sup> он О<sup>о</sup>онка посаже<sup>н</sup> б<sup>з</sup>де<sup>т</sup> никаки<sup>х</sup> людеи *при<sup>у</sup>ска<sup>ти</sup>* и *говори<sup>ти</sup>* с ним<sup>ѣ</sup> ни о чом<sup>ѣ</sup> *давати* не вел<sup>ѣ</sup>ти так<sup>ѣ</sup> ж и в дороге как<sup>ѣ</sup> ево в Сиби<sup>р</sup> повез<sup>ѣ</sup>т никаки<sup>х</sup> людеи к нем<sup>ѣ</sup> *при<sup>у</sup>ска<sup>ти</sup>* и *говори<sup>ти</sup>* с ним<sup>ѣ</sup> ником<sup>ѣ</sup> ни о чом<sup>ѣ</sup> *давати* не вел<sup>ѣ</sup>ти ж а на ко<sup>р</sup>м<sup>ѣ</sup> ем<sup>ѣ</sup> О<sup>о</sup>онке на Таре и в дороге вел<sup>ѣ</sup>т *давати* по две де<sup>н</sup>ги на де<sup>н</sup>» (с. 276).

Формы на *-ти* в данном пассаже явно не мотивированы лексически: те же глаголы многократно выступают в тексте в форме инфинитива на *-ть* (в том числе и в самом разбираемом фрагменте). Они не обладают и какой-либо стилистической или тематической нагрузкой: речь идет о тех же действиях и о тех же ситуациях, которые описываются и на предшествующих листах, и ничто не указывает на специфическую выразительность или возвышенность их трактовки в заключительном фрагменте. Формы на *-ти* играют роль внешних маркеров особого статуса финального пассажа как содержащего царский приговор, противопоставленный по своей значимости изложению следственных действий и предварительных решений. Таким образом, внутри делового регистра (и только в нем) формы инфинитива на *-ти* функционируют как показатель статуса текста, способный служить индикатором иерархической значимости документа.

Я не предполагаю, конечно, что такое употребление форм инфинитива носит императивный характер, т. е. что пишущий непременно должен был соотносить пропорции старых и новых форм инфинитива с иерархическим статусом текста. Этот иерархический статус был очевиден из содержания и дипломатического оформления документа: челобитная останется челобитной, даже если наполнить ее формами на *-ти*. Существенно то, что формы на *-ти* могли факультативно вступать в корреляцию со статусом текста, что должно было сказываться на их восприятии и создавать преемственность навыков в их продолжающемся употреблении. Как и во многих других случаях, выбор варианта получает факультативное смысловое задание, и это задание оказывается фактором, способствующим сохранению вариативности.

Старые формы инфинитива обладают смысловым заданием отнюдь не во всех случаях, однако связь их употребления со статусом текста оказывается довольно устойчивой. Так, в разных частях Вестей-Курантов старые формы составляют (в разных частях текста) от 10% до 40%. Прямого отношения к содержанию вариации в пропорции старых форм не имеют. Какова бы ни была конкретная пропорция старых флексий в том или ином фрагменте, она обеспечивает дистанцию между данным памятником и более обычной канцелярской продукцией (челобитными, расспросными речами и

т. д.). Выбор формы инфинитива ни в какой степени не обусловлен лексическими, семантическими или стилистическими факторами. Одни и те же глаголы в одном и том же контексте встречаются как в одной, так и в другой форме. Свободная вариативность отчетливее всего проявляется в употреблении разных форм инфинитива в качестве однородных членов, ср.: «и<sup>х</sup> в то<sup>м</sup> оборонить или заде<sup>р</sup>жа<sup>ти</sup>» (Вести-Куранты 1983, 28), «и то писать и о<sup>б</sup>явити в ми<sup>р</sup>но<sup>м</sup> же договоре» (там же, 33) и т. д. Таким образом, значимой является лишь сама пропорция старых и новых вариантов, тогда как их распределение по отдельным контекстам никакой функциональной нагрузки не несет.

Хотя по пропорциям старых форм деловые тексты, как можно видеть, сближаются с отдельными гибридными текстами, их употребление носит иной характер. Об этом особенно ясно свидетельствует соотношение старых и новых форм инфинитива от возвратных глаголов. Если формы на *-ти* занимают в Вестях-Курантах вполне заметное место, то формы на *-тися* (*-тись*) представлены единичными примерами. Таким образом, в данном тексте обнаруживается тенденция прямо противоположная той, которую мы наблюдали в гибридном регистре. Представляется правдоподобным, что причиной такого выраженного предпочтения новых форм инфинитива от возвратных глаголов является их устойчивое написание с *-тца* (15 примеров из 16, в основном с *т* выносным). Такое написание могло представлять собой устойчивый письменный навык, отступить от которого и написать *-тися* или *-ти<sup>с</sup>* было существенно сложнее, чем варьировать *и* и *ь* (или выносные *т* и *ти*) в инфинитивах невозвратных глаголов. Наличие этого письменного навыка может рассматриваться как специфическая черта не-книжной письменности, противопоставляющая ее письменности книжной, где такое написание появляется лишь как отступление от нормы.

В этом контексте целесообразно рассматривать и те относящиеся к деловому регистру тексты, которые получили в XVII в. максимальную степень публичности. Имею в виду тексты, изданные в виде книг, и прежде всего Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. Судя по двум выборкам (текст анализируется по изданию А. Г. Манькова – Уложение 1987, 17–47, 103–136), употребление инфинитива характеризуется следующими статистическими параметрами:

	<i>-ти/-ть</i>	<i>-тися/-ться</i> ( <i>-тца</i> )	<i>-ци(-чи)/-чь</i>	<i>-сти́/-сть</i>	<i>-'сти/-сть</i>	Всего
старые	818	35	5	14	6	878
новые	1390	12	13	3	2	1420
% новых	62,95%	25,53%	72,22%	17,65%	25%	61,79%

Высокую пропорцию старых форм следует объяснять престижным статусом анализируемого текста. В самом деле, никакой другой функциональной нагрузки формы на *-ти* не несут. Выбор варианта не обусловлен никакими лексическими, семантическими или стилистическими параметрами, так что вариативность форм инфинитива на *-ти/-ть* правомерно опреде-

лять как свободную. Вот один из красноречивых примеров, которые могут быть приведены во множестве: «И *выбирати* в губные старосты, которые грамоте умеют, а кто грамоте не умеет, и тех в губные старосты не *выбирать*» (XX, 72 – л. 282). Естественно, что при такой вариативности нередки случаи, когда разные формы инфинитива употребляются в качестве однородных членов, ср.: «и того, на кого тот извет будет, *сыскати и поставить* с ызветчиком с очей на очи» (л. 69об.), «а которые люди учнут к кому *приходить и бити* челом в холопство» (л. 264) и т. д.

Как можно заметить по приведенным данным, употребление форм инфинитива от возвратных глаголов заметно консервативнее, чем то, которое наблюдается у невозвратных глаголов. Такое употребление не характерно для делового регистра (но обычно для регистра гибридного). Неясно, является ли оно следствием особого статуса Уложения в ряду деловых текстов или результатом обработки первоначального текста типографскими справщиками, для которых формы на *-тися* были привычными (см. ниже). Стоит заметить, что новая форма инфинитива данного типа обычно записывается с *-тца*, что характерно прежде всего для приказной традиции.

Для понимания того, какую роль играет в Уложении вариативность форм инфинитива, существенно иметь в виду, что по этому параметру проанализированное выше второе издание отличается как от оригинала, так и от первого издания. Текстологическая история Уложения достаточно сложна. Первое издание было напечатано с рукописной книги (ныне утраченной), которая в свою очередь являлась копией свитка, до нас дошедшего (см.: Уложение 1987, 10–13). Языковые расхождения между свитком и первым изданием многочисленны и отражают вполне сознательную нормализацию языка, включающую, в частности, замену инфинитива на *-ть* инфинитивом на *-ти* (ср.: Черных 1953, 132). Правка производилась типографскими справщиками, привыкшими править стандартные церковнославянские тексты, ее естественно трактовать как наложение на приказной узус языковых навыков профессионалов-книжников. Справщики, готовившие второе издание, не просто вернулись к первоначальному (неправленому) тексту, а с определенным выбором восстанавливали, хотя и непоследовательно, написания, противопоставленные норме книжного языка. Эту правку можно интерпретировать как повторные поиски оптимального компромисса. Формы на *-ти* были, как мы уже знаем, одним из возможных маркеров особого статуса текста. Понятно поэтому, что они достаточно интенсивно использовались в Уложении. Проблема была только в том, чтобы соблюсти меру. Какова должна была быть эта мера, никто не знал, и именно разными оценками этой меры обусловлены, на мой взгляд, отличия рукописного варианта Уложения от его первого издания, а первого издания – от второго.

Не следует думать, что в первом издании не осталось форм на *-ть* или что в рукописном свитке не было форм на *-ти*; изменена была именно пропорция. Высокая пропорция форм на *-ти* как раз и свидетельствовала о необычном статусе текста. Эта пропорция явно намного превосходила обычную для делового регистра, даже для текстов, выделяющихся своим статусом (таких как Вести-Куранты). Для второго издания была осуществлена новая правка с рядом обратных замен. Именно в результате этой правки

пропорция старых форм инфинитива достигла того уровня, который мы наблюдаем в обследованных фрагментах. Не стоит, конечно, думать, что данная мера была установлена как сознательно избранная цель, скорее речь должна идти об интуитивных поисках меры, реализовавшихся в достаточно непоследовательной правке. Тем не менее складывается впечатление, что достигнутый уровень не был вполне случайным. Как показывают проведенные выше подсчеты, он располагался в пределах, определенных двумя моментами. Во-первых, он заметно превышал тот, который был обычен для делового регистра (включая и наиболее значимые тексты), и тем самым указывал на исключительный статус Уложения как памятника имперского законотворчества. Во-вторых, он оставлял формам на *-ть* доминирующее положение, демонстрируя благодаря этому включенность Уложения в традиции московского юридического обихода. С определенной осторожностью можно предположить, что именно в результате разнонаправленной правки возникает и та высокая пропорция старых форм у инфинитивов от возвратных глаголов, которая не характерна для делового регистра, и заметный и тоже нетипичный разноречивый в их написании.

Завершая обзор употребления инфинитива в различных регистрах письменного языка XVII в., можно суммировать полученные данные и попробовать определить, какие факторы формировали соотношение вариантов в разных регистрах. В стандартных церковнославянских текстах последовательно употребляются старые формы с неотпавшим гласным, это в равной степени относится ко всем типам инфинитива. Такое употребление обусловлено ориентацией на образцовые тексты Св. Писания и богослужения и легкостью, с которой в данном случае им можно было следовать. В памятниках гибридного регистра новые формы инфинитива встречаются повсеместно, хотя пропорция форм на *-ть* лишь в исключительных случаях превышает одну четверть. Еще более ограничено употребление новых форм инфинитива от возвратных глаголов. Особая консервативность форм на *-тися* сравнительно с формами на *-ться* может рассматриваться как специфическая примета гибридного регистра. Причина этой консервативности состоит, видимо, в стремлении избежать омонимии с формами презенса и в отталкивании от не книжного произношения и написания новых форм с *-тца*. Существенно, что в абсолютном большинстве памятников гибридного регистра выбор вариантной формы инфинитива не несет никакой функциональной или стилистической нагрузки, в обычном случае он никак не мотивирован и не связан сколько-нибудь заметно со статусом текста (исключением является Житие протопопа Аввакума).

Совсем иная картина наблюдается в бытовом и деловом регистрах. Бытовая письменность устроена в определенном смысле так же, как и стандартные церковнославянские тексты, только лишь в зеркальном отражении. Старые формы инфинитива в ней практически не встречаются (кроме инфинитивов на *-сти* с ударением на показателе инфинитива). Функциональная нагрузка появляется у старых форм инфинитива в деловых текстах. Пропорция старых форм инфинитива оказывается в них переменной величиной с размахом колебаний от нуля до значений, переваливающих за 50%. Эти колебания находятся во вполне наглядной корреляции с социокультур-

ным статусом текста: чем на более высокий статус претендует текст (чем большей публичностью он обладает), тем больше в нем старых форм инфинитива. Если в повседневной деловой письменности (челобитных, купчих, данных и т. п.) старые формы инфинитива практически не встречаются, то в менее ординарной приказной продукции, прямо адресованной царю и боярам, старые формы получают хотя и далеко не доминирующее, но все же вполне заметное место. Их роль повышается еще больше, когда степень публичности достигает максимума и тексты делового регистра издаются типографским способом. В этих условиях пропорции старых форм инфинитива усваивается достаточно выраженное функциональное задание. Поскольку старые формы инфинитива наделяются функцией индикаторов статуса текста, они могут реализовать эту функцию и в пределах одного текста для указания на разный статус его частей. Стоит отметить, что в целом в деловом регистре – в отличие от гибридного – формам инфинитива от возвратных глаголов не присуща существенно большая консервативность, чем формам инфинитива от невозвратных глаголов.

Какие именно факторы обуславливают подобное функционирование старых форм инфинитива в деловом регистре, остается не вполне ясным. Наиболее существенным, на наш взгляд, оказывается сама возможность выбора из двух вариантных форм, легкость этого выбора (в том смысле, что он не требует сложного грамматического анализа или морфонологических преобразований) и его наглядность – благодаря большой частоте инфинитивных форм (в отличие, например, от форм 2 лица презенса) соотношение старых и новых форм инфинитива оказывается бросающейся в глаза характеристикой текста (воспринимается носителями языка как его характерная черта). Формы инфинитива – это удобный и легко манипулируемый инструмент; нет ничего удивительного в том, что им достаточно активно пользуются. И на этом материале можно видеть, как разрастание производства письменных текстов приводит к кристаллизации регистровых противопоставлений.



*Научное издание*

Подготовлено к печати и издано по решению Ученого совета  
Университета Дмитрия Пожарского

**Живов** Виктор Маркович

## **ИСТОРИЯ ЯЗЫКА РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ**

**Том I**

Литературный редактор *А. И. Золотухина*  
Составление указателей *А. А. Пичхадзе*  
Компьютерная верстка *И. С. Пекунова*  
Дизайн и оформление обложки *Е. А. Горева*

Подписано в печать 26.12.16. Бумага офсетная.  
Формат 70х100 1/16. Гарнитура «Cambria».  
Тираж 1500 экз. Первый завод 700 экз. Заказ .

«Русский фонд содействия образованию и науке».  
Университет Дмитрия Пожарского.  
119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 13, стр. 1.  
[www.s-and-e.ru](http://www.s-and-e.ru)

Отпечатано: АО «Т 8 Издательские технологии».  
109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5.